

Crème de la Crème



Петер Надаш

КНИГА ВОСПОМИНАНИЙ

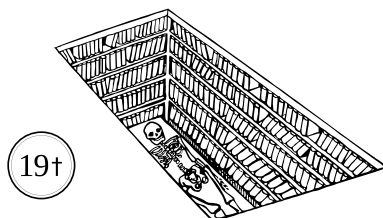
Роман

перевод с венгерского Вячеслава Середы



Kolonna Publications
Митин Журнал

Nádas Péter
Emlékiratok könyve



Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1986

Перевод данной книги выполнен при содействии «Венгерского фонда поддержки книгоиздания и переводов» и фонда «Венгерский дом переводчиков» (Венгрия)

В оформлении обложки использована фреска «Пан и Нимфы» из Дома Роковой Любви в Помпеях.

Издание посвящается светлой памяти Бориса Дубина, который очень хотел, чтобы эта книга, читанная им по-английски, когда-нибудь в обозримом будущем увидела свет и в России.

Редактор: Елена Мохова

Обложка и верстка: Ольга Сазонова

Руководство изданием: Дмитрий Боченков

Корректоры: Ольга Серебряная, Дмитрий Волчек, Кирилл Путресцинов

© Péter Nádas, 1986, 1994

© Вячеслав Середа, перевод, 2014

© Kolonna Publications, 2014

ISBN 978-5-98144-194-3

ОТ АВТОРА

Считаю своей приятной обязанностью сообщить, что все мною написанное – не мои мемуары. Я сочинил роман, воспоминания нескольких людей, живших в разное время, нечто вроде «Параллельных жизнеописаний» Плутарха. Каждый автор мог бы быть мною, хотя ни один из них таковым не является. Таким образом, все встречающиеся в тексте местности, действующие лица, события и обстоятельства, которые могут показаться знакомыми, являются плодом вымысла романиста. Но если кто-нибудь все же узнает себя или – храни Господь! – если обнаружится совпадение вымышленных событий, имен или ситуаций с реальными, то это роковая случайность, за которую автор – в отличие от всего остального – не несет никакой ответственности.

А Он говорил о храме тела Своего.

Иоанн 2:21

КРАСОТА МОЕЙ АНОМАЛЬНОСТИ

8

Последним моим пристанищем в Берлине была квартира Кюнертов в пригороде Шёневайде, на втором этаже увитого диким виноградом особняка.

Виноградные листья тронул уже багрянец, птицы клевали почерневшие ягоды; наступила осень.

Не удивительно, что я вспоминаю об этом, ведь с той поры минуло уже три осени, и я никогда больше не отправлюсь в Берлин, ибо ехать мне не к кому, ехать мне незачем, вот почему я пишу, что пристанище было последним, я знаю это наверняка.

Так я решил, или, может быть, так решилось, так вышло вопреки моей воле, не все ли равно; и теперь, когда я пытаюсь избавиться от противного осеннего насморка и мозг мой не пригоден ни к чему путному, хотя мысли и бродят, кружатся, невзирая на сопли, вокруг вещей для меня существенных, я утешаюсь тем, что вспоминаю осенние месяцы, которые дважды пережил в Берлине.

Не потому, что возможно что-то забыть.

Например, ту квартиру на втором этаже в доме на Штеффельбауэрштрассе.

Я, конечно, не знаю, кого, кроме меня, это может интересовать.

Дело в том, что я вовсе не собираюсь писать путевые записки, писать я могу лишь о том, что принадлежит только мне, к примеру, могу описать историю своих влюбленностей (если только смогу), ибо я отнюдь не уверен, что могу уповать на то, что, помимо событий и отношений сугубо личных, я сумею поведать о событиях более значимых, и вообще, я не верю, что, кроме личных событий и личных взаимоотношений, может существовать что-то более важное, точнее сказать, этого я не знаю и потому не верю, а стало быть, с готовностью соглашаюсь на компромисс: пусть это будут воспоминания, памятные заметки, словом нечто, связанное со сладостным и мучительным погружением в прошлое, пусть будут они подобны воспоминаниям старика, неким авансом того, что, быть может, я буду чувствовать через сорок лет, разумеется, если доживу до семидесятитрехлетнего возраста и буду еще что-то помнить.

Как ни странно, насморк обостряет все чувства, и грех будет не воспользоваться этим случаем.

Например, я бы мог рассказать о том, что именно Тея, Тея Зандштуль, привезла меня к Кюнертам на Штеффельбауэрштрассе, в южный район Берлина, именуемый Шёневайде, то есть «красивое пастбище», что в тридцати минутах езды от сердца Берлина Александерплац, или в сорока, или даже в часе, если вы не успели на пересадку и вынуждены под дождем дожидаться поезда.

Эту квартиру нашла, умудрилась найти для меня она, и в последние насморочные дни я, естественно, вспоминаю ее, но, что странно, совсем не те вещи, которыми она так вызывающе привлекала к себе внимание, – не красный джемпер, не мягкое красное пальто и множество прочих красных нарядов, в которые она облачалась, и даже не морщинки на девичьем лице, эти блеклые чувственно подрагивающие бороздки, которые она не собиралась скрывать, но которые все же ее беспокоили, что больше всего было заметно по ее манере напряженно вытягивать шею, как будто она хотела сказать, пожалуйста, вот вам мое лицо, да, я старая и уродливая, полюбуйте, какая я стала, а ведь и я была молода, хороша собою, смейтесь, смейтесь, но смеяться никто и не думал, потому что она была ничуть не уродлива, хотя, может быть, именно беспокойство по поводу этих морщин и послужило началом ее несчастной любви; но в связи с Теей я вспоминал не об этом и не о том, как она сидела у себя дома – красное кресло, белые муслиновые занавески, красный ковер, – скорее я вспоминал ее слезы и смех, ее крупные, пожелтевшие от никотина лошадиные зубы, но не те, имевшие мало отношения к реальности, слезы и смех, которые она демонстрировала на сцене; я вспоминал, как она, ехидничая, насмешливо щурилась и сухая кожа туго обтягивала ее подбородок; а еще вспоминалось дерево во дворе синагоги на Рюкештрассе, сухая акация – которая тоже имела какое-то отношение к ней – с прибитой к стволу табличкой о том, что влезать на нее запрещается, хотя непонятно было: кому могло прийти в голову забираться на дерево через тридцать лет после войны, в пятницу вечером, во дворе восточноберлинской синагоги? кому это заблагорассудится? я сказал ей, что у меня жар, длинные тени евреев, потянувшихся из синагоги, заполнили залитый золотистым светом внутренний двор, она по-матерински положила ладонь мне на лоб, но по лицу ее было видно, я чувствовал это своим лицом, что она проверяла не температуру, а скорей наслаждалась моей кожей, еще молодой, без единой морщинки.

Мои поспешные уверения, что все мною написанное не будет и быть не может путевыми записками, наверное, связаны с желанием, чтобы Арно Зандштуль, муж Теи, писавший что-то вроде путеводителей, не походил на меня, или же я – на него, хотя мне понятно, что нескрываемое презрение к нему, связанное с ревностью, никак не могло объясняться безобидной увлеченностью Арно путешествиями в дальние страны, которые он затем описывал; несомненно, сей факт вызывал у меня подозрения, ведь только очень немногие из живущих здесь имеют возможность куда-то поехать, страсть к путешествиям знакома им разве что понаслышке, между тем как он составлял исключение и, насколько я помню, бывал даже в Тибете и в Африке, но все же я больше склоняюсь к тому, что необоснованную антипатию вызывали во мне не эти мимолетные подозрения, не презрение и не ревность, а двусмысленное поведение Теи, которым она, разумеется же, невольно, напоминала мне об одном из тайных периодов моей жизни.

Когда мы попали к ним в гости, они, как и Кюнерты, жили на окраине, только в другом направлении, кажется в Лихтенберге, но точно сказать не берусь, потому что когда мы куда-то ехали вместе, я всегда целиком полагался на Мельхиора, ведь с тех пор как мы с ним познакомились, я, собственно, ничего не видел перед собой, кроме его лица, его лицо поселилось в моем лице, и на такие мелочи, как маршрут поездки, внимания моего не хватало; он смотрел на меня, я смотрел на него, так мы и ехали; последний раз я встретился с Теей случайно, в городской электричке, Мельхиор к тому времени уже исчез из Берлина, Тея тоже осталась одна, Арно расстался с ней, мы столкнулись на конечной станции «Фридрихштрассе» за несколько минут до полуночи; «моя машина опять дала дуба», сказала она, как бы оправдываясь; я ехал из театра, и у так называемого Восточного креста, Осткройца, мы попрощались, мне нужно было пересечь в сторону Шёневайде, я все еще жил у Кюнертов, а она поехала дальше, домой, из чего я и делаю вывод, что квартира их была где-то в Лихтенберге; первый раз мы были у них в гостях в воскресенье вечером, и я разговаривал тогда с Арно как писатель с писателем – рассудительно, нудно, серьезно.

Вообще-то произошло это благодаря двусмысленной уловке Теи, это она сделала нашу встречу столь напряженно-приподнятой, потому что когда с некоторым опозданием Арно вошел в гостиную и я поднялся с кресла, она взяла нас за локти, не позволяя нам обмениваться рукопожатием, словно давая понять, что быть связанными мы можем только через нее, но, независимо от этого, мы с Арно,

как она полагала, все же близки, причем по-особому: «два писателя, переживающих творческий кризис», сказала она, намекая на мое доверительное признание, и эта связь, согласно ее намерениям, должна была стать важнее, чем несостоявшееся рукопожатие, потому что, сказав эту фразу, она беззастенчиво выдала муки Арно мне, а мои собственные – ему, но этим двойным предательством она все же хотела – за мой счет, с моей помощью – помочь Арно, что окончательно все же связало всех нас троих и отделило от остальных; мы не смотрели друг другу в глаза, ибо людям обычно не нравится, когда кто-то, пусть даже из лучших побуждений, так глубоко заглядывает им в душу и показывает им двойника, на которого они не похожи и не собираются походить.

Ситуация была слишком знакома мне, но они, естественно, были здесь ни при чем.

Мельхиор, стоя у нас за спиной, лишь посмеивался, два очумелых писателя, должно быть, и впрямь являли собою забавное зрелище, и тогда, то ли из замешательства, то ли от злости, я подумал, что Арно разрешают кататься по свету, потому что он – профессиональный разведчик, агент, шпион, по совместительству, так сказать, но возможно, подумал я также, что он в то же самое время думает обо мне: ничего, дескать, не беда, что я так о нем думаю, он ведь тоже знает обо мне кое-что, что мне хотелось бы сохранить в тайне, ведь в присутствии Теи Мельхиор вовсе не собирался укрощать свой взгляд, и поэтому то, что мы предполагали держать в секрете, а именно, что мы с Мельхиором не просто друзья, а влюбленные, для Арно вовсе не тайна.

Между тем я должен был еще и выказывать ему некоторое уважение; с одной стороны, потому, что Арно был много старше меня, ему было около пятидесяти, а с другой, я понятия не имел, что он пишет, знал только, что книги о путешествиях, выходявшие сотысячными тиражами, хотя при этом они вполне могли быть и шедеврами, так что самым благоразумным было скрыть свою настоятельность за учтивой любезностью, но все же взаимно щадящее собеседование, продолжавшееся, пока Тея с церемонностью освободившейся на выходные офисной служащей накрывала к чаю, а Мельхиор что-то нашептывал ей обо мне, одинаково тяготило обоих.

Арно тем временем делал все, чтобы вполне соответствовать назначенной ему роли, и я ощущал некое мужское обаяние в его вопросах о том, какими, собственно, театральными штудиями я занимаюсь и что за новеллы пишу, обаяние, порожденное растерянной

силой, более того, одним из своих замечаний он по-рыцарски предложил мне уйти от вопроса, сказав, что в детали вдаваться не собирается, «разумеется, только вкратце, ведь иначе об этом и невозможно, я не о содержании, просто в общих чертах», сказал он и улыбнулся, но морщинки, сбежавшиеся к уголкам его рта, показывали, что глубокие его размышления редко находят свое разрешение в улыбке, он скорее натура задумчивая, вот почему он не сразу заглядывает вам прямо в глаза, как будто чего-то стыдится или что-то скрывает.

Но пока я отвечал на его вопрос, он все же заглянул мне в глаза, и, хотя его интерес относился не к тому, что я говорил, это был искренний взгляд, и я должен был оценить его, ибо всякий раз, когда взгляд ищет в нас какую-то суть, скрывающуюся за словами, скажем, пытается обнаружить, какое все-таки отношение имеет мое писательство к тому факту, что, будучи мужчиной, я влюблен в другого мужчину, а я полагаю, что именно это его занимало, пока мы с ним говорили, – короче, когда внимание, отпустив смысловую нить разговора, пытается ухватить чувственное существо говорящего, то момент такой нужно считать очень значительным и серьезным.

Но я точно знал, что однажды уже стоял точно так же в некой комнате, с неким мужчиной, совершенно беспомощный перед ним.

Арно, казалось бы, подчинявшийся всем причудам Теи, именно этим взглядом пытался теперь уйти от обременительной роли, которую она навязала нам, по его красивым темно-карим глазам не заметить этого было невозможно, но я был поглощен собственным воспоминанием и больше внимания уделял тому, что нашептывает Тея Мельхиор, чем тому, что я говорил Арно о своих писательских трудах, и не осознал, что его взгляд мог наконец освободить нас обоих, его взгляд стал по-детски любопытным, открытым, нетерпеливым, и несколькими правильно подобранными словами, а может, и вовсе без помощи слов мы могли сделать нашу беседу не только приятной, но, наверное, даже содержательной; я его не заметил, не ответил на этот взгляд и, дойдя до конца рассказа, задал несуразный вопрос; желая быть вежливым, да так и удобней было, я просто повторил вопрос, который он адресовал мне, и осознал все бестактное безразличие, кроющееся в этом повторе, лишь тогда, когда вдруг потерял его взгляд, когда он насмешливым жестом вскинул руки к вискам и, словно показывая сам себе ослиные уши, махнул ладонями.

Этот взмах ладонями, конечно, не означал принижения его увлечения, его работы, в нем было прежде всего удивление, обиженное замешательство, смирение с тем, что его никогда не поймут, «о, я просто альпинист», сказал он, и действительно, то был жест туриста, которого спрашивают, удачен ли был поход и хороша ли была погода, – ну понятно, что можно сказать о путешествии и погоде?

Разумеется, Арно ответил мне – в конце концов, он также получил то приличное буржуазное воспитание, которое приучает скрывать минутное невнимание, замешательство или даже ненависть за безобидной болтовней, – он говорил как обычно говорят коренные берлинцы, словно бы прополаскивая слова в зубном эликсире, но даже если бы я был способен внимать ему, в то время как Мельхиор шептался с Теей о том, что я готовил на обед, даже если бы я понимал, что Арно говорит мне, он всем своим видом, согбенной спиной на всякий случай давал понять, мол, ничего интересного, он просто со мной разговаривает, поддерживает беседу, так что я даже потерял его голос, во-первых, потому, что внутри у меня все кипело из-за того, что Мельхиор раскрывает интимные подробности, и я хотел как-то дать ему знать, чтобы он прекратил, чтоб заткнулся! – а с другой стороны, потому что понял, или думал, что понял, почему мне кажется настолько знакомым это простое, усеянное морщинками говорящее лицо; оно бы могло быть лицом моего деда, уродись он немцем, серьезность, терпимость, лишенное юмора чувство достоинства, лицо демократа, если такие лица вообще бывают; так что я больше не только не понимал того, что он говорил, но совершенно не слышал и голоса, и Арно стоял передо мной просто как зрелище; единственным, что я мог уяснить, было то, что он по-прежнему всячески оберегал меня, опасался сказать что-нибудь, что могло бы быть интересным, привести меня в замешательство чем-то таким, к чему следовало прислушаться, и еще до того, как Тея закончила накрывать на стол, оставил нас; пока я стоял, прислонившись к креслу, и слегка покачивался на месте, Арно извинился и поспешно ушел к себе в кабинет.

Осенние картины щемяще накладываются одна на другую.

Никогда не испытывал я подобного одиночества.

Переживаний, которые вроде бы связаны с моим прошлым, но самое прошлое – тоже лишь отдаленный намек, намек на мои пустые горести, и витает оно в пространстве так же неукорененно, как всякий переживаемый нами момент, который можно называть настоящим; только память о вкусах и запахах того мира, которому

я больше не принадлежу, который я мог бы назвать и покинутой родиной, но напрасно я ее покидал, напрасно, я и здесь ничем ни к чему не привязан, я и здесь всем чужой, и что толку, что есть у меня Мельхиор, единственный человек, которого я люблю, он тоже меня ни к чему не привязывает, я потерян, не существую, мои кости, хрящи превратились в желе; и все-таки, даже чувствуя, что я ото всего оторвался и ни к чему больше не привязан, я себя кем-то ощущаю, жабой, и всем телом прижимаюсь к земле, осклизлой улиткой, и всматриваюсь немигающим взглядом в собственное небытие, со мной это небытие происходит и даже имеет будущее, а если учитывать минувшие одна за другой осени, то в известном смысле и прошлое.

Уже той первой осенью, в задней комнате квартиры на Штеффельбауэрштрассе, где перед моим окном стояли два клена, все еще ярко-зеленые, а над окном, на месте выпавшего кирпича, свили гнездо воробьи, уже тогда я должен был не только почувствовать, но и понять это, но я барахтался, надеялся, что открою некую совершенно особенную, исключительную, одному только мне внятную взаимосвязь, что возникнет какая-то ситуация, что угодно, настроение, пусть даже трагедия, через которые я все же смогу объяснить самого себя в этом зыбком небытии; я надеялся найти что-то, что можно спасти, что даст смысл вещам и спасет меня самого, спасет от этого животного существования, – но искал не в собственном прошлом, оно мне смертельно обрыдло, напоминая что-то столь же непристойное, как привкус отрыжки, и не в будущем, так как я уже давно отвык и боялся планировать даже следующее мгновение, а прямо сейчас, я ждал откровения, искупления, могу в этом признаться, ибо я не понял еще, что достаточно и того, что ты знаешь небытие, при условии, что знаешь его досконально.

На эту квартиру меня привезла Тея, фрау Кюнерт была ее подругой, и я достаточно много времени проводил здесь один.

Можно сказать и так, что я был один всегда; никогда прежде я не испытывал такого одиночества в посторонней квартире, где все было чуждо: и полированная мебель, и солнечный свет, пробиравшийся сквозь щели в задернутых шторах, и узор ковра, и блики на полу, и скрип половиц, и тепло камина, дожидавшегося вечера, когда вернутся хозяева и включают телевизор.

Дом был тихий, немного благопристойней, чем ветхие здания Пренцлауэр-Берга – «птица сизая, берлинские задворки», как писал Мельхиор в одном из щемящих своих стихотворений, –

но и здесь были такие же, крашенные в серый цвет точеные перила, как и в других местах, где я жил в Берлине, на Шоссештрассе и Вёртерплац, крытые темным линолеумом деревянные лестницы, туалетный запах мастики и цветные витражные окна на поворотных площадках, в которых лишь половина пластин были оригинальными, сделанными на рубеже веков из флинтгласа, с затейливыми растительными мотивами, остальные же были заменены простым кафедральным стеклом, отчего на лестнице постоянно царил полумрак, как в доме на Штаргардерштрассе, где я прожил дольше всего и имел возможность привыкнуть к тому, что лестница выглядит именно так, хотя дом по-прежнему не был мне столь же близок, как мог бы быть любой жилой дом в Будапеште, мне не хватало его прошлого, хотя это прошлое подавало мне кое-какие знаки, и эти напоминания я даже пытался переживать, зная прекрасно, что от этих игр Мельхиор, разумеется, не станет мне ближе; и все же, поднимаясь по вечерам по лестнице, я пытался вообразить себе другого молодого человека, который, когда-то давно, прибыл в один прекрасный день в Берлин, то был дедушка Мельхиора, это он стал героем моей разворачивающейся с каждым днем вымышленной истории, это он мог увидеть эти витражи с цветами, еще целыми, новыми, искрящимися на сеющемся с заднего двора свете, если бы побывал в этом доме, причем, поднимаясь по деревянной лестнице, воспринимал бы воображаемое мной прошлое как собственное настоящее.

Внизу, в темном вестибюле, даже днем нужно было нажимать тлеющую красную кнопку, включавшую слабое освещение лишь на время, чтобы успеть подняться до первой площадки и потом нажать следующую, но часто я шел по лестнице в темноте, потому что ночью постоянно теплящаяся кнопочка напоминала маяк, наблюдаемый из открытого моря, и мне так это нравилось, что я предпочитал не нажимать кнопку, лестничная клетка оставалась в темноте, и хотя я не знал в точности, сколько было ступенек, их скрип помогал ориентироваться, тлеющие огоньки на площадках вели меня, и я очень редко сбивался с ноги.

Так же я поступал и в доме на Вёртерплац, где жил Мельхиор, почти каждый вечер поднимался по лестнице, а на площадке третьего этажа славная фрау Хюбнер уже высматривала меня в глазок, восседая, как мне рассказывали, на высоком табурете, но если я шел наверх в темноте, увидеть она меня не могла, слыша только шаги, и поэтому дверь приоткрывала или слишком рано, или слишком поздно.

Здесь же, в доме на улице Штеффельбауэр, свет на лестнице горел, пока кто-то держал палец на кнопке, и если вечером, когда я собирался уходить, фрау Кюнерт случайно была на кухне, она непременно выходила на площадку, нечего мне в темноте спускаться, хоть я и старался покидать комнату бесшумно, так как меня смущало, что о каждом моем шаге фрау Кюнерт докладывала Тее, жаждавшей знать все о Мельхиоре, больше того, спустя время я даже вообразил, что для них же шпионит и фрау Хюбнер; но как бы осторожно я ни передвигался, фрау Кюнерт была начеку, «я здесь, сударь, сейчас посвечу», выскакивала она из кухни и жала на кнопку, пока я не достигал первого этажа, «спасибо», кричал я ей, невольно думая о том, что в другом доме фрау Хюбнер уже поджидает меня на третьем, и я, стоя в свете, льющемся из ее квартиры, так же вежливо ее поприветствую; а если случалось, что ночью я возвращался и с улицы не просачивалось никакого света, то каждую ступеньку приходилось нащупывать или зажигать спички, чтобы видеть, куда ступаю, потому что в доме на Штеффельбауэрштрассе перегорела даже нить накаливания красной кнопки, ориентиров не было, и я боялся наткнуться на что-то живое.

Мельхиор в этом доме никогда не бывал.

Правда, и раньше, когда я жил на Штаргардерштрассе, он тоже у меня не бывал, мы вечно с ним прятались или, если точнее, старались не привлекать внимания, впрочем, по этой части опыта мне было не занимать, мне это было легко, и эта скрытность тоже неприятно напоминала мне о моем прошлом; хотя однажды, в воскресенье после полудня, когда Штаргардерштрассе была совсем пустынная, но из-за штор мог подсматривать кто угодно, был мрачно-серый ноябрь, когда люди сидят по домам и пьют кофе у телевизора, мы стояли с ним у парадного и чувствовали, что не можем расстаться, да расставаться было и не обязательно, мы могли бы остаться друг с другом, однако мы пробыли вместе уже три дня, и защитная оболочка, которая ограждала нас от всего и вся, становилась все более плотной, нужно было из нее вырваться, расстаться, провести хоть один вечер в одиночестве, мне хотелось помыться, в квартире у Мельхиора не было ванной и мыться приходилось над тазом или просто под краном на кухне, я чувствовал себя грязным, хотелось побыть одному по крайней мере в этот день и вечер, вдохнуть другого воздуха, а затем, еще до полуночи, помчаться на улицу, чтобы позвонить ему, слушать его голос, прижавшись к холодному стеклу телефонной будки, а возможно, вернуться опять к нему; поначалу мы решили, что он проводит меня до угла Димитровштрассе и пой-

дет покупать сигареты под эстакаду эс-бана, где табачная лавка еще открыта, но расстаться мы не могли, то он говорил, что проводит меня до следующего угла, то о том же просил его я, взяться за руки мы не могли, это было бы смешно, трусливо, неловко, однако что-то все-таки надо было делать, друг на друга мы не смотрели, но потом рука его все же потянулась к моей, хотелось друг друга хоть как-то чувствовать, мы взялись за руки, на улице ни души, но мне этого было мало, мне нужен был его рот, тем вечером, перед домом.

Дом на Шоссештрассе он тоже видел только снаружи.

17

Был вечер воскресенья.

Я показал ему окно из трамвая, везшего нас к театру; стоя на пустой площадке, он рассказывал мне о берлинском восстании, тихим голосом, я же ему о восстании будапештском, перемежая его слова своими.

Он бросил взгляд на дом, но заметил ли он его, сказать по его лицу было трудно; он продолжал говорить, мне же казалось тогда очень важным, чтобы он знал хоть дом, если уж не может побывать в комнате, моем первом берлинском пристанище, которая, хотя он об этом даже не догадывался, сыграла весьма важную роль также и в его жизни; но Мельхиор, обычно не безразличный к моему прошлому, на сей раз замкнулся, он не мог поступить иначе.

Я жил в квартире на улице Штеффельбауэр уже второй месяц, уже привык к ней и даже в определенном смысле полюбил ее, когда как-то утром фрау Кюнерт, растапливая печь, сказала мне, что до обеда придут электрики ремонтировать лестничное освещение, будут искать ее, но она остаться не может, а я все равно буду дома, не так ли? «Да, конечно», ответил я из постели, в то время как фрау Кюнерт, стоя на коленях у печки, как всегда за домашней работой, что-то напевала себе под нос; за исключением вечеров, я в основном был дома; она председатель домового комитета, сказала она, так что будут искать ее, и я должен сообщить им, что дожидаться их она не могла, «да что они себе думают, в конце-то концов», и я должен объяснить им что к чему, в чем проблема, и не отпущать до тех пор, пока они, «негодяи!», все не исправят.

Я все утро просидел дома, ждал, может, позвонит Мельхиор – тогда у нас оставалось всего несколько дней, – но он не звонил, и электриков тоже не было.

Если б только он позвонил, день безоблачный, за окном солнце, безмолвная тишина; утром Кюнерты затопили только в гостиной, расположенной посередине квартиры, да еще в моей комнате, ночи были уже холодные, порой с заморозками; из прихожей дверь

открывалась в столовую, откуда можно было попасть в гостиную, моя же комната была в дальнем конце квартиры и выходила, вместе с еще двумя небольшими спальнями, в длинный темный коридор, соединяющий кухню и ванную; но совершенно напрасно все двери в квартире, кроме дверей в гостиную и мою комнату, я оставил открытыми, чтобы сразу услышать, бежать, если раздастся звонок; если бы позвонил Мельхиор, я предложил бы ему отправиться к Мюггелзее, ведь погода роскошная, в самый раз для экскурсии или большой прогулки, сказал бы я, стоя у телефона в гостиной Кюнертов и глядя из теплой комнаты на холодный солнечный свет, но еще я сказал бы ему, что все-таки не поеду с ним к его матери, потому что сопровождать его он просил меня только для того, чтобы облегчить себе прощание; он должен был проститься с ней и, быть может, в последний раз увидеться без того, чтобы мать что-то заподозрила, я же просто не мог представить, что он больше никогда не разделит со мной ту кровать в нетопленной спальне, на которой он спал еще в детстве, мне казалось невероятным, что все кончилось, безвозвратно прошло.

«Что, действительно ты в ней спал? И она стояла на этом же месте? И пятно тоже было на потолке, вон там?»

Он смеялся над моими вопросами, как будто не мог представить, что здесь может что-нибудь измениться, что неизменность может кого-нибудь изумлять, нет, вещи все же не так изменчивы, и его мать, которую в память его умершей от родовой горячки бабушки тоже нарекли Хеленой, сделала все, чтобы больше уже ничто не менялось, чтобы обеспечить сыну надежное ощущение окончательного прибежища; но даже независимо от этого Мельхиор имел серьезные основания думать так, ведь пока он меня не знал, рассказывал он не без тени кичливости в голосе, ему было почти все равно, с кем водиться, он попросту не нуждался в ощущении безопасности, был неразборчив, больше того, он мог бы сказать, что порой наибольшее удовольствие ему доставляли самые грубые отношения, и чтобы иметь что-то постоянное в своей беспорядочной жизни, он оттачивал утонченный вкус, вынуждал себя в своей почти непреступно закрытой поэзии быть аскетически строгим, безыскусным и апатичным, и что бы ни происходило, у него был дом, куда можно было вернуться в конце недели, и он возвращался, нагруженный чемоданом нестиранного белья, потому что, действительно, там ничто не менялось, мать настаивала, чтобы стирать на него самой, «правда, пятно появилось там тоже», смех его мало что означал, вообще он смеялся легко, почти без

значения, а улыбка и вовсе не гасла в его глазах, кроме тех случаев, когда он думал, что его не видят.

Не мог я представить себе и того, что в воскресенье утром проснусь в доме его матери от перезвона колоколов, вливающегося через крошечное окно, проснусь один, не ощущая запаха его кожи, смешанного с острым на холоде ароматом зимних яблок и сладким запахом испеченного к воскресному кофе печенья; яблоки были выложены в ряд на шкафу, глазированное печенье дожидалось послеобеденного часа на мраморной столешнице комода, а крошечное окно было всегда открыто; но все же он помрачнел, уставился на мой лоб, мой рот, когда я неосторожно сказал, что мне нравится его пот, моему обонянию, ладоням, языку, и, как будто мои слова доставили ему боль, он обнял меня; «его вкус, его запах и то, что я его ощущаю», на что он издал странный звук, я думал, что он смеется, но это было короткое сухое рыдание, сменившееся затем скулющим, долго сдерживаемым ужасом, на скрипучей кровати, в спальне квартиры на Вёртерплац.

Я также вообразил дорожку вокруг Мюгельзее, уже усыпанную разноцветными листьями, невозмутимую гладь озера и звуки наших шагов в умягченной утренними туманами сухой листве, мне хотелось звать его туда и по той причине, что, может быть, там я все же еще смогу его притянуть к себе или сам бесповоротно склониться к нему, однако я знал, что это невозможно, о, как прекрасна осень! но, может, хоть в зоопарк, если прогулку по берегу Мюгельзее он сочтет слишком дальней или обременительной; ведь если верить картинкам – разглядывать их во время поездки в эс-бане было моим развлечением, – зоопарк это тоже лес, с укромными тенистыми дорожками, и мы никогда там не были, все только планировали; а еще я воображал, как возьму в кухне Кюнерттов нож и убью его на прогулке.

В этой последней берлинской квартире вставал я поздно, точнее, просыпался по два-три раза, пока не удавалось, обычно ближе к полудню, выбраться наконец из постели.

Первое пробуждение – на рассвете, когда доктор Кюнерт, скрипя паркетом, спешил мимо моей комнаты по коридору из их спальни в ванную; я накрывал голову подушкой, чтобы не слышать, что следует дальше; зайдя в ванную, он сначала мочился, и я слышал короткий, отрывистый всплеск, за которым следовало протяжное, затем прерывистое и все более слабеющее журчание; стена была тонкая, и я знал, что он целится прямо в выемку унитаза, туда, где после смывания задерживается вода; в детстве я тоже так делал,

но меня приводило в изумление, что пятидесятилетний университетский профессор все еще развлекается подобным образом; а если сперва доносился тихий всплеск и затем моча глухо разбрызгивалась по фарфоровой стенке, я знал, что он собирался сходить по-большому.

Попердывание само по себе этого еще не означало, ведь он мог делать это и стоя, когда мочился, но звучало оно иначе, чем когда он сидел и унитаз басисто усиливал звук, спутать эти два шума было невозможно, и подушка была бесполезна, побряхтывание, облегченный вздох, шорох и шелест бумаги ясно слышались через стену, подушка помочь не могла, потому что я все же вслушивался, словно бы наслаждался всем этим, словно мучил себя тем, что не мог, да и не хотел закрыть уши – можно закрыть глаза или рот, но уши можно только заткнуть, сами собой они не закроются; но это был еще не конец, шум воды был только короткой паузой, и если бы я не знал, что еще воспоследует, мне хватило бы этих секунд, чтобы снова заснуть, легко унырнуть, потому что при столь внезапных ночных и утренних пробуждениях грань между сном и явью едва уловима, бывает, что даже включенная лампа не отпугивает привидевшихся во сне существ, у них есть лица и руки, и отступают они лишь настолько, чтобы нельзя было их достать, скачут на полки, прячутся среди книг, а бывает наоборот, случается, что очертания комнаты, не теряя четкости, перетекают в сон, я еще вижу окно, но вижу его во сне, и дерево, и гнездо на месте выпавшего кирпича, где живут воробьи, все во сне, все тело мое напрыгается, ибо в этот момент Кюнерт подходит к зеркалу, склоняется над раковиной, прямо над моей головой, сморкается в кулак, плещет вода, он крикает и отхаркивается и выплевывает добытую на-гора мокроту в раковину, в сущности, на меня.

В семь часов меня разбудил стук в дверь, «да, войдите», громко сказал я на всегда чужом в таких случаях языке, что означает, что сначала я чуть было не сказал это по-венгерски, и в комнату вошла фрау Кюнерт, чтобы растопить печь.

Вечерами, по хлюпающему ковру из палой листвы платанов, я ходил в театр, и подошвы моих лаковых туфель были всегда слегка отсыревшими.

Мельхиор к тому времени уже исчез.

Я остался один на один с промозглым серым Берлином.

В тот вечер после спектакля я поднялся в квартиру на Вёртерплац, там было холодно, при электрическом свете пурпур штор по-блек, но свечи я зажигать не стал.

За окном шел дождь.

В любую минуту могла нагрянуть полиция и взломать дверь.

В кухне мирно жужжал холодильник.

А на следующий день я тоже уехал из города.

В Хайлигендамме, где ярко светило солнце, со мной произошло что-то непонятное.

Если бы я легкомысленно обращался со словами, я мог бы сказать, что я был счастлив; в это чувство, должно быть, внесли свой вклад и море, и путешествие, и события, непосредственно ему предшествовавшие, не говоря уже о симпатичном местечке, которое с некоторым преувеличением превозносят как «белый город у моря», хотя, помимо импозантных зданий курорта, весь город состоит из дюжины вилл, тоже двухэтажных, полукругом расположенных на морском берегу, но действительно белых, с белыми ставнями, в это время закрытыми, белыми скамьями на ровной зеленой лужайке, белым портиком, в углу которого сложены горкой стулья летних музыкантов, белыми стенами за ядовито-зелеными, аккуратно постриженными кустами и зачищенными от нижних сушьев черными соснами, но главную роль, наверное, все же сыграли обманчивая погода и тишина.

Обманчивая, сказал я, потому что бушевал ветер, и прибрежная дамба отражала огромные волны, плотные, отливающие стальной синевой валы, с грохотом оседающие белой пеной; тишина, сказал я, потому что в паузы между ударами мое внимание проваливалось в пропасть между волнами, в напряженное ожидание, и новый удар перетекающей в звук силы воспринимался как избавление; но вечером, когда я отправился на прогулку, все преобразилось: над открытым морем, почти у самой воды, сияла полная луна.

Я двинулся по дамбе в сторону соседнего поселка Нинхагена, по одну сторону дамбы – рокошущее море с мерцающими гребнями волн, по другую – недвижная топь, и между ними я, единственная живая душа в этой стихии; еще после обеда у меня кончились сигареты, а Нинхаген, оберегаемый от западных ветров так называемым Гешпенстервальдом, то есть Лесом привидений, судя по карте, был не так далеко – я измерил по ней расстояние с помощью переломленной пополам спички, сообразуясь с масштабом; можно дойти; ослепленные ветром глаза временами, казалось, видели проблески тамошнего маяка, и я планировал, купив в Нинхагене сигареты, выпить перед возвращением стакан горячего чаю; представил себе рыбаков в мирной таверне, сидящих за столом при свечах, и представил себя, входящего к ним незнакомца, их лица, повернутые ко мне, и собственное лицо.

Отчетливый и прозрачный, я легко шествовал впереди себя, а следовавший за мной тоже я ступал грузно.

Казалось, не я, а лишь мое тело было не в силах больше переносить вызванную разлукой боль.

Под широкое пальто задувал ветер, он толкал меня, гнал вперед, и хотя перед выходом я надел на себя все что было теплого, я мерз, но не то чтобы ощущал это – я боялся, а от страха, я это знал, полагается мерзнуть, невзирая на милосердно обманывающие нас чувства; в другое время я повернул бы назад, поддался бы страху и нисколько не затруднился бы оправдать свое отступление, сказав, что сейчас слишком холодно, я боюсь простудиться, а это чрезмерно большая цена за бессмысленные ночные блуждания; однако сейчас обмануть себя я не мог: казалось, стал расплзаться мой образ, который, как все мы, я всю жизнь так старательно и усердно лепил, чтобы предъявить его окружению, и в конце концов даже сам поверил в реальность этой карикатуры; и хотя то был я, все привычные рефлексy мои были в полном порядке, появилось что-то неправильное, какая-то трещина, и не одна даже, а разрывы, трещины, через которые можно было увидеть какое-то чужое существо, кого-то другого.

Кого-то, кто давно, но именно в этот, сегодняшний день прибыл в Хайлигендамм и вечером отправился в Нинхаген.

Казалось, то, что теперь последует, уже было пятьдесят, семьдесят или сто лет назад.

Даже если ничего особенного не случится.

Испытывать собственный распад было новым, захватывающим, будоражающим впечатлением, и все же переживал я его с невозмутимостью зрелого человека, как будто был на пятьдесят, семьдесят или сто лет старше, приятный пожилой господин, вспоминающий свою молодость; но в этом, право же, не было ничего удивительного или мистического, ибо принять снотворное, которое я уже несколько лет носил с собой в маленькой круглой коробочке, у меня и теперь не хватило решимости, хотя трудно было представить более романтические обстоятельства для сведения счетов с жизнью; и, чтобы сделать хоть что-нибудь, я вынужден был воображаемым жестом отдалить себя от самого себя, освободиться от необъяснимых чувств, ведь то, что мне представлялось будущим этого чужого существа, было не чем иным, как моим прошлым и настоящим, то есть тем, что все равно уже произошло или происходит.

Исключительность ситуации состояла лишь в том, что ни с тем, ни с другим мне не удавалось отождествиться, и в этом возбужден-

ном состоянии я чувствовал себя актером в романтических декорациях, мое прошлое было всего лишь дурным исполнением моей собственной жизни, таким же будет и будущее со всеми его страданиями, и, стало быть, можно все играючи проецировать в будущее или в далекое прошлое, как будто ничего этого на самом деле не было, а если и было, то было давно, все можно менять местами, и только моя фантазия скрепляет хаотически расползающиеся пласты жизни и упорядочивает их вокруг формируемой гравитацией повседневности некой личности, которую можно назвать моей, которую я в этом качестве представляю миру, хотя это вовсе не я.

Я свободное существо, подумал тут я.

И из этой безграничной свободы мое воображение – случайным и не всегда удачным образом – выбирает только какие-то мелочи, чтобы собрать лицо, которое могли бы любить другие и которое я и сам буду считать своим, подумал тут я.

Сегодня я так не думаю, но тогда это открытие так поразило и потрясло меня, я так ясно увидел перед собой то существо, которое, независимо от различных возможных моих воплощений, оставалось свободным и шло со мной, и я шел за ним, ему было холодно, а мне страшно вместо него, что я вынужден был остановиться, но и этого было мало, я вынужден был стать на колени и кого-то благодарить за это мгновение, хотя колени именно в этот момент не очень хотели смиренно гнуться, мне скорее хотелось остаться бесстрастным, обратиться в камень, но нет, и этого было мало, хотя я даже закрыл глаза; пусть останется только кучка рухляди на ветру.

Желтая луна висела совсем низко, словно бы рядом, рукой подать, отражаясь у самого горизонта бледным пятном, там свет не выхватывал из темноты дрожащие гребни волн и вода казалась совершенно гладкой, но это иллюзия, думал я, иллюзия расстояния, точно так же, как то, что виделось с другой стороны дамбы, в трясине, где свет не имел объекта, поверхности, форм, чтобы в них отражаться, и потому исчезал, пропадал, и поскольку, как ни напрягай глаза, ничего определенного там не было видно, там не было темноты, черноты, там было небытие.

В Хайлигендамм я приехал под вечер, перед закатом, а в Нинхаген отправился уже после наступления темноты, при свете луны.

Я не мог знать, что было там, где на карте значилось болото, а в путеводителе упоминалась топь, в любом случае то была низина.

Над ней царило безмолвие.

Ветер тоже вроде стихал, разворачивался над дамбой и пропадал.

Что там, осока и камыши? или топь, прикидываясь обыкновенной почвой, покрыла себя травой?

Было время, когда я любил щекотать себе нервы привидениями, но это небытие казалось теперь гораздо страшнее.

Тогда, много лет назад – о чем позднее, как бы я ни хотел этого избежать, мне придется сказать подробней, – если тень, движение или шум неожиданно воплощались в некой химере, которая окликала меня из-за плеча, говорила со мной или просто молчала, я знал, что это воплощение моих страхов, но теперь химера эта неподвижно застыла над топью, не шевелясь, не подавая голоса, не отбрасывая тени.

Она просто наблюдала.

Стояла над топью, пустая холодная оболочка, и могла бы так наблюдать за любым, кого сюда занесло, насмешливо, что мне было неприятно.

Но я не сказал бы, что она меня ужасала, скорее она была просто строгой и силу свою проявляла в том, что обуздывала мою лихорадочную фантазию, которой не терпелось пуститься галопом, изобрести собственную историю, но тщетны были амбиции, она решительно давала понять, что это она спутала в моем теле все времена, проделала те прорехи, через которые я мог заглянуть в свою душу, и в качестве платы за игру с самораздвоением просила меня, чтобы я не забывал и о ней и не верил в свою историю, выдуманную в виде опоры, и если уж у меня не хватает юмора или сил, чтобы покончить с собой, я должен хотя бы всегда ощущать, бояться ее, знать, что она где-то рядом, вне меня, но способна в любое время вторгнуться и задеть жизненно важные органы, которых, как я ни ухищрайся, как ни думай, что я от нее независим, у меня, как у всех, не больше, чем один или два, и фантазия никогда не заменит мне жизнь, так что не стоит мне заноситься и думать, будто залитый лунным светом морской пейзаж может мне принести свободу, не говоря уж о счастье.

К тому времени я уже встал и, как человек, совершивший обязательную молитву, непроизвольно отряхнул колени.

И от этого жеста, как бы ни извинять его обычной привычкой к порядку, я снова почувствовал себя немного смешным и фальшивым и, оглянувшись назад, подумал, не возвратиться ли, пока не поздно, в конце концов, сигареты можно купить в ресторане, где днем я так славно обедал в отдельном, за стеклянной дверью,

зале с банкетками, там можно выпить и чаю, до десяти ресторан открыт; ветер по-прежнему бушевал, мне хотелось быть вместе с ним и бросаться на камни, но огоньки Хайлигендамма уже мерцали вдаль, я даже не заметил, как далеко я ушел и, казалось, поднялся выше, потому что несколько крохотных звездочек, означавших дома, светили где-то внизу, на линии, разделяющей землю и воду; бежать было стыдно, но не меньше меня тревожил упирающийся мне в спину пустой взгляд топи.

Я думал над тем, как продолжить путь.

25

Идти так, чтобы не прикоснуться с ним частью своего тела, и прежде всего спиной, было невозможно. Или спуститься с дамбы?

Когда мне пришла в голову эта идея, впрочем, бессмысленная, так как пенящиеся в желтоватом свете луны волны, как я видел, уже захлестывали подошву дамбы, и одна часть моей расколовшейся личности находила весьма забавным, что другая пыталась ловчить, надеялась укрыться под защитой дамбы, избежать того, что она неизбежно должна принять, – когда мне явилась эта идея, ее сопровождала фигура, совсем не призрак, а просто плод воображения, молодой человек, который входит в ту самую стеклянную дверь, смотрит по сторонам, наши взгляды встречаются, и зал ресторана заливают солнце.

Мне пришлось развернуться и продолжить свой путь к Нинхагену.

Час от часу все забавней, подумал я.

Было странно, что я был здесь, но воображал, что меня здесь нет, а рядом со мной шел пожилой господин, которым я стану, вместе с ним шла его молодость; пожилой господин, вспоминающий свою молодость на приморском курорте; для моих целей, ограничивавшихся теперь только литературой, все это было идеально, зал с банкетками, стол, покрытый белой дамастовой скатертью, кофейная чашечка, которую он только что поднес ко рту; вместе с ним вошел и молодой человек, который, взявшись за спинку стула, учтиво пожелал присутствующим за общим столом доброго утра, и чтобы получше его разглядеть, ибо именно он меня больше всего интересовал, я отослал его назад к двери, я чувствовал, что он целиком принадлежит мне, ведь его не существовало; и был, кроме нас, еще некто, тот, кто за всем этим наблюдал и от кого я получил этого белокурого юношу явно в обмен на свое согласие стать беспомощным инструментом в руках этого наблюдателя.

Несомненно, это и был тот момент, когда я заключил подготавливаемый уже в течение лет негласный договор, ибо если сегодня,

зная уже все последствия, я, с грустью запоздалой мудрости, вообразу себе невозможное, а именно, что случилось бы, если, повинуясь страху, я не продолжил бы путь к Нинхагену, а повернул назад и, как все здравомыслящие смертные в таких обстоятельствах, укрылся бы в пошлом и скучном гостиничном номере, то, наверное, приду к выводу, что история моя осталась бы в самых добропорядочных рамках, и тогда все завихрения и отклонения, которыми была полна моя прежняя жизнь, скорее всего, стали бы просто знаками, указывающими, куда нельзя, и, возможно, со здоровым и трезвым отвращением я задушил бы в себе то блаженство, которое даровала мне красота моей аномальности.

ПРОГУЛКА ДАВНО МИНУВШИМ ДНЕМ

Когда накануне после обеда я прибыл в Хайлигендамм, я был слишком усталым, чтобы переодеваться и участвовать в общей трапезе, поэтому, решив представиться обществу поутру, велел подать ужин в номер и рано улегся.

Но сна не было ни в одном глазу.

Казалось, будто я лежу внутри какой-то большой темной, теплой и мягкой оболочки, со всех сторон атакуемой морскими волнами, и хотя я ощущал себя здесь в безопасности, всякий раз, когда я собирался вытянуться в своем мягком коконе, над головой моей прокатывались волны и пена брызгала мне в глаза.

В здании было тихо.

Мне казалось, будто за окном завывает ветер, однако игольчатые кроны черных сосен маячили за окном неподвижно.

Я закрыл глаза, чтоб ничего не видеть, но, смежив веки, снова оказался внутри темной оболочки, в которой было не совсем темно только потому, что передо мной возникали и исчезали картины, картины, в которых присутствовал я, они не давали покоя, какие-то сцены из моей жизни, казалось, давно уж забытые, потому что я хотел их забыть; в постели, где я лежал, спал на спине мой отец, при этом я знал, что он спал не на этой кровати, а на узком диване в гостиной, туфли на полу выглядели без его ног сиротливо, он бесстыдно раскинул огромные ляжки и храпел; послеполуденный солнечный свет, проникая сквозь щели закрытых жалюзи, падал в комнату полосами, полосы пересекали дощечки паркета, и я чувствовал, что от этого зрелища мое погруженное в полусон тело конвульсивно вздрагивает, смотреть на это было невозможно, я жаждал воздуха, света, дышащее тело моего отца превращало прошлое в слишком близкое и слишком болезненное настоящее, но потом меня снова окутала темнота, и я увидел себя, я вдруг появился в свете уличного фонаря, потом пропал, я направлялся к себе по мокрой знакомой улице, возможно, то была пустынная Шёнхаузер-аллее, уже за полночь я возвращался накануне своего отъезда от моей престарелой подруги Натальи Касаткиной; при этом

сам я стоял на углу Зенефельдерплац, у общественного туалета, и ждал, пока я подойду, стук шагов то нарастал, то стихал, и неосвещенное строенье в окружении голых кустов на площади, казалось, издавало шумы, пытелo, дверь хлопала на ветру, она открывалась и закрывалась в ритме моего дыхания, и когда опять приоткрылась, я заглянул внутрь: перед блестящей от смолы дощатой стенкой стоял высокий мужчина, и когда я наконец приблизился, он, усмехнувшись, протянул мне розу.

Роза была лилово-синей.

Но я не хотел прикасаться к ней, хотел как-то избавиться от этого наваждения; как хорошо было бы отдохнуть сейчас в покойном, залитом солнцем месте; ко мне в оболочку, мягко скользя, всплывает моя невеста, резким движением срывает с головы шляпку с вуалькой, тяжелые рыжие волосы рассыпаются по ее плечам, она с какой-то звериной страстью дышит мне в лицо; но вместо привычного аромата ее дыхания до меня долетает неприятное, почти зловонное дуновение.

Где-то поблизости хлопнула дверь.

Я встрепенулся и сел в кровати.

Дверь спальни была открыта, в гостиной синевато сияла блестящая белая мебель.

Окна, через которое я мог бы различить кроны сосен, не было, шторы задернуты, воя ветра не слышно, только звуки моря, но и те отдаленные, так как номер мой выходил в парк.

Казалось, будто захлопнулась дверь общественного туалета, заключительный аккорд сна, услышанный уже почти наяву.

В коридоре раздались торопливые удаляющиеся шаги, а в соседней комнате кто-то вскрикнул или заплакал, похоже было, что очень громко – или стена была слишком тонкой, – потом раздался глухой тяжелый удар, как будто на пол упал какой-то предмет или тело.

Я прислушался, но за ударом ничего не последовало.

Я не смел шевельнуться, ведь скрип кровати, шелест откинутого одеяла, всякий неосторожный жест мог стереть мгновение, поглотить шум, возможно, даже убийства, но все было тихо.

Не знаю, должно быть, мне это приснилось; ведь как часто случается, что человеку снится, будто он проснулся, а на самом деле это вовсе не пробуждение, а новая стадия сна, ступень вниз, к еще большим глубинам, а с другой стороны, казалось, что этот крик или плач и звук падающего тела – все это однажды уже случилось и связано было с отцом; глаза мои были открыты, но я все

же видел, как он дергается во сне, подпрыгивает и падает с дивана на расчерченный солнечными полосками пол; в то время, двадцать лет назад, он имел обыкновение дремать после обеда на диване в гостиной, где по ночам спал я, мы снимали тогда те самые аппараты, откуда сейчас мне слышались эти необычные звуки, так что вполне возможно, что я переживал все это не наяву, а заново видел во сне, это тем более вероятно, что тот случай, навсегда положивший конец прекрасным хайлигендаммским денькам, я вспомнил перед тем, как закрыть дверь террасы и лечь в постель.

29

Тогда, теплыми ночами, мы оставляли открытыми не только все окна, но и дверь террасы, что меня особенно радовало, так как стоило родителям закрыть дверь своей спальни, я, выждав какое-то время, тихонько вставал и, симулируя бесстрашие, выскальзывал на террасу.

Угрожающе пустынная в этот час, широкая и огромная, она простиралась над парком, в лунные ночи резко очерченная, в безлунные – размытая по краям, покачивала меня среди зыбких игольчатых теней сосен, и если я наблюдал только эту картину, отделив себя взглядом от всего окружающего, то казалось, будто я вовсе не здесь, а на борту корабля, бесшумно летящего по морской глади; но прежде чем выскользнуть на террасу, мне всякий раз нужно было удостовериться, действительно ли я буду один, так как случалось, что я не замечал силуэт жившей в соседнем номере барышни, которая, опираясь на перила, стояла в углу террасы, как тень или призрак, в зависимости от лунного освещения, и если она была там, я не мог выйти, поскольку, хотя между нами и завязались какие-то тайные отношения, действительные только ночью и боящиеся света дня, я все-таки опасался, что она наябедничает на меня родителям; несмотря на то что близость ее была мне приятна, так что я этой близости иногда даже жаждал, ночные вылазки доставляли мне истинную радость, только если я был один и воображал корабль, уносящий меня далеко отсюда.

В первый раз, когда я неосмотрительно выбежал на террасу и ошеломленно замер посередине, светила луна, но слабый свет пробивался сквозь неподвижное облачко; она стояла в густо-синем мерцании ночи, обратив лицо к свету, и я принял ее за призрак, за некую реальную, действующую в этом мире сущность, к встрече с которой я был уже основательно подготовлен нашей служанкой Хильдой, рассказывавшей, что призрак должен быть красивым, «они просто потрясающие, глаз не оторвешь»; и действительно, легкий распахнутый пеньюар, накинутый на изящный стан,

и серебриющиеся на свету длинные, ниспадающие до пояса волосы, казалось, подтверждали именно это; она была прекрасна, стояла, словно бы не касаясь ногами земли и все-таки прочно, глаза ее вроде бы были открыты, но глазных яблок в глазницах не было; когда прохладный ночной ветерок коснулся моего лица, я понял, что это ее дыхание, выдох, и что за ним последует вдох, которым она втянет меня в себя, спрячет в пустой оболочке тела и унесет отсюда.

Остановиться меня заставил не страх, а если и страх, то страх такой степени, когда ощущения перетекают в прозрачный восторг, в состояние такой интенсивности, что тело, кажется, вырывается из своей оболочки; я не чувствовал ног, не чувствовал рук, поэтому нечем было пошевелить, и в то же время, даже не задумываясь об этом, я ощущал сразу всю свою десятилетнюю жизнь, с которой мне предстоит теперь распротиться, перевоплотившись в кого-то другого; нечто подобное, но уже позднее, я чувствовал, только когда был влюблен, и это необычайное состояние казалось мне совершенно естественным не только потому, что я был подготовлен к нему рассказами нашей Хильды, но и потому, что я сам страстно его желал.

Разумеется, эта смесь священного трепета и неистовой страсти овладела мною лишь на мгновение, я быстро понял, что все это, хотя и переживается мной реально, иллюзия, «ведь это же фрейлейн Вольгаст, наша соседка», а фрейлейн Вольгаст, которую частенько поминали во время наших дневных прогулок, я не раз видел на совместных трапезах беседующей с моей матушкой, и вообще вся эта игра в привидения даже мне стала несколько подозрительной, особенно после того как отец, когда мне что-то помешалось, кивнув с серьезным и почти мрачным видом, но с ехидным удовлетворением человека, обладающего чувством юмора, сказал, ну конечно, конечно, призрак должен быть в камышах, где ему еще быть, тем более что я его видел, хотя сам он, продолжал отец, как ни напрягает глаза, ничего не видит, правда, вроде бы что-то слышит, но нет, он ошибся, он ничего не слышит, что вовсе не означает, что минуту назад его там не было, ведь это у них в природе – то появляться, то исчезать, на то они и призраки, чтобы иногда быть видимыми, а чаще всего невидимками, больше того, если я хочу знать, у них есть обыкновение являться не каждому, не любому, а только людям исключительным, так что я должен быть польщен и счастлив, да он и сам рад, что призрак решил явиться именно его сыну, однако что до него, отца, то он давно уже не испытывал сего адского удовольствия, его призраки куда-то подевались, исчезли,

о чем он весьма сожалеет, чувствует себя без них обкраденным и пустым, об их существовании он почти забыл, однако, дабы иметь возможность сопоставить свой прежний опыт с моим теперешним, он просил бы меня по возможности точно описать наружность моего призрака.

В тот день мы отправились на прогулку более дальнюю, чем всегда, что само по себе, даже не считая появления призрака, было не совсем обычным, ведь, как правило, мы гуляли в непосредственной близости от курорта, не осмеливаясь покидать территорию парка, за которой была девственная природа, берег моря, усеянный черными скалами с их неприступными кручами и расселинами, а в другом направлении – болото с темным и непрозрачным озерцом посередине, далее улиточная ферма, а еще дальше, уже на суше – страшный, как в сказках, буковый лес, или «дремучие дебри».

Правда, и сам парк со стройными белыми виллами по краям, распахнутый в сторону моря, был, можно сказать, преогромным, с широкими въездами и выездами для экипажей, с веером причудливо разбегающихся тропинок, пересекающих изумрудные лужайки, довольно просторные и для одиноких черных сосен, и для белоствольных берез, собранных в аккуратные, но неправильные купы; набережная тоже была частью парка, прямая как стрела, защищенная каменной стеной с высокими удлиненными мраморными вазами и отделявшая сушу от моря; в некотором смысле к парку относился и коротенький участок дамбы, бывший вроде бы непосредственным продолжением набережной, но все же отдельный от нее, что подчеркивалось и тем, что вместо привычного мелкого белого гравия грубая поверхность дамбы была посыпана пригодной для прогулок белой галькой, но в гальку эту мои ноги погружались по щиколотки, так что как бы ни старался кто-то на этом коротком участке превратить дамбу в приятно похрустывающую под ногами дорожку, дамба сурово вздымалась между болотом и морем, как напоминание о прозаических обстоятельствах ее возникновения – когда однажды, за одну ночь, во время случившегося несколько веков назад невиданного прилива, нахлынувшего на берег, вода была отделена от воды и уютная морская бухта со временем стала непролазной топью; уж скорее, наверное, можно было назвать частью парка платановую аллею, хотя она, в обыденном смысле этого выражения, вела нас из мира сего: от заднего входа курзала на железнодорожную станцию; а дальше пути не было, дальше путь вел только назад, если мы не хотели прогулку превратить в поездку.

Родители никогда не решали заранее, куда мы пойдем гулять, решение определял случай или, может, не слишком богатый выбор, так что было совершенно излишним задумываться, по какой из двух дорожек пойти, возвращаясь из курзала, свернуть ли на набережную или пойти на дамбу, а возвращаясь оттуда, обогнуть отель и отправиться в сторону станции; а можно было сократить время в открытом павильоне курзала, расположившись в плетеных креслах, и тогда для реальной прогулки времени уже оставалось так мало, что для возвращения вместо разумного и короткого маршрута мы выбирали непрактично длинный, ведь это не имело ровно никакого значения, если не считать приятной и повторяющейся ежедневно игры, связанной с выбором из желаемого и возможного, но все это лишь до того момента, когда жемчужный цвет неба начинал сгущаться и мы, уже сидя в комнате или на террасе, наблюдали, как небо заливает ровная темнота.

Однако в тот вечер сумерки застали нас вне отеля, хотя послеобеденная прогулка началась самым обычным образом, сперва мы дошли до берега, чтобы, привалившись спиной к каменной стенке, проделать дыхательные процедуры, что занимало не более четверти часа и заключалось всего лишь в том, чтобы, расслабив насколько возможно мышцы и погрузившись в сосредоточенное молчание, закрыв рот, вдыхая и выдыхая воздух только через ноздри, постараться использовать предзакатное время, которое, по мнению доктора Кёлера, вследствие высокой влажности и присутствия в воздухе натуральных веществ, ощущаемых слизистой оболочкой носа как приятный аромат, особенно благотворно для очищения дыхательных путей, расширения легких и, как следствие, стимулирования кровообращения и успокоения нервов; и хотя эта благородная цель, как неустанно подчеркивал высокоученый доктор, достижима лишь при условии, если уважаемые пациенты будут неуклонно следовать его указаниям и не нарушать с легкомыслием необыкновенным правил, к примеру прислоняться во время упражнений к деревьям и стенкам, не говоря уж о тех, кто предпочитает болтать на террасе или в павильоне курзала, и лишь когда в разговоре наступает заминка, начинает с одухотворенным видом сопеть и пыхтеть, пока не вспомнит, чем еще нужно безотлагательно поделиться с собеседниками, о нет, о таких дамах и господах не стоит и говорить, по сути, они уже в морге, изнеженность их понятна, но те, кто хотят продлить свое пребывание на земле хотя бы чуть-чуть, должны, пока не закончат все упражнения – три раза по пять минут, – стоять на своих ногах, да, сто-

ять, свободно, без всяких подпорок, возражения здесь неуместны, ибо красота и здоровье неразделимы, и по этой причине он был бы чрезвычайно доволен, если бы мог убедить господ и особенно дам, разумеется, в том, что красивой внешности нисколько не повредит, а, напротив, будет способствовать, хотя более сложным сравнительно с корсетами и притираниями путем, если в интересах собственного здоровья мы не будем стесняться даже делать гримасы, в конце концов это необходимо лишь в течение первых пяти минут, пока гниlostный воздух не выветрится из легких, но делать это нужно не в комнатах, пропахших табаком и духами, там мы вдыхаем ту же самую грязь, которую выдыхаем, а непосредственно у воды, не стесняясь сторонних глаз, ведь речь идет о нашем здоровье, поэтому никакого стеснения, дышать носом, но раздувать не грудь, как чванливые в своем смирении католики, а проталкивать воздух в живот, ведь мы, черт возьми, протестанты, поэтому можем спокойно заполнять воздухом наши животы, а не головы, всему свое место, и все будет замечательно, серое вещество – в голове, а кислород – в животе, если, конечно, милые дамы не перетянули его сверх всякой разумной меры корсетом, и задержать дыхание, считая до десяти, после чего медленно выдохнуть все дурное, что в нас накопилось – да, во всех нас – и что не только не нужно, но и неприлично держать в себе.

33

Солнце скатилось за горизонт, но темнота наступила не сразу, красные отблески еще долго играли на посеревшем небе, море же потемнело внезапно, лишь белые гребни вскидывающихся волн сверкали какое-то время, но над водой уже колыхалась вечерняя дымка, которая постепенно укутывала и парк, чайки взлетали все выше; и стоя там, слыша не только дыхание других за моей спиной, но и размеренное похрустывание гравия под ногами гуляющих, я ощущал все это – и крики чаек, и тройной ритм прибоя, нарастающий рокот, удар и шипение, которому, я заметил, пыталось следовать и мое дыхание, – как самую благодатную тишину, как безмолвие, в котором неподвижно замирают все чувства, тонут и растворяются мысли, едва замутив поверхность тишины и не успев оформиться, чтобы потом, разбуженное скрипом гравия, чьим-то забавным сопением, переключкой и внезапным умолканием чаек, или каким-то физическим ощущением, прикосновением прохладного ветерка, хрустом коленей, возможно, зудом, или душевным переживанием в виде мимолетной, не связанной ни с чем тревоги, безотчетной великой радости или судорожно-го томления, – что-то снова устремилось к поверхности тишины,

что-то, что просится на язык, что можно было бы обдумать или даже осуществить, но власть чувств все же не позволяет нам этого, она все сковывает, она наслаждается собственной безраздельностью, и нет для нее большего наслаждения, чем наслаждение чем-то неосуществленным, отдохновляющей паузой неопределенности.

Я не ведаю, какое воздействие оказывало это безмолвие на других, на моих родителей, но знаю, что сам я испытывал от него впечатления гораздо более глубокие, чем это свойственно для столь раннего возраста, и, кажется, даже предугадывал, что состояние неопределенности, переходности, промежутка будет всегда держать меня в своем нещадном и благодатном плену, что не могло не пугать меня, ведь гораздо лучше было бы походить на тех, кто нашел себе точку опоры по ту или другую сторону этой пограничной зоны, во всяком случае на более надежной, как им представляется, почве.

Короче сказать, я предугадывал свое горькое будущее, и до сих пор не могу решить, случилось ли это потому, что, в точности следуя предписаниям доктора Кёлера, я достигал состояния, которое и было целью этой гимнастики, или, наоборот, мне удалось разобратся в дыхательных упражнениях старика Кёлера, так как это созерцательное состояние заведомо было уготовано мне судьбой, это последнее кажется мне более вероятным, хотя предопределение, возможно, было окрашено и усилено моей обязательностью, ибо пунктуальность и чувство долга были присущи мне, как я понял еще до хайлигендаммских каникул, не от усердия или интереса к тем или иным занятиям, но прежде всего от желания как-то скрыть от мира мои сладостно смутные состояния, порождаемые необузданной ленью, чтобы ни лицом, ни жестом не выдать, где на самом деле я пребываю, чтобы меня здесь никто не тревожил, чтобы, укрывшись за ширмой автоматизма, с которым я выполнял все задания, свободно мечтать о том, что действительно занимало меня.

Я был рожден, чтобы жить двумя жизнями, или, точнее, две части моей разорванной жизни как бы не гармонировали друг с другом, или, еще точнее, даже если моя открытая жизнь и была сопряжена с моей тайной жизнью, я все-таки ощущал между ними какой-то противоестественный разлом, расставленную чувством вины западню, нечто труднопреодолимое, ибо выказываемая на людях дисциплинированность приводила меня в состояние какой-то уныло-растерянной тупости, которую я поневоле компенсировал еще более лихорадочными фантазиями, в результате

чего две мои половины не только все дальше отодвигались одна от другой, но каждая все более замыкалась в своем пространстве, и все меньше оставалось вещей, которые я мог бы переместить из одной половины в другую, а это уже было больно, мой организм не способен был здраво переносить подобное самоотречение, и боль порождала в душе страстное желание походить на других людей, которые не выказывали никаких признаков постоянно подавляемого внутреннего напряжения; я хорошо научился читать мысли по лицам и тут же отождествляться с ними, но эта основанная на сопереживании миметическая способность, желание быть иным приводили лишь к новым душевным мукам, не давали мне облегчения, я не мог стать иным, иным я мог только притворяться, но и это было так же невозможно, как полностью слить две свои половины, сделать тайную жизнь открытой или, наоборот, освободиться от всяческих грез и комплексов, то есть уподобиться тем, кого принято называть абсолютно здоровыми.

Я не мог не считать болезнью, неким проклятием или порочными отклонениями свои почти бесконтрольные склонности, но в светлые часы жизни эта болезнь казалась мне не тяжелее осенней простуды, которая – каким бы вконец потерянным я себя ни чувствовал – не только легко излечивалась с помощью горячих отваров, холодных компрессов, горьких пилюль и медово-сладких прохладных компотов, но и обещала, и в краткие промежутки между приступами лихорадки это можно было предчувствовать, что в конечном счете, когда я впервые встану и смогу подойти к окну, я почувствую себя удивительно легким, прохладно-чистым и слегка разочарованным; ибо как ни тянулись ко мне заглядывавшие в окно ветви, как ни пытались ухватить меня своими ладонями-листьями, ничего страшного не случилось, я вижу, что на улице почти ничего не изменилось, что болезнь моя никого не смутила, ничего не нарушила, и комната моя, сотрясаемая поступью великанов, не превратилась в огромный зал, все такое же, как и должно быть, даже более дружественное и знакомое, потому что предметы больше не вызывают неприятных воспоминаний о давно уж минувших событиях, уверенно и спокойно, почти безразлично стоят на своих местах; такого или примерно такого душевного выздоровления жаждал я, однако лекарство от смущавших меня постыдных грез мне нужно было найти самому.

В тот день, закончив привычные воздушные процедуры, мы сначала отправились к станции, в чем не увидел ничего чрезвычайного даже мой тренированный однообразием нашей жизни

и потому чувствительный к самым тонким нюансам глаз; прекратив упражнение несколько раньше предписанного, отец, отдуваясь, с видом человека, прошедшего через ужасные испытания, навалился своим забавно раздобревшим телом на каменный парапет и с насмешливым самодовольством оглянулся на мать; он хотел повернуться к морю и все же не удержался и оглянулся, однако и в этом не было ничего необычного, он всегда так делал; море, которое мать называла «чарующим», и красоты природы вообще его утомляли не меньше, чем весь этот цирк с упражнениями, разглядывать в море было нечего, «это просто вода, дорогая, большое пустое пространство», заявлял он, если только на горизонте не появлялось какое-то судно, потому что тогда он мог развлекаться тем, что, выбрав на берегу какую-то «представляющуюся неподвижной» точку, отслеживал с ее помощью невероятно медленное движение корабля, определяя угол между исходной его позицией и той, в которой он оказался, «сместился на двенадцать градусов к западу», случалось, выкрикивал он совершенно неожиданно, а также не упускал случая отпускать безответные замечания по поводу перемен, наблюдаемых в перемещениях отдыхающих, совершенно не интересуясь, следим ли мы за его мыслями – «мысли по большей части не что иное, как побочный продукт жизнедеятельности», говорил он, «потому что мозг, подобно желудку, требует, чтобы его неустанно набивали чем-нибудь подходящим для переваривания, а рот, да не будем судить его строго, просто отрыгивает всю эту полупереваренную жвачку»; но было в отце и достаточно снисходительности, если только он не был во гневе, чтобы не портить другим удовольствие, больше того, созерцание человеческих слабостей и наслаждений он находил поистине интересным и занимательным и делал их объектом своих развлечений; возможно, именно отсутствие интереса к природным явлениям объясняло его склонность ко всему примитивному, непристойному, низменному, иначе сказать, он переживал природное в более широком и общем смысле, через грубые силы человеческой природы, а все изысканное или манерное имело целью, как он полагал, лишь сокрытие сущности и достойно было насмешки и едкой иронии; «Теодор, вы просто невыносимы», порой раздосадованно говорила ему мать, которая и радовалась и страдала от того, что ее привычки, за которые она стойко держалась, непрерывно подвергались разоблачению; в поведении отца и впрямь было что-то тревожно двуличное, ибо он почти никогда не высказывал свое мнение открыто, так сказать, в лоб, хотя мнение у него было, и мнение обо всем категорическое,

но он, симулируя нерешительность и внушаемость, соглашался во всем и со всеми, о нет, он не собирался спорить, он глубоко уважал право каждого иметь свои представления, он просто колебался и, словно подыскивая аргументы в поддержку истинности чье-либо утверждения, переводил его в условное наклонение, обставлял тяжеловесно-замысловатыми вопросами и задавался этими нелепыми вопросами до тех пор, пока знакомые, учитывая к тому же его внушительную комплекцию, не находили его просто очаровательным; «мой дорогой Тениссен», бывало, говорил ему тайный советник Фрик, «с такой богатырской грудью и такими, прошу прощения, ляжками вы просто обязаны быть демократом», или, как выражалась вечно нетерпеливая фрейлейн Вольгаст, «наш Тениссен просто топтыгин», отец же, рассчитывая на такой эффект и наслаждаясь им, продолжал рассусоливать, пока вся конструкция утверждения тихо, ни для кого не обидным образом и как бы сама собой не разваливалась на куски; но бывали случаи, когда он не осторожничал, а, напротив, встречал чье-либо утверждение с таким неистовым энтузиазмом, с таким изумленным восторгом (как мою историю о привидениях), омывал его таким горячим и вдохновенным излиянием слов – в чем, как во всяком энтузиазме, тоже было нечто обворожительно детское – и настолько преувеличивал, разукрашивал и гипертрофировал каждую мелкую черточку утверждения, что оно совершенно теряло свои пропорции, буйное воображение раздувало его до монстра абсурдных размеров, и оно отрывалось от всякой реальности, никуда не вмещалось, ни с чем не соединялось, и в этой игре он не знал пощады, продолжал витийствовать, восторгаться, не переводя воспаленного духа, пока реальная оболочка роковым образом не истончалась вконец и не лопалась от собственной пустоты; мою мать глубоко задевали, разумеется, не эти, сомнительные в нравственном отношении, хотя и забавные полеты мысли – мне кажется, если слова не были формулами вежливости или простыми высказываниями, связанными с ходом повседневной жизни, то кроющиеся в их игре возможности не очень-то до нее доходили, что вовсе не означает, что мать была глупой или ограниченной, хотя, к сожалению, нельзя утверждать и обратное, ибо вследствие строгого пуританского воспитания, а может, по сдержанности сухой натуры она не смогла развить в себе не только духовной чувствительности, но и телесной, эмоциональной, все в ней осталось прискорбно незавершенным, как и сама ее жизнь, и наверняка было бы правильней, если бы в месте ее упокоения мой отец установил не женскую статую

в виде крылатого ангела, разрывающего собственную грудь, а нечто более уместное и достойное, ведь в матери не было ничего ангельски женского, и если уж нам так нужен банальный символ, то стройная, на изысканном пьедестале, с мелкой строгой насечкой мраморная стела, резко перебитая посередине кривой трещиной, обнаруживающей более грубую, контрастирующую с внешней шлифовкой структуру камня, была бы куда как уместней и выразительней, что я и констатировал всякий раз, посещая погост.

В родном городе, если можно еще называть его этим словом, во время прогулок я любил пройти через старый центр и, пресытившись зрелищем узких и беспорядочно оживленных улочек, отдохнуть взглядом на раскинувшихся за городскими воротами полях, намеренно повернувшись в ту сторону, где за холмами угадывался Людвигсдорф, деревня, куда в свое время, по субботним дням, мы имели обыкновение прогуливаться с Хильдой; и хотя посещение сельского кладбища никогда специально не планировалось, меня все же тянуло к нему, к тому же оно было по пути, правда, можно было и обойти его по Финстерторштрассе, но ворота в рассыпающейся, в зеленых побегах кирпичной стене так и манили войти, чтобы, с радостью и непринужденностью завсегдага побродив среди заросших бурьяном склепов старинного кладбища, среди холмиков в диковинных буйных цветах, под конец дойти до нашего крылатого ангела, который столь неудачным образом призван был обновить наш фамильный склеп; собственно, затем я и приходил – чтобы видеть это.

Не иначе, меня приводили сюда какие-то мазохистские побуждения, потому что, с одной стороны, эта поделка, даже для своего жанра раздражающе дилетантская, оскорбляла мою взыскательность и эстетический вкус, а во-вторых, здесь, пред этой скульптурой, мой гнев, отвращение и ненависть к отцу вырывались наконец на свободу и даже усиливались рутинной сентиментальностью и целеустремленной лживостью, с которыми каменотес пытался согласовать особые пожелания заказчика со своими собственными художественными, так сказать, идеями; формируя голову ангела, которая не была точной копией матушкиной головы, скульптор, видимо, подкрепив собственные воспоминания художественной изобретательностью автора ее девичьего, писанного в лазореворозовых тонах портрета, что висел у нас на стене в столовой, все же привнес в слащаво-невинное личико девочки некоторые характерные черты моей матери: чрезмерно выпуклый лоб и близко посаженные глаза, тонкий, плавно изогнутый нос, немного нахально

сложенные губы и по-детски очаровательный округлый подбородок напоминали лоб и глаза, нос, губы и подбородок матери, а чтобы хаос был полным и совершенным, под складками накидки, сработанной с ученической примитивностью, угадывалось эфирно-хрупкое тело со вздернутыми маленькими, еще только расцветающими и потому крайне агрессивными грудками, округлым животом, мягко очерченными ягодицами и чуть более костлявыми, чем это было необходимо, бедрами; ветер, дувший в лицо изголовившейся взлететь девочке и откинувший назад ее длинные волосы, прижимал эту чуждую всяческих человеческих форм каменную накидку к самому ее паху с таким наглым бесстыдством, что у зрителя при виде нагромождения этих грубых деталей не только не возникало мыслей о возможной смерти, но удивительным образом ничто не напоминало ему и о жизни или вообще о чем-то естественном, если не считать естественными жалкие фантазии стареющего и готового на все ремесленника; надгробие это было вульгарным и низменным, настолько вульгарным и настолько низменным, что на него не стоило бы тратить ни слов, ни чувств, если бы своим возникновением оно было обязано стечению обстоятельств – неспособности каменотеса с благородной простотой осуществить то, о чем просил его мой отец, однако ни о каком неудачном стечении обстоятельств не идет и речи, напротив, в том, что надгробие стало памятником развращенности моего отца, а не жизни матери, проявилась отнюдь не случайность, а скрытая природа закономерности, заранее предостерегавшей о приближающейся развязке.

Но кто же мог разглядеть в невнятных знаках текущей жизни будущее во всей его полноте?

«Мы опоздаем к поезду», сказал тогда, на берегу моря, отец, и лицо его хотя и еле заметно, но все же переменилось; к насмешливому самодовольству, с которым он только что, склонившись на каменный парапет, оглядывался на мать, теперь примешалось какое-то нетерпеливое смущение, но мать, словно бы игнорируя и странную его интонацию, и необычную фразу – необычную уже тем, что она вообще прозвучала, – ему не ответила.

Иначе, если она только не хотела прервать упражнения, мать поступить не могла, ибо в этот момент была занята тем, что, разинув рот, высунув язык и молча, ритмично пыхтя, выдавливала из живота только что втянутый и задержанный на определенное время воздух, а брюшное дыхание ей, как и большинству женщин, доставляло серьезные трудности; но, с другой стороны, в молчании

матери было и некое, демонстрируемое с обидой и упрямой последовательностью, дидактическое намерение, некий едва уловимый избыток напряженности, говорящий о том, что молчание избрано лишь в качестве средства – показать, что происходящее не останется без последствий, ведь между ними существовало взаимное соглашение на случай, если отец не в силах будет дольше терпеть «это оскотиненное», по его выражению, «дыхание», соглашение, которое они заключили какое-то время назад полушутливым, видимо из-за моего присутствия, но исполненным совсем не шуточных эмоций тоном, а было это после того, как однажды во время упражнений отец совершенно внезапно и с яростной ухмылкой прервал собственные страдания, которые пытался облегчить шумным сопением, криканьем и рычанием, и посмотрел на мать: во взгляде его парящим облачком промелькнуло нескрываемое прозрачное любопытство, ничуть не забавное, не вяжущееся со всем его насмешливым видом, этот взгляд я хорошо знал, хотя в то время и не понимал, лицо его в такие моменты делалось пугающе голым и притягательно уязвимым, ибо казалось, что все прочее, отработанные для употребления в обществе выражения лица, хотя и производили впечатление подлинных, были всего лишь маской, личиной, которая защищает, прячет, скрывает его, – и вот он стоит беззащитный, наконец проявивший себя, неспособный сдерживаться – он был красив, в самом деле красив в этот момент, черные волосы кольцами резко упали на сверкающий лоб, на полных щеках играли ямочки немногого смеха, глаза стали синими-синими, пухлые губы чуть приоткрылись, и тут, как во сне, скользнув к матери, он попросту влез ей в рот и тремя пальцами, нежно и осторожно, что никак не сочеталось с грубостью самого поступка, за самый корень ухватил ее высунутый язык, на что мать, повинаясь оборонительному инстинкту, сперва дернула головой, чтобы сдержать приступ рвоты, а затем, видимо и сама изумившись от неожиданности, вцепилась зубами в пальцы отца с такой силой, что он завопил от боли; с этих пор мой отец должен был смотреть в сторону моря, «не на меня, вы поняли? не на меня, а на море! это невыносимо, слышите? невыносим ваш взгляд» – и все же, когда наступал момент и отец, которому надоедали дыхательные упражнения, наваливался грудью на парапет, я всегда ощущал в напряженности матери, наряду со страхом и настороженностью, также ее желание, чтобы он все же не отворачивался к морю, нет, а чтобы сделал с ней что-нибудь, сделал что-нибудь неожиданное и скандальное, лишь бы положить конец тем мучительным и безнадеж-

ным усилиям, которые, из-за не прекращающихся уже месяцами женских кровотечений, ей приходилось предпринимать для восстановления здоровья, лишь бы она могла свободно последовать за ним в те тайные дали, на которые так выразительно намекали ямочки его улыбки и подернутый дымкой взгляд, да, пусть сделает с ней что угодно; хотя, надо думать, она все же догадывалась, что дела обстояли совсем иначе и что власть ее страха и сдержанности была много сильнее ее влечений.

Поскольку, по сравнению с ней, я имел больше склонности следовать инструкциям доктора Кёлера, мать любила, чтобы я стоял рядом, совсем рядом, можно сказать, в телесно-интимной близости, так что короткие пышные рукава ее блузки едва не касались своими сборками моего лица, что, естественно, вовсе не означало, будто в своей неудовлетворенности она искала утешения во мне или питала ко мне какое-то непозволительно смутное чувство нежности, я вообще не думаю, что она к кому бы то ни было могла испытывать нежные чувства, нет, тому, что мы находились так близко друг к другу, имелось простое логическое объяснение – так ей легче было следить за ритмом моего дыхания и следовать ему, и наоборот, если она останавливалась, выдыхалась или, унесшись куда-то мыслями, сбивалась, я мог подождать ее и помочь снова попасть в колею, дыхание мне удавалось задерживать на долгие секунды и с наслаждением ждать, когда легкое головокружение вытеснит из сознания мои чувства и все то, что до этого я только видел, однако не ощущал, станет отчетливым, вольется в меня, я наконец-то смогу раствориться, почувствовать себя чем угодно, звуком, гребнем волны, чайками или сухим листом, планирующим на краешек парашюта, просто воздухом, но потом эти ощущения постепенно растворялись в красном мареве прилившей к голове крови, и инстинкт, побуждающий человека дышать, заставлял меня почувствовать и услышать дыхание матери, которая, сделав несколько сбивчивых вдохов и выдохов и поколебавшись в некой мертвой точке неопределенности, вместе со мной возвращалась к прежнему ритму, ожидая, что я и дальше буду вести ее за собой; друг на друга мы не смотрели и друг друга не видели, не соприкасались телами, и все же только неосмотрительность и неискушенность могла оправдать или объяснить слепоту, с которой она допустила, чтобы мы оказались в столь щекотливой с чувственной точки зрения сфере, она должна была знать, что мы делаем нечто непозволительное, что соблазнительницей в любом случае выступает она, ведь взаимное восприятие

в отсутствие осязательного и зрительного контакта неизбежно обращается к более чувственным, архаичным, я бы даже сказал, ани-мальным средствам, когда тепло, запахи, таинственные излучения и вибрации, идущие от другого тела, способны сказать нам суще-ственно больше, чем взгляд, поцелуй, объятия, – даже в любви, в которой прямой телесный контакт никогда не является целью, а служит лишь средством дойти до глубин, где как раз и скрыва-ется цель, по мере нашего погружения опускающаяся все глубже и глубже, за все более непроницаемые завесы, позволяющая уло-вить и разоблачить себя – если вообще позволяет – только в пере-живании неутолимой радости и полной бесцельности.

И теперь, двадцать лет спустя, всего за несколько дней до трид-цатого своего дня рождения, который, под влиянием интуиции или навязчивого, хотя и необъяснимого предчувствия, казался мне – и, как выяснилось, не случайно – столь важным поворотным моментом в жизни, что я решил отказаться и от радости, которую мне доставляло общение с моей нареченной в безмятежные после-обеденные часы, и от того наслаждения, что сулило готовящееся в их доме скромное торжество в честь моего дня рождения, и вме-сто этого искать убежища, соответствующего предполагаемому значению момента, в одиночестве, снова в одиночестве; а посему в доверительном, с глазу на глаз разговоре с невестой, что стало возможным, поскольку мой будущий тесть, занятый коммерче-скими делами, еще не вернулся домой, а прелестная фрау Итцен-пильц, сославшись на необходимость распорядиться об ужине, великодушно оставила нас одних, я объявил Хелене о своем наме-рении уехать; она не возразила мне ни единым словом, напротив, я чувствовал, что она это одобряет, ведь ей понятно, что первые главы своего вынашиваемого уже годами повествования я непре-менно должен набросать еще до нашей свадьбы, если я не желаю, чтобы грядущие перемены в нашем образе жизни отклонили меня от моих изначальных замыслов, а то и вовсе перечеркнули их, – «я чувствую, чувствую всей душой, Хелена, что вам не нужны подробные объяснения», сказал я шепотом, и искренность моих слов, без сомнения, лишь усиливалась оттого, что я нежно держал ее за руку, наши щеки так сблизились, что я ощущал отраженное от ее лица собственное дыхание, смешавшееся с ее; красные блики заката заигрывали на стене с узорами шелковых обоев, стояла по-гожая осень, окна были открыты, «и все-таки я считаю нужным, Хелена, поведать вам нечто, о чем не могу говорить без стыда, на-столько мрачен этот предмет и в нравственном смысле предсуди-

телен, словом, то, что я намереваюсь вам сообщить, увеличивает рискованность вашего шага в той же мере, как и мою ответственность, вы должны это осознать или, может быть, изменить решение», – сказал я и, зная, что она уже ничего не будет менять, запальчиво рассмеялся, «речь, короче, идет о том, что счастье, как бы я ни желал его всей душой, хитри не хитри, а все же не то состояние, которое может способствовать творчеству, и, стало быть, если я уезжаю теперь, то как бы намеренно меняю то счастье, которое мог бы испытывать подле вас, на несчастье, которое я всегда ощущаю, не будучи рядом с вами, и всегда ощущал до тех пор, как узнал вас»; надо ли говорить, что, прячась за показной искренностью, я лгал, точнее сказать, признание мое было искренним лишь как предлог, не более; и хотя ее привлекательность только росла оттого, что я так легко ввел ее в заблуждение, так легко пленил, в то же самое время, и именно потому, что доверчивость делала ее передо мной беззащитной, что она не могла быть другой, что в ее голубых глазах заискрились слезинки растроганности, то реальное чувство, о котором я собирался ей рассказать, стало во мне еще тяжелее, «я ухожу, чтобы больше не видеть тебя», должен был я сказать ей, потому что не мог уклониться от бегства и, в известном смысле, от внутреннего побуждения пропасть навсегда, – помню, однажды, покидая их дом, я даже поймал себя, стоя в воротах, на том, что совершенно невольно и злобно рычу, «ну все, конечно, я свободен», и если теперь, когда, прибегая к помощи воображения, я пытаюсь представить себе, что было бы, если бы в тот после-полуденный час накануне моего отъезда я не искал поводы и предлоги, а говорил бы без обиняков, я вижу перед собой ее девичье лицо с белой полупрозрачной кожей, почти призрачное из-за мягкой неопределенности плавных черт и вместе с тем полное жизни из-за рассыпанных вокруг изящного носика бледных веснушек и тяжелых рыжих волос, я вижу, как, услышав столь необычный рассказ, она, не выказывая ни малейшего удивления, улыбается, словно именно этого, только этого и ждала, а когда она так, во весь рот улыбается, то выглядит более взрослой и опытной, в сверкающих влажных зубах видится некое требовательное своеволие; она быстро утирает слезинки, наворачнувшиеся на глаза от сознания нравственного превосходства готового к самопожертвованию человека, и все-таки делает тот самый жест, которого, разгоряченные дыханием друг друга, мы, в общем-то, оба жаждали, этот жест, наверное, должен был быть очень пошлым, но здесь моя фантазия, учитывая, что Хелена в чувственном отношении была совершенно

невинной, добропорядочно спотыкается; как бы то ни было, несмотря на ужин, проведенный в милой семейной обстановке, на чрезвычайно легкое для таких обстоятельств прощание и страстное одобрение и согласие Хелены с моим отъездом, наше будущее все же казалось мне зловещим и угрожающим, построенным, по всем признакам, на взаимной неискренности, даже если мы будем маскировать ее под взаимную бережность и внимание, ибо, как мне казалось, мое неизбежное чувственное влечение к ней будет питать вовсе не та, грубая и не способная объяснить себя, сила, которая, насколько могу судить, познается в настоящей любви; его, влечение это, будут подогревать лишь изысканность красоты и щекочущее сознание обладания ею, а с другой стороны, видимо, и она никогда не решится себе признать, что вынести свою душевную чувствительность и ранимость она могла бы лишь с помощью грубых жестов или даже совместного непотребства, чего от меня она ожидать никак не могла, и этот гипотетический дефицит я ей не восполнил бы ни тяжелой загадочностью своего молчания, ни ложью наигранных приступов искренности.

Конечно, мне не хватало не грубой чувственности или склонности к совместному непотребству, я вообще не верю в возможность здоровой утонченности, которая обходилась бы без непринужденных естественных проявлений; однако, помимо наивных страхов, которые испытывает любой молодой человек перед тем как вести свою нареченную к алтарю, опасения и тревогу вызывало во мне и то, что наши отношения, по крайней мере внешне, очень напоминали мне неуравновешенные и неразрешимые в своей напряженности отношения между моими родителями; в каждом проявлении физической грубости мне виделся жест отца, а в желании этой грубости – вождение матери, и не обладая я сознанием, что смогу отделить друг от друга взаимопересекающиеся линии причин и следствий и таким образом обнаружить почти бесконечную лестницу наших чувств, по которой, не удовлетворенные внешними формами, видимостями, условностями, мы двинемся вниз и внутрь, к пониманию самой сути, то немыслима была бы уже и наша помолвка – ее сделало бы невозможной невыносимое понимание, что моя болезнь – наследственная и что судьба уготовала мне в удел оскорбительную нелепость: повторить жизнь моих родителей, их грехи, полностью уподобиться им и в это трагическое подобие утanutь за собой и ни в чем не повинное существо.

БЕЗЗЛОБНО СВЕТИЛО СОЛНЦЕ

Уже сходил снег, когда, одолев страх перед собаками, я все же отправился после школы домой через лес.

45

Идти нужно было осторожно: лесная тропинка, натопанная по суглинку, круто сбегала вниз, лавируя средь корней и кряжистых старых дубов с увитыми вечнозеленой омелой кронами, средь зарослей бузины, боярышника и шиповника, даже в своей наготе казавшихся непроходимыми; набухший талой водой, толстый слой прошлогодней листвы то и дело скользил под ногами по жирно поблескивающей глине, а мелкие струйки воды, ища себе путь, как раз на тропе сливались в один ручей, в хрустально прозрачный поток, резво бегущий в своем буром русле, вздувающийся на причудливых виражах тропинки, со звоном подпрыгивающий и перекатывающийся через белые валуны; и, уже представляя себе далекий горный массив с необузданными стремнинами и порогами, я скакал между бережками своего ручейка, с одной стороны тропы на другую, туда и обратно, зигзагом, как бы доверивши свое тело притяжению склона; я хорошо понимал, что чем смелее будут мои прыжки, то есть чем более коротко и весомо я буду касаться непредсказуемой почвы, чем быстрее буду выхватывать взглядом место следующего приземления, тем больше будет во мне уверенности и тем меньше вероятность на что-нибудь напороться или же поскользнуться; я летел, я буквально парил.

Внизу, у подножья холма, тропа выбежала на край просторной поляны, заляпанной клочьями снега, и, переводя дыхание, замерла; на той стороне поляны кто-то стоял в кустах.

Повернуть и бежать назад было бессмысленно, просто нужно было как-то умерить дыхание, не пыхтеть, не сопеть, чтобы стоявший в кустах чего доброго не подумал, будто это из-за него я пришел в такое волнение.

Он шагнул из кустов и направился в мою сторону.

Мне хотелось казаться спокойным и невозмутимым, словно бы эта встреча, которую при желании можно было назвать случайной, ничуть меня не касалась, но от бега по спине у меня стекали струйки

липкого пота, горящие от холода уши смешно покраснелись, и ноги вдруг показались какими-то несуразно кургузыми и негнущимися, – я так и видел себя его глазами.

А небо над нами было безоблачно чистым, голубым-голубым, пустым и далеким.

Сквозь деревья, запутавшись в узловатых кронах, беззлобно светило солнце, но воздух был царапающе студеным, мертвую тишину время от времени нарушали воронье карканье и сорочий гвалт, и чувствовалось, что сразу после заката все опять неподвижно замрет.

Мы медленно приближались друг к другу.

На его темно-синем пальто поблескивали золоченые пуговицы, свой черный, из мягкой кожи, портфель он, по обыкновению, держал за спиной, небрежно перебросив через плечо, отчего его длинная шея была чуть наклонена и тело немного сутулилось, но двигался он при этом так элегантно и так раскованно, словно бы пребывал постоянно в какой-то беспечной неге; голова его была вскинута, он прислушивался.

Путь был долгим; за время, прошедшее с той минуты, как я заметил его за кустами, я должен был обуздать, привести в порядок целую бездну нахлынувших на меня самых противоречивых и тайных чувств; «Кристиан!» – изумленный, хотел я воскликнуть, потому что в самом его имени, произносить которое я не решался даже во время короткой и внезапно прервавшейся нашей дружбы, мне чудилась та же изысканность, что и во всем его существе, и точно так же само это имя, произносимое мною только про себя, вызывало во мне страстное и неодолимое влечение, предаться которому я не смел даже в мыслях; произнести его имя вслух значило для меня то же самое, что коснуться его обнаженного тела; потому-то я и старался его избегать, потому дожидался после занятий, пока он отправится домой с кем-то другим, чтобы не оказаться рядом; даже в классе я старался держаться от него подальше, чтобы не иметь возможности заговорить с ним или столкнуться с ним телами в какой-нибудь случайной суматохе; в то же время я постоянно наблюдал за ним, следовал за ним как тень, стоя перед зеркалом, подражал его жестам, и при этом мне доставляло особое и саднящее наслаждение знать, что он представления не имеет, что я слежу за ним, тайно подражаю ему, пытаюсь найти в себе скрытые качества и черты, которые сделали бы меня таким же, как он; он не может знать, не может почувствовать, что я всегда с ним, а он со мною, ведь он даже не достаивает меня взглядом, я для

него – безразличный предмет, бесполезный, ненужный, неинтересный.

Конечно, трезвый рассудок не позволял мне признаваться в этих страстных чувствах даже самому себе, казалось, во мне, параллельно и полностью независимо друг от друга, жили два существа, казалось, что все эти муки и радости, которые он доставлял мне самым своим существованием, были не более чем игрой, не стоящей ни гроша, ведь вторая половина моего «я» ненавидела и презирала его точно так же, как любила и уважала первая; и поскольку я всячески старался не подавать каких-либо видимых признаков любви или ненависти, то выходило, что это я делал вид, будто он для меня – неодушевленный предмет; влюбленность моя была слишком жадной и страстной, чтобы дать ему знать о ней, это сделало бы меня перед ним совершенно беззащитным, а ненависть питала во мне фантазии столь постыдные, что я ни за что не решился бы осуществить их, – вот почему не он, а именно я делал вид, будто я недоступен и непроницаем даже для его случайных взглядов.

«Хочу тебя кой о чем попросить», с холодной сдержанностью сказал он, обратившись ко мне по имени, когда расстояние между нами было не больше вытянутой руки и мы оба остановились, «и буду очень признателен, если ты это сделаешь для меня».

Я чувствовал, что кровь бросилась мне в лицо.

Что уж точно от него не укроется.

Та милая простота, с которой он произнес мое имя, и произнес, я знал это, просто ради безукоризненности стиля, сразила меня: мне казалось теперь, что у меня не только короткие ноги, но я весь превратился в одну большую голову, парящую прямо над землей; жалкое, невообразимо отталкивающее насекомое; от замешательства у меня вырвалось то, чего я сам не хотел: «Кристиан!» – громко произнес я его имя, и поскольку прозвучало это излишне мягко, почти испуганно, в общем, смиренно и никак не вязалось с той твердой решительностью, с которой он заставлял себя дожидаться меня, больше того, просить меня кое о чем, он в изумлении вскинул брови, как будто ослышался или не мог поверить в то, что услышал, и учтиво склонился ко мне: «Да, я слушаю!» – сказал он, а я, находя в его смущении некое неожиданное и приятное удовольствие, взял еще более мягкий, любезный тон, «Ничего, ничего», тихо сказал я, «я просто назвал твое имя. Что, нельзя?»

Его полные губы чуть приоткрылись, ресницы дрогнули, смугловатая кожа как будто чуть потемнела от сдерживаемого волнения,

черные зрачки сузились, отчего оливковые радужки глаз, казалось, еще увеличились; но я думаю, что не формы его лица с широким очень подвижным лбом, худыми щеками, ямочкой на подбородке и непропорционально маленьким, чуть заостренным и, возможно, еще не развившимся носом производили на меня столь глубокое и болезненно притягательное впечатление – скорее всего, виноваты были цвета: в зелени глаз, сверкающих на фоне варварски чувственной смуглой кожи, было что-то абстрактно легкое, зовущее тебя ввысь, в то время как потрескавшаяся краснота губ и чернота нечесаной копны курчавых волос увлекали вглубь, в темноту; его открытый, будто у зверя, взгляд напомнил мне о давних минутах близости, когда мы, не без открытой враждебности и тайной влюбленности забывшись в глазах друг друга, явственно ощущали, что, собственно говоря, наше влечение ни на чем не основано, кроме праздного необузданного любопытства, и что это взаимное любопытство – лишь иллюзия чего-то, но достаточно сильная, чтобы связать и объединить нас, что это любопытство гораздо глубже, чем любые известные своей опасностью чувства, ибо оно бесцельно и неутолимо; и именно синхронное сужение зрачков и расширение радужек открывало в глазах обоих нечто, дававшее ясно и ощутимо понять, что чувство близости между нами – благой обман, что мы во всех отношениях разные и несовместимые.

Мне казалось, будто я вижу не чьи-то глаза, а два наводящих ужас волшебных шара.

Однако на этот раз наши взгляды удерживали друг друга недолго, и не потому, что мы дрогнули, что кто-то из нас отвел глаза, и все-таки взгляд его вскоре переменялся, потерял свою ненамеренную замечательную открытость, наполнился какими-то внутренними целями и соображениями, и глаза потому затуманились, подернулись поволокой, ушли в укрытие.

«Я должен просить тебя», спокойно, но твердо сказал он и, чтобы не дать мне снова его перебить, шагнул ближе и крепко взял меня за локоть, «я должен просить, чтобы ты не доносил на меня, а если ты уже сделал это, попробовать отозвать донос».

Он нервно покусывал губы, дергал меня за руку и щурился, в голосе его исчезли уверенные бархатисто-глубокие нотки, он буквально выталкивал из себя слова, словно стараясь, чтобы даже воздух, который их нес, не касался его губ, он хотел, он должен был выплюнуть из себя эти ненавистные звуки, чтобы чувствовать, что он сделал все, что мог, хотя надежды на действенность этих слов у него было так же мало, как и веры в мою сговорчивость, так что

я и не думаю, что ему было интересно, что я отвечу, да и непонятно было, как он это себе представляет на практике – отозвать донос; казалось, он знал наперед, что ступает на зыбкую почву; он смотрел на меня, но, похоже, смиренные интонации стоили ему таких усилий, что он даже не видел моего лица, я, наверно, казался ему пятном, расплывчатым и неопределенным.

Меня же сознание превосходства и наслаждение этим сознанием сделали уверенным как никогда.

Ко мне обратились с просьбой, и в моей власти исполнить ее или отказать; пришел час, когда я могу доказать свою важность, когда, по желанию и настроению, могу успокоить его или сокрушить, когда одним словом могу отомстить за свои тайные обиды; за обиды, которые, в конечном счете, наносил не он, а я сам, пусть и из-за него, наносил себе; за муки отверженности, которые он причинял мне случайно и неумышленно: тем, что жил, двигался, носил красивую одежду, разговаривал и играл с другими, между тем как со мной не способен был, а может, и не желал установить отношения, о которых я так тосковал, хотя и не знал, какими они, собственно, должны быть; он был чуть не на голову выше меня, но в этот момент я смотрел на него сверху вниз; его вымученная улыбка казалась мне отвратительной; тем временем мое тело не только вновь обрело естественные пропорции, но оказалось в том эйфорическом состоянии неуязвимости, когда сознание прекращает играть, прекращает бороться и, безответственно дернув плечом, сдается на милость всевозможных противоречивых чувств, что делает несущественными и любые внешние формы и формальности, так что мне уже было неважно, каков я, мне не хотелось нравиться; да, я чувствовал на спине холодную пленку остывающей испарины, чувствовал сырость в худых ботинках, неприятную колкость липнувших к ногам суконных брюк, чувствовал, как горят уши, понимал, что я жалок и некрасив, но во всем этом уже не было ничего обидного и унижительного, потому что, вопреки всем убогим и неизбывным физическим ощущениям, я был свободен и был всесилен; для себя и в себе; я знал, что влюблен в него и, что бы он ни делал, я не могу его не любить, я полностью беззащитен и за это могу отомстить ему, а могу простить, мне было все равно; правда, теперь он не казался мне таким же красивым и притягательным, каким его рисовало мое воображение или каким я увидел его, пораженный его неожиданным появлением; от бледности на смуглой коже появился желтоватый оттенок; казалось, он съел что-то с чесноком, и мне не нравился запах его дыхания; в улыбке было какое-то

преувеличенное и карикатурное смирение, что говорило о том, что страх его настоящий, но он всеми силами пытается его не выказать, гордо прячет, скрывает за показным подобострастием, желая тем самым одновременно ко мне подлизаться и обмануть меня.

Я покраснел и вырвал из его ладони локоть.

50 Так значит, выбора у меня все же нет, я не могу ответить ему, как мне хочется; все возможности, открывающиеся для моих чувств, ведут в тупик; доносить на него у меня и в мыслях не было, но если я все-таки это сделаю, донесу сейчас, то навсегда отдало его от себя, может быть, его даже арестуют; а если я притворюсь, будто меня убедила его просьба, то позволю ему с помощью неуклюже разыгранного показного подобострастия ввести себя в заблуждение, и победа достанется ему слишком легко, чтобы за это меня любить; я не стыдился, что покраснел, напротив, даже хотел, чтобы он это видел, ведь больше всего на свете мне хотелось, чтобы он наконец-то разоблачил мои чувства и не протестовал против них; и все-таки ощущение, что я покраснел, дало мне понять совершенно отчетливо, что теперь мне уже ничто не поможет, что бы я ни делал, что бы ни говорил, он снова ускользнет от меня, и не останется ничего, кроме очередного смущающего мгновения, которое он не сможет понять, и моих бесплодных фантазий; но раз так, то я должен поступить в соответствии с убеждениями, беспощадно и трезво, внезапно подумал я; эта мысль была связана с моими родителями, хотя в тот момент я думал совсем не о них, но все же, как бы ни хотелось думать иначе, мои убеждения, если они вообще имелись, все равно были не совсем моими, между тем ситуация казалась слишком неординарной и слишком личной, чтобы в воображении появились их лица или тела и нашептали мне на ухо подходящие слова, которые я, точно попугай, мог бы повторить за ними; и все же они, словно ласковые домашние насильники, сидели наизготовку в моем мозгу, и потому я знал, что существует тип поведения, когда человек игнорирует все эмоции и действует исключительно на основе определенных принципов, которые называются убеждениями; но дело все было в том, что я не мог задушить свои чувства.

«Да я же не из-за себя прошу!» – сказал он еще более резко, и рука, из которой я только что вырвал свой локоть, длинные пальцы, изящная кисть, неуверенно повисла в воздухе, но закончить ему я не дал, не позволил, не хотел больше видеть его таким, поэтому перебил: «Во-первых, было бы хорошо разобраться, в чем разница между доносом и просто докладом».

Но он, словно не слыша меня, продолжал: «Мне жалко мать, я хотел бы избавить ее от очередных неприятностей».

Мы говорили, перебивая друг друга.

«Если ты полагаешь, что я стукач, то нам не о чем разговаривать».

«Я же видел, что после урока ты побежал в учительскую, я видел!»

«Ты думаешь, что я постоянно занят тобой, только тобой?»

«Тебе хорошо известно, что моя мать сердечница».

Я рассмеялся. И в этом смехе ощущалась сила.

«Как надо отвечать за свои слова – так сразу сердечница?»

Глаза его снова вспыхнули, казалось, освещаемые изнутри каким-то холодным светом, он кричал, и пахнущие чесноком слова хлестали меня по лицу: «Скажи, чего тебе надо? Чего? Ну хочешь, я в жопу тебя поцелую!»

В стороне что-то зашуршало, мы оба невольно оглянулись: по заляпанной снегом поляне бежал дикий кролик.

Я смотрел не на кролика, который, допрыгав до края поляны, наверно, уже нырнул в кусты, а на него; разозленные, мы незаметно сблизились, так что если он обращал внимание, мог почувствовать, что мое дыхание, как я ни сдерживался, горячит его шею; небрежно повязанный узел его полосатого шарфа ослаб, верхняя пуговица на рубашке, должно быть, была растегнута, а воротник сполз под вырез джемпера, потому что когда он слегка качнул головой, его длинная шея открылась передо мной, словно странный голый пейзаж: в ложбинке между натянутыми жилами и мышцами, просвечивая сквозь гладкую кожу, размеренно пульсировала артерия, а кончик слегка выпирающего кадыка в беспорядочном ритме, но в строго очерченном круге слегка подпрыгивал; кровь, прилившая к его лицу, когда он орал, постепенно отхлынула, цвет лица вернулся к естественному, его пухлые губы снова чуть приоткрылись, взгляд следил за перемещением кролика, и когда он установился в какой-то точке, я понял, что кролик исчез.

В зеленые ирисы его глаз вливался бледно-желтый свет садящегося за деревьями солнца, и все вокруг, безумолчная трескотня сорок, грай ворон, запах воздуха и тихие шорохи леса, казалось, состояло из той же осязаемой однозначности, что и его лицо: четкое, подвижное даже в своей неподвижности, жесткое; оно не отражало никаких эмоций – оно просто было; легко и естественно открывало себя окружающему, и в этот момент мою зависть и восхищение вызывали не столько его красота и гармония черт и оттенков,

хотя вроде бы именно ими я был зачарован, сколько внутренняя способность без колебаний, целиком и полностью отдаваться каждому мгновению; всякий раз, когда я смотрелся в зеркало, сравнивая себя с ним, я не мог не видеть, что и я отнюдь не урод, но мне хотелось походить на него, даже не походить, а быть полным его подобием; глаза у меня были голубыми, казались ясными и прозрачными, белокурые волосы мягкой волной ниспадали на бледный лоб, но черты моего лица, мягкие, чувствительно-уязвимые, хрупкие, казались мне лживыми и обманчивыми, поэтому если другие находили меня исключительно симпатичным и любили меня теревить и гладить, то сам я считал себя грубым, низменным, мрачным, коварным; ничего симпатичного во мне не было, любить я себя не мог; мне казалось, что я скрывал свою сущность под маской и, чтобы не слишком разочаровывать окружающих, вынужден был играть роли, которые более соответствовали моей внешности, нежели моим чувствам; я старался быть приятным, внимательным, понимающим, улыбчивым, вкрадчиво спокойным, хотя в действительности был угрюм, раздражителен, всей душой жаждал грубых наслаждений, был вспыльчив и мстителен; мне все время хотелось ходить с опущенной головой, чтобы ничего не видеть и не быть видимым, и если я иногда открыто заглядывал людям в глаза, то лишь для того, чтобы убедиться, насколько эффектна моя игра; мне удавалось вводить в заблуждение почти всех; и все же по-настоящему хорошо я чувствовал себя только в одиночестве, так как тех, кого без труда удавалось поймать на удочку, я презирал за глупость и слепоту, а к тем, кто испытывал подозрения, недоверие или вообще не склонен был поддаваться моему влиянию, я относился с таким вниманием и всепоглощающей нежностью, которые отнимали все мои силы и энергию, доводя до какого-то абсурдно приятного полуобморочного состояния, и в таких именно случаях я острее всего ощущал свою хитрость, изворотливость и жажду власти, когда мне в конце концов удавалось покорить людей, совершенно чужих, а то и ненавистных или безразличных мне; я хотел, чтобы все любили меня, но сам не мог любить никого; я чувствовал соблазнительный обман красоты, знал, что ежели кто-то так фанатично вожделеет лишь красоты, обращает внимание только на красоту, тот не может любить и его невозможно любить, но изменить ничего не мог, ибо хотя и чувствовал, что мое якобы привлекательное лицо было не совсем моим, все же его привлекательность казалась вполне пригодной для обмана, моим был обман, и он давал мне власть;

всеми силами я старался избегать людей ущербных и некрасивых, что было понятно, ведь если даже меня называли красивым, в чем я всякий раз убеждался, стоило посмотреть в зеркало, все же я ощущал себя безобразным, отталкивающим, себя обмануть я не мог, мои чувства гораздо точнее подсказывали, каков я на самом деле, чем власть, данная мне внешней привлекательностью, и потому я стремился к той красоте, в которой соединяются внешние и внутренние формы, в которой поверхностная гармония скрывает не хаос несчастной души, а доброту и силу; иными словами, я хотел совершенства или, по крайней мере, полного отождествления с самим собой, свободы быть несовершенным, быть беспредельно злым и мстительным; он был из тех, кто не поддавался.

«Я вовсе не собирался на тебя стучать», прошептал я, но он даже головой не повел, «а если и настучал бы, ты мог бы запросто отпереться, ведь ты мог иметь в виду и вашу собаку, хотя объясниться трудно, но ведь вполне мог иметь в виду».

Шепот мой слетал с губ почти так же неслышно, как облачко пара, вырисовывавшееся в холодном свете у моего рта; лицо его отвечало на мои слова неподвижностью; трудно было представить более изощренную хитрость ума – я намекал на возможность того, чего я не намеревался делать, мягко угрожал и тут же предлагал очевидный способ ускользнуть из сети, которую я могу на него набросить, но тем самым я предавал свои предполагаемые убеждения, в соответствии с которыми я непременно должен был на него донести; только так я мог бы стать сильным и жестким, и возможно, я это сделаю; падать ниже было уже некуда; я не ощущал собственного тела, парил где-то над самим собой – внизу.

Слова были не так важны, гораздо важнее был пар, который я выдыхал, касаясь им его кожи, но, похоже, и этого было недостаточно, потому что взгляд его повис в воздухе, до него, кажется, не доходило, что я имел в виду.

«Мне и в голову не пришло, поверь же!»

Он наконец повернулся ко мне, и я заметил, что недоверие исчезло с его лица.

«Нет?» – спросил он, тоже шепотом; глаза его снова стали открытыми и прозрачными, какими я их любил; «Нет!» – решительно прошептал я, уже и не помня, к чему относится это «нет», потому что я наконец смог проникнуть в тот взгляд, не нужно было больше играть, и, что было еще важнее, я чувствовал, что мои глаза тоже открылись; «Нет?» – переспросил он опять, уже без тени

подозрительности в голосе, как переспрашивает человек, желающий убедиться в своей любви, и слово его облачком пара долетело до моих губ; «Да нет же, не думал даже!» – прошептал я; воцарилась внезапная тишина; мы смотрели друг другу в глаза и были так близко, настолько близко, что мне почти не пришлось шевелить головой, чтобы коснуться ртом его губ.

Моя мать – ее только три дня как привезли из больницы, но и дома она не вставала с постели – была первой, о ком я вспомнил, оставшись один, когда Кристиан исчез за кустами; она лежала в большой кровати и протягивала ко мне обнаженные руки.

Я все еще чувствовал вкус его губ, чувствовал трещинки чужой кожи, мягкость и аромат припухлого рта, они остались при мне, на моих губах, еще чувствовал легкую дрожь чуть приоткрывшегося под моими сомкнутыми губами рта, долгий выдох, который присвоил я, и глубокий вдох, принятый им от меня, и хотя сам факт, возможно, противоречит мне, я не думаю, что это может быть названо поцелуем, и не только по той причине, что наши губы едва коснулись друг друга, и даже не по той, что для нас обоих это прикосновение было актом глубоко инстинктивным, об осознанном, я бы сказал, эротическом применении которого еще толком не знал ни один из нас, но главным образом потому, что в данном случае мои губы были всего лишь последним средством убеждения, заключительным немым аргументом; он же выдохнул на меня свой страх и вдохнул в себя полученное от меня доверие.

Собственно, я даже не знаю, как это кончилось, потому что в какую-то неизмеримо малую долю мгновения я, видимо, целиком отдался осязанию его губ, чувствуя по его дыханию, что он тоже полностью отдается мне, и, зная это, я вовсе не намереваюсь утверждать, что наше соприкосновение или, скажем так, наш необычный обмен аргументами был лишен всякой чувственности, ведь утверждать это было бы смешно, соприкосновение было очень даже чувственным, но чувственным чисто, что следует подчеркнуть, оно было свободно от всяческих задних мыслей, которые во взрослой любви по вполне понятным причинам дополняют поцелуй; наши губы самым чистым, какой только может быть, образом, независимо от причин, независимо от последствий, ограничились только тем, что два рта могут доставить друг другу в неуловимую долю мгновенья: блаженство, отраду, освобождение; видимо, в этот момент я и закрыл глаза, когда уже ничто зримое или происходящее больше не имело

значения, но, думая об этом, я все же должен спросить себя, а может ли быть поцелуй чем-то большим или иным, чем был этот?

Когда мои глаза открылись, он уже говорил.

«Ты не знаешь, где зимой живут дикие кролики?»

И хотя его голос звучал глубже и, может быть, даже грубей, чем обычно, в нем не было никакой поспешности, он спросил меня с такой само собой разумеющейся естественностью, как будто кролик пробежал по поляне не минуты назад, а прямо сейчас, как будто между двумя моментами ничего не произошло, и, глядя на его лицо, глаза, шею, на всю его неожиданно отдалившуюся фигуру в сверкающем опаловым блеском, изрезанном кружевами ветвей и крон пейзаже, я на мгновение ужаснулся невольно возникшей догадке о роковом и непоправимом заблуждении – казалось, его вопрос был вызван не тем, совершенно понятным и почти неизбежным в такой ситуации замешательством, которое он пытается скрыть, перейдя на нейтральную тему, нет, ни во взгляде, ни на лице, ни в осанке даже малейших следов замешательства не было и в помине, он был, как всегда, сдержанно уравновешен, самоуверен и несколько холоден, а может быть, в данном случае правильнее будет сказать, что, освободившись через поцелуй от своих страхов, он вновь стал недосыгаемо самим собой, что во все не означает, что его не задело, не всколыхнуло то, что произошло с ним, наоборот, он был настолько зависим от каждого мгновения собственного бытия, от каждого сиюминутного момента, в котором он был вынужден жить, что все прошлое и еще только угадываемое будущее в равной мере из него вытеснялись, и возникала видимость, будто он не причастен даже к собственному физическому присутствию, будто там, где ему дано быть, его все-таки нет; я же всегда оставался в плену у минувшего, поскольку единственное значимое мгновение могло пробудить во мне столько страстей и мучений, что на следующее мгновение меня уже не хватало и я тоже оказывался не там, где мне надлежало быть, – как и он, но совсем иначе; я не мог уследить за ним.

«Представления не имею», мрачно пробормотал я, как человек, которого только что разбудили.

«Наверное, в норах живут».

«В норах?»

«Можно устроить какую-нибудь хитрую западню и накрыть сразу все семейство».

Потом я, должно быть, тихонько и не спеша открыл дверь и наверняка не швырнул, как обычно, портфель на каменный пол,

тяжелая дверь не захлопнулась за мной с гулким стуком, так что в доме никто не заметил моего возвращения, я не взбежал затем по ведущей в холл роскошной дубовой лестнице, но все эти странные изменения в своем поведении я даже не осознавал и совсем уж не мог догадываться, что с этого времени буду двигаться тише и осторожнее, стану медлительней и задумчивей и еще глубже уйду в себя, что, конечно, не помешает мне замечать события, происходящие вокруг меня, вовсе нет, я буду видеть их даже острее, но видеть безучастным взглядом; двустворчатая стеклянная дверь столовой была распахнута, по приглушенному позвякиванию посуды я точно понял, что опоздал, обед подходил к концу, что, впрочем, нимало не волновало меня, ведь в холле было приятно темно и тепло, послеполуденный свет просачивался лишь через матово-белые стеклышки входной двери, время от времени в радиаторе раздавалось потрескивание и журчание, на которое звучным бульканьем отвечали трубы; я, должно быть, стоял там долго, в пряном аромате свежеизжаренных котлет, и мог даже видеть себя в старинном напольном зеркале, хотя теперь для меня важнее было пурпурно-красное отражение ковра, чем собственное лицо или тело, темный силуэт которого терялся в серебристом свечении зеркала.

Я понимал, как было не понять, что, говоря о кроликах, которых можно поймать в ловушку, он предлагает возможность какого-то общего предприятия, как чувствовал я и то, что, ожидая ответа, он, собственно, ждет, чтобы я собрался, вернулся к привычным формам наших отношений и, может быть, тоже подкинул какую-нибудь стоящую идею относительно совместного приключения, вовсе не обязательно связанную с этими идиотскими кроликами, это могло быть все что угодно, любое приключение, которое требует силы и ловкости, то есть является делом мужским, однако эта возможность, предложенная с джентльменским великодушием, после всего, что произошло, казалась мне уж слишком простой и даже в каком-то смысле смешной – и не только потому, что не слишком вязалась уже с нашим возрастом, но потому, что именно своей детской наивностью выдавала, что это не что иное, как возникшая впопыхах идея, служащая тому, чтобы защититься, иметь возможность не думать о том, что произошло, иными словами, это было прикрытие, отступление, отвлечение чувств, хотя, разумеется, даже такое решение было гораздо благоразумней, чем все, что я мог придумать в сложившейся ситуации, однако благоразумие в тот момент и в той ситуации волновало меня как раз меньше всего; радость освобождения лилась из меня, словно была

ощутимой материей, расходилась кругами, я хотел дотянуться до него чем-то, что исходило из моего тела, и больше всего на свете хотел остаться в этом своем состоянии, когда тело полностью отдает себя во власть всему, что в нем есть инстинктивного, чувственного и эмоционального, теряя в весе и массе ровно столько, сколько в нем занимала высвобожденная энергия, не будучи больше той плотью, которую мы ощущаем как бремя; мне хотелось удержать это состояние и продлить его действие на все последующие минуты жизни, сломать все барьеры, привычки, накладываемые воспитанием и этикетом ограничения, все то, что у нас отнимает будничные мгновения, не позволяет открыть другим самую сокровенную нашу сущность, и поэтому вовсе не мы существуем во времени, а существует отдельное от нас время, размеренное и пустое; и пока я настойчиво и упрямо, не способный заговорить на нормальном, приближенном к повседневному языку, пытался задержаться в этом мгновении, я чувствовал, что ничто из этого до него не дойдет, при виде моего безудержного стремления ему, чтобы как-то сохранять терпение и спокойствие, похоже, пришлось сконцентрировать все запасы душевных сил; он казался гладкой безучастной стеной, на которую натыкались лившиеся из меня токи и, отразившись, в итоге охватывали не его, а меня, окутывали, создавая оболочку, которая не имела четких границ и все же надежно меня защищала, потому что была однородна со мной, но как бы приятно в ней ни было плавать, при первом неосторожном движении она распадалась, достаточно было резкого слова, и все, что излилось из тела, рассеивалось в воздухе, словно облачко выдыхаемого изо рта пара; он смотрел на меня, смотрел пристально, мы не видели ничего, кроме глаз друг друга, и все-таки он все более отдалялся, в то время как я оставался на месте, потому что хотел там остаться, там и в том состоянии, в котором я находился, только в этой немыслимой беззащитности я смог ощутить себя, я бы даже сказал, что именно там и в том состоянии я впервые смог испытать все величие, красоту и опасность бушующих во мне чувств; то был действительно я, а не тот расплывчатый силуэт в форме лица или тела, который показывало мне зеркало; я не мог не видеть, что он отдаляется, заметив сперва мимолетное изумление, отразившееся на его лице, несмотря на всю его доброжелательность и сдержанность, затем по-детски тщеславную улыбочку, которая помогла ему справиться с безобидным изумлением и отодвинуться в такую даль, откуда можно было оглядываться на меня уже с любопытством и некоторым состраданием; но я ничего

не сказал, не пошевелился, бытие в этом его немом состоянии казалось мне полным и совершенным, и я был настолько важен для самого себя, что меня не смутило, когда и эта улыбка бесследно пропала с его лица и наступила глубокая тишина, в которой снова стали слышны лес, трескотня сорок, скрип качающейся где-то на ветру ветки, плеск ручья на острых камнях и наше собственное дыхание.

«Ну ты заходи», сказал он довольно громко и необычно высоким голосом, что означало одновременно много разных и противоречивых вещей; и неестественность интонации казалась важнее, чем значение фразы, что говорило о том, что он в замешательстве, что все не так просто, как ему хотелось бы думать, и, независимо от того, как далеко он унесся от меня взглядом, он все еще у меня в плену, это мое молчание вынудило его пойти на попятную, чего он в другое время и не подумал бы сделать; но, кроме того, интонация, разумеется, означала, что примирение нельзя принимать всерьез, и нечего мне ломать голову над его нерешительным приглашением, которое было скорее вежливым предостережением о том, что и впредь, как и прежде, ноги моей не должно быть в их доме; но слова эти прозвучали, и связаны они были с тем вечером, когда его мать кричала ему из окна, а я сжимал в кулаке два грецких ореха.

«Кристиан! Кристиан, ты где? Сколько можно тебя дозывать? Кристиан!»

Была осень, мы стояли под ореховым деревом, накрапывал дождь, в тяжелом от испарений сумраке сад светился желто-красными пятнами; он держал в руке большой плоский камень, которым только что разбивал орехи, и даже не дал себе времени до конца распрямиться, из-за чего можно было подумать, что в следующее мгновение он врежет мне этим камнем по голове.

«Наш дом вы пока что еще не украли, ты понял? и пока он наш, я просил бы тебя никогда не переступать его порог, ты понял меня?»

В его словах не было ничего забавного, но я все же рассмеялся.

«Это вы украли ваш распрекрасный дом у тех, на ком наживались, а украсть у вора наворованное – никакой не грех, воры-то – вы!»

Чтобы взвесить последствия прозвучавших слов, нам обоим потребовалось время, но с каким бы щекоцущим наслаждением мы их ни произносили, именно по его злости и по моему спокойному и несколько отстраненному наслаждению можно было почувствовать, что это было не что иное, как месть, отмщение за те незаметные,

на первый взгляд, обиды, которые накопились в нас за время нашей короткой, но тем более страстной и бурной дружбы; в течение нескольких месяцев мы были неразлучны целыми днями, и какие-то неровности в отношениях нам всегда помогало преодолевать взаимное любопытство; так что стычка была как бы обратной стороной, закономерной изнанкой этой близости, однако искать какие-то объяснения было бесполезно, неожиданный взрыв разнес нас так далеко, что пути назад уже не было, и все это – то, что я сделал и делаю, – казалось настолько невероятным, что два ореха невольно выпали у меня из руки, шмякнувшись на мокрые листья, его мать продолжала орать, ну а я двинулся к калитке, вполне довольный собой, как человек, раз и навсегда уладивший какое-то важное дело.

Он смотрел мне в глаза и ждал.

Его столь двусмысленно сформулированная фраза, прозвучавшая как последняя попытка, чуточку отодвинула и меня от того мгновенья, с которым я, впрочем, не мог, да и вовсе не хотел расставаться; но я невольно ощутил нарастающее отчуждение не только в его глазах, но и в самом себе, так что даже его уклончивое приглашение имело не больший эффект, чем мимолетное воспоминание, какое-то краткое озарение, рыбешка, юрко выпрыгнувшая на недвижную поверхность мгновенья, глотнувшая чуждой стихии и вновь погрузившаяся в немоту, оставив после себя несколько быстро сгладившихся кругов; и все же это напоминание обозначило, зафиксировало некий момент, и момент этот был совершенно определенным и значимым, красноречиво предупреждавшим нас, что то, что сейчас происходит с нами, всего лишь следствие того, что произошло раньше, и будет иметь отношение ко всему, что случится в будущем, а кроме того, указывает на что-то давно минувшее, и, стало быть, тщетно мое желание, бесполезны усилия, немислимо удержать тот миг, который доставил радость, упоение или даже счастье, ведь уже сам факт, что я волей-неволей переживаю внезапно явившееся и ускользящее счастье, говорил о том, что нет смысла пытаться его удержать, я уже не здесь, оно уже позади, я о нем только думаю; но ответить ему я не мог, хотя в его позе по-прежнему выражалась готовность принять ответ, и я страстно хотел ответить, чувствуя, что, не дав ответа, не смогу дальше жить; он стоял с видом человека, собравшегося уходить, потом, забросив портфель за плечо, неожиданно повернулся и двинулся к кустам, назад, в том направлении, откуда появился.

ТЕЛЕГРАММА

60

Хотя мое продвижение трудно было назвать поступательным, ибо яростные порывы ветра то и дело вынуждали меня останавливаться, и даже пока я ждал, чтобы ветер чуть стих, мне с трудом удавалось удерживаться на ногах, думаю, что я все же прошел по береговой дамбе добрые полчаса, прежде чем обнаружил, что что-то опасно меняется.

Ветер дул не прямо в лицо, а скорее со стороны моря, и я шел боком, наваливаясь на него головой и плечом и прикрывая лицо поднятым воротником пальто от мелких брызг, в которые разбивались, ударяясь о камни, волны; но и так мне то и дело приходилось утирать лоб, на котором морось собиралась в капли, тяжелые от соли капли – в ручейки, стекавшие мне в глаза, струившиеся вдоль носа в рот, и хотя я знал, что, вообще-то, могу закрыть глаза, все равно ведь я ничего не вижу, я все же хотел видеть мрак, как будто ради этого мрака имело смысл держать открытыми ничего не видящие глаза; поначалу мимо луны проплывали лишь прозрачные серые космы, тоненькие полоски дымчатых облаков, они прибывали со стороны суши и неслись над открытым морем к своей неведомой цели, но их торопливость, несмотря на изысканную величественность движения, выглядела в свете спокойной луны явно смешной; на смену им появились облака покрупней, более плотные и объемные, но столь же проворные, и вокруг, словно кто-то на громадной сцене закрыл подвижной декорацией единственный софит, стало темнеть, наступил полный мрак, воде больше нечего было отражать, гребни волн не расчерчивали своими барашками морскую даль, но вскоре небо вновь прояснилось, неожиданно и необъяснимо, свет сменил мрак, потом снова стемнело; и я не случайно упомянул театр, потому что в том необычном явлении, что наверху ветер гнал тучи в направлении, прямо противоположном тому, в котором вынужден был дуть внизу, несомненно, было что-то по-театральному драматичное, некий конфликт между пожеланиями земли и неба, который длился, однако, лишь до тех пор, пока в неостановимом, казалось бы, ходе небесных событий

не произошел какой-то решающий поворот – кто знает, что это было? может, где-то сменил направление ветер или, наткнувшись на сгрудившиеся над водой тучи, пролил их в море обильным дождем, – как бы то ни было, периоды мрака продолжались все дольше, а периоды прояснения делались все короче, пока наконец луна совсем не исчезла, оставив землю и воды в кромешной тьме.

Я больше не видел, куда я ступаю.

Возможно, игра от этого казалась еще более захватывающей, ибо, забыв уже о своих страхах, то, что принято называть буйством стихий, я принимал за игру, которая призвана была заменить или выразить подобным же образом бушующий во мне вихрь противоборствующих энергий, и поэтому, видя в живой метафоре воплощение своих чувств, я ощущал себя почти в безопасности, как будто все это было действительно воспитательной игрой отражений, затеянной просто ради моего развлечения.

Красивый самообман, ничего не скажешь, но почему, в самом деле, я не мог вообразить себя главным героем этого впечатляющего своим величием урагана, если уже много недель думал только об одном – что я должен насильственно оборвать свою жизнь, и что могло в такой ситуации подействовать на меня более успокаивающе, чем этот разбушевавшийся мир, запертый в собственную темноту, мир, который, при всей разрушительности своих энергий, был неспособен не только себя уничтожить, но даже причинить себе вред, поскольку, точно так же, как я, был над собою не властен.

Накануне вечером, вечером накануне отъезда, то есть в тот самый вчерашний день – я спешу подчеркнуть это, ибо встреча с морем и правда отодвинула все прошлые мои впечатления в такую утешительную даль, что я нимало не удивился бы, если бы кто-то сказал мне, о нет, вы неправы, вы приехали не сегодня вечером, а две недели, каких две недели – два года назад, почему я и вынужден чуть ли не убеждать себя, что, действительно, между моим отъездом и этой прогулкой по берегу прошло не так много времени, что вовсе не означает, будто эта приятная неразбериха со временем хоть немного ослабила узлы моих спутанных чувств, вовсе нет, но вид бушующего ночью моря все-таки защищал меня, давая возможность хотя бы думать о том, что произошло, – и потому мне вспомнился этот уже отодвинувшийся в успокаивающую перспективу вчерашний вечер, когда я не слишком поздно вернулся домой и, стоя на темной лестнице, где все еще не исправили освещение, так долго и так неловко пытался открыть замок, что фрау Кюнерт,

находившаяся на кухне, где она в этот час всегда готовила мужу бутерброды на завтра, тут же наострила уши; я в тревоге услышал, как она спешит по длинному коридору, мой ключ все никак не может попасть в замок, она на секунду замирает у двери, потом распаковывает ее и, сжимая в руке зеленый конверт, улыбается с таким видом, будто давно уже приготовилась к встрече, будто только того и ждала, и прежде чем я успеваю с ней поздороваться, переступить порог и поблагодарить ее за любезность, она, покраснев, протягивает мне конверт; в этот момент, наверное, благодаря той, во многом смешной, защите, которую мне давало бушующее в беспроектной мгле море, я больше не чувствовал слабости, граничившей с обмороком, которая охватила меня тогда в дверях и не отступала от меня, пока я не приехал сюда, – я даже рассмеялся, снова увидев, словно на кинокадре, слишком резко и для меня совершенно чудом, как кричит фрау Кюнерт, вручая мне этот конверт:

«Телеграмма, сударь, вам телеграмма, вам телеграмма!»

И если бы в этот момент, произвольно, как мы смотрим обычно на вложенный в нашу руку предмет, я взглянул бы на телеграмму, а не на ее лицо, то не заметил бы, что улыбка ее выглядела странно и непривычно не потому, что она не имела обыкновения улыбаться, а потому, что пыталась прикрыть улыбкой свое нетерпение, жадное любопытство, пыталась, но не могла, несмотря на весь ее театральный опыт; когда телеграмма была уже у меня в руках, я, бегло взглянув на адрес, перевел взгляд на ее лицо, улыбка исчезла с него, взгляд огромных глаз, прикрытых очками в тонкой золотой оправе и болезненно выпиравших из глазниц, казалось, прикован был к одной точке – она смотрела мне в рот с таким гневом и строгостью, словно ожидала услышать долго откладываемое чистосердечное признание; и на лице ее отразилась если не ненависть, то во всяком случае лишенное всякого сочувствия требовательное внимание, ей хотелось увидеть, как яотреагирую на явно ужасную, но непонятную для нее весть, ведь телеграмму, как мне казалось, она прочитала, и хотя я чувствовал, что бледнею – именно в этот момент мной овладела неодолимая слабость, – ее поведение было все же слишком откровенным, чтобы я продолжал сдерживаться, эта женщина, независимо от того, что в этой телеграмме и откуда она пришла, знает или желает знать обо мне слишком много, чтобы я мог здесь остаться, от попыток влезть в мою жизнь я всегда защищался как мог, иными словами, мало того, что я должен был достойно перенести неизвестный удар судьбы, так еще должен был и квартиры лишиться.

Фрау Кюнерт была на изумление некрасивой дамой: высокая и костлявая, широкоплечая, длиннорукая, большеногоя и с таким плоским, будто у старого клерка, задом, что когда ей случилось быть в брюках, со спины ее можно было принять за мужчину; волосы, которые она коротко стригла и сама красила перекисью, были гладко зачесаны назад, что ей шло, но не делало более женственной; словом, она была так страшна, что не очень-то помогало даже хитроумное размещение источников света в их старой просторной квартире: в течение дня, кроме тюлевых занавесок, свет задерживали тяжелые бархатные портьеры, создавая в комнате мерцающий полумрак, а вечером горели только торшеры с темными шелковыми абажурами и прикрытые вощеными бумажными колпачками бра; верхний свет никогда не включали, в результате чего профессор Кюнерт был вынужден вести весьма специфический образ жизни; он был маленький, почти на голову ниже своей жены, и по физическому сложению почти полной ее противоположностью: тонкокостный, хрупкий, субтильный, с белой кожей, настолько прозрачной, что на висках, на шее и на кистях просвечивали пульсирующие голубоватые жилки; глаза, тоже маленькие, глубоко посаженные, были невзрачными и невыразительными, а движения профессора, которыми в этой полутьме сопровождалась его, по отзывам, весьма выдающаяся исследовательская работа, – бесшумными и незаметными; лампы не было и на его огромном черном письменном столе, и когда фрау Кюнерт звала меня к телефону, я мог видеть, как он длинными тонкими пальцами, будто слепой, шарит в куче газет, заметок и книг, потом, нащупав нужную ему бумажку, выуживает ее из груды, проходит мимо мерцающего голубым светом телевизора через всю комнату, останавливается под укрепленным достаточно высоко бра и начинает читать в его бледно-желтом свете – иногда прислонившись к стене, это, похоже, вошло у него в привычку, о чем говорило видимое днем пятно в месте регулярных контактов его головы и плеча с желтыми обоями; иногда, вдохновленный неожиданной идеей или длительным размышлением, он прерывал свое мирное чтение и тем же самым маршрутом возвращался к столу и что-то записывал; таким образом, он как заведенный курсировал мимо экрана, но фрау Кюнерт, восседавшая в удобном кресле, казалось, так же не замечала этого, как профессор не обращал внимания на льющуюся из телевизора бессвязную трескотню и полумрак в квартире; я никогда не слышал, чтобы они обменялись хоть словом, но это молчание не было результатом какой-то мелкой расчетливой мести,

их заставляла молчать не демонстративная, свидетельствующая обычно о весьма накаленных отношениях обида, какую так часто полыхают друг к другу ненавидящие супруги, пытаясь к чему-то принудить партнера, нет, их молчание не имело никакой явно выраженной цели, хотя вероятно, что в этом нейтральном состоянии они застыли под влиянием медленно остывающей ненависти, причина которой была уже не видна, они выглядели вполне довольными и уравновешенными и вели себя, как два диких зверя, относящиеся к разным видам, – принимали присутствие другого к сведению, но помнили также о том, что законы рода сильнее законов пола, и раз уж один для другого не мог быть ни добычей, ни парой, то незачем было и общаться.

Несмотря на свое возбужденное состояние, я смотрел на лицо фрау Кюнерт с некоторой покорностью, потому что по опыту знал – просто так от нее не отделаться, и чем сильнее я буду сопротивляться, тем более шумно и агрессивно она будет себя вести; я смотрел ей в глаза и думал, что эту атаку я еще выдержу, ведь она все равно последняя, над ее узким лбом, сложенным из мясистых складок, топорщились, как щетина из щетки, крашенные, черные у корней волосы, мои пальцы нащупали, что конверт был открыт, нос был тонкий и длинный, помада на губах растрескалась, и, конечно, блуждающий по ней взгляд не мог обойти ее грудь, так как это было единственное на ее теле место, которое несколько компенсировало ее многочисленные уродства, – груди у нее были огромные, с остальными частями тела несоразмерные, без поддержки бюстгалтера они наверняка выглядели бы не слишком утешительно, однако соски выпирали сквозь туго обтягивающий ее тело джемпер весьма натурально; мы стояли в дверях почти темной прихожей, и в тот самый момент, когда она снова стала кричать, из гостиной, в расстегнутой до пояса белой рубашке, появился и Кюнерт – он всегда носил белые рубашки и, читая или делая заметки, сначала сдергивал с себя галстук, а затем постепенно, одну за другой, расстегивал и пуговицы, чтобы, размышляя и прогуливаясь по комнате, поглаживать свою по-мальчишески голую грудь; но теперь он шел спать.

Поначалу изменения показались не столь существенными, хотя были и некоторые явно неприятные признаки; если до этого я шагал в темноте вполне уверенно, ощущая под ногами одну и ту же, немного скользкую, почву и, даже ничего не видя, все-таки постоянно слышал, что волны с ревом обрушиваются на дамбу приблизительно на одинаковом расстоянии от меня,

что лицо мое орошает примерно одно и то же количество соленых брызг, и потому мог спокойно предаваться слепому наслаждению бурей, своим фантазиям и воспоминаниям, стараясь только выдерживать направление, не сойти с дамбы, и для этого вполне хватало того чувства ориентации, которым обладали подошвы моих ботинок, а также пенящихся волн – но лишь до тех пор, пока одна из них, когда я остановился, пережидая особенно яростный порыв ветра, не ударила мне в лицо, что само по себе было не так уж страшно, воды, хотя и довольно холодной, за ворот попало немного, и даже пальто не промокло, в общем, дело казалось настолько забавным, что я рассмеялся бы, если бы ветер позволил мне открыть рот, но в то же мгновение меня окатила другая, еще более мощная волна, отчего уверенности во мне несколько поубавилось.

До этого я шел, как мне думалось, посередине дамбы, теперь же, решив не ждать очередного затишья, попытался продолжить путь по внутреннему, защищенному от моря склону дамбы, однако это не удалось – и не потому лишь, что мне не позволял ветер, а если бы я уступил ему, то он меня просто унес бы, но и потому, что сделав в том направлении лишь пару шагов, я почувствовал, что я уже на краю дамбы, среди бесформенных острых глыб, то есть здесь пути не было, дамба оказалась гораздо уже, чем я предполагал, и не могла меня защитить от волн, но все-таки я не сделал того, что в сложившейся ситуации было бы самым разумным, мне и в голову не пришло повернуть назад; я знал из путеводителя, что во время прилива вода поднимается здесь всего на двенадцать сантиметров, и считал, что ничего не произойдет, словом, я думал, что это просто опасный участок, дамба, видимо, здесь поворачивает и потому сужается, или по каким-то причинам она здесь ниже, чем в остальных местах, и если я только преодолею этот небезопасный участок, то вскоре увижу знакомые огни Нинхагена и опять буду в безопасности.

Внезапно ветер утих.

И все же я не могу сказать, что я злился на фрау Кюнерт, да и она разговаривала со мной так невыносимо громко вовсе не потому, что гневалась на меня, – даже если за последние недели между нами установились довольно тесные отношения, я все же соблюдал нужную дистанцию, которая, я был в этом уверен, делала невозможным открытое проявление каких-либо чувств и эмоций, даже если бы они у нее были; она просто не умела говорить спокойно.

Казалось, она не знала никаких промежуточных состояний между полным молчанием и необузданным ором, и сие уникальное качество, иначе его не назвать, связано было не только с трагическими взаимоотношениями с мужем, с которым она не разговаривала вообще, но и с тем обстоятельством, что она подвизалась суфлером в знаменитом берлинском «Народном театре», то есть зарабатывала тем, что постоянно держала в узде свой, впрочем, весьма хорошо поставленный, тягуче глубокий и полновзвучный голос, который и так сохранял достаточно мощи, чтобы быть различимым в самых отдаленных уголках сцены; поэтому несомненно, что именно голос определил ее жизнь, уродство же было просто неким комичным довеском, да я и не думаю, что она отдавала себе отчет в своей некрасивости, решающим для нее был голос, хотя пользоваться им в его естественном, нормальном диапазоне ей доводилось нечасто.

Мне и самому не однажды доводилось наблюдать, какие неприятности порой доставлял ей этот голос и каким образом в других случаях обеспечивал своей владелице привилегированное положение; по утрам мы сидели с ней рядом на режиссерском подиуме в невероятно огромном репетиционном зале, напоминавшем манеж или, скорее, сборочный цех, и всякий раз, когда из-за каких-то накладок или неразрешимых на первый взгляд ситуаций атмосфера сгущалась и все, доказывая свою правоту, говорили одновременно, отчего уровень шума в зале начинал подниматься почти так же стремительно, как столбик термометра при горячке, тем более что скучающие декораторы, непоседливые статисты, костюмеры и осветители тоже не упускали случая, чтобы наконец перекинуться словом, короче, когда все высказывались одновременно и страсти достигали своего апогея, то первой, к кому обращалась какая-нибудь перевозбужденная актриса: «Зиглинда, а нельзя ли орать погромче?» – или кому грубо кричал какой-нибудь разгоряченный помреж, чтобы заткнулась уже наконец, мы не в харчевне, и лишь потом, обращаясь уже к остальным, просил тишины, словом, крайней всегда была фрау Кюнерт, и на лице ее в таких случаях отражалось неподдельное изумление, как у ребенка, который с блаженной невинностью играл себе где-нибудь под кустом своим елдачком, пока взрослые вдруг не растолковали ему, насколько предосудительны его действия, и как будто подобное с ней случилось впервые, как будто до этого никогда ничего даже отдаленно похожего не было, большие ее глаза распахивались шире некуда, в величайшем смущении, от шеи до лба она по-девучоночи

быстро заливалась краской, и на верхней губе у нее бисером выступал пот, который она отирала всегда незаметно и с некоторой стыдливостью; надо признать, что не так-то просто привыкнуть к тому, что столкновения с окружающими происходят по вине одного из главных ваших достоинств – ведь все эти раздраженные замечания и незаслуженно грубые окрики говорили не только о том, что голос ее перекрывал даже самый невероятный шум, словно бы выражая его и символизируя, но и о том, что этот голос нес в себе взрыв стихийных страстей такой силы, что это резало другим уши, его невольная откровенность смущала и, в некотором смысле, даже разоблачала их; этот голос смутил и меня, когда, стоя в дверях, фрау Кюнерт, побагровев, вручила мне телеграмму, поскольку характер наших взаимоотношений никак не мог мотивировать ни краску на ее лице, ни ее крик.

Но в этом-то и была вся трудность – как отразить это на первый взгляд нахальное и ничем не обоснованное нападение, как от него уклониться, ведь уже ее первая фраза была чем-то большим, чем информация; да, конечно, независимо от силы голоса (а он раскатывался по всему дому), она не сказала ничего другого, кроме того, что я получил телеграмму, но это простое по содержанию сообщение прервалось тем громким ритмичным сопением, от которого всякое, даже самое рядовое ее высказывание ощущалось как серия толчков, и поскольку столь бурное волнение никак не могло оставить меня равнодушным, я поневоле воспринял то самое эмоциональное состояние, которое она и хотела мне передать, и как ни пытался я себя сдерживать, как ни темно было на лестничной клетке и в холле, фрау Кюнерт все же заметила, ясно почувствовала мое волнение; продолжая держать ручку двери, она несколько наклонила голову и даже улыбнулась, что было понятно, ведь голос, которым она обрушила на меня следующую фразу, уже изменился, обогатившись оттенком иронии.

«Где вас так долго черти носили, сударь?»

«Что, что?»

«Уже три часа, как пришла телеграмма! Если бы вы сейчас не явились, я опять не спала бы всю ночь».

«Я был в театре».

«Если бы вы были в театре, то пришли бы как минимум на час раньше. Не волнуйтесь, я вычислила».

«Но что произошло?»

«Что произошло? Откуда мне знать, что с вами происходит! Да входите же вы!»

И когда, колеблясь между желанным равнодушием, волнением и испугом, но с твердым намерением прекратить этот разговор я наконец-то вошел в прихожую, фрау Кюнерт, закрыв за мной дверь и все еще не спуская глаз с конверта в моей руке, преградила мне путь, а Кюнерт, прежде чем скрыться в коридоре, который вел в их спальню, оглянулся и кивнул в знак приветствия, но ответить ему я, конечно, не мог – отчасти потому, что, как я ни старался изобразить равнодушие и уверенность, мое внимание почти полностью приковало к себе изменившееся лицо фрау Кюнерт, а с другой стороны, потому, что профессор уже отвернулся, не ожидая ответного приветствия, в чем не было ничего необычного, так как мое присутствие он вообще замечал очень редко; тем временем фрау Кюнерт не только с каждой секундой менялась в лице, но все ее поведение предсказывало, что в ней назревает какая-то совершенно новая и мне еще не знакомая вспышка, нечто такое, чего в ее прежнем репертуаре не было, чем она, нарушив все мыслимые границы, мало того что покажет себя с неожиданной стороны, но полностью подомнет меня, пока еще не известным мне образом в буквальном смысле прижмет к стене; губы ее дрожали, очки она сорвала, отчего глаза сделались еще более жуткими, она согнула спину дугой и опустила плечи, как будто, ощутив мой случайный взгляд, почувствовала необходимость защитить свои грандиозные груди; я сделал последнюю отчаянную попытку освободиться, но это только ухудшило мои шансы: когда, наплевав на вежливость и правила этикета, я бочком попытался прорваться к дверям своей комнаты, она сделала шаг вперед и толкнула меня к стене.

«Вы, собственно, что себе представляете, сударь? Вы думаете, вам можно шляться туда-сюда, как вам заблагорассудится, и заниматься всякого рода свинством? Я несколько дней не спала, я этого больше не выдержу. И не собираюсь! Да кто вы такой? Чего вам здесь нужно? И вообще, как вы это себе представляете – прожить здесь не один месяц, прикидываясь, будто меня здесь нет, как это называется? Вы в этом, конечно, не виноваты, но мне о вас все известно, это не ваша вина, однако до бесконечности держать рот на замке я не буду, кто бы меня ни просил об этом. Я все знаю, все, как бы вы ни таились, я знаю все ваши дела, но хочу обратить ваше драгоценное внимание на то, что я тоже человек, и я хочу слышать, хочу слышать это из ваших уст. Я из-за вас страдаю, боюсь вам смотреть в лицо. Я думала, что вы добрый, но вы обманули меня, вы жестокий, вы бесконечно жестокий, вы слышите? Я буду вам очень признательна, если вы расскажете как на духу, что вы с ним

удумали. Хотите насрать на меня полицию? Вы думаете, мне мало своих проблем? И вы еще смеете спрашивать, что случилось, когда это я хочу знать, в чем дело, что с ним произошло. Хоть расскажите все, чтобы я могла подготовиться к самому худшему, и не держите меня за свою прислугу, которая обязана все терпеть. У вас была мать? Есть? Вас хоть кто-то любил? Вы думаете, мы нуждаемся в тех грошах, которые вы нам платите? Только ваших паршивых денег мне не хватало! Я думала, что приняла под свой кров хорошего друга, но потрудитесь же наконец объяснить, чем вы занимаетесь. Что вы делаете, кроме того, что всех губите, разрушаете жизнь других, только этим и занимаетесь целыми днями? Замечательное занятие, ничего не скажешь! Но какая у вас профессия? Когда мне ожидать полицию? Может, вы его уколошили? Да теперь я готова о вас что угодно подумать, вы больше меня не обманете своими невинными голубыми глазами и вежливыми улыбочками, вы и теперь прикидываетесь, будто ничего не знаете и не понимаете, чего визжит эта старая истеричка. Где вы его зарыли? Теперь уж я вас распознала и потому прошу собрать свое барахло, только быстро, и катиться отсюда куда угодно. В гостиницу. Здесь вам не притон. Я не желаю ни во что впутываться. Достаточно натерпелась страху. Когда получаю телеграмму, мне становится дурно, когда в дверь звонят, душа в пятки уходит, вы можете это понять? Вы что, не обратили внимания, что я старый затравленный человек, заслуживающий хоть какого-то снисхождения? Разве я не доверилась вам, идиотка, рассказав историю своей жизни? Неужто моя доброта никому не нужна? Я вас спрашиваю. Я могу только всем служить? Почему вы не отвечаете? Быть помойкой, куда всем можно сваливать свой мусор? Отвечайте же, черт возьми! Что в этой телеграмме?»

«Но вы ведь уже прочли! Ведь так?»

«Взгляните!»

«Чего вам от меня нужно? Я хотел бы знать!»

Мы стояли вплотную друг к другу, и во внезапно наступившей тишине, возможно, именно из-за этой близости, ее лицо казалось расслабившимся и почти прозрачно тонким, увеличившимся и в каком-то смысле красивым, как будто неправильные размытые черты до этого скрепляли только строгая оправка очков и подавляемая сила страстей, но теперь, когда была сброшена маска, лицо высвободилось и вернуло себе естественные пропорции, рыжеватые веснушки на белой коже стали заметнее, оказавшись просто прелестными, пухлые губы сделались выразительнее, а густые брови –

заметнее, и когда она снова заговорила, уже более тихим, тем самым приятным и далеко разносящимся голосом, каким она суфлировала в театре, то неожиданно для себя я подумал, что если это лицо без очков, несмотря на размытость, растрепанность и колючесть, казалось красивым, то, видимо, красота – это не что иное, как приближенность абсолютной наготы, захватывающее ощущение близости, и я бы не удивился себе, если бы в этот момент склонился к ее губам и внезапно поцеловал ее, лишь бы больше не видеть ее глаза.

«Что мне может быть нужно от вас, сударь мой? Как вы думаете, что мне надо? Быть может, чтобы меня хоть немного, не сильно, совсем чуть-чуть любили. Но не в том смысле! Вы не пугайтесь. Да, действительно, я сначала была влюблена в вас немного, вы это, может быть, даже чувствовали, теперь уж могу признаться, потому что это прошло, но я не хочу, чтобы вы отсюда съехали, не принимайте мои слова всерьез, то была глупость, беру их обратно, вы не должны оставлять нас, я просто боюсь, так что вы уж меня простите, я совсем одинока и живу в постоянном страхе, что произойдет что-то, чего невозможно предвидеть, случится какой-то ужас, какое-то бедствие, и мне ничего не нужно, кроме того, чтобы вы здесь, при мне прочли телеграмму, потому что я хочу знать, что произошло, чтобы вы сообщили мне, только это, и ничего больше. Я не вскрывала ее. Вы должны это знать. Она пришла в открытом конверте, так у нас принято доставлять телеграммы. Я вас умоляю, прочтите, что в ней!»

«Но вы все же прочли, ведь так?»

«Прочтите, прошу вас».

И словно бы в подкрепление своих слов она взяла меня за руку, чуть выше запястья, так мягко и в то же время так требовательно, как будто не просто намеревалась отнять конверт, но собиралась, преодолев то ничтожное расстояние, которое нас еще разделяло, в какой-то форме, и форма эта в данную долю секунды совершенно не имела значения, попросту овладеть мной; сопротивляться этому прикосновению у меня не было сил, я даже чувствовал некоторую вину, сознавая, что мой взгляд, случайно упавший на ее грудь, и даже мысль о том, что я мог бы поцеловать ее, не могли на нее не подействовать, ведь не бывает таких тайных мыслей, которые в острой ситуации остались бы незаметными для другого, и потому в эту долю секунды мне казалось вполне возможным, что наша резкая перепалка может принять небезопасный оборот, тем более что я не только не мог шелохнуться или хотя бы увернуть лицо от ее взгляда и легких толчков дыхания, но ощущал в себе, невольное и ненамеренно, предательски сладкие, но в данный момент

в какой-то степени унижительные признаки любовного волнения – легкое покалывание кожи, затмение сузившегося сознания, давление в паху и затрудненность дыхания, все это было непосредственным следствием физического контакта, от меня, в сущности, не зависело и опять-таки поучительным образом свидетельствовало о том, что соблазн может полностью обходить сознание и вовсе не обязательно должен быть телесным и обольстительным, ведь физическое желание обычно является не причиной, а следствием отношений, точно так же, как даже уродливость, если приблизиться к ней вплотную, может представиться красотой, при условии, что напряженность усиливается настолько, что может найти чаемую разрядку только в любовном акте – в такие минуты, действительно, достаточно единственного прикосновения, чтобы не способные к слиянию внутренние силы, войдя в контакт, либо погасили, либо преобразовали в чувственное наслаждение почти невыносимое в своей интенсивности психическое напряжение.

«Не буду я ничего читать!»

Наверное, она не исключала возможность, что я ударю ее, потому что, услышав мой запоздалый и получившийся несколько истеричным возглас, отдернула руку, явно сообразив, что этот вопль, уже сам по себе весьма для меня необычный, имел отношение не столько к загадочной телеграмме, сколько к нашему физическому сближению; больше того, она даже несколько отступила назад, одновременно нацепила на нос очки и облила меня таким равнодушно-холодным взглядом, как будто между нами ничего не произошло.

«Я понимаю. Но зачем так кричать?»

«Завтра я уеду на несколько дней».

«Куда, если не секрет?»

«Мне бы хотелось пока оставить вещи. А на следующей неделе я уеду окончательно».

«Куда уедете?»

«Домой».

«Мне будет не хватать вас».

Я направился к своей комнате.

«Идите, идите, а я подожду здесь у двери; пока вы мне не скажете, я не смогу заснуть».

Я закрыл за собою дверь, по карнизу окна барабанил дождь; в комнате было уютно, тепло, голые ветки кленов раскачивали на стене тусклый свет уличного фонаря; я не стал включать лампу, снял пальто, подошел к окну, чтобы открыть конверт, и услышал, что она и правда стоит за дверью и ждет.

Хотя ветер у основания дамбы утих, море от этого не угомонилось, а наверху буря по-прежнему завывала, насвистывала, иногда вроде бы развиднялось, казалось, будто ветер вспарывал застывшие луну тучи, но я думаю, это было такой же иллюзией, как надежда, что опасный участок пути вот-вот кончится, — я не видел ни зги, что для глаз состояние не совсем привычное, и они, разумеется, против этого восставали, рисуя для собственного утешения несуществующие огни, как бы порвав со мной, не желая смиряться с тем состоянием, что по моему принуждению им надо куда-то смотреть, хотя видеть там совершенно нечего, и не только изображали мне светящиеся круги, искрящиеся лучи и точки, но иногда освещали для меня весь пейзаж, и я, словно сквозь узкую щель, видел перед собой облака, мчащиеся над пенящимся бушующим морем, видел волны, обрушивающиеся на дамбу, чтобы через мгновение все опять погрузилось в крошечную темноту и я понял, что этот прекрасный образ был не более чем мираж, хотя бы уже потому, что зрелище это нельзя было объяснить никаким естественным источником света, его не освещала луна, луны в этих картинах не было, и все же под влиянием этих призрачных, вызывавших в душе некий восторг картин я мог верить, что каким-то мне не понятным образом ощущаю перед собою путь; хотя фактически никакого пути, тропинки передо мною не было, ноги натыкались на камни, я спотыкался, скользил.

Я думаю, к тому времени я уже потерял все то, что принято называть естественным ощущением времени и пространства, — возможно, из-за капризного ветра, непостижимой темноты и усыпляюще размеренного при всей величественности бушевания моря, которые, словно сильный наркотик, совершенно меня одурманили, и если бы я сказал, что весь обратился в слух, то выражение это было бы абсолютно точным, ибо все прочие способы восприятия стали, в сущности, бесполезными, как некое странное ночное животное, я вынужден был полагаться только на слух; я слышал, как рокотала бездна, то был не рокот воды и не рокот земли, шум был не угрожающий, но и не равнодушный, и как ни романтично это прозвучит, осмелюсь сказать, что из глубины до меня доносилось монотонное бормотание бесконечности, голос, не схожий ни с какими другими и ни с чем другим, кроме глубины, не ассоциировавшийся, но где была та глубина, глубиной чего она была, решить было невозможно, казалось, она присутствовала повсюду, и на воде, и высоко в воздухе, и на дне

морском, и звучание ее заполняло собою все, надо всем царило, все делало частью бездны – пока не стал различим медленно нарастающий гул, словно где-то совсем далеко пришла в движение грубая неуклюжая масса, силящаяся вырваться на свободу, бунтующая против зловеще спокойного рокота бесконечности, гул был все ближе, неспешный и все же мощный, и внезапно достиг своего апогея в таком триумфальном грохоте, что заглушил голос бездны, поднялся удовлетворенно над ним, достиг цели, одержал верх, на мгновение заглушил, чтобы в следующее мгновение все, что только что представлялось силой, массой, натиском и, наконец, триумфом, с неприятным хлопком разбилось о прибрежные камни, и снова послышались рокот, словно на власть его никто и не покушался, и зловеще капризное завывание ветра, его свист, шепот, визг; я даже не могу сказать, когда, собственно, и каким же образом произошла эта перемена, которая состояла не только в том, что дамба заметно сузилась и волны просто перехлестывали через нее, но главным образом в том, что это достаточно очевидное изменение обстановки я осознал лишь значительно позже, чем оно случилось, да и то осознал как-то безответственно, словно это меня вовсе не касалось, меня не особенно беспокоило даже то обстоятельство, что ботинки и брюки мои намокли, пальто тоже пасовало перед водой; я настолько отдался звучанию темноты, что мало-помалу в нем растворились даже те фантазии и воспоминания, которыми я развлекал себя в начале прогулки; таким образом, то, что можно назвать инстинктом самозащиты, функционировало не в полном объеме, ситуация чем-то напоминала ту, когда человек, очнувшись от кошмарного сна, сучит ногами, машет руками, кричит, вместо того чтобы вспомнить момент, предшествовавший засыпанию, понять, что переживаемое им сейчас в таких муках – это реальность сна, но напомнить себе об этом он не в состоянии именно потому, что еще не проснулся; точно так же пытался защититься и я, но способ защиты, естественно, искал в тех пределах, которые были очерчены ситуацией: я тщетно пытался укрыться среди камней, беспомощно спотыкался, скользил, пробирался на ощупь – вода настигала меня, и я, конечно, не вспоминал о том, что началось все это с приятной вечерней прогулки, которая давно уже перестала быть таковой.

Потом что-то коснулось моего лица.

Было все так же темно, тишина закончилась, закончилось нечто, чего я не мог себе объяснять, и когда что-то снова коснулось моего лица, я понял, что это вода; холодная, но не сказать чтобы

неприятная; я знал, что она должна о чем-то напомнить мне, чего я никак не могу, не в состоянии вспомнить, хотя слышу, вновь слышу тот голос, и, стало быть, протекло какое-то время, протекло, но ничего не изменило – вокруг темнота, ночь, вода; так ведь и правда тогда была ночь!

Я наконец-то понял, что лежу на камнях.

НА ЛАДОНИ У ГОСПОДА

И все-таки появление Хелены все разрешило, точнее сказать, в те бесподобные мгновения злоеющее наше будущее вновь представилось мне восхитительным.

Когда поздним утром следующего дня, еще неумытый, небритый и неодетый, еще не до конца проснувшийся, я стоял у письменного стола и задумчиво почесывал щетинистый подбородок, не в силах начать этот день, впоследствии оказавшийся судьбоносным, стоял, полный переживаний, ведь хотя после изнурительных прощальных визитов, занявших весь вечер, я спал глубоким, без сновидений и беспробудным сном, как человек, во всех отношениях безупречно выполнивший свой долг, в действительности этот мертвецкий сон был как раз прямым следствием моей новой лжи и вынужденного смирения с неразрешимостью моей жизни, и поэтому после пробуждения отдохнувшая и окрепшая моя совесть вернулась на круги своя и тревожила и саднила еще сильнее, а тут еще треволнения, связанные с предстоящей поездкой, состояние радостного ожидания, заставляющее нас верить, что от одной только перемены мест исчезнет из жизни все надоевшее, досадное, угнетающее или неразрешимое; в прихожей уже дожидался носильщика мой багаж, оставалось только собрать записки и книги, необходимые для задуманной мною работы, и уложить их в черный лаковый саквояж, который открытым стоял на ковре посередине комнаты, но так как поезд мой отправлялся вечером, для этой во многих отношениях щекотливой работы времени оставалось достаточно, и, не желая перегружать себя неприятными ощущениями, я не спешил сконцентрироваться на этом занятии, позволив мыслям вольно поблуждать еще какое-то время; именно в этот момент в дверь моей комнаты весьма своеобразным стуком постучала моя пожилая хозяйка, славная фрау Хюбнер, и тут же по своему обыкновению, не дожидаясь разрешения войти, распахнула дверь; ничего необычного в этом, право же, не было, я считал своим небывалым педагогическим достижением уже то, что, когда возникала безотлагательная необходимость что-то сообщить

мне, она не врывается без стука, но объяснить ей, что прежде чем войти в комнату, даже если я эту комнату у нее снимаю, приличествует не только постучать в дверь, но непременно дождаться ответа, я был не в состоянии, «ну а что может барин делать? когда я знаю, что барин один, ну что?» – недоуменно вытупив свои глазки и оглаживая передник на большом тугом животе, сказала она, когда я в самой деликатной форме впервые донес до нее свою просьбу, но поскольку во всем остальном, за исключением неспособности уяснить себе эту мелочь, она была обязательна и мила, эта ее привычка не столько злила меня, сколько потешала; однако на этот раз даже при самом благожелательном отношении ее удары в дверь никак нельзя было назвать стуком, она колотила в нее кулаками, после чего, словно от ураганного порыва ветра, дверь распахнулась, «к вам какая-то барышня, под вуалью, к вам барышня!» – задыхаясь прошептала она, что, несмотря на внушительные размеры прихожей, наверняка слышала и посетительница, ибо, само собой разумеется, фрау Хюбнер не потрудилась закрыть за собою дверь, «к вам барышня, я так полагаю, что это ваша невеста!»

«Извольте просить ее, фрау Хюбнер!» – пытаюсь как-то смягчить своей вежливостью ее невоспитанность, сказал я сдержанно и не сколько громче необходимого, чтобы слышно было в прихожей, хотя в данный момент внешний вид вовсе не позволял мне принимать каких бы то ни было посетителей, тем паче женщин; я терялся в догадках, кто мог явиться ко мне в столь неуместно ранний для визитов час, выдвинув сразу несколько, крайне тревожных предположений, на мгновение даже мелькнула мысль, удержавшая меня от того, чтобы лично поспешить навстречу госте, а не посланница ли это моего отеческого друга, ставшего моим заклятым врагом, которая прячет в элегантной меховой муфте револьвер, чтобы привести в исполнение его нешуточное обещание физически устранить меня, иными словами убить; «даже мода работает на нас», со смехом сказал как-то мой друг, когда женщины начали носить муфты, что действительно намного повышало шансы террористов на успех, а я знал по опыту, что вокруг него всегда крутилось достаточно дамочек для того, чтобы отыскать среди них одну, готовую ради него на все; а может, это была и не женщина, а один из его подручных, переодетый в дамское платье, – эти предположения при всей фантастичности были вполне правдоподобны, ведь, зная доступные моему другу Клаусу Динстенвегу средства, я не мог не принять всерьез его вполне обдуманную угрозу, да и как я мог от нее отмахнуться, ежели, как он был уверен, я был свидетелем

его тайн, чреватых для него неприятностями, и потенциальным предателем его дела, «ты должен умереть, мы выждем! и в нужный момент объявимся», говорилось в его письме, написанном чужой рукой, так что я больше был удивлен тем, почему он еще не привел приговор в исполнение, почему решил сделать это теперь, и предположил даже, что, может, мучительная для меня отсрочка была частью наказания, которое он хотел осуществить, уже полностью усыпив мои страхи и подозрения, когда я поверю уже, что он наконец отпустил меня, как бывает с преследуемым животным, когда оно в надежде на спасение бросается из чистого поля в лес, не замечая, что из листвы выглядывают стволы, и неудивительно, что зверь не может понять, почему это происходит сейчас, именно этим мирным осенним утром; доверчивость – вот что делает столь ужасным его конец, который в других обстоятельствах оно, возможно, приняло бы равнодушно; точно так же и мне в течение нескольких месяцев казалось, что меня уже укрывает листва, что я не так беззащитен, потому что, сменив несколько квартир, надеялся, что я уже вне его досягаемости и что скоро он, как водится, обо мне забудет, и действительно, последнее время он не давал о себе знать, не присылал писем, а тем временем помолвка не только дала мне эмоциональное облегчение, но и позволила вернуться к тому трезвому и добропорядочному образу жизни, с которым несколько лет назад я порвал как раз под влиянием нашей страстной дружбы; но теперь мысль о нем так меня взволновала, что я вынужден был ухватиться за спинку кресла, однажды сказанные мною слова нельзя было вычеркнуть из памяти, да я и не испытывал особого желания забыть их, делать вид, будто мое прошлое мне не принадлежит, было не в моих привычках, и если мне предстоит умереть, то пусть это произойдет сейчас, сию же минуту, я к этому готов; но фрау Хюбнер застыла на месте, как будто не только чуяла, но и переживала вместе со мной мой внезапный страх, она стояла, оцепенев, под сводчатым потолком холла, отделявшего мой кабинет от вечно темной прихожей.

«Не будем заставлять гостью ждать, милая фрау Хюбнер, пожалуйста, пригласите ее», повторил я просьбу уже несколько тише, но еще более решительно, с удивительным даже для самого себя присутствием духа, ибо, невзирая на мимолетный ужас, мне удалось сохранить холодный и сдержанный тон, и голос мой не утратил должного достоинства, ну а то, что я чувствовал и переживал при этом, касалось только меня и никого другого; однако видя, что все бесполезно, что непривычная ситуация по непостижимым

причинам настолько парализовала мою хозяйку, что та, несмотря на все преподнесенные ей ранее уроки, была неспособна пригласить гостя в дом и вела себя так, как будто на нее и в самом деле направлен револьвер, я резким движением запахнул на груди халат и с видом готового ко всему человека вышел в прихожую сам, чтобы приветствовать моего гостя – кто бы он ни был.

Но выйдя из залитой солнцем комнаты в погруженный в приятный полумрак холл, откуда через открытую дверь видна была и прихожая, я вынужден был остановиться и воскликнуть: «Хелена, вы?» – потому что, увидев ее в этой скромной, почти убогой, но ставшей для меня уже вполне привычной обстановке, я тут же не только понял, но остро почувствовал причину завороченной неподвижности моей хозяйки, как бы и сам пережив то же самое, что и бедная вдова, которой, как я полагаю, не часто доводилось созерцать явления, подобные этому; ибо Хелена и впрямь стояла в прихожей подобно чудесному видению – очаровательное, ангельски чистое, бесконечно гармоничное и все же по-человечески слабое существо, к которому даже я, казалось, не мог иметь никакого отношения; на ней было незнакомое мне серебристо-серое кружевное платье, которое, согласно новейшей моде, не только изощренно скрывало, но вместе с тем и подчеркивало изящно удлиненные линии фигуры, но так, чтобы ни одна часть тела не выделялась в ущерб остальным, не бросалась бесстыдно в глаза, чтобы эффект производил весь облик женщины, в котором неестественное великолепие целого уравнивалось естественностью ничем не выделяющихся деталей; она стояла, чуть склонив голову, и эта поза сразу напомнила мне послеобеденные часы, когда она сидела за фортепьяно или склонялась над пальцами; обнаженной части ее шеи, почти полностью скрытой высоким воротом, придавали некий целомудренный вид одетости лишь несколько локонов, выбившихся из зачесанных на затылок волос, но они-то и волновали воображение, однако не из-за огненно-рыжего своего цвета, а потому, что фантазию нашу всегда приводит в движение не нагота, которая скорее вызывает ощущение беззащитной ранимости, а то, что немного скрыто или слегка прикрыто и этой скрытостью и загадочностью побуждает нас удалить покровы, чтобы право увидеть это ранимое тело, осязать его досталось единственно нам, чтобы нам одним это тело отдало свою наготу, ибо лишь в совместном волнении взаимного узнавания и познания возможно перенести и даже насладиться всем тем, что так естественно и грубо; и хотя я не видел ее лица, затененного широкополой шля-

пой, вуаль же по-прежнему была опущена, я все же почувствовал ее замешательство, да и сам пребывал еще в полном смятении, во-первых, от изумления, а во-вторых, слишком уж неожиданна была эта смена внезапного ужаса такой же внезапной радостью; первым, естественно, должен был заговорить я, чтобы ей не пришлось разговаривать в присутствии посторонних, а из кухни тем временем выглянули еще две бледные девчушки с растрепанными головками, одна из них была внучкой фрау Хюбнер, другая подружкой внучки, и тоже с испуганным любопытством уставились на немую сцену, невольными участницами которой они стали; но я так и не мог ничего произнести, ибо все, что бы я ни сказал, было бы слишком интимным и слишком эмоциональным, чтобы прозвучать в присутствии посторонних, так что я только протянул в ее сторону руки, в ответ на что длинный упертый в пол зонтик чуть дрогнул в ее затянутой в перчатку руке, и она, приподняв шлейф платья, с еле слышным шорохом двинулась по передней ко мне.

«Дорогая, что с вами?» – спросил я, точнее, то был сдавленный крик, вырвавшийся у меня, когда, сдвинув наконец с места фрау Хюбнер и захлопнув дверь, я остался наедине с ней под сводчатым потолком между полумраком холла и льющим из моего кабинета светом, «что-то стряслось? говорите, Хелена! что с вами? я в полном отчаянии!»

Однако она не отвечала, мы стояли вплотную, лицом друг к другу, и это безмолвие показалось мне очень долгим, мне хотелось сорвать с ее шляпки вуаль, просто сорвать, сорвать саму шляпку, которая так неуместно скрывала ее лицо, я хотел его видеть, чтобы яснее стала причина ее неожиданного визита, хотя я прекрасно догадывался, что привело ее сюда, возможно, я даже хотел сорвать с нее всю одежду, чтобы она не казалась мне больше такой до смешного чужой; волнение мое только усиливалось оттого, что все тело ее дрожало, и я не мог позволить себе какой-то грубый или бестактный жест, не осмеливался дотронуться до этой ее проклятой шляпки, я должен был пощадить ее, «я знаю, я очень хорошо знаю, что не должна была этого делать», прошептала она из-под вуали, и в этот момент мы чуть было не столкнулись от волнения, хотя оба, и она, и я, старались, чтобы этого не случилось, «и все-таки я не могла не прийти сюда, это займет минуту, внизу меня ждет извозчик, и мне ужасно стыдно признаться в истинной причине того, что я здесь! я просто хотела увидеть ваши глаза, Томас, и теперь, когда я в этом призналась, мне больше не кажется, что мне нужно стыдиться, дело в том, что когда вы ушли вчера вечером,

я не смогла вспомнить ваши глаза, я прошу вас, не отворачивайтесь и не презирайте меня за эту просьбу, взгляните на меня, вот теперь я вижу ваши глаза, а всю ночь не могла их вспомнить».

«Но вы, как мне показалось, вчера согласились с тем, я говорил вам!»

«О, только не поймите меня превратно! я этого и боялась, я не хочу вас удерживать. Уезжайте».

«Теперь? Как я могу?»

«Теперь вам будет даже легче».

«Но это жестоко!»

«Не нужно, давайте не будем об этом».

«Вы меня с ума сводите. Я безумно влюблен в вас, Хелена, сейчас более, чем когда-либо прежде, потому что от этого у меня голова идет кругом, от этих ваших слов, оттого, что пришли сюда, я не знаю, как это выразить, я смешон, но должен сказать вам, что вы спасаете мне жизнь, но люблю я вас не поэтому, и знайте, что я порву на клочки все свои тетради и книги».

«Молчите».

«Я не могу молчать! но просто уже не нахожу слов. Я зубами порву все свои рукописи и бумаги».

«Я только хотела увидеть ваши глаза, ваши глаза, и произнести вслух ваше имя, Томас, теперь я увидела их и могу уйти, и вы тоже можете уезжать».

«Не уходите».

«Я должна уйти».

«Дорогая».

«Мы должны сохранять рассудок».

«Я хочу видеть ваши волосы. Вашу шею. Я ухвачу вас за волосы и буду тянуть их так, что вы закричите».

«Молчите».

«Я убью вас».

И эту последнюю фразу, которая прозвучала, когда она сорвала с головы свою шляпку с вуалью, я произнес с такой убедительной силой, таким глухим, совершенно охрипшим от страсти голосом, как будто сказанные в исступление слова совпали с тем самым скрываемым тайным желанием, с тем чувством, о котором я вроде бы до сих пор не знал, но в котором все-таки не было ничего нового, казалось, что именно это желание, как никакое другое, я ощущал всегда, как будто все мои устремления всегда питала именно эта страсть, убить, и поэтому сама фраза и тон ее показались мне самому поразительно искренними,

а к тому же в моих устах, в устах человека, который, как ни крути, в конечном счете был сыном убийцы, самого настоящего убийцы-садиста, она звучала, во всяком случае я так чувствовал, вовсе не безобидно, не пустым звуком, то есть нельзя было воспринять ее как какой-то вырвавшийся в любовном экстазе штамп; мне казалось, что, по прошествии стольких горьких лет, побуждение, которое я теперь ощутил в руках, словно бы объяснило мне до этого не понятный и отвратительный поступок отца, да, это было всего лишь мгновение, не самое приятное в моей жизни, я как бы очутился за пределами своего тела и со стороны наблюдал за самым своим страстным желанием, которое вместе с тем уже реализовалось в судьбе моего отца; я словно бы с ужасом узнавал в вывернутых на свет божий корнях дерева внушительную форму кроны; в этот момент я безумно любил стоящее предо мною в беспомощном трепете существо, я был уже очень далек от тех плотских желаний, что соблазняют любовное чувство посулами временного утешения, был далек от них хотя бы уже потому, что, учитывая все обстоятельства, до женитьбы об этом нельзя было и подумать, я должен был выбросить это из головы, и все-таки мне неодолимо хотелось обхватить ее шею ладонями и сжимать, сжимать эту страстно обожаемую мною шею, пока девушка не испустит последний вздох.

Но она по этой фразе не могла предвидеть собственную судьбу, точно так же как в тот давний день не предвидела свою судьбу моя мать, и поэтому не могла отнестись всерьез к тому, что было более чем серьезным, точнее сказать, мой серьезный тон словно только усилил ее обожание, «изволь, я перед тобой», смеясь, прошептала она в ответ, и губы ее, как будто я видел их в первый раз, показались мне неожиданно полными, влажными, спелыми, «ах ты, грязная шлюха», прошептал я ей прямо в рот, едва не коснувшись его языком, при этом меня несколько смущали изъяны моего утреннего туалета, я не успел прополоскать рот, «ах ты, шлюха, да как ты смеешь обращаться ко мне на “ты” еще до свадьбы?» — мы оба с ней рассмеялись, и эти не совсем случайно вырвавшиеся слова, которые, как мне показалось, нимало не удивили и не шокировали ее, стали, несмотря на несвежесть моего дыхания, новым источником наслаждения, ее губы раскрылись навстречу моим, и тут я, помимо плотского наслаждения, благодаря этим самым словам, испытал упоительный духовный триумф, как бы переступил через труп отца, осмелившись произнести то, что он столь трагическим образом подавил в себе.

То была радость, безусловно одна из самых великих радостей, какие доступны простому смертному; и хотя я сжимал ее шею руками, оказавшимися там непонятно когда и как, вечный страх, питаемый какими-то созвучиями и подобиями, гнев и ненависть, угрызения совести и чувство стыда, которые до сих пор вызывала во мне наша связь и которые не давали мне насладиться моментом, постоянно напоминая о чем-то знакомом, былом, сейчас вдруг пропали, развеялись без следа; мне хотелось попросту проглотить этот милый рот, хотелось, чтобы она поцелуями втянула в себя всю мою плоть, и хотя я не смел прижать Хелену к себе, потому что мой легкий халат и шелковая пижама не могли утаить моей мощной эрекции, мои руки сделались инструментом нежности, единственной целью которого было как можно мягче поддерживать ее голову в наиболее удобном для нее положении, ее рот обратил силу ненависти в силу владения, и пальцы мои уже не хотели сжимать и душить, а лишь поднимать, поддерживать, чтобы ей легче было меня целовать, чтоб язык ее мог открыть для себя мой рот; и как ни пытался мой разум сохранять надо мною контроль, я не смог бы сказать, когда я закрыл глаза, когда она обвила мою шею руками, когда, словно две темных вселенных, горячо и скользяще сомкнулись наши уста, но все же остатки страха еще мелькали в моем мозгу, что скорее всего было связано с ревностью, ибо мне было непонятно, откуда в ней эта искушенность в лобзаниях, хотя вместе с тем я не мог не почувствовать, что это совсем не опытность, что она дарит мне чистоту своей инстинктивности, что именно чистота эта впечатляет меня так глубоко, как не впечатлил бы никакой опыт, и что именно я, полагаясь на свой опыт в любви, все еще не отдался ей до конца; дело в том, что я, не без доли лукавства и ехидного чувства некоего превосходства, как бы терпеливо сносил ее первооткрывательский натиск, не отвечал сразу на ее поцелуи, а с намеренным промедлением и всегда неожиданно, то касаясь кончиком языка ее губ или зубов, то препятствуя скольжению ее языка, изумлял ее, наслаждался ее замешательством, еще пуще распаляя ее желание полностью слиться со мной и как бы подталкивая к тому, чтобы отказаться от остатков сдержанности и стыдливости и целиком подчиниться мне, что было тем более важно, что, как подсказывала мне трезвая часть моего рассудка, ни один из нас не сможет уже без определенного риска остановить или задержать ход событий, нам придется преодолеть достаточно длительную и кропотливую церемонию раздевания, которая потребует мобилизовать все запасы такта и деликатности, и вся эта возня

с пуговицами, тесемками и крючочками, естественно, породит смущение, которое только потом, уже после соития двух обнаженных тел, станет источником отдельного сладостного наслаждения и шутливых воспоминаний.

Но как бы трезво и искушенно я ни просчитывал каждый свой жест, наступил момент, в который я все-таки потерял здравый разум, и теперь, когда все уже давно позади и я, восстанавливая в памяти события того солнечного утра, пытаюсь анализировать свое поведение, именно в этой точке моя способность формулировать свои мысли наталкивается на непреодолимые препятствия, я чувствую себя человеком, желающим головой прошибить каменную стену невыразимости некоторых вещей, и дело здесь вовсе не только в обязательной, а следовательно, во многом смешной целомудренности, хотя несомненно, что нам доставляет немало трудностей называть своими именами вещи, которые в повседневном общении имеют свои банальные и избитые наименования, однако эти слова, несмотря на их выразительность и смачную жизненность, все-таки не годятся для описания моих впечатлений, и не потому, что я опасаясь нарушить тем самым какие-то буржуазные приличия, отнюдь нет, так называемые буржуазные приличия сейчас не волнуют меня ни в малейшей мере, ведь задача моя заключается в том, чтобы дать отчет о своей жизни, а приличия буржуазного общества могут быть только внешними рамками этой жизни, и коль скоро я собираюсь с предельной точностью составить своего рода карту событий своей интимной жизни, то я должен быть в состоянии исследовать свое тело, и никакая стыдливость не может меня удержать от того, чтобы рассмотреть его во всей его наготы – ведь смешно было бы запрещать патологоанатому стаскивать простыню с распростертого перед ним на столе покойника; так и я, в точности как тогда и там, должен снять с себя халат и пижаму, а с нее – раздражающе сложное элегантно платье, называя при этом по имени каждый жест и каждое ощущение, однако, по некотором размышлении, вынужден все же признать, что использовать обыденные слова применительно к так называемым срамным органам, а также – коль скоро речь идет о живом организме – к их функциям по меньшей мере так же смешно и лживо, как из соображений приличия быстро перевести разговор на другой предмет; но чтобы продемонстрировать истинные масштабы проблемы и трудности ее разрешения, я мог бы для пробы задать себе вопрос: «Ну и как, милый друг, трахнул ты свою нареченную тем прекрасным утром?» – и даром что ответ был бы утвердительный,

все равно это было бы лживое упрощение, точно так же как ложью было бы вообще обойти вопрос, ибо слово, как и молчание, помогло бы уйти от самых откровенных подробностей; но вся беда в том, что нарциссическому вниманию, которое направлено именно на мельчайшие, мало кому интересные полузабытые детали, очень трудно дать представление о своем предмете, то есть о самом себе, потому что тело теряет способность осознавать себя именно в те моменты, когда оно наиболее открыто, а следовательно, и память не может удержать того, чего не осознавало тело, то есть самые главные для него моменты, хотя именно это и создает потом ощущение исключительности свершившегося – приблизительно так же запоминается обморок, когда в памяти остаются только необычные ощущения потери и обретения сознания, в то время как сам обморок, состояние, интригующее нас больше всего, ибо больше всего отличающееся от привычного, остается для нас недоступным.

Хелена попросту закусила зубами мой рот, и от этой ее решительности, от единственно возможного для нее ответа на мою игру в искусственную сдержанность, в моем сознании счастливым образом погасли остатки трезвого разума, во всяком случае сегодня, задним числом, мне кажется, что боль, вызванная этим укусом, была последним ощущением, значение и смысл которого более или менее ясно зафиксировало мое сознание, после чего я впал в состояние безотчетности, которое едва ли могу сейчас вспомнить; ее губы не только отбросили всякую сдержанность, но и ясно дали понять, что я нужен ей весь, что она не намерена больше терпеть никаких препятствий и околичностей, что все мои ухищрения и попытки разыгрывать из себя изощренного соблазнителя сейчас совершенно излишни, она хочет меня, такого, каков я есть, сейчас мне нет нужды задумываться, как себя вести; ее тело прикикло ко мне, пах прижался к моему паху, и никакие слои одежды, кружева и шелка не могли помешать нам ощутить жар друг друга, что, как ни странно, кроме безмерного ощущения счастья, пробудило во мне и униженность, ибо, взяв нашу судьбу в свои руки, показав, что прозрачно двусмысленные заигрывания моего языка были всего лишь неловкими экзерсисами по сравнению с красноречивым признанием ее зубов, она вместе с тем словно бы поставила под сомнение мою мужественность или, во всяком случае, сознательно оскорбила мое мужское тщеславие, как бы поменялась со мною ролями, была по-мужски напориста, что мне, право же, было приятно, слов нет, однако в свете этого решительного напора я выглядел в собственных глазах какой-то жеманной кокеткой, я должен был

взять над ней верх, мои инстинкты или рефлексy не принимали этой подмены, и, возможно, истинная, глубоко бессознательная цель этого укуса как раз в том и заключалась, чтобы пробудить во мне желание первенствовать; мне захотелось оторвать ее от себя, ко мне вернулась ненависть, с таким гневом мы отрываем от тела пиявку, я схватил ее за волосы, вцепился в мягкую ткань ее платья, может быть даже в кожу, одновременно рывком головы оторвав губы от ее рта, рука же моя, опустившись ниже, обхватила ее ягодицы, чтобы уже с самой откровенной грубостью притиснуть ее пах к моему, дать ей почувствовать то, что до этого я скорее пытался утаивать, – то, что крылось у меня под халатом в брюках пижамы, тем временем, кусая ее губы и проталкивая внутрь вытянутый язык, я полностью овладел ее ртом, на что она, лежа на полу, отвечала с величайшей нежностью объятиями и мягким скольжением языка, однако о том, каким образом мы упали на пол, я сказать затрудняюсь, здесь нить событий для меня обрывается, и, по-видимому, с этого момента о том, что происходило со мной, я могу судить только по ее движениям, чертам лица, запомнившимся взглядам, вкусу слюны, запаху ее пота и трепету ресниц.

Она лежала навзничь на голом полу, а я, опираясь на локоть и склонившись над нею, разглядывал ее закрытые веки; смотрел на ее почти недвижимое лицо, и все тело мое содрогалось в необъяснимых, поднимавшихся из каких-то ужасных глубин сухих рыданий.

Свободная рука моя утопала в ее разметающихся по полу рыжих волосах, и, словно бы вспомнив какое-то давнее, и не упомянуть какое давнее обещание, моя рука потянула ее за волосы, вместе с волосами я тянул к себе ее голову, и лицо ее скользило ко мне почти безжизненно.

Эти рыдания, жаркие, одуряющие и трясучие, были словно воспоминанием о детской болезни; казалось, из какой-то несказанной глубины мы выбрались на солнечную поляну, в эту комнату, где молча стояла знакомая и все же чужая мебель, в ногах у нас горой высился скомканный толстый ковер, но все складки, узоры на драпировке оставались раздражающе неподвижными, и смотреть на все это залитое солнцем пустое пространство было так больно, что я осторожно опустил голову ей на грудь, осторожно, потому что коснулся ее впервые, и, ощущая жар своего дыхания на согретых теплом ее тела оборках платья, закрыл глаза в надежде, что сотрясающие меня рыдания вернут меня в ту темноту, из которой вырвала тишина.

Она, казалось, вовсе не обращала внимания на мой плач, не пыталась меня утешать; может, я в самом деле убил ее, ужаснулся я.

Среди оборок и кружев мои губы нащупали ее шею, и я снова открыл глаза; мне запомнились цвет ее кожи, ее шелковистость, ощущаемая губами и языком, мы оба безмолвствовали, но мой рот, словно отдельная от меня улитка, неторопливо передвигался по коже, желая отведать все то, от чего он так долго вынужден был удерживаться, и глаза я вынужден был открыть потому, что одно осознание ее кожи казалось мне недостаточным возмещением за упущенные минуты, мне казалось, что, может быть, созерцание поможет мне овладеть тем, чего я так страстно желаю.

«Я хочу тебе что-то сказать», услышал я ее шепот и потянулся к ее губам, чтобы она не произносила вслух, а вдохнула в меня то, что хочет сказать; но я не спешил и сперва ухватил зубами ее милый, обращенный ко мне подбородок и держал его во рту, чуть покусывая, и это было так сладостно, что я пришел в замешательство, как собака, которой взамен аппетитной, уже схваченной ею косточки предлагают другую, еще более аппетитную, выбор был затруднителен, но рот ее ждал меня, и это определило мой выбор, хотя к тому времени я, должно быть, снова закрыл глаза, ибо все, что я помню, был аромат дыхания, долетевший до меня вместе с ее словами: «Я хочу, чтобы ты раздел меня!»

Между тем, я не помню точно когда, рыдания мои прекратились, и что-то опять безвозвратно пропало.

Ее слова, видимо, несколько отрезвили меня, в сознании что-то прояснилось, потому что я хорошо запомнил свое удивление, но удивила меня не просьба, а ее голос; эти слова она произнесла совершенно естественным тоном, они звучали как утешение, так непосредственно, что я и представить себе не мог, чтобы она попросила меня о чем-то другом, и тем не менее голос этот был вовсе не голосом зрелой девушки, нет, казалось, будто она невольно вернулась в то время, которое только что искушало меня слезами, и тем самым она словно дарила мне часть того неизвестного времени, которое я только что изливал ей своим по-детски горячим плачем; так что то, что я чувствовал в тот момент, было даже не удивлением, или было не просто удивлением, а восхищением тем, что она смогла стать девчонкой, восхищением тем божественным свойством человеческого существа, благодаря которому одна душа может помочь другой вернуться к переживаниям тех времен, коих, собственно, уже нет и в помине.

И блаженство этого странного детского, безвременно глубокого и безграничного состояния, исключительного, может быть, потому, что мы чувствовали, как в нас напряженно пересекаются туманно далекое прошлое и неопределенное будущее, мы испытывали, не только пока с видимой обстоятельностью раздевали друг друга, оно, это состояние, углубленное жестами взаимного доверия и близости, длилось и тогда, когда, полусидя и полулежа среди забавных груд расшвырнутых наших одежд, мы наконец-то увидели обнаженные тела друг друга.

87

Я смотрел на нее, но при этом украдкой окинул взглядом и самого себя и с некоторым изумлением обнаружил то, что, впрочем, ощущал и так – просто взгляд должен был убедиться в верности этого ощущения, а именно что мое мужское достоинство, которое только что изо всех сил лезло на рожон, теперь, съевшись, с инфантильным безразличием лежало на моем бедре; и хотя я старался глядеть на себя украдкой, этот мой воровской взгляд, видимо, не укрылся от ее внимания, ибо она, жестко выпрямившись, смотрела только в мои глаза, словно намеренно избегая глядеть и на свое, и на мое тело; мы держали друг друга за руки, и у меня было чувство, что сдержанность ее объяснялась не целомудрием, а тем, что она не хотела теряться в деталях, точно так же, как я, пока раздевал ее: когда я расстегивал сзади крючки, скрытые под отделанной кружевом складкой, когда расшнуровывал ей корсет, снимал с ног изящные, расшитые жемчугом кожаные туфельки, стягивал панталоны, украшенные розовыми бантами, и мудрено пристегнутые под ними длинные шелковые чулки, словом, концентрируясь на всех этих крючочках, пуговичках, шнурках и застежках, я намеренно воздерживался от того, чтобы отдельно разглядывать предстающие моему взору и доселе неведомые участки тела, потому что хотел созерцать ее всю, целиком, безмятежно, но теперь, когда перед моими глазами было все ее обнаженное тело, мне казалось, что этого целого слишком много, что это великолепное зрелище глазами не охватить и не поглотить, и поэтому мне приходилось смотреть на отдельные части и одновременно искать какую-то точку, какое-то одно место на ее теле, на котором взор может остановиться и успокоиться, и, возможно, она была права, если в данном случае вообще можно говорить о правоте, ибо, как сентиментально это ни прозвучит, в ее чуть подернутых поволокой голубых глазах отражалась более полная нагота, чем могла предложить ее кожа, но так оно и должно быть, ведь формы тела, покрытые ровным покровом кожи, в конечном счете могут сказать что-либо о себе только при посредничестве взгляда.

Я также не в состоянии объяснить, каким образом наши тела оказались в этой своеобразной позе, ибо я не могу утверждать, что был в достаточно ясном сознании, чтобы мысли могли управлять движениями, хуже того, всплывающие и тут же гаснущие обрывки воспоминаний и мыслей скорее вводили меня в замешательство, как, например, неожиданная мысль о том, что фрау Хюбнер может, стоя за дверью, подслушивать нас, а еще что внизу ждет извозчик и именно в этот момент он подвешивает торбы с овсом к мордам лошадей, или то мимолетное осознание, что Хелене нет еще девятнадцати, она так немыслимо молода, что если сейчас отдастся мне, чему воспрепятствовать я уже не могу, то и я буду вынужден отдать ей себя навсегда, и внезапно представил себе все трудности нашей возможной совместной жизни, ведь я буду первым, кто, пусть даже на мгновение, разбудит в ней дремлющие в глубине бессознательные инстинкты, и это будет самой глубокой, единственной между нами связью; я видел сидящую против меня беспомощную, лишенную самостоятельного существования марионетку, в которую мне надлежит вдохнуть жизнь, чтобы впоследствии она могла разрушить мою, и именно потому, что связь эта самая прочная, я не должен этого делать, нет, нет, мне нельзя потерять свободу, потому что тогда я просто убью ее, и мне невольно припомнился предыдущий день с его захватывающим маленьким приключением, которое, правда, осталось незавершенным, однако указывало на то, что мои чувства влекут меня на такие пути, которых она не поймет, не говоря уж о том, чтобы за мною последовать, и, стало быть, и ее и себя я подвергну величайшей опасности; но сейчас мы сидели с ней на полу лицом к лицу, держась за руки, обнаженные, предоставленные друг другу, и хотя я не чувствовал никакой поспешности, я просто жаждал каждую ее клеточку, потому что жаждал всю ее целиком, какой она была когда-то и какой будет со мной, и знал, что она моя, поскольку мелькнувшие в моей голове путанные обрывки зловещих мыслей только усилили мою страсть, но оставалось еще кое-что, что нам нужно было преодолеть, и, должно быть, она это тоже чувствовала, поэтому взгляд ее не блуждал по моему телу; словно ребенок, ждущий подарка, но не уверенный, что получит его, она была до предела напряжена, хотя внешне мы оба казались совершенно спокойными, она сидела, подложив одну ногу под себя и опираясь на выставленное колено, почти достигавшее соска, так что лоно ее было совершенно открыто, пряди пышных рыжих волос рассыпались по девчоночьим хрупким плечам, а под рыжеватым, чуть более светлым клинышком были видны раздвинутые половые губы; покосившись же на себя и заметив мирно

дремлющий на моем бедре мужской орган, я подумал, что я смахиваю сейчас на Пана, отдыхающего в лесу на росистой лесной траве, но более удивительным по сравнению с этим зрелищем мне показалось то, что я сижу в той же позе, что и она: одна нога подложена под себя, пах открыт, и я опираюсь на колено другой ноги, мы с нею зеркальные отражения, а еще поразительное сходство я обнаружил между очертанием ее груди и бедра, словно линии эти обе были прочерчены по одному и тому же лекалу творения.

Почти одновременно мы двинулись на коленях навстречу друг другу, в чем нам немало помогали руки, она тянула к себе меня, я подтягивал ее, но каким бы значительным и серьезным ни казался этот момент, было все же что-то забавное в нашем одновременном желании сдвинуться с места; мой взгляд к тому времени уже отыскал на ее восхитительном теле те самые успокаивающие его точки, да, то была не одна точка и не тело в целом, а странным образом видимые одновременно груди, бедра и приоткрывшиеся от сидения полные губы, и я был уверен, что не ошибся в выборе; хладнокровно окинув глазами весь ее стан, я понял, что получу именно желанное, что платье не обмануло меня, я буду обладать совершенным телом, и, кажется, именно эти точки, достаточно далеко расположенные друг от друга, заставили меня сдвинуться с места – и вместе с тем громко рассмеяться; я слышал и видел, что она тоже смеется, то есть мы рассмеялись одновременно, и оттого, что мы теперь оба знаем, что оба думаем об одном и том же, что оба находим забавным одновременность действий и оба одновременно смеемся над этим, наш смех стал еще заразительней, еще громче, превратился в неистовый оглушительный хохот, я слышу его до сих пор, и казалось, что вместе с этим ураганным хохотом нас накрыла волна какой-то неукротимой силы; заметив по-женски зрело сверкающие у нее во рту десны, я с секунду еще колебался, а колебался я потому, что не мог решить, какой из двух трепещущих передо мною грудей отдать предпочтение, я хотел обе сразу, между тем сотрясающий все мое тело хохот все же каким-то образом напоминал мне о моих недавних рыданиях; ладонь моя нежно легла на ее лобок, и палец, скользя меж двух изумительных губ ее лона, проник в мягкую шелковистую глубину; на спину и плечи мои, словно шатер, упали ее волосы, она, возможно, искала затылок, и когда я осторожно взял в рот ее твердый сосок, она уткнулась губами мне в шею и тоже проникла рукою в мою промежность, после чего наступило безмолвие, и когда я позднее вспоминал об этом, меня всегда искушала мысль, что там и тогда мы сидели с ней на ладони у Господа.

БОЛЬ ПОСТЕПЕННО ВОЗВРАЩАЕТСЯ

90

И вот я снова стоял в нашей прихожей, возможно, в тот же самый час, и видел в зеркале, что на вешалке висит пальто.

В полумраке, да еще через зеркало, однозначно определить его цвет было трудно, пальто было из грубого плотного сукна того рода, с которого во время дождя стекает вода, зато всякие соринки-пушинки к нему так и льнут.

Вода, булькая, струилась по водосточным трубам, на крутых крышах, превращаясь в жидкую кашицу, таял снег; я с портфелем в руке стоял у зеркала.

Пальто, кажется, было темно-синим, напоминало какую-то старую, вышедшую из употребления униформу, с загадочным образом сохранившейся под широким воротником золоченой пуговицей, в то время как все остальные пуговицы были заменены.

И, возможно, именно из-за этой золотой пуговицы, сверкающей на темном пальто, я снова подумал о нем, вспомнив, как он идет по заляпанной пятнами снега поляне, и щемящей болью напомнил о себе тот час, когда я вот так же, так же, как сейчас, стоял в прихожей и не имел ни малейшей надежды, что муки, которые я испытывал из-за него, когда-либо кончатся; я смотрел тогда в зеркало и думал, что все-все, навсегда останется так же, и действительно, ничего не изменилось, тогда таял снег и сейчас тает, и, чтобы не идти вместе с ним, я и сегодня отправился домой через лес, и, как и тогда, в ботинках моих хлюпала влага, и даже из столовой, казалось, слышались те же самые звуки, что и тогда, что и всегда: позвякивание посуды, пронзительные визги моей сестренки и неумоимо укоризненный голос бабушки, то и дело прерываемый благодушно терпеливым бурчанием деда; звуки настолько знакомые и привычные, что к ним даже не нужно прислушиваться, чтобы понимать их; и из-за множества этих совпадений казалось, что между «тогда» и «теперь» нет никакого различия; боль постепенно вернулась, однако чужое и незнакомое пальто на вешалке, именно то пальто, что вызвало во мне ощущение тщетности моей безысходной борьбы с любовью, именно оно подсказало

мне, что я стою здесь не тогда, а теперь, и если это на самом деле так, то, возможно, когда-то пройдет и это.

Только мать моя лежала все так же, голова ее утопала в больших мягких белых подушках, казалось, будто она постоянно спала, открывая глаза, только когда кто-то входил в комнату.

И на сей раз я тоже направился сперва в ее комнату, как всегда с того дня, ибо куда я еще мог направиться?

Хотя в первый раз, тогда, я сделал это ничуть не умышленно – меня привел к ней примитивный и грубый инстинкт, потому что прежде я сперва шел обедать, и только с этого дня моей небескорыстной привычкой стало, сидя на краешке кровати и держа мать за руку, дожидаться, пока накормят сестренку, уберут со стола всю посуду, после чего я отправлялся в столовую, где был уже только мой прибор, и обедал в одиночестве, без сестренки, вид которой становился для меня все более обременительным, то, что прежде казалось естественным или почти естественным, теперь вызывало отвращение; я говорю «прежде» и «теперь», невольно разделяя время, теперь, то есть после поцелуя, ибо он, сегодня я это знаю, очень многое перевернул во мне, перестроил мои естественные привязанности, так что к кому я еще мог отправиться, если не к матери, – ведь причина боли, ощущаемой мной из-за Кристиана, была не только в его неспособности или нежелании ответить на мои тайные влечения, но, главным образом, в том, что эти эмоции и тоска имели невероятной силы физические проявления в моих мышцах, губах, кончиках пальцев и, признаем и это, в напряжении, которое я испытывал в паху, ну а что, какие инстинкты могут быть в нас сильнее, чем желание трогать, ощупывать, обонять и все, что можно потрогать, погладить, понюхать и осязать, еще и взять в рот, завладеть, поглотить, но только это желание прикоснуться я должен был считать чем-то неестественным, чем-то таким, что отличает только меня и потому отделяет меня от других, изолирует и клеймит, независимо от того, что для моего тела, которое мог ощущать только я один, не было ничего более естественного; я должен был стыдиться того поцелуя и своего желания, и он бесконечно тонко, но все-таки дал мне это почувствовать, сумев оградить себя от меня и, в какой-то степени, от собственных побуждений, потому что на мгновение что-то вырвалось в нем из каких-то глубин, но он должен был это подавить в себе, и он это сделал, он должен был это скрыть, и он это скрыл даже от самого себя, в то время как я, беспрерывно и одержимо, вспоминал, мучился и, можно даже сказать, жил только этим; но разве

воображение может удовлетворить скрывающиеся в реальных формах желания тела? и кого в моем окружении, кроме матери, я мог бы ощупывать, осязать, целовать, поглаживать и обнюхивать так же свободно, как мне бы хотелось все это делать с ним?

Вместе с тем когда мне приходилось смотреть на лицо сестренки, на это отвратительное лицо, я, особенно после того поцелуя, не мог не догадываться, что никакие тщательно дозированные лекарства его не изменят, что семейные разговоры о гормональных нарушениях, конечно, не более чем благая ложь, ложь даже самым себе, ведь это не насморк, в конце концов, это даже не болезнь! да и я вовсе не больной, просто она такая и я такой! и эту аномальность, которую, наверное, к счастью, она вроде бы даже не сознавала, была беззаботна и весела, непосредственно реагировала на всякий сиюминутный раздражитель, то есть чтобы любить ее, я должен был принимать ее состояние как естественное, но тогда выходило бы так, как если бы я разглядывал в зеркало свое собственное, аномальное, по моим подозрениям, естество, и мне бы пришлось убедиться, что, да, естество это безобразно, пришлось бы признать это, и пути назад уже не осталось бы, тем более что лицо сестренки, несмотря на уродство, несло в себе наши черты, она была живой карикатурой семьи, не замечать этого было невозможно, и хотя я не в состоянии был продолжать лгать, я не мог подавить в себе отвращение и страх.

Когда я подолгу смотрел на ее лицо – а поводов для этого было предостаточно, мне порой приходилось проводить с ней долгие часы, – я видел на нем некое первобытное терпение, смешанное с животным спокойствием, и какую бы игру я для нее ни придумал, пусть самую примитивную, состоящую, скажем, просто из повторения какого-нибудь жеста, она, как любила выражаться бабушка, тем и тешилась и даже была способна без скуки наслаждаться регулярностью повторяющихся движений, замыкаться в кругу повторов, или, точнее сказать, исключать себя из игры, действуя как заводная кукла, и, ничуть не смущаясь, позволяла мне наблюдать за собой; например, мы забирались под стулья в разных концах комнаты, и я перекачивал в ее сторону прозрачный шарик из цветного стекла, который ей нужно было поймать в воротах, образуемых ножками стула, и швырнуть мне его обратно; это стало одной из ее любимых игр, да и мне она тоже нравилась, потому что отслеживание траектории шарика поглощало все ее внимание, а так как поймать его было не слишком трудно, то она от души визжала, мне же было достаточно машинально повторять движения, я был там,

играл с ней, делал то, чего от меня и ждали, а с другой стороны, при желании мог самоустраниться, быть не там, а в более приятных местах, участвовать в других событиях, спасаясь в своих необузданных фантазиях, или, вовсе наоборот, все внимание обратить на нее, но при этом наблюдать не ее, а явление, отождествляться с нею, впитывать в себя, ощущать в ее искаженных чертах свои собственные черты и узнавать в ее настырной, упрямой неловкости свою собственную беспомощность, и все это холодно, отстраненно, безо всяких эмоций, но вместе с тем наслаждаясь своей холодностью, заигрывая с мыслью о том, что я – наблюдающий червяка исследователь, который пытается изучить свой живой объект таким образом, чтобы не только получить точное представление о механике его движения, но и словно бы изнутри пережить наблюдаемый странный порядок, его душу, ощутить силу, благодаря которой одно движение следует за другим, выстраиваясь в целую очередность движений, проникнув под оболочку иного существа, одновременно почувствовать его и свое существование; казалось, мы наблюдаем полупрозрачно-зеленую гусеницу, мягко цепляющуюся своими ножками за белый камень, которая, стоит к ней прикоснуться, неожиданно выгибает спину, укорачивая собственную длину и подтягивая кончик хвоста чуть ли не к голове, и сгорбленной своей массой продавливает себя вперед, так она движется, такой у нее способ перемещения, ничуть не более странный или смешной, чем наша ходьба, когда мы, вынося одну ногу вперед, с помощью другой сообщаем центру тяжести нашего тела ускорение, необходимое для поступательного движения; и если наблюдать достаточно долго и несколько расслабившись наподобие гусеницы, то нетрудно будет представить и даже почувствовать у себя на животе крохотные лапки с крючочками, почувствовать, как жесткий наш позвоночник делается гибче, и сами мы уже не так далеки от возможности быть такими же, и если внимание наше достаточно сконцентрировано для того, чтобы ощутить в своем теле все эти возможности, то мы уже не просто наблюдаем за этой гусеницей, но, в сущности, ею являемся.

Теперь я уже могу признаться, что раньше, когда состояние моей сестренки угнетало меня не так сильно, когда я еще не задумывался, почему, по примеру родителей, я никогда не обращаюсь к ней по имени, почему называю ее сестренкой, а не просто сестрой, и что за странные игры в прятки вынуждают нас, демонстрируя этот избыток любви, быть может, невольно, но все же давать понять, что, пусть она и является центром всеобщего внимания,

на самом деле самым этим ласковым обращением мы исключаем ее из своего круга, чего требует здоровое чувство семейного равновесия; однако до той поры, когда смятение, страхи и отвращение, возникшие из-за собственной отчужденности и особенности, отделили меня от нее и от самого себя, мои эксперименты над нею вовсе не ограничивались простым наблюдением, но принимали и более практичные, я бы сказал, не лишённые физического воздействия формы, и если тем самым я переступал определенные границы и потому вынужден был держать эти забавы в глубокой тайне, в тайне, гораздо большей, чем даже поцелуй, а некоторые происшествия скрывать даже от самого себя, я все же не полагаю, что поступал с ней бесчеловечно; поздней отвращение и навязанное самому себе безразличие сделали меня гораздо бесчеловечней, больше того, с некоторой смелостью я мог бы сказать, что наши отношения в то время, быть может, из-за моего безжалостно откровенного любопытства, отличала определенного рода гуманность.

Бывало, в предвечерние часы, чаще всего зимой, когда послеобеденная тишина в доме сливалась с тревожно глубокими сумерками быстрого заката, двери огромных комнат были распахнуты настежь и доносившиеся из отдаленной кухни глухие стуки, тихий звон и металлическое позвякивание постепенно стихали, за окнами тоже все было тихо, шел дождь или падал снег, задувал ветер, и я, не имея возможности блуждать по окрестностям или исчезнуть в саду, лежал на кровати или сидел за столом, подперев голову, над какой-нибудь сложной задачей и при этом все время поглядывая в окно; телефон не звонил, дед дремал в своем кресле, зажав руки между колен, в кухне пятнами уже подсыхал пол, голова матери еще глубже тонула в подушках, сон делал ее голову тяжелее, ее рот слегка приоткрывался и книга выскальзывала у нее из рук; то были неконтролируемые часы, мою сестренку, в надежде на то, что она уснет и даст нам немного покоя, укладывали в ее комнате, но она, минуточку с готовностью подремав, как правило, просыпалась и, выбравшись из постели в тщательно затемненной комнате, направлялась ко мне.

Она останавливалась в дверном проеме, и мы молча смотрели друг на друга.

После обеда ее обряжали в длинную ночную рубашку, потому что бабушка всеми силами старалась ее убедить, что уже вечер и пора спать, хотя я не думаю, что она могла различать день и ночь, так что затемнение было бесполезным; она стояла в дверях, ослепленная светом, глазки полностью утопали в опухшем лице, и тя-

нулась к свету; протягивая в мою сторону руки, она пыталась его ухватить; ее небольшое тельце почти до пят было скрыто длинной белой полотняной рубашкой, обшитой понизу голубой каймой, и все-таки ощущалось, и не только из-за выглядывающих из широких рукавов рук, не только из-за больших, почти взрослых стоп, что все ее члены, все ее плотное тело начисто лишены обаяния, тело было маленькое, но тяжелое, ее необычно белая, с безжизненным сероватым отливом шероховатая кожа странным и непостижимым образом казалась очень толстой, как будто под этой грубой поверхностью скрывался еще не один слой более тонкой кожи, словно под этой оболочкой, похожей на хитиновый покров жука, пряталась ее настоящая, человеческая кожа, такая же, как у меня, живая, гладкая и покрытая легким пушком; эта кожа производила на меня такое исключительное впечатление, что я пользовался любой возможностью, чтобы потрогать ее, так что цель наших игр заключалась нередко всего лишь в том, чтобы быстро и без околичностей добраться до ее кожи, что я мог бы спокойно сделать и без каких-либо поводов, мог схватить ее, ущипнуть, предлог нужен был для того, чтобы обмануть собственное нравственное чутье и сделать то, что мне непременно хочется сделать, как бы невзначай; самой непропорциональной частью ее тела была, разумеется, голова, полная, круглая, жутко большая, вроде тыквы, которую мальчишки нацепили на черенок метлы, с серыми точками в узких прорезях вместо глаз; пухлая и отвислая нижняя губа у нее блестела от обильно стекающей слюны, которая, смешиваясь иногда с соплями, капала с подбородка на грудь, оставляя на ее платьях вечные мокрые пятна; как следует присмотревшись, можно было заметить, что черные зрачки ее глаз совсем маленькие, застывшие и, наверное, потому совершенно невыразительные.

Но эта невыразительность волновала меня не меньше, чем ее кожа, а может быть, даже больше, поскольку она была неосязема, привычные признаки чувственной выразительности отсутствовали в ее глазах иначе, чем это бывает в так называемых нормальных глазах, которые при нежелании выказывать чувства делаются непроницаемыми, а тем самым и выдают, что в данный момент от нас хотят что-то утаить, и даже невольно подсказывают, что именно; нет, ее глаза просто не выражали ничего, точнее сказать, в них выражалось ничто, выражалось так же постоянно и непрерывно, как выражаются в наших нормальных глазах чувства, желания, гнев; ее глаза были непривычно предметны – пара линз, используемая для зрения, сама бесстрастная непроницаемость, и когда человек

заглядывал в них, наблюдал за их скачкообразными стремительными перемещениями, то невольно пытался разглядеть за этими «видящими линзами» другие, живущие более чувственной жизнью глаза, подобно тому, как мы ищем за блеснувшими вдруг очками сам взгляд, потому что, не видя глаз человека, невозможно точно понять смысл сказанного им слова.

В такие предвечерние часы, остановясь в дверях, она всегда молчала, словно догадываясь, что ее пронзительный голос непременно разоблачит ее, и если бабушка заподозрит неладное, то лишит ее мук и радостей нашей возможной совместной игры, сложившегося между нами тайного соучастия; она это знала даже несмотря на то, что памяти у нее, казалось, не было, а если и была, то довольно своеобразная, ибо трезвым умом невозможно было объяснить, что именно она помнила и что забывала, например, есть она могла только руками, и тщетно пытались взрослые за каждым обедом научить ее пользоваться вилкой и ложкой, это не получалось, вилка, ложка просто выскальзывали у нее из рук, ей было непонятно, зачем их нужно сжимать, однако наши имена, например, она помнила и всех называла правильно, была приучена ходить в туалет, а если случайно описывалась или обкакивалась, то садилась тихонько в угол, добровольно подвергая себя наказанию, которое когда-то изобрела для нее бабушка, и часами безутешно плакала, в чем проявлялась какая-то бесконечная доброжелательность по отношению ко всем нам; хотя я не смог вдолбить ей в голову цифры – я пытался учить ее счету, но она тут же все забывала, – да и с определением и различением цветов были большие проблемы, она всегда готова была все начать заново, всячески стараясь к нам приспособливаться, нам понравиться, и нас не могло не трогать, когда она, например, с невиданными усилиями, мучительно хмурия лоб, искала какое-нибудь ежедневно употребляемое слово, не в силах найти его, потому что язык слов был не ее языком, а когда искомое слово или выражение с победным визгом все же срывалось с ее уст и сама она, слыша его, понимала, что обрела его, то в улыбке, которая озаряла ее лицо, и в ее смехе было такое неопишемое блаженство, которого нам не изведать, наверное, никогда.

Ибо если во взгляде ее не было ничего, что можно было бы счесть проявлением чувств и эмоций, то эта улыбка и этот смех, по-видимому, были языком, на котором она общалась с нами, единственным языком, на котором она могла говорить, ее языком, понятным, конечно же, только посвященным, но, наверное, все же более красивым и возвышенным, чем наш собственный, потому

что его единственным, но до бесконечности варьируемым звуком была неподдельная радость, испытываемая от доверия к самому существованию.

Однажды я обратил внимание, что на моем столе лежит булавка, обычная булавка; я понятия не имел, как она оказалась там, еще вчера ее не было, а сегодня была, поблескивала на темном дереве в углублении, образованном нашвырянными на стол учебниками и тетрадями, сверкала не ярко, так, чтобы можно было только заметить; трудно также сказать, почему я так оберегал ее в течение нескольких дней, почему так старался не сдвинуть ее, когда переворачивал страницы, искал что-нибудь на столе, писал, читал или бесцельно передвигал, выкладывал или убирал свои вещи; я также не исключал, что булавка исчезнет столь же неожиданно, как и появилась; но она была на столе и на следующий день; на столе горела уже лампа под красным абажуром, хотя за окном, как и в комнате, было еще не совсем темно; сестренка стояла в полумраке, и, выглядывая из света, отбрасываемого лампой, я скорее догадывался о ее присутствии в нагретой послеполуденным теплом комнате, точно так же и она, ослепленная светом и все еще полусонная, едва ли могла меня четко видеть; из кухни донеслось еще несколько глухих звуков, и все окончательно стихло; я знал, что эта тишина продлится по крайней мере в течение получаса; игра, которую мы оба ожидали, могла начаться с чего угодно; булавка в тот день была еще на моем столе, и стоило сделать только одно движение, чтобы затем все продолжилось само собой; я ухватил головку булавки ногтями, просто хотел показать ей ее, посмотри, мол; она улыбнулась, собираясь, видимо, рассмеяться своим доверчивым смехом, но улыбнулась сдержанно, потому что боялась меня и этому своему страху готова была предаваться всегда; я тоже боялся ее, но времени у нас не было и отказаться от игры было невозможно, она этого мне не позволила бы; если бы не она, то я, а если не я, то она все равно сделали бы первый шаг, мы были связаны, и что-либо изменить не мог ни один из нас.

Поздней, обнаружив в себе настоящее, глубокое и поэтому труднообъяснимое увлечение, я собрал внушительную коллекцию разных булавок, сохраняя не только те, что попадались случайно под руку, но искал их, охотился за булавками, и поскольку это сделалось моей страстью, то мало того что искал, но, как это ни странно, постоянно находил их, хотя прежде, насколько я помню, никогда ни одна булавка не просилась мне в руки так вызывающе и настойчиво; теперь же я наталкивался на них в самых невероятных

местах: они давали о себе знать слабым блеском или легким уколом, обнаруживаясь в подушках, в подкладке пальто, на улице, в обитом тканью подлокотнике кресла; я начал классифицировать их, открывая все новые их разновидности, а в качестве испытания колол себе новой булавкой кончик пальца и наблюдал, выступит ли кровь; булавок было уже целая коллекция, длинных и коротких, с головками круглыми, плоскими, из искрящегося перламутра, были ржавые, нержавеющие, латунные, с прямыми и копьевидными кончиками, которые и кололись по-разному; но в тот день у меня была лишь одна булавка, длинная, с обыкновенной круглой головкой, самая первая, оказавшаяся у меня на столе так загадочно, что я даже спросил о ней у отца, когда он однажды вечером случайно остановился перед моим столом, но отец склонился над столом с удивлением и некоторым недоумением, не понимая, чего я хочу; я показал ему, на что он, неосознанно раздраженным жестом отбросив назад свои длинные и прямые светлые волосы, вечно падавшие ему на глаза, неожиданно грубым тоном попросил избавить его от моих глупостей; именно эта булавка и стала основой моей будущей коллекции; я, без каких-то особых намерений, просто продемонстрировал ее сестренке, как будто эту булавку нужно было показывать всем и каждому, но стоило мне поднести ее к свету лампы, как она сделала тот самый первый шаг и приблизилась к булавке, что побудило меня к следующему, все еще лишенному какой-либо цели движению – я сполз со стула и с булавкой в руке скользнул под письменный стол.

Сегодня, когда эта исповедь вынуждает меня к тому, чтобы воспроизвести в памяти серию совершённых и навечно впечатавшихся в сознание движений, меня охватывает дрожь, пожалуй, еще более сильная, чем тогда.

Страх изначален и всемогущ, и сдается, что, будучи облечены в слова, те вещи, которые в наших надеждах кажутся преходящими, все же оказываются самой живой реальностью.

Тогда я дрожал мелкой дрожью, но дрожал все-таки не от страха, и в этом великая разница! то было не судорожное беспросветное чувство, которое я ощущаю теперь, а простое волнение, легкое, ясное, чистое, то волнение, которое мы испытываем, когда допускаем, чтобы части нашего тела действовали свободно и бесконтрольно, независимо от нашей воли, решений и коварных желаний; довольно долго ничего не происходило, под столом было тепло и темно, мне казалось, будто я сижу в поставленном на попа ящике, чей развратный зев ожидал ее приближения, будто хотел ее поглотить.

Старый стол источал запах древесины, тот резкий запах, который мебель никогда окончательно не утрачивает, напоминая о своем происхождении, давая ощущение безопасности, защищенности и постоянства, а еще мне казалось, что я чувствую характерный бумажно-пыльный запах прокурорских кабинетов – этот списанный конторский стол когда-то стоял у отца на работе; она замерла на месте, но я знал, что она подойдет, потому что после первого жеста между нами всегда возникала некая напряженность, требующая продолжения и завершения, в этом и состояла игра; потом послышались ее неуклюже тяжелые шаги, она шла, как будто должна была не только тащить груз собственного тела, но еще и подталкивать его вперед.

Как паук, затаился я в коробе письменного стола, зажав ногтем головку булавки и направив ее крошечное острие к себе, когда перед глазами появилась ее длинная белая ночная рубашка; она брякнулась на колени, и лицо ее осветилось широчайшей ухмылкой; я мог бы сказать, что в этот момент во мне не было совершенно никаких чувств, но точно так же мог бы утверждать и обратное – что мгновение это было концентрацией всех возможных моих эмоций; она так быстро и так возбужденно поползла в мою сторону, к зеву письменного стола, как будто хотела наброситься на меня, но после нескольких движений замявшаяся под колени рубашка остановила ее, она потеряла равновесие, ударились лбом о край стола и упала, стукнувшись головой об пол; я не пошевелился; по тайному уставу жестокости она должна была добраться до меня сама, без посторонней помощи.

Изобретательность ее была столь же непредсказуемой, как и память: она села, ухмыльнулась еще более широкой и нетерпеливой усмешкой и как ни в чем не бывало естественным жестом вытянула край рубашки из-под коленей; движение было небрежным и, как я сказал, совершенно естественным, потому что на сей раз она открыла естественную связь между ночной рубашкой и своим падением, тогда как в других ситуациях, часто более простых и прозрачных, она была неспособна обнаружить подобные связи – например, когда, желая полакомиться каким-то фруктом, легко забиралась на дерево, а вот спуститься с него уже не могла и, вцепившись в шаткую ветку, тихонько скулила, пока ее кто-то не обнаруживал на суку, хотя слезть с дерева было ничуть не труднее, чем на него забраться, а забиралась она иногда так высоко, что снимать ее нам приходилось с помощью лестницы; возможно, находчивой ее делала просто жажда радости и наслаждения, и, как только

она удовлетворяла ее, независимо от того, что было предметом желаний – спелая черешня, желтые абрикосы или, скажем, я, – память ее угасала, пропадала изобретательность, и она возвращалась в тот мир, где предметы существовали одиноко и изолированно, где стул становился стулом, только когда на него садились, стол делался столом, когда на него ставили ее тарелку, где явления не были друг с другом связаны, а просто существовали, если существовали, и, в лучшем случае, только перетекали одно в другое; именно эту руководящую ею жажду и выдавали немисливо алчная ухмылка и еще более неподвижные, чем всегда, распахнутые немигающие глаза; освободив колени, она подползла еще ближе, оказавшись уже под столом, под его защитой, где никто не мог видеть, чем мы занимаемся; как и она, я тоже по-своему был ослеплен своими желаниями; она возбужденно пытела, я тоже дышал все громче, мой слух, обостренный напряжением чувств, словно странную музыку, четко различал два отдельных, но все-таки согласованных ритма дыхания, ее и мой, и если бы я не поднял сейчас руку, чтобы направить булавку прямо ей в глаз, который так и притягивал к себе ее острие, она наверняка тут же бросилась бы на меня; бороться со мной ей нравилось; она не отшатнулась, и ухмылка не исчезла с ее губ, просто она замерла и, временно отложив надежды на завершение нашей игры, затаила дыхание.

Хотя острие булавки было всего в нескольких сантиметрах от блестящей поверхности ее глаза, она даже не моргнула, моя рука тоже не шевельнулась, я только почувствовал, как медленно приоткрылся мой рот, – собственно, я ничего не хотел, просто она была рядом, открытая, беззащитная, а где-то позади ее видимой части, возможно, скрывалась другая, живущая чувственной жизнью, трепетная, хлопающая ресницами, пугливая, и если бы, не дай бог, случилось, что она, пусть невольно, чуть-чуть подалась ко мне или рука моя чуть качнулась бы в ее сторону – но нечто предотвратило жуткую развязку, хотя это невидимое препятствие, стена, какая-то тень, словом, это нечто, казалось, было совершенно независимым от моих намерений, каким-то проявлением внешней, существующей вне меня силы, и вместе с тем, разумеется, было связано с моими намерениями, даже если об этих намерениях я не догадывался, настолько они были загадочными и тайными, с моим любопытством, которое всегда и во всем одерживало надо мной победу, но не теперь! а если бы это все же случилось! – наверное, и тогда я не мог бы себя упрекнуть, потому что неистребимая жажда проникнуть внутрь безразличной, на первый взгляд, внешней формы ве-

щей и явлений, заставить это безразличие говорить и кровоточить, овладеть им, как я сделал это с губами Кристиана, а впоследствии и с другими желанными мне губами, эта жажда всякий раз делала меня безвольным инструментом этой странной силы; но ужасная развязка все же не наступила, и я даже не знаю, не было ли еще более ужасным то, что произошло или могло произойти вместо нее.

Ибо как только этот застывший момент отчаяния миновал, ее тело осело на пятки, увеличившаяся дистанция между нами подействовала на меня отрезвляюще, и булавка, которую я все еще сжимал в ногтях, стала не более чем свидетельством моей невообразимой безмозглости, ерундой, о которой можно, пожав плечами, забыть, то, что могло произойти, все же не произошло, мне пришлось закрыть рот, пришлось снова услышать свое поидиотски взволнованное дыхание, что разожгло во мне злость, злость пошлую, примитивную и потому целиком мою, вот, опять я ее упустил, опять остался наедине с собой, но все же я потянулся за удаляющейся сестренкой и коротким движением ткнул булавкой в ее оголившееся бедро.

И опять ничего не случилось; она отшатнулась, но не проронила ни звука; казалось, если мгновением раньше мы были где-то высоко-высоко, то теперь низвергались в какую-то пропасть, у нее пресеклось дыхание, но, видимо, не от боли, ночная рубашка задралась до пояса, и между раздвинутыми бедрами моему взгляду открылось отверстие в ее теле, приоткрытая темная щель, обрамленная двумя раскрасневшимися упругими холмиками, и булавка нацелилась теперь туда, остановить ее я не мог, но она не кольнула и даже не затронула кожу, а просто проникла в отверстие.

Потом я еще раз вонзил ее в ляжку.

Не легонько, как в первый раз, а сильно и глубоко; она взвизгнула, ухмылка исчезла с ее лица, и еще до того, как она бросилась на меня, я успел заметить ищущий спасения взгляд, как будто от физической боли с ее глаз спала невидимая пелена.

Сомнений не было, висевшее на вешалке темное пальто могло означать только одно: у нас гость, причем гость необычный, потому что пальто было строгим и мрачным, ничуть не похожим на те, которые обычно висели на этой вешалке, настолько бедным и потертым, что я даже не испытал желания сделать то, что я делал почти всегда, оставшись в прихожей наедине с чужими пальто, – пошмонать по карманам и, обнаружив завалявшуюся в них мелочь, затаиться, прижавшись к стене и выжидая момента, когда можно будет украсть несколько филлеров или форинтов.

На сей раз никаких незнакомых звуков, никаких голосов я не слышал, все было как обычно; поэтому я открыл дверь и, не успев толком осознать даже собственное изумление, сделал несколько шагов к кровати.

У кровати, держа руку моей матери, стоял на коленях незнакомый мужчина и, припав лицом к этой утопающей в толстом одеяле руке, плакал; плечи и спина его содрогались, он целовал руку матери, а та свободной рукой гладила его голову, запустив пальцы в почти совершенно седые, коротко стриженные волосы незнакомца, как будто желая за волосы, утешающим жестом, мягко подтянуть к себе его голову.

Я увидел это, войдя в комнату, а когда сделал несколько шагов к кровати, мужчина оторвал голову от материной руки, не слишком быстро, в то время как мать резко отпустила его волосы и, слегка приподнявшись на подушках, бросила взгляд на меня.

«Выйди, пожалуйста!»

«Заходи!»

Они сказали это синхронно, мать – прерывающимся голосом, одновременно запахивая на груди вырез мягкой белой ночной рубашки, а мужчина – приветливо, словно и правда обрадовался моему неожиданному появлению; я растерянно замер на месте, сбитый с толку и появлением незнакомца, и их противоречивыми призывами.

Комната была залита ярким послеполуденным солнцем, проникая через задернутые тюлевые занавески, еще по-зимнему строгий свет рисовал на безжизненно сверкающем полу затейливые узоры; за окном шумели водосточные трубы, по которым с бульканьем, хлюпаньем стекала тающая на крыше снежная жижа; сноп света не освещал их, достигая лишь до изножья кровати, где лежал небольшой, неловко перевязанный шпагатом пакет из коричневой бумаги, который тоже, видимо, принадлежал незнакомцу; отирая слезы, он выпрямился, потом, улыбаясь, поднялся, и в этой неожиданной смене настроений почувствовалась и какая-то беззастенчивость, и несомненная сила; одежда его выглядела так же странно, как и пальто на вешалке, на нем был светлый, слегка полинялый летний полотняный костюм, он был очень высок, лицо – бледное и красивое, костюм и белая рубашка – мятые.

«Не узнал меня?»

На лбу незнакомца было заметно красное пятно, в одном глазу еще блестели слезы.

«Нет».

«Как же ты не узнал? Неужели забыл? Как ты мог так быстро забыть!»

Какое-то до сих пор не известное мне волнение сделало голос матери сухим и сдавленным, хотя чувствовалось, что она пытается взять себя в руки; тем не менее голос звучал неестественно, как будто ей полагалось играть роль моей матери, разыгрывать, что она обращается к своему сыну, как будто ей нужно было сейчас справиться вовсе не с радостью и растроганностью по поводу появления наверняка неожиданного для нее гостя, а скорее с какой-то невероятной внутренней дрожью, с каким-то страхом, причины которых были мне неизвестны; глаза ее оставались сухими, без слез, лицо изменилось, что поразило меня намного больше, чем их интимная близость или тот факт, что я не узнал мужчину; на кровати передо мной сидела красивая рыжеволосая женщина с зардевшимися щеками, слегка дрожавшая, душившая себя завязками ночной рубашки, которые она нервно стягивала у горла пальцами, женщина, пытавшаяся что-то скрыть от меня, однако ее прекрасные сузившиеся мечущиеся глаза все же выдавали ее, в этой мучительной и предательской ситуации она была беззащитна; я разоблачил ее.

«Как-никак пять лет!» – сказал незнакомец и легко рассмеялся; приятным был не только его голос, но и манера смеяться, похоже было, что он имел склонность смеяться и над самим собой, свободно играть со своими чувствами; неторопливыми уверенными шагами он двинулся ко мне, и от этого действительно стал знакомым, я узнал походку, этот смех, запахнутость голубых глаз и, наверное, главное – успокаивающее доверие, которое я ощутил к нему.

«Пять лет – срок немалый!» – сказал он и обнял меня, все так же смеясь, но смех этот был обращен все же не ко мне.

«Ты, наверное, помнишь, мы рассказывали тебе, что он за границей? Ну, помнишь?»

Мое лицо коснулось его груди, тело его было жестким, костлявым, худым, и поскольку я машинально закрыл глаза, то многое смог почувствовать в этом теле; но полностью отдаться объятию я не мог, с одной стороны, потому, что нервозность матери передалась и мне, а с другой, потому, что доверие, вызванное его походкой, непринужденностью, его телом, казалось мне слишком знакомым и слишком сильным, и именно эта чрезмерная открытость ощущений побуждала меня к сдержанности.

«Теперь уже можно не врать. Я был в тюрьме».

«Я придумала эту историю, потому что тогда мы ничего толком не могли тебе объяснять».

«Да, да, в тюрьме».

«Не бойся, он не крал и не грабил!»

«Я все тебе объясню. Почему бы не рассказать и ему?»

«Если считаешь нужным».

104 Он не ответил и, как бы медленно оторвавшись от матери, обратил все внимание на меня; крепко взяв меня за плечи, он слегка отодвинул меня от себя, окинул внимательным взглядом, буквально пожирая глазами, и от зрелища, то есть от меня, он повеселел, более того, его улыбка превратилась в смех, в смех, который был предназначен уже только мне, означал, что он остался доволен мной; он встряхнул меня, похлопал по плечам, с громким чмоканьем расцеловал в обе щеки, потом, как человек, который не может налюбоваться мной, поцеловал меня в третий раз, и перед этим эмоциональным порывом я уже не устоял, я уже знал, кто он, знал доподлинно, потому что его агрессивная близость взломала во мне тяжелые замки и внезапно, неожиданно, вдруг заставила все вспомнить, и вот он уже был здесь, рядом со мною, целовал меня, крепко сжимал в объятиях; открыл замки, о которых я вроде бы даже не подозревал, ведь он в свое время исчез, мы больше не вспоминали его, он больше не существовал, растворился, и в конце концов я забыл даже то, что в моей памяти был маленький темный уголок, который несмотря ни на что хранил ощущение его близости, его взгляд, походку, тембр голоса, его прикосновения; и вот он был здесь, одновременно как воспоминание и реальность, и я, пусть неловко, потому что неловкость эта вызвана была как раз волнением, в ответ на третий его поцелуй тоже коснулся губами его щеки, но он снова прижал меня, почти грубо, к своей груди и долго не выпускал из объятий.

«Пожалуйста, ответните, я встану».

ПОТЕРЯ И ОБРЕТЕНИЕ СОЗНАНИЯ

Когда, валяясь на глыбах хайлигендаммской дамбы, я пришел наконец в себя и уже понимал, где я и в каком состоянии нахожусь, то все же, должен сказать, это было не более чем некое ощущение чистого, от всего на свете свободного бытия, ибо в сознании напрочь отсутствовали порывы инстинктов и привычных автоматизмов, которые, обращаясь к нашему опыту и желаниям, беспрестанно транслируют нам звуки и образы, создавая тем самым постоянный и бесконечный поток видений и воспоминаний, делая наше существование в какой-то мере осмысленным и целесообразным, позволяя определять свое место в мире и устанавливать связи между нами самими и окружающими, или даже отказываться от них, что тоже является своего рода формой связи; в этой первой и, по-видимому, очень короткой фазе моего возвращения я не чувствовал, что мне чего-либо не хватает, не чувствовал хотя бы уже потому, что всякую пустоту, которую можно было бы воспринять как нехватку чего-то, заполняло именно это ощущение неосмысленного и бесцельного бытия; острые скользкие камни давали мне ощущение тела, а кожей я чувствовал, как поглаживает меня вода, то есть в любом случае я, наверное, имел представление о камнях и теле, о воде и коже, но все эти сами по себе разрозненные представления никак не увязывались с той реальной ситуацией, которую в здравом уме я бы должен был оценить как превратную и опасную, и больше того, нетерпимую, но именно в силу того, что я ощущал это чувственное впечатление как никогда сильно, а это, в свой черед, означало, что мое сознание уже нацелилось на привычный путь сравнений и воспоминаний, чего мне ничуть не хотелось, все то, что могло еще предложить мне сознание, было мне не нужно, потому что те малые, не связанные одно с другим ощущения воды, кожи, камней и тела, что оно уже донесло до меня, указывали на некое неуловимое целое, на какую-то абсолютную первозданную полноту, которой, во сне или наяву, мы так тщетно взыскуем; в этом смысле то, что минуло, – полная бесчувственность забытья, казалось более сильным чувственным наслаждением, чем ошущимость реальных вещей; и если в этот момент во мне было какое-то

целенаправленное желание, то это было стремление отнюдь не к ясному разуму, а напротив – к тому забытью, упасть снова в обморок и больше не приходить в себя! и, наверное, именно это было первой так называемой мыслью, мелькнувшей в моем мозгу, когда я немного пришел в себя, то есть мой мозг сопоставил это состояние (когда мы уже «кое-что ощущаем») не с тем, в котором я находился перед потерей сознания, а как раз с бессознательным состоянием, потому что мое желание вернуться в него было столь велико, что память рефлекторно хотела уже погрузиться в забвение, то есть вспомнить о том, о чем не осталось воспоминаний, погрузиться в ничто, в состояние, о котором органы чувств не оставили никаких ощутимых свидетельств, когда сознание было расслаблено, ему нечего было фиксировать, не к чему прилепиться, и поэтому мне показалось, что, придя в сознание, обретя вновь память и способность мыслить, я утратил рай, лишился некоего блаженства, отдельные моменты которого я все еще ощущал, но как целое оно уже скрылось, оставив после себя лишь воспоминание и какие-то удаляющиеся разрозненные фрагменты, а также ту мысль, что никогда и нигде я не был, да и не буду так счастлив, как здесь и теперь.

Я также знал, что первым, что я уловил как нечто постороннее и различимое, было не ощущение влаги, кожи, камней и тела, а некий голос.

Тот совершенно необычайный голос.

Но когда я лежал на камнях, теперь уже обретя не слишком обрадовавшую меня способность вспоминать и мыслить, я стал думать совсем не о том, как мне выйти из этого крайне опасного для меня положения, не взвешивал шансы на спасение, что было бы более чем своевременно, потому что я ощущал, как меня захлестывали волны, периодически окатывая ледяной водой; но мысль, что я могу захлебнуться, даже не приходила мне в голову – я жаждал еще раз услышать тот странный мощный, но при этом далекий голос, вновь растянуться, легко и дурманно покачиваясь в объятиях ощущения, возникшего, когда этот голос из какой-то невероятной дали, сквозь грохот и завывание шторма, словно подал мне некий чрезвычайный знак, сообщил мне о том, что я жив.

О том, что со мною случилось, я не знаю и по сей день; позднее, уже в гостинице, я с изумлением разглядывал в зеркале свое разбитое окровавленное лицо; я не знаю даже, как долго я там лежал, ибо сколько я ни старался, я не мог вспомнить, что же произошло в последний момент перед потерей сознания, а тот факт, что в отель я вернулся в половине третьего, уже на рассвете, сам по себе почти ничего не зна-

чил, поздний час, более ничего, большую стеклянную дверь отеля открыл заспанный швейцар, который даже не заметил моего состояния; в холле горела лишь одна небольшая лампа, часы на стене показывали половину третьего, в этом не было никаких сомнений, однако соотносить это время было не с чем, я не был ни в чем уверен, но, по всей вероятности, меня подхватила тяжелая, возможно, многометровая волна, мне приятно представить себе, как она мчит меня на своей спине, и, видимо, уже в тот момент я потерял сознание и не почувствовал, как она, будто какой-то ненужный предмет, швырнула меня на камни, – и где уж тогда был тот ранний вечерний час, когда я прибыл в гостиницу, тот последний отрезок времени, о котором, несмотря на испытанное тогда волнение, я с уверенностью могу что-то сказать!

Но голоса я так и не дождался.

Ну а как я вернулся в гостиницу, я могу сообщить так же мало, как и о том, каким образом я оказался на камнях, потому что эти события происходили, в сущности, независимо от моей воли, хотя, несомненно, я был единственным участником и жертвой их обоих, но если в одном случае я был отдан на волю волн и целой цепи счастливых случайностей, благодаря которым мой череп не был разбит о камни, руки-ноги остались целы и отделался я лишь несколькими ушибами, синяками и ссадинами, то в другом случае, по-видимому, действовала сила, столь же дикая и необузданная, которую принято называть инстинктом самосохранения, и если бы мы, призвав в помощь некоторые математические познания, рассмотрели, что из того, что мы не без гордости называем самосознанием или нашим «я», осталось зажатым между силами внешней природы и внутренней, этих независимых от нас великих сил, то результат был бы весьма плачевным или даже смешным, а может быть, выяснилась бы и произвольность их противопоставления, то, что в своей бессознательности мы едины с деревьями и камнями, ведь лист дерева шевелится лишь оттого, что на него дует ветер, – мы можем быть уникальными, но не разными! ибо пока мои ноги и руки (не я, а именно мои ноги и руки!) искали точки опоры среди осклизлых и шатких камней, а мозг с бездушным автоматизмом высчитывал интервалы между волнами прибоя, мое тело, подчинявшее каждое свое движение единственной цели – спастись, знало само, что ради спасения сперва нужно перевалиться через дамбу, сползти по ней и лишь потом распрямиться; так что не знаю, что осталось от той утонченно напыщенной гордости, с которой я ранним вечером отправился на прогулку, и вообще, что в те минуты осталось от тех мук и радостей, которыми, рисуя воспоминания и фантазии, тешило себя мое самосознание.

Ничего не осталось, могу я сказать, тем более что, отправляясь на эту прогулку, я чувствовал свою жизнь столь законченной, безнадежной, бесповоротной, больше того, считал, что могу оборвать ее сам, и потому решил, прежде чем наглотаться таблеток, отправиться на приятную и последнюю в моей жизни прогулку, а история, которую я на ходу придумал, получилась такой законченной, потому что я чувствовал, что в своей жизни я подошел к какому-то краю, к финальной точке, однако теперь мои ноги и руки, мой мозг и все тело вдруг взялись за мое спасение столь ловко, расчетливо, с такой взрослой ответственностью и с таким, пожалуй, даже чрезмерным усердием, что так называемому сознанию оставалось только по-детски вскрикивать: «домой! я хочу домой! домой!», казалось, во мне кто-то вопил, кто-то, кем мог быть только я, и возможно, что я и в самом деле кричал, даже плакал, да, действительно, то был я, и этот отчаянный ужас, страх за себя был столь унижителен, что запомнился больше всего, вытеснив все иные воспоминания; и насколько смешным образом обошелся со мной этот шторм, который я поначалу был склонен считать замечательной декорацией, эффектным музыкальным сопровождением моих чувств, настолько же грубо, карикатурно лишило меня собственное естество предполагаемого права распоряжаться самим собой; ведь, собственно, ничего особенного не произошло, я слегка промок, точнее сказать, промок основательно, в результате чего в худшем случае заработаю насморк, на лбу у меня расскелась кожа, расскелась до мяса, но это срастется, пошла носом кровь, но достаточно скоро остановилась, на какое-то время я потерял сознание, но вскоре пришел в себя, тем не менее тело, мобилизовав все свои животные инстинкты и силы, включилось в мое спасение с таким рвением, словно речь шла не о пустяковых ранах, а о смертельной опасности, – так поступает ящерица, которой кажется смертельной опасностью любой трепет тени, а главное, что мое сознание, питаемое эмоциями, как будто уже не желало смерти; но при этом понимание его ничтожности не только делало смешными нелепостями все мои прошлые впечатления, которые я представлял себе необычайными и роковыми, но и подсказывало, что ничего более значительного меня не ожидает и в будущем, я был разоблачен, мое «я» – вместилище мелочей, и что бы я ни думал о том, что со мной происходит или будет происходить, самосознание – вещь совершенно никчемная.

Мало-помалу светало, за окном бушевал ветер.

Моя одежда сушилась на радиаторе, а я, стоя голым, изучал себя в зеркале гостиничного номера, когда раздался стук в дверь.

Я знал, что это полиция, и даже вздрогнул, правда, не от страха, а потому что был гол, но, в общем-то, это тоже теперь не особенно волновало меня, я был полностью погружен в созерцание собственного обнаженного тела, которое содрогнулось, как мне показалось, не от стука, не от обычной стыдливости, а от чувства моей полной внутренней разоблаченности, что в тот момент занимало меня гораздо больше любого ожидаемого события.

Как вообще могло у меня возникнуть пусть не совсем неожиданное, но все-таки поразившее меня и предвещавшее далеко идущие последствия желание вернуться домой, и почему именно это слово запечатлело в сознании мое ищущее спасения тело, и почему это слово, дом, кажется мне таким по-детски нелепым, хотя выражает самый глубокий и самый серьезный смысл, ведь я чувствовал, что это последнее, что может сказать человек, даже если он толком не в состоянии объяснить себе, что оно значит, – в самом деле, что означает это понятие?

Еще до того, как в дверь постучали, я прикоснулся к открытой ране на лбу, чтобы почувствовать то, что я видел в зеркале, почувствовать легкую боль от этой не слишком значительной ссадины, одновременно воспринимая ее зрением и физическими ощущениями, потом провел пальцем вдоль носа, по губам, подбородку, ни на секунду не упуская из вида все тело, которое отражалось в привинченном к дверце шкафа высоком зеркале, так, будто все мое тело было одновременно героем и местом действия в истории одного-единственного прикосновения, но на губах, как бы я ни старался вести палец в ровном темпе, он, казалось, чуть задержался, или, может, прикосновение здесь было более чувствительным, а потом он двинулся дальше, по шее; на тумбочке за моей спиной горела маленькая, накрытая вощеным абажуром лампа, и в ее желтоватом свете в зеркале виднелось не тело со всеми его деталями, а лишь его контуры; скользя по дуге ключицы, мой палец добрался до мягкого углубления, где сходятся мышцы и сухожилия, поддерживающие шею, а дальше, скользя быстро по волосам груди, направился было к пупку, чтобы, миновав выпуклость живота, можно было добраться и накрыть уже всей ладонью пах – без сомнения, самое убедительное для физического самопознания место, но именно в этот момент я вздрогнул, услышав стук в дверь.

По правде сказать, мне ничуть, ни в малейшей степени не хотелось возвращаться домой, о чем ясно свидетельствовало уже и мое поведение накануне, когда фрау Кюнерт в полутемной

прихожей неожиданно вновь нацепила очки, скрыв за ними обнаженную привлекательность своего лица, и слабый свет от накрытого бумажным колпачком бра, висевшего над ее головой, отражаясь от стекол, растворил в своих бликах ее глаза; лицо ее тоже было почти не видно, но все же ее внезапное отступление не осталось для меня незамеченным – может быть, из-за вдруг изменившейся ее осанки, ибо мой категоричный отказ от каких-либо объяснений, который одновременно пресекал и взаимное физическое влечение, явно подействовал на нее, и этого унижения при всем ее сервилизме она выдержать не могла; ее шея напряженно вытянулась, и, глядя на меня как бы сверху вниз, она, казалось, вернулась к привычной и более безопасной манере общения между учливой хозяйкой и во всех отношениях любезным и сдержанным постояльцем; она даже распрямила спину, не защищая больше сутулостью свои груди, и вернулась к той чуть сентиментальной тактичности, которая обычно была характерна для наших с ней разговоров; но в тот момент, когда я почувствовал, что это произойдет, что это уже происходит, что это произошло, когда я почувствовал, что мне наконец удалось разорвать ту властную чувственную связь между нами, которая могла привести нас как к ненависти, так и к любви, и еще минуту назад мне казалось, что я с необыкновенной легкостью могу повернуть ее в любом направлении, что все зависит только от моего желания, в тот момент этот переход к не слишком приятной формальной любезности стал для меня полной неожиданностью, и, как человек, потерявший вдруг самообладание, ибо собственной волей разрушил нечто, что гораздо важнее воли, я, вопреки изначальным своим намерениям, хотел было вернуться к небезопасной, но для меня более ценной манере общения, от которой только что отказалась фрау Кюнерт, что было тем более важно, ибо я ощущал в паху некоторое напряжение, некое беспокойство, хотя еще и не жесткость, и поэтому, словно бы угрожая ей и даже чуть-чуть шантажируя, но все же имея в виду отнюдь не отъезд домой, а желание как можно быстрее покончить с собой, заявил ей, что я очень скоро исчезну; и ничуть не разочаровался, ибо сообщение это, весьма неопределенное, многозначительное и туманное, произвело на нее именно то воздействие, на которое я и рассчитывал: она искренне изумилась, хотя я не думаю, что она действительно поняла мой намек, но лелеемое не один месяц намерение, превратившееся уже в решение, придало моему голосу ту выразительность, ту степень искренности и серьезности, что она вновь оказалась в магнетическом кру-

ге, из которого только что вырвалась; я не знаю, что я при этом преследовал, помимо удовлетворения собственного самолюбия, об этом я судить не мог – может быть, в свете моей неминуемой смерти хотел, чтобы меня пожалели, или мне было тяжело остаться наедине с этой телеграммой, о которой я знал, что, независимо от ее содержания, она уже не изменит принятого мною решения, и поэтому, когда на ее готовые к всяческим неприятностям вопросы я ответил совсем не то, что намеревался, то есть не сказал, что прошу оставить меня в покое, что теперь уже все напрасно, она опоздала, но если ей так уж хочется, может снять с себя джемпер, чтобы я наконец смог закрыть глаза, потому что я не хочу больше ничего видеть, не хочу ничего знать и слышать, и давайте хотя бы в это мгновение, именно в это, попытаемся найти какое-то устраивающее нас обоих решение, – но ничего этого я не сказал, а, прибегнув к однажды уже испытанному успокаивающему приему, заявил не о том, что исчезну, а уеду домой, так я сказал ей, что, естественно, было попыткой отделаться от нее и себя, ибо слово это, «домой», в тот момент означало не более чем весьма отдаленную и почти бессодержательную надежду, с моей стороны это была благая ложь, но теперь, стоя в гостиничном номере пред зеркалом и созерцая тело, вид и ощущение которого никоим образом не могли убедить меня в необходимости его дальнейшего существования, я все же не мог придумать другого слова, которое доказало бы мне необходимость присутствия в этом мире.

И каким бы неожиданным ни был этот стук в дверь, мне казалось, будто я его ждал, в чем не было ничего удивительного, ибо стук этот непосредственно вытекал из предшествующих обстоятельств, однако когда он действительно прозвучал, то я отнюдь не спешил навстречу событиям, не стал набрасывать на себя одежду, мне даже не пришло это в голову; как ни в чем не бывало я спокойно стоял перед зеркалом, поглощенный созерцанием своего тела, и странным образом мне вдруг вспомнилась Тея, как будто у меня была масса времени для подобных воспоминаний, Тея Зандштуль, точнее, один ее жест, и если попробовать проследить все причудливые ассоциации, то, видимо, мы снова откроем некий психологический феномен, когда очень далекое вдруг становится близким, и в принципе эта механика очень проста, потому что я познакомился с Мельхиором как раз в тот вечер, а стук в дверь показался мне прямым следствием его побега; мне пришел в голову тот момент, когда в ходе репетиции Лангерханс вдруг хлопнул пухлыми ладонями и неприятным фальцетом взвопил: «Стоп, стоп! Я сказал,

что не надо так высоко лепить горб!» – и в ярости сорвал со своего одутловатого лица очки в золотой оправе, но Тея в глубокой задумчивости застыла, словно плененная собственным жестом, точно так же, как сейчас я перед этим зеркалом, и если в других случаях она поражала следивших за ее работой людей тем, как легко и быстро после такого рода режиссерского вмешательства могла изменить свой эмоциональный настрой, могла расплакаться, завизжать или влюбленно вздохнуть и уже в следующее мгновение с готовностью и полной заинтересованностью выслушивать новые указания режиссера, как будто между различными состояниями души вовсе не было никаких границ, одно естественно перетекало в другое или разрывы и противоречия между ними можно было преодолеть играючи, что невольно казалось внешнему наблюдателю подозрительным, как будто актриса по-настоящему не переживала ни ту, ни другую ситуацию, хотя выглядела в обеих вполне убедительно; но в тот день меня очаровывала именно та замедленность перехода из одного состояния в другое, та медлительность, которой она невольно и осязаемо демонстрировала все тончайшие градации, минуя которые, мы вынуждаем наши эмоции перенестись с одного предмета на другой; этот вопль застиг ее тело, как запоздавший толчок, ибо вопль уже прозвучал, а она все тем же недостоверным движением направляла тяжелый меч на обнаженную грудь стоявшего перед ней на коленях Хюбхена, то есть сделала это движение, словно бы не расслышав, что ей кричат, и тем самым та строгая грань, что лежит между внутренним побуждением и внешним воздействием стала ощутимой, и тело ее встрепенулось, когда уже было поздно, и нелепо замерло в невинно очаровательной обескураженной позе.

Она была хороша в своем облегающем, богато отделанном кружевами темно-лиловом платье, которое одновременно подчеркивало и скрывало сдержанно напряженные линии ее тела, ее шея и туловище несколько отклонились вбок, как будто режиссерский голос действительно оттолкнул ее, не дал ей пронзить мечом возделенную обнаженную грудь, но ей все еще было непонятно, чего по какой-то непостижимой причине желает добиться от нее режиссер, и хотя она медленно, со звоном опустила удерживаемый двумя руками меч на пол, все это еще не означало, что она сделала выбор между побуждением и принуждением, все это было просто укорененной воспитанием привычкой, неловкой имитацией послушания; считая себя умной актрисой, Тея всегда с презрением отзывалась о тех коллегах, которые по-дилетантски пытались, так

сказать, проживать свою роль: «Ты представляешь, этот бедняга так переживает на сцене, что из глаз прямо слезы брызжут, и мне хочется почесать легонько ему за ухом, мол, чего ты ревешь-то, или спросить тихим шепотом, скажи, милый, тебе что, в туалет приспичило? но публика таких обожает, безмерно им благодарна, и не дай бог их пальцем задеть, ведь они – большие артисты, все мы видим, как много приходится этим бедняжкам работать во имя возвышенного искусства, как много страдать ради нас, вживаться в роли и переживать за нас то, что они, идиоты, никогда бы не стали переживать для себя!» – говорила порою она, но теперь ее возмущенное тело и невозмутимый взгляд ясно показывали, в какой мере она оказалась заложницей ситуации, которая вовсе не требовала так называемой правды переживания, но все-таки провоцировала столь высокую меру самоотдачи, что актриса, как бы страстно она тому ни противилась, вынуждена была открыться, сделаться уязвимой, забыть весь свой профессиональный опыт, наработанные приемы и стать, именно вследствие этой напряженности, безвольной марионеткой в той ситуации, которую создала не она, а ухищренная агрессивность Лангерханса.

Это был заколдованный круг: когда Хюбхен срывал с себя невзрачную грубого вида рубашку, вид его обнаженного тела, должно быть, настолько ошеломлял ее, всякий раз заставляя врасплох, что она не могла с этим ничего поделать, и хотя они репетировали эту сцену по крайней мере в десятый раз и будут еще репетировать, может быть, сотню раз, она всякий раз оказывается в эмоциональной ловушке, которую очень коварно, принимая в расчет ее личные страсти и побуждения, расставлял для нее Лангерханс.

В дверь моего гостиничного номера теперь уже барабанили кулаками.

«Если горб приладить так высоко, то она его будет тоже видеть!» – иступленно орал Лангерханс, и трудно было понять, то ли он был и впрямь взбешен, то ли пользовался предлогом, чтобы и без того угнетающую всех дисциплину сделать совсем железной; лысый гример, обычно мостившийся на краешке режиссерского возвышения, так что со временем я совсем породнился с его украшенной рыжим пушком и веснушками головой, тут же вскочил и в своем белом халате с развевающимися, словно птичьи крылья, полами бросился на ярко освещенную сцену, в то время как гнев Лангерханса, казалось, смягчался от фразы к фразе, он говорил все тише, пока не перешел чуть ли не на шепот, то есть на свойственную для него немного наигранную манеру: «Здесь нам нужно только одно –

чтобы она заметила его красоту, ничего больше!» – сказал он еще на крике. – «Нам важна только его красота», – добавил он уже чуть спокойней. – «Чтобы женщина тут же, прямо на этой сцене готова была раздвинуть перед ним ноги. Ты меня понимаешь?» – теперь он уже прошептал, изящным жестом водрузив очки на свой приплюснутый нос. – «Так что горб должен быть гораздо ниже – как я показывал».

Настежь распахнутые глаза Теи чуть дрогнули, чуть отвлеклись от обнаженного по пояс и, надо сказать, весьма изящного торса Хюбхена, только когда рядом с ним, ошупывая неудачно прилаженный горб, стояли уже режиссер и гример, но и тогда она не могла отвернуться или отступить в сторону, и можно было почти физически ощутить, что какое-то очень сильное чувство не находит в ней выхода, она не знает, что с ним поделаться, оно не было никому нужно, и ей приходилось ждать, пока оно захлебнется само в себе или пока кто-нибудь не придет на помощь, – точно так же беспомощно стоял я в гостиничном номере, слушая, как барабанят в дверь, потому что, кажется, вдруг осознал, что все это время смотрел на себя глазами Мельхиора; и, наверное, то же самое ощущал и Хюбхен: он тоже, не поднимаясь с колен и не отрывая взгляда от Теи, застыл на месте, но потом как-то по-дурацки прыснул, заржал по-мальчишески, что в любом другом месте могло бы вызвать смущение, но здесь на реальные проявления чувств никто внимания не обращал, они разлетались здесь во все стороны, как стружка из-под резца, обрабатывающего материал; но дело было все же не в том, что тело Хюбхена, безволосое, до смешного невинное, нежно-бледное, вызвало в Тее какую-то несценическую любовную страсть, хотя и в этом не было бы ничего удивительного, ибо женщины, хотя и имеют склонность, даже в ущерб своей репутации, похвалиться тем, что красота мужского тела не оказывает на них почти никакого воздействия, и подобные их утверждения вроде бы подтверждает тот факт, что стройность телосложения, красота и эффектность мускулатуры или, напротив, ее неразвитость, дряблость и даже жировые складки не оказывают заметного влияния на так называемое любовное мастерство, ведь заметим, что стоит только мужчине проникнуть в женщину, как внешние формы теряют свое значение, становясь лишь посредниками, однако надо сказать, что нельзя забывать и о символической значимости внешних форм, ибо внешняя красота есть задаток желания, приглашение к наслаждению, и, право же, между двумя лами нет никакого различия в том, что к бесформенному, дряблему и бессильному нас влечет куда меньше, чем к тому,

что являет собою форму, твердость, упругость и силу, и в этом смысле вид тела – вопрос вовсе не эстетический, а связан скорее всего лишь с инстинктами; тело же Хюбхена было не просто идеальным; Лангерханс намеренно, пустив в ход всю свою порочную изощренность, распорядился обрядить его в панталоны с поясом много ниже талии, словно они случайно сползли, обнажив его крепкие бедра и изящную выпуклость живота, обнажив настолько, что можно было подумать, что никаких других предметов одежды под ними не было, таким образом, несмотря на мягкие сапоги и сверху весьма укороченные штаны, в глазах стороннего наблюдателя создавалось впечатление полной наготы, и лишь когда глаз опускался до гульфика, его все же останавливала преграда.

Тя наконец перевела взгляд на меня.

Едва ли она могла хорошо разглядеть меня, я был слишком далеко, и глазам было не так-то просто преодолеть резкую грань, отделявшую свет от тьмы, но даже того неясного ощущения, что я сижу где-то там и не без сочувствия наблюдаю за нею, ей, видимо, было достаточно для того, чтобы, избавившись от неприятной женской открытости, вернуться к более замкнутой и надежной роли актрисы, во всяком случае, у меня было чувство, что само мое присутствие сейчас помогает ей, но почти в то же мгновение, точнее, с некоторым запозданием ее трагический, как можно было понять, душевный разлад заметил и Лангерханс, который нежно, но с профессиональным безучастием человека, в чьи обязанности входит и врачевание актерских душ, положил руку ей на плечо и, ободряюще сжав его, помог ей прийти в себя, а Тя, ощутив тепло чужой плоти и даже не изменив позы, вдруг склонила голову набок и прильнула щекою к мужской руке, словно поймав ее между головой и плечом.

Так они и стояли на огромной, слегка покатой и занимающей чуть ли не весь репетиционный зал стеклянной панели.

Хюбхен все еще стоял на коленях, гример склонялся над ним, пытаясь отклеить горб, Лангерханс наблюдал за лицом актрисы, а та, не отпуская опущенного меча, прижималась щекой к руке режиссера.

Немая сцена могла показаться бесконечно нежной, но слепящий свет ламп, отражаясь в зеленом стекле панели, делал ее несколько неестественной и холодной.

Время близилось к вечеру, нас осталось немного, и тишина в зале была такая, что слышно было, как барабанит по крыше дождь и как потрескивают радиаторы отопления.

«Нет ничего плохого в том, если мне будет виден горб!» – сказала тут Тея, пытаясь воркующим голосом примирить свои чувства с прикосновением, но так дешево и легко провести Лангерханса было невозможно; он с достаточно грубой поспешностью выдернул руку из-под ее щеки и, как всегда, когда ему смели перечить, побагровел: «Ты, кажется, так и не поняла своего положения, Тея», сказал он тихо, голосом, лишенным всяких эмоций, не имеющих отношения к делу; именно этот голос делал его столь ненавистным и вместе с тем столь неприступным; «Тебе нечего так беспокоиться за себя, в конце концов ничего особенного с тобой не случится. Будь примитивней, немножко вульгарней, это нормально. Это просто сделка. Банальный торг. Ты продашь ему свое тело, отверстие между ног, если быть точнее, потому что, кроме него, кроме твоей вагины, у тебя ничего не осталось. Жизнь только теперь показала тебе свое истинное лицо. Есть только плоть, эта твоя вагина, тело, и ничего больше. Глостер убил твоего мужа. Ну и что? Он убил твоего свекра. Ну и что? Он и отца твоего убил, но и это еще не беда, твоя беда в том, что ты осталась одна, тебе страшно, ты жива, а они мертвы, и когда он срыгает с себя рубашку, ты видишь, насколько он притягателен, и не желаешь замечать его горб, и его предложение со всех сторон тебе выгодно. Будь шлюхой, моя дорогая, и не пытайся быть его матерью».

«Но даже шлюха может быть матерью, ты об этом никогда не задумывался?» – сказала Тея, понизив тон.

«Отдышись. Не будем спешить».

«Очень мило с твоей стороны».

«Нет, я просто пытаюсь понять тебя».

«Но что мне делать, когда от проклятий во рту у меня собирается столько мокроты, что я задыхаюсь! что мне делать? По-моему, я должна плевать. Ты зря это вычеркнул. Я задыхаюсь, и что ты прикажешь мне делать?»

«Глотать».

«Но я не могу! Не могу!»

«К сожалению, на стекло, как ты понимаешь, плевать нельзя».

Тея пожала плечами.

«Я еще нужна?»

«Сделаем небольшой перерыв», сказал Лангерханс, и я поднялся со стула, на котором удобно покачивался взад-вперед, потому что заметил, что Тея направилась в нашу сторону.

Это был скучный час, как всегда, когда дневная репетиция затягивалась до вечера, и даже если высоко расположенные узенькие оконца зала не были задрапированы черными занавесками,

взгляд, ищущий связь с внешним миром, в лучшем случае мог заметить через густо зарешеченные снаружи окна несколько стройных труб, возвышавшихся над темнеющими в быстрых сумерках кирпичными стенами, да почерневшую черепицу соседних крыш и неизменно казавшийся безутешным и монотонно серым клочок неба; и все-таки иногда я уходил в кулисы, любезно уступив свой стул не занятой в сцене Тее, которая в эти минуты любила сидеть за столиком на краю подиума обок с фрау Кюнерт; мне же эта любезность была только на руку, потому что именно в этот час, когда день плавно перетекал в вечер, я, словно от недостатка воздуха, начинал задыхаться от чувства неопределенности, которое можно было бы назвать просто тревожностью, ибо, в сущности, делать мне здесь было нечего, кроме того чтобы наблюдать за происходящим, что со временем стало не только обременительным для меня, но и явно опасным для моего здоровья, поэтому мне и хотелось встать, чтобы поискать для себя какое-нибудь занятие, но вид, открывающийся из окон, нисколько не облегчал тревоги, поскольку и здесь я был только наблюдателем, наблюдая, правда, не жесты, не мимику, не акценты, которые в искусственном свете огромного зала уже казались мне слишком знакомыми, раскрывающими все внутренние, пусть сокрытые для стороннего взгляда и нередко даже сугубо интимные мотивы игры, а лишь голые стены, крыши и небо сквозь грубые металлические решетки, однако и здесь оставался свидетелем некой игры, с которой я был связан единственно тем, что наблюдал за нею, что, наверное, тоже немало, ведь каким бы однообразно серым ни казалось мне небо, блики света, играя, всегда выделяли какую-нибудь деталь за счет остальных, и от этого зрелище, постоянно меняясь, представлялось новым – точно так же немало сюрпризов случалось и в залитом ровным светом зале, когда знакомые, уже вроде бы примелькавшиеся жесты, взаимодействуя с другими жестами, вдруг делались истинными открытиями; только тщетно в лучшие свои часы я чувствовал себя как никогда богатым, тщетно впитывал в себя знания об этих деталях и отношениях, если при этом я вынужден был отказывать себе во вмешательстве, в естественном желании активного соучастия, и напрасно рождались в моем мозгу идеи одна гениальней другой, коль скоро у меня не было здесь никакой четко означенной роли, не было своего места, что было особенно тяжело переживать в среде, где роль каждого определяла и его место в весьма строгой иерархии, а отношения и степени подчиненности зависели только от круга обязанностей; меня же в определенном смысле здесь

просто терпели на том – лишнем – стуле, где я постоянно сидел, я был не более чем «любопытным венгром», как кто-то однажды сказал за моей спиной, не особо заботясь о том, чтобы я не услышал этого замечания, довольно своеобразного, но, если подумать, все ж таки не обидного и даже в своей объективности более меткого, чем, возможно, предполагал его автор; да и вся эта ситуация совсем не казалась мне необычной или незнакомой, я мог считать ее даже весьма символичной в том смысле, что у меня не было никаких возможностей вмешиваться в ход событий, что и здесь я был только немым свидетелем и бездействующим наблюдателем, вынужденным безропотно сносить последствия своей беспомощности, не имея даже возможности разрядить судорожное напряжение от подавляемых на корню желаний посредством обычной истерики, так что я был действительно венгром, во всяком случае в этом смысле уж точно, и меня вовсе не удивляло, а скорее радовало и любезное внимание ко мне фрау Кюнерт, и подчеркнутый интерес, который проявляла ко мне Тея.

Тея остановилась перед нами, и я с готовностью взялся было за спинку стула, чтобы уступить ей место, хотя в этой готовности было что-то явно чрезмерное, мне, наверное, все же не стоило так бояться потерять ее не слишком уж искреннее расположение, но садиться она не стала и даже не поднялась, как обычно, на режиссерское возвышение, а, вытянувшись всем телом, облокотилась и, не глядя на нас, по-детски уткнулась подбородком в край стола, положила голову на руки и медленно опустила веки.

«Как же мне надоела эта гадкая канитель», не открывая глаз, тихо сказала она, понимая, конечно, что как бы она ни манерничала в эту минуту, она все равно нас обоих пленит, ведь в конце концов перед нами, словно бы для разрядки, паясничала по-настоящему великая актриса, и страсти, которые она пыталась скрыть, тоже были отнюдь не придуманными; фрау Кюнерт ей ничего не ответила, и я тоже, удерживаемый любопытством, не двинулся в сторону окон, чтобы скрыться в темных кулисах; она выдержала долгую эффектную паузу, издала еле слышный вздох и, дав нам время понаблюдать за тем, как едва заметно поднимались и опускались ее плечи, все так же не открывая глаз, совсем тихо, так что слова ее можно было разобрать лишь с трудом, как человек смертельно усталый, но все-таки не способный остановить поток мыслей, с явным наслаждением закончила фразу: «Он убьет, он погубит меня этой своей омерзительной канителью!»

Тишина в репетиционном зале стояла настолько глубокая, что не только слышны были капли дождя, барабанившие по крыше, и потрескивание радиаторов, но даже хлопок закрытого фрау Кюнерт суфлерского экземпляра прозвучал, словно выстрел, однако жест этот, собственно, был прелюдией к другому, более осмысленному движению; дело в том, что захлопывать сценарий было так же бессмысленно, как и держать его открытым, – весь текст уже к первой репетиции она выучила наизусть, точно так же как и актеры, и единственное, что ей приходилось с ним делать, это вносить в него возникающие по ходу работы и подчас не раз переделываемые варианты, что-то подтирать либо окончательно закреплять чернилами, а также следить за тем, чтобы поправки эти были отражены во всех имеющихся на руках копиях, ну и на всякий случай сидеть, напряженно склонившись над пухлым сценарием и держа наготове голос, чтобы, если кто-то запнется, с усердием выскочки тут же подать бедолаге реплику, что, конечно, бывало не слишком часто; но теперь, казалось, она наконец нашла для себя реальную задачу, для выполнения которой она чувствовала внутреннюю мотивацию; какое-то время подержав свою жилистую мужскую руку на захлопнутом экземпляре, она мягко и в то же время с какой-то жадной проворностью положила ладонь на голову Теи.

«Поди, душечка, сядь сюда, тебе нужно отдохнуть!» – прошептала она, и хотя слова ее были хорошо слышны, все настолько устали, что в их сторону не повернулось ни одно укоризненное лицо.

«Он меня доконал».

«Поди же, наш юный друг уступит тебе свое место».

Это была обычная их игра, однако на этот раз Тея даже не шелохнулась, и ее отрешенным лицом, как открытым пейзажем, можно было свободно и беспрепятственно любоваться.

«Ты должна позвонить этому мальчику. Зиглинда, сделай это ради меня!» – продолжила Тея умирающим, тише шепота, голосом. «Я прошу. Мне кажется, мне не хватит сил добраться сегодня домой. Как подумаю, что мой старик целый день канителился дома, то от одной этой мысли мне дурно становится. Я хочу хоть немного развлечься. Мы могли бы куда-нибудь вместе пойти. Я понятия не имею куда, не имеет значения. И ты могла бы пригласить этого мальчика, хорошо? Ты ему позвонишь?»

Казалось, она говорила сквозь сон и, возможно, в их общей игре немного переусердствовала, потому что задание, которое она хотела поручить фрау Кюнерт, было не из приятных, для фрау Кюнерт это было уж слишком.

«Я сама не решаюсь ему звонить, потому что в последний раз он сказал мне, чтобы я этого больше не делала, попросил не звонить ему. Что поделаешь, мальчик не слишком вежливый. Но если ему позвонишь ты, то это другое дело, быть может, он будет сговорчивей. Ты уломаешь его? Его просто надо немного потереть», и она умолкла, словно бы ожидая ответа, но прежде чем фрау Кюнерт смогла ответить, некрашенные губы Теи снова пришли в движение: «Мне хотелось бы купить своему старику большой сад, когда-нибудь, когда у меня будут деньги, потому что это ужасно, что он целыми днями торчит в этой жуткой квартире, ужасно. Мне-то в ней хорошо, но все же домой мне сейчас не хочется. А для него это сущий ад, от этого домоседства он весь протух, вы только представьте себе, он то сядет, то встанет, то ляжет, то опять сядет, и так бедняга проводит всю свою жизнь. А будь у него свой сад, то он в своем ничегонеделании мог бы по крайней мере двигаться. Может, все же купить ему сад? Так ты позвонишь?»

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДАВНЕЙ ПРОГУЛКИ

Однако, после всех этих отступлений, вернемся же к нашей давней прогулке! ведь поговорить о том, чему только предстоит случиться, мы всегда успеем, тогда как минувшее забывается чрезвычайно легко, так что назад! к тому, на чем мы остановились, к моменту, когда, завершив в несколько драматических обстоятельствах дыхательную гимнастику, мы двинулись по прямой, обсаженной развесистыми платанами аллее к железнодорожной станции.

И здесь мы сразу оказываемся на пике чувственных ощущений, ибо на аллее это самый веселый час, легкий, дующий с моря бриз чуть покачивает уже вытянувшиеся тени деревьев и, в зависимости от настроения, доносит или, напротив, рвет на клочки и уносит прочь приятную сладкую музыку, которую на открытой эстраде курзала уже заиграл оркестр; в сторону станции в этот час едут экипажи для встречи новоприбывших, где-то вдали уже слышны тяжкие вздохи и посвист приближающегося локомотива, по аллее, в одиночку и небольшими группами, трусят мелкой рысью всадники, чтобы затем, неожиданно перейдя на галоп, обогнуть симпатичное зданьице станции и исчезнуть на красавцах своих скакунах в «дебрях», то есть в густеющих сумерках букового леса; ну а прогуливающиеся! и те, что в колясках, и особенно пешие! в этот час, за исключением тех, кого подлежащий излечению недуг приковал к постели, все были на ногах и все были здесь, так было принято – проделывать туда и обратно этот короткий путь, время от времени останавливаясь, чтобы поболтать, обменяться новостями и комплиментами; а ежели ради важной встречи, какого-то интересного или неотложного разговора группа прогуливающихся отделялась от остальных, и даже подчас не единожды, то это считалось здесь неприличным, слишком тесные компанейские отношения принимались за нравственную несдержанность, между тем все присматривали друг за другом, и требовалась величайшая осмоторительность, чтобы впечатление общей раскованности, создаваемое взрывами смеха, серьезной хмуростью лиц, взмахами шляп,

целованием рук, игривым хихиканьем, дрожащим потряхиванием головами и вскинутыми бровями, – чтобы все это впечатление никоим образом не выходило за рамки дозволенного, оставалось легким и при всей своей неестественности естественным; вместе со сверстниками, мальчишками и девчонками, я гонял по гладкой, выложенной мраморными плитами дорожке разноцветные обручи, и вершиной водительского мастерства было не прокатить обруч по шлейфу дамского платья и не загнать его между ног какому-нибудь господину; случалось, что на аллее появлялся даже сам Генрих, герцог Мекленбургский, в сопровождении более молодой и несколько более рослой супруги и многочисленной свиты, что всякий раз вносило в неписаный распорядок послеобеденной прогулки определенные перемены; внешне, правда, все оставалось по-прежнему, изменения проявлялись лишь в том, что вся эта видимость обогащалась еще одним, новым оттенком видимости, но бывалый курортник легко мог заметить, что герцог уже на аллее, дойдя до двух водруженных на стройные постаменты мраморных чаш; эти чаши, из которых душистыми каскадами свисали петунии, сплошь усеянные бархатистыми фиолетовыми цветами, служили символическим входом в аллею; и он, несомненно, был здесь, ибо спины были чуть более напряженными, чем обычно, улыбки – чуть более дружелюбными, смешки и слова звучали немного тише, хотя его самого, окруженного полукольцом свиты, еще не было видно; обычно он, опираясь на руку супруги, внимательно слушал кого-нибудь, подтверждая слова говорящего кивками тяжелой седой головы, и нам в таких случаях не полагалось искать его взглядом, мы должны были просто и как бы случайно заметить его и, продолжая непринужденно, не меняя шага, прогуливаться, уловить ту долю секунды, в которую он, без того, чтоб прервать разговор, одарит нас частичкой своего внимания, и тогда учтивое наше приветствие не повиснет в воздухе, а удостоено будет ответа; все должны были быть начеку, избегать всякого рода неловкостей и соблюдать при этом достоинство, и волнами текущие по аллее дамы и господа действительно были начеку, готовы были к тому, что герцог может изъявить желание обменяться несколькими приятными словами и с ними, именно с ними, или даже со мной, с моей скромной персоной, и все с любопытством и завистью следили за тем, кто тот счастливчик, с которым он в данный момент разговаривает, а впоследствии старались также узнать, о чем именно шел разговор.

Моя матушка, которая в силу воспитания была весьма сведуща и, можно даже сказать, образованна в вопросах светского этикета, разумеется, и на этот раз, в этот послеобеденный час жестом нежнейшей супруги взяла отца под вежливо оттопыренный локоть и, улыбаясь очаровательнейшей из своих улыбок, вытянула стан, подхватила тремя пальцами свободной руки шлейф розовато-лилового платья и, слегка опираясь на мужа, двинулась с ним по аллее; я шел следом, иногда отставал от них, если мне надоедала их перебранка, но потом, подстегиваемый любопытством, все же догонял их и шел рядом с матерью; казалось, подолами этих платьев, шуршащих тафтой, кружевами и шелком, приподнятыми всегда лишь чуть-чуть, потому что высоко задира́ть их считалось верхом неприличия, и были до блеска отполированы мраморные плиты аллеи, по которым мягко скользили женские туфельки, постукивали сапоги и шнурованные ботинки, все было настолько бонто́нно, что ни посторонние, ни добрые знакомые ничего особенного заметить не могли, мой отец, хотя и натянуто, разумеется, улыбался, по осанке их тоже нельзя было обнаружить, какую кипящую ненависть питают они друг к другу: «в таком случае, может, нам сразу уехать отсюда! ведь мы здесь не ради ваших развлечений, дорогой Тео, а ради поправки моего здоровья, если не ошибаюсь!» – в таких, достаточно часто повторяющихся негромких сценах эмоциональный верх всегда одерживала моя мать, ее ненависть была сильнее, ведь для нее само присутствие отца становилось источником нестерпимых мук, он был рядом, но был недосыгаем, и она походила на женщину, которую постоянно лишь распаляют, но никогда не дают удовлетворения, отец же, казалось, оставался совершенно безразличным к душевным волнениям этого хрупкого существа, хотя на самом деле это было не совсем так; моя матушка, таким образом, в силу своей большей ненависти и прекрасного знания этикета умудрялась вымещать на отце свою злость в самые щекотливые моменты этих прогулок, и мстила она очень больно, причем чем изощреннее, тем беспощаднее, потому что хозяйкой положения была она, и мстила она непременно исподтишка, таким образом, что во время замысловатых, но отработанных до мельчайших деталей ритуалов приветствий и светской болтовни, воспользовавшись минутной паузой, прямо на глазах у публики, изображая на лице восторженную улыбку, шептала на ухо отцу самые едкие и обидные замечания, на что мой неповоротливый отец не знал что ответить.

В тот памятный день, возможно, даже не фраза отца вызвала в матери угрожающе сдерживаемое до поры, но в конце концов с удвоенной злостью вырвавшееся возмущение: «Или я ошибаюсь, милейший Тео? почему вы молчите? скажите прямо! ах, с каким удовольствием я плюнула бы вам в лицо!» – нет, ее взрыв вызвали не слова отца, когда он, вопреки их договоренности и не дожидаясь окончания предписанных дыхательных упражнений, предупредил, что если мы будем так медлить, то опоздаем к прибытию поезда; в действительности мать, как мне показалось, намеренно спровоцировала это замечание, я чувствовал, как она замедлила дыхание и стала тянуть время, хотя я своим дыханием пытался помочь ей снова попасть в нужный ритм; нет, это неловкое и неосторожное предостережение отца было просто свидетельством вечного их разлада, готового в любую минуту взорваться, оно было, так сказать, сигналом, предлогом для проявления их эмоций, ведь мне до сих пор так и слышится, как отец, несмотря на деланную раскованность, произносит эти слова, указывающие в конечном счете на самый обычный факт, как-то неловко и напряженно, слишком высоким для его басовитого голоса тоном, так что его притворство не остается для матери незамеченным, у нее замечательный слух, и она прекрасно слышит то, что он пытается, но не может от нее скрыть, – свое нетерпение.

А все дело в том, что тем поездом должен был прибыть тайный советник Фрик, которого мой отец, сгорая от нетерпения, ожидал уже несколько дней и о котором между собой они говорили: «тайный советник» или «этот Фрик», намеренно избегая называть его по имени, хотя они были с отцом старинными, не разлей вода друзьями, дружба связывала их с детства и, насколько я могу судить, десятилетиями была безоблачной и неразрывной, несмотря на различие характеров и воззрений; казалось, как у растений, выросших в одном горшке, их объединял общий корень, что и неудивительно, так как оба они были воспитанниками прославившего своей средневековой строгостью церковного заведения и оба в последующей своей жизни этому заведению изменили; так что родство их душ могло объясняться как строгостью воспитания, так и совместным восстанием против этой суровости; и если моя мать старательно избегала называть тайного советника по имени, то тем самым давала понять, что она не желает в какой бы то ни было форме поддерживать личные отношения с женщиной, который своим аморальным, как она полагала, образом жизни, грубостью манер и агрессивным характером развратил и ежеминутно

продолжает развращать моего отца, чей «нравственный облик и так хромает на обе ноги»; «Теодор, вы ведете себя будто насекомое, зачарованное ярким светом! вы ведете себя по-детски смешно, когда вы вместе, мне за вас глубочайшим образом стыдно!» – ну а отец между тем произносил имя своего друга прямо-таки с чувственным наслаждением, и при этом не просто произносил имя, но и всячески его обыгрывал, называл тайного советника «своим милым» и даже «своим какунчиком», «котиком», «голубком», хотя не забывал при этом об уроках, преподнесенных им в альма-матер: они до сих пор обращались друг к другу на «вы»; когда же он говорил о нем с матерью, то, по всей вероятности, избегал произносить столь милое ему имя, чтобы не допустить ее именно туда, в их жаркие отношения! куда мать стремилась проникнуть любой ценой, даже ценой того, что она их тем самым разрушит, и это была та запретная территория, тайная сфера, где ни один из них не признавал шуток.

125

Однажды, проснувшись после полуденного сна, я сам стал свидетелем сцены их общения, которую моя мать наверняка назвала бы предосудительной; они стояли на залитой солнцем террасе, и мне, лежащему на узком диване гостиной, даже не нужно было шевелиться, чтобы сквозь раздуваемые легким ветерком муслиновые занавески наблюдать за ними, в то время как сам я оставался для них невидимым; позиция была слишком удобной и случай слишком уж редким, чтобы добровольно выдать себя, к тому же я еще не совсем проснулся; они стояли у балюстрады балкона, одни в лучах солнца, не слишком близко друг к другу, но пальцы, положенные на шероховатые, источенные дождем перила, едва не соприкасались, что передавало не только интимность, но и некоторую напряженность момента; они стояли лицом к лицу, в одинаковых позах, в светлых летних костюмах, словно зеркальные отражения, одинакового роста, и трудно было решить, кто из них кого отражал, скорее всего они отражали друг друга; «инстинкты, мой дорогой, инстинкты и чувственные порывы!» – услышал я голос Фрика, еще не открыв глаза, и этот приятный голос заставил меня проснуться; он говорил глуховато и тихо, тем естественным собственным голосом, каким человек разговаривает сам с собой, не обращаясь к другим; «даже сейчас, стоя здесь и имея честь смотреть в ваши добрейшие глаза, даже это, каждый миг нашего существования – это знак на исписанной странице, мы, друг мой, заранее заполненные страницы, и, наверное, потому мы настолько скучны даже для самих себя! нравственное совершенство,

добро и зло – все это смешные и глупые вещи, вы ведь знаете, друг мой, что я не люблю говорить о Боге, мне просто не нравится этот Бог, но если есть еще место, где можно его найти или где он может отыскать нас, то это место – не что иное, как наши инстинкты, там, возможно, он еще господствует, с этим я мог бы еще согласиться, но если это и так, то господствует он даже не шевеля мизинцем, потому что он все давно уже предопределил, и больше ему делать нечего, только сидеть сложа руки и равнодушно взирать, как мы исполняем то, что он задумывал, когда создавал нас, он за нас все уже исполнил, когда расписывал наперед наши судьбы, поэтому, если я не утомил вас своими не слишком связными рассуждениями, мы можем сказать, что моральное совершенство и, стало быть, понятия добра и зла содержатся не в самих вещах, их задним числом туда поместили мы сами, и все эти философы, психологи и прочие дармоеды преподносят нам это так, будто сие в природе вещей, жалкий бред! они делают это лишь потому, что им было бы слишком стыдно и слишком просто безо всяких эффектных теорий искать причины наших поступков в инстинктах; они взыскивают чего-то возвышенного, далекого от таких примитивных вещей, взыскивают идеи, духа, которые прояснили бы нам весь этот жалкий хаос, но это все утешение для бедных! между тем как во внутреннюю природу этого хаоса они даже не заглянули и ничего, почти ничего не смогли сказать нам о тех замечательных мелочах, с которыми они даже не считаются! о том, что каждый из нас вынужден ощущать на себе постоянно и что почему-то стало называться непристойным, а потому, когда я слышу рассуждения о добре и зле, то мне приходит на ум, что сегодня я как следует еще не просрался, в то время как с точки зрения духовной чистоты это неслыханно важно, или вот, скажем, мне приспичило перннуть, однако в приличном обществе это не принято, и выходит, что все так называемое нравственное совершенство есть не более чем способность на пару секунд задержать в себе газы!»

«Да, вы, котик мой, оказывается верующий, это обнадеживает, завидую!» – вмешивается тут мой отец тем же самым мягким доверительным и естественным тоном, каким говорил его друг, и при этом не дрогнули не только их головы и тела, но даже взгляды, она смотрели друг другу в глаза прямо и совершенно открыто, так, словно этот способ связи для них был важнее любых других контактов, мысленных или физических, но в то же время две пары глаз были весьма далеки от опасного края любовного единения, такого убежища друг в друге они не искали, то, что происходило

меж ними на самом деле, было гораздо существеннее и сильнее; возможно, они удерживали друг друга глазами именно потому, что знали, что человеческое единение невозможно, и потому чувственной взволнованностью, которую вызывают углубившиеся друг в друга взгляды, как бы пренебрегали, но вместе с тем и использовали эту чувственность как некую точку опоры, отталкивались от нее и, слегка сдвинув взгляд, окидывали им ресницы и веки друг друга, следили за мельчайшими движениями морщинок, собравшихся вокруг глаз, в результате чего на губах у них появлялась невольная и еле заметная одинаковая улыбка; «Может быть, мне выразиться попроще?» – спросил Фрик, словно бы откликаясь на даже не прозвучавший призыв; «Извольте, если не затруднит», сказал мой отец, поддерживая друга в том, чего он и сам желал; нет, они не блуждали по обманчивой поверхности тел, да и в мыслях друг друга и их подоплеках они ориентировались достаточно хорошо и умели не поддаваться возможным слабостям, поэтому в этих их встречах было что-то холодное и даже жестокое, но в то же время казалось, что избавиться от всемогущей власти Эроса им все же не удавалось, в какой-то особо хитрой форме, в их наблюдении друг за другом, в умении читать мысли и беззастенчиво контролировать движения, а также в их беспредельной внимательности друг к другу он все-таки удовлетворял и их, и себя; «Полагаю, что утверждать, будто он находится исключительно у нас между ног, было бы преувеличением!» – ответил Фрик, поразмыслив над только что сказанным; «А мне показалось, что вы имели в виду как раз это!» – возразил отец, и когда они обменивались такими короткими репликами, то их голоса по громкости, тембру и тону сливались, производя впечатление, что говорит, убеждает себя, спорит сам с собой один человек; «О нет! Это далеко не так! В противном случае я сам впал бы в то заблуждение, которое порицаю!» – чуть громче, но без эмоций ответил Фрик; «А если подробнее?» – и этот вопрос отца ненадолго повис в воздухе.

«Тогда, по нашей старой привычке, начнем с очевидного: вот я стою перед вами, а вы стоите передо мной!» – снова заговорил Фрик, который казался все-таки выше отца, потому что был тонок, хотя и пропорционально сложен и отнюдь не худ, что было видно не только по его телу, которое по утрам, во время морских купаний, я имел возможность разглядывать: в мокром виде новомодный купальный костюм облегал весь его торс; худым не казалось и его лицо, кожа просто туго обтягивала его череп, слегка лысеющий, и чтобы это не слишком бросалось в глаза, он, явно

из тщеславия, подстригал свои быстро выгорающие на солнце мягкие пушистые волосы по-военному коротко; «Если бы нам удалось небрежно отбросить все нравственные принципы, кои нам все же вбили в голову, то у нас осталась бы уверенность только в одном – в том, что мы с вами здесь стоим! голое ощущение и зрелище нашего существования, что не так уж и мало для размышлений, и я должен признаться, что, в отличие от упомянутых дармоедов, ничто другое меня не интересует!»

128

Однако тут тихонько засмеялся отец, и этот короткий, явно намеренный, с оттенком сарказма смешок несколько остудил горячность Фрика, и на его лице, безусловно одним из самых необычных лиц, которые мне доводилось когда-либо видеть, черты напряженного размышления несколько разгладились от минутного замешательства, что было величайшей редкостью! ибо прежде всего его лицо всегда отличалось доверчивым спокойствием, непринужденным тщеславием и чистым, невозмутимым чувством собственного превосходства, а кроме того, обнаженностью! как будто природа работала над материалом широкими смелыми жемами, не добавляя ни мелких деталей, ни симпатичных жировых складочек к тому черепу, что был предназначен для его лица, каковое, заметим кстати, после смерти будет вынуждено опять от него отделиться; независимо от того, как быстро и как много говорил Фрик, его череп иногда представлялся мне мертвым, уже вываренным, лежащим на письменном столе в качестве пресс-папье, а в других случаях, как в тот день, этот череп блистал своей безупречной округлостью, смугловатая кожа была почти черной от морского загара и гладко обтягивала его большой лоб, щеки чисто выбриты и покрыты мельчайшими сухими морщинками, которые нисколько не старили его лицо, потому что на нем господствовали огромные сверкающие и весьма оживленные, завораживающе серые глаза с жестоким взглядом; жесткость лица еще больше подчеркивали заостренный нос и довольно узкие губы, но по-детски мягкая ямочка на подбородке все-таки придавала всему его облику некую притягательную нежность, «и не думайте, что стремление к власти не позволяет нам наслаждаться нашим существованием!» – продолжил он, и легкое замешательство на его лице сменилось тонкой усмешкой; они по-прежнему пристально, неподвижно смотрели в глаза друг другу; «Позволяет! И еще как! Стремление к власти и обладание ею может погрузить нас в наслаждение весьма глубоко или, если угодно, поднять весьма высоко! но, конечно, не глубже, не выше, чем то наслаждение, которое может доставить

нам семьяизвержение, происходящее в соответствии с ритмом и способом, который наилучшим образом отвечает нашей природе, и это есть наивысшее из всех наслаждений, о чем я, собственно, и хотел сказать, ведь все в этом мире либо желает, либо предлагает получить наслаждение от эякуляции, достаточно только быть свободными, чтобы эти желания и предложения замечать! так что с вашей стороны, дорогой мой, было очень мило, что своей усмешкой вы направили мою мысль в нужное русло, к самой сути вещей! за что я на вас не серчаю», он сделал короткую паузу, «вот именно, именно так! есть своего рода приятный баланс между нашими чувствами и нашими мыслями, между инстинктом и разумом, баланс противовесов, если хотите! и поэтому только человек, обладающий властью, может по-настоящему наслаждаться существованием, ведь власть, обладание ею показывают ему пределы разума и мышления, а дальше он уже может, если, конечно, способен! повернуть назад, чтобы ублажить инстинкты, и поскольку он уже не страшится крайностей разума, поскольку отбросил моральные предрассудки, он может так же раскованно черпать и чувственные наслаждения, и здесь доходя до крайних пределов; а кто может быть свободней, чем человек, который, страдая и наслаждаясь, до конца исчерпывает свои ограниченные возможности, ибо, да, возможности человека заведомо ограничены, но их нужно исчерпать до дна, друг мой! невзирая даже на то, что наша свобода не позволяет нам знать, где границы возможного, и вообще, что есть жизнь? ведь свобода действительно ограничена, если рассматривать ее не в теории, а как непостижимую разумом практику познающей свои возможности воли! впрочем, что я болтаю? вы и так знаете, что я имею в виду».

«Опять захватывающая интрижка?» – спросил отец.

«Что-то вроде», вздохнул он.

«Так расскажите», сказал отец.

«Актриса», ответил он.

«Полагаю, блондинка и до неприличия молодая», предположил отец.

«О, это самое малое, что можно о ней сказать!»

И он собрался уже продолжить, дабы описать свои впечатления не в общих чертах, а в деталях, как я уже имел удовольствие слышать из его уст по другому поводу, но в этот момент обоим пришлось повернуться в сторону широкой лестницы, что вела на террасу из парка, и разговор, к величайшему моему сожалению, оборвался на самом интересном месте; по лестнице, в компании

фрейлейн Вольгаст, после обычного послеобеденного кофепития не спеша поднималась моя матушка; они шли, дружелюбно общаясь, а барышня еще внизу лестницы в своей громогласной манере грудным хрипловатым голосом начала их игриво подзуживать; «Ах, эти мужчины!» – воскликнула она почти одновременно с последней фразой Фрика, «мы тут обсуждаем серьезные жизненные вопросы, не правда ли, фрау Тениссен! прошли те прекрасные времена, говорю я, когда нашу судьбу мы могли вручить в мужские руки! и что же? пока мы планируем будущее и принимаем решения, они занимаются легкомысленной болтовней на террасе, или я ошибаюсь? ну хоть раз будьте искренними! могу я вас попросить ничего не выдумывать?»

Но все, о чем я только что рассказал, случилось гораздо раньше, может быть, за два или три лета до этого, во всяком случае так мне запомнилось, а поскольку ум ребенка еще не способен воспринимать всю мудрость и глупость взрослых, некоторые белые пятна этой давнишней сцены мне пришлось заполнить с помощью воображения.

Намного раньше, говорю я, неуверенно указуя на некоторые не слишком отчетливо запомнившиеся детали, словом, в то более раннее время красавица фрейлейн Вольгаст, о которой все знали, что во время войны с французами, еще в семьдесят первом году, она потеряла возлюбленного, какого-то бравого офицера, и, охваченная патриотическим рвением, поклялась, что будет скорбеть о нем до конца своей жизни, «и даже за гробом!», напоминая миру о том, «какую подлость они совершили не только со мной, но и со всеми нами!», и в те времена, насколько я помню, она ходила еще в темно-сером платье, уже не в черном, а потом и серое с каждым годом становилось бледнее, пока наконец, и именно в том самый день, когда благодаря язвительным подковыркам матери мы прибыли на станцию в самых раздерганных чувствах, мы не увидели фрейлейн Вольгаст в белом, ослепительно белом кружевном платье!

Мы проходили уже по роскошному и необычайно прохладному в этот час залу ожидания, когда приземистый паровоз подкатил к перрону, таща за собою четыре красных вагона.

К этому времени оставленные без ответа ядовитые фразы матери торчали из отца, как стрелы из тела святого Себастьяна на каком-нибудь романтическом полотне, вонзившиеся глубоко под кожу, в плоть, и еще чуть покачивающиеся в воздухе, и единственное, что он смог из себя выдавить, был его вопрос, а не повер-

нуть ли нам лучше назад, однако матушка сделала вид, будто ничего не расслышала, и конечно, все играло ей на руку, потому что и здесь невозможно было перевести дух, нужно было приветствовать знакомых и улыбаться, ибо на открытом перроне собралось довольно внушительное общество, причем далеко не все пришли кого-то встречать, в конце концов вновь прибывших было не так уж много, но всем хотелось порадоваться живому спектаклю, который являло им это чудо технического прогресса; казалось, будто только здесь можно достойно и красиво завершить эту короткую послеобеденную прогулку; я даже представить себе не могу, чем могла развлекаться курортная публика до того, как была построена железнодорожная ветка, связавшая резиденцию герцога, очаровательный старинный Бад-Доберан, и городок с красивым названием Кюлунгсборн; во всяком случае, теперь все словно сидели в театральных ложах, и даже шум затихал, зрители зачарованно наблюдали, как деловитые кондукторы распахивали двери вагонов и опускали на землю лесенки, вот он, благословенный момент прибытия! носильщики, то исчезая, то появляясь в клубах шипящего пара, поспешно выгружали объемистый и тяжелый багаж, после чего раздавался свисток начальника станции, отовсюду доносились приветственные и прощальные возгласы, поезд с минуту еще стоял без движения, затем лесенки исчезали, двери с шумом захлопывались, и, оставляя позади усталых и радостно взволнованных приезжих и ностальгически грустно молчащих встречающих, паровозик, надсадно пыхтя и шипя, начинал постепенно, до равномерного стука колес ускорять ход, и вот уже чудесное явление исчезало за ближайшим поворотом, а мы в еще более ошутимом теперь одиночестве оставались там, где и были.

Петер ван Фрик стоял в открытой двери одного из красных вагонов; он появился первым и, окинув взглядом перрон, тут же заметил нас в толпе встречающих, я чувствовал, видел, что он заметил и как бы выделил нас среди друзей и знакомых, пришедших его встречать, но сразу же повернулся в другую сторону, лицо его казалось серьезнее и неприветливее обычного, и даже загар был каким-то бледным; на нем был элегантный, английского кроя дорожный костюм, который делал его еще стройнее и выше; в одной руке он небрежно держал мягкую шляпу и саквояж, а другую, спускаясь по лесенке, тут же протянул назад, чтобы помочь кому-то сойти, кому-то, кого мы в этот момент еще не видели, а увидели в следующее мгновение: то была барышня Нора Вольгаст собственной персоной, одетая в белое, как невеста, в каковом одеянии

я видел ее впервые, а если учесть быстроту и головокружительные повороты последующих событий, то можно сказать, что едва ли не в последний раз; прибытие тайного советника, принимая во внимание ту деликатную роль, которую он сыграл в разоблачении недавнего двойного покушения на кайзера и поимке виновных, о чем отдыхающая в Хайлигендамме публика до сих пор знала только из газет, а теперь надеялась получить информацию о подробностях и тайных причинах из первых уст, само по себе являлось событием, причем событием экстраординарным, но их совместное появление было сенсацией, граничащей со скандалом, хотя, учитывая то особое положение, которое занимал в этом кругу тайный советник Фрик, на сей раз все предпочли закрыть глаза и просто не замечать очевидного, как будто речь шла о каком-то случайном совпадении, а с другой стороны, несколько скандальное поведение любимца публики всегда поднимает его репутацию, подчеркивает его превосходство, ведь он потому и господствует над нами, что перешагивает границы, за которые мы заступить не смеем; но барышня! как барышня могла оказаться в поезде, если еще утром завтракала вместе с нами за общим столом? и почему вдруг в белом? в столь ослепительно белом, что это не пристало ей даже по возрасту, ведь ей было уже под тридцать! что за вызывающий наряд, столь неожиданный для нее? почему? уж не обвенчался ли с нею втайне господин Фрик, этот закоренелый и неисправимый холостяк, или, может, уже и женился на ней? я тоже был ошарашен этим потоком вопросов и, как бы ища ответы на лицах родителей, посмотрел сначала на мать, потом на отца; но лицо матери было непроницаемо, а по лицу отца пробежали такие судороги волнения и потрясенности, что я, ничего не понимая, невольно схватил его за руку, словно пытаясь удержать от чего-то непоправимого; он не сопротивлялся, лицо его было пепельно-серым, а бешено выпученные глаза неотрывно смотрели на явно не случайно оказавшуюся вместе парочку; рот его был приоткрыт и не закрывался, пока они приближались к нам, а мы приближались к ним, пока не остановились в сомкнувшемся вокруг Фрика многоцветном живом кольце с неимоверным восторгом приветствующих его людей; над нашими головами одновременно столкнулись и безнадежно спутались десятки начатых и так и не законченных фраз, поскольку каждый говорил свое: кто-то живо интересовался, как он добрался, кто-то спешил засвидетельствовать свою радость по поводу прибытия тайного советника, намекая на несомненно «в высшей степени изнурительную работу», которая даже «сказа-

лась на цвете его лица», и в раскаленной эмоциями и светской трескотней атмосфере никто, и, наверное, даже сам Фрик, не обратил внимания на другое лицо, на злое лицо моего отца, точнее сказать, его увидели и услышали, только когда он, вырвав из моей дрожащей ручки свою пятерню, наклонился к лицу фрейлейн Вольгаст и, желая, видимо, спросить шепотом, все-таки прокричал: «А ты как здесь оказалась?»

Но, казалось, не было в мире такой силы, такого негодования, которые могли бы пробить броню светского лицемерия, потому что не разразилось никакого скандала, никто не начал громко визжать, кого-то лупить, несмотря на то что свойственная человеческой природе склонность к истерии сейчас требовала именно этого! казалось, будто вопрос моего отца даже не прозвучал, или это было вполне естественным – задавать такие вопросы и задавать их так, хотя все прекрасно знали, что отец мой не был и быть не мог с фрейлейн Вольгаст в таких отношениях, чтобы позволить себе, обращаясь на «ты», публично задавать ей такие вопросы, или все-таки был? и сейчас здесь разоблачилось что-то темное и запутанное? и речь идет не о них двоих, а сразу о троих, а точнее, если считать мою матушку, то о четверых? но ничуть не бывало! никто как бы ничего не заметил, каждый спокойно закончил фразу и восторженно начал следующую, чтобы ничто, никакие помехи не могли испортить эту замешенную на пустословии светскую музыку; я и сам ощущал всю строгость законов приличия, и хотя я испытывал состояние, близкое к обмороку, хотя понимал, что это уже скандал, что под ногами у нас разверзается бездна, что отсрочки не будет и что это не то часто испытываемое мною пугающее ощущение, что мы вот-вот упадем, а уже само падение, что мы уже падаем в бездну! и мне очень хотелось зажмуриться и заткнуть уши, но поделать я ничего не мог, этикет был сильнее меня, и я вынужден был держаться; ну а выдержка моей матушки была просто феноменальна, ибо когда господин Фрик слегка поклонился, чтобы поцеловать ей руку, она смогла даже рассмеяться, причем от души, легко: «Милый Петер, как же мы рады, что вы наконец-то с нами! и если бы не эти важные государственные дела, мы ни за что не простили бы вам, что вы так надолго лишили нас вашего общества!» – но на самом деле остановиться уже было невозможно, ибо когда господин Фрик сделал шаг к моему отцу, успев с самодовольной улыбкой ответить матери, что он постарается как-то восполнить свое упущение, и протянул отцу руку, потому что на этот раз обниматься они, конечно, не стали, то отец еще громче крикнул:

«Государственные дела? Смешно!» – и, не спеша отпустить руку тайного советника, крепко жал ее, жестким непроницаемым взглядом буравя его глаза, а потом вдруг понизил голос до шепота: «Преступления, кругом преступления, милый Фрик! не так ли? Я полагаю, не так уж и трудно разоблачить покушение, когда мы хорошо его подготовили!»

«Вы, однако, шутник!» – сказал Фрик, так заливисто рассмеявшись, как будто и правда услышал забавную шутку, и опять ситуация была спасена! а члены поредевшей компании уже в открытую поспешили на помощь Фрику и на случай возможных очередных атак моего отца заговорили все сразу и еще громче, и поднялся неимоверный гвалт; наконец пожилая и весьма уважаемая дама, наверняка пережившая на своем веку много бурь и потому знавшая, как выкручиваться из таких положений, с криком «Я вас похищу отсюда, сударь!» взяла Фрика под руку и покинула вместе с ним застывшую в шоке компанию; кое-кто пытался затушевать и эту внезапно переменившуюся ситуацию, хотя у всех в головах звучало: «Скандал! Скандал!»; в этот момент мать, словно пытаясь сдержать отца, тоже взяла его под руку, что было весьма своевременно, потому что казалось, что он сейчас кого-то ударит или начнет орать; «Я понимаю, что с моей стороны это неприлично, но неотложность дела, надеюсь, всем объяснит мое бестактное вмешательство: дело в том, что вас ожидает герцог!» – донесся дряблый голос старушки, в то время как толпа направилась по скрипучей дорожке к станционному зданию; и мы остались одни, совершенно одни: фрейлейн Вольгаст, которая, до сих пор не придя в себя после злополучной сцены, не успела воспользоваться благоприятным моментом для отступления, и я, до которого никому не было никакого дела.

«Прочь отсюда, и чем быстрее, тем лучше!» – прохрипел отец, двинувшись было в противоположном направлении, но дорогу им преградило какое-то неприятное белое привидение, сама барышня, которая во всей этой неразберихе каким-то образом оказалась перед моей матерью; видимо, после долгих поисков какого-нибудь внятного объяснения в парализованном уме она как раз сейчас нашла решение; «Вы не поверите! Но после завтрака у меня появилось желание прогуляться подальше, и я сама не заметила, как дошла до Бад-Доберана! и кого же я встретила там?!» – однако ее болтливый тон производил сейчас впечатление какой-то дешевой пародии; «Вы вели себя совершенно скандально, барышня!» – сказала мать с видом превосходства, спокойно и прямо глядя ей в глаза, но отец потянул мою мать за собой, и они едва не стол-

кнули фрейлейн Вольгаст с дорожки; я поспешил за ними через железнодорожные пути, и мы молча, едва не бегом углубились в буковый лес по тропке, которая окольным путем, по болоту, где днем можно было совершать длительные прогулки, привела нас домой уже после наступления темноты.

О, какая ужасная ночь последовала за этим!

Проснулся я оттого, что кто-то стоит в открытой двери террасы, стоит снаружи, за прозрачной занавесью, или то была тень? или, может быть, призрак? мне казалось, что будет заметно даже движение моих век, и поэтому я не смел шевельнуть ими, не осмеливался снова закрыть глаза, а ведь как было бы хорошо ничего не видеть и ничего не слышать из того, что позднее произошло! вдобавок к страху вернулся и ужас, пережитый минувшим днем, а тут еще занавеска качнулась! кто-то вошел и быстро направился через комнату к двери; ночь была темная и безлунная, тень прошагала по голому полу, потом по ковру, и я все же узнал в ней фигуру матери; она подошла к выходящей в коридор большой двери и, видимо, положив руку на ручку, слегка нажала ее, легкий щелчок нарушил глубочайшую тишину ночи, в которой почти неслышно, лениво плескались морские волны; шелест сосен затих, был штиль; потом, видимо, передумав, она снова пересекла комнату, ее легкие, с лебяжьим пухом по верху тапочки на высоком каблуке постукивали так решительно, как будто она точно знала, куда и зачем направляется; по полу шуршал шелковым шлейфом ее пеньюар, который она, вероятно, накинула второпях на ночную рубашку; вернувшись к двери террасы, она ненадолго застыла на месте, я хотел сказать ей что-нибудь, но чувствовал, что не в силах выдать из себя ни звука, все было как во сне, хотя было ясно, что я не сплю; потом она осторожно, словно подглядывая за кем-то, отодвинула занавесь, но на террасу не вышла, а, быстро повернувшись, со стуком снова прошла по комнате к выходящей в коридор тройной двери и, судя по однозначному звуку, резко нажала на ручку, но дверь была заперта, она повернула ключ, и та со щелчком приоткрылась, но вместо того чтобы выйти, мать снова метнулась к террасе, по комнате пробежал легкий сквозняк, всколыхнувший белые занавеси, и я сел в кровати.

«Что случилось?» – спросил я, спросил совсем тихо, потому что горло мне сдавливал уже не просто страх, а ужас, однако она, не обратив внимания на мой вопрос, а может быть, даже не услышав его, на этот раз вышла на террасу, но, сделав несколько шагов, словно напуганная раздражающе громким стуком каблуков,

бросилась назад в комнату. «Что случилось?» – еще раз спросил я, на этот раз громче, между тем как она опять подошла к входной двери, распахнула ее – и снова отпрянула! тут я вынужден был выскочить из постели, чтобы попытаться как-то помочь ей.

Двигаясь навстречу друг другу, наши тела столкнулись посреди темной комнаты.

«Что случилось?»

«Я знала, я знаю об этом уже пять лет!»

«О чем?»

«Я знаю об этом уже пять лет!»

Мы прижались друг к другу.

Ее тело казалось невероятно жестким, я чувствовал, как оно напряглось, и хотя она на мгновение обняла меня и я тоже изо всех сил прижался к ней, я все же не мог не понять, что мои объятия сейчас не помогут ей, что старания мои тщетны, я ее чувствую, а она меня нет, я не более чем секретер или кресло, которое помогает ей удержать равновесие и собраться с силами, чтобы осуществить какое-то свое желание, граничившее с безумием; но я не хотел отпускать ее и прижимался к ней так отчаянно, как будто точно знал ее цели, как будто знал, от какого ужасного шага я должен ее удерживать; мне было все равно от чего, я не мог знать об этом, не мог даже догадываться, мне приказывали инстинкты, что нужно ее удерживать от чего-то, от чего угодно, что она захочет сейчас совершить! и похоже, мое отчаянное упрямство подействовало на нее, она как бы узнала меня, да, это ее сын, родной человек, она наклонилась и чуть ли не кусая страстно поцеловала меня в шею, но в следующее мгновение, почерпнув, видимо, в этом поцелуе и в моих страхах силу для дальнейших шагов, оторвала от себя мои руки, оттолкнула меня и с криком «Несчастный!» бегом бросилась опять к террасе.

Я бросился за ней.

Но по террасе мы побежали не к лестнице, что спускалась в парк, как я ожидал, а в противоположном направлении; она оставилась у апартаментов барышни.

Внутри горели свечи, и их свет через распахнутую дверь, подрагивая и колышась, освещал каменный пол террасы прямо у наших ног.

Еще никогда в жизни я так остро не ощущал, что стою на ногах.

И зрелище это я воспринимал не только глазами, но всем своим телом.

О нет, я вовсе не утверждаю, что я не знал, что означает это зрелище, хотя не берусь утверждать и обратное.

Потому что ребенок не только может обладать знанием о том, что в таких случаях происходит, но и, каким бы шокирующим ни было это утверждение, имеет уже и определенный опыт, добытый в ходе удовлетворения собственной похоти; тем не менее то, что я видел, было столь неожиданным, что я не уверен, что я это понимал.

Ибо зрелище на сей раз составляли два тела.

Нагота их светилась на голом полу.

Барышня лежала вроде как на боку, вокруг разбросаны были белые одежды, колени она подтянула почти к самой груди, как бы пытаясь свернуться калачиком, а внушительного размера и, с сегодняшней точки зрения уже искушенного человека, красивейшие ягодицы повернула к отцу; но что повернула! она их протягивала, предлагала, дарила ему! он же, то резко припадая вогнутым пахом к округлости этого зада, то подаваясь назад, стоял над нею на корточках или на коленях и одной рукой сжимал распущенные темные волосы барышни, ухватив их у самых корней, судорожно, с безумной силой; то есть он был в ее замкнутом теле полностью, свободно, мощно, и вместе с тем самым чувственным образом мог бесчинствовать в нем, и сегодня я могу это знать; ведь в таком положении наш орган не только способен проникнуть как можно глубже, а можно сказать, и выше, но, касаясь припухшего клитора и больших губ нежными складками крайней плоти, венчиком головки и набухшими узловатыми жилами, может скользить по горячему, обнимающему его лону влагища, отчего эрекция становится настолько сильной, пульсирующей, что мы доходим до шейки матки, последнего на нашем пути препятствия! лоно заполнено целиком, и уже непонятно, что наше и что ее; потому в этой позе возможно как насилие, так и нежнейшее взаимное соитие, наслаждение, слаще которого невозможно себе представить; но в данном случае все, что я видел, была лишь судорожно согнутая спина отца и его слегка раздвинутые ягодицы, отчего казалось, что он как бы собирается испражниться; он поддерживал себя свободной рукой, и в моменты, когда он ритмично подавался назад, становилась видна и его огромная, чуть подтянутая к животу мошонка, после чего следовал очередной толчок, и то хлюпающее место, в котором рождалось их наслаждение, снова полностью скрывалось; барышня пронзительно и тонко повизгивала, рот отца был открыт и страшен, потому что казалось, что он не в силах его закрыть, высунув изо рта кончик языка, он тяжело хрипел, открытые тоже глаза смотрели в пустоту; но, конечно, тогда я никоим образом не мог как-то

соединить этот визг и хрип с очевидным и для меня наслаждением, тем более что когда отец достиг наивысшей точки проникновения, когда он, казалось, нашел свое окончательное место и замер, когда по всему его телу, густо покрытому пятнами черной растительности, пробежала какая-то бессильная и вместе с тем ненасытная дрожь, он, приподняв за волосы голову барышни, несколько раз изо всех сил ударил ею об пол; и хотя визг ее именно в это время звучал сладострастней всего, она все же забилась под ним, ища спасения, но толчки отца после кульминации стали более нежными, хотя и не менее сильными, отчего более тихим, почти интимным сделался и визг барышни, однако отец еще раз вздернул за волосы ее голову и ударил об пол с оглушительным треском и грохотом.

И если в этот момент удовольствие мое оказалось намного большим, чем изумление, и я даже забыл о присутствии матери, и все мои чувства были прикованы к этому зрелищу, больше того, я даже был счастлив тем, что могу это видеть, то объяснялось это не просто детским любопытством и не только тем, что благодаря моему хайлигендаммскому приятелю, на год-другой старше, чем я, графу Штольбергу, я был в общем-то уже посвящен в эту тайну, а тем, что во мне неожиданно и одновременно пробудилась целая гамма прежде где-то таившихся вождедений, жестокости, побуждений; мне казалось, это они застали меня с поличным, будто своим визгом барышня разоблачила меня! Это зрелище было чувственным озарением, потому что все это связано было не со мной, не с отвлеченным знанием, не с моим приятелем, которого я как-то случайно застукал на болоте, когда, растянувшись на зыбком мху в зарослях тростника, он развлекался своим елдачком, и даже не с моим отцом, а прямо и непосредственно с объектом моего восхищения и влечения: фрейлейн Вольгаст.

Так, следовательно, не остались без последствий все эти мои ночные вылазки, когда мне хотелось побыть одному на нашей общей террасе, и все же я радовался, если заставлял ее там и она привлекала меня к своему жаркому от постели и бессонницы телу?

Ее тело так и лучилось красотой, хотя ее красота заключалась не в стройности форм, не в правильности черт лица, а, я бы сказал, в ее плоти, ее красоту горячо излучала кожа; и хотя любой мог видеть, что с эстетической точки зрения ее формы и линии были вовсе не идеальны, ее притягательность все же была несравнима ни с какими так называемыми идеалами; счастье еще, что своим ладоням мы доверяем гораздо больше, чем сухим постулатам эстетики! и поспешу заметить, что от этого смутного и глубинного

воздействия не могла уклониться даже моя мать, весьма склонная подчиняться разного рода сухим предписаниям, но в данном случае она тоже предпочитала верить своим глазам и к барышне относилась восторженно, буквально боготворила ее и даже заигрывала с мыслью, почему бы не стать им такими же задушевными подругами, какими друзьями были мой отец и Фрик; ее сверкающие доверчивые карие глаза, пышущая здоровьем, по-южному смуглая, чуть ли не цыганская кожа, туго обтягивая широкие скулы, взволнованные подвижные ноздри аккуратного носика и полные ярко-красные губы, словно бы рассеченные ритуальным мечом не только по горизонтали, но и по вертикали, производили свое впечатление и на мать, и она, несмотря на подтрунивание отца над «вульгарной на самом-то деле барышней», прощала ей непомерную шумливость, закрывала глаза на граничащую с невоспитанностью фамильярность и, кажется, не смущалась даже заметной уже по ее плоскому низкому лбу недалекостью, которую барышня не только что не пыталась как-то уравновесить сдержанным поведением, но, напротив, подчеркивала своей разнузданностью; словом, тело, лежавшее сейчас на полу, было знакомо мне; ее маленькие, чуть расходящиеся в стороны плотные груди, ее талия, которая благодаря ловко скроенным нарядам казалась гораздо тоньше, чем на самом деле, и бедра, обширность которых платья, напротив, эффективно подчеркивали: все это было знакомо мне, ведь в те ночи, когда бессонница и томление заставляли ее выйти на террасу, она с материнской, но немного утрированной и, как мне теперь ясно, предназначенной моему отцу нежностью прижимала меня к себе, я узнал это тело во всем его непропорциональном и нескрываемом совершенстве и научился им наслаждаться; на ней не было даже халата, а через тонкий шелк ночной рубашки можно было ощутить все, даже мягкую поросль ее лобка, которого как бы незначай касалась моя рука, ну и, конечно же, изумительный аромат, в который я погружался.

Но довольно, ни слова больше!

Чувство меры и деликатность одинаково требуют сделать паузу в наших воспоминаниях.

Ибо в этот момент, издав стон, моя мать упала без чувств на каменный пол террасы.

ДЕВЧОНКИ

140

Сад был огромный, не сад даже, а скорее парк, тенистый, поливающий теплый летний воздух тонкими ароматами; терпкий запах сосен, смолы, что выступила на растущих с тихим потрескиванием зеленых шишках, многоцветие роз с тугими красными, желтыми, белыми, розовыми бутонами, на одном из которых лепесток, слегка опаленный по гофрированному краю, как раз собрался упасть на землю и, увы, уже никогда не распустится; высокие жесткие лилии соблазняют своим нектаром ос, даже от легкого дуновения ветерка трепещут фиолетовые, пурпурные и синие чашечки петуний и раскачивается на длинных стеблях львиный зев; наслаждающаяся буйством собственных красок наперстянка яркими свечками окаймляет дорожки, над которыми по утрам парит дымка; ну и, конечно, кустарники, высаженные рядами и купами, тенистая бузина, бересклет и сирень, дурманящий жасмин и «золотой дождь», боярышник и орешник, во влажной гуще которых, источая свой горьковатый запах, привольно произрастает ядовито-зеленый плющ, взбираясь с помощью присосок по заборам и стенам, оплетая собою стволы, пуская тонкие воздушные корешки, заполняя собой все пространство, чтобы укрыть и умножить грибковую прель, за счет которой он живет и которую сам же и производит; растение это можно считать символическим: своим мраком и густотой оно переваривает все живое, прутики, ветки, траву, и каждой осенью покорно хоронится под рыжим саваном палой листвы, чтобы по весне вновь поднять на кончике длинного жесткого стебля первый воцанный кожистый листик; его тенистой прохладой наслаждаются и зеленые ящерики, и светло-бурые полозы, а также жирные черные слизни, размечающие свои замысловатые маршруты белеющими и засыхающими на воздухе выделениями, которые так похрустывают под пальцами; вспоминая сегодня об этом саде и зная, что ничего из этого уже не осталось, что кустарники выкорчевали, что вырубili почти все деревья, снесли прохладную беседку, решетки которой, крашенные зеленой краской, были увиты розами, уничтожили большой альпинарий, употребив

его камни для каких-то других надобностей, лужайка, где когда-то цвели заячья капуста и папоротник, толстянка и ирис, белокрыльник и курослеп, заросла бурьяном и выгорела, а белые садовые стулья наверняка сгнили и развалились; каменную, пористую от возраста скульптуру играющего на свирели Пана, которую ураган однажды свалил с пьедестала и она так и осталась лежать на боку в траве, возможно, сбросили в подвал, исчез даже постамент, а с фасада дома сбили гипсовую лепнину, богинь с открытыми ртами, возлежавших над окнами в морских раковинах, сбили греческие завитки псевдоколонн, заложили кирпичом остекленную веранду и в ходе всех этих перестроек, разумеется, сорвали со стен лозы дикого винограда, любимое обиталище муравьев и жуков, но независимо от того, что я знаю обо всех этих перемещениях, в моей памяти сад продолжает жить, я по-прежнему слышу шелест листвы, ощущаю запахи, игру света и капризно меняющееся направление ветерка, ощущаю, как ощущал тогда, и если мне этого хочется, то вновь наступают лето, послеполуденный час, тишина.

Я вижу мальчишку, стоящего в том саду, того, кем когда-то был я, хрупкого, худощавого, но вполне стройного, поэтому непонятно, почему он считает себя нескладным и даже уродливым и по этой причине, как бы ни было жарко, ни за что не позволит себе обнажиться, даже рубашку снимает с большой неохотой, а майку совсем никогда, и даже летом предпочитает носить длинные брюки, готовый уж лучше потеть, хотя резкий запах своего пота он находит довольно отталкивающим; но надо всем этим сегодня мы, конечно, лишь снисходительно улыбаемся, отмечая с некоторой грустью, что собственная красота никогда не осознается нами, она может быть оценена только другими, а если и нами, то только задним числом, в ностальгических воспоминаниях.

Итак, я стою на круто поднимающейся вверх садовой дорожке, и это – один из тех редких моментов, когда я не занят самим собой или, если точнее, так поглощен ожиданием, что и сам как бы стал персонажем какой-то сцены, которая разыгрывается по неизвестным мне правилам, и меня, поразительный случай, не смущает даже, что на мне – ни рубашки, ни брюк, что я стою в одних синих, застиранных чуть не до белого цвета трусах, между тем как я знаю, что она вот-вот появится.

Я просто есть, как есть сад, дорога и лес за дорогой, как большая краюха хлеба у меня в руке, густо намазанная свиным жиром, который я покрыл сверху пластинками зеленого перца, взрезанного

мной аккуратно, так, чтобы жгучие прожилки остались на плодоножке, словно бы сохраняя скелет стручка, и когда я подношу краюху ко рту, я пальцами прижимаю полоски перца к хлебу – хотя они все равно съезжают, – причем прижимаю с ловкой аккуратностью, чтобы не выдавить из-под них жир, которым я перемажу себе все лицо.

От жары небо затянулось сероватой дымкой, солнце палит, наконец, это самый жаркий послепопуденный час, попрятались даже жуки, но взопревшей после сна кожей я вроде бы ощущаю дуновение прохладного ветерка, который в такую пору не ощутишь нигде, кроме этой круто вздымающейся в гору дорожки.

Пропали ящерицы, молчат даже птицы.

Дорожка ведет к чугунным, изящнойковки воротам, опирающимся на резные каменные колонны, на улице, в мареве жары, едва заметно дрожат тени, а по другую сторону – лес, откуда долетает чуть горьковатый и кажущийся прохладным ветерок; я стою, наслаждаясь его игривыми щекочущими прикосновениями, стою сонный, но вместе с тем напряженно внимаю, и надо признаться честно, что сонным я только притворяюсь из чувства собственного достоинства.

Ведь если бы я не притворялся, то должен был бы признать, что жду ее, что ждал ее уже тогда, когда в своей погруженной в приятный полумрак комнате делал вид, что погружен в чтение, ждал ее, засыпая, и ждал, пробудившись от сна, жду ее уже много часов, уже много дней и даже недель, даже в кухне, когда, намазывая на хлеб свиной жир, нарезаю перец, я снова и снова, неизвестно в который раз смотрел на стрелки громко тикающего будильника, смотрел словно бы случайно, но втайне надеясь, что то же самое делает и она, именно в этот момент бросает взгляд на часы и поспешно собирается, ведь она появляется каждый день почти в одно и то же время, и сейчас как раз половина третьего, и едва ли все это простая случайность, но как все-таки трудно отогнать от себя ужасную мысль, что, возможно, я ошибаюсь и на самом деле она появляется здесь не из-за меня, а случайно, из прихоти, просто так.

Еще несколько минут, и я, словно у меня там какое-то дело, направляюсь к забору; но ждать придется еще несколько минут, а может, и все полчаса, но это в том случае, если, прикидываясь безразличной, она постарается опоздать, ведь я тоже, блюдя свою независимость, иногда притворяюсь, будто меня вовсе нет в кустах; я прикидываю, сколько времени остается ждать, уповаю,

что не так много и пролетит оно незаметно, но может случиться совсем иначе, я это знаю с тех пор, как однажды, всего лишь однажды, она не пришла вообще и я ждал до вечера, потому что не мог не ждать, ждал ее у забора даже после того, как стемнело, но ее не было, и с тех пор я знаю, каким бездонным может быть время ожидания, когда ждать нужно непременно.

Но вот она появляется.

Как всякий момент, которому мы придаем значительность, этот тоже оказывается незаметным, да, вот оно, но ничего не меняется, все остается как было, просто закончилось ожидание, и позднее нам даже приходится напоминать себе, что то, чего мы так ждали, произошло.

143

К тому времени я стоял уже среди кустов, у забора, недалеко от ворот; то было мое место, мой пост, прямо напротив тропинки, которая мягко, почти незаметно, скрытая нависающими над нею кустами и ветвями громадной липы, выворачивала из леса на дорогу, всегда пустынную в этот час, так что, стоя у забора на своем посту, я мог быть уверен, что не упущу ни секунды, и каждым мгновением я дорожил, для чего проторил своим телом проход в кустарниках, и по этой свежей тропинке, где мне была знакома каждая ветка, бьющая меня по лицу, я мог следовать за нею, пока не наталкивался на забор соседнего сада, но взгляд мой провожал ее еще дальше, пока красное или синее пятно ее забавно колышущейся юбочки не растворялось в зелени, что длилось достаточно долго; единственным, чем она могла удивить меня, было ее неожиданное появление не со стороны леса, ибо она следила за тем, чтобы наша немая игра все же не подчинялась правилам, не была предсказуемой, поэтому иногда, сделав изрядный крюк, она выходила не из леса, а шла по дороге, появляясь слева от меня, на круто поднимающейся и так же внезапно уходящей вниз улице, некогда асфальтированной, но в ту пору уже сплошь усеянной колдобинами и разломами от внезапных заморозков, однако все ее ухищрения были напрасны, в том бездонном безмолвии, в котором и самое изощренное ухо способно было только с большим трудом уловить отдаленное монотонное бормотание города за случайными и неоднородными ближними звуками, такими как шелест листьев, щебет птиц, лай собаки или какой-то глухой и неразличимого содержания человеческий крик, – только я ориентировался здесь во всех оттенках тишины и шума и даже во всех их тончайших взаимосвязях! и не в последнюю очередь, разумеется, благодаря этому столь чуткому к разного рода шумам ожиданию! так что понятно,

что, если она приближалась не от леса, а шла по дороге, она уж никак не могла меня обмануть, ее уже издали выдавали шаги, скрип, это могла быть только она, уж кто-кто, а я и во сне узнал бы ее шаги.

В тот день она выбрала все же лесную тропинку и, выйдя на дорогу, остановилась; если память в точности сохранила ее тогдашний образ, а я полагаю, что это так, на ней были ее красная юбка в белый горошек и белая блузка, обе туго накрахмаленные и до блеска отглаженные, из-за чего жесткий объем блузки почти полностью скрывал холмики ее маленьких грудей, а ситцевая юбочка приятно шелестела под ее худыми коленями; каждый предмет ее небогатого гардероба по-своему показывал или скрывал разные части ее тела, так что мне приходилось все это держать в уме, ее юбки, платья, блузки, все то, что она, одеваясь и, возможно, думая обо мне, наверное, тоже считала чрезвычайно важным; вытянув голую шею, она медленно, осторожно посмотрела по сторонам, и это было единственное движение, которое она позволяла себе, выглядывая из-под маски невозмутимости: сначала она смотрела направо, потом налево и, поворачивая голову, как бы случайно задерживала свой взгляд на мне, иногда всего лишь на долю секунды, так что перехватить его я, как ни старался, не мог, в другой раз смотрела на меня более долго и смело, а иногда взгляд ее был просто невообразимо долг – но об этом я должен буду сказать отдельно, позднее, – в любом случае ее глаза искали меня, и если я не стоял на своем обычном месте, если, скажем, ложился в траву или прятался за деревом, чтобы она не сразу меня заметила, чтобы заполучить таким образом хоть маленькое преимущество, взгляд делался неуверенным, на лице появлялось глубочайшее разочарование, к чему я и вынуждал ее, и не без успеха, этой своей уловкой и что, если вспомнить о маске невозмутимости, могло показаться просто непозволительным кокетством; словом, на каждый день приходился один-единственный взгляд, и не больше, ради которого я так долго простаивал у забора, в душной тени кустарников, совершенно беспомощный.

Она была некрасива, но утверждение это тут же следует пояснить – да, некрасива, приходилось и мне констатировать с некоторой, смешанной с сожалением, стыдливостью, а с другой стороны, она ведь казалась мне иногда красивой! но все же когда она исчезала за поворотом дороги, я испытывал перед кем-то стыд оттого, что девчонка, в которую я влюбился, некрасива, страшна или, выражаясь предельно деликатно, не слишком хороша собой,

в любом случае сомнения и какая-то необъяснимая стыдливость брали верх! и когда в муках ожидания прошло уже много дней, я, устав протестовать и выкручиваться, в конце концов вынужден был признаться себе и даже во всеуслышание проорал в никуда, всему миру в надежде освободиться от этих мук, что я влюблен, я влюблен в нее, но был счастлив, только пока кричал, потому что как только мой вопль прекратился, я понял, что не могу избавиться от гнетущего ощущения, что опять должен ждать ее, постоянно ждать, ждать половины третьего, а когда она наконец появится, ждать, пока она исчезнет, чтобы ждать потом наступления следующего дня, что было настоящим безумием и абсурдом, даже большим, чем мое желание всеми силами избегать встреч с Кристианом, чтобы не бередить себе душу.

Но раз уж так получилось, раз уж я должен был видеть ее, мне хотелось, чтобы она была по крайней мере красивой, а если она была бы красивой, то чтобы ее красота не забывалась сразу после того, как она исчезнет, и мне не приходилось стыдиться собственных чувств; я верил, что ее красота могла бы спасти меня, избавить меня от мучений, которыми я постоянно терзался, — от мучившей меня жажды красоты, мог бы сказать я сегодня, — от мук столь мрачных и темных, что их непременно нужно было скрывать от посторонних глаз, точно так же, как мне приходилось, хотя по иным причинам, скрывать свою любовь к Кристиану, но она все равно унижала меня; унижала, потому что немое к нему влечение впечатало в мое сознание его порывистые жесты, неловкую улыбку, неосязаемую печаль, дикий смех, прозрачный блеск его зеленых глаз и нервное подрагивание мускулов, все это настолько впиталось в меня, что казалось моим, и потому в любой, самой неожиданной ситуации он мог объявиться во мне, словно бы заменить мое тело своим, словно бы я стал им, и тогда одним воображаемым жестом, взглядом или улыбкой мог разрушить, испортить что-то такое, что казалось мне крайне важным, или, напротив, помочь мне в каком-то деле, которое мне было затруднительно решить самому, так что его постоянное присутствие было неоднозначным, он мог быть и доброжелательным, и враждебным, но всегда непредсказуемым, никогда не оставлял меня в одиночестве, был моею подпоркой, тайным примером, а может, меня уже не было вовсе, может, я был уже только его тенью; он и теперь был здесь, слоняясь вокруг меня, то обнаруживаясь, то исчезая, пожимая плечами и ухмыляясь, притворяясь, будто не замечает меня, но при этом подглядывая за мной; и что

толку, что эта девчонка произвела на меня глубокое и волнующее впечатление, первым же своим появлением сразу рассеяв все мои идиотские сомнения, – ведь за ней наблюдал не только я, именно, именно, я не один наблюдал за ней, и даже если бы был один, все равно не смог бы быть беспристрастным, прислушивающимся лишь к собственным чувствам наблюдателем, ибо не мог избавиться от раздвоенности, от влияния тех суждений о красоте, которые для меня были абсолютно авторитетными – а кто мог судить об этих вопросах авторитетней, чем он?

Между тем наблюдал за ней, разумеется, я – кто еще мог за ней наблюдать? – это я ждал ее, это мне так хотелось, чтобы она пришла, это я не мог представить себе более волнующего лица, более глубоко волнующего меня тела, даже впоследствии, точнее сказать, с тех пор, да, именно с того самого дня в каждом нравящемся мне женском существе я, казалось, искал то же самое, то, что получил от нее, хотя, если разобраться, она почти ничего не могла мне дать, зато сделала болезненно ощутимой мою тоску, и именно эту тоску по ней я невольно пытался позднее удовлетворить; и даже если эту ее красоту, которая, несомненно, была, сегодня я это знаю, потому что собственное совершенство, пусть даже всего на мгновение, она раскрывала мне, и никому другому, раскрывала мне каждый день, а в чем ином может заключаться красота, если не в этом невольном разоблачении чего-то, что скрыто даже от нас самих! и если, невзирая на все это, я не считал ее красивой, то, как бы причудливо это ни звучало, лишь потому, что, несмотря на обманчивую видимость, ни на одно мгновение я не мог остаться с нею один на один, рядом со мною, в кустах, все время были другие, и я четко чувствовал, что эти другие удерживают меня за руки, ограничивают меня в моих действиях, покрывают меня гусиной кожей, остерегая, чтобы я не посмел предаться собственному влечению, и возможно, они были правы, мудрствую я сегодня, давая понять, что в этой совместной муке мы должны научиться, постичь, что можно и чего нельзя, и действительно, те доводы против нее нашептывал мне не только он – как это ни смешно, я даже испытывал ревность, которую виртуально вселившийся в меня Кристиан мог чувствовать ко мне из-за Ливии, если бы он любил меня, – весьма странным образом я чувствовал, что в меня вселились другие мальчишки, и мы наблюдали за нею все вместе, не только я, желавший в то время эту девчонку любить, но и другие мои одноклассники, хотя в то время я этого не понимал, они смущали меня, все они наблюдали за ней из-за

моей спины и не считали ее не только красивой, но и уродливой, потому что, кроме меня, ее, кажется, никогда и никто не замечал.

Я был первым и единственным, и это было по ней заметно.

Я знал, что она и сама стыдится своего уродства, все говорило об этом, ее манера держаться, ее кожа, маниакальная чистота одежды, ее застенчивость, осторожность, робость; но все же это не делало ее слабой, напротив, возможно, именно это делало ее красивой, она с величайшей серьезностью и, по-видимому, немалой смелостью доводила до моего сведения тот факт, что она должна появляться здесь несмотря на то, что считает себя самой уродливой девчонкой на свете, и надо еще добавить к этому, что чувство собственного достоинства, столь характерное для бедных людей, только подчеркивало ее беззащитность, делало ее чуть ли не смешной, но при этом меня всегда охватывала дрожь взволнованного любопытства, когда я думал о подвале, в котором она жила.

147

Она была маленькая и хрупкая, голову почти всегда держала чуть склоненной, отчего ее большие немигающие карие глаза смотрели снизу вверх, смотрели, как бы это получше выразить, глубоко; коротко стриженные каштановые волосы были схвачены двумя белыми заколками, двумя белыми бабочками, не дававшими им упасть на глаза, что делало весь ее вид по-девчоночьи неуклюжим, но мне это нравилось, нравился ее открытый красиво очерченный лоб, непонятным мне образом говоривший о той трепетной заботе, которой окружали ее родители, следившие за тем, чтобы она выглядела всегда опрятно, видимо, им это было очень важно; однажды я видел, как ее отец, сидя в привратничкой и зажав дочь в коленях, послунявленным носовым платком что-то стирал с ее лба; он был сторожем в нашей школе, а также ризничим близлежащей церкви, худой, белокурый, с небольшими усиками и искусственно завитыми волосами; они жили в цокольном этаже школы; однажды кто-то рассказал мне, что ее мать, которую я и сам неоднократно видел поднимающейся из темного подвала с авоськами и горшками, носила кому-то остатки еды из школьной столовой, да и собственное семейство кормила ими, и якобы была цыганкой; кожа у нее была розовато-смуглая, той смуглоты, которую летнее солнце делает темнее лишь на оттенок, а зимнее делает бледнее и, пожалуй, еще красивее.

Да, снег уже почти сошел, когда в один, без сомнения, знаменательный день между нами все это началось; таял он долго, потому что зима выдалась морозной, и то, что солнце успевало растопить в течение дня, холодными ночами опять замерзло; лишь

постепенно становилось ясно, что наступила оттепель, пришла весна, сначала растаяли только подушки снега на крышах и снежные шапки на печных трубах, смерзшиеся под ветром белые комочки на ветках деревьев; по ночам под застрехами вырастали длинные сосульки, днем звенела капель, снег, поначалу только вокруг домов, делался рыхлым, а сосульки можно было обламывать и сосать, они были холодными и приятными, мы обожали их специфический привкус, который придавала им гниющая под стрехой листва и скопившаяся в водосточных трубах ржавчина, а по ночам снег покрывался тонким ледяным панцирем, по которому было приятно ходить, он с потрескиванием проваливался под ногами, так что можно было оставлять следы, однако после нескольких погожих дней все вдруг ожило, закапало, зажурчало, затрещало и стало превращаться в кашицу, растекаться, сохнуть, и запели птицы; именно таким, мягким, парящим, капающим, был и этот день с совершенно безоблачным голубым небом, когда во время большой предобеденной перемены класс за классом нас провели в спортзал, где нужно было стоять молча, не шелохнувшись, глядя прямо перед собой и не крутя головами, но, как бы ни впечатляла нас демонстративная торжественность траурной церемонии, мы все же не могли в этой тишине, нарушаемой шорохом невольных движений, не замечать, даже не поворачивая головы, уголком глаза, этой спокойной голубизны за продолговатыми окнами; в спортивном зале была и сцена, с закрытым на этот раз бордовым занавесом, на которой, тоже, естественно, неподвижно, стоял весь педагогический коллектив.

Это было час похорон Сталина, когда забальзамированное тело переносили из мраморного зала в мавзолей.

Зал этот я представлял себе неохватно огромным и почти полностью темным, настолько огромным, что скорее его можно было бы назвать крытой площадью или ареной, да, ареной, это слово я смаковал, но все-таки не обычным крытым сооружением вроде рынка или вокзала, мраморные колонны стояли в нем, как деревья в лесу, густом, поднимающемся в высоту, где тоже темно, помещение настолько высокое, что не видно панелей кассетного потолка; здесь не слышно ничьих шагов, потому что никто не может, да и не осмелится сюда войти, нарушить гулким звуком своих шагов тишину, а в глубине зала или крытой площади, у самой дальней стены на катафалке лежит он, я представляю себе совсем простой черный постамент, скорей даже кровать, которая не видна, а только угадывается, ибо в узкие двери проникает слишком

мало света, чтобы осветить зал, лишь временами кое-где мягко вспыхивает мрамор, серовато-коричневый, с благородными прожилками, играют блики на полированных до зеркального блеска круглых боках колонн, на полу, в зале нет ни свечей, ни ламп, и вся эта воображенная мною картина была столь впечатляющей и пластичной, что я и сегодня могу без малейшего труда ее вспомнить, не добавляя к ней никаких дополнительных, иронических, может быть, деталей; я думал о том, что весь мир сейчас пребывает в этой безбрежной тишине, и даже животные, почуяв жуткое молчание людей, изумленно умолкли, смерть его казалась мне не кончиной, но апофеозом, последним и величайшим, достигшим крайних пределов всплеском торжества, воплем почитания, радости, обожания и любви, до этого не имевшим возможности проявиться с такою силой – лишь теперь, в этой захватывающей смерти! и в этих моих представлениях меня ничуть не смущало, что и здесь, в спортзале, отчетливо слышалось счастливое чириканье воробьев, порхающих над стрехой, и безразличное карканье ворон; я все равно пытался представить себе эту неимоверных размеров тишину, в которой молчание всех людей и животных, сколько их есть на земле, сгущается в одну общую тишину, размеры которой невозможно вообразить, невозможно найти подходящую для этой тишины единицу измерения, ведь было известно, что в этот час за пределами школы тоже все замерло, остановилось движение, встали автомобили, трамваи, встали поезда в чистом поле, исчезли с улиц пешеходы, а если кто-то все же случайно оказался на улице, то вынужден был замереть на месте, заслышав вой сирен, и подобно тому как складываются в единый шум отдельные звуки, как на некотором удалении сливаются в сплошной размеренный гул городские шумы, точно так же и это молчание, по моим представлениям, складывалось в одно большое безмолвие, которое доходило даже до погруженного в темноту мраморного зала, даже там было слышно, что весь мир умолк, хотя он не слышит уже даже тишины, каково это, думал я, не слышать тишины, быть мертвым; но на этом мои мысли путались, потому что я знал, что он не простой покойник, не такой, какими бывают обычные смертные, которых погребают в землю, и там они потихоньку тлеют, нет, его спасет, освятит бальзам, но, с другой стороны, все это бальзамирование казалось настолько темной, угнетающей и непостижимой вещью, что лучше было об этом не думать, вместе с тем отвлечься от этой запретной темы было невозможно, она волновала меня даже больше, чем его смерть, так что мысли мои все время возвращались к этому

загадочному бальзамированию, которого даже среди великих удостоивались лишь избранные, может, только фараоны Египта? поэтому когда я наконец поинтересовался насчет бальзамирования у дедушки – а он, может быть, из-за молчаливости, казался мне человеком, который знает все, – причем спросил так, чтобы заодно получить ответ, почему только фараоны и Сталин и какая возможна связь между их величием; спросил с некоторым чувством вины, ибо догадывался, что ответ его будет резким и саркастическим, так он говорил обо всем, и действительно, я обогатился ответом, который не только не разрешил моих моральных сомнений, связанных с этой процедурой, но только усугубил их: «О, это замечательное изобретение! – воскликнул дед, неожиданно рассмеявшись, и, как всегда, когда он начинал говорить, сдернул с носа очки, – ты только представь себе, что из трупа сперва удаляют все быстро разлагающиеся внутренние органы, а именно печень, легкие, почки, сердце, кишки, желудок, селезенку, желчный пузырь, что там еще? ну да, разумеется, мозг из черепной коробки, если он еще там остался, все это убирают, но перед тем выкачивают кровь из жил, если она еще не свернулась, ведь кровь, как известно, сворачивается очень быстро, ну а потом, когда в теле уже не осталось никаких мягких частей – кстати, если не ошибаюсь, удаляют даже глазные яблоки! – и когда уже ничего не осталось, только кожа, плоть, кости, личинка, можно сказать! тогда тело обрабатывают каким-то химическим веществом, и снаружи, и изнутри, разумеется, но каким веществом – об этом можешь меня не спрашивать, это мне неизвестно, после чего остается только набить чучело и аккуратно зашить, как делает по воскресеньям твоя бабушка, когда фарширует цыпленка, вот и вся премудрость!» – казалось, он даже не задумался, почему я расспрашиваю его, кого, собственно, касается мой вопрос, а если и задумался, то не придал этому значения, и, ничего не добавив к сказанному, не смягчив свой краткий монолог ни одним словом, ни жестом, просто замолчал, улыбка исчезла с его губ, он был так же мрачен и сух, как в день смерти Сталина, когда я искал в платяном шкафу какой-нибудь кусок черной материи, чтобы на следующий день подобающим образом украсить ею школьную стенгазету, и единственной подходящей для этих целей вещью оказалась старая шелковая ночная рубашка моей бабушки, которую я разрезал, спорол кружева и бретельки; наблюдая за этими манипуляциями, дед заметил: «Замечательная идея, внучок, а еще лучше было бы отнести заодно и трусики!» – и, как бы давая понять своим жестом, что возвращается в мир безмолвия, в котором он проводил

свои дни, дед нацепил очки на нос и отвел от меня свой взгляд, еще минуту назад казавшийся заинтересованным и веселым.

Однако постичь это здравым умом было невозможно, больше того, в речи деда чудилось скрытое богохульство, и не просто в словах о том, что усопшему взрежут живот и вынут из него внутренние органы, но и в тоне, каким мой дед говорил об этом, в небрежной легкомысленности и ехидной непочтительности! – даже если нельзя другим способом продлить жизнь умершего тела, то об этой свинской процедуре все же следовало бы молчать, как будто этого не было, как будто это было неправдой, молчать точно так же, как мне приходилось молчать, даже про себя, о словах, сказанных Кристианом после того, как нам сообщили весть о внезапной болезни, хранить гробовое и настороженное молчание, как будто уже сам факт, что я случайно услышал его высказывание, был величайшим позором и преступлением.

А ведь это действительно было случайностью, абсолютной случайностью, я цеплялся за это слово, как утопающий за соломинку, да, это вышло совершенно случайно, и можно об этом забыть, как о многом другом, ведь если бы я случайно не оказался в тот день дежурным и мне не пришлось бы идти в туалет, чтобы намочить губку, или если бы я пошел несколькими минутами раньше или несколькими минутами позже, – в самом деле, почему я отправился именно тогда? так ведь это и есть случайность! – то я не услышал бы того, что сказал Кристиан, он сказал бы, но я бы об этом не знал, в конце концов, в мире столько всего произносится, о чем я, по счастью, не ведаю! но коль скоро все же случилось так, что я это услышал, то мой мозг, словно бы в поисках какой-то лазейки, вот уже несколько дней снова и снова беспомощно воспроизводил всю сцену в надежде, что, как и все остальное, ее можно забыть, однако забыть не получалось, никаких лазеек не было, напротив, напротив, эпизод этот напоминал мне о чувстве долга, казался бесповоротным и, стало быть, неслучайным, казался прямо-таки роковым возмездием! а раз так, то я тоже мог мстить, правда, тут крылась западня, ибо, отомстив, я бы только разоблачил себя, разоблачил свою ложь, бесполезность своих попыток вот уже несколько месяцев игнорировать все, что могло иметь отношение к Кристиану, не замечать его, считать его воздухом, и даже не воздухом, а ничем! чтобы он навсегда исчез из моей жизни, как если бы я убил его.

Эта мысль о том, что я мог бы убить его, не была мимолетной идеей, я вынашивал ее, смаковал, продумывал все детали: мой план заключался в том, чтобы выкрасть у отца пистолет, а поскольку

ку однажды он показал мне, как надо его заряжать, как обращаться с ним, то все технические подробности этого убийства были для меня совершенно ясны; пистолет отец хранил в ящике письменного стола и раз в месяц чистил его смоченной в керосине тряпичей, его тонкие длинные пальцы делались от керосина черными, и когда он, объясняя мне свои действия, поворачивался ко мне, то вынужден был откидывать падающие на глаза волосы тыльной стороной ладони; в тот воскресный день холодный взгляд его голубых глаз, резкий запах керосина и довольно простые правила пользования пистолетом пробудили во мне эту яростную идею, которую позже, уже трезвым умом, я проработал настолько, что оставалось только придумать, как скрыть следы; и вот теперь эта идиотская случайность, которую я так старался и все же не мог забыть, разом поставила крест на моих расчетах, перечеркнула мои наивные мечты об убийстве; нет, я не мог стать его убийцей, для этого я был слишком слаб и труслив, коль скоро мне не хватает смелости даже для того, чтобы донести на него, когда он так просто попал в мои сети, но едва эта мысль мелькнула в моем сознании, я тут же яростно отбросил ее, зная, что тем самым я предал бы самого себя, стал бы в своих глазах последней дрянью и стукачом.

Вообще-то, я чувствовал себя стукачом и так, еще ничего не сделав и даже не смея об этом подумать, настолько страхась этой мысли, что не решался рассказать о случившемся даже матери; мне очень хотелось с ней поделиться, но я боялся, что на вопрос, как мне выпутаться из этой щекотливой ситуации, она даст мне такой совет, которому я ни в коем случае не смогу последовать, вот я и молчал, хотя она, что-то, видно, почувствовав, спрашивала, что со мной, но я отвечал ей, мол, все в порядке, ничего не случилось, опасаясь, что если заговорю, то придется впутать в эту историю и дедушку, потому что две эти вещи казались мне тесно связанными, одна словно бы вытекала из другой, ведь если бы дед не подготовил, так сказать, почву, то и высказывание Кристиана не произвело бы на меня столь разительного впечатления; но теперь, уже зная, что между собой они, Кристиан и его друзья! разговаривают о таких вещах, о которых не говорят при мне, то есть существует и существовал до этого целый круг тем и мнений, от меня скрывааемых, и взгляды дедушки тоже были в том круге, в который я совершенно случайно и сам того не желая все же проник, узнал о нем и теперь не в силах вырваться из него хотя бы уже из-за закипевшей во мне мучительной ревности, словом, теперь уже

ничего не подделаешь: само это нежеланное тайное знание о суждении, которое неприемлемо для меня, делает из меня соглядатая.

Им же наверняка показалось, что я следил за ними, ждал, когда они отправятся в туалет обсуждать эту новость, чтобы, улучив подходящий момент, накрыть их; первым, естественно, я заметил Кристиана, который, расставив ноги, стоял у покрытой смолой стены и мочился, но в какой бесподобной позе! одну руку, чуть вывернутую в запястье, упер в бедро, а другой держал свой прибор, но не так, как делают это дети, чуть ли не до порога взрослости подражающие нежным движениям матери, помогающей писать ребенку, не неловко, взяв пиписку у основания двумя пальцами, в результате чего никогда не выходит нормально стряхнуть последние капли и какое-то их количество попадает на пальцы и, конечно, в штаны, совсем нет, он держал свой член совершенно по-взрослому, всей пятерней, большим пальцем и четырьмя остальными, свободно, слегка оттопырив мизинец, подобно тому как в ветреную погоду прикрывают ладонью сигарету, что в принципе можно было бы считать проявлением скромности, если бы он при этом не выпячивал с такой бесстыдной чувственностью свой зад и не расставлял ноги чуть шире необходимого, словно бы демонстрируя своей позой – но кому? нам? себе? – что даже в этом он находит удовольствие; словом, мочился он с нахальным бесстыдством, из чего сделал прямо-таки моду, которой подражали не только его друзья, но и все, включая меня, мальчишки из нашего класса, хотя то естественное удовольствие, которое он при этом испытывал, для нас было, конечно же, недоступно; и когда, держа в руках высохшую, пахнущую мелом губку, я заметил его в этой хорошо знакомой позе, которая казалась еще более беспечной оттого, что при этом он что-то говорил мочившемуся рядом с ним Смодичу, но так, чтобы слышал и ожидавший у него за спиной Прем, и даже Кальман Чузди, который курил, привалившись к дверному косяку, я готов был отступить назад в коридор, но мотивировать мое бегство мне было нечем, тем более что Кальман Чузди сразу заметил меня, поэтому я вошел, и Кристиан, который, возможно, не слышал, а может, и не хотел слышать скрип открывающейся двери, закончил начатую фразу: «ну наконец-то и эта собака подохнет!» – сказал он в тот самый момент, когда я после некоторых колебаний закрыл за собою дверь.

Прем, коренастый смуглый мальчишка, словно благодушный придворный, всюду следовал по пятам за Кристианом, и своими мудрыми, всепонимающими и всепрощающими карими глазами, казалось, постоянно спрашивал, чем он может ему услужить,

и поэтому, как бы открыт и приветлив он ни был и ко мне, и к нему, да, похоже, и ко всем другим, я питал к нему глубокую и неприимимую, граничащую с отвращением неприязнь, что вовсе не удивительно, ведь он, как казалось, легко, безо всяких проблем добился того, для чего у меня не хватало смелости, ловкости или, может, игривости; они были связаны неразлично тонкой связью, о которой так мечтал и я, они были словно два брата, два близнеца, слегка даже равнодушные друг к другу, ведь связь эта дана им природой, им добавить к ней нечего, и в то же время они слегка влюблены друг в друга, их лица, независимо от того, на каком они расстоянии, казалось, всегда были связаны, и именно потому, что были они столь различными, они словно бы постоянно чувствовали друг друга, ощущали полную взаимность, хотя Прем не скрывал, что он – слуга другого, потому что он был младше, а младший всегда слуга старшего; вот и сейчас Прем заржал во всю глотку, как будто Кристиан отмолил удачную хохму, между тем его фраза прозвучала скорее мрачно и озабоченно, и я бы не удивился, если бы Кристиан за поспешное ржание тут же врезал ему по роже, что он иногда и делал, понимая, что излишнее рвение, как ни странно, не увеличивает, а скорей подрывает его власть и, следовательно, подлежит наказанию; как же я ненавидел рот Према и его глаза! эту подкупающе мягкую смиренность в широко распахнутых, чуть навывкате, обрамленных густыми ресницами темных глазах, которая так контрастировала с необузданным ртом, пылающим мрачной сырой краснотой, с чуть выставленной вперед нижней губой, может быть, даже вполне красивым, но непропорционально крупным и потому неестественным на его небольшом лице, и, словно бы сам догадываясь об этом, об исключительности размеров и, чего не отнять, привлекательности своего рта, при разговоре он беспрерывно с удовольствием облизывал его кончиком языка, говорил же он весьма странно, всегда тихо, приблизившись к собеседнику, но не глядя ему в глаза, а склоняясь к уху, поскольку слова он не выговаривал, а скорей выдыхал, нахлестывая в уши свои недлинные монологи.

Кристиана, как можно предположить, забавляла не только его идиотская в любом случае трепотня, но и вызываемое мелкими пакостями Према ошеломление; с по-отечески нежным вниманием следил он за Премом, когда тот, по одному ему известным правилам, выбирал своих жертв, бесшумно скользя вдоль коридора или слоняясь между рядами парт, потом неожиданно перед кем-нибудь останавливался и, доверительно наклоняясь к его уху, вкрадчивым шепотом начинал речь словами, которые тут же либо

шокировали, либо вызывали любопытство или, напротив, немедленное возмущение, однако произведенный эффект, казалось, его самого ничуть не интересовал, оценивать его должен был наблюдавший со стороны Кристиан, Прем же просто смиренно смотрел на жертву: «Слышь, мудилка! ты знаешь, что спрятавшиеся после войны фашисты снова вырвались из замка и форсировали реку? так по радио вчера вечером говорили, да и утром сегодня! ни фиги себе!», тут он умолкал, «какую реку?», непроизвольно спрашивала его жертва, «Кука-реку!», шептал он и исчезал так же тихо и незаметно, как появлялся; Кальман Чузди, стоявший рядом с папиросой в зубах, щурясь от дыма, глянул на меня с таким видом, словно смотрел на какой-то странный и не слишком приятный предмет, но вместе с тем строго, готовый следить за каждым моим движением; его умные голубые глаза с белесыми ресницами хитро поблескивали на лоснящемся, белом, слегка одутловатом лице, руки были в карманах, он зашел в туалет только покурить и побыть с ними вместе, папиросу, я знал, он пустит по кругу, они всегда делились друг с другом; своим строгим внимательным взглядом он, казалось, оберегал друзей, этим оберегающим взглядом он как бы с особой силой подчеркивал их спаянность, давал мне понять, что то, что сказал Кристиан, в принципе мог бы сказать любой из них, согласие между ними полное, и когда дверь наконец с шумом захлопнулась и ко мне повернулся сначала Смодич, затем Прем, а Кристиан, не меняя позы, пристально посмотрел мне в глаза, я понял, что здесь что-то непременно должно случиться.

Фраза была произнесена, и не было никакого сомнения, к кому она относилась, ее нельзя было отменить, их ржание только подтвердило ее.

И если бы Кристиан не посмотрел мне в глаза, и если при этом он не стоял бы в этой неподражаемо бесстыжей позе, я, наверное, сделал бы вид, что ничего не видел и ничего не слышал, и, чувствуя себя от него защищенным, просто смочил бы под краном губку и, не глядя на них лишний раз, вышел из туалета, однако открытость и вызывающая невинность его взгляда показались таким эмоциональным насилием, что я не мог против него не восстать, хотя я этого вовсе и не хотел, этого требовало чувство самоуважения, которое, похоже, действовало во мне совершенно независимо от моей воли и моих намерений: «Что ты сказал?» – встретившись с ним глазами, тихо спросил я спокойным голосом, и это спокойствие так потрясло меня, что меня охватил страх, и я сразу почувствовал его в своем голосе, зазвучавшем громко и хрипло: «Кто должен подохнуть?»

Он не ответил, и от этого над нами повисла зловещая тишина, и в тишине этой мне даже почудилось, что я наконец одержал над ним верх, я подошел ближе, уверенно удерживая его взгляд своим, однако тут произошло нечто, к чему я должен был быть готов, если бы момент не сделал меня столь самоуверенным: совершенно внезапно между нами появилось лицо Према, он разделил нас самой очаровательной своей улыбкой, и, продолжая смотреть в лицо Кристиану, я вынужден был уже видеть и глаза Према навывкате, его губы, которые он сладострастно облизывал кончиком языка, и слышать голос, шептавший: «стукач поганый, а ты знаешь, какой хуй у коня? такой же большой, как у Чузди!», а Кальман Чузди, отвалившись от косяка, добавил, но уже громким и хриплым голосом: «хуй Према тебе на полдник!» – сказал он, и хотя в этот момент по всем неписаным правилам они должны были громко заржать, чтобы как-то смягчить агрессивность совместного выступления, никто из них не смеялся.

Тишина еще больше сгустилась, и казалось, что в глубине ее повис общий страх, который делал бессмысленной любую попытку ловко вмешаться, парализовал превосходящие силы, в какой-то мере подкреплял и вместе с тем делал еще более сомнительным мое превосходство, и в этой тишине, отвернувшись к стене, чтобы привести в порядок свое хозяйство, наконец-то заговорил Кристиан: «Могли бы немножко поделикатней», сказал он, что поразило их, наверное, даже более, чем меня, и воцарилось безрадостное молчание.

Не зная, что делать дальше, я вдруг ощутил в руке губку, и это было единственное, что могло мне сейчас помочь, шагнуть к крану и смочить губку, в конце концов, я ведь за этим сюда и пришел.

Но, обернувшись, я понял, что убедить их, что это была единственная причина, по которой я здесь появился, едва ли получится: все четверо, замерев на месте, смотрели на меня в упор.

Мне нужно было как-то отсюда выбраться, положить этому конец.

Прошло еще много времени, пока ноги донесли меня все же до двери, я открыл ее, но не успела она за мной захлопнуться, как Смодич, без особенной убежденности в голосе, прорывал мне вслед: «Смотри, как бы тебе не расквасили рожу!» – но за это я на него не обиделся, да и не испугался, так как знал, что и эта фраза должна была прозвучать.

Конечно, я не могу утверждать, что позднее, когда мы молча и действительно почти неподвижно стояли в спортивном зале,

я думал только об этом и именно так, но это событие меня все-таки занимало, хотя было много всего, что отвлекало мое внимание, – воображаемый катафалк с гробом, неудобство стояния на одном месте, проглядывающая сквозь густо зарешеченные большие окна зимняя синева, в которой угадывалась уже весна, или тело покойника, которому одним движением вспарывают живот и грудь и извлекают из него внутренности, чтобы потом набить, чем, интересно? соломой, наверное, все же нельзя! обнаженное сердце, мягкие легкие, синюшные почки валялись на секционном столе посреди кишок, о чем думать мне было, опять-таки, неприятно, и все же мне доставляли радость и какое-то мрачное наслаждение мысли о том, о чем я не должен был и не хотел думать; поправление траурного этикета отвлекало меня от страха, который они во мне возбуждали, гораздо лучше, чем что бы то ни было; дело в том, что угрозы моих одноклассников все-таки возымели действие, и когда уже думалось, что все благополучно забыто, перед моими глазами вдруг возникла совершенно незначительная деталь, зеленая стена туалета, табачный дым, и ужас вернулся, а когда человек охвачен страхом и трепетом, то пытается идентифицировать страх с чем-то конкретным, так, я, например, представлял, что меня где-то подкараулят и избьют, я боялся побоев, превосходящей силы и поражения, хотя мое посрамление и фиаско можно было и без того считать уже фактом свершившимся; в течение нескольких дней я думал о способах самозащиты, в спортзале Прем стоял прямо передо мной, Кальман Чузди – у меня за спиной чуть справа, но я чувствовал и присутствие двух других, стоявших рядом друг с другом в самом заднем ряду, короче, я был в окружении, но в данный момент и они не могли шевельнуться, так что при полной моей беспомощности эта вынужденная неподвижность казалась защитой или, во всяком случае, благодатной отсрочкой, тем не менее взгляд мой то и дело невольно останавливался на шее Према, словно я опасался, что он вдруг развернется и врежет мне по лицу, и это будет сигнал, по которому остальные набросятся на меня.

Уже и по этой причине я не мог забыть тот момент, когда я почувствовал, что на меня смотрят; незабываемым его сделал страх.

Точнее сказать, я не знаю, как в точности это произошло, ведь ощущение, что на нас кто-то смотрит, или говорит, или просто думает о нас, относится к ощущениям самым загадочным и необъяснимым, и мы, не успев ничего осознать, оборачиваемся в направлении источника этого внимания и только потом понимаем, почему посмотрели туда, – потому что почувствовали, однако

вопрос остается вопросом, что мы почувствовали? похоже, что наши органы чувств действуют гораздо более тонко и естественно, чем сознание, или, более точно, наш разум может осваивать, всегда, разумеется, с опозданием и по этой причине неравномерно и неуверенно, только те материю и энергию, которые поставляют ему наши чувства, но и сверх того еще остается вопрос, что же это за сила, энергия или материя, которая, преодолевая даже весьма внушительные расстояния, способна оповещать наши органы чувств о чувствах других людей, и что это за сигналы, которые мы способны посылать и воспринимать безо всякого осознанного намерения? ведь при этом, как нам кажется, мы ничего не делаем, просто смотрим на другого человека, думаем о нем или еле слышно роняем небрежное замечание, и все-таки воздух вдруг чем-то полнится, утрачивает свою нейтральность, передает отчетливые сообщения, будь то дружественные или враждебные, и до нас, без каких-либо осознанных наших усилий, может дойти самая сложная информация; я даже не думаю, что она хотела привлечь к себе мое внимание, такое в этот момент трудно было себе представить по многим причинам, поэтому ее взгляд был столь же неосознанным, как и то, что я повернулся к ней, две неосознанности глядели в упор друг на друга, обнаженно, незащитно и с нескрываемой ненасытностью, хотя в эту минуту нам, конечно же, следовало контролировать каждое свое движение, наши учителя на сцене в связи с исключительностью траурного момента и сами стояли не шелохнувшись, не делали нам привычных своих замечаний, то есть не орали: «Что там за шорохи сзади!» или «Эй, щенок, прекрати вертеться, не то я врежу тебе так, что на соплях прокатишься!» – подобного рода предупреждения они были вынуждены заменить взглядами, что, естественно, делало тишину в зале гораздо более страшной и напряженной, чем если бы они грубо орали; подергиванием бровей или едва уловимым кивком они давали нам знать, что ни одно нарушение дисциплины, ни одно заметное шевеление, ни один смешок не останутся без последствий, все будет должным образом учтено; а ведь она была одной из самых неприметных в школе девочек, никогда и ничем не привлекала к себе внимание и, будучи слишком робкой, запуганной и, что главное, целомудренной, никогда не рискнула бы нарушить порядок или какие-то правила, поэтому невозможно было представить, чтобы она, может быть, ради развлечения, решила пофлиртовать со мной, я просто не мог понять, что означал ее взгляд.

Ибо взгляд этот, я понял это позднее, когда появилось время подумать, обращал на себя внимание именно потому, что питало его недетское какое-то чувство, доказательством чему служил тот факт, что в ответ на мой недоумевающий вопросительный взгляд лицо ее не прикрылось растерянной, разъясняющей все улыбкой, но оставалось неподвижным, она даже не моргала, в нем не было никакой нарочитой серьезности, оно было просто серьезно; «и какого рожна пялится на меня эта дурочка?» – спросил я себя, и, наверное, тот же вопрос задали ей и мои глаза, а еще мне на ум сразу пришел стишок, к которому в подобных двусмысленных ситуациях мы прибегали как к принятому в нашей среде способу самозащиты: «ну чего ты пялишься, пёрну – с ног повалишься!» – но и на это она не отреагировала, никаких перемен, хотя она не могла не заметить моей ухмылки, которая наверняка выдавала, о чем я подумал, ведь я чуть не рассмеялся; но зато я заметил перемену в себе, я не в силах был отвернуться и посерьезнел, казалось, будто я вдруг нырнул с бездумной поверхностности недавних тревог, и страхов, и утрированной ухмылки в бескрайнюю серую массу мягкой воды, где не было ничего явственно узнаваемого, кроме этого, чужого и все же знакомого, до пределов открытого, того редкого свойства взгляда, который наибольшее впечатление производит именно тем, что вообще не стремится произвести впечатление, в котором нет ничего привычно целесообразного, нет желания чего-то достичь, что-то предотвратить или сообщить, который стремится пользоваться глазами естественно и просто, по их прямому биологическому назначению – чтобы смотреть и видеть, почти отстраненно вбирать в себя зрелище, и это было так непривычно, а вместе с тем так похоже на то, чего я так тщетно желал в своих отношениях с Кристианом, всегда находившим способы от этого уклониться; так вот почему ее взгляд показался знакомым, хотя, несмотря на это, он вызывал у меня подозрения, потому что открытый взгляд, естественным образом вбирающий в себя созерцаемое, отличается лишь тончайшим оттенком от взгляда другого рода, когда мы, сосредоточившись на том, что происходит внутри нас, не замечаем, что наши глаза на кого-то смотрят, и поскольку внутреннее переживание кажется самым важным, то глаза не могут определиться, на чем сфокусировать внимание – на внешнем или на внутреннем объекте, и поэтому человеку, на которого мы якобы смотрим, мы невольно показываем отрешенное, потерявшее остроту черт лицо; но нет! на ее лице я не видел того глуповатого выражения, которое появляется в моменты самоуглубленности, лицо оставалось

изящно замкнутым и недоступным, но взгляд был – как у животного! и не было никаких сомнений, что смотрела она на меня, видела только меня, все внимание ее было направлено на меня и ни на кого другого.

160 Я видел ее между голов и плеч, будучи из числа самых маленьких, она стояла в первом ряду, я, ростом немного повыше, был в третьем, расстояние между нами было значительным, потому что мальчишки и девчонки стояли в спортзале отдельно, так что взгляду ее нужно было преодолеть не только широкую нейтральную полосу, разделявшую, в соответствии со школьными правилами, разнополюсы существа, по которой в других обстоятельствах под оглушительную барабанную дробь медленно и торжественно проносили обычно пионерское знамя, но, кроме того, ей приходилось еще оборачиваться, чуть ли не оглядываться назад, однако при этом казалось, что она совсем рядом, прямо передо мной, я не знаю, сколько потребовалось времени, чтобы все мои подзрения улетучились, ее близость я ощущал нутром, белки глаз, сверкающие на фоне по-зимнему бледной смугловатой кожи, почти болезненные темные тени под ее глазами, с настолько заметными жилками, что коричневатость кожи, казалось, переходила в голубизну, маленький ротик под тонким и длинным носом, с дерзкими бугорками на верхней губе, и лоб, так очаровавший меня позднее, с его ровной и чистой смуглостью летом и пятнистый зимою, когда проступают сквозь кожу бледные очертанья костей и округлые раковины висков кажутся еще более затененными, а скрепленные сзади белыми заколками волосы еще более темными; волосы у нее были непокорными, густыми и жесткими, как и брови, красиво выгнутые над глазами, но почти комично неодинаковые; так выглядела эта девчонка, точнее, такой я видел ее тогда, мне запомнилось именно это, да еще шея, вытягивающаяся из открытого ворота белой блузки, с какой-то мальчишеской силой склоняющаяся в осторожном полуобороте голову; за телом ее я стал наблюдать позднее, сейчас мне важны были только глаза и, возможно, их непосредственное окружение, лицо, но и это вскоре пропало, осталось лишь теплое и туманное ощущение, чем-то напоминающее обморок, ощущение, уверенность, что в этот момент она испытывает то же самое, ощущение бесповоротной неизменности этого состояния, которое невозможно оформить словами, потому что нет мысли, нет тела, нет даже взгляда, они размылись в неясные очертания, о том же, что их заменило, говорить невозможно.

Ее глаза были в моих глазах, мое лицо проникло в ее лицо, ее шея была моей шеей, и я чувствовал ею всю опасность, весь риск, которому она подвергается, оборачиваясь назад, ко мне, и казалось, даже смежение век и ресниц не способно было прервать непрерывность нашего слившегося воедино внимания, как будто мы вовсе и не моргали, отчего этот взгляд как бы выпал из времени.

Какой вызывающий взгляд, подумалось мне тогда, но сейчас, ковыряясь в своих воспоминаниях, я нахожу эту мысль смехотворной, ведь в сравнении с собеседованием глаз и лиц всякая внутренняя речь – это либо смешная самозащита, либо ложь, либо, в лучшем случае, заблуждение; потому что, естественно, мы смотрели друг другу в глаза уж никак не вызывающе.

Тем не менее нас не должно удивлять, что сильное чувство требует немедленного словесного выражения, ведь тот, приводимый в движение условными рефлексами механизм, который принято называть личностью, вынужден защищать себя наиболее активно именно в тех состояниях, когда в акте самоотдачи он утрачивает привычные рефлексы.

Я ничего не мог понять.

Не мог понять, что произошло, происходит и будет происходить со мной, не знал, к чему приведет нас это мощное, неодолимое, но в конечном счете совершенно необоснованное ощущение счастья, блаженство, с которым благодаря этому взгляду мы купались в чувствах друг друга; я снова начал бояться, теперь уже и ее, или того, что Прем именно в этот момент, когда я обрел уверенность, стремительно развернется и у нее на глазах врежет мне по лицу, в этом случае я должен буду ответить, чего, учитывая все вытекающие отсюда последствия, мне хотелось любой ценой избежать; а еще я не понимал, почему это происходит именно теперь и именно здесь, если возможностей для этого или чего-то подобного было более чем достаточно и в другое время, в других обстоятельствах; ведь отнюдь не какое-то необъяснимое чудо так приблизило ко мне ее лицо, утверждать, что реальное расстояние между нами уничтожила сила чувств, было бы лукавым преувеличением, нет, я знал ее достаточно хорошо, чтобы ощутить ее близость издали, поверх голов и плеч, я познакомился с ней не сегодня, хотя в этот момент она действительно казалась тем незнакомцем, которого мы выбираем из огромной толпы от чувства потерянности, потому что каким-то неведомым образом он представляется нам близким, дружественным, знакомым, человеком, которого мы где-то видели

и когда-то с ним разговаривали; так что я знал ее, мне были знакомы и тело ее, и лицо, и жесты, просто раньше, не знаю уж почему, этого знания я не замечал и не думал, что оно может иметь для меня какое-либо значение; хотя должен был бы заметить, ведь в течение шести лет мы учились с ней в одной школе, в параллельных классах, мои чувства, конечно, фиксировали все черты ее облика, но сдержанно, без эмоций, и, если хорошенько подумать, ни один более или менее заметный порыв этого тихого в своей целомудренности существа не проходил мимо моего внимания, ведь за все эти годы при такой непосредственной близости нам, несомненно, приходилось общаться по разным поводам и довольно тесно, в частности, потому, что она была ближайшей подругой двух других девочек, Хеди Сан и Майи Приходы, с которыми у меня были весьма необычные и характерные для меня отношения, сомнительные и двусмысленные, очень жаркие, нечто меньшее, чем любовь, но гораздо большее, чем дружба, она же была при них чем-то вроде придворной дамы, молчаливой тенью их красоты, посредницей между двумя соперницами, а в худшие для нее часы – камеристкой, прислугой, на что, сохраняя врожденное чувство справедливости и мудрое достоинство, она вроде бы никогда не жаловалась, оставаясь и в качестве служанки такой же нейтральной, как и тогда, когда они с утрированным усердием принимались ее любить как равную.

В тот летний послеполуденный час, когда с лесной тропинки она ступила на дорогу, подошвы ее красных сандалий еще раз другой проскрипели, после чего в вибрирующей от жары тишине повис ее молчаливый, ищущий встречи с моими глазами взгляд, я же, как каждый день в этот час, стоял у ограды, в кустах, неизвестно на что надеясь, и страхась неизвестно чего, и чувствуя, что что-то должно случиться, что сейчас, именно в эту минуту, что-то должно произойти, но что именно, этого я не знал, потому что стоило ей появиться, как все мои, даже самые безобидные, фантазии становились неосуществимыми; я только что проглотил последний кусок бутерброда и, держась одной рукой за штакетник, другую поднес к бедру, собираясь вытереть измазанную жиром ладонь, когда наши взгляды сошлись и уже не могли расстаться, мы долго, не шевелясь, не мигая, смотрели в глаза друг другу, как прежде в спортзале, только тогда, сами того не ведая, мы оба были защищены расстоянием и людской массой, а теперь были беззащитными перед уже углубившейся страстью, беспомощными; но так же, как и тогда, ситуация была необъяснимой своей нечаянностью, ведь так сблизиться взглядами, лицами, жестами мы могли бы ког-

да угодно и до того, и позднее, но этого не было, хотя мы постоянно друг за другом следили, искали возможность, пусть тайком, незаметно и осторожно, смотреть друг на друга, но когда выдавалась такая возможность, мы, казалось, умышленно разрушали ее, спасались бегством, смотрели в сторону, чтобы потом быстро обернуться, убедиться, чувствует ли еще другой ту же самую страсть, ту же самую боль; однажды она даже бросилась наутек от меня и, на бегу оглянувшись, споткнулась и грохнулась наземь, но быстро вскочила и помчалась дальше, причем в бегстве своем она показала мне столь изящной и ловкой, что я не мог даже от души посмеяться над ней; но теперь мне снова вспомнился тот зловещий траурный день, хотя многое, очень многое с тех пор изменилось хотя бы уже потому, что наши отношения, без того, чтобы мы кого-либо посвящали в них, естественно, не остались в тайне, стали предметом толков, и пару недель спустя все уже говорили о том, что Ливи Шюли влюбилась в меня.

Догадаться об этом, вообще-то, было несложно, ведь нас разоблачили уже тогда, в спортзале, когда Ливия незаметно отвернулась, ее взгляд был еще со мной, я его видел, хотя смотрела она уже не на меня, она сама положила конец мгновению, начала которого я даже не мог вспомнить; сперва она отвела глаза, как будто это было недоразумением и ей хотелось посмотреть не на меня, а скорее на Према, и в том, как она отняла у меня свой взгляд, не скрою, было что-то кокетливое, а затем с серьезной задумчивостью отвернула и голову, но в этом движении, при всем изяществе, было столько манерности, театральности! как тут было стоять, покорно и неподвижно, как того требовал траурный ритуал, как будто ничего не произошло, как будто это было просто случайностью или, может быть, заблуждением, между тем как она, отвернувшись, тем самым только усилила воздействие того взгляда! но что было делать, отвернулся и я, мне было стыдно своей беззащитности, так как я чувствовал, что должен все-таки оглянуться, чувствовал, что меня лишили чего-то важного, о чем я до этого даже не думал, что это действительно может быть значимым, точнее, важным казалось не то, что я получил, а то, что полученное можно так просто отнять, и теперь каждое мгновение, проведенное без ее взгляда, было как бы потраченным зря, пустым и невыносимым временем, временем, в котором меня не существовало; ее глаза, прежде всего глаза, но также и губы, лоб, оставались со мной, и я должен был видеть их, потому что фантазии, грезы не могут восполнить видимого присутствия, без которого все как бы отступало в некий полумрак,

неприятный, гнетущий и зыбкий; но нет, я все же не оборачивался, что стоило мне неимоверных усилий, постепенно у меня онемело лицо, затекли шея, плечи и даже руки, я не хотел оборачиваться, а попытка чего-то не сделать всегда становится испытанием тяжелым и безнадежным, если натягивать струну бесконечно, она обязательно лопнет; чем дольше я так стоял, потерянный, тем сильнее и мучительнее чувствовал это странное и, пожалуй, ни с чем не сравнимое ощущение, казалось, что тело мое, распухнув, поглотило другое тело, что растянувшаяся кожа покрывает уже не только меня и что и мозг мой уже мыслит мыслями другого, и чем мучительнее делалось это состояние, ищущее какого-то выхода или удовлетворения, тем сильнее становилась моя обида, злость, ведь при этом я совершенно ясно и однозначно понимал реальное положение дел, истинное соотношение сил и, трезво взвешивая все шансы, был вынужден смириться с тем, что преимущество, увы, не на моей стороне, ведь это она приковала к себе мое внимание, а затем меня бросила, поэтому ни при каких обстоятельствах я не должен сейчас оборачиваться, в противном случае выяснится, что она сильнее, что она победила, что опять кто-то оказался сильнее меня, что кто-то опять надо мною господствует, что я подчинен кому-то – и не кому-нибудь, а этой служанке, этой мымре, этой прислуге, и эти мои слова, повторяемые со злостью, были недалеко от истины, поскольку при Хеди и Майе она, похоже, играла такую же роль, какую при Кристиане и Кальмане Чузди играл стоявший передо мной Прем; чувства, питаемые к ним обоим смешались, и я поклялся, что даже если она всю оставшуюся жизнь будет смотреть только на меня, я никогда не брошу на нее ни единого взгляда, так поступать со мной она больше не будет, пусть таращится на меня хоть до посинения, пусть восторгается, пусть будет хоть кто-то, кто провожает глазами меня и только меня, а я буду делать вид, что это меня ни капельки не волнует; но когда я все же не удержался и оглянулся, меня вынудило это сделать ее светящееся лицо, ее притягивающий, как ничто, взгляд, опять она смотрит, на что? ну раз уж она на меня снова смотрит, то, выдержав какое-то время, я тоже могу позволить себе посмотреть и быстро отвести взгляд, и пусть потом мучается, пусть ей не хватает меня, пусть прочувствует, как это тяжело, когда от тебя отворачиваются; но это была не она, она на меня вообще не смотрела, опять меня обманули чувства, то была Хеди, которая, стоя в одном из задних рядов, наверняка давно уже наблюдала за нами обоими, никаких сомнений, она все видела, потому и скривилась в усмешке, снисходительной, милой и все же с оттенком жестокости.

Последний урок отменили, и в полдень всех отпустили домой.

Пока мы строились перед выходом, за окном раздался колокольный звон. Сначала сверкающую синевой тишину нарушили четыре удара, потом послышался глубокий раскатистый гул большого колокола, к нему подключился малый, и они оба гудели, звенели, как будто ничего не случилось, а просто был полдень обычного дня, точно такого же, как любой другой.

Мне не хотелось идти домой с кем-то из одноклассников, не хотелось ни с кем общаться, поэтому на площадке я вышел из строя и, пока остальные с воплями и теперь не сдерживаемые уже дисциплиной мчались по лестнице, чтобы потом, словно сгрудившееся стадо, протиснуться через узкий дверной проем на волю, где можно было наконец свободно вздохнуть, словно впервые в жизни набрав в грудь воздуха, и где истерические вопли учителей были уже вовсе не так страшны, я поднялся на третий этаж, почему Кристиан и подумал, наверное, что я направляюсь в учительскую, чтобы настучать на него; но я, улучив момент, осторожно, чтобы никто не заметил, скользнул дальше, от площадки третьего этажа наверх вела узкая, пыльная лестница, я часто видел потом во сне, как я поднимаюсь по этой пыльной, редко используемой лестнице, которую вряд ли когда-либо убрали, я – единственный, кто по этой лестнице поднимается, и во сне это приобретает особенное значение, потому что при каждом шаге в воздух мягко взлетает, чтобы так же лениво потом осесть, густая пыль; я оглядываюсь назад, но не вижу своих следов, прислушиваюсь, но ничего не слышу, все тихо, значит, путь свободен, никто меня не заметил, хотя я знаю, что в любую минуту меня могут накрыть, но сколько бы я ни оглядывался по сторонам, как бы я ни был уверен, что меня не заметили, мне все же кажется, что кто-то следит за мной, и этот кто-то, возможно, я сам, не способный скрыть от себя свои маленькие секреты; я с трепетом достигаю чердачной двери, которая, конечно, заперта – черная железная дверь, которая всегда оказывалась запертой, но я всякий раз все же пытался проверить, не оставили ли ее случайно открытой.

Это место было последним прибежищем, где человек, повинувшись глубинным инстинктам, пытается скрыться, подобное место было и в нашем саду, такое же темное, но там свет застил взбирающийся по тенистым каштанам и высоким кустам барвинок – интересно было наблюдать за их борьбой, всякий раз, когда кусты выбрасывали вверх новые побеги, барвинок, словно только того и ждал, пускался за ними вслед, и к осени все новые побеги были

густо опутаны его стеблями, здесь же, на чердаке, были хаотично нагромождены старые парты, шкафы, стулья, школьные доски, трухлявые кафедры и конторки; там, в саду, сохранились удушливые следы моих одиноких грез да еще былых игр с Кальманом, которые мне казались тогда греховными, а здесь стояла нейтральная тишина чужой, но знакомой мебели, через которую, нагибаясь, протискиваясь, скользя между ребер и выступов, замирая и в страхе хватаясь за голову, когда что-то скрипнет, треснет и вся куча мебели, кажется, вот-вот обрушится, я пробирался в свою святая святых – к старой кожаной кушетке, поставленной на попа, сиденьем к стене; я протискивался за кушетку, прижимавшую меня к стене сиденьем, было темно, кожа была всегда прохладной, я прикидал к ней и согревал ее своим телом.

Закрыв глаза, я стал думать о том, что должен убить себя.

Именно так.

Ничего неприятного в этой мысли не было, скорее напротив.

Приду домой, взломаю ящик отцова письменного стола, пойду в сад, в свое убежище, и сделаю это.

Я видел свой жест, видел, как я это сделал.

Вставил в рот дуло револьвера и спустил курок.

Мысль о том, что после этого со мной уже ничего не случится, резким и все же каким-то благодатным светом осветила все, что произошло.

Чтобы я мог видеть.

И мне показалось, что я впервые, просто и без растроганности, увидел, что представляет собой моя жизнь.

Все, что было так больно, отдалось болью в груди, болью в шее и даже в макушке, да так, будто на нее натянули шапку, сделанную из боли, все тело содрогалось от боли, не имеющей ничего общего с упоительной жалостью к самому себе, и боль, которая присутствует в теле и все же не связана с какими-либо его частями, потому что способна блуждать в нем, с каждым приступом делается все сильнее, каждая предыдущая боль кажется пустяковой по сравнению с последующей, становясь настолько невыносимой, что я не могу терпеть, мне хочется постоянно и непрерывно кричать, но этого я не смею, и оттого она делается поистине невыносимой.

Мысль о том, что я не совсем нормальный, что я, пусть не в той форме, но все же не менее болен, чем моя сестренка, что, больше того, только с нею и только на почве болезни мы, возможно, можем найти что-то общее, успокаивающее нас обоих, была для меня не нова, новым было другое открытие – что я раз и навсегда могу

покончить с мучительными попытками с кем-то отождествиться и кому-либо уподобиться, ведь все равно они бесполезны, я никому не смогу уподобиться так, чтобы отождествиться с ним, а в отличии, в своей непохожести, невзирая на все усилия, я всегда буду одинок, и эта моя непохожесть, или не знаю, как точно ее назвать, никому не нужна, даже мне самому, я ненавижу себя за это, потому что любой своей попыткой прорваться, отождествиться с кем-то и вместе с тем заманить другого в ту сферу, которая принадлежит только мне, я только обращаю внимание на эту несхожесть, на эту болезнь, которую нужно убить, попыткой соблазнения я лишь выдаю то, о чем лучше молчать, о чем я не должен ни с кем говорить, и именно здесь, теперь я впервые пришел к тому, что эту зияющую неодолимую пропасть во мне я могу уничтожить только вместе с самим собой.

Она больше не поворачивалась в мою сторону.

Мне же казалось, что только ее взгляд еще может спасти меня.

Если бы только он мог длиться нескончаемо, заполняя собою все время, ведь казалось, что этот взгляд, его всепоглощающая открытость, то, как она на меня смотрит, и то, как я смотрю, все это могло разъяснить мои неурядицы, мои неутолимые желания, нечаянные грехи, мою бесконечную ложь, ведь для того, чтобы защитить себя, мне постоянно приходилось лгать, лгать мелко, смешно и при этом бояться разоблачения, я страдал и не видел никаких способов избавления от страданий; ведь мало того, что мне приходилось отказываться от всего, что могло бы доставить мне радость, даже этого было мало; все, чего мне хотелось, оказывалось неосуществимым, и я должен был жить, словно бы постоянно, как страшный груз, таща на себе чуждое мне существо и скрывая под ним того, кем я был в действительности; в своем беспредельном отчаянии кое-чем из всего этого я пытался поделиться со своей матерью, но во мне скопилось так много всего, что рассказывать было не о чем, а с другой стороны, я и с ней не мог быть вполне открытым, потому что у нее была масса претензий ко мне, и каждая из этих претензий так или иначе была связана как раз с теми тайнами, которые я, хотя бы из чувства сострадания, должен был скрывать от мира, и чувство это казалось тем более уместным, что, похоже, она, несмотря на все свое раздражение, недовольство мною, на злость и порой даже отвращение, страстно желала видеть в своем сыне некий идеал совершенства и потому относилась ко мне, как никто другой, строго, а то и жестоко, что смягчало и делало для меня более или менее приемлемым то обстоятельство, что

с матерью, точно так же, как и с сестрой, у нас тоже был общий язык, с помощью которого можно было избежать любого кажущегося бессмысленным слова, то был язык прикосновений, иногда – язык в прямом смысле, язык телесного тепла, телесного веса, и если выше я говорил о своей болезни, то рискну высказать предположение, что, возможно, каким-то таинственным образом в меня вселилась ее болезнь, а также болезнь сестренки, эти два очень разных, но внутри меня все же тесно связанных недуга, что, возможно, было попросту следствием полной душевной неопределенности и неуравновешенности моего непосредственного окружения, физическим проявлением того, что все вокруг меня были больны, хотя меня это обстоятельство довольно долго ничуть не тревожило, я принимал его как естественное условие моей жизни, больше того, болезнь моей матери казалась мне даже красивой, она мне нравилась, мать, казалось, заражала меня ощущением прелести болезни, когда я, держа ее руку в своей или поглаживая ладонью ее запястье, сидел на полу у ее постели, упрятав голову в материны колени или просто опустив ее на край кровати, и вдыхал вечно исходящий от нее, сколько бы ни проветривали ее комнату, запах лихорадочно жаркого тела, запах пота, лекарств, насквозь пропитавший ее шелковую ночную рубашку, прислушивался к ее дыханию, стараясь не потревожить ее забытья между бодрствованием и полусном, пока сам не перенимал необычный, вяло подрагивающий ритм ее дыхания, состоявшего из быстрых подъемов и медленных спадов; что касается запаха, то к нему я привык настолько, что он меня не отталкивал; бывало, она заговаривала со мной, тихим голосом, слегка приоткрыв и снова смежив глаза, «ты красивый», говорила она, и всегда поражала меня, точно так же, как и ее явно трогало мое присутствие; меня поражал ее вид, ее утопающее в белых подушках алебастровое лицо, густые, аккуратно разложенные каштановые волосы с серебриющимися нитями над висками, гладко выпуклый лоб, тонкий нос и, прежде всего, тяжелые веки с длинными ресницами, которые она медленно, одолевая дурман, на долю секунды приподнимала, обнажая большие кристально-зеленые глаза, смотревшие на меня таким чистым, вдумчивым и напряженным взглядом, как будто болезнь ее была всего лишь недоразумением, видимостью, игрой, а когда она опускала ресницы и глаза вновь скрывались под расчерченными синеватыми жилками, чуть коричневатыми веками, то почему-то, по какой-то мне не понятной причине опять становилась больной, но взгляд все же продолжал светиться на изможденном лице, а губы трогала адресованная мне улыбка, совсем

слабая, почти незаметная, «ну, рассказывай!», говорила она, добавляя обычно: «рассказывай, что стряслось», и, поскольку я ей не отвечал, потому что не мог или не хотел ответить, она продолжала сама: «Рассказать тебе, о чем я думала? твоя сестренка нормально поела? во всяком случае я не слышала, чтобы бабушка на нее кричала! ты, сынок, не задерживайся у меня сегодня, я совсем обесилела, наверное, потому и вспомнила этот луг, я не спала, я была на широком, огромном-огромном лугу, было очень красиво, и как раз задумалась, откуда он мне знаком, этот луг, когда ты вошел, я точно знаю, что видела его», она умолкла, чтобы перевести дыхание, и я наблюдал, как поднимается на ее груди одеяло, поднимается и опускается, «в противном случае я, наверное, никогда бы не вспомнила этот луг, потому что пока человек живет, новые образы постоянно вытесняют из памяти старые, но теперь мне кажется, будто со мной ничего не происходило, никогда, хотя было ведь много чего, ты знаешь, я ведь тебе рассказывала, и все же как будто все это происходило не со мной, все это просто картины, и я тоже на них присутствую, но почему-то более важным, моим, более на меня похожим является то, как я лежу здесь, в этой постели, и эта картина уже не меняется, я лежу все так же и если смотрю в окно, то вижу одно и то же, то смеркается, то светает, всегда та же картина, сама же тем временем витаю свободно в былых картинах, потому что нет новых, способных этому помешать», она вздохнула, и поднимающийся из глубины воздух сбил ровный ритм ее слов: «я даже не знаю, зачем я тебе все это рассказываю, ты, наверное, это поймешь, но все же я чувствую какие-то угрызения, что говорю о таких вещах ребенку, философствую, я думаю, это смешно, но я и правда уверена, что нет в этом ничего печального, или трагического, или невыносимого, о чем тебе не положено знать, просто все это мне казалось естественным, и поэтому я считала, что я должна это сделать», она рассмеялась и на мгновение приоткрыла глаза, взяла меня за руку, словно бы призывая всегда со спокойной совестью делать то, что я сам считаю естественным, «а теперь помолчим, я устала, меня замучило это воспоминание, о котором я хотела тебе рассказать, но не смогла, как ты видишь, но ты ведь и сам очень мало рассказываешь о себе, сколько я тебя ни прошу, расскажи что-нибудь, расскажи, что с тобой происходит, но я хорошо понимаю, что ты и хотел бы мне рассказать, но не можешь, что ты должен молчать, и я даже знаю, о чем ты молчишь, потому что единственное, в чем мы можем быть уверенными, это то, что с нами происходят одни и те же вещи, все то же самое, происходит то, что должно

происходить, и поэтому мы испытываем те же самые чувства, только картины разные, так что мы хорошо понимаем друг друга, даже если ни о чем не рассказываем. Это нормально. А теперь помолчим, хорошо? И иди по своим делам. Хорошо?»

Конечно, уйти от нее было не так просто, да я и не думал, что она обрадовалась бы, если я, подчинившись ее призыву, ушел бы, ее молчание скорее усиливало напряжение между нами, чего она, как мне показалось, как раз и хотела, она повторяла последнюю фразу: «иди, сынок, иди по своим делам, хорошо?», а сама прижимала меня к себе, как бы удерживая под видом прощальных объятий, стараясь оттянуть момент, когда я, инстинктивно спасая остатки душевного равновесия, действительно встану и пошатываясь, но все-таки с облегчением ретируюсь в другую комнату, но делать этого было нельзя, не рискуя испортить все, момент можно было растянуть: я чувствовал, как от ее жаркого тела разгорячилось мое дыхание, и от этого общего жара казалось, будто я тоже впал в горячку, я старался устроиться так, чтобы касаться губами ее обнаженной руки, где-нибудь в изгибе локтя, где кожа была особенно нежной и мягкой, или шеи, где, напротив, мой рот утыкался в дряблое переплетение сухожилий и мускулов, делая вид, что эти касания совершенно случайны, я приоткрывал рот, ощущая внутренней стороной губ и кончиком языка вкус и запах кожи.

Она не притворствовалась, будто не замечает этих любовных касаний, но и не собиралась разоблачать мои мелкие хитрости, не принимала их за простодушные знаки детской привязанности и не делала вид, будто ей это неприятно, не пряталась за болезнь, словно только физическая слабость делала возможными и необходимыми эти опасные крайности взаимной нежности, нет, она отвечала мне просто и естественно, мягко целуя меня в ухо, в шею, в волосы, куда придется, а однажды, уткнувшись головой в мои волосы, она заметила, что от них несет маленьким кобелем, целой школой маленьких кобелей, и что запах этот ей очень даже нравится, запах, которого я раньше не замечал, но с тех пор стал принимать, пытаюсь понять причину ее мимолетного удовольствия, и все это выглядело так, словно она хотела преподать мне наглядный урок непосредственности, показать естественные границы естественности, и даже когда она прибегла к словам, чтобы прервать, несколько охладить упоение нашей физической близостью, то и это было столь же естественным и уместным, как и сама близость; отнюдь не защитой или протестом, а скорее разумной попыткой перенаправить эмоции, не имевшие другого выхода.

«Ну полно!», сказала она чуть громче и рассмеялась над тем, что мы так далеко зашли. «Пожалуй, я все-таки расскажу о том, о чем не могла до этого, так слушай: рассказать я хотела о том, что на этом лугу я была не одна; помнится, мы лежали в высокой траве, светило солнце, небо было почти совсем ясное, с легкими неподвижными летними облачками, жужжали пчелы, осы, жуки, но я не сказала бы, что все было так уж приятно, иногда на меня садилась муха, и тщетно я дергала рукой или ногой, она улетала и тут же садилась обратно, в полуденный зной мухи ведут себя очень нагло, а был как раз полдень, и обрати внимание, что эти твари как будто нарочно пытаются нам помешать наслаждаться тем, чем нам хочется наслаждаться, например тем, что все вокруг так прекрасно! не дают, может быть, просто по той причине, что сами хотят чем-то наслаждаться, к примеру сказать, твоей кожей, но я опять говорю тебе не о том, о чем собиралась, да, я чувствую, что эта тема не для ребенка, тем более не для тебя, потому что вообще-то об этом следовало бы молчать, короче, мы были на том лугу втроем, и действительно был такой луг, мы приплыли туда на лодке, причалив в заранее оговоренном месте, где должны были встретиться с остальными, но мы были первыми и развалились в высокой траве, достаточно далеко друг от друга, двое мужчин и я, и когда ты вошел, разбудив меня, точнее, не разбудив, а скорей отрезвив меня, потому что я была совершенно опьянена той картиной, я смотрела на всех нас сверху, как бывает во сне, и видела, как безумно, как умопомрачительно все красиво, все вокруг, весь мир! а ведь мне тогда все казалось адом, смрадным болотом, и вовсе не из-за мух, а потому что мы не могли решить, кому я принадлежу».

«А отец?»

«Да, он тоже был там».

«Ну и что ты решила?»

«Я не стала решать».

Казалось, ей было еще что сказать, но она не могла, не могла сказать больше ни слова, настолько неожиданным было ее молчание.

Я тоже не мог ее ни о чем расспрашивать, мы напряглись, как лежащие друг на друге поленья, или как два зверька, охотящихся за добычей, в момент, когда еще неизвестно, кому добыча достанется.

Сказать больше она не могла, потому что переступила бы в этом случае все мыслимые границы, к которым мы, сами того не желая, и так приблизились, а то и фактически заступили за них.

Она не могла сказать больше хотя бы из снисходительности, понимая, что большего я не выдержу, и поэтому улыбнулась мне, красивой, спокойной, предназначенной только мне улыбкой, но так, словно эта улыбка не была частью чего-то длительного, чего-то, имеющего свое начало и свой представимый конец, я смотрел на нее, как смотрят на фотографию улыбающегося лица из прошлого, и все же этот момент значил гораздо больше, чем просто зрелище или какие-то мысли, которые мог пробудить, а затем усыпить во мне этот застывший снимок, нет, я должен сказать, каким бы сентиментальным преувеличением это ни показалось, что момент этот был озарением или, во всяком случае, тем, что, за неимением лучшего слова, мы так называем: я видел ее лицо, ее обнаженную шею, видел складки на простыне, но каждая, даже самая маленькая деталь этого зрелища стала частью какой-то невероятно богатой истории, это зрелище было насыщено чувствами и видениями прошлого, о существовании которых я даже не догадывался, какими-то неуловимыми связями, которые показались вдруг все-таки уловимыми, хотя и неописуемыми последовательностью слов, потому что это картина, а не событие, как та сцена, когда я стою перед закрытой дверью ванной, поздний вечер, темно, я хочу войти, но не смею, так как прекрасно знаю: то, что мне хочется видеть, запретно, причем запретна не их нагота, которую они никогда намеренно от меня не скрывали, точнее, запретна, конечно, ибо она всегда представлялось мне всего лишь самым поверхностным слоем тайны, ведь когда мне случается видеть их обнаженными, как бы естественно они ни вели себя, это я упиваюсь зрелищем их наготы, это я смущен и обескуражен, это я пытаюсь всякий раз, и с каждым разом все больше, сладостное переживание подглядывания, стоит мне только увидеть те части их тела, которые обыкновенно скрыты, их тела всегда новые, всегда другие, всегда непривычные, но еще более сладостно ранит меня, еще больше оскорбляет мою целомудренность и разжигает ревность к их наготы то обстоятельство, что демонстрируемая ими естественность не более чем благой обман, мошенническая игра, ведь я чувствую, что два этих неприкрытых тела, неважно, вижу ли я их по отдельности или вместе, существуют исключительно друг для друга, но вовсе не для меня, что лишь друг для друга они естественны и я в любом случае из их эксклюзивной компании исключен, независимо от того, ненавидят ли они в данный момент друг друга, к примеру не разговаривают целыми днями, делая вид, будто они друг для друга не существуют, или, напротив, любят,

и тогда каждое случайное прикосновение, мимолетный взгляд, каждый взрыв неожиданного смеха, каждая понимающая улыбка заряжены такой бесконечной нежностью, которой нет до меня никакого дела, которая избегает меня, списывает со счетов, даже если они, как кажется, именно в такие моменты любят меня больше всего, любят каким-то излишком переполняющей их обоих страсти, что не менее унижительно, чем, в другие моменты, полное ко мне невнимание, когда я для них помеха, когда я лишний; однако эта ее неожиданно прозвучавшая и в двусмысленности своей открывавшая столько всяких возможностей последняя фраза, после которой недолгий наш диалог завершился напряженным молчанием, казалось, высветила те самые шероховатости в их отношениях, которые меня волнуют, она, казалось, посвятила меня в ту тайну, которую я бессознательно всегда пытался разгадать, мечтая о том, чтобы как-нибудь сделать их отношения не столь исключительными, и надеясь каким-то образом все же встрять в их компанию; из ванной комнаты до меня доносились всплески воды, приглушенный разговор, смешки моей матери, и именно от этого смеха, совершенно мне незнакомо, мне почудилось – и ощущение это было головокружительным, – что однажды я точно так же, в пижаме, уже стоял в темноте перед дверью ванной, казалось, будто с тех пор я так и стою здесь и все, что произошло, не что иное, как зыбкий сон, начавшийся в какое-то точно не определимое время и вот теперь заканчивавшийся пробуждением, я безуспешно пытался вспомнить начало этого сна, когда из ванной каким-то совершенно иным, более низким, более энергичным, но не утратившим визгливой игривости голосом мать крикнула: «Кто там во тьме скрывается за дверью?» – я, конечно, молчал, может быть, присутствие мое выдал скрип паркета? но ведь я так старался, чтоб он не скрипнул! или, может, физическое присутствие бывает столь сильным, что ощущается даже сквозь двери? «Это ты, дорогой? кто стучится в дверь мою? заходи, заходи, кто б ты ни был!», ответить я был не в силах, но она, похоже, уже и не ожидала ответа, «ну что ж ты молчишь, заходи!» – сказала она чуть ли не напевая, при этом оба прыснули со смеху, вода в ванне журчала, лилась и булькала, потом выплеснулась на каменный пол, я не мог ни уйти, ни что-то сказать, ни войти, но тут дверь распахнулась.

То было не ошибкой и не обманом чувств, когда мне минуту назад показалось, что однажды я уже стоял вот так перед дверью, незаконченная фраза матери вызвала в сознании какой-то обрывок еще более ранней картины, это была лишь вспышка: только

ноги и подушка на голове, но и этого было достаточно, чтобы пропасть, в которую я заглянул, стала еще более притягательной и бездонной, обрывок, который, пока я стоял у двери ванной, я мог вспомнить лишь чувствами, вслепую пытаюсь нащупать след отложившегося в памяти и реально хранившегося там впечатления, но все тщетно, хотя впечатление было точно привязано к месту, времени и испытанным мною тогда ощущениям; и вот теперь оно неожиданно и невольно встало передо мной, одна картина словно бы заглядывала в другую, образы наготы явно и демонстративно выказывали свою связь; когда отец, перегнувшись через край ванны, открыл мне дверь и моя изумленная физиономия очутилась в большом запотевшем зеркале, его фигура, стоявшая в ванне с протянутой к дверной ручке рукой, показалась мне великанской, спина его красным пятном отражалась в расчерченном водяными струйками зеркале, мое лицо и его спина, мать сидела в воде, потирая покрытые пенистой шапкой волосы, она улыбалась мне, щуря глаза, которые явно щипал шампунь, потом, зажмурившись, быстро нырнула, чтобы прополоскать волосы под водой; я вспомнил, что ощущал тогда ту же тупую беспомощность, что и теперь, мне казалось, будто пижама была единственным, что служило опорой беззащитному перед обнаженными чувствами телу, пижама была чем-то более реальным, чем я сам, я тоже двинулся тогда на звук, отдаленный, глухой, едва слышимый и все-таки почему-то очень пронзительный, была ночь, и я встал по малой нужде, когда обратил внимание на этот мне не знакомый, но все же ничуть не пугающий звук; холодная лунная зимняя ночь, когда свет через окна падает на пол жесткими подрагивающими прямоугольниками, а тени столь мягки и глубоки, что кажутся нераздельно слитыми со знакомыми предметами, и ты не смеешь переступить грань света и тьмы; звук доносился из прихожей, где было зеркало, в котором я на мгновение увидел свое жутко синее от лунного света лицо, кто-то не то кричал, не то плакал, но в прихожей не было никого, значит, он шел из кухни, и я, в пьяной дреме, шлепая босыми ногами по плиткам пола, двинулся дальше, опять никого, в кухне было темно, под отворенной мной дверью что-то прошуршало, и вновь тишина, и все же мне чувствовалось или мнилось молчание живых тел, как будто здесь было что-то еще, кроме мебели, одурманенной мертвенным светом, словно бы тишина была не только моим затаенным дыханием, и тогда из-за двери комнаты для прислуги, почти настежь открытой, слышались глухие хриплые возгласы, сопровождаемые

размеренным скрипом и содроганием кровати, и показалось, будто сквозь эти хрипы, углубляющиеся с каждым скрипом, толчком, содроганием, прорываются все более пронзительные и высокие, то ли плачущие, то ли восторженные стоны, те звуки, которые я слышал, которые меня привели сюда и которые, стало быть, не были плодом воображения; стоило сделать лишь один шаг, чтобы все увидеть в открытую дверь, а увидеть я желал страстно! однако казалось, добраться до этой чертовой двери мне никогда не удастся, она все еще была далеко от меня, но голос, с его глубиной, высотой, с его ритмом, уже так овладел мной, что я даже не заметил, как мне наконец удалось сделать вожаделенный шаг и увидеть то, что до этого я только слышал.

175

Конечно, отец казался мне великаном не потому, что он был такой уж огромный, на самом деле он был сухощавый и стройный, и именно неточность в употреблении слова «великан», только что мною допущенная, раскрывает мне самому, с какими мощными комплексами, с каким мучительным, десятилетиями длящимся самообманом приходится мне бороться, когда заходит речь о вещах, говорить о которых не подобает или не принято, но коль скоро они неразрывно связаны с так называемым внутренним развитием ребенка, а этим ребенком был я, то обойти их никак невозможно, а потому сделаем глубокий вдох и, пока голос наш вновь не пресекся, быстро расскажем о том, что совершенно независимо от этого очень раннего впечатления, которое, к счастью или несчастью, на какое-то время выпало у меня из памяти и снова всплыло, неожиданно и невольно, лишь после рассказа матери о том луге, да еще как всплыло! тело отца в ножницах женских ног на кровати в комнате для прислуги, крепко хранимая тайна, которую я не могу выдать матери даже сейчас; лица я не видел, но видел, что стоны страсти и боли были приглушены, потому что отец, растопылив пальцы, притиснул к ее голове подушку, но ноги, обвинившие его бедра, все же выдавали, что это не моя мать, да и с какой бы стати? именно здесь? мы можем безошибочно узнать человека по бедрам, по икрам, по кривизне подъема точно так же, как узнаем по носу, глазам или рту, в конечном счете меня поразило не то, что ноги принадлежат не ей и что из-под подушки доносится не ее голос, я ведь знал, кто живет у нас в комнате для прислуги, скорее меня потрясло то, что я словно бы ожидал, был уверен, что то будут ноги матери, причем не сказать, чтобы я имел хоть малейшее представление о том, что между ними происходило, но сознание,

как бы авансом, все же слегка рассеяло детскую неосведомленность, подсказав, что в такой непосредственной близости к взаимному и совместному наслаждению мой отец не мог быть ни с кем, кроме матери, а стало быть, то, что я вижу перед собой, каким бы радостным и поэтому для ребенка более чем естественным это ни было, все же направлено против меня; однако все это, видимо, не было так уж прямо связано с ощущением «великанства» отца, скорее всего, в тот момент оно возникло у меня от того, как отец, высунувшись из ванны, чтобы открыть мне дверь, с привычным своим безулыбчивым и лишенным всякого юмора видом навис надо мной, одновременно преграждая мне путь своим обнаженным, влажно сверкающим в ярком освещении торсом, так что перед моим взором, можно сказать, перед самым носом оказалась самая затененная часть его тела, пах, и при этом я знал, замечал и чувствовал, что, как и всегда, ни один мой неосторожный взгляд, ни одно движение не укроются от его внимания; его мокрые волосы прилипли к черепу, оставляя открытым лоб, и взгляд его, обычно чуть заслоненный, смягченный ниспадающими прядями прямых светлых волос, которые делали его лицо таким вкрадчиво привлекательным, почти красивым, хотя стальные голубые глаза и придавали ему строгий вид, но эта челка густых волос, которую он вообще-то зачесывал назад, постоянно падая на лоб, сообщала его глазам несколько бесшабашный, я бы сказал, мальчишеский блеск; однако теперь этот взгляд полностью доминировал на его лице, открытый, внимательный, холодный и угрожающий, как будто бы постоянно чего-то требующий от мира – казалось, он не надо мной возвышался в эту минуту, а всегда возвышался на некоей недоступной мне высоте, на пьедестале неколебимой самоуверенности, с которого можно позволить себе снисходительно наблюдать за тем, как колупаются все прочие смертные в своих мелких желаниях, инстинктах и сопливых чувствах, за которыми он, разумеется, наблюдает, о которых он судит, хотя и нечасто облекает свои вердикты в слова; и когда я смотрел на него под этим углом, прямо и несколько снизу, его тело казалось мне совершенным или, во всяком случае, телом, которое я бы назвал идеально мужским, используя это эмоционально нейтральное слово хотя бы уже для того, чтобы, целомудренно уклонившись от всяких намеков на естественное влечение, не называть его просто красивым, или очень красивым, или, больше того, неотразимо красивым, ибо, назвав его так, мы сразу должны будем признать и то, что мы

перед ним беззащитны, что мы в его власти, и, в силу природы вещей, мы с удовольствием покоримся ему, нашим самым большим желанием будет раствориться в нем, пройти по нему, пусть хотя бы просто провести по нему пальцем, чтобы перенести внутрь себя с помощью ощущения то, что снаружи нами воспринимается как красота; перед моими глазами широкий плечевой пояс, мускулы на котором, благодаря многолетней гребле и плаванию, вырисовываются так отчетливо, что почти скрывают обычно очаровательные выступы и неровности между плечами и грудной клеткой, они почти плавно, но энергично переходят в более четко делящиеся тугие мышечные жгуты плечевых суставов и отчетливо выделяющиеся широкие мышцы груди, на которой, одновременно подчеркивая и смазывая обнаженность незащищенной поверхности, кустятся белесые волосы, во влажном виде еще более притягательные, чем обычно, ибо, слипшись, окружают небрежным своим ореолом темные окружающие соски, направляя наш взгляд дальше, либо вдоль контура туловища, сужающегося к бедрам, либо на мягкую рябь обтянутых мышцами ребер, либо, возможно, по твердой выпуклости живота, где наш взгляд в своем путешествии вниз остановится на темном углублении пупка и особенно на клине волос на лобке, но эта задержка будет не окончательной, ибо взгляд совершенно произвольно всегда выбирает самые темные или самые светлые точки, такова уж природа инстинктов, и поэтому мы, оставив в покое живот, непременно достигнем паха, и если у нас есть шанс на нем задержаться, если наш взгляд достаточно осторожен, чтобы его не заметили, а его, конечно, заметят, потому что в таких ситуациях взгляд моего отца действует точно так же, как мой, но, допустим, он великодушно сделает вид, что это его не волнует, или, если это ему не нравится, отвернется либо чем-то прикроется, или в смущении скажет какое-то слово, может быть, самое обыкновенное, но не совсем уместное, а возможно, что он, исходя из знания человеческой натуры, просто отбросит всякие моральные соображения и позволит мне задержать взгляд, чтобы основательно обозреть этот сам по себе достаточно непристой ареал, смакуя детали и тем самым как бы оценивая все его возможности, зная, что весь предыдущий путь нашего взгляда был не более чем задержкой, ожиданием, подготовкой, что только теперь мы добрались до самого сокровенного предмета нашего глубочайшего любопытства, вот оно, это место, к которому мы так стремились, и только здесь можно почерпнуть то знание,

которого не хватает для того, чтобы оценить все тело, а следовательно, наверное, не будет преувеличением сказать, что и с точки зрения моральной мы достигли критической точки.

И однажды я этому влечению уступил – и взял его в руки.

Дело было летом, воскресным утром, солнце уже пробивалось сквозь белые занавески на открытых окнах, когда я вошел в спальню родителей, чтобы, по обыкновению, нырнуть в их кровать, еще не подозревая, что именно в это утро мне навсегда придется отказаться от этой приятной привычки, – в кровать, где теперь, окутанная запахом болезни, к которому никак невозможно привыкнуть, лежит моя мать, она шире и несколько выше обычных, из-за чего, кажется, доминирует над почти пустой комнатой, изголовье и рама изготовлены из черного лакированного дерева, как и вся остальная мебель: гладкий комод, туалетный столик с зеркалом, обитое белым шелком кресло и прикроватная тумбочка, ничего другого в комнате не было, стены голые, но все это, как ни странно, не делало ее неприветливой или неудобной; их одеяло было сброшено на пол, матери на месте уже не было, она, очевидно, готовила завтрак, а отец еще спал, свернувшись калачиком, голое тело было прикрыто лишь простыней; я и поныне не знаю, что заставило меня, отбросив естественную целомудренность, преступив все запреты и даже не понимая, что я в этот момент что-то отбрасываю или преступаю некий неписанный закон, быть может, то было просто влияние беззаботного летнего утра с его легкой прохладой, дуновениями, поднимающими с остывшей за ночь земли запах росы, теплыми токами воздуха, дающими предвкушение опьяняюще жаркого дня, еще щебетали птицы, снизу, из глухо рокочущего города доносился колокольный звон, а в соседнем саду, размеренно шурша, уже разбрызгивал воду дождеватель, установленный посреди газона; в такие минуты человека без всяких причин охватывает восхитительно озорное настроение, так что, ни о чем особенно не задумываясь, я сбросил с себя пижаму и, перешагнув через валявшееся на полу одеяло, голышом юркнул в кровать и забрался под простыню к отцу.

Правда, сегодня, в поисках объяснения, но ни в коем случае не оправдания, я мог бы сказать, что весь смысл этих воскресных утренних посещений заключался в том, что происходили они всегда в полусне, поэтому, просыпаясь в родительском тепле во второй раз, когда уже наступало настоящее утро, я мог испытать приятно обманчивое ощущение, что я перенесся куда-то, проснулся не там, где заснул, что все мы могли изумиться этому маленькому со-

творенному мною чуду, когда я полубессознательно имитировал то смешение мест и времен, которое безо всяких усилий и непроизвольно осуществляет сон; да, само по себе это не может служить оправданием или объяснением, но все же нельзя сбрасывать этого со счетов, особенно если иметь в виду, что детство мы обычно считаем законченным только тогда, когда благодатный покров забвения уже скрыл от нас ту безжалостную игру, в которой каждой частичкой своего существа мы учились холодно и целеустремленно приспособлять наши тайные желания и мечты к тем небогатым возможностям, которые правила общежития предлагают нам признать в качестве реальности, а стало быть, у ребенка нет особого выбора, он, как какой-нибудь анархист, вынужден, повинаясь законам собственной внутренней природы, которую мы, охотно признаемся, считаем такой же реальной и такой же действительной, повинаясь, возможно, по той причине, что он еще не способен столь неукоснительно отделять законы ночи от законов дня, и к этому его стремлению к полноте мы весьма чувствительны; таким образом, он вынужден искать грань между допустимым и недозволенным, и мы остаемся детьми, пока в нас живо это стремление переступать границы и научиться, по реакции окружающих, иногда вступая в жесточайшее противоречие с собственной нашей натурой, понимать так называемый порядок вещей, их имена и место и одновременно с этим осваивать ту святую систему лицемерной лжи и обмана, систему подземных ходов, ложной видимости, лабиринтов с неслышно открывающимися и закрывающимися дверями, благодаря которой нам, наряду с реальными, все же удастся каким-то образом осуществить и самые вожаделенные, еще более реальные наши желания, что и называется воспитанием; и поскольку мы пишем как раз роман воспитания, то надо в конце концов сказать без обиняков, что именно это святая двусмысленность воспитания побуждает нас высказать тайную мысль, что подчас, именно взяв в руки родительский член, мы наилучшим образом сможем разобраться даже в морали, которую, вопреки принуждению и искренним нашим стараниям, мы так и не можем в достаточной мере усвоить; когда я опять проснулся, мое голое тело, влажное ото сна, лежало, уткнувшись в голое тело отца, взмокший, я обнимал его, шаря пальцами в волосах на груди, он по-прежнему спал, и мне казалось, что в этот момент, прикикая к его ягодицам, спине, обвивая ногой его ногу, чтобы ощутить единение наших тел, я обманываю не его, а себя, потому что, с одной стороны, второе мое пробуждение было связано именно с этим

чувством, в том не было никаких сомнений, и я действительно был поражен и обрадован тем, что за время этого наверняка короткого и очень глубокого сна наши члены так перепутались, что потребовались долгие мгновения, чтобы вновь ощутить свое тело своим, а с другой стороны, нельзя было отрицать, что в конечном счете ведь это я подстроил это пробуждение, хотя в этом чувстве главным было все же не осознанное, а, напротив, некий элемент бессознательного, инстинктивного, приснившегося, и это, я бы сказал, и было предметом моего эксперимента, длить который хотелось до бесконечности, ведь именно в этом была вся прелесть, именно это давало то ощущение полноты, в котором вождение и фантазия были еще в гармонической нераздельности с ложью и хитрой манипуляцией, поэтому, все еще не открывая глаз, словно играя сам с собой в прятки, в сон, я медленно, очень медленно стал скользить пальцами к его животу, чутко внимая, не вздрогнет ли от моего прикосновения его кожа, не слотнет ли он, всхрапывая, слюну, и будет ли продолжать спать, и при этом, наслаждаясь украденным ощущением, я постоянно помнил, что лежу в тепле, оставленном матерью, лежу вместо нее, хуже того, это ощущение я краду у нее.

К матери мне всегда хотелось прикоснуться губами, а к отцу – рукою.

На животе ладонь пришлось раскрыть, чтобы охватить его упругую выпуклость.

Теперь оставалось всего лишь одно скольжение, чтобы, чуть поплутав в волосах лобка, накрыть ладонью его пах.

У этого момента были две, четко отделимые одна от другой части.

Сначала тело его заметно, податливо шевельнулось, и он проснулся.

Но потом он судорожным рывком отпрянул от меня и испустил оглушительный вопль.

Как человек, обнаруживший в теплой постели холодную жабу.

Сон, мы знаем, под утро бывает особо глубоким и вязким, и вызволи я его не из этих рассветных глубин, он, наверное, смог бы понять, что и сам является героем того же романа воспитания, в котором ничто человеческое нам не чуждо; ведь то, что произошло, не было чем-то совсем уж из ряда вон выходящим, чтобы проявлять столь яростные чувства, а с другой стороны, если он не желает, чтобы его брутальная реакция привела к непредставимо серьезным последствиям, а хочет, как всякий здравомыслящий педагог, добиться не отрицательного, а положительного эффекта,

то должен бы поступить с гораздо большей тактичностью и даже расчетливой хитростью, понимая прекрасно, что каждому человеку, а уж мужчине тем более! в таком возрасте, когда тебе перевалило за сорок, полагается по крайней мере догадываться, что каждый хотя бы раз в жизни должен его поддержать, в воображении или реально, символически или собственноручно, хотя бы однажды должен нарушать отцовское целомудрие, может быть, чтобы уцелеть самому? и каждый, да, каждый, так или иначе это делает, даже если после подобного испытания сил у него не остается даже на то, чтобы признаться в этом хотя бы себе, таково естественное веление самосохранения, ну и той пресловутой нравственности, которая позволяет обнаружить себя лишь в пограничных ситуациях, но отец был сонный, только проснувшийся и к тому же после первого инстинктивного движения, видимо, чувствовал, что его предала собственная натура, и потому не мог сделать ничего иного, как заорать на меня.

«Что тебе надо? Ты что здесь делаешь?»

И вышвырнул меня из постели с такой силой, что я приземлился на пол, на их одеяло.

Еще долго в душе моей царило безмолвие злодеяния, немая и непряженная тишина ожидания возмездия и последствий, что делало мой поступок неотменимым и бесповоротным и даже несколько приукрашивало и возвеличивало его в моих глазах, но наказания не последовало, и как бы пристально я ни наблюдал за ними, не было признаков даже того, что он рассказал матери о случившемся, хотя в других случаях, когда я попадался на каком-нибудь озорстве, они всегда пытались выработать единую линию поведения, что, естественно, никогда не удавалось столь безупречно, чтобы я не мог различить некоторые естественные нюансы в их мнениях; теперь, однако, они вели себя совершенно невинно и, как казалось, совершенно одинаково, так, будто ничего не произошло, как будто мне все это просто приснилось, приснилось прикосновение, приснился вопль, потому что, ожидая какого-то явного возмездия, я не заметил последствия, которое было много тяжелее любого наказания, – хотя теперь, спрашивая себя, уже будучи взрослым, на какое вообще наказание я мог тогда рассчитывать, неужто на то, что меня избыют как сидорову козу? ибо какое наказание можно придумать, если выяснится, что ребенок влюблен в отца, и не сама ли эта любовь, жуткая и неутолимая, переворачивающая всю душу и тело, является самым страшным для него наказанием? – дело в том, что я не заметил, а может, и не хотел замечать, или

у меня и выбора другого не было, как не замечать, что с тех пор мой отец стал относиться ко мне более сдержанно, тщательно избегал тех случаев, которые предполагали физический контакт между нами, он никогда больше не целовал меня, даже не прикасался ко мне, но и не бил, словно чувствуя, что и пощечина может расцениваться как ответ на любовь, он как бы отверг меня, но сделал это не демонстративно, без нарочитости, его отчужденность, явно питаемая каким-то очень сильным страхом, казалась столь совершенной, что я сам и, возможно, он тоже не чувствовали никакой связи между реальным последствием и вызвавшей его причиной, я забыл о причине, как забыл о том, что застал его в комнате для прислуги с Марией Штейн, может быть, он тоже забыл об этом, и осталась только одна угроза, к которой было невозможно привыкнуть, что вот он, таков мой отец: не настолько чужой, чтобы не волновать меня, но и не настолько близкий, чтобы его любить; когда он открыл дверь, чтобы впустить меня в ванную, по его неулыбчивому лицу и позе, в которой застыло его поражающее своей наготой тело, я сразу заметил сдержанность, недоверчивость, некоторый страх и тщательно маскируемую стыдливость, а также принужденность – то есть что делает это он только по настоянию матери, в противном случае он этого не одобрил бы, не считал бы таким уж простительным мое подглядывание и подслушивание и вместо столь смелой семейной забавы шуганул бы меня в постель, «а ну марш!» – и на этом поставил бы точку; однако перед лицом матери он казался не менее уязвимым и незащищенным, чем я перед ним, что, конечно, было для меня сатисфакцией, и немалой, и если была у меня хоть малейшая надежда забраться в ванну и устроиться между ними, то именно через эту лазейку, уповав на настроение, милость, чувствительность матери, потому что прямого пути к отцу не было.

«Закрой дверь!» – сказал он и повернулся, чтобы сесть в ванну, но я, все еще не решаясь войти, неподвижно застыл в дверях, слишком непредсказуемым и зловещим был этот подарок, тем не менее даже неудовольствие в его тоне, адресованное скорее не мне, а матери, не могло полностью испортить радость, ведь я победил, даже не чая этой победы, а взгляд на его полуобернувшуюся фигуру добавил новое впечатление, поразительное и короткое, словно вспышка, терзаться и наслаждаться которым можно было лишь до тех пор, пока он не опустился в воду; если выше я утверждал, что спереди это тело казалось мне идеальным, пропорционально сложенным, привлекательным и красивым, то нужно сказать и о том,

в чем признаться совсем уж не позволяет стыдливость или, может быть, не стыдливость? а странное желание видеть наших родителей самыми совершенными, как телом, так и душой, существами, даже если они таковыми и не являются? и в этом причина того, что мы вынуждены видеть безобразное прекрасным или, по крайней мере, если мы все-таки не способны отказаться от неутолимой потребности в безупречной красоте и безупречных пропорциях, относиться к несовершенству с пониманием и снисходительностью? словно бы научившись у человеческих форм тому, что во всем, даже в том, что видится нам совершенным, заложено тяготение к безобразному, извращенному, болезненному и даже увечному, и именно это придает нашим чувствам своеобразный привкус? причем не только по той причине, что абсолютная гармония свойств никому не дана, а скорее всего потому, что совершенное и несовершенное всегда шествуют рука об руку, что они друг от друга неотделимы, и если, закрывая глаза на самые очевидные изъяны человеческого существа, мы все же пытаемся обожать его как само совершенство, то это всего лишь уловки воображения?

Дело в том, что, когда он стоял ко мне боком, все, что только что, спереди, виделось идеальным, казалось теперь явно ущербным: его лопатки выдавались из согнутой спины, как будто он, даже стоя прямо, все-таки наклонялся вперед, и если бы я не боялся этого слова, то мог бы сказать, что от горбатости его отделяла сущая малость, да, он был почти горбуном, что обычно нам кажется крайне отталкивающим, и если он все-таки таковым не стал, то лишь по чистой случайности, как будто природа, совершая свою работу, не смогла решить, что слепить из него – идеальное существо или нечто гротескное, и бросила его на произвол судьбы, а он, осознав этот жребий, попытался противостоять или по крайней мере как-нибудь скорректировать сию мрачную шутку природы, что удалось лишь отчасти, невзирая на все его, по всей видимости, мучения и доведенные до постыдных крайностей усилия, поскольку телесные формы, как бы искренне ни признавали мы в своем христианском смирении первенство духовных качеств перед внешними признаками красоты, столь сильны, что уже в момент нашего рождения могут считаться свойствами индивида.

Но мне, в силу слепой влюбленности, нравилось и это, я был готов вбирать в себя прекрасное и безобразное, с чувствительным всепониманием одновременно и одинаково сильно ощущать притяжение и отталкивание; он был для меня совершенным именно благодаря собственному несовершенству, ибо ничто другое, кроме

этой «почти» горбатости, без которой он мог бы считаться просто красавцем, не могло лучше объяснить его упрямой мрачности, его строгого, вечно настороженного внимания и того усердия, с которым он был готов преследовать все, что считал неправильным, нехорошим, преступным, а стало быть, уродливым и порочным, но именно это, необходимость вечно обороняться, делало его суховатым в чувствах и сдержанным в страстях, невзирая на все его выходки! и очень умным: казалось, вынужденный из-за этого физического изъяна к отступлению, он настолько нуждался в нежности и настолько был не способен к ней, что никакие, даже самые скрытые коварные намерения не могли ввести его в заблуждение, а потому энергия, потерянная при вынужденном отступлении, возвращалась к нему в весьма агрессивной форме, в виде чутья и интеллекта, позволявших ему понимать тончайшие связи вещей; то есть совершенство его состояло в том, что он с бесконечным спокойствием, полагаясь на интуицию, допускал, чтобы его природные качества и особенности подыгрывали друг другу, и лишь очень редко в нем можно было заметить какое-либо неискреннее стремление, желание показаться не тем, кем он был, и хотя я в то время почти ничего не знал о том, чем в действительности занимается прокурор, я не мог представить для этого тела более достойного места, чем то, где, облаченный в строгий мышиного цвета мундир, при свете сияющих даже днем люстр он своими длинными пальцами собирает в стопку разложенные на полированном письменном столе документы; пожалуй, только в покрое кителя была какая-то фальшь, удачно расположенные плечики почти полностью скрывали кривизну спины; он следовал по длинным, широким, облицованным мрамором коридорам, обычно совершенно пустынным, где лишь иногда можно было увидеть спешившего с тяжеленными папками младшего клерка или небольшую группу людей, топтавшихся перед одной из массивных дверей в молчаливом ожидании и почему-то всегда с таким видом, будто им не было друг до друга никакого дела, словом, в коридорах этих царила благоговейная скука, лишь временами тишину нарушал стук приближающихся шагов, в глубине коридора из-за поворота появлялся скованный наручниками подсудимый в сопровождении двух конвоиров, чтобы немного спустя исчезнуть за такой же огромной коричневой дверью, и отец следовал в зал суда; я любил следить за его удаляющейся по коридору спиной, в которой, в отличие от грубой красоты других частей тела, казалось, было сосредоточено все изысканное, благородное, интеллектуальное; для полноты же

картины надо, конечно, еще сказать о его мускулистых округлых ягодицах, в изящных очертаниях которых было нечто подчеркнуто женственное, о его мощных бедрах, о выпуклых венах, разбегающихся под золотистыми волосками по голеним, и длинных хрупких пальцах, венчающих высокие сводчатые стопы, но главное все же спина! походка его была мягкой, пружинистой, энергичной, как у зверя, который испытывает элементарную радость, ощущая стопами послушную подвижность собственного веса, но казалось, отец все же не на ногах, а на своей спине нес все те требующие духовного напряжения тяготы и заботы, которые, как я себе представлял, были сопряжены с борьбой с преступностью, именно в спине, в ее сутулости была его власть, и мне так хотелось походить на него, так хотелось обладать такой властью, силой и превосходством, не только физической красотой линий, поверхностей и пропорций тела, ведущей к паху и из него лучащейся, но и уродством, загадочным образом воплощавшим в себе нечто духовное, и потому я какое-то время, пытаясь подражать ему, нарочно сутулился, расхаживая по коридору школы, не столь внушительному, как тот, по которому мой отец шел в судебное заседание.

Наконец я все же решил войти в ванную и закрыл за собою дверь, как велел отец.

Он опустился в ванну, и поскольку в этот момент мать с хохотом вынырнула из-под воды, вода выплеснулась на каменный пол.

«Скинь пижаму и полезай к нам!» – сказала она так просто, как будто это было самым естественным делом на свете.

А когда я забрался в ванну и устроился между их подтянутыми к груди коленями, то воды выплеснулось столько, что в ванной случился потоп, по полу плавали тапочки, а мы трое над этим смеялись.

И если вспомнить об этом внезапном смехе, доставившем нам наслаждение своей беспричинностью, то он словно бы разорвал парализующие меня путы настороженности, недоверия, вполне объяснимого страха перед последствиями и беспредметной тревожности, словно прорвал завесу, которую выше я назвал гранью между реальностью внешней и, более мощной, внутренней, он словно освободил тело от веса и тяготения его внешней формы, подняв его на тот редко переживаемый уровень, где между физической реальностью и реальностью наших вожделений открывается прямой путь; три голых тела в ванне с уже чуть теплой водой – но казалось, будто смеются они одним ртом, будто смех этот, не лишенный ехидства, вырывается из одного огромного рта, общий

рот у нас из-за общности ощущений! мое тело зажато меж раздвинутых коленей отца, ноги под слегка пенящейся от шампуня мутной водой упираются в раскрытую промежность матери, вода чуть приподнимает и слегка покачивает ее большие груди, отец толкает меня в сторону матери, мать отпихивает назад, и с каждым таким толчком вода выплескивается из ванны, и над этой дурацкой потехой мы, собственно, и смеемся, и кажется, будто этот гигантский рот заглатывает в себя три обнаженных тела, заглатывает их и выплевывает, вновь заглатывает в темный зев блаженства и снова выплевывает, в унисон с ритмом смеха, который раскатывается, колыхается, взлетает ввысь, замирая в мертвой предельной точке, и падает, чтобы затем, зачерпнув в еще более глубоких слоях организма потаенные и до сих пор невообразимые сокровища наслаждения, взлететь еще выше и еще громогласней выплеснуть из себя неперевариваемую материю радости, точно так, как выплескивалась, переливаясь через край, вода из ванны.

Но тогда уж, во имя истины и полноты ради, я должен развеять то сложившееся наверняка впечатление, будто вся тогдашняя моя жизнь состояла из липкой горечи, постыдной жестокости, позорных поражений и невыносимых, ну совершенно невыносимых страданий, о нет, чтобы как-то уравновесить несомненную однобокость моего отчета, я должен подчеркнуть, что это было отнюдь не так! ибо на самом деле радость и наслаждение были ничуть не менее характерны для моей жизни, просто страдания оставляют глубокий след, видимо, потому, что они, опираясь на такое свойство сознания, как рефлексия, способны за счет терзаний и размышлений растягивать время, между тем как настоящая радость избегает всего сознательного, ограничиваясь только сферой чувственного, и отводит нам и себе ровно столько времени, сколько она реально длится, из-за чего представляется непременно случайной и эпизодичной, отдельной, оторванной от страдания, в результате страдания оставляют после себя в нашей памяти долгие и запутанные истории, а радость – только мгновенные вспышки; однако покончим с увязшим в деталях деталей анализом, равно как и с философией, пытающейся отыскать в этих деталях смысл! хотя все это, может быть, и необходимо, если мы хотим оценить богатство нашей внутренней жизни, в этом нет ничего плохого, зачем отказывать себе в таком удовольствии? но именно потому, что богатство это столь бесконечно, а бесконечность относится к числу самых непостижимых вещей на свете, мы склонны в поспешном анализе принимать за первопричину

наших обид, уродства, страданий, душевных недугов и, признаемся откровенно, убожества совершенно обычные и, в конечном счете, естественные события, потому что мы упускаем из виду эти события в целом в пользу определенных, выбранных произвольно частностей и, в ужасе от их бесконечного изобилия, приказываем себе остановиться там, где мы могли бы пойти гораздо дальше, наш страх творит козлов отпущения, воздвигает маленькие жертвенные алтари, ритуально полосует ножами воздух, в результате чего мы запутываемся гораздо больше, чем если бы мы вообще не думали о себе, да уж, блаженны нищие духом! так что давайте не думать! а лучше свободно и без каких бы то ни было предвзятых мнений погрузимся в приятное ощущение от того, что мы сидим на полу у постели матери, стараясь склонить голову на покрывающее тело больной прохладное шелковое одеяло так, чтобы наши губы отдыхали на коже ее обнаженной руки, ощущая в своих волосах ее тонкие пальцы, сладостный бег мурашек в корнях волос, потому что в смущении она запустила другую руку в нашу шевелюру, словно пытаюсь утешить нас, пытаюсь удостовериться, сможет ли этим жестом смягчить воздействие своих слов, и хотя мурашки бегут у нас уже по всему телу, взять эти слова обратно так просто ей не удастся: мы ведь и сами давно уж догадывались, что наш отец, возможно, вовсе нам не отец, и если она действительно не могла сделать выбор между двумя мужчинами, то подозрение это теперь может стать чуть ли не уверенностью, но об этом, как мы понимаем, сказать больше она не может, поэтому лучше умолкнуть, и тогда мы точно сможем почувствовать, что то, что под воздействием слов блеснуло в нашем сознании как воспоминание и уже осело в нем, каким бы важным и каким бы решающим оно ни было, может быть только фоном наших эмоций и истинных интересов, ибо в том пространстве, где мы пытаемся это понять и осмыслить как наше личное, где с нами и происходят события, которые мы считаем реальными, мы полностью одиноки, и они, моя мать и двое мужчин, не имеют, да и не могут иметь туда доступа.

И если я все-таки не остался полностью равнодушным к услышанному, то вовсе не потому, что для меня было так уж важно узнать, который из двух мужчин был в действительности моим отцом, вопрос, разумеется, был волнующим, дразнящим, щекочущим нервы своей пикантностью и, конечно, запретным, как тот образ, который запечатлелся в сознании, когда я застал мужчину, которого я знал как своего отца, с другой женщиной в комнате

для прислуги, но все же я бы сказал, что вопрос этот сам по себе был не столь уж важным, о нем можно было забыть, отодвинуть на второй план, как широкую дугу горизонта за парящим в безмолвных сумерках поле, как рамку, теряющуюся в тумане, которая, несомненно, является частью общей картины, однако наша картина начинается и заканчивается там, где мы находимся, где мы стоим в ней, и в созерцании бытия может быть только один центр – это наше тело, элементарная форма, которая только и делает возможным само это созерцание и дает нам достаточно сил, веса, надежности для того, чтобы в конечном счете, я подчеркиваю, в конечном счете! мы могли не интересоваться ничем, кроме самого этого тела во всех возможных его аспектах и проявлениях; последняя фраза матери заставила меня замолчать и не задавать никаких вопросов, потому что она, как казалось мне, не совсем случайно, намекала на то, что действительно волновало меня, точно так же, как и она, я тоже был не способен принять решение и, как и она, чувствовал, что не могу не принять его, однако из ее фразы вытекало пожизненно мучающее ее угрызение совести, некий тотальный хаос, угрожающий не только ей, но и моей будущей жизни, хотя она взирала на него, разумеется, со спокойствием человека, не надеющегося больше решить что-то неразрешимое, и в этой связи ее признание было просто освобождением, как бы догадкой о близкой смерти, завещанием, призывом ко мне не пытаться искать решения там, где решения быть не может, где единственной радостью может быть только неконтролируемое происшествие! как будто наша свобода заключается единственно в том, чтобы, не сопротивляясь, позволять беспрепятственно воздействовать на нас тем явлениям мира, которые пожелают проявляться именно в нас, короче, в то время я воспринимал ее не как мать, от которой мы ожидаем, чтобы своим теплом она защитила нас от холодной реальности мира, а как человека, очнувшегося после множества походов и безрассудств, умудренного опытом и поэтому неизбежно жесткого и холодного, человека, с которым я имел очень мало общего, потому что для близкой связи все же нужно тепло, и в то же время мы были во всех отношениях схожи, ибо, независимо от пола и возраста, одинаковым было то, что происходило с нами и внутри нас.

Казалось, она тогда говорила о том, чего не могла знать.

Об этом же говорило и наше молчание.

И все-таки мне удалось наконец кое-что рассказать ей, о чем я еще никому не рассказывал.

Не вслух, разумеется, молчание я не нарушил ни единым словом, и весь мой «рассказ» уложился в те несколько мгновений, пока губы мои, осеняя ее руку легкими поцелуями, проделывали путь от мягкого сгиба локтя до ее плеча, меня очень любят девчонки, хотел я ей прошептать сдавленным, словно признавался в любви, голосом, они меня любят больше, чем всех других мальчишек, хотел я сказать ей, как будто мне нужно было что-то доказывать, и мне стало немного стыдно за это поразившее меня самого, совсем неуместное, могущее показаться хвастливым признание, ведь все, что мы говорим о себе, вслух или даже про себя, тут же требует разочаровывающего своей многозначностью уточнения; ведь они меня любят не совсем так, я знаю это, и мне от этого стыдно, как любят других мальчишек, а так, как будто я тоже девочка, в то время как я, вне всяких сомнений, мальчишка, но этим отличием, отделяющим меня от других моих сверстников, я не могу не гордиться! и я очень прошу ее мне помочь! потому что я все рассказываю неправильно, хотя очень хотел бы изложить все точно, дело в том, что множественное число не означает девочек вообще, такого, по-моему, не бывает, а подразумевает троих, Хеди, Майю и Ливию, девочки – это они, точно так же, как, говоря о мальчишках, я имею в виду опять же троих – Према, Кальмана и Кристиана, и если бы мне нужно было выбирать, кто меня больше привлекает в моих метаниях, в поисках своего места между двумя полами, между двумя этими сопряженными друг с другом и все же совсем различными троицами, то я бы сказал, что, разумеется, мне милее девочки, женщины, хотя мальчишки, мужчины, меня привлекают сильнее.

Если бы вообще о таких вещах можно было говорить вслух.

Уткнувшись лицом в плечо матери, я вдруг вспомнил о том, как, бесшумно прокравшись по саду, я вхожу в просторную столовую дома Майи, где Сидония, их домработница, как раз наводит порядок, какое-то время я молча слежу за тем, как, выставив в мою сторону задницу, она на коленях собирает с пола хлебные крошки.

Возможно, это тяжелый аромат кожи матери заставил меня обо всем рассказать, раскрыть ей все свои тайны, все, что переживалось мной независимо от нее и все же каким-то образом имело к ней отношение.

Когда домработница наконец замечает меня, я прикладываю палец к губам, чтобы она молчала, не поднимала шуму, чтобы никто в доме не знал о моем появлении и я мог застигнуть Майю врасплох; Сидония застывает на месте, к счастью, не догадываясь

о более глубоком смысле моей предосторожности, думая, что это шутка, какой-то невинный розыгрыш, ведь я, право слово, такой забавник! моя улыбка, призыв сохранять молчание, сама игра делают ее моей сообщницей; осторожно, чтобы не скрипнул пол, я направляюсь к ней; «ну, опять этот плут заявился!» – восторженно просияли ее глаза, и она, наблюдая, как я крадусь, заливается громким смехом.

Но это только начало, этого недостаточно, всякий раз, чтобы снова очаровать Сидонию, мне приходится придумывать еще что-то совершенно новое, неожиданное, но это совсем не так сложно, как кажется на первый взгляд, мне нужно быть очень изысканным в своих грубых выходках и точно оценивать возможности, предлагаемые мне ситуацией.

Иногда я дохожу до того, что молча прохожу мимо, даже не здороваясь с ней, я знаю, что эффект производят только демонстративные жесты, иногда высокомерно киваю, а иногда бросаюсь к ней и лобызая ей руку, на что она с наслаждением, но не больно шлепает меня по затылку; если не раздаются удары, то наше общение происходит в полной тишине, но так оно даже более красноречиво, чем если бы мы разговаривали; мы общаемся, обмениваясь друг с другом знаками, и эту форму непременно следует сохранять, не портя ее словами.

Мне нет нужды сосредотачиваться на чем-то еще, кроме желтоватых зрачков ее серых кошачьих глаз, я знаю, что всякое движение, удуманное заранее или диктуемое какими-то побуждениями, непременно фальшиво, поэтому мне нужно установить прямую связь между этими желтыми пятнышками и спонтанностью своих жестов, эти желтые пятнышки в сером свете позволяют мне контролировать, на верном ли я пути или нет; сейчас, например, ее громкий смех – это своего рода месть, она молчит, не произносит ни слова, ведь я велел ей молчать, но при этом громко смеется, за что должна быть наказана, наши общие забавы постоянно нуждаются в таких маленьких экзекуциях, позволяющих нам подраться, молча, сдерживая разгоряченное дыхание, поколотить, попинать, покусать, поцарапать друг друга; очень медленно я тоже опускаюсь на колени, ничуть не карикатурно, в этом нет никакой нужды, она все понимает! я просто повторяю, словно бы отражаю в зеркале ее смешную и несколько даже унижительную позу, мы стоим рядом на коленях между ножек сдвинутых с места стульев, и я словно бы говорю ей: ты очень похожа сейчас на собаку, да, да, вылитая собака!

Сидония – девушка пухлая, роскошные каштановые волосы заплетены в тугую косу и уложены венчиком на затылке, кожа на лице лоснится, глаза веселые, и в каждом ее движении есть что-то по-детски милое и неловкое; на ее белой блузке, под мышками, темнеют разводы пота, я знаю, что я сейчас должен сделать что-то с этим одуряющим стойким запахом, я чувствую это; нет, это я собака, твоя собака! и, шумно пригнувшись, утыкаюсь носом в ее подмышку.

Она млеет в немом наслаждении и катится под стол, я носом следую за влажным, источающим тепло запахом, но тут она кусает меня за шею, кусает довольно сильно, мне больно.

Но как бы ни происходили и чем бы ни заканчивались наши игры, все это лишь преддверие наслаждений.

Потому что в святая святых, в глубине своей большой затененной комнаты, облокотившись на стол, на котором разложены книги и тетради, и подперев голову ладонью, сидит Майя, она грызет кончик карандаша, время от времени проворачивая его зубами, и в раздражающе непредсказуемом ритме покачивает под стулом босыми скрещенными ногами.

За окном росли густые кусты, а обвисшие кроны старых деревьев закрывали его, словно занавесом, поэтому воздух в комнате всегда был пронизан зелеными всполохами, а на белых стенах плясали тени колышущейся листвы.

«Ливи еще не пришла?» – тихо спросил я, намеренно начав с вопроса отнюдь не пустячного, который сам по себе был равносильным признанию, чтобы сразу дать ей понять: она для меня не так уж важна, пусть даже она ждала меня, хотя делает вид, что ждала не меня, в любом случае я пришел не из-за нее.

Она даже не обернулась, притворившись, будто не слышала моего вопроса, что я за ней замечал и раньше; как всегда, за столом она сидела в неестественно искривленной позе и не столько читала книгу, сколько, я бы сказал, отстраненно взирала на буквы – неохотно и с некоторым отвращением, непременно держа книгу как можно дальше от глаз, то есть разглядывала ее, как другие разглядывают картину, обозревая одновременно детали и композицию в целом, при этом лоб ее дугами прорезали морщины, в круглых темно-карих глазах отражалось постоянное, неослабевающее изумление, красивыми белыми зубками она покусывала карандаш, поворачивала его и кусала, потом опять поворачивала и снова стискивала зубами, и если мое присутствие все же дошло до ее сознания, то понять это можно было лишь из того, что покачивание

ее ног под стулом замедлилось, как замедлилось и вращение карандаша в зубах, но, само собой разумеется, все это было признаками не равнодушной рассеянности, а, напротив, самого сосредоточенного внимания, именно эти монотонные двигательные ощущения помогали ей воспринимать столь далекие от телесной реальности отвлеченные знания, и если ей наконец удавалось оторваться от того, что приковывало ее внимание, она смотрела на меня с тем же самым изумленным любопытством – наверное, ее глазам я представлялся чем-то вроде очередного предмета наблюдения, а всякий предмет ведь всегда по-своему удивителен; она медленно, очень медленно подняла голову, морщины на ее лбу разгладились, карандаш чуть ли не силой был выдернут изо рта, но рот так и остался открытым, и жадно внимающий взгляд несколько не изменился.

«Сам видишь», сказала она небрежно, но обмануть меня было невозможно, я знал, что сообщить болезненную для меня новость было для нее наслаждением.

«И не придет сегодня?» – зачем-то спросил я, возможно, единственно для того, чтобы лишний раз подчеркнуть, что я пришел не из-за нее, пусть не заблуждается.

«Я немного уже устала от этой Ливике, сегодня, надеюсь, она не появится, но мы все равно увидимся – Кальман сказал, что они с Кристианом устраивают какое-то представление».

Для меня это был удар, мне об этом никто не сказал, и, конечно же, она знала, что меня решили не приглашать.

«Ты говоришь, мы увидимся?»

«Ну конечно увидимся», невинно сказала она, как будто это множественное число подразумевало, естественно, и меня, и на мгновение я почти поверил в это.

«Он сказал, что меня тоже ждут? Чтобы ты и меня пригласила?»

«А что, он тебе не сказал?»

Несколько снисходительно и чуть насмешливо она наслаждалась моим неловким молчанием.

«Да что-то припоминаю», сказал я, хорошо понимая, что она мою ложь раскусит; и она пожалела меня.

«Почему бы тебе не пойти, если есть желание?»

Но мне эта жалость была не нужна.

«Значит, опять день пойдет насмарку», сказал я со злостью, чем невольно выдал себя, она же была этому только рада.

«Мать ушла».

«А Сидония?»

Она пожала плечами, что она делала с бесподобным очарованием, слегка приподнимая одно плечо, но от этого все ее тело как-то искривлялось, словно бы выражая крайний предел беспомощности, и почти невозможно было заметить момент, когда она снова расслабилась, бросила карандаш на стол и встала.

«Ну пошли, чего тянуть время?»

Она вела себя так, как будто и правда ничто другое ее не интересовало; но во мне продолжала кипеть злость, я так и не понимал, что все-таки происходит, только чувствовал, что опять что-то делается за моей спиной, и поэтому выплеснул всю свою злость.

«Ты мне только скажи, будь любезна, скажи, когда это ты говорила с Кальманом?»

«А я с ним не говорила!» – чуть ли не нараспев сказала она, весело блеснув глазами.

«И не могла говорить, потому что мы возвращались домой вместе с ним».

«Ну и ладненько, хватит с тебя и этого», сказала она с наглой ухмылкой, показывая, как она наслаждается моим бешенством.

«Изволь в таком случае объяснить, откуда ты это узнала?»

«Ну, это уж мое дело, или не так?»

«Это значит, что у тебя есть дела, которые меня не касаются?»

«Ну конечно».

«И ты собираешься пойти туда!»

«Почему бы и нет? Впрочем, я еще не решила».

«Не хочешь ничего упустить, так надо понимать?»

«Я не собираюсь тебе ничего рассказывать, можешь не надеяться».

«Очень мне интересно!»

«Тем лучше».

«Какой же я идиот, что приперся к тебе!»

На минуту воцарилось молчание, а потом она очень тихо и неуверенно спросила:

«Ну хочешь, я тебе расскажу?»

«Меня это не волнует, оставь это при себе!»

Она подошла ко мне ближе, совсем вплотную, но взгляд ее, как будто ее что-то глубочайше растрогало, куда-то уплыл, затуманился, и эта минутная неопределенность дала мне понять, что она видит совсем не то, на что смотрит, что видит она вовсе не меня! не мою шею, хотя мне казалось, что смотрит она именно на нее, на место укуса, но нет, того, на что она смотрит, она не видит, воображение ее блуждало вокруг чего-то таинственного,

что ей хотелось скрыть от меня и что так возбуждало мое любопытство, что я хотел подсмотреть, больше того, почувствовать, почувствовать в ней Кальмана, каждый его жест, услышать слова, которые он ей нашептывает, но она, нерешительно, словно пытаясь себя убедить в реальности моего присутствия и как бы не совсем понимая, что она делает, взяла двумя пальцами ворот моей рубашки, рассеянно потерела его и, понизив голос до едва различимого шепота, еще ближе притянула меня к себе.

«Но я все же расскажу, потому что ведь мы обещали друг другу, что у нас не будет секретов».

И она, как человек, которому наконец удалось одолеть первый и самый тяжелый приступ стыдливости, облегченно вздохнула, даже слегка улыбнулась и с помощью этой улыбки смогла вернуться к моему лицу и, заглянув мне в глаза, закончить начатую фразу.

«Он написал мне письмо, которое вчера вечером принесла Ливия, просил, чтобы я пришла, ну ты знаешь, это из-за костюмов, и что мы встретимся сегодня днем в лесу».

Теперь я чувствовал себя на коне, понимая, что это не совсем правда.

«Ты лжешь».

«Ты совсем свихнулся».

«Ты думаешь, я круглый идиот и не вижу, когда ты лжешь мне?»

«Я все рассказала, тебе этого мало?»

Я, схватив ее за запястье, отстранил ее руку, нечего цапать меня за рубашку, но не отпустил сразу, а просто отвел от себя, чтобы меру нашей близости определяла все-таки не она, и тем более не ее примитивная ложь! надо, однако, сказать, что сама эта близость (ее дыхание я ощущал на своих губах), ее привязанность и даже ее вовсе не безобидная ложь, которой наверняка можно было ввести в заблуждение любого, но не меня, словом, все это было мне, несомненно, приятно, хотя, кажется, я сознавал и то, что плоть, какой бы жаркой, какой бы желанной она ни была, не может быть получена и удержана другой плотью без некоторых моральных условий, напротив, именно ради полноты, безраздельности обладания более важным, важнее даже самой этой плоти, важнее сиюминутной близости, бывает так называемая истина, то есть нечто несуществующее, но к чему, несмотря ни на что, мы все равно стремимся – стремимся к внутренней правде плоти, даже если позднее окажется, что она была лишь минутной и преходящей; вот почему я поступил как действует

хладнокровный оператор, сознательно и безжалостно вмешиваясь в процесс ради достижения какой-то смутно воспринимаемой цели, – я отверг плоть в надежде вернуть ее в более полном виде когда-нибудь в неопределенном будущем.

Нет жеста более жестокого, чем когда мы обдуманно и небрежно кого-то отталкиваем от себя; я лишил себя ее губ, подавил в себе влечение к красоте ради влечения более глубокого, и сделал это с лукавым расчетом: пусть она будет еще красивее и исключительно для меня одного, а для этого нужно было отлучить от ее губ соперника, чужака, другого, то есть настолько похожего на меня, совершенно тождественного со мной узурпатора, Кальмана, вот почему я хотел, чтобы этот, в своих формах и линиях совершенный рот не лгал; я надеялся выиграть столько же, сколько я проиграл из-за этого грубого жеста.

«Неважно. Меня это совершенно не интересует», сказал я ей беспощадно.

«Тогда чего ты от меня добиваешься?» – вскричала она хриплым от ненависти голосом и вырвала запястье из моей руки.

«Ничего. Ты уродлива, когда врешь».

Разумеется, ее лож нисколько не изменила ее лица, обида сделала его даже красивее, она снова передернула плечами, как будто ее нимало не волновало, какой и когда она мне видится, и, поскольку это беспечное движение никак не отвечало тому, о чем она могла думать, ей пришлось целомудренно смежить ресницы, ее всегда изумленно распахнутые глаза скрылись под плотными ленивыми веками, предоставив губам безраздельно господствовать на лице.

Ничего большего в этот момент я не мог и желать, я смотрел на ее неподвижный рот, отличавшийся той исключительной особенностью, что верхняя губа была идеальной парой для нижней, крутой дугой поднималась к мягкой ложбинке, сбегавшей от носа к краю губы, при этом подъем не пресекался двумя обычными в этом месте бугорками, а линия спуска не прерывалась ямочками в уголках рта: симметричная пара губ образовывала идеальный овал.

Рот, созданный для того, чтобы насвистывать, беззаботно петь, безудержно щебетать, и ровные полные щеки, обрамленные копной непослушных, усеянных шальными завитками темно-каштановых волос, только подчеркивали это веселое, беззаботное и в любом случае неумышленное впечатление; она повернулась и, не опуская вздернутых худеньких плеч, двинулась к выходу, но потом передумала и, вместо того чтобы выйти из комнаты, бросилась на кровать.

Собственно, это была не кровать, а что-то вроде тахты, ночью на ней спали, а днем ее поверх белья покрывали тяжелым персидским ковром, и тахта была мягкой, теплой и шелковистой; ее неподвижно застывшее тело почти утонуло в ней; она была в темно-бордовом шелковом платье с белым шитьем, временно позаимствованном из материнского гардероба, из маленькой солнечной комнаты, где от пола до потолка высились белые шкафы, до отказа забитые сладко пахнущими нарядами; это было одно из любимых мест наших с ней поисков; ее голые ноги, бессильно свисающие с тахты, казалось, светились в тусклом полумраке комнаты, и, что делало зрелище еще более привлекательным, подол задрался до самых бедер; она лежала, обхватив голову обнаженными руками, и от плача мелко дрожало все ее тело – плечи, спина и даже округлые мягкие ягодицы.

Я не сказал бы, что эти слезы меня потрясли, ведь я знал все возможные варианты подобных сцен: от легкого всхлипывания до безутешного плача, не говоря уж о яростных приступах, заканчивавшихся всегда отвратительным и невыносимым, с потоком слез и соплей ревом, после чего наступало медленное и красноречивое успокоение, расслабившись, она истощенно и мягко подрагивала всем телом, отчего оно делалось губчато-мягким, податливым, но потом вдруг, без всякого видимого перехода возвращалась к обычному своему состоянию еще более сильной, уверенной и удовлетворенной.

Это знание, конечно, не означало, что я мог отказать ей в своем сочувствии, да, я знал, она плакала и тогда, когда я не видел ее, и об этих своих одиноких рыданиях, бывало, не без доли здоровой самоиронии, она даже открыто рассказывала другим, словно бы добровольно, с готовностью разоблачая тот факт, что рыдания, открытая демонстрация своих страданий вполне могут доставлять человеку и немалое наслаждение, и она с удовольствием плакала, например, также в обществе Ливии, в лице которой, как и во мне, находила отзывчивого, нежного, хотя, может быть, и не столь объективного утешителя, но все же надо сказать, что был в ее плаче и некий адресованный только мне акцент, некая, так сказать, целевая аранжировка, акцент в определенном смысле игривый, утрированный, театральный, как бы вызванный моим присутствием, бывший, я бы сказал, составным элементом, органической частью нашей общей, взаимной неискренности, составным элементом целой системы лжи, которую мы, переживая ее совершенно серьезно и с величайшей, как нам казалось, правдивостью, должны

были представлять друг другу как искренность, маскируя наши неискренние игры как раз ширмой полнейшей открытости, самой глубокой и самой бессовестной искренности; своим плачем она как бы репетировала на моих глазах будущую роль слабой, неимоверно слабой, беспомощной, хрупкой, легко ранимой изысканной женщины, будучи на самом-то деле холодной, жесткой, расчетливой, лукавой и беспощадной, да, в красоте она не могла состязаться с Хеди, но действовала так упрямо, нахраписто, так стремилась подчинить себе всех и вся, что и впрямь покоряла нас больше, чем Хеди с ее красотой, что, опять же, было обманом, и ей, разумеется, было известно, что я это знаю; она примерялась к роли, и все эти платья с кружевами и рюшами, мягко струившиеся, шелковистые, к которым мы оба испытывали самые нежные и глубокие чувства, были как бы защитной рубашкой, удачным подспорьем женственности, а тот факт, что они были крадеными, только добавлял волнующей пикантности ее тайным перевоплощениям, потому что она хотела быть точно такой же, как ее мать; я уверенными шагами направился к тахте, ибо, согласно отведенной мне роли, мне полагалось быть сильным, отзывчивым, спокойным и несколько даже жестоким, то есть в высшей степени мужественным, и какой бы фальшивой эта роль ни была, она обещала столько игривого наслаждения, что исполнять ее мне было ничуть не трудно.

Возможно, именно эта осознанная готовность к фальши и отличала меня от других мальчишек.

Я так живо переживал все ее девчоночьи выверты, как будто только разыгрывал из себя мальчишку, и опасался, что меня могут в любую минуту разоблачить.

Я как бы не чувствовал грани между своей мальчишеской и девчоночьей сущностью.

Казалось, это не я что-то делаю, что-то совершаю, а во мне существуют два готовых трафарета возможных действий, девчоночий и мальчишеский, а поскольку я был мальчишкой, то, естественно, выбирать нужно было мальчишеский трафарет, хотя я спокойно мог бы выбрать другой; например, грубым тоном спросить ее, да что с тобой происходит, черт побери, хотя я прекрасно понимал, что с ней происходило, и если она не ответила бы, то еще более грубо потребовать сию же минуту прекратить истерику, сказать ей не без сарказма, что из-за ее дурацкого рева мы только впустую теряем время, обругать ее и вообще сделать вид, будто ее слезы раздражают меня, хотя это было совсем не так, или вовсе наоборот, взяв на себя роль подруги, сказать ей, что если она по-прежнему

хочет увидеть своего дражайшего Кальмана, ибо нет никаких сомнений, что она хочет пойти туда, хотя я никак не пойму, что она в нем нашла, в этом типе, одно имя которого вызывает у меня тошноту, то тогда ей не следовало бы портить свое прекрасное личико, не заревываться до полного безобразия, эти символические пощечины нужны были ей только для доказательства ее слабости, точно так же, как мне нужно было грубить, чтобы доказать свою силу, а когда она эти пощечины наконец получила, то выпустила на свободу всю сдерживаемую энергию своего изощренного кокетства, восторгалась, повернулась на бок, отняла руки от лица и, перейдя на громкий захлебывающийся рев, показала мне искаженное от слез и рыданий лицо, которое и впрямь заслуживало некоторого реального сочувствия.

Казалось, что фальшь может дойти до такой ступени, когда она уже кажется правдой.

«Чего вы от меня хотите? Почему на меня орете? Чего вам надо? Зачем вы мучаете меня!» – захлебываясь в слезах, теперь уже неподдельных, кричала она, доставляя мне самое гнусное наслаждение, потому что плач ее был адресован одновременно мне и Кальману, неподдельными были ее метания между нами двоими, хотя мне это по-прежнему казалось игрой на публику; она снова перевернулась на живот, опять обхватила руками голову, и рыдания, теперь уже совершенно ничем не сдерживаемые, вознеслись в еще более искренний, еще более натуральный регистр; я стоял над нею очарованный и загипнотизированный тем, с какой ловкостью ей удалось, пусть медленно, постепенно, навязать своей плоти чувство, которое минуту назад казалось игрой, чувство страдания, которому ее плоть, за отсутствием реальных причин, пыталась сопротивляться, но ей это удалось, ее тело, распластанное на тахте, дрожало, конвульсивно дергалось и сотрясилось в страданиях, нет, это была уже не совсем игра! но я все же сохранил долю сдержанности, необходимой для роли уверенного в себе мужчины, не двинулся с места, не потянулся к ней и, естественно, не стал ее утешать, хотя зрелище это, сказать по совести, меня глубоко шокировало; она грызла, царапала и рвала покрывало и, словно припадочная, ритмично трясла головой, ее ноги совершенно безжизненно свисали с тахты, и казалось, что этот приступ не что иное, как некий неразрешимый антагонизм между полным саморазоблачением и абсолютной закрытостью, и мой испуг, ужас, маскируемая доброжелательным равнодушием потрясенность были более чем оправданны, ведь я хотел этого, это я этого добивался, это я своими словами пробудил

в ней скрытое сумасшествие, которым она дала мне почувствовать власть над собой, помогла внутренне одолеть другого, с кем, кстати сказать, меня связывали отношения слишком нежные и слишком грубые, чтобы испытывать из-за него настоящую ревность, всю эту игру она начала только ради меня, и каким голосом! захлебывающиеся рыдания переходили в крик, причем казалось, будто кричала она не одним, а двумя разными голосами, как будто за дробными, разрываемыми конвульсивными содроганиями звуками, откуда-то из глубины доносился особый, не прерывающийся, все более тоненький и пронзительный визг, настолько невыносимый, что казалось, вот-вот все рухнет и выскользнет из-под моего контроля.

Когда я лег рядом с ней на пружинистую тахту, склонился над нею и легонько коснулся плеча, мною двигало отнюдь не сочувствие, не жалость, не нежность, я скорее испытывал отвращение, ненависть и, главное, страх, что отныне так будет всегда, и хотя я знал, что слезы рано или поздно иссякнут, все видимое и слышимое повергало меня в такой шок, что доводы разума на меня не действовали, да, все так и останется, это не кончится никогда, то, что до этого было скрыто, а теперь вырвалось на поверхность, уже никуда не денется, в любую минуту может войти Сидония, набегут через сад соседи, ведь они тоже все слышат, вызовут врача, придут ее мать, отец, и она, в этом платье, так и будет быть, и тогда каким-то образом вскроется, что весь этот ужас происходит из-за меня.

«Слушай, Майя».

«Твоя мама пускай, бля, слушает!»

«Что такое? Ну что ты реवेशь? Что стряслось? Я с тобой. Ты ведь знаешь, что я тебя понимаю, полностью. Ты ведь сама сказала, что мы обещали друг другу...»

«Да насрать мне на все обещания!» – и она, вырвав руку, откатилась к стене.

Я метнулся за ней, просто чтобы закрыть ей рот.

«Да не уйду я, я только грозился уйти, но не уйду, обещаю! Майя! Я останусь. Майя! Ты можешь туда пойти. Если хочешь. Можешь делать все, что считаешь нужным. Почему ты не отвечаешь?» – прошептал я ей на ухо и попытался обнять ее всем своим телом, прижаться к ней, словно рассчитывая на то, что часть моего спокойствия передастся ей.

Но где к тому времени было все мое мужественное спокойствие, мое превосходство! я тоже дрожал, голос мой пресекался, и я даже не подозревал, что она все это прекрасно чувствовала и что большей для нее сатисфакции и быть не могло.

Вместе с тем испуганная моя нежность не только не охладила ее безумия, но, напротив, только подлила масла в огонь, и, как ни странно, именно этот момент позволил мне, заглянув внутрь ее безумия, понять: в этом действе, каким бы неистовым и пугающим оно ни казалось, оставалось вполне достаточно смысла, который можно назвать естественным и нормальным, потому что как только я попытался притянуть к себе ее голову, притянуть как бы нежно, умиротворяюще, на самом же деле собираясь, коварно воспользовавшись положением, зажать ей ладонью рот, чтобы больше не слышать этот кошмарный визг, – но не тут-то было! мы видели друг друга насквозь! – она тут же распознала мой обманный жест, тело ее напряглось, пытаясь отбросить меня, не переставая реветь и визжать, она принялась пинать и мутузить меня, больно куснула за палец, зареванное лицо ее исказилось, сделавшись по-мальчишески жестким и угловатым, и если бы в этот момент некоторая расчетливая хитрость не подавила во мне цепенящий ужас, если бы я отвечал на ее пинки и удары, то скорее всего она избила бы меня до полусмерти, потому что, хотя мы никогда по-настоящему не дрались, она была явно сильнее меня или, во всяком случае, более дерзкой и безрассудной.

Я не оборонялся и даже не заметил, когда она перестала визжать, я не пытался ее удержать, я терпел, и, наверное, это был самый искренний момент за время наших отношений, я позволял ей бить меня, пинаться, царапаться и кусаться, больше того, на каждое движение старался отвечать нежными и чувственными касаниями, мягкими ласками и поцелуями, которые в этой кутерьме, конечно, скользили мимо нее точно так же, как не всегда попадали в цель ее размашистые и по-девушечьи неловкие удары; и все же каким-то образом мальчишкой в этой ситуации была она, а я стал девчонкой, белки ее глаз сверкали, рот приоткрылся, обнажая белый оскал зубов, жилы на шее натянулись, в неожиданной тишине слышалось только бешеное ее дыхание, скрип и скрежет тахты, шлепки и удары.

Упершись мне в грудь кулаками, она попыталась оттолкнуть меня, сбросить с тахты, но случилось так, что моя ладонь очутилась на ее голом бедре, и тут, наверное, неожиданно для нее самой ее тело обмякло, энергия яростного протеста и бешеной ненависти вдруг изошла, растворилась, иссякла, и она, будто видела меня впервые в жизни, искренне изумилась тому, что я нахожусь так близко, что эта близость ей так приятна, глаза ее вновь округлились, и в них уже не было неистового безумия, а было знакомое удивление.

Она затаила дыхание.

Как будто боялась коснуться им моих губ – так близко мы ощущали тепло друг друга.

Ее кожа под моей ладонью слегка содрогнулась, как будто она только что поняла, что моя рука была там.

Как она там оказалась – понятия не имею.

Потом она снова заплакала.

Как будто ощущение близости и тепла заставило ее снова расплакаться, однако теперь в этом плаче чувствовалась реальная боль, боль тихая, я бы даже сказал, боль мудрая.

201

Боль, которая уже и не чает в безумном порыве избавиться от самой себя, и потому плач этот был уже, так сказать, не совсем настоящим, никак не сравнимым с тем, что было до этого, – скорее какое-то всхлипывание или хныканье.

И все-таки этот звук задел меня глубже, чем все предыдущие, и даже каким-то образом заразил меня, я даже издал долгий скулящий стон, но плач так и не вырвался из груди, потому что какая-то жесткая сила одновременно сковывала и распирала мне грудь, бедра, не позволяла мне целиком расслабиться, но при этом толкала, влекла меня к ней, и уже казалось, что все мои домыслы, все мои подозрения о том, что она своим приступом навязывала себе, а тем самым и мне несуществующие, выдуманные страдания, пыталась своим лицедейством меня обмануть и отвлечь, выманить у меня сочувствие, то есть покорить меня и в каком-то смысле вынудить сдаться, словом, подозрения эти мне казались уже совершенно беспочвенными, потому что страдает она реально, по-настоящему и причина этих страданий во мне, потому что она в меня влюблена, в меня тоже.

Я подвинулся ближе к ней, против чего она не протестовала, напротив, подсунув под меня руку, она нежно притянула меня к себе, и как бы в ответ на ее движение ладонь моя поднялась по ее ноге чуть выше и мой палец скользнул под трусики.

Так мы и лежали.

Ее пылающее лицо – на моем плече.

Лежали, словно в какой-то бездне, неизмеримой, теплой и влажной, где непонятно, куда течет время, да, собственно говоря, и неинтересно.

Я легонько покачивал ее тело, словно хотел убаюкать нас.

Точно так же в какие-то отдаленные, выпавшие из памяти времена мы лежали под письменным столом с моей сестренкой, когда я экспериментировал с булавками и она, ища убежища и не находя

его нигде, кроме моей груди, взвизгнув от боли, а главное, ужаса, бросилась на меня, как будто, доверяя мне свое жалкое, бесформенное и для всех других отвратительное тело, хотела сказать мне, что не только понимает мои жестокие игры с нею, но даже в каком-то смысле благодарна мне, так как я был единственным, кто с помощью этих игр нашел язык, на котором с ней можно было общаться; полулежа на прохладном полу, мы с сестренкой укачивали друг друга, пока не заснули в обнимку в предвечерних сумерках.

«Придет время, и ты поймешь, что ты мучаешь меня совершенно, ну совершенно напрасно!» – прошептала она позднее, и в покачивании ее губы едва не уткнулись мне в ухо. «Можешь не верить мне, но так сильно я люблю одного тебя, так сильно я никого больше не люблю».

Ее голос как будто звучал из той давней поры, из того предвечернего полумрака, прямо из тела моей сестренки, немного пронзительно и немного напевно, щекоча мне ухо, и я чувствовал, будто обнимаю бесформенное тело моей сестры, хотя знал, что держал в руках стройное тело Майи.

А она все жужжала мне на ухо, с благодарностью, нежностью, счастливо.

«Вот, к примеру, вчера я сказала ему, что сколько бы он ни приставал ко мне, все равно моя первая любовь это ты, а не он, так прямо и сказала, и что ты добрый, что не такой злыдень, как они, я ведь знаю, что он делает это со мной только для того, чтобы потом можно было рассказать обо всем Кристиану. Я сказала ему, что он в любом случае на втором месте».

Она на мгновение умолкла, словно не решаясь в чем-то признаться, но потом слова ее полились, обдавая мне ухо жаром.

«Ты мой малыш. Я обожаю играть с тобой! И не нужно тебе обижаться, когда я прикидываюсь, будто влюблена в него. Да, он меня в каком-то смысле интересует, но это игра, я просто тебя дразню, а сама никого, поверь мне! никого не люблю больше, чем тебя! уж во всяком случае не его, потому что он просто скотина и ни чуточки мне не нравится. Иногда мы могли бы играть в то, что ты мой сыночек. Я даже решила как-то, что хочу иметь мальчика, точно такого, как ты, другого я и представить себе не могу, такого же милого, славного, такого же белокурого ангелочка».

Она снова умолкла, волна ее излияний разбилась о камни реальных чувств.

«Но ты тоже, надо сказать, мерзавец. Вот почему я все время плачу, ты тоже хочешь все знать, шантажируешь, не позволяешь

мне иметь свои маленькие секреты, хотя ведь у нас с тобой есть величайшая общая тайна, и неужто ты думаешь, что ради чего-то другого я могу предать тебя, для меня это самое главное, навсегда! а ты, между прочим, зря пытаешься скрыть от меня, что на самом деле ты любишь не Ливию, ты влюблен в Хеди, а на меня ты плевать хотел».

Все осталось по-прежнему, мы продолжали покачиваться, но что-то все-таки побуждало меня отдаться чарам этого голоса, и казалось, это не я укачиваю ее, а она убаюкивает меня своим голосом, навеивает истому, и приходится делать усилия, чтобы удержать нас обоих на пороге сна.

«Теперь ты можешь спокойно мне все рассказать!» – сказал я громко, надеясь освободиться от этой сладкой истомы.

«О чем?» – так же громко спросила она.

«О том, чем вы занимались с ним вчера вечером».

«И не вечером даже, а ночью».

«Ночью?»

«Да, ночью».

«Опять будешь врать?»

«Ну, почти ночью, поздно вечером, совсем поздно».

Это звучало как начало новой отвлекающей небылицы, которая была мне не менее интересна, чем правда, но она не продолжила, а я прекратил ее укачивать.

«Ну, рассказывай!»

Однако она не ответила, и даже тело ее словно бы онемело в моих руках.

МАНСАРДА МЕЛЬХИОРА

204

По своей большой комнате он расхаживал легкими пружинистыми и как бы заученными шагами, и необычный, довольно экстравагантный старый дощатый пол, выкрашенный в белый, ослепительно-белый цвет, при каждом шаге слегка потрескивал под его ногами, обутыми в черные остроносые, совершенно растоптанные туфли, которые на фоне белого пола, застеленного ярко-красным толстым ковром, выглядели убогими и даже грязными; он, казалось, готовился к какой-то тайной, неведомой мне церемонии вроде ритуала посвящения; потряхивая зажатым в руке спичечным коробком и зажигая там и тут свечи, он с почти нейтральной вежливостью предложил мне сесть в удобное кресло; но несмотря на подчеркнутую его вежливость, все же была в этих, на первый взгляд ничем не обоснованных, приготовлениях некоторая целеустремленность, некий довольно прозрачный намек на то, что дальнейшее наше совместное пребывание он хотел бы сделать исключительно приятным и прежде всего комфортным, и этому, явно связанному со мною, плану были подчинены все его движения; сбросив пиджак и ослабив галстук, он расстегнул верхние пуговицы рубашки, окинул рассеянным взглядом комнату, словно прикидывая, что еще нужно сделать, с наслаждением и как бы не замечая меня почесал волосы на груди и прошел через арку в прихожую, откуда после некоторой непонятной для меня возни из скрытых динамиков мягко зазвучала какая-то классическая музыка; но я, не желая поддаваться этой приподнятой, но с грубоватой вульгарностью срежиссированной атмосфере, продолжал стоять.

Вернувшись, он погасил верхний свет, что меня удивило, больше того, если честно признаться, показалось слишком поспешным намеком на нечто такое, что мы оба хотели бы пока оставить в тайне, словом, меня это напугало, хотя в комнате, в зеркальных бра и рогатых подсвечниках уже пылали свечи, то есть было светло, горело уже по меньшей мере три десятка тонких восковых свечей, отчего помещение напоминало одновременно храм и бомбоубежище; темно-красные шторы с королевскими лилиями, позолочен-

ными светом свечей, он задернул, и вся стена, от потолка до пола, скрылась за этой слегка колеблющейся драпировкой.

Он двигался с упоением, и поскольку все его члены были тонкими, вытянутыми – длинные руки, тонкие пальцы рук, точеные бедра в довольно узких джинсах, – все движения его были изящными, он с удовольствием, если не сказать с наслаждением, касался привычных предметов, как будто при всей их привычности они доставляли ему элементарную радость, но в то же время я видел, что вся эта по-домашнему милая и утонченная ритуальная игра была устроена ради меня, как будто он что-то хотел доказать не только себе, но и мне, ибо игра эта вовсе не выглядела бесцельной, он явно хотел мне продемонстрировать, что в этом пространстве можно и нужно жить с удовольствием, какого ритма движений требует эта обстановка, показать мне в мельчайших деталях и этот ритм, и предметы, которыми он себя окружил; но в этом его намерении, при всей его искренности и при всем неподдельном радушии, нельзя было не почувствовать какое-то судорожное напряжение, он почти беззастенчиво рисовался, пытался вести себя чуть ли не фамильярно, но и тут, за привычным и отработанным позерством, за чувством превосходства, за его самолюбованием я не мог не почувствовать некоторую обиженную растерянность, словно он, прикрываясь щитом превосходства, на самом деле наблюдал, интересно ли мне вообще то, что он предлагал как интимные знаки доверия, и не ошибся ли он во мне.

205

В каждом его движении, каким бы ни было оно гармоничным, уверенным, сравнимым подчас с откровенным признанием, я ощущал его жадное, настойчивое, я даже сказал бы, эгоистичное любопытство, и этот невысказанный им вопрос был вполне обоснован, ибо я делал вид, будто все это шоу меня нисколько не волнует, что я предпочел бы остаться в надежных рамках обычного этикета; я просто хотел, как бы не замечая тайного смысла его жестов, закрыть глаза, чтобы не видеть, как он распахивается передо мной, как обнажает всего себя, рассчитывая на взаимность; но когда он улавливал смысл и степень моих опасений, он с готовностью отступал, смягчая или дезавуируя эти знаки другими жестами.

Однако к этому времени мы зашли слишком далеко, не говоря уж о том, что предшествовало этой встрече, так что ни о каком действительном отступлении не могло быть и речи; ошибкой казалось мне только то, что я поднялся к нему, и теперь он стоял, улыбаясь, передо мной, улыбаясь мне бесконечно доброжелательной, долгой, без каких-либо страхов и беспокойства улыбкой,

не вымаливающей, но дарящей доверие, улыбкой, которую та самая скрываемая им растерянность делала еще более трепетной и чувствительной, которая охватывала сразу все лицо – вертикальные складки у губ, светящиеся изнутри глаза, гладкий лоб, уголки рта и, конечно же, обольстительные ямочки на щеках, так что закрыть глаза я не мог хотя бы уже потому, что остро почувствовал в этот момент, что если я сделаю это или хотя бы неосторожно приопущу ресницы, то выдам то связанное с ним побуждение, которое я ощутил чуть ли не в первую же минуту нашей встречи, что будет разительно противоречить моей несколько скованной от деланного равнодушия позе, за которой я пытался скрыть, причем не от него только, но и от самого себя, пытался ослабить, втиснуть в рамки нравственных приличий свое однозначное влечение, восторг, который во мне вызывали его рот, улыбка, глаза, мягкий баритон и игриво пружинистая походка; полюбуйтесь, как я хожу! – словно бы говорил он, в то время как я изо всех сил пытался дисциплинировать, призвать, так сказать, к порядку свои ощущения и тем самым каким-то образом удержать в трезвых рамках благоразумия и его самого! разумеется, это было глупо и бесполезно – уповать, будто ситуацию, когда я стоял перед ним в этой весьма занятой, но все же скорее отталкивающей, чем симпатичной комнате, ситуацию, в которой сознание играло в прятки с чувствами, еще могла контролировать какая-то внутренняя дисциплина! отчаянными усилиями я пытался перевести захваченное его улыбкой внимание на оторванную от мира изысканную обстановку, искал какие-то взаимосвязи, чтобы, поняв их, возможно, найти спасительную лазейку для разума, почти целиком оказавшегося под властью физических ощущений; но тут, к неприятному удивлению, я почувствовал, что мой рот и глаза невольно перенимают его улыбку, что я уже улыбаюсь ему в ответ его улыбкой, его глазами; что несмотря на то, что я не закрыл глаза, я все же отождествляюсь с ним, между тем идет время, и независимо от того, что я сделаю или попытаюсь сделать, все пойдет в направлении, которое будет задавать он, если я это нам позволю; мои губы несколько напряглись, но я был не в состоянии отделить его улыбку от своего рта, что означало, что еще немного, и я потеряю то, что мы называем волей распоряжаться собой! меня слишком смущала его, явно диктуемая опытом, небрежная, терпеливая и в каком-то смысле безвкусно пренебрежительная целеустремленность; единственным средством спасения для меня было бы под благовидным предлогом попрощаться и прочь отсюда! но зачем же тогда

я с такой готовностью поднялся к нему? можно было даже без слов повернуться и выйти за дверь! но представить себе такой оборот я не мог, это было исключено, ведь мы оба старались, чтобы в нашем общении сохранялась видимость обычных взаимоотношений, ну а что может быть обычнее ситуации, когда встречаются двое молодых мужчин и один приглашает другого к себе на бокал вина, разве есть в этом что-то предосудительное? правда, их явная и взаимная, выходящая за пределы приличий симпатия на минуту смутила обоих, однако в ходе умного разговора, когда сила чувств проявляется во все более отвлеченных мыслях, несомненно, могло раствориться и это смущение, но только в том случае, если бы оно не было столь прозрачным, что лишь укрепляло чувство интимной близости, которого я и желал, и хотел избежать, а наша взаимная деликатность, когда я старался не обидеть его, а он пытался не заходить слишком далеко, еще больше усиливала эту близость, и все мои ухищрения, мягкий протест, самообман, попытки закрыть глаза, мое замешательство, демонстративная скованность позы, тактичность – все в конце концов возвращалось ко мне бумерангом.

К тому же он постоянно, безумолчно говорил, быстро и несколько громче, чем было необходимо, всегда следуя словами за моим взглядом; поскольку других тем у нас в это время не могло и быть, он комментировал, объяснял мне то, на чем, как ему казалось, останавливались мои глаза; с некоторой долей иронии я мог бы сказать, что он просто трепался, пытаюсь рассеять мое замешательство и одновременно не допустить, чтобы это смущение, проглядывающее в моей принужденно подрагивающей улыбке, передавалось ему, он балаболит, звенел, заливался, кружил мне голову, чем, опять же, отнюдь не способствовал тому, чтобы я примирился с той особенностью, с той, скажем так, гендерной специфичностью, которая отличала его манеру выражать свое превосходство, ибо это действительно было мужское самодовольство или то, что мы таковым считаем, – поведение, внушающее надежность, обольстительное, инстинктивно навязчивое, слегка агрессивное; словом, мне показалось, будто я вижу свое отражение в зеркале, и даже не отражение, а пародию! – наблюдать подобное поведением со стороны мне не доводилось, потому что я сам не задумываясь использовал все эти приемы; это просто дурная манера, которую мы усваиваем еще подростками и полагаем ее очень даже мужской: не говорить, а трепать языком, так чтобы в стиле этого трепа, в ловком жонглировании словами все же явственно выражалась направленность наших скрытых намерений; не правда ли,

я удивлен, спросил он, белым цветом пола? но ожидал не ответа, а только возможности снова поймать мой взгляд и больше не отпускать его; он понимает, конечно, что это не принято, сказал он, но разве он делает что-нибудь как предписано! ну и как он мне нравится? потому что когда он закончил покраску, то нашел его замечательным и был страшно доволен собой, что не пришлось этот пол отдраивать; я представить себе не могу, какой свинарник здесь был, до него тут жил какой-то старик, а он часто задумывается о собственной старости и боится ее, потому что, учитывая его аномальные, так сказать, увлечения, это будет самый критический возраст, когда тело уже превратится в труху, но все-таки сохранит юношеские порывы и тягу к молодой плоти, так вот, соседи рассказывали, что старик умер в холле, там, где сейчас диван, умер на провонявшем мочой тюфяке, и он молит судьбу, чтобы она не дала ему такой старости, он вообще не желает старости, никакой; когда он сюда переехал, здесь была такая неописуемая грязь, такая вонища, что и зимой приходилось держать окна открытыми, и даже сейчас, четыре года спустя, он иногда что-то чувствует в воздухе, а с другой стороны, почему пол не может быть белым, почему он должен быть непременно коричневым, а то и желтым? и разве плоха идея – замазать грязь цветом девственной чистоты? в конце концов, это вполне соответствует вкусам добропорядочных немцев, а он пусть и не совсем, а только наполовину, но все-таки немец.

Что значит наполовину, удивился я.

Ну это долгая и довольно занятная история, сказал он со смехом и, как бы легко отбросив неожиданное препятствие на своем пути, с прежним жаром продолжил, спросив, была ли у меня возможность для подобных наблюдений, и если нет, то наверняка я еще обнаружу, что именно такой белый цвет мог бы стать подходящим символом национального характера разгромленных немцев.

Я сказал, что чаще в глаза мне бросается серый, и, несколько устыдившись фривольности тона, отвел глаза в сторону.

Но он последовал за моим взглядом; или вот этот стол, хорош, не так ли? а кресла, ковры, канделябры? все это он забрал у матери, почти все фамильное, так сказать, наследство! чуть ли не подчистую ограбил матушку, но матерям это нравится! правда, это было недавно, потому что сначала ему хотелось, чтобы квартира была вся белая и совершенно пустая, чтобы не было ничего – только кровать с белой простыней, и ничего больше; но это все глупости, которые он несет просто потому, что рад меня видеть здесь,

но боялся об этом сказать, и не выпить ли нам по глоточку? у него случайно есть бутылка французского шампанского, охлажденная, он припас ее для какого-нибудь необыкновенного случая, ведь никогда нельзя знать, когда такой случай выпадет, не так ли? и как я думаю, не стоит ли, считая нашу с ним встречу необыкновенной, откупорить эту бутылку?

Приняв мое неопределенное молчание за ответ, он вышел за шампанским; старинные часы на стене в это время стали бить двенадцать, я, смирившись, тупо считал удары, «вот и полночь», мелькнула у меня в голове мысль, прямо скажем, не слишком оригинальная, но тем более характерная, свидетельствующая о том, что мышление мое к тому времени попросту отключилось, передав управление мною голому созерцанию и органам чувств; себя самого я тоже воспринимал как предмет, попавший сюда неизвестно как, и хотя ощущение это было знакомо мне, я никогда не переживал его так ярко и глубоко; я чувствовал исключительность места, где я нахожусь, и времени, отмеренного боем часов, чувствовал, что должно случиться нечто, чему я изо всех сил противлюсь, что изменит всю мою жизнь, но что бы сейчас ни случилось, я знаю, что в конечном счете я этого желаю; полночь, час привидений, лучшего времени не придумаешь! я внутренне потешался над собой! можно подумать, будто я в жизни не предавался никаким искушениям, ну это и правда смешно, ломаюсь, как девушка, которая не может решить, сохранить ей невинность или расстаться с ней; казалось, что эта комната была конечным пунктом на пути чего-то долго откладываемого и до сих пор до конца неясного, – но я продолжал по инерции делать вид, будто мне доставляет неслыханное наслаждение разыгрывать весь этот спектакль! как будто я и понятия не имел, что же такое особенное может произойти здесь, или, возможно, уже и произошло? но что?

Потрескивая, горели свечи, красиво и успокаивающе, а за окном лил дождь; после того как пробили часы, слышны были только мерные такты барочной музыки да плеск и барабанная дробь дождя, как будто неведомый режиссер специально поставил эту до смешного утрированную красивую сцену.

Между тем режиссер был, в этом я совершенно уверен, но то был не он и не я, а кто-то другой, или, по крайней мере, сцена поставилась сама собой, как любая случайная встреча, к которой никто сознательно и с заранее обдуманными намерениями не стремится, и только потом, оглядываясь назад, мы понимаем, что в дело все же вмешалась судьба; на первый взгляд все происходит

банально, случайно, складывается из каких-то путаных мелочей, деталей, импульсов, которым не стоит придавать лишнего значения, чего мы, как правило, и не делаем, ведь то, что проглядывает в подобных случаях сквозь путаницу событий, проглядывает неким знаком или предостережением, это, как правило, не что иное, как частица совсем другой истории, не имеющей к нам отношения; предмет немного забавных сердечных страданий Теи, подумал я тогда о нем, ибо как раз о нем в тот скучный осенний вечер, в гнетущей тишине репетиционного зала Тея говорила с фрау Кюнерт, называя его при этом «мальчиком», явно насмешливо и достаточно необычно, чтобы пробудить мое любопытство; но меня в тот момент волновал не он сам, мне было интересно наблюдать за душевным процессом, за тем, как она постепенно переносила основательно возбужденные в ходе репетируемой сцены чувства на сторонний объект, который почему-то называла «мальчиком»; в одной из предыдущих глав я уже говорил о том, что Тея, как все выдающиеся актеры, среди прочего обладала способностью все происходящие в ней процессы делать видимыми и яркими, порою сливая их со своей личной жизнью, и именно потому, что демонстрируемые на сцене чувства питались так называемым опытом личной жизни, невозможно было понять, когда она говорит серьезно, а когда лишь играет, играет чем-то, что в действительности для нее дело далеко не шуточное; скажем так, в отличие от обычных здравомыслящих смертных серьезные вещи она обращала в игру, чтобы быть в постоянной готовности всерьез отнестись к тому, что всего лишь игра! и это явление интересовало меня куда больше, чем казавшийся совершенно не важным вопрос, а что же это за личность, насмешливо именуемая «мальчиком», человек, которого она презирует, а возможно, и ненавидит настолько, что даже не называет по имени, которому она не осмеливается позвонить, потому что он по каким-то неведомым мне причинам попросил ее больше никогда не звонить ему, и чьей близости в этот момент, когда распаленное на сцене эротическое желание стало вдруг беспредметным, она все-таки жаждет настолько, что готова пойти на любые возможные унижения; человек, в чьей комнате я окажусь ночью того же дня – в каком-то смысле вместо нее.

Несмотря на дурные предвестия, коих было немало, я все же решил поддаться ее уговорам и провести вечер вместе с ними, «ну действительно! почему вы такой несносный? почему бы вам не пойти? почему заставляете вас упрашивать, когда я этого так хочу! ах, эти мальчишки, они меня просто с ума сведут! у вас будет

возможность с ним познакомиться, он весьма замечательный экземпляр, но вам не придется меня ревновать, потому что вы более замечательный! Зиглинда, будь так любезна, попроси и ты, пусть он составит нам компанию! ну я умоляю вас, я! неужели вам этого недостаточно?» – задыхаясь, нашептывала она, играя на этот раз неумелую юную соблазнительницу, и прильнув ко мне своим хрупким телом, вцепилась мне в локоть; устоять под этим игривым напором было довольно трудно, но отправился я вместе с ними все не потому, что меня подстегивало любопытство, не говоря уж о ревности! и не потому, что меня заинтриговали их, по-видимому, довольно превратные отношения, а скорее всего потому, что с того момента, когда Тея, которой наконец удалось оторвать свой исполненный ужаса и любовной страсти взгляд от обнаженного торса Хюбхена, и она, повернувшись к нам, встретилась с моим взглядом, тоже жадно распахнутым от внимания и от зрительского, не побоюсь сказать, сладострастия, словом, с того момента я тоже всем своим существом был вовлечен в тот процесс, который разыгрывался в душе актрисы где-то на зыбкой грани между профессиональной и личной искренностью, и было еще неизвестно, не получит ли эта сцена, которую на самом пике с бесцеремонной грубостью прервал режиссер, продолжение между нами двоими, ибо в том, что остановить ее невозможно, не было никаких сомнений.

211

Тем не менее игра, которую мы с ней вели, была совершенно трезвая, и ни один ошибочный или неконтролируемый взгляд не мог бы эту игру сбить с намеченного в ясном уме пути – подобное могло разве что добавить ей остроты, лишним поворотом, новым сплетением чувств сделать более смелым и жарким то, что, в сущности, было и оставалось холодным; как будто мы свысока, очарованные сознанием собственного интеллектуального превосходства, говорили друг другу: нет, нет! мы способны перенести даже такие случайные инстинктивные взгляды и не будем, подобно животным, набрасываться друг на друга! нас связывает самый горячий, охватывающий все детали и даже детали деталей взаимный интерес, который каким-то, в известной степени противоестественным, образом остается в сфере деятельности сознания именно для того, чтобы делать заметными любые движения грубых инстинктов! ибо наш интерес друг к другу столь интенсивен, что ни на минуту не позволяет проявиться совершенно необходимым для нормальной близости человеческим слабостям; и это вовсе не исключительное явление, каким оно может показаться на первый

взгляд: достаточно вспомнить влюбленных, которые, достигнув вершины влечения, граничащего уже с самоуничтожением, не способны соединиться физически до тех пор, пока из сферы духовного наслаждения не опустятся к более приземленной близости, пока дух их любви не сожмется под унижительным давлением физических мук и они, именно через эти врата совместных невыносимых мучений, не достигнут освобождающего удовлетворения – нет, не вечного, а только сиюминутного блаженства, попав, стало быть, не туда, куда они направлялись, а туда, куда им позволило тело.

Мы стояли под унылым неоновым светом в узком и специфически пахнущем коридоре, что вел из репетиционного зала к артистическим уборным, складским помещениям, душевым кабинам и туалетам; здесь, где пахло клееными пыльными декорациями, разило тяжелыми ароматами грима, пудры, одеколонов, пропотевших костюмов и потных тел, постоянно забытых сливов, разношенных туфель и тапочек, размокшего мыла и сырых, сомнительной чистоты полотенец, мы впервые коснулись друг друга; я никогда не видел ее лицо так близко и разглядывал его не как человеческое лицо, лицо женщины, а как необыкновенный ландшафт, знакомый и близкий, где я знаю все уголки и тропы, пригодные для укрытия гроты, тени, зарубки, где знаю значение каждого шороха и созерцающая который я тоже чувствую себя по-младенчески голым; фрау Кюнерт все еще держала в руке трубку подвешенного на стене телефона, держала с рассеянным и обиженным видом, но вместе с тем с явным удовлетворением человека, исполнившего свой долг: «Вот видишь, как бы ни унижали меня твои поручения, ради тебя я готова на все!» – она только что завершила свой бесстрастный, как нам показалось, отчет о своем разговоре с Мельхиором; «Ну что я тебе говорила! я просто неотразима!» – воскликнула Тея, когда фрау Кюнерт, торжествуя улыбаясь, зло швырнула трубку на аппарат; Тея, конечно, вела себя возмутительно, но не более, чем обычно, стремясь присвоить себе, пусть игриво, не скрывая собственных слабостей, любой даже самый пустяшный успех; но это уж, видимо, было чересчур, и фрау Кюнерт имела все основания для обиды не только из-за того, что сам по себе разговор был ей неприятен, попробуйте-ка убедить человека пойти на что-то, чего он не хочет, и ей было ясно, что Мельхиор принял приглашение не ради красивых глаз Теи, а потому, что ее уловка сработала, потому что она заманила его в капкан и, собственно говоря, Мельхиор не мог отказать не Тее, а ей, посреднице, фрау Кюнерт, с которой он был почти незнаком и поэтому не хотел обидеть; точнее сказать,

даже не подозревая, что Тея без тени смущения открыто болтает о самых интимных вещах, словно пытаясь ценой такой откровенности сохранить действительно важные тайны собственной жизни, Мельхиор не хотел делать достоянием гласности свой грубый отказ, которым он по каким-то причинам вынужден был ответить на ее напористые и, как я узнал позже, морально небезупречные притязания, словом, он не желал посвящать фрау Кюнерт в тайну, о которой та, между прочим, уже давно знала; но укоризненный взгляд и укоризненный тон фрау Кюнерт были вызваны не столько мучительным разговором и даже не мстительностью Мельхиора, которой он как бы давал понять Тее, что напрасно она старается, хозяином положения все равно будет он – разумеется, он придет! с удовольствием, только не один, а со своим французским другом, который сейчас у него гостит, на что фрау Кюнерт возразить было нечего, и она поспешила заверить его, что Тея всегда бесконечно рада возможности познакомиться с его друзьями; нет, упреки, обида и гнев фрау Кюнерт, скорее всего, вызвал жест, показавшийся ей неожиданным и необъяснимым поворотом событий, – нежный жест, которым Тея еще во время телефонных переговоров, повернувшись ко мне, взяла меня за руку, принялась нашептывать и мурлыкать, на что я самым естественным образом ответил недоуменной ухмылкой: в самом деле, чего ей меня хватать, когда ей нужен другой! или я могу заменить его? как мой обнаженный взгляд только что заменил ей обнаженный торс Хюбхена? или мы ей нужны сразу оба? быть может, она решила свести нас, чтобы столкнуть нас лбами и доказать, что Мельхиор ей не так уж и интересен, что ей ничего не стоит взять в оборот любого, кого угодно! и тем самым расплатиться за унижение, которое ей причинил Мельхиор, грубо отвергнув ее, и которое, как смертельная рана, прорвалось в ходе репетиции в ее сцене с Хюбхеном? ибо да, она жаждет, жаждет красоты и молодости! а потом эта рана стала неудержимо кровоточить во время их безнадежного препирательства с режиссером; во всяком случае то доверие, нежность и безграничная заинтересованность, с которыми мы, приобнявшись, смотрели в глаза друг другу, в то время как жизнь вокруг шла своим чередом, привели фрау Кюнерт в полное замешательство; по коридору тащили кулисы и реквизит, кто-то спустил в туалете воду, из душевой вышел голый Хюбхен и, направляясь к своей уборной, довольно нагло подмигнул Тее, как бы желая сказать: «Эх, несчастная шлюха, сейчас ты получишь от этого типа то, чего только что жаждала получить от меня!» – а растерянная фрау Кюнерт никак не могла

понять ни жеста Теи, ни наших взглядов, не говоря уж о том, что Тея ни словом не выразила ей признательности за посредничество, да и не могла сделать этого, полностью поглощенная мною, и к тому же она считала само собой разумеющимся, что фрау Кюнерт была при ней вроде служанки.

Вскоре, конечно же, стало ясно, что внимание Теи ко мне было мнимым, точно так же как и мое внимание к ней, хотя мнимое это внимание было столь же приятно, как если бы оно было реальным и безраздельным, оно льстило мне, ее тело было грациозно легким, и уже не впервые я ощущал желание обнять его, прижать к себе, мне казалось, я знаю, что тело это нельзя привлекать к себе грубо, что свою гибкую мягкость, в которой всегда ощущалась и толика жесткости, она отдаст нам только в ответ на нежность, только если мы будем способны свою напористость сделать легкой, как дуновение ветерка, словом, она пленила меня, но при этом, выказывая ей глубочайшее, чуть ли не подобострастное внимание, я, собственно, наблюдал за тем, как она это делает, а она это именно делала, как она порождает в себе эту безукоризненную феерию иллюзий, как ей удается создавать феноменально эффектные ситуации, оставаясь при этом всегда за их рамками, и где же тогда она, настоящая Тея, спрашивал я себя, если не было ни единого жеста, который она бы не контролировала? в свою очередь, я тоже лишь притворялся, будто взираю на Тею с почтительным, едва не любовным вниманием, которое и могла наблюдать фрау Кюнерт; в конечном счете эта более чем серьезная игра мнимостей и волновала меня больше всего с того момента, когда, месяца за полтора до описываемой сцены в коридоре, Лангерханс впервые подвел меня к своему режиссерскому столику и усадил рядом с фрау Кюнерт на собственный пустующий стул, на который никогда не садился, потому что во время репетиции он, почесывая подбородок и время от времени то сдергивая с носа, то водружая на место свои очки, с отсутствующим видом прогуливался по залу, как будто его занимало совсем не то, что действительно занимало.

Но как и когда она появилась у нашего столика, я совершенно не помню, потому что, стоило мне занять это место, со временем по многим причинам ставшее неудобным, она оказалась рядом, а может быть, была там уже и раньше, только я ее не заметил?

Возможно, была, а может, и подошла позднее, но как бы то ни было, у меня сразу возникло ощущение, что она здесь из-за меня, и эта забывчивость, этот провал в моей памяти доказывают лишний раз, что механика чувств, которая так волнует нас в этом романе,

настолько заслонена эмоциями, владеющими нами сейчас, что мы не можем сказать о ней ничего существенного; а кроме того, наверно, любое событие заслоняет от нас направленное на него пристальное внимание, и позднее, оглядываясь на него, мы вспоминаем не то, что происходило, а то, как мы наблюдали за этим, какие чувства испытывали к затуманенному нашим вниманием событию, в результате чего мы и не воспринимаем событие как событие, перемену как перемену, переломный период как переломный, даже если вечно требуем перемен, драматических поворотов от жизни, потому что именно в переменах, пусть даже трагических по своим масштабам, мы надеемся обрести спасение, отсюда и возвышающее нас ощущение «я будто ждал этого»; но точно так же, как наше внимание заслоняет собою события, ожидания заслоняют от нас перемены, так что все действительно знаменательные изменения в нашей жизни происходят тишайшим и незаметным образом, и мы начинаем подозревать о них, когда новая угрожающая ситуация уже завладела нами настолько, что вернуться назад, к нежеланному, презираемому, но надежному и привычному прошлому становится невозможным.

Я попросту не заметил, что с появлением Теи перестал быть тем человеком, которым был раньше.

Словом, Тея, вскинув локти на стол, стояла у режиссерского подиума и, как будто не замечая меня, продолжала прерванный по какой-то причине разговор; я знал ее по фильмам и фотографиям, и мне вспомнилась вдруг даже какая-то сцена, как она, лет на десять моложе, с маленькой, восторженной от движения грудью, откидывает одеяло и забирается в чью-то постель; но сейчас она показалась незнакомой, как если бы перед нами было чье-то близкое нам лицо, лицо матери или возлюбленной, которое мы видим впервые; то было настолько сильное и двойственное чувство интимности и знакомости и вместе с тем чуждости, а также рожденной естественным любопытством стыдливости, что я не нашел лучшего, как поддаться и тому и другому, делая в то же время вид, будто не поддаюсь ни одному из чувств; но с этой минуты я не обращал внимания ни на что, только на нее, и даже пытался удерживать в ноздрах ее запах, притворяясь при этом, будто слежу за всем, кроме нее; странно, но точно так же, однако по совершенно другим, выяснившимся гораздо позднее причинам вела себя Тея, делая вид, будто не замечает моего лица, находившегося от нее от силы в двух пядях, будто не ощущает излучаемого моим лицом жара, а между тем она говорила, словно бы обращаясь

ко мне, точнее сказать, обращалась она к фрау Кюнерт, как ни в чем не бывало продолжая прерванный разговор, но складывала слова и снабжала их едва уловимыми добавочными интонациями таким образом, чтобы история, о начале которой я не имел представления, была при всей ее непонятности интересна и мне.

Речь вроде бы шла о каких-то замороженных мелких креветках, полученных «из оттуда», что означало – из-за стены, из другой, западной половины города, и это странное выражение придало всей фразе, которая прозвучала сквозь шум готовящегося к утренней репетиции зала, такой оттенок, как будто она никак не соотносилась с реальностью, а была заимствована из сказки или дешевого триллера; она заставляла представить, что, выйдя из этого зала, ты тут же уткнешься в стену – в стену, о которой не очень-то принято говорить, а там, за стеной – еще заграждения из колючей проволоки, противотанковые ежи и коварно таящиеся в земле мины; один неосторожный шаг, и ты уже на том свете! а также нейтральная полоса, за которой лежит другой, фантастический город, город-призрак, который для нас не существовал, но из которого, невзирая на автоматчиков и обученных рвать людей в клочья овчарок, все-таки добрались эти замороженные креветки, их привез кто-то из друзей, чьего имени я не разобрал, однако почувствовал, что «на той стороне» он фигура весьма значительная и притом очень уважает Тею, и когда она вскрыла пакетик и вытряхнула содержимое на тарелку, ей вдруг почудилось, что перед ней розовые гусеницы, которые, не успев оуклиться, угодили, бедняжки, под жуткое оледенение; нет, креветок она видела не впервые, но тут почему-то, сама не поймет почему, они вызвали у нее отвращение, ей стало так дурно, что чуть не стошнило; что она будет делать с ними, она не знала, и вообще, разве не отвратительно, что мы жрем все подряд! не лучше ли быть бегемотом и поедать только свежую вкусную травку? так нет же, вкусовые рецепторы требуют бог знает чего, и острого им подай, и соленого, горького, сладкого, без остановки болтала она, да они разорваться готовы от избытка желаний, у этих рецепторов больше желаний, чем на свете есть вкусов, и настоящим бесстыдством она считает не то, когда люди у всех на глазах сношаются, а когда они, никого не стесняясь, жрут, но в конце концов, хотя тошнота не прошла, она все же решила готовить, перед готовкой же, как фрау Кюнерт известно, она любит красиво, чтобы глаз радовался, разложить на кухонном столе продукты, и тогда она почти видит, как один вкус подстраивается к другому, чувствует и глазами и языком, вот когда появляется

аппетит, а готовить она обожает, ведь это всегда игра, всегда импровизация, а игру не может остановить даже рвотный рефлекс! короче, она решила сперва приготовить картофельное пюре – но не обычное, а оживить скучный вкус картошки, молока и масла тертым сыром и подкисшей сметаной, потом выложила горячее пюре на блюдо, сделала посередине углубление и, заполнив его прокаленными в пряном сливочном масле креветками, подала на стол вкупе с тушенной с гвоздичным перцем морковкой, это было божественно! просто и все же божественно, да с бутылкой столового, но очень изысканного белого сухого вина! «Так что вот я какая!»

И в том, как она подала вперед голову на длинной и жилистой, гибкой, но по-девчоночьи хрупкой и худенькой шее, как вздернула узкие и костлявые плечи, как выгнула спину, словно изготавившаяся к прыжку кошка, как долгим и невозмутимым взглядом посмотрела на нас, словно бы приглашая к игре, единственным инструментом которой будет ее лицо, ее мимика и глаза, и вести ее будет, конечно, она сама, во всем этом, несомненно, было немало кокетства, но не того, которое всем хорошо знакомо, – в этой игре она хотела казаться не прелестной и завлекательной, как делают это другие, а некрасивой, как бы намеренно делая себя уродливее, точнее сказать, само ее тело как бы имело свои взгляды на красоту, заведомо отвергая как предрассудочное и трусливое то общепринятое представление, будто тело, лицо человека вообще могут быть красивыми, а не являются просто функционально организованной совокупностью тканей – костей, мяса, кожи и разного рода студенистых материй, не имеющих ничего общего с понятием красоты, и по этой причине в ней и не было заметно стремления быть красивой, хотя она была занята собою, наверное, больше, чем кто бы то ни было, но цель ее состояла скорее в том, чтобы насмешничать и иронизировать, глумиться над собственной жадой совершенства и красоты, выставлять себя, сказал бы я с некоторым преувеличением, вороной в павлиньих перьях, своей некрасивостью она раздражала, злила и провоцировала окружающих, как какой-нибудь вредный подросток, что привлекает к себе внимание пакостями и непослушанием, между тем как единственное, чего он хочет, это чтобы его обняли и приласкали; небрежно причесанные волосы Теи облепляли ее почти идеально круглую голову, она сама подстригала их, коротко, «чтоб не потели под париками», и хотя я не делал никаких замечаний, она пустилась в пространный монолог, объясняя своеобразие своей прически; по ее мнению, потливость бывает двух видов, зачастую это просто физическое потение, когда тело

по каким-то причинам, из-за усталости, или нездоровья, или когда оно дряблое, ожиревшее, не может приспособиться к окружающей температуре, но гораздо чаще мы имеем дело с потливостью не физической, а психической, когда мы не желаем слышать, чего требует наше тело, когда мы делаем вид, будто не понимаем его языка, когда лжем, фарисействуем, отступаем, чем-то маемся, трусим, жадничаем, колеблемся, малодушничаем, творим глупости, когда против воли тела пытаемся навязать ему что-то, чего требуют от нас приличия и обычаи, и в этом противоборстве как раз и рождается жар, о котором мы говорим: пот прошиб; она же если чего и желает, то лишь оставаться свободной, желает знать, душа ли это ее потеет, и не списывать все на тяжелые парики и костюмы, когда этот пот есть не что иное, как душевная скверна, потому-то ведь люди и брезгуют и стыдятся пота! а то почему же? они брезгуют собственным ужасом, душевной грязью; конечно, все это не объясняло, почему она собственноручно красила волосы то в рыжий, то в черный цвет, а порой забывала об этом, и тогда они отрастали, обнаруживая легкую седину, да и волосы эти были как бы ненастоящими, жиденькими и тонкими, изначально, по-видимому, неопределенного цвета, не русыми и не темными, похожими больше на пух на голове еще не оперившегося птенца; единственным, что придавало ее лицу некоторую характерность, были выступающие скулы, ибо остальные черты были совершенно невзрачными, скучными: не слишком высокий и не слишком широкий лоб, нечетко очерченный нос с капризно вздернутым кончиком и чрезмерно мясистыми крыльями, глядевший на мир дырочками ноздрей, широкий чувственный рот, который, однако, остался как бы не подогнанным, не вписанным до конца, как бы случайно перенесенным с другого лица, зато какой голос разносился из этого рта, из-за крепких, прокуренных до желтизны зубов! глубокий, тягучий, гулко рокочущий, а если требовалось, то мягкий, вкрадчивый или истерически тонкий, в котором нежность скрывалась за грубостью, в мягком шепоте можно было расслышать вопль, а в вопле – исполненный ненависти шипучий сдавленный шепот, и казалось, будто каждый звук одновременно включал в себя и свою противоположность; такое же двойственное впечатление производило на наблюдателя и ее лицо, своими чертами напоминавшее лицо простой работницы, задержанной, эмоционально бедной и от своей неудовлетворенности ставшей тоскливой и неинтересной, в этом смысле лицо ее мало чем отличалось от тех странно спокойных из-за усталости и ненужности лиц, которые в так называемые часы пик, рано утром и в конце дня, мы видим

в метро и городской электричке; а с другой стороны, смугловатая от природы кожа на ее лице была все же похожа всего лишь на маску, личину с парой огромных, подчеркнутых густыми ресницами, невероятно теплых и добрых, сочувственно умных темно-карих глаз, блистающих так, словно они принадлежали совсем не этому, а другому, подлинному, скрывающемуся под маской лицу, и если я говорю «блистающих», то в этом нет никакого сентиментального преувеличения – приемлемое объяснение, как я думаю, заключается в том, что, возможно, глазные яблоки были великоваты для такого в общем-то небольшого лица или более выпуклы, чем обычно, и это тем более вероятно, что, когда она закрывала глаза, ощущение их огромности и значительности никуда не девалось, веки были тяжелые, гладкие, срезанные чуть наискось, а вся маска полна морщинок – этаких изолиний старения подвижного и живого лица; по ее лбу морщины бежали горизонтально, густо и равномерно, а когда она вскидывала брови, то горизонтальные линии перечеркивались двумя вертикальными, поднимающимися от верхушек бровей, и казалось, будто на лбу трепещут два бабочкиных крыла, прошитых еле заметными жилками; гладкой кожа оставалась лишь на височных впадинах и на подбородке, вдоль крыльев носа тоже виднелись скорее даже не морщины, а две размытых ямочки, и когда она складывала губы бантиком, эти ямочки выдавали в ней будущую старуху, точно так же как и бороздки, веером разбегающиеся от внешних уголков глаз при смехе, и если в молодости ее выступающие скулы слишком туго натягивали кожу, то теперь за эту чрезмерную девственную упругость приходилось расплачиваться: на щеках, над скулами, был целый парад морщин, и чтобы как следует разглядеть их, требовалось пристальное внимание, потому что это было не хаотическое нагромождение линий, но огромное изобилие деталей, так сложно друг с другом связанных, что одним взглядом охватить и понять их было невозможно.

«Мы подождем, пока вы переоденетесь, хорошо? А потом и поговорим еще», тихо сказал я. «Вы только поторопитесь».

Она все еще смотрела на меня, морщинки ее улыбки были обращены ко мне, как и складочки вокруг глаз, а также почти смыкающиеся друг с другом густые изогнутые черточки, на которые как бы распались темные и глубокие складки горечи и страдания вокруг рта, но когда она осторожно, старясь, чтобы переход между двумя состояниями по возможности был щадящим и, стало быть, красивым, вынула свою руку из-под моей руки, по блеску ее глаз было видно, что ей уже не до того, чтобы благодарить меня

за покладистость; если что-то уже достигнуто, то незачем тратить на это время, ее уже нет здесь, она очень спешит, но вовсе не потому, что услышала мой призыв, и не потому, что ей нужно переодеться, а потому, что у нее возникло еще какое-то дело.

«Уж ты меня извини, но я с вами не поеду, и в мыслях нет! На этот раз на меня можешь не рассчитывать», обиженным фальцетом произнесла фрау Кюнерт, решив все же проявить непокорство, однако Тея, бросив меня, уже бежала по длинному коридору к уборной Хюбхена и, обернувшись, лишь крикнула ей в ответ: «Мне не до тебя сейчас!»

Фрау Кюнерт, как будто услышала что-то смешное, вдруг разразилась хохотом – что еще она могла сделать? ведь наглость и беспощадность иногда достигают такого уровня, что обижаться на них уже невозможно, потому что в обиде проявляется глубочайшее чувство привязанности, которое, независимо от наших намерений, доставляет нам элементарную радость; она подошла ко мне ближе и, словно желая занять еще не остывшее место подруги, машинально тоже взяла меня под руку, а когда осознала свой жест, то хохот ее сменился смущенной ухмылкой, а смущение, безо всякого плавного перехода, уступило место строгой необъяснимой суровости.

Когда я смотрел не на лицо Теи, а на чье-то другое, то оно, будь даже это мое собственное лицо, всегда казалось мне грубым и неотесанным, неумело и примитивно выражающим чувства, сырым и невежественным; и теперь, когда больше всего мне хотелось освободить свою руку, точно так же как фрау Кюнерт – взять назад свой внезапный жест, мы оставались в той колее, которую проложила она, только нам было непонятно, что с этим делать, и тогда в замешательстве, только усугубляемом моей растерянностью, она вдруг пустилась в искренние словообильные и грубые объяснения, которые, с одной стороны, в этой ситуации были ничем не оправданы, а с другой, окончательно привели нас обоих в смятение, которое можно было бы назвать солидарностью, хотя ни один из нас ее не желал.

«Я очень прошу вас, не ходите с ней!» – вцепившись мне в локоть, сказала, точней, прокричала она. «Я прошу вас не впутываться в эти дела!»

«В какие такие дела?» – глупо ухмыльнулся я.

«Вы здесь еще не освоились, да вам этого и не надо! я не хочу вас обидеть, но иногда мне сдается, что вы не совсем понимаете, о чем мы тут говорим, и поэтому, может быть, думаете, что она

сумасшедшая или бог знает что! вы, пожалуйста, не сердитесь, но это нельзя объяснить, потому что это безумие! поверьте, все это сплошное безумие! я постоянно пытаюсь ее удерживать; конечно, в меру своих возможностей, но порой мне приходится в чем-то ей уступать, потому что иначе она не выдержит того жуткого блядства, в котором вынуждена участвовать, от которого все идет, и тогда уж и правда свихнется! я прошу вас, я очень прошу не злоупотреблять ее положением! будь на вашем месте кто-то другой, она устроила бы этот спектакль для него! вон послушайте, что вытворяют!»

221

И действительно, из гримуборной Хюбхена доносилось безудержное ржание, мужские вопли, повизгивание Теи, грохот падающих предметов, глухие шлепки, шаловливый смех и самодовольные, не лишенные жеманства раскаты звонкого хохота; дверь захлопнулась, и на мгновение показалось, что комнатуха стыдливо втянула в себя звуки блаженства, но потом дверь опять распахнулась; и хотя я прекрасно знал, о чем говорила мне фрау Кюнерт, роль, которую она мне навязывала, показалась мне более чем заманчивой: ведь не бывает таких событий, которые нельзя понять еще глубже, и не существует таких деталей, которые лишены множества еще более мелких, но возможно, решающих новых подробностей, и если я буду и дальше прикидываться перед ней дурачком, то, быть может, узнаю эти подробности и постигну какие-то до сих пор непонятные для меня отношения, надеялся я.

«Извините, но я в самом деле не понял, что вы хотели сказать», признался я с идиотски невинной улыбкой, изобразив на лице даже несколько возмущенную мину обиды, и расчет оказался верным, потому что недоумение, написанное на моем лице, а оно всегда лестно для собеседника, словно бы подтолкнуло ее в том направлении, в котором она и сама собиралась двинуться, и теперь, почувствовав, что пред ней идиот, могла говорить уже совершенно без тормозов, заодно изливая всю злость, накопившуюся в ней за время телефонного разговора: «Да вы просто не понимаете!» – горячо зашептала она, косо следя за движением в коридоре, «и никогда не поймете, вот о чем я вам говорю! и я не хочу, чтобы вы это понимали! это сугубо личное, но если уж вам так хочется что-то понять, то скажу, что она смертельно, вы понимаете? вам это знакомо? смертельно в него влюблена, точнее, она так думает, внушила себе, что она без ума от этого парня!» – зло мотнула она головой в сторону телефона, «и мало того, что он на двадцать лет моложе ее, так он еще гомик, но она втемяшила себе в голову, что все равно должна его обольстить,

потому что еще никогда никого не любила так сильно, как этого придурка, с которым ей хочется переспать, да она с любым готова, в том числе и с вами! понимаете? но ей нужен именно тот, с которым нельзя! Надеюсь, теперь вы все поняли. И я вас прошу сию же минуту исчезнуть отсюда. Вы только не обижайтесь. Но сию же минуту, прошу вас! и тогда мне, возможно, удастся как-нибудь удержать ее! Ненавижу, когда ее унижают! Понимаете? Ненавижу!»

И хотя в этом приступе было что-то фальшивое, потому что она явно наслаждалась, посвящая меня в дела, о которых, собственно говоря, ей следовало, да и хотелось молчать, ее страсть была все же настолько глубокой и неподдельной, что я не мог от нее вернуться; ее большие болезненно выпученные зеницы смотрели на меня из-за сползших на нос очков, и поскольку верхний край оправы как бы рассекал на две части водянисто-голубые, сплошь в красных прожилках глаза, их нижние половинки выглядели сквозь толстенные линзы устрашающе увеличенными и уродливыми; эту страсть диктовали любовь, доброта, беспокойство, чистые и недвусмысленные, чего не меняло даже то обстоятельство, что для проявления доброты ей нужно было немножко фальшивить, она наслаждалась сознанием, что она единственная среди окружающих, кто не страдает законченным эгоизмом, не жаждет чем-либо поживиться, не преследует мелочных глупых целей, а всей душой, всем своим существом понимает другого, понимание же другой личности и причастность к ее сокровенным тайнам доставляло ей то единственное и заслуженное наслаждение, которое обладало равной стоимостью с бесцельной добротой и сочувствием; ее рука, только что цеплявшаяся за мой локоть, стала теперь направлять и подталкивать меня, но в тот самый момент, когда я с готовностью уже направился было к выходу, они тоже выскочили в коридор – красные, запыхавшиеся, по-детски увлеченные необузданным озорством, Хюбхен, прикрывая руками свои причиндалы, отступал, между тем как Тея в позе фехтовальщицы отчаянно размахивала мокрым полотенцем, пытаясь дотянуться до его голого тела; преследуя маленького кретина, как они называли его между собой, она хотела как можно больнее шмякнуть его, чтобы кожа горела! но заметив, скорее всего краем глаза, мельком, куда я направился, продемонстрировала одну из самых блестящих в ее репертуаре метаморфоз: «Вы куда?» – уронив полотенце, заорала она и, позволив жертве ретироваться, бросилась вслед за мной.

Однако то, что было задумано как окончательный и победный натиск, завершилось скорее тихим прощанием.

Ибо когда мы сели в ее машину, чтобы преодолеть короткое расстояние до другого театра, где давали новую постановку «Фиделио», я увидел другую, уже притихшую Тею; она долго шарила в темноте, пока наконец не нашла в бардачке очки, которыми пользовалась за рулем, – совершенно невообразимого вида, жирные, запыленные, сто лет не мытые, да к тому же без одной дужки, так что она должна была при вождении вытягивать тонкую шею и балансировать головой, чтобы очки чего доброго не сползли с носа; уже стемнело, улицы обезлюдели, дул сильный ветер, и в круглых пятнах света, отбрасываемого фонарями, видны были косые струи дождя; мы молчали, и я, несколько оробевший на заднем сиденье от такого безмолвия, разумеется, наблюдал за ней.

Казалось, она теперь – случайно – не играла, исключительный, благодатный антракт, хотя, может быть, мне подумалось так только из-за доверительной информации, которую выболтала мне фрау Кюнерт; Тея была серьезной, ушедшей в себя, по-видимому, смертельно усталой и какой-то расслабленной и рассеянной, ее руки и ноги, словно бы подчиняясь требованиям автомобиля, машинально производили привычные отработанные движения, но она настолько не обращала на это внимания, что когда нужно было повернуть с почти полностью темной Фридрихштрассе на несколько лучше освещенную Унтер-ден-Линден, она в соответствии с правилами остановилась, давая знать, что готовится к повороту, на приборной панели замигала красная лампочка, но она, словно по пустынной улице несясь нескончаемый поток машин, в который было никак не встроиться, все не поворачивала; мы сидели и ждали, в темноте на панели с тиканьем мигала лампочка, порывы ветра то и дело швыряли на дверцы потоки дождя, дворники с надсадным скрипом сметали воду с лобового стекла, и если бы фрау Кюнерт наконец не произнесла: «Ну поехали?» – то, наверное, мы еще долго так и стояли бы на перекрестке. «Ах да», тихо и скорее сама себе сказала она и нажала на газ.

Для меня эти несколько мгновений, показавшихся долгими и вместе с тем слишком короткими, это мертвое время, предшествующее повороту, значили очень много, я ждал их, хотя и не знал, что жду, надеялся, не догадываясь, что чаемые мгновения будут такими банальными, что это будет момент расслабленности, неконтролируемый момент, да и сам я был слишком усталым и слишком взвинченным, чтобы что-то осознанно контролировать, чтобы думать о чем бы то ни было; это было чисто физическое голое ощущение, уловившее такие же чисто физические

голые ощущения другого, и все это несмотря на то, что я видел ее только в профиль, не очень-то, кстати сказать, импозантный в этих жалких очках, но мне все же показалось, будто свет уличных фонарей, отражаемый темным и мокрым асфальтом, преобразил, точнее сказать, вернул в изначальное состояние лицо Теи, с одной стороны, лучше высветив весь его ландшафт, а с другой, сделав невидимой тонкую сеть морщинок; это было лицо, которое я искал в ней, которое видел и раньше, только из-за своей подвижности оно всегда от меня ускользало, являлось только на миг, это было лицо, скрываемое под маской, лицо, которому принадлежали глаза, лицо, в сущности, даже более старое и некрасивое из-за теней и мертвое от внутренней неподвижности, и в то же время я видел в нем лицо девчонки, еще не сформировавшееся, напряженное, которое я давно знал и нежно любил про себя, лицо прелестной девчонки, проверяющей на мне свои шансы, и тем не менее это было не воспоминание детства или отрочества, даже если в этом мгновении, возможно, из-за осеннего неистового дождя, и было что-то ностальгическое, подталкивающее к воспоминаниям; эта маленькая девчонка была родственницей всех девчонок, которых мне доводилось знать, однако в своей незнакомости она все-таки походила скорей на меня, чем на тех, которых я знал в реальности, но редко когда вспоминал.

Я думаю, в том числе и по этой причине я уже не одну неделю с внутренним сопротивлением и зачарованной неприязнью наблюдал за Теей, чувствуя необъяснимое сходство с нею, как будто без зеркала мог видеть в ее лице свое собственное, и, вероятно, именно потому наши отношения, несмотря на взаимный безудержный интерес, оставались взвешенными и трезвыми, не допускавшими даже мысли о том, чтобы прикоснуться друг к другу, сознательно контролируемые; в самом деле, ведь с собственным отражением, как бы обольстительно близко ни находилось оно от нас, мы не можем войти в прямой контакт, ибо влюбиться в себя можно, только следуя тайными тропами и кружными путями, что же касается того мгновенья, которое запомнилось мне гораздо яснее и ярче, чем многие наши последующие, более близкие и интимные встречи, то передо мной неожиданно промелькнула картина, казалось бы, совершенно случайная, заслонившая собою картину реальную: маленькая девчонка, она, стоит перед зеркалом и с глубокой и как бы даже усталой серьезностью изучает черты своего лица, играет ими, строит гримасы, но я не сказал бы, что она паясничает, нет, скорее, прислушиваясь к каким-то внутренним ощущениям, она

наблюдает за тем, какое воздействие оказывают на нее эти гримасы, и это тоже не было воспоминанием, просто на помощь мне поспешило воображение, оперирующее образами, я просто представил себе эту ситуацию, а почему представил, кто может это сказать? представил, как эта девчонка мучается, пытаясь разрушить барьер между внутренним вниманием и своим лицом, чтобы действительно рассмотреть его в зеркале, увидеть таким, каким его может видеть другой, причем не какой-то конкретный, знакомый ей человек.

225

Возможно, я разглядел в ней то существо, тот пласт личности, говорю я сейчас, который она заслоняла своим притворством, игрой, шутовством и фиглярством, фальшью, хамелеонством и непрерывной безжалостной и саморазрушительной борьбой со всем этим; ту единственную питающую основу, к которой она могла вернуться в минуты усталости, колебаний или отчаяния, тот безопасный тыл, который она покидала ради игры и перевоплощений, надежная территория, откуда можно было совершать любые вылазки, и, наверное, эту непродолжительную поездку между двумя театрами она использовала для отступления в этот тыл, чтобы потом, ступив в фойе, предстать перед Мельхиором с измененным лицом и телом, предлагая ему самое ценное, что только могла предложить, – свою возрожденную истинную красоту, и это ее чудесное превращение из Золушки в принцессу объясняло в какой-то мере и то, какими внутренними путями она приходила к тому, чтобы на сцене по собственной воле и прихоти менять одни свойства на другие, порою прямо противоположные.

Возможно, она была не девчонкой и не мальчишкой даже, а тем бесполом ребенком, которому еще нечего взвешивать, незачем колебаться, потому что он и представить не в состоянии, что его могут не любить, и поэтому обращается к нам так спокойно и с таким бесконечным доверием (не этого ли ребенка любила в ней фрау Кюнерт, считая себя его матерью?), на которое нельзя, невозможно не отозваться хотя бы произвольной улыбкой; так ступила она в фойе, легкая и красивая, несколько инфантильная, стройная, и поспешила навстречу Мельхиору, который вместе с французским другом стоял на вершине лестницы, выделяясь в шумном потоке стремившихся в зал людей; и если в первый момент, когда он заметил нас, на лице его промелькнуло неудовольствие, то спускаясь по лестнице к Тее, он, словно бы вопреки своей воле, расплылся в такой же теплой доверительной улыбке, которую излучало ее лицо; и не было ни намек на ту насмешливую жестокость, с которой

Тея готовила себя к этой встрече, ни следа той убийственно пылкой страсти, с которой она направляла острие меча в грудь полуобнаженного Хюбхена, либо ужаса, избавления от которого она искала потом в моем взгляде; точно так же трудно было себе представить, что Мельхиор был для нее таким же «мальчиком», как, например, тот же Хюбхен, с которым можно было от души порезвиться; совсем нет, Мельхиор был серьезным молодым человеком, спокойным, красивым, невозмутимым, не имеющим отношения к театру и, стало быть, даже не догадывавшимся, какой ураган эмоций и ощущений оставила за собой Тея, покидая репетиционный зал; он был очень веселым, благодушно-непринужденным, улыбчивым, но с удивительно строгой, почти военной осанкой, что могло быть следствием как воспитания, так и просто самодисциплины, ну а что касается нас, свидетелей этой сцены, то в этот момент, когда они направлялись друг к другу, мы не могли не почувствовать, что нас просто не существует.

Они обнялись, Тея была ему по плечо, и тонкое ее тело почти полностью скрылось в его руках.

Потом Мельхиор мягко отстранил ее от себя, однако не отпустил.

«Ты сегодня очень красивая!» – тихо сказал он и рассмеялся.

Сказал глубоко подкупающим теплым тоном.

«Красивая? Скорее смертельно усталая», ответила Тея и посмотрела на него, чуть кокетливо накренив голову: «Мне просто хотелось взглянуть на тебя».

С тех пор миновали уже недели, а может, и целый месяц, когда каждый проведенный в одиночестве час казался нам бесполезно потраченным временем, и хотя мы решили расстаться, ибо чувствовали, что должны это сделать, что нам нужно как-то разорвать эту близость или уехать куда-нибудь, неважно куда, чтобы раз уж не можем расстаться, то по крайней мере быть вместе не здесь и не так, потому что почти все время мы, забросив свои дела, проводили с ним в этой комнате, в мансарде под крышей, к виду которой мне так трудно было приучить глаза, она была душной и неприветливой, иногда казалась в свете свечей салоном какого-то дорогого борделя или тайным святилищем, разница не так уж и велика, была какой-то фривольно холодной – сочетание качеств достаточно необычное, чтобы чувствовать себя не в своей тарелке, – и становилась обыкновенной, уютной, пригодной для жизни комнатой, только когда в немывтое окно заглядывало солнце и на всей мебели, рамах картин, в складках штор становилась видна

тонкая пыль, собиравшаяся по углам в комочки, и тогда вместе с вялым и тусклым из-за дрожащих пылинок осенним солнцем в окно заглядывало серое нагромождение глухих брандмауэров, облезлых крыш и задних дворов – тот жесткий прекрасный мир, от которого он стремился отгородиться чем-то мягким, своими шелками, обильно расцвеченными узорчатыми коврами и удушливым бархатом и с которым был тем не менее связан уже самым стремлением от него изолироваться, однако в конечном счете для нас было не так уж важно, где находиться, мы находились здесь и не могли никуда пойти, да и какое нам было дело до мелких различий во вкусах или до так называемой чистоты! никакого, хотя бы уже потому, что комната эта была единственным местом, где мы спокойно могли быть наедине, она укрывала и защищала нас, и иногда даже поход на кухню, чтобы приготовить что-то перекусить, казался обременительной вылазкой; Мельхиор, который терпеть не мог кухонных запахов, имел маниакальную привычку держать окно кухни открытым, и как я ни убеждал его, что на холоде запахи чувствуются только острее, окно все равно должно было оставаться открытым, а сидеть мы любили в его теплой комнате, напротив друг друга, с утра он растапливал белую изразцовую печь, я восседал в том самом кресле, которое он предложил мне еще в первый вечер, оно стало моим привычным местом, мы разглядывали друг друга, больше всего я любил рассматривать его руки, белые полукружья на выпуклых, как часовое стекло, удлинённых ногтях с твердой рифленой поверхностью, которую я иногда поцарапывал своими ногтями, плоскими и невзрачными, ну и, конечно, его глаза! его лоб, его брови, а еще его бедра, холмик лобка и вдетые в тапочки ноги; мы держались с ним за руки, колени наши соприкасались, мы разговаривали, а когда я чуть поворачивал голову, то видел стройный пирамидальный тополь: на заднем дворе, в окружении голых брандмауэров и крыш, он был единственным деревом, но настолько высоким, что достигал нашего шестого этажа и рос даже выше крыши, устремляясь верхушкой в осеннее чистое небо, постоянно роняя листву и все больше лысея.

Мы разговаривали, сказал я, хотя, возможно, точнее было бы сказать, что мы рассказывали друг другу о разных вещах, однако и это выражение не может полностью описать то лихорадочное желание рассказывать и внимать, то жадное любопытство, с которым мы стремились дополнить и вместе с тем затуманить, завуалировать нашу телесную связь, постоянное физическое соприсутствие бестелесными знаками, музыкой звуков, осмысленными словами;

мы размышляли вслух, мы болтали, обрушивали друг на друга потоки слов, и поскольку взаимные связи между словами, акценты, регистр звучания и ритм речи, независимо от значения слов, обладают еще и чувственным, телесным значением, то своими словами мы, опять-таки, возвращались к этой телесной близости и при этом словно бы знали, что слово может быть только намеком на дух, оно может быть достоверным, но никогда исчерпывающим! поэтому, с одной стороны, мы говорили без остановки, неутолимо, не закрывая рта, как бы в надежде своими запутанными историями вовлечь другого в историю нашего тела, разделить с ним эту историю, как мы разделяли друг с другом сами тела, а с другой стороны, мы словно бы защищались своими рассказами от настоящего, от нашей взаимной беспомощности и зависимости, ведь мы помнили о таком далеком теперь для нас прошлом, когда мы были независимы друг от друга, когда были свободны! вместе с тем с безошибочной интуицией мы все же не придавали этим историям особенного значения, и не за отсутствием внимания, а скорей потому, что мы хотели рассказывать друг другу не просто что-то конкретное, а все, в каждый момент посвящать другого во все целиком, что само по себе дело невозможное и наивное; в результате мы окончательно заплутались в наших историях, и, по правде сказать, я понятия не имею, о чем мы так много с ним говорили, точно вспомнить отдельные фразы я не могу, и хотя, вспоминая сейчас это время, я не сказал бы, что в его жизни были какие-то объективные факты, которые остались мне неизвестны, но в каждой из наших историй постоянно всплывали сотни всяких подробностей, которые тоже заслуживали внимания, и ни в чем нам не удавалось дойти до конца, хотя только этого мы и хотели, чтобы, распутав все, наконец понять: почему он любит меня и почему я люблю его? я уж не говорю о том, что все наши рассказы были смесью из исторических, социологических, историко-культурных и психологических элементов, присущих двум, казалось бы, совершенно различным мирам, это были рассказы интеллигентов, и, стало быть, иногда одно слово требовало пояснений из сотни слов, а кроме того, он говорил на своем родном языке, наслаждаясь этим своим преимуществом и задавая мне множество головоломок, из-за чего значительную часть времени и внимания нам приходилось уделять поискам общего языка, прояснению смысла, все казалось мне несколько зыбким, я не всегда был уверен, что правильно понимаю его, а он вынужден был чем-то дополнять мои слова, гадая, что я имел в виду, словом, мы раздражающе долго распутывали недо-

разумения, разбирались в понятиях, выражениях и конструкциях, в грамматических правилах, связях и исключениях, что только на первый взгляд представлялось с его стороны игрой, а с моей – пустой тратой времени, на самом же деле то было вполне естественной и в определенном смысле даже символичной преградой на пути к взаимному пониманию, познанию и овладению, которую невозможно было одолеть осмысленными словами, и не всегда это было необходимо – ведь точно так же, как в сложной языковой системе мы всякий раз, и всегда неожиданно, достигаем точки, когда разум, логические усилия уже не способствуют, а препятствуют пониманию, так и наши порывы раскрыться друг другу в словах имели свои пределы и повороты, и наш взгляд отвлекался, кончик пальца чувствовал, как пульсирует в жилке кровь, мы замечали, как, вздрогнув на сквозняке, пламя свечи неожиданно освещало глаз, освещало его как бы изнутри, все его голубое пространство, в которое, казалось, можно было проникнуть через темную брешь зрачка; он не может здесь жить, сказал он, но так, будто речь шла совсем не о нем, а о ком-то другом, и усмехнулся своим словам, не может существовать здесь! и вовсе не потому, что его хоть в малейшей мере смущает, что все здесь, как говорится, насквозь прогнило, все трухлявое, лживое, скользкое, вязкое, с двойным дном, нет, его это только забавляет, он все это слишком хорошо знает и даже считает, что ему исключительно повезло, что он родился в стране, где, представить только, более чем за полвека публично не прозвучало ни одного нормального слова, даже в разговорах с соседями, где Адольф победил в свое время вчистую! здесь хотя бы не нужно зря тешить себя иллюзиями, потому что при достижении определенного уровня, а этот уровень, как он выразился, «мы давно уже взяли», ложь может быть вполне человеческой, нормальной вещью, и да будет ему позволено извращенное удовольствие все же не называть эту основанную на лжи и ложью питаемую систему антигуманной и не орать про фашизм, как делает это весь мир, ведь это хотя бы честно! по-свински честно, когда обязательно говоришь прямо противоположное тому, что ты, по своей натуре, вообще можешь думать, и делаешь прямо противоположное тому, что хотелось бы делать, когда все построено на простой предпосылке, что потребность лгать и маскироваться, обманывать, скрытничать и таиться в человеке так же сильна, как потребность в искренности, общительности, открытости и так называемой правде, которую, кстати, мы все так не любим! и точно так же, как гуманизм пытался построить общество на естественном принципе чистого

разума, так фашизм сделал это на принципе чистой лжи, все в порядке вещей, это, если хотите, просто другой вариант той же истины, хотя вариант, до которого раньше человечество как-то не додумалось, а впрочем, на все это ему насрать, все, о чем он тут говорил, просто политика, и на всю их политику он тоже насрать хотел, на их правду и ложь, точно так же, как на свою, насрать он хотел на все их доктрины и чувства, да и на свои точно так же, но только без ненависти, просто так, походя, ради забавы, а что касается лжи, то ее анатомию он изучил настолько, что не может не относиться к ней с любовью и уважением, ложь дело святое, лгать – это благо, необходимое благо, он и сам постоянно и с наслаждением лжет, в том числе и теперь, лжет на каждом шагу, вот и мне тоже лжет и поэтому просит не верить ему, ничему, о чем он тут распинался, и будем считать это просто шуткой, я не должен ему доверять, полагаться на его слово, рассчитывать на него, вот он знает, к примеру, что, хотя я тактично помалкиваю, эта комната мне отвратительна, потому что насквозь фальшива, и пусть я не обижаюсь, но ему кажется, что я человек еще предыдущего, буржуазного, так сказать, разлива, врать толком не умею, сглаживаю углы, а ему эта комната как раз тем и нравится, своей фальшью, но он сделал ее такой вовсе не потому, что ему так хотелось, он и сам не знает, какой должна быть та комната, в которой он чувствовал бы себя как дома, да, не знает и не желает знать! и оставь он ее пустой, как планировал поначалу, это тоже было бы ложью, и совершенно неважно, какому из двух обманов отдать предпочтение, главное, чего он хотел, чтобы комната не была такой, какой ей положено быть, раз уж он сам не такой, каким положено быть человеку, так что во лжи нужно быть последовательным и не ставить красивое рядом с уродливым, рядом с дрянью лучше смотрится еще большая дрянь, и так далее, рядом с ложью пусть будет ложь, и, конечно, от его внимания не укрылась манера, в которой я лгу ему, да, с его стороны это демонстрация, это протест, агрессивность и хулиганство, и он согласен, что в этом смысле он все же немец, этого не отнимешь, но вспомним того же Ницше, если я знаю такого, как беспощадно и методически протестует он против Бога, его просто смех разбирает, и создает для себя того, кого нет, создает из отсутствия, из зияния, из отчаянной ярости по поводу этой пустоты, он жаждет его, но если он вдруг появится, он тут же его низвергнет! да, он, Мельхиор, желает продемонстрировать, что он не может здесь жить, но, как видим, живет, и без конца натывается на какие-то чуждые, непонятные и ненужные вещи, с ко-

торыми он уже свыкся, уже полюбил их фальшь, но все равно, хотя он не думает, что где-то в другом месте может быть лучше, он отвалит отсюда, ему просто наскучило здесь, и он попытается это сделать, даже если ему это будет стоить жизни, что достаточно вероятно, но ему наплевать и на жизнь, чем он вовсе не хочет сказать, что хотел бы покончить с собой, но если так выйдет, что он умрет завтра или сегодня, то, он думает, это будет правильно, ведь представить только, за все двадцать восемь лет жизни ему выпал всего лишь один момент, который был настоящим, был моментом истины, и он точно знает, когда это произошло: он поправился после тяжелой болезни, от которой чуть не загнулся, он, кстати, уже рассказывал мне о ней, когда я спросил его о двух больших шрамах на животе и он говорил о тех двух операциях, так вот, ему было тогда семнадцать, он выбрался из постели и в первый раз попытался встать; беспомощно балансируя, цепляясь за мебель, он был так поглощен тем, чтобы устоять на ногах, что не заметил, как первый путь привел его к скрипке, она лежала в запыленном футляре на полке, но я, конечно, не представляю себе, сказал он, что значит для скрипача такой черный футляр! а спохватился он и заметил, что делает, только когда держал уже скрипку в руках, пытаясь ее сломать, точнее сказать, не сломать даже, а каким-нибудь образом привести в негодность, скажем, хватить скрипкой об угол полки и проломить деку, только сил для этого, разумеется, не хватало, он все видел словно в тумане, размытым и тусклым, зато звуки были отчетливыми и громкими, где-то поблизости вроде бы что-то пилили, механическая пила с визгом вгрызалась в дерево, он был дома один и волен был делать все что угодно, но физическое состояние не позволило ему совершить то, что ему больше всего хотелось, сил хватило только на то, чтобы опустить скрипку на темно-зеленую бархатную обивку футляра, после чего, медленно подгибая ноги, он упал без сознания, в комнате словно бы вдруг стемнело, но то, что он так хотел сломать, он сломал в себе, сломал то, что значила для него скрипка, которая создана вовсе не для того, чтобы удовлетворять потребность его окружения в чуде, каким казалась слушателям его трогательно провинциальная игра, и не для того блаженного обмана, которым его мать морочила голову и ему, и себе, и всем остальным, кто видел в нем вундеркинда, чело- века, который благодаря своей скрипке отличается от других, он особенный, утонченный, избранный, исключительный, между тем как он был примадонной мертвого инструмента! нет, скрипка существует сама по себе, она хочет играть сама, ее собственные

физические возможности встречаются в ней с физическими возможностями человека, и тот, в ком действительно жив дар божий, всегда ходит по зыбкой грани, где предмет перестает быть предметом и человек уже больше не человек, где честолюбивое стремление заставить заговорить предмет перестает быть личным стремлением, потому что всецело направлено только на предмет; но все же он, видимо, был достаточно одарен, чтобы осознать, что каким бы он ни был прилежным, внимательным, чутким, он никогда не заставит скрипку говорить ее собственным голосом, а сможет извлечь из нее только голос фальшивого честолюбия, своей исключительности и избранности, а этого он больше не хотел и с тех пор, как его ни упрашивали, ни разу не взял ее в руки, не прикоснулся к ней, хотя окружающие, и даже он сам, не могли этого понять.

И тогда, еще в той своей детской, он впервые повесил скрипку на стену, она, право, красивая! ну и пусть остается просто предметом красивой формы, пребывает, спокойная и довольная, в своем одиночестве, вон и здесь она на стене, и пусть хотя бы она остается тем, чем является; правда, теперь, когда он рассказал мне эту историю, о которой он еще никогда никому не рассказывал, ему стало казаться, что история эта, до сих пор так лелеемая им в себе, не такая уж и правдивая, может быть, он использовал ее только для оправдания своего отчаяния, цинизма, разочарованности и трусости, того чувства, чем-то сродни столбняку, что охватило его еще прежде, вслед за признанием матери, когда он, ничего не подозревая, немножко игриво и как бы в шутку спросил ее, а может, он все же не сын того умершего человека, чье имя он носит, потому что на фотографиях он не мог обнаружить ни малейшего сходства, а чей-то другой, и кому, как не матери, это знать, он уже совсем взрослый, так что можно ему рассказать; ты откуда об этом узнал? – закричала она, оторвавшись от мытья посуды, и заплакала, лицо ее исказилось и словно покрылось длинными дергающимися червями; но он ничего не знал! что он должен был знать? казалось, будто на него оглянулась смерть, что это конец, что оба они, как он понял по ее крику, совершенно нечаянно и нелепо оказались в смертельной опасности, смертельной в буквальном смысле, от которой у человека еще до того, как он что-то решит предпринять, как бы в предчувствии окончательного окоченения отнимаются все члены и органы чувств, он цепенеет и только кожа чуть-чуть подергивается; он смотрел в мертвые глаза, их взгляды долго не отпускали друг друга, и до позднего вечера они так и не отходили от мойки, пока мать рассказывала ему о французском военноплен-

ном, который был его настоящим отцом, и после этого разговора его подкосила болезнь, о которой я уже знаю, хотя ему кажется, что болезнь не была напрямую связана с его потрясением, во всяком случае, это не факт, так что видишь, сказал он, человек придумывает себе отца, которого нет, а потом выясняется, что нет и того, которого у него нет, и это «нет» – единственное что есть, ну в общем, как Бог, и теперь он знал, почему матери было так важно, чтобы он был не таким, как другие, отсюда и скрипка! потому что и правда он был не таким, как другие! хотела, чтобы он был избранным, но в этом она ошиблась, чтобы он не был немцем, даже если он был таковым, а еще, он до этого мне не рассказывал, ему вспоминается, как он два месяца валялся в палате для умирающих, где пациенты все время менялись, откуда живыми не выходили, и только он так и оставался неизлечимым и даже испытывал наслаждение от этой роли; в брюшной полости у него постоянно копился гной, но делать еще одну операцию врачи считали бессмысленным и выводили гной через трубочку, вставленную в живот, на том месте, откуда она выходила, у него до сих пор бугорок сохранился, он как-нибудь мне покажет! они просто не знали, что делать с ним, да, он был умирающим, но каким-то неправильным, потому что не мог умереть как положено, и через два месяца его мать, которая чуть не рехнулась и вся поседела от чувства вины, попросили забрать его из больницы домой; она исхудала, тряслась, все падало у нее из рук, и казалось, глаза ее постоянно молили его о пощаде, но он, как бы этого ни хотелось, не мог ее пощадить; она ходила вокруг него, словно призрак, будто каждый глоток воды, который она ему спаивала, был оправдательным приговором, будто за тот давний грех, а это надо представить, немка с французом! правда, положенного наказания за осквернение расы она счастливо избежала, «но все же три месяца провела в тюрьме, со мной в животе!», будто ей столько лет спустя за тот грех воздалось! но об этом как-нибудь в другой раз! а тогда их семейный врач, который навещал его дважды в неделю, как-то раз, осененный какой-то идеей, вдруг попросил его, а ну-ка откроем рот! посмотрим, сынок, какие там зубки, и через пару недель после того, как ему удалили два зуба мудрости, он был уже здоровехонек, как сейчас, можно полюбоваться! так что благодаря двум гнилым зубам мы тоже можем наконец-то выбраться из чавкающей трясины его души, а если без шуток, он должен мне честно сказать, что признателен, глубочайше признателен мне за то, что впервые в жизни он решился вслух рассказать обо всем, что он о себе знает, и я для него вроде того дантиста,

что выдрал у него изо рта тех двух гадких адольфиков, – я тоже что-то в нем выдрал, от чего-то освобождаю его, и когда он со мной разговаривает, то очень многие вещи видит не так, как он видел их раньше, хотя и не может мне этого объяснить, и поскольку он по натуре большой эгоист, то он склонен думать, что единственное, почему я возник в его жизни, – это то, что я иностранец, потому как ни с кем другим он поделиться не может; да, он точно отсюда слиняет, никаких сомнений, так как осточертело быть здесь чужаком, но лучше если он покинет страну с ясной головой, без всяких упреков и ненависти, чем он будет обязан мне – наверное, потому, что я тоже чужой здесь.

Я сказал нечто вроде того, что, сдается, он снова преувеличивает, я не думаю, что я для него так уж важен и что все это не так просто.

Но он ответил, что никаких преувеличений не видит, и если кто-то заслуживает благодарности, надо просто сказать спасибо, и в глазах его заблестели слезы.

Кажется, в этот момент я коснулся его лица, но заметил еще, что ведь Пьер тоже иностранец.

С ним он не говорит на своем родном языке, сказал он, Пьер француз, и хотя он в какой-то мере и сам француз, но все же родной язык у него – немецкий.

Да какой, к дьяволу, он француз, возразил я, он опять сильно преувеличивает, но мне лестно, что он обо мне сказал, и я, право же, не прошу у него никаких доказательств, потому что я чувствую, просто чувствую, но так и не смог сказать, что я чувствовал.

Проронил только, что мне было бы стыдно в этом признаться.

Я держал в ладонях его лицо, он держал в ладонях мое лицо, жесты были похожими, но намерения наши, кажется, разминулись; возможно, что о стыде я все же вслух не сказал, только чувствовал, что, произнеси я то самое слово, мне действительно пришлось бы стыдиться, потому что при его холодном рассудке, заключающем все в иронические скобки улыбки, единственным ответом на это могла быть его неизменная, невыносимо очаровательная ухмылка, и тогда я своим стыдом разрушил бы то, что ни в коем случае не должно было в этот момент быть разрушено, я лишил бы свои ладони ощущения теплоты и мягкости его кожи, потрескивания щетинок под кончиком пальца, что мне особенно нравилось, хотя в первый вечер ощущение это пробудило во мне протест, испуганное отторжение чего-то неуловимо знакомого – и в то же время соблазн переступить с помощью его мужского лица грань, разделяющую грубость и мяг-

кость, припасть ртом ко рту, как и мой, тоже окруженному щетинками, ощутить в нем того же рода силу, которую я отдаю ему, взамен получая словно бы не его силу, но свою собственную, «это рот моего отца! почему?» – вскричал кто-то моим голосом в тот наш первый вечер, когда он прильнул губами к моим губам и послышалось, как щетина двух подбородков соприкоснулась, щетина отца коснулась шелковистой кожи моего позабытого детства! и я с упоением погружился в тошнотворное ощущение любви и ненависти к себе; да, я теперь ясно вижу, как мы умолкли, хотя сами и не заметили, что это уже не слова, я чувствовал, что мне дорого это оставленное позади самоотвращение, дорого потому, что с ним вместе я как бы освободился ото всего, что меня ужасало и мучило, я буквально перешагнул через труп отца, наконец смог простить его, хотя не вполне был уверен, кто же из них двоих был моим настоящим отцом, я очистился, и оба они теперь стояли рядом, почти сливаясь, а в комнате стояла уже настоящая тишина, потому что теперь разговаривали тела, но в ушах еще осыпались остатки низвергнутых друг на друга слов, ведь мозгу необходимо время, чтобы, перемолов, разнести прозвучавшее по извилинам, разложить все, что стоит хранить, по своим местам, по коробочкам и корзинкам, по шкатулочкам, по кассетам, просторным отсекам и разным клетушкам, а когда лихорадочная работа по сортировке уже закончена, то в ушах все еще шелестят и трепещут обрывки, которым по каким-то причинам не нашлось места в большой кладовой нашего восприятия, и удивительным образом это всегда самые несущественные детали, как, например, какая-то французская смерть, не имеющая никакого смысла; а тот жест, которым я притянул к себе его голову, обхватив подбородок ладонями и еле касаясь пальцами кожи лица, был не чем иным, как неосознанно примененным средством для достижения какой-то не совсем ясной цели; ни один из нас не в силах был продолжать говорить, хотя только что он говорил без умолку и при этом ни на мгновение не отпускал мой взгляд, как будто нашел в нем надежную точку, на которую мог опереться, но все же не просто смотрел на меня, или если смотрел, то смотрел как на некий предмет, позволявший ему отступить в себя, туда, куда он, видимо, не рискнул бы отправиться в одиночку, но это его отступление позволяло и мне проникнуть в ту сферу, куда я иначе попасть не мог, и чем дольше фиксировался его взгляд на моем, чем больше я становился в его глазах предметом, тем дальше он мог отступить, и я должен был быть начеку, чтобы не отставать от него, и поскольку я был вместе с ним, он спокойно, со все более мягкой улыбкой и строя все более трезвые и холодные

пространные фразы, мог обратиться к подлинному своему предмету – к своим мыслям, воспоминаниям, к своему, скажем прямо! полному одиночеству, которое порождает само существование тела, живой формы, пребывающей в мертвом пространстве! и так продолжалось, пока холодность и улыбка не отодвинули его от истории его тела настолько, чтобы он смог увидеть подробности этой истории, по сути, моими глазами – отсюда, возможно, и благодарность, за то, что хоть на мгновение он ощутил, как мертвое пространство воспринимает живую форму, ибо этим пространством был я, переживающий редкое ощущение своей слитности с внешним миром; отсюда и влага в глазах, не настолько обильная, чтобы застрявшая между век слезинка смогла скатиться, но достаточная, чтобы увидеть меня как в тумане, чтобы размылось все, что ему представилось, и чтобы, смущенный этой физической переменой, он вернулся из внутренних далее ко мне и я из предмета превратился опять в человека, в себя, и так же стремительно, как вернулся он, я тоже покинул его глаза, не без страха, боясь что-то потерять, то, что только что получил; колени мои сжимали его колено, я чуть подался вперед, чтобы обхватить руками его лицо, в то время как его колени сжимали мое, и он тоже, слегка наклонившись, взял в ладони мое лицо.

Обхватить.

И вообще осязать, касаться.

Иногда мы слушали музыку, или он что-нибудь читал мне, или я читал ему стихи венгерских поэтов, желая, чтобы он их прочувствовал, понял, стремясь как бы доказать, что существует язык, на котором я тоже могу говорить свободно и довольно прилично выражать свои мысли, что его забавляло, он смеялся и даже разевал рот, как ребенок, которому показывают незнакомую игрушку, я чувствовал себя легко и свободно как в одежде, так и обнаженным, мы засыпали в обнимку на диване в сумеречной прихожей, тем временем постепенно темнело, и вот опять зимний вечер, и мы зажигаем свечи, задерживаем шторы, чтобы, устроившись друг против друга, снова сидеть до полуночи или до рассвета, когда комната начинает уже остывать, мирно тикают на стене часы, дымят, догорая, свечи, мы держим в руках изящно отполированные бокалы с густым красным болгарским вином; и об этих часах, днях, неделях, которые незаметно перенесли нас из осени в зиму, когда от тополя остался только кружевной каркас, утопающий по утрам в белесых туманах, рассказать так же трудно, как ответить на тот вопрос, по какому, собственно, праву я включаю чувства другого человека в эти якобы общие воспоминания, на каком основании утверждаю, что с нами

произошло то-то и то-то, когда я и сам понимаю, что могу говорить только о себе, то есть с достаточной степенью точности описать, что случилось со мной; ответа нет, точнее, единственный ответ, видимо, состоит в том, что в тот зимний вечер я почувствовал, насколько мы любим друг друга, если понимать под любовью интенсивность и глубину взаимной привязанности; а несколько недель спустя или, может быть, через месяц мы вдруг заметили, что в нас что-то угрожающе изменилось, и в нем и во мне, и все более угрожающе продолжает меняться; настолько, что в этот момент я вынужден был зажмурить глаза, не видеть его таким, и снова открыть их в надежде, что морок прошел и передо мной будет то же лицо и та же рука в моей ладони, ибо только что мне показалось, будто я сжимаю не его руку, а обрубок своей! и такой же, как прежде, будет его улыбка, потому что ведь ничего не случилось и не могло случиться; я не помню точно, когда это было, календарное время для нас тогда просто не существовало, должно быть, в конце ноября или в начале декабря, единственным ориентиром служит премьера Теи, на которую Мельхиор отправился вместе со мной, хотя к тому времени они уже перестали общаться, так что наверняка это было еще до того, как Тея однажды вечером, в предпремьерном разгаре безумия, паники и отчаяния заявила сюда в надежде застать его одного, а эту надежду, признаюсь, я тоже старался подпитывать, но вместо Мельхиора она застала только меня, что, опять же, многое изменило, но внешне все было по-старому, мы точно так же сидим, и свечи горят точно так же, тишина, в комнате все как было, никто не звонит ни в дверь, ни по телефону, никому от нас ничего не нужно, да и нам ничего не нужно ни от кого, сидим, словно бы в подвесной засаде, над руинами мертвого и безлюдного европейского города, без малейшей надежды на то, что нас кто-то освободит, а где-то рядом, в такой же комнате, возможно, сидят и другие, но мы с ними никогда не встретимся; обособленная общность, которая нам так нравилось, которая только крепла от необходимости прятаться, неожиданно, не могу сказать почему, показалась мне неприятной, и хотя я прекрасно осознавал, насколько несправедливы мои упреки, знал, что именно из-за меня он за эти недели расшугал всех своих знакомых, выдергивал шнур телефона, когда кто-то звонил, не открывал никому, из-за меня или ради меня держал взаперти нас обоих, я все же вынужден был, пусть про себя, ибо все, что было с ним связано, касалось меня одного, упрекать его; я даже закрыл глаза, пытаясь освободиться от этих мыслей, но раз уж мне опротивела слишком тесная связь между нами, значит, нужно ее ослабить; казалось, всю глубину этой связи я осознал лишь

теперь, и именно это сознание сделало ее отвратительной и невыносимой, и потому понадобилась какая-то новая точка опоры, незнакомая нам и ни в коем случае не принадлежащая ни ему, ни обоим нам; а когда я открыл глаза, то лицо его показалось мне таким далеким и безразличным, как лицо незнакомца, что было одновременно приятно и больно, ведь любое чужое лицо может пробудить в нас надежду на то, что мы можем узнать его лучше, но это лицо было совершенно пустым и неинтересным и не пробуждало во мне никакой надежды, я был сыт им по горло, я был уверен, что знаю его, только знание это, когда я оглядывался на эти недели, представлялось таким же никчемным, как и все мои прочие знания, – этих знаний, даже самых опасных, было все-таки недостаточно, чтобы дать мне душевное равновесие, стимул для самоотдачи и постоянства, а стало быть, это было лишь приключение, которое ничего мне не принесло, он остался чужим, и я тоже остался чужим для него, а еще я не мог понять, почему он прежде казался красивым, если на самом деле он некрасив, точнее, в нем даже уродства нет, он просто скучен – мужчина, до которого мне нет никакого дела, обыкновенный мужчина.

Я ненавидел себя, питал к себе отвращение.

Он тоже вроде бы думал о чем-то подобном или почувствовал мои мысли, потому что выдернул руку из моей руки, наконец-то освободив меня от этой кошмарной культи, поднялся, отшвырнул ногой кресло и включил телевизор.

Жест был настолько грубым, что я не стал реагировать.

Я тоже встал и, тоже поддав ногой кресло, вышел в холл.

Почти наугад я снял с полки книгу и, словно желая доказать самому себе, что эта книга мне интересна, улегся на мягкий темный ковер и начал читать.

Поначалу меня отвлекал не только орнамент ковра, но и несколько старомодный стиль, через который нужно было пробиться, чтобы прочесть: есть только один храм в мире – это человеческое тело, и нет ничего священнее этой высокой формы; удобно устроившись на ковре, я читал, выхватывая отдельные фразы: поклоняться телу значит оказывать почести откровению во плоти; когда мы кладем свою руку на человеческое тело, мы касаемся неба.

И пока я пытался понять эту в данный момент вовсе не актуальную для меня мысль и старался не обращать внимания на какую-то женщину, которая выбралась из окна, уцепившись за плети дикого винограда, посыпалась штукатурка, она с визгом рухнула вниз, мне казалось, что все образуется, покоя мне не давало только одно: зачем я так грубо пнул кресло? завывала сирена «скорой», слышала-

лось звяканье инструментов, я знал, что сейчас мы в операционной, и хотя дело не стоило выведенного яйца, меня все же не покидало чувство, что я был груб, отброшенное ногой кресло стояло перед глазами, ведь оно было не мое; слышались звуки траурной музыки, по-видимому, женщина та скончалась и ее хоронят, я не должен был этого делать, это вандализм, пинать чье-то кресло совершенно непозволительно, даже если человеческое тело – священный храм, пинать можно было ему, но не мне, однако я это сделал и, кстати сказать, с удовольствием.

Поздней я довольно громко спросил его, не стоит ли мне уйти.

Не поворачивая головы, он сказал, что я могу делать все, что считаю нужным.

Я спросил, не обидел ли я его, потому что мне этого не хотелось бы.

То же самое он мог бы спросить у меня.

Я с нажимом сказал, что у меня поводов обижаться нет.

Он просто хотел посмотреть этот фильм.

Именно этот?

Да.

Пожалуйста, пускай смотрит.

Он это и делает.

Самое странное было в том, что это был наилучший, хотя и весьма примитивный способ увернуться от разговора, он был правдивей, чем если бы мы высказали друг другу все, что действительно думаем, точнее, все эти тонкие увертки лжи характеризовали ситуацию гораздо искренней, чем ее могли бы характеризовать наши чувства; чувства в этом момент были слишком возбуждены, чтобы быть правдивыми.

Уйти я не мог, а он не способен был меня удерживать.

И само осознание этого голого факта, стоявшего за завесой слов, стало связью, наверное, сильнее кровного договора.

Но из-за лжи что-то все же ушло, ушла какая-то сила или излучение, до этого незаметно, с естественностью инстинктов перетекавшие между нами, а если они не совсем пропали, то как бы оставались, во всяком случае чего-то не стало, и эта потеря дала мне возможность реальной почувствовать то, что я чувствовал прежде.

Я знал, что он чувствует то же самое.

Это некое излучение, казалось, еще мерцало, как голубой экран телевизора, почти осязаемо заполняло пространство между холлом и комнатой, его еще можно было коснуться или окончательно погасить, но его не зависящая от нас вибрирующая недвижность

парализовала нас так, чтобы ни один не мог даже шелохнуться, оно, словно трезвый ум, как бы внушало нам, что у нас не осталось иного выбора, как осознать, вынести эту неподвижность, ибо это – единственная между нами связь, и она, эта связь, неопровержима, как приговор; казалось, будто некто, стоящий рядом, впервые показывает нам истинную природу наших с ним отношений, теперь, когда они зашли в тупик.

Ведь в таких ситуациях мы обычно невольно прикидываем и взвешиваем наиболее очевидные и поэтому самые простые, испытанные решения, но сейчас мне казалось совершенно невыносимым встать, сбросить тапочки, надеть туфли, взять пальто и уйти, это было бы слишком сложно и нудно, слишком много копотливых телодвижений и идиотского драматизма, тем более если учесть, что в конце концов ничего не произошло, или все же произошло? да нет, ничего ровным счетом; но так же невыносимым казалось и дальше валяться здесь на ковре, что оскорбляло мое чувство достоинства в другом отношении, ведь я лежал на его ковре, а отношения собственности, которыми, не забудем, определяется степень зависимости! даже в любви могут быть важнее, чем само чувство; я должен уйти, должен встать и уйти, стучала во мне неотвязная мысль, словно от этого могло произойти то, чего я сделать не мог, и потому я все-таки продолжал лежать, делая вид, что читаю, точно так же как он делал вид, будто смотрит фильм.

Ни один из нас не пошевелился.

Он сидел спиной ко мне в ярком синем свечении телеэкрана, а я глазел в книгу, и хотя это тоже мелочь, больше всего меня беспокоила моя напряженная поза, она выдавала меня, и хотя он меня не видел, он тоже знал, что наши чувства очень точно отслеживают наши телодвижения, и поэтому от него не укрылось мое притворство, точно так же как мне было ясно, что он тоже прикидывается, будто смотрит этот дурацкий фильм, тогда как на самом деле он видит меня и знает, что я это тоже знаю, тем не менее что-то все-таки вынуждало нас продолжать играть в эти шитые белыми нитками игры, с одной стороны, более непристойные, чем стриптиз, а с другой, несмотря на всю видимую серьезность, смехотворные и комичные.

Я ждал чего-то, во всяком случае думал о том, что он воспользуется именно этой смехотворностью и комичностью, этой лазейкой, единственной, через которую мы еще можем выскользнуть из ловушки нашей зажатости, точнее, на самом деле я не думал все это, а скорее чувствовал за трагической позой смех, готовый вот-вот прорваться.

Ведь это была игра, и ход был за ним, неловкая, мелочная и прозрачная игра чувств, правила которой тем не менее заставляют нас соблюдать требуемые в отношениях между людьми меру и гармоничность, в этой игре с нами играет наша предрасположенность к равенству, извечное стремление к равновесию, и поскольку это была игра в полном смысле слова, я уже не испытывал к нему равнодушия, не чувствовал его чужим, я играл с ним, мы играли вместе, и это ощущение общности даже несколько притупило ненависть, но все-таки я не мог шевельнуться, не мог ничего сказать, я должен был ждать, я свой ход уже сделал, соврав, что у меня нет поводов на него обижаться, и теперь, в соответствии с правилами, должен был ходить он.

И это ожидание, эта вибрация и свечение зависшего в воздухе решения, эта невысказанность, это третье лицо, имевшее отношение и ко мне и к нему, эта сила, которая, несомненно, была, но уже не действовала, о которой трудно было сказать, передается ли она от меня к нему или же от него ко мне, или просто витает в воздухе, витает так ощутимо, что, по известному выражению, ее можно пощупать руками, и все это было каким-то образом связано, каким-то образом напоминало нам то чувство, которое мы ощущали в тот вечер, когда я был здесь впервые и он вышел на кухню, чтобы принести шампанское.

Дверь тогда он оставил открытой, и я слышал, как он там вошел, хлопал дверцей холодильника, звенел бокалами и топтался на месте, но позднее, когда дело дошло до того, что мы перестали что-либо понимать и, пытаясь что-то спасти, стали рассказывать друг другу совместную нашу историю, он, вспоминая этот момент, признался мне, что, насколько он помнит, он остановился тогда у кухонного окна, наблюдая и слушая дождь, и, не зная сам почему, был не в силах двинуться с места, не хотел возвращаться в комнату и хотел, чтобы я почувствовал эту мертвую тишину, его нерешительность, и я чувствовал эту заминку и его нерешительность, чувствовал, что и дождь, и темные крыши, и самый этот момент сейчас для него важнее, чем я, ожидающий его в комнате, потому что, сказал он мне, он был счастлив от этого ожидания и хотел как-то поделиться этим со мной, ведь подобные чувства мы переживаем довольно редко.

Он поднялся и с таким видом, будто и на этот раз собирается выйти на кухню, двинулся в мою сторону.

Мы еще не могли сказать, что мы решим, но оба чувствовали: то, что нам предстоит решить, уже решено.

И тут он внезапно, как бы передумав идти на кухню, опустился рядом со мной на ковер и, облокотившись, подложил под щеку ладонь; полулежа он заглянул мне в глаза, а я заглянул в его.

Это был один из тех редких моментов, когда он не улыбался.

Он смотрел на меня как бы издалека, смотрел даже не на меня, а словно бы на видение, в которое я превратился, точно так же и я, разглядывая его лицо, смотрел на него, как мы смотрим иногда на предмет, красоту и достоинство которого при всем желании не можем подвергнуть сомнению, и все-таки это не тот предмет, который мы хотим или можем любить.

А потом он тихо сказал: так оно и бывает.

Я спросил, что он имеет в виду.

Он имеет в виду, сказал он, то, что я теперь чувствую.

Ненависть, смог я выговорить, потому что это была уже не совсем она.

Почему, если можно спросить.

Светлые, со спутанными вьющимися прядями волосы, грива, копна, целый лес волос, высокий, туго обтянутый кожей выпуклый лоб с двумя выраженными надбровьями, ямки висков, густые и пышные, украшенные длинными отросшими волосками, почти черные брови, редущие, но все же встречающиеся на переносице и более бледным тонким пушком поднимающиеся на лоб, откуда, совсем уже обесцвеченные и реденькие, они спускаются в височные впадины, выделяют и оттеняют мягкие и чувствительные подушечки век, очерченные по краям длинными черными, загибающимися кверху ресницами, которые образуют живое подвижное обрамление легко расширяющихся и сужающихся зрачков в голубизне глаз, но что это за голубизна! что за холод и сила! как причудливо выглядит эта обрамленная черным голубизна на матовой коже, а черный цвет! с какой бесподобной легкостью переходит он в светлый, все эти назойливые, в конечном счете, цвета! и ровно спускающаяся спинка носа, завершающаяся крутыми крыльями, плавно выдающаяся из глубины лица, и обрамленные элегантными петельками темные гроты ноздрей, от которых отходят вниз не приметные под кожей вертикальные выступы, как бы символически связывающие перегородку носа со вздернутой верхней губой, то есть связующие воедино в замкнутом, овально вытянутом пространстве лица вещи прямо противоположные – вертикаль носа и горизонталь рта! ну а губы! эти уложенные парой и почти не скрывающие своей сырости куски плоти!

Не надо на меня сердиться, попросил я его.

И единственным способом, каким я мог подтвердить всю серьезность просьбы, мог бы стать поцелуй, однако рот его был теперь просто ртом, точно так же, как и мой рот, и поэтому ничего не вышло.

Он вовсе не сердится, с чего я взял.

Может быть, даже не детали его лица, а движения губ, которые размыкались и вслед за словами опять смыкались, эти машинальные их движения, от которых, несмотря на спокойствие, веяло бесконечным холодом; или, может быть, это я был таким холодным в этот момент? или мы оба? да всё! и лицо, и в особенности рот, размыкающийся и смыкающийся, и мои руки, постепенно немеющие от тяжести тела и неестественной напряженной позы, и рука Мельхиора, которой он подпирал голову, – все казалось как бы механическим проявлением в наших телесных формах той самой неведомой силы, но сила силой, а тем не менее каждое наше движение, каждый трепет заданы этими целесообразными формами, эти формы, можно сказать, предопределяют все, и будь я хоть сам Господь Бог, мой жест может быть только таким, каким ему позволяет быть целесообразность формы, он этой целесообразностью ограничен, телесные формы предоставляют той силе лишь схему, и потому эффект, производимый жестом, является просто знаком, отсылкой к ней, восприятием целесообразных функций физических форм, и я наслаждаюсь проявлением знакомой мне схемы, и наслаждение это мне кажется чувством, в то время как это всего лишь самонаслаждение, я наслаждаюсь не им, а вижу лишь форму, не его, а знак, схему, и друг в друге мы наслаждаемся только тем, что наши тела функционируют одинаковым способом, и его жесты вызывают во мне аналогичные схемы, давая понять, каковы его цели, словом, я наслаждаюсь всего-навсего отражением, а все остальное самообман; и это открытие было подобно тому, как если бы, наслаждаясь музыкальным произведением, я, прервав это наслаждение, стал бы вдруг изучать принцип действия инструментов со всеми их струнами и молоточками, все более отдаляясь от самой музыки.

Извини, сказал я, но я ничего не понимаю.

А зачем понимать, спросил он, и что я хочу понять?

Я попросил его не сердиться, но мне нечего больше сказать; правда, теперь я, наверное, мог бы рассказать ему, о чем умолчал в прошлый раз, считая это слишком сентиментальным, и о чем ему так хотелось услышать, я боялся тогда все испортить, но теперь, я надеюсь, он не обидится, мне уже не настолько важны его жесты, неважно, коснется ли он меня и могу ли я прикоснуться к нему, теперь, что бы мы ни делали, что угодно! уже все равно, потому что кто-то все так

устроил, и точка! я так чувствую, что еще до того, как мы с ним познакомились, мы уже были вместе, только не знали об этом, пусть только представит себе, уже почти тридцать лет, и есть у меня навязчивая идея, теперь я могу в ней признаться, что он является моим братом.

Он взорвался смехом, он хохотал, и я тоже, произнеся это слово, вынужден был рассмеяться; чтобы немного унять свой хохот, он осторожно и снисходительно дотронулся пальцем до моего лица, а смеялся он, и я вместе с ним, не только потому, что в порыве сентиментальности я сказал какую-то глупость, не говоря уж о том, что я хотел сказать вовсе не это, а потому, что само это слово, «брат», в его языке и в нашей с ним ситуации означало не то же самое, что оно означает в моем, и как только я произнес на его языке то слово, которое пришло мне в голову на родном языке, я сразу же спохватился, вспомнив определение «теплый», которое на его языке добавляют к этому слову, когда говорят о гомосексуалистах, «теплый брат», и, стало быть, вышло так, будто я в порыве эмоций назвал его чуть ли не своим гомиком, что могло бы сойти за шутку, за игру слов, если бы я при этом не задыхался от чувств; получилось упоминание о веревке в доме повешенного, вывернутое наизнанку благое намерение, которое все же каким-то образом обернулось лицевой стороной, сделавшись просто смешным, вот мы и смеялись, смеялись так, что у него потекли из глаз слезы, и тщетно пытался я объяснить, что венгерское слово «testvér», брат, состоит из двух элементов – «плоть» и «кровь», о чем, собственно, я и думал.

Когда он несколько успокоился и прыскал уже не так часто, я ощутил, что отчуждение между нами стало еще заметнее.

Казалось, к нему вернулось то чувство превосходства, с которым он поглядывал на меня в наш первый вечер.

Я тихо проговорил, что, вообще-то, хотел сказать не это.

Он, уже перестав смеяться, обхватил ладонями мое лицо, как бы прощая мне мою глупость, однако это прощение только придало ему больше самодовольства.

Я, собственно говоря, хотел сказать, хотел сказать ему то, о чем еще никогда не говорил, чтобы не обижать его, сказал я, но, видимо, все же придется: я так чувствую, только пусть он не обижается, что все безнадежно, я чувствую себя как в тюрьме.

Но с чего ему обижаться, удивился он, он не видит для этого оснований.

Может быть, сказал я, на какое-то время нам нужно расстаться.

Ну да, почему он мне и сказал, что так оно и бывает. И теперь я могу в этом убедиться. Но я сделал вид, будто ничего не понял.

Не понимаю.

По правде сказать, он тоже не думал об этом, на этот раз, со мной, он тоже забыл, как это бывает, и когда пару минут назад ощутил это по моей руке, то пришел в изумление, даже в ужас, но похоже, нам было отпущено ровно столько и ни минутой больше, и в то время, когда он прикидывался, будто смотрит фильм, он думал о том, что если я так почувствовал, то он вынужден будет принять это к сведению, и от этого успокоился, и я должен ему поверить, он знает по опыту, что двое мужчин или, как я изволил выразиться, двое братьев, тут раздался его смешок, больше похожий на всхлип, просто не могут слишком долго переносить друг друга, и исключений тут не бывает, я же все это время пытался навязывать их отношениям ту систему чувств, к которой меня приучили женщины, и он уж не виноват, что у меня столь запутанная предыстория, но я должен помнить, что с женщиной, каковой не являюсь ни я, ни он, шанс на продолжение отношений остается даже тогда, когда ты, возможно, знаешь, что они невозможны, потому что возможность продолжения заложена самой природой и никакие исключаяющие обстоятельства не могут этому воспрепятствовать, а между двумя мужчинами есть только то, что есть, и не больше, и поэтому он может мне посоветовать лишь одно: лучше всего в таких случаях спокойно подняться, закончить игру и, найдя подходящий повод, быстро и элегантно свалить и больше не возвращаться, и даже не оглядываться назад, ибо то, что можно таким образом сохранить, гораздо ценнее для нас обоих, чем любые попытки самообмана, а его, пусть это меня не обидит, мне обмануть не удастся, уж слишком он хорошо изучил все эти ходы, и для меня будет самым благоразумным никогда больше даже не вспоминать о нем.

Я сказал, что он слишком прозрачно разыгрывает из себя безжалостного мужчину, если не сказать – фашиста.

Я слишком сентиментален, сказал он.

Возможно, сказал я, но на этом чертовом языке я не могу себя толком выразить.

Он может сделать это вместо меня.

Я попросил его перестать дурачиться.

Перестать, спросил он.

Если хочется, может дурачиться.

Так на чем мы остановились, я помню?

Ну а сам-то он помнит?

ОБ АНТИЧНОЙ ФРЕСКЕ

246

На репродукции, которую я хранил среди своих заметок, дабы позднее, если достанет таланта и сил, описать в задуманном мною повествовании в качестве тайного мира своих догадок и помыслов, представлен очаровательный мирный ландшафт Аркадии – отлогая поляна среди тянущихся до горизонта покатых холмов, покрытая редкими зарослями и шелковистой травой, цветами, пережившими много бурь оливами и дубами; это, кстати сказать, довольно искусная копия той античной фрески, которую несколько лет назад, во время путешествия по Италии, я имел счастье созерцать в натуральную величину и во всем богатстве ее бесподобных красок; ландшафт сей изображен в момент, когда утренняя заря неспешно восходит над Океаном, чтобы принести людям свет и раскрасить радужными своими брызгами росу, оседающую на стеблях травы и ладонях листьев; время росы, время, когда ветер не тревожит кроны, когда успокаивается то, что нам кажется вечным; и хотя ночь уже снесла свое серебряное яйцо, Эрос, который, по некоторым легендам, является сыном бога ветра, еще не вылупился из него, и все еще впереди, ему еще только предстоит сотворить то, что мы называем порядком вещей, предстоит буквально в следующее мгновение, но высший акт оплодотворения и зачатия, когда совокупились два гигантских первоэлемента, дикий ветер и ночная тьма, уже свершился, но пока еще нет никаких теней, мы находимся между «до» и «после», именно так выглядит античное утро! и именно потому этот необычайный миг, хотя и является парным другому, все же не идет ни в какое сравнение с тем мгновением, когда Гелиос со своей колесницей и упряжкой коней исчезает за кромкой земли, когда все сущее, страшись гибели, стремится дотянуться до солнца, вытягивает в бесконечность свои тени, и в прощальной скорби все зловеще окрашивается в золотисто-багряный цвет; однако пока, в этот ранний миг, все еще почти мертвое, почти неподвижное, бледное, почти серое, серебристое, едва видимое и холодное, и если чуть выше я говорил о богатстве красок, то лишь потому, что это уже, конечно, не серебро ночи, которая

с жадностью впитывает в себя все цвета, растворяя их в однородном металлическом блеске, нет, все сущее в этот миг уже получило свой цвет, цвета уже зачаты, только еще не ожили; в геометрическом центре картины блестит пресыщенное наслаждениями обнаженное смуглое тело отдыхающего Пана, у его ног, как оно и положено, сереет грязно-белый козленок, трава уже изумрудна, дуб темно-зелен, белый камень бел, а на трех нимфах легкие хитоны – из бирюзового, оливкового и красного шелка; однако на этой росистой грани между ночью и днем они полностью неподвижны, ибо уже завершили последние ночные движения, но еще не сделали первых дневных, цвета их одежд и тел вписаны в контуры чистых форм и не имеют теней, точно так же, как лишены теней цвета деревьев, трав и камней, и поскольку на грани конца и начала нимфы никак друг с другом не связаны, то каждая смотрит в своем направлении, отчего наша фреска, даже в этой уменьшенной копии, вырастает в размерах; цвета тоже друг с другом никак не связаны, красный красен сам для себя, синий синь тоже сам по себе, а не потому, что зеленый зелен; казалось, художник в своей первобытной непосредственности ухватил сам момент творения или, проще сказать, решил с беспощадной точностью передать атмосферу летней зари, когда человек, сам не ведая почему, неожиданно просыпается, выбирается из теплого мрака постели, выходит, пошатываясь, из дома, чтобы коль уж проснулся, так хоть помочиться, но снаружи его встречает жуткая тишина, которую не осмеливается нарушить своим падением даже набухшая капля росы, и хотя он знает, что еще мгновение, и теплая желтизна дня вытолкнет мироздание из этой зачехленной смерти и вдохнет в него жизнь, все его знания и опыт ничтожны перед лицом безмолвия небытия, и если до этого он искал смерть на ощупь в темноте ночи или в дневных тенях, то теперь он встречается с нею совершенно неожиданно и с такой поразительной легкостью, что даже не в силах выпустить из себя горячую струю мочи; он встречается с нею именно в это бесцветно цветное мгновенье, которое обычно благополучно просыпал в теплых объятиях богов.

А может быть, там на камне сидит не Пан: несмотря на самые тщательные мои исследования, я не мог с уверенностью разрешить вопрос, не Гермес ли изображен на моей репродукции, то есть не сын, а отец, а это огромная разница! ибо в таком случае мы видим в образе трех нимф не резвящихся любовных подружек сына, не веселых влюбленных девушек; на картине изображена и его мать; все мельчайшие мотивы картины двусмысленным образом

утверждали то, что, казалось бы, сами же отрицали, и поэтому я рискнул высказать про себя робкое предположение, более того, именно это предположение по-настоящему волновало меня: не намеренно ли художник так смело смешал все: думая о сыне, изобразил отца, или наоборот, думая об отце, изобразил сына, а в качестве желанной возлюбленной их обоих представил нам мать; дело в том, что на правой стороне фрески, в оливковом хитоне, стояла она и, опустив голову, светлым сосредоточенным взглядом следила за движениями своих пальцев по струнам лиры, прижатой к груди; она была несколько или, может быть, даже значительно старше обнаженного юноши, и это предположение мы рискуем высказать несмотря на то, что, во-первых, мы знаем, что зрение, следуя целям нашей фантазии, может обманывать нас, а с другой стороны, нам известно, что боги вообще не имеют возраста, что, разумеется, не совсем справедливо по отношению к нимфам, ибо бессмертие их, по свидетельству дошедших до нас легенд, напрямую зависит от близости их к богам, поэтому есть среди них и смертные, и бессмертные, как, например, нимфы моря, ибо бессмертным считается само море, чего нельзя сказать о нимфах попроще, обретающихся у источников, о нимфах лугов, рощ, кустарников и деревьев, а уж тем паче о нимфах дубов, умирающих вместе с оными; и уж коль скоро, следуя туманным намекам художника, мы пытаемся угадать по лицу возраст нимфы, чей палец протянут сейчас к самой дальней струне лиры, а взгляд пытается точно определить расстояние до нее, дабы извлечь из инструмента легчайший беглый аккорд, то не помешает вспомнить, как древние вели отсчет времени: например, жизнь болтливой вороны была равна девяти человеческим коленам, олень жил столько, как будто в нем проживали жизнь четыре вороны, а ворон проживал три оленьих жизни, жизнь пальмы была равна жизни девяти воронов, а нимфы, прекрасноволосые дочери Зевса, жили в десять раз дольше пальмы; так что она, по-видимому, жила шестой жизнью ворона, и, говоря о том, что она старше юноши, я, естественно, мерил возраст не по нашим сегодняшним представлениям, не по тому, что заметил на ее лице хотя бы малейшую морщинку, а по тому, что на нем виделась какая-то благословенная мудрость материнства, во всяком случае по сравнению с двумя другими нимфами, которые находились ближе к юноше и были одного с ним возраста, явно не тронутые еще блаженством боли; и я затрудняюсь точно сказать почему, но на ее материнскую мудрость указывала и шея, обрамленная пышными складками наброшенного на плечи хитона, о, как же прелестна

эта женская шея! белая и обнаженная под темно-каштановыми волосами, собранными серебряной заколкой в неплотный узел, она кажется столь притягательной и столь откровенно обнаженной именно из-за нескольких непослушных коротких локонов, падающих на нее в очаровательном беспорядке, ну естественно, ибо это то самое милое нам место, где встречаются одетость и нагота; и если бы мне удалось описать эту прелестную шею нимфы, то я смог бы облечь в слова образ шеи моей невесты, который я хранил и леял в себе, например, ту картину, когда, сидя рядом, мы листаем альбом, она подается вперед, чтобы получше разглядеть какую-нибудь вроде бы не слишком существенную подробность, а я смотрю на нее сбоку, совсем приблизившись, и мне хочется наклониться, коснуться губами ее шеи и легкими беглыми поцелуями, едва касаясь напрягшейся кожи, впитать в себя ее вкус и запах, уткнуться ей в волосы, но приличия и чувство такта удерживают меня.

И когда занимающаяся заря переплавит серебряные останки ночи в золото, о, если бы мне удалось описать античное утро такими вот фразами! и палец скользнет по струнам, извлекая из них изумительный перелив, это и будет началом; звуками своей лиры она готовится первой приветствовать солнце, согревшись в лучах которого дуб отбросит на землю свою благодатную тень.

Излишне и говорить, что за спиной ее стоял дуб, корявый и по нашим понятиям довольно старый, вероятно, когда-то его поразила молния, потому что выглядел он однобоким, хотя ветер давно сорвал с него и рассеял сухие ветви и сучья, и на их месте кустились уже молодые побеги, и этот факт не только подтверждал возраст дерева, но и подсказывал, что перед нами не кто иная, как нимфа дуба, то есть утреннюю зарю собралась приветствовать звуками лиры Дриопа, о которой нам хорошо известно, что прелестью своего стройного стана и благородством черт она вызвала у Гермеса, пасшего своих овец на лугах Аркадии, такую страсть, что распалившийся бог преследовал ее до тех пор – но тут поспешим заметить, что долгой эта игра была только в нашем, человеческом понимании и продолжалась три поколения, то есть не более чем треть жизни вороны, – пока не овладел ею, но в этом нет ничего необычного, потому что нимфа, то есть невеста в переводе с греческого, являлась тем женским существом, посредством которого мужчина мог исполнить свое мужское предназначение, стать женихом, так что она всего лишь делала свое дело, точно так же, как, в меру своих возможностей, делал и бог, вот только плод любви, который красавица Дриопа принесла в мир бессмертных,

никак нельзя было мерить теми мерками, к которым привыкла эта бедная, покорная долгу, почти человеческая девушка-мать.

Разумеется, мы не намерены утверждать, что Дриопа была девушкой робкой, хрупкой или пугливой; как известно, она была скорее рослой, широкой кости, не зря ее еще называли «крепковетвистой», и когда ее преследовали своей любовью боги ли, или люди, она не просто бежала от них, но временами переходила в атаку, останавливалась как вкопанная, недвижимая как дуб, шипела, рычала, пускала в ход кулаки и кусалась, а когда останавливалась у прохладного источника и сбрасывала зеленый хитон, чтобы омыть с себя пот, на ее бедрах, привычных к бегу, и округлых плечах видны были крепкие мышцы, ее круглые груди под изумрудной кожей были напряжены, а клитор, как выяснилось позднее, в момент соития ради вящего наслаждения принимал размеры, сравнимые с размерами фаллоса пробудившегося ото сна ребенка, так что можно сказать, бог не случайно так жаждал смягчить ее жесткость, укротить дикий норов, силу переплавить в нежность, и все же когда она, перекусив пуповину зубами, увидела у себя между ног моргающее в кровавой плаценте, орущее, ухмыляющееся и дрыгающее конечностями чадо, то по-девичьи вскрикнула и в ужас закрыла лицо, ведь откуда ей было знать, что для страхов нет никаких причин, что она родила на свет бога, нет, она не могла такого подумать, видя то, что увидела! в эту минуту ей показалось, что она отдалась вовсе не обаятельному Гермесу, а какому-то грязному козлищу: голову новорожденного покрывала длинная жесткая шерсть, изо лба, там где у богов и людей видны просто костные уплотнения, торчали кривые рожки, а ноги, о ужас! заканчивались не ступнями, как у всех нас, а козлиными копытцами, пока розовыми и мягкими, которые, как известно, с годами становятся отвратительно жесткими, черными и стучат по камням, высекая искры.

Придя в ужас от плода чрева своего, Дриопа вскочила и убежала.

На этом ее история, собственно, и заканчивается, больше о ней ничего не известно, точнее, если мы захотим узнать о ее дальнейшей судьбе, то должны будем положиться на наше воображение.

Зато нам известно, что Гермес, обнаружив в траве своего ребенка, мало того что нисколько не удивился его странному облику, но бурно возрадовался, тем более что мальчик стоял уже на ногах, точнее сказать, на копытцах, кувыркался, ходил колесом, смеялся и веселился, когда, катаясь по росе, чувствовал, как кожу его щиплют острые стебли травы, гонялся за осами, мухами, поедал сорванные лепестки цветов, бодался мягкими рожками с деревьями

и камнями, ощущая при этом щекотную боль; не зная удержу в шалостях, он пописал на бабочку и дриснул на голову змейке, словом, природа наградила его всем, что требуется здоровому ребенку, и не удивительно, что отец ему очень обрадовался, а поскольку отцы склонны видеть в своих сыновьях продолжение собственной судьбы, то Гермес тут же вспомнил утро собственного рождения, когда его произвела на свет скромная нимфа Майя и, запеленав, оставила лежать в колыбели, но стоило ей отвернуться, как Гермес выбрался из нее и покинул пещеру; найдя черепаху, он изготовил из ее панциря лиру и с лирой этой отправился странствовать; и едва только уши коней Гелиоса скрылись за облагранным закатом краем земли, а было это, как нам достоверно известно, в четвертый вечер лунного месяца, Гермес голыми руками убил двух коров, содрал с них шкуры и, пожелав зажарить мясо, тут же изобрел огниво; потом он угнал целое стадо и, чтобы никто не узнал о его проделке, забрался опять в колыбель; так что теперь он посадил ребенка себе на плечи, как когда-то поступил с ним Аполлон, и отнес его к остальным богам, дабы разделить с ними свою радость.

Больше других возрадовался ему Дионис, боги нарекли его Паном, на языке бессмертных сие означает «всё сущее» или «мироздание», что, если мы правильно их понимаем, свидетельствует о том, что наилучшее воплощение этого понятия боги увидели именно в нем.

Однако красивый юноша, сидевший посередине моей репродукции, казалось, одной рукой подносил ко рту семистольную флейту, инструмент, однозначно приписываемый Пану, который по ночам, согласно легендам, аккомпанировал хороводам нимф, а утром будил рассвет; он был яростный и злой бог, особенно гневный, когда кто-то тревожил его во время дневного сна под тенистым дубом, но он был также и самым доброжелательным из богов, веселым и щедрым, игривым и плодовитым, любил шутки, музыку и веселье; но сколько бы признаков ни указывало на то, что на фреске изображен именно Пан, я не мог отделаться от подозрения, что это все же не он, не великий фаллический бог, но кто же тогда? ответить на этот вопрос с уверенностью было почти невозможно, потому что в другой руке он держал жезл с тремя листиками на верхушке, который Гермес, по легенде, получил от Аполлона в обмен на лиру, а кроме того, на теле его не было шерсти, не было рожек на лбу и копыт на ногах, если только все, чего не хватало на его гладком, как у человека, теле, не символизировал стоящий у его ног, будто верный пес, симпатичный козленок; но разве мало

мы знаем художников, готовых изобразить прекрасным то, что на самом деле полно уродства, потому что они не осмеливаются показать существо, именуемое «мирозданием», волосатым, рогаатым, с копытами, что, несомненно, есть наивная человеческая слабость, и я не мог исключить, что именно из-за этой смехотворной слабости автор фрески ввел нас в заблуждение, приукрасив историю бессмертных богов; а с другой стороны, невзирая на этот проклятый жезл с листиками, я не мог утверждать, что передо мной Гермес, иначе как оказалась в его другой руке флейта Пана, словом, весьма запутанная история, и наверняка я не стал бы уделять ей так много внимания, если бы прояснение именно этой загадки не было непосредственно связано с подготовкой к задуманному мною повествованию, вот я и размышлял, занимался исследованиями, обыгрывал всяческие возможности, экспериментировал, а заодно благополучно оттягивал время, когда мне придется взяться за этот египетский труд, и всякий раз, когда мне удавалось что-то решить, будет так или этак, обязательно возникала очередная идея, например: а что если допустить, что это не Пан, не Гермес, а сам Аполлон, о котором рассказывают, что он тоже был в свое время влюблен в Дриопу и тоже, как было заведено, погнался за нею, но поскольку благонравная девушка не отдалась ему, разгоряченный Аполлон принял облик черепахи, которой и стали забавляться нимфы, однако стоило Дриопе положить ее за пазуху, на свою прекрасную грудь, как Аполлон превратился в шипящего змея и познал под хитом Дриопу; но и эта идея вскоре лопнула, словно мыльный пузырь, ибо будь это так, то каким образом в руках у Дриопы оказалась лира, которую, как я уже говорил, изготовил Гермес, покинув в то утро, когда он родился, пещеру, и событие это имело место гораздо позже.

Мои вопросы и догадки так и остались бы лишь вопросами и догадками, не обрати я внимание на странное поведение двух других нимф на левой стороне репродукции; одна из них, как и смуглый юноша, сидела на белом камне, в красном хитоне, с тимпаном на коленях и двумя палочками в руках, но лица у нее не было, видимо, краска просто осыпалась со стены, однако по позе можно было установить, что когда у нее еще было лицо, она смотрела прямо перед собой; это она выглядывала из картины, и куда бы мы ни шагнули, нас повсюду преследовал ее, может быть, строгий, а может быть, снисходительный или нежный взгляд; но еще больше безликой нимфы меня волновала другая девушка, в бирюзовом хитоне, стоявшая у нее за спиной; дело в том, что во всей этой сцене она

была единственной нимфой, проявляющей интерес к тому юноше, которого я только что так уверенно назвал Паном; она была самой красивой из трех: полное личико, чистый лоб, уложенные венчиком русые волосы, хрупкий изящный стан; чуть выдвинув вперед бедра и сложив руки за спиной, она выражала этой своею позой спокойствие, уверенность и открытость, огромные карие глаза ее светились теплотой и грустью, легкой и вожденной грустью, и надо же! я едва не вскричал от радости, заметив точно такую же грусть и во взгляде юноши, только он, отвернувшись и как бы не замечая ласкающего его мощную грудь томного взгляда, смотрел поверх плеча бряцающей на лире Дриопы куда-то за пределы фрески, и все это было явно не случайно: наверняка он смотрел на кого-то, и этот кто-то тоже смотрел на него; кто-то невидимый, потому что он, вероятно, находился даже не на поляне, а стоял среди деревьев в лесу.

И больше всего меня волновал именно лес, где эта немыслимая любовь возможна, даже если на самом деле она не случится; вот о чем мне хотелось писать.

Однако вернемся к моей репродукции в надежде, что в свете последующих событий все-таки прояснится, почему эта сцена так занимала меня, хотя в задуманном мною повествовании я даже не собирался упоминать эту фреску или кого-либо из ее персонажей; теперь мне вдруг показалось, что в стоящей на заднем плане нимфе я узнал Салмакиду, чье имя дало моим воспаленным чувствам новую пищу, в руках у меня словно бы оказался ключ к решению сложной загадки, это имя напомнило мне о третьей, не менее запутанной истории, так вот оно что, довольный, подумал я, ведь у Гермеса, был, как известно, еще один сын, хотя слово «сын» применительно к существу, рожденному от их любви с Афродитой, звучит немного сомнительно; во-первых, уже потому, что сами они, судя по некоторым родословным, должны были быть братом и сестрой, поскольку родились от Урана, ночного неба, и Гемеры, дневного света, и были не просто братом и сестрою, а близнецами, ибо известно также, что родились они в четвертый день лунного месяца, и поэтому плод их любви по чертам лица, телу, характеру в равной мере обладал свойствами обоих родителей, это как когда сливаются два полноводных бурных потока, становясь одним, и уже не отделить воду от воды! следовательно, в потомке Гермеса и Афродиты в равных пропорциях смешалось то, что на человеческом языке называется мужским и женским (в случае богов, впрочем, это дело довольно обычное), а чтобы божественное смешение было совсем

неопровержимым, ребенок унаследовал часть имени отца, Гермеса, и часть имени матери, Афродиты.

Так что нетрудно догадаться, кого я имею в виду, да, новорожденным был Гермафродит, которого сразу после рождения Афродита отдала на воспитание нимфам на гору Ида во Фригии, и те должным образом его воспитали, на что кто-то может сказать, ну вот, еще одна мать, бросившая ребенка, но не стоит разочаровываться, у богов и это было в порядке вещей, каждый из них был автономным и цельным созданием, и только так они составляли сообщество, то есть, я бы сказал, уже боги были прирожденными демократами, однако вернемся к рассказу о Гермафродите: когда он подрос, то стал юношей такой ослепительной красоты, что многие даже путали его с Эросом, полагая, что Эрос и есть плод чресел Гермеса и чрева Афродиты, что, разумеется, маловероятно; затем, в возрасте пятнадцати лет, Гермафродит отправился путешествовать по Малой Азии, по странной своей привычке повсюду любуясь водами, и вот когда он достиг Карики, на берегу одного очаровательного источника он встретился с Салмакидой.

Однако здесь начинается путаница и в третьей нашей истории, ибо она дошла до нас в самых разнообразных версиях, что дает нам почувствовать, в какую туманную даль времен уходят корни эти реальные события, а впрочем, такова особенность всех легенд, указующих на пределы человеческой памяти; но если выводы наши верны, то мы можем представить, что чистый источник, вырываясь из-под земли, образовывал небольшое озеро, и Салмакида в своем бирюзовом хитоне, глядясь в зеркало этого озерца, расчесывала свои длинные волосы, но когда ей уже удалось расчесать спутавшиеся за ночь волосы и она приготовилась уложить их на голове венчиком, что-то ей не понравилось или, может быть, помешала рябь на воде, исказившая отражение, так что она распустила волосы и вновь принялась расчесывать, а потом опять и опять, что сегодня показалось бы нам глупостью, но она продолжала расчесываться, проводя так жизнь, а учитывая, что она была нимфой источника, сие отнюдь не могло продолжаться до бесконечности.

И как это бывает при всякой значительной и решающей встрече, первый момент, когда мы вдруг замечаем неожиданное присутствие другого, остается самым малозначительным, можно сказать, незаметным моментом, нет, конечно же, не случайным! ведь друг в друге впоследствии себя познают существа, созданные друг для друга и сведенные вместе богами; однако мы в этом случае заме-

чаем в другом себя, и ничто нас не вынуждает, как мы привыкли в наших обычных повседневных связях, выходить, как бы выглядывать за пределы себя, нарушать из-за присутствия другой личности собственные границы, нет, две личности в данном случае могут проникнуть друг в друга целиком, нетронутыми, как будто никаких границ вовсе нет, хотя они, несомненно, имеются, и совершенно четкие! и позднее, оглядываясь назад на это мгновение, оказавшееся столь значительным, у нас действительно возникает чувство, что тогда, как ни странно, мы его не заметили, совсем не заметили самого для нас важного, хотя это нам только кажется; и приблизительно так все произошло и в этом божественном случае, Гермафродит просто наблюдал за водой, и причесывающаяся в водном зеркале Салмакида была для него не чем иным, как одним из свойств этой бесконечно влекущей его водной глади, можно сказать, одной из ее деталей, которую он, разумеется, видел, но сколько всего другого еще отражалось в этой воде: небо, камни, белизна медленно проплывающих облаков, заросли осоки, Салмакиде же, наблюдавшей только свое лицо и беспрестанно причесываемые волосы, казалось как бы совершенно посторонним обстоятельством, что, кроме собственного лица, цвета своей обнаженной руки и сверкающего гребня, она видит в зеркале озера еще серебристый блеск лениво помахивающих своими плавниками рыбок, золотистые складки песка на дне, поэтому для нее появившееся на воде отражение Гермафродита означало не больше, чем, например, водяной паук, который, едва касаясь воды своими длинными лапками и рассекая мелкие волны, проплыл по ее лицу; Гермафродит в тот момент ни о чем не думал, он был печален, бесконечно печален, печален так же, как и всегда, а печаль неизменно мешает думать о вещах в их подробностях; дело в том, что природа не только целиком наделила его одного тем, чем наделяет нас лишь по отдельности, она наделило его в придачу еще и желаниями, однако он ничего не знал о тех возвышенных и захватывающих играх, которые можно использовать для утоления этих желаний, ведь любое его желание сразу оказывалось у цели, то есть можно сказать, что природа отказала ему в банальном удовлетворении, ибо сам он был воплощенным удовлетворением природы, и отсюда эта его печаль, та бесконечная печаль, которая утвердила меня в мысли, что на репродукции я вижу, конечно же, не Гермеса и не Пана, которые были, как известно, боги веселые и необузданные, да и для Аполлона грусть не являлась характерной чертой, ибо хотя он с одинаковой страстью увлекался богинями и юными богами,

нимфами и обычными пастушонками, мы не знаем о том, чтобы он как-то затруднялся сливаться своим существом с этим разнополым миром, нет, печаль – это несомненное свойство Гермафродита, его исключительное качество, решил я, представив его стоящим в этот великий момент, когда изумленная Салмакида, не отрывая взгляда от собственного отражения, опустила гребень; они все еще не смотрят друг на друга, хотя видят друг друга, и вдруг Салмакиде приходит в голову мысль, которая в более поздних рассказах станет источником множества заблуждений: что она видит Эроса, что это его очаровательный лик, словно водяной паук своими шустрыми лапками, наползает сейчас на ее лицо, а поскольку она нимфа, весьма почитающая авторитеты, своего рода античный «синий чулок», то она тут же в него влюбляется, но не так уж в конце концов и важно, что и как получилось в момент, когда отражения двух лиц совпали, глаза с глазами, нос с носом, уста с устами, лоб со лбом, и когда печальный Гермафродит вдруг почувствовал то, чего еще никогда не чувствовал, что из груди его рвется божественный вопль! он чувствует все, что чувствует смертный, переходя из себя в другого, вы только это представьте! когда все вокруг неподвижно, и вдруг ураган, гром, гроза, грохот падающих в море скал, представьте это себе! каково может быть наслаждение, когда целостный бог вырывается из своих границ, ведь Салмакида теряет в это мгновение свое отражение, Гермафродит же теряет воду, то есть оба теряют то, для владения чем были созданы, так что нет ничего удивительного и в том, что они не способны обыкновенным, как у нас смертных, образом остаться друг в друге, пусть даже легенда и повествует нам об их совершенном любовном слиянии.

Однако когда я, добравшись до этого места, попытался подвести для себя некоторые итоги и понять, что я знаю и чего не знаю об этом таинственном и прекрасном юноше, который, глядя поверх плеча Дриопы, с вожделением на кого-то смотрит, в то время как Салмакида наблюдает за ним глазами, полными той же тоски, то я понял, что ни один из них никогда не добьется желанного, и воскликнул: о боги! тогда для чего же все это нужно? если вообще позволительно задавать вам столь идиотские вопросы? ибо я ощущал, что запутался в собственных чувствах точно так же, как эти фигуры на фреске, не знающие, что делать с самими собой и друг с другом; во взгляде Салмакиды я напрямую, безо всяких претенциозных художественных домыслов, узнал взгляд Хелены, моей невесты, то, как она смотрит на меня с вожделением, грустью и пониманием, с желанием впитать, поглотить каждый мой жест

и каждую мысль, в то время как я, обреченный и проклятый, неспособный любить, как бы я ни любил ее, подобно этому юноше, хоть я, к сожалению, не сравним с ним по красоте, гляжу вовсе не на нее и вовсе не благодарен ей за ее любовь, напротив, она меня явно отталкивает, вызывает во мне неприязнь, отвращение, словом, я смотрю на кого-то другого, разумеется, на другого! и этот другой, если позволить себе столь выпренное заявление, волнует меня больше ее осязаемой любви не потому, что способен предложить мне какое-то теплое семейное гнездышко, а потому, что он обещает увести меня в самую гущу моих инстинктов, в лесные дебри, в ад, к диким зверям, в неизвестность, которая всегда кажется мне более важной, чем то, что известно, предвидимо, обозримо; но размышляя над этим сумбуром чувств в себе, я мог вспомнить и о другой, так же грубо и непосредственно связанной с моей жизнью историей, да к черту уж эти античные сказки! я мог вспомнить об одной ароматной женщине, чье имя ради защиты ее репутации не буду здесь раскрывать, о женщине, которая, вопреки моей воле, отчаянию и почти всем желаниям, стояла в центре моей тайной жизни, стояла так мощно, красиво и беспощадно, как принято на модных псевдоантичных картинках изображать Фортуну, но скорее она чем-то напоминала Дриопу, так вот, именно она была той женщиной, которая не могла ответить на мою любовь с той страстью, которой пылал к ней я, поскольку сама была влюблена столь же страстно в другого мужчину, коего я, с намерением несколько затуманить дело, называю в своих готовящихся мемуарах отеческим другом и вывожу под именем Клауса Динстенвега, скрывая его настоящее имя хотя бы уже потому, что непременно хочу рассказать о том, что он, в свою очередь, несмотря на все ее притязания, был страстно влюблен не в ту женщину, которую так любил я, а обожал, буквально преследовал своей безумной любовью меня, и если порою случалось, что он все-таки уступал горячим желаниям женщины, то делал это лишь для того, чтобы почувствовать нечто от той любви, которую испытывал к ней я, чтобы, так сказать, заменить меня, приобщиться к чему-то, в чем я ему отказал, то есть в женщине он любил меня, в то время как я, чтобы хоть как-то удержать ее, вынужден был любить его хотя бы как друга, как отца и благодаря этому иметь возможность почувствовать, каким мне следовало бы стать, чтобы женщина та любила только меня; история эта связана с моей ранней молодостью, мы впутались в нее, когда после ужасного поступка моего отца и последовавшего затем его самоубийства я переехал в Берлин,

но чуть позже случилась новая ужасающая трагедия, которая если и не вычеркнула окончательно из моей памяти, но все же закрыла эту историю между нами троими; и тогда, поскольку мне не хватило ни сил, ни смелости умереть, мне пришлось начать жизнь сначала, но какой же пустой и бессмысленной, по-бюргерски трезвой и мелочно лживой была эта новая жизнь! и я думал уже: быть может, история эта была тем крайним состоянием внутреннего хаоса, той кошмарной судорогой невозможности, когда человек подходит ближе всего к тому, что в нем есть божественного? значит, только в трагедии? – спрашивал я себя, но в таком случае к чему эти горы ненужного материала, все эти заметки, идеи, бумаги и мысли, ведь после трагедии остается уповать лишь на мудрость богов, но мы сами отнюдь не боги, и, следовательно, я не только не в силах ответить, кто этот юноша на моей репродукции, но не могу даже знать, почему меня это интересует; как возможно проникнуть туда, куда могут проникнуть только они!

И все-таки эта репродукция не отпускала меня.

Как человек, разгадывающий головоломку, я должен был принимать во внимание не только возможные доказательства, но и все исключаящие обстоятельства, я снова и снова приходил к тому, что юноша прекрасен, как Эрос, он просто пленял меня своей красотой, но все же то был не он, потому что был грустен, как Гермафродит, но он не мог быть и Гермафродитом, поскольку держал в руках флейту Пана и жезл Гермеса, а с другой стороны, в своих попытках уловить неуловимое я нашел новый контраргумент, с пристрастием разглядев выписанный с мастерством миниатюриста фаллос юноши; он не может быть Паном хотя бы уже потому, что этого фаллического бога-гиганта никогда не изображали в столь откровенно непотребной позе, с раздвинутыми ногами, мы никогда не видим его анфас! всегда только сбоку или в таком движении, которое скрывает от наших глаз его детородный орган, что совершенно естественно и логично, ведь он весь, целиком, от кончиков рогов до подошв копыт и есть фаллос, и абсурдом и смехотворной потугой было бы ограниченным человеческим разумением, скажем, решить вопрос, каким его рисовать, большим или маленьким, смуглым, белым, тонким или толстым, болтающимся вдоль отвислых яиц или, может, торчащей кверху кумачовой жердью; на моей репродукции он похож скорее на маленькое украшение, невинный как у младенца, безволосый, как и все его крепкое и блестящее от умщений тело; и когда изучать было уже нечего, потому что на репродукции не осталось места, которое

я самым тщательным образом не разглядел бы невооруженным глазом либо с помощью лупы, когда не осталось данных, которые я не попытался бы прояснить сквозь туман своей неосведомленности и безграмотности в книгах ученых мужей, когда я уже наконец-то понял, что мне совершенно неважно, кто там изображен, ведь меня интересуют не их истории, потому что истории Аполлона, Гермеса, Пана, Гермафродита точно так же сливаются воедино, как все то, что я намеревался рассказать о самом себе, и волнуют меня вовсе не грешные их тела, а то, что предмет задуманного мною повествования, как мне кажется, идентичен предмету этой картины, и этот предмет легче всего уловить, пожалуй, в их взглядах, которые, будучи связаны с телом, с одной стороны, материальны, но в то же время уже все-таки не телесны, каким-то образом они уже за пределами тела, ну да все равно! чтобы рассказать об этом, мне следовало бы отправиться туда, куда смотрит юноша, куда смотрю я, в лес, чтобы увидеть, кто стоит там среди деревьев, кто тот, кого он так сильно и безнадежно любит, в то время как некто другой так же безнадежно любит его, и что это все значит? что это? но так мы снова вернемся к исходному вопросу, однако могу ли я, несомненно, нелепые вопросы своей личной жизни приукрашивать и скрывать за какими-то древними росписями, потому что они все равно вылезают, вот и ладно, довольно! поговорим о них, без притворства, о нашем личном, о нашем теле и нашем взгляде, и, ужаснувшись при этой мысли, я вдруг обнаружил то, к чему были слепы мои глаза – ведь как я ни разглядывал, в том числе через лупу, икры юноши, пальцы ног, его руки, рот, глаза, лоб, устанавливал по линейке направление его взгляда и с помощью мудреных расчетов определял то место, где должна была находиться таинственная фигура, а того не заметил, просто не обратил внимания, что на лбу у него вовсе не два вьющихся локона, а именно, именно два маленьких рога, и стало быть, это все же Пан, никаких сомнений, он самый, только это открытие меня уже ни в малейшей мере не интересовало.

Равно как и лес.

Когда в сумерках я с нарочито рассеянным видом стоял у окна моей съемной квартиры на улице Вайсенбургер, готовый в любой момент, не стыдясь за подглядывание, скрыться за занавесью, и мог беспрепятственно наблюдать за одной повторяющейся дважды в неделю сценой, то всегда ощущал то же трепетное волнение, как при исследовании древней фрески, потому что, как в античном рассказе, где при всей абстрактности и призрачной воспаренности

действия всегда очень точно и прозаически указано время и место происходящих событий, так и тут, относительно этой уличной сценки, я всегда был уверен не только в том, что увижу ее в час заката, но и в том, что то будет вторник или же пятница; так что волнение наступало, как по расписанию, ощущаемое глоткой, желудком и даже пахом; и я затрудняюсь сказать, какая картина была для меня важнее – античная фреска или та, которую я мог наблюдать через оконное стекло, называя ее реальной, живой, во всяком случае именно этой сценой я собирался начать свой рассказ, но самого наблюдателя с его эротическими творческими фантазиями обязательно исключить, то есть подать историю не таким образом, будто ее кто-то наблюдает, а в ее непосредственном протекании, так, как она разворачивается, всегда одинаково, повторяя саму себя; внизу останавливается конный фургон; на соседней Вёртерплац уже зажгли газовые фонари, но фонарщикам, прежде чем добраться до нашей улицы, нужно еще обойти всю площадь и, приподнимая длинными, с вилочками на конце шестами продолговатые стеклянные колпаки, с помощью той же вилочки увеличить голубоватое, с желтыми языками пламя; однако еще не стемнело, дневной свет еще не совсем угас, когда в тени окаймляющих улицу молодых платанов перед подвалом мясной лавки, что расположена напротив, останавливается крашенная белой краской повозка и с козел, обмотав вожжи вокруг тормозной рукояти, спрыгивает стройный возница; зимой или в ветреную погоду он быстрым движением выхватывает из-под сиденья две серые попоны и набрасывает их на взмокшие спины лошадей, чтобы те не простыли, пока длится сцена, а если тепло, стоит осень, весна или лето, когда румяные сумерки шелестят не остывшим еще ветерком меж деревьев и закопченных щипцов доходных домов, то это действие опускается, и возница, предварительно щелкнув по голенищу кнутом, помещает его рядом с вожжами; к этому времени три женщины уже всегда стояли на тротуаре рядом с повозкой, и поскольку я наблюдал за ними с высоты пятого этажа, затененного козырьком крыши, то фургон не скрывал от меня их веселых и ладных фигур, головы их одна за другой только что показались в проеме над крутой, спускающейся в подвал лестницей; одна из троих была чуть полнее, но далеко не толстуха; она была матерью двух незамужних девушек, но выглядела, во всяком случае на таком расстоянии, ненамного взрослее их и казалась скорее старшей сестрой двух близняшек, которые и внешне, и движениями, конечно же, походили одна на другую как две капли воды, и отличить их мож-

но было только вблизи, по цвету волос, потому что одна была пепельно-белокурая, а у другой белокурые волосы имели рыжеватый оттенок, но голубые глаза на их пухленьких белых личиках были одинаково глуповатые; я знал их, хотя никогда еще не спускался в выложенное белым кафелем нутро мясной лавки, но порой мы встречались на улице, когда во время обеденного перерыва они, взявшись под ручку и синхронно покачивая юбками, отправлялись прогуляться по площади, иногда же, заглянув в зарешеченное окно подвала, я видел их за прилавком, как они, засучив вышитые рукава блузок, словно две разгневанные богини, разделявали ножками какие-то окровавленные куски мяса; ну а благодаря хозяйке, добрейшей госпоже Хюбнер, у которой я не только квартировал, но и столовался и которая закупала у них для меня колбасы и прочие мясные продукты, я знал о них все, что только можно узнать из кухонных сплетен, однако об этих, известных всей улице личиных подробностях, я в своем повествовании даже не собирался упоминать, потому что меня волновала сама эта сцена, ее протекание, ее, так сказать, немая хореография и разворачивающаяся при этом волнующая система взаимоотношений.

Фургон приезжал с главной бойни на Эльденерштрассе.

Возчику было не более двадцати, то есть он был чуть старше девушек и, разумеется, не утратил еще той юношеской гибкости, которой с годами его, несомненно, лишит тяжелый физический труд, кожа была загорелая и блестящая, волосы иссиня-черные, а из-под растянутой всегда рубашки дико топорщилась кустистая темная шерсть, что же касается женщин, то они в этих случаях выглядели почти одинаково, в частности потому, что поверх одежды на всех трех были накинута белые, в красных кровавых пятнах халаты.

Упродой походкой направляясь к задку повозки, он одну за другой, и дочерей, и мать, слегка трепал по щекам, те же этого словно ждали, заранее наслаждаясь теплом его шершавой ладони; пересмеиваясь, они шли за ним и при этом тоже пощипывали и хватали друг дружку, как будто делились между собой тем, что каждая получила от парня в отдельности; он открывал заднюю дверцу фургона, набрасывал на плечи белую простыню, тоже заляпанную уже пятнами крови, и они все вместе принимались выгружать товар.

Женщины несли что полегче, окорока, нарубленные длинными полосами ребра, свиные полуголовы и уложенные в синие эмалированные бидоны потроха: печень, сердце, селезенку, желудки, почки, в то время как возчик с немного наигранной показной легкостью вскидывал на плечо и носил по ступеням в подвал свиные

полутуши и четвертины говядины, и вот здесь-то и начинался реальный сюжет моего рассказа, ибо на первый взгляд все шло, как тому и положено, они трудились красиво и слаженно и тем не менее постоянно находили поводы прикоснуться друг к другу, подхватить, подтолкнуть и даже под видом помощи дотронуться невзначай до голой груди, шеи, руки или кисти возчика, и если это случалось, то женщины, словно по цепочке, передавали друг другу наслаждение от этих прикосновений; порой они на мгновение припадали к телу возчика, припадали хитро и жадно, но все же не так, будто это и было целью игры, которая может удовлетворить их, а так, словно это прелюдия к более чистому и глубокому соприкосновению, к какой-то более сложной игре, которую они должны были подготовить постепенно; но увидеть ее мне было не дано, так как они надолго, иногда даже на полчаса, исчезали в глубине подвала, груженный мясом фургон все это время стоял бесхозный, с открытой дверцей, на горизонте порой появлялись собаки с взъерошенной шерстью и голодные драные кошки, они принимались в поисках капель крови и ошметков мяса, но, как ни странно, никогда не осмеливались запрыгнуть в повозку; я стоял наверху за занавесью в сумеречной полутьме своей комнаты и терпеливо ждал, и если они слишком долго не появлялись, то в моем воображении подвал каким-то образом приоткрывался, становились прозрачными его стены, и они, сбросившие окровавленные одежды и раздевшиеся до живого костюма кожи, оказывались, уж не знаю, каким таким образом, на той самой лужайке в Аркадии, то есть знаю, конечно! я представлял себе подземный ход, который вел их за город, на волю, где две картины попросту наслаивались одна на другую, наблюдения совпадали с воображением, они были чисты, невинны, естественны в этом месте, как нельзя более подходящем для моего рассказа о грубовато-красивом мужчине и трех женщинах.

Одна из причин, почему я так не любил, когда фрау Хюбнер входила в мою комнату без стука, состояла в том, что, следя в сумерках вторника или пятницы сначала за живой картиной, а затем за возникающей из ее напряженного отсутствия собственной фантазией, я приходил в столь сильное физическое возбуждение, что для того, чтобы успокоиться, что, с другой стороны, всегда неизбежно только усиливает наслаждение, я был вынужден запустить руку в брюки и коснуться себя; от слегка отодвинутой занавеси окна я не отходил, не двигался с места, словно бы желая усугубить напряжение страхом разоблачения, а тем временем пятью пальцами мягко обхватывал свой восставший, готовый пронзить халат муж-

ской орган, действуя, разумеется, как истый гурман, прижимал теплой ладонью мошонку к набухшему члену и тем самым словно бы ухватывал то, что рвалось наружу, в самой глубине, у истока, но вместе с тем с некоторым изощренным самообладанием я продолжал пристально наблюдать за тем, что происходило на улице, внимать наступившей тишине, отсутствию действия, следить за ничем не подозревающими прохожими; мне не нужно было быстрое самодовольствие, я хотел оттянуть его, чтобы задержаться на грани реального зрелища и воображения; ибо внезапная сладостная конвульсия и извержение семени лишили бы меня как раз того, что с помощью представляемого бесконечного и безграничного наслаждения непрерывно питало тело токами радости, и так, растягивая блаженство, я прикасался ощущениями своей плоти к радости других тел, я бы сказал, что таким образом час моего позора становился для меня часом созидания, приобщения к людскому обществу, и, следовательно, было бы крайне досадно, войди фрау Хюбнер в такой момент в мою комнату; и я видел не только улицу, я был вместе с ними в подвале, я был мужчиной и я же был тремя женщинами, я чувствовал их соприкосновения собственным телом, но их игру, все более возвышенную и серьезную, мое воображение переносило на ту лужайку, на самое подходящее для нее место, и возчик становился Паном, а мать с дочерьми превращались в нимф, причем в этом не было никакой высокопарной фальши, потому что укромная эта лужайка была хорошо мне знакома, воображение переносило меня не в какое-то неизвестное место, а возвращало назад во времени, к тому месту, что сохранилось в памяти по нашим летним поездкам в Хайлигендамм.

Моя античная фреска лишь отдаленно напоминала эту реальную, более чем реальную для меня лужайку.

Вам нужно всего лишь спуститься с дамбы по скользким и шатким камням и проторенной тропкой, выставив вперед руку, чтобы острые листья осоки не лезли в глаза, пробраться через болото, на котором однажды, как я уже поминал, я застукал своего друга детства, юного графа Штольберга, когда, растянувшись на зыбком мху в укромном местечке, он развлекался своим елдачком; он лежал на спине со спущенными до колен штанами, голова запрокинута, глаза зажмурены, рот открыт, матросская бескозырка, по-видимому от ритмических движений, сползла с головы и нелепо повисла на кочке, опустив темно-синие ленточки в лужицу; он приподнял бедра мостиком, раскинул ноги, насколько позволяли застрявшие на коленях штаны, и рывками пальцев дергал крайнюю плоть,

обнажая маленькую залупку, все у него было маленькое и аккуратное, он дергал кожу туда-сюда, и из ладони его словно выглядывал и снова прятался какой-то красноголовый зверек; его напряженное лицо было обращено к небу, и мне казалось, будто он всем своим выгнувшимся телом, открытым ртом и судорожно зажмуренными глазами общается непосредственно с небесами, затаив при этом дыхание и целиком погрузившись в себя; а когда я с негодованием и в шоке от собственного возбуждения призвал его к ответу, он в своей очаровательно благодушной манере с готовностью посвятил меня в приятные способы получения наслаждения от собственного нашего тела, сказав, что не видит в этом никакой беды, и ему непонятно мое возмущение, и не лучше ли мне присоединиться к нему, и будем при этом смотреть друг на друга, так оно, может, еще интересней будет; словом, если вы двинетесь через топь по этой тропе, то минут через десять ходьбы, слегка задышавшись от душного и безмолвного болотного воздуха, вы можете оказаться на той самой лужайке, перед вами внезапно откроется чистый простор с лесом вдаль, который здесь называют дремучими дебрями и в который, если бы мне все же удалось написать свой рассказ, я отвел бы их, четверых, увлекая чистыми светлыми фразами.

Ну а с приятелем, к которому я из-за нашей общей тайны не только еще сильнее привязался, но которого, естественно, и побаивался, почти ненавидел его из-за той же тайны, мы потом частенько проделывали этот путь, что, кстати сказать, всегда напоминало мне заигрывание со смертью, потому что я неотвязно думал о том, что однажды прошептала мне страшным шепотом Хильда, будто зная, о чем говорит и какой щекотливой темы касаются ее слова! а сказала она мне вот что: «Кто в болото с тропинки свернет, того смерть приберет».

Но мы продолжали ходить туда, а поводом для того, чтобы иметь возможность уединиться в осоке, была расположенная на лужайке улиточная ферма доктора Кёлера, где можно было понаблюдать за моллюсками, поговорить со служителями или даже лично с ученым доктором о физиологии улиток, так что это хозяйство стало идеальным прикрытием нашего любимого времяпрепровождения, улитки сделались нашими пособницами, и я думаю, именно из трясины этой ранней лжи и возникали те самые призраки, о которых я с испугом рассказывал отцу.

Для того чтобы написать свое повествование, мне следовало бы сперва как-то выправить свою жизнь, взломать и разрушить в себе все наслоения лжи и самообмана.

Но поскольку во мне так и остались не выправленными многие минуты и часы моей жизни, моим злейшим врагом стало мое тело, время шло, а оно все накапливало и накапливало в себе самые противоречивые желания; несовместимые друг с другом, они жили в нем своей собственной жизнью, за которой мой разум не мог уследить, не мог ее контролировать, подчинить своей воле, а потому я не мог выработать в себе подходящее мне сочетание чувственности и разума, которое затем обрело бы форму в чистой, прозрачной и единственно возможной системе слов, но нет, это не получалось, и потому дни и часы мои, словно верный спутник, сопровождала идея покончить со своим телом собственноручно, но идея эта так и оставалась не более чем кокетством хотя бы уже потому, что стремления, мечтания и желания, писательские амбиции и острота тайных удовлетворений давали мне, и в первую очередь телу, такое обилие наслаждений, что лишиться себя их по собственной воле казалось мне безрассудством; страдание тоже доставляло мне наслаждение, и здесь я зашел достаточно далеко и постоянно вынужден был представлять свою смерть, заранее наслаждаясь избавлением от неизбежного напряжения, больше того, я могу признаться, что настолько привык наслаждаться страданием, что от этого не мог больше замечать даже своего счастья, ведь вот, например, в день моего отъезда, когда мы утром лежали в объятиях на ковре с моей суженой и, открыв глаза, я случайно заметил свой саквояж, в который мне предстояло тщательно уложить собранный для моего повествования материал, даже в этот момент, когда соки нашего счастья едва слились в ее бесподобном теле, первой отчетливой мыслью, что пришла мне в голову, была мысль, что прямо сейчас и здесь, сию же минуту, да, да, мне следовало бы подохнуть, загнуться, сгинуть с этого света, перестать существовать, раствориться и не оставить после себя никаких следов, кроме нескольких написанных вычурным стилем новелл и очерков, напечатанных в разных литературных журналах, которые время достаточно быстро уберет с глаз долой, а также этого лакового, открытого сейчас саквояжа, где будут храниться реальные, но сырые и для посторонних невнятные тайны моей жизни, да может быть, еще семени, которое в эту минуту сливается в ее теле с ее женской клеткой.

Если бы некто непрошенный порылся, полистал сейчас мои рукописи, а этот некто, этот секретный агент, который явится после моей смерти, дабы на основании оставшихся после меня бумаг написать обо мне соответствующий отчет, очень часто виделся

мне во сне: человек без лица, трудноопределимого возраста, но, что казалось мне более характерным и многозначительным, в безупречно чистой манишке, в высоком стоячем воротничке, с галстуком в горошек, украшенном заколкой с ослепительным бриллиантом, и, главное, в несколько залоснившемся сюртуке; своими длинными костлявыми пальцами он, многоопытный в подобного рода делах, рылся в моих бумагах, иногда подносил какую-либо из них совсем близко к глазам, из чего можно было заключить, что он, хотя очков не носил, был, видимо, близорук, прочитывал фразу-другую и, к величайшему моему удовлетворению, обнаруживал между фразами совершенно другие связи, нежели те, которые я за ними скрывал, и в том, что мне удалось обвести вокруг пальца даже его, нет ничего удивительного, потому что заметки эти я писал так, чтобы мои мимолетные мысли, фрагменты и небрежные описания не выходили за самые строгие рамки буржуазных приличий; считался я, разумеется, и с возможностью, что добрейшая фрау Хюбнер, воспользовавшись как-нибудь моим отсутствием, чего доброго просто из любопытства сунет нос в разбросанные по письменному столу бумаги; я и сам стал каким-то непрошеным персонажем своей собственной жизни, считая себя злодеем, несчастным уродом, но в глазах общества желал оставаться безукоризненным господином, словом, сам я и был тем залоснившимся сюртуком, крахмальной манишкой и булавкой на галстуке, безупречно пустой оболочкой буржуазной добропорядочности, между тем как втайне, и даже гордясь своей хитростью, я полагал, что когда с должной осмотрительностью накоплю достаточное количество своих зашифрованных впечатлений, то хранящимся у меня ключом в любой момент смогу открыть замок, но, как и следовало ожидать, замок этот оказался столь совершенным, что когда наконец пришло время, моя дрожащая от волнения рука не нашла даже замочную скважину.

Так все и осталось навеки загадкой, моей личной тайной, но нет, я отнюдь не жалею об этом! в конце концов, если чего-то не существует, если о чем-то не говорят даже как об открытой и принятой обществом тайне, то какое миру до этого дело? так, загадкой и тайной останется, вероятно, и то, по какой причине, уезжая в Хайлигендамм, я взял с собой две брошюры доктора Кёлера, посвященные *Helix pomatia*, то есть виноградной улитке, равно как и то, была ли какая-то связь между этими улитками, той самой малозначительной уличной сценой и великолепный античной фреской.

Этих улиток, которых Кёлер описывает в своих трудах сухим и бесстрастным языком науки, курортники по утрам поглощали целыми дюжинами в сыром виде, размолотыми до кашицы вместе с их известковыми домиками, со специями и лимонным соком, что было такой же неотъемлемой частью лечебного курса, как и послеполуденная дыхательная гимнастика; улитки, которых доктор в зависимости от внешнего вида, строения, среды обитания и прочих критериев самым тщательным образом сгруппировал в отдельные виды и подвиды, существа бесконечно одинокие и весьма чувствительные, и, что самое удивительное, им требуются долгие часы, а по их понятиям, вероятно, дни, недели и месяцы, чтобы, коснувшись сперва друг друга чуткими щупальцами, а потом, уже на более высоком уровне доверия, своими ртами и похожими на оборки ногами, удостовериться, что они и в самом деле друг другу подходят и что нет каких-то достаточных веских исключаящих обстоятельств, которые побудили бы их несолоно хлебавши ползти дальше, искать другого; ведь в принципе любая улитка может спариваться с любой другой улиткой, и в этом смысле они уникальные баловни природы, единственные животные, сохранившие исконную единополость творения, они двуснастны, как некоторые растения, и сохраняют в своих телах то, о чем мы, люди, можем только смутно помнить; возможно, этим и объясняется их исключительный вкус, а также их боязливость, ведь каждая из них представляет собою целое, так что в их случае друг друга должны найти две цельности, а это задача неимоверно более сложная, чем банальное взаимодополнение, и когда наконец, в состоянии абсолютной взаимности, они копулируют, одновременно вбирая в себя другого и заполняя его собой, каковой процесс Кёлер описывает в мельчайших подробностях, и тон его делается патетическим, то они сцепляются друг с другом с такою силой, и в том нет ничего удивительного, ведь это сила древнейших богов! что разделить их, как показали эксперименты, возможно, лишь разорвав их тела на части; но рассказывать о них в задуманном мною повествовании я вовсе не собирался, точно так же как и о персонажах античной фрески, и изучение их физиологии было тоже частью подготовительных работ; материалы подобного рода могут питать произведение, но в готовой работе вы их уже не заметите, и такие тайные составляющие есть в любом произведении искусства, заслуживающем этого звания, и во множестве; а возможно, я все же изобразил бы их, но в каком-нибудь незначительном месте, в виде символа, метки, скажем, где-нибудь на опушке леса, ползающими

по широкому листу папоротника, или, может, на ароматно-прелой сухой листве, и даже, пожалуй, в паре, когда они осторожно дотрагиваются друг до друга своими щупальцами с глазками на концах.

Да, каждый шаг, продиктованный жадой бесполой ли смерти, или бесплодности счастья, вел меня в этот лес.

Лес был негустой, но стоило отыскать тропинку и, отдавшись на волю случая, углубиться в него, как сразу же ощущалось, что не случайно в народе его прозвали дебрями: никто никогда не навевывался сюда, чтобы, пометив деревья мелом, валить их и после обрезки сучьев вывозить на телегах, здесь, видимо, ни хворост не собирали, ни землянику, что росла по краям его населенных улитками полян, ни малину и ежевику, никто не ходил по грибы, и казалось, будто испокон веку, с невообразимо, страшно далеких времен в этом лесу и с этим лесом не происходило ничего, кроме того, что мы можем назвать историей флоры и фауны, что, конечно, не так уж и мало; проклевывались из земли, подрастали, жили и по ходу бесстрастно текущих веков умирали деревья, между тем как внизу, пока хватает проникающего сквозь раскидистые кроны света, пускают ростки, поднимаются, крепнут кустарники, папоротники, хвощи, лианы, лопухи, крапива, всякого рода бурьян, цветы, в зависимости от сезона ослепительно яркие или болезненно-призрачные, а когда густеющие кроны деревьев лишают их света, они постепенно гибнут и уступают место предпочитающим мрак и прохладу мхам, лишайникам и грибам, которые, поедая гниль, продолжают поддерживать жизнь в ноздреватом слое земли; стояла глубокая тишина, тоже древняя, загустевшая от безветрия, и воздух настолько напоен был резкими запахами, что через минуту человека охватывало приятно пьянящее полуобморочное состояние, к тому же здесь было всегда чуть теплее, чем в трезвом наружном мире, то было тепло испарений, от которых кожа становится маслянистой и скользкой, как слизистое тело улитки; и, разумеется, тропы здесь были не настоящие, жизнь на них была вытоптана не человеческими ногами, а сам лес устроил свою жизнь таким образом, чтобы в нем имелись ходы, причудливые, извилистые и непредсказуемые, своего рода разрывы, паузы в непрерывной истории земной поверхности, которым только наш человеческий интеллект, преследующий свои цели, осмеливается давать имена, ибо он привык, не считаясь с другими, быть может гораздо более важными событиями, идти напролом через гущу вещей и в своей примитивной манере использовать безгласность природы.

Размытые дождями овраги, куда скатываются, гремя, галька и мелкие камешки, пологие лощины, где дождевой поток расстилает перед собой раскрошенные комья земли, ковровые дорожки мягкого мха и такие завалы палой листвы, что в их прели задыхаются даже грибы; пройти здесь можно, но вовсе не беспрепятственно, потому что естественный ход неожиданно преграждает то вымахавший на теплом солнечном пятне куст, то кряжистый ствол упавшего дерева, а то и огромный и скользкий черный подкидыш, как метко называют гладкие ледниковые валуны, которые, как гласят предания, великаны северных морей расшвыряли по всей прибрежной равнине, где после того, как утихли их битвы, и выросли эти молчаливые леса.

Темно-зеленый полумрак.

Иногда что-то прошуршит, упадет, обломится, треснет.

Никому неизвестно, как течет и проходит здесь время, но пока ты слышишь, как хрустят у тебя под ногами ветки, и чувствуешь, что каждый хруст нарушает твоё безмолвие, ты ещё не совсем здесь.

Пока ты стремишься найти себе какое-то место, о котором ты, правда, не знаешь, какое оно, пока не позволишь лежащему перед тобой пути самому вести тебя за собой, ты ещё не совсем здесь.

За неплотной завесой кустарников шевельнулся ствол дерева, как будто кто-то, стоявший за ним, сдвинулся с места, точно так же и ты постоянно из-за чего-то выглядываешь и снова скрываешься в чаще.

До тех пор, пока лес будет казаться тебе красивым.

Здесь ты у всех на виду, точнее, у всех на виду и одновременно скрыт.

Описание леса не удавалось мне, как бы мне ни хотелось передать ощущение леса.

Пока ты помнишь развилки и повороты, препятствия и скрепления оставленных позади путей, чтобы иметь возможность вернуться туда, откуда ушел, пока ты в страхе глядишь на растения, будто на лица людей, пока считаешь их указателями, наделяешь их формой, историями и свойствами, чтобы они в благодарность помогли тебе вернуться обратно, ты ещё не совсем здесь.

Ты ещё не совсем здесь, даже когда уже знаешь, что ты здесь не одинок.

О лесных существах мне хотелось рассказывать так, как рассказывал об улитках Кёлер, хотелось позаимствовать у него стиль.

Ты больше не осознаешь себя или, точнее, спохватываешься вдруг, что прошло какое-то время, и ты не знаешь сколько, может, много, а может, мало, но тебя это ничуть не волнует.

И ты стоишь, не зная, что ты стоишь, ты смотришь на что-то, но не знаешь, на что, и руки твои почему-то раскинуты в стороны, как будто ты тоже дерево.

Нет, рассказать об этом мне все-таки не удастся.

Ты можешь чувствовать то, что, по-видимому, не чувствует дерево.

До слуха твоего донесся какой-то шорох, эти шорохи здесь всегда, но ты не знал, что их слышишь.

Ты знаешь еще, что ты здесь, но уже не знаешь, когда ты сюда попал, потому что ты уже растерял все знаки.

Но пока ты еще наблюдаешь за окружающим, пока помнишь о потерянных знаках, ты еще не совсем здесь, потому что ты думаешь, что за тобой тоже наблюдают.

Скользя меж двумя деревьями, что-то исчезает, синее в зеленом.

Ты двинулся за ним, сам не зная, что двинулся, но не нашел.

Пока ты различаешь деревья и цвета, пока ты перебираешь в уме названия вещей, ты еще не совсем здесь.

Тебе еще кажется, что это тебе привиделось, это мелькнувшее в зелени синее, и ты осторожно пускаешься вслед за ним, а потом уж не разбираешь дороги, по лицу тебя хлещут ветки, ты не слышишь хруста под ногами, не замечаешь, что ты упал, поднимаешься и бежишь, кожу обжигает крапива, обдирают и рвут колючки, ты хочешь догнать существо, вечно исчезающее и вновь являющееся тебе, но при этом ты все еще думаешь, что не должен уступать искушению.

Но пока ты желаешь принимать решения, желаешь мыслить, у тебя ничего не получится, они будут все время прятаться от тебя, уже издали ощущая твой кислый запах.

Вот оно, это существо, замерло в ложбинке, и если не шевелиться, то можно в подрагивающей молча листве увидеть его глаза, устремленные в трепете зелени на тебя, хотя это уже не оно, а другое, третье, некое, любое, потому что взаимный блеск ваших глаз длится вечность, и ты замечаешь, что оно обнаженное, а следовательно, обнажен и ты.

Но до тех пор, пока тебе хочется дотянуться до его наготы, пока хочется разглядеть его лучше и поэтому ты раздвигаешь ветки, пока тебе хочется, чтобы его нагота наконец-то коснулась твоей и,

таким образом, стала принадлежать тебе, для чего ты готов сдвинуться со своего места, хотя ты как раз наконец обрел его, до тех пор ты еще не совсем здесь.

Оно исчезает.

И пока ты их ищешь, тех, кого ты отпугивал своей неуклюжестью, своим кислым запахом, пока ты надеешься снова встретиться с ними и ворчишь про себя, что ты должен был быть более ловким и более осторожным, ты все еще не совсем здесь, и никто тебя здесь не найдет.

Но на помощь к тебе спешит прихотливый случай, потому что пускай еще не совсем, но ты уже здесь.

Ты оборачиваешься, и то, что до этого видел перед собою, ты видишь сейчас позади себя: она лежит ничком на пологом склоне, растянувшись на зеленом мху, твой взгляд скользит вдоль ее спины, огибает округлый зад и спускается по ногам; положив голову на руки, она куда-то смотрит, и от этого ты испытываешь такое блаженство, что в ухмылке расплывается не только рот, но ты чувствуешь, как улыбаются пальцы ног, как смеются даже колени, и ты уже, разумеется, никуда больше не порываешься, ты нашел свое место здесь, этот смех и есть твое место на этой земле, а потом ты вдруг замечаешь, что глаза ее смотрят не в твои глаза, что есть в этой сцене еще и третий, он стоит чуть поодаль, тот, о котором ты думал, что он уже окончательно потерялся из виду; они глядят друг на друга, и ты думаешь, что ты мог бы у них научиться этому взгляду.

За тобой они тоже следят, точно так же, как можешь следить за ними и ты.

Но ты все еще пытаешься заменить себя мыслями, и пока ты считаешь, что должен чему-то учиться, ты еще не совсем здесь.

Своим подглядыванием ты вспугнул их, они вскочили и скрылись в зарослях.

Точно так же и ты укрылся от глаз того, кто следил за тобой.

И потом очень долго не мог никого найти.

До тех пор, пока ты кого-то желаешь найти для себя, лес будет безмолвным.

Но это уже иное безмолвие, это молчание впитывается уже в твою кожу, и смех должен дойти до твоих костей.

И даже твой запах тогда изменится.

ПОЖАРИЩЕ, ПОРОСШЕЕ ТРАВой

Чтобы нарушить этот покой, достаточно было малейшего движения, поэтому мне совсем не хотелось открывать глаза, не хотелось лишиться того, что тогда, в нашем общем тепле, сделалось в нас окончательным, а еще не хотелось, чтобы она заметила по моим глазам, как я боюсь того, что должно произойти, так будет лучше, страх пусть будет моим! в своем теле я чувствовал только то, что ему передавалось от ее тела: на липкой поверхности своей обнаженной кожи – липкую поверхность ее обнаженной кожи под задравшимся шелковым платьем, ее бедро было моим бедром, дыхание мое смешивалось у ее шеи с душным тягучим запахом, поднимавшимся от ее подмышки, жесткий край ее таза ощущался как жесткость своей кости, плечи и спину я чувствовал только благодаря весу ее тяжелой руки, а когда она очень осторожно отвела руку, то спина и плечи не перестали ее ощущать, словно отнятый вес странным образом все же впечатался в плоть и кости, когда же она приподняла и голову, чтобы получше рассмотреть след укуса на моей шее, я был рад, что существует возможность смотреть, даже не открывая глаз, через слегка приподнятые ресницы; так она может заметить только подергивание век и трепет ресниц и не догадается о моем страхе, хотя мы еще даже ничего не начали, я же почти совершенно отчетливо могу видеть, как она разглядывает мою шею, я могу обмануть ее; она долго смотрела на это место, даже потрогала его осторожно пальчиком, губы ее приоткрылись, приблизились, поцеловали еще немного саднящую рану.

Как будто поцеловала оставшийся на моей шее рот Сидонии.

Так мы с ней и лежали, ее лицо на моем плече, мое лицо на ее плече, безмолвно и неподвижно, по крайней мере так мне это запомнилось.

Наверное, с закрытыми глазами.

Но даже если я открывал глаза, то видел только орнамент смятого покрывала и ее волосы; колечки волос, щекочущие мои губы.

А если она открывала глаза, то не видела ничего, кроме зеленоватых теней, беззвучно подрагивающих на пустой поверхности потолка.

Возможно, что на какое-то время меня сморил сон, может быть, ее тоже.

А потом так тихо, что ухо мое ощущало скорее сбивчивые толчки дыхания, чем слова, она, как мне показалось, сказала, что пора уже наконец начать.

Пора, согласился я, или только подумал так, но ни один из нас даже не шелохнулся.

273

Хотя никаких препятствий к тому уже не было, точнее, мы не догадывались, что самым большим препятствием были мы сами.

В это время, во второй половине дня, Сидония обычно исчезала, шастала по соседям или отправлялась на свидание, устроив себе перерыв в работе, и пока однажды она не сболтнула случайно родителям Майи кое-что о послеполуденных приключениях их дочери, она могла быть уверена, что ее собственные внеплановые отлучки никогда не откроются; при этом они не только покрывали друг друга, но, не смотря на семилетнюю разницу в возрасте, словно подруги, делились интимными впечатлениями и посвящали друг друга в тайные похождения; однажды, с перехваченным от неожиданной удачи дыханием, я подслушивал их разговор: Сидония, с распущенными волосами раскачиваясь в гамаке, рассказывала что-то Майе, которая сидела на траве, поглощенная ее историей, и время от времени толкала гамак ногой.

А то, чем мы с нею собирались, чем было уже пора заняться, то есть обыском, которым в конце концов мы оба, трясаясь от страха, и занялись, как раз и было той жуткой и мрачной тайной, о которой она, я уверен, с тех пор никому не рассказывала, точно так же, как никому не поведал об этом и я, и пусть этот белый лист бумаги будет первым моим конфидентом! мы даже друг с другом об этом не говорили, ограничиваясь намеками, недомолвками и иносказаниями, все это было обречено на бессловесность, и в определенном смысле мы даже шантажировали друг друга тем, что у нас была столь жуткая и не делимая ни с кем тайна, которая связывая нас друг с другом гораздо крепче, чем могла бы связать любовь.

И что это за пятно на шее, спросила она тем самым, похожим на выдох, шепотом.

Этот красный след.

Я не сразу сообразил, о чем она говорит, и решил, что просто тянет время, чтобы не начинать, но, с другой стороны, я и сам нуждался в этой отсрочке.

Какое пятно, ерунда, она просто укусила меня за шею, сказал я, и мне даже не нужно было уточнять, кто это сделал, она это знала и так, и теперь ей было почему-то приятно, что след укуса остался на моей шее и она его видит.

Из тени яблонь гамак лениво качнулся на свет.

Нет, этот день мне не забыть никогда.

Ее губы припали к моей шее и, казалось, заснули на ней, и продолжалось это довольно долго.

Когда гамак вылетал из тени на свет и деревья вздрагивали под натянутыми веревками, голос Сидонии становился громче, кроны яблонь с шуршанием вздрагивали, сучья потрескивали, а потом, когда гамак возвращался в тень, она опять понижала голос, что не только придавало ее рассказу особый, какой-то задыхающийся ритм, но и без какой-либо логики выделяло какие-то части фраз, в то время как другие, угасающие почти до шепота выражения и слова можно было едва расслышать, словом, голос ее тоже раскачивался, незрелые яблоки сотрясались на своих черенках; одурманенный теплым въедливым ароматом клейких густо-зеленых листьев, я стоял за остриженным накругло кустом самшита, вслушивался в рассказ Сидонии, кажется, о каком-то кондукторе, и чувствовал, что этот голос, то затихающий, то невольно усилившийся, оказывал непосредственное воздействие на Майю, которая, в зависимости от эффекта, производимого словами Сидонии, толкала гамак то сильнее, то мягче, тем самым то ускоряя, то замедляя повествование, иногда отпихивала его с бешеной силой, да лети ты к черту! иногда чуть касаясь, предсказать это было невозможно, кондуктор же был коротышкой с выпученными глазами, вот такими большими, карими, налитыми кровью, лоб весь в прыщах, «огромных, прямо с мой палец!» – рассказывала Сидония, «и красных, набухших» – что заставило Майю визгливо хохотнуть и тут же резко толкнуть гамак, причем интересно, что эмоциональный тон рассказов Сидонии отличался совершенной бесстрастностью, она обо всем говорила с веселой улыбкой, как человек, для которого все детали очень важны, но он не находит, не выделяет среди них ни одной, которая имела бы для него особое или даже решающее значение, детали были важны сами по себе и сами для себя; она ехала на двадцать третьем трамвае, как обычно, села в последний вагон, потому что любила, «когда вагон дергается», трамвай был почти пустой, и, конечно, она села на теневую сторону, на ней была белая блузка с расшитым голубыми зубчиками воротом, та самая, что так нравится Майе, потому что она

так здорово облегает талию, и белая плиссированная юбка, которые дома ей разрешалось носить только по праздникам, например на пасху, она очень маркая, и перед тем как сесть, нужно было подстилать платочек, да и заглаживать эти складки сплошная морока, в трамвае была духотища, и этот кондуктор, цыган, как ей показалось, потому что такие выпученные глаза только у цыган бывают, ходил по вагону и специальной ручкой опускал стекла, все подряд, но дело шло туго, потому что ручка все время выскальзывала из гнезда, а потом он уселся напротив нее, правда, чуть поодаль, на солнечной стороне, положил рукоятку обратно в сумку и стал на нее смотреть, но она сделала вид, что не замечает этого, что закрыла глаза из-за ветра, дующего в лицо, она обожает, когда трамвай поворачивает на полной скорости, ей всегда делается страшно, и она вспоминает, как однажды с младшей сестрой ее крестной матери она попала на американские горки и думала, что прямо там и умрет; в вагоне ехал еще один человек, который наблюдал за пьявшимся на нее молодым кондуктором, но она временами забывала о них, потому что и в самом деле смотрела в окно или закрывала глаза и думала совсем о другом, и из трамвая все же не вышла и ехала дальше, потому что кондуктор пересаживался все ближе к ней, и она, конечно, бросила взгляд на его руку, обручального кольца на ней не было, но все же он ей не очень нравился, ну разве что черные как смоль волосы и курчавая шерсть на руках, нет, он был весь какой-то чумазый, и ей было просто интересно, что будет дальше, осмелится ли он заговорить с ней, тем более что с них не спускал глаз этот посторонний.

Мне казалось, будто я вижу, как сохнут под послеполуденным солнцем тяжелые темно-каштановые волосы Сидонии; когда я остановился за кустом самшита, их влажная масса еще облипла ее голую шею и плечи, на ней была белая полотняная блузка и нижняя юбка с кружевными оборками; эта блузка, которую она называла «ночнушкой», застегивалась спереди маленькими крючочками и, туго стягивая ее нахально большие груди, оставляла свободными спину, округлые плечи и сильные мясистые руки; и когда гамак взлетал в своем непонятном ритме к свету и падал обратно в тень, видно было, как высохшие пряди, сперва по краям, одна за другой отделялись от ее спины и плеч и порхали, взвивались в воздушном потоке.

Наконец, проехав так довольно значительное расстояние, они оказались на конечной остановке, правда, о том, что это конечная, она не знала, кондуктор давно уже сидел напротив нее, он встал,

другой пассажир тоже поднялся, приготовившись выйти, но по-прежнему глядел на них, ожидая, чем все закончится, выглядел он довольно солидно, в приличной одежде, белая рубашка, черная шляпа на голове, и при нем был какой-то сверток, явно с едой, потому что бумага была промасленной, и видно было, что он голоден, но не пьян, и тогда кондуктор сказал ей, что это конечная и, к сожалению, им придется расстаться, а она рассмеялась, ну зачем расставаться, если она собирается ехать с ним обратно.

Тут обе разразились смехом, коротким, сухим, я бы сказал, дружно выстрелившим смехом, два хохота как бы столкнулись друг с другом и в изумлении захлебнулись; сидевшая на земле Майя, прекратив качать гамак, резким движением зажала подол между ног и, подавшись вперед, неподвижно застыла; движение гамака замедлилось, в воцарившемся парном молчании он вяло и сиротливо покачивался с телом Сидонии, и я чувствовал, что приподнимаю занавес над какой-то их самой сокровенной тайной, они были настолько знакомы, и в то же время я словно бы видел их первый раз в жизни, взгляд Майи, казалось, отталкивал и притягивал к себе, убаюкивал тело Сидонии, а мягко покачивающийся взгляд Сидонии держал Майю в этой зачарованной неподвижности, но они удерживали друг друга не только взглядами, но и лицами, на которых застыл их короткий, сухой и несколько саркастический смех, молчащие рты их были слегка приоткрыты, глаза распахнуты и брови вздернуты, и, насколько бы разными они ни были, их разделенная по-сестрински тайна делала их похожими.

Когда гамак, чуть подрагивая, готов был уже замереть на месте, Майя, ухватив его обеими руками, свирепым и жадным, даже каким-то злым движением мощно толкнула его от себя, но злость ее не была направлена против Сидонии, а была общим с ней чувством, ибо, взлетев на свет, Сидония снова заговорила довольно громким, исполненным той же самой злости голосом.

На обратном пути, говорила она, кондуктор рассказывал ей всякую всячину, но она не отвечала ему ни словом, только слушала, глядя в его выпученные глаза, иногда неожиданно поднималась и пересаживалась на другое место, играя с ним так достаточно долго, но он всякий раз следовал за нею и, не обращая ни на что внимания, продолжал говорить, шел за ней и рассказывал дальше, потому что в вагон долго никто не садился, он тоже из провинции, живет в общежитии, рассказывал он, и хотел бы узнать ее имя, но она, конечно, ему не сказала, говорил, что с первого взгляда влюбился в нее, потому что давно искал именно такую девушку,

и что не надо его бояться, он будет честным с ней и сразу признается, что только неделю назад вышел на свободу, отсидел полтора года и давно уже не был с женщиной, но она должна его выслушать, он совершенно ни в чем не виновен, родился он без отца, а у матери был один друг, пьяница и бездельник, и она этого забуддыгу турнула, велел больше не появляться ей на глаза, хотя у нее от этого человека уже был ребенок, его сестренка, и он в этой своей сестренке души не чает, готов жизнь за нее отдать, мать же его, бедная, тяжело больна, у нее порок сердца, и заботиться о сестре приходилось ему, она чудная белокурая девочка, ну а тот человек продолжал появляться, когда кончались деньги или негде было переночевать, приходил и пинал дверь ногами, пару раз вышибал окно, и если они не подчинялись, то избивал мать, обзывал ее блядью, а когда он пытался ее защитить, то избивал и его, потому что здоровый был боров, и вот как-то вечером, когда они уже искупали и уложили малышку и он как раз мыл посуду, на столе случайно остался нож, небольшой такой ножик, но очень острый, он ножи всегда сам точил, короче, опять он явился, и все началось сначала, они не пускали его, но тут стали орать соседи, требуя прекратить безобразие, поэтому мать все же открыла дверь, он вошел и двинулся на нее, а та, отступив до стола, вдруг нащупала нож! схватила его и пырнула им эту сволочь, и тогда, чтобы сестренке не оставаться без матери, он взял вину на себя, но на суде все же выяснилось, что это сделал не он, потому что дверь оставалась открытой и соседи все видели, поэтому за дачу ложных показаний и соучастие в преступлении ему дали полтора года, и он очень просит Сидонию не выходить из трамвая, не дав ему своего адреса или не договорившись с ним о свидании, он не хочет ее потерять и не сможет теперь думать ни о чем, кроме ее прекрасного лица.

Майя вскочила с земли, потому что стоя качать гамак было сподручней, отступила два шага назад, расставила ноги и толкнула Сидонию с такой силой, будто хотела, чтобы гамак описал полный круг, что было, конечно же, невозможно, яблони охнули, затрепали, затрясли кронами, но наверху, в лучах солнца, гамак всякий раз останавливался и с такой же силой устремлялся назад, а Сидония, с перехваченным от падения дыханием, еще громче продолжила рассказ.

Ну, коли ему так уж хочется встретиться, то в субботу днем на этом трамвае пусть доедет до площади Борарош, а там переседет на шестой, да, но он в субботу работает, так пусть поменяется! и на шестом трамвае нужно доехать до площади Москвы, там пересест

на пятьдесят шестой, сойти у станции зубчатой железной дороги и подняться до улицы Адониса, а дальше, на этой улице, в конце каменного забора за первым домом, он увидит тропинку, ведущую к лесу, узнать ее очень просто, там три высоких сосны, и спокойно идти по лесу до большой поляны, где она его будет ждать.

Только на этот день, прокричала Сидония, у нее уже было назначено свидание с Пиштой.

Этого Пишту я тоже знал.

278 Но очень ей интересно было, что они будут делать друг с другом.

Майя уже с трудом сдерживала себя, она вытянулась всем телом, напряглась от волнения, и чувствовалось, что ее напряжение вот-вот достигнет той точки, когда нужно будет прервать эту историю, она еще раз толкнула гамак, а потом вдруг закрыла лицо руками, как будто ее разбирал смех от того, что ей орала Сидония, однако так и не проронила ни звука; она только притворялась, перед собой и Сидонией, будто хохочет, гамак по инерции продолжал качаться, а раз уж она начала игру, неважно, фальшивую или искреннюю, то нужно было продолжать ее, и она, схватившись за живот, согнулась в приступе немого смеха, потом рухнула наземь и, зажав руки между ногами, как будто от смеха вот-вот описается, взглянула на Сидонию.

Лицо и шея ее пошли бледными пятнами, тело вжалось в траву, я знал, что ей сейчас очень стыдно, но не менее сильным, повидимому, было и любопытство, потому что рот ее был приоткрыт и глаза, одновременно моля о пощаде и продолжении, безумно блестя среди тронутого желтизной, уже семенящегося бьяля.

Но Сидония, не дожидаясь, пока гамак остановится, села, вцепилась руками в натянутые веревки и, оттолкнувшись босыми ногами, как на качелях, стала раскачиваться вперед и назад, ее глупо наморщенный лоб от усилий даже покраснел, но голос оставался намеренно тихим, и улыбка, обнажавшая ее зубы, ни на мгновение не исчезала с лица, что, наверное, было для Майи самым мучительным.

К тому времени, как она добралась до места, Пишта был уже там; она спряталась в зарослях, перед спуском тропинки, на той самой скале, где так часто им попадались использованные резинки, ну, Майя сама знает; оттуда она могла видеть все, ее же не было видно; на этой скале она и присела на корточки, боясь сесть, чтобы в случае чего легче было дать деру; Пишта был на этот раз не в форме, а в синем костюме и белой рубашке, она обо всем об этом прежде не рассказывала Майе, потому что боялась боль-

ших неприятностей, в общем, Пишта лежал на траве и курил, пиджак, как всегда, аккуратно сложенный, лежал рядом с ним на земле, он всегда такой аккуратный, он рассчитывал, что позднее они пойдут на танцы, так вот, довольно долгое время ничего не происходило, но Пишта, он такой терпеливый, спокойно ждал, когда зашуршат кусты, предвещая ее появление, нещадно палило солнце, и иногда на него, видимо, садились мухи, потому что время от времени он мотал головой, что ее очень смешило там, наверху, на скале, но смеяться было нельзя, и она уж подумала, что кондуктор вообще не придет, потому что слышно было, как остановился вагончик зубчатки и отправился дальше, а его все не было, короче, прошел битый час, он приехал только со следующим рейсом; Пишта беспрестанно курил и ворочался, увиливая от мух, а она пару раз все же присела на камень.

Он, Пишта, всегда, всякий раз делает вид, будто не слышит ее приближения, а она, тихонько подкравшись, целует его, но он все равно не вынет руку из-под головы, и даже сигарету не бросит, глаза открыты, но как бы не видят ее, и ей приходится целовать его в рот, в лицо, в шею, пока он, не выдержав, не поцелует ее в ответ, не схватит и не притянет к себе, и тогда уж, как ни пытайся, уйти от него невозможно, он этого не позволит, он сильный, чертяка; увидев его, кондуктор застыл на месте, он был в своей униформе, с сумкой через плечо, кто знает, может, из-за нее он просто бросил трамвай, он стрельнул глазами по сторонам, пытаясь сообразить, то ли это место, а потом тихо-тихо, чтобы Пишта не слышал его шагов, попятился назад в кусты, она его потеряла из виду и видела только, что Пишта сел.

Ей было видно, что Пишта тоже не видит кондуктора, хотя тот его видел, и Пишта об этом знал.

Сделав вид, будто просто здесь отдыхает, Пишта встал и, подняв пиджак, двинулся дальше, но, зайдя за деревья, повернулся и стал пристально наблюдать за местом, где, как он предполагал, должен был притаиться кондуктор.

И в эту минуту она, сидя на корточках на жуткой жаре, вдруг почувствовала, что начались месячные, а на ней даже трусиков не было.

Какая же ты идиотка, ну полная идиотка, сказала Майя.

Кондуктор тем временем осторожно высунулся из кустов, он даже не вышел из своего укрытия, а только прислушивался, стоя на месте, к шуму, поправлял сумку и почесывал свой прыщавый лоб, он сильно нервничал, видимо, думая, что ошибся местом,

а потом пошел дальше, не замечая, что за ним следит Пишта, у нее же так резануло живот, она думала, он сейчас лопнет, а когда сунула руку под юбку, то поняла, что там все в крови, что из нее хлещет, и, продолжая сидеть на корточках, чувствовала, что кровь, стекая на задницу, капает на скалу, и не знала, что делать, не могла встать, когда же кондуктор дошел уже до середины поляны, то Пишта вдруг вышел ему навстречу, чтобы отрезать путь к отступлению, и хорошо еще, что при ней был платок, она сложила его, скрутила конец и вложила в себя, но ни кровь отереть, ни двинуться с места уже не могла, а Пишта, конечно, знал, что это ее рук дело, он ей об этом не говорил, но наверняка знал, и теперь двинулся к кондуктору с таким видом, будто не замечает его; как всегда в такую жару, Пишта, вдев палец в петлю пиджака, перекинул его за плечо, ну а кондуктору деваться уже было некуда, повернуть назад, даже если бы и хотел, он не мог, он замер на месте, Пишта тоже остановился, и она увидела только, что, сдернув пиджак с плеча, он хлестнул им кондуктора по лицу, тот, вскинув руки, согнулся, пытаясь защитить себя, и Пишта хрястнул его по затылку ладонью, хрястнул так, что кондуктор рухнул мешком, отбросив свою дурацкую сумку, из которой на землю посыпалась мелочь.

Она вытянула свои красивые голые ноги, подогнула их под себя, но, поскольку сидела слишком глубоко, не смогла оттолкнуться, и гамак только чуть колыхнулся.

После этого Пишта, даже не оглянувшись, спокойно ушел, и она ему так и не сказала, что видела все, но если случайно когда-нибудь встретится с этим кондуктором, он точно ее приберет.

Майя села; загадочное достоинство ее лица и прямой осанки было словно бы отражением спокойствия и бесконечной удовлетворенности Сидонии, они долго, не отрывая глаз, смотрели друг на друга, смотрели молча и несколько отрешенно, и это молчание мне показалось более красноречивым, чем сама услышанная история, Сидония то и дело чуть ли не тыкала Майе в лицо вытянутыми вперед ногами, но та не вела и глазом, как будто сейчас, в этой тишине, между ними свершалось нечто более важное, чем эта история, нечто, что только я ощущал как тайну, их тайну, которая, может быть, состояла не в чем ином, как в том, что Сидония должна была все это рассказать, а Майя должна была все это выслушать.

Внизу, в объятиях округлых холмов, чуть дымился от летнего пекла город.

И тут Майя заговорила каким-то странным и незнакомым мне голосом.

Сверкающие белизной будайские домики среди хаотичного нагромождения крыш и башен казались такими мирными и далекими.

А скажите-ка, милочка, какой это был платочек, спросила она.

За серой полоской ленивой реки, в насыщенном пылью и гарью мареве тянулась до горизонта пештская сторона.

Голос, режущий, неприятный, фальцетный, был не ее.

Ну какой, какой, откликнулась глухо и равнодушно Сидония и пальцами вытянутой ноги ткнула Майе в лицо.

281

Именно это, милочка, я и спрашиваю – какой именно?

Окровавленный, качнувшись в очередной раз, прокричала Сидония и заехала ей в лицо стопой, окровавленный, вот какой!

Так это вы мой батистовый носовой платочек в себя запахали, еще более высоко взвизгнула Майя, хотя лицу ее было явно приятно соприкоснуться со стопой Сидонии, и, довольная, она на мгновение сладострастно закрыла глаза, не отпирайтесь, я знаю, это был мой кружевной платочек!

Но что было самым странным, улыбка исчезла с лица Сидонии, Майя тоже не улыбалась, обе были явно довольны друг другом, похожи одна на другую, возможно, похожими их делало чувство достоинства, но при этом в происходящем не было ничего серьезного.

Майя сидела на траве, подтянув под себя ноги, бедра разведены, спина выпрямлена и голова откинута чуть назад, время от времени она легонько отталкивала от себя ступни Сидонии; обе молчали и друг на друга уже не глядели, поэтому трудно было предугадать, что же будет дальше.

В тот день Майя тоже была в материнском платье, фиолетовом, с кружевами, балахонистом и нелепо длинном, его подкладные плечики свисали почти до локтей, да и искаженный голос ее тоже напоминал мне о ее матери, хотя может быть, что на эту мысль меня навело только платье, но как бы то ни было, весь этот диалог они провели так легко и быстро, что я понял, что это игра, прекрасно отрепетированная, давняя, доверительная.

Солнце жгло мне затылок, и я осознал вдруг по их молчанию, что я тоже присутствую здесь, что мне жарко, – как будто до этого меня здесь не было.

Я не знал, сколько времени, не особенно даже скрываясь, уже простоял за горячей кроной самшита, не знал, зачем вообще мне нужно подглядывать и подслушивать, ведь подобные похождения они часто и совершенно спокойно обсуждали в моем присутствии

и даже с моим участием, спрашивали совета, и я его давал, так что в любой момент я мог выйти из-за куста, да, собственно, ничего страшного не случилось бы, даже если бы они меня заметили, и если этого до сих пор не произошло, то лишь потому, что они были поглощены собой, ведь листва самшита была столь густа, что для того, чтобы что-то увидеть, а я этого, конечно, хотел, приходилось из-за нее выглядывать, и все же мне не хотелось выходить из своей дурацкой засады, скорее хотелось каким-то образом бесследно исчезнуть или, может, наоборот, грубо вмешаться в происходящее, как-то положить всему этому конец, швырнуть в их сторону тяжелый булыжник или полить их водой, благо красный поливочный шланг змеился у меня под ногами и до крана я мог дотянуться рукой, однако сделать все это незаметно – подтянуть к себе наконечник шланга, открыть кран – было довольно сложно, как бы мне ни хотелось разрушить их столь ранищую меня интимность! интимность, в которую я посвящен только до тех пор, пока не обнаружу себя, пока они меня не заметят! и как бы я себя ни обманывал, в каждое мгновение, в каждую, самую крохотную частичку мгновения, между ними происходило нечто, чего никогда не бывало при мне, я чувствовал себя вором, хотя представления не имел, что я у них украл, а кроме того, было невыносимо волнение, чувство стыда от того, что меня посвятили во что-то, чем я не могу ни воспользоваться, ни злоупотребить, потому что это касается только их двоих, и все их доверие ко мне было всегда мнимым, обманчивым, то были лишь жалкие крохи доверия, меня просто дурили, никакого доверия с их стороны я получить не мог попросту потому, что я не девчонка, и теперь они говорят о себе, и я их все же обкрадываю.

Выбрав самое позорное из возможных решений, я было попятился, чтобы исчезнуть отсюда и никогда больше не появляться, надеясь незаметно добраться до калитки и громко ее захлопнуть, когда Сидония, будто ножницами, ухватила стопами шею Майи, а та в то же мгновение вцепилась в сильные ноги, пытаясь разнять их, освободиться, но гамак откатнулся назад, и она, распластавшись, поехала за ним по траве; уследить за тем, что там происходило дальше, было практически невозможно, мелькали ноги и руки, которыми они хватали, царапали, рвали, пинали друг друга, потом Сидония свалилась на Майю, которая ловко выскользнула из-под нее, вскочила на ноги и пустилась бежать, Сидония же метнулась за нею, и обе при этом визжали как реза-

ные; словно две редких бабочки, столкнулись они, фиолетовый балахон Майи смешался с взлетающими над белой блузкой волосами Сидонии, они скатились вниз по пологому газону сада и, обнявшись там, как я заметил, поцеловали друг друга, а потом, ухватившись за руки и выгнув спины, пустились кружиться, и кружились довольно долго, пока одна из них не отпустила руки другой, и они, задыхаясь, не шлепнулись на траву.

Майя, стало быть, была влюблена не в меня, а в тот след, оставленный на моей шее зубами Сидонии.

Я припомнил, как ожили ее губы у меня на шее, и от неожиданно грубого прикосновения по коже побежали мурашки, холодок, разлившийся по нашим сплетенным телам.

У меня кровь идет, выдохнула она в содрогнувшуюся кожу.

Когда я лежал в объятиях матери, уткнувшись губами в стиб локтя, в мягкую, измученную уколами вену с желтыми и синими пятнышками, то подумал, что надо ей рассказать и об этом, точнее, мне показалось, что я уже рассказал.

Возможно, ей рассказало об этом прикосновение, ведь я передал ей то, что передали мне губы Майи в том месте, где меня укусила Сидония.

Ведь рассказать ей словами всю эту запутанную историю с прикосновениями было невозможно, как бы я этого ни хотел, я даже не знал, как начать ее, с каждым прикосновением были связаны другие, в том числе и прикосновение губ Кристиана.

Ну пошли, сказал я, но мы не пошевелились.

Я чувствовал, как ей нравится шептать, уткнувшись мне в шею, я не должен сердиться, говорила она, я должен понять, она нервничала, потому что шла кровь, и что это всегда так бывает, ведь я знаю, и никому, кроме меня, она ни за что бы об этом не рассказала.

В такие дни она сама не своя и гораздо чувствительней, чем я могу представить, и нужно ее любить, иначе она опять будет плакать.

Под тяжестью ее тела рука моя затекла, и палец из трусиков нужно было бы вынуть, мне подумалось, что то, что я принимал за испарину в ее трусиках, было, возможно, кровью, мой палец был в ее крови, ужаснулся я, но все же не пошевелил им, я должен был пощадить ее, сохранить в ней то ощущение, которое сам никогда испытать не мог, я завидовал ей за это кровотечение, не смел дернуть затекшей рукой и, главное, не хотел, чтобы она поняла, насколько я потрясен и напуган и как я боюсь увидеть на пальце кровь.

По правде сказать, я не очень-то понимал, что оно означает, это кровотечение, а кроме того, не исключал, что она опять лжет, выдумывает, чтобы походить на Сидонию.

Но ведь я не хочу, чтобы она опять плакала, не хочу?

Я замер, стараясь не дать ее телу понять, что все знаю, что все обман, что все, что она говорит или сообщает мне своими движениями, адресовано не мне, и все, что еще минуту назад казалось принадлежащим мне, все-таки не мое, она опять душит меня, дает что-то мне только по той причине, что я случайно рядом, у нее под рукой, а тому, которому она хотела бы это дать, она дать не смела и не осмелится.

Я должен любить ее, как любит она меня.

Но я тоже ее обманываю, ведь, конечно, я пришел сюда не ради нее и не ради обыска, а в надежде встретить здесь Ливию, чье имя мне противно произносить даже про себя, ведь в тот день она не пришла, и напрасно я ждал ее у ограды, опять она не пришла, и, не выдержав, я пошел сюда, просто чтобы увидеть ее, хоть на секунду, увидеть ее взгляд, тот самый! но с ней все по-другому, я даже не смею заговорить с ней, не то что прикоснуться.

А с другой стороны, хотя я чувствовал, что тела наши лгут, что я ощущаю то, что должен был ощущать Кальман, а Майе невольно отдаю то, что предназначалось Ливии, все же это было приятно, бесконечно и невыразимо приятно слышать и ощущать ее шепот у себя на шее, чувствовать ее тело, кровь, тяжесть, затекшую руку, наше тепло и темную радость от краденого, что я опять завладел чем-то, что мне не принадлежало, да и сам не стеснялся обманывать.

И уже тем самым, что я думал теперь о Ливии, и даже не о ней, а об ее отсутствии, я – это я чувствовал – смертельно оскорбил ее, стащил в этот мутный омут, в котором я так замечательно себя ощущаю и при этом еще ненавижу ее за то, что она не пришла.

Я знаю, что я буду проституткой, сказала Майя.

Но и эта фраза была не ее, когда-то ее наверняка крикнула Сидония, а Майя, как эхо, лишь повторила; словно безжизненная скала, которая днем вбирает в себя тепло, чтобы выдохнуть его в ночь, так она выдыхала мне в шею, повторяла эхом слова другой, на которую так хотела походить, на которую вешалась, которую целовала без тени смущения, обожала каждое ее движение, и эта ее беззастенчивость так болезненно напомнила мне о Кристиане, как будто в меня вонзили булавку; вчера вечером, продолжала она на одном дыхании, стараясь опередить меня, чтобы я не ска-

зал ей чего-нибудь неприятного, точнее, еще не совсем ночью, но поздно, все уже улеглись, Кальман снова залез к ней в окно, пусть я только себе представлю, прятался под окном и ждал, пока выключат свет, и насмерть перепугал ее, она уж почти спала и так напугалась, что не могла даже закричать, а он, стоя у постели, божился, что от нее ничего не хочет, только чуточку полежать рядом с ней и ничего больше, умолял пустить его, она оттого и проснулась, что кто-то с холодными ногами хочет забраться в ее постель, но она не позволила, оттолкнула его, и Кальман заплакал, и плакал так горько, что в конце концов ей пришлось утешать его, скотину такую! и пришлось обещать ему, что однажды когда-нибудь разрешит ему, но этому не бывать! никогда! я понял? пусть она станет проституткой, но ему этого не позволит, никогда! а пообещала она только для того, чтобы он убрался к чертям собачьим! но он так плакал, так плакал, что пришлось быть с ним ласковой, погладить его по лицу, голове, а он держал ее за руку и плакал, а она заявила, пусть только посмеет забраться к ней, она завизжит на весь дом, и руку просила не целовать, потому что он ей противен, и пусть уже убирается к дьяволу, вся рука была вымазана в слезах и соплях, но он так ужасно плакал, что ей пришлось сказать, что она все же любит его, а сейчас она завизжит, прибежит отец и как следует его отдубасит, так что он должен быть умным мальчиком и уйти, и тогда она будет его немного любить.

Я чувствовал, как мой мозг захлестывает горячая волна, вытесняет из него ее голос, глушит, отнимает от меня ее руки и куда-то бесследно уносит все ее тело, между тем как от прикосновений ее губ и ее дыхания всего меня охватывала холодная дрожь озноба.

Ну вот, она и это мне рассказала, потому что я все равно бы выпытал, так что могу теперь радоваться.

Но я ненавидел ее, ненавидел той ненавистью, которой только что ненавидел Ливию за то, что она не пришла, за то, что на ее месте теперь Майя, как и Майя, наверное, ненавидела меня в этой вчерашней постели.

Я знаю, ты целовала его, сказал я ей голосом, прорвавшимся сквозь эту ненависть.

Не целовала, нет, и она умоляет меня прекратить ее мучить.

Она не понимала, что в эту минуту я думал о том, чтобы поцеловать Кристиана, что снова очень хотел стать как она, ведь она же поцеловала Сидонию в губы, я это видел, и я ей завидовал, тому, что она живет так смело, Сидония тоже целует ее, а Кальман по ночам забирался к ней в постель; она шевельнулась

в моих руках, благодарная мне за предполагаемую, но в любом случае неверно толкуемую ею ревность, ведь тогда я ревновал ее не к Кальману, а к Сидонии, ненавидел ее за то, что она так бесстыдно подражает Сидонии, и, наверное, мне никогда не узнать, где ложь, а где правда, потому что я никогда не смогу так бесстыдно подражать Кристиану и значит, никогда не узнаю, из чего родится добро, из истины или обмана, и не узнаю, что можно и чего нельзя.

И тогда, в прилившем к мозгу мрачном потоке горячей крови, перед тем, как мне захлебнуться в нем, я еще раз увидел бескровное личико Ливии, точнее, ее отсутствие заставило меня вспомнить то мартовское утро, когда я, решив больше не смотреть на нее, тем не менее то и дело переводил на нее глаза, даже когда за нами стала уже наблюдать Хеди Сани, и казалось, будто из-за этого моего взгляда все и произошло: Ливия качнулась вперед и, вывалившись из строя, упала плашмя на надраенный темный пол спортзала, девушки завизжали, мы молча смотрели на нее, никто не пошевелился, потом топот ног, кутерьма, ее обмякшее тело пронесли мимо нас, я заметил только повисшие в воздухе ноги в белых носочках.

Все произошло так стремительно, что мы почти ничего не успели заметить, и замерли теперь уже в действительно неподвижном строю, но тишина эта уже никак не была связана с траурной церемонией.

И даже если об этом никто не знает, высший взор все видел, видел, что это случилось из-за меня, что я во всем виноват.

Однако никакой радости от того, что мне рассказала Майя, от того, что я из нее якобы выпытал, я не испытывал, напротив, от ее откровенности, от ее безответственного предательства я чувствовал унижение, и хотя эта открывшаяся их тайна на мгновение усилила ощущение нашей близости, ведь она была тут, в моих объятиях, и то, чего я так жаждал, оказаться между ними, вытеснить этого другого с его места, что мне и удалось, разузнать, что он делает с ней, чтобы потом, как надеялся я, понять, что следует делать мне, и чтобы вообще узнать, что происходит все время у меня за спиной! и такие ли они все стойкие, как можно подумать, слушая их пошлую болтовню о девчонках, ведь когда они говорили о них друг с другом, то всегда фальшивили, и в конце концов Майя своим отчаянным грубо-откровенным горячечным шепотом открыла мне только то, что Кальман, хотя и несколько более смело, любит ее с той же безнадежной преданностью, с какой я люблю Ливию, которую провожаю глазами, которая привязывает меня к себе своей постоянной недоступностью, потому что наверняка

играет со мной, чтобы потом, бесстыдно наслаждаясь собственным превосходством, выдать меня, выдать кому-то, кого она не так уж и любит, и в приступе дикой, схватившей меня за горло ревности я представил себе, что, пока я уютно лежу сейчас на тахте с Майей, она лежит где-нибудь с Кристианом и рассказывает ему обо мне.

Мне казалось, что Майя своими устами нашептывает в шею Кристиана предательские слова Ливии.

Ей бы с этим Кальманкой поосторожней надо быть и не верить его слезам, сказал я, сам наслаждаясь тем, с каким хладнокровием я это прошептал.

Это почему же, спросила она.

Да так, сказал я, ничего особенного, но пусть все же остережется.

Но почему?

А вот этого я не скажу.

Но как же так, разве это честно, ведь она мне все рассказала.

Лучше всего ей будет не ходить сегодня вечером в лес, это все, сказал я.

Но почему?

Большого я сказать не могу, ответил я, нечего ей там делать, и говорить так у меня есть основания.

Да кто я такой, чтобы говорить ей, куда ей ходить, что ей можно и чего нельзя делать, уже не сказала, а прокричала она и оттолкнула меня.

Мой палец выскользнул из ее трусиков, и я смог наконец освободить свою онемевшую от тяжести ее тела руку.

Конечно, она может пойти куда хочет, мое дело предупредить, потому что Кальман мне кое-что рассказал, о чем я не собираюсь докладывать ей.

Мы оба вскочили на колени, неподвижно уставясь друг другу в глаза, которые словно вступили в схватку, трудно было увернуться от темных вспышек ненависти и дрожащей в ее глазах злости, да я и не хотел уворачиваться, ноги наши были все еще переплетены, в судорожной ярости она притиснула мое тело к себе, я же сидел расслабленный и с виду спокойный, рассчитывая одолеть ее взгляд мягким превосходством коварства, наконец-то я был хозяином положения, думал я, я мог наконец окончательно победить и в себе, и в ней то, что меня так мучило, правда, ценой самого отвратительного предательства, нашептывало во мне сморщенное нравственное существо, но взять верх! и все-таки неожиданно изменившееся положение привело меня в замешательство

и поколебало уверенность, ведь то, что я хотел рассказать ей о Кальмане в нашей разгоряченной интимной близости, на что так хитро и коварно, полагая себя обладателем истины, уверенно намекал, как выяснилось, нельзя рассказать глаза в глаза, ибо это сразу же обернулось бы чем-то кошмарным, пошлым, бессмысленным, и сейчас, в этой комнате, освещенной спокойным и безразличным светом, я не смог бы рассказать об этом даже самому себе; еще минуту назад это было случайно мелькнувшей безобидной картинкой, которая просится на язык, но теперь для этого не хватает слов и нужно быстро о ней забыть точно так же, как и о том заблуждении, в которое ввело меня в тот момент мое тело, и сегодня, когда, оглядываясь с высоты своего возраста и опыта, я пишу эти строки, я не без удовольствия вспоминаю это раннее и необычайное, может быть, даже поворотное недоразумение между телом и душой, и вижу мальчишку, обманутого своей душой и завлеченного в западню своим телом, который только что, лежа в ее объятиях, почувствовал такой прилив крови к мозгу, причем обратил внимание на совпадение, ведь она рассказывает ему о своих месячных! и взбудораженный словесной кровью девчонки, он не замечает, что весь этот лихорадочный процесс, желание доминировать над другим, борьба за истинную внутреннюю власть против власти другого горячит кровь не только в его мозгу, но, может быть, так же сильно, а скорее всего сильнее! и в его паху, и то, что было зажато между пахом и тыльной стороной ладони, естественно, напряглось, что, опять же, напомнило ему о том, о чем он хотел рассказать ей, но так и не рассказал.

А с другой стороны, казалось, что Майе не очень-то хочется это услышать.

Ну и что? И что он тебе сказал?

Наши тайные игры, одно упоминание о лесе – месте похождения Сидонии, уже этого было достаточно, чтобы мое предостережение возымело действие.

Ну и не надо, не надо, она, казалось, уже не просила, и в карих глазах ее, кроме ушедшей вглубь ненависти, сверкнули опаска и недоверие.

Любовь не желает знать; рот ее был приоткрыт.

А я и не отвечал, удерживая ее глаза своими, боясь, как бы взгляд ее не упал мне на пах – а вдруг у меня на брюках заметно то, что я чувствую внутри них.

Мы с Кальманом, и именно это я собирался ей рассказать, лежали на том самом белом и плоском камне в тени нависших кустарников,

и Кальман вдруг сделал то, что мне тоже хотелось сделать, но пока он не взял в руку мой, я не осмеливался дотронуться до его, а когда наконец в ответ на его жест моя рука перекрестилась с его рукой и мы взяли друг друга за члены, причем самым удивительным оказалось то, что мои пальцы не ощущали его член таким же твердым, каким я ощущал в его ладони свой, хотя оба торчали вроде бы одинаково, словом, в этот момент Кальман хрипло проговорил то, о чем я не мог теперь ей сказать: что однажды он все-таки выебет эту Майю.

Так он сказал.

А потом, чтобы оттянуть время и как-то отвлечь ее внимание от собственного смущения, я сказал, что когда-нибудь обязательно расскажу ей, что я тоже ей все расскажу, только не теперь, и при этом боялся, как бы она не заметила, что я покраснел от стыда.

Хотя я знал, что рассказать ей об этом не смогу никогда.

И удерживал меня вовсе не страх бесчестия; для того, чтобы выжить другого и занять его место, я готов был на любую подлость.

Но возможно ли эту фразу вырвать из той ситуации, в которой она прозвучала, можно ли убрать руку Кальмана и ощущение раскаленного солнцем камня?

Рассказав ей о тайном намерении Кальмана, я тут же разоблачу свою фальшь.

Я не мог вырвать себя из этой фразы, потому что она касалась не столько Майи, сколько меня и его.

И тем более нельзя было рассказать ей о нас двоих, потому что это деяние было не прологом наших с ним отношений, а в своем роде заключительным актом, развязкой, финалом, той крайней чертой, до которой вообще могут решиться дойти двое мальчишек в том царстве, вход в которое для девчонок закрыт, и даже в том царстве то был порог таинственного тартара, куда и самим мальчишкам вход был заказан, но Кальман обладал столь похвальной, столь точно и безошибочно действующей интуицией, что даже у этой последней черты не только не отступил от своего сокровенного желания: убедиться, что плоть другого мальчишки чувствует так же и то же самое, что и его собственная, но и со свойственной для него бравадой именно акт соприкосновения с другим мальчишкой увязал с тем неудовлетворимым чувством, которое он испытывал к девчонке, тем самым превращая неудовлетворенность в удовлетворение, и наоборот, все, что касалось только его, отдавая другому; и казалось, что именно здесь и именно таким образом он повернул друг к другу два сопряженных, но никогда не способных соединиться в одно тайных царства.

Сказанное о том, что он сделал бы Майей, было больше похоже на извинение за то, что делали в тот момент мы сами.

А также на явный намек на то, что пыталась с ним сделать Сидония, о чем он мне тоже рассказывал.

Не будем же отступать и мы, ведь из других, более прозаических происшествий нашей жизни мы знаем: для того, чтобы вынести жуткое одиночество, порождаемое непохожестью на других, мы вечно ищем утешения и поддержки в том, что делает нас такими же, как другие.

Есть свое отдельное царство, кстати, и у девчонок, за которым мы можем только подглядывать и шпионить, шныряя по его границам, или, как вражеские агенты, даже проникать в него, чтобы выведать кое-какие подробности, но святая святых, тот самый таинственный тартар, останется навсегда закрытым.

Я мог бы ей рассказать обо всем только в случае, если бы я был девчонкой, если бы смог подглядеть за самим собой и другим мальчишкой наивными и доверчивыми девчоночьими глазами; а поскольку мне страшно хотелось оказаться девчонкой или быть, в том числе, и девчонкой, то я ощущал, что от этого состояния меня отделяет лишь тонкая, совершенно прозрачная перепонка, и было неодолимое желание разорвать ее, прорваться через нее, как будто, преодолев ее, я надеялся оказаться в мире, залитым чистым, без мрака и фальши светом, на некоей идилической лужайке, иными словами, я хотел тогда слиться с нею, превратиться в девчонку ценою предательства своей мальчишеской сути, но поскольку я ни о чем не мог рассказать ей, не мог стать изменником того другого царства, а она этого от меня и не требовала, то собственное молчание и стыд оттолкнули меня назад, в мальчишеский лагерь.

Немаловажной деталью нашей эмоциональной жизни было то обстоятельство, что по причине благонадежности наших родителей, не вызывающей ни малейших сомнений, мы жили на окраине необъятно огромной и хорошо охраняемой территории, где была расположена резиденция Матяша Ракоши.

И если случалось, что по дороге от Майи мне не хотелось идти вдоль проволочной ограды закрытой территории, по рассекающей лесной массив надвое, затененной свисающими кронами дорожке, где обычно никто не ходил, где вечно царила зловещая тишина, где застыл даже воздух и единственным, что ты мог услышать, был скрип собственных шагов, и нельзя было разглядеть вооруженных охранников, хотя они, и мы это хорошо знаем, со своих, отрытых в земле или замаскированных деревьями и кустами наблюдатель-

ных пунктов видят все, ни одно наше движение не останется для них незамеченным, они следят за мной в свои бинокли и перископы, приближают меня к себе, идут рядом со мной; и если я шел домой по этой дорожке, а не лесом, срезая путь, то чувствовал это внимание необычайно остро, точнее, даже не их внимание, ведь откуда мне знать, можно ли его вообще ощутить, а чувствовал, как из-за их присутствия странным образом раздваивается мое внимание, я видел, как я, ничего не подозревающий, иду по дороге и, ничего не подозревая, смотрю на все, что попадаете мне на глаза, и в то же время вместе с невидимыми охранниками с подозрением наблюдаю за своей маскируемой равнодушием подозрительностью; это было похоже на то, что я чувствовал, когда что-то пропадало в школе и в кошмарной атмосфере всеобщей подозрительности мне вдруг казалось, что я сам украл это «что-то», что я вор! здесь же, на этой дороге, невидимые взгляды заставляли меня почувствовать себя террористом, плохо маскирующимся шпионом, и от напряжения, от этих невольных акробатических упражнений сознания, которых без истории нам не понять, по шее, рукам и спине у меня всякий раз пробегали мурашки, я шел, словно бы ожидая неизбежного выстрела; приближаться к ограде, сделанной из обычной, уже слегка поржавевшей провололочной сетки, было запрещено, а еще я ужасно боялся собак, боялся их даже больше, чем взглядов охранников.

Этих огромных сторожевых собак боялись не только мы, дети, их боялись и взрослые, и даже другие собаки; например, обычно весьма боевого пса Кальмана, здоровую черную животину по кличке Витязь, мы ни за что не могли уговорить выйти из лесу на эту дорогу, а когда, взяв на повод, мы все же попытались вытащить его, надеясь, что он с ними сцепится и мы будем свидетелями страшной смертельной кровавой схватки, пес в ужасе вжался в землю, шерсть у него на загривке вздыбилась, он скулил, и сколько мы ни тянули, ни рвали повод, сколько ни уговаривали, ни распяляли Витязя, нам так и не удалось пробудить в нем бойцовский дух, в то время как эти огромные твари с каменным равнодушием наблюдали за нашими неуклюжими усилиями из-за провололочной ограды.

И от этого, пусть умом я и понимал, для чего нужны эти собаки, вся охраняемая территория стала чем-то вроде средоточия, живого ядра всех моих страхов.

Между тем девственный лес по ту сторону ограды казался на первый взгляд такой же мирной молчаливой дубравой, как и лес

настоящий, лес вольный, наш лес, что находился через дорогу, где все было, как и должно быть в лесу: сухие обломанные сучья и потрепанные ветрами кроны с пучками белой и желтой оме-лы, повалившиеся стволы, вывороченные из кремнистой почвы на белый свет корни, огромные затвердевшие губы возросших на гнили трутовиков, зияющие глубиной дупла, мерцающие подушки мха, гибкие хлыстики молодого подроста, что вытянулись под растрепанным пологом еще крепких старцев-дубов, хвощ и папоротник, пробившиеся из-под вековых наслоений палой листвы, недолговечное зеленое разнотравье на теплых пятнах, согревае-мых лучами солнца сквозь прорехи в кронах, сиреневые гребешки дымянки, вздрагивающие при малейшем движении воздуха, синие кисти мышиного гиацинта, раскачивающиеся над ними острозу-бые листья и белые зонтики ядовитой цикуты, желтоватые коло-ски лугового мятлика и голубовато-зеленые стелющиеся побеги; во влажных низинках блестят мясистые листья калужницы, в тени камней прячутся жирно-зеленые цикламены, которые здесь никог-да не цветут, а солнечные места густо покрыты пушистой листво-й земляники и толстыми стеблями купены, на которой из-под ото-гнутых книзу продолговатых листьев выглядывают, кивая, белые цветы-колокольчики; но мы еще ничего не сказали о растущих в дубраве больших кустарниках, о боярышнике, который, если хва-тает места, и сам разрастается в дерево, о выносливом бересклете и, самое главное, о непролазных колючих зарослях сизой ежевики, на стеблях которой, среди шипов, к осени созревают кисловатые, но приятные на вкус ягоды, и тем не менее! наметанный глаз сра-зу мог заметить, что там, на другой стороне, за проволочной огра-дой, продолжается не тот же самый лес, там не было видно выво-роченных из земли деревьев, а сорванные ветром сучья убирались чьими-то заботливыми руками – возможно, в сумерках, когда еще можно кое-что разглядеть на земле в золотистом свечении неба, или на рассвете, но всегда тайно, потому что никто из нас никог-да не видел, чтобы кто-то работал там, никогда, ни единой души! кусты были как бы прорежены, а поскольку осенью сухая листва падала не так густо, то трава была выше и захватывала больше пространства, словом, за лесом этим ухаживали, но так, чтобы для непосвященного наблюдателя сохранить видимость неухоженно-сти – зачем, этого я понять не мог, тем более что в непосредствен-ной близости от ограды весь обман выходил наружу: вдоль ограды шла двухметровая полоса, очищенная от всего живого и посыпан-ная мелким белым песком, на котором каждое утро можно было

увидеть оставленные зубьями граблей свежие следы – очевидное дело тех же самых невидимых рук; вот по этой посыпанной песком полосе и курсировали собаки.

Когда с улицы Иштенхеди я сворачивал на улицу Адониса, чтобы двинуться дальше по некрутому подъему, то, как бы я ни старался держаться подальше от изгороди, как бы пристально ни вглядывался в немые кусты за нею, рано или поздно непонятно откуда, неслышно и незаметно они всякий раз появлялись рядом, точнее, появлялась всегда одна собака, я знал, что меняют их точно так же, как и незримых охранников; это были огромные откормленные животные, немецкие овчарки бурого, иногда пепельного окраса с черным налетом, с изогнутым лохматым хвостом, умные карие глаза над вытянутой мордой, казалось бы, светятся добротой, заостренные стоячие уши реагируют на малейший шорох, пасть почти всегда приоткрыта, и из нее вываливается подергивающийся от учащенного дыхания блестящий шероховатый красный язык, обнажая белые бугорки мощных коренных зубов; собака не делала ничего особенного, просто сопровождала меня, быстрее, когда я ускорял шаг, а когда я шел медленнее, притормаживала, совершенно беззвучно опуская огромные лапы в песок, останавливаться же я давно уж не решался, потому что стоило мне только остановиться, как собака тоже застывала на месте, поворачивала ко мне приоткрытую пасть и смотрела, и это было самое жуткое – ее взгляд, глаза, красивые, какие-то возбужденные и притом совершенно бесстрастные, видно было, как под густой шерстью, словно перед прыжком, напрягаются мышцы, но при этом собака не издавала ни звука, не лаяла, не ворчала и даже не учащала дыхания; как рассказывал Кальману Пишта, который нес службу на посту у шлагбаума на улице Лорант, что на другой стороне запретной зоны, и не только разговаривал иногда с Кальманом, но и угощал его русскими папиросами, которые они на большой перемене вместе раскуривали в туалете, словом, от этого Пишты мы знали, что в такие моменты собаки опасней всего, ни в коем случае нельзя останавливаться перед ними, смотреть им в глаза, и неважно, что они подготовлены к любым неожиданностям, больше того, как говорят дрессировщики, чем строже они их натаскивают, тем более непредсказуемой становится их нервная система, они все знают и понимают, рассказывал Кальман, но при этом – настоящие психи, их даже сами дрессировщики боятся, а мышцы у них чисто сталь, он так и сказал, чисто сталь, так что такую ограду они с места перемахнут, потому и колючей проволоки на ограде нету,

говорят, будто это дрессировщики потребовали у командира охраны убрать ее, потому что собака хвостом может зацепиться, но тот сначала вроде не соглашался, не положено, дескать, какой же забор без колючки, однако по личному указанию товарища Ракоши ее все же убрали, потому что такая собака стоит безумных денег, но по внутренней территории их водят на поводке, с ними нельзя подружиться, еду или сахар они ни у кого не возьмут и даже не понюхают, посмотрят сквозь тебя, как сквозь воздух, как будто тебя вообще нет, а если кто попытается сдуру дразнить их, например пинать сетку, отчего любая нормальная собака впадает в бешенство, то они просто ощериваются, чтобы были видны все зубы, в виде предупреждения, потому что обучены понапрасну не заводиться, ну а если они совершают какую ошибку, то их беспощадно бьют палками и плетьюми, так вот, когда ты стоишь неподвижно и смотришь собаке в глаза, то она просто не понимает, что происходит, и тогда на нее нападают псы, и сколько ее ни лупили за ненужные прыжки, она теряет самообладание и прыгает, стараясь схватить жертву сзади за шею или затылок; так собака и провожала меня, точнее, уже после первых совместных шагов мне казалось, что это я провожаю ее, она трусила рысцей на шаг впереди меня по своей песчаной дорожке, которая на вершине подъема, вместе с металлической сеткой, делала неожиданный поворот, и далее следовал длинный прямой участок; собака, слегка приподняв хвост, вела меня за собой, и если я вел себя как положено, то есть не спешил и не отставал, а тем более не бросался, подстегиваемый страхом, бежать, что было бы самым плохим решением, так как на этом прямом участке мне пришлось бы как угорелому, под раздирающий уши собачий лай нестись метров триста, так что мне, несмотря на весь стыд, унижение, ненависть и порывы к бунту, приходилось ей подчиняться, я не останавливался, не бежал, не спешил и не отставал, и даже старался не слишком шумно дышать, и если мне удавалось подавить все движения и эмоции, могущие быть неправильно истолкованными, а трусившему рядом псу обуздать собственную нервность, и уровень взаимной подозрительности как-то стабилизировался, то спустя какое-то время отношения между нами делались более тонкими, уже не столь угрожающими, я делал то, что должен был делать, а собака, почти потеряв ко мне всякий интерес, в свою очередь, исполняла свои обязанности; словом, если случалось, что по дороге от Майи у меня не было охоты или внутреннего побуждения к этой игре, ибо это,

конечно, была игра, своего рода эксперимент, не совсем безопасное балансирование между самообладанием и беспомощностью, самодисциплиной и независимостью, некая политическая гимнастика, то я выбирал более короткий и во многих отношениях более приятный путь, то есть у тех самых трех высоких сосен, о которых в качестве ориентира Сидония упоминала кондуктору, сворачивал на лесную тропинку и, уже почти скрытый кустами, не без удовольствия оглядывался на дежурного пса, провожавшего меня недоумевающим и разочарованным взглядом; лес сразу делал меня невидимым, хотя я и знал, что бинокли охранников продолжают следить за мной даже здесь, тропинка круто поднималась в гору, этот путь я выбирал зачастую даже после заката, невзирая на то, что иногда казалось, что здесь меня поджидают опасности еще более мрачные, можно даже сказать, более загадочные, но я чувствовал, что с ними я мог бы справиться легче и увереннее, чем с этими окаянными псами.

В то время это был еще настоящий лес, пожалуй, последнее сплошное зеленое пятно на карте окаймляющих город возвышенностей, и последние напоминание о естественной изначальной гармонии между почвой и флорой, которую город по мере расширения постепенно вообрал в себя, изменил или уничтожил, и сегодня здесь тоже полно заблокированных жилых домов, а от леса остались лишь отдельные купы деревьев в качестве равнодушной приусадебной декорации.

Но об этом я не жалею, в мире нет ничего, что было бы мне так знакомо и близко, как разрушение, я летописец собственной гибели, и если я поминаю сейчас об уничтожении леса, то и это является частью истории моей собственной гибели, и поэтому еще раз, напоследок и, признаюсь, не без волнения я оглядываюсь на пору детства, казавшуюся такой бесконечной, но вышедшей столь короткой, на ту пору, когда мы ничто не чувствуем более вечным, чем богато изрезанная трещинами кора могучего дерева, необычно изогнутый корень, осязаемая нутром сила, с которой дерево, принаравливаясь к почве, удерживается на земле; таким образом, для детского восприятия нет более прочной опоры, чем сама природа, в которой все противится гибели и уничтожению, и даже гибель свидетельствует о постоянстве, близости, неизменности.

Но я не хочу никого утомлять своими более чем поверхностными размышлениями о связи между произвольным восприятием ребенка и стихийной жизнью природы; это верно, что природа является нашим величайшим учителем, но учит она только мудрых!

и никогда глупцов, так что лучше продолжим наш путь по глухой тропинке, которая приведет нас к лесной поляне, и понаблюдаем за тем, как идет наш герой, чьи подошвы знакомы здесь с каждой мельчайшей деталью местности; он знает, что вот сейчас будет камень, о который может споткнуться его ботинок, поэтому здесь он шагнет пошире, ему знаком этот плотный мрак, направление перелетного ветерка, обдувающего его лицо, обостренное обоняние подсказывает ему, если кто-то прошел по тропе перед ним, мужчина то был или женщина, и только слух временами обманывает его, когда ему чудится треск или шорох, скрежет, глухие удары или что-то похожее на покашливание, и он застывает на месте, его глазам нужно время, чтобы перешагнуть через страхи, жуткие подозрения, а иногда и действительно, как ему сдается, движущиеся тени, словом, перешагнуть через страшные предостережения и воображаемые кошмары.

На поляне тропинка теряется в высокой траве, босые ноги орошает роса, здесь его сопровождают какие-то вздохи, летнее небо над головой еще светится слабыми отблесками, но, кроме него, вокруг вроде бы никого, что кажется ему нереальным, над ним молча пролетает летучая мышь и, сделав круг, возвращается; наконец на противоположном краю поляны он снова вступает в лес, где тропа продолжается, но тут же раздваивается; он мог бы продолжить свой путь и прямо, вверх по холму.

Там, на вершине, где лес заканчивается, вдоль опушки проходит проселочная дорога, и оттуда уже рукой подать до улицы Фелхё, где в маленьком, крашенном желтой охрой домике, смотрящем на темные окна школы, живет Хеди, и тетушка Хювеш наверняка задерживает сейчас занавески, перед тем как включить свет.

А из окна Хеди видно окно Ливии.

Но на этот раз я отправился по другой тропинке.

Как бы поздно я ни возвращался домой, у меня никогда не спрашивали, где я был.

Лес постепенно редел, и я уже различал стройный фасад дома Чузди, на веранде которого горел свет, отбрасывая в темный лес бледные пятна и полосы, дружелюбные, успокаивающие и вместе с тем говорящие нечто о притягательном одиночестве их дома, и когда я возвращался этим маршрутом, то всегда был почти уверен, что застану Кальмана еще во дворе.

Я был еще далеко, когда в тишине подал голос его черный пес.

Дом стоял на прямоугольном раскорчеванном участке, позади было кукурузное поле, перед домом – обширный фруктовый сад,

свое владение они называли хутором, старый внушительный фахверковый дом со стороны островерхого фасада, как это обычно делали швабские виноградари, был защищен высокой деревянной верандой, с которой через тяжелую двухстворчатую дверь можно было попасть в винный погреб, в другом же конце просторного и все же уютного, мощенного кирпичом двора стояла похожая, тоже фахверковая, но пониже, постройка, в которой располагались тележный сарай, конюшня, хлев, двор обнесен был невысокой зеленой изгородью, посредине росло раскидистое ореховое дерево, чуть в сторонке стояла скирда плотно сбитого сена; сегодня все это кажется просто невероятным, но в ту пору на глинистых склонах Швабской горы, в черте города еще можно было увидеть такие крестьянские усадьбы, в оторванности от мира доживавшие свои последние дни.

Собака Кальмана лениво вышла к изгороди мне навстречу, но не лаяла и не прыгала на меня, как обычно, а смотрела рассеянно, чуть повиливая хвостом, и, дождавшись, в серьезном молчании, как бы давая знать, что происходит что-то необычное, повела меня по двору.

Здесь было не так зябко; нагретые за день камни дышали теплом, плотная живая изгородь не пропускала во двор прохладу вечернего леса.

В то время у них еще были две коровы, лошадь, несколько свиней, куры и гуси; на голубятне, устроенной на крыше сеновала, ворковали голуби, а из-под стрехи поочередно, бросаясь в пике, вылетали две ласточки, и когда одна, сделав круг, возвращалась в гнездо, навстречу ей вылетала другая; весь двор в этот закатный час был полон гомоном устраивающихся на ночлег животных, и в застоявшемся теплом воздухе резко пахло мочой, пометом и созревающим перегноем.

Я с изумлением последовал за собакой и вскоре увидел странный в голубоватых сумерках желтый свет керосиновой лампы; Кальман стоял в дверях хлева и в свете высоко поднятой лампы что-то разглядывал.

Он упирался лбом в притолоку двери и даже не шелохнулся, когда я подошел к нему.

Вспыхивая и чадя под стеклом, пламя лампы облизывало язычками желтого света его голые руки, спину и шею.

С ранней весны и до поздней осени он, вернувшись домой из школы, тут же сбрасывал с себя ботинки, рубашку и брюки и бродил по двору в одних сатиновых трусах, которые, как я обратил внимание, не снимал и на ночь.

Из хлева доносились то сдавленные, глухие, то переходящие в визг, то вдруг прерывающиеся, но после короткой паузы снова усиливающиеся хрипы.

Но он вовсе не выглядел в этих своих трусах смешным, его крепкие бедра и мускулистые ягодицы полностью заполняли их, слегка полинялая, вытянутая от стирки ткань ладно облегала его крупное тело, ничуть не стесняя его в движениях, обтягивала живот, отдельным мешочком охватывала мошонку, облепляла его как вторая кожа, делая его как бы голым.

Собака остановилась около хлева, вяло вильнула хвостом, а затем, словно бы передумав, все же присела на задние лапы за спиной Кальмана и нервно зевнула.

В темной клетке, отдельно от остальных свиней, лежала на боку огромная матка, лампу Кальман держал высоко, так что свет частично падал на дверную коробку, и на первых порах я видел только набухшие, разметанные по оклизлomu полу соски и повернутый к нам зад свиньи, звуки доносились из полумрака.

Я хотел было спросить, что происходит, но так и не решился.

Некоторые вопросы Кальману задавать было бесполезно, он никогда не отвечал на них.

Должно быть, он так стоял уже долгое время, поэтому и оперся лбом о притолоку, и неподвижным, почти равнодушным взглядом смотрел внутрь хлева, но я знал его достаточно хорошо, чтобы понимать, что у него это признак предельного, я бы сказал даже, взрывоопасного напряжения.

Стоя рядом и глядя на то же, на что смотрел Кальман, я постепенно стал различать в полумраке открытую пасть свиньи, ее глаза, мы слушали ее хрипы, прерывистое дыхание, издаваемый пульсирующими ноздрями свист, сдавленное повизгивание, она то и дело пыталась встать, но короткие, сучащие в воздухе ноги не находили опоры, как будто ее прижимала к земле какая-то неимоверная сила, толстая, покрывающая жир кожа на ее распластанном теле беспомощно дергалась, чуть ли не вибрировала, мышцы от разнонаправленных импульсов ходили ходуном; и тогда Кальман, даже не оглянувшись, вдруг сунул мне в руки лампу и полез в хлев.

Я старался держать лампу с раскаленным стеклом как можно ровнее, потому что стоило фитилю качнуться в керосине, как она начинала коптить и пламя меркло.

Кальман, наверно, чего-то побаивался; прижавшись к стенке, он замер, готовый к любым неожиданностям.

Может быть, опасался, что свинья разъярится и искушает его.

Но потом, подсунув руку свинье под голову, он стал почесывать ей ухо, пытаясь ее успокоить; та действительно разъяренно хрюкнула, но он все же ухитрился ловким движением прижать ее голову к полу, в то время как другой рукой стал ощупывать и отнюдь не мягко массировать вздувшийся горой живот и опавший подвздох свиноматки, на что та выжидающе замолчала.

И тут он сделал еще одно неожиданное движение; до тех пор я как-то не замечал, что под темным морщинистым сжатым анальным отверстием зияло еще одно, широко раскрытое, окаймленное складчатыми, набухшими, напряженными, влажными и шелковистыми розовыми губами, вывернувшимися из тела свиньи на ее мокрый и грязный от мочи и кала зад; и Кальман, сунув руку в этот пылающий живой кратер, осторожно провел внутри пальцем, отчего зад свиньи содрогнулся столь же чувствительно, сколь чувствительным было прикосновение Кальмана, после чего он быстро попятился и произвольно обтер о бедро палец.

Животное, казалось, смотрело прямо на нас.

Кальман нетерпеливо выхватил у меня лампу; бдительные глаза свиньи опять скрылись в полумраке, она затихла на какое-то время, и слышно было только беспокойное похрюкивание и топот животных в соседней клетке; Кальман снова уткнулся лбом в зановистую притолоку двери.

Уже час, минимум час, как отошли воды, сказал он.

Спрашивать, какие такие воды, я чувствовал, было бы глупо.

А его тут бросили, бросили одного, крикнул он, извергнув эти слова с такой яростью, что лампа в его руке качнулась и ударилась стеклом о балку, он отчаянно, жалобно всхлипнул, но тело его не могло расслабиться, напряжение не давало ему заплакать, он попытался сглотнуть, но поперхнулся, бросили, в третий раз повторил он, хотя знали ведь, знали, сволочи, и все-таки бросили.

Зад свиньи дернулся на склизком полу, и голова ее запрокинулась, она широко разевала пасть, молча пытаясь вздохнуть, и было ужасно смотреть на эти беззвучные судороги.

Что-то происходит внутри нее, чему не видно было конца.

Он должен сходить за отцом.

Отец Кальмана и двое его старших братьев работали пекарями в пекарне, которая раньше принадлежала им, из-за чего Кальман считался таким же классово чуждым, как Кристиан; каждый вечер они отправлялись в пекарню, чтобы замесить тесто, затопить печи, и домой возвращались уже на рассвете, когда у них забирали

выпечку; мать тоже уходила на ночь, подоив двух пригнанных с пастбища коров, потому что подрабатывала уборщицей в больнице Святого Иоанна.

Так что оба мы были свободны: у меня никогда не спрашивали, где я болтаюсь, а его просто оставляли одного.

Собака, хлопая по земле хвостом, тихонько повизгивала у наших ног.

300 Кальман снова сунул лампу мне в руки, он еще колебался, я думал, что он собирается все же бежать за помощью, что означало бы, что я останусь один на один с этим ужасом; мне хотелось остановить его, сказать, что лучше уж мне пойти, или просто бежать отсюда, но свинья, все так же беззвучно, снова заерзала по полу, и он снова нырнул в хлев.

Я тоже просунулся глубже, чтобы светить ему, светить как можно лучше, хотя я понятия не имел, что он намеревается делать и знает ли вообще, что можно предпринять в этой ситуации, и все же я почему-то верил, что он найдет выход, хоть и кажется в данный момент совершенно растерянным, ведь он вообще-то знал о растениях и животных очень много, он знал о них все, для меня же это зрелище было настолько непостижимым, и чувства, которые оно вызвало, были настолько запутанными, что из-за нашей беспомощности страдания животного переживались как наши страдания, которые не дают нам ни сил, ни времени, чтобы сбежать, привязывают нас к хлеву; я был благодарен ему за то, что он не бросает меня одного и непременно попытается что-то сделать, сделать это вместо меня, так что мне остается только как можно лучше светить ему.

Он сидел на корточках перед свиньей и в течение долгих секунд ничего не предпринимал.

В хлеву стояла вонь, духота, дышать стало трудно, но мне было все равно, потому что я чувствовал присутствие смерти, хоть и знал, что это – рождение.

Но потом он медленно поднял над коленями руку, как-то странно, задумчиво, слегка скрючив пальцы, и запустил ее до запястья в те самые вывернутые, набухшие розоватые многослойные складки.

Свинья конвульсивно дернулась и наконец перевела дыхание, но теперь она не хрипела, а как бы отрывивала из себя судорогу, она била ногами и, клацнув зубами, дернула залитой слюнями мордой в сторону Кальмана, будто собиралась укусить его.

Он вырвал руку, но, поскольку сидел на корточках, не смог отскочить, да к тому же ему мешал я, потому что стоял с этой лампой

в узком дверном проеме и от испуга даже не мог попятиться, и он плюхнулся на задницу прямо в жидкую грязь.

Однако свинья снова откинула голову, рот ее был открыт, она жадно, с надсадным кашлем хватала драгоценный воздух, не спуская при этом с Кальмана своих бледно-карих, ошетилившихся бесесыми ресницами глазок.

Я чувствовал на своей ноге размеренное дыхание собаки.

Белки выпученных глаз свиньи, направленных на Кальмана, были налиты кровью.

Он тоже наблюдал за ее глазами и, не раздумывая больше над тем, что делать, встал на колени, опять запустил руку в тело животного и стал медленно проникать все дальше, уже не обращая внимания, что скользит по моче и дерьму, а потом навалился своим голым телом на вздутый живот свиньи и давил на него всем весом, при этом они продолжали смотреть друг на друга, и даже дыхание их слилось, потому что когда он надавливал на нее грудью, она спокойно выдыхала, а когда чуть приподнимался, то животное с готовностью вдыхало воздух; рука его скрылась в вульве уже по локоть, когда он, содрогнувшись, словно от удара током, выдернул ее и, трясаясь всем телом, заорал в хлеву.

Что он орал, я понять не мог, это были какие-то слова, но их смысл до меня не доходил.

Свинья визжала, скользила по полу задом, она задыхалась, ноги ее застыли, она визжала пронзительным громким голосом, похожим на человеческий, содрогалась и вновь замирала, содрогалась и замирала, сохраняя и даже делая еще более тонким тот ритм, который они только что вместе нашли, и при этом глаза ее не только не отрывались от Кальмана, но были совершенно осмысленными; тот, подняв в свете лампы блестящую липкую руку, как какой-то незнакомый предмет, перевел взгляд на глаза свиньи и так же неожиданно, как начал орать, замолчал; если бы я сказал, что ее глаза молили его о помощи, что они призывали его, подталкивали к чему-то, если бы я сказал, что она была ему благодарна и подбадривала его, уверяла, мол, да, мы на верном пути, давай продолжай! – то я осквернил бы сентиментальными человеческими словами ту суровую, непосредственную, но никак не грубую силу чувства, которую может передать, я уверен, только взгляд животного.

Свинья ответила на его вопли визгом, он ответил на ее молчание тем, что тоже умолк.

Отдалившись, они все же остались вместе.

Глубины разверстого родового канала дышали и бились в ритме потуг и схваток.

Он вновь потянулся туда, откуда минуту назад отпрянул, на этот раз с таким безучастным видом, с каким в силу необходимости человек иногда возвращается в какое-то надоевшее знакомое ему место.

Он запрокинул голову, как будто хотел взглянуть на меня, но глаза его были закрыты.

Животное, выжидающе затаив дыхание, молчало.

Казалось, он что-то там делал внутри и зажмурил глаза, чтобы не видеть, а только чувствовать то, что делает.

302 Потом медленно и устало вытащил руку, сел на пятки и уронил на грудь голову, так что лица его я не видел.

Было тихо, животное лежало неподвижно, но немного спустя, словно бы с запозданием отвечая на его действия, свинья вздрогнула, по ее животу пробежала волна, а потом от потуг в волнение пришло все ее тело, и в конце каждого спазма душный зловонный хлев оглашался душераздирающим визгом.

Подохнет, сказал он, ничего не получится, добавил он шепотом, как человек, которого уже не трогают эти волны страданий, который видит все наперед, который уже заглянул за грань смерти, и хотя он не двигался с места, продолжая сидеть, ему уже нечего было здесь делать.

Но до окончания того, что происходило внутри животного, было еще далеко.

Ибо в следующее мгновение в трепетных складках влагилица мелькнуло что-то кроваво-красное, и Кальман с таким же рыдающим визгом, какой издавала свинья, бросился на нее; но тут же замолк, потому что то, что виднелось из плоти свиньи как какая-то чужеродная косточка, выскользнуло из его пальцев, он хватал его снова, но это нечто опять выскальзывало.

Тряпку, заорал он, это было уже адресовано мне, и мне показалось, что пока до меня дошло, что где-то здесь должна быть тряпка, утекло бесконечно много драгоценного времени.

Я был парализован и чувствовал, что это какой-то сугубо мой личный грех сковывает меня, не давая мне отыскать эту тряпку.

Тряпки не было.

Казалось, я даже не знал, что это за вещь, забыл, что значит в родном языке это слово, в то время как у него эта косточка – тряпку, тряпку! – снова выскользнула из рук.

Он орал.

А тут еще чуть было не свалилось стекло керосиновой лампы, я хотел поискать ее перед хлевом, и стекло зацепилось за притолоку двери, тряпка действительно была там, собака хлопала по ней хвостом, но в первую очередь я должен был подхватить стекло.

И то, что оно не разбилось, а также то, что мне удалось схватить тряпку, было таким умопомрачительным триумфом, каких я не испытывал больше никогда в жизни.

Наружу выглядывали две ножки с раздвоенными копытцами.

Он обмотал их тряпкой и, медленно, пытаясь на корточках, стал тянуть под визг тужащейся свиньи.

Борьба была долгой, а само событие незаметным.

Тельце выскользнуло так быстро и неожиданно, что Кальман, по-прежнему сидевший на корточках, не успел отступить и шлепнулся на задницу; между его раздвинутыми ногами на грязном полу бледно поблескивало прикрытое стеклянистой слизистой оболочкой безжизненное тело новорожденного.

Мне кажется, что у всех нас троих перехватило дыхание.

И кажется, первой пошевелилась мать, она подняла голову, словно желая увидеть, удостовериться в том, что это действительно произошло, и снова изнеможенно откинулась, однако едва голова ее ударилась об пол, какое-то новое инстинктивное возбуждение охватило все ее тело, счастливая сила, сделавшая ее невероятно проворной, ловкой, гибкой, находчивой, чего никак нельзя было ожидать от такого огромного неуклюжего животного; таз свиньи, насколько это позволила длинная пуповина, скользнул в сторону, и она, стараясь не зацепить ногами почти неподвижно лежавшего в ногах Кальмана поросеночка, с восторженным хрюканьем потянулась назад, дергая пяточком и дрожа от радости, обнюхала всего малыша, дважды клацнув зубами, перекусила пуповину, и, пока Кальман, пытаясь от нее, выбирался из хлева, встала на ноги, чуть ли не вскочила, и принялась вылизывать поросенка, вскачь пританцовывая вокруг него, с нетерпеливым похрюкиванием тыкать носом и снова облизывать, как будто хотела слизнуть его целиком с земли, и так до тех пор, пока наконец он не задышал.

Когда добрый час спустя мы закрыли дверь хлева и щеколда, тихонько стукнув, скользнула в паз, у горячих, лилово-красных, сочащихся молоком сосков лежали, причмокивая, четыре поросеночка.

Стояла летняя ночь, темная, звездная и безмолвная.

Собака плелась за нами.

Кальман отошел вглубь двора и, приспустив трусы, долго молчался.

Мы с собакой остались стоять у дома.

Там же, в навозной куче, он закопал послед.

Нам нечего было сказать друг другу, и я чувствовал, что нам никогда и не нужно будет больше ни о чем говорить.

Мне было более чем достаточно и того, что я могу здесь стоять и слушать, как он нескончаемо и обильно орошает землю.

Ибо когда свинья уже разрешилась первым и Кальман выбежал из хлева, а я, шагнув в сторону, высоко поднял лампу, то на мгновение глаза наши встретились и взгляды, хотя мы с ним двигались в разные стороны, остановились от одинаковости ощущения счастья, и это мгновение продолжалось так долго и было настолько насыщенным, что реальное время как бы вытекло из него, и все, что скопилось в нас за время борьбы, могло вырваться только через эту общность; лампа осветила его безумную ухмылку, наши лица сошлись совсем близко, глаза его заслонила ухмылка, только рот и зубы, выступающие челюсти, спутанные волосы на лбу, и когда лицо его неожиданно оказалось рядом, я понял, что это копия моего лица, ведь я ухмыляюсь с точно таким же алчным безумием, и казалось, что вырваться из этого застывающего мгновения ухмылки, прорваться к единению можно было, только бросившись друг другу в объятия.

Объяснившись друг другу в любви.

Но и этого было бы недостаточно для триумфа, сравнимого с победой свиньи.

Вместо этого мы взорвались словами.

Мы смеялись словами.

Я чуть стекло не разбил, сказал я, он у нее поперек лежал, сказал он, я спросил, а чего он так орал, я ни черта не понял, а он крикнул, что даже отец не смог бы справиться лучше, а я прокричал, что сперва я подумал, будто свинья больна... хорошо еще, что его пуповиной не задушило... а я не мог найти тряпку... а свинья-то какая умница оказалась, крикнул он.

Собака с лаем, расширяющимися кругами бегала вокруг нас, и это тоже была в своем роде речь.

С веранды струился бесстрастный свет лампы.

Измощенные, одурелые, мы медленно поднялись по ступенькам.

В кастрюле до сих пор дымилась вода; я поставил ее греться, еще когда он дожидался последа, чтобы можно было обмыть вымя свиньи теплой водой.

Он подошел к столу, выдвинул стул и сел.

Сначала я разглядывал обстановку кухни: покрытую белой эмалью плиту, яблочно-зеленый буфет, розовое одеяло на топчане; керосиновую лампу я поставил на стол, и, поскольку дверь осталась открытой, от движения воздуха она скорее коптила, чем давала свет; я тоже присел.

Мы долго сидели, уставясь перед собой.

Вот блядство, тихо проговорил он немного спустя.

Друг на друга мы не смотрели, но я чувствовал, что ему не хочется, чтобы я уходил, да и мне этого не хотелось.

А матерное ругательство прозвучало как тихое извинение, адресованное мне.

Сквернословил он крайне редко и, в отличие от других мальчишек, избегал даже грубых слов; кроме этого эпизода, мне запомнились только два таких случая: фраза о Майе, о том, что он собирается сделать с ней, и слова, прозвучавшие в школьном туалете.

О том, что я могу поймать на полдник.

Во мне это сохранилось как тяжкое оскорбление, как незаживающая рана, я об этом забыл, но не мог простить.

И не потому только, что своей, казалось бы, безобидной грубостью он поддержал Кристиана и Према, а что ему оставалось делать? ведь как бы ни было больно, я не мог обижаться на постоянную, временами даже интригующую неопределенность человеческих отношений, ибо она, эта неопределенность, была тогда в порядке вещей, в ней явно проступал дух времени, когда невозможно было с уверенностью сказать, кто твой враг, а кто друг, и в конечном счете всех нужно было считать врагами; ведь достаточно было только вспомнить о страхе и ненависти, которые охватывали меня у ограды, окружавшей запретную зону, и я уже сам не знал, на чьей стороне мое место, или вспомнить о мучившем меня чувстве, что из-за моего отца все считают меня стукачом, хотя я еще никогда никого не предал, в то время как он, будучи вынужденным присоединиться к ним, предал самую глубокую тайну нашей дружбы, даже если другие понятия не имели, что он имел в виду, говоря, что на полдник я могу получить член Према, не могли взять в толк, что это за намек, но все же! мне показалось, что он перед всеми как бы сказал мне, и это было более чем предательство! будто это я, только о том и мечтавший, как бы заполучить его на полдник! взялся за его член, как будто все между нами произошло не в силу глубокой взаимности и как будто вовсе не он был в этом инициатором.

Он ногой вышиб из-под себя стул и, подойдя к буфету, достал из него палинку и два стакана.

Он предал меня так же смело и не раздумывая, как смело и ни о чем не задумываясь потянулся тогда ко мне рукой.

И, чтобы не испытывать стеснения перед остальными, он отмежеввался от тогдашнего своего жеста, теперь же, наверно, пытаясь загладить этим ругательством свою измену, он как бы благодарил меня за то, что я все же решил остаться.

В общем, это был такой взрыв эмоций, что об этом лучше не говорить.

И я не мог все это рассказать Майе точно так же, как, прильнув к руке матери, не мог ничего рассказать ей о девчонках.

Мы молча напились.

Если бы только можно было постичь самые главные в жизни вещи, все равно пришлось бы еще учиться молчать о них.

306 Опынев, мы долго сидели, уставясь в стол, и после его ругательства почему-то никак не могли посмотреть друг другу в глаза.

Между тем именно это ругательство все прояснило, до самой смерти.

Верность в высшем ее понимании; то есть что никто никогда ничего не забудет.

Он неуверенно крутил в руках лампу, потом решил загасить ее, но фитиль все не уворачивался и только сильнее коптил, и тогда, сняв стекло, он стал задвухать его, но все время чуть-чуть промахивался, смеялся и снова дул, и тут горячее закопченное стекло выскользнуло из его руки и разбилося о каменный пол.

Он не повел и глазом.

Звон разлетевшегося на мельчайшие осколки стекла доставил мне удовольствие.

Как мне позже припоминалось, от этого приятного чувства я погрузился в какую-то полудрему, казалось, я затерялся среди своих мыслей, хотя я понятия не имею, о чем я при этом думал и думал ли вообще, тупое ощущение опьянения позволяло думать без мыслей, и я не заметил, что он в какой-то момент поднялся, поставил на пол большую шайку и стал выливать в нее остатки горячей воды.

Я видел его не размыто, но далеко, и он меня не интересовал.

Он все еще лил в шайку воду.

И мне хотелось сказать ему, хватит лить, перестань.

Я опять-таки не заметил, что он льет уже другую воду.

Из ведра.

Как не заметил я и того, как он сбросил на пол трусы, и теперь стоял в шайке голый; мыло выскользнуло у него из руки и, прокатившись по каменному полу, скрылось под буфетом.

Он попросил меня подать ему мыло.

И по голосу было слышно, что он тоже в дым пьян, отчего мне хотелось смеяться, но я не мог даже встать.

Когда я наконец сумел подняться, он, брызгая и плеща водой, стал намыливать тело.

Нет, у него был совсем не такой большой, как у лошади, а довольно маленький, плотный и толстый, и всегда торчал, нависая над приподнятой мошонкой, выпячиваясь через штаны; он мылил его.

Я был уже на ногах и чувствовал, что мне больно, очень больно, что я так и не ведаю, чьим другом являюсь.

Я не знаю, как я проделал путь от стола до таза, очевидно, решимость провела меня через этот отрезок времени незаметно; я стоял перед ним и жестом просил передать мне мыло.

Это чувство общности было выше любви, и именно его я так жаждал в отношениях с Кристианом, почти нейтрального чувства братства, которого с ним я не мог достичь и которое столь же естественно, как зрение, обоняние или дыхание, бесполой благодать духовной любви, и, возможно, не будет преувеличением сказать о горячей благодарности, да, я чувствовал благодарность, смирение, ибо получил от него то, что напрасно чаял получить от другого, и при этом все же не унижение, ведь я должен был быть благодарным совсем не ему, благодарность – она существует сама по себе, оттого, что он есть, таков какой есть, и есть я, тоже такой как есть.

Он неуверенно посмотрел на меня, нетвердо мотая головой, попытался заглянуть мне в глаза, но не смог отыскать мой взгляд и все-таки понял меня, потому что сунул мне в руку мыло и присел в тазу.

Я смочил ему спину и старательно стал намыливать, не хотел, чтобы он остался грязным.

Я знал, что Прем сказал тогда эту фигню потому, что это у него был настолько большой, что Кристиан иногда просил Према показать его нам, и мы молча глазели и ржали от удовольствия, что бывают такие большие.

Я был невыразимо счастлив от того, что Кальман все же мой друг.

От его намыленной спины исходил запах свинарника, и мне приходилось тщательно прополаскивать мыло.

А сказал это Прем только для того, чтобы Кальман не взял чего доброго мою сторону, а оставался их другом.

Мыло выскользнуло из рук и упало в таз, исчезнув между его расставленными ногами.

Я должен был выйти на свежий воздух – настолько я ненавидел Према.

Нога споткнулась обо что-то мягкое.

Я ненавидел его настолько, что меня мутило.

Растянувшись на веранде, собака мирно спала.

Мои руки были все еще в мыле.

Я лежал на земле, тем временем кто-то выключил свет, потому что стало темно.

Звезды исчезли, душная ночь безмолвствовала.

Долгое время я думал только о том, что надо идти домой, домой, ни о чем другом я думать не мог.

Вдали время от времени полыхали молнии, и по небу прокатывался гром.

А потом ноги понесли меня, потянула отяжелевшая голова, и подошвы нащупывали неизвестно куда ведущий путь.

И по мере того как молнии приближали все ближе раскаты грома, воздух все больше вихрился и в кронах деревьев все громче завывал ветер.

И только когда мои губы почувствовали что-то твердое и прохладное, ощутили вкус ржавчины, я понял, что добрался до дома; внизу, между кронами, знакомо светит окно, а этот вкус на губах – вкус железной калитки.

Место было знакомое, не впервые увиденное, но от этого не менее чуждое.

Я оглянулся – где все же я нахожусь.

Порывы прохладного ветра несли с собой крупные теплые капли дождя, который то припускал, то стихал.

Я лежал под открытым, изливающим свет окном и хотел одного – чтобы меня никто никогда здесь не обнаружил.

Я видел, как по стене скользят молнии.

Идти в дом не хотелось, потому что дом этот я ненавидел, но другого дома у меня не было.

Об этом доме говорить беспристрастно мне трудно даже сегодня, когда я пытаюсь в воспоминаниях взглянуть на него с максимально возможной дистанции; о доме, где люди, жившие под одной кровлей, были так далеки друг от друга, были настолько поглощены процессом собственного физического и нравственного разложения и настолько заняты собою и только собою, что даже не замечали или делали вид, будто не замечают, что в так называемой семейной общности кого-то, скажем одного ребенка, недостает.

Почему они этого не замечали?

Я был настолько им всем безразличен, что и сам не знал, что пребываю в аду безразличия, и считал, будто этот ад безразличия и есть мир.

Из дома иногда доносился тихий скрип паркета, какой-то скрежет, тихий шорох, шум.

Я лежал под открытым окном комнаты бабушки.

Он давно уже перепутал день с ночью, по ночам он бродил по дому, а днем клевал носом или спал на диване в своей затемненной комнате и был, в силу этой своей причуды, ни для кого недоступен.

И если б я только знал, когда началось это взаимное и всеобщее разложение, отчего и когда остыло вместительное семейное гнездо, то, конечно, я мог бы многое рассказать о человеческом естестве и, разумеется, об эпохе, в которую мне пришлось жить.

309

Но я себя не обманываю – высокой премудростью богов я не обладаю.

Быть может, все дело было в болезни матери?

Да, возможно, она была переломным моментом в этом процессе, хотя мне, как ни странно, она представляется скорее следствием, чем причиной этого бесповоротного распада; во всяком случае, болезнь ее была покрыта той же самой, в своей бережности насквозь фальшивой, семейной ложью, что и состояние моей сестры или астматические приступы деда, по поводу которых бабушка за его спиной говорила, что помочь ему не могут ни врачи, ни диета, ни скрупулезный прием лекарств, потому что все это – просто блажь.

И что помочь ему может ведро холодной воды.

Причем об этом, принимавшем конкретные физические формы, распаде говорить было так же не принято, как о том, почему моя бабушка не разговаривает с дедом, а тот, в свою очередь, не желает общаться с отцом и они даже не здороваются и при встрече смотрят друг на друга как на пустое место, в то время как мой отец живет в доме деда.

Быть может, то было мое счастье или, напротив, несчастье, до сих пор я так и не могу решить, что лучше, знание или незнание, но, как бы то ни было, несмотря на то что я всеми силами приспособливался к этой фальши, старался вписаться в систему лжи и даже способствовал своим, тоже весьма эффективным, враньем безупречной работе этого четко отлаженного механизма лжи, я, даже не понимая, что приводит в движение этот механизм и не зная точно, что за чем кроется, тем не менее мог кое-что углядеть за этими покровами, например, я знал, что болезнь деда была серьезной и настоящей и любой из приступов мог оказаться фатальным, в то время как бабушка лишь строго, но безучастно наблюдала за ними, и мне даже казалось, будто она ждала этой смерти, которая могла наступить в любой момент; я знал также,

что болезнь моей младшей сестры была неизлечима, она родилась слабоумной и такой навсегда останется, но обстоятельства ее рождения или, точнее, зачатия, то есть первопричину, ежели таковая была, скрывала нечистая совесть моих родителей, и именно потому они вынуждены были постоянно говорить о надежде на излечение, как будто этой своей надеждой пытались прикрыть какую-то жуткую тайну, о которой никто никогда не должен узнать; мне казалось, будто каждый член нашей семьи с помощью лжи держал в своей власти жизнь другого; а кроме того, в результате случайного движения я также узнал, что состояние мамы не имело ничего общего с выздоровлением после успешной операции на желчном пузыре.

Лежа на ее руке, я прислушивался к ее дыханию, и единственным моим желанием было дотронуться до ее шеи, погладить ладонью лицо, потому я и говорю о случайности; она не спала, лежала, закрыв глаза, и когда я неловко потянулся к ее шее, мой палец зацепил завязанные бантиком тесемки, которые стягивали вырез ночной рубашки, возможно, они были плохо завязаны или неожиданно развязались, и легкая шелковая материя соскользнула с ее груди или, точнее, с того, что на долю секунды показалось мне грудью, потому что именно это я ожидал увидеть, на самом же деле вместо груди я увидел затягивающуюся рану, радиально расчерченную красноватыми бороздками швов.

Над моей головой звякнуло стекло – кто-то резко захлопнул окно.

Гроза началась как нельзя кстати, я лежал и надеялся, что хлынувший ливень воьет меня в землю, что я растворюсь в нем, однако холодный дождь отрезвил меня.

Кое-как я встал на ноги и постучал в окно, чтобы меня впустили.

К моему изумлению, из комнаты на меня смотрело перепуганное лицо бабушки; на диване навзничь лежал дед, закрыв глаза.

Пока я ждал у двери, рубашка и брюки на мне насквозь промокли, дождь хлестал как из ведра, гремел гром и сверкали молнии, и когда бабушка наконец впустила меня, то вода струилась уже из моих волос.

Она даже не включила свет и молча, не обращая на меня никакого внимания, поспешила обратно в комнату деда.

Я последовал за ней.

Но спешила она вовсе не потому, что ей нужно было помочь деду; она быстро опустилась на стул, с которого только что с изумлением поднялась, и спешка ее объяснялась тем, что она хотела присутствовать, быть при нем, когда это произойдет.

За большими стеклами закрытого окна дождь падал сплошной завесой, за которой беспрестанно вспыхивавший синий свет выхватывал загадочно размытые силуэты деревьев, от близких раскатов грома дребезжали стекла, и казалось, будто всю предгрозовую жару и всю духоту заперли в этой комнате.

Грудь деда быстро вздымалась и опускалась, в свесившейся руке он держал раскрытую книгу; казалось, еще мгновение, и она выпадает из руки, а с другой стороны, он как бы цеплялся за нее, как за последнюю вещь, связывающую его с этим миром; лицо его побледнело и взмокло, над приоткрытым ртом на щетине бисерился пот, он дышал очень часто, надсадно, присвистывая и хрипя.

Над головой у него горела лампа с воющим абажуром, направленная прямо ему в лицо, чтобы не было ничего таинственного в его схватке со смертью, сама же бабушка неподвижно сидела в тени, несколько напряженно и выжидающе выглядывая из мягкого полумрака.

Спина ее была жесткая и прямая, как спинка стула.

Вообще бабушка была высокая, стройная, преисполненная достоинства пожилая дама, хотя сегодня, оглядываясь назад во времени, я должен признать, что она казалась мне намного старше, чем была на самом деле, ведь ей тогда только перевалило за шестьдесят, дед же был без малого на два десятка старше, но эта разница, что весьма характерно для детского восприятия возраста, не казалась мне такой уж большой, оба виделись мне одинаково старыми, даже дряхлыми, и в своей этой дряхлости похожими друг на друга.

Они оба были худы, костлявы, почти что до немоты молчаливы, что я также воспринимал как неизбежное следствие старости, хотя в действительности причины для молчаливости у них были совершенно разные, как различным был и характер их молчаливости; в бессловесности бабушки постоянно вибрировало легкое чувство обиженности, и этой своей постоянно и демонстративно подчеркиваемой обидой она давала понять, что молчит вовсе не потому, что ей нечего сказать, а потому, что однажды сознательно отказалась и продолжает отказываться от общения с миром, тем самым карая его, и этой кары, кстати сказать, я ужасно боялся; я не знаю, какой она была в молодости, но в попытках понять причины ее обид я прихожу к заключению, что она не могла спокойно принять и осмыслить те кардинальные перемены, которые несколько лет назад произошли в их образе жизни, перемены действительно были слишком крутыми, а она, будучи в молодости красавицей, естественно, ощущала себя баловницей судьбы

и собиралась быть таковой до конца своих лет; в первые годы после войны они еще выезжали в город на черном сверкающем «мерседесе» размером с внушительный дилижанс, который, как было положено, вел солидного вида шофер в фуражке с золоченым шнуром и лаковым козырьком, однако автомобиль им пришлось продать, а в их обесценившиеся акции я годами потом заворачивал учебники и тетради, потому что их безупречно белая обратная сторона, если сорвать перфорированные купоны, подходила для этих целей как нельзя лучше; потом дед неожиданно ликвидировал свою адвокатскую контору на бульваре Терезии, в результате чего им пришлось уволить горничную, и тогда в комнате для прислуги на какое-то время, пока и она не пропала, поселилась Мария Штейн, и, наконец, в завершение катастрофы, в год, когда проводилась национализация, дед добровольно передал их дом в собственность государству, что так ошарашило бабушку, со смехом рассказывала мне мать, что, узнав об этом несколько недель спустя и совершенно случайно, бабушка хлопнулась в обморок, ведь, в конце концов, в этот дом было вложено и ее приданое, и когда тетя Клара, старшая сестра моей матери, хлопая бабушку по щекам, все же привела ее в чувство, та выбрала для себя и всего семейства самое тяжкое наказание: она перестала разговаривать с дедушкой, но самое смешное было при этом то, что дед, несмотря на ее немоту, продолжал говорить с нею как ни в чем не бывало; однако надо сказать, что обида была вполне оправданной, она действительно родилась вовсе не для того, чтобы в роли прислуги, нянечки и сестры милосердия обхаживать троих тяжелобольных и двоих сумасшедших – дело в том, что, по глубокому ее убеждению, мы с отцом были не совсем нормальными, в чем была некоторая доля правды; да, она родилась не для этого, к подобного рода занятиям у нее не лежали ни душа, ни руки, и все-таки то, что от нее требовалось, она, с видом оскорбленной гордости, выполняла точно и добросовестно; что касается деда, то с ним все обстояло наоборот: погрузиться в молчание его, скорее всего, побуждали его безграничное терпение и глубокий юмор, в нем не было никаких обид, точнее сказать, обиженным он не был, просто все мирские дела казались ему настолько смешными, абсурдными, тривиальными, скучными и шитыми белыми нитками, что из деликатности он не хотел никого задевать своим мнением; он настолько не принимал всерьез те вещи, которые другим казались смертельно серьезными, что, во избежание столкновений, вынужден был подавлять в себе собственную реакцию, от чего, как я думаю, он страдал не меньше, чем бабушка от ее уязвленного самолюбия.

Горькие скобки иронической улыбки трепетали вокруг его губ даже во время приступа, словно бы под прикрытием смеженных век он подсмеивался над своим удушьем, над прискорбной, но неизбежной и тщетной в конечном счете борьбой, которую его организм, несмотря ни на что, все же продолжал вести, сопротивляясь тому, что все равно должно было случиться.

Бабушка наблюдала за этой борьбой чуть ли не со злостью, а гневило ее то, что из-за этой его насмешливости он не подходил на роль так называемого благодарного пациента, он хотел умереть, но не мог, и поэтому не полагался на добрые руки нянечки, а с некоей высшей мудростью вверял свои тело и душу той силе, которая, как он верил, распоряжалась им, и тем самым манкировал добродетельными, благими и неизбежно мирскими заботами ухаживающих за ним людей, превращая этот уход в комедию.

Бабушка же, и без того оскорбленная, по-видимому, воспринимала это так, будто он специально растягивал эти неблагоприятно долгие муки, проделывал свои фокусы единственно для того, чтобы и этим до последней минуты досаждал ей.

Вместе с тем даже во внешних проявлениях этого противостояния не было ничего постыдного, неловкого или жалкого, оба они вели себя с достоинством.

Оба всегда были тщательно, безупречно и изысканно одеты, я никогда не видел их в неопрятном, неряшливом или затрапезном виде; дед, хотя он никогда не выходил из дома, ежедневно брился и надевал белую, с крахмальным воротничком рубашку – он носил исключительно белые рубашки, шелковые галстуки с не слишком ловко повязанным большим узлом, широкие серые брюки с отглаженными стрелками и короткую бежевую вельветовую тужурку, а бабушка мыла посуду, готовила и убиралась в доме в изящных, на невысоких каблучках туфлях и приталенных капотах с расширяющимся наподобие колокола подолом, которые, в зависимости от сезона и случая, могли быть ситцевыми или шелковыми, мягкими шерстяными или бархатными, сочных тонов, и облегали ее фигуру так элегантно, словно были отнюдь не домашними, а вечерними платьями; она выглядела не смешной, а скорее суровой и несгибаемой, осторожно, безглаголиво и как бы невзначай касаясь предметов, хлопотала она по кухне в своем длинном капоте, много курила и к посторонней помощи прибегала только при самых обременительных работах вроде мытья окон, натирки паркета или генеральной уборки, говоря в таких случаях: придется взять деvушку, как если бы речь шла о такси; стирать она нанимала мать

Кальмана, которая раз в неделю забирала у нас грязное белье и возвращала чистым и выглаженным.

В ту ночь, в короткую паузу между длинными хрипами, дедушка простонал что-то вроде: окно! воздуха! – точно понять было невозможно, судороги удушья искажали его слова, и тогда бабушка поднялась, но вместо того чтобы открыть окно, выключила лампу над головой деда и вернулась на место.

Было около полуночи.

314

Мы не будем ему открывать окно, сказала она в темноте, еще не хватало нам в ночь-полночь тут полы подтирать, да и воздуха здесь более чем достаточно.

Всякий раз, желая что-то сказать ему в моем присутствии, она делала вид, будто разговаривает со мной.

Сидя в темноте, мы ждали, пока уймется приступ или произойдет что-либо другое.

И все же на следующий день я проснулся ни свет ни заря.

Было совершенно необычное, странное летнее утро: земля чуть курилась после вчерашней грозы, синева неба, ясного, без единого облачка, была подернута пепельной дымкой, и дул ураганный ветер.

Он беспрестанно ревет и свищет где-то вверху, непонятно где, низвергается мощным потоком, гнет в три погибели кроны, хлещет кусты, проносится по росистой траве, рвет, треплет и сотрясает все на своем пути, и на время этой атаки плеск схлестывающихся и вздымающихся волнами листьев, треск стволов, стук и стоны бьющихся друг о друга сучьев сливаются с поднебесным воем, отчего внизу все беспорядочно мельтешит и колышется, потому что ветер вносит сумятицу в естественное положение света и тени, сдвигает их, сталкивает, разрывает, запутывает, без того, разумеется, чтобы обозначить их некое новое окончательное положение, потому что его уж и след простыл, и снова он завывает лишь в синеве, не принеся с собой ничего, никаких перемен, чтобы потом, как гром, следующий за вспышкой молнии, снова взорваться, начать все сначала, не принося с собою ни облаков, ни дождя, ни грозы, не тревожа спокойствия лета, и воздух не делается от него ни теплей, ни прохладней, только чище, яснее, в нем не закручиваются вздымающие пыль вихри и четко доносится даже стук дятла, но все же это – гроза, сухо падающий безводный ливень.

Безумство, которому, нервно дрожа и слегка робея, мы все-таки отдаемся, подобно птицам, вольно реющим на волнах безопасного ветра.

Это славно, что завывает ветер, и славно, что ярко сияет солнце.

Сестренка была уже в саду, в длинной, пузырящейся на ветру белой ночной рубашке она стояла на ступеньках перед калиткой, вцепившись руками в поржавевшие прутья и бессильно свесив на грудь тяжелую голову.

Я вышел из дома навстречу ветру с кружкой теплого молока в руке и был несколько смущен тем, что застал ее здесь, ибо знал, что если она заметит меня, то избавиться от нее будет совсем не просто, ведь с каким бы самозабвением я с ней ни играл, с моей стороны конечной целью всех этих игр всегда было то, чтобы каким-то образом от нее отвязаться.

Но в столь раннюю пору опасность была еще не так велика, по утрам, проводив отца, она могла битый час неподвижно стоять у калитки, погрузившись в свою печаль.

И эти страдания порой приводили ее в такое оцепенение, что даже бабушка, которую боялась и моя сестра, не в силах была оттащить ее от ворот.

Сестренка напоминала мне какой-то сверхточный живой календарь; тайным чутьем она до минуты угадывала, когда просыпался отец, и, радостно выбравшись из постели, сопровождала его в ванную, чтобы там, стоя у умывальника, наблюдать, как он будет бриться; этот акт бритья был апогеем их отношений, моментом, в который сестренка переживала истинную любовь, повторяющийся из утра в утро безумный восторг: наш отец стоял перед зеркалом, и как только он начинал размазывать по лицу крем для бритья, из груди его вырывалось глухое урчание, и чем пенистее становился под кисточкой крем, тем сильнее нарастало его урчание, словно он радовался, что может из ничего сотворить на лице такую красивую, плотную, белую, аппетитно вздымающуюся пену, при этом сестра ему вторила, а когда пена была совершенно готова и урчание переросло уже в громкий рык, наш отец неожиданно умолкал, сестра тоже, и воцарялось благостное молчание; промыв помазок, отец водружал его на стеклянную полочку и церемониальным жестом поднимал с нее бритву, сестра, затаив дыхание, наблюдала за его руками, а он, следя в зеркало за ее глазами, издавал душераздирающий вопль, который затем повторялся при каждом взмахе бритвы, и, натянув кожу пальцами, врезался в пену, соскребая невидимую под ней щетину; смысл игры заключался в том, что пене, с одной стороны, было якобы очень больно, а с другой стороны, все-таки хорошо, и сестренка при каждом взмахе бритвы радостно и болезненно взвизгивала вместе с отцом, а потом взволнованно

наблюдала за тем, как он одевался, потом, лопоча, сидела с ним рядом, пока он завтракал, когда же он поднимался из-за стола и, вытерев рот салфеткой, направлялся к выходу, если это было не воскресенье, ибо по воскресеньям он, отложив салфетку, неторопливо выкуривал сигарету, то тут на лице сестры радость сменялась глубочайшим отчаянием, она вцеплялась в руку отца или хватала его за рукав, и когда случалось, что он забывал загодя уложить те бумаги, которые он собирался в тот день взять с собой, то ему приходилось тащить молча повисшую у него на руке дочь не в прихожую, а сначала к себе в кабинет и только потом уже к выходу; если игры во время бритья доставляли отцу удовольствие, то это было уже чересчур, он часто терял терпение, лицо его, несмотря на сдержанную улыбку, дергалось, он тихонько шипел, что ему каждый божий день приходится выносить этот цирк, и иногда был на грани того, чтобы шлепнуть ее, но мысль эта явно его ужасала, и он делался еще более снисходительным; но когда наконец они добивались до этой жуткой двери и становилось ясно, что расставание неизбежно, в моей сестренке безумствующее отчаяние вдруг сменялось смиренно-безучастной грустью, она позволяла отцу спокойно взять ее за руку, и они, рука об руку, поднимались к калитке, за которой, урча мотором, его уже ожидала машина.

Мне трудно сказать, зачем я направился тогда к ней, если цель моя была в том, чтобы избежать ее, не мешать ей переживать ее горе, которое в данный момент меня вполне устраивало; во всяком случае, я вряд ли осознавал, как сильно ревную к ней нашего отца, которому она так безгранично преданна, и что именно эта ревность понуждала меня невольно искать ее общества, потому что уж такова по своей природе ревность: мы вынуждены были невольно делиться между собой предметом нашей общей привязанности.

Так же как общее влечение к Майе сближало нас с Кальманом.

Она держалась за металлический прут калитки; я, присев на ступеньку, отхлебывал молоко, стараясь не проглотить плавающую в нем румяную пенку, и с каким-то коварным смирением наслаждался излучаемой телом сестренки печалью.

Ее тело действительно излучало эмоции, для того чтобы это почувствовать, достаточно было просто приблизиться к ней.

И то, что я ощутил, было искаженной формой тоски, которую вызывала во мне утрата обнаженного тела отца, зияние, которое я уже никогда не заполню.

Какое-то время спустя она повернулась ко мне и стала наблюдать за моими движениями, что побудило меня пить молоко еще

медленнее, чтобы оно не кончилось слишком быстро; я притворился, будто вообще не вижу, не чувствую, не интересуюсь, знать не знаю, что она тоже здесь, и тем самым, не сознавая того, ударил ее в самое уязвимое, и без того болящее место – усилил в ней чувство покинутости.

Так продолжалось до тех, пока она, со всеми своими страданиями, не повернулась ко мне, надеясь найти утешение в моей кружке, в молоке.

Ждать мне пришлось недолго, она потянулась за кружкой, но я, поднеся ее ко рту, сделал очередной глоток.

Она отпустила калитку и шагнула ко мне, точнее, навстречу кружке, глотку, инстинкту жажды.

Она стояла надо мной, и это был уже разговор.

Я по-прежнему делал вид, будто не замечаю, что она хочет молока, и как бы невзначай поставил кружку между подтянутыми коленями, подальше от нее.

Она потянулась за ней, и тогда, подняв кружку, я, уже демонстративно, отвел руку так, чтобы она не смогла до нее дотянуться.

Сестренка издала плаксивый звук, тот ненавистный мне звук, с которым она каждый день ждала отца.

Ибо она чувствовала не только время, когда он проснется, но каким-то своим тайным чувством угадывала, когда он вернется домой.

Во второй половине дня, обычно в пятом часу, как раз когда я поджидал Ливию, моя сестра, что бы она ни делала, вдруг становилась капризной и раздражительной и издавала тот самый тягучий плаксивый звук, словно радость предвещала свое приближение болью; она, покачиваясь, повторяла этот жалобный звук до тех пор, пока и правда не доводила себя до плача; собственно, то был не настоящий плач, не было даже слез, а скорее нечто похожее на животный скулеж, с которым она бродила по дому, по саду, трясла ограду, пока не появлялся отец.

Если подумать, то единственным временем, когда сестренка не проявляла этих крайних чувств радости, восторга, печали и боли, было время после воскресного обеда, когда вся семья была в сборе.

Но поскольку мне не хотелось слушать ее плач, я сунул указательный палец в кружку и выудил из нее пенку.

Ее эта глупость развеселила, она плюхнулась рядом со мной на ступеньку и разинула рот, показывая, чего она хочет.

Я же, словно приманку, держал пенку над ее ртом, и как только она губами и вытянутым языком пыталась схватить ее, я отводил

палец, и этот трюк мы повторяли с ней до тех пор, пока рот ее не скривился в плаче, и тогда я отдал ей пенку вместе с моим пальцем.

Она обсосала его, а для вящего удовольствия я сунул ей в руку почти пустую кружку и, выскользнув у нее за спиной в калитку, бросился наутек, чтобы к тому моменту, когда она опомнится, перед нею была лишь пустая улица.

Кальман стоял на тропинке.

318 На той, что поверх кукурузного поля вела от их хутора в лес; он держал в руке палку, уперев ее острием в землю, но ничего с ней не делая.

По глянцевой густо-зеленой листве кукурузы с воем пронесся ветер, лес тоже гудел.

Поднявшись к нему наверх, я, задыхаясь, спросил, что он делает здесь; мне приходилось чуть не орать, перекрикивая ветер, но он не ответил, только, медленно повернувшись, уставился на меня, как будто не узнавая.

У него под ногами, прямо посреди тропинки, валялась на боку дохлая мышь, но он не касался ее своей палкой.

Я не мог понять, что с ним стряслось, – ведь пока я молча искал его во дворе, потому что кричать было нельзя, так как его родители и братья в это время спали, все, казалось, было у них в порядке, он уже выпустил кур и гусей, коровник был пуст, а в хлеву, под боком у мирно развалившейся свиноматки сосали вымя маленькие поросята.

Когда я остановился, чтобы посмотреть, как у них дела, она подняла голову и захрюкала, узнав меня, и этим дурацким чувством, этой радостью от того, что их свинья меня любит, я немедленно хотел поделиться с ним.

Неподалеку вокруг куста носилась его собака, она лихорадочно шуровала носом в сухой листве, рыла землю, потом вновь мчалась вокруг куста, чтобы, достигнув места, где она обнаружила что-то волнующее и невероятно важное, снова орудовать мордой и лапами.

И тогда, решив, что тем самым смогу разговорить его, я быстро присел на тропинке, потому что заметил вдруг, что он наблюдал за жуками-могильщиками, копошившимися вокруг тушки мыши; его молчание привело меня в замешательство, не знаю уж отчего, может быть из-за ветра, я был слишком взволнован и суетлив, чтобы сразу, без перехода, настроиться на его волну, спросить же его о том, что стряслось, я не мог, потому что о таких вещах не спрашивают.

Не мог уже потому, что беда, похоже, была настолько серьезной, что он не только не реагировал на мою участливость, но делал вид, будто остановился здесь совершенно случайно, и даже как бы стыдился того, что перед моим появлением наблюдал за жуками, и всем своим видом, своей неподвижностью давал мне понять, что я глубоко заблуждаюсь, если думаю, будто он что-то делает здесь, делать здесь он ничего не собирается, а просто стоит, и хочет стоять здесь один, его ничто не волнует, и зря я усердствую, я не нужен ему и могу катиться к чертовой бабушке, и нечего тут дурака валять, будто меня интересуют эти жуки, он видит меня насквозь, ему достаточно и того, что дует этот поганый ветер и солнце палит как проклятое, да и собака совсем свихнулась, так что лучше бы мне отвалить отсюда.

Однако я упорствовал, что было несколько унижительно, потому как при таком его равнодушии и нежелании иметь со мной дело оставаться было совершенно бессмысленно, но я все же остался.

Хотя почему я вечно здесь отираюсь, зачем прихожу? а куда мне еще идти? ведь если бы я не явился к нему, разве он не прибежал бы ко мне? потому что когда я упрямился, или обижался, или же чувствовал себя слишком униженным, чтобы махнуть рукой и забыть все, то он, ухмыляясь как ни в чем не бывало, появлялся у нашего дома, и при этом я знал, что вообще-то пришел он не ради меня, а для того, чтобы как-нибудь помешать мне отправиться к Майе, и точно так же, правда в не столь явной форме, делал и я, то и дело наведываясь к ним, чтобы удостовериться, что он не у Майи.

Разница между нами была лишь в том, что он всячески надзирал за мной, мешал, отвлекал, препятствовал, в то время как я просто хотел проверить его, узнать, и если его не оказывалось дома и даже мать не могла сказать, куда он пошел, и я рыскал по лесу в надежде, что это недоразумение, что я найду его! и все же не находил! тогда от ревности у меня темнело в глазах, и дело было не столько в Майе, сколько в Кристиане.

Я представлял, как, пока я стою здесь, такой одинокий, беспомощный и несчастный, они где-то играют, даже не вспоминая обо мне, ибо для них я пустое место.

Но Кальман не мог знать об этом.

Как не знал и того, что если ему удавалось, обманув мою бдительность, все же убежать к Майе, то ревность моя была вовсе не столь сильна, какой бывала в подобных случаях его ревность, потому что меня не так уж и волновало, что они делают с Майей,

точнее сказать, мне хотелось об этом знать, но скорее мне доставляло хотя и болезненное, но все-таки удовольствие, что в чем-то, для меня не слишком существенном, он заменял меня, а когда с Майей был я, тогда я замещал его, но, что правда то правда, как раз это замещение меня возбуждало безмерно.

Казалось, что Майя любила в нас не совершенно разных людей, но одного-единственного, который, однако, не мог целиком воплотиться ни в одном из нас, и поэтому когда она говорила со мной, то в какой-то мере всегда обращалась к нему, а когда говорила с ним, то хотела быть хоть немного со мной, и, таким образом, каждый из нас двоих должен был волей-неволей терпеть в себе другого, играть роль чужого, который, благодаря этой игре, становился знакомым, но ощущение чуждости все же препятствовало достижению желанного совершенства и полноты, ибо Майя, какие бы вызывающие признаки внешней распушенности она ни выказывала, так и оставалась для нас обоих скорей вожденной мечтой и не могла стать реальной Майей ни для меня, ни для него, ни даже для себя, ибо то, что она искала в нем или во мне, она могла найти только в нас обоих вместе, между тем как искала она своего единственного и, не будучи в силах найти, страдала от этого и подражала в распушенности Сидонии с ее вольной жизнью, а для нас делалась своего рода символом женственности, до которого нам нужно было дорасти в своей мужественности, и откуда нам было знать, что именно этой своей игрой в подмены, уча нас и заставляя друг у друга учиться, она приведет нас к этой мужественности; терпение, всему свое время, словно бы говорила природа, даже если терпение это мы должны были извлекать из страстного нетерпения любви.

И я полагал, что в этой запутанной игре победителем должен стать только и исключительно я, потому что даже если между ними свершилось бы нечто такое, нечто большее, чем, скажем, поцелуй, чего я, конечно, тоже желал, то и в этом случае, сверх всего, у нас с Майей осталась бы еще более глубокая и ни с кем не делимая тайна, наши поиски, в которые Кальман не мог проникнуть ни со своей любовью, ни с чем бы то ни было еще, даже с тем самым, о чем он мне говорил; он ничем, абсолютно ничем не мог нарушить наши особые отношения.

И если бы произошло даже то самое, я и тогда получил бы от Майи нечто, Майя что-то из этого вернула бы мне.

Мы с Кальманом хитроумно удерживали друг друга в горячих объятиях, боясь отпустить другого, и по сравнению с этой еже-

минутной крепкой, в моменты ревности казавшейся смертельной хваткой то, что произошло между нами тогда на скале, казалось, в общем-то, пустяком, а если не пустяком, то во всяком случае следствием нашего соперничества.

Но после того, что мы пережили с ним прошлой ночью, я просто не мог больше на него обижаться, что бы он ни сделал, не мог сказать ему, как бывало в подобных случаях: да пошел бы ты на хер, мудила! – а затем, чтобы разрядить обстановку, броситься наутек; я бегал быстрее него, но посылать его все же старался уже на бегу, потому что он, в свою очередь, был ловчее меня и мог в мгновение ока подставить мне подножку.

321

Но, с другой стороны, я чувствовал, что угрюмость и злость его вообще-то направлены не против меня, с ним просто что-то стряслось, вот и все, и даже если мне была неизвестна причина этой беды, я все же хотел помочь ему; мне сразу подумалось, что, наверное, все это из-за Майи, и я решил, что нам нужно чем-то заняться, чтобы он мог отвлечься.

Я шевельнул пальцем дохлую мышь, отчего жуки тут же замерли, выжидая, что будет, но не разбежались, не желая упускать добычу.

За этими жуками-могильщиками мы с Кальманом наблюдали не впервые.

Кстати, меня, из-за Ливии, тоже подчас безо всяких особых причин охватывало подобное чувство; уныние, апатия, отвращение, такое чувство, как будто сидишь на дне темной осклизлой ямы, и если кто-то в нее заглядывал, то реакцией была ярость, готовность убить, чтобы этот кто-то исчез, пропал пропадом, не был, не существовал на свете.

Мой палец почувствовал мягкое, дряблая тушка сдвинулась с места, глаза мыши встретили смерть открытыми, под торчавшим из обнаженных десен резцом виднелась капелька запекшейся крови.

Я ожидал, что Кальман сейчас зарычит, чтобы я не лез, он терпеть не мог, когда лезут куда не надо.

Он и Према избил как-то из-за ящерицы.

Ящерка, небольшая, красивая, изумрудная с бирюзовой головкой, до жалости исхудавшая после зимней стужи и молодая, что было заметно по мелким чешуйкам, выбралась весной, когда ящерицы еще малоподвижны, погреться на пенек; почувствовав наше приближение, она дернулась, но сил было мало, да и очень уж ей не хотелось убраться в холодную тень с солнцепека, что мы прекрасно видели, ее умные глазки какое-то время наблюдали за нами, но потом желание остаться, видимо, пересилило, и она

убедила себя, что у нас нет никаких враждебных намерений, поэтому она опустила веки, окончательно положившись на нашу добрую волю; в этот момент Прем, больше не в силах сдерживаться, сцапал ее, и хотя у ящерики сработал инстинкт самосохранения и она выскользнула из его ладони, хвост остался на пне, с капелькой водянистой крови в месте надлома, извивающийся сам по себе, и тогда Кальман с воплем ринулся на Према.

322 Но теперь даже этим своим движением я не смог вывести его из себя, заставить хоть что-то сказать мне, и жуки, едва тень от моей руки отодвинулась в сторону, снова принялись за работу.

Все, что я знал об этих жуках, как и о многих других представителях флоры и фауны, я узнал от него, и хотя не могу сказать, что я был равнодушен к природе, разница между нами заключалась, пожалуй, в том, что если я оставался всегда наблюдателем, то он переживал природные явления как явления собственного естества, если во мне наблюдения вызывали волнение, отвращение, страх или восторг, которые, в свою очередь, побуждали к действию, то он всегда оставался спокойным, спокойным в самом глубоком и емком смысле этого слова, как человек, который, испытывая беспросветные ли страдания или величайшую радость, предается им без сопротивления, не пытаясь препятствовать проявлению собственных чувств своими страхами или предрассудками; его спокойствие было сродни спокойствию природы, в нем не было ни сочувствия, ни бесчувственности, а было что-то другое; я думаю, то была смелость чувств! возможно, именно потому он никогда ни к чему не испытывал отвращения или желания прикоснуться к чему-то, что не касалось его, и по той же причине знал о месте наших с ним походов, о лесе, буквально все; он был тих и медлителен, с распахнутым безошибочным взглядом, он никогда не терпел возражений в своих владениях, где он был царь и бог, хотя и не думал царствовать; наверное, из-за развитого чутья, интуиции перед ним невозможно было устоять, как было однажды в воскресный послеобеденный час, когда он вдруг появился в открытых дверях нашей столовой, на посторонний взгляд взрослых в довольно забавном виде; мы сидели в уютной семейной обстановке над остатками обеда, и мой кузен Альберт, сын тети Клары, толстоватый молодой человек с проплешинами в жидких волосах, который по меньшей мере настолько же изумлял меня своей уверенностью и подавляющим чувством превосходства, насколько вызывал отвращение фарисейством и глупостью, как раз рассказывал какую-то историю, приключившуюся с итальянским писателем Эмилио Гаддой; Альберт был единственным в семье человеком искусства, он пел в опере, благодаря чему

имел счастливую и редчайшую для тех лет возможность много ездить по миру, так что он вечно был полон занятных историй, которыми, с несколько наигранной скромностью, он охотно бахвалился перед нами своим густым, сулящим дальнейшую блистательную карьеру басом; рассказывая анекдоты и сыпля двусмысленными остротами, он то ли говорил нараспев, то ли пел говоря, объединяя слова в небольшие музыкальные фразы, словно бы демонстрируя нам этой странной своей привычкой, что он не простой смертный, что он артист, который даже в часы досуга вынужден упражнять свой бесценный голос; однако когда в дверях, босиком и в трусах, появился Кальман, Альберт вдруг прервал свой рассказ и громко жеманно захохотал: мол, посмотрите на этого очаровательного чумазого нахаленка! и остальные тоже захохотали, а мне стало немного стыдно за моего друга, и стыдно за то, что мне стало стыдно, тем временем Кальман, даже не поздоровавшись, велел мне идти за ним, и, видимо, внутреннее убеждение, которое двигало им, было настолько сильным, что он не обратил ни малейшего внимания на присутствующих, как если бы, кроме меня, он никого здесь не видел, что, надо признаться, было не лишено некоторого комизма.

Жучки, время от времени замирая перед более крупным комочком земли или камешком, усердно подрывались под трупик мыши, в качестве шанцевого инструмента используя свои заостренные, прикрытые черным как смоль щитком головки, а отрытую землю отбрасывали назад членистыми лапками; но сперва они вырывают вокруг трупа траншею, а когда траншея готова, вынимают из-под него грунт, так что труп постепенно погружается в землю, а потом отрытую землю аккуратно возвращают на место, окончательно погребая животное, почему их и называют, как мне объяснил тогда Кальман, могильщиками; работа их тяжела, ведь, учитывая их размеры, им приходится хоронить неподвижных гигантов, и занимает она много часов, но, конечно, они выполняют ее вовсе не бескорыстно, ибо еще до ее начала самка откладывает в трупе яйца, а из них вылупляются личинки, которые, пожирая разлагающуюся плоть, пробиваются на свет божий, такова их жизнь.

В то воскресенье они хоронили полевку, что было задачей достаточно сложной, потому так как мышь оказалась довольно крупной, да и почва здесь, на тропинке, была не только утоптанной, но и добавок и каменистой.

Они трудились вдевятьером.

На черных надкрыльях у них видны по две широкие ярко-оранжевые перевязи, а нежные сочленения шеи и брюшка прикрыты желтоватыми щетинками.

Каждое насекомое выполняет свою четко определенную задачу, но при этом усилия их явно согласованы, и если кто-то из них наталкивается на слишком твердый комок или на камешек, он останавливается, как бы призывая других на помощь, и все сперва начинают нервно суетиться вокруг препятствия, ощупывают его своими длинными усиками, оценивают ситуацию, потом, словно бы совещаясь, касаются усиками друг друга, принимают решение и, дружно навалившись, начинают с разных сторон подрывать комок или пытаются общими усилиями сдвинуть камешек.

И пока я смотрел на жуков, а в действительности размышлял о том, что же все-таки с ним случилось, Кальман вдруг заявил мне, что Кристиан нарочно выбил у него из рук молоко.

Я не знал, что за молоко он имел в виду.

Но он закинулся на одном – что тот сделал это нарочно, что все было не случайно, он это нарочно сделал.

А я все не мог понять, что было нарочно.

Вчера вечером, о чем он забыл рассказать мне, задыхаясь говорил он, когда, после моих вопросов, перестал наконец, будто заведенный, твердить это свое «нарочно», вчера вечером они решили отправиться в лес с палаткой, ну с той самой большой армейской, что есть у Према, а перед этим он им молоко парное принес, и тогда Кристиан сделал такую гадость: посмотри, говорит, в молоко муха плавает! и когда он заглянул в кринку, тот поддал ее снизу и кринка разбилась, и этого он ему ни за что не простит.

Он говорил серьезно, из-за дикого ветра слова его приходилось скорее читать по губам, при этом смотрел он не на меня, а куда-то в сторону, как будто стыдился того, что рассказывал, или того, что не мог проглотить обиду, что был вынужден жаловаться, но я, представив себе эту сцену, этот дурацкий розыгрыш, всегда безотказно срабатывающий, представив, как молоко выплескивается ему в лицо, все же не мог не заржать.

Мне казалось, будто Кристиан хотел отомстить ему за меня, хотя я никогда не думал, что должен за что-то мстить Кальману.

И все же я чувствовал, слышал, что этот мой смех был местью, приятной местью, что этим смехом я предал его доверие, но остановиться не мог; сидя на корточках перед усердно трудящимися жуками, я поднял на него глаза и увидел, что на его беззащитном, но волевом лице и в его, несмотря на обиду, открытом взгляде легко читается оставленный Кристианом след, и оттого, что я могу прочесть на его лице этот след, мне стало так хорошо, что я не мог и уже не хотел сдерживать смех, ведь простой смертный,

к счастью, не ведает, что творит! обхватив руками колени, я упал на тропу и стал кататься от хохота, представляя, как от толчка Кристиана молоко плещет ему прямо в морду, как, бац, разлетается вдребезги кринка у них под ногами, все кругом в молоке, и в то же время я видел, что Кальман, изумленный и ошарашенный моими конвульсиями, окончательно ничего не понимает! да он и не мог ничего понять! ведь Кристиан был способен так жестоко и деспотично поступить с ним только по той причине, что Кальман не знал и не понимал этого языка, в то время как я не просто владел этим языком издевательства и жестокости, но это был, можно сказать, единственный у нас с Кристианом общий язык, язык борьбы за превосходство и власть, он был для нас общим даже несмотря на то, что мы пользовались разными стилями и стратегиями и друг за другом наблюдали издалека; и теперь мне было приятно, начхав на Кальмана, вновь обрести с ним наш общий тайный язык.

Ну чего тут смешного, спросил он, глядя на меня своими прозрачно-голубыми глазами, чего смешного в том, повторил он чуть громче, что ему теперь влетит от матери, ведь кринка-то не простая была, а с глазурью.

Ой, умора, с глазурью! от этого, упиваясь свободой все калечить и рушить, я засмеялся еще сильнее; ведь коль человек не ведает, что творит, он, невольно и бессознательно, свободен творить что угодно, и мне нужно было сделать что-то еще, радость моя была столь сильна, что собственный смех меня не удовлетворял, мне было мало его простого присутствия, блеска его белобрых пушистых ресниц, все это разве что увеличивало наслаждение от захлебывающегося самим собой смеха, нет, для того, чтобы подлость справила настоящий праздник, мне нужно было разделить это наслаждение с ним, наслаждение, которое для меня было равнозначно прикосновению к губам Кристиана, и поэтому, катаясь по земле вокруг дохлой мыши и смеясь уже и над собственным смехом, я вдруг обхватил его ноги, что было столь неожиданно для него, что он рухнул, подмяв меня под себя.

Смех, розыгрыш, поцелуй, наслаждение от нежданной мести – все кончилось, как только он, падая, вцепился обеими руками мне в горло, тут же пропал и след, оставленный на его лице Кристианом, и хотя я обхватил его спину руками, чтобы затем, приподнявшись, можно было резким движением сбросить его с себя, своим смехом я, видимо, вызвал в нем настолько мощный прилив упрямой и непримиримой ненависти, что для того, чтобы справиться

с ним, одолеть его, у меня не было ни достаточных сил, ни сноровки, и тогда, последним проблеском разума, я понял, что вынужден буду прибегнуть к еще более низменным и коварным средствам, но сразу воспользоваться ими мне было стыдно, нужно было еще побороться, проявляя мужество и находчивость, бравируя тем, что, коль скоро мне объявили войну, я готов по-мужски соблюдать ее честные правила, но столкнуть его с себя я не мог, он сжимал мою шею так, что вой ветра стал постепенно стихать во мне и багровым дождем на меня хлынул мрак, его тело стало невыносимо тяжелым, и хотя удушье и во мне породило некоторый приступ злости, это было ничто по сравнению с его яростной, не знающей никаких преград ненавистью, которая, как было заметно уже в момент падения, направлена была не только против меня или моего смеха, и даже не против Кристиана, смертельно его оскорбившего, – эта ненависть была оборотной стороной таких качеств его характера, как безобидность, доброжелательность, терпеливость, внимательность; он хочет меня задушить! расплатиться со мною за то, что вынес от Кристиана, отомстить мне за Майю, дело было нешуточное, он хотел навсегда выдавить из меня мой смех, Майю, Кристиана или похоронить их во мне, он навалился на меня всей тяжестью тела, в чем были и недостатки, и преимущества, действительно, я не мог теперь двинуть его по яйцам, он не давал мне даже пошевелить бедрами или ногами, зато я успел глотнуть воздуха, потому что он вынужден был в этой позе немного ослабить хватку, и в эту щель, показавшуюся мне преимуществом, я и хотел ускользнуть; вырвав голову из его рук, я так крепко боднул его в лоб, что оба черепа затрещали, но сноп искр настолько меня ослепил, что воспользоваться выгодой от своей отчаянной контратаки я был не в силах, мне было больно, я был одурманен и поэтому упустил свой шанс, ибо он, дабы обезопасить себя от таких неожиданностей, сведя локти, ударил меня по лицу, и мне, чтобы защититься, не оставалось ничего другого, как отдернуть, насколько было возможно, голову в сторону, которую он тут же прижал к земле, и тогда я почувствовал, что из носа у меня течет кровь, а приоткрытый рот утыкается в дохлую мышь.

Я не знаю, какое место в уголовной статистике занимают убийства детей, которых убили другие дети, но совершенно уверен в том, что он хотел убить меня, точнее сказать, не хотел, я не думаю, что в этот момент он чего-то хотел, вместо воли, намерений, умысла в нем действовал первобытный боевой инстинкт, и если бы я не чувствовал на губах дохлую мышь, труп которой был уже почти

у меня во рту, если бы унижение, неожиданно превратившее обычную драку в нечто совсем иное, не пробудило во мне ту глубочайшую хитрость души, которая, когда мы терпим явное физическое поражение, все же, готовая ко всему, все еще продолжает искать решение, я уверен, что он убил бы меня – не знаю как, может быть, задушил бы или разбил бы мне голову подвернувшимся под руку камнем, но в этот момент меня занимал вовсе не этот вопрос, меня вообще не занимали тогда никакие вопросы, в тумане борьбы исчезло и растворилось все, что можно назвать контролируемым сознанием, в мгновение ока шутка, игра, детское состязание кто кого превратились в борьбу не на жизнь а на смерть, в пограничную ситуацию, в которой сознание может мобилизовать неведомые ему физические силы именно потому, что отбрасывает за ненадобностью все средства нравственного контроля, все тормоза, не бдит, не взвешивает более, совместимо ли то, что возможно, с тем, что должно, то есть рассматривает возможности организма не с точки зрения общепринятого нравственного порядка, а единственно и исключительно с точки зрения самосохранения, и в этом смысле это момент, когда Бог отворачивается в сторону, момент, открывающий для мемуариста чрезвычайный простор, несмотря на то что память его, поскольку сознание в то время по необходимости было отключено, не сохранила каких-то конкретных решений, звучавших в уме вопросов, ответов, иными словами, мыслей, и может воспроизвести разве только случайные, отпечатавшиеся в душе образы, хаотические чувства, ибо в таком состоянии сознание уже не направлено ни на что, что находится за пределами тела, и, следовательно, больше не имеет воли, и остается лишь голая форма, которую мы не способны осознавать, которая нам не принадлежит, точнее, она нам не позволяет распоряжаться вещами, ибо это она распоряжается нами и нашей судьбой, и, видимо, не случайно поэты с таким восторгом воспевают связь между любовью и смертью, ведь мы никогда и нигде не испытываем так явственно телесной свободы, физического самоопределения, как в борьбе за жизнь или в момент любовного упоения – когда мы воспринимаем тело в первозданном виде, тело без его истории, без создателя, не подчиняющееся силе притяжения, лишенное контуров, не способное и не имеющее желания видеть себя в каких бы то ни было зеркалах, сгустившееся в одну-единственную ослепительную взрывную точку в бесконечности нашей внутренней темноты; вот почему я не хотел бы создавать впечатления, будто в тот момент я сознавал, что я делаю, отнюдь нет, то забавное действие,

свидетельствующее о некоторых изъянах моего характера, я восстанавливаю теперь из осколков случайно отпечатавшихся в памяти ощущений, и, разумеется, когда я упоминаю о каких-то изъянах своего характера, то это есть неизбежное, привнесенное задним числом нравственное суждение мемуариста, что нельзя расценить иначе, как искажение нравственной сути произошедшего, подобно тому как мы задним числом думаем о закончившейся великой войне, облагораживая то, что неблагородно по определению, нравственными понятиями смелости и трусости, чести и предательства, стойкости и малодушия, ибо это единственная возможность как-то вернуть, укротить, приспособить к устоявшейся нравственной скуке мирных будней аморальный период чрезвычайного состояния; если бы я от боли сомкнул сейчас челюсти, то прокусил бы мышью, на чью тушку из моего носа капала кровь, и зрелище это, по-видимому, произвело на него столь странное, отвратительное и в какой-то степени отрезвляющее впечатление, что он на долю секунды заколебался, ослабил хватку, что для меня вовсе не означало реальной возможности вырваться, скорее моя душа получила просвет, достаточный для того, чтобы осознать тотальное поражение тела, нет, в этот краткий момент я не думал о Майе, хотя поражение в борьбе с Кальманом означало бы, среди прочего, что она окончательно для меня потеряна; однако к чему может обратиться, за что может уцепиться взыскующая спасения душа, если не к тому, не за то, что она переживала до этого, – за смех, и мне опять захотелось смеяться, пусть беззвучно, но сильнее и свободней, чем я смеялся до этого, и это вновь вырвавшееся из меня безумное бульканье, смех, издевавшийся над его убийственной злостью, над его силой, победой, заставивший меня вновь почувствовать его кожу, тепло его обнаженного тела, этот смех, может быть, вероломный и отвратительный, побудил меня к совершенно естественному движению – я пощекотал его и, невольно сомкнув от радости зубы, укусил труп мыши, в то время как он, схватив мою голову, стал вбивать ее в землю, но меня это не смущало, потому что предательская душонка отдала ключ к разрешению этой ситуации в мои руки: я продолжал смеяться и щекотать его, я плевался, меня тошнило, мои руки он мог бы сдержать, только скатившись с меня, но для этого ему нужно было отказаться от победы, щекотки он не переносил, он быстро, раза четыре ударил меня головой о землю, я почувствовал, что за ухом в мой череп вонзился острый камень, а потом он взревел, я щекотал его, он орал, да как! крик его поначалу звучал как торжествующий, раззадоривающий

его смертоносную силу, но на пике триумфа он преломился, сквозь него зазвучал какой-то скулящий смех, которому он сопротивлялся всем своим существом, не только кожей, выгнувшимся дугой телом, судорожно напрягшимися мышцами, он пытался сопротивляться даже криком, желая, с одной стороны, напугать меня, а с другой, как-то перебороть, подавить в себе этот неожиданный смех, и когда его тело, уворачиваясь от щекочущих его пальцев, чуть выгнулось надо мной, я смог завершить движение, начатое, но не удавшееся минуту назад: оттолкнувшись бедрами от земли, я перевернул его обессилившее от щеколки тело, он, визжа и скуля, не сопротивлялся, и мы с воплями, смехом, сцепившись и увлекая друг друга, покатались с тропы в кусты, и пока мы катились, собака с лаем скакала над нами, хватая нас лапами и зубами, что окончательно решило исход сражения.

Я бросился бежать, наслаждаясь стихией бега, обдувающим тело ветром, бросился прямо в чащу, он пустился за мной, и я знал, что он не должен догнать меня, ибо, хотя мое бегство было признанием его победы, была в нем и некая сатисфакция, некое выравнивание счета, потому что с нами бежала собака, и это была уже игра, примирение, обоюдное признание ничьей, и тогда, словно молодой самец, поборовшийся с другим зверем за самку, наслаждаясь радостным ощущением спасения, быстротой тела, той ловкостью, с которой оно уворачивалось от несущихся навстречу веток, пластичностью, придававшей бегу чувство свободы, внезапной сменой направления, я действительно вспомнил о Майе, вспомнил, как она бежит, спасаясь от Сидонии, по круто спускающемуся вниз саду, вспомнил, может быть, из-за смеха, из-за внутреннего подобия ситуаций: я ощущал себя Майей, ведь мое поведение в бою было далеко не мужским, а он, тяжело дыша, бежал, чуть ли не наступая мне на пятки, под ногами у нас трещал хворост, по бокам била, свистела, шуршала листва, он не догнал меня, ибо я, давая ему почувствовать свое превосходство, ускорил бег и увеличил разрыв между нами – так мы и добежали с ним до поляны, на дальнем высоком краю которой, под сенью деревьев, они разбили свою палатку.

Когда я резко остановился и повернулся к нему, дожидаясь, пока он догонит меня, он дрожал всем телом, он уже не смеялся, лицо было бледное, что придавало его загорелой коже странный пятнистый вид. Мы, сдерживаясь, тяжело дышали друг другу в лицо, я вытер нос кулаком и удивился, увидев кровь, потом протянул руку за ухо и почувствовал, что по шее тоже стекает кровь,

но я слишком был возбужден, чтобы обращать на это внимание, и видел, что он тоже взволнован, хотя мы смотрели друг другу в глаза с кажущимся безразличием.

Я знал, что он все понимает, еще пока мы бежали, я видел, что он понимает меня точно так же, как я понимаю его.

Вид крови его смутил и даже слегка напугал, но я, обтерев кулак о штаны, дал понять, что сейчас меня это не волнует, так что нечего беспокоиться.

330 Хорошо еще, что они из-за ветра не услышали, как мы выбежали, я махнул Кальману: надо отойти, скорей спрятаться за кустом, и пусть делает что-то с собакой.

Мы молча следили за ними из зарослей.

Собака глядела на нас, не понимая причины внезапной остановки, и я опасался, что она может выдать нас каким-то движением или, может быть, укоризненным лаем.

Между тем замысел мог удался, только если застать их врагсплох.

По высокой траве на поляне пробегали светлые волны.

Если все останется так, как есть.

Кристиан стоял на нижнем краю поляны, держа в руках длинную, покрытую листвой ветку, и сосредоточенно, с присущим ему небрежным изяществом обрабатывал ее большим, с костяной рукояткой ножом, настоящим кинжалом, предметом его особой гордости, доставшимся ему якобы от отца; он обдирал ножом листья, по всей видимости, изготавливая вертел, а неподалеку на дереве сидел Прем и что-то оттуда ему говорил, чего из-за ветра мы не могли слышать.

Что надо принести какие-то доски, что-то вроде того.

Но Кристиан молчал, время от времени он рассеянно поднимал глаза на Према, не реагируя на его слова, чуть отодвигал ветку от себя и легким движением лезвия, направленного на узелки, в которых черешки листьев крепились к ветке, счищал их на землю.

Я только теперь подумал, что никогда прежде не видел их вдвоем, хотя по оброненным словам, легким намекам и случайным замечаниям было件нятно, что они были неразлучны, но сколько бы я ни наблюдал за ними, сколько бы ни ломал себе голову, все вокруг них было окутано тайной, и загадочные их слова были скорее демонстрацией согласованной скрытности; казалось, что были они и был остальной мир, отдельный от них и им совершенно неинтересный, населенный посредственностями и тупицами, и если кто-то все же пытался втереться в их общество, они, словно

два сыгранных футболиста, прекрасно понимающие друг друга, какое-то время вежливо и любезно играли с ним хотя бы ради того, чтобы развеять скуку; их общая жизнь, таким образом, оставалась скрытой, и, возможно, именно это питало их самоуверенность и чувство превосходства, так что можно было подумать, что именно их жизнь является настоящей жизнью, жизнью истинной, о которой мы все мечтаем, но она должна оставаться тайной, ибо они – хранители, стражи этой великолепной жизни.

Я тоже мечтал о ней, был смертельно обижен, хотел, чтобы она, эта жизнь, стала моей или по крайней мере моей тоже, я видел ее в своих фантазиях.

331

Их палатка, стоящая под деревьями, опрокинутое голубое ведро, торчащий вверх черенок воткнутой в землю лопаты, куча дров, заготовленных для вечернего костра, мягко волнующаяся трава и красное пятно одеяла чуть в стороне от палатки – во всем этом, и даже в том, как Кристиан то и дело хватался за спину, отгоняя какую-то назойливую муху, и в том, как сидел на дереве Прем, было столько идиллии и покоя, что все это воспринималось чуть ли не как тайное знамение, хотя, честно сказать, я надеялся разузнать о них и более захватывающие тайны.

Кальман осторожно нагнулся, нашел под ногами камень и быстрым прицельным броском швырнул его так, чтобы все же не угодить в собаку.

Камень ударился о ствол дерева, собака не шелохнулась и наблюдала за Кальманом так, словно поняла его, но, видимо, поняла неправильно, и лениво хлопнула по земле хвостом, как бы с негодованием.

Он зло зашипел на нее, убирайся, домой, пошла отсюда, и, по-прежнему бледный, трясущийся, угрожающе поднял с земли еще один камень.

Собака медленно, неуверенно двинулась с места, однако направилась совсем не туда, куда посылал ее Кальман, а в нашу сторону, но, странное дело, интерес и внимание к нам вдруг угасли в ее глазах, она неожиданно изменила направление, и тщетно Кальман шипел на нее, бесновался, размахивал камнем, собака рысью выбежала из-под деревьев на поляну, мы ошарашенно смотрели ей вслед, иногда она полностью исчезала в траве, рассекая телом плавно бегущие по ней волны, а потом вдруг увидели ее черную спину у ног Кристиана, он взглянул на нее, что-то сказал ей, собака остановилась, позволив ему почесать ее голову кончиком кинжала, и скрылась в лесу.

И то, что Кристиан ничего не заподозрил, даже не посмотрел в нашу сторону, чтобы понять откуда взялась собака, предположив, видимо, что она бродит сама по себе, наполнило нас таким опьяняющим чувством торжества, что Кальман вскинул в воздух кулак и мы, молча ухмыляясь, уставились друг на друга; на бледном его лице эта ухмылка выглядела довольно странно, его по-прежнему колотило, он, казалось, боролся с какой-то силой, взбудораженной его торжествующим жестом, но так и не находящей выхода, или с непонятым недомоганием, от которого его охватил жар, шея была тоже бледной, а кожа на теле, хотя и не побледнела, выглядела какой-то съезжившейся, зябкой, бесцветной, словно по ней бежали мурашки, и из-за этих физических перемен казалось, будто передо мной не Кальман, а какой-то другой, незнакомый мальчишка, чему я, из-за собственного волнения, тогда не придавал значения, ведь для ребенка не существует вещей, которые он не считал бы естественными, которые он не мог бы понять! его бледность, дрожь, потускнелость лишили его знакомых форм добродушия и спокойствия, но от этого он не казался бесформенным, напротив, он выглядел более сильным и, возможно, даже более красивым, да, наверное, правильно будет прибегнуть к такому сравнению: казалось, будто из-под его кожи куда-то девался жирок упитанности, придававший ему благодушный вид, и нервная, напряженная игра его выступающих мускулов являла уже совершенно другое существо, он был красив и уродлив одновременно, лилово-красные соски на разгоряченно подергивающихся грудных мышцах казались неимоверно большими, рот – маленьким, глаза – бесцветными, беззлобность сменилась ожесточенностью, что делало более выразительным и рельефным его анатомический облик, так что можно было задуматься над законами красоты; будь он жив, я с любопытством расспросил бы его о внутренних причинах этой перемены, но, увы, он умер на моих глазах, чуть ли не у меня на руках поздним вечером двадцать третьего октября тысяча девятьсот пятьдесят шестого года, в тот самый вторник, и поэтому мне остается только предполагать, что эмоции, вызванные нашей дракой, его победа и поражение пробудили в нем какие-то непонятные чувства, с которыми, именно из-за их непонятности, его организм не мог ничего поделать; он бросился бежать, я за ним, и если сказать, что идея возникла в моем мозгу, то к этому нужно добавить, что осуществить ее, и как можно скорее, требовало прежде всего его тело; мы бежали, контролируя каждый наш шаг, стараясь не шуметь, с порожденным нашим возбуждением

острым вниманием выискивая, куда бы надежней поставить ногу, и даже делая иногда крюк, лишь бы Прем не заметил нас с дерева.

Так, обогнув поляну, мы взбежали к тому самому месту, к скале, где мы с Кальманом некогда прикоснулись друг к другу и откуда, сидя под огромным кустом боярышника, Сидония подсматривала за дракой Пишты с кондуктором и от волнения стала истекать кровью.

На мой сегодняшний взгляд, конечно, это совсем не скала, а плоский и даже не слишком большой камень, расслаивающийся под воздействием стужи, дождей и пробивающихся сквозь щели растений, и когда я недавно случайно забрел туда, меня поразило, что такие редкие заросли и легко обозримые уголки выбирают иногда наивные дети в качестве безопасных убежищ.

Кристиан, закончив обстригивать ветку, что-то сказал, чего из-за ветра мы не расслышали, и Прем, повиснув на суку и нащупывая болтающимися ступнями ветки, начал спускаться с дерева.

Это был самый что ни на есть подходящий момент, дальше мешать было нельзя.

Я выскочил из засады первым, желая, чтобы Кальман следовал за мной, потому что его порыв сдержать было очень трудно, и если бы я отдал ему первенство, то, возможно, он начал бы все слишком грубо, в то время как мне важен был более тонкий эффект неожиданности.

Прыгая как кузнечики, мы домчались до их палатки, они нас не видели, мы кубарем вкатились в темное нутро палатки, которая оказалась на удивление просторной, плотный тент не пропускал света, под ним можно было стоять во весь рост, но мы с Кальманом ползали на четвереньках, в душной темноте я сразу же уловил притягательный запах Кристиана, единственная узкая полоска света падала сверху, через приоткрытую отдушину, отчего тьма в палатке казалась только гуще; мы ползали, сталкиваясь руками и ногами, тьма и свет ослепляли нас одинаково, мы жадно нащупывали вещи, Кальман, и это мне слышится до сих пор, сопел как животное, однако сколько я ни напрягаю память, другие детали в ней не всплывают, только то, что мы взбудоражено ползали в жаркой темной духоте и пытались что-то нащупать, его затылок в косм луче света и это сопение; например, я не помню, сколько времени это длилось, говорили ли мы что-нибудь друг другу, скорее всего, необходимости в этом не было, я знал, чего хочет Кальман, что он собирается делать, а он знал, чего хочу и что собираюсь делать я, мы знали, зачем мы нащупываем эти безумно драгоценные

вещи, которые в следующее мгновение полетят отсюда ко всем чертям собачьим! и все же каждый из нас, находясь в самом центре той тайной, подлинной, реальной, заговорщической жизни, был одинок, был замкнут в своих страстях; мне помнится, он начал первый, откинул полог палатки, отчего внутри сразу стало светлее, я это отчетливо помню, и только потом послышался звон и дребезг вылетевшего по дуге котелка, мне же под руку попался фонарик, и поначалу мы бросали вещи по одной, выискивая что-нибудь твердое, а еще лучше бьющееся! все падало, грохотало, звенело, билось, а потом было уже не до выбора, у нас не было времени, и мы, озверев, вышвыривали уже все подряд – шмотье, рюкзаки, одеяла, иногда сталкиваясь друг с другом в отчаянной спешке, потому что они уже бежали вверх по поляне к нам, Кристиан размахивал палкой и ножом, а вещей было еще много, и я даже в этом лихорадочном рвении старался, чтобы вещи поделикатнее – как бинокль, будильник, ржавая на ощупь штормовая лампа, вилка, зажигалка, компас – улетали как можно дальше и в разных направлениях.

Мне пришлось на него заорать, я орал во всю глотку, тянул его, надо сматываться! на тугой тент палатки уже сыпались камни, потому что Прем на бегу наклонялся, швырял камень и бежал дальше, проделывая это с дьявольской ловкостью, ничуть не сбавляя при этом скорости, а Кальман был настолько захвачен, так погружен в эту сладкую вакханалию, что ничего не видел и ничего не слышал, и я подумал уже, что придется бросить его, но это было никак невозможно, поэтому я толкал и тянул его, но он будто ослеп, не видел, что они уже рядом, опередив Кристиана, Прем бежал впереди, времени на раздумья не оставалось, нужно было что-то решать, и я, выскользнув из палатки, обогнул ее и, цепляясь за ветви и корни и постоянно оглядываясь, не понимая, чего он мешкает, стал взбираться наверх, чтобы скорее добраться до той чертовой скалы, где можно было укрыться под большим кустом; а Кальман остановился прямо перед палаткой, он, распрямившись, смотрел на них, потом наклонился и, беглым шагом обойдя палатку, вырвал по одному все колышки, более слабые просто поддавая ногой, после чего, уже бегом, бросился за мною.

Палатка рухнула в тот момент, когда они к ней подбежали, и зрелище это так потрясло их, что если до этого они, может быть, и знали, что собираются делать, то теперь, отдуваясь, стояли над ней совершенно беспомощные и растерянные.

Пока Кальман карабкался наверх, сквозь дикое завывание ветра я слышал, как осыпаются у него под ногами и гремят вниз камни.

Их поражение было столь потрясающим, столь бесповоротным, а потери настолько значительными, что они просто не могли шевельнуться, не могли орать, проклинать нас, преследовать, и не только по той причине, что с первого взгляда не осознали масштабов разгрома, но и потому, что любое движение, слово было бы признанием этого полного поражения, они просто не могли найти подходящих жестов и слов, что было для нас полной сатисфакцией; несмотря на наше отступление, мы имели абсолютный перевес над противником, мы были наверху, наблюдая за ними, будто из ложи, невидимые, между тем как они находились на совершенно незащищенной открытой местности; Кальман тут же шмякнулся рядом со мной, чтобы не подставляться, мы лежали не шевелясь, выжидая, победа была за нами, однако ее последствия были непредсказуемы, и поэтому я не могу сказать, что мы так уж наслаждались ею, напротив, мне кажется, будто мы тоже достаточно быстро осознали масштабы содеянного, жуткое зрелище породило во мне догадку, что мы с Кальманом нарушили запрет, преступили черту, и дело было не в вероломстве нашего нападения или внезапном отказе от дружбы, формальные основания к этому у нас были, а в реальном уничтожении реальных вещей, мы не должны были этого делать, после этого уже невозможно было вернуться к обычным играм, здесь должно было случиться еще нечто ужасное, нечто роковое, это уже не игра, уничтожив их вещи, мы навлекли на них непредсказуемое родительское вмешательство, и как ни справедлива была, исходя из нормальных правил игры, наша месть, все же ясно было, что мы их предали, что наша победа не что иное, как подлая измена, которая ставит нас вне закона, ведь мы не только воздали им по заслугам, но и отдали на расправу нашему общему противнику – взрослым, потому что мы знали, к примеру, что Према и так каждый вечер избивает отец, и не просто бьет, а дубасит палкой, лущет ремнем, и если тот падает, пинает его ногами, а, между прочим, будильник, точно так же как штормовая лампа, принадлежали Прему, и, слушая, как она разлетается вдребезги, я знал, что Прем выкрал ее из дома; и все же это была победа, сиюминутными преимуществами которой, несмотря на уколы совести и ужас перед содеянным и возможными последствиями, мы не могли не воспользоваться хотя бы уже потому, что наша победа дала им такое моральное превосходство, которому трудно было противостоять.

Они неподвижно стояли у поверженной палатки, не смотря даже друг на друга; Кристиан сжимал в одной руке палку, в другой – нож, смотревшийся после их поражения скорее смешно,

чем страшно; их лица тоже были совсем неподвижны, и не видно было, чтобы они, обмениваясь тайными знаками, готовили что-то вроде контратаки, они явно смирились с тем, что все кончено, шеи были набычены, а Прем держал руку так, будто все еще сжимал в ней только что брошенный камень, но если все кончено, то что дальше? я не знаю, о чем думал Кальман, но сам я взвешивал шансы немедленного, безусловного и беззвучного отступления, мы должны были как-то выкарабкаться из этой унижительной ситуации, хоть на брюхе, ползком, самым трусливым образом скрыться с поля боя и как можно скорее забыть о нашей победе, но он неожиданно вскочил на колени, сообразив, видимо, на каком замечательном арсенале лежит, подхватил несколько камней и, выглянув из-за куста, стал, не целясь, швырять их.

Первый камень попал Кристиану в плечо, остальные пролетели мимо.

А потом вдруг, как будто их разом, но в противоположных направлениях дернули за ниточки, они пригнулись и побежали, один бросился в сторону леса направо, другой – налево, и исчезли среди деревьев, обступавших поляну.

Разделившись на два фронта, они тем самым запутали нападающих, а сверх того, развеяли нашу иллюзию, будто, потерпев поражение, они не знают теперь, что делать.

И хотя лица их ничего особенного не выражали, у них все же был некий план, то есть их бег был отнюдь не бегством, они о чем-то договорились у нас на глазах, хотя никакого обмена тайными знаками мы не заметили, а значит, была между ними какая-то связь, которую невозможно нарушить.

Скотина, прошипел я, на хуй надо было кидаться, прошипел зло; вообще-то, я никогда не произносил это слово, однако теперь оно доставило мне удовольствие, ибо оно было частью сладкой мести за все.

Но он, продолжая стоять на коленях, с камнями в обеих руках, только пожал плечами, дескать, нечего волноваться; странные пятна бледности исчезли с его лица, его уже не трясло, он был доволен, спокоен, чуть ли не дружелюбен, он взглянул на меня с видом дурацкого превосходства человека, доказавшего свою правоту, рот был расслаблен, из глаз исчез дикий блеск, но в этом умиротворенном добродушии было и некоторое презрение ко мне, взмахом руки он дал мне понять, что эти двое, наверное, попытаются окружить нас и мне сейчас было бы лучше всего не беситься, а развернуться и прикрывать наш тыл.

Я же был на него так зол, так его ненавидел, что готов был наброситься на него или выбить из его рук эти чертовы камни, ведь это он из-за своей глазурированной кринки окончательно сделал меня врагом Кристиана; осыпая его ругательствами, я поднялся на колени, и в этот момент между нами пролетели две черные бабочки, трепещущие их крылья едва не коснулись его груди, порхая вокруг друг друга, они, скользнув мимо моего лица, взмыли ввысь, и я не сказал ему то, что собирался сказать, – что он дубина, тупой мужлан, и вместо этого схватил его за руку, что тоже получилось совсем не так, как мне хотелось, не знаю, что произошло, но я стал умолять его убираться отсюда на фиг, даже назвал его Кальманкой, как звала его только мать, и от этого стал противен себе, я говорил ему, все это глупости, кому это интересно, ну чего ему еще надо, и если он не пойдет, то я уйду один, на что он снова пожал плечами и с безразличным видом освободил из моей руки свою, что означало, что я могу валить куда захочу, его это не колышет.

Я сказал, что мне на него насрать, и сказал это из-за Кристиана.

Собственно говоря, мне хотелось сказать ему, что мы не должны были делать этого, но так быстро забыть о том, что изначально это была моя идея, я не мог, невозможно было загладить один бесчестный поступок другим столь же бесчестным поступком, и потом, он ведь тоже был для меня важен, только не так! я чувствовал это, не так! а кроме того, в момент триумфа невозможно было говорить о тех грязных средствах, которыми он достигнут, так что я промолчал, предпочитая испытывать к себе отвращение.

Но еще большее отвращение я испытал от того, что все же остался и, беспомощно развернувшись, лег на живот и стал наблюдать, не появятся ли они из леса.

В каком-то смысле я был благодарен ему – хотя бы за то, что не дал мне совсем уж унизиться, что мою трусость мы как-то уладим между собой, что он этим даже не воспользовался, во всяком случае не сказал ни слова, хотя прекрасно все понимал, я видел по ехидной усмешке, блеснувшей в его глазах, что он осознал, может быть, осознал впервые, насколько важен мне Кристиан, а до него мне особого дела нет, и все это выразилось в молниеносном косом и стыдливом взгляде.

Солнце жгло нас нещадно, и жар его не мог охладить даже ветер, камень под нами раскалился, между тем ничего не происходило, за исключением разве того, что вокруг нас роились мухи, и мы уж решили, что все так и кончится, что они не появятся, хотя в принципе они могли выскочить из лесной чащи в любой момент,

ибо ясно же, что они этого просто так не оставят; и я был готов к тому, чтобы завопить: идут! – хотя была у меня в голове и другая мысль: не говорить ему об их появлении, пусть делают с нами все что хотят! трещащие от порывов ветра сучья, стонущие деревья, склоняющиеся вниз, в стороны и откачивающиеся назад кроны, распахивающиеся и смыкающиеся просветы в кустах, беспорядочные всполохи света, пробегающие по тени, – все говорило о том, что случиться это может в любой момент, и поэтому мне казалось, я слышу уже их шаги, хруст валежника, вижу их напряженные лица, выглядывающие из листвы, их тела, мелькающие за деревьями, но ничего подобного не происходило, и как бы мне ни хотелось, пусть даже ценой предательства, вернуть Кристиана, они все не появлялись, так что мне оставалось только лежать на стреме на раскаленном камне из-за каких-то неписанных идиотских правил чести, торчать в этом капкане рядом с Кальманом, до которого мне нет никакого дела; чтобы отвлечься, я стал выкладывать перед собой камни, аккуратным рядком, как бы доказывая сам себе, что я к бою готов, пусть будут под рукой в случае необходимости, но потом и это мне надоело, делать было нечего, иногда Кальман слегка шевелился и моя босая нога касалась его плеча; я отодвигал ее, ибо ощущение чужого теплого тела было мне неприятно.

К тому же было не исключено, что вернутся они не одни, а с подмогой, один из них, вероятно, остался следить за нами, а другой помчался за подкреплением, и все же из головы у меня не выходил нож Кристиана, с которым он подкрадется сзади и нанесет удар, отчего я еще сильнее ощущал спиной жар палящего солнца, который не могли охладить дуновения ветра.

Было около полудня, хотя колокол близлежащей церкви, оглашавший обычно своим густым звоном весь лес, еще не звонил; солнце, казалось, стояло прямо над нашими головами, и если бы не было сильного ветра, мы едва ли смогли бы вытерпеть целый час тщетного ожидания; за все это время я лишь дважды спросил у него, не видит ли он чего-нибудь, потому что я ничего особенного не видел, на что он ни разу мне не ответил, и это его упорное молчание дало мне понять, что наши тела, распластавшиеся рядом на камне, удерживает в плену одна и та же отчаянная сила – с одной стороны, наш страх как-то сдерживал нашу ярость, а с другой стороны, острие необузданной ярости слепо тыкалось в размытое поле страха, но при этом все эти заторможенные и все же свободно растекающиеся эмоции были направлены уже не на них, а на нас самих, это был не обычный страх, не боязнь того,

что они приведут с собой подкрепление, возьмут нас в кольцо, избыют, мы вынуждены будем сдаться, ведь было ясно и так, что в любом случае особых шансов у нас не было, а отсутствие шансов, как это известно, обычно снижает страхи, однако проблема заключалась в том, что за время, прошедшее в неопределенности, мы сами лишили себя преимущества, его уничтожили наши взаимные чувства, ибо такова судьба победителей, совершающих то, что в принципе должен был сделать противник; мы разговаривали телами, разговаривали молчанием, разговаривали кожей, но разговаривали мы о катастрофе, ибо в течение этого часа, проведенного нами в полной неопределенности, нам стало ясно, что наша победа не только сомнительна в нравственном отношении, но и неприемлема в самом обычном практическом смысле; мы не могли найти взаимопонимания, воспринимая ее по-разному, и постепенно стали осознавать пределы нашей дружбы, стали понимать, что без тех двоих наш временный союз просто не имеет смысла, да, мы могли восстать против них, могли на короткое время, пока мы действовали, ощутить почти такую же тесную связь друг с другом, какая была у них, но все-таки наш союз не выдержал нашей победы, не смог сохранить ее; в нем не хватало той самой тайны, он был непрочен, был в лучшем случае союзом заговорщиков, лишенным той самой гармонии взаимосвязи и дополнения, из-за которой мы на них и напали, которой я завидовал, которая меня раздражала, которая казалась мне неприступной крепостью, магическим притяжением которой, именно так, я не боюсь этих слов, магическим притяжением этой гармонии они не только включали нас в свою дружбу, но и господствовали над нами, что было хорошо и правильно, но мы это растеряли, испортили, погубили, не их! а самих себя; у Кальмана рядом с ними была своя роль, его спокойствие дополняло их бойкость, его ленивая мудрость уравнивала их находчивость, его добродушие смягчало их беспощадный юмор, я же был связан с ними лишь косвенно, через дружбу с Кальманом, как сторонний наблюдатель их троицы, собственного пути у меня к ним не было, и все же им нужен был кто-то, стоящий в сторонке и подтверждающий, укрепляющий их сплоченность, их иерархию, на вершине которой, конечно, стоял Кристиан с его неотразимым обаянием и умом, и все это следовало принять, восставать против этого было бессмысленно, это жило в нас, было нашей жизнью, и даже страдания, которые я из-за этого испытывал, по-видимому, были нужны мне, ибо без них не сложилось бы и такой жизни; и это я понял сразу, в первый момент, понял, какой потерей

грозит мне наша победа, что вместе с моими мучениями я потеряю и все хорошее, но до Кальмана, видимо, это дошло не сразу, я только теперь стал чувствовать, что тело его стало посылать сигналы, что все это лишнее, что мы совершенно бессмысленно здесь лежим, бессмысленно ждем чего-то, бессмысленно пытаемся защитить нашу честь, и даже если бы нам удалось победить их, что было практически невозможно, то и тогда нарушенный нами миропорядок не смог бы восстановиться, а другого миропорядка нет, есть только хаос.

Смотри, вдруг сказал он тихо, задохнувшись от изумления, и хотя я ждал чего-то подобного, такого вот возгласа, он прозвучал слишком неожиданно, как неожиданным и внезапным в пустыне бесконечного ожидания может показаться движение мельчайшей песчинки, я вскинул голову, но голос его был не тем, боевым, а прежним, обычным, с нотками удивления, даже радости, как будто он, пребывая в спокойном созерцании, вдруг наконец обнаружил то, что рассчитывал обнаружить, как это бывало, когда в наших лесных блужданиях он замечал выпавшего из гнезда птенца, или мохнатую гусеницу, или шныряющего в палой листве ежа; мне пришлось сесть, чтобы увидеть то, что так его изумило.

Внизу, там, где под прикрытием двух больших кустов бузины на поляну выходила тропинка, что, петляя, поднималась сюда от улицы, там, в просветах трепещущей на ветру листвы что-то мелькало – что-то белое, красное, обнаженные руки, светлые волосы, мелькало все выше и ближе, и вот они вынырнули из-за кустов: трое девочек.

Не останавливаясь, они продолжали взбираться по отлогой поляне, держась рядом, даже чуть прикрывая друг друга, наверняка по узкой тропинке они поднимались гуськом, и теперь, выйдя на простор, сбились в кучку; они были все в движении, раскачивались, оглядывались, болтали, всплескивали руками, хихикали, Хеди держала в руке букетик цветов, она любила их собирать, и теперь, чуть прогнувшись назад, размахивала цветами перед носом шагающей за ней Ливии, щекотала и легонько похлопывала ее по лицу, она была в белом платье; Майя, наклонившись к ней, что-то шепнула ей на ухо, но, видимо, так, чтобы слышно было и Ливии, одетой в красную юбку; та, рассмеявшись, выпрыгнула вперед и, словно желая увлечь их своей инерцией, схватила за руку Майю, в свою очередь, Хеди взяла руку Ливии и махнула букетом в сторону Майи; так они и остались втроем, рука об руку, медленно продвигаясь вперед почти вплотную друг к другу, Хеди, посереде-

не Ливия, Майя, полностью поглощенные самими собой, и в то же время обмениваясь словами по каким-то нам не понятным правилам, чуть покачиваясь в такт перебрасываемым друг другу словам, сближаясь и отдаляясь лицами, шеями и двигаясь одновременно порывисто и с неторопливым достоинством в высокой, бурно волнующейся и раскачивающейся на ветру траве.

В самом этом зрелище не было ничего необычного, они часто ходили так, взявшись за руки или под руку, как не было ничего необычного и в том, что на Хеди было белое платье Майи, а на Майе – темно-синее шелковое платье Хеди, хотя из-за разницы в их комплекции платья не совсем подходили им, Хеди была выше ростом и чуть полнее, «она крепче в груди», как они говорили между собой, используя взятый из лексикона портных снисходительный эвфемизм; я же при этом всегда наострял уши, желая понять, не о том ли состязании идет речь, которое принято между нами, мальчишками, но их занимало в первую очередь не различие в размере груди, а какие-то выточки, которые они обсуждали с такой серьезностью, где подтянуть, заколоть, наметать, что совершенно рассеяли мои не столь уж безосновательные подозрения; как бы то ни было, платья Майи «невыгодно» ужимали грудь Хеди, но казалось, что именно эта не полная их соразмерность и вызываемая ею необходимость постоянно обсуждать индивидуальные различия телесных форм делали их вечный обмен туалетами еще более соблазнительным; только Ливия никогда не менялась с ними, и они, с должной чувствительностью отдавая дань ее гордости, примеряли ее наряды, но никогда не настаивали на обмене, да и гардероб ее был более чем скромным, хотя каждый его предмет они находили «очаровательным» и, со своей стороны, чуть ли не наперебой одаживали ей платочки, браслеты, клипсы, пояса, ленточки и кулоны, которые могли бы, как они выражались, придать Ливии «стильности» и которые та со счастливой застенчивостью принимала, вот и теперь на ней было то самое красное коралловое ожерелье, которое Майя всегда умыкала из шкатулки матери, когда надевала белое платье; помимо всех этих странностей, обеих девчонок, казалось, ничуть не смущало то обстоятельство, что обмен нарядами был неравноценным, в выигрыше оказывалась Майя, потому что более свободные платья Хеди обычно сидели на ней изумительно, во всяком случае, в наших глазах она становилась более зрелой, неуклюжесть ее долговязых членов скрадывалась обилием ткани, она делалась настоящей дамой, и даже складывалось впечатление, будто их снисходительное безразличие к неравнозначности

этих обменов компенсировало реальное, настоящее, побуждающее их к ревнивому соперничеству различие, то различие, от которого так страдала Майя, а именно то, что красавицей из них двоих была Хеди, точнее, она была той девчонкой, которую все и всегда называют красивой, в которую все влюблены, и когда они шли вдвоем, то все обращали внимание только на нее, и даже солидные взрослые мужчины шептали ей в спину всякие непристойности, а оказавшись рядом с ней в темном зале кино или в набитом битком трамвае, даже когда Кристиан был с ней, пытались пощупать ее, отчего она плакала и стыдилась и тщетно пыталась горбиться, чтобы как-то прикрыть, защитить руками груди, ну а женщины были от нее без ума и в особенности нахваливали ее волосы, прикасаясь к ним, будто к редкостной драгоценности, или жадно запуская в них руки, словом, Хеди с ее мягкими светлыми волосами, ниспадающими волнами на плечи, с ее гладким высоким лбом, полными щечками и огромными, чуть навывкате голубыми глазами была «всех красивей», что настолько травмировало Майю, что именно она всегда первой заговаривала о красоте Хеди, подчеркивала, громче всех превозносила и восхваляла ее, будто гордилась ею, а может, надеялась, что ее преувеличения не останутся незамеченными; глазам Хеди особенный блеск и очарование придавали длинные иссиня-черные ресницы и такие же черные брови, густоту и изгиб которых она меняла по собственному усмотрению, выщипывая маленьким пинцетиком лишние, по ее мнению, волоски, операция эта весьма тонкая, однажды я наблюдал ее: оттянув двумя пальцами кожу над глазом, она захватывала волоски под корень и выдергивала их, при этом время от времени поглядывая на меня в зеркало, объясняла, что брови сейчас в моде тонкие и есть женщины, «как эта выдра, повариха из школьной столовой», которые их выщипывают целиком и рисуют себе новые брови карандашом, однако по-настоящему модная женщина не должна слепо следовать моде, ей нужно найти баланс между своими данными и господствующей тенденцией; взять хотя бы, к примеру, Майю, которая иногда совершает ошибку, надевая что-то очень модное, но совершенно ей не идущее, и когда ей на это указывают, она обижается как ребенок, хотя уж кому-кому, а ей бы не помешало прореживать брови, но она думает, будто это больно, хотя это вовсе не так, и ей с такими жутко густыми бровями следовало бы делать эпиляцию фитосмолой, это самый щадящий способ, она делает так с ногами, иначе они выглядели бы просто кошмарно, а что касается бровей, то она могла бы сделать их еще тоньше, но тогда

ее нос выглядел бы слишком большим, так что от этого она потеряла бы больше, чем выиграла; ее нос был, пожалуй, действительно чуть великоват, тонкий, слегка изогнутый, «подарок отца», как она как-то высказалась, и это единственная еврейская черта на ее лице, и если б не нос, она могла бы сойти даже за немку, добавила она со смехом; отца своего она никогда не видела, точнее, не помнила, точно так же, как Кристиан, его «депортировали», и это слово произвело на меня столь же глубокое впечатление, как и слово «погиб», которое Кристиан произнес как-то о своем отце; кстати, мне очень нравилось проводить по ее носу пальцем, потому что тогда мне казалось, будто я прикасаюсь к чему-то еврейскому; но этот мелкий изъян, если можно назвать изъяном неправильность, бывшую органичной частью ее красоты, полностью компенсировался цветом кожи, который делал ее красоту совершенной, и был он не белый, как обычно у голубоглазых блондинок, а с оттенком хорошо пропеченной булки, и именно этот нежнейший цвет делал гармоничными контрастирующие черты лица, я уж не говорю о ее округлых плечах, крепких и стройных ногах, мягко и пружинисто касавшихся земли, о ее тонкой талии и женственных бедрах, из-за которых однажды ей записали в дневник замечание, что якобы она вызывающе ими раскачивала, после чего тетушка Хювеш примчалась в школу и стала орать в учительской, что вместо того чтобы строчить пошлые замечания, лучше бы обуздали свои грязные фантазии, и что «таких педагогов надо гнать из школы»; словом, все это совершенство не просто выделяло ее среди нас, а наделяло несравненной и вызывающей красотой, от которой она с удовольствием временами освобождалась, меняясь одеждой с Майей, тем более что у последней платья были богаче и интересней.

Они шли от Майи и направлялись к Ливии или к Хеди, а этот маршрут выбрали для того, чтобы срезать путь или дать Хеди возможность пособирать цветы; она же была девчонкой достаточной напористой и самовлюбленной, чтобы демонстрировать, как ей идет это увлечение цветами, или игра на виолончели, или всяческие изысканные красивые вещи, которыми была полна ее комната, вроде маленьких кружечек и стаканчиков, вазочек, в которые она каждый день помещала цветы, и подолгу хранила увядшие уже букетики, и вечно жевала, вертела в зубах какие-нибудь травинки, цветочки, листики, и никогда не загибала углы страниц в книгах, не пользовалась закладками, а вкладывала меж страниц какой-нибудь цветок или пожелтевший осенний лист, и если вы брали у нее займы книгу,

то при неосторожном движении из нее мог выпасть целый гербарий, а еще она училась играть на виолончели и довольно искусно владела этим чрезвычайно громоздким инструментом.

Она играла на нем на школьных вечерах, а однажды попросила меня проводить ее в город, где ей предстояло выступить на каком-то еврейском празднике, и ей не хотелось ехать одной, ведь возвращаться нужно было довольно поздно, инструмент был весьма дорогой, а кроме того, еще приставания наглых мужчин; вообще-то они с матерью жили в городе, на улице Доб, что неподалеку от синагоги, в старом сумрачном доме, где в первом этаже размещалось общежитие для рабочих, которые мылись из тазов прямо во дворе; но мать, которую я до этого никогда не видел, отдала Хеди на проживание тетушке Хювеш, отчасти потому, что в Буде был свежий воздух, а Хеди якобы страдала легкими, а кроме того, у тетушки Хювеш был большой огород, она держала животных, так что кошт у нее был побогаче, но Хеди рассказывала, что это только предлог, а настоящей причиной того, что ее «отдали на сторону», был любовник матери, некий Режэ Новак-Шторц, и Хеди «терпеть не может этого типа из-за его слащавых манер»; ее матери мы не застали, в дверях торчала записочка о том, что увидятся они на концерте, а также о том, какое платье Хеди должна надеть; вероятно, я вспомнил об этой детали потому, что Хеди в тот день надела то самое темно-синее шелковое платье, которое сейчас, на поляне, было на Майе, и у матери Хеди именно к этому платью были какие-то претензии; мы стояли у двери квартиры на обшарпанной галерее внутреннего двора, и мне подумалось: так это отсюда уволокли в гетто ее отца, я представил себе кошмарную сцену, как здоровые бугаи, будто какой-то диван или шкаф, тащат живое тело вниз по лестнице, а вокруг сверкали медные ручки дверей, таблички с фамилиями и старинные изящные медные кнопки звонков, на потемневшей, кое-где закопченной штукатурке – следы осколков, грубо заляпанных проломов и переделок и беглых автоматных очередей, стояла осень, было еще тепло, с крыш покато скользили вялые солнечные лучи, а внизу, раздевшись до пояса, плескались в воде и брызгались полуголые работяги, оглашая своими воплями уставленный кадками с олеандрами двор, где-то рядом сбивали крем, из другого окна было слышно радио, пел хор; зажав черный футляр огромной виолончели между коленями, Хеди читала записку матери с таким видом, будто в ней содержались какие-то ужасные новости, прочла ее несколько раз, с недоверием, и слегка побледнела, я спросил, что в записке, и даже попытался заглянуть в нее, но она отвела ее в сторону и со вздохом сунула руку под коврик: ключ был там.

В просторной квартире – темно и прохладно, белые двери все распахнуты настежь, Хеди тут же юркнула в туалет; мертвая тишина, окна, что выходили на улицу, затворены, по бокам, поверх задернутых кружевных занавесей – собранные подхватами бордовые бархатные портьеры с грузно свисающими кистями; все в квартире казалось каким-то многослойно загроможденным, мягким и топким: темных тонов ковры на серебристых обоях, картины поверх ковров в золоченых рамах, пейзажи, натюрморты и обнаженная женщина, освещенная багровым светом пылающего на заднем плане костра; на полу поверх ковров постелены были полотняные дорожки с красной каймой по краям, а цветастые чехлы на глубоких креслах и на стульях с прямыми высокими спинками покрыты еще кружевными салфетками; в большой комнате, где я стоял, дожидаясь Хеди, сверху, словно мумия какого-то раздувшегося монстра, свисала люстра в белом защитном чехле, завязанном под потолком, и все вокруг было безупречно чистым, с неприятной симметрией расставленным по своим местам, до блеска надраенным, сверкающим, будь то стекло, бронза, серебро, фарфор, зеркала, и нигде, так во всяком случае виделось мне в полумраке, ни одной пылинки.

Она долго не появлялась, никаких струящихся звуков из туалета не доносилось, но потом все же раздался стук, и она спустила воду; я понял, что ей нужно было не помочиться, а немножко поплакать, и в комнату она вошла с таким видом, будто окончательно что-то решила для себя, что-то безотлагательно важное, «это гостиная», сказала она и еще раз вытерла напоследок глаза, они были заплаканные, но слез уже не было, «а там моя комната», сказала она, боль ее, по-видимому, была такова, что ей хотелось как можно быстрее забыть о ней, но как она ни старалась мне улыбаться, я чувствовал, что она не хотела, чтобы я это видел, и предпочла бы, чтобы меня здесь не было.

В этой квартире она вела себя как-то необычно тихо и больше не говорила со мной, а открыв огромный черный футляр, достала из него инструмент, села с ним у окна и, подтягивая и ощупывая струны и канифоля смычок, долго настраивала его; я тем временем смог обойти квартиру: из каждой комнаты открывалась следующая, и мне нетрудно было представить себе, как однажды кого-то «уволокли» отсюда; гораздо труднее было представить, что каждую ночь в полностью затемненной, выходящей во двор спальне этот самый Режэ Новак-Шторц делает с матерью Хеди нечто такое, что «действует ей на нервы».

Я вернулся в гостиную, как только она начала играть, извлекая из струн долгие, мягкие, протяжные и глубокие звуки, мне нравилось наблюдать за ее сосредоточенным напряженным лицом, за движением пальцев по длинному грифу, за тем, как, быстро прижав струну, она заставляла ее долго вибрировать, чему отвечали жалобные короткие, быстро умирающие звуки, все более высокие, после чего, быстро меняя позиции, словно бы сопрягая оба регистра, извлекая одновременно басовые и теноровые, короткие и длинные звуки, нужно было начать мелодию и развернуть тему, но Хеди, несколько раз сфальшивив, раздраженно опустила смычок.

Демонстративное раздражение, разумеется, было адресовано мне, и все же она делала вид, будто меня нет в комнате.

Она поднялась и, прислонив виолончель к спинке стула, направилась в свою комнату, но потом, передумав, вернулась и, взяв инструмент за гриф, легко подняла его, аккуратно уложила в футляр, положила на место смычок, канифоль, после чего закрыла футляр и молча остановилась посреди комнаты.

Я тоже почему-то молчал, наблюдая за ней.

Сегодня будет провал, сказала она, и нечего удивляться, что ей не удастся сосредоточиться, ведь мало того, что ее мать повсюду таскает за собой этого козла, эту мерзкую тварь, тихо сказала она с такой ненавистью, что ее затрясло, хотя знает ведь, прекрасно знает, что каждая встреча с ним доводит ее до безумия, по крайней мере могла бы ее пощадить и не приводить его на ее выступления, потому что это смертельно ее нервирует; мне все это казалось на удивление странным, я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь говорил с такой нескрываемой ненавистью о собственной матери, и я испытывал настолько глубокий стыд, что хотелось остановить ее, не надо так говорить, мне казалось, что тем самым она вовлекает меня в нечто запретное, и, дескать, она не выдерживает, не выдерживает, когда эта тварь сидит в зале и пялит на нее глаза! но ей и этого недостаточно, сказала она и расхохоталась, она еще смеет указывать, что ей надеть, ну конечно, белую блузку, моя милая Хеди, свою белую блузочку с замечательной темно-синей юбочкой, потому что ей надо, чтобы она выглядела смешной уродиной! да она их уже два года не носит, потому что давно из них выросла, но та старается этого не замечать, потому что надеется, что тогда этот слюнявый козел не будет тарашиться на нее!

Она в ярости развязала пояс и стала расстегивать пуговицы на платье; пуговички были мелкие и, как поясок, тоже красные, и когда она расстегнулась до пояса, а я видел при этом, пока она

с ними возилась, как выглядывала из-под рук ее голая кожа, то мне захотелось отвернуться, ведь понятно было, что она раздевалась не для меня, она просто снимала платье, однако Хеди одним движением выскользнула из него и застыла передо мной в полумраке, в трусиках и белых сандалиях, чуть растрепанная, с вывернутым платьем в руках.

И тихо сказала, чтобы я не боялся, она уже показывала это и Кристиану, а дальше мы оба стояли молча, и я не запомнил, как растаяло разделявшее нас расстояние, мне просто хотелось к ней прикоснуться, я не назвал бы ее в этот момент красивой, потому что в сандалиях и с платьем, свисающим из руки, она выглядела скорей неуклюжей, и только груди, ее груди были спокойны и своими сосками смотрели в упор на меня; что было дальше, я точно не помню, она ли двинулась мне навстречу, или я шагнул в ее сторону, или мы сделали это одновременно, мне запомнилось только, что она, как бы чувствуя эту почти забавную девчоночью неуклюжесть и желая, наверное, показаться мне более смелой и беззастенчивой, нарочно уронила платье на пол и обеими руками обхватила меня за шею, так чтобы я все-таки не видел того, что она решила открыть мне, и лицо мое окутал прохладный аромат ее кожи и пота, я невольным движением тоже обнял ее, хотя прежде всего мне хотелось коснуться ее груди, и вся ситуация, возможно, могла показаться смешной, ибо она была почти на голову выше меня, только я ни о чем подобном тогда не мог думать, настолько мне было больно переживать, что пальцы мои не могут коснуться того, чего мне так хочется.

Я ощущал не прикосновения ее рук или кожи, я ощущал ее грудь; она быстро и нежно поцеловала меня в ухо и рассмеялась, сказав, что если б не Кристиан, то она бы отбила меня у Ливии, но мне тогда было интересно не это, а ее плоть, ее груди, их, не знаю, как и сказать, то ли мягкое, то ли жесткое касание, во всяком случае она старалась не слишком ко мне прижиматься, так, чтобы между нами оставалась лишь общая нежность плоти; а потом, снова рассмеявшись, отпустила меня и, оставив на полу платье, направилась, унося с собой свои груди, в другую комнату, где скрипнула дверцей платяного шкафа, как будто ничего ровным счетом не произошло.

И когда Майя шептала мне на ухо, что она давно знает, что я люблю только Хеди, то я не протестовал, не пытался ее уверить, что люблю лишь ее, то есть Майю, как не сказал и того, что не люблю ни ее, ни Хеди, а исключительно только Ливию, – не сказал потому, что хотел, чтобы Хеди все же отбила меня у них.

Они дошли примерно до середины поляны, когда все трое, несколько ошарашенно оглядываясь по сторонам, вдруг замерли, только теперь поняв, что здесь произошло или происходит нечто странное, нечто необычное, нечто опасное, к чему они не знают, как отнестись, и когда я сел и заметил их, то сперва мне подумалось, что их направил сюда Кристиан, и это был его трюк, капкан, но их абсолютно невинный вид показывал, что они оказались здесь совершенно случайно, и при всем моем изумлении этой случайностью невозможно было не любоваться их красотой, завораживающей красотой того, как они, все трое, но все по-разному, прислушивались и вглядывались в трех разных направлениях, теряя при этом всю свою веселость и все крепче сжимая друг другу руки.

Кстати сказать, все эти их взаимные нежности, то, как они прикасались друг к другу, держались за руки, преследовали друг друга, эти их постоянные физические контакты, их совершенно невинные поцелуи, этот их обмен платьями, когда одна уступает другой, казалось бы, самое себя или некую весьма важную часть себя, то, как они причесывали друг другу волосы, накручивали на бигуди, завивали щипцами, делали маникюр, то, как одна, когда было плохо, могла уронить голову на плечо, на колени, на грудь другой и реветь самым беззастенчивым образом или делиться счастьем, обнимая другую всем своим телом, – все это будило во мне схожее с завистью, но более острое чувство, которое в лучшем случае я мог скрывать, но, несмотря на его постыдность, не мог подавить в себе; хотя, разумеется, я старался, ибо не мог не видеть, что отец постоянно следит за мной, замечает и пресекает любой мой так называемый девчоночий жест, я не знаю, возможно, у него были и свои опасения, во всяком случае, когда я подмечал их, а не заметить их было невозможно, то достаточно было одного неосторожного движения, чтобы наполнить меня до краев желанием, чем, видимо, и объясняется то, что я так хотел быть девчонкой и даже нередко воображал себя в этой роли; мне хотелось иметь какую-то однозначную законную основу для подобного рода безнаказанных прикосновений, хоть я и чувствовал, что в этой их раскрепощенности было гораздо больше всяких волнений, страхов, скованности, привычки, заученности, чем мне хотелось бы думать, и когда мозги мои были не совсем затуманены тоской по такой же свободе физического общения, я, естественно, видел, что в их постоянных телесных контактах проявлялось, пусть в несколько иных формах, то же соперничество, что почти параллельно существовало и между нами, мальчишками, даже если взаимные прикосновения для

нас были запретны; точнее сказать, для них нужно было искать утомительные, сложные и, в сущности, унижительные обходные пути, придумывать разные трюки, чтобы, перехитрив другого, все-таки получить возможность поделиться с ним самыми элементарными чувствами; например, я, испытывая черную зависть, всегда замечал то глубокое влечение, которое постоянно вызывало у Кристиана желание драться с Кальманом, точно так же как видел и своеобразную мальчишескую форму этих драк – девчонки так никогда не дрались, они, если уж дело доходило до драки, дрались непременно серьезно, с визгом таская друг друга за волосы, царапаясь и кусаясь, в то время как между нами эта непредставимая для них игра завязывалась всегда без каких-либо явных поводов, просто по той причине, что нам хотелось прикоснуться друг к другу, схватить, почувствовать, завладеть желанным телом, но это желание могло быть легализовано только в этих игровых драках, ибо если бы мы проявили его открыто, если бы, как девчонки, обнимались и целовались друг с другом, если бы не маскировали истинную цель этого соперничества, то нас просто сочли бы педиками, и поэтому я, да и все остальные очень четко следили за тем, чтобы не преступить грань дозволенного, хотя точного значения этого слова мы не знали, слово было таким же мифическим, как всяческие ругательства и проклятия, пожелания другому чего-то запретного, как, скажем, «отсоси у меня» или, скажем, «выеби маму», потому что этого делать нельзя, это табу; для меня, впрочем, слово это означало запрет на вполне нормальное чувство, и смысл этого запрета более или менее прояснило однажды оброненное Премом замечание, которое он, в свою очередь, услышал от своего брата, бывшего старше него на шесть лет и потому считавшегося серьезным авторитетом, так вот, мнение последнего состояло в том, что, «если один мужик даст отсосать другому, он больше не сможет трахаться с женщинами», и это в дальнейших комментариях или объяснениях не нуждалось, потому что понятно ведь, что всякое пидарство, гомосексуальность угрожает мужественности, как раз тому, к чему мы все так стремимся, а с другой стороны, все это было само по себе за пределами детского воображения и относилось скорее к разряду тех пошлых и гнусных вещей, которыми занимаются взрослые, что, естественно, меня вовсе не привлекало, и все-таки это слово не могло погасить во мне и в лучшем случае разве что сдерживало ту живую страсть, которую мы пытались закамуфлировать невинностью наших мальчишеских драк, между нами, мальчишками, эта страсть постоянно рвалась наружу,

достаточно было увидеть, как, например, Кристиан, подкравшись к Кальману сзади, обхватывал его и валил на землю, или то, как они под партой хватали друг друга за руки, что было излюбленным их развлечением, и сжимали, давили, сгибали их, причем правило заключалось в том, что рука не должна была показаться над партой, а локоть нельзя было опереть о бедро, словом, одна рука должна была одолеть другую в воздухе, и они, багровея и скалясь, в поисках точки опоры упирались друг в друга коленями, и при этом, в отличие от серьезных драк, предметом их страсти была в этом случае не победа, а любовование силой, гибкостью и ловкостью соперника, наслаждение превосходством однополого равенства, и целью, которую эта страсть преследовала, было само это нежное столкновение двух сил; точно так же некоторую неприятную и смущавшую меня фальшь или лукавство можно было заметить и в нежных контактах девчонок, правда, все это было несколько скрыто и завуалировано, но когда они шли под ручку, хохотали, сплетничали, перешептывались, хихикали, одевали, утешали, поддразнивали или ласкали друг друга, я не мог избавиться от ощущения, что эти прямые физические контакты допустимы лишь потому, что являются только некоей внешней оболочкой их отношений, дружбы, союза, своего рода вынужденной маскировкой наподобие наших потешных драк, и казалось, что они не выражают ими истинные свои чувства, а скорее скрывают с их помощью некий тайный заговор или даже смертельную вражду; для меня это стало особенно очевидным после того, как Хеди случайно заметила в школьном спортзале, как мы переглядывались с Ливией, и, конечно же, позаботилась о том, чтобы все узнали: мы с Ливией влюблены друг в друга, чем не только ославила Ливию, но и отдала ее в мою власть, она растрезвонила, что Ливия из-за любви ко мне упала в обморок, то есть тем самым предала ее в мои руки, однако, что интересно, это не только не побудило Майю к ревности, но, напротив, вызвало в ней величайший энтузиазм, и теперь она всячески пыталась устроить так, чтобы мы с Ливией могли остаться наедине, а в то же время своим нежным вниманием и материнской озабоченностью они все же удерживали Ливию при себе, их одобрение было ловушкой, их заботы – капканом, более того, под прикрытием одобрения и внимания обе коварно стремились к тому, чтобы завязать более доверительные отношения со мной, словно бы зная заранее, что это будет только путать меня, словно бы это запутывание и было их целью, они хотели помочь мне сблизиться с Ливией, но так, чтобы я не имел возможности выбрать кого-то

из них троих! чтобы Ливия была моей лишь настолько, насколько они позволят; против чего она не протестовала, ибо тайный союз, направленный против меня, как и весь этот заговор, как тесные связи их троицы, для Ливии были важнее, чем я, или, сказать точнее, она, как и ее подруги, не могла допустить, чтобы их тайный союз превратился в безумное соперничество, чтобы открытая вражда повернула их друг против друга, словом, все должно было оставаться как есть, то есть неоднозначным и неопределенным.

На поляне первой пришла в себя Ливия; отпустив их руки, она нагнулась и с изумлением подняла из травы изуродованный будильник, при этом что-то сказала, показывая его, возможно, смеялась над тем, что он еще тикает; в тот момент странным образом она казалось самой смелой из них, но ее подруги не обращали на нее внимания, она же, вытаскивая пальчиками острые осколки стекла, покрывавшего циферблат, по одному бросала их наземь и страшно чему-то радовалась, а потом, словно корону, возложив будильник себе на голову, балансируя, величественной поступью, как человек, прекрасно знающий, что он делает, двинулась дальше.

Две другие, более рассудительные, в нерешительности остановились, одна, отклонившись, посмотрела направо, другая – налево, и только когда Ливия ловким движением набросила себе на плечи красное одеяло, они, словно то был какой-то знак, стронулись наконец с места.

Они побежали за нею, Майя хотела набросить на себя подхваченную на бегу белую простыню, но между ними завязалась какая-то ссора, простыню хотела заполучить Хеди, они вырывали ее друг у друга, Хеди, видимо, полагала, что она больше подходит к ее, взятому напрокат у Майи, белому платью, однако проблема была решена между ними с удивительной быстротой, из чего стало ясно, что спор шел не просто из-за простыни, не из-за того, кому она все же достанется, а из-за того, как сложится в этой ситуации их иерархия; простыней завладела Хеди, которая в силу своей красоты, как всегда, захватила первенство, и Майе оставалось только молча ненавидеть ее; из простыни получилось что-то вроде шлейфа поверх белого платья, который Майя помогла ей заправить за красный пояс, так что королевой осталась Ливия, Хеди была кем-то вроде придворной дамы, а Майя – презренной служанкой, которая, разумеется, слишком неловко подхватила шлейф, за что тут же получила пинка, который окончательно поставил ее на место.

И все это они проделали быстро и слаженно, но ничуть не серьезно, действуя так, будто они играют, однако все это было

ничуть не смешно, потому что, с одной стороны, они явно наслаждались раскованностью и бесстыдством своих дурацких действий, а с другой стороны, были настолько лишними на этой поляне, что мы наблюдали за ними, затаив дыхание, и даже не сразу сообразили от изумления, что для нас они были сейчас настоящими ангелами-спасителями.

Мне они казались просто отвратительными – ну какого рожна они вмешиваются в то, что их не касается.

Они шли гуськом, впереди, в красном одеяле, заткнутом за ворот блузки, с будильником на голове шагала Ливия, а Майя, которая несла шлейф Хеди, едва не споткнувшись о котелок, подхватила его и почтительным, но не без ехидства жестом водрузила его ей на голову; так, с нарастающей торжественностью, они шествовали, пока не дошли до разгромленной нами палатки.

Смысл их игры я, кажется, понял в тот же самый момент, когда сами они, не сговариваясь, догадались, во что именно будут играть.

Дело в том, что у Ливии был огромный альбом под названием «Знатные дамы Венгрии», который она часто приносила к Майе, и они любили его разглядывать; в этом альбоме была одна очень грустная иллюстрация, на которой спящей королеве Марии, вдове короля Лайоша, снится, как она бродит по полю битвы под Мохачем, разыскивая среди мертвых тел и вздувшихся лошадиных трупов своего погибшего мужа.

Ливия начала двигаться как во сне, а ее подруги, тут же последовав ее примеру, вскинули руки к небу и заскользили, как скользит, словно бы не касаясь земли, лунатик; выражая горе и скорбь, они хлестали себя по груди и плакали, совсем как на той картинке, где по иссиня-бледным щекам королевы катились крупные слезы.

Перед самой палаткой Ливия, раскинув руки, упала на землю, будильник, свалившись с ее головы, укатился в траву, и все это она проделала так, чтобы сцена казалась забавной.

Мне было ничуть не смешно, напротив, было противно видеть, как она паясничает, убаюкая своих подруг.

Кальман тупо разинул рот; мне хотелось вмешаться, испортить, как-то закончить эту игру.

Они же с сочувственным видом склонились над Ливией, плаксиво моргали, утешали, затем подхватили под руки, пытаясь ее поднять, но королеву, нашедшую наконец своего супруга, было не так-то просто оторвать от земли.

И когда им все-таки удалось это сделать и они повели ее, подерживая с двух сторон, в точности как на той картинке, то Ли-

вия неожиданно вошла в образ и на несколько мгновений клоунада стала настоящей игрой, с неподдельными, неожиданными для нее чувствами; она играла безумную королеву, закатив глаза и вытянув перед собой руки, и едва плелась, повиснув всем телом на своих проводницах, бесчувственно падая грудью вперед, так что ее подруги вынуждены были поспешать, ибо безумная боль с неодолимой силой куда-то ее влекла, и во мне от этого зрелища отвращение незаметно переросло в восторг, зрелище поразило меня, захватило врасплох, и я, как в кино, когда видишь ужасную сцену и хочется закричать от страха, заплакать или выбежать вон из зала, вынужден был подумать, что ведь это просто игра и в ней даже самые натуральные чувства не могут быть настоящими, но почти в тот же самый момент Майя, выдернув руку из-под мышки Ливии, бросила их и куда-то помчалась, отчего они, потеряв равновесие, вцепились друг в друга, Хеди, не видя ничего из-под котелка и не понимая, что происходит, наткнувшись на Ливию, уронила ее на землю, та же, ища поддержки, держалась за падающую Хеди, а тем временем Майя, ничего этого не замечая, бежала в сторону аккуратно сложенного костра, по всей видимости, ее внимание привлекли приготовленные рядом с костром спички, и пока Хеди с Ливией катались с хохотом по земле, она, склонившись к костру, стала разжигать огонь.

В этот момент со стороны леса раздался громкий вопль Кристиана, которому, словно эхо, с другой стороны поляны ответил другой крик, это орал Прем; рядом со мной заорал и Кальман, а кроме того, я услышал и собственный вопль.

И с этим ликующим, слившимся воедино боевым кличем, перекрывающим завывание ветра, мы с Кальманом бросились вниз, а они устремились к палатке с двух сторон поляны; под ногами у нас все трещало и грохотало, осыпались камни, и казалось, что на девчонок обрушивались не четыре различных вопля, а неделимый на части удар стихии.

Пламя быстро побежало по хворосту, ветер тут же подхватил его, закручивая, вытягивая и снова вжимая в костер его яркие языки, Майя бросила спички и побежала назад к подругам, вскочившим на ноги, и когда мы сбежали вниз, пламя уже охватило до самого верху всю кладку.

Все трое бросились врассыпную, но деваться им было некуда, они были окружены, и не знаю уж по какому выбору, я бросился вслед за Хеди, Кальман преследовал Майю, а Прем с Кристианом оба кинулись за Ливией, которая ускользала от них, словно ящерка;

Хеди бежала под гору, одна сандалия свалилась с ее ноги, но ее это не остановило, голова ее была откинута назад, светлые волосы так и реяли на ветру, белая простыня волочилась за ней, надо бы наступить на нее, думал я, и тогда она шмякнется; о том, что происходило у нас за спиной, я точно не знал и только заметил, что Майя уже почти скрылась среди деревьев и Кальман уже вроде схватил ее, когда Ливия так отчаянно завизжала, что это была уже совсем не игра, и тут Хеди вдруг изменила направление, из-за чего я, упустив ее, по инерции пробежал мимо, она же, улучив момент, развернулась и бросилась назад в гору, на помощь Ливии.

Они, сцепившись, катались по земле клубком, ветер швырял в их сторону длинные языки пламени, она, словно сумасшедшая, бросилась на мальчишек и Ливию сверху и при этом орала, наверное чтобы дать знать извивающейся на земле Ливии, что она здесь, что она поможет, я же бросился на Хеди, хотя в эту минуту уже хорошо понимал, что здесь происходит, красную юбочку с Ливии уже содрали, что было вовсе не сложно, потому что юбочка держалась на ее талии на одной резинке, она валялась под коленом у Кристиана, и теперь они пытались стащить с нее блузку; пока Кристиан прижимал коленями ее обнаженные бедра, чтобы она не дергалась, Прем, стоя на коленях у ее головы, пытался, удерживая ее отчаянно сопротивлявшиеся руки, сорвать с нее блузку, ну а то совершенное невероятное обстоятельство, что на Преме не было трусов, я заметил лишь в тот момент, когда прыгнул на спину Хеди; Ливия, судорожно закрыв глаза, визжала, а над ее лицом, прямо над самым лицом, едва не касаясь его, раскачивался в такт бурным движениям знаменитый член Према.

И я, хоть и видел все это, все же пытался помочь им, пытался стащить Хеди со спины Кристиана; та царапала меня и кусала.

Но в конце концов вся эта, сомнительная во многих отношениях, помощь оказалась бессмысленной, поскольку Кристиан, ощутив на себе тело Хеди, отпустил Ливию, единым движением спины сбросил вцепившуюся ему в плечи ногтями Хеди; Прем застыл на месте, но когда Ливия попыталась выскользнуть из-под него, он еще раз напоследок схватил ее блузку, и я не знаю, сорвал ли он с нее пуговицы еще до этого или они осыпались только сейчас, как бы то ни было, когда Ливия вскочила, мне бросились в глаза ее груди; Кристиан с ухмылкой взглянул на Хеди, зачем-то потрянул головой с роскошными черными прядями и ловким финтом ускользнул от нее, ибо вопящая Хеди хотела было снова накинуться на него; Прем бросился вслед за Ливией, но тут же выяснилось,

что он не преследовал ее, а просто хотел поднять сброшенные с себя трусы; Ливия, стягивая на груди блузку, с красной юбочкой в руках, бросилась за деревья, как раз туда, откуда не солоно хлебавши возвращался Кальман, встретивший удаляющуюся в своих розовых трусиках Ливию несколько изумленным взглядом; «ты скотина, скотина!» – рыдая взмахнув, кричала Хеди в лицо Кристиану, но Кристиан принимал это с такой хладнокровностью, как будто эта его любовь уже никогда не будет интересовать его, его взгляд пересекся с моим, и я ощутил, что усмехаюсь его усмешкой, на его лбу, подбородке виднелись царапины, он подошел ко мне, и мы ухмыльнулись друг другу, тем временем Хеди все еще стояла между нами, мы заглянули друг другу в глаза, и он, обогнув Хеди, поднял руку и изо всех сил наотмашь ударил меня по лицу.

Стало темно, и я думаю, дело было не только в пощечине.

Мне казалось, я видел, что Хеди, которая никак не могла понять этой оплеухи, пыталась защитить меня, но Кристиан вырвался из ее рук, оттолкнул ее, повернулся и медленным шагом направился к бушевавшему на ветру костру.

А я, насколько я помню, тут же развернулся и доверился своим ногам.

Кальман стоял под деревом, безразлично глядя на нас, Прем натягивал на себя трусы, Майи не было видно.

Позднее Прем утверждал, что, когда Майя разжигала костер, он как раз оправлялся, но я ему не поверил, ведь если человеку приспичит посрать, он просто приспустит трусы, но не снимет их, хотя после всего случившегося уличать его во лжи особого смысла и не было.

О том, что Кальман все же поймал тогда Майю, я тоже узнал позднее; он обхватил ее вместе с деревом и хотел поцеловать в губы, но Майя плюнула ему в рот, и таким образом ей удалось спастись.

Забыть обо всем этом мне удалось лишь спустя недели.

Мы не ходили друг к другу, и я даже опасался покидать наш сад, чтобы случайно не встретиться с кем-нибудь из них.

Но к концу того лета прежний порядок вещей все же восстановился, ибо Кристиан, возможно, чтобы пробудить ревность Хеди и тем самым вернуть ее, а может быть, потому, что действительно осознал вину за случившееся и, пытаясь загладить ее, стал ухаживать за Ливией, поджидал ее, провожал домой, и Хеди неоднократно приходилось видеть из своего окна, как они разговаривали, прислонившись к школьной ограде, причем разговаривали подолгу,

разговаривали интимно и углубленно, на что Хеди пожаловалась как-то Майе, которая, чтобы позлить меня, выдумала, что, дескать, в бумагах отца она нашла что-то новое, подозрительное, и сказала, позвонив мне по телефону, что я непременно должен прийти к ней, но в действительности ничего интересного она не нашла, во всяком случае, та сложенная пополам бумага была просто копией служебной записки, в которой ее отец просил министра внутренних дел подтвердить, что подслушивающий аппарат в квартире некоей Эммы Арендт был установлен не по его личной воле, а по непосредственному личному устному распоряжению товарища министра.

Майе хотелось посплетничать, а также хотелось узнать, какое действие произведет на меня эта новость, и я счел это подходящим поводом для примирения; я отправился к ней, но сделал при этом вид, будто меня ни в малейшей мере не интересует, чем занимаются Ливия с Кристианом, зато мы договорились с ней, что больше не будем болтать по телефону о важных вещах, ведь если ее отец иногда получает распоряжения прослушивать определенные телефоны, значит, есть такая аппаратура, и вполне может оказаться, что нас тоже прослушивают.

А когда я уже уходил, то столкнулся у их ворот с Кальманом, тот покраснел и сказал, что просто проходил мимо, однако после всего случившегося мы прекрасно знали, когда мы друг другу лжем, и все же упорно продолжали лгать; домой мне пришлось идти вместе с Кальманом, потому что во лжи нужно было быть последовательным и никакого серьезного предлога для того, чтобы здесь остаться, у него не было; по дороге я узнал, что он уже помирился с Премом и Кристианом, поводом для чего послужило то обстоятельство, что военные карты Кристиана были у него, короче сказать, к концу лета, пусть медленно, не совсем гладко и в несколько измененной конфигурации, наши отношения были восстановлены, но в них уже не было прежней прочности, прежнего интереса и пыла.

Кристиан в своем хитроумии додумался даже до того, что все происшедшее окрестил театром, смягчив этим словом ту кошмарную вакханалию, и, более того, стал планировать новые представления на том же месте; под плоской скалой, чтобы устроить сцену, нам нужно было выкорчевать кустарники, а девочки должны были шить костюмы; меня из этой компании он хотел исключить, но девчонкам это было непонятно, и они воспротивились, не в последнюю очередь, видимо, потому, что наши с Кристианом тренировки были для них важны, так что он наконец уступил и предложил

мне роль сценариста; в этом качестве я дважды был у него дома, но совещания эти ни к чему не привели, мы поссорились, и в конце концов он решил, что сценарий вообще не нужен; он хотел что-нибудь про войну, я же настаивал на любовной истории, которая, несомненно, слишком напоминала бы о реальных событиях, и в результате из-за своего упрямства я оказался не у дел, потому что девчонки тоже предпочитали быть скорее воительницами, чем любовницами.

И в тот вечер, когда я был у нее, Майя как раз собиралась на репетицию такого спектакля, на которую меня не позвали, но, естественно, никаких новых представлений организовать Кристиану не удалось, и тот самый, совершенно случайный спектакль, о котором всем нам хотелось забыть, так и остался единственным, а все прочие попытки такого рода вечно наталкивались на какие-то странные препятствия: наши детские игры незаметно для нас самих раз и навсегда завершились.

Но порою я все-таки проходил через лес, чтобы почувствовать, и почувствовать в одиночестве, то, чего мы все так боялись.

Ну а следующей весной место костра уже поросло травой.

После этого странного отступления, когда уже непонятно, от чего мы, собственно, отступили и куда нам следовало бы вернуться, я полагаю, что должен вернуться туда, где я прервал повествование, – к смятой постели Майи, к ее изумленно раскрытому рту и слегка напуганным, ненавидящим и все-таки любящим глазам, к Майе, одновременно желающей и противящейся тому, чтобы я рассказал ей все о Кальмане; я же не могу ничего рассказать ей, ибо намерение, желание, воля наталкиваются на неодолимое разделение полов, и я чувствую нечто, что гораздо сильнее меня, не зная, закон это или просто эрекция; в то же время простого упоминания леса было достаточно для того, чтобы привести ее в неуверенность, перечеркнуть ее планы, сорвать замыслы, не выказывая при этом мучившей меня ревности.

Собственно говоря, в этот день мы с Майей решили порыться в бумагах ее отца, чему в принципе, поскольку Сидония отправилась на свидание, а мать Майи была в это время в городе, ничто не мешало, и мы могли приступить к делу сразу после моего прихода, но все же была причина, по которой мы медлили: нам было страшно, и об этой тайне, о которой мы говорили всегда с дрожью в голосе, я должен рассказать; дело в том, что мы с Майей, иногда у нас, иногда у них, проводили обыски, причем надо заметить, что у нас в доме это было опасней, потому что отец мой, по-видимому,

догадываясь об этой моей склонности к шпионажу, закрывал ящики своего письменного стола на ключ.

Замок был с секретом, достаточно было закрыть средний ящик, чтобы заблокировать все остальные, но с помощью отвертки можно было приподнять столешницу, и тогда все ящики открывались; мы с Майей были убеждены, что наши отцы – шпионы и работают вместе.

Об этой самой страшной тайне своей жизни я еще никогда никому не рассказывал.

Дело в том, что в поведении их обоих было столько загадочного, что наше смелое предположение казалось нам не лишенным оснований, и мы были начеку, вели поиск и сбор доказательств.

Они были не слишком близко знакомы, точнее, как мы полагали, тщательно маскировали свои тесные отношения; еще подозрительнее для нас было бы, если бы они вообще не знали друг друга, при этом они нередко одновременно уезжали неизвестно по каким делам в командировки, но случалось и так, и это было не менее подозрительным, что один из них уезжал именно в тот момент, когда другой возвращался.

Однажды я должен был доставить увесистый, скрепленный сургучной печатью желтый пакет отцу Майи, а в другой раз мы оба стали свидетелями особенно подозрительной сцены: мой отец возвращался домой на служебной машине, а отец Майи, на своей, как раз направлялся в город; посередине улицы Иштенхеди машины остановились, они вышли и обменялись несколькими незначущими, как нам показалось, словами, а затем отец Майи передал что-то моему, причем быстро и незаметно! а когда вечером я спросил, что ему передали, – мы решили устроить нашим отцам нечто вроде перекрестного допроса, – он сказал, чтобы я не совал нос не в свои дела и подозрительно рассмеялся, о чем я тут же сообщил по телефону Майе.

Если бы мы нашли какие-нибудь улики, записки, валюту, микрофильмы, а из советских романов и фильмов мы знали, что улики обязательно должны быть, и мы искали их в подвале и на чердаке, искали тайник, и если бы обнаружили какие-то неопровержимо разоблачающие их улики, то донесли бы на них, в этом мы поклялись друг другу, потому что как бы там ни было, но если они шпионы, предатели, то и пусть пропадают, мы их не пощадим, и эту клятву невозможно было нарушить, ибо это взаимное проникновение в жизнь наших родителей привело к тому, что мы боялись уже и друг друга и поэтому искали еще более лихора-

дочно, мы были уверены, что найдем какой-то приемлемый след, и тогда это наконец закончится, ведь мы нутром чувствовали, воздух вокруг пропитан преступностью, преступление было, мы это знали, а значит, должны были быть и улики; однако в не меньшей мере мы опасались и обнаружить их, но этот ужас нам приходилось скрывать друг от друга, потому что жалость к собственному отцу в глазах другого могла показаться нарушением клятвы, самым настоящим предательством, потому-то мы с ней всегда и тянули время, сдерживали себя, старались отодвинуть подальше момент возможного обнаружения возможных улик.

Этот великий и жуткий момент в моих фантазиях всегда почему-то был связан только с ее отцом, она же при этом держалась бы так героически, что в глазах ее блеснула бы лишь одна слезинка отчаяния и гнева.

Вот и в тот день мы от страха настолько запутались в душах и плоти друг друга, что благополучно забыли о нашей первоначальной цели, о нашей тайне, о поисках, о торжественной клятве, но полностью оторваться от этого все-таки не могли, ибо наш политический союз скрывал в себе еще некий глубоко загадочный, общий и непонятный для нас самих, сладостный и мучительный эротический момент, который в своей загадочности казался гораздо более мощным и захватывающим, чем любые неосуществленные духовные и физические влечения.

Так что вернемся назад, поднимем оброненную нить повествования, невзирая даже на то, что в этом пункте мое авторское «я» испытывает сильные колебания, хотя и подбадривает себя, давай же! чего тут такого! но все же боится, боится даже сегодня, оно этого не скрывает, и сиреньи голоса переполняющих его чувств манят его к новым отступлениям, объяснениям, оправданиям, очередным зигзагам самоанализа и еще более скрупулезному описанию всяких деталей – лишь бы только не говорить об этом! тем более что, как подсказывает ему аналитический разум, без дальнейших отступлений было бы весьма затруднительно объяснить: почему это двое подростков решают предать своих отцов, и вообще, почему допускают, что они могут оказаться агентами каких-то враждебных держав, и, кстати, что это могут быть за державы? кто здесь чей враг?

Объяснение получилось бы несколько поспешным и довольно вульгарным, если бы я сказал, что наш политический комплот давал нам некоторую надежду, что двух этих мужчин, двух отцов, которых мы больше всех на свете любили самой горячей телесной

любовью, мы просто можем отправить на виселицу и тем самым избавить себя от бремени этой невозможной любви; кстати, идея доноса в те годы не считалась игрой детской фантазии: наше воображение постоянно к ней возвращалось, как иголка в бороздку заевшей пластинки.

Но оттягивать дольше было нельзя, лишнего времени у нас не было, и то, чему предстояло случиться, случилось; Майя вытащила ступню из-под моего бедра, помогая себе ладонями, разомкнула нашу близость, быстро и беспощадно, как человек, которого обстоятельства вынуждают что-то прервать, встала и направилась к двери.

Посередине комнаты она оглянулась, лицо было красное, в пятнах и скорее всего такое же жаркое, каким я ощущал и свое; она улыбнулась мне странной и мягкой улыбкой, я знал, она направляется в кабинет отца, я же ждал, пока спадет возбуждение, и опять она оказалась сильнее, думал я, мне казалось, будто она сейчас вырвала себя прямо из моего тела, и оно не могло успокоиться; она, улыбаясь, стояла в мерцающих зеленоватых тенях посреди комнаты, а во мне прозвучало голосом Кальмана: надо было трахнуть ее, как будто я только что упустил возможность, о которой он тщетно мечтал.

Ее улыбку я назвал странной потому, что в ней не было ни превосходства, ни насмешливости, возможно, только легкая грусть, обращенная скорее не ко мне, а к самой себе, умудренная зрелая улыбка человека, который пытается разрешить неразрешимую ситуацию не легкомысленным порывом, а здравым признанием того обстоятельства, что если в ситуации этой он чувствует себя плохо, не находит в ней удовлетворения, то ее, ни от чего не отрекаясь, надо изменить.

В любой, самой незначительной перемене положения, пусть вы просто пошевелились, уже есть надежда.

Даже при том что новая ситуация, которую, двинувшись к двери, она предложила и мне, и себе, была по меньшей мере такой же неразрешимой, а в моральном плане столь же катастрофической, как и предыдущая, из которой она только что выпуталась, это все же была перемена, движение, изменение, а всякая перемена сама по себе пробуждает в нас оптимизм.

Я сидел в смятой постели, ощущая телом весь жар минувшего часа, жар и энергию, которые так и не нашли выхода, остались во мне, в постели, в ней, в то время как комната взидала на нас равнодушно и холодно, но я был не в силах двинуться с места,

и не только из-за того, что выглядел в данный момент не совсем презентабельно, но и потому, что ее улыбка возбудила во мне новую волну жаркой благодарности и признательности.

Возможно, сегодня эта признательность кажется мне скорее глупостью; но тогда, в тот момент, я чувствовал эту безмерную, ни к чему не обязывающую меня благодарность именно потому, что она – девчонка, и даже если у меня нет ни малейшего желания ковыряться сейчас в бумагах ее отца, я все же последую за нею.

Казалось, будто она это знала лучше; знала лучше меня, что наши тайные поиски очень близки тому ощущению, что пережи- 361

вали неудовлетворенные тела.

Она молча вышла из комнаты.

Я никогда не любил ее так, как любил тогда, и любил потому, что она девчонка, и это, наверное, не такая великая глупость, какой может показаться на первый взгляд.

Когда минуты спустя тело мое достаточно созрело к тому, чтобы, изменив позу, последовать за нею, и я, миновав пустую столовую, вошел в кабинет, она уже сидела за письменным столом отца, спиной ко мне, но ничего не предпринимала, начать без меня она не могла.

Стол был громадный, с бесчисленным количеством разной формы и разного расположения ящиков, отталкивающе темный и безыскусный, на тонких коротких ножках, почти целиком заполнявший собой комнату и чем-то напоминавший какое-то одряхлевшее неповоротливое животное.

Не закрывай дверь, тихо, нетерпеливо, почти враждебно сказала она, уже поздно, что означало, что скоро могут прийти родители.

Но меня предупреждать было ни к чему, дверь мы всегда оставляли чуть приоткрытой, чтобы, с одной стороны, нас не было видно, а с другой, чтобы можно было услышать приближающиеся шаги; эта комната, кстати, была настоящей мышеловкой – самая дальняя, своего рода аппендикс, откуда невозможно было выйти иначе, кроме как, в панике спотыкаясь о ножки кресел, ретироваться через ту же дверь.

И всякий раз, когда мы сюда прокрадывались, дыхание наше, как бы мы ни сдерживались, делалось громким, прерывистым, почти сипящим, каждую вещь нужно было брать слишком сильно и аккуратно, чтобы не было видно дрожи в руках, что тем не менее выдавало нас, делало беззащитными друг перед другом, и поэтому мы обращались друг к другу враждебным тоном, даже когда

к этому не было никаких очевидных причин или поводов, но почему-то здесь другой постоянно все делал плохо, неловко и неудачно.

Трудно сказать, кто из нас был в большей опасности, здесь – пожалуй, она, ведь если мы что-то найдем, то обнаруженная улика обернется в первую очередь против ее отца, что побуждало меня при всей раздраженности быть более снисходительным по отношению к ней, а с другой стороны, если нас здесь застукают за этим занятием, то в более сложном положении окажусь, разумеется, я, ибо прикасаться к этим чужим предметам и чужим бумагам у меня еще меньше прав, чем у Майи, и поэтому я старался расположиться в комнате так, чтобы, заслышав шаги, первым выскользнуть из нее, то есть, даже в ущерб ей, оставить за собой некоторое преимущество.

Мне было несколько стыдно, но отказаться от этой маленькой привилегии у меня не хватало смелости; прогнозируя наихудший из возможных сценариев, я даже придумал план: если шаги я услышу лишь в самый последний момент, то быстро схвачусь за ручку двери! как будто я безучастно наблюдаю за тем, что она здесь делает, как будто просто держусь за дверную ручку, я ни к чему здесь не прикасался! что, признаться, было довольно позорной трусостью даже в воображении.

Тем не менее наш безумный азарт и почти невыносимое напряжение не могли повлиять на нашу деятельность, в которой мы не могли допускать ни малейшей спешки, нам нужно было быть крайне осмотрительными, точными, неторопливыми, мы не могли вести себя как неопытные случайные воры, которые в поисках денег и драгоценностей переворачивают все вверх дном и потом сломя голову бегут прочь; сам характер нашей работы не предполагал быстрых результатов, всякая мелочь была в ней важна, поэтому, несмотря на волнение и нетерпеливость, мы, учась выдержке и самообладанию, превращались за этими занятиями в настоящих сыщиков.

Первым делом нужно было внимательно осмотреть до боли знакомое место поисков, в соответствии с определенным порядком, даже законом, потому что у них всю работу, естественно, проделывала она, в то время как в нашем доме осторожное выдвигание ящиков было моей задачей, ибо риск быть пойманным с поличным каждый из нас, разумеется, брал на себя, а потом уж мы вместе определяли, произошли ли какие-либо существенные изменения с момента последнего обыска; обычно мы проделывали это с письменными столами раз в две недели, иногда раз месяц, так что было достаточно времени, чтобы содержимое некоторых ящиков

основательно изменилось: какие-то предметы и документы временно или окончательно исчезали из них, иногда менялся только порядок, иногда на месте исчезнувших вещей появлялись другие, и в этом смысле у Майи все было немного сложнее, так как ее отец хоть и не был совсем уж неряхой, но все же был далеко не таким безупречным педантом, как мой отец, который не усложнял нам работу небрежным ковырянием в ящике или выдергиванием нижних бумаг из-под тех, что лежали сверху.

Первым делом Майя медленно, осторожно вытягивала один за другим ящики, я заглядывал ей через плечо, мы не спешили, прекрасно зная, в каком темпе и ритме каждый из нас обзоревает то, что предстало его глазам, сколько времени ему требуется, чтобы оценить содержимое ящика, заметить, насколько оно изменилось, быстро сравнить, и все это происходило молча, без единого слова мы обменивались, так сказать, профессиональными мнениями, затрагивающими самую суть нашего дела; добровольно взятую на себя миссию детективов мы должны были выполнять добросовестно и сознавая всю связанную с этим серьезную политическую ответственность, ибо случалось, что иногда мы слишком поспешно задвигали тот или иной ящик, не замечали порой или, что еще хуже, не желали замечать, что в ящике за последнее время что-то изменилось, и в такие моменты один из нас глазами приказывал другому остановиться, требовал перепроверки, и эта роль выпадала мне или ей в зависимости от того, где проводился обыск; у нас она контролировала меня, а здесь за ней присматривал я, а кроме того, нам нужно было следить за тем, чтобы этот контроль оставался безличным, строгим, но без лишних придирок, как бы отвлекающим от того печального, но неизбежного факта, что мы оба, невольно и инстинктивно мучаясь, защищаем своих отцов, что, естественно, может пойти во вред работе; подозрительно изменившееся содержимое ящика, поспешно и суетливо перерытого, новая пачка бумаг в нем или необычного вида конверт естественным образом вызывали в нас возбуждение, и этой дилетантской нервозности опытные сыщики вроде нас должны были тонко и деликатно избегать, строгим и трезвым взглядом напоминать другому о профессиональной добросовестности и объективности, помогая ему одолеть в себе возможную и очень даже понятную детскую предвзятость; вместе с тем нам нельзя было быть насмешливыми, грубыми или настырными, больше того, иногда ради достижения цели мы даже хитрили, делая вид, будто не замечаем того, что не хочет или не смеет заметить другой, и указывали на это

позднее, как бы случайно и неожиданно возвращаясь к критическому моменту во всеоружии собственного превосходства.

И лишь после этого мы могли приступить к ответственной и реальной работе, к обстоятельному изучению докладных записок, писем, счетов, документов, при этом никогда не садясь, стоя рядом, погруженные в жар и волнение друг друга, вместе и одновременно жадно, взапой читая по большей части совершенно неинтересные, скучные или вырванные из контекста и поэтому совершенно нам не понятные документы, и лишь изредка, когда кому-то казалось, что другой чего-то не понял, неверно истолковал или может прийти к ошибочному заключению, тишина нарушалась несколькими тихими поясняющими словами.

Того, что мы делали друг с другом и с самими собою, мы при этом не замечали, ибо, поглощенные целью, и знать не хотели об ощущениях, которые в результате наших деяний откладывались, словно некий нерастворимый осадок, в наших сердцах, в желудках, на стенках кишечника; то есть чувства ужаса мы просто-напросто избегали.

Естественно, нам попадались не только официальные документы, но и много такого, чего мы и не собирались искать, например многообразная и пространная любовная переписка наших родителей, и в этом смысле те материалы, которые мы обнаружили в ящике моего отца, к сожалению, оказались более серьезными, и когда, взяв их в руки, мы с беспощадной суровостью профессионалов углубились в них, то нам показалось, что мы, искавшие следы преступления ради сохранения чистоты идеалов, вторгаясь в запретную область глубочайших и мрачных любовных страстей, в самое сокровенное, тут же и сами становились преступниками, ведь преступление неделимо, и когда кто-то ищет убийцу, он и сам должен стать убийцей, всей душой должен пережить обстоятельства и мотивы убийства, и так мы, вместе с нашими отцами, оказались там, куда не только нам вход был заказан, но где и сами они, по свидетельству писем, пребывали тайно и как не способные к раскаянию преступники.

Есть великая мудрость в ветхозаветном запрете, согласно которому никто не должен видеть наготу отца своего.

Еще бы куда ни шло, если бы это запретное знание мы обрели в одиночестве, тогда каждый из нас, возможно, сумел бы достаточно быстро скрыть его даже от самого себя, ведь забвение иногда поступает как добрый товарищ, однако положение наше усугублялось нашей привязанностью, страстными, исполненными

пылкой подозрительности отношениями, большими, чем дружба, но меньшими, чем любовь; в эти тайны мы проникли взаимно и, не забудем! в состоянии неудовлетворенности, между тем как предметом их были именно страсть, взаимность, удовлетворение, ну а то, о чем знают двое, уже не может быть тайной; с ее ведома и при полнейшем ее одобрении я прочел письма, написанные отчасти некоей женщиной по имени Ольга, отчасти – матерью Майи, и обе писали в состоянии высочайшего эмоционального и физического экстаза, проклиная ее отца, надеясь, заискивая, браня и, главным образом, умоляя его, чтобы он не бросал их, и все это, в соответствии с правилами любовных посланий, было декорировано обведенными кружочками следами слез, срезанными локонами, засушенными цветами и нарисованными красным карандашом сердечками, что у нас с Майей, уже ощутивших грубую силу страсти, вызвало эстетическую брезгливость; в свою очередь, Майя, с моего ведома и даже с моей помощью, ознакомилась с внешне гораздо более пуританскими письмами, которые Янош Хамар писал моей матери, а Мария Штейн – моему отцу, мать с отцом тоже писали друг другу о взаимных чувствах внутри этого неимоверно запутанного четырехугольника, и поскольку мы теперь оба об этом знали, то должны были вынести какие-то суждения, как-то осмыслить, расставить все по своим местам, оценить, что явно превосходило наши моральные силы, как бы высоко мы их ни ставили.

И откуда мы могли знать тогда, что наши с ней отношения с наивной карикатурностью и, сегодня я это знаю, по дьявольскому шаблону повторяли, как бы копировали отношения наших родителей и, в какой-то мере, публично провозглашаемые идеалы и беспощадную практику исторической эпохи, и даже роль следователей являлась не чем иным, как неловкой, по-детски переиначенной, жалкой по уровню исполнения имитацией, я бы сказал, обезьянничаньем, но в то же время и своего рода погружением, ведь отец Майи был генералом военной контрразведки, мой отец – государственным прокурором, и мы оба, когда мы подхватывали и смаковали случайно оброненные ими слова, как бы невольно, в любом случае сами того не желая, вовлекались в профессиональную деятельность, называемую уголовным преследованием, точнее сказать, именно эта превращенная в игру деятельность позволяла нам переживать их профессиональные занятия как нечто великолепное, опасное, важное, более того, достойное всяческого уважения, а если учитывать содержимое их столов, то не только их настоящее, но и прошлое, их молодость с ее приключениями, реальными жизненными

угрозами, подпольем, фальшивыми документами, и если пойти еще дальше, а почему бы мне не пойти? то придется сказать, что именно они освятили тот нож, которым мы замахнулись теперь на них, и в этом смысле мы не только страдали, играя в эти наши игры, но и наслаждались; мы наслаждались своей серьезностью, любовались принятой на себя политической ролью, то есть в этой игре были не только ужас, не только страх и чувство вины, но игра даровала нам и возвышающее чувство причастности к власти, чувство, что мы можем контролировать даже таких знаменитых носителей власти, причем контролировать их от имени и в интересах того морального принципа, который был в их глазах священным, а именно идеальной, аскетической, безупречной и незапятнанной коммунистической чистоты их жизни; при этом по жесточайшей иронии судьбы все это время оба они и предположить не могли, что в своем пуританском или вполне прагматичном рвении совершенно напрасно сотнями истребляют реальных или мнимых врагов, поскольку пригрили змею на своей груди – ведь кто, как не мы, больше всего и самым коварным образом оскорбляли их идеалы? кто, кроме нас, по своей наивности, мог подвергнуть более серьезному испытанию их идеи? и с кем мы могли разделить сознание нашей жуткой вины, если питали к ним и друг к другу ту самую дьявольскую подозрительность, которую они насаждали в нас и в подвластном им мире? ни о чем подобном ни с Кристианом, ни с Кальманом я говорить не мог, точно так же как Майя не могла говорить ни о чем подобном с Ливией или с Хеди, как им это было понять? хотя в нашем маленьком детском мире царил тот же самый дух времени, им все это показалось бы слишком далеким, чужим и отталкивающим.

Наша тайна приобщила нас к сильным мира сего, сделала преждевременно зрелыми и разумными, посвященными и, конечно же, отделила нас от мира обычных людей, где все происходило гораздо проще и прозаичней.

В этих любовных письмах совершенно открыто и недвусмысленно упоминались часы, в которые, по какой-то странной случайности, были зачаты мы, по случайности, потому что ведь им нужны были не мы, им нужна была только любовь.

Например, в одном из писем к отцу Мария Штейн очень подробно описывает, что она ощущает в объятиях Яноша Хамара и что – когда ее обнимает отец, и в этом письме, я хорошо это помню, меня больше всего озадачило стилистическое значение слова, мне хотелось понять его так, будто они обнимались по-дружески, тиская и похлопывая друг друга, но, никакого сомнения, слово

указывало совсем на другое, что на ребенка производило такое же впечатление, как если бы спаривающиеся животные вдруг начали разговаривать, – интересно, но совершенно непостижимо; не более сдержанными были и письма, которые моя мать, еще до моего рождения, получала от Яноша Хамара; позднее он, столь же загадочно и внезапно, как и Мария Штейн, исчез из нашей жизни, они больше не появлялись у нас, и мне пришлось постепенно забыть о них под влиянием намеренного молчания моих родителей; Майя же, как я заметил, очень больно переживала тот факт, что ее отец до сих пор поддерживает отношения с этой Ольгой, хотя матери было давно объявлено, что они порвали, таким образом, Майя вынуждена была покрывать ложь отца, хотя она больше любила мать.

Я полагаю, в часы, когда мы эти письма читали, архангелы закрывали ладонями глаза Господу.

Мы же несколько облегчали себе положение тем, что всю эту переписку как неважную и даже в какой-то мере глупую поскорей отметали в сторону, ведь как могут пожилые и уважаемые люди писать друг другу такие пошлости! и, умерив тем самым жар любопытства, идущего изнутри нас, с еще большим азартом продолжали искать преступление, которого не было, точнее, было, но не в том виде и не в такой форме.

И вдруг мне все это надоело, не сказать чтобы я что-то вдруг решил или передумал, нет, просто мною овладело полное равнодушие к этому занятию, эти ящики и бумаги в них меня больше не интересуют, еще минуту назад интересовали, а теперь, не знаю почему, перестали интересовать, и я должен уйти.

За окном еще светило клонящееся к закату солнце, а в комнате витал мягкий полумрак, что только подчеркивало размеры едва помещавшегося в кабинете стола и делало его каким-то печальным, при этом на покрывавшем темную полированную столешницу тонком слое пыли были различимы предательские следы пальцев Майи.

И еще было странное, незнакомое и небывало легкое ощущение, что я действительно существую, что не безответственно, а, напротив, совершенно осознанно хочу прекратить все эти занятия, и что это не трусость, а смелость, хотя меня немного смущало то, как она криво и судорожно пожала плечами, смущал этот жест, следы; не знаю, возможно, от этой детской игры, маскируемой под некую деятельность, меня отвратило самосознание плоти, вселившееся в меня после спровоцированной ее телом эрекции; как бы то ни было, я чувствовал, что я из этого вырвусь! все, чего

мне хотелось теперь, – чтобы эти ее красивые, тонкие, нервные плечи, которые мне так нравились своей хрупкостью в материнском платье, нравились больше, чем даже красивые и спокойные, не ведающие о подобного рода заботах округлые плечи Хеди, во всяком случае они сильнее волновали меня, и поэтому мне хотелось, чтобы они расслабились и стали такими, такими! но подсказать какими владевшее мною чувство уже не могло, и сказать я не мог сейчас ничего, потому что скажи я, что я больше этого не хочу, и случилось бы вовсе не то, чего мне хотелось.

Кроме того, я знал, что я ее потеряю, и что-то навсегда кончится, но это не вызывало во мне ни боли, ни страха, чувство было такое, будто во мне уже произошло то, что между нами случится в следующее мгновение, что чего-то больше не будет, и не надо об этом жалеть.

Но я не хотел быть с ней грубым, это и так было слишком, нельзя было обрывать все так резко.

Кто-то идет, тихо сказал я.

Рука, которой она вытягивала нижний ящик, на мгновение замерла, она прислушалась и непроизвольно задвинула ящик, но поскольку все было тихо, то на лице ее выразилось удивление, причем вызванное не ситуацией, а моим голосом: ей было непонятно, зачем я вру так, что сам же разоблачаю свое вранье, это нечестно, в конце концов.

Вид у нее был такой, будто она получила пощечину, но не обиделась, а лишь подняла глаза, продолжая держать руку на ящике.

Никого, мне просто послышалось, будто кто-то идет, сказал я чуть громче, и чтобы сделать сказанное более правдоподобным, мне нужно было пожать плечами, но я не сделал этого, чтобы дать ей понять, что все еще лгу ей, и лгу умышленно, глаза же мои тем временем следили за трудно уловимой переменной, которая произошла в ней под действием вспыхнувшей и не находящей себе предмета ярости; она покраснела, словно чего-то стыдясь, и тут наконец-то случилось именно то, чего мне так хотелось: она, по-прежнему сидя на корточках перед ящиком, всем телом обмякла и расслабила плечи.

Она не понимала меня, но это не обижало ее.

Мне нужно домой, сказал я, что прозвучало довольно сухо.

Уж не спятил ли я, спросила она.

Я кивнул, отчего это странное непривычное ощущение легко-сти только укрепилось, я не буду с ней объясняться! мне нельзя потерять это чувство.

Потому что оно еще слишком хрупкое, я чуть-чуть опасался, что оно исчезнет, и тогда будет опять так же тяжело, как прежде; с ним нужно было обращаться осторожно, и именно из-за этой осторожности, ради того, чтобы сохранить внутреннее равновесие, я не мог просто так повернуться и выйти из комнаты, я должен был сделать это с ее согласия или по крайней мере не без нее, хотя она, я так чувствовал, собиралась остаться здесь.

Идем со мной, сказал я, потому что мне вдруг захотелось многое ей сказать.

Она поднялась очень медленно, и ее лицо оказалось совсем рядом с моим, оно было серьезным, губы чуть приоткрылись от изумления, на лбу прорезалась вертикальная складочка, как бывало, когда она читала и пыталась откуда-то издалека понять то, что было перед ее глазами.

Но я сразу почувствовал: это невозможно, она останется здесь, и это было печально.

Трус, дерьмо, сказала она, словно бы только для того, чтобы закрыть рот, а также чтобы я не заметил, что она сразу все поняла.

Она поняла все мои скрытые намерения, и улыбка на моем лице, хотя улыбаться я вовсе не хотел, просто чувствовал ее на своих губах, вызвала у нее такую ненависть, что она опять покраснела, как будто за мою подлость ей приходилось стыдиться вместо меня.

Ну тогда убирайся, чего ты ждешь, пошел в пизду, жалкий трус, какого хуя стоишь здесь?

Моя голова двинулась в сторону ее изрыгающего проклятия рта, мне хотелось вцепиться в него зубами, но едва мои зубы, еще не коснувшись его, приблизились к ее рту, она тут же сомкнула глаза, я же свои не закрыл, подчиняясь не ей, а этому переживаемому в себе ощущению, и когда ее рот вострепнулся под моими губами, я заметил, как веки ее задрожали.

Я хотел закрыть ее рот зубами, но этот трепет мягкого, чуть приоткрытого жаркого и любопытного рта все же требовал моих губ, а потом, когда она ртом почувствовала и мои зубы, мы одновременно отпрянули друг от друга.

Когда я вышел за калитку их сада и направился вверх по крутой дорожке, мне захотелось опять столкнуться с поджидающим ее Кальманом, я представил себе, как небрежным жестом показываю ему, что он может идти к своей Майе, но все это могло случиться только в воображении, ибо на самом деле они были далеко, далеко, как и все остальные, потому что я наконец остался наедине со своим ощущением.

Казалось, природа авансом преподнесла мне это ощущение неразрывной слитности двух тел.

370 Сегодня я уже знаю, что это странное, небывало мощное и победное ощущение, по-видимому, начало прорастать, когда мое тело дало мне почувствовать, что, собственно, означает уже тринадцатый лет знакомое мне слово родного языка – девушка, и созрело в тот самый момент, когда то же самое тело восстало против того, чтобы продолжать с ней обыски; ощущение это я нес теперь по дороге домой как некое драгоценное сокровище, которое нужно оберегать, не дай бог повредишь, я был поглощен им настолько, что не разбирал, куда шел, просто переставлял ноги, и тело мое, казалось, принадлежало не мне, а этому ощущению, лелея которое оно само двигалось в летних сумерках по знакомой дороге, между двумя берегами леса, и даже не особенно реагировало на то, что вдоль забора той самой запретной зоны его сопровождала сторожевая овчарка, и тело мое не чувствовало ни страха, ни ужаса, ибо это прекрасное ощущение призвано как раз ограждать его от всего тревожно неясного, грешного, скрытного и запретного; сегодня я знаю наверняка, что именно в тот предвечерний час это чувство произвело во мне полный переворот: я не должен стремиться познать и понять то, чего не дано понять, я больше не должен желать этого! зачем низвергаться в пучины отчаяния, когда оно, это чувство, окончательно указало мне, где мое место среди прочих живых существ, что для тела, конечно, куда важнее любых идеалов и степени их чистоты; я был счастлив, и если бы я не думал, что ощущение счастья – это не что иное, как забытое нами воспоминание, то сказал бы, что был счастлив впервые в жизни, ибо чувствовал, что это сладостное спокойствие, так внезапно откуда-то снизошедшее и направляющее каждый мой шаг, погасило, подмяло и навсегда одолело все бывшие мои мучения.

Оно погасило их одним поцелуем, но верно и то, что в поцелуе том вспыхнуло воспоминание о другом, болезненном поцелуе, так что в этот момент, целуя Майю, я прощался и с Кристианом, прощался с детством, чувствуя себя сильным и много знающим человеком, все части которого, закаленные страхом и ужасом, уже знают пределы своих возможностей, понимающим смысл слов, знающим правила, не имеющим больше нужды искать и экспериментировать, и от этого, скорее всего именно от этого я был счастлив, хотя это чувство, которое, несомненно, многое объясняло и многое разрешало, распирающее и полнящее меня чувство, разумеется, было не более чем милостью ищущего самозащиты тела,

милостью временной, даруемой нам всегда только для передышки, лишь на одно мгновение.

Так наши ощущения оберегают нас – обманывают, чтобы защитить, дают нам кусочек добра, и, пока мы держимся за минутное наслаждение, под покровом нашего счастья зло возвращается обратно, в чем нет никаких сомнений, ибо все злые чувства все же остаются с нами.

Я говорю о сиюминутной милости, ведь после этого мы с Майей никогда больше не занимались поисками, мое минутное ощущение, породившее окончательное отвращение и блаженный порыв протеста, положило конец нашим порочным занятиям, и отношения наши почти полностью прекратились, между нами больше не было ничего общего, ведь до этого мы черпали наслаждение во взаимной первертации собственных чувств к родителям, а поскольку ничего более волнующего мы представить себе не могли, мы сделали вид, что обижены друг на друга, едва здоровались, пытаясь под этим покровом обиженности забыть о реальной причине раздора.

И я почти совсем забыл об этой истории, после которой прошел, наверное, уже год.

Но однажды, ранним весенним днем, вернувшись из школы, я увидел в прихожей на вешалке то самое незнакомое пальто, и тогда все, последовавшее далее, коварным образом пробудило загнанные вглубь сознания тайные чувства, подозрения и догадки, преступления и запретные знания, которые, пусть и несправедливыми путями, мы с Майей все же добыли в ходе своих, доставлявших нам гадкое удовольствие, безрассудных игр.

Ибо все наши идиотские поиски были продиктованы одним чувством, которое внушало, нашептывало нам, что вокруг нас, несмотря на все усиленно насаждаемые иллюзии и нашу благодетельную доверчивость, что-то все-таки не в порядке, и мы искали причину и объяснение этого, и, не находя, открыли для себя ужас отчаяния, тот ужас, который, с другой стороны, был просто-напросто чувственным проявлением самой исторической реальности.

Но как могли мы понять, как могли постичь детским умом, что в наших чувствах нам являет себя самая полная правда? нам хотелось чего-то более ощутимого, чем то, что мы ощущали, и ощущения наши, таким образом, защищали нас.

Мы не могли тогда знать, что судьба, придет время, раскроет нам предметное содержание наших ощущений и задним числом объяснит взаимосвязи тех чувств, которые представлялись нам

независимыми друг от друга, и найдет она нас обходными путями, явившись нам тайно, незаметно и тихо, и не нужно, нельзя, невозможно ее торопить.

Она явится в один прекрасный день в самом конце зимы, в день, похожий на все остальные зимние дни, явится в виде чужого пальто с неприятным, каким-то затхлым запахом, потертого вида и всего лишь одной только пуговицей напоминавшего пальто Кристиана, да, может, еще своим цветом.

372

Темное пальто на вешалке означает, что у нас гость, и гость необычный, ибо пальто это мрачное, строгое, совсем не похожее на те, что можно обычно видеть на этой вешалке, нет, судя по запаху, это не пальто врача, и не родственника, скорее, оно всплывает из глубины моего воображения, моих страхов, пальто, прибывшее из забвения; в квартире никаких необычных шумов или разговоров, все как обычно, поэтому я запросто открыл дверь в комнату матери и, не успев толком осознать даже собственное изумление, сделал несколько шагов к кровати.

У кровати, держа руку моей матери, стоял на коленях незнакомый мужчина и, припав лицом к этой утопающей в одеяле руке, плакал; спина и плечи его сотрясались, он целовал руку матери, а та запустила пальцы свободной руки в его почти совершенно седые коротко стриженные волосы, словно пытаясь, нежно и утешающе, притянуть к себе его голову.

Я увидел это, войдя в комнату, и почувствовал, будто грудь мою вспороли ножом: так, значит, не только Янош Хамар, но есть еще и другой! и ненависть понесла меня дальше к кровати, я сделал еще несколько шагов, когда мужчина, не слишком быстро, оторвал голову от материной руки, а мать, тут же отпустив его волосы и слегка приподнявшись на своих подушках, метнула взгляд в мою сторону, явно испугавшись, что я разоблачил ее жуткую тайну, и велела мне выйти из комнаты.

Но незнакомец, напротив, попросил меня подойти ближе.

Они сказали это синхронно, мать – прерывающимся голосом, одновременно запахивая на груди вырез мягкой белой ночной рубашки, из чего я сразу сообразил, чем они занимались, она показывала, показывала этому чужаку свою грудь! показывала, что ее нет, что ее удалили, показывала свои шрамы, а незнакомец обратился ко мне приветливо, словно и правда обрадовался моему неожиданному появлению; я растерянно замер на месте, сбитый с толку и появлением незнакомца, и их противоречивыми призывами.

Сноп яркого, еще по-зимнему строгого солнца, проникая через задернутые занавески, рисовал на безжизненно сверкающем полу затейливые узоры, и казалось, вокруг все звенело, отвратительно звенел свет, за окном шумели водосточные трубы, по которым с бульканьем, хлюпаньем стекала тающая на крыше снежная жижа, и казалось, будто кто-то нарочно усиливал этот звук, от которого едва не лопались перепонки; сноп света не освещал их, достигая лишь до изножья кровати, где лежал небольшой, перевязанный шпагатом пакет, и когда незнакомец, стирая с глаз слезы, распрямился, а потом улыбнулся и встал, я уже знал, кто он, но узнавать его не хотел; костюм его выглядел так же странно, как и пальто на вешалке; это был светлый, несколько полинявший летний костюм; он был высокого роста, гораздо выше, чем тот Янош Хамар, который остался в моих воспоминаниях и которого мои ощущения наотрез отказывались признавать, ибо гул моих ощущений защищал другие чувства; лицо его было бледное и красивое, а костюм и рубашка – мятые.

Что, не узнал, спросил он.

Я разглядывал красное пятно на его лбу и видел, что, как бы он ни старался вытирать глаза, один глаз его продолжал слезиться, и тогда я сказал, что не узнал его, сказал потому, что не хотел его узнавать, да и правда, в нем было что-то совсем незнакомое, однако скорее всего я сказал это потому, что хотел придерживаться той лжи, с помощью которой мои родители на долгие годы вычеркнули его из моей жизни, а еще я подумал, что, держась этой лжи, я, быть может, смогу отдалить его от моей матери.

Но моя драгоценная мамочка не поняла или, скорее, не захотела понять моего упрямства и опять солгала, вынуждена была солгать, чем оттолкнула, просто убила меня; она притворилась, будто крайне удивлена тем, что я не узнал этого человека, притворное удивление было адресовано ему, она хотела своим удивлением создать видимость, будто все дело в моей странной забывчивости, и вовсе не из-за них мне пришлось забыть его; из-за лжи она волновалась и поэтому говорила сухо и сдавленно, я слушал ее тогда с отвращением, однако сейчас, давно уж оправившись от стыда за свою неловкость, от терзавшей меня детской обиды, я скорей восхищаюсь ее самообладанием; в конце концов, я вошел, возможно, в самый драматический момент их встречи, и ей не оставалось иного, как прикрыться какой-то ролью – роль напрашивалась сама, она была моей матерью и заговорила со мной как мать с сыном, ей нужно было очень быстро вернуться

к этому амплуа, и от душевного напряжения она совершенно пере-
менилась: в постели сидела рыжеволосая красавица с зардевши-
мися щеками, перебирая слегка дрожащими чуткими, нервными
пальцами тесемки ночной рубашки, словно хотела себя задушить;
эта женщина, с фальшью в голосе изумлявшаяся тому, что я так бы-
стро забыл человека, которого я ненавидел, мне показалась чужой,
и при этом трепет ее прекрасных зеленых глаз все же выдавал, на-
сколько она беззащитна в этой щекотливой, мучительной для нее
ситуации.

Чему я в принципе был даже рад и сразу хотел ей сказать, что
она лжет, прокричать на весь мир, что моя мать лгунья, что она
всех обманывает, но я так и не смог ничего сказать, потому что
меня душил этот гул в голове, и навернувшиеся было на глаза сле-
зы стекли куда-то мне в глотку.

Но незнакомец, видимо, не почувствовал ничего из того, что
происходило между мной и матерью, и, как бы пытаясь помочь
мне, как-то нейтрализовать слышимое в ее тоне неодобрение, ска-
зал: как-никак пять лет, из чего я понял, что я не видел его пять
лет, и голос его, его смех показались мне очень приятными, уте-
шительными, показалось, будто он смеется и над этими пятью го-
дами, обращает их тут же в шутку; он уверенным легким шагом
двинулся в мою сторону, и от этого стал знакомым, его походка,
смех, открытость голубых глаз, а самое главное, доверие, которое
я не мог не почувствовать, все это сломало мое желание оборо-
ниться и защищать себя.

Он обнял меня, и мне пришлось сдаться; он, все еще смеясь, ска-
зал, что пять лет срок немалый, и смех его был адресован скорей
моей матери, которая продолжала лгать, будто они сказали мне,
что он был за границей, хотя на самом деле они сказали мне вовсе
не это; я спросил у них лишь однажды, где Янош, и тогда не отец,
а именно моя мать сказала, что Янош Хамар, увы, совершил тяг-
чайшее преступление, и поэтому мы никогда не должны говорить
о нем.

Объяснять мне, что это за преступление, было не нужно, я знал,
что «тягчайшее преступление» означает измену, и, стало быть,
он больше не существует, его нет и не было, и даже если он еще
жив, то для нас он все равно умер.

Мое лицо коснулось его груди: тело его было жестким, костля-
вым, худым, и поскольку я невольно закрыл глаза, чтобы забыть-
ся и утонуть в звучащем во мне непрерывном гуле, в единствен-
ном прибежище, которое в этот момент предлагало мне мое тело,

я смог почувствовать в этом мужчине многое, я чувствовал горячо перетекавшую в меня нежность, его не способную вырваться на свободу радость, необычную легкость и вместе с тем какую-то почти судорожную силу, сконцентрированную только в жилах, хрящах, истонченных костях, но все-таки я не мог целиком предаться его объятиям, не мог оторваться от материнской лжи, а доверие, которое я к нему, к его телу испытывал, казалось мне слишком знакомым, оно напоминало мне о похороненном прошлом, говорило мне об отсутствии телесной связи с отцом и, более отдаленно, обо всех тех муках, которые я пережил в своей любви к Кристиану; от него веяло абсолютной уверенностью, которую сообщали жесткие контуры его мужского тела, и многократным крушением этой уверенности, и именно его тело открыло мне то пятилетней давности прошлое, когда я еще с полным доверием мог прикасаться к чему угодно, и именно эта непомерная открытость чувств делала меня столь сдержанным в его объятиях.

Я не мог быстро перечеркнуть и переварить в себе эти годы и не знал, что время судьбы не имеет обратного хода; они говорили друг с другом поверх моей головы.

Почему они должны врать, сказал он, если он сидел в тюрьме.

Моя мать пробормотала на это нечто такое, что в то время они не могли мне все в точности объяснить.

На что он повторил, уже более легкомысленно и игриво, что да, он сидел в тюрьме, что он прибыл прямиком оттуда, и, хотя он говорил это мне, игриво-злой тон его был адресован матери, которая, ища в этой игривости некоторое оправдание для себя, заверила меня, что Янош сидел не за кражу или грабеж.

Но он не позволил ей ускользнуть, увести нас в сторону и заявил, что скрывать ничего не будет! с какой стати он должен что-то скрывать?

И тогда моя мать, с ненавистью, понизив голос, набросилась на него: хорошо, если он полагает, что это нужно, то пусть рассказывает! что означало, что она запрещает ему что-либо говорить, защищая тем самым меня, его же она готова была просто изничтожить.

И то, что она не отталкивает меня от себя окончательно, что кричит у меня за спиной, пытаясь меня защитить от чего-то, было все же приятно, хотя странная эта защита отбрасывала меня от порога знания назад в мрачное царство недоговорки; незнакомец ничего не ответил, их перепалка зависла незавершенной над моей головой, хотя я чувствовал, что я должен, имею право знать!

а может, и правда не стоит, мелькнула в его глазах неуверенность; он, крепко держа мои плечи, отстранил меня, чтобы как следует рассмотреть, и я, следуя за его взглядом, изучающим мое тело, лицо, почувствовал, как во мне раскрывается время, потому что от зрелища, от меня, от того, что глазам его представлялось как рост, изменения, он сделался веселым и бесконечно довольным, казалось, он пожирал глазами произошедшие во мне за пять лет перемены, наслаждался тем, как я вырос, тряс меня и похлопывал по плечам, и в это короткое время я тоже смотрел на себя его глазами, но во мне, во всем теле, в каждой его клеточке его взгляд отзывался ужасной болью, как будто тело мое было сплошным обманом, он наслаждается мною, а я стою перед ним нечистый, и это было так больно, так нестерпимо больно, что слезы, застрявшие у меня в глотке, нашли выход в виде тихого скулющего звука; он, видимо, этого не заметил, потому что звучно и яростно, чуть не кусая, расцеловал меня в обе щеки, а потом, словно никак не мог насладиться прикосновениями и всем моим видом, поцеловал меня в третий раз; в это время мать из глубины комнаты попросила нас отвернуться, она хочет встать, я же, захлебываясь и хрипя, заревел уже в голос, и после третьего поцелуя неловко, а неловкость вызвана была как раз моим смятением, я тоже ткнулся губами в его лицо, в тяжелый запах его кожи, я уткнулся в его лицо рвущейся изнутри болью, но он и этого не заметил, а рывком прижал меня к себе и не отпускал, то есть заметил, конечно, потому что я чувствовал, как тело его впитывает в себя мои рыдания.

Гул словно бы изливался из меня вместе со слезами, я не знал, почему я реву, не хотел реветь, не хотел, чтобы он догадался, чтобы они заметили, что со слезами из меня истекает моя порочность, но пока я так мучился, предав себя его телу, в нем что-то неожиданно прервалось.

Нежность поднималась из каких-то пустот его тела, будто по мелким порам и трещинкам в скальных породах собиралась в быстрые ручейки, чтобы, достигнув поверхности, превратиться в инертную силу рук, поясницы, дрожащих бедер; ничего вроде бы не произошло, ничего вроде бы не изменилось, он по-прежнему обнимал меня с мягкой силой нежности, однако ее истоки внезапно иссякли, она кончилась, превратившись в безмолвие.

Я не знаю, как долго отец стоял в открытых дверях.

Я стоял спиной к нему и заметил его последним, когда онемевшая нежность подсказала мне, что за моей спиной что-то происходит.

Он смотрел на отца поверх моей головы.

Мать стояла перед кроватью, потянувшись за пеньюаром, висевшим на спинке кресла.

Отец стоял в пальто, с серой велюровой шляпой в руке, прямые светлые волосы упали ему на лоб, но он не спешил, как это обычно делал, отбросить их назад своими длинными нервными пальцами; он был бледен и смотрел на нас затуманенным взглядом; казалось, он смотрел даже не на нас, а разглядывал нечто непостижимое на месте наших обнявшихся тел, некое видение, мираж, и не мог взять в толк, как оказался здесь этот мираж, я понял это по его глазам, обычно пронзительно чистым и строгим, но теперь, видимо, от потрясения, подернутым дурной поволокой; губы его беспрерывно дрожали, как будто он силился что-то сказать и не мог, что-то его останавливало.

Мои слезы, липкой пленкой размазавшиеся по щекам, были тут совсем неуместны, а их молчание, глубокое и оцепенелое, заставило меня всем телом своим ощутить, насколько я лишний здесь; наверное, нечто подобное чувствует загнанный зверь, когда бегству мешают не только умело сооруженная западня, но и его парализованные инстинкты.

Он медленно и устало выпустил меня из своих объятий, как выпускают из рук какой-то предмет, мать застыла на месте.

И все это длилось неимоверно долго, возможно, за время этого молчания прошло целых пять лет.

И то, что я узнал об отце, роясь в его бумагах, показалось мне пустяками по сравнению с тем, что стало заметно на его лице теперь и чего, может быть, мне тоже не следовало знать; он весь как-то съежился, высокое стройное тело, каким оно мне всегда виделось, подломилось под весом пальто, его уверенная осанка и поступь оказались видимостью, и все эти изменения как бы сконцентрировались в кривизне спины, он ценою неимоверных усилий удерживал голову прямо, она прыгала и раскачивалась над воротником пальто, и когда он пытался сказать то, что никак ему не удавалось, то от усилий дрожали не только губы, дрожь эта передавалась его ноздрям, ресницам, бровям, сминала в морщины кожу на его лбу, а другая какая-то сила все время пыталась скривить его шею, и то, что хотели произнести его губы, застревало уже где-то в гортани, в плечах; всегда безупречно одетый, он выглядел теперь растрепанным, галстук сбился в сторону, задрал угол воротничка, пальто и пиджак были нараспашку, рубашка на животе выбилась из-под брюк; по суетливым движениям, возбужденности и растерянности,

в чем он, естественно, не мог отдавать себе отчета, казалось, что он потерял достоинство и рассудок; мне до сих пор неизвестно, от кого и как он узнал об этом, если все обстоятельства говорили о том, что Янош появился у нас совершенно внезапно, во всяком случае я представляю себе это так, что в момент, когда эта весть до него дошла, он вскочил и бросился к служебной машине, одновременно раздавленный и счастливый, ибо душа его, если таковая вообще существует, молча раскололась надвое, в то время как он по привычке все еще представлял себя цельной личностью; по-видимому, в нем с одинаковой силой бушевали два непримиримых чувства, отчего лицо его дергалось и дрожало, а голова прыгала и раскачивалась.

Но до сих пор я говорил лишь о силе и ритме, о динамике чувства отца, об окраске его, направленности, пульсации и дыхании, то есть вовсе не о самом чувстве, а о внешних его проявлениях; что на самом деле могло в нем происходить, можно попытаться приблизительно описать с помощью метафоры: он был одновременно ребенком и стариком, как будто черты лица его раздернули в разные стороны, к полюсам этих двух возрастов, он был смертельно обиженным ребенком, ребенком, которого до этого мир баловал лживыми иллюзиями, прививая его рассудку идиотское благодушие, а теперь, когда тот же самый мир повернулся к нему своим жестоким оскалом, когда вершится не то, что ему хотелось бы, к чему он привык, он, столкнувшись с реальностью, предпочитает дуться, сердиться, ненавидеть, хныкать, не желая видеть того, что он видит, ибо это причиняет боль, от которой впору завывать, и поэтому он с еще большим отчаянием пытается вернуться в мир убаюкивающих иллюзий, снова хочет припасть к материнской груди, хочет по-прежнему быть идиотом, берет палец в рот, ищет сосок, и, следовательно, все, что до этого мне виделось на его лице прозрачным, чистым и ясным, казалось строгостью нравственной дисциплины, что всегда немного отталкивало от него, теперь словно раскрыло свои истоки: его дурацкую доверчивость, то, что его всегда водили за ручку; он пыхтел, надувая губы и раздувая ноздри, хлопал ресницами и дергал бровями совсем как ребенок, что на взрослом лице выглядело уродливо и нелепо, яснее сказать, в раздерганном лице этого человека я увидел черты ребенка, который так и не повзрослел; в то же время ребенок казался намного старше своих лет, бледность делала его тенью, каким-то дряхлым старцем, которого скрытая за иллюзиями реальная, настоящая жизнь с ее жестокостями и кровавыми злодеяниями разруши-

ла, раздавила и измельчила до такой степени, что в нем не осталось ничего невинного, в нем слабеньким огоньком еще теплится инстинкт самосохранения, он все знает, все видит и понимает, его ничто не может застигнуть врасплох, а если все же застигнет, то он воспримет это как повторение чего-то бывшего в прошлом, и поэтому тонкая завеса проницательности и понимания на его лице скрывает скорее старчески дряблую скуку, чем истинное влечение или любовь; казалось, в метаниях между двумя крайностями, между детством и старостью, между прошлым и возможным будущим, лицо его было не в состоянии найти благородное выражение, нужное для той роли, которая помогла бы справиться с ситуацией, и просто распалось на части.

Янош Хамар наблюдал за этим беззлобно, почти растроганно, словно бы опираясь на некую обнаженную до костей силу, он смотрел на него, как оглядываются на предмет минувшей любви, как улыбаются, думая о потерянном прошлом, с тем особенным мягким выражением, с каким мы пытаемся утешить слабого, помочь близкому, отождествиться с ним, подбодрить его наперед нашим участием, пусть говорит, не молчит, мы поймем его чувства или, во всяком случае, будем стараться понять их.

Я был уверен, точнее, уверены были мои ощущения, что моим настоящим отцом был Янош, а не эта смешная фигура в нелепо огромном зимнем пальто, и тогда я вдруг вспомнил, какая темная и густая шевелюра была когда-то у Яноша, и единственная причина, почему я не сразу распознал это истинное, глубинное внутреннее сродство, которое я все время носил в себе, была в том, что изменился цвет его кожи, она потеряла живую смуглость и висела на его костлявом лице бледная и морщинистая.

Самым загадочным было лицо моей матери; без того чтобы двинуться с места или завершить начатое было движение, она разделила своим лицом двух мужчин и словно бы подтвердила правильность моих ощущений.

И тогда дрожащие губы стоявшего в зимнем пальто отца наконец-то нарушили тишину первой фразой, он сказал что-то вроде: ну вот, все же к нам вернулся.

На лице Яноша боль смазала улыбку, но когда он сказал, что вынужден был это сделать не по своей воле, улыбка и боль появились на его лице одновременно, и он продолжал: его мать умерла два года назад, как отец, наверное, это знает, и первым делом он, конечно, отправился к себе домой и узнал о ее смерти от людей, которые тем временем заняли его квартиру.

Мы не знали об этом, сказал тот отец, что был в зимнем пальто.

Однако в этот момент резко, пронзительно, будто наткнувшаяся на сучок пила, взвизгнула моя мать, прокричав: ну хватит!

Между ними снова повисло молчание, и когда моя мать судорожным задыхающимся голосом добавила, словно бы мстя кому-то, что они знали, но на похороны не пошли, я почувствовал, как меня покидают силы и поэтому я не могу уйти.

Все молчали, словно бы погрузившись в себя и тоже собираясь с силами.

Ладно, сказал Янош чуть позже, это не имеет значения, и улыбка окончательно исчезла с его лица, осталась лишь боль.

Это придало уверенности моему отцу в пальто, он тронулся с места и направился к нему, и хотя он просто шел, держа в руке шляпу, все же казалось, будто он собирается обнять его, но тот, как бы намекая на свою боль, виновато поднял руку, умоляя его не подходить ближе.

Он, в своем зимнем пальто, остановился, волосы его искрились в пучках яркого света, и я не знаю в точности почему, быть может, от прерванного движения, шляпа выпала из его руки.

С этим нужно покончить, сказала, точнее, прошептала мать, словно опасаясь нарваться на резкий протест, и еще тише повторила, что им надо с этим покончить.

Они обернулись к ней, и по взглядам обоих видно было, что оба надеялись, что она, женщина, им поможет.

И от этого возникло ощущение, что они снова втроем, снова вместе.

Но только помочь здесь никто никому не мог, никто; какое-то время спустя Янош отвернулся от них, он, видимо, не хотел опять быть втроем, они же, оставшись с глазу на глаз, обменялись у него за спиной ненавидящими взглядами и какими-то знаками, он, казалось, смотрел в окно, но при этом, глядя на капель за окном, на раскачивающиеся голые ветки, неожиданно, со стоном, всхлипнул, и слезы тут же потекли у него из глаз, но он быстро их подавил, сглотнул, хорошо, сказал он, я знаю, сказал он, и тут же окончательно расплакался, а мать моя заорала, я что, не вижу, что мне нечего делать здесь? и совсем уже истеричным голосом провизжала, чтобы я убирался вон!

Я бы с удовольствием так и сделал, но не мог, так же как и они не могли сделать ни шагу навстречу, все стояли слишком далеко друг от друга.

Итак, ты требуешь от меня какого-то отчета, сказал мой отец слишком громко, ибо смог наконец сказать то, чего так боялся сказать.

Нет, нет, извини, сказал Янош, кулаком вытирая глаза, причем, как и прежде, один глаз его так и остался мокрым, извини, но я пришел не к тебе, я пришел в этот дом, не к тебе! и отцу моему нечего опасаться, никаких допросов не будет! им вообще не о чем разговаривать, а если бы он задумал вырезать всю семью, то, наверное, сделал бы это как-то иначе, не так ли? но в любом случае с этого момента, как бы ни было это неприятно моему отцу, ему придется считаться с тем, что он, Янош, вернулся, что он еще жив, что его не сгноили и что он теперь будет говорить все, что считает нужным.

381

А не думает ли он, очень тихо спросил мой отец, что он тоже имеет к этому некоторое отношение?

К освобождению или к аресту, спросил тот.

К освобождению, разумеется.

Нет, честно говоря, он так не думает, напротив, в силу некоторых обстоятельств он вынужден предполагать обратное.

Иными словами, он все же думает, что он тоже причастен.

К сожалению, сказал Янош, некоторые обстоятельства он не смог забыть, для этого пяти лет было недостаточно, легче всё забывают те, кого уже нет в живых, и им, наверное, нужно было работать более основательно, более дальновидно! чтобы не осталось ни одного, кто еще помнит.

В таком случае пусть он будет любезен сказать, что за обстоятельства он имеет в виду, сказал мой отец, тот, что в зимнем пальто.

В этот момент мать выпустила из рук пеньюар и, скрючившись, словно с нею стряслось нечто страшное, прижала ладони к животу, давя на него, чтобы остановить что-то происходящее в нем.

Нет, он вовсе не думает, что условия благоприятствуют тому, чтобы им пускаться сейчас в обсуждение всяких малоинтересных подробностей.

Нет, нет, не сейчас, прошептала им мать, не сейчас!

Что значит малоинтересные, когда дело касается его чести, нет, он требует, категорически требует, чтобы он сказал, какие такие обстоятельства он имеет в виду, пусть выкладывает!

Янош долго молчал, но это было уже другое молчание, чем минуту назад, насыщенное их эмоциями, отец от запальчивости обрел некоторое равновесие, его чувства вернулись в накатанную колею идейной убежденности, что придало ему духу, однако под хрупкой маской вновь обретенной силы все же видны были страх и смирение, с которыми он ожидал, что же скажет другой, между тем как последнего завязавшаяся вопреки его воле борьба странным

образом сделала неуверенным, ибо как бы он ни старался формулировать свои мысли обтекаемо, тщательно подбирая слова, как бы ни стремился держать таким образом на дистанции этого презируемого им человека, с лица его постепенно исчезли нежная чувственность и щемящая боль, вызванные шоком внезапной свободы и чувством бездомности, известием о смерти матери, его страстной встречей с нами, не говоря уж о зрелище изувеченного тела моей матери, которое само по себе было достаточным для того, чтобы человек эмоционально ощутил себя раздавленным всмятку колесом судьбы, тем не менее, в отличие от моего отца, он в этом споре пытался избавиться от бремени чувств и вынужден был теперь, совершенно лишенный каких бы то ни было опор и защиты, вступить в борьбу совершенно голым и безоружным, он мучился, силился улыбаться, но мучили его не его чувства, а обрушенная на него богами свобода, и с некоторым жеманным преувеличением мы могли бы сказать, что, что подбадривая и понукая его, рядом с ним стоял мифологический Ментор, он помрачнел, морщины его разгладились, и на лице появилась усталость, но не бессильная, а усталость человека, который настолько уверен в своих убеждениях и в своей правоте, причем правоте не мелочной и не личной, а общей и неделимой, совпадающей с самой универсальной правдой настолько, что сам процесс ее доказательства кажется делом заведомо скучным, напрасным и бесполезным; а с другой стороны, с точки зрения нравственной эта борьба не представлялась ему слишком элегантною, ибо правым в ней мог оказаться он и единственно он, ибо он был жертвой, и именно эта роль, когда он был уже на свободе, казалась ему постыдной, брать ее на себя не хотелось, и все-таки столкновение было неизбежно, ибо оно уже началось, какое-то время они уже говорили на тайном языке, полностью понятном только им двоим, на том языке непрерывной бдительности и подозрений, настороженности и недоверия, истоки которого мы так пытались понять в наших с Майей поисках, то был их язык, единственное оружие, которым они могли сразиться, язык их прошлого, их общий язык, который Янош, если он не хотел потерпеть поражение, не мог игнорировать, не мог считать его скучным или бессмысленным; их общность он ненавидел и пытался найти зацепку, какое-то выражение, информацию, с помощью которых он мог бы ускользнуть от самого себя.

Послушай, сказал он замедленно, как бы желая одним этим словом выиграть драгоценное время, тебе, конечно, известно гораздо лучше меня, что тебе можно и чего нельзя, но, во-первых, не надо на меня орать, к твоей правоте это ничего не добавит! а во-вторых,

позволь мне спросить тебя очень тихим и совершенно спокойным тоном и независимо от моего так называемого дела, которое, между нами, не бог весть что, сколько смертных приговоров ты подписал?

И добавил, что это интересует его с чисто статистической точки зрения.

Отец некоторое время молчал, они смотрели, вцепившись друг в друга взглядами, а потом мой отец, переняв его обтекаемый стиль, заявил, что считает такую постановку вопроса неправомерной, поскольку он, как известно, никогда не подписывает смертных приговоров, ибо это не входит в круг его полномочий, то есть вопрос, во всяком случае в этой форме, представляется ему неуместным.

Ну конечно, он об этом совсем забыл! к сожалению.

Именно так, неохотно сказал мой отец, как прокурор, он может требовать смертного приговора, однако же, как известно, приговор по собственному усмотрению выносят народный судья и двое народных заседателей.

И правда, воскликнул Янош, по закону, наверное, так и есть! и пусть мой отец не обижается на него, в этих хитросплетениях он не разбирается, поэтому перепутал.

Да, все так, ответил отец, и не надо путать!

Ну тогда все в порядке!

Мне очень хотелось выйти из комнаты, но я не осмеливался всколыхнуть своим телом воздух.

Потому что он полагает, угрожающе тихим голосом продолжал отец, во всяком случае, насколько он знал его в прошлом, когда еще неизвестно, кто из них двоих был более радикальным! словом, он полагает, что на его месте Янош вел бы себя точно так же, то есть со всей страстностью убеждений исполнял бы свой долг, не так ли? и поэтому он считает чистой случайностью, в какой роли был каждый из них в течение этих последних пяти лет.

Их голоса приглушились до шепота, до шипения, а мать тем временем все умоляла их: не сейчас, не надо, я вас прошу, не сейчас.

Вот видишь, и о случайностях я совсем забыл, прошептал Янош, но если это были даже случайности, то из них получился факт, который тебя странным образом все же беспокоит, почему? откуда эта смешная нервозность? ты говоришь, такая мне выпала роль, ну и ладненько! ты здесь, а я там, все в порядке, и я вовсе не собираюсь тебе ничего рассказывать, понимаешь?

Зато он, сказал мой отец, готов рассказать ему все, что знает, и расскажет, только просит сперва, да, просит, потому что требовать

ничего не имеет права, пояснить ему, на какие такие некоторые обстоятельства только что намекал ему Янош.

Ибо это касается твоей чести, сказал тот.

Да, моей чести, ответил ему мой отец, тот, что был в зимнем пальто.

И снова воцарилось молчание, пользуясь которым, я двинулся к двери, и от этого молчания моя мать открыла глаза, потому что хотела видеть, что в этой тишине происходит, я прошел мимо нее, но она явно не заметила, что я снова обрел способность двигаться.

Ты очень умело ведешь мой допрос, сказал Янош, ведь ты знаешь обо мне все, наверное, даже больше, чем я о самом себе.

О чем он?

Но он не будет говорить ни о чем, он с ним не желает о чем бы то ни было разговаривать.

Это я услышал уже у самых дверей, но выйти так и не смог – так громко завопил тут отец; казалось, задрожала земля, и все, что на ее тонкой коре было создано человеком, в этот момент содрогнулось и затрепало, готовое рухнуть, рассыпаться в прах, были слезы и дикий вопль, тот мужской плач, который от убийства отделяют лишь последние крохи самообладания, обеими руками он стискивал себе виски, чтобы не наброситься на другого, и казалось, что голова его вот-вот расколется, он выкрикивал, рыдая: за что? за что? что этого он не выдержит! что он ничего не может понять! и не может рассказать о тех жутких ночах, когда он ждал, что следующим будет он, когда он остался совсем один, думал, что будет дальше, когда он чувствовал себя в полном одиночестве, он не знает, стыдиться ему этого или нет, и он просто не понимает, почему его лучший друг, из-за которого он едва не попал в мясорубку, не хочет с ним разговаривать.

Ты ничтожен, смешон, отвратителен, спокойным и ясным тоном сказал Янош.

Я держался за белый косяк двери.

Но почему, почему? неужели же тот не видит, что этого он не выдержит? не видит, как ему это больно?

Когда ты сюда вошел, сказал Янош, и я посмотрел на тебя, то подумал: не может быть, чтобы в тебе не осталось хотя бы немного порядочности и здравого смысла, чтобы понять, что ты совершил.

Руки его упали, и показалось, что на мгновение дыхание его прервалось, приоткрытые губы застыли в той детской боли, которая вырвалась в этом жутком мужском рыдании, и все же я чувствовал, что это не слабость, его тело сохраняло силу.

Его тело, казалось бы, говорило, что вся его жизнь – не более чем минутное любопытство и его теперь не волнует ничто, кроме того, о чем ему может поведать другое тело.

Хорошо, со значением сказал Янош, покончим с этим, и, распахнув свои голубые глаза, глубоко заглянул в голубые глаза другого, и все до последней морщинки на его лице расслабились, его лицо упорядочилось, но я хотел бы, чтобы ты правильно понял меня, сказал он, на второй день, сказал он, а ты, разумеется, должен знать, что такое этот второй день, мне показали бумагу с твоей подписью, сказал он, твои показания о том, что я, освободившись из тюрьмы в мае тридцать пятого, якобы со слезами признался тебе, что, не выдержав пыток, согласился сотрудничать с тайной полицией, – тут он умолк, глубоко вздохнув, – и ты, поскольку я так уж сильно плакал, якобы обещал мне, что не дашь делу ход, а, найдя подходящий повод, на время выведешь меня из организации, чтобы мне не о чем было стучать в полицию, и это не месть, не требование отчета, я во все не призываю тебя к ответу! вскричал он, однако когда по моей вине провалилась наша акция в Собе и из-за меня арестовали Марию, то тебе якобы стало ясно, что я все же на них работаю.

Но это же глупость! ведь всем известно, что после этого они еще целых два месяца работали вместе с ним в подпольной мастерской, сказал мой отец.

А он, с того самого второго дня, потому что в первый день он еще не хотел и не мог понять, чего от него добиваются, точнее сказать, на третий день, потому что для этого нужно было время, он все понял и взял на себя все, что им было нужно.

Но он никогда не подписывал никаких показаний, настаивал на своем мой отец.

Подписал и даже тщательно, по своей привычке, исправил в них опечатки, сказал Янош.

Нет, нет, это какое-то недоразумение, он никогда в такой форме не давал на него показаний, да его никто и не просил об этом.

Ты лжешь, сказал Янош.

Я, уповая на помощь гладкого белого косяка двери, попытался выскользнуть из комнаты, и это мне почти удалось, я был уже за порогом.

Янош, поверь, сейчас он и правда не лжет тебе, услышал я слабый голос матери.

Нет, лжет, сказал тот.

В этот момент я, не расслышав до этого стука ее шагов, буквально столкнулся в дверях с моей бабушкой.

Нет, Янош, я бы об этом знала, Янош, я этого не позволила бы, его никогда никто не допрашивал, услышал я голос матери.

Бабушка, раскрасневшись от жара плиты, появилась из кухни с тем выражением застенчивого торжества и тревожного ожидания, которое появляется на лице хозяйки, когда приготовление пищи ничуть не в тягость, когда это не обременительная ежедневная рутина, а торжественная церемония, включающая в себя сотни движений, чистку и нарезку овощей, приподнимание крышек, снятие пробы, подхватывание кастрюль с огня, ошпаривание, промывку, помешивание и процеживание, церемония, получающая истинный, прекрасный и праздничный смысл от того, что где-то в дальней комнате сидит в ожидании ужина обожаемый гость, и вот уже все готово и можно всех звать к столу, вот только придется ли все по вкусу? видно было, что она явилась не прямо из кухни, а юркнула перед этим в ванную комнату, поправила там прическу, слегка припудрила щеки и напмадила губы, возможно, сменила халат, чтобы избавиться от кухонных запахов, и теперь на ней был серебристо-серый вельветовый капот, который так подходил к ее серебристо-седым волосам, и она, чтобы не столкнуться со мной, на мгновение обняла меня, и я почувствовал запах ее духов, две капельки которых она, по обыкновению, только что растерла за ушами.

Я не думаю, что она не расслышала последние фразы, и даже если, поглощенная своей миссией, не поняла их смысла, все же тотчас почувствовала, по их интонации и по самому открывшемуся ей зрелищу, по тому, как все трое, в отдалении друг от друга, стояли, застыв на месте во власти своих эмоций, не могла не почувствовать роковое напряжение в комнате, но ее это все-таки не смутило, она отстранила меня решительным, но негрубым движением и поспешно, в своих тапочках на каблучках, с торжественным видом, ступила в комнату и, словно слепая, глухая или неисправимо глупая, объявила во всеуслышание: дети, прошу к столу!

Моя бабушка, разумеется, все поняла, только она, с ее рафинированностью и изысканностью, с ее жесткой прямой спиной, с ее пуританской, не признающей шуток серьезностью, с шелковистыми усиками под носом и резко очерченными суховатыми чертами лица, которые на сей раз, явно от вызванного присутствием Яноша и хлопотами по кухне волнения, все же делали ее красивой, женственной, была ископаемым образцом буржуазного модус вивенди; она просто вошла и в силу своей ограниченности не посчиталась с событиями и проявлениями человеческих чувств,

которые, надо думать, не вписывались в ее представления о достойном поведении и рамках приличия, вошла и словно бы перечеркнула все, что происходило здесь, словно бы своими снисходительными манерами, в которых не было ничего аристократического, ибо она не смотрела на вещи свысока, а как бы надменно обходила их, словно желая сказать, что на вещи, которые нам неподвластны, лучше вовсе не обращать внимания или уж, во всяком случае, не выказывать, что мы все видим и понимаем, и созданной тем самым иллюзией как бы способствовать неудержимому развитию событий, лавировать, выжидать, не вмешиваться, крепко подумать, прежде чем что-либо предпринять, ибо всякое действие было бы уже суждением, а с этим надо быть крайне осторожным! подобное поведение в детстве меня, разумеется, очень смущало, меня просто тошнило от его лживости, и прошло очень много времени, пока я на собственном горьком опыте не понял всей его мудрости, не почувствовал, не догадался, что кажущаяся фальшивой преднамеренная слепота и притворная глухота, возможно, требуют не меньшей гибкости и понимания, чем открытое проявление сочувствия и готовности помочь; возможно, для этого нужно больше эмпатии и гуманного опыта, чем для так называемой искренности и преследующего какие-то истины непосредственного вмешательства, дело в том, что подобное поведение является своего рода тормозом для нашей врожденной агрессивности и поспешных суждений, хотя и ведет к агрессивности несколько иного рода; она чувствовала себя в своей стихии, вошла не моргнув и глазом, как в какой-то салон, где гости, потягивая аперитив, болтают о том о сем, но то, насколько она отдавала себе отчет в серьезности происходящего, стало очевидным, когда, не дав себе времени отдышаться, она повернулась к отцу, выразила удивление, что он тоже здесь, а значит, нужно будет позаботиться еще об одном приборе, и самым будничным, небрежно-распорядительным тоном велела ему снять пальто и помыть руки, и к столу, не то все остынет! а сама уже подошла к Яношу, ради которого и разыгрывался весь спектакль, дескать, мы, да будет тебе известно, что бы ни происходило, остаемся семьей, в которой все идет гладко и полюбовно, идет как принято, и здесь, по-моему, в самую пору заметить, что в этом последнем выражении наиболее концентрированно представлена во многом мудрая и практичная мораль буржуазного этикета, а именно, что в жизни всегда и любой ценой, даже вопреки самой жизни все должно совершаться как заведено; обед, к сожалению, на скорую руку, не как обычно, сказала она, улыбаясь,

и посмотрела на Яноша долгим взглядом, давая ему возможность прийти в себя, затем осторожно коснулась его руки и сказала, что он и представить себе не может, как она счастлива.

Агрессивное, оперирующее лукавыми видимостями поведение бабушки само по себе, разумеется, не смогло бы охладить их дошедшие до точки кипения чувства и направить их в более свободное русло взаимного понимания, напротив, они находились в таком состоянии, что не то что не могли вдруг смирить направленные на выяснение отношений убийственные эмоции, но каждый из них так жаждал доказать свою правду, что я опасался, что бабушкино лукавство будет последней каплей, и весь тот гнев, стыд, отчаяние, подозрительность, боль, унижение, которые всколыхнулись в них в те несколько минут, обрушатся теперь на ее голову в поисках решения, в надежде найти покой в какой-то ощутимой правде; моя мать побагровела от ненависти к своей матери и, казалось, готова завопить, чтобы та убиралась! или придушить ее, чтобы только не слышать этот столь ненавистный ей фальшивый голос; но от сего рокового шага ее удерживала, опять же, мораль, их мораль, разительно отличающаяся от морали бабушки, а суть ее заключалась, пожалуй, в том, чтобы ради достижения своих целей тончайшим образом различать свое легальное и тайное поведение, легальные и подпольные средства тактики и стратегии, что делало их достаточно неприступными и непознаваемыми, служило залогом морального превосходства и практической власти, так что любое неосмотрительное слово, любой резкий жест были бы равносильны измене, предательству их сообщества, они не могли позволить свободно выражать эмоции, внутренние конфликты их конспиративной жизни должны были оставаться тайной, это была та запретная зона, которую они охраняли так же тайно, как тайно работали в свое время над ее созданием, то есть они должны были решить все вопросы между собой, полностью исключая враждебный и подозрительный внешний мир, и для меня самое замечательным во всей этой сцене было то, как мирно уживались друг с другом эти два питаемые совершенно противоположными мотивами образа поведения, находя точки соприкосновения именно в лицедействе и фальши.

Конечно, позднее они продолжали с того места, где остановились, но в данный момент отец, как будто и впрямь они болтали здесь о каких-то пустяках, сказал нечто вроде того, что, да, он идет мыть руки; и это было своего рода предупреждением матери, которая еще пуще побагровела, но с готовностью потянулась за пе-

нюаром хотя бы уже для того, чтобы скрыть дрожащее ненавистью лицо, и сказала, что ей нужно переодеться, не может же она сесть за стол в пеньюаре, минуту терпения, она быстро! а на лице Яноша только что дергавшиеся от внезапного смущения морщины мгновенно сбежались в любезную улыбку, как будто этой быстротой он хотел оградить то, что нужно было оставить в тайне, этот жест тоже был машинальным, улыбка была конспиративной, что в точности соответствовало той подлинной, но фальшиво преувеличенной радости, которую излила на него моя бабушка, обе улыбки были по-своему совершенны, так как оба, и Янош и бабушка, скрывая свои истинные чувства, все же смогли их выразить.

Что до него, то он не назвал бы себя счастливым, усмехнулся он, коснувшись ответным жестом ее руки, но как бы то ни было, он рад, что он здесь, хотя еще так и не понял, что, собственно, с ним происходит; бабушкино лицо изобразило тут сочувствие, твоя бедная, бедная матушка, сказала она, причем реальные ее чувства приняли еще большую глубину, на глаза ее навернулись слезы, это было уже проявлением настоящей взаимности, оба наверняка прибегли к одному и тому же эмоциональному стереотипу, мол, не дожидая бедняжка до этого дня, и стереотип сработал, сработал скорее всего потому, что оба они искали какой-то возможной общности, и тяжелый вздох, ее интонация, навернувшиеся на глаза слезы, с одной стороны, свидетельствовали о том, что, по-видимому, об этом они уже говорили с Яношем после его появления в доме, а с другой, с тихой растроганной траурностью закрывали тему; после чего моя бабушка, собравшись с силами, мягко и утешительно, как бы обнимая при этом и его покойною мать, взяла Яноша под руку.

Я не двигался, никто больше не обращал на меня внимания, отец исчез, мать пошла переодеваться.

Мой Эрнэ уже сгорает от нетерпения, уж так он хочет увидеть тебя, со смехом сказала бабушка.

И они направились в столовую.

Янош, который легко перенял этот разговорный тон, несколько смущенный своей забывчивостью, излишне горячо спросил, как чувствует себя Эрнэ, и от этого голос его голос тоже стал фальшивым.

Как ясно видится сейчас разуму то, что тогда глаза воспринимали как жесты, а уши – как звуки и интонации, и все это по какой-то причине отложилось в памяти.

Моя бабушка, расслышав эти фальшивые нотки в голосе Яноша, вдруг остановилась в дверях столовой, как будто перед тем

как войти, ей непременно нужно было что-то ему сказать, она вынула свою руку из-под руки Яноша, повернулась к нему лицом, взглянула на него по-старушечьи потускневшим взглядом; все деланное сияние, которое только что было на ее лице, куда-то пропало, обнажив усталость и грусть, озабоченность, и все же она не сказала того, что хотела сказать, уклонилась и, сделав рассеянный вид, взяла Яноша за лацкан пиджака и в каком-то девчоночьем смущении теребила его, что, опять же, производило впечатление некоторой серьезности, вновь маскируя что-то невыразимо реальное.

И тут собранные и, казалось, уже строго контролируемые черты Яношева лица, который вроде бы уже обрел единственно подходящую к ситуации фальшивую интонацию, неожиданно снова распались, его охватило подавленное было волнение, но волнение, продиктованное не этим моментом, а предыдущими, морщины вокруг его рта и глаз беспорядочно завибрировали, он, казалось, боялся того, что могла сказать, но не скажет бабушка, однако он знал наперед, что это может быть.

Ты знаешь, очень медленно, почти шепотом сказала бабушка, так, чтобы никто не услышал, он всю жизнь был человеком очень активным, был непоседой, и теперь это все, вся эта политика, в которой я ничего не понимаю и ничего не хочу о ней говорить, его тоже совершенно сгубила, вся эта беспомощность! я знаю, ему и твоя трагедия доставила массу страданий, я знаю, хотя он никогда об этом не говорил, он все держит в себе, все время молчит! и так и живет от приступа к приступу, всех от себя отвалил, ни с кем не общается, шептала она со все большим жаром, и тогда на лице ее появилось то самое выражение обиды, ибо, собственно говоря, ей хотелось рассказывать не о деде, а о своей обиде, потому что тому никто уже не поможет! ему не нужна ничья помощь.

Янош погладил бабушку по волосам, но не тем жестом, каким утешают старую женщину, его жест был беспомощным и неловким.

Но бабушка вновь рассмеялась, желая уклониться от истинного смысла этого жеста; вот так и живем, сказала она, проходи, и распахнула двери столовой.

Но распахнула их только для Яноша, сама она не вошла, и мы наблюдали за встречей только через открытые двери.

Ему, разумеется, потребовалось все присутствие духа, чтобы принять как естественное то, к чему он был не готов.

Все превратности жизни человек переносит лишь потому, что то, что он должен бы воспринять всем своим существом, дела-

ют вместо него его рефлексy, и это порождает некое ощущение, будто наше тело не всецело присутствует в том, в чем должно бы присутствовать, и таким образом наши ощущения защищают нас от наших же собственных ощущений.

По его спине, по резко выступающим лопаткам и похудевшей жилистой шее видно было, что это не он, Янош, входил сейчас в гостиную, сам он застыл в изумлении, но какое-то гуманное чувство долга все же двигало его ногами, заставляя их нести тело в столовую.

391

Там над длинным празднично накрытым столом ярко сияла люстра, и мой дед, и впрямь едва не теряя сознание, стоял позади своего стула, крепко вцепившись в высокую спинку; он даже не поднял глаза, его взгляд блуждал где-то между предметами фарфорового сервиза с красивым желтоватым отливом, серебряными приборами и хрустальными фужерами, но на самом деле все внимание его было сосредоточено на дыхании, он, казалось, искал его, пытался его разглядеть, хрупкое лицо его было мрачно, на высоком выпуклом лбу, строгую форму которого чуть смягчали приглаженные, легкие как пушок волнистые седые волосы, над глубокими височными впадинами проступали набухшие синие вены; красивому старцу приходилось следить за каждым вдохом и выдохом, всеми силами он старался дышать ровно, без спазмов, чтобы не соскользнуть в неконтролируемый приступ, а на другом конце стола в это время восседала на подложенных ей под зад подушках моя сестренка, опрятно причесанная и одетая, в своем синем, с круглым белым воротничком платьице, и с отсутствующим видом, ничуть не смущаясь вошедшим в открывшуюся дверь незнакомцем, размеренно и упорно пинала ногой стол и стучала ложкой по своей пустой эмалированной мисочке, и все это, разумеется, с открытым ртом.

Мой дед, так и не поднимая головы, медленно глянул из-под очков, и этот взгляд выражал не больше того, что он чувствовал, но чувствовал он так много всего и так искренне, что словами не смог бы выразить и малой части; словом, голову он пока поднять не мог, но насильно растягиваемые хрипучие вдохи и выдохи стали ровнее, лицо его еще сильнее потемнело, лоб, напротив, сильнее побледнел, видно было, что он взял себя в руки.

Взглянув на Яноша, он сразу уловил в глазах гостя растерянность, он не улыбался, оставался серьезным, и все-таки в его взгляде мелькнуло что-то, что мы могли бы назвать веселостью, и этой веселостью он пытался приободрить Яноша.

Несколько игриво повернувшись к моей сестренке, он как бы сказал Яношу, да, сам видишь, она такая, а я стою здесь и сторожу, чтобы никто не мешал ей стучать по миске, раз ей так хочется, и как бы сказал еще, что и Янош мог бы как следует разглядеть ее, и нечего ему делать вид, будто он не замечает того, с чем ему все равно придется смириться.

Их глаза снова встретились, и, пока моя младшая сестра продолжала стучать ложкой по своей мисочке, оба медленно двинулись навстречу друг другу.

Они потянулись друг к другу, и над головой ребенка-дауна пара старческих рук соединилась с руками зрелого мужчины; и тогда я смог снова разглядеть лицо Яноша, оно вернулось к прежнему виду, оба стояли, поддерживая друг друга.

Эрнё, я очень много думал о тебе, после длительного молчания сказал Янош.

Если так, сказал дедушка, тогда Янош может больше ничего не говорить ему.

Он в этом нуждался, сказал Янош, да и времени для размышлений было более чем достаточно.

А он уж собрался на тот свет, сказал дедушка, и уже не надеялся, совсем не надеялся, что однажды все это может кончиться, во всяком случае не надеялся, что до этого доживет, хотя знал ведь.

Что знал, спросил Янош.

Дед покачал головой, не желая ему отвечать, и тогда, словно им нужно было что-то скрыть, но не из фальши и не от стыда, скрыть что-то рвущееся наружу с невероятной силой, они припали друг к другу, обнялись и долго стояли так без движения.

Когда они отпустили друг друга, моя сестренка вдруг перестала стучать и уставилась на них, разинув рот и издав короткий звук, неясно, от страха или восторга; бабушка за моей спиной вздохнула и поспешила на кухню.

Они же стояли, беспомощно опустив руки.

И он многие вещи там понял, сказал Янош, так много всего, сказал он, что стал чуть ли не либералом, ты можешь это себе представить, Эрнё?

Да ну, сказал дед.

Представляешь, ответил тот.

Тогда, возможно, на следующих выборах тебе нужно баллотироваться.

И они, снова схватившись за руки, захохотали прямо в лицо друг другу, оглушительным, грубым, каким-то пьяным смехом, прервав-

шимся вдруг молчанием, которое, видимо, даже во время смеха таилось внутри них, спокойно дожидаясь своего часа.

Я все еще стоял в дверях, не в силах уйти или, следуя за событиями, просто войти в столовую, я полагаю, именно это состояние обозначается выражением «быть не в себе»; я решил отвернуться и все внимание обратил на сестренку, которая, свесив набок большую голову, все еще с ложкой в ручонке, изумленно смотрела на них, то ухмыляясь и издавая смешки, то всхлипывая с отвешенной нижней губой, видимо, и сама не зная, как отнестись к этому необычному зрелищу, она чувствовала и радость, и неприязнь, и скорее всего от невозможности решить, как ей реагировать, пришла в ужас и разразилась отчаянным ревом.

Этот рев любой человек, никогда не живший рядом с умственно неполноценным, мог бы расценить просто как случайный каприз.

Вскоре меня подтолкнул к столу отец, ибо плач сестренки настолько парализовал меня, что я не мог шевельнуться, это я помню, и помню еще, как сказал ему, что не голоден.

Потом с дымящейся супницей в руках вошла бабушка.

Насколько четко сохранились в моей памяти все события, предшествовавшие этому обеду, настолько же глубоко схоронилось в ней все последующее; я знаю, конечно, что память беспощадно запечатлевает все, и поэтому вынужден признать свою слабость: я просто не желаю обо всем этом вспоминать.

Например, о том, как лицо моей матери стало наливаясь желтизной, совсем пожелтело, потом стало темно-желтым, и я это вижу, она же делает вид, будто с ней все в порядке, и поэтому я не решаюсь сказать об этом ни ей, ни кому другому.

Или о том, как еще до этого она вошла в темно-синей юбке и белой блузке, на длинных и стройных ногах – туфли из змеиной кожи на очень высоких каблуках, надеваемые лишь по самым торжественным случаям, о том, как она поспешила к сестренке, под широко распахнутым воротом блузки – яркий шелковый шарф, одетой я не видел ее уже нескольких месяцев, и как раз этот шарф показывал, насколько она исхудала, казалось, она случайно надела чужую одежду, и именно это призван был скрыть шелковый шарф; в такие минуты лезть к сестренке лучше не стоит, но мать присаживается рядом с нею на корточки и сворачивает ей из салфетки зайчика.

А также о том, как наблюдает за всем этим Янош.

И как кричит отец: уберите ее отсюда!

И ее утаскивают, после чего все трое мужчин погружаются в молчание, а вопли сестренки, все более тихие, слышны уже откуда-то издали.

И в последующие часы – чувство, будто кого-то здесь не хватает, кого-то заставили замолчать, тишина, нарушаемая только поглощением пищи.

И еще помнится ощущение конца, растянувшегося до бесконечности: как бы они ни старались опорожнять тарелки, ужин все продолжался, и все мои мысли, как бы мне улизнуть, под каким предлогом, тоже ничем не кончались.

394 А потом они заперлись в другой комнате, откуда доносились разрозненные слова и приглушенные крики, но у меня больше не было никакого желания делать из них какие-то выводы, все их слова для меня стали одинаковы.

Когда стемнело, я взял отвертку и, не включая света, но и не закрыв за собою дверь, ведь в предосторожностях уже не было смысла, мне теперь было все равно, что делать, я вставил отвертку между крышкой стола и верхним ящиком, слегка надавил на нее, замок со щелчком открылся, а когда я как раз вынимал из ящика деньги, по темной комнате мимо меня прошел дедушка.

Он спросил, что я делаю.

Ничего, сказал я.

А зачем мне деньги, спросил он.

Ни за чем, сказал я.

Он еще постоял немного и тихо проговорил: не надо бояться, пускай выяснят отношения, и вышел из комнаты.

Голос его был спокоен, серьезен и трезв, и этот идущий из какого-то другого мира голос, эта рассудочность, питающаяся совсем из других источников, разоблачили во мне, что я собирался сделать, и я еще долго стоял в темной комнате, обличенный, поверженный и вместе с тем несколько успокоенный, но деньги, всего двести форинтов, все же положил в карман.

Ящик остался открытым, отвертка осталась на крышке стола.

Я помню также, что в этот вечер заснул в постели не раздеваясь и обнаружил это лишь утром; ночью кто-то накрыл меня одеялом, словом, утром мне по крайней мере не пришлось одеваться.

Упоминаю об этом не ради шутки, а скорей в подтверждение того, какой ерундой может человек утешать себя в такие времена.

И когда я вернулся из школы, два пальто, тяжелое зимнее отцово и пальто Яноша, висели все так же, а из комнаты доносились их голоса.

Я не стал их подслушивать.

Я не помню, что я делал во второй половине дня, только смутно припоминаю, как стою в саду, кажется, даже не сняв пальто с тех пор, как вернулся домой.

Уже смеркалось, закат был красным, это я тоже запомнил как своего рода смягчающее обстоятельство, на чистом небе взошла луна, и все, что в течение дня оттаивало, теперь, когда я шел через лес, скрипело и потрескивало под ногами.

И лишь поднявшись по улице Фелхё и увидев, что шторы на окне Хеди задернуты и в комнате горит свет, я пришел в себя хотя бы настолько, чтобы ощутить пронизывающий холод, вдыхаемый вместе с воздухом.

По темнеющей улице навстречу мне шли две девочки, таща за собою санки, которые то и дело застревали в колдобинах обледеневшей, посыпанной щебнем дороги.

Нашли время на санках кататься, сказал я им, снег уж растаял.

Они остановились и глупо уставились на меня, но потом одна из них, чуть склонив голову и сердито набычась, быстро протарахтела: а вот и неправда, на Варошкutti снега еще полно.

Я обещал им два форинта, если они вызовут на улицу Ливию.

Они то ли не хотели, то ли не поняли, но я зачерпнул из кармана пригоршню мелочи и показал им; та, что была похрабрее, взяла несколько монет.

Эту мелочь перед уходом я выкрал из кармана Яношева пальто, забрав из него все подчистую.

Они потащили сани с собой через школьный двор, а я показывал и кричал им, какая дверь ведет в цокольный этаж.

Довольно долго они промучились, спуская санки по лестнице, наконец стало тихо, жуткий скрежет, производимый их чертовыми салазками, прекратился, эти глупышки боялись, что я украду их; время шло, но ничего не происходило, и я уже собирался уйти, собирался сделать это несколько раз, еще не хватало, чтобы меня увидела здесь Хеди, как вдруг появилась Ливия, в блузке и тренировочных брюках, с закатанными рукавами, должно быть, мыла посуду или пол на кухне; на этот раз санки по лестнице подняла она.

Увидев меня у ограды, она нисколько не удивилась, передала веревку от санок девочкам, которые снова со скрежетом потащили их по присыпанному шлаком двору, временами оглядываясь назад, перешептываясь и хихикая: видимо, разбираемые любопытством, что же мы будем делать.

Ливия решительной походкой шла по двору, зябко прижимая руки к плечам и несколько горбясь, словно пытаясь защитить груди от холода, а услышав хихиканье, так строго глянула на девочек, что те онемели и постарались поскорее скрыться из виду, хотя любопытство все еще замедляло их шаг.

Она подошла совсем близко к забору, так близко, что в лицо мне пахнуло теплым запахом кухни, что исходил от ее волос и тела.

А маленькие глупышки, отойдя уже на приличное расстояние, что-то еще прокричали нам.

Я молчал, но она сразу сообразила, что со мною случилось неладное, и, взглядываясь в мое лицо, пыталась понять, что именно, мои же глаза были рады видеть то, что она принесла на своем лице с их кухни: дружественное тепло совершенно будничного вечера, а кроме того, мы оба чувствовали почти то же самое, что чувствовали в то лето, когда я, стоя у ограды, ожидал ее появления, только теперь я стоял снаружи, а она внутри, и эта странная запоздалая перемена мест нам обоим была приятна.

Она просунула пальцы сквозь ограду, все пять сразу, и я тут же прильнул к ним лбом.

Теплые кончики пальцев едва касались меня, и тогда, желая, чтобы я прикоснулся к ней лицом, она прижала руку к решетке, и я, потянувшись губами сквозь ржавую проволоку, смог дотянуться до теплого аромата ее ладони.

Что случилось, тихо спросила она.

Ухожу, сказал я.

Почему?

Я сказал, что дома больше не выдержу и пришел попрощаться с ней.

Она быстро отдернула руку и взгляделась в мое лицо, пытаясь понять, что со мной случилось, и я вынужден был ответить, хотя она и не спрашивала.

Для моей матери важнее ее любовник, сказал я и почувствовал короткую жгучую боль, как удар по живому нерву, но выразить это как-то иначе я не мог, и поэтому даже боль доставляла мне некоторое удовольствие.

Подожди, сказала она, ужаснувшись, я с тобой, я сейчас вернусь.

Пока я ждал ее, боль, короткая, острая, разрывающая, хотя и прошла, но оставила после себя что-то вроде тошноты, пробежав, пусть уже не такая сильная, по всем нервным ответвлениям, растеклась по ним, и на каждом нерве, словно на веточке, раскачивалось некое ощущение или зародыш мысли, словно вся сила боли от моей не совсем точной фразы разбежалась по телу; как бы там ни было, сказать что-то точнее или правдивей я ей не мог, боль растеклась и утихла, но при этом было еще нечто более значимое, и это нечто словно бы непосредственно совпадало с биением моего сердца, ибо мозг мой ритмично, без усталости повторял слова:

«я с тобой», «я с тобой», «я с тобой», хотя я не понимал, как она может пойти со мной и как ей это вообще пришло в голову.

Было уже почти совсем темно, холодно, в морозной синеве вспыхнули желтые огни уличных фонарей.

Она, должно быть, боялась, что я уйду, поэтому ждать мне пришлось недолго, вернулась она бегом, в незастегнутом пальто, с красной шапочкой и шарфом в руках, но калитку закрыла за собой аккуратно, замка на ней не было, и нужно было набросить на нее проволочную петлю.

397

Она выжидающе остановилась передо мной, и это был тот момент, когда я должен был рассказать ей, куда я собрался, но я чувствовал, что если скажу, то все будет кончено, все станет абсурдным и невозможным, как если бы я сказал ей, что собираюсь покинуть сей мир, что было в конечном счете правдой; когда я отверткой взломал ящик стола, то мгновение колебался между деньгами и пистолетом, но признаться ей в этом было невозможно.

Да, мне хотелось бежать отсюда, навсегда исчезнуть, но мы были уже не дети.

Неторопливым красивым движением она обмотала шарф вокруг шеи, ожидая, что я все же что-то скажу ей, а поскольку я ничего не сказал, то натянула шапочку и подняла на меня глаза.

А с другой стороны, я не мог сказать, чтобы она не шла со мной, и тогда, в сущности против собственной воли, мне пришлось выдать из себя: пойдём; ибо если бы я не сказал этого, мое решение даже в собственных моих глазах сделалось бы несерьезным.

Она задумчиво окинула меня пристальным взглядом, причем не только лицо, а всю фигуру сразу, и сказала, что с моей стороны было глупо уйти без шапки, и потом, где мои перчатки; я ответил, что это неважно, и она, нарочно оставив свои перчатки в кармане, протянула мне руку.

Я взял ее теплую ладошку, и нам ничего не осталось, как двинуться в путь.

Она изумляла меня тем, что больше ни о чем не расспрашивала, словно бы точно зная то, что хотела знать.

Когда, рука об руку, мы шли по улице Фелхё, разговаривать уже не было никакой нужды, разговаривали наши ладони, взволнованно и о чем-то совсем другом, но иначе и быть не может; одна рука ощущает тепло другой, вот она, вот она в моей, и это блаженство, но блаженство все-таки столь незнакомое, что ладонь немножко пугается, но пальцы, чуть сжавшись, пытаются ей помочь, и мышца ладони, неохотно расслабившись, вминается в мякоть другой ладони,

утопает в ее темном логове, и все делается настолько правдивым и легким, что пальцы с облегчением сцепляются в замок, что порождает впечатление, что сами по себе, без посторонней силы, две ладони не могут почувствовать то, что хотели бы чувствовать.

Пальцы тоже должны быть расслаблены, полностью, до безволия, должны просто быть, ничего не хотеть, быть свободно переплетенными, но как бы не так: в их кончиках пробуждается легкое и игривое любопытство, им надо потрогать, погладить, почувствовать, да, им так надо, подушечки ладони, спуститься по возникшим при сжатии бороздкам, легко касаясь и осторожно отпрядывая, изучить другого, что постепенно, незаметно и медленно, перерастает в пожатие, в результате, когда мы начали подниматься по крутому проезду Дианы, я нарочно так крепко сжал ее руку, чтобы ей стало больно, и она даже вскрикнула, но, конечно, не слишком серьезно.

Мы не смотрели, не смели взглянуть друг на друга.

Мы чувствовали только руками, и мне показалось, что боль была все же не такой безобидной, потому что ее рука обиженно и рассерженно попыталась высвободиться из моей, но нежность моя не позволила ей, и, по мере того как ее не такая уж сильная боль рассеивалась, мы скользнули с ее вершины в благостное примирение, примирение столь окончательное, что все предыдущие наши игры и наше соперничество попросту потеряли смысл.

Дальше мы шли по проезду Картаузи, маршрут не особенно волновал меня, тем не менее я диктовал его, с инстинктивной уверенностью прокладывая его в том направлении, которое мне казалось правильным, в направлении к дальней, неопределенной и с величайшей детской самоуверенностью избранной цели; и все же я не жалею о том, что ее рука поддерживала меня, ибо если бы не она, то я слишком рано почувствовал бы, что одному ситуацию мне не изменить, если бы не ее рука, понуждающая меня осознанно пойти на безумную авантюру, на которую бессознательно я уже решился, то я бы уже наверняка повернул назад, к теплему гнездышку, куда в здравом уме я вернуться не мог, но пока я держал ее руку, пути назад не было, и сейчас, когда я вспоминаю об этом, когда фразы мои следуют по пути за нами, я могу лишь по-старчески кивать головой: да, пускай идут, удачи им, их безрассудство, я должен признаться, мне весьма по душе.

Над нашими головами по еще заснеженной насыпи проплыли два освещенных полупустых вагончика зубчатой железной дороги, и лишь несколько человек, невзрачные тени покидаемого нами мира, брели за нами по улице.

Соединив ладони, мы несли в них наше общее тепло, и когда та или иная рука, уже долго покоясь в другой, возможно, от холода или, может, уже от привычности начинала терять другую, нужно было изменить положение, но осторожно, чтобы, перехватив ладонь, не нарушить ее покоя.

Порой же, наоборот, ладони наши лежали одна в другой так естественно и так равноправно, что трудно было сказать, где была моя, где – ее, и кто кого держит за руку, она – меня, или я – ее, что, разумеется, вызывало и смутный страх, что я могу потерять свою руку в ее руке, и поэтому мне нужно было время от времени шевелить ладонью.

Невзрачные тени позади нас исчезли, мы были одни, скрип наших поспешных, пожалуй, даже чрезмерно поспешных шагов разносился по освещенной бледными фонарями дороге, теряясь среди темневших под лунным светом голых деревьев; то рядом, то в отдалении временами слышался лай собак; в воздухе, холодном настолько, что при каждом вдохе с приятным щекотом в носу смерзались тонкие волоски, чувствовался горьковатый запах печеного дыма, слева от дороги, в садах, что лежали в низине, белели крупные пятна снега – там были по большей части неосвещенные виллы, из труб которых и поднимался дым.

В тот вечер стояла полная луна, и когда мы поднимались на холм по Швейцарской лестнице, ее неподвижный лик, словно бы ожидая нас, завис прямо перед нами над ступенями.

Бесконечно длинный подъем внес в наши руки разлад; если на ровной дороге шаги наши согласовывались сами собой, то теперь либо я тянул ее, либо она – меня, и дело было не столько в ступенках, на которые нам еще удавалось подниматься одновременно, сколько в горизонтальных участках, по которым после каждых трех ступенек нужно было сделать четыре шага; и вот на одной из таких площадок, на каком-то из четырех сбивавших нас с толку шагов, которые я навязчиво подсчитывал про себя, она спросила, куда я иду.

Она не спросила, куда мы едем, а спросила, куда иду я, и все же спросила так, легко выдохнув из себя вопрос, как будто формулировка особого значения не имела, поэтому я не остановился.

К своей тете, сказал я.

Что было не совсем так.

Но, к счастью, она больше ничего не спрашивала, и мы продолжали подниматься по лестнице, по-прежнему, несмотря даже на ее вопрос, не глядя друг на друга.

Прошло, наверное, полчаса, и, поднявшись вверх, мы оба невольно оглянулись, чтобы окинуть взглядом проделанный путь.

При этом лица наши соприкоснулись, и я заметил, что она все еще хочет знать, но мне сказать было нечего, точнее, все рассказать ей было бы слишком сложно, и тогда мы одновременно отпустили руки друг друга.

Я двинулся дальше, она последовала за мною.

400 На улице Рече подъем не такой крутой, и я, чтобы избежать объяснений, ускорил шаг, но она через несколько метров, смятенная этим тревожащим отчуждением, все-таки протянула мне руку.

Она потянулась за мной, хотя знала, я это чувствовал по ее руке, что она меня бросит, и своей рукой я давал ей понять, что не собираюсь ее удерживать, я отпускаю ее.

Мы продолжали идти по безлесной вершине холма, вдоль длинной проволочной ограды отеля, а там, где ограда закончилась, нас ждал последний городской фонарь, последний желтый огонек в синеве мрака, словно бы освещавший крайний предел возможного; здесь дорога заканчивалась, и дальше, среди одиноких дубов и редких кустарников, вела тропинка; когда последний фонарный столб был уже у нас за спиной, я почувствовал, что моя рука в любой момент готова ее отпустить.

Мы шли так еще полчаса или, может, чуть меньше.

Шли по глубокой балке Волчьей долины, высокие склоны которой покрывал отливающий синевой снег, потрескивал и скрипел под ногами, и там это наконец случилось.

Она остановилась, я сразу же отпустил ее руку, а она, все еще держась за мою разжавшуюся ладонь, оглянулась назад.

Но того, что ей хотелось увидеть, она не увидела, оставленные позади огни со дна оврага были не видны.

Я должен вернуться с ней, сказала она.

Я ничего не ответил.

И она отпустила мою руку.

И сказала, чтобы я взял ее шапочку, но я потряс головой; я не хотел надевать ее красную шапку, что с моей стороны было глупостью.

Тогда хотя бы перчатки, сказала она, и вытащила их из кармана.

Перчатки, вязаные, шерстяные, я взял и тут же надел их; то, что они тоже красные, меня не смущало.

Но именно это ее напугало, привело в ужас, она стала просить, умолять, говорила, что делает это не из-за меня, а из-за родителей,

что это не трусость, тихой скороговоркой объясняла она, но доли-на подхватывала даже эти ее негромкие слова.

От этого по телу у меня побежали мурашки, и я понял, что любой изданный мною звук, отраженный в долине эхом, будет значить, что я готов повернуть назад.

Она же все повторяла, что ей страшно, ей страшно идти одной, и просила проводить ее хоть немного.

Проводить, проводить, тихо вторила ей долина.

Я решительно двинулся дальше, чтобы не слышать ее, но через несколько шагов остановился и обернулся, полагая, что так, на таком расстоянии, будет легче расстаться.

Мы долго стояли, уже не видя с этого расстояния лиц друг друга, это было намного лучше.

Для меня будет благом, если она вернется, пусть идет, и она, словно почувствовав, что для меня будет совсем не плохо, если она вернется, медленно отвернулась, а потом повернулась кругом и бросилась бежать, скользя по снегу и иногда оглядываясь, я же следил за ней, пока глаза мои видели то, что хотели видеть, быть может, она повернула назад, или остановилась, или бежит сломя голову, на синем снегу мелькало темное пятнышко, а затем исчезло, хотя у меня было ощущение, что я его все еще вижу.

Какое-то время я еще слышал ее шаги, потом мне только казалось, что я их слышу, – то были уже не шаги, а зябкое копошение студеного ветра в ветвях, отголоски скрипов и хрустов, загадочное потрескивание; но я все стоял, дожидаясь, пока она уйдет, мысленно провожая ее, пусть исчезнет совсем.

Однако холодное покалывание в горле означало, что я все же надеюсь, что она повернет назад, и если она это сделает, то должно появиться, вот сейчас, нет, не сейчас, чуть позже, маленькое пятнышко, но так ничего и не появилось.

И все-таки я был рад, что избавился от нее, ибо это вовсе не означало, что я потерял ее, наоборот, таким образом она окончательно стала моей, и именно потому, что у меня хватило сил остаться сейчас в одиночестве.

Меня ждала дорога, и я отправился, однако не думаю, что имеет смысл подробно описывать историю моего путешествия.

По своей глупости я полагал, что история – это я, а эта бездомная и студеная ночь – лишь ее обрамление; нет, в действительности моя подлинная история разворачивалась почти независимо от меня, точнее сказать, она развивалась как бы параллельно с моими злосчастными похождениями.

Когда мы двинулись в путь, было около восьми вечера, мне запомнился колокольный звон, домой же она вернулась, по-видимому, около десяти, в то время, когда я, оставив позади скалы Чертова гребня, спустился в долину и не без радости увидел тусклые огоньки Будаэрша, они были далеко, но все же служили достаточно надежным ориентиром.

Поздней я узнал, что она незаметно прокралась в свою комнату, сбросила с себя одежду, юркнула в постель и уже засыпала, когда ее обнаружили, включили свет, стали кричать, но она, не желая ничего рассказывать, соврала, что у нее заболела голова и она отправилась прогуляться, потом заплакала, мать дала ей пощечину, и в конце концов она, боясь, что я попаду в беду, во всем призналась.

К тому времени я был уже в Будаэрше, путь до которого был далек, извилист и темен, в долину вел глубокий проселок, нечто вроде канавы с мерзлой колеей, с густыми высокими зарослями по обе стороны – в каком-то смысле это была защита, здесь казалось теплее, чем на открытом пространстве, но и опасней, потому что, с одной стороны, я не знал, что меня ждет за следующим поворотом, а с другой, я все время думал, что сбился с пути, и решил, как бы утешая себя и подбадривая, что если все-таки доберусь до тех далеких огоньков, то заплачу за ночлег или просто к кому-нибудь попрошусь, однако дойдя наконец до окраины села, я не испытал чаемого облегчения, потому что откуда-то выскочила собачонка, скукоженная от мороза всклокоченная уродина с коротким обрубок вместо хвоста, и с лаем бросилась за мной; следуя чуть сбоку и сзади, она то и дело пыталась ухватить меня за штанину, и мне приходилось на каждом шагу отбрыкиваться от нее, на что она угрожающе скалилась и рычала; так, в сопровождении этой псины, я миновал корчму – две женщины и мужчина как раз опускали рольставни и, увидев бегущую за мной собаку, проводили меня долгим взглядом, моя фигура наверняка показалась им подозрительной, поэтому от идеи заночевать здесь мне пришлось отказаться.

Ее отец взял пальто и отправился к нам домой.

Было, наверное, около полуночи, когда я покинул село, а отец Ливии нажал кнопку звонка у нашей калитки.

Собака, расставив ноги, стояла посередине дороги и лаяла; за селом дорога полого поднималась, вокруг, на фоне сияющего неба, видны были четкие силуэты молчаливых холмов; и то, что собака от меня отстала, что не пыталась больше ухватить меня за штаны, то, что я спокойно продолжаю свой путь, а ее лай у меня за спиной переходит в протяжный и жалобный вой, означало, что

я в безопасности, что я остался один и можно свободно вздохнуть, это доставило мне ощущение счастья; сопровождаемый собачьим воем, я весело шагал по дороге и долгое время даже не замечал холода, несколько разогретый ходьбой.

А дома в это время ждали скорую помощь, чтобы отправить мать в больницу.

Отец Ливии, стоя в прихожей, как раз рассказывал о случившемся, когда приехала неотложка; с матерью отправился Янош, ибо отцу нужно было звонить в милицию.

Уже потеряв счет времени, я продолжал тащиться по безмолвной дороге и, конечно, не осознавал, что на самом деле незрелое мое существо жаждет сейчас услышать звук приближающейся машины, более того, оно уже слышит его; сперва я подумал, что надо остановить ее, куда бы она ни ехала, и попросить подвезти меня, но поскольку мне не хватило смелости, я сошел с дороги в кювет, по щиколотку провалившись в снег, и стал ждать, пока она проедет.

Она промчалась мимо, и я уж подумал, что меня не заметили, когда взвизгнули тормоза, заскрипели колеса, автомобиль развернуло на скользкой дороге, он ударился о высокую бровку шоссе, закатался и, отскочив, врезался в километровый столб; мотор заглох, фары погасли.

После скрипа, скольжения, удара и дребезга на долю секунды воцарилось безмолвие, а потом распахнулись передние дверцы и ко мне бросились два темных пальто.

Я споткнулся и скатился на дно кювета, затем побежал по полю, покрытому мерзлыми комьями, вывихнул лодыжку.

Меня схватили за шиворот.

Так мою мать, из-за меня, ублюдка, они чуть не ебанулись в кювет!

Они заломили мне руки за спину и, толкая, поволокли к машине; я не сопротивлялся.

Меня швырнули на заднее сиденье со словами, что расшибут мне башку, если посмею пошевелиться; машина завелась с трудом, всю дорогу они ругались, но внутри было так тепло, что мне стало не по себе, и в этом неприятном тепле гул мотора и ругань стали медленно отдаляться, и я заснул.

Когда мы остановились перед большим белым зданием, уже светало.

Показывая мне искореженный бампер, они орали, что не собираются платить за ремонт и что мне придется забыть, что такое сон.

Меня отвели на второй этаж и заперли в комнате.

Там я попытался сосредоточиться, продумать, что буду им врать, но голова моя опустилась на стол.

Стол был жесткий, и я, пытаясь смягчить его, подложил под голову руки, но и руки показались мне слишком жесткими, однако какое-то время спустя все же размягчились.

Проснулся я от того, что в замке повернулся ключ, в дверях стояла женщина в милицейской форме, а за ней, в коридоре, мой дед.

404 Когда с улицы Иштенхеди такси свернуло на Адониса и промчалось мимо высокой ограды закрытой территории, он рассказал мне о том, что случилось ночью.

Казалось, все это было не нынешней ночью, а много лет назад.

Утро стояло ясное, под ярким светом все таяло, звенела капель.

Кровать матери была застелена полосатым покрывалом, как когда-то давно, до ее болезни.

Была застелена так, как будто она не жила здесь.

И мое чувство не обмануло меня, я никогда ее больше не видел.

ОПИСАНИЕ ОДНОГО СПЕКТАКЛЯ

405

Наш тополь еще сохранял кое-где листву, которой, чтобы опасть, требовалось пожелтеть до смертельной бледности; в кроне гулял ветерок, такой слабый, что восходящие дугами ветви лишь иногда подрагивали, но листья вовсю раскачивались и крутились на коротеньких черенках, схлестываясь друг с другом.

За окном было солнечно, и далекое небо казалось еще синее от пляшущих бледно-желтых пятен; в безоблачной синеве видно далеко, и глаз вроде бы различает близкое и далекое, а не смотрит в некую пустоту, у которой где-то все-таки есть граница, иначе она была бы совсем прозрачной.

В комнате было тепло, в белой изразцовой печи уютно потрескивал огонь, и при каждом нашем движении ленивыми волнами поднимался и оседал сигаретный дым.

Я сидел за его столом в удобном просторном кресле, в том особом уголке его комнаты, который он всегда уступал мне, и трудился над своими заметками; работа моя заключалась в том, что, глядя в окно сквозь подвижную кисею голубого дыма, я вспоминал, что я видел на сцене во время последней репетиции; пытался писать картину с картины.

Подмечал такие слова и жесты, мотивацию и смысл которых мы постигаем сразу, но при этом в момент, когда мы их воспринимаем, мы видим, что к ним примешивается что-то лишнее и случайное, замечаем какие-то мелкие сбои, разрывы, несовершенства, которые отделяют игрока от игры, актера от его роли и которые они, актеры, в соответствии с жесткими правилами их профессии, постоянно стремятся чем-то уравновесить, как бы скрыть тот печальный факт, что полного, абсолютного отождествления не бывает, хотя именно этого мы жаждем в конечном счете в любой своей деятельности.

Когда я делал наброски, в процессе письма, а работа эта была рутинная, мне всегда казалось, что закон, который по-настоящему меня занимает, если есть таковой вообще, нужно искать не в очевидных причинных связях происходящего, не в поддающихся описанию жестах и гулких словах, хотя они чрезвычайно важны,

ибо наши слова и жесты суть не что иное, как животворная плоть событий, но скорее в как бы случайных зазорах между словами и жестами, в неправильностях и изъянах.

Он сидел чуть поодаль и как заведенный стучал на машинке, отрывая пальцы от клавиш лишь для того, чтобы лихорадочно затянуться; я не знал, что он там печатал, стихи так долго и безотрывно не пишут, возможно, какой-то текст для своей программы на радио, хотя это маловероятно, потому что со студии он никогда не приносил ни клочка бумаги и из дома туда ничего не носил, перемещаясь между двумя жизненными пристанищами с пустыми руками, как бы намеренно изолируя их друг от друга; его ноги торчали из-под стола, что, видимо, делало его позу не самой удобной, но зато косо падающая через окно солнечная полоска согревала его босые стопы.

И когда он почувствовал, что я уже долго без дела таращусь в окно, он сказал, даже не подняв головы, что неплохо бы нам помыть окно.

Пальцы ног, так же как на руках, были у него длинные и изящные, и мне очень нравилось мять кулаком своды его подошв и по очереди касаться языком пальцев, ощущая острые кромки ногтей.

Заметки я никогда не делал сразу по окончании репетиции, а садился за них вечером или ночью, либо, если мне удавалось заставить себя встать пораньше, утром следующего дня; чтобы более четко увидеть источник, причину эффекта, увидеть сцену на расстоянии, нужно было освободиться от самого эффекта.

Я не ответил, однако идея совместной помывки окна не вызвала у меня возражений.

Поначалу создание этих записей было для меня чем-то вроде не слишком осмысленной барской прихоти или уединенного психотренинга, из-за чего я даже испытывал угрызения совести, особенно когда вечерами, стиснутый понурой толпой, возвращался домой в переполненной городской электричке, и думал, к чему эта роскошь ума, привилегия рафинированной интеллигенции; а с другой стороны, мне все же хотелось каким-то образом избавиться от роли просто наблюдателя, заведомо обреченного на бездействие, или по крайней мере хоть как-то использовать тот печальный факт и годами копившийся опыт, что в событиях так называемой истории я участвую в лучшем случае в качестве мелкой жертвы и в этом смысле я тоже, конечно, являюсь частью безликой толпы, ее значимым или ничтожным винтиком, не все ли едино, чужим даже для самого себя, ненавистным себе придатком,

каким-то гигантским глазом, у которого отнято тело; но поскольку этим психологическим тренингом я занимался довольно последовательно, то он все же как-то влиял на течение моей жизни.

Из небрежно разбросанных по страницам и не лишенных смысла, а стало быть, представляющих некоторый интерес письмен складывалась картина готовящегося спектакля, в результате чего я, сам не замечая производимых в себе изменений, оказался этим своим предприятием, которое еще неизвестно чем кончится, настолько втянутым в тот лабиринт, где можно было переживать жизнь чужих мне людей, что потребность описывать спектакль со всеми его деталями, жестами и словами, во всех его явных и скрытых взаимосвязях, отслеживать весь процесс его становления, быть его хроникером, своим трудом отвечать на их труд, то есть быть солидарным с ними, что ведение записей уже перестало быть идеей-фикс; постепенно и опять-таки для себя незаметно я нашел свое место в пределах маленького сообщества, чью деятельность я пытался отображать в своих письменах, правда, место где-то совсем на краю, но все-таки это была роль, одарившая меня радостью сопричастности.

Стояло воскресное утро, выходной день, готовить обед была его очередь, и время от времени он, выбив из-под себя стул, уходил на кухню, потом возвращался и продолжал стучать на машинке.

Насколько я помню, о своих заметках я однажды сказал что-то не очень внятное фрау Кюнерт, которая рассказала об этом Тее, а та в своей экзальтированной манере объявила, по-видимому, всей труппе; и спустя какое-то время я стал замечать, что на меня не только поглядывают осторожно и даже опасно, но и разговаривают со мной иначе, серьезно и доверительно, как будто каждый хотел чуть подправить свой образ, который возникнет под моим пером.

Я спросил его, что он пишет.

Завещание, сказал он.

Между тем я даже как-то и не заметил, что настолько свыкся с нашей совместной тихой и небогатой событиями жизнью, что чувствовал себя здесь уже как дома и даже не задавался вопросом, что значит «дом», полагая, что я это знаю.

О чем я думаю, вдруг спросил он меня.

Было тихо, он прекратил печатать и, видимо, наблюдал, как я пялюсь в окно, разглядывая небо и дерево.

Ни о чем, повернувшись ответил я, и по его глазам заметил, что он наблюдает за мной давно; в уголках его губ таилась улыбка.

Но все же о чем-то я думаю, в крайнем случае – ни о чем, усмехнулся он.

Нет, честно, я ни о чем не думал, сказал я, а просто смотрел на листья.

И правда, ни о чем заслуживающем упоминания я не думал, да человек и не думает мыслями, я испытывал простое ощущение, которому и предался в благостном расслаблении, – тихому созерцанию мирного пейзажа и приятному чувству физического комфорта, так что между ощущениями и их объектами не было никакой напряженности, именно это он, видимо, и заметил на моем лице, то душевное и физическое состояние, которое можно назвать даже счастьем, но его вопрос сделал это ощущение хрупким и, как мне показалось, нуждающимся в защите.

Потому что он думал о том, продолжал он, что, возможно, я сейчас тоже думаю, что хорошо бы нам так и остаться.

Я, как бы не понимая, спросил, о чем он.

Улыбка исчезла с его губ, взгляд, пристально изучавший мое лицо, скользнул чуть в сторону, он опустил голову и, с трудом подбирая слова, как будто мы поменялись ролями и теперь на чужом языке нужно было говорить ему, спросил, приходили ли мне в голову подобные мысли в связи с ним.

Мне потребовалось некоторое время, прежде чем удалось выговорить слово, которое на его языке произносится глубже и с выдохом: да.

Он отвернулся и с рассеянным видом слегка приподнял пальцами запроваленную в пишущую машинку бумагу, а я опять стал глядеть в окно, мы оба, не шевелясь, молчали; и сколь горячо было сконцентрированное в нескольких осторожных негромких словах признание, столь страшной казалась теперь тишина, в которой хотелось затаить дыхание и остановить биение сердца, отчего оно слышалось только отчетливей.

Он спросил, почему я не сказал ему раньше.

Я думал, что он и так это чувствует.

Сидеть в отдалении и не смотреть на него было хорошо, так как взгляд или близость могли бы его сломить, но ситуация делалась все опасней, потому что должно было прозвучать что-то окончательное и бесповоротное; узкий солнечный луч, проникая в окно, словно бы возводил между нами стену, но слова, которые каждый из нас говорил себе, адресуясь к другому, проникали через нее; мы сидели, каждый на своей половине, в общем тепле нашей единственной комнаты.

Но если я думал об этом и раньше, то почему он подумал об этом только сейчас?

Не знаю, сказал я, да это и не имеет значения.

Немного спустя он встал, но не вышиб, по своему обыкновению, из-под себя стул, а аккуратно отодвинул его в сторону, я не смотрел на него, а он, думаю, не смотрел на меня и, не переступая луча, ставшего между нами преградой, молча вышел на кухню; и если бы можно было о чем-то судить по весу и ритму шагов, то я бы сказал, что он вышел так, чтобы несколько пригасить напряженность, выразившуюся в наших словах, а еще чувствовалась в его походке какая-то ответственная осторожность.

409

И уютная домашняя тишина была, видимо, куда важнее, чем скупые слова, окутанные мягкой пеленой недомолвок и умолчаний, потому что слова подразумевали нечто окончательное, указывали на возможность нерасторжимого закрепления нашей связи, в то время как пелена умолчаний состояла из известных обоим нам обстоятельств, которые противоречили смыслу точных и скупых слов, опровергая такую возможность в принципе; но тот факт, что мы все же могли общаться на языке намеков, то есть язык наш был эстетически идентичен, порождал, по крайней мере во мне, ощущение, будто возможность была все-таки сильней невозможности; но он, кажется, оставался более недоверчивым и скептическим.

Как только он вышел из комнаты, меня охватила странная унижительная тревожность, импульсивные, независимые от моей воли движения и такие же импульсивные попытки сдержаться как бы дублировали на скрытом и явном языке жестов то внутреннее противоборство чувств, которое так и осталось невысказанным в нашем диалоге; не в силах оторвать глаза от тополя, я ерзал на месте, чесался, все члены мои зудели и хотели куда-то бежать; потирая нос, я вдыхал в себя никотиновый запах пальцев, потому что хотел закурить, но не мог; с раздражением, как ненужную вещь, я швырнул на стол ручку, но тут же напирал ее в бумаги и снова взял в руки, вертя и сжимая ее в надежде, что она поможет мне снова заняться заметками, продолжить их там, где я остановился, но кого теперь интересовала вся эта чушь! я хотел встать, чтобы посмотреть, что он там пишет, какое еще завещание, но все же остался сидеть, чтобы переменной места не нарушить безмолвной надежды, сохранить ее, хотя, может быть, мне как раз лучше было бы от нее отказаться, как-нибудь увильнуть, обойти ее.

Но тут он вернулся, и я сразу успокоился, ожидая, что будет дальше, что еще может произойти, осталось ли что-то невысказанное, о чем мы обычно узнаем, только когда высказываемся или даже позднее; но мое обретенное вновь спокойствие было всего лишь карикатурой спокойствия, его не хватало на то, чтобы повернуться к нему; мне хотелось быть точно таким, каким он меня оставил.

В мягких шлепках его босых ног ухо мое уловило едва заметную перемену, произошедшую с ним на кухне, в приближающихся шагах чувствовались не колебания и не мягкая снисходительность, как минуту назад, а скорее сосредоточенность, какая-то беспристрастность или рассудочность, которыми он проникся на кухне, пока, приподняв крышку прихваткой, заглядывал в кастрюлю, где варилась цветная капуста; подсоленная вода уже всю кипела, обдавая паром его лицо, и хотя было ясно, что капуста уже достаточно мягкая, он все же взял вилку и осторожно, чтобы не развалить плавающий в кипящей воде белый кочешок, который, как известно, когда переварится, легко распадается, вонзил ее в овощ и только потом погасил под кастрюлей газ; сидя в комнате, я словно бы слышал и даже видел все его движения и теперь, по его шагам, чувствовал, что эти привычные машинальные действия несколько приглушили ту бурю эмоций, которая во мне, причем в довольно неприятной форме, только нарастала.

Остановившись у меня за спиной, он опустил ладони на мои плечи, но не сжал их, а скорее возложил на них вес своих рук; все тело его было расслаблено, что делало этот жест очень дружеским и в то же время сдержанным.

Я, откинувшись, поднял на него глаза и той небольшой, размером с ладонь, частью затылка, которая пусть и не достаивается среди прочих чувствительных мест достаточного внимания, но все же очень отзывчива на касания и поглаживания чужих рук, прижался к его животу; он улыбнулся мне.

И что теперь с нами будет, спросил я.

Он легко надавил пальцами на мои плечи, отдавая мне часть своей силы, и сказал: ничего.

Несколько притупив этой силой остроту прозвучавшего слова.

И тогда тем особым участком черепа, который в младенчестве называется задним родничком и который со временем хотя и затягивается, твердеет, но, по моим наблюдениям, продолжает реагировать на определенные раздражители столь же чутко, как если бы он все еще оставался пульсирующей, прошитой синеватыми жилками перепонкой, а возможно, он даже восприимчивее других

наших органов чувств, потому что он словно специализируется только на дружественных и враждебных воздействиях, и уж в этом отношении действует всегда безошибочно, – словом, в ответ, ровно с такой же силой, с какой он давил мне на плечи, я нажал этой частью черепа, расположенной несколько выше затылка, на его живот, чтобы что-то почувствовать и понять.

Он, отчетливо выговаривая слова, сказал, что я должен понять, понять правильно, что это совсем не случайно, такое случайно не происходит, что я до сих пор скрывал свои мысли об этом, а он, со своей стороны, не хотел встречать в мою жизнь, нет, он вовсе не берет сказанные им слова обратно, это было бы глупо, но и ни в коем случае не хочет давить на меня.

411

Я рассмеялся ему в лицо, сказав, что это смешно, что в таком случае он должен был с самого начала вести себя гораздо умеренней.

Улыбка переместилась с его глаз на губы, какое-то время он строго смотрел мне в глаза, потом перегнулся через подлокотник кресла и обнял меня.

Поздно, сказал он.

Что поздно, спросил я.

Поздно, глухо повторил он.

Положение наших тел, когда он глядел на меня сверху, а я смотрел на него снизу вверх, ощущая аромат каждого его слова, давало ему чуть больше уверенности.

Но все же я попросил бы его сказать, что он имеет в виду.

Он не может сказать.

Его белая рубашка была расстегнута до пояса, и кожа, словно о чем-то напоминая, дышала на меня своим теплом; запах тела содержит в себе по меньшей мере столько же значимых подробностей, как слово, интонация, жест или молниеносный взгляд, но, в отличие от слуха и зрения, обоняние обрабатывает в нашем мозгу сигналы еще более хитроумные и загадочные.

То есть не хочет, сказал я.

Да, не хочет.

Я мягко, но все-таки отстранил от себя его руки, однако, вынужденный ухватиться за подлокотники кресла, он наклонился ко мне еще ближе, распахнутые полы его рубашки накрыли мое лицо, наши лица почти касались друг друга, но я хотел, чтобы он говорил не телом, а говорил словами, ибо телом он обязательно скажет мне прямо противоположное тому, что он высказал бы, если бы мог, словами.

И чтобы не отвечать на невыполнимое требование, он чуть ли не со злостью поцеловал меня в губы, я не сопротивился, но и не отвечал: в мягком тепле его губ, под их плотной шероховатостью мои губы даже не шевельнулись.

Он сказал, что мне лучше заняться делом, да и он хотел бы уже закончить; смысл поцелуя и смысл его слов совпали, он как бы хотел подвести ими черту.

412 Нет, так просто он от меня не отделается, сказал я; он было уже распрямился, но я удержал его за руку.

Я напрасно упорствую, как бы он ни хотел мне сказать, а он, я должен это понять, этого очень хочет, но ничего не может поделать, он не желает знать даже того, что будет с ним в следующую минуту, не желает, его это не интересует, он так устроен, да его бы стошнило, начни мы сейчас говорить об этом, и чего я хочу от него, мы должны сейчас обсуждать, как будем обустроивать квартиру? или вот еще неплохая идея! отправиться напрямик в загс с заявлением о серьезности наших намерений! успех гарантирован! или, может, начать планировать счастливое общее будущее? нам что, не хватает того, что есть? разве мне мало, что он постоянно радуется, постоянно и беспрерывно радуется тому, что я рядом, если мне так уж хочется это услышать, но большего не получится, на большее он не способен, и не надо все это ломать.

Все верно, но разве не он только что хотел большего, хотел другого, говорил о другом и иначе, почему же теперь он берет все обратно?

Он ничего не берет, это просто моя навязчивая идея.

Я назвал его трусом.

Возможно, пускай он трус.

Потому что он никогда никого не любил, и его никто не любил, никогда.

Это пошло – так говорить.

Но я жить без него не могу.

С ним, без него, все это глупости, идиотские фразы, но он только что говорил мне о том, что он тоже не может.

Так чего же он тогда хочет?

Ничего.

Он вытянул руку из-под моей руки, и это движение тоже соответствовало смыслу последнего слова; он, похоже, решил вернуться к единственному, что в этой комнате еще казалась надежным, к своей машинке, к задаче, которую он для себя наметил и которую должен был выполнить, однако посередине комнаты, под косым

лучом солнца, он замер вполоборота спиной ко мне и тоже устремил взгляд в окно, на небо, словно бы наслаждаясь теплом и купаясь в лучах; сквозь белую рубашку просвечивал силуэт его стройного тела, запах которого, аромат близости, остался при мне.

И в аромате этом смешалось все – и последняя ночь, и ночь предпоследняя, и все дневные воспоминания о всех предыдущих ночах.

Мерцающий мрак спальни, пятна закрытых глаз в мерцающей темноте, запах одеял, простыней и подушек, в котором опять-таки все предшествующее – холодок проветриваний, стиральный порошок и вздымающиеся из-под утюга его матери струйки сухого горячего пара.

Под одеялом – наши тела, в наших телах – вождение, удовлетворив которое они бессильно валяются на смятой постели; покрытая испариной кожа, жирные выделения в порах, пот, осевший на волосах, взопрелость подмышек и сгибов суставов, запах автомобилей, контор, ресторанов, целого города в спутанных прядях влажных его волос, морская солоноватость не имеющей запаха спермы, табачная горечь в сладкой слюне с примесью разлагающихся в теплой пещере рта остатков еды, кожура, ошметки в потраченных кариесом зубах, зубная паста, запах перегоревшего алкоголя из глубины желудка, остывающий жар забывшегося одиноким сном тела и внезапный холодный пот беспорядочных сновидений, прохладное пробуждение, освежающая вода, мыло, ментоловый крем для бритья и минувший день, застывший в висящей на спинке стула вчерашней рубашке.

Хорошо, сказал я, по крайней мере теперь у нас будет что-то, о чем нам нельзя говорить, очень рад.

Ерунда, бросил он и сказал, чтобы я заткнулся.

Внизу, во дворе, кричала какая-то девочка, она звала мать, которая, разумеется, ее не слышала или не хотела слышать; и я позавидовал этой девчонке, может быть, потому что она родилась здесь и ей не нужно никуда уезжать, а может, из-за ее наивной настырности, с которой она не желала считаться с тем, что с ней не хотят считаться: ее визгливые вопли становились все более раздражающими и истошными, но потом они вдруг оборвались и послышался стук мяча.

Он сел за стол, и я решил не смотреть на него, потому что знал, что вскоре он снова заговорит, и не хотел этому помешать.

Я взял ручку, последнее слово, которым заканчивалась запись, стояло на пятьсот сорок второй странице, и с этого слова я собирался продолжить свои записи.

Он сделал один-два удара по клавишам, в тишине явно не хватало воплей девчушки; ждать мне пришлось недолго, он напечатал несколько строчек и, как я и предполагал, совсем тихим голосом нарушил зияющую тишину: у нас осталось еще два месяца, или, может быть, я хочу сказать, что не собираюсь возвращаться домой?

Я, разглядывая на листе бумаги последнее слово, на котором я оборвал описание покинутой сцены, спросил, почему он так яростно защищается, чего он боится? мой вопрос, разумеется, не мог скрыть того, что я не могу или не хочу однозначно ответить ему.

И об этом он думает, продолжал он, словно заполучив наконец очевидное доказательство моих намерений, он об этом не забывает и именно так пытается жить.

Мы с безжалостным наслаждением устали друг на друга сквозь разделявшую нас солнечную завесу, он торжественно улыбался, чувствуя, что разоблачил меня, и отчасти улыбка его отразилась в моем лице.

Но я ведь могу вернуться, не без сарказма заметил я, не давая ему увильнуть.

И обнаружу пустую квартиру, ведь я знаю, что он не намерен здесь оставаться.

Пустые мечты, сказал я, как можно отсюда бежать?

Может, он не такой уж трус, как я думаю.

Выходит, он все же планирует для себя какое-то светлое будущее, только без меня.

Честно сказать, он действительно кое-что планирует, и перед моим отъездом он исчезнет, так что мне придется уехать, не попрощавшись с ним.

Замечательная идея, воскликнул я, и от улыбки, с каждым словом все ярче сверкавшей в его глазах, а может, от страха или от радости, вызванной этой его злой, на грани ненависти, улыбочкой, я рассмеялся, сказав: поздравляю.

Спасибо.

Мы смотрели друг на друга с ухмылкой, искажившей наши глаза, не в силах ни погасить ухмылку, ни сделать ее еще более отталкивающей, настолько она была отвратительна.

И что странно, отталкивающим и уродливым мне казался не он, а я сам, отраженный в его глазах.

Нет, то не был какой-то особый момент или час, да и день был такой же обычный, как и все остальные проведенные вместе дни, за исключением только того, что мы впервые, осторожно подбирая слова, смогли высказать то, чего, собственно, и искали с того

самого вечера, когда судьба усадила, точнее, заставила нас шлепнуться рядом друг с другом в Опере, а впрочем, то, что в тот вечер мы ощутили как нечто совсем исключительное, мы ощущали и позже, и всегда словно бы в первый раз; наверное, можно сказать, что мы искали друг в друге какую-то окончательную обитель, и каждое слово и каждый жест, поражая нас своей неожиданной новизной, всегда были средствами этих поисков; мы искали приют, который, возможно, потому так и не смогли найти, что обителью этого вождения были сами поиски.

Мы с ним как будто хотели углубить и каким-то образом узаконить, упрочить то ощущение, которое, в общем-то, есть, бывает, возможно между двумя людьми, но с которым они не знают что делать, не знают, возможно, именно потому, что, как он мне сказал однажды, мы с ним оба мужчины, а законы пола сильнее законов личности, чего я в то время не мог ни понять, ни принять, чувствуя, что на карту поставлена моя самость, свобода моей индивидуальности.

Этот первый момент уже содержал в себе все последующие, или, может, наоборот, все последующие моменты удерживали в себе что-то из этого, самого первого.

Когда он стоял со своим французским другом в тускло освещенном фойе Оперного театра, в потоке спешивших на спектакль нарядных людей, я почувствовал, что знаком с ним, знаком давно, и не только с ним, а со всем, что имеет к нему отношение; мне был знаком не только его изысканно элегантный костюм, свободно повязанный галстук, булавка на галстуке, но и его небрежно одетый друг и даже те отношения, которые явно их связывали, хотя надо сказать, что в то время я имел только смутные представления и догадки о том, каковы могут быть любовные отношения между двумя мужчинами, но как бы то ни было, это ощущение знакомости тут же сделало для меня эту встречу необъяснимо легкой, интимной и само собой разумеющейся, такой, когда мы уже ни о чем не спрашиваем, не задумываемся и даже как бы не замечаем, что с нами происходит.

Когда он высвободился из объятий Теи, за которыми его друг наблюдал с явным неудовольствием, мы пожали друг другу руки – ничуть не более крепко, чем это в подобных случаях принято, я назвал, и он представился, тем временем его друг, как я слышал, тоже представился Тее и фрау Кюнерт, но на какой-то пижонский манер, назвав лишь свое двойное имя: Пьер-Макс, дважды повторил он, а о том, что фамилия его Дюлак, я узнал много позже.

После рукопожатия мы больше не обращали внимания друг на друга, тем не менее из-за описанного ощущения ситуация невольно складывалась так, что пока я разговаривал с его другом, а он продолжал болтать с Теей и фрау Кюнерт и при этом мы все поднимались по устланной красной дорожкой ослепительно-белой лестнице, наши тела, не соприкасаясь, словно бы направляли друг друга плечами, с этого момента тела стали неразлучны, хотели быть рядом, шли бок о бок, причем делали это так, что об ощущении близости можно было даже не думать, оно, это ощущение, не удивляло, не нуждалось в том, чтобы им управляли, оно само уже встало на путь, относительно цели и перспектив которого, как выяснилось позднее, сомнения были только у меня, а он как ни в чем не бывало продолжал болтать, ему не нужно было на меня смотреть, точно так же как мне на него, потому что тело его и запах тела, который я сразу же ощутил, придавали мне уверенность и беспечность, с которыми я общался с шедшим по левую от меня руку французом.

И я не назвал бы это какой-то интригой, это чувство было гораздо темнее и глубже; если воспользоваться сравнением, то казалось, будто ты каким-то чудесным образом совершил стремительное путешествие из собственного далекого прошлого в настоящее, которое кажется каким-то невероятным и сказочным незнакомым городом, где ты поначалу передвигаешься как во сне; словом, в чувстве этом не было никакого веселого возбуждения, обычно свойственного для зарождающихся эротических приключений, а если и было, то это было более глубокое возбуждение человека, который наконец куда-то прибыл.

Для меня исключительность этого момента состояла скорее в том, и, наверное, именно потому я его хорошо запомнил, что наше появление в компании Теи вызвало заметный ажиотаж, как личность весьма знаменитая, она тут же привлекла к себе любопытные взгляды публики, и это всеобщее любопытство в виде быстрых скользящих взглядов распространилось и на нас, все невольно хотели увидеть, узнать, с кем она, эта знаменитость, проходит в зал, с каким мужчиной и в какой компании, и мы, четверо, можно сказать, совершенно посторонних и столь различных людей, по-видимому, являли собой для этой достаточно строгой публики весьма скандальное зрелище.

Но Тея и здесь, не на сцене, вела себя как актриса, популярная и прославленная, но, к чести своей, делала это весьма экономными средствами, не обращая внимания на жадные и почтительные,

а подчас презрительные и завистливые взгляды и все внимание уделяя только Мельхиору, вот он, мужчина! словно бы говорила она своим жестом, элегантно беря его под руку и как бы передавая ему все обожание, которое изливали на нее поклонники, и при этом лицо ее, по-татарски скуластое, ненакрашенное, обрело ту неотразимую прелесть, к которой привыкла и которую ожидала от нее публика; улыбчивые и лукаво прищуренные глаза ее смотрели на Мельхиора, словно это могло помочь ей остаться инкогнито, ах, лишь бы больше ни на кого не смотреть! она как бы даже не замечала, куда ступает, позволяя вести себя, между тем как вела она, и от этой смиренной покорности в своей узкой, в пол, черной юбке с разрезом, в изящных остреньких туфельках и графитово-серой полупрозрачной шелковой блузке казалась еще более хрупкой, скромной и незащищенной, чем в любой своей роли.

Она говорила тихо, не прерываясь, глубоким прочувствованным голосом, говорила только губами, улыбкой, скрывая свои слова от любопытствующих ушей, то есть крайне сдержанно, сохраняя при этом видимость безупречно раскрепощенной светской беседы, но примешивая к ней и напряженные отзвуки только что прерванной репетиции, рачительно используя неизрасходованную энергию для того, чтобы пригасить в себе ту неподдельную радость и страсть, которую пробуждало в ней само присутствие и физическая близость Мельхиора; но в данном случае, сколь бы экономными ни были эти актерские средства, именно из-за их мастерского дозирования и экономности ее нельзя было не заметить, и все останавливались, оглаживались, смотрели им вслед, перешептывались за их спинами, тайно или открыто разглядывали ее лицо, подталкивали друг друга локтями, женщины пялились на ее наряд и грациозно спокойную поступь, а мужчины, маскируясь холодными взглядами, нежно оглаживали глазами ее груди, мысленно лапали ее крепкий стан или, совсем разыгравшись, шлепали по заднице, округлой и очень заманчивой, словом, пока она поднималась, казалось бы, целиком увлеченная другим, своим избранным, все, сообразно манерам и вкусам, вели себя так, словно она была их исключительной собственностью, их общей любовницей или младшей сестрой, и таким образом, благодаря ей, мы тоже выделялись в глазах любопытствующих, были, можно сказать, статистами в сцене явления Теи публике.

Побуждаемый скорее ситуацией, чем подлинным любопытством, я, симулируя неосведомленность и удивление, спросил у долговязого, с растрепанной черной шевелюрой француза,

что его сюда привело, на что он, поднимаясь со мной по лестнице, склонился ко мне с дружелюбным и сдержанным, но вместе с тем снисходительным выражением лица; меня несколько удивили его узкие и какие-то плоские глаза, глазные яблоки, казалось, с трудом поворачивались в тесных глазницах, отчего взгляд его выглядел цепким и острым; но тем временем я больше прислушивался к тому, что напевает Тея на ухо мужчине, которого я ощущал своим телом: плечом, рукой, боком.

Француз, строя почти безупречные, но с акцентами его родной речи фразы, ответил, что живет он не здесь, точнее, не в этой половине города, однако бывает здесь часто и с удовольствием, и что наше приглашение пришлось как нельзя кстати, потому что он собирался посмотреть этот спектакль, но, честно сказать, ему не совсем понятно, почему я был удивлен, что он здесь? дело в том, что для него этот мир отнюдь не такой чужой, как, возможно, я думаю, напротив, он чувствует здесь себя дома, в отличие от западной части города, поскольку по убеждениям он марксист и является членом компартии.

Некоторая напыщенность ответа и нескрываемая враждебность его заявления, обидчивость, с которой он инстинктивно распознал во мне предполагаемого противника, его самодовольный голос и нагловатое, но вполне серьезное выражение лица, вызывающий жесткий взгляд, который одновременно излучал симпатичный юношеский боевой задор и зашоренную предвзятость, – все это изумило меня и побудило тут же ответить на вызов, хотя политические дебаты в этой чопорно-мертвенной обстановке казались столь неуместными, что я, поддавшись противоположным эмоциям, чуть было не заржал; что за чушь он несет? его заявление казалось какой-то забавной и непристойной шуткой, и впечатление это только усиливало по-детски капризное упрямство на его симпатичном лице и непривычная, по местным меркам неряшливая, идущая от совершенно другой культуры небрежная элегантность его одежды: толстый, мягкий, слегка потертый и явно не слишком свежий джемпер с длинным, дважды обмотанным вокруг шеи и заброшенным за спину огненно-красным шерстяным шарфом, на который здешняя публика в до блеска отстиранной и отглаженной и именно потому казавшейся убогой и ненарядной одежде взидала с таким изумленным неодобрением, что были почти слышны ее возмущенные возгласы; я, с одной стороны, отнюдь не хотел его обижать, а с другой, ощущая и на себе внимание той же публики, считал должным оставаться в рамках приличий

и поэтому скорее из вежливости, но все же не без доли высокомерия и ничуть не смягчая остроты своих слов, ответил, что, возможно, он не совсем верно истолковал мое удивление, в нем, право же, не было ни малейшего возмущения или упрека, больше того, я счастлив с ним познакомиться, ибо здесь, в восточном полушарии, я уже по меньшей мере лет шесть, подчеркнул я, лет шесть не встречал человека, который имел бы серьезные основания называть себя коммунистом.

На что я намекаю, спросил француз.

419

В ответ я, с превосходством аборигена, сказал, что ни на что я не намекаю, но он может и сам подсчитать.

Если я имею в виду весну шестьдесят восьмого, сказал он несколько неуверенно, да, именно это я и имею в виду, наслаждаясь своим превосходством, кивнул я, после чего он, пристально глядя в мои глаза, выдержал паузу и вслед за моим кивком с еще большей горячностью продолжал: он вовсе не думает, что те события позволяют нам сделать вывод, что мы должны прекратить борьбу.

И пока Тея отчаянно костерила своего режиссера, эта звонкая фраза, слетевшая с его юношески мягких губ, прозвучала настолько красиво, настолько захватывающе, по-молодому сильно и от этого так убедительно, что, как бы забыв о юмористичности ситуации, я потерял нужное для ответа присутствие духа, и в этой растерянной паузе, одновременно смешной и серьезной, продолжало звучать журчание Теи, что, мол, Лангерханс мог бы быть, например, замечательным посланцем где-нибудь в Албании или, скажем, начальником какой-то железнодорожной станции, да стоит только взглянуть на него, как он дергает на своем курносом носу очки и ерошит своими тупыми пальцами жирные волосы, — это же просто-напросто белый лист бумаги, зашлепанный красивыми круглыми штемпелями, и ради Бога, пусть бы он день-деньской и шлепалэтисвоиштемпеля, красные, синие, серо-буро-малиновые, но только не ставил спектакли! и она ничуть не преувеличивает, это вовсе не шутка, что когда во второй картине третьего действия заседает тайный совет, а это единственная приличная сцена во всем спектакле, это жуткое заседание, когда за столом сидят шестеро гнусных злодеев, за огромным, невероятно длинным столом, который придумал он, Лангерханс, и усадил за него самых дрянных актеров, и Мельхиор, разумеется, может себе представить, как наслаждаются эти бедняги и как они ему благодарны, еще бы! сидят за столом и перекладывают бумажки, чешут в затылках, заикаются и грызут ногти, точь-в-точь как это самым отвратительным

образом все время делает Лангерханс, это просто кошмар! но им нравится, они и домой не спешат, они этой жалкой роли ждали, может быть, тридцать лет, и тридцать лет ничего не могли понять, а теперь уж тем более не поймут, и пусть Мельхиор представит себе, да он это вскоре увидит! что все это действие настолько, настолько безумно и одуряюще скучно, со стула можно упасть, и это единственное, что он умудрился придумать, – эту скучищу, ибо о том, что такое женщина и чего она может хотеть от мужчины, у этого хворого театрального бюрократа нет ни малейшего представления.

Немного поколебавшись, он заявил, что, как ему кажется, мы с ним думаем и говорим о двух совершенно разных вещах; он, естественно, говорит о Париже, а я, по всей видимости, о Пражской весне.

А если и есть у него хоть какое-то бледное представление, то, конечно же, пошлое, грубое и безвкусное, в связи с чем она расскажет ему об одной истории, об одном довольно-таки пикантном приключении.

С этим не очень приятным, но в исторической перспективе совершенно неактуальным скепсисом, продолжал француз, он встречается здесь не впервые, однако он не считает, что неуклюжая акция русских может поставить под сомнение тот непреложный факт, что родина социализма находится все же здесь, и добавил еще что-то невнятное о праве собственности на средства производства.

А приключение произошло между ними двоими, и задним числом ей за это стыдно, словом, когда они достигли той точки, когда не знали уже что делать друг с другом, она решила все же любой ценой расшевелить в нем мужчину, чтобы увидеть, чего он стоит.

Мне так же забавна его демагогия, сказал я, как ему забавен мой скептицизм, и я не думаю, что если бы студенческие волнения в Париже подавила иностранная армия, то он и это назвал бы неуклюжей акцией.

Называть революцию волнениями – это привычка безумных аристократов.

А оправдывать средства целью – привычка тупых идеологов.

Мы оба остановились на лестнице, они продолжали движение, точнее сказать, Мельхиор, оказавшись ступенькой выше, стремительно повернулся, словно и правда чувствовал мое плечо, француз же, хотя и был зол, собственно говоря, наслаждался тем, что меня, напротив, бесило, что казалось постыдно мучительным и смехотворно ненужным; весь этот разговор, в который я позволил себя

втянуть и в котором я высказал даже не совсем свое мнение, точнее, лишь малую часть своего несуществующего мнения, потому что целого мнения тут быть не может, ибо стоит только коснуться этого, как сквозь тонкую пленку самообладания прорываются глубоко подавляемые грубые и бессмысленные эмоции, прорывается ослепленность, прорывается нечто, что можно выразить только на языке чувств, что лучше скорее скрывать, а не демонстрировать, и поэтому я злился прежде всего на себя, а не на француза, который со своей невыносимой долговязостью и столь же невыносимыми воззрениями чувствует себя здесь настолько комфортно, что даже не замечает, как негодующе, но при этом завистливо! тарашатся на него те люди, среди которых он якобы чувствует себя дома, что они видят в нем, с его нечесаной гривой и нестиранным красным шарфом, шута, живую насмешку над всей их несчастной жизнью, над всем их мученичеством, а между тем настоящим шутком был не он, а я.

Похоже, с холодной невозмутимостью сказал он, что мы разговариваем на совершенно разных языках.

Да, похоже, сказал я, но если уж он чувствует здесь себя как дома, добавил я, не в силах сдержать свое бешенство, то не кажется ли ему странным, что он может приехать сюда из-за стены, в то время как нам туда путь заказан.

Я сказал это настолько громко, что обе женщины остановились, да и рука Мельхиора как раз выскользнула из-под руки Теи, и они оглянулись на нас; большие глаза фрау Кюнерт испуганно сверкнули на меня из-за толстых очков, словно предостерегая, мол, осторожно, здесь слышится каждое слово, но я был не в силах остановиться, мне было невероятно стыдно, однако я все же закончил, сказав, что нет ничего удивительного в том, что мы говорим с ним на разных языках, — они отличаются степенью личной свободы.

И тут Мельхиор, менторским жестом предостерегающе воздев руку, разнял драчунов: я должен иметь в виду, сказал он, что устами его друга глаголют Робеспьер и Марат и что я должен знать, что имею дело с воинствующим революционером.

Недовольный собой, я в последнем приступе смехотворного гнева сказал, что именно потому я и говорю с ним.

То есть я тоже революционер, с испугом и недоверием в глазах вскинул он свои густые брови, явно потешаясь над своим другом.

Вот именно, сказал я и зло ухмыльнулся ему.

Чувство общности, осязаемое в его заговорщицком тоне, неожиданным и нечаянным образом остудило мой стыд; он прекрасно

чувствовал и мой гнев, и мой стыд, и этим своим пониманием и согласием приблизил меня к себе, отдалив француза, позволил свободно вздохнуть.

Но француз неожиданно рассмеялся беззвучным смехом, демонстрируя нам, что он остается при своем мнении, а с другой стороны, обращая свой смех к Мельхиору, с которым они уже явно преодолели подобного рода споры и поняли, что к согласию им не прийти, что, возможно, и стало основой их отношений; француз сделал жест, словно отряхивая с себя всю пакостную циничность нашей заговорщицкой солидарности, выражая глубокое отвращение, которое мы в нем вызывали, и махнул рукой, как бы отгоняя нас, очищая от нас окружающее пространство, давая понять, что мы люди несерьезные, невменяемые, не достойные того, чтобы продолжать с нами разговаривать.

В его позе, во вскинутой и слегка отвернутой от нас симпатичной голове действительно было что-то геройское, ну а в наших позах, несмотря на общую нашу победу, было все-таки нечто скорее рабское.

А потом, в бельэтаже старый, в серой ливрее смотритель, словно призрак ушедшей эпохи, воззрившись на Тею и не спуская с нее восхищенных глаз, распахнул перед нами двери парадной ложи.

Отсюда, с высоты почти четырех метров, мы могли озирать возбужденный партер с дугообразными рядами монотонно пурпурных кресел, усеянный размытыми лицами, то приходившими в неожиданное движение, то вдруг замиравшими; за строго классическим, из золоченых по верху коринфских полуколонн порталом виднелась огромная сцена: перед серым задником, изображавшим жутковато свинцовое рассветное небо, вздымались грязные башни и древние зубчатые стены крепости, обступавшие потонувший в безотрадной ночи двор крепостной тюрьмы, куда-то вглубь со двора вели мрачные коридоры, а сзади, в зарешеченных сводчатых камерах за массивной стеной угадывались расплывчатые тени людей.

Все казалось застывшим, и все-таки сцена была живой, какие-то блески, возможно, от ружей охранников, лязг и скрежет цепей сквозь мирный гомон публики и веселые звуки настраиваемых инструментов, а потом в глубокой тени непреодолимой стены мелькнуло милое розовое платье, после чего ветерок донес обрывки какого-то приказа; это был именно ветерок, ибо когда столь обширная сцена стоит открытой перед началом спектакля и дыхание зрителей еще не успело нагреть пространство, то со сцены всегда тянет прохладным сквозняком с легким запахом клея.

В пустой ложе мы с молчаливой вежливостью пытались распределить места, замечая при этом за благовоспитанностью и ложной учтивостью весьма ясно сквозившие во взглядах и осторожных жестах непростые намерения, примирить которые можно было только в беспощадной борьбе; а все дело заключалось в том, что нам было вовсе не безразлично, кто куда сядет, я хотел сидеть рядом с Мельхиором, что совпадало с его желанием, но в то же время я не мог бросить француза, как и он меня, ибо в противном случае мы слишком явно бы дали понять, что не терпим друг друга не только интеллектуально, но и физически, что не перевариваем, ненавидим друг друга, и столь очевидный разрыв, наверное, оскорбил бы и Мельхиора, чего я ни в коем случае не хотел, а с другой стороны, Пьер-Макс столь однозначно связан был с Мельхиором, что разорвать эту связь ни у меня, ни у Теи не хватало смелости, между тем как Тея, которая устроила эту встречу ради Мельхиора, естественно, не могла отказать от близости с ним, ну а фрау Кюнерт, весьма сдержанная в этот момент, все же достаточно ясно давала понять, что считает нас всех просто-напросто декорациями, до которых ей нет никакого дела, она хочет сидеть рядом с Теей и не желает об этом спорить, что, в свою очередь, ставило в затруднительное положение меня, ибо я, чувствуя немой упрек Теи из-за моего безобразного поведения, хотел все же сесть между ними, чтобы не отказываться ни от Мельхиора, ни от возможности как-то смягчить гнев Теи, что, естественно, было невозможно, поскольку я был не в праве их разделить.

В первом ряду ложи было восемь кресел, и нам нужно было как-то распределить эти кресла в соответствии с теми сложно переплетенными связями, которые нас соединяли.

Разумеется, в таких ситуациях в дело всегда вступают самые примитивные, архаичные силы, которые, прислушавшись к голосам чувств, скрываемым за глупой маской деликатности, и взвесив их реальные соотношения, отдают предпочтение чувствам доминирующих, господствующих фигур; и пока мы вежливо колебались, не зная как быть, прозвучали два голоса, две решительных фразы в сопровождении соответствующих жестов: прошу! по-французски сказал Мельхиор своему другу, который до этого терпеливо ждал, чем все кончится, после чего Тея холодно и сердито сказала мне: проходи, пожалуйста!

И теперь стало ясно, что как бы Мельхиор ни противился этой встрече, Тея была права, настояв на ней, точнее, какие-то ее чувства сработали очень точно, ибо она могла настоять лишь на том, чего также хотел и другой.

Мельхиор столь решительно отказался от близости со своим другом в пользу Теи вовсе не из предупредительности или вежливости, а в силу действительного влечения: он был поставлен перед выбором, и выбор его определило то, что они оба, Тея и он, были здесь доминирующими, подходящими и предназначенными друг для друга фигурами.

Разумеется, Тея привлекала и меня, будила любовное чувство и жажду владеть ею, ведь не случайно мы постоянно, как бы в полной готовности были сосредоточены друг на друге, но то, что между нами было лишь взаимным присматриванием и приноховиванием, между ними вибрировало уже на грани полного осуществления, и, следовательно, их отношения были совсем не такими односторонними, как их пыталась представить мне фрау Кюнерт, не говоря уж о том, что разница в возрасте между ними была явно не двадцать лет, а самое большее десять, отчего эти отношения могли быть немного странными, но отнюдь не смешными; но как бы то ни было, их решение показало, что на фоне их царственной пары мы, все прочие, являемся лишь почетным эскортом, и этот факт не могло изменить даже то приятное, в общем-то, обстоятельство, что в этом эскорте я получил место лучшее, чем француз.

Поскольку в восприятии любовных сигналов, следующих от мужчины к мужчине, особого опыта у меня не было, и к тому же я полагал, что относительно Мельхиора меня, очевидно, ввело в заблуждение эмоциональное откровение фрау Кюнерт, то эти потоки влечения, которые я ощущал плечом, были, как мне казалось, лишь эхом чувств, обращенных к Тее; ведь мы оба, и Мельхиор, и я, вращались в ее орбите.

Наконец мы усьелись: первым молча прошел на место француз, за ним я, потом Мельхиор, справа от него села Тея, а рядом с ней фрау Кюнерт, кстати, единственная севшая туда, куда и хотела.

Я старался даже ненароком не коснуться локтем руки Мельхиора на общем подлокотнике кресла, однако он, как и подобает царственной персоне, сразу почувствовал, что я ощущаю себя рядом с ним неудобно, во-первых, из-за неприятного чувства, что лишил француза его законного места, а с другой стороны, из-за жгучей ревности к Тее, которая не то что не принадлежала мне, но я на нее даже и не претендовал, однако теперь мне было все-таки больно, я не хотел ее потерять, не хотел, чтобы ее увели у меня из-под носа, и готов был бороться за нее с другим мужчиной; он же, словно желая еще больше запутать и без того мучительную ситуацию, по-дружески положил ладонь на мое колено и с улыбкой взгля-

нул мне в глаза, плечи наши случайно соприкоснулись, но потом он с гримасой убрал с моего колена руку и как ни в чем не бывало, быстро переменив улыбку, повернулся к Тее.

А той мимолетной улыбкой, с которой он посмотрел на меня, он как бы просил прощения за неприятный инцидент, но это было всего лишь вежливое введение в более глубокий смысл улыбки, прямо в его большие голубые глаза, где улыбка раскрывалась еще шире, и этой улыбкой он рассказал мне, что молодой человек, которого он представил как друга, всего лишь повод, прикрытие, способ не сдаться на милость Теи и что с человеком этим, да, что греха таить, его кое-что связывает, но все это несерьезно, мне не следует беспокоиться и принимать это близко к сердцу, мы это легко уладим между собой, иными словами, он предал, сдал друга, а последовавшей за этим гримасой зацепил меня еще глубже, гримаса ясно и однозначно относилась к Тее, эта женщина увивается вокруг него, она от него без ума, и он тоже восторгается ею и тоже оказывает знаки внимания, тут он вздернул красивые губы к носу, в чем была и доля иронии, относящаяся к ситуации, и самоирония, что придало его лицу очаровательно высокомерный вид, означавший, что и по этому поводу нет никаких причин для волнений, он вовсе не собирается соблазнять ее, так что и тут мы уладим все между собой, как мужчина с мужчиной.

Ни его жест, ни выражение лица не остались незамеченными теми, к кому они относились, но независимо от этого его беззащитная откровенность и лживость – ибо в первые мгновения, в отличие от более поздних, когда ревность моя улеглась и я поверил ему, его признание показалось мне лживым, – его напористость, грубое вмешательство и предательство произвели на меня самое неприятное впечатление; и все-таки у меня не было ни сил, ни возможности отвергнуть это доверие, сомнительное как эстетической своей стороной, так, тем более, и в этическом плане; я сидел как парализованный, помертвев, в ужасе от своей ситуации, и делал вид, будто смотрю на сцену, сам же по-воровски поглядывал по сторонам, пытаясь понять, что заметили остальные, и при этом испытывал даже некоторое наслаждение от рискованности положения.

Нечистая совесть подсказывала, что если я всерьез отнесусь к его прозвучавшему без слов признанию, то похищу его сразу у двух человек, у того, которого я не знаю, и у той, которой я изменю самым подлым образом, и моя настороженность все больше перерастала в тревогу, хотя француз ничего особенного не заметил;

подавшись вперед, он положил подбородок на бархатный барьер ложи и наблюдал за гудящим под нами партером, а что касается Теи, то она, хотя и заметила руку Мельхиора на моем колене, не придавала этому никакого значения, и только в суровом взгляде фрау Кюнерт можно было прочесть: мол, я могу вести себя как угодно, но она, стоя на страже Теи, ни на минуту не спустит с меня свих бдительных глаз.

Я тоже, чтобы несколько отдалиться от них и не ощущать тех сумбурных чувств, которые источало тепло его тела, наклонился вперед и облокотился о барьер ложи, но улыбка и гримаса Мельхиора не отпускали меня, они словно звучали обращенным ко мне настоящим голосом, реальными словами, которые блуждали в каком-то пустом и темном гулком пространстве.

Аплодисменты раздались сперва на балконе третьего яруса, затем во втором, прямо над нами, а когда у входа в оркестровую яму появился дирижер, прокатились и по партеру, достигнув самых первых рядов, и огромная хрустальная люстра, свисающая с богато украшенного лепниной купола, стала медленно гаснуть.

Его голос тоже был мне знаком, густой, басовитый, внушающий силу, уверенность, но обладающий свойством не принимать себя слишком серьезно, как бы наигранный, но играющий не из притворства, а просто для соблюдения разумной дистанции с собеседником, и какой-то добродушно ворчливый; я не знал, почему он кажется мне знакомым, и даже не пытался найти в памяти объяснение, почему он так близок мне, он просто звучал во мне, кружил, что-то искал, звенел, ворковал, вновь и вновь меняя регистры, искал свое место в моем мозгу, ту точку, пространство, нервный узел, то наглухо запечатанное и сейчас недоступное для него хранилище, где оставались его некогда слышанные слова.

Когда приблизительно за два месяца до этого спектакля я прибыл в Берлин, мне сняли жилье неподалеку от Ораниенбургских ворот, в угловом доме на Шоссештрассе; то была комната на пятом этаже безутешно серого старинного доходного дома; никаких ворот поблизости, разумеется, не было, от них уцелело только название, смутно хранившее память о карте, которую с течением времени история в буквальном смысле смела с городского стола, уничтожила, предала огню, и когда я упоминаю о безутешно сером здании, то и в этом нет ничего особенного, ибо, во всяком случае в тех кварталах, где после опустошительной войны осталось еще кое-что из старинного, бывшего, дома там такие и есть: безутешные, серые, хотя не сказать, что они не имеют стиля, если, конечно,

под стилем не понимать нечто привычно репрезентативное, а без всяких предубеждений исходить из того, что всякое человеческое сооружение несет на себе, в своем облике духовные и материальные обстоятельства его создания, и в этом, ни в чем другом, и состоит его стиль.

То же самое можно сказать и о разрушении, которое образует в истории человечества столь же связную цепь событий, как созидание; в военное время оно в этой части города все же не было таким полным и абсолютным, как в остальных частях, где не оставило ничего и где между новыми, с иголки, зданиями до сих пор гуляют по пустырям ветры опустошения; здесь пробоины еще можно было заделать, заполнить обгоревшие скелеты домов кирпичной плотью, слава Богу, камней на руинах хватало, чтобы как-то удовлетворить простейшую человеческую потребность в тепле и крыше над головой; здесь от мирных времен осталось немало и старых, надежных и тем привлекательных стен и фундаментов, и хотя возведенные на них дома, местами залатанные и подпертые, мрачными своими фасадами мало напоминали свой довоенный вид, все же конфигурация улиц и площадей сохранилась, давая потомкам некоторое представление об устройстве и духе города, даже если от его яркого и напыщенного, вычурно показного, экономного и вместе с тем мотовского, легковесного и степенного, неутомимо энергичного стиля ничего, кроме жалких следов, не осталось.

Сквозь новый стиль фасадов сочилась кровь старого стиля и проглядывали мертвые знаки былых принципов и порядков.

Пересечение Ганноверштрассе, нарядной Фридрихштрассе, улицы Вильгельма Пика, называвшейся ранее Эльзасштрассе, и Шоссештрассе, на котором когда-то располагалась небольшая симпатичная площадь, теперь, во времена сего грустного возрождения являло собой некое молчаливое, пребывающее в летаргическом сне сочленение врастающих друг в друга эпох и было почти всегда пустынно, лишь иногда прогрехочет трамвай; посередине маленькой площади стояла забытая здесь афишная тумба с продырявленным осколками брюхом, а в полуослепших от пыли бельмастых витринах отражались венчавшие тумбу часы с выбитым стеклом, которые никогда не показывали время, точнее показывали, но застывшее, когда-то остановившееся в половине пятого.

Внизу, под тонким дорожным покрытием периодически можно было ощущать шум метро, составы то с грохотом приближались, то затихали в тоннеле, однако попасть в метро было невозможно, оставленные нетронутыми станции были замурованы, и в первые дни

я не мог понять, зачем нужны эти никуда не ведущие спуски на пешеходных пятачках Фридрихштрассе, пока фрау Кюнерт не просветила меня наконец, что эта линия, проходящая здесь, под нами, соединяет районы западной части города, то есть на самом деле она не наша, но нас это, как она выразилась, не касается, так что на новых картах искать ее бесполезно, там я ее не найду; этого я не понял; ну так послушайте, объяснила она: предположим, что я живу на западе, что я западный немец, в таком случае я могу сесть в метро, скажем, на Кохштрассе, и состав пройдет мимо нас; прямо здесь, у нас под ногами, находится станция, где поезда притормаживают, но не останавливаются и следуют дальше, опять в западный сектор, где я могу спокойно сойти на станции Райникендорф, ну чего тут неясного?

Для любого из нас понятен наш собственный город, а в чужом названия улиц и даже направление «север–юг» остаются абстракциями, несмотря на прекрасное чувство ориентации и основательное знание топографии, потому что название лишено образа, а образ лишен впечатлений, и тем не менее я понимал, что вовсе не обязательно было здесь родиться, чтобы ощущать под мостовой нечто такое, чего нет, точнее, считать, что этого как бы нет, что это имеет право на существование лишь в наших воспоминаниях о былом городе, между тем как все это и по сей день является его жизненно важной частью, то есть все-таки существует, но существует только для «тамошних», которым, однако, нельзя выйти на замурованных и охраняемых автоматчиками станциях хотя бы уже потому, что в цирковых железнодорожных аттракционах ужасов остановки не предусмотрены, и, следовательно, эти люди для нас точно так же не существуют, как и мы для них.

Я сказал, что почти все понял, кроме одного: зачем же тогда на этих несуществующих станциях поезда должны сбавлять скорость, и вообще, зачем там нужны охранники, и чьи они, здешние или тамошние, и если все эти станции замурованы, то чего они там охраняют, и как туда попадают и как выбираются, когда заканчивается дежурство; в какой-то степени я все это понимаю, сказал я, но для меня это все как-то нелогично, либо мне эта логика недоступна.

Ну, если я буду разговаривать с ней таким издевательским тоном, ответила она мне с какой-то туземной гордостью, то больше она не станет мне ничего объяснять, на что я вынужден был ответить молчанием.

Упомянутый выше стиль мне чем-то напоминала и квартира на пятом этаже дома на Шоссештрассе: когда человек входил в двухстворчатые, украшенные богатой резьбой темные двери, он попа-

дал в некую напоминающую парадный зал прихожую, ощущая аромат того самого стиля; прихожая была пуста, потемневшие планки паркета кое-где были заменены простенькими дощечками, и при каждом шаге ощущалось отсутствие поглощающего стук каблуков мягкого восточного ковра, как и отсутствие бойкой горничной, спешащей под ярко сияющей люстрой навстречу роскошно одетым дамам и господам, чтобы повесить пальто в гардеробную; все как будто было как прежде, кухню, комнаты для прислуги, разного рода каморки, туалеты, пять смежных, наподобие залов, комнат, откуда роскошные окна глядели теперь на слепые невзрачные стены, соединяли с хозяйскими покоем извилистые коридоры с крашеным деревянным полом; меня разместили в бывшей комнате для прислуги.

Из окна этой комнатки виднелся потемневший брандмауэр соседнего дома, так что жилище можно было назвать весьма скромным, в нем помещалась металлическая кровать и огромный скрипучий шкаф, а также небольшой стол с заляпанной пятнами скатертью, один стул и по меньшей мере два десятка дипломов в изящных рамочках, неизвестно зачем развешанных на обклеенных узорчатыми обоями стенах.

И когда я, улегшись в кровать, долго и пристально смотрел в окно на черное, похожее на рельефную карту пятно на противоположной стене, воображение рисовало мне, как стену лижут огромные языки сдуваемого вниз с горящей крыши пламени; я почти ощущал жаркий ветер, закручиваемый огнем смерч; пожар, видимо, был ужасен и оставил потомкам, в том числе и мне, большие вспученные, закопченные огнем пятна на уцелевшей notwithstanding ни на что стене.

Эту конуру, в которой я старался подолгу не задерживаться, я в любом случае рассматривал как временное пристанище, как просто место ночлега, но когда у меня не случалось совсем никаких занятий, я раздевался, ложился в кровать – что-то вроде большого корыта, затыкал себе одно ухо, а в другое вставлял наушник транзисторного приемника, чтобы не слышать гвалта живущих вокруг меня людей; в квартире проживали четверо детей, их дед с бабушкой-инвалидом, отец, возвращавшийся чуть ли не каждый вечер в крепком подпитии, и на удивление молодая при четверых своих детях мать, женщина с бесцветным лицом, которая своей хрупкостью, вечной усталостью, умными тепло-кариными глазами и лихорадочной занятостью немного напоминала мне Тею, или скорее наоборот, возможно, это Тея в одной из своих старых ролей рассказывала мне о том, какова она могла быть в действительности, будь она способна это рассказать.

Таким образом, иногда я прослушивал передачи, которые вовсе не соби́рался слушать, точнее, я к ним особенно не прислушивался, а смотрел в окно, и не сказать, что при этом о чем-то думал – мне просто хотелось лежать в таком сиротливо бездомном состоянии и ни о чем даже не вспоминать.

А потом, постепенно, откуда-то изда́лека в сознание, боровшееся с воспоминаниями, проник мужской голос, глубокий, подкупающе мягкий, смеющийся, точнее сказать, я словно бы видел улыбку на его незнакомом лице, проникнутом неистребимой веселостью, и какое-то время спустя я поймал себя на том, что прислушиваюсь, слушаю его, но при этом мне интересно не то, что он говорит, а то, как он говорит и что это за человек.

Он брал интервью у дряхлой исполнительницы шансонов, не принужденно болтал с ней, настолько легко и непринужденно, как будто они сидели за чашечкой кофе, а не перед микрофоном, о котором старушка наверняка совершенно забыла, потому что она хихикала, говорила с феноменальной скоростью, порой даже ворковала, отчего интимность их возбужденного диалога становилась почти физически ощутимой, но это был не поверхностный треп, они прерывали беседу старинными записями, и мужчина расспрашивал ее, в каких обстоятельствах эти записи делались, о том времени, которое давно превратилось в замшелое прошлое, но которое, собственно, и было истинным предметом их разговора; о том бурном и восхитительном, легкомысленном и жестоком мегаполисе, жизнь которого словно бы воскрешалась в девчоночьем смехе и воркованье старушки; он, казалось, знал все, но ничуть этим знанием не кичился, более того, иногда, хмыкая и ворча, позволял себя поправлять или попросту признавался в ошибке, своим тоном, однако, оставляя открытой возможность, что престарелую даму, быть может, подводит память, и во всем этом не было ничего обидного, потому что нежная сыновняя любовь и основательная эрудированность собеседника пленяли и обольщали старушку; и когда передача закончилась и я узнал, что следующая программа выйдет через неделю в обычное время, мне показалось, что она полностью удовлетворила все потребности и моей души, и тела; я вытащил из уха наушник и тут же выключил радио.

На следующей неделе, в обычное время он действительно вышел в эфир, но на сей раз, к моему удивлению, он не говорил; в программу были включены шансоны и шлягеры знаменитых оперных исполнителей, Лотты Леман, Шаляпина, Рихарда Таубера, он же лишь объявлял имена и ничего больше, что, несмотря

на разочарование, все же радовало меня; он вел себя сдержанно, что означало, что красноречив он, только когда разговаривает с гостями, и я даже волновался, надеялся, что он не испортит мне впечатления и будет последовательным.

И он был последователен, но больше я его никогда не слышал и постепенно забыл; как-то вечером, видимо, чтобы выпить стакан воды, я вышел на кухню, где застал молодую хозяйку, которая чистила лук-порей – из-за своих четверых детей она работала всегда в первую смену, на каком-то, если не ошибаюсь, асбестоцементном заводе, и обед на следующий день готовила всегда вечером; я подсел к ней, мы тихо разговаривали, то есть в основном говорил я, а она с недовольным видом выдавливала из себя редкие слова, продолжая кромсить лук-порей; я рискнул спросить, а что если, пока я у них живу, снять со стен эти грамоты, не будет ли она возражать.

Нож застыл у нее в руке, она вскинула на меня свои тепло-карие глаза, и взгляд ее в этот короткий немой момент был таким спокойным, что я, ничего не подозревая, ответил на него, потому что ее красота мне нравилась; странно и непонятно было лишь то, что при этом она, словно кошка, собирающаяся замурлыкать, вздернула свои узкие плечи и уронила руку вместе с ножом в наполненную водой миску; она, казалось, вот-вот разрыдается и забьется в конвульсиях, но вместо этого, закрыв глаза, она стала орать во весь голос, выбирая какие-то странные, сложные, для меня в то время едва понятные, чуть ли не литературно изысканные обороты, орать мне прямо в недоумевающее лицо, выкрикивая все обиды, которые я причинил ей от имени всех мне подобных: да за кого они нас принимают? им что, уже все здесь позволено? все, что им только вздумается? перетаскивать-перевешивать? да что они себе думают, эти грязные иностранцы, сраные эти вьетнамцы и негры? это ведь из-за них ей приходится вкалывать в выходные на коммунистических воскресниках, а они без стыда и совести, ну разве это не наглость!! притаскиваются сюда и рассчитывают, что она будет убирать за ними дерьмо, как такое возможно, что ей нет покоя даже в своей квартире? ни минуты покоя в собственном доме! во все залезают своими грязными лапами, кастрюли и сковородки воняют бог знает чем, да кто они, черт возьми? и за кого они держат их? с нее хватит, она не знает и знать не желает, откуда они набежали сюда, ей до этого дела нет, но у них даже нет понятия, что в клозете, черт побери, есть щетка, которой можно убрать дерьмо, высранное из их грязных задниц!

Как только она упомянула вьетнамцев и негров, я встал и, действительно желая утешить ее, хотел было успокаивающим жестом положить руки на ее дрожащие плечи, но от одной только мысли, что я могу прикоснуться к ней, все тело ее охватил судорожный протест, вопли ее превратились в пронзительный визг, в отчаянии она схватила плавающий в овощных очистках нож; я счел за лучшее быстро отдернуть руки и, полностью потеряв лингвистическое присутствие духа – дело в том, что слова мои норовили выскальзывать изо рта на родном языке и я, языком же, пытался впихивать их обратно, – стал, заикаясь, говорить ей, что не надо так волноваться, что если потребуется, я тут же съеду с квартиры, но тихие слова только подливали масла в огонь, и она продолжала визжать фальцетом; я молча направился из кухни, а она, с ножом, последовала за мной и последние слова прокричала уже в темноте огромной пустой прихожей.

Дирижер, потоптавшись в прибое аплодисментов, наконец занял свое место, посмотрел направо, посмотрел налево, взгорбил спину и, словно готовясь к заплыву, вскинул руки над освещенным пюпитром; в зале воцарилась тишина, горячая тишина ожидания; от сцены веяло холодком рассвета.

Мы в тюрьме, как он видит, совсем близко наклонившись к французу, прошептал я, но лицо его в мягкой полутьме даже не дрогнуло.

И после короткой, как вздох, паузы, словно бы отражая грохот аплодисментов, на нас обрушились, круша и сметая всю кичливую театральность, оглушая и ослепляя зал, четыре первых немелодичных такта увертюры; в четырех отрывистых взрывных тактах слышался гром разверзающейся земли, отчего все наши немудреные будничные стремления вдруг сделались мелочными и смешными, и далее, после затишья, когда от жуткого вида открывшейся перед нами зияющей бездны у нас уже захватило дух, послышался выдыхаемый устами кларнета вздох томления, а снизу, из самой глубины, нежно, с любовью, с мольбой о милости запели взволнованные фаготы и умоляющие гобои, устремляясь ввысь, к избавлению, даже если скалистые стены бездны отвечали на их воздыхания лишь разгневанным рокотом, однако мольбы и вздохи все же растут, собираются, уже плещутся бурным потоком, разливаются, проникая во все трещины и расселины злого рока, их поток заполняет уже все ущелье, ревет и свирепствует, несет с собой камни и валуны, но все тщетно, его сила не более чем ручеек против той мощной силы, которая позволяет ему течь, которая над ним властвует

и которую он одолеть не может – до тех пор, пока откуда-то сверху, издалека, извне не прозвучит знакомый и долгожданный, но все же никем не чаемый звук фанфары, триумфальное избавление, простое как оплеуха и уморительно символическое; глас свободы, позволяющий нам освободиться от тела, как от ненужной в любви одежды, обнажиться до самой души.

Когда увертюра закончилась, я наконец смог пошевелиться, до этого было нельзя, неприлично, но теперь мы с французом почти одновременно откинулись на спинки кресел, он улыбнулся мне со счастливым видом, мы оба остались довольны услышанным и этой общей удовлетворенностью как бы заключили мир; через бойницу крепостной стены проник лучик света, утро, на тюремном дворе появилась тоненькая полоска театрального солнца.

Позднее в тот воскресный день мы больше не разговаривали; Мельхиор, видимо, стыдился и своей ухмылки, и своей жестокости; обменялись лишь несколькими словами, пока накрывали к обеду, но ели молча, избегая смотреть друг на друга.

Мы еще не закончили есть и на тарелке у Мельхиора оставалось немного цветной капусты, пюре и кусочек мяса, когда зазвонил телефон; он, что-то раздраженно буркнув, положил на тарелку нож и вилку, но поспешность, с которой он, несмотря на неудовольствие, потянулся за трубкой, выдавала какое-то оживленное любопытство, достаточное, чтобы понять, что и бурчание, и неудовольствие предназначались скорей для меня, что он таким образом как бы заранее извинялся.

Я никогда не спрашивал у него, да и не задумывался над тем, как он питался в мое отсутствие, потому что разница вряд ли была велика; скорее всего, он с такой же тщательностью накрывал на стол, только не демонстрировал и не подчеркивал этой тщательности, а судить об этом я могу по визитам к его матери, которую мы в выходные навещали в его родном городе; там, в столовой со старинной мебелью, едва ли не в каждом жесте, в опрятно разложенных на столе приборах, в манере подавать блюда я мог ощутить ту экономную, знающую цену любому кусочку, вошедшую в плоть и кровь вековую традицию протестантского отношения к пище, которую он не только перенял, но даже вызываяще утрировал в моем присутствии своей изысканностью; однако в то воскресенье мы обедали молча и я поэтому впервые мог внимательно, словно через замочную скважину наблюдать за его движениями, за тем, в каком ритме он пережевывал и глотал пищу, ибо мы оба так старались уйти в себя, изолировать, не смущать другого своим

присутствием, что это было уже равносильно полному одиночеству, и тогда мне стало совершенно ясно, что эта его подчеркнутая, систематическая, гипертрофированная торжественность, которая проявлялась не только за столом, но и во всех прочих так называемых повседневных делах, была вовсе не признаком какой-то неизвестно откуда взявшейся и мною так и не разгаданной церемонности – отнюдь нет, эта чрезмерность адресована мне, точнее, нам обоим, с ее помощью он как бы измеряет время, отсчитывает проведенные вместе часы, измеряет и освящает их, от начала к заранее, с точностью до дня и часа ведомому концу, потому и священнодействует над каждым текущим мгновением, пытаюсь сделать его как можно более эстетичным, как можно более значимым и торжественным, чтобы даже после того, как этот конечный пункт останется позади, мгновения эти сохранились, стали зримыми, нужными, осязаемыми воспоминаниями.

На столе, в старинном серебряном подсвечнике, горела свеча, и горела она не только для красоты и торжественности, но и ради того, чтобы для выкуривания послеобеденной сигареты не нужно было выкладывать на белую дамасскую скатерть ни спички, ни зажигалку и не осквернять этими пошлыми обыденными предметами ту искусственно безупречную чистоту, которой ему хотелось отгородиться от чуждого и презренного мира; на столе стояли цветы, крахмальные салфетки были вправлены в серебряные кольца с монограммами, и точно так же на столе не могла оказаться какая-нибудь обыкновенная бутылка вина, он предварительно, хотя вино это явно не шло на пользу, переливал его в хрустальный, очень тонкой работы штоф, и при этом мы вовсе не чувствовали ни скованности, ни неловкости, что могло бы быть почти неизбежным следствием этой тщательной сервировки, он ел с наслаждением, чуть ли не с жадностью, тщательно пережевывая каждый кусок, поглощал огромные порции, и если я что-то не доедал, он ставил мою тарелку перед собой и подчищал все до крошки; вино он тоже пил в непомерных количествах, без конца наполняя им стройный фужер, но никогда не напивался и даже вроде бы не хмелел.

Ему звонил Пьер, и я, проглотив последний кусок, в поисках повода выйти из комнаты, чтобы не мешать им, стал убирать со стола; говорили они по-французски, отчего всегда, и личность Пьера здесь была ни при чем, с ним происходили странные перемены; не отрицая возможного влияния ревности, все же скажу, что в такие минуты его словно подменяли, он приходил в агитацию, делался непривычно услужливым, чтобы казаться естественным

на чужом языке, отрекался от собственной естественной привлекательности, вел себя как усердный школяр, как выскочка, который в надежде на похвалу учителя готов взять на октаву выше, чем позволяет голос, и от старания добиться безупречной дикции, хотя класс и так уж покатывается со смеху, даже выворачивает шею; говоря по-французски, Мельхиор подтягивал губы к носу, оттопыривал их, складывал бантиком и не произносил слова, а выталкивал их, предварительно пожевав во рту, и все это не просто из высокомерного желания как можно свободнее говорить на иностранном языке, а словно пытаясь открыть в себе другое я, другую, потенциально существующую в нем личность, которую можно продемонстрировать только с помощью идеальной артикуляции и безошибочной интонации; слушая это, я не только немножко стыдился за него, но и узнавал себя, свое собственное сомнительное поведение в таких ситуациях; он удобно откинулся на спинку стула, из чего следовало, что разговор будет долгим, и знаком попросил оставить на столе его тарелку и не уносить фужер.

Выйдя на кухню, я оставил посуду на столике рядом с мойкой, но мыть не стал, не желая быть столь уступчивым и великодушным, чтобы полностью предоставить их друг другу; я направился было в спальню, но потом все же вернулся, они все еще болтали, точнее, теперь говорил Пьер, говорил долго, а Мельхиор, улыбаясь в трубку, слушал, рассеянно подбирая с тарелки остатки еды и облизывая пальцы.

Я открыл окно и высунулся на улицу, не желая понимать даже те немногие слова, которые мог понять, но присутствовать все же хотел.

В этой игре, в этой амбициозной языковой игре, в которой он пытался часть своей личности отделить, заменив ее идентичность чужой, был некий тонкий, адресованный мне оттенок, и после нашего утреннего разговора мое ухо воспринимало этот оттенок по-новому.

Дело в том, что чем лучше ему удавалось приспособиться к мелодике иностранного языка и освободиться от интонаций языка родного, впитанного в плоть и кровь, в выражение губ, лица, в жесты и позы, тем труднее было ему, пользуясь чужим языком, говорить на нем так же свободно, как на родном; а ведь это совершенно естественно, потому что на родном языке мы никогда не говорим совершенными фразами, далеко не всегда делаем правильные ударения, а свободно болтаем, повинуюсь какому-то сильному внутреннему побуждению и индивидуальному чувству равновесия,

совершенство же выражается посредством негласных и крайне разнообразных, но при том нерушимых и непреложных языковых конвенций, оно выражается только внутри языкового сообщества, и поэтому на родном языке даже в самой неуклюжей фразе смыкаются крайние полюса полнейшей непринужденности и строжайших ограничений, свободы и принятого сообща рабства, и в этом смысле не бывает ошибочных или ложных интонаций, вообще не бывает языковых ошибок, потому что любая ошибка, оговорка, неправильная и ложная интонация не коренятся в языке, а указывают на что-то реальное, на реальное заблуждение или ложь; но с ним было несколько иначе; чем более жалким и неестественным становилось его странное, бесцветное и невыразительное, чисто подражательное лингвистическое совершенство, тем яснее была для меня его игра: он хотел убедить меня, что, знакомый с ним только по его родной речи, по родным оборотам и жестам, я на самом деле совсем не знаю его, что у него не одна идентичность, ведь вот, он в любой момент способен на такую метаморфозу, и не стоит мне доверять человеку, которого, как мне думается, я знаю, он – человек с двумя личностями, с двумя языками, которые он может выбирать по своему усмотрению, как ему удобнее, и я напрасно пытаюсь чувственно его к себе привязать, напрасно пытаюсь собой шантажировать, и уж тем более напрасно – шантажировать его Теей, потому что одна половина его души всегда будет свободной, и, следовательно, шантаж на него не действует, туда, на ту половину, путь для меня закрыт, там начинается совершенно другой, недоступный мне тайный мир, в который я не могу заглянуть, и зря я ревную его к этому французу, потому что если он даже не любит именно этого француза, он все же любит француза в себе и того, который был его настоящим отцом, на языке которого может и хочет говорить его сердце, и мне, разумеется, этот случай, о котором он мне рассказывал, представляется каким-то давним историческим казусом, но я глуп, я ничего не понял, не понимаю, что подлинная его история заключается именно в этой необратимой разорванности его души и тела, и он должен был сделать свой выбор в пользу отца-француза, казненного немцами, его душа восстает против тела, а тело – против родного языка, и вовсе не потому, что тот был его настоящим отцом, кому может быть интересна сперма никому не известного человека! нет, он должен был сделать свой выбор из-за правдивости этой истории и отвергнуть своего отца-немца, которого тоже не знал, но тоже любил, часами тщетно разглядывал на фотографиях его лицо, который дал ему имя и который замерз где-то в открытом поле или в окопе.

И если прежде даже напряженность между нами могла доставлять нам удовольствие, то от этого затянувшегося разговора, из которого я был разными способами исключен, напряженность стала еще более тягостной; я еще немного погрелся под вечерним лучом вялого, уже зимнего солнца: с утра оно медленно покидало двор, и теперь лишь узенькая полоска падала на один глаз Мельхиора, на его волосы и стену над головой; поэтому я удалился в холл, лег на диван, вынул из-под подушки плед и, укрывшись, повернулся к стене, как человек, который обрел наконец утешение.

Да, возможно, он был прав: я не вполне серьезно воспринял его историю, считая его жгучую ненависть к немцам скорее формой ненависти к себе, имевшей совсем другие причины, точно так же как он старался не принимать близко к сердцу мою душераздирающую жизненную историю; правда, он раз-другой над ней искренне прослезился, но в конце концов довольно холодно заметил мне как-то, что он видит в ней не что иное, как сугубо индивидуальное, коснувшееся лично меня и от этого, безусловно, трогательное последствие того окончательного крушения, которое потерпели европейские массовые движения анархистского, коммунистического и социалистического толка, втянутые в сферы влияния двух сверхдержав; и оба мы всего лишь жалкие жертвы этого крушения, два несчастных мутанта, сказал он и засмеялся.

Я с некоторой обидой напомнил ему о кое-каких особенностях недавней венгерской истории, с обидой, потому что кому же понравится, когда всю историю его жизни считают симптомом либо разновидностью какой-то болезни или пусть даже дегенерации европейских масштабов, но как ни убеждал я его, он все же остался при своем мнении и в рамках довольно пространного политологического экскурса объяснил мне, что именно венгерское восстание, он сказал «восстание», а не «революция», пятьдесят шестого года можно назвать первым и самым существенным симптомом и даже переломным моментом в новейшей европейской истории, поскольку именно оно обозначило крушение, самоликвидацию и практическое исчезновение традиционных духовных движений; а венгры тем временем весьма героически, но и не менее глупо апеллировали к тому традиционному европейскому принципу, которого в этот момент, как выяснилось, практически уже не существовало, от него остался лишь пустой звук да пара венгерских трупов.

Несколько тысяч погибших и казненных людей, заметил я укоризненно, в том числе и мой друг.

Эти принципы, продолжал он, как бы не слыша моего замечания, перестали работать в момент завершения Второй мировой войны, только Европа от стыда, что не защитила себя, и от смешанной с этим стыдом эйфории победы даже и не заметила, что на Эльбе солдаты двух великих держав обнимались над обгорелым трупом Гитлера уже как истинные хозяева мира.

И за что бы кто ни боролся, за национальное самоопределение или за социальное равенство, для двух мировых держав это не имеет значения, сказал он, потому что в устроенных по своему подобию сферах влияния они обе стремятся к тому, чтобы не допустить независимого развития.

На одной стороне это означает возвращение тех порядков, которые были до демократии, и тотальное подавление всяких стремлений к демократизации или национальной самостоятельности, на что, кстати, я должен это заметить, другая супердержава, исповедующая свободу и принцип самоопределения, с готовностью дает свое добро; а на другой стороне в это время стремятся к тому, чтобы практические намерения, неудержимо распространяемые буржуазной эмансипацией, не могли жить и процветать сообразно своему естеству; к тому, чтобы вытекающие из принципов равенства перед законом и социальной справедливости рациональные и неизбежно, в силу своей природы радикальные устремления обуздать консерватизмом, на что, со своей стороны, с готовностью дает добро другая супердержава, утверждающая принцип социального равенства, – во-первых, потому, что она и сама консервативна до мозга костей, а во-вторых, потому, что в любом опирающемся на идею равенства социальном преобразовании видит угрозу своему иерархическому устройству.

Вот, вот, сказал он, словно посмеиваясь над тем, что не в меру расфилософствовался; я же, воспользовавшись его минутной заминкой, пока он черпал силы в самоиронии, выразил некоторое свое сомнение, а можно ли так грубо отождествлять две мировые державы как в их намерениях, так и в практических действиях.

Только я не должен думать, продолжал он, снова игнорируя мои слова, будто он не слышал нашего спора, пока мы поднимались по лестнице, да, он смотрел на Тею, однако все слышал, и ему так кажется, что в нашей маленькой перепалке полный крах традиционных европейских ценностей был ошутим гораздо острее, чем в так называемой большой политике, где осторожные дипломаты или задиристые политики пытаются сгладить реальные противоречия или, напротив, до невозможности обострить их; мы были

просто смешны, нам и стена была не нужна, лаяли друг на друга как бешеные собаки, уже не догадываясь, не спрашивая, не ища, что там, за этой стеной, находится, совершенно забыв о том, что ее затем и построили, чтобы можно было друг друга облаивать.

Они прощались по крайней мере три раза, но потом опять продолжали, видно, были настолько увлечены друг другом, что не могли прерваться, и говорили не менее сорока минут, причем я не только чувствовал, но и понимал, что Мельхиор под прикрытием иностранного языка разговаривает с ним, в частности, обо мне, короче, сплетничает, или в том их междусобойном конфликте использует меня в своих интересах; они болтали, спорили, калякали, цапались и трепались, как две старые карги, в то время как я, в немом иступлении кутаясь в плед, пытался сквозь волны его отвратно певучего голоса навлечь на себя хотя бы легкую дрему, чтобы все отдалилось, и если уж я одинок, то пусть будет позволено мне быть одному.

439

Его аргументы казались достаточно убедительными, тем более что в отличие от меня он никогда не горячился, не взрывался, не кипятился, какой бы чувствительной сферы ни касался в своем анализе, как будто у него вообще не было эмоций, а была только рассудительность, холодная и сухая, строго придерживающаяся избранного предмета и именно эту строгость оттеняющая ироническими обертонами; и все-таки, несмотря на это, я почти всегда испытывал недоверие к его эффектным теориям, мне казалось, что так может рассуждать только человек, который в каждый серьезный момент своей жизни избегал и до сих пор избегает себя, а потом с безупречной логикой и рациональностью анализирует это бегство, скрывая при этом живые, бессмысленно кровоточащие в душе раны.

Но в силу своей натуры я следил не столько за тем, что он говорил, сколько за более откровенными элементами стиля, за непонятым чувственным спазмом в его организме, пытался включиться в его внутренние маневры по отчуждению себя от предмета с помощью сухости или иронии и таким образом, сопереживая, хотел понять его, добраться до той самой точки, от которой он сам уклоняется, чтобы затем, закрепившись на этой достаточно зыбкой почве, разгадать все устройство его существа, его жестов, ухватить его; но получалось так, будто я постоянно перемещаюсь среди теней, каждый жест его оставался намеком, намеком многозначительным, отсылкой к чему-то другому, намеком были и его внешность, улыбка и голос, и его окружение, намеком была и Тея,

которую он желал, но все-таки не хотел, и Пьер-Макс, которого он не хотел, но все-таки не бросал, не говоря уж о том, что я тоже был только намеком, отсылкой к чему-то.

В чужом городе человеческие глаза, нос, язык, уши способны открывать необычные, для местного обывателя совершенно постижимые, туманные и умопомрачительные связи между вещами – между благоустроенностью или, напротив, неблагоустроенностью улиц, видом фасадов, уютом квартир и поведением, характером и одеждой их обитателей, между быстротой или медлительностью их реакций и действий, ибо в чужом городе вам не поможет сила привычки, здесь внутреннее и внешнее не отделены друг от друга так резко, как мы привыкли к этому в своем родном городе, где мы сами решаем, что считать, так сказать, внешним принуждением, а что – нашим собственным, как нам думается, внутренним намерением; в чужом городе, в густом равномерном мареве сливается воедино существенное и неважное, накладываются друг на друга фасады и лица, голоса и гримасы, мелькают, словно в калейдоскопе, подъезды, жесты, цвета, ароматы, свет, поцелуи, еда и объятия, и чем меньше мы знаем, откуда все это взялось и с какой историей связано, тем сильнее производимое впечатление; а отсутствие знания и нехватка сведений возвращают нас в счастливое состояние беспристрастного детского созерцания и жажды открытий; как же сладостна эта безответственность! не потому ли люди двадцатого века так обожают находиться в пути и ради этой ностальгической ситуации готовы поодиночке, парами или сбившись в толпу тащиться по улицам какого-то незнакомого мегаполиса, ведь для людей, обремененных всякого рода серьезной ответственностью и опостылевшими делами, это, пожалуй, единственное общественно приемлемое состояние, в котором, ничем не рискуя, можно разрушить ту прочную стену, которой они наглухо изолировали события неосознанного своего детства от событий сознательной, как им кажется, взрослой жизни; и какое же это бесконечное счастье! наконец-то доверить себя самым простым безошибочным органам чувств: обонянию, вкусу, зрению, слуху.

И как ни убедительны были все его построения, все его мысли, проникнутые самобичеванием и ненавистью ко всему на свете, за которой скрывалась ненависть к самому себе, например его рассуждения о том, что он вовсе не немец, что он лжив и что лож доставляет ему удовольствие, ибо это единственный для него способ чувствовать себя здесь правдивым, отчего он и хочет бежать отсюда, словом, что бы он ни говорил, в стиле его квартиры я все-таки ощущал тот самый своеобразный дух, что и в несколько перестро-

енном после бомбежек здания Оперного театра, а внешний вид и внутреннее пространство последнего, по моим ощущениям, были не только не далеки от тех впечатлений, которые я почерпнул в пролетарской квартире на Шоссештрассе, но даже как бы использовали эту квартиру в качестве образца, перенесли на абстрактный уровень архитектуры повседневный опыт, что, собственно, и является целью всякого значительного общественного сооружения в любом городе.

Кое-что о прошлом этого города я, естественно, знал, но, конечно, не больше, чем можно узнать, прочитав несколько необременительно легковесных путеводителей; например, в связи со своими театральными увлечениями я знал об истории строительства и обстоятельствах многочисленных перестроек Оперного театра, знал, что принц Фридрих, который известен миру, мыслящему обо всем категориями истории, как Фридрих Великий, еще в бытность престолонаследником вместе со своим любимцем, придворным архитектором фон Кнобельсдорфом, с вдумчивой обстоятельностью и усердием занимался планами обустройства и расширения своей будущей столицы, знал о том, что, вступив на престол после смерти отца, Фридриха Вильгельма, небезызвестного короля-солдата, он тут же, круша и ломая все, что казалось ненужным, приступил к воплощению своих грандиозных замыслов; так, все скромные, разномерные по высоте и ширине, без особых архитектурных изысков бюргерские дома, построенные на Унтер-ден-Линден во времена его слишком трезвого и ненавидимого отца, он, не смущаясь вопиющим самоуправством, буквально стер с лица земли, чтобы освободить место для роскошных, в стиле венецианских палаццо, пятиэтажных фасадов под один ранжир, что с холодным презрением поглядывали потом с высоты на свое окружение; но вся эта информация в конечном счете лишь расширяла свободу и безответственность моих наблюдений и ассоциаций, за которыми Мельхиор едва ли мог уследить.

Я знал, какие общественные сооружения, призванные явить миру новый облик двора, планировалось построить на Унтер-ден-Линден; в первую очередь было заложено здание Оперы, которая, как и все постройки фон Кнобельсдорфа, приверженца архитектурных идей Палладио и Скамоцци, должна была стать изящным, в классическом стиле дворцом, за строго геометрическим, лаконично монументальным и симметричным фасадом которого можно было дать волю всем истинным прихотям строителя и заказчика: так появился пышный асимметричный внутренний декор с бесчисленными белыми, золотыми, пурпуровыми деталями

рококо; в качестве места для будущего театра расчистили огромный плац между крепостной стеной и улочкой, которая и поныне носит название Фестунгсграбен, то есть Крепостной ров.

Это было похоже на то, как если бы мы случайно открыли неказистый, крашенный в скучно-серый цвет солдатский сундук и обнаружили в нем золоченую, усыпанную самоцветами музыкальную шкатулку на яшмовой подставке с пляшущими под сладенькие мелодии фигурками.

442

Толстый бордовый ковер на белом полу его комнаты и покрытая белым лаком мебель, тяжелые, со множеством сборок, темно-красные, от потолка до пола шелковые шторы с королевскими лилиями и оклеенные гладкими белыми обоями стены, барочное зеркало, изящные подсвечники и множество желтоватых, навевающих дух старины огоньков, чуть подрагивающих на сквозняке и пускающих струйки дыма, – все это было в моих глазах таким же разительным несоответствием между внешним и внутренним; я чувствовал здесь ту же самую, сознательную или вынужденную, но во всяком случае не бездумную, сформулированную на языке камней и предметов потребность в том, чтобы аристократически отдалиться от внешнего, от реального, от того настоящего, которое было представлено сейчас возведенным еще в начале века огромным берлинским домом – с его осыпающейся штукатуркой, с как будто вчера заделанными пробоинами от прямых попаданий и вообще не заделанными следами автоматных очередей, словом, здесь, в квартирке на шестом этаже задней части здания, построенной в свое время для прислуги и пролетариев, я испытывал то же чувство, что и в том исторически знаменитом музыкальном дворце, который был призван представлять миру культуру города.

Со строительством очень спешили, видно, так уж хотелось поскорее отмежеваться от ненавистного прошлого, и без малого два года спустя после начала работ поразительное для своего времени здание уже стояло; оно было приспособлено не только для оперных представлений, но и для разного рода общественных собраний и увеселений, для чего Кнобельсдорф разместил в первом этаже, где сейчас кассовый зал и фойе, кухни и кладовые, помещения для прислуги и туалетные комнаты, а поверх, один над другим, построил три огромных зала, причем таким образом, что с помощью разных устройств, опускаемых и поднимаемых приспособлений три зала можно было объединить в один большой бальный зал, то-то мир диву давался! и вся эта конструкция, несмотря на многочисленные ремонты и перестройки, работает по сей день.

Когда же, прервав его хладнокровные признания в собственной лжи, я осторожно, так, чтобы не обидеть его, стал делиться с ним своими наблюдениями и сказал, что я не только не нахожу ничего лживого в обстановке его квартиры, но, напротив, вижу в ней некое стерильное сочетание буржуазной практичности, пролетарской, без лишних запросов неприязнительности и некоторой аристократической отчужденности, где присутствуют все знаки и элементы прошлого, пусть и не на своих местах; однако эта путаная система своеобразно перекрещивающихся живых и мертвых следов видна во всем городе; он слушал меня, недоверчиво сдвигнув брови, и хотя я чувствовал, что забираюсь в такие дебри, куда он не может, да и не хочет за мною следовать, я продолжал говорить о том, что в общем и целом не считаю его квартиру ни уютной, ни привлекательной, но зато нахожу ее правдивой и, прежде всего, очень даже немецкой, и пусть я и не бывал никогда по ту сторону, рискну все же предположить, что все это специфически здешнее по характеру, так что я не умом, а глазами и обонянием протестую против его рассуждений о своей нации и некоторых его высказываний, имеющих признаки самоненавистничества.

Да присмотреться хотя бы к зданию Оперы, сказал я, из которого в ходе полной реконструкции убрали богов с ангелочками, вышвырнули перегородки лож и, экономя на золоте и орнаментах, как бы стерилизовали прошлое интерьера, оставив на память несколько стилизованных эмблем рококо на парапетах балконов и куполе, словом, как бы остудили весь чувственный жар бывшего интерьера до температуры строгого внешнего оформления; что сказать, вполне здравая архитектурная мысль, уничтожить, но кое-что сохранить от прошлого, сохранить от него строгую и уродливую упорядоченность и тем самым как нельзя лучше соответствовать общему настроению самых широких слоев населения, нацеленного на удовлетворение только простейших потребностей; кстати, здесь, сказал я, как будто люди боятся тайной заразы, везде, куда ни придешь, воняет каким-то дезинфицирующим средством.

Именно этот страх перед прошлым, эти стиливые шараханья между сохранением и расставанием я вижу даже в домах людей, и в этом смысле не думаю, что он может себя от чего бы то ни было изолировать, наоборот, он делает то же самое, невольно подражает другим, ведь то, как он затащил сюда, в эту пролетарскую квартиру на заднем дворе, огромную мебель своих состоятельных предков, точнее, то, что от нее осталось, и теперь вот оригинально-ничает, мало чем отличается от того, как живет в отчуждении

семья пролетариев на Шоссештрассе, в квартире, предназначенной изначально для буржуазного образа жизни.

Он не совсем понимал, что я имею в виду; мы сидели напротив друг друга в уютном свете свечей, и, глядя на его лицо, я видел, как он не без внутренней борьбы пытается проглотить обиду.

Ну если уж я так здорово разбираюсь в немецкой архитектуре, сказал он, и вообще в тонкостях немецкой души, то, наверное, знаю, что записал в своем дневнике Вольтер после встречи с Фридрихом Великим.

444

Он был прав, этого я не знал.

Чуть наклонившись в кресле вперед, он с чувством превосходства легко опустил ладонь на мое колено и, рассказывая, постоянно смотрел мне в глаза с довольной усмешкой и самоиронией и слегка улыбался высокомерной улыбкой.

Росту в нем пять футов два дюйма, начал Мельхиор, имитируя интригующие интонации школьного учителя, телосложение короля стройное, но вовсе не безупречное, и вследствие своей неестественно жесткой позы он кажется беззащитным, однако его лицо приятно и одухотворено, он предупредителен и доброжелателен, а в голосе его звучат привлекательные нотки, даже когда он ругается, что он делает столь же часто, как какой-нибудь кучер, говорил Мельхиор, а свои красивые светлые волосы он заплетает в косичку, причёсывается всегда сам и делает это вполне сносно, пудриться же садится не в ночном колпаке, сорочке и ночных туфлях, а в стареньком и довольно засаленном шелковом шлафоре, – в целом же привычных нарядов он избегает и годами ходит в простом мундире своего пехотного полка, в туфлях тоже его не увидишь, потому как он носит всегда сапоги, да и шляпу не любит держать под мышкой, как то принято в обществе, и во всем его поведении и наружности, даже в мелочах, несмотря на его несомненный шарм, есть нечто странное, например по-французски он говорит лучше, чем по-немецки, и на родном наречии общается только с теми, кто заведомо не владеет французским, ибо родной свой язык он почитает за варварский.

Еще во время рассказа Мельхиор, подавшись вперед, обхватил оба моих колена, а закончив, как бы извиняющим жестом расцеловал меня в обе щеки, что, видимо, было продолжением воспитательного процесса; я не пошевелился, очередь выразить недоверие и некоторую обиду была за мной; меня несколько раздражало, но в не меньшей мере и внутренне забавляло, что не было такого неотразимого аргумента или теоретического оружия, которым я мог бы выбить его из седла его навязчивых идей.

Я все больше укреплялся в том убеждении, что для того, чтобы добиться какого-то результата, нужно не сражаться с ним аргументами и теориями, а взять на вооружение более простой язык чувственной практики, о том же, какого нелепого результата я добивался и каким неуклюжим, ошибочным и дурацким путем, мне придется рассказать чуть позже.

Он кивал, едва не стукаясь о мой лоб, и при этом ни на мгновение не отпуская глазами мой взгляд.

Да уж, да уж, назойливо повторил он, у нашего бедного Фридрикуса все же, видимо, были причины говорить о варварстве, сказал он, разрушать, что построено было отцом, да и та неестественно жесткая поза, из-за которой он выглядел так беспомощно, наверное, тоже была неслучайной, а кстати, известна ли мне история лейтенанта Катте?

Нет, сказал я.

В таком случае, в надежде, что я продвинулся в познании германистики, он расскажет.

Иногда у меня возникало впечатление, будто мы ставили друг на друге опыты, только не знали точно, в чем был их смысл.

Наши кресла стояли друг против друга, он удобно откинулся и, как было уже не впервые, положил ноги мне на колени, я же, пока он рассказывал, разминал и массирует его стопы, что придавало физическому контакту ненужную целесообразность и приятную монотонность; он на секунду отвернулся, его взгляд упал на фужер с вином, он отпил глоток и посмотрел на меня уже изменившимся серьезным, задумчиво-чувственным взглядом, но перемена эта была связана явно не со мной, а с той непростой историей, которую он, прежде чем рассказать, видимо, быстро вспомнил, прокрутил в уме и как-то скомпоновал.

Странному принцу в то время было восемнадцать, а когда он вступит на трон и затеет свои грандиозные стройки, ему будет уже двадцать восемь, начал Мельхиор свой рассказ, и однажды, после изматывающей ссоры с отцом, кронпринц просто исчезает из дворца.

Ищут там, ищут сям – принц как в воду канул, пока наконец из показаний слуг не складывается картина: по всей вероятности, он сбежал, и к побегу имеет какое-то отношение его друг, лейтенант королевской гвардии Ганс-Герман фон Катте.

В погоню за беглецами пускается сам король вместе со своей свитой, и нетрудно представить, какие переживания выпали на долю бедной королевы в ожидании их возвращения.

Свита возвращается во дворец утром двадцать седьмого августа из Кюстрина, однако о местонахождении принца никто ничего не знает или не хочет сказать; сам король возвращается только к вечеру.

Королева в отчаянии бросается к нему, они уже чуть ли не бегут навстречу друг другу, когда их глаза встречаются и король вне себя от ярости восклицает: Ваш сын – мертвец!

Королеву, измученную ожиданием, но все еще не утратившую надежды, эти слова поражают как молния, и она начинает бессвязно кричать: как? почему? как такое возможно? неужели Вы могли стать убийцей родного сына?

Но король, даже не остановившись перед обратившейся в соляной столб королевой, бросает ей на ходу, что этот несчастный беглец – не его сын, а простой дезертир, который заслуживает смерти, и в бешенстве требует выдать ему ларец с перепиской принца.

Получив то, что требовал, он даже не теряет времени, чтобы вскрыть его, а разбив двумя ударами кулака, выхватывает из него все бумаги и уносится с ними.

Во дворце все затихли, спасаясь от королевского гнева, королева спешит в детские покои, но вскоре там появляется король и буквально отшвыривает от себя детей, бросившихся к нему целовать руку, пинает их сапогами и устремляется к стоящей поодаль принцессе Вильгельмине.

Ни слова не говоря, он трижды бьет старшую сестру кронпринца кулаком по лицу с такой силой, что она тут же падает в обморок, и если бы не присутствие духа и ловкость фрейлейн Зонсфельд, которая на лету подхватила принцессу, она бы разбила голову об угол комода.

Но ярость короля не знает границ, он жаждет растоптать поверженную принцессу, и спасает ее только то, что королева и дети с плачем и воплями бросаются на тело несчастной принцессы, принимая на себя его пинки и жуткие удары трости.

Позднее в своих мемуарах принцесса Вильгельмина напишет, что их отчаянное положение в тот момент было неопишимо; лицо короля, и без того склонного к апоплексическому удару, было опухшим и лиловым, он задыхался от гнева, глаза горели как у разъяренного зверя, рот был в пене от изливающейся слюны, а королева, словно огромная птица, беспомощно взмахивала руками и издавала страдальческие крики, в то время как младшие дети, даже самый маленький, которому не было еще и трех лет, моля о пощаде,

плакали и обнимали ноги отца; обе воспитательницы принцессы, фрау Камеке и фрейлейн Зонсфельд, стояли как вкопанные, смертельно бледные, не смея издать ни звука, а сама Вильгельмина, все преступление которой состояло лишь в том, что она безмерно любила брата, о чем свидетельствовали и обнаруженные письма, она, самая несчастная из всех, обливалась потом, дрожала всем телом и с тех пор, как пришла в себя, была словно в горячке.

Дело в том, что король не только жестоко избил принцессу, но и осыпал самыми страшными проклятиями, он вменял ей в вину, что дом распадается у них на глазах и что это ее измена, укрывательство и безнравственные интриги столкнули семью в пучину бед и страданий, и она заплатит за это, заплатит головой, орал он, а также набросился с угрозами на королеву, и поскольку в пылу запечатывал, что однажды уже объявил сына мертвым, стал швырять ей в лицо чудовищные клятвы в том, что непременно велит казнить принца; на эшафоте, кричал он, на эшафоте.

Казалось, уже ничто не сможет остановить этот поток угроз, проклятий и кровожадного гнева, когда кто-то робким голосом доложил, что лейтенант Катте доставлен.

Короля это несколько отрезвило, точнее, те, кто стояли рядом, ясно видели, что он отвернулся от них только потому, что при одном упоминании этого имени ярость вспыхнула в нем с небывалой дотоле силой, и зверь, бушевавший внутри собственной клетки, теперь вырвался наружу; очень скоро он будет знать достаточно, бросил он королеве, чтобы палач приступил к работе, и выбежал из детских покоев.

Сразу наброситься на новую жертву не получилось, потому что в его кабинете ждали министр фон Грумбков и генерал-аудитор Милиус, которым он сдавленным голосом прошипел, что им придется заняться допросом Катте, чьи показания, что бы в них ни было, должны позволить ему отдать под суд сына; он коротко изложил суть дела и заявил, что принц – не просто предатель, злодей, нарушивший присягу дезертир, но и мерзкий выродец, монстр, не заслуживающий никакой пощады.

В это время в кабинет ввели двадцатилетнего стройного, большеглазого, очаровательного и, естественно, смертельно бледного лейтенанта фон Катте, который тут же пал на колени перед королем, король же стремительно бросился на него и сорвал с груди крест ордена иоаннитов, после чего стал пинать и лупить тростью, пока не выбился из сил; тело Катте, лежавшее у его ног, казалось безжизненным.

Как постоянный покровитель ордена Святого Иоанна, прусский король имел полное право сорвать рыцарский крест с шеи лейтенанта Катте.

После этого, продолжал свой рассказ Мельхиор, вылив на лейтенанта ведро воды и похлопав слегка по щекам, его привели в чувство и приступили к допросу.

На вопросы Катте отвечал так искренне, с такой силой духа и таким серьезным верноподданническим рвением, что его поведение вызвало восхищение не только у следователей, но и у самого короля.

Он признался, что знал о планах побега принца и, поскольку любит его всем жаром своей души, осознанно решился нарушить присягу на верность королю и последовать за другом, однако о том, при каком дворе принц намеревался найти убежище, ему неизвестно, а кроме того, он не думает, что о плане побега могли знать королева или принцесса Вильгельмина, поскольку они держали его в величайшей тайне.

После допроса у него отобрали мундир и почти нагишом, в одном только льняном фартучке через весь город препроводили на гауптвахту.

Приговор должен был выносить военный совет, но постоянным членам совета не очень хотелось участвовать в столь деликатном деле, и они с помощью жеребьевки выбрали для решения этой неприятной задачи двенадцать офицеров.

Граф Дёнхоф и граф Лингер высказались на совете за то, чтобы вынести какое-то более мягкое наказание, однако другие, осознав беспрецедентную тяжесть случившегося, настояли на вынесении смертного приговора и для полковника Фрица, именно так по приказу короля им следовало называть престолонаследника, и для лейтенанта фон Катте.

Когда смертный приговор был зачитан Катте, он спокойно сказал, что готов предоставить себя providению и воле короля, ибо ничего плохого не совершал, а ежели ему суждено умереть, то это наверняка случится в интересах какого-то благородного, но неизвестного ему дела.

Некий майор Шенк получил приказ доставить осужденного обратно в кюстринскую цитадель, где содержали и престолонаследника.

Они прибыли в девять утра, и остаток дня Катте провел в обществе священника, которому он рассказывал о своей порочной жизни, глубочайшим образом каялся, после чего всю ночь усердно молился.

Тем временем на площади цитадели строили эшафот, причем так, чтобы он оказался на одной высоте с камерой престолонаследника; окно камеры вместе со стеной по прямому распоряжению короля разобрали до самого пола, чтобы, сделав широкий шаг, можно было шагнуть прямо на помост, и проем до времени занавесили черной тканью.

Все эти шумные работы производились в присутствии принца; под приглядом надсмотрщиков трудились девять каменщиков и семнадцать плотников, так что принц был, конечно, уверен, что готовится его казнь.

449

Утром, без шести минут семь, в камеру вошел капитан Лёпель, комендант крепости, и сообщил принцу, что по желанию короля ему придется наблюдать за казнью Катте; на руке капитана висело коричневое облачение из грубой дерюги, он приказал принцу раздеться и надеть его на себя.

Когда переодевание было закончено, черный занавес с окна сняли, и принц увидел перед собой свежестроенный по всем правилам мастерства эшафот.

Миновали три бесконечных минуты, прежде чем на помост, точно в такой же, как у него, коричневой дерюге, вывели друга принца, а ему самому было велено встать в проеме окна.

Это сходство в одежде, видимо, благодаря изощренной изобретательности его отца, произвело на принца столь шокирующее впечатление, что он хотел выпрыгнуть из окна, но его рывком втащили назад и потом уже крепко держали за локти; а впоследствии он очень долго отказывался снимать с себя эту дерюгу, носил ее днем и ночью, пока три года спустя она на нем не истлела.

Когда его втащили назад, он заплакал и закричал, Христом Богом просил отложить казнь, ибо если уж ему суждено остаться в живых, то он хочет написать королю; он умолял, давал клятвы, был готов отказаться от всего, от короны, от собственной жизни, если это спасет жизнь Катте, пусть позволят ему обратиться с мольбой к королю.

Пока он стenal, не обращая на него внимания, зачитывали приговор.

После последних слов Катте шагнул к нему ближе, его тоже держали сзади за руки, и они на мгновение молча взглянули друг другу в глаза.

Боже милосердный, кричал принц, за что мне такое несчастье! милый, единственный друг мой, из-за меня ты сейчас умрешь, из-за меня, который хотел бы оказаться на твоём месте.

Держать его приходилось крепко, а Катте, назвав его своим милым принцем, ответил ему ослабевшим голосом, что будь у него хоть тысяча жизней, за него он пожертвовал бы их все, но теперь ему нужно попроситься с юдолью слез, и с тем опустил на колени перед фальбайлем – падающим топором.

В последний путь, как было разрешено, его сопровождали личные слуги, и один из них хотел было завязать фон Катте глаза, но тот мягко отстранил от себя дрожащую руку с платком, поднял голову к небу и произнес: Отче! в руки Твои предаю дух мой.

Два палача поместили его голову под ножом, двое слуг отступили назад, и в этот момент принц, потеряв сознание, повис на руках у тюремщиков.

Они положили его на кровать, и в себя он пришел только около полудня.

По приказанию короля изуродованное тело Катте должно было оставаться перед глазами принца на эшафоте до вечера.

Принц увидел с постели обрубок шеи, торчащий из обнаженно-го торса, и окровавленную голову в корзине.

Его била лихорадка, он в ужасе зарыдал, и голос его был столь пронзителен, что часовые на бастионах оцепенели, после чего он вновь потерял сознание.

Прижимаясь к стене своей камеры, он две недели плакал, почти не спал, иногда позволял себя напоить, но от еды отказывался; когда все слезы были выплаканы, он еще многие месяцы молчал, а снова заговорив, наотрез отказался снимать с себя коричневую дерюгу, когда же она превратилась в клочья, то боль поселилась у принца под кожей.

Вечером тело лейтенанта Катте поместили в гроб и похоронили в крепостной стене.

К тому времени, как они закончили телефонный разговор, я от злости, по-видимому, задремал, потому что очнулся от мертвой тишины в комнате.

Я думаю, что, повесив трубку, он еще долго задумчиво сидел в своем кресле, я мог слышать только его молчание, то промежуточное состояние, в котором он еще разбирал и раскладывал по полочкам все прозвучавшее и услышанное, и поэтому мне казалось, будто я ощущаю не молчание, не безмолвное его присутствие, а его отсутствие.

После этого внезапного пробуждения я, видимо, еще глубже погрузился из полудремы в сон, потому что в следующий раз очнулся уже от того, что он, прижимаясь к стене и слегка отпихивая меня, забирается под плед.

Он устраивался между мной и стеной, искал себе место, но осторожно, тихо, чтобы не разбудить меня, я же и не думал сдаваться, не нуждаясь сейчас в чувстве близости, и уступил ему ровно столько, сколько ему удалось отвоевать, даже не открывая глаз и делая вид, будто сплю.

Какое-то время, припертый к стене, он лежал неподвижно, мои подтянутые к груди колени упирались ему в живот; я, конечно, мог бы слегка расслабить тело, как невольно делают это во сне, но я уже пробуждался и тем старательней делал вид, что сплю.

Мог бы и подвинуться, вдруг сказал он, разоблачив меня: он прекрасно знает, что я только притворяюсь спящим.

Я попытался расслабиться, чтобы мое притворство было не так заметно.

Он просунул одну руку под мою шею и, обхватив другой мою спину, хотел притянуть к себе, но мои полусогнутые колени делали это невозможным, не давая ему ни желанной близости, ни места, чтобы поудобней расположиться.

Какое-то время, словно смирившись со всеми неудобствами и со своей немыслимой позой, он тоже не шевелился, не ерзал больше, а уткнувшись лбом мне в плечо, сопел, пытаясь заснуть, но потом вдруг яростно всхрапнул и выдернул руку из-под моей шеи; ну, погоди, сказал он, я сейчас все устрою, и, таща за собой общее одеяло, чуть подпрыгивая и упираясь руками в стену, соскользнул с дивана.

Я слышал, как он раздевается, слышал шорох рубашки, звук молнии на брюках и быстро швыряемых на пол вещей; наклонившись ко мне, он нашарил на поясе пуговицы, расстегнул, а затем, ухватившись внизу за штанины, стянул с меня брюки так, что по собственной воле я не сделал ни одного движения, мое тело само подчинялось ему; он стащил с меня носки, а потом, слегка приподняв ладонью мои ягодицы, освободил меня от трусов.

Чтобы добраться до моей рубашки, ему пришлось на коленях, вдоль стенки, пробраться опять вдоль дивана, а поскольку смысл игры состоял в том, что я прикидывался безжизненным, у него теперь было больше места; для того чтобы потеснить его, снова подтянув к груди колени, которые он распрямил, стаскивая с меня брюки, я должен был бы нарушить правила.

Затем нужно было вытащить из-под подушки мою ладонь, разогнуть обе руки в локтях и слегка приподнять; рубашку приходилось вытаскивать из-под меня силой, он рычал, стонал и пыхтел, что тоже было частью игры, но я лежал как бревно, так что сия операция действительно потребовала от него массы усилий.

И пока он устойчиво, раздвинув колени, сидел надо мной на пружинистом диване, на меня волнами нисходил пряный запах его тела; да еще какой, ведь покровы одежды изолируют, отрезают от внешнего мира ароматы плоти, когда же одежда спадает, то сдерживаемое до этого дыхание тела, словно прорвав плотину, выплескивается наружу бурливыми и вихрящимися потоками.

Кое-как стащив с меня рубашку, он отшвырнул ее и с шумным выдохом упал рядом со мной; мои руки были все еще подняты над головой и вывернутыми запястьями касались стены, так что я невольно уступил ему место и на подушке, тем временем он, согнувшись, нашарил у нас в ногах плед, аккуратно прикрыл им мне спину и заправил его за свою; от окна, оставшегося открытым, тянуло прохладой; издавая сладостные игривые звуки, он накрыл пледом пыл наших тел, потом снова просунул руку под мою шею, второй рукой обнял меня за талию и опустил голову на подушку рядом с моим лицом.

Я лежал, не открывая глаз, и минул долгий и напряженный момент, прежде чем мы соприкоснулись телами; лежа параллельно, лицом друг другу, каждый из нас ждал, пойдет ли другой в своих принципах и намерениях на уступки – ведь, освобождая меня от одежды, он на самом-то деле пытался освободить меня от обиды, заносчивости, озлобленности, от решимости остаться в одиночестве, коль скоро я не могу оставаться с ним, и несмотря на то что проявленная в игре в раздевание пассивность вроде бы восстанавливала разрушенную общность, мое старание нарочно придать своим членам одеревенелость показывало, что все происходит против моего желания, что я не намерен сдаваться, что мне не нужна его близость, его запах, тепло, и все это относилось еще к нашему утреннему разговору, оборвавшемуся взаимной усмешкой.

А с другой стороны, не менее двусмысленной была и его активность, ведь чем напористее и решительнее активность, тем яснее она обнаруживает свои цели; он склонял передо мной голову, не просил прощения, но, отбросив гордыню, раскаивался, и с его стороны все эти попытки как-то приткнуться ко мне, вся эта церемония раздевания означали, что его чувства, которые ярче всего он мог проявить в телесности, побуждают его к жестам христианнейшего смирения, что вовсе не то же самое, что униженность, как не является таковой, например, ритуальное омовение ног, и если и после этого я не отвечу взаимностью на нежную агрессивность его смирения, то ему больше нечего будет мне предложить, это предел, за этим пределом – уже только бестелесные моральные принципы, а они вещь упрямая.

И тогда я все же пошевелил поднятыми над головой руками, одну тоже подsunул ему под шею, другой обхватил его спину, тем временем он раздвинул коленом мои колени, просунул свое бедро меж моих, мы лежали голова к голове, пах к паху, то есть два тела, повернутые друг к другу, встретились всей поверхностью.

И встреча эта была так богата инстинктами, чувствами и порывами, что тот неизмеримо краткий миг, когда кожа коснулась кожи, тепло смешалось с теплом, запах с запахом и коснуться друг друга еще большей поверхностью мы уже не могли физически, был подобен глубокому и болезненному стону счастливой избранности, близкой встрече двух сопряженных далей; так, наверное, две параллельные могут чувствовать себя в бесконечности.

Согласие двух тел, проявившееся в простом соприкосновении, снявшее все противоречия и даже моральные расхождения, было столь захватывающим и мощным, словно это была уже сама кульминация, и вместе с тем в нем не было ничего фальшивого, никаких иллюзий, будто физическое прикосновение способно прояснить то, что мы только чувствуем, но не можем окончательно упорядочить разумом; то есть, если можно так выразиться, оба тела сохраняли трезвость ума, каждое вело свою игру и держало другое на расстоянии, словно бы ставя условие: если отдашься без рассуждений, я тоже готово отдаться безумию момента; но это смешение жара и холода, инстинктов и разума, близости и отстраненности увело наши тела от той точки, где, цепляясь за вожделение, стремясь к удовлетворению, они могли бы найти какое-то новое, еще более интенсивное, всеобъемлющее согласие.

Неуверенность тела растворяла в себе уверенность, нас это устраивало, вожделение вслушивалось в нежелание и чем больше приятного для себя открывало, тем сильнее расслаблялось, и в этой расслабленности мы и забылись; по-моему, я уснул чуть позже него, потому что услышал еще, как ветерок трепал пожелтевшие листья на тополе и ровное дыхание Мельхиора.

Мы спали в обнимку, его грудь покоилась на моей, пах был прижат к моему паху, голова – на моем плече, волосы – у меня во рту, наши ноги под пледом сплелись; мы вынуждены были как можно тесней прижиматься друг к другу не только потому, что диван был узким, но и потому, что, туго набитый конским волосом, он был слегка покатым, и мы держали во сне друг друга, чтобы не свалиться на пол.

Мы проснулись внезапно, как просыпается человек, боящийся провалиться в еще более глубокий сон, его тело содрогнулось

на моем теле, что разбудило меня, а поскольку под тяжестью его головы у меня затекло плечо, я, невольно ища позу поудобней, которую, впрочем, тело ищет всегда, несколько отодвинулся от него.

Наши тела расстались с ощущением той же мирной близости и единства, которое они испытывали и до этого; но отдалились они не совсем, а ровно настолько, чтобы в воздушную щель между ними проник свежий воздух, проник внешний мир, настолько, чтобы можно было ощутить жар тела.

По-моему, мы одновременно открыли глаза, его голова сползла с моего плеча на подушку, и мы смотрели друг на друга с некоторого расстояния.

И поскольку каждое движение и все ощущения у нас были еще общими, каждое движение и каждое ощущение становилось своим, отражаясь в движении и ощущении другого; мои глаза улавливали тот же самый нейтральный взгляд, каким, как я чувствовал, я смотрел на него.

Сон наш был одинаково глубоким и кратким; он стер время, и сознание вернулось к тому, с чем оно рассталось, с некоторым недоумением, что вовсе не обязательно означает состояние тупости, напротив, такое внимание может быть даже очень острым, я думаю, что именно так смотрят на мир младенцы.

По его глазам я видел, что он наблюдает в моих глазах то же самое, во всяком случае никаких мыслей, а в следующий момент мы одновременно улыбнулись, причем с той же явной синхронностью и заимствованностью: я улыбался его улыбкой, а он улыбался моей, что, опять же, вызывало у нас обоих одинаковую реакцию; целомудренно разомкнув неожиданную и невольную близость, мы опустили головы на подушку и коснулись друг друга лбами.

Я не закрыл глаза, и думаю, что он тоже, а если и закрыл, то, вероятно, тут же открыл их снова.

Его взгляд, еще сохранявший после пробуждения печать нейтральности, вдохновленный совместным весельем, вернулся к привычной деятельности и, словно бы откликаясь на ощущение, заглянул в темноту под пледом; сверху тьма виделась как бы клинообразной.

Стороны этого клина составляли наши чуть расходящиеся тела, две груди, одна из которых, его, была чуть пушистее, и два втянутых от лежания на боку живота, один совершенно плоский и напряженный, другой чуть округлый; а внизу основание клина, которое откровенно замыкали наши скрещенные бедра, словно мягкое темное гнездышко, заполняли наши мужские органы:

один, Мельхиоров, чуть длиннее и толще, другой, мой, скорее комично сморщенный, но лежали они друг на друге так же мирно, как лежали одна на другой наши скрещенные руки.

Не говоря о разнице в нашей комплекции, совершенной вся эта геометрия не была уже потому, что я лежал выше, и ощущения наши, видимо, были схожими, но не одинаковыми, он лежал удобней, взгромоздившись нижней частью туловища на мое бедро, и если не рисовать слишком идиллическую картину, а ее рисовать и не нужно, то должен признаться, что мое бедро не могло дожидаться, когда избавится от этого груза; но несмотря на некоторый дискомфорт, чувство общности, которое мы испытывали, было почти идеальным, и мы видели, потому что смотрели, что чувство это, близкое к совершенству геометрической формы, обладает подъемной силой: на наших глазах два половых органа, покаящиеся друг на друге, медленно, с едва уловимыми переходами стали приподниматься, полниться, удлиниться, расти, зацепились головками, а потом и перевалились друг через дружку, что придало уединенной эрекции новый толчок к взаимности.

Симметрия этого зрелища и охватившее нас чувство единства казались однозначными, ясными и в то же время забавными, потому что ощущение было реальным, но все-таки мы словно бы наблюдали схематический принцип действия этого ощущения, словно заглядывали в бесстрастный механизм инстинктов; мы стукнулись лбами, одновременно, как будто застигнутые врасплох, отведя глаза, и не сговариваясь рассмеялись.

Судя по звуку, это был не просто смех, а скорее гогот.

Взрыв радости и грубости, взрыв ликования от ощущения грубости, которое эрегированный мужской член в силу своей природы вызывает в любой ситуации, ликования от сознания себя мужчиной, от распирающей организм энергии, исконного ликования от своей принадлежности к самцам, от возможности продолжения жизни, взрыв радости от осмеяния разоблаченных архаичных инстинктов, что уже культура; культура, удваивающая наслаждение от грубых инстинктов, ведь я чувствую то, что я чувствую, вопреки тому, что осознаю, что именно чувствую, и поэтому могу чувствовать это еще острее.

Наш гогот был просто звуковым выражением исконной грубости и бесстыдства всякой радости, в особенности коллективной, мы хотели им что-то сказать, и поскольку радость эта, одухотворенная юмором, давала нам уже большее наслаждение, чем могло бы дать простое углубление физического контакта, то я,

как любой человек, всегда невольно стремящийся ухватить радость побольше, рванул его на себя, он грубо толкнул меня, и мы, словно два обезумевших зверя, сцепились с ним на диване.

В действительности идеальной симметрии не бывает, как и полной идентичности двух индивидов, самое большее, чего мы можем достигнуть, это временное равновесие наших различий, и хотя драка была отнюдь не серьезная, но и объятий из нее не вышло, ведь он оттолкнул меня не просто так, а потому, что до этого, именно ради видимости идеальной симметрии, я выбрал для себя наименее выгодную позу, чтобы ему было удобней лежать у меня на плече, чем как бы говорил ему, что он слабее меня, что, в свою очередь, как бы подразумевало, что он не такой уж мужчина, каким представляется, и неважно, что наименее выгодное для себя положение я выбрал осознанно, получая от него большее удовольствие; но именно потому, что не бывает идеальной симметрии, а только стремление к ней, точно так же не может быть жеста, который не требовал бы соответствующего продолжения.

Дело кончилось настоящим сражением, и хотя мы оба следили за тем, чтобы оставаться в рамках игры, оно становилось все более грубым, речь шла о том, кому удастся сдернуть, спихнуть, своротить другого с дивана, то есть о полной и окончательной, не нуждающейся ни в каких дополнительных жестах победе; поначалу нас разделял плед, но потом он, видимо, соскользнул на пол, и мы, голые, потные, мутузили друг друга, насколько позволяло пространство дивана, сперва смеясь, потом больше молча, лишь изредка издавая боевые кличи и пугая друг друга торжествующим воплем уже почти верной победы; мы катались, кусались, упирались ногами в стену, толкались и выкручивали друг другу руки, диван сотрясался и ухал под нами, скрипел и стонал всеми своими пружинами; и, по всей вероятности, в этой борьбе за победу чувство грубой враждебности, всколыхнувшееся невесть из какой, доселе невидимой преисподней, и реальная боль доставляли ему не меньше радости, чем мне.

Наши тела, которые считанные минуты назад демонстрировали столь симметричные и, можно сказать, физически ощутимые доказательства взаимного вожделения, теперь, без того чтобы мы сами почувствовали эту перемену со всеми потенциально заложенными в этой перемене моральными следствиями, нашли для себя другое, но по меньшей мере столь же захватывающее и страстное занятие, которое полностью изменило, как бы вывер-

нуло наизнанку изначальное чувство: мои кости и мышцы, без намека на нежность, изучали сейчас его мышцы и кости на языке исступления.

И тут я с грохотом повалился на пол.

В последний момент я попытался увлечь его за собой, но он, оттолкнувшись ладонью от моего лица, все же вскарабкался на диван; все так и должно было быть, потому что из нас двоих я был по натуре мягче.

Он стоял на коленях, глядя на меня с молчаливой усмешкой, мы тяжело дышали, а потом, так как оба не знали, что делать теперь с этой победой и с этим поражением, он, вдруг смутившись, откинулся на спину, я тоже лег навзничь на мягком ковре; в наступившей тишине слышалось только наше мало-помалу успокаивающееся дыхание.

Раскинув руки, я лежал внизу, он тоже, шумно сопя, раскинулся на диване, свесив вниз кисть руки, словно бы предлагая мне: потянись, возьми меня за руку! но я этого не сделал, пусть свисает прямо мне в лицо, так даже интересней, пусть ему этого не хватает, эту нехватку можно в любое время восполнить; мне казалось, что я уже видел когда-то этот потолок, три расходящихся закатных луча, преследующих на сводчатом потолке смутные тени веток, качающихся за окном, и эту повисшую, чуть вывернутую в запястье мертвую руку; казалось, это невероятное происшествие однажды уже произошло со мной в этой комнате.

В то время я не нашел, да и не пытался найти этому объяснение, хотя внутреннее ощущение отстояло не так далеко от видимой мною картины, чтобы до него невозможно было дотянуться, но иногда ум, блюститель наших воспоминаний, по каким-то причинам не открывает нам место хранения каких-то данных, а только намекает на него и, видимо, правильно делает, он щадит нас, не спешит указывать нам на скрытые связи вещей, чтобы не испортить, возможно, приятную саму по себе ситуацию.

Наверное, все было бы иначе, возьми я его за руку.

Ибо вскоре, один за другим, словно пытаясь исторгнуть из себя какой-то смертельный, перехвативший дыхание страх, вцепившуюся в сердце боль или сводящую с ума радость, он испустил два вопля, настолько мощных, что все его тело сковала судорога и в то же время, казалось, все силы его организма сконцентрировались в груди и в горле; он буквально взорвал безмолвную комнату этими воплями, что для меня было неожиданным, как удар или милость судьбы; в течение долгих секунд я, не в силах пошевелиться,

помочь ему, наблюдал за муками вытянувшегося большого мужского тела; я даже подумал сначала, что он разыгрывает меня, дурачится, рука его все так же свешивалась с дивана, открытые глаза стеклянно блестели и никуда не смотрели, стопы были вяло опущены.

Он подтянулся повыше, распираемая воздухом грудь часто дрожала, ходила волнами, и эти содрогания, трепет и волны пробегали дальше по всему телу; я видел, что он собирается издать третий вопль, чтобы исторгнуть из себя то, что дважды не удалось, иначе у него разорвется сердце.

Может быть, я был не способен к какому-либо осмысленному движению, потому что он был красив.

Он не только не мог криком выдавить из себя этот воздух, но казалось, что в раздувшихся до предела альвеолах легких иссяк кислород, а свежий воздух не мог в них попасть, и борющееся с удушьем тело хотело распрямиться, вскочить, куда-то бежать или хотя бы сесть, может быть; но именно из-за отсутствия кислорода для этого ему не хватало сил, надежда оставалась только на рефлекс, и вот наконец мышечный спазм выжал из его горла высокий по частоте, идущий откуда-то из глубины звук, какой-то скулеж, прерывающийся, захлебывающийся, который, по мере того как в легкие проникало все больше воздуха, становился все более громким, протяжным и ровным.

Он неприятно, навзрыд, содрогаясь и что-то выкрикивая, рыдал у меня на руках.

Воздадим должное мудрой находчивости языка, когда он говорит о прорвавшейся боли; язык знает о нас все, да, насмешка бывает желчной, волосы встают дыбом, сердце падает или обрывается – в устойчивых словосочетаниях язык сконцентрировал антропологический опыт тысячелетий и, можно сказать, знает за нас то, чего мы не знаем или не желаем знать; касаясь его спины ладонью, я почувствовал, что там, внутри, в полостях его тела что-то и в самом деле прорвалось, словно разорвалась фиброзная оболочка какого-то мягкого органа.

Мои пальцы, ладонь могли видеть в живой темноте его тела.

С каждым приступом плача там что-то рвалось и никак не могло до конца разорваться.

Из-под оболочек времени прорывались годы.

Примостившись на краешке дивана, я неловко обнимал его, он, полусидя, склонился ко мне, опустил лоб на мое плечо, горячие волны его рыданий стекали по моей груди, он утыкался носом

в мою ключицу и елозил по коже мокрыми от слюней и соплей губами; разумеется, я шептал ему на ухо всякую чепуху, пытаюсь утешить и успокоить, а потом сделал наоборот: понимая, что мое тело не может дать ему никаких сил, а чувственные излияния будет только удерживать в нем те силы, которые должны выйти наружу, я сказал, что пусть лучше он плачет, да, пусть плачет, и своим голосом и обмякшим телом стал помогать ему плакать.

Как смешна была вся наша интеллигентская болтовня.

Я впервые почувствовал то, что, впрочем, я знал: что всеми тайными силами своей души, которые он скрывает за трезвой холодностью, он держится за меня; в краткие перерывы между рыданиями он впивался губами мне в кожу, чуть не кусал, хотя сам хотел целовать; я впервые почувствовал, что мне, в сущности, нечего ему дать, и почти силком снял с себя его руку, что ему, видимо, показалось естественным, а меня побудило к тому, чтобы все же попробовать невозможное.

К тому времени, как он несколько успокоился и паузы между приступами слез и детским хлопаньем носом стали длиннее, на меня смотрело лицо стареющего ребенка, посаженное на тело зрелого мужчины.

Я уложил его и укрыл пледом, стер с лица следы слез и соплей, потому что таким его лицо мне видеть не хотелось; я сидел на краю дивана и держал его за руку, делал то, что и должен делать более сильный, и даже слегка наслаждался этой обманчивой видимостью силы, а когда он совсем успокоился, я собрал разбросанную по полу одежду, оделся и затворил окно.

Словно больной ребенок, который чувствует, что возле него хлопочет заботливая мать, он задремал, а потом заснул.

Я сидел в его кресле, за его столом, в полутьме на моих бумагах с описанием театрального спектакля сиротливо лежала ручка; я стал смотреть в окно, а когда он снова зашевелился и открыл глаза, было уже совсем темно.

Изразцовая печь тем временем снова нагрела комнату; мы оба были подавленные и тихие.

Я, не включая свет, нащупал в темноте его голову и сказал, что, если он хочет, мы можем пойти прогуляться.

Он сказал, что не хочет, что не знает, что это было, и с удовольствием окончательно залег бы сейчас спать, но можно и прогуляться.

Этот город посреди ухоженного цветника Европы, если продолжить одно его любопытное рассуждение, дополнив его личными впечатлениями, виделся мне скорее своеобразным памятником

непоправимой разрухи, руинами, которые с пугающим мастерством были законсервированы романтически настроенными садовниками, ибо по-настоящему живой город никогда не является просто окаменелостью непроященного прошлого, это всегда поток, то выплескивающийся из каменистого русла традиции, то вновь на десятки и сотни лет замирающий, перетекающий из прошлого в наше будущее, поток застывшей в камне пульсации и порывов, некая непрерывность, которая, пусть она и не знает своей конечной цели, зачастую именно благодаря своей безответственности, стремлению обогатиться на нуждах дня, неутомным поискам, созиданию, разрушению, неумной деятельности, и составляет ту или иную, негативную или позитивную, внутреннюю природу, саму душу городского существования; но этот город, по крайней мере в той его части, которая была знакома мне, никаких признаков этой городской эротики уже не выказывал, он не сохранял и не продолжал прошлого, в лучшем случае по необходимости латал его или стерилизовал, в худшем – просто стыдливо стирал, город стал местожительством, загоном, ночлежкой, огромной спальней и, соответственно, после восьми вечера полностью вымирал, в квартирах было темно, из-за сдвинутых штор виднелось только голубоватое мерцание телеэкранов – маленьких домашних окошек, через которые жители могли все же заглянуть в другой, более живой мир, могли заглянуть за стену, так как смотрели, насколько я знал, в основном передачи «тамошние», а не «здешние», и тем самым еще больше изолировали себя от места своей реальной жизни, как это пытался делать и Мельхиор; по причинам вполне понятным им скорее хотелось подглядывать за невероятной, щекочущей нервы нездешней жизнью, чем смотреть на самих себя.

И когда в этот час или позже, иногда даже глухой ночью, мы спускались из нашей засады на шестом этаже на мертвые улицы, то гулкое эхо наших шагов лишь усиливало наше неприкайное одиночество и заставляло еще острее чувствовать бесконечную друг от друга зависимость, чем там, наверху, где за запертыми дверями у нас все же еще сохранялась иллюзия, будто мы живем в настоящем городе, а не на вершине груды камней, объявленной памятником войны.

Некоторые наиболее развитые млекопитающие, как, скажем, кошки, лисы, собаки и волки, помечают мочой и калом ту территорию, которую они считают своей, которую защищают и на которой хозяйничают, как у себя дома; другие, менее развитые и менее агрессивные животные ходят своими дорожками или ходами,

как делают это мыши, кроты, муравьи, крысы, панцирные жуки и ящерицы, и вот мы, подобно этим последним, подчиняясь чуть ли не биологическим инстинктам культурного опыта, навязчивой уважительности к традициям и буржуазному, так сказать, воспитанию, с привередливым вкусом, эстетскими запросами и робким блаженством интеллигентов, зараженных стилистикой «цветов зла» и прочего декаданса, выбирали для себя те ходы, которые в этом городе все еще можно было считать пригодными для понимаемых в традиционном смысле прогулок.

461

Когда человек ограничен в свободе передвижения, то именно ради поддержания видимости личной свободы он вынужден, сообразуясь со своими потребностями, ограничивать себя еще больше даже в рамках этих ограничений.

Во время наших вечерних или ночных прогулок мы даже случайно не забредали в новые жилые кварталы, где пришлось бы столкнуться с суровой реальностью мрачной бездуховности, с тем навязанным обезличенным принципом, который, выражаясь языком индустриального мира, рассматривает людей как рабочую силу и распикирует их по бетонным коробкам, предназначенным для строго определенных целей – отдыха, воспроизводства и воспитания себе подобных; нет, только не туда! восклицали мы и всегда выбирали маршрут, где еще можно было увидеть, понюхать, почувствовать пусть что-то разрушенное или еще разрушающееся, подлатанное, почерневшее, расплывающееся, но все же индивидуальное.

Я мог бы сказать, что мы прогуливались в декорациях общеевропейской трагедии обезличивания, но выбирать мы могли только между мрачным и очень мрачным, в этом и заключалась видимость нашей свободы.

Например, можно было прогуляться по Пренцлауэр-аллее, где иногда мимо нас дребезжал пустой трамвай или, чихая двухтактным двигателем, проезжал «трабант», а от аллеи же в основном осталось только название; затем, пройдя добрые полчаса, мы огибали большой, с целый квартал, пустырь, изрытый воронками от бомб и поросший сорной травой и кустарниками, и сворачивали либо на Остзеештрассе, либо, чуть дальше, на Пикториусштрассе, где шли вдоль старого кладбища прихода Святого Георгия и минут через двадцать, миновав несколько извилистых улочек, оказывались у Вайсензее, то есть у Белого озера.

Небольшое озеро, где днем по темной мутной воде плавают, подбирая хлебные корки, вялые лебеди с грязными перьями и шустрые черные лысухи, окружено деревьями, когда-то здесь, в этой

рощице, высился летний дворец, чье место сейчас занимает невзрачного вида пивная.

462 Но в этот воскресный вечер, выбрав маршрут покороче, мы отправились по Кольвицштрассе, бывшей улице Вайсенбургер, где, как я себе представлял, в последнее десятилетие прошлого века, в сгущающейся атмосфере истории должен был поселиться прибывший в Берлин молодой мужчина, о котором, на основании того, что рассказывал мне Мельхиор, я думал, что он был немного похож на меня; ну а с улицы Кольвиц мы свернули на Димитровштрассе.

Мельхиор, разумеется, не догадывался, что, живя рядом с ним, я на самом деле живу двойной и даже многими жизнями; глядя на меня, он, наверное, думал, что этот маршрут, идеальный для неспешной прогулки, нравится мне потому, что широкая, изогнутая дугой Димитровштрассе через десять минут пути почти незаметно увлекает прогуливающихся на извилистые дорожки городского парка Фридрихсхайн, под кроны деревьев, что для меня было вовсе не так уж приятно, ибо именно здесь, в непроницаемой по ночам тени деревьев, в глубокой тайне, в моих фантазиях вершились дела весьма темные.

В те недели после дневных репетиций я все больше времени проводил также с Теей.

Была осень, темнело довольно рано, долгие часы, проведенные при искусственном освещении в репетиционном зале, загородные прогулки с Теей по сумеречным полям, вечера и ночи, проводимые с Мельхиором в городе, так сжимали реальное время каждого моего дня, сжимали так невероятно плотно, что иногда я ловил себя на том, что, прикасаясь к Мельхиору, я вспоминаю о Тее, и наоборот, мирно сидя бок о бок с Теей на прохладной траве у пруда, я так остро вдруг ощущал отсутствие Мельхиора, что воображение восполняло эту нехватку; оба они как-то лениво и отчужденно перетекали друг в друга, и вместе с этим тот незнакомый мне мир, который не охватить даже воображением, исподволь отделял меня и от моего прошлого, и от будущего, что я считал для себя величайшим благом.

И вообще, когда после репетиции человек, будь он ее участником или только наблюдателем, наконец-то выходит в три часа дня на обычную, совершенно не примечательную солнечную или пасмурную, ветреную или дождливую улицу и останавливается среди реально построенных и заселенных живыми людьми домов, в то время как по тротуару идут всякие прочие люди, и все, красивые и уродливые, веселые и расстроенные, молодые и старые,

элегантные и неряшливые, все как один, с какой-то глубокой решимостью, словно бы постоянно прислушиваясь к незримо тикающему хронометру, куда-то спешат со своими портфелями, сумками, папками и пакетами, спешат по каким-то делам, заходят куда-то, выходят, ведут по проезжей части автомобили и высаживаются из них на тротуар, что-то покупают и продают, с притворной или искренней радостью приветствуют друг друга, а потом безразлично ли, шумно ли или с печальным вздохом прощаются, а на углу, у палатки с мясными изделиями люди обмакивают в горчицу колбаски и с хрустом, брызжа горячим соком, надкусывают тугую кожицу, между тем как нахальные воробьи и раздувшиеся от волнения голуби ждут, пока им что-то перепадет, а мимо еще проезжают набитые другими людьми трамваи, громохача загадочным багажом, катят грузовики, словом, в минуту, когда покидаешь театр, все это кажется столь пугающе нереальным, как будто вовсе не это зрелище является настоящей жизнью; ибо здесь, на улице, красота и уродство, счастье и безразличие не представляют собою ни символов, ни концентрированного выражения какого-то более полного, питаемого настоящими чувствами возможного бытия, но оттого-то она, эта жизнь, и является настоящей, что не осознает, даже при всем желании не может осознавать своей реальности; спешащий по улице человек, будь то мудрый профессор-психолог, простой работяга или вышедшая на дежурство ночная бабочка, в какой-то мере, подобно профессиональным актерам, естественно и весьма безошибочно приспособливает свои жесты и выражение лица к окружению, то есть, с одной стороны, стремится стать просто прохожим, раствориться, сделаться неприметным, придерживаясь тончайших моральных правил общественного поведения, а с другой стороны, он постоянно учитывает освещенность и температуру воздуха, улавливает ритм своего тела и принаравливается к ритму толпы, следит за временем, но только за своим личным временем, то есть свои движения он согласует с кратчайшими временными отрезками, с мимолетными мгновениями до тех пор, пока так диктуют ему общие обстоятельства и условные принципы совместного течения жизни; и поступая тем или иным образом, он делает это без учета всего хода бытия, то есть не так, как это происходит на сцене, где, в соответствии с правилами трагедии или комедии, даже в самом незначительном жесте заключается, не может не заключаться вся жизнь, от рождения и до смерти; а поскольку время, по всей вероятности, включает в себя перспективу, человек, идущий по улице, видит себя в очень короткой и весьма

прагматичной перспективе, отчего и кажется столь невероятной реальность, с которой ты сталкиваешься на улице, выходя из театра, где глаз привыкает к другой, более широкой или более универсальной сценической перспективе.

Тея обычно выходила в широком распахнутом красном пальто, быстро пресекала улицу и, стоя уже у своей машины, зажатым в руке ключом делала двусмысленный знак, для меня означавший приглашение сесть в машину, а для других – нечто вроде извинения за то, что у нас обнаружилось какое-то срочное общее дело, чем значительно облегчала мне расставание с остальными, ну а в том, что я почти всегда готов отправиться вместе с нею, она была совершенно уверена.

Иногда мы подвозили фрау Кюнерт до дома на Штеффельбауэрштрассе, но бывало и так, что мы просто бросали ее у театра.

Когда в три часа ты выходишь в компании или один из служебного входа театра и внезапно сталкиваешься с этим тупым ощущением ирреальности, да к тому же на улице еще слишком светло, то можешь выбрать одно из двух: либо тут же вступить в этот будничный и бесперспективно печальный мир, обладающий тем не менее более ощутимыми перспективами и более измеримым временем, и вместо того чтобы размышлять, как следовало бы, об отношениях между ирреальностью и реальностью, тут же отправиться что-нибудь съесть, хотя ты не голоден, или выпить, хотя пить не хочется, или пойти в магазин, хотя ты ни в чем особенно не нуждаешься, иными словами, пробуждая в себе какие-то простые потребности, ты можешь заставить себя вновь включиться в мир ничтожных возможностей, еще более мелких замыслов и надежд, а можешь, наоборот, защищая, оберегая себя от ощущения невероятности этой так называемой настоящей реальности, просто бежать из холодных и давящих декораций времени, хотя бежать, собственно говоря, тебе некуда.

Я не понимал или, может быть, не хотел понять, что живу в какой-то невероятной реальности, хотя на нее мне указывал каждый жест Теи, эта реальность была у меня под носом, была во мне, но не названная, а лишь в качестве впечатления, которое я не осмеливался принять за действительность.

Я был вполне здоровое дитя своего времени и, зараженный господствующими идеями эпохи, подобно многим другим, постоянно стремился к тому, чтобы ухватить наконец, добраться до настоящей, неподдельной реальности, которая содержит в себе и все личное, единичное и остается вместе с тем безличной и общей;

философские школы, газетные статьи и всякого рода ораторы говорили тогда о какой-то реальности, которую нужно познать, уловить, и я даже мучился угрызениями совести, ибо чего бы я ни коснулся, везде обнаруживал только свою собственную реальность, а поскольку ту идеальную, которую называли полной и совершенной, реальность найти было невозможно, то я приходил к тому, что моя реальность, какой бы грубой, убийственной или, напротив, радостной она ни была, для меня во всех отношениях является полной и совершенной – но не подлинной, а скорее как бы невероятной реальностью.

465

Интересно, что я чувствовал и знал точно то, что я должен был знать и чувствовать, и все-таки постоянно задавался вопросом, а в чем же тогда состоит реальность, если моя предполагаемая реальность таковой не является, и кто я таков в этой ощущаемой в себе ирреальности, вопрошал я себя остатками здравого смысла, но что проку было в этих вопросах, если в конечном счете я верил, что моя невероятная реальность – это не реальность, что я есть нечто промежуточное между реальным и существующим, тем временем как идеальная и недостижимая для меня реальность царит надо мной, господствует вопреки моей воле, безупречная и всесильная, и для меня в ней нет места, она меня ни в каком смысле не представляет, она недоступна мне, она так велика, что я даже имени ее недостойн, я, в сущности, ничтожная, ирреальная тля, мог бы подумать я о себе, будь я способен к столь крайнему самоуничтожению, а поскольку, несмотря на протест, я о себе именно так и думал, это значило, что машина идеологического насилия, без того даже, чтобы я это осознал, достигла во мне и с моим участием своей самой глубокой, заветной цели: заставила меня добровольно отказаться от права распоряжаться самим собой.

У Теи никаких идей не было, точнее, они были в ее инстинктах, но, по-моему, она никогда о них не задумывалась и именно потому так яростно выступала против манеры игры, основанной на соперничестве, ибо она не желала все то, что есть в человеке живого, все непостижимые и кровоточащие ощущения своей душевной реальности, из которых, между прочим, и вырастают идеи, превращать в инструмент, в кирпичики, которые кто-то построит в прокрустово ложе тщательно выверенной и эстетически сглаженной формы, объявляемой и общественно признаваемой в качестве реальности; подобный подход казался ей беспардонно лживым и смехотворно фальшивым, только в отличие от меня она не спрашивала, а где же при этом она, ей нужно было присутствовать в своих жестах,

что несравненно более рискованная задача, чем присутствовать, например, во фразе, она просто, без пафоса вселенских сомнений, как человек абсолютно свободный, демонстрировала собою то, что есть общего во всех нас, и знала, что в ней не было, не могло быть ни единого побуждения, качества, движения или черты лица, которые не вмещались бы в это общее.

Всякий раз, когда я проводил с ней такие дни, ей удавалось своими жестами, причем не каким-то одним, а самыми разными, которые диктовала инстинктивно присущая ей внутренняя свобода, буквально выталкивать меня из колдобин моих иллюзорных идей.

В конце концов, во многом мы с Теей были очень похожи.

В отличие от фрау Кюнерт или даже Мельхиора, которые собственным телом и жизнью закрывали себе путь к скрытым и поразительным глубинам, мы с Теей чувствовали, что только где-то внизу, у самых истоков, у корней, питаемых тиной физических ощущений, мы можем обрести смысл нашего бытия.

И я также чувствовал, что я могу быть глуп, неуклюж, коварен, уродлив, жесток, лжив, вероломен, что с эстетической, духовной и нравственной точек зрения весьма неприглядно, но свою эстетическую и духовно-нравственную неприглядность, внутреннюю греховность мне компенсирует убежденность в том, что мои чувства непогрешимы и неподкупны: я сперва что-то чувствую и только потом знаю, потому что не трус, в отличие от других, которые сперва знают и только потом позволяют себе, в соответствии с общепринятыми канонами, что-то чувствовать, и поэтому я был уверен – о том, что хорошо и что плохо, что можно и чего нельзя, я в конечном счете могу судить безапелляционно, ибо нравственные оценки мне не навязывало лишнее всякой связи с чувствами знание; точно так же, как и она, я фанатично боролся за права чувств, точно так же, как и она меня, я пытался использовать ее как средство, вместе с нею, отбросив все жалкие условности и ходячие нравственные запреты, я пытался хотя бы нащупать глубинные токи, связующие нас троих, и, подобно ей, не мог принять безнадежности нашего положения, потому что тогда мне пришлось бы признать обман своих якобы безошибочных чувств и, следовательно, свое моральное поражение.

Но как ни странно, человек скорее отдаст руку на отсечение, чем позволит себе такое признание.

С зажиганием всегда приходилось долго возиться, и она честила машину на чем свет стоит, обзывала дерьмом и ворчала, что ей до старости придется мучиться с этой долбаной развалюхой.

А еще было очень странно, что свободным я чувствовал себя с Мельхиором, хотя с ним я чуть ли не задыхался в невольнической истории своего тела.

Вообще, с той минуты, как только она, выудив из забитого бог знает чем бардачка либо из щели между сиденьями свои жуткие, с одной дужкой, очки, цепляла их на нос и, балансируя чуть откинутой головой так, чтобы они не сползали, трогала с места машину, которая рано или поздно все же заводилась, все ее поведение напоминало совершенно неповторимое, почти хаотическое и всегда умилявшее меня сочетание дилетантской усердности и высокомерной небрежности; с одной стороны, она никогда не следила за своими действиями, постоянно о чем-то задумывалась, теряла контроль над дорогой и тем, что происходило в моторе и отражалось на приборной панели, а с другой, поймав себя на ошибке, на том, что мы в очередной раз вляпались в опасную ситуацию, она с испугом прилежной школьницы и, разумеется, с излишним рвением пыталась поправить дело, чему немало препятствовали очки, которые прыгали от ее маневров на лоб или, наоборот, сползали с носа.

Тем не менее рядом с ней я чувствовал себя в безопасности; когда я видел, что она не заметила приближающийся крутой поворот или не обратила внимания на разделительную линию и продолжала, несмотря на оживленное движение, ехать по встречке, мне достаточно было тихо заметить, какая гладкая, или влажная, или прямая, или извилистая здесь дорога, чтобы она скорректировала свои действия; признаться, это была не совсем обычная безопасность, потому что естественное для человека желание выжить искало зацепок не в правилах движения, а в каких-то более глубоких сферах; прежде всего я должен был мысленно распрощаться с жизнью, сказать себе, Боже мой, ну умру и умру, а дальше уже спокойно наблюдать за ее комическим стилем вождения, который говорил о том, что она слишком сильно верит в жизнь в целом, чтобы обращать внимание на какие-то мелкие требования безопасности; она занята другим делом и не может умереть так нелепо и глупо, и, не вмешивая в наши дела богов или провидение, просто своими движениями она объясняла мне, что нельзя умереть из-за невнимательности, смерть наступает из-за другого даже в тех случаях, когда кажется, что непосредственной причиной ее стала неосторожность, нет, это только в газетах так пишут, никакая внимательность и осторожность нам не помогут, нет такой осторожности, которая может предотвратить катастрофу, случайно мы можем порезать палец ножом, наступить на разбитое стекло, на ракушку, на гвоздь,

но умираем мы совсем не случайно, с чем, имея в виду конечный вывод относительно жизни в целом, я был совершенно согласен, хотя при этом, вытянув ноги, плотно вдавливал спину в сиденье, что было довольно забавным трюком, иллюстрирующим нашу готовность и вместе с тем неготовность отказаться от жизни, забавным настолько, что я даже находил в нем некоторое удовольствие.

Урча мотором, трясясь и подпрыгивая на ухабах, машина летела за город.

468 Если б позднее, накануне своего окончательного отъезда из Берлина, я не уничтожил все свои записи о репетициях, то мог бы сейчас чуть ли не день за днем проследить изменения, которые, по моим наблюдениям, происходили в Тее; со временем она становилась все менее разговорчивой, вела себя тихо, с достоинством, и обычно мы ехали с ней в машине молча.

А в том, что я уничтожил свои записки, сжег их в белой изразцовой печи Мельхиора, немалую роль сыграла и фрау Кюнерт, которая, видя, как углубляются мои отношения с Теей, как-то накинулась на меня и с кипящим от плохо скрываемой ревности гневом и в то же время с коварной искренностью человека, покоровившего судьбе, заявила, что то, что мне представляется своеобразным и захватывающим изменением в Тее, это чистая ерунда, у нее эти изменения уже в печенках, они ее просто допекли, и что я, к счастью, просто не замечаю, что на самом деле для Теи я просто средство, рабочий инструмент, который она, использовав, выбросит; к счастью, повторила она, потому что я по крайней мере снимаю часть бремени с ее плеч, фактически я теперь временно замещаю ее; она знает Тею уже двадцать лет, можно сказать, живет с ней, и поэтому могла бы мне рассказать, как по расписанию, с точностью вплоть до дня, до часа, минуты, что Тея будет делать дальше, и если она сейчас откровенничает со мной, то только по той причине, что видит, насколько Тея в последнее время ко мне привязалась.

На первую репетицию она всегда является тихой, торжественной, неприступной, нависая надо мной и дыша мне в лицо, стала завораживать меня фрау Кюнерт своими познаниями в области «теяведения»; по-настоящему красивой, что для меня тоже не секрет, она никогда не была, но она умеет создать вокруг себя непередаваемый ореол красоты, по совести говоря, буквально из ничего, и непременно сделает к первой репетиции что-нибудь этакое с волосами, покрасит, обрежет или, наоборот, отрастит, и не общается даже с ней, каждую свободную минуту проводит с Арно, в которого снова, как в молодости, влюбляется, несется домой,

к нему, ездит с ним на экскурсии, которые Арно, будучи профессиональным альпинистом, на дух не переносит, варит варенье, наводит порядок в квартире, шьет, а потом, где-то в конце второй или в начале третьей недели репетиций, она, точно так же как теперь меня, приглашает ее днем в машину и они вместе едут куда-нибудь, где Тея до чертиков напивается, ведет себя как какой-нибудь забулдыга, буйнит, поет, скандалит с официантами, может громко испортить воздух или заблевать весь стол, она, фрау Кюнерт, всего навидалась, так что я не смогу рассказать ей ничего нового; в таких случаях ее приходится доставлять домой из самых невообразимых мест, а на следующий день она звонит в театр и рассказывает смертельно больной, просит на нее не рассчитывать, мол, она и сама в ужасе, но врач говорит, что выздоровление может затянуться на месяцы, у нее нервный срыв, врет она, или язва желудка, или что-то еще очень-очень серьезное, но об этом ей не хотелось бы говорить, это слишком интимное, короче, женские неприятности, вероятно, опухоль матки, что из нее хлещет кровь, а еще у нее могли быть камни в почках, воспаление связок; или притащится в театр, как бы еле держась на ногах, и посреди репетиции давай плакать, отказываться от роли; естественно, ее начинают упрашивать, говорить о ее незаменимости, утешать, и она позволяет уговорить себя, но впадает в такую депрессию, что это уже не шутки, потому что она не встает с постели, не может сама одеться, волосы ее делаются жирными, отрастают, в таких случаях фрау Кюнерт даже приходится подстригать ей ногти на руках и ногах, и все это время Тея мучается угрызениями совести, что она опять подвела коллег, поставила их в жуткое положение, а они между тем все такие милые, добрые и такие талантливые, и как она благодарна судьбе, что может работать с таким замечательным режиссером, как Лангерханс, способным раскрыть все ее возможности.

Она делается внимательной, о чем ее ни попросишь, все делает, дарит людям подарки, хочет родить ребенка, но при этом ей смертельно надоедает Арно, который над чем-то целыми днями возится в их жалкой панельной квартире, в то время как его место там, на горных вершинах, и как бы хотелось купить ему хотя бы домик с садом, ей жалко его, и себя тоже жалко, из-за того, что вынуждена будет прожить жизнь с этим бедолагой, и фрау Кюнерт приходится после репетиций буквально силком заталкивать ее в машину, чтобы отправить наконец домой, а если вечером у нее спектакль, то она не то что не едет домой, а шляется до рассвета, спит с кем ни попадя, влюбляется, собирается развестись,

потому что с нее достаточно, и болтает, кокетничает, пытается всех подряд, мужчин, женщин, ей это неважно, свести с ума, а если кто-то не поддается, ну, может быть, потому, что сам мучается той же проблемой вхождения в роль, то таких она ненавидит, терзает, подстраивает на репетициях козни, клязуничает на них, угрожает, однако и с ней поступают так же, и ненавидят, и клязуничают, и издеваются, потому я не должен думать, будто этот циклически повторяющийся процесс касается только Теи, да они все такие, это же сумасшедший дом, но теперь мы находимся в такой фазе, почему она и толкует мне, что нет никаких перемен, когда Тее приходится отступать, близится день премьеры, и нужно сбавлять обороты, она начинает догадываться, что снова осталась одна и никто не поможет ей, и не может помочь, она понимает, что сумасшедшие страсти, взбаламученные в ней реальными живыми людьми, ей можно использовать только на сцене, ибо если она захочет и дальше переживать их в жизни, она просто погубит себя, о нет, она вовсе не так импульсивна и сумасбродна, как я могу думать, она очень расчетлива и умеет беречь свои силы, в конечном счете ее интересует только одно, а именно, что будет происходить на сцене и как из себя это выжать, так что если, продолжила фрау Кюнерт, ей будет позволено дать мне совет, то она посоветовала бы мне верить в какие-то перемены в Тее только в том смысле, что каждая новая роль требует возбуждения безумных чувств новым способом, и количество вариантов тут может быть бесконечным, ведь Теи как таковой просто не существует, и как бы я ни старался, я никогда не увижу ее, вот теперь, например, я вижу перед собой не Тею, а только несоответствие или, как бы это сказать, разрыв, пропасть, что отделяет ее от той расчетливой и холодной дряни, которая, стоя над трупом свекра, уже мечтает стать королевой, на что здравомыслящий человек просто не способен – но только не Тея, которая никогда не бывает собой, ей всегда удастся найти себя только в таких ролях, которые ей не подходят, потому что сама она – огромная пустота, зияние, и если я в самом деле хочу ей помочь, то должен помнить об этом.

Однако я и не собирался ей в чем-либо помогать, по-видимому, фрау Кюнерт ввела в заблуждение моя внимательность, моя предельная вежливость и чуть ли не рабское преклонение, которые объяснялись просто горячим интересом к Тее, и к тому же мне льстило, что такой же интерес проявляет ко мне и она, и если я вообще хотел кому-то помочь, то это был Мельхиор, и потому

я чувствовал, что скорее я пытаюсь использовать в своих целях Тею, а не наоборот; фрау Кюнерт не удалось в достаточной мере ни разочаровать, ни обидеть меня, ибо я, выжидая, пока наступит подходящий момент для осуществления замысла, которым я был одержим, обдумывал все возможные неожиданности, вытекающие из характеров Теи и Мельхиора, с той холодностью, с какой профессиональный преступник готовится к серьезному делу.

А вот разобраться в том деликатном вопросе, почему иногда мы сперва подвозим фрау Кюнерт домой, иногда же без слов бросаем ее у театра, мне удалось далеко не сразу; о том, куда мы направимся, Тея заранее никогда мне не говорила, то ли сама не знала, то ли знала настолько, что это ее просто не занимало, главное – прочь отсюда, куда угодно, в другое место, одной или, вернее, со мной, что стало для нее своеобразной разновидностью одиночества, и если мы ехали куда-нибудь в Мюнгельхайм, ко дворцу Кёпеник, или в природный парк, простирающийся к югу от Грюнау, или в Рансдорф, то сначала мы подвозили фрау Кюнерт до Штеффельбауэрштрассе, что было по пути, хотя возможно, Тея намеренно выбирала именно эти цели, когда хотела отвезти подругу домой, то есть выбор маршрута был в первую очередь данью признательности или вежливости по отношению к фрау Кюнерт, когда же мы направились на запад, в сторону Потсдама, в долину спокойно текущего по низине Хафеля, или, напротив, к востоку, в сторону Штраусберга, Зефельда, то Тея просто бросала подругу у служебного входа, в лучшем случае махнув ей рукой на прощание, и то далеко не всегда, но фрау Кюнерт, глотая обиду и ревность, делала вид, что не замечает этого, да и Тея вела себя так, как будто подобное обращение с подругой совершенно в порядке вещей.

Все это, разумеется, не оставалось без последствий, но, насколько я видел, их дружба эти последствия легко выдерживала.

Собственно говоря, каких-либо оснований сомневаться в том, что рассказывала мне фрау Кюнерт о Тее, у меня не было, в конце концов, она знала ее ближе и дольше, чем я, и с другой точки зрения, но не обязательно лучше меня, ведь она знала ее, как женщина может знать другую женщину, а те скрытые токи и завуалированные оттенки, которые в жестах, словах Теи, в телесных знаках были адресованы исключительно мужчинам, фрау Кюнерт могла наблюдать только со стороны, в то время как я в том или ином качестве был к ним приобщен, либо как просто

объект, либо жертва, вынужден был ощущать их физически, собственной плотью; во всяком случае, перспектива, в которой мы видели Тею, была вовсе не одинаковой, а кроме того, я знал фрау Кюнерт уже достаточно хорошо, чтобы ориентироваться в запутанном лабиринте ее намерений и понимать систему и смысл ее преувеличений.

Например, чтобы верно оценивать тот факт, что, когда дело касалось разницы в возрасте, она неизменно ее завышала; так, разница между Теей и Мельхиором в действительности составляла вовсе не двадцать лет, точно так же неправдой было и то, что они двадцать лет знакомы с Теей, ибо на самом деле они познакомились всего десять лет назад, однако, ловя ее на этих мелких преувеличениях, я все же не мог усомниться в достоверности ее циничных признаний, потому что, по моим ощущениям, откровенность и беззастенчивость, преувеличения и ложь были для фрау Кюнерт чем-то вроде тактических средств в ее поразительной по размаху и в любом случае глубоко трогательной своей пылкостью стратегии чувств.

Ее загадочная приверженность к этому магическому числу не обязательно была результатом изощренного женского соперничества; ибо казалось, что, будучи на несколько лет моложе, но во всех отношениях неприметней Теи, она вместо десяти говорила о двадцати годах не для того только, чтобы поставить соперницу на подбавляющее ее годам место, а скорее по той же причине, по которой была столь рискованно откровенной со мной: своим стремлением состарить Тею, бесстыдными сплетнями о ее профессиональном безумии и намеками на причины биологического, эстетического и этического порядка фрау Кюнерт, самым позорным образом предавая их дружбу, пыталась отдалить меня от Теи.

И действительно, я стал замечать, что все эти рассказы, пусть я и не придавал им большого значения и даже особенно не задумывался о них, вполне успешно нейтрализуют мой интерес и, выталкивая из роли эмоционального участника, подвигают меня назад, к амплу бесстрастного евнуха-наблюдателя; фрау Кюнерт вклинилась между нами в той точке, где наша взаимная заинтересованность могла пойти дальше, своим внешне невинным монологом ревности она осмелилась вторгнуться на чужую территорию, где по правилам любовных сражений, идущих между мужчинами и женщинами, ей было нечего делать.

Но Тея с большим мастерством и почти ледяным спокойствием отражала эти незаконные вторжения.

Казалось, мимо ее пристального внимания не проходил ни один маневр, ни одна интрига ее подруги, весьма искушенной в тайной дипломатии чувств; она всегда была начеку, как и в тот ветренный день в конце октября, когда фрау Кюнерт, зажав меня в угол коридора, что вел к артистическим раздевалкам, задыхающимся шепотом произносила свой большой, эмоционально захватывающий и вполне профессиональный монолог о процессе работы над ролью и необходимости соблюдать дистанцию; но не успела она закончить, как из своей раздевалки появилась Тея и быстро направилась к нам; одного взгляда на разгоряченное лицо фрау Кюнерт ей было достаточно, чтобы понять не только, что произошло, но и то, что ей нужно сделать; тут же мобилизовав свое чувственное всезнание и безграничную власть над своей подругой, она схватила меня за локоть и с криком «ну ты и так достаточно ему наболтала» скользнула щекой по щеке фрау Кюнерт, как будто хотела поцеловать ее и если не поцеловала, то лишь потому, что даже на это сейчас нет времени, ей надо бежать, надо мчаться, и конечно, со мной; высвободив меня из плена, она буквально вытолкнула меня за дверь, что было одновременно и актом мести, и разоблачением фрау Кюнерт, которая, с недополученным поцелуем, в состоянии оскорбленного изумления и полной беспомощности, застыла на месте, как будто ей вонзили нож в сердце, и я почти видел, как из него сочится кровь.

Порыв гнева буквально перенес Тею на противоположную сторону улицы, однако когда мы сели в машину, по ее лицу я заметил, как она раздосадована и расстроена этой сценой.

Заговорила она, когда мы давно уже вышли из машины; я не помню, в каком направлении мы покинули город – точно так же, как и во время поездок с Мельхиором, я полностью полагался на ее знание местности, и таким образом все мельчайшие черточки ее лица и каждое ее движение делались частью незнакомого и неизменно волнующего меня своей новизной пейзажа; сначала мы мчались по какому-то почти пустому шоссе, потом она неожиданно свернула на проселок, который на этой практически плоской равнине, прерывающейся местами размытыми контурами лесов и тонкими, как бритва, очертаниями каналов, каких-то вод, озер, под идеально правильным куполом неба выглядел так, будто вел прямо к центру земного блюда; машина здесь дребезжала, дергалась и подпрыгивала, потом, на совсем некрутом подъеме, мотор зачихал, и спустя какое-то время Тея, махнув рукой, дала ему просто заглухнуть и подняла ручной тормоз.

Когда город оставался позади, нам, в сущности, было безразлично, где мы находимся.

Подъем был из числа тех обманчивых склонов, которые своей протяженностью и отлогостью уверяют нас, что одолеть их не так уж трудно, однако пока мы добрались до верха, оба изрядно выдохлись; от проселка к верху холма вела узенькая плотно утоптанная стежка, но на плоском пригорке стежка, воспринимаемая глазами как некий манящий призыв, перед которым не могли устоять ноги, исчезала из виду, словно бы растворялась в небе; сунув руки в глубокие скошенные карманы полупальто, Тея, погруженная в какие-то свои мысли, медленно шла по тропинке передо мной, я же глядел себе под ноги и размышлял о том, кто мог так ее утоптать, и вообще, каким образом возникают подобные стежки-дорожки.

Я, кажется, собирался еще обдумать тот бесполезный вопрос, каким образом человек заманивает мир в сеть своих непонятных целей и как он сам попадает в сети, расставленные для него другими.

Клонящееся к закату солнце иногда на мгновение показывалось из-за растянутых, закручивающихся спиралью тяжелых свинцово-серых туч, в прогалинах между которыми отсвечивал желтыми, синими, красными переливами далекий купол неба; дул сильный ветер, но на плоском пригорке, кроме нас, уцепиться ему было не за что, и потому окрестности были почти безмолвны.

Только время от времени откуда-то доносились птичьи голоса; по земле проплывали размытые длинные тени и холодные рдьяные блики.

В прозрачном воздухе все линии на равнине, чуть скривленные и извилистые, уходящие к горизонту, глаз воспринимал резко очерченными и близкими; подобным же образом тело воспринимало студеный воздух, холод не пробирал все члены, а словно бы обтекал, очерчивал их, придавая движениям свежесть и энергичность.

Такие ощущения человек испытывает только в северных регионах, где все прозрачно, а чистый холод словно отталкивает от себя тепло тела и в то же время дает почувствовать внутреннюю энергию этого тепла, наделяет вас простотой и решительностью.

Она ненадолго остановилась, я сделал еще несколько шагов; видимо, понимая, что в этих бескрайних просторах чрезмерная близость не слишком уместна, она не стала дожидаться, пока я с ней поравняюсь, а лишь бегло глянула на меня и, убедившись в моем присутствии, двинулась дальше; и только потом сказала, что нельзя на Зиглинду сердиться, она славная девушка, Зиглинда всегда и во всем права.

Когда мы поднялись на вершину лениво вздымающегося над окрестностями холма, природная краса раскрыла перед нами свой новый облик с таким спокойным достоинством, что слова могли только оскорбить ее.

Отсюда тропа спускалась круче, извилистей, словно земля, поднывшись плавной волной, обрушилась под своей неимоверной тяжестью; в низине, защищенное от ветров, светлело белесым глазом маленькое озерцо, чуть дальше тянулись полоска жнивья и уходящая к горизонту зубчатая опушка леса, а в дополнение ко всей этой милой величественной красоте по гладким складкам ложбин было разбросано несколько одиноких шарообразных кустарников.

Какое-то время мы стояли на этом, казалось бы, очень высоком, но в действительности довольно низком холме, любясь чудом природы в знакомой позе неспешно прогуливающихся экскурсантов, которые о подобных зрелищах обычно рассказывают потом с восторгом в голосе, нет, то была красота, такая неописуемая красота, что невозможно было пошевелиться, так бы там и стоял до скончания века! остался бы там навсегда, что, признаемся, есть не более чем окрашенное ностальгической грустью признание в том, что, как бы ни нравилось нам природное зрелище, мы не знаем, что нам с ним делать, не можем отождествиться с ним, хотели бы, но не можем, оно слишком для нас велико, слишком размашисто, и сами мы слишком чужды ему, быть может, мы слишком живые, и, может, для этого нужно умереть, а пока нас тянет переместиться в нем, поискать другую, какую-то, может быть, окончательную точку обзора, хотя мы и правда совершенно спокойно могли бы остаться и здесь, ведь для самой природы, взятой без нас, всякий вид, в том числе и этот, является окончательным; а когда мы спустились по тропке до уровня озера, до уровня успокаивающего и более прозаичного, откуда зрелище уже не казалось бесконечно, невыносимо прекрасным, Тея остановилась и повернулась лицом ко мне.

Бывает, что она готова ей выцарапать глаза, сказала она хрипловатым, спокойным и доверительным голосом.

Словно перенимая спокойствие ветра, туч, очертаний пейзажа, ее голос тоже закручивался назад, возвращался, правда, в совсем недавнее время.

Но если бы не она, сказала Тея, то возможно, она бы убила себя.

И теперь в голосе ее появились не лишние жалости к себе нотки печали, той слегка ностальгической боли, которой заразило нас созерцание красоты, но она быстро подавила их, потому что

в действительности ей не было жалко себя, она всегда делала то, что хотела, чего требовала от нее связанная со сценой жизнь, точнее сказать, если она и испытывала к себе какую-то жалость, то ни выразить, ни разделить ее с кем-нибудь было невозможно; поэтому она саркастически улыбнулась и, насмехаясь над своим неодолимым любопытством, все же спросила, какие сплетни распускала о ней фрау Кюнерт на этот раз.

Ее улыбка ошеломила меня, ее мелочность была неуместной в этой возвышенной обстановке, даже если она этой мелочности не скрывала, и я не хотел отвечать, тем более что выдать ей фрау Кюнерт я сейчас не мог, это спутало бы мои планы; ничего особенного, сказал я и, решив ограничиться более легкой, профессиональной стороной дела, добавил, что еще не встречал человека, который бы так примитивно представлял себе, как актер формирует роль.

Актер или конкретно я, криво усмехнувшись над моей уклончивостью, спросила она.

Актер, ответил я, вообще актер.

О нет, она вовсе не примитивна, задумчиво сказала она, при этом мне показалось, что она размышляла над моим нежеланием отвечать ей; правда, она недостаточно образованна, но, несомненно, интеллигентна и все-все понимает, сказала она, и на лицо ее снова вернулось упрямая насмешливая улыбка.

Не о том ли она говорила мне, продолжала Тея, что порою она срыгается и ведет себя самым гадким образом, ведь у них с Зиглиндой достаточно близкие отношения, добавила она поясняя, чтобы та знала все подробности о ее поведении за кулисами.

Я посмотрел на нее вопросительно, но она только кивнула, возможно, решив этим и ограничиться, и легко коснулась моей руки.

В ее жизни есть только два человека, и вообще все это несусветный бред, сказала она, и что бы она ни сделала, она всегда может вернуться к ним, и они ее от себя не отпустят.

Я знаю, сказал я.

Мы пристально всматривались друг в друга, почти так, как разглядывали до этого окрестный пейзаж, потому что я это действительно знал, и она наверняка тоже не сомневалась, что я это знаю; это был тот момент, который заставил забыть не только дипломатические ухищрения фрау Кюнерт, но и мои сентиментально-преступные замыслы, которые я пытался реализовать ради Мельхиора.

Два человеческих существа стояли перед лицом природы, дышавшей неизмеримо глубже них, и понимали друг друга; но понимали не разумом и даже не чувствами, ибо главную роль в этом

понимании играло то естественное обстоятельство, которому ни умом, ни чувством мы прежде не придавали особенного значения, а именно то, что она была женщиной, а я мужчиной.

Момент этот, бывший сильнее наших способностей и намерений, говорил нам о наших природных различиях и единственной возможности полностью слиться друг с другом, и то обстоятельство, что этот момент был неподконтролен нам, привело нас обоих в чудовищное смущение.

Но она не позволила ему углубиться; быстро отняв свою легкую руку от моей руки и смешно передернув плечами, словно одновременно капитулировала и не без кокетства отодвигала меня от себя, она, теперь уже окончательно разорвав нить времени и с оставленным далеко позади городом, и даже с природой, повернулась и продолжила путь по тропинке к далекому лесу.

ТАБЛЬДОТ

478

Вряд ли кто может представить себе, насколько, вопреки моему почти героическому сопротивлению, мои воспаленные чувства делали меня рабом самых грубых сил, которые принято называть низменными, темными и даже, если позволить себе столь примитивное выражение, просто паскудными, а если говорить мягче, то непотребными, дьявольскими и достойными всяческого презрения и возмездия, причем, поспешим заметить, совсем не обосновательно, ибо все, о чем мне придется здесь рассказать, действительно связано с нечистыми отправлениями нашего организма, с такими его функциями, как испражнение, отправление малой нужды и удовлетворение похоти; однако не менее обоснованным кажется мне и такой вопрос: а не присущи ли эти силы нашей жизни в такой же мере, как и наша щепетильная в отношении чистоты мораль, которая, разумеется, призвана с ними бороться? но как бы то ни было, независимо от того, считаю ли я эту скверну присущей мне или чуждой, борюсь ли я с ней, подняв брошенную мне перчатку, или, устало пожав плечами, сдаюсь, она все равно существует, ее несомненную власть, как некую божественного происхождения порнографию, я вынужден ощущать на себе постоянно, и если днем я пытаюсь разумно с нею считаться, то во сне она нападает исподтишка, целиком подчиняет себе мои душу и тело, и никак от нее не спасешься! как это было в ту ночь, после приезда в Хайлигендамм, ну чем не наглядный пример! ведь как бы я ни старался освободиться от бремени всевозможных забот, от мучивших меня творческих сомнений, от мрачных и все же волнующих воспоминаний о родителях и моем детстве, о поездке, которая тоже не обошлась без переживаний, и, разумеется, от сладких и удручающих мыслей о взбудоражившем меня прощании с Хеленой, словом, как бы я ни старался бежать от всего этого в объятия благодатного, долгого, беспробудного, исцеляющего сна, она, эта сила, все же грубо вспугнула меня, хотя в этот раз обошлась со мною достаточно мягко, не так беспощадно, как

иногда бывало, когда мне, положим, являлся во сне обнаженный мужчина, протягивающий свой вздыбленный фаллос; на сей раз она дала о себе знать самым невинным видением, то есть напомнила мне о моей беспомощности перед нею в виде достаточно безобидной сцены.

Я увидел мокрую от дождя знакомую улицу, оглушаемую чьими-то невыносимо громкими шагами; таинственная ночь, вся в размытых пятнах газовых фонарей, поглощала меня так нежно, страстно и горячо, как способно только лоно любящей женщины и, конечно же, собственно сон, так что я погрузился в ночь с удовольствием, предавшись всем своим существом прелести темноты, вспыхивающей местами желтыми ореолами света, а поскольку картина этой ночной улицы почему-то напомнила мне о ней, да, о ней, о Хелене, хотя ничто не указывало на то, что картина была ее непосредственным олицетворением, то чувства мои совершенно свободно, без страха и опасений, разлились по всей этой картине, как будто это была Хелена, как будто я запоздало хотел передать ей те ощущения, в которых наяву, подавленный обстоятельствами, вынужден был отказывать не только ей, но и самому себе, даже в безумные мгновенья экстаза.

Мне казалось, что меня готовится взять под свое крыло само благо, величайшее, охватывающее все сущее бесподобное благо, и я должен был отдать ему все, да, собственно, оно меня уже поглотило, стало мною, а я стал им, хотя у него ко мне было еще очень много вопросов, точно так же, как и у меня к нему; чуждыми, непривычно гулкими шагами я шел по дороге блага, это была благая улица, благая ночь, благая тьма и благие огни, и я чувствовал, что чем больше я отдаю, тем больше даров у меня остается; и это было приятно, это было прекрасно, даже несмотря на то, что эхо моих шагов доносилось до меня словно бы из холодного и пустого пространства.

Но я мог видеть его, потому что естество добра сделало себя зримым, я мог выглянуть из раздражающего шума своих шагов и протянуть к нему руку, ощутить, что добро может быть еще большим добром, увеличиваться и расти, и поэтому все, что меня ожидает в жизни, будет еще лучше, не зря же я так легко и свободно бреду через все это благо, а это ведь значит, что искупление, которого я так жаждал, мыкаясь на дне страданий, с которыми, кстати, как-то был связан отвратительный стук шагов, это значит, что взыскуемое мной искупление безо всяких особых премудростей уже мною получено.

И любовь, этот величайший дар, тоже была дана мне; любить булыжники мостовой, которым свет фонарей выгибает спины и поглощает один за другим, любить капли воды, изготовившиеся упасть с кончиков голых веток, любить бесовской стук шагов, любить газовые огоньки, пляшущие над водой в плафонах фонарей, темноту за то, что она позволяет увидеть свет, скользнувшую внезапной тенью кошку, любить следы ее мягких лап, оставленные в ночи, поблескивающую поверхность украшенных изящной ковкой стройных фонарных столбов и ржавый скрип, едва уловимый ухом в этом любовном дурмане.

Но тщетно глядываются глаза.

Готовые лопнуть в любой момент, как мыльные пузыри.

Скрип усилился, и я, оставляя на мостовой стук своих шагов, стал к нему приближаться; таким ржавым скрипом обычно скрипят на ветру железные двери, но ведь сейчас никакого ветра! я шел в надежде, что стук вот-вот затихнет и больше ничто не нарушит густую тьму, но, поскольку я шел, каждый шаг нарушал ее новым звуком!

А потом я увидел себя, увидел, как я приближаюсь.

Но как мог бы я избавиться темноту от этих звуков?

Стоя в зловонном помещении с распахнутой ветром железной дверью, я напряженно вслушиваюсь в звук шагов.

Вот ветер рванул дверь, она заскрипела, хлопнула, скрыла меня, но в следующее мгновение он снова настезь распахнул ее, и я увидел себя, ожидающего внутри.

Но, собственно, где же я нахожусь?

Не сказать, чтобы место было мне незнакомо, но я не мог точно определить, в какой точке этого пространства я нахожусь, где именно, в этом и был вопрос, если одновременно я был и тут, и там, и от этого положение мое стало настолько отчаянным, что мне захотелось кричать, и я обязательно закричал бы, если б не убоился еще одним громким звуком потревожить мрак; я по-прежнему шел по улице, по улице блага, ведь я уже знаю, что это улица блага, и не позволю себя обмануть! но улица все же вела меня прямо к той двери, голые деревья и мокрые фонари по ее сторонам стояли так, будто должны были охранять направление, и свернуть нельзя! я должен добраться до той самой железной двери, с которой связано было слишком много стыда, страхов, желаний, любопытства и унижений, чтобы я мог ее не узнать, много вещей, которые я готов был скрывать даже от самого себя, и вот теперь я все-таки ждал себя там, на старом месте, в тяжелой вони смолы и мочи, и ждал,

вероятно, уже давно, потому что зловоние пропитало не только одежду, а кстати, где моя шляпа? но и въелось в кожу, исходило из моего рта, от волос, и бесполезно пытаться куда-нибудь улизнуть, коль скоро я здесь так бесповоротно.

А потом некто, руководивший моим сновидением, ибо я тем не менее знал, что это всего лишь сон, не к чему волноваться, это сон, и в любой момент я могу проснуться! но кто-то все же им управлял и не давал мне проснуться, только я не мог вспомнить, кто он, этот человек, хотя его голос звучал знакомо, так вот, этот некто прошептал мне, что он ожидает меня за дверью, и тщетно я ощущал спокойствие, которым меня только что одарило благо, все было тщетно, тщетно, он прошептал, дыша мне в ухо, прошептал искустительно и маняще: меня ждет темнота.

481

Все было тщетно.

Я пошел, не удивляясь тому, что дрожу; я боялся, но казалось, будто не было в мире таких тревог и страхов, к которым я не мог бы приучить себя, хотя я, конечно, протестовал, пытался себя защитить, но та самая сила принуждала и привораживала мое бьющееся в конвульсиях тело к скрываемым от себя самого потаенным желаниям и в конце концов заставила взвалить на себя и покорно нести то ужасное бремя, которое выпало мне в моей жизни; и путь в этой борьбе оказался настолько долгим, что ноги мои сделались словно ватные, хотя подметки еще стучали, я больше не чувствовал под ногами надежной почвы и, как эпилептик, которого настиг очередной приступ, не мог контролировать свои члены, я чувствовал, как из открытого рта вытекает слюна, я бил ногами, задыхался, судорожно махал руками, но ничего так и не изменилось: разверстая черная пасть темного, окруженного кустиками с облетевшей листвой небольшого строеньица открывалась и вновь закрывалась, с грохотом, скрежетом, скрипом, и из нее, хорошо различимое, доносилось чье-то разгоряченное, человеческое несомненно, дыхание.

Строеньице стояло неподвижно и грузно, проецируя на темный фон неба свой ажурный карниз, и я, не осмелившись даже крикнуть, вошел внутрь.

Надо ли удивляться, что наутро я проснулся разбитый, как будто сна всю ночь не было ни в одном глазу, хотя, судя по состоянию дурмана, спать я должен был глубоко, и в своей неудовлетворенности хотел было снова заснуть: вдруг теперь, в новом сне все же произойдет то, на что я надеялся, но свет в комнате был настолько резкий и яркий, как будто снаружи, за плотно задвинутыми белыми шелковыми занавесями, выпал снег; было свежо, почти холодно,

из коридора иногда доносились мягкие шаги, а откуда-то снизу, по-видимому из столового зала, слышался тихий и мерный перезвон посуды, иногда пронзительный лязг, обрывки пререканий, скрип дверей; и казалось, будто от этого скрипа затворилась та дверь, хлопанье которой не давало покоя мне ночью, потом раздался короткий женский смех, но все это звучало приглушенно и благостно, дружелюбно, отдаленно, и мне ничуть не хотелось выбираться из постели, потому что эти знакомые с детства милые утренние звуки предупреждали меня о том, что мне придется снова включиться в ту самую жизнь, которая своей видимой беззаботностью и непринужденностью была теперь мне крайне не по душе; нет, все же нельзя было приезжать сюда, подумал я с раздражением и, повернувшись на другой бок, закрыл глаза, пытаюсь погрузиться обратно в тепло, в темноту, которые все же давал мне сон; но куда же еще, если не сюда?

Обрывки сна действительно еще витали перед глазами, и снова уснуть мне казалось не трудным, тот мужчина все еще так же стоял у блестящей смоленой стены туалета, протягивая мне розу, но я не хотел принимать ее, потому что на его пухлом и белом лице застыла отвратительная ухмылка, и что интересно, роза показалась мне синей, лиловато-синей, еще не совсем распустившийся мясистый крепкий бутон, и мужчина предлагал мне себя так настойчиво, как будто было не утро, а все еще ночь, которую я провел у него.

А потом в открытых дверях, отделяющих спальню от гостиной, я заметил вдруг коридорного, тихого, внимательного, настороженного молодого человека с огненно-рыжими волосами, который почти неподвижно следил своими приветливыми карими глазами за каждым моментом моего пробуждения; мне показалось, будто он здесь уже давно и в точности знает даже то, что мне только что снилось, хотя, скорее всего, из новой дремы меня вывели именно его беззвучные шаги или просто его присутствие; явившийся, чтобы тихо предупредить меня о моих обязанностях, этот молодой парень был на редкость крепкого телосложения, больше подходящего для носильщика или кучера, на его ляжках буквально трещали старомодного кроя узкие черные панталоны, а на плечах – зеленого цвета фрак, он, казалось, явился из моего сна или из каких-то еще более глубоких сфер, заставив меня вспомнить нашу домашнюю служанку, а следовательно, конечно, и беспокойную, полную воспоминаний ночь; все тело его излучало то же самое флегматичное спокойствие и самоуверенное достоинство, которые некогда я ощущал, находясь рядом с Хильдой; не без удовольствия

прогулявшись глазами по его веснушчатому лицу, я подавил в себе мощный зев и со злостью повторил про себя совершенно излишнюю фразу: нет, нельзя было сюда приезжать, но куда же еще, если не сюда? и все-таки этот увалень в скроенной не на него одежде показался мне очень забавным, чуть приплюснутый нос, веснушки, по-детски любопытный взгляд и та серьезность, с которой он вытянулся передо мной в ожидании распоряжений, заставили меня рассмеяться, и теперь, когда я уже окончательно проснулся, мой вопрос и мое раздражение показались мне глупостью.

«Изволите встать, господин Тениссен?» – сухо спросил коридорный, как бы не услышав моего слишком уж фамильярного смеха.

«Да, пожалуй. Во всяком случае, подобает».

«Прикажете чай или кофе?»

«Наверное, лучше чай?»

«Воду для умывания принести сейчас или после чая?»

«По-вашему, умываться следует каждый день?»

Он помолчал, в глазах ничего не изменилось, но он вроде бы что-то понял.

«А к горячему завтраку изволите спуститься вниз или прикажете подать в номер?»

«Нет, нет, я спущусь, конечно. Вы не находите, что здесь слишком холодно?»

«Сию минуту я затоплю, господин Тениссен».

«И не могли бы вы меня побрить?»

«Разумеется, господин Тениссен».

Он на несколько минут исчез, и мне следовало бы встать, чтобы, пользуясь случаем, быстро справить нужду; подозреваю, что он намеренно тянул время за дверью, чтобы дать мне такую возможность; между мужчинами, когда они остаются одни, бывает такая особая деликатность, которую не назвать ни внимательностью, ни вежливостью, скорее это некая братская снисходительность к тому порождающему неловкость факту, что иногда по утрам скопившаяся за ночь в пузыре моча вызывает эрекцию, и, резко выпрыгнув из постели, мы рискуем явить присутствующему зрелище физиологического обмана, который подстраивает наш организм, то есть посвятить его в механизм, принцип действия коего нам самим до конца не ясен, а отсюда и некоторая стыдливость; в общем, встать я не успел, и когда, распахнув дверь, он вкатил в комнату столик, а затем быстро затворил за собою дверь, я все так же лежал в постели, точнее, подложив за спину подушку, привалился к спинке кровати и скорее почти сидел, комфортно устроившись

и к чему-то готовый, как будто заранее знал, что преждевременное вставание может прервать или отклонить некое идеальное, может быть, событие, которое для меня стократ важнее, так что тело пускай потерпит! натяжение пузыря, разумеется, волевым усилием не ослабишь, но эрекция, если отвлечь внимание, может постепенно пройти, а вместе с нею, быть может, окончательно пройдет и чувственное возбуждение, вызванное сновидениями.

Такие мысли блуждали в моей голове, пока он молча хлопотал вокруг меня, стеклянный столик, мягко ступая по ковру и стараясь не звенеть посудой, он подкатил к кровати; мне казалось, будто мне прислуживает переодетая в коридорного кошка, осторожный хищник, событием были уже сами его бесшумные хлопоты, отработанные до полной незаметности движения, которые приковывали к себе все мое внимание и были мне явно по душе; он налил из чайника дымящийся чай, спросил, не желаю ли я с молоком, при этом ни одна капля не сорвалась с носика чайника на белую даматовую салфетку; я ответил, что не знаю, буду ли пить чай с молоком, однако умышленная наглость ответа нимало его не смутила, он принял ее к сведению, тем самым дав мне понять, что ни в какой форме не может ответить мне, право принимать решения во всяком случае остается за мной, любое мое решение он сочтет в высшей степени правильным, и в его одобрении я не замечу ни тени подобострастия, ни безразличия, а скорее увижу услужливость, совершенную в своей нейтральности, посрамляющую меня готовность пойти навстречу любому моему желанию, но при этом он будет иметь в виду и возможность непредсказуемых для него капризов; короткими пальцами он поднял салфетку, под которой скрывались в корзинке хрустящие булочки, и едва только передал мне чашку и услужливо повернул в мою сторону лежавшие в сахарнице щипчики, скрылся из виду, непонятно как, я даже не слышал его удаляющихся шагов; он вышел, полагая, что больше я в нем не нуждаюсь.

Между тем я нуждался в нем в этот момент, как ни в ком другом.

Когда, сделав первый глоток горячего чая, я взглянул поверх чашки, он снова был уже в комнате; он принес дрова в большой плетеной корзине и опустился на колени перед белой кафельной печью, причем расположился таким образом, чтобы, пока он будет чистить и растапливать печь, не полностью поворачиваться ко мне спиной, а быть видимым в профиль, как бы одной половиной тела по-прежнему оставаясь к моим услугам, чтобы, с одной стороны, позволить мне быть одному, а с другой, если я пожелаю чего-то, тут же заметить любой мой знак.

Булочки были теплые, ароматные, на желтых шариках масла, поданных на свежих зеленых листьях клубники, сверкали капли воды, а чтобы увидеть, как вздрагивает на блюде полупрозрачный, усеянный мелкими семечками малиновый джем, я даже слегка подтолкнул столик локтем.

Если бы мое детство не обременяли столь неприятные и мрачные воспоминания, если бы образ матери, даже в воспоминаниях, не был таким сухим и далеким, я, возможно, подумал бы, что эта сцена прельщает меня каким-то былым, глубоко похороненным ощущением безопасности, что в здравости теплых булочек отражается здоровый порядок мира, что здравость красиво дымящегося чая, желтизны масла и подрагивающего малинового джема позволяет нам быть уверенными, что, какая бы жуть ни привиделась нам во сне, этот мир, в центре которого, в нагретой телом постели, разумеется, находимся мы, не только надежно покоится на своих непреложных законах, но и с невиданной силой и мощью действует, удовлетворяет наши потребности, прихоти наших вкусов, обогревает дровами наши комнаты, и, стало быть, для беспокойства, тревог и страхов нет никаких причин, однако, с другой стороны, мне уже в детстве пришлось почувствовать, сколь хрупок, фальшив, иллюзорен этот порядок, и, наверно, поэтому я позднее, после долгих и страстных исканий оказался среди людей, которые не только были готовы сорвать с мира покровы лживости и иллюзий, но и ставили своей нескрываемой целью попросту уничтожить всю эту фальшь и добиться подлинной, основательной безопасности, пусть даже для этого им потребуется, не считаясь с кровавыми жертвами, взорвать этот лживый и хрупкий порядок, дабы потом на его развалинах построить настоящий, по их собственному образу и подобию, новый мир; так что я бы сказал, что пока в это утро мои глаза, язык, уши вовсю наслаждались прелестями неподвижно застывшего архаического порядка, мой разум смотрел на все эти детские радости с максимально возможного удаления, и от этого я неожиданно постарел.

Ибо как бесконечно далека была эта залитая утренним светом белая спальня от тех мрачных комнат, в которых в течение нескольких лет, в пору минувшей молодости, я в тайном обществе Клауса Динстенвега размышлял об этом новом порядке и о разрушении ненавистного старого; и как же она близка, думал я, комнатам моего детства, никогда в такой чистой форме не существовавшим.

Мимолетная смена настроения, и вот уже порвалась, как вырзился поэт, дней связующая нить.

Казалось, слегка разочарованный человек, взбудораженный сновидениями, но лежащий с беспечным спокойствием и пьющий горячий чай, вспоминал сейчас не о трех следующих друг за другом периодах жизни одного и того же лица, а о событиях жизни трех совершенно разных людей.

Из печи вырвалась струйка дыма, потом вспыхнул огонь, окрасивший в красный цвет лицо коридорного, и его рыжие волосы были вроде как продолжением пламени.

Он сощурился от дыма, отер слезящиеся глаза и на мгновение задержал взгляд на разгоревшемся пламени.

«Как зовут тебя?» – негромко спросил я его из постели.

«Ганс», – не поворачиваясь ко мне, буркнул он, как будто забыл о своей неизменной любезности.

«А фамилия?»

Я был рад, что здесь есть такой слуга, но, глядя на ситуацию из другой своей жизни, вынужден был устыдиться этой радости.

«Баадер, сударь», – сказал он своим прежним голосом, и между двумя его голосами, казалось, не было никакой связи.

«И сколько тебе годов?»

«Восемнадцать, сударь».

«Так вот, Ганс, я попросил бы тебя поздравить меня. Мне сегодня исполнилось тридцать».

Он невольно поднялся.

Лицо его расплылось в ухмылке, красивые миндалевидные глаза почти скрылись между щеками и подушечками по-детски припухлых век, а над крепкими, как у зверя, зубами ярко вспыхнули розоватые десны, похожие на сырое мясо, такие десны у рыжих людей всегда поразительно гармонируют с цветом волос и кожи; он очень забавно махнул рукой в мою сторону, как будто я был его другом-ровесником, стоял сейчас рядом с ним и он на радостях хотел меня двинуть в грудь, но движение было столь откровенным и поэтому неуместным, что он тут же смутился, покраснел, а почувствовав это, и вовсе стал красный как рак и не смог ничего сказать.

«Сегодня у меня день рождения».

«Если б мы только знали, господин Тениссен, мы непременно поздравили бы вас как положено, но все равно позвольте мне вас поздравить!» – сказал он чуть позже и улыбнулся, причем улыбка эта предназначалась уже не мне, а ему самому, потому что он радовался, что так ловко вывернулся из достаточно щекотливого положения.

Но потом снова наступило молчание.

И когда в этом неловком молчании я поблагодарил его, между нами что-то произошло, некое событие, которое я предугадывал, способствовал ему, ждал его, ведь благодарил я его, разумеется, не за поздравление, вынужденное и само по себе довольно смешное, а за то, что он весь такой совершенный и что это меня так трогает.

Какое-то время он стоял молча, беспомощно опустив голову, я лежал неподвижно и смотрел на него.

И когда он чуть позже спросил, можно ли принести воду, я дал ему знать, что он может идти.

Это была граница, за которой лежало запретное царство, и я, конечно, не должен был желать переступить ее, а с другой стороны, между нами уже все кончилось, ведь близость, на мгновение ему навязанная, тут же разоблачилась, ни о какой общности уже не могло быть и речи, я оставался барином, а он оставался слугой и, следовательно, человеком, вынужденным защищаться, ловчить, и, по всей вероятности, чувствовал по отношению ко мне столько же отвращения, сколько подлинного волнения, в любом случае такого неравенства достаточно, чтобы испортить чистую игру сближения; так что это был просто эксперимент, я пытался задеть в нем какие-то струны, не имевшие никакого отношения к нашим ролям, но мне терять было нечего, эксперимент в силу моего превосходства был моим и в этом смысле и для меня самого унижительно односторонним, но устоять перед соблазном этого опыта мне все же не удалось, ибо я наслаждался своим превосходством, наслаждался его беззащитностью и тем, что именно из-за своей роли слуги он с этой беззащитностью вынужден был мириться, больше того, в его унижении я наслаждался и собственным унижением, не говоря уж о том, что вся ситуация отдавала его в мои руки и, в сущности, независимо от меня наша маленькая история продолжалась, и положить ей конец было невозможно.

Когда он стоял между моими раздвинутыми коленями и пористой, еще пахнущей морем губкой увлажнял мне лицо и мягкими круговыми движениями двух пальцев растирал на нем крем для бритья, чтобы затем помазком взбить его на моей щетине до густой плотной пены, наши тела, разумеется, находились в соблазнительной близости, свободной рукой он вынужден был постоянно поддерживать, подпирать мою голову, класть ладонь то на лоб, то на мой затылок, я же должен был по этим его движениям угадывать его пожелания, следовать им, помогать ему, его колено касалось иногда моего колена, но все внимание его было сосредоточено

на моем лице, и я тоже следил за каждым его движением; он слегка затаил дыхание, и я сделал то же самое, чтобы нам не дышать друг другу в лицо, но эта взаимная сдержанность лишь усиливала значимость события, которое достигло своего настоящего апогея, когда, наконец покончив с приготовлениями, он вытащил из футляра опасную бритву с костяной рукояткой, раскрыл ее, несколько раз провел ею по ремню, снова встал между моих ног и, подперев указательным пальцем мой висок и вместе с тем слегка натянув кожу, чтобы ровнее легла под лезвие, на мгновение заглянул мне в глаза.

А затем единственным решительным движением он провел бритвой по левой стороне лица, щетина, отделяясь от кожи, мягко потрескивала, и меня даже несколько забавляла моя нервозность, ведь известно, что с какой бы готовностью мы ни подставляли свое лицо под бритву, стараясь предельно расслабиться, его мышцы, хотим мы того или не хотим, все равно будут напрягаться от страха; нам обязательно нужно видеть, не застряло ли где и не врезалось ли в кожу лезвие, мы вращаем глазами, едва не выворачивая их из орбит, и в то же время, естественно, изображаем на лице полнейшее доверие мастеру, иначе мы можем ему помешать в работе, повысить риск, сами стать причиной маленькой катастрофы, которая будет для нас не менее неприятна, чем для него; ведь если кожа будет порезана, то от интимности физической близости не останется и следа, из-под застывшей маски взаимной внимательности вдруг выплеснется грубая ненависть, он будет ненавидеть нас за идиотски непредсказуемую шероховатость кожи, сводящую насмарку все его мастерство, за растущую не туда щетину, за невидимые глазу мелкие бугорки или прыщик, цепляющийся своей острой головкой за бритву, а мы будем ненавидеть его за его неуклюжесть и прежде всего за то, что так неосмотрительно доверились его рукам, и эта взаимная ненависть будет только расти, если, заметив в зеркале обильно стекающую по нашему лицу кровь, мы вынуждены будем сделать вид, что все это ерунда, не стоит внимания, а он от стыда примется насвистывать и неестественно легким движением подхватит со столика квасцовый раствор, чтобы жгучей болью еще и отомстить нам; однако пока никаких осложнений не было, и уже по жесту, которым он смазнул пену с лезвия на вытянутый указательный палец, а потом стряхнул ее в миску, было ясно, что человек он опытный; повернув мою голову, он подошел еще ближе, так что мой нос едва не уткнулся в его жестко накрахмаленную манишку, а его чуть подогнутое колено – в мой пах, и так же уверенно выбрил мне правую щеку; но кожа

моя при этом, невзирая на все мастерство и опыт цирюльника, на почти обязательную в этом деле решимость хирурга, все-таки была судорожно напряжена, я ощущал, как она подергивается на лице, а между тем самые чувствительные участки были еще впереди, сложный рельеф подбородка, гортань, не говоря уж о том, что когда он размахивал своей бритвой, в голову лезли дурные мысли, а что, если он случайно отхватит мне нос или ухо, наслышаны мы о таких кошмарах! я смотрел на него снизу вверх, выворотив глаза, и лицо его, несмотря на все притягательное очарование молодости и силы, казалось каким-то слишком уж мягким, и эту чрезмерную мягкость можно было заметить только отсюда, снизу; на коже его, под которой угадывался белый жирок, едва пробивался рыжеватый пух, да, ему никогда не придется бриться, с удовлетворением отметил я, гололицый будет, как евнух, это можно предвидеть; ноздри его были большие, рот красивый, капризно очерченный, нижнюю губу, обривая отрывистыми движениями мой подбородок, он закусил, через несколько лет крупное тело его, видимо, разжиреет, отрастет второй подбородок, он будет вечно задыхаться от своего неимоверного веса, думал я, в то время как гортань уже предвкушала щекотливое острое наслаждение, которое она испытает, когда он, оттянув в сторону кожу кадыка, плавно, опасно скользнет по ней бритвой; я незаметно приподнял руку, но не спешил, выждал, пока он коснется горла, и только тогда, словно бы от испуга, без того, чтобы дрогнуть лицом или телом, положил ладонь на его тугую ляжку.

Гладкие мышцы под моей рукой были твердые и невероятно мощные, и моя ладонь потерялась, была бессильной и жалкой, мне казалось, что я прикоснулся к нему впустую, ибо осязание не только не дало мне почувствовать внутреннего естества плоти, но как бы не достигло даже ее поверхности, словно поверхность, которую я, конечно, чувствовал, была лишь прикрытием, маскировкой, броней настоящей поверхности, до бесчувственности прочной, мог бы подумать я, если бы в этот момент мог о чем-либо думать, ибо как в его глазах, на губах, в чертах склонившегося надо мной лица, так и в плоти не было заметно никакой реакции, ни смущения, ни согласия, ни отказа, его лицо, его кожа и мышцы были так же нейтральны, как до этого почти все его движения, и я страстно хотел овладеть этой беспощадной нейтральностью, это я реагировал на него, а не он на меня, он ничего не чувствовал и вроде бы даже не понимал ничего, точнее, не знал о том, что должен что-либо почувствовать или понимать.

Мне всегда казались бессмысленными всякого рода категорические декларации, и все же я должен сказать, что никогда в своей жизни, ни до этого, ни позднее, я не делал более бессмысленных жестов.

Но именно потому этим жестом я словно бы достиг вершины – или самых глубин – своего влечения.

490 Я не мог убрать руку, да и жест уже состоялся, нельзя было его отменить, но при этом, хотя рука оставалась там же, я ничего не ощущал, он же по-прежнему занимался моим горлом, такой безучастный, как будто мой жест был всего лишь плодом моего воображения и, следовательно, он не мог о нем знать.

Я бы не возражал, если бы он все-таки перерезал мне горло.

Если бы лезвие с еле слышным хрустом вошло в мягкий хрящ гортани.

Я не закрывал глаза, по-прежнему ожидая какого-то скрытого знака.

Чтобы стряхнуть в миску собранную на палец пену, ему пришлось отвернуться, и только по этой причине он оторвал бедро от моей ладони.

Моя рука, принадлежащий мне странный обрубок, сиротливо повисла в воздухе.

Он смочил в воде губку и, поддерживая рукой мою голову, обмыл мне лицо.

Тем временем я закрыл наконец глаза.

«Проклятое это место, сударь!» – услышал я в темноте его голос.

Но когда я снова открыл глаза, он уже отвернулся, чтобы швырнуть губку в миску; и никаких скрытых знаков.

«Одеколон?» – тихо спросил он, не оборачиваясь.

Тем не менее во всем этом не было ничего огорчительного или обидного, от его безупречности я пришел в замечательное настроение, и мой эксперимент мы могли преспокойно отправить на великую мировую свалку бесполезных событий.

«Да, пожалуй».

В это же время в голове у меня промелькнула мысль, что его замечание, возможно, является скрытым намеком на тот ночной шум, крик и визги, которые прервали мой первый сон и к которым он сам мог иметь какое-то отношение.

И, быть может, я своим жестом несколько его не обидел, и, стало быть, он был не таким уж и бесполезным.

Одной ладонью он поддерживал мой затылок, уткнув мизинец в шею и запустив остальные пальцы мне в волосы, и выплеснутым в другую ладонь одеколоном растирал мне лицо.

А потом обмахнул его салфеткой, чтобы спирт быстрее испарился, отчего человек обычно ощущает себя особенно бодрым, и впервые за долгое время мы снова посмотрели друг другу в глаза.

Уж не знаю, на что он там намекал, но будь это место хоть трижды проклято, это маленькое событие, которое я так счастливо навязал нам в виде эксперимента, сделало место моих воспоминаний бесконечно близким, так что я все же не ошибся; взгляд слуги оставался совершенно невозмутимым; да, я был здесь на месте, в печи весело потрескивал огонь, и я не мог дожидаться, пока он соберет свои вещи и выйдет; в каком-то лихорадочном возбуждении я готов был наброситься на свой черный саквояж, рывком распахнуть его, тут же разложить на пустом столе бумаги и немедленно сесть за работу, однако мой горький опыт предостерегал меня от излишней поспешности, все не так просто, как требуют наши желания, всегда лучше немного повременить, спокойно снять пену избыточного напряжения с кипящего бульона чувств, дать ему загустеть, а не хвататься за первый кажущийся подходящим момент! поэтому когда он наконец затворил за собою дверь, я сперва подошел к окну, отдернул белые занавеси, и представшее мне великолепное зрелище действительно несколько остудило меня.

У меня был еще целый час до того, как внизу ударят в маленький колокол, созывая гостей к общему столу.

Осеннее небо было чисто и прозрачно, в парке замерли без движения стройные лиственницы, бушевавший ночью ветер уже совсем утих, и хотя я не видел отсюда моря, как не видел ни набережной, ни курзала, ни широкой аллеи, что ведет к железнодорожной станции, ни дамбы, ни болота, ни леса, я знал, что все это рядом, все важное и болезненное, стоит только протянуть руку.

На террасе, выложенной декоративными плитками, несколько палых листьев.

Все было здесь, и поэтому я мог позволить себе быть не здесь, а в своем воображаемом повествовании.

Забывать обо всем.

Но не тем ли питается это ощущение легкости, что теперь, наконец-то освободившись от своей невесты, я смогу искушать себя той прекрасной в своей неосуществимости надеждой, что рядом со мной всегда будет находиться этот молодой безотказный слуга, которого я в любое время смогу вызвать к себе? но тогда получается, что я снова оказываюсь между двумя человеческими существами?

И где же здесь благословенное одиночество?

Мысль, таким отвратительным образом соединившая во мне их двоих, словно ударила меня в солнечное сплетение.

Если и в одиночестве они будут постоянно мельтешить во мне?

492

Но мое настроение все-таки не испортилось, совсем наоборот, я ощутил себя человеком, который увидел вдруг свое тело со стороны и вполне доволен своими пропорциями, и дело вовсе не в том, что ему не видны собственные изъяны и несовершенство, а в том, что он понимает, наконец понимает, что живая форма всегда образуется отношениями между деталями, которые возникают в ходе необратимых процессов; несовершенное тоже имеет свои законы, и в этом его совершенство, совершенно само его существование, совершенно само бытие, совершенно уникальное и неповторимое устройство несоразмерности, и если я до самого своего тридцатилетия, и почему именно до этого загадочного дня? с тех пор, как помню себя, с тех пор, как вообще мыслю, так или иначе реагирую на происходящее с моим телом, вечно страдал от того, что был зажат между двумя вещами, явлениями, личностями, словно между скрипящими мельничными жерновами! уже в самых первых воспоминаниях! как, например, в сумеречные часы на приморской набережной, когда я чувствовал свое нераздельное тело разорванным между телами матери и отца и вместе с тем, хотя родители могли быть полны взаимной вражды и убийственной ярости, потому что непримиримыми были их тела, я все же не только чувствовал свое с ними единство, но и желал его, я не мог, да и не хотел разделять себя между ними, пусть они и пытались, и действительно разрывали меня; ведь даже черты моего лица, сложение тела и мои свойства не могли разрешить вопрос, на кого из них я похож, да на обоих сразу, больше того, на многих, на несметное множество людей, это только для упрощения мы говорим о раздвоенности или двойной идентичности, тогда как на самом деле я похож на всех своих мертвых пращуров, которые продолжают жить до сих пор в моих свойствах, чертах и жестах; и сейчас я был откровенно счастлив, что эти два столь далеких человеческих существа таким умопомрачительным образом встретились друг с другом во мне, и как я могу чего-то желать, на что-то влиять, решать, что мне можно и чего нельзя, когда я совсем ничего не знаю о том, что с чем связано и откуда идет, как я могу разделить в себе то, что во мне неделимо? можно все! да, я буду самым заклятым анархистом! и вовсе не потому, что в молодости случай привел меня в компанию анархистов и эти годы в конце концов невозможно из жизни

вычеркнуть, но я оказался среди них вовсе не из-за их благородных целей и духовных порывов, а потому, что всегда был анархистом плоти, полагая, что вне тела нет Бога и что только в физическом акте, дающем мне ощущение бесконечного богатства моих возможностей, мое тело может обрести спасение.

И мораль ваша меня ничуть не волнует.

Сон о лоне моей невесты, смоленая стенка клозета и реальная ляжка слуги для меня не пикантные приключения, нет.

Позднее, когда я входил в зал для завтрака и глаза мои неожиданно ослепил утренний свет, отражавшийся тысячью бликов в стекле, зеркалах, серебре, фарфоре, не говоря уже о глазах, я всем своим существом ощущал это приподнятое настроение, этот уютный душевный покой и чувство бунтарского превосходства и радовался также тому, что всем этим могу поделиться с другими, стоит лишь заглянуть им в глаза, а за окном было видно море, еще темное, подернутое рябью волн и медленно утихающее после ночного шторма.

Если что-то меня и волнует, то это гнусная аморальность вашего распроклятого Бога.

А еще я радовался теперь, что вынужден буду придерживаться определенных, отвратительных для меня светских правил, ибо смотрел на них с чувством собственного превосходства, зная, что вновь овладел своим телом.

Мне казалось бесконечно красивым и простительным фарисейством, что я, который позавчера еще обнимал на ковре свою невесту, а какой-нибудь час назад лапал за ляжку другого мужчину, безнаказанно и с вежливейшей улыбкой, чуть ослепший от солнца, стою в открытых дверях и владелец отеля, благодушный лысый толстяк, сын бывшего владельца, да, он самый, который когда-то не только ломал песочные замки, что мы возводили на пляже с маленьким графом Штольбергом, но, будучи чуть постарше, когда мы пытались сопротивляться, нещадно лупил нас, теперь этот бывший мальчишка громким торжественным голосом, но все же с видом отца семейства представляет меня обществу, и я кланяюсь в разные стороны, стремясь каждому уделить хотя бы частичку взгляда, а они, тоже стараясь придать своим взглядам достаточно благородности, не выдав при этом своего любопытства, кивают мне в ответ.

К завтраку и ужину, когда из обильного ассортимента блюд каждый мог выбирать по душе и по аппетиту, сервировали большой длинный стол, дабы подчеркнуть неформальный, семейный характер двух этих случаев, в отличие от обеда, за который сажались в пять вечера в более тожественной обстановке, небольшими

группами, за отдельные столики; за завтраком не обязательно было ждать, пока все рассядутся, каждый, с помощью снующих вокруг стола официантов, мог приступить к еде, едва сев на место, и за минувшие двадцать лет ничего в этом отношении не изменилось, и я не был бы удивлен, обнаружив за этим столом свою мать, тайного советника Петера ван Фрика, отца или фрейлейн Вольгаст, те же самые тонкой работы ножи и вилки позвякивали о фарфоровые тарелки с бледно-голубыми гирляндами, хотя на-верняка с того времени сменился уже не один сервиз, по столу с той же самой художественной небрежностью были расставлены тяжелые серебряные блюда, на которых, словно рельефные карты гастрономического искусства, аппетитными горками была выложена еда: бледно-зеленые сомкнутые розетки маринованных артишоков в масле, красные лобстеры в дымящемся панцире, прозрачная розоватая лососина, жирно поблескивающие, уложенные рядками ломтики ветчины и светло-коричневой тушей телятины, яйца, фаршированные черной икрой, хрустящий эндивий, золотые полоски копченого угря на росистых листьях салата, различные, в виде конусов и шаров, паштеты из дичи, грибов, морской рыбы, печени птицы, симпатичные мелкие корнишоны, желтые, с дырочками и сплошные, ломтики голландского сыра, голубоватое заливное из судака, сливочные, кисло-сладкие и острые соусы в маленьких чашечках и кувшинчиках, горки горячих тостов, свежие фрукты в многоярусных вазах, а кроме того, различных размеров и видов раки, запеченные перепела с красной хрустящей корочкой, горячие, с пылу с жару, наперченные колбаски и айвовый сыр с орехами, которым я объедался в детстве, ну и конечно, наполняющие зал многообразные запахи всей этой снеди и волнами расходящиеся при движении ароматы утренних духов и одеколонов, помады и пудры, слитная музыка звяканья, звона, скрипа, шелеста, плеска, лязганья, утихающей и снова усиливающейся болтовни, смешков, вздыханий, ворчанья, звонкого смеха, шепота, музыка, то вздымающаяся ввысь, то падающая, то усиливающаяся, то почти умолкающая; и если в такие минуты человек на мгновение замрет на пороге, отыскивая в этом упорядоченном хаосе какую-нибудь надежную точку, он почувствует себя так, будто ему предстоит броситься сейчас в бурлящий ледяной поток, и вот он уже до безоблачности опустошил свой взгляд, приготовил безукоризненную улыбку, которая временами застывает в несимпатичной ухмылке, его мышцы уже ощущают небрежную надменность самомнения, совершенно

необходимого для того, чтобы покинуть уют своего одиночества и общаться с другими так, чтобы это не повлекло за собой никаких последствий, потому что он знает, что сейчас здесь с ним может случиться все что угодно, хотя это общество в принципе исключает возможность того, чтобы здесь случилось нечто существенное; и нигде вы не сможете лучше почувствовать одновременно приятную и отталкивающую театральность нашей жизни, реальные контуры и вершины фальши и благородную обязательность лицемерия, чем именно в обществе, где все так предупредительно туманны и где мы тоже остаемся столь же неуловимыми, где одновременная готовность к защите и нападению делает всех размытыми и недостижимыми, отчего потом, оставшись наедине с самими собой, мы чувствуем полную опустошенность, усталость и ненужность и в то же время благостную легкомысленность, безответственность, ибо по велению наших желаний втайне случилось все, что в реальности не случилось.

И каким бы безупречным ни было наше антре, ему непременно сопутствует некое неудобство, которое высится перед нами неодолимым препятствием, замешательством, либо само наше тело, пусть даже с величайшим тщанием облаченное в самый подходящий костюм, ища свое место среди других и страшась, что может его не найти, вдруг начинает чувствовать себя неловким, некрасивым и даже уродливым, наши конечности кажутся нам слишком короткими или слишком длинными, возможно, именно потому, что нам хочется быть легкими, красивыми, привлекательными, если не сказать совершенными, и кажется, будто причина этого замешательства вовсе не в теле, а в неумело и неудачно подобранном, может быть устаревшем или, наоборот, слишком модном костюме, в слишком тесном и удушающем нас воротничке, в слишком ярком галстуке, или в слишком узкой пройме рукавов, или в залипших между ягодицами брюках, не говоря уже о сильных в подобных случаях внутренних ощущениях, от которых на лбу, под носом, на спине и под мышками выступает испарина, хрипнет голос, мокреют ладони, против надуманных светских игр начинает протестовать желудок, который громко урчит, а также кишечник, который от нервов именно в такие моменты непременно хочет освободиться от пучащих его газов; и конечно, всегда есть кто-то в компании, кто своим присутствием вызывает у нас раздражение, желание выразить, отбросив трезвые доводы разума, враждебное или пусть даже восторженное, но во всяком случае бурное к нему отношение,

но мы вынуждены сдерживаться, точно так же как не можем позволить себе выпустить из кишечника те самые смрадные газы, ведь игра как раз в том и заключается, чтобы скрыть все естественное, но при этом с очаровательной убедительностью демонстрировать, что все вокруг просто и натурально.

Может быть, по милости режиссуры, долго копать во всех этих неприятностях нам не приходится: мы тут же, прикрывшись улыбкой, должны начать говорить.

Ощущение, будто в прямую кишку тебе вставили довольно большую грушу, и ловкому сфинктеру ануса нужно удерживать ее, не давая ни выпасть, ни проскользнуть внутрь; так, признаюсь, я чувствую себя в обществе и убежден, что примерно так же чувствуют себя и другие: мы словно бы ощущаем присутствие друг друга нашими напряженными задницами, что, простите за откровенность, все-таки неприлично.

Когда официант в таком же зеленом фраке, что и коридорный, подвел меня к моему месту, ноги мои, казалось, приросли к полу: я был потрясен, увидев за столом тех двух дам, вместе с которыми ехал в поезде.

Но и над этим задуматься мне было некогда, потому что оба моих соседа, между которыми я оказался, уже заговорили со мной; между тем прежде чем приступить к еде, поскольку это был общий стол, я должен был бросить взгляд и на остальных, предоставив им для более пристального изучения и свое лицо, что всегда является моментом критическим.

Мужчина справа от меня, чья внешность – почти полностью седые волосы, густые черные брови, моложавая смуглая кожа, плотные усики и мрачный взгляд в обрамлении нагловатой улыбки – тут же покорила меня, хотя мне казалось, что было бы лучше, если бы он сидел не рядом, а напротив меня, спросил с несколько странным акцентом, приехал ли я вчера, во время этой кошмарной бури; поначалу я думал, что он говорит на каком-то незнакомом мне диалекте, но только когда он стал рассказывать, что из-за трехдневного шторма все жаловались на бессонницу, что естественно, ведь буря на море это совсем не то, что в горах, он по опыту знает! морской шторм делает людей раздражительными, взвинченными, просто приводит их в бешенство, мне стало понятно, что говорил он не на родном языке; в сложных фразах он неправильно согласовывал времена глаголов.

«Тем более приятно увидеть утром роскошное голубое небо! Не правда, это просто фантастика?» – громко, с набитым ртом

вмешался мой сосед слева, который, поднеся вилку с нацепленной на нее креветкой чуть ли не мне под нос, продолжил, что я должен понять его правильно, к кухне отеля у него никаких претензий, даже наоборот, здесь все замечательно, просто фантастика! хотя он сторонник простой и здоровой пищи, и никаких соусов! никаких приправ! и если мне хочется отведать действительно что-то замечательное, то он рекомендовал бы мне последовать его примеру, потому что креветки на редкость вкусные, сочные, свежие и мясистые, раскусишь – и ощущаешь блаженство, вкус моря на языке. Блаженство, фантастика, урчал он еще не раз, но я чувствовал, что обращается он не ко мне, а скорее к заглатываемым кускам, потому что с каким бы жаром, воодушевлением, быстротой ни запихивал он в себя еду, с каким бы наслаждением и причмокиванием ни разгрызал, ни разжевывал, ни рассасывал все эти деликатесы, казалось, будто полностью удовлетворить свои вкусовые рецепторы он был все же не в состоянии и вынужден был как бы вслух уговаривать свои ощущения, точнее сказать, словно бы подкреплять громкими комментариями недостаточную уверенность в том, что все поглощаемое им действительно аппетитно; на его тарелке и даже вокруг нее громоздились уже горы шелухи, огрызков, костей и косточек, и, как я позднее заметил, несмотря на отчаянные, забавляющие меня усилия официантов, вокруг моего соседа всегда царил настоящий бедлам, потому что он вечно что-нибудь разливал, опрокидывал и расплескивал, от порывистых движений салфетка его сбивалась набок или падала на колени, а иногда ее приходилось выуживать даже из-под стола, и кругом, не только на скатерти, но и на его черной, явно крашеной козлиной бородке, на широких лацканах сюртука и на галстук небезупречной свежести, было полно крошек, но все это его, казалось, нимало не беспокоило, ну разве что кроме совсем уж скандальных случаев, когда он, положим, жестом некоторого сожаления провожал выскользнувший из-под его ножа на скатерть кусок сочной говядины, и при этом он продолжал беспрерывно и неустанно болтать, сопровождая свои слова смачным чавканьем и жеванием, от которого ходил ходуном его тщательно выбритый кадык, но лицо все же оставалось неподвижным и почти не улыбочивым, напряженным, испещренная чешуей морщинок кожа была нездорово бледной, а глубоко посаженные глаза подрагивали в затененных глазницах нервно и как бы испуганно.

За длинным столом сидело человек двадцать, а прямо напротив меня прибор оставался еще нетронутым.

Младшая из двух дам завтракала в перчатках, на что, конечно, нельзя было не обратить внимания, и, взглянув на эти неестественно гладкие белые перчатки, я испытал почти то же полуобморочное состояние, как днем раньше, когда она так беспощадно разоблачила передо мной тайну своих рук.

Я небрежно расстелил на коленях салфетку, но, ощутив на своем лице и глазах, на костюме и галстукe напряженные взгляды, понял, что плотно позавтракать мне не удастся.

498

И, повернувшись к соседу справа, который, кстати, был ненамного старше меня, широкоплечий, толстоший, плотный, в мягком, кофейного цвета костюме, очень идущем к его загорелой коже, в чуть более светлом жилете и пастельно-полосатой рубашке, что как раз входили тогда в моду в качестве повседневной одежды, я заметил, что этой штормовой ночью тоже чувствовал некоторое беспокойство, о котором он изволил упомянуть, потому что внезапно проснулся как бы от криков и воплей, что-то вроде того, сказал я с какой-то для самого себя удивительной искренностью, по всей видимости, вызванной его подкупающей внешностью, и скорее всего эти звуки доносились до меня не снаружи, а были частью какого-то неприятного сна, словом, я тоже могу присоединиться к категории людей, страдающих бессонницей, хотя судить об этом с уверенностью по первой ночи, как мы знаем, никогда нельзя; но он в это время уже не глядел в мою сторону, делая вид, будто не слышит меня, и в этой наигранной невнимательности было что-то неприятно профессорское, молчание того рода людей, которые дозируют свои жесты, слова и даже безмолвие с сознанием своего превосходства, житейского опыта и непогрешимости, тем самым побуждая нас к откровенности, вызывая прямо-таки рабское доверие и полную искренность, укрепляющую их превосходство над нашей слабостью, между тем как мой сосед слева со знанием дела рассуждал о способах копчения и маринования окороков, но так как поддержать эту тему я, к сожалению, не мог, то чтобы хоть чем-то его порадовать, я положил себе на тарелку креветок.

Старшая из двух дам, которую в поезде я узнал лишь несколько часов спустя, когда голова ее накренилась и она, раскрыв рот, уснула, вообще ничего не ела, наблюдая только за своей дочерью, и время от времени, я думаю, скорее ради видимости и чтобы чем-то занять себя, прихлебывала горячий шоколад.

Наконец я тоже приступил к еде.

«Мы можем рассчитывать, господин советник, что вы проводите нас сразу же после завтрака?»

Голос у старшей дамы был низкий и по-мужски хриловатый, да и комплекция соответствующая, мощная и костлявая, так что изысканное черное кружевное платье смотрелось на ней скорее как маскарадный костюм.

«Должна вам признаться, я крайне встревожена».

Обе дамы сидели в какой-то неразрывной близости, ближе, пожалуй, чем это позволяли приличия, но у меня было впечатление, что в этой близости нуждалась прежде всего мать, она и в поезде едва не наваливалась головой на плечо дочери, хотя их тела при этом не соприкасались.

499

И мне вспомнилось, с каким презрением, даже с некоторым отворачиванием поглядывала та на спящую, время от времени всхрапывающую мать.

Или, может, ее презрение было адресовано мне?

«Непременно, сударыня, я и сам так считаю!» – с готовностью отозвался преждевременно посевший господин справа от меня. «Разумеется, как можно скорее, хотя, как я уже говорил, в такой ситуации возможно всякое».

И снова у меня было чувство, что дочь, собственно говоря, наблюдает за мной, хотя избегает моего взгляда, да и я не смотрел ей в глаза.

«И если позволено будет спросить, вы запомнили этот свой сон, который вы сочли неприятным?» – неожиданно повернувшись ко мне, вялым голосом поинтересовался мой седовласый сосед.

«О, конечно!»

«А могу ли я попросить вас как-нибудь рассказать мне его?»

«Мой сон?»

«Да, ваш сон».

На какое-то время мы замолчали, глядя друг на друга.

«Видите ли, я, так сказать, коллекционирую сны, гоняюсь с сачком за снами других людей», сказал он, обнажив в широкой улыбке красивые зубы, но в следующий же момент улыбка исчезла с его лица, и он своими мрачными черными глазами словно бы заглянул мне в душу и тут же обнаружил во мне что-то подозрительное; в темных его глазах блеснуло какое-то открытие.

«Только вы не подумайте, что мы вас торопим, господин советник!» – вновь обратилась к нему старшая дама, и он резко повернулся к ней, точно так же внезапно, как только что повернулся ко мне; неожиданные движения, казалось, доставляли ему удовольствие.

«А кроме того, можно предположить», продолжал он тем же вялым рассеянным голосом, «что кризис просто был спровоцирован

штормовой погодой, и так же, как успокаивается стихия, успокоится и встревоженный организм. И не сочтите мои слова пустым утешением, милостивая государыня! для надежды, я в этом убежден, есть все основания».

Я лениво ковырялся в тарелке, не желая перегружать и без того набитый кишечник.

500 Я пропустил свой утренний ритуал, от которого отказываюсь только в крайних обстоятельствах, причем пропустил уже в третий раз, сначала из-за неожиданного визита моей невесты, потом было путешествие, и, наконец, из-за приятного появления коридорного, так что уже три дня я не мог нормально сходить по большой нужде.

«Ну как вам?» – любопытствовал сосед слева.

«О, и правда великолепно!»

Я затрудняюсь сказать, какая из двух потребностей, литературные занятия или банальная ежедневная потребность опорожнить кишечник, была для меня важнее, но с годами я вынужден был осознать, что самые отвлеченные духовные и самые грубые телесные вещи во мне неразрывно связаны, настолько, что я не мог вполне удовлетворить одну из потребностей, не удовлетворив другую.

Теперь все свое внимание сосредоточил на мне господин с черной козлиной бородкой; приоткрыв рот и выпятив губы, он смотрел, как я жую и проглатываю еду, и словно старался помочь мне, как делают это матери, кормящие малых детей, когда, причмокивая губами, показывают, что надо делать, а под конец он с победным видом оглянулся по сторонам, как бы говоря: вот видите, он опять оказался прав.

Как правило, по утрам, встав с постели, еще не умывшись и не побрившись, а только накинув на себя халат, я сразу сажусь к письменному столу, и привычка эта, если память не изменяет, сложилась у меня еще в родительском доме, после ужасающего поступка и кошмарного самоубийства моего отца; тогда на то, чтобы начать день, у меня уходили часы, ибо, сам того не осознавая, я еще не один год жил в одуряющем чаду этой страшной истории. Я нередко оказывался на берегу огромного, необозримо широкого, величественно несущего свои воды потока, и чтобы мощная лавина воды не утащила меня за собой, я хватался за хрупкие ветки сухого прибрежного ивняка, пытался вытащить ноги из ила и видел при этом, как серая, клокочущая, завихряющаяся стремнина, подбрасывая и вращая, приносит мимо вывороченные с корнем деревья и мертвые тела.

Сидя за столом в своей комнате на втором этаже, я глядел через окно на крыши соседних домов, отхлебывая чай из ромашки

и иногда, рассеянно подтянув к себе белый лист бумаги, записывал несколько фраз, причудливых и, естественно, не продуманных.

С тех пор с Хильдой у нас не было друг от друга никаких секретов, мы остались в доме одни, очень редко выходили на улицу, запущенный сад вокруг нас за лето совсем одичал; иногда мы спали в обнимку, не испытывая от этой близости ни малейшего эротического возбуждения, ей шел тогда уже сороковой год, мне было девятнадцать; я знал, что ее теплое рыхлое тело лишил невинности мой отец и годами пользовался им, как каким-то предметом, а она знала, что держит в своих объятиях повзрослевшее чадо своего любовника, который несколько месяцев назад изнасиловал, убил и изувечил ее племянницу, необычайно красивую хрупкую девочку, которую она же и пригласила к нам помогать ей по дому.

Из моих фраз складывались истории, простенькие, без высоких духовных претензий небольшие рассказы, и пока я ждал, когда медленно остывающий горьковатый чай благотворно расслабит кишечник, эти фразы каким-то образом помогали мне забыть о прошедшей ночи.

Однажды, таким вот утром, когда, спасибо Хильдиным чаем, я благополучно облегчился, хотя сам процесс, как всегда, продолжался долго, требовалась осторожность, ни в коем случае нельзя было торопиться или судорожно выдавливать содержимое, ибо часть его могла остаться во мне, и шелк моего халата и даже кожа за это время впитали в себя едкий дух экскрементов, словом, когда в аромате нашей маленькой ежедневной победы я вышел из туалета в прихожую, она стояла передо мной возбужденная, растрепанная, в разодранной на груди блузке, с обезумевшим взглядом и искусанными в кровь губами; Хильда бросилась на меня, обхватила, вонзилась зубами мне в голую шею и завывла нечеловеческим воем, ибо я никогда не слышал, чтобы человеческое существо так кричало, откуда-то из самого нутра, протяжно, не прерываясь, при этом ее большое тело бессильно повисло на мне, и я вместе с ней повалился на каменный пол.

Барышня перестала жевать, ее руки в перчатках опустили вилку и нож на тарелку.

Она посмотрела на моего соседа с козлиной бородкой с той же смесью презрения и отвращения, с какой в поезде смотрела на свою расслабившуюся и храпевшую мать, но теперь я не мог не заметить, что ее отвращение и презрение не лишены некоторого кокетства и означают не отторжение, а скорее вызов, и я, с удивлением взглянув на соседа, увидел, что его рот тоже остановился в своем беспрестанном движении и лишь остренькая бородка еще чуть подрагивает

от напряжения; дело в том, что высокомерный взгляд барышни вынудил его бегающие, глубоко посаженные глаза успокоиться, и они не только самым неприкрытым образом вперились друг в друга, но попросту стали друг с другом заигрывать.

В то же время достойная пожилая дама наклонилась ко мне и попросила прощения за то, что вынуждена была говорить с советником о такой тяжелой проблеме, за общим завтраком это не пристало, она прекрасно все понимает, и если избавит сейчас меня от излишних подробностей, о которых все остальные за этим столом, увы, уже знают! то я должен поверить, что она сделает это исключительно в моих интересах, потому что не хочет своими тревогами омрачить мое, очевидно, прекрасное утреннее настроение, она пощадит меня! ей хотелось просто предупредить меня, и она очень надеется на мое понимание.

И пока я в ответ заверял ее в полном и безусловном своем понимании и, изображая на лице одну из своих улыбок, благодарил ее за ее исключительную предупредительность, она своей рассусоленной болтовней словно бы украла у меня несколько важных мгновений, после чего мне было довольно трудно вернуться к наблюдению за теми двоими, которые между тем, разумеется, все более откровенно заигрывали друг с другом, и я это чувствовал, мне даже не нужно было бросать на них любопытные взгляды; пока я учтиво выслушивал ее мать, краем глаза я видел девушку, которая с кокетливым отвлечением на своем округлом розовощеком лице, буквально гипнотизируя стареющего, но тоже тщеславного мужчину, вновь принялась жевать, но при этом, демонстрируя разительные мимические способности, подражала ему, жуя с дикой жадностью, имитируя ненасытный аппетит, дрожа подбородком, как будто то была ее борода, и это было только начало игры, ибо мужчине, который словно только теперь разглядел красоту девушки, и в голову не пришло обидеться; жевательный рефлекс, казалось, переселился в его глаза, это был взгляд бесстыдного сладострастия, для выражения которого глубоко посаженные, слегка косящие глаза подходят как нельзя лучше, но окончательно покорить девушку ему удалось, когда, посмотрев с неподвижным ртом поверх разоренного стола, он начал жевать аккуратно и сдержанно, почти по-девичьи, и барышня последовала за ним, тоже жевнула несколько раз, и какой бы невероятной ни показалась эта сцена, они жевали, глотали совершенно синхронно, хотя жевать и глотать, в сущности, уже было нечего.

Но долго смотреть на них мне не пришлось, потому что поразительные события в зале последовали друг за другом с умопом-

рачительной быстротой. В стеклянных дверях столовой появился молодой человек, судя уже по одежде, персонаж весьма примечательный; я как раз поднес чашку ко рту, когда симулирующий вялое спокойствие советник, сидевший справа, так нервно и импульсивно дернул локтем, что от его толчка чай едва не выплеснулся на лицо склонившейся ко мне пожилой дамы.

Небрежным движением сорвав с головы мягкую светлую шляпу, молодой человек протянул ее подоспевшему официанту, и из-под нее в золотистом солнечном свете полыхнула копна вьющихся мелкими кольцами светлых волос; вместо пиджака на нем был толстый белый шерстяной свитер и длинный, несколько раз обернутый вокруг шеи и переброшенный через плечо вязанный из той же шерсти шарф – явно не признак хорошего воспитания; он, должно быть, только что вернулся с утренней прогулки, лицо его покраснело от ветра, он был весел, несколько нагловат, о чем можно было судить не только по необычному одеянию, но и по манере держаться, упругой походке и открытой улыбке; пока мы с советником взаимно извинялись за неприятный инцидент, он шел по залу к своему месту, кивал, улыбался, посмеиваясь, здоровался с присутствующими, с которыми явно был в превосходных отношениях; размотав свой забавный шарф, он бросил его на спинку стула, и пожилая дама напротив, которая заметила появление стройного молодого человека, очевидно, только по моему восхищенному взгляду, с сияющим лицом повернулась к нему и усеянной перстнями рукой взяла его за запястье.

«Oh, ce cher Gyllenborg!¹ – воскликнула она. – Quelle immense joie de vous voir aujourd’hui!²»

Он наклонился и поцеловал ей руку, что было одновременно и больше, и меньше, чем просто галантный жест.

Тем временем за спиной у нас уже стоял официант, который шепнул что-то на ухо сидевшему справа от меня советнику, а в проеме стеклянной двери показался владелец отеля и с оторопелым, несколько глуповатым видом уставился в нашу сторону, видимо, ожидая реакции.

Молодой человек, прежде чем занять свое место, поспешил к восседавшей во главе стола изящной и хрупкой даме, которая откинула голову с зачесанной сверху серебристой короной волос и с наслаждением подставила для поцелуя свой чистый лоб.

1 О, это милый Юлленборг! (фр.)

2 Как приятно вас видеть сегодня! (фр.)

«Avez-vous bien dormi, Maman?¹» – услышали мы.

Советник же в этот момент вышиб из-под себя стул с такой силой, что он опрокинулся бы, не подхвати его стоявший рядом официант, и, забыв о приличиях, опрометью бросился из зала.

Его коренастая фигура почти уже скрылась в полумраке гостиной за стеклянной дверью, когда он, видимо, передумав, повернулся, на мгновение застыл на месте, посмотрел на владельца отеля и, быстро вернувшись в зал, прошептал что-то на ухо пожилой даме, которая была не кто иная, я наконец-то могу это раскрыть, как графиня Штольберг, мать моего приятеля по детским играм, а также барышни в перчатках.

Я знал это с самого начала, но в поезде мне не хотелось себя выдавать, потому что тогда неизбежно речь зашла бы о моем отце, а учитывая случившееся, говорить о нем с ними было бы просто невыносимо.

Наверное, все, кто присутствовали в этот момент в зале, сразу почувствовали, что являются свидетелями не просто чего-то необычного, а какого-то очень тяжелого происшествия.

Наступила тишина.

Молодой человек все еще стоял рядом с матерью.

Обе дамы медленно поднялись и вместе с советником поспешили из зала.

Все мы сидели молча, не решаясь пошевелиться, иногда раздавался какой-то тихий звон.

И владелец отеля дрожащим от волнения голосом объявил присутствующим, что граф Штольберг скончался.

Я тупо уставился на кровати, и, по-видимому, так же смотрели перед собою все остальные, когда он бесшумно остановился напротив меня у нетронутого прибора, и я заметил, не отрывая глаз от своей тарелки, как он взял со стула свой шарф.

«Bien! Je ne prendrai pas de petit déjeuner aujourd'hui²», – сказал он тихо, а затем совершенно неуместно добавил: «Que diriez-vous d'un cigare?³»

Я взглянул на него несколько изумленно, не уверенный, что он обратился ко мне.

Но он мне улыбнулся, и я поднялся.

1 Хорошо ли вы спали, мама? (фр.)

2 Хорошо! Сегодня я обойдусь без завтрака (фр.)

3 Как насчет сигары? (фр.)

ГОД ПОХОРОН

505

Плакать я разучился; в последний раз я плакал, наверное, полтора года назад, когда мерзлые комья земли посыпались, застучали, забарабанили по крышке гроба, отзываясь в нем глухим эхом; казалось, они барабанили прямо по мозгу, стучали в желудке, и жуткий их стук разрушил до этого даже не осознаваемый внутренний покой тела, совершенно внезапно, без подготовки пробудив во мне понимание всей убогости моего физического бытия.

И если прежде никакие душевные потрясения, слезы, страх или радость не способны были нарушить это темное бессознательное внутреннее спокойствие, то с тех пор все стало действовать как бы наизуворот: все, что люди воспринимают как прекрасное или безобразное, цвета, формы, пропорции, черты лица и обманчивая наружность, утратило для меня всякий смысл, но желудок, одолевая нервные спазмы, все же переваривал пищу, коль скоро ее запихнули в него, сердце, нехотя, экономя силы, все же билось, качая по жилам кровь, кишечник, недовольно урча и беспокойно подрагивая, производил зловоние, пощипывала слизистую моча, и резкая боль живой плоти, охваченной безотчетной, застрявшей где-то в легких тревогой, противилась каждому вдоху, ибо не было, не могло быть столь острого физического ощущения, которое способно было заставить тело выдохнуть из себя тупую и глубочайшую боль души, отчего собственное дыхание слышалось мне таким, словно в любой момент оно может прерваться и каждый вдох может стать последним; меня тошнило от того, что я существую, между тем как каждый мой нерв прислушивался к тому, что происходит и что еще может произойти там, внутри, хотя внешне я оставался спокойным, бесстрастным, почти равнодушным ко всему, что меня окружало, и, естественно, был не в состоянии плакать.

И все же время от времени к горлу подкатывал комок, в гортани собиралась слизь, и всякий раз в такие минуты я простодушно надеялся, что благотворные жгучие слезы вернут меня в светлую безотчетность детства, туда, где для утешения достаточно было нежного объятия крепких рук, но проблема была как раз в том,

что этих теплых объятий ждать было неоткуда, и поэтому вместо рыданий меня сотрясала лишь мучительная холодная дрожь, которой никто не заметил бы, даже если бы наблюдал за мной, так как длилась она обычно недолго и каких-либо внешних признаков не имела.

Собственно говоря, я даже рисовался перед собой, находя удовольствие в своей новой роли, и меня радовало, что ни физическими страданиями, ни своими переживаниями я никого не обременяю.

В этот день, о котором я хочу рассказать, приближаясь к концу своего повествования, я валялся в постели, и если бы к состоянию мертвого ожидания было применимо столь прозаическое слово, то я бы сказал, что лежал в тишине – в тишине, в которой ощущалось полное отсутствие благодати, именно такая тишина стояла в доме, медленно погружавшемся в тяжелые хмурые декабрьские сумерки, которые в тогдашнем моем состоянии были для меня самым желанным временем суток, ибо свет был мне столь же противен, как ощущения собственного тела или темнота, и только сумеречный полумрак приносил некоторое облегчение; все двери были распахнуты, но свет никто еще не включал в этом ставшем чужим жилище, где радиаторы из-за нехватки угля были чуть теплыми, а из отдаленной столовой до меня доносился звучный голос тетушки Клары, которая в гробовой тишине упорно пыталась разговорить окончательно онемевшую бабушку; с тех пор как отец отобрал у нее мою сестренку и отвез ее в детский дом, куда-то под Дебрецен, бабушка молчала, и хотя на таком расстоянии я не разбирал слов, да особенно и не вслушивался, я все же улавливал их странную и безответную чувственную пульсацию, и при этом казалось, что до меня долетают отзвуки голоса матери, то есть что-то все-таки продолжалось, что-то знакомое, что-то пьяняще домашнее.

Было это двадцать восьмого декабря тысяча девятьсот пятьдесят шестого года, эту дату я хорошо помню, потому что на следующий день, двадцать девятого, мы хоронили моего отца.

Когда чуть позднее раздался второй звонок, я услышал шаги, скрип отворяющейся двери, разговор и немного спустя, чтоб никто не заметил, насколько мне безразлично, кто там пришел и что еще будет происходить, я быстро поднялся с постели; в дверях моей комнаты стояла Хеди Сан.

Чтобы быть совсем точным, должен сказать, что передо мною стояло нелепое существо с бессильно повисшими длинными ру-

ками, человеческое подобие в слегка рассеянном белизной стен сумеречном полумраке, одетая женщиной девочка, испуганный ребенок, который мало напоминал былую обворожительную, повзрослому женственную красавицу Хеди.

Она стояла в отороченном мехом материнском пальто, каком-то древнем, вытасенном из нафталина; вся одежда на ней казалась случайной, она была изможденной и, по-видимому, невыспавшейся, волосы, до этого ниспадавшие ей на плечи опьяняющей золотистой копной, в душистые пряди которой я так любил погружать свои пальцы, волнистые и на каждом шагу, при малейшем движении взмывающие и колышущиеся волосы теперь окаймляли лицо вычурной и бесцветной, словно сделанной из чужеродного материала рамкой; кожа ее задубела от холода, Хеди, казалось, дрожала от страха, как человек, против собственной воли очутившийся в отчаянном положении, то есть была такой, какими в те дни были, наверное, все.

Но меня интересовала не потерянная, а возможно, и вовсе не существовавшая ее красота, и не ее пальто – более всего было видеть ее глаза, застывший в них ужас, не улыбающееся лицо, и чтобы она не заметила то же самое на моем лице, я даже улыбнулся ей, а еще было больно от ее беспомощного сочувствия, от того жалкого сочувствия, которому она научилась у взрослых, когда к живому страданию других пытаются прикоснуться так, чтобы при этом не страдать самим.

Я чувствовал, как все мое существо протестует против нее, потому что, как мне казалось, я знал, зачем она пришла.

Тем не менее в ее появлении был и один успокаивающий момент: в полном соответствии с тогдашними обстоятельствами на ней были грубые башмаки и толстые шерстяные носки с отогнутым верхом.

Она поздоровалась, я, наверное, ей ответил, точно уже не помню, в памяти сохранилось лишь чувство натужности, с которой я улыбнулся ей; я хотел улыбнуться весело, бесшабашно, как мы улыбались когда-то, словно ничего не произошло и не может произойти до тех пор, пока мы умеем так улыбаться; мы сделали несколько шагов навстречу друг другу и в нерешительности остановились, для обоих была противна и непривычна роль человека, напоминающего другому о прошлом, слишком много было смертей, и, чтобы быстрее справиться с самым трудным, я рассмеялся, сказав, что с ее стороны это хорошо, что она пришла, ведь в последний раз мы с ней виделись на похоронах моей матери.

Мой смех привел ее в еще больший ужас, она, видимо, поняла мои слова как горький упрек, большие ее глаза вдруг заволокло слезами, кто знает, как долго они собирались! и, чтобы не расплакаться от бессилия и вместе с тем удержать меня от дальнейших обидных слов, она раздраженно откинула назад голову, и длинные ее волосы взметнулись, почти как бывало, нет, она вовсе не потому пришла, она еще не совсем свихнулась, она не хотела причинить мне боль, и сказать ей мне нечего, она просто хотела попроситься с нами, так и сказала: с нами, потому что подвернулся удачный, как она думает, случай, один человек завтра рано утром относительно дешево обещал переправить их в Шопрон, а там видно будет, пожав плечами, сказала она; сперва она отправилась к Ливии и к тете Хювеш, но у Ливии никого не застала, так что просит меня передать ей при случае, а что, собственно, передать? ничего не нужно передавать, просто сказать, что она заходила к ней и ушла! а потом, когда шла через лес, подумала, что надо бы взглянуть еще к Кальману, сказала она и вдруг осеклась, ожидая с мольбой в глазах, чтобы я подтвердил ей то, во что невозможно поверить, и добавила, что спешит, что ей нужно вернуться домой до комендантского часа.

Борясь со слезами, она быстро, взхлеб начала говорить, объясняя какие-то второстепенные обстоятельства своей ситуации и словно бы из предосторожности избегая главного, того, что глубже всего касалось нас обоих, и с этого момента тем не менее совершенно преобразилась, стала прежней, несмотря на свое измененное обличье, не красивой, а сильной, и возможно, что именно это мы принимали раньше за красоту.

Да, сказал я.

Это «да», не сопровождаемое кивком, я произнес сухо, почти безо всякого выражения, глядя ей прямо в глаза, чтобы она не могла от него увернуться, и при том чувствуя, сколько было безжалостности и даже исполненной наслаждения жестокости в том, как я рвал в ней последнюю ниточку глупой надежды, которая не могла принять свершившихся фактов, это было безжалостно и жестоко, несмотря на то что она и сама знала, что свершившееся «да» уже никогда не удастся превратить в «нет», что оно так навсегда и останется унижающим наши чувства «да».

И говорить об этом, в общем-то, не было никакой необходимости; она сообщила мне самое главное: они эмигрируют, и из этого краткого сообщения, которое не произвело на меня особого впечатления, я также понял, что в силу каких-то, скорее всего трагических,

обстоятельств они покидают страну не втроем, а вдвоем, потому что в использованном ею множественном числе мое ухо не уловило обычной ненависти, той по-детски обиженной ненависти, которую она испытывала к любовнику своей матери, отдалившему их друг от друга, впрочем, гадать над его судьбой мне и не хотелось, да и времени было мало, ясно было: он либо погиб, либо лежал где-то раненый, а может быть, эмигрировал раньше, один, или был арестован в последние дни, потому что исчезни он из их жизни по другим, личным, так сказать, причинам, то ненависть к нему сохранилась бы в ее голосе, и то, что они, предоставив любовника заботам безликой истории, покидают страну, для меня становилось такой же частью холодного «да», как для Хеди – все то, что она узнала за последние несколько часов о моей судьбе или о смерти Кальмана.

Иными словами, мое «да» означало: я знаю, что она все знает, и добавить мне к этому нечего, точно так же как ей не было никакой нужды вдаваться в детали событий, все, что нужно, я знал и так.

Широко раскрытыми глазами смотрели мы друг на друга или, точнее, даже не друг на друга, а друг другу в глаза, читая в них то самое нам обоим понятное, безличное, трудноопределимое и по каким-то причинам глубоко стыдливое ощущение, выраженное моим «да», что скорее всего просто подразумевало смерть, много смертей, и, быть может, в глазах друг друга нам виделся позор тех, кто выжил, и факты, не нуждающиеся ни в каких объяснениях и одновременно необъяснимо бесповоротные; несмотря на испуганную поспешность, мы все же тянули время, видимо, ожидая, пока блеск этого стыда исчезнет из наших распахнутых глаз, но куда? говорить что-то, выяснять, рассказывать, только что? в момент прощания у нас не было общего будущего и не было ничего, что можно было бы спасти из общего прошлого, плакать же мы были не в состоянии, потому нам и не удавалось прикоснуться друг к другу по-человечески.

Так что молчали мы вовсе не потому, что нечего было сказать, а потому, что по сути своей одинаковое и постыдное чувство полной беспросветности не позволяло нам рассказать друг другу то невероятное количество вещей, которыми нужно было поделиться; чтобы избавиться от позора общей судьбы и забыть все, нам нужно было порвать узы взаимного понимания.

И это живое безмолвие было нашим общим будущим, для нее – там, куда она собиралась бежать, для меня – здесь; при всей не столь уж значительной разнице все же общим: замкнутые в себе ради самозащиты и тактично скрывающие свою боль лица,

безразличные, но все же нащупывающие и успокаивающие друг друга глаза, которым отныне, как бы ни понимали они друг друга, будет запрещено обрести общность взгляда, это и станет теперь новым общественным договором: хотя мы все еще живы, лучше забыть обо всем! Это и было общим, хоть что-то, но все же общее, осознанно общее.

Я не мог да и не хотел ничего рассказывать не только ей, но никому вообще.

510

Потребность рассказывать во мне умерла, истлев вместе с телами друзей и близких, а она уезжала.

В полумраке комнаты молчаливо стояли стулья, четыре одиноких стула вокруг стола, и мне подумалось, что надо бы из приличия предложить ей сесть, но вместе с этими стульями, на которые, кстати, она никогда не садилась, между нами стояли те послеполюденные встречи, когда она врывается в мою комнату и, ни на минуту не прекращая своей болтовни, кидалась навзничь или ничком на мою кровать.

Я спросил ее, причем так, словно это сейчас было самым главным, а что будет с Кристианом; хотя оба мы понимали, что тем самым я пытаюсь увести нас от вопросов куда более важных.

Тут на ее неподвижных губах появились кривая улыбочка, старческая, чуть насмешливая, мой отвлекающий маневр она, должно быть, сочла слишком грубым, слишком сентиментальным или излишним и с высокомерной, не допускающей фамильярности улыбкой на скривленных губах сказала, что этот вопрос она для себя благополучно закрыла, и вообще, они давно не встречались, пожалала она плечами, тем самым давая понять, что с ним, с Кристианом, она прощаться не будет; так, значит, и это останется вечно живым и саднящим, подумал я, она же добавила, цитируя – разумеется, иронически – в ту пору расхожее благодаря радиоголосам выражение, что напишет ему из свободного мира, и вообще, сказала она, между ними все было чисто по-детски, хотя Кристиан, несомненно, красивый мальчишка, и вдруг, словно выглянув на мгновение из-под безразличного и даже циничного выражения, лицо ее озарила искрометная, озорная, обнажившая белые зубы улыбка: пускай он достанется мне! ей в последнее время больше нравятся некрасивые, поэтому, к сожалению, я тоже не мог бы рассчитывать у нее на успех.

Если б она не произнесла, не прокричала бы этих слов, пускай он достанется мне, если б не выдала, пусть с глазу на глаз, не нарушила своим смехом мою глубочайшую и, как я полагал, никому

не известную тайну, которую мне постоянно хотелось забыть, если бы тем самым не надругалась над тем, что объединяло нас в прошлом, то, наверное, ей трудней было бы нас покинуть; мне кажется, что сегодня я это понимаю.

Но тогда мы беспомощно смотрели друг другу в глаза, лица наши, словно жуткие маски, снова окаменели, и в эту минуту, от этого нового унижения взаимно чувствуемое и одинаково понимаемое «да» превратилось в большое, окончательное и бесповоротное «нет».

Сохраненная общность могла причинять боль, а отвергнутая не болела, ее можно было забыть.

И все же позднее мне часто случалось видеть на незнакомых лицах черты подурневшего лица расстающейся с нами Хеди; случалось это, когда в самых обыденных обстоятельствах я видел вокруг себя напряженно застывшие лица, которые, даже при всей их враждебности, задевали меня за живое, но при этом вместо доверия, внимания и сочувствия, которые я пытался в себе пробудить, я всегда ощущал какое-то внутреннее сопротивление, парализованность еще сохранившихся, невзирая на мой нигилизм, настоящих чувств, некое знакомое издавна оцепенение, потому что ведь и мое лицо с течением времени стало точно таким же, поверх него, казалось, наклеено было другое лицо, недоверчивое, не знающее взаимности, запуганное и при этом от ставшего постоянным страха какое-то агрессивное, скрывающее излишнюю мягкость за излишней жесткостью, говорящее сразу и «да» и «нет», причем с неохотой и раздражением, с нежеланием из-за своего утверждения или отрицания впутаться во что-либо общее; и во всех этих лицах, нерешительных, боящихся за себя, трясущихся от обиды, притворно внимательных, но готовых в любую минуту к агрессии, натянуто неприязненных, ненатурально веселых или плутовато смиренных, в лицах, поспешно избегающих взгляда незнакомца, пытающихся не замечать общего позора разобщенности, мне виделось отражение собственного изменившегося лица; позднее, когда я начал об этом задумываться, у меня сложилось впечатление, что все без исключения, невзирая на принадлежность и убеждения, одинаково скрывали в своих чертах отпечаток минувших и, в силу своей природы, общих событий, все то, о чем они хотели забыть, что хотели бы скрыть за неестественно двусмысленными выражениями лиц.

Вот почему мне кажется совсем не случайным то, что после этого, лишенного даже боли и быстро забытого мною прощания должны были пройти годы, много долгих лет, почти вся моя молодость,

прежде чем во мне внезапно прервалось это общее молчание и я в первый и, если не считать этого письменного признания, возможно, в последний раз начал говорить, рассказывать, причем рассказывать так же невольно, как невольно прежде молчал, и к тому же рассказывать в чужой стране, иностранцу, человеку, который имел обо всем этом очень смутное представление, рассказывать на чужом языке, стоя на площадке берлинского трамвая, взхлеб, выплевывая из себя слова, как кровавую рвоту.

Было это воскресным вечером и тоже осенью, когда теплый воздух уже наполнен едким туманом с ощутимым металлическим привкусом; ярко освещенный трамвай, постукивая, неторопливо везет нас по темному и пустынному, несмотря на относительно ранний час, городу.

По обыкновению, мы остались на безлюдной задней площадке, где можно было не привлекая внимания держаться за руки, мы ехали с ним в театр, и не помню уже, почему мы об этом заговорили, Мельхиор стал рассказывать о берлинском восстании тысяча девятьсот пятьдесят третьего года, о том, как пасмурным утром шестнадцатого июня двое усердных агитаторов, ничего не подозревая, отправились к сороковому блоку строившейся тогда аллее Сталина, позже переименованной в Карл-Маркс-аллее, отправились, чтобы убедить недовольных и, конечно, голодных строителей, всяких там каменщиков, плотников и бетонщиков, в том, что нормы выработки повышаются в народнохозяйственных интересах, но, увы, в это утро те почему-то, может быть из-за гнусной погоды, отказываются понимать столь очевидные вещи, и более того, требуя немедленной отмены постановления о повышении норм, едва не избив, вышвыривают вон не менее разгневанных агитаторов, после чего группа человек в восемьдесят сомкнутыми рядами направляется в сторону Александерплац, скандируя импровизированные речевки и лозунги; вот послушай, сказал Мельхиор: «Свободу! рабами мы быть не хотим! вставайте, берлинцы, все как один!»

Примитивная, но, по мнению Мельхиора, все же красивая рифма, подходящая для того, чтобы выплеснуть накопившийся гнев, стремительно разрастающаяся толпа, картина неудержимого, как стихия, людского потока, открытая площадка залитого желтым светом трамвая, ладонь Мельхиора в моей руке, потерявшая часть любовной чувствительности, что понятно, ибо всякая любовь, погружаясь в историю, теряет в весе столько, сколько весит вытесненная ею часть истории, звонкий дребезг трамвая, резкий вкус курящегося в вечернем воздухе пара, тонкая, неприятно-язви-

тельная усмешка на губах Мельхиора, пытающегося отстраниться от самого себя и своей истории, заговорщицкий пыл в его глазах, смягчаемый искорками юмора, знакомые архаичные выражения, которые, оттого что звучали на неродном языке, казались еще более дряхлыми, навсегда отошедшими в прошлое: агитатор, нормы выработки, народнохозяйственные интересы; все это всколыхнуло что-то во мне, я не знаю, что именно.

Мне казалось, я вновь ощутил возбужденное напряжение в ногах и руках, как тогда, а с лица наконец-то сползла невольная маска бесчувственности.

513

Меня что-то толкнуло в грудь, сдвинуло с места, открыло нечаямую возможность расслабиться, и не успела еще разбухающая толпа, о которой рассказывал Мельхиор, докатиться до Александерплац, как мой освещенный трамвай уже беспомощно увяз в сплошной людской массе на будапештской площади Маркса, в том месте, где рельсы, резко взвизгивающие под колесами, плавной дугой сворачивали на бульвар Святого Иштвана.

Строители, побросавшие свои мастерки, домохозяйки с кошелками, студенты, мальчишки, служащие, зеваки, праздношатающиеся бездельники, просто прохожие и наверняка даже собаки – процессия увлекала за собой всех, сдавленным от волнения голосом продолжал Мельхиор, и так как разбухшая до огромных размеров толпа потеряла на площади ориентацию, между тем как над нею все чаще звучали призывы: «На Лейпцигерштрассе! На Лейпцигерштрассе!», то постепенно это желание стало всеобщим, и, словно вдруг поменялся ветер, толпа потекла к Дому правительства, но тут дорогу ей преградили двое партийных функционеров, которые, встав как вкопанные посреди пустой улицы, казалось, своими телами хотели остановить этот гневный, но все же спокойный от сознания своей многочисленности, в то время уже двенадцатитысячный! людской поток; «кровопролития надо избежать!», вопил один из них, «не вздумайте идти в западный сектор!», орал другой, «кровопролития надо избежать!», и шествие, как бы переводя дыхание, в нерешительности притормозило, замерло перед ними, «уж не хотите ли вы в нас стрелять?», прозвучало из первых рядов, «если пойдете туда, то прикажем стрелять!», и рассказывают, сказал он, что изо всех прозвучавших впереди слов по изумленной толпе прокатились лишь эти два обнаженных слова: «кровопролитие» и «стрелять», после чего, сотрясаемая бессильной яростью, она потекла дальше, потому что ее словами были «нормы» и «хлеб», и партийных работников ей пришлось снести со своего пути.

Мы же, там, в Будапеште пятьдесят шестого, свешиваясь с площадки еле влачившегося трамвая, жадно вглядывались поверх голов в открывающееся с высоты совершенно незнакомое и столь же непостижимое зрелище; от сумеречной, мерцающей в слабом свете фонарей площади веяло теплом, излучаемым не только необыкновенно мягким для этой поры воздухом, но, казалось, и человеческой массой, которая колыхалась, катилась, подминая под себя листовки и брошенные газеты, ибо со всех сторон, парами и сомкнутыми колоннами, в одиночку и сбившись в группы, двигались люди, крича лозунги и вздымая знамена, причем двигались в разных направлениях, что создавало видимость хаоса и разнонаправленности желаний, но в то же время все эти столь различные по своей густоте и направленности потоки, завихрения, разрежения и сгущения как будто бы не мешали друг другу, и даже казалось, что не было ни малейшей опасности, что они столкнутся или помешают друг другу, они двигались к своей цели уверенно и без излишней поспешности, весь город выплеснулся из домов, с заводов, из ресторанов, из школ и учреждений, кое-где на обочинах тротуаров можно было увидеть редких милиционеров, равнодушных или, скорее, растерянных от ненужности, они явно не знали, что делать с этим хлещущим изо всех пробоин людским потоком, да, верно, и не собирались ничего делать, отчего возникало странное впечатление, что эти взимонесовпадающие цели и устремления так друг к другу уступчивы, что в них или, может, над ними господствует некий более могучий принцип, некая незримая сила, точно так же как из безумного гомона, пения, веселых воплей, истерически или бесшабашно скандируемых лозунгов, из топота, стука и шарканья тысяч ног, шагающих то ритмично, то вразнобой, складывался один общий, взбудораженный и все-таки благодушный гул, столь же мягкий, как пряное испарение теплой вечерней мглы; однако в этой безликой массе, издающей размеренный и время от времени резко, волнами взрывающийся гул, глаз различал и отдельных участников, державшихся, так сказать, в сторонке, но на самом деле по долгу службы внимательно наблюдавших за происходящим, или тех, кто, возможно, еще не решил, принимать ли в этом участие, а также тех, кто испуганно, молча спешил удалиться, преследуя какую-то личную свою цель, эти в основном были обременены свертками и баулами либо изумленно жестикулирующими детьми, которых, конечно же, следовало тащить от греха подальше.

Слегка дернувшись, трамвай наш остановился, вагоновожатый, давая понять, что дальше он точно уже не поедет, погасил огни,

и мы с двумя одноклассниками, с которыми ни до, ни после того меня, в общем-то, ничего не связывало, прыгнули на землю; один из них, Иштван Сентеш, высокий и крепкий мальчишка с очень красивым лицом, был известен тем, что постоянно, без всяких к тому причин кипел злостью и необдуманно пускал в ход кулаки, а другой, по фамилии Штарк, постоянно моргал глазами, печальными, черными, любознательными и слегка затуманенными, потому что всегда и во всем, понуждаемый какой-то неутолимой коллекционерской жадой, хотел принимать участие, но при этом все время боялся возможных последствий.

Пацаны, я домой, пацаны, я домой, восторженно повторял он, но не отставал от нас.

И в этом была вся прелесть, вся необычность и грандиозность переживаемой ситуации: как только мы прыгнули с площадки трамвая, нас подхватила неодолимая сила людского потока, мы оказались в толпе молодых рабочих, распевających пролетарский марш: «Эй, на проспекте Ваци, бодрее! Чепель диктует шаг», причем этот «проспект Ваци», выкрикиваемый во всю глотку, звучал в их немелодичном исполнении так, словно они хотели всем окружающим, и даже не окружающим, а всему миру, сквозь сумрачные осенние небеса сообщить, что они идут прямо оттуда! с рабочей окраины, что, кстати, было заметно по мокрым, только что из-под душа, их волосам, и теперь, когда мы были уже в гуще событий, наблюдая за ними не сверху и не со стороны, мы больше не задавались вопросом не только о том, куда все идут, но и о том – зачем; при этом мы вовсе не чувствовали, что не могли бы выбраться из толпы, принуждения, в знакомой нам форме, не было, и если задуматься, почему в качестве единственно возможного направления мы выбрали то, что было вовсе не обязательным, то мы сделали это потому, что в те часы овладевшее толпой неслыханное чувство освобождения еще оставляло открытыми все возможности – можешь выбрать любую, в том числе и необязательную, единственное условие выбора состояло в том, что нужно было идти, и поэтому я, побуждаемый этой стихийной и общей потребностью, подчиняясь естественному и простому желанию тела – двигаться, слился со всем другими и шел рядом с ними, точно так же как все другие шагали рядом со мной.

И поэтому двое моих одноклассников, вместе с которыми по воле его величества случая я оказался заброшенным в этот единый гигантский поток, вдруг стали мне так близки, настолько определяли и наполняли собою все мои чувства, что, несмотря на всю

известную мне неприязнь, сделавшуюся теперь совершенно смешной и ненужной, оставшейся в прошлом, казались моими друзьями, любимыми, братьями, словно благодаря им и только им все незнакомые, но при этом отнюдь не чужие лица сделались для меня знакомыми.

Именно это странное, вдохновляющее и необычайное чувство выразил своими словами Штарк, именно от него он хотел бежать, однако Сентеш, чтобы показать, что он все понимает, а также обуздать порыв Штарка, хрястнул его по спине, и хрястнул довольно сильно, отчего мы все трое дружно покатались со смеху.

В тот ранний вечерний час толпа еще не успела меня поглотить, подмять под себя, растворить меня, мою личность, как это нередко бывало позднее, но разноразнонаправленной своею податливостью позволила мне в самом элементарном условии всякой телесной жизни – в движении – ощутить родство с остальными, почувствовать, что мы части друг друга, что в конце концов или, может, в начале начал я един со всеми, и от этого масса не была безликой, как о ней принято говорить, а в той же мере дарила мне мое собственное лицо, в какой мере я отдавал ей свое.

Я был не настолько глуп и наивен, чтобы не понимать, куда я попал, и не догадываться, что происходит вокруг меня, и потому в следующие мгновения, когда снова в силу какой-то случайности толпа всколыхнулась и зароптала, я ощутил ее по-семейному близкой и теплой, мы продолжали идти, я все еще хохотал, когда со стороны проспекта Байчи-Жилинского под дикий грохот, лязг гусениц и глухой рев мотора в нашу сторону стала двигаться башня танка с открытым люком; поначалу казалось, будто ее орудие, наставленное на нас, плывет по волнам голов, но потом толпа вдруг раздалась, кто-то замедлил, а кто-то ускорил шаг, и воцарилось молчание, нерешительное молчание настороженного ожидания, но приближение танка, словно волна, готовая захлестнуть нас, встретил торжествующий вопль, ибо на броне машины, окутанной облаком сизо-бурого дыма, сидели, стояли, махали в знак миролюбия безоружные солдаты, а в накатившем на нас и уже переохлестывающем через наши головы вопле доносились перебивающие друг друга слова и фразы; «братья», слышалось нам, «ребята», «армия с нами!», «венгры»; Сентеш тоже подхватывал их и орал с такой силой, будто в кои-то веки с корнем вырвал наконец из себя свою вечную озлобленность, осознал, насколько она тяготила его, раскрепостился и просветлел, «не стреляйте!», орал он, ухмыляющиеся лица солдат были в нескольких шагах от нас, я не орал, имея

веские основания не делать этого, но все-таки ухмылялся, и точно так же вокруг ухмылялись молодые рабочие с влажными волосами, «венгры – с нами! венгры – с нами!», хором кричали они, на что в ответ, где-то вдаль, над массой неразличимых голов разнеслось: «Петефи и Кошута народ рука об руку идет!»

Площадь Маркса в то время еще была вымощена темными поблескивающими булыжниками, и когда танк, целясь в просвет между сгрудившимися на площади трамваями, сделал четверть оборота и тяжело, но изящно изменил направление, брусчатка под траками жутко заскрежетала и из-под гусениц посыпались искры, после чего воцарилась тишина, только теперь это была тишина предвкушения какой-то веселой потехи, подобная возбужденному ожиданию трибун, когда центрфорвард, всеобщий любимец публики, из, казалось бы, безнадежного положения отправляет мяч в сторону ворот, толпа затаила дыхание, поскольку неясно было, удастся ли танку протиснуться между трамваями, глаза невольно прикидывали расстояние, а сердца, одновременно боясь и желая столкновения железных машин, замирали, как будто предчувствуя наперед все, чему еще суждено было неизбежно произойти этим вечером, но потом, видя, что сложный маневр удался, толпа взорвалась ликующим и еще более раскрепощенным воплем, и я орал вместе с нею, уже не имея причин не орать, танк же с грохотом укатил в сторону проспекта Ваци.

517

Мы двинулись дальше, но через несколько метров шествие снова забуксовало в каком-то новом водовороте и почти застопорилось, продвигаясь вперед медленным черепашьям шагом; перед витриной фотоателье «Альбом улыбок» людская толпа, спрессовавшись в огромную неподвижную пробку, выпирала на изогнутый широкой дугой тротуар, а с другой стороны проезжую часть преграждали застрявшие посередине улицы трамваи, но несмотря на это люди не проявляли ни малейших признаков нетерпения.

У освещенной витрины на каком-то ящичке стояла хрупкая женщина в дождевике, точнее, я видел только ее силуэт, и стояла она достаточно высоко, потому что обращенные к ней склоненные набок головы слушателей скрывали только ее ноги, неподвижное тело ее было гневно напряжено, она то и дело вскидывала голову, резко трясла ею, описывала круги и бодала воздух, и казалось, будто все ее движения вырывались откуда-то из груди или из живота, длинные волосы кружились, взлетали и опадали, и сама она не взлетала лишь потому, что некая цепкая сила приковывала ее ступни к ящичку; Сентеш ткнул меня в бедро ребром своей

чертежной доски, дескать, смотри, смотри! он был выше меня и заметил женщину первым, а тем временем Штарк зачитывал нам пункты выуженной из-под ног листовки: «пятое: долой противников реформ, шестое: долой сталинскую экономическую политику, седьмое: да здравствует братская Польша, восьмое: рабочие советы на предприятия, девятое: восстановление сельского хозяйства, добровольность кооперирования; десятое: конструктивная национальная политика»; голоса женщины мы почти не слышали, тем не менее Штарк, прервав чтение, с таким видом, будто это было само собой разумеющимся делом, подхватил декламируемые ею строки: «...можешь узнать этот шквал / – Народа веселье. / Ну, так беснуйся вовсю. / Нам обнажи мгновенно / Все глубочайшее дно...», и, собственно говоря, меня совершенно не удивило, а наполнило жарким чувством удовлетворения, что это всем нам известное стихотворение Петефи я слышал теперь из уст моей родственницы – на ящике стояла бывшая жена моего кузена Альберта, к которой полтора года назад я так доверчиво и так неразумно хотел бежать от родителей в город Дьёр.

И с этого момента, как бы глупо это ни прозвучало, я должен в этом признаться, с этого успокоившего меня момента, успокоившего потому, что я понял, что я, со своей семейной историей, вовсе не одинок здесь, что в принципе каждый, кого я здесь вижу, пришел со своей уникальной историей, и при этом все эти истории ничуть не противоречат друг другу, ибо в противном случае все испытываемые нами чувства, совершенно понятные и для всех общие, должны были быть поставлены под сомнение, и мне даже не пришлось в голову пробиться к ней или сказать другим, что я знаю ее, все это оставалось моей греющей душу тайной, аргументом в пользу того, что я нахожусь в нужном месте, и маленькая Верочка, как звала ее моя мать, иронизировавшая над ее актерскими амбициями, декламировала стихи со своей трибуны, я же шествовал с демонстрантами, и она имела на это такое же право, как и я, хотя я и не кричал вместе с теми, кто имел полное право кричать, с такими, к примеру, как Сентеш, который пару недель назад, прекрасно зная, кто мой отец, зеленый от злости, со сжатыми кулаками, орал мне в какой-то перепалке: «мы жили в курятнике, слышишь? в курятнике, как животные!», или как Штарк, который жил неподалеку отсюда, на улице Вишегради, но все-таки не пошел домой, и который, опять же несколько недель назад, обещал подарить мне редчайший по тем временам рейсфедер, но квартира их была заперта, и мы отправились в синагогу, что по соседству, к его

матери, работавшей там уборщицей, и та пошла с нами, открыла нам дверь их квартиры на первом этаже, где на кухонном столе было два прибора и кастрюлька с едой на плите, и, как я ни сопротивлялся, мне все же пришлось съесть обед его матери, которая с деликатным смирением дала мне понять, что знает, кто мой отец; тем не менее все шли вместе, каждый нес свое бремя, и я имел право чувствовать то, что чувствовали другие, хотя бы уже потому, что они это право мое не оспаривали, имел право невзирая на то, что мое специфическое семейное положение этим чувствам как бы противоречило, и я понимал, с той самой минуты, когда узнал в декламирующей молодой женщине маленькую Верочку, я знал и именно потому, что не был бесчувственным и неосведомленным идиотом, не мог не знать, что это – в полном смысле слова революция, и я в ней участвую, революция, которую мой отец, будь он здесь, наблюдай он все это, хотя ясно было, что его здесь и быть не может, и неизвестно, где он сейчас с позором скрывается, называл бы совершенно другим, прямо противоположным словом.

И от того, что два этих связанных между собою слова отразились в моем сознании так ясно и точно, я смог разобратся в хаосе эмоций, в жуткой, душащей и непроходимой путанице сходств и различий, всего два слова, смысл которых, их вес и политическое значение я не по возрасту рано узнал как раз из их разговоров и споров, но хочу подчеркнуть, что в этот момент – и для меня это было революцией – я вспомнил эти слова, заимствовал из их лексикона не как пару противоположных в своей политической очерченности понятий, но как нечто глубоко личное, как если бы одно из них было его плотью, а другое – моей, как если бы каждый из нас стоял со своим словом по разные стороны одного, физически общего чувства, это революция, повторял я, словно бы адресуя слова ему, произнося их с чувством какой-то очень темной мести, с чувством удовлетворения за все, чего я не мог и назвать, на что он мог ответить только своим словом, совершенно противоположным, и оттого я не только не чувствовал никакой отстраненности между нами, но, напротив, тело его, совершенно разбитое после смерти матери, раздерганное и согбенное, достойное только жалости, вызывающее страх одним своим видом, страх разрушительной безысходности, в котором, даже после того, как в июне того же пятьдесят шестого из-за неприглядной роли, сыгранной им в ходе репрессий, он оказался в отставке, все же нашлось достаточно отчаянно дерзкой энергии, чтобы затеять какую-то конспирацию с подозрительными, дотоле мне неизвестными личностями, которых он называл

друзьями, – словом, тело это опять оказалось в той явно не желаемой им близости, которую в последний раз я ощутил ребенком, когда, обманув его грезы, прильнул, совершенно голый, к его красивому обнаженному торсу и, движимый неодолимым любопытством и страстным желанием ощутить наше сходство, просунул руку между его бедрами; но теперь я был более хладнокровным, уже хорошо понимая, что близость, наша физическая с ним идентичность вовсе не отменяют наших различий, и потому я шел, шел вместе с ними, с людьми, мне почти незнакомыми и все-таки вызывающими во мне братские чувства, такие же, как до этого вызывал Кристиан, чей отец не вернулся с фронта, как Хеди, чей отец сгинул в концлагере, как Ливия, которая вынуждена была питаться остатками из школьной столовой, как Прем, чей отец был нилашистом и алкоголиком, как Кальман, считавшийся из-за своего отца классово чуждым, или как Майя, вместе с которой мы искали доказательства измены в бумагах родителей и, введенные в заблуждение детской невинностью и доверчивостью, окунулись в самую скверну эпохи, в нечто, чего я не мог забыть, от чего хотелось освободиться, и поэтому я шагал вместе с ними и испытывал страх вместо них или, может быть, беспокойство, волнение, испытывал, имея к тому основания, ибо по лицам друзей моего отца, собиравшихся в нашем доме, я знал, что грозит этим людям; а с другой стороны, я боялся и за раздавленное, застывшее в напряжении лихорадочно возбужденное тело моего отца, которое могла смести со своего пути эта стихия, чувствам которой, ставшими и моими, я больше не мог, да и не желал сопротивляться.

На нас напирала сзади, и мы, сплошной массой, выплеснулись на бульвар.

Самоопределение в понятийных категориях, будь то нравственные, регулирующие эмоции и страсти в буржуазно-пуританском духе понятия бабушки с дедушкой или более неопределенные, политические и идейные взгляды моих родителей, мне было не чуждо, уж таково было воспитание, так что вполне естественно, что понятийное самоопределение, с помощью которого я пытался, будучи в этой толпе, размежеваться, более того, раз и навсегда порвать с отцом, тут же сделало меня незрелым ребенком, и страх за отца, солидарность, сочувствие, понимание оказались сильнее, ибо в конечном счете свое положение в этой толпе, весьма зыбкое или, во всяком случае, требующее оправданий, я вынужден был объяснять его понятиями, или, может быть, то была жуткая общность, что сплотила нас после смерти матери, и когда мы потом,

вырвавшись из затора, бросились вдогонку толпе, ибо во всякой толпе это самое главное – не отставать! то тяжелый, шлепающий меня по ноге портфель с чертежной доской и рейсшиной, то и дело пытавшейся выскользнуть из портфеля, остужали мой революционный пыл, словно напоминая о моей беспомощности и растерянности, с каждым ударом, шлепком, попыткой поправить рейсшину давая понять, что мне нечего, нечего делать здесь; мне казалось, я должен как можно скорее добраться до дому хотя бы уже для того, чтобы наконец-то освободиться от этих сковывающих меня предметов; не беда, твердил я себе, мне с ними по пути, успокаивал я себя, продолжая бежать с остальными, которых подобные мысли явно не занимали, уж как-нибудь я переберусь через мост Маргит, а там сяду на трамвай, хотя я был уверен, что отца дома не застану.

А еще меня успокаивала мысль, что дом наш был высоко над городом, далеко отсюда, от этого места, где так опасно накалились страсти.

И я не ошибся: действительно, отец появился только через неделю, и до этого мы не имели о нем никаких известий, он даже не звонил, рассказывал я.

Было это в конце дня, уже смеркалось, продолжал я рассказ, мы с Кристианом стояли у нашей садовой калитки, то ли двадцать восьмого, то ли двадцать девятого октября, и обсуждали состав нового правительства, нет! точно двадцать восьмого, потому что под мышкой у меня была буханка хлеба, и именно в этот день, в воскресенье, вновь стала работать пекарня родителей Кальмана, и Кристиан, странно посмеиваясь, рассказывал мне о том, как ему удалось пробиться домой из Калочи, причем нервным хихиканьем он пытался уравновесить наше общее нежелание говорить о Кальмане; в прошлом году Кристиану после долгой борьбы удалось поступить в военную школу, это было его мечтой, стать, подобно его отцу, офицером, и они как раз находились на учениях в Калоче, когда вспыхнула революция, и курсантов прямо в поле, в униформе, как были, распустили на все четыре стороны, над чем он и посмеивался, мол, сказали, валите куда глаза глядят, только от формы, конечно, избавьтесь, чтобы вас гебэшниками не сочли, и вдруг, замолчав, Кристиан изумленно воскликнул, смотри, твой отец! и действительно, в дальней части сада, среди кустов, там, где участок примыкал к запретной территории, через забор перемахнул отец.

Смущенный и от смущения покрасневший Кристиан попрощался, ну, надо линять, сказал он с последней усмешкой, давая понять, что не хочет быть свидетелем этого тайного возвращения,

и растворился в вечерних сумерках, так мы встретились с Кристианом в последний раз, отец же как ни в чем не бывало поднимался по склону к дому, но не напрямик, по лужайке, а вдоль окаймлявших наш сад кустов, под деревьями; по отрывистому кивку я понял, что он заметил меня, выглядел он совсем не так, каким я его представлял в те тревожные, полные страхов и ожидания дни, но я знал, что, как кто-то однажды сказал, все всегда происходит иначе, одежда на нем была с чужого плеча, под светлым плащом виднелся летний, светлый же, полотняный костюм, все было мятое, изодранное и почему то в грязи, хотя дождя в течение последней недели не было, покрытое густой щетиной лицо казалось спокойным, но от всего его тела, упругого, легкого и податливого, исходило какое-то незнакомое мне внутреннее, не похожее ни на затравленность, ни на страх волнение; я также заметил, что за эти дни он еще больше исхудал, а особенно необычной мне показалось в нем нечто вроде нервной напряженности зверя.

Светлый летний костюм был первым, к чему я прикоснулся, прежде чем он поцеловал меня, движение это было непроизвольным, и я не знаю, как человеческий глаз способен выделить среди множества возможных полотняных костюмов один-единственный, но я был совершенно уверен, что он вернулся в летнем костюме Яноша Хамара, в том самом костюме, в котором Янош Хамар прошлой весной прибыл к нам прямо из тюрьмы, в том самом, который был на Яноше, когда у входа в Управление по выплатам репараций двое неизвестных предложили ему сесть с ними в черный лимузин с зашторенными окнами, в том самом костюме, в котором пять лет спустя он плакал, стоя на коленях у постели матери, а это означало, что они с отцом были вместе, опять, и он, видимо, одолжил отцу этот свой полотняный летний костюм, то есть помогал ему, или прятал его, или, может быть, даже воевал вместе с ним в той вооруженной группе, которую отец вместе со своими друзьями организовал еще за несколько месяцев до событий, и когда я резко отпрянул от этого костюма, то умудрился сказать слова, за которые он отвесил мне две пудовые оплеухи, ударив меня наотмашь, без промаха, хладнокровно, так, что я едва устоял на ногах, но об этом чуть позже, сказал я Мельхиору, сейчас он это вряд ли поймет.

Я говорил, обращаясь к глазам Мельхиора.

Одной рукою держась за кольцо, другую он положил на мою, тоже вцепившуюся в поручень руку, скрывая при этом полою распахнутого плаща наши лица, руки и жесты запретной страсти

от глаз остальных пассажиров; мы сдвинули наши головы так, что чувствовали дыхание друг друга, но слова свои я обращал не к его лицу и тем более не к его рассудку, а к его глазам.

И даже не к паре глаз, насколько я помню, а словно бы к одному-единственному, расширившемуся от дыхания моих слов до гигантских размеров, отзывчиво распахнутому изумительному оку, которое время от времени все же вынуждено было моргать, на мгновение затеняя ресницами свет понимания, отдыхать, что-то откладывать, выжидать за чутко подрагивающей, прекрасно очерченной выпуклостью века, что-то нащупывать, сомневаться, не доверять, а иногда, вновь открывшись, оно прямо-таки побуждало меня оставить все эти незначительные подробности, оно хочет видеть картину на расстоянии, ему ведь и без того приходится отвечать слишком многим условиям – не только представлять себе незнакомых людей, ориентироваться в незнакомых местах, согласовывать не совсем ясные даты, следить за знакомыми лишь по скупым историческим описаниям или по слухам событиями, излагаемыми с точки зрения очень личной и по этой причине весьма необычной, в любом случае следить за рассказом сумбурным, увязающим во фрагментах, но в довершение всего ему еще следовало разбираться в моих, построенных безо всякого пиетета к правилам нескладных фразах и догадываться по возбужденным, часто неправильно интонированным и неточно употребляемым мною словам о том, что, собственно, я хочу сказать.

Это было еще летом, рассказывал я, недели, наверное, через три после того, как отец мой был отстранен от должности; однажды воскресным утром, объяснял я дальше, в наш дом съехалось около тридцати гостей, чьи машины заполонили всю улицу, сплошь мужчины, за исключением одной девушки, сопровождавшей своего отца, преклонных лет человека с болезненным грустным лицом, который, покачиваясь на стуле, весь день просидел молча и только однажды протестующе шевельнул рукой, когда его дочь хотела было что-то сказать.

Я тоже, воспользовавшись небольшим семейным конфузом, проник в кабинет отца, где собравшиеся, сбившись в кучки, курили, оживленно, а то и яростно спорили или просто болтали, видно было, что все это старые и довольно близкие, регулярно встречающиеся друг с другом знакомые; дело в том, что какое-то время спустя отец вышел из кабинета, чтобы попросить бабушку сварить гостям кофе, но, на свою беду, застал в кухне и деда, который, прежде чем бабушка успела ответить отцу своим обиженно-неохотным

согласием, впервые за долгие годы нарушил их взаимное молчание и сухо, но покраснев от внезапного раздражения и хватая ртом воздух, сказал, что, к сожалению, бабушке сейчас некогда, потому что она в это время отправляется, по своему обыкновению, на воскресную службу, и если отцу все же хочется предложить своим неожиданным гостям кофе, то пусть потрудится обслужить их сам.

Собственно, мой отец выглянул из кабинета, как выглядывает с просьбой к секретарше начальник, так что ответ застал его врасплох, тем более что было совершенно очевидно, что дед не просто отказывает ему от имени бабушки в этой безобидной просьбе, а дает понять, что находит для них совершенно неподобающим вступать в какие бы то ни было отношения с этой компанией; спасибо, вы очень внимательны, нелепо пробормотал отец и, бледный от злости, не заметил при этом, что я последовал вслед за ним, или, может быть, именно из-за этого семейного инцидента он просто не возражал против моего присутствия.

Как бы то ни было, я занял место у двери, что вела в мою комнату, где, прислонившись спиной к косяку, с отчужденным и несколько нервным видом стояла и девушка в красивом шелковом платье с темным узором.

По его несколько заторможенной, но все же решительной походке, по перекошенной набок спине, по упавшим на лоб волосам или, может быть, по целеустремленности, с которой отец прокладывал себе путь в окутанной дымом комнате, видно было, что он готовится к чему-то необычайному, к чему-то давно им задуманному; отпихнув в сторону кресло, он вытащил из кармана ключ от письменного стола, отомкнул ящик, но потом, словно вдруг растерявшись или передумав, не стал выдвигать его, а медленно опустился в кресло и повернулся к гостям.

От этого поворота, от его взгляда по комнате пробежала какая-то дрожь, некоторые из гостей умолкли или невольно понизили голос, другие, оглянувшись через плечо на отца, громко закончили фразу и продолжали беседовать; он сидел неподвижно, вперив взгляд в пустоту.

Но потом, медленно потянувшись к ящику, он неожиданным молниеносным движением выдернул его, что-то схватил и кулаком, из которого торчала рукоять пистолета, задвинул ящик на место, после чего с размаху грохнул пистолет на пустую крышку стола.

За ударом последовала тишина; оскорбленная, сочувственная, недоумевающая, возмущенная тишина.

Снаружи, за распахнутыми настежь окнами неподвижно стояли деревья и слышно было только размеренное, прерывавшееся через равные промежутки времени шипение брызгалки, орошавшей газон.

Кто-то нервно рассмеялся, затем прозвучало еще несколько не слишком уверенных смешков, а один очень молодой офицер, возможно полковник, круглолицый, улыбчивый, с белобрысым ежиком, в наступившей опять тишине поднялся, не спеша снял с себя тяжелый от золота китель, с мягкой улыбкой аккуратно повесил его на спинку стула, после чего все вдруг стали кричать, он же, словно бы ничего не слыша, спокойно сел и в разразившемся гвалте так же тщательно и неторопливо стал заворачивать рукава своей белой рубашки.

Они же кричали отцу, не будь посмешищем, к чему этот цирк, Просо, называя его подпольной кличкой и, стало быть, все же давая знать, что они хорошо его понимают и по-дружески ценят его поступок, но все-таки это цирк, истерика, он не должен терять рассудок.

Вовсе нет, не повышая голоса и ни на кого не глядя, отвечал им отец, по счастью, события последних месяцев способствовали скорее тому, чтобы он вновь обрел рассудок, после чего воцарилась тишина, напряженная, полая и немая, и больше того, он пригласил их сюда в искренней надежде найти в этой стране хоть несколько человек, которые, как и он, не желают его терять.

Тишина вернула ему достоинство, и он, удобно и неподвижно расположившись в кресле, положив руки на подлокотники, с привычной профессиональной уверенностью в силе плавно текущих фраз совсем тихо заговорил: нет, он вовсе не ищет славы и не собирается здесь никого агитировать, он руководствуется, сказал отец, простым человеческим и, надо признаться, дурацки сентиментальным желанием напомнить присутствующим о том обязательстве, которое все они приняли на себя не здесь, не сейчас, но приняли на всю жизнь, тут он улыбнулся и продолжил: наблюдая за развитием внутренней ситуации, он не может не видеть, что уклоняться от исполнения этих обязательств они больше не имеют права; при этом он не глядел никому в глаза, а скользил между лицами улыбчивым и неосознано острым взглядом, тем взглядом, которого я всегда так боялся, считая его то безумным, то намеренно беспощадным или маниакальным; и поэтому, закончил он уже без пауз, каким-то механическим голосом, он выступает с простым предложением: во избежание возможного контрреволюционного переворота

организовать вооруженное формирование, подчиненное непосредственно высшему руководству партии и независимое ни от армии, ни от органов внутренних дел, ни от сил государственной безопасности.

Последние его слова, застыв между одобрением само собой разумеющейся идеи и жарким протестом против нее, зависли в воздухе, после чего разразилось нечто невообразимое, когда, случайно или умышленно, гости стали опрокидываться стулья, хлопали по столам и коленям, хрипели, гомерически хохотали, не поймешь, одобрительно или враждебно свистели, топали и визжали, хотя некоторые при этом все же хранили молчание; девушка, оттолкнувшись от косяка, хотела что-то сказать, ее негодующее лицо пошло пятнами, полковник тем временем, мягко улыбаясь, крутил своей округлой физиономией, а грустный старик, на мгновение прекратив покачивание, жестом велел своей дочери молчать, после чего продолжил раскачиваться на стуле.

И признаться, сказал я шестнадцать лет спустя Мельхиору, стоя на площадке берлинского трамвая, меня эта сцена не покорила, напротив, я наслаждался ею, я радовался, и даже не потому, что вопреки доводам разума, которым я, разумеется, в то время не обладал, мне льстили авторитетность отца, его сила, отчаянная решимость, то есть качества, будь они какой угодно направленности, в глазах подростка всегда привлекательные, достойные подражания, ведь даже Прем, которого его изверг-отец лупцевал палкой и ремнем, даже он гордился, насколько силен этот пьяный зверь, ну а в моем случае дело обстояло наоборот, я знал о своем отце нечто такое, чего не могли знать присутствующие, которые оценивали происходящее с политической точки зрения, между тем как я оценивал его чисто эмоционально, я знал, что вся эта сцена, хотя он и заявил, что вовсе не ищет славы, все же была для него единственным способом справиться со своим безумием, выплеснуть его изнутри вовне; так почему мне было не радоваться, видя, как безумие, овладевшее им после смерти матери, а если точнее, то после возвращения Яноша Хамара, сменяется просветлением; он боролся с этим безумием постоянно, например, всего несколько дней назад, когда мы сидели на кухне и ужинали, он вдруг посмотрел на меня, но по глазам его было заметно, что видит он не меня, а кого-то другого или что-то другое, нечто, что его постоянно терзало, и терзало так яростно, что рот его, полный еды, медленно приоткрылся, ему, казалось, нужно было одолеть этого «некто» или это «нечто», и он, разбрызгивая недожеванную пищу по столу, за-

орал мне в лицо не своим голосом, из остановившихся глаз его текли слезы, «но почему, почему, почему», сидя у выложенной белым кафелем кухонной стены, кричал он не в силах остановиться, «почему, почему», я пытался унять этот крик, и он наконец замолчал, но успокоили его не объятия моих рук – а что еще в такой ситуации может сделать человек, ведь у человека есть только руки да ноги, – успокоился он и умолк, может быть оттого, что этот «некто» или это «нечто» все же одержали над ним победу, ибо руками, всем телом я ощущал, что он ничего не чувствует, что он весь окаменел, он был не здесь, голова его упала в тарелку, в овощное пюре, и пюре это оказалось в ней как будто нарочно, для вящего унижения.

Мельхиор отпустил поручень и кивнул – выходим.

Мы стояли на площади, на конечной остановке трамвая, который медленно тронулся и, скрежеща на повороте колесами, пронес свои тусклые огоньки у нас за спиной; идти нужно было в сторону Фестунгсграбена, где среди невзрачных домиков высился ярко освещенный театр – одно из немногих зданий, переживших войну невредимым, погиб лишь прелестный каштановый парк, что находился поблизости.

В ту же сторону двигались и другие, стучали начищенные до блеска мужские туфли, подметали асфальт, то и дело цепляясь за золоченые каблучки, подола дешевых вечерних платьев, мы же еще какое-то время стояли на месте, словно бы ожидая, пока люди пройдут и вся темная площадь на несколько мгновений станет нашей.

Это чувство, что нам нужно побыть одним, было явно взаимным.

Кстати, странно, продолжал я после того, как мы все же двинулись по темной улице к зданию театра, что отец всегда по ошибке называл будапештскую площадь Маркса Берлинской, так звали ее до войны; во столько-то жди меня на Берлинской площади, говорил он, но тут же спохватывался: на площади Маркса, под часами, а вспомнилось мне это потому, объяснял я, что хотя тогда, в то воскресенье, они ни к чему так и не пришли, бессмысленно проорав несколько часов, и, пока не заговорила, несмотря на решительно протестующие знаки своего отца, эта девушка в шелковом платье, они, казалось, не в состоянии были решить, как относиться к предложению отца: с одной стороны, обвиняли его в сектантстве и фракционности, кто-то кричал о заговоре, другие клеймили его как провокатора, требовали раскрыть, кто за ним стоит, «по-товарищески» честно предупреждали, что вынуждены

будут немедленно заявить на него, а с другой стороны, и сами они признавали, что положение действительно хуже некуда, органы безопасности загнаны в угол, милиция ненадежна, офицерский состав в армии разлагается, погрязнув в политике, надо что-то, пока не поздно, предпринимать, пока из тюрем не начали выпускать даже уголовников, и если вчера кругом были враги, то сегодня – сплошное братание, самых преданных же партийцев при этом шельмуют, ищут и, конечно, находят козлов отпущения, от постановлений нет никакого проку, потому что их либо не исполняют, либо они попросту не доходят до мест, все ковыряются в прошлом, ловят рыбку в мутной воде, дошло уже до того, что взялись за героев гражданской войны в Испании, журналисты ведут себя возмутительно, в аппарате – сплошные обструкционисты и карьеристы, распоясавшиеся борзописцы требуют свободы печати, никто не работает, власть на местах практически развалилась, все друг под друга копают, работают на два фронта, не говоря уж о подрывной работе врага; в результате страна становится неуправляемой, и именно потому любой резкий шаг люди воспримут как провокацию, нельзя ослаблять единство фракционными склоками, но как можно говорить о единстве, если мы сами не в силах друг с другом договориться, сейчас было бы безответственным настраивать друг против друга различные органы государственной власти, нам не раздрай, а доверие надо усиливать, все зависит от пропаганды, радикальные меры только масла в огонь подольют, прессу следовало бы очистить, кто выступает с подобными предложениями, тот волей-неволей льет воду на мельницу врага, да это все равно что против ветра писать или бензином пожар гасить, и пока они все это говорили, мой отец сидел неподвижно и молча, но теперь он смотрел на них не издали, не промеж голов, а разглядывал их лица с каким-то еле заметным удовлетворением и дружелюбной улыбкой, как человек наконец-то добившийся своего, достигший цели, что со временем еще больше запутало ситуацию, ибо именно те, кто не был враждебно настроен ни к нему, ни к его предложению, похоже, стали задаваться вопросом, а все же не провокатор ли он – выгнал зайцев из кустов дурацким своим пистолетом и спокойно теперь наблюдает за ними, между тем как другие, наиболее яростные его противники, наверное, спрашивали себя, а чего это он так спокоен и невозмутим, не стоят ли за ним люди высокого, может быть даже наивысшего ранга, в какие тайны он посвящен и стоит ли так бездумно раскрывать перед ним все карты?

Мой отец, тихим голосом, снова заговорил лишь тогда, когда эта всеобщая подозрительность заставила жарко полемизирующую компанию несколько успокоиться, перестать кричать и жестикулировать; нет, начал он сдержанным и призывающим к хладнокровию тоном, он пригласил их сюда вовсе не для того, чтобы обсуждать уместность или неуместность его предложения, а для того, чтобы обсудить, как можно его осуществить на практике.

Неслыханная дерзость этого заявления тут же развеяла все подозрения, ибо с такой безумной самоуверенностью может говорить только человек, действующий по собственным убеждениям; и тогда снова воцарилось молчание.

Все эти люди мыслили лишь политическими и идеологическими категориями, заняты были поисками какой-то последовательной позиции, какой-то тактики поведения и поэтому не заметили, что отец заставил их замолчать не гусарской атакой на все их доводы, убедил их не просто неопровержимой логикой, а безумием собственных аргументов, то есть они не поняли, что бразды правления захватил сумасшедший.

Он собирался еще что-то сказать, когда девушка рядом со мной, протестующе-умоляющим жестом выбросив вперед руку с дрожащими в воздухе пальцами, вдруг прервала его; но простите, вскричала она, и меня поразило, сколь низкий и хриплый, резонирующий во всех углах комнаты голос исходит из этого хрупкого, дрожащего от волнения тела, вся эта дискуссия вызывает в ней ощущение, что она попала сюда не то что из другой страны, но с другой планеты, и, сказать откровенно, ей непонятно, да в общем-то и неинтересно, где живут уважаемые члены сего собрания, но она полагает, что в той стране, где живет она, в настоящий момент для восстановления порядка гораздо более простым и полезным решением, по сравнению с созданием каких-то вооруженных и действительно провокаторских формирований, было бы восстановление демократических, свободных и тайных выборов, и она, пусть товарищи помнят об этом, отнюдь не единственный человек, кто придерживается такой точки зрения.

Пока она, дрожа от волнения, говорила все это, ее отец остановил покачивающийся стул в воздухе, уперся расставленными ногами в пол и уставился перед собой с таким бесстрастным одобрением, словно точно знал, какими словами его дочь закончит свое выступление.

Это было что-то неслыханное, просто неслыханное, казалось, что прозвучало нечто столь непристойное, на что не принято

и нельзя реагировать, что не должно быть услышано, принято во внимание, что выходит далеко за пределы того, что можно обсуждать, о чем следует тут же забыть, но для этого не хватало какого-то жеста; все сидели в полном ошеломлении.

Отец девушки с довольно громким стуком опустил стул на пол, что было не просто осознанным жестом, но как бы ответом, говорящим, ну хватит! после чего он спокойно, преисполненный достоинства, встал, словно давая знак, что собирается разрядить обстановку, подошел к отцу, успокаивающе положил руку ему на плечо и не слишком громко, но и не слишком тихо, чтобы все, кому его мнение интересно, слышали, стал говорить; идею отца, сказал он, он считает заслуживающей внимания, во всяком случае достойной дальнейшего подробного обсуждения, возможно, в более широком или, напротив, в более узком кругу, но именно в силу того, что здесь прозвучало столько всяческих требующих размышлений «за» и «против», он, со своей стороны, в данный момент и в данных обстоятельствах считал бы преждевременным и, более того, невозможным принятие какого-то решения, и тут все снова заговорили, невольно переняв его трезвый, умиротворяющий, призывающий к терпимости тон, заговорили не слишком громко и не слишком тихо, так, словно ничего особенного не произошло, заговорили либо о другом, либо о том же, но уже совсем на другой лад, без какой-либо аффектации.

Многие тоже поднялись и, покашливая, стали собираться домой, другие, закутив, вышли на террасу и, посмеиваясь, украдкой обменивались взглядами, намекавшими на то, что только что прозвучало, то есть разговаривали и вели себя примерно так, как это принято в компании людей с различными мнениями или на не слишком интересном официальном приеме.

Может быть, сказал я на ходу Мельхиору, мой рассказ совершенно бессвязен, однако я точно знаю, что эта воскресная дискуссия не кончилась все же полным фиаско, больше того, может, слова той девушки каким-то образом даже помогли им со временем прояснить собственные позиции, так как несколько дней спустя, когда мы договорились с отцом встретиться на площади Маркса, чтобы купить то ли обувь, то ли что-то еще, я напрасно прождал его полтора часа, а когда он уже ближе к ночи наконец вернулся домой и от его одежды и волос разило табачным дымом, он озабоченно и все же с надеждой в голосе сказал мне, что ему пришлось присутствовать на совещании исторического значения, откуда он, разумеется, уйти не мог, так что просит простить его, и эта для него необычно многословная вежливость дала мне понять, что даже

если он снова не одержал победы, мы все-таки получили отсрочку от очередного приступа помешательства, потому что ему не пришлось испытать поражения.

Я умолк, наверное, с таким видом, как будто хотел сказать что-то еще, но не знал, что именно, и даже не знал, как я вообще впутался в эту историю, вдруг показавшуюся мне фальшивой, далекой, чужой, слышен был лишь размеренный звук шагов, он не спрашивал ни о чем, потому что не знал, о чем я хотел еще рассказать, друг на друга мы не смотрели, и мне было приятно, что больше не нужно ему ни о чем рассказывать.

И в этом молчании, нарушаемом лишь согласным ритмом шагов, которое на самом-то деле было вовсе не молчанием, а отсутствием подходящих слов, я почувствовал, что весь мой рассказ был полной бессмыслицей, непонятным, непроходимым, ненужным нагромождением слов, слов чужих, мне не подчиняющихся, так какой же смысл говорить, если нет ни единого слова, даже в родном моем языке, которое к чему-то привело бы меня в этой истории, потому что она, история эта, никуда, ни к чему не ведет, так что нет никакой истории, если память способна задерживаться лишь на каких-то навязчивых мелких или, быть может, кажущихся таковыми деталях, как, например, мое блуждание по площади Маркса, где я ждал отца, а он все не появлялся, тем не менее я не мог уйти, однако зачем мне об этом рассказывать Мельхиору?

Рассказать можно что-то конкретное, в то время как я, от великой своей любви, жаждал поведать ему сразу все, целиком, передать, вложить в его тело, выблевать на него, но где начинается и где заканчивается это вожденное целое, и как оно может существовать вне моей собственной плоти да еще облеченным в слова неродного мне языка?

Я и прежде молчал и еще никогда никому не пытался об этом рассказывать, чтобы не превратить все в приключенческую историю, чтобы не сделать сказкой то, что было совсем не сказкой, не выстроить с помощью слов какую-то гладкую фабулу; лучше было все эти события заживо похоронить в склепе памяти, в самом лучшем и самом для них спокойном месте.

Казалось, на этой темной берлинской улице я осквернил умерших. Наверное, все же молчание и было тем самым «целым»?

Мы шли с ним бок о бок, плечо к плечу, голова к голове, и в своем возбуждении я не сразу уразумел, что разговор с ним не получается потому, что до этого я, собственно, говорил не с ним, а с его глазами, которых теперь не хватало.

Вместе с тем, вслушиваясь в этот глухой и холодный стук, я чувствовал, что каждый приближающий нас к театру шаг остужает мою жажду рассказывать, ну и пусть, думал я, пусть история останется незаконченной, это в порядке вещей, сейчас мы войдем в театр, где нам представят некую постановку, а то, чего я не рассказал, я спокойненько проглочу – вкуче со стыдом за недосказанную мною историю.

Широкие лучи, проходившие сквозь линзы прожекторов, вырывали театр из осеннего вечера, и он высился перед нами в этом холодном мерцающем свете, словно сделанный из папье-маше, и когда мы остановились под этим дрожащим светом, в котором люди, слегка ослепленные, спешили приобщиться к чему-то, что обещало забвение и свободу, я все же решил рассказать ему еще нечто интересное, нечто забавное, нечто такое, что могло бы поставить точку в этом принесшем сплошные разочарования повествовании.

А ты знаешь, сказал я, не слишком раздумывая, поскольку мысленно все еще бродил по той самой площади, эта площадь Маркса, которую мой отец почему-то всегда называл по старинке Берлинской, запомнилась мне еще по другой причине: пока я ждал там отца, рассказывал я, стараясь придать голосу легкость, из «Ильковича», и тут же пояснил ему, что в ту пору то была знаменитая на весь город корчма, вывалилась полупьяная компания мужчин и женщин, и какая-то престарелая проститутка вдруг шагнула ко мне, я подумал, что она хочет что-то спросить, и с готовностью повернулся к ней, но та, подхватив меня под руку и мягко куснув за ухо, сладострастно шепнула: отойдем, она с удовольствием делает мне минет, бесплатно, потому что она уверена, что мой маленький петушок очень сладкий.

И в этом она не ошиблась, со смехом добавил я, пытаюсь свести дело к шутке.

Он, внезапно остановившись, повернулся ко мне и не только не улыбнуться, но посмотрел на меня совершенно бесстрастным и неподвижным взглядом.

От смущения я продолжал: она всего-навсего уличная шлюха, не светская дама, говорила мне пьяная женщина, но мне нечего беспокоиться, она лучше всех знает, что любят такие славные маленькие барчуки.

Бесстрастное выражение его глаз говорило о недовольстве, но потом он медленно взял меня за локти, и на его приближающемся ко мне лице все же мелькнуло что-то вроде улыбки, но мелькнуло не на губах, а в глазах, и улыбка эта вызвана была не моей отвле-

кающей шуткой, а совершенно серьезным его намерением прямо сейчас, посреди этой залитой светом площади, на виду у спешащих к театру людей поцеловать меня, и довольно чувственно, в губы.

Этот мягкий теплый поцелуй породил еще множество крошечных молниеносных поцелуев, бессчетно рассеявшихся по моему носу, непроизвольно смежившимся векам, лбу, шее, губам, – поцелуев, которыми он, казалось, что-то ощупывал, и я не думаю, что кто-то это заметил, а если и заметил, то едва ли придал этому значение, хотя я могу с уверенностью сказать, что они упустили великий момент; а потом наши руки, скорее нежно оберегавшие, чем поддерживавшие друг друга, упали вдоль тела; мы замерли, глядя друг на друга.

И я снова обрел тот единственный глаз.

Тут он все-таки рассмеялся, точнее сказать, сверкнул обнажившимися из-под мягких губ крепкими, дикими, белоснежными зубами и, кивнув в сторону входа, сказал, что в конце концов нам вовсе не обязательно туда идти.

Ну конечно не обязательно.

Спектакль могут провести и без нас.

Почему бы нет.

Но все-таки этот глаз, в тот момент, когда мы стояли в потоке спешивших в театр людей, означал для меня уже нечто совсем иное.

Вот и вся история, сказал я.

Он улыбнулся мне, красиво, таинственно и спокойно, и хотя я тогда не понял этой улыбки, ибо то была не привычная, постоянная, нестираемая с его лица, ненавистная и обожаемая мною улыбка, но я вынужден был этой улыбке повиноваться, она была сильнее меня, и он, быть может, впервые за время наших с ним отношений, совершенно бесхитростно покорила меня.

По-видимому, он обрел власть над той частью моей, презираемой или, может быть, обожаемой, личности, что не суть важно, на которую он прежде и не рассчитывал либо не мог ее объяснить.

Мне казалось, что, наверное, все же лучше будет укрыть от него лицо словами.

Он не двигался, и от этого мы, вероятно, выглядели так, будто ссорились.

В своем безупречного кроя темном костюме, отведя сомкнутыми за спиною руками полы распахнутого плаща, чуть подавшись вперед, он стоял передо мною в этом слепящем глаза освещении с таким видом, словно испытывал в чем-то весьма серьезные сомнения и поэтому щурил глаза, так что их попросту не было видно.

Многие уже обращали на нас внимание, но едва ли что-либо понимали.

Поедем домой, сказал я.

Он, как бы соглашаясь, подернул плечами и сделал было шаг, но меня что-то остановило.

Наверняка я рассказал ему все это только для того, неуверенно, в сознании полной своей униженности, сказал я, чтобы он понял, почему я тогда не выбрался из этой толпы, чтобы попасть домой; не знаю, насколько это ему интересно, но теперь-то он понимает это.

Я не хотел больше говорить.

Да понимает он, чего тут не понимать, нетерпеливо ответил он, хотя он отнюдь не уверен, что понимает именно то, что я хотел сказать.

Легко было бы сказать ему нечто такое, неважно что, что могло бы нарушить это тягостное молчание, тягостное, потому что я хотел говорить, но не мог, и дело было вовсе не в том, что мне хотелось вернуть себе ту часть моей личности, которой он овладел и столь жадно теперь исследовал, из-за чего я, конечно, не мог теперь рассказывать ему все, что хочется, но при этом молчал я во все не потому, что собирался поведать ему какую-то жутко важную и серьезную истину, нет, напротив, какая-то неведомая доселе застенчивость, идущая из самой глубины тела, смущавшая даже больше, чем нагота, мешала мне говорить о самых обычных событиях, ибо все мои личные впечатления, о которых мне так хотелось ему рассказать, по прошествии столь многих лет казались случайными, глупыми, мелкими и смешными, дурацкими на фоне величия той трагедии, которую сохраняла безмолвствующая память истории.

Если вспомнить, чем кончились те события, то понятно, почему я не мог говорить о них, тем более невозможно было рассказывать о какой-то чертежной доске, хлопавшей меня на бегу по ноге, и рейшине, которая то и дело норовила выскользнуть из туго набитого портфеля.

И тем не менее эти дурацкие вещи были частью моей личной революции, своим весом и неуклюжестью понуждая меня прояснить для себя вопрос, вопрос, который с обыденной точки зрения, опять-таки, мог показаться глупым и легковесным, ибо на фоне таких событий было совсем не важно, удастся ли белокурому гимназисту вырваться из этой полумиллионной толпы или он в ней застрянет; однако в действительности вопрос, грубо говоря, за-

ключался в том, могу ли я и считаю ли я для себя возможным совершить отцеубийство, и то был вопрос не только не второстепенный, но, напротив, настолько значительный, что в тот вторичный вечер он в той или иной форме должен был встать перед каждым в этой толпе.

Точнее сказать, возникни этот вопрос в такой грубой и упрощенной форме, никого из нас здесь, наверное бы, не было, мы не шли бы бок о бок, согреваемые чувством общности, в направлении, диктуемом какой-то неведомой силой, а, забыв об общности, в страхе разбежались бы по своим, быть может, уютным, или убогим, или роскошным норам, тогда это была бы не масса, а разъяренное, несущееся сломя голову стадо, бессмысленно разрушающий все на своем пути сброд, ибо люди, в сущности, точно так же, как и дикие звери, в конечном счете неизменно стремятся к миру, к теплу, к уютному гнездышку, к возможности беспрепятственно размножаться и воинственными делаются лишь тогда, когда им не удается защитить партнера, свой дом, пропитание или потомство, но даже и в этом случае первой их мыслью является отнюдь не убийство!

Именно так было и в тот час, в тот теплый осенний вечер вся наша воинственность проявлялась лишь в том, что мы шли вместе, что нас было много, и шествие это, конечно же, было направлено против чего-то или кого-то, но было пока неясно, против чего и кого конкретно, каждый нес с собой свои наболевшие мысли, бремя бед и личных обид и свои вопросы, на которые он пока что не мог дать ответа, а если уже и дал, то не знал с уверенностью, как отнесутся к его решению остальные, и поэтому все кричали, что-то скандировали или безмолвствовали.

Я не думаю, что в этом водовороте было хоть что-нибудь совсем ничего не значащее: каждый возглас и лозунг, каждая стихотворная строчка и даже молчание! были массовым испытанием и массовым поиском общих чувств, точек соприкосновения, возможно-го сходства и подобия.

А объекты, будь то моя рейшина, стихотворение или национальный флаг, просто-напросто создавали пространство для наших мыслей, пространство, в пределах которого можно было думать о вещах, не имевших словесного выражения, и в этом смысле они были лишь внешними знаками бессловесных животных инстинктов или бесформенно мрачных индивидуальных чувств, пространством, в котором эти чувства формировались, то есть были не вещью и не событием, а лишь поводом для чего-то.

От слепящего света прожекторов я закрыл глаза.

Если бы я мог говорить об этом, пусть не с ним, пусть только с самим собой, то я рассказал бы о том, что после того, как мы, падая друг через друга, вырвались наконец из этого человеческого месива на площади Маркса и бегом догнали колонну, во мне вдруг что-то необратимо переменялось, я просто забыл, что только что собирался домой, и в этом повинен был город, который, складываясь из камней в дома, а из домов – в улицы, четко определял направления и возможности.

А дальше все шло уже по законам природы; пробившись сквозь землю, родник превращается в ручеек, тот ширится и впадает в реку, которая спешит к морю, все так просто и так поэтично! повинуюсь притяжению массы, шумные и веселые людские ручейки вливались из переулков в текущий по бульвару людской поток, а оставшаяся позади Верочка, должно быть, закончила свою декламацию о «веселье восставшего народа», потому что со стороны площади, где случилось столпотворение, послышался топот, нас догоняли люди, толкали вперед, в сторону моста Маргит, что, конечно, вовсе не означало, что в столкновении этих бесчисленных и в разной степени жарких намерений, от трения которых, за неимением горючего материала, сыпались только гаснущие тут же искры, сложилась какая-то окончательная общая воля, но что-то все же переменялось, и все, должно быть, это почувствовали, потому что крики вдруг стихли, люди перестали смеяться, декламировать, орать лозунги и размахивать флагами, словно все, осознав единственное возможное направление движения, стали вслушиваться только в звук собственных шагов.

И эта массовость, твердость поступи, ее размеренный ритм, отражавшийся эхом в глубокой расселине бульвара Святого Иштвана, вовсе не ослабляли, а, напротив, усиливали чувство единства, чему способствовало и то, что висевшие гроздьями в верхних окнах люди махали руками, были вроде бы с нами и вместе с тем отдельно от нас, в то время как мы там, внизу, были вместе и были при этом с ними, отчего нами овладевало некое, с каждым шагом утяжелявшееся и усиливавшееся сознание серьезной торжественности.

От улицы Паннонии, что называется ныне улицей Ласло Райка, широкий бульвар Святого Иштвана слегка поднимается вверх, чтобы, чуть повернув у пересечения с проспектом Пожони, сомкнуться затем с мостом Маргит, но этот едва ощутимый подъем в обычные, мирные дни совершенно незаметен, и если бы я в тот

вечер не шествовал в той огромной толпе, то, наверное, тоже не обратил бы на него внимания, ведь обычно мы просто пользуемся своим городом, не замечая особенностей его улиц и площадей.

У входа на мост, в этом плавном изгибе навстречу друг другу текли два потока весьма различных по настроению людей, что сразу объяснило, почему нашей колонне пришлось сбавить шаг, почему она стала плотнее, серьезней и молчаливей; мы поднимались к мосту, а другая колонна как раз спускалась с него, и этот поток был не только мощнее в силу инерции спуска – люди в нем были более организованны, веселее, сплоченнее, моложе и энергичней, казалось, будто благодаря этой сплоченности и энергии они уже одержали какую-то победу, они шли, держась за руки, заполняя всю ширину моста, пели, выкрикивали в такт шагам рифмованные лозунги; не ломая рядов и не отпуская рук, их колонна описывала по предместью дугу и ряд за рядом сворачивала на улицу Балинта Балаши; и нашей, поднимающейся к мосту, более плотной, но менее упорядоченной колонне, спрессованной скорее из разнородных личных страстей и стремлений, не оставалось иного, как вклиниваться, в суматохе вливаться беспорядочными волнами, врасыпную, бегом проникать в щели несметных рядов, слегка раздвигавшиеся на крутом повороте, словно пластинки огромного веера.

Бывают в жизни моменты, когда чувство братства заставляет забыть все нужды и тяготы нашей телесности: ты не испытываешь усталости, никого не любишь, не чувствуешь голода, холода, жажды, тебе не жарко, не хочется по нужде; и это был именно такой момент.

Слома голову мы ринулись в эту толпу, и студенты, которые, как узнал откуда-то Сентеш, возвращались с митинга на площади Бема, приняли нас в свои ряды; мы, конечно, нарушили их порядок и единение и вместе с тем, переняв их приподнятое настроение и уверенность, все разом заговорили, люди, шедшие из разных мест и в разном расположении духа, тут же стали горячо обмениваться мнениями, обращаясь к чужим, как к друзьям, крича, слушая и перебивая друг друга; и тогда мы узнали, кто выступал на митинге, что говорил, какие выдвигал требования, а мы рассказали, что видели танк с солдатами, что с нами рабочие с проспекта Ваца и что армия тоже с нами, и от этого горячего смешения и молниеносного обмена новостями вся несколько спутавшаяся процессия обрела некую новую силу и веселую энергию.

Так мы шествовали к парламенту.

И тут Сентеш, как бы предполагая, что мое мнение об этих внезапных событиях отличается от его, но все-таки не желая предавать этот возможный факт огласке, наклонился ко мне, совсем близко, чтобы чего доброго не услышал Штарк, и в общем нашем волнении прошептал мне, чуть не касаясь губами моего лица: ну теперь-то я понимаю, теперь-то я вижу своими глазами, что этому строю хана?

538 Чего тут не видеть, сказал я, отдернув голову, я вижу, только не ясно, чем все это кончится.

Темный купол парламента с массивной красной звездой, водруженной над ним лишь несколько месяцев назад, был теперь прямо перед нами.

Я, должно быть, выглядел очень забавно со своей чертежной доской и до отказа набитым портфелем, со своей серьезной физиономией, отражавшей попытку как-то согласовать чрезвычайные события этого вечера с моим своеобразным семейным опытом, и мой скепсис относительно будущего так изумил Сентеша, что он рассмеялся; но в то же мгновение, в которое я пытался понять причину его смеха, чьи-то теплые ладони крепко, но мягко обхватили сзади мои глаза.

Он опять спешит с выводами, опять знает все наперед, кричал Кальман, подпрыгивая и радостно размахивая руками, отчего мы, трое гимназистов, ошеломленно замерли в толпе окружавших нас подмастерьев пекарей; но стоять было невозможно, нужно было двигаться дальше.

Кстати, чертежную доску я потерял на площади, у подножия статуи Кошута, на которую взобрался Кальман, а затем и я, мы хотели увидеть всю площадь перед парламентом, заполненную народом, громогласно требовавшим, «погасите звезду», «погасите звезду», а потом вдруг, в мгновение ока на площади погасли все фонари, и только звезда сияла на вершине купола, и гул недовольства тогда захлестнул всю площадь, переходя в улюлюканье и свист, а затем наступила вдруг тишина, и в этой тишине люди стали вздымать над головами зажженные факелы из газет, и вся площадь, словно бескрайнее поле, продуваемое ураганным ветром, вспыхнула колеблющимися, сбиваемыми ветром, дымящимися, гаснущими и вновь зажигающимися над головами огнями, и огонь снова освещал ее, пятнами пробегал по огромной площади, вскидывался над нею желтыми волнами, словно пожар, и опять ниспадал к ногам красной мерцающей россыпью; а свой школьный портфель я бросил несколь-

ко часов спустя на углу улицы Пушкина и улицы Шандора Броди, на пустом тротуаре, там, где Кальман, кусая на бегу ломоть хлеба со сливовым повидлом, вдруг упал, когда с крыши забарабанили автоматные очереди, и я даже подумал, как ловко он увернулся от них, и не сразу понял, что лицо его было измазано вовсе не повидлом.

И когда позже, прощаясь со мной, Хеди смотрела на меня вопрошающе-умоляющим взглядом, ожидая, чтобы я как очевидец подтвердил ей невероятное, то, будь я способен вообще говорить о таких вещах и не будь нам обоим ясно, что любые слова будут заведомо неправильными и излишними, то скорее всего я рассказал бы ей об этих мягких, но крепких и теплых ладонях, о ладонях друга, а вовсе не о том сухом факте, что он погиб, что Кальмана больше нет, он мертв, и мы затащили его сперва в подворотню, а затем в чью-то квартиру, хотя это было бесполезно, он скончался, пока мы его тащили или, может быть, еще до этого, прямо на месте, но мне и тому незнакомому мужчине, который мне помогал, почему-то казалось, что своими бессмысленными действиями мы вернем ему жизнь или хотя бы немного продлим ее; его тело было изрешечено пулями, но в такой ситуации все равно нужно что-то делать, и пока мы тащили его мертвое тело, кровь стекала на землю, стекала нам на руки, делая их скользкими, его кровь жила дольше, чем он, его уже не было, он был мертв, глаза были открыты, точно так же как рот на изуродованном, перемазанном кровавым повидлом лице, он умер, и мне не осталось ничего другого, как той же ночью рассказать о случившемся его матери, разыскав ее в больнице Святого Иоанна, а затем, несколько дней спустя, за два месяца до того, как он застрелился, назвать убийцей украдкой вернувшегося домой отца, что я и сделал.

Мне хотелось рассказывать не о смерти своего друга, не о смертях вообще, не о похоронах, не о полыхающих огоньками свечей кладбищах и всех прочих свечах, горевших по всей стране той осенью и зимой, а о последнем прикосновении его живого тела, о том, что я был последним, кого он коснулся, да еще той чертовой краюхи хлеба со сливовым повидлом, которую дала ему незнакомая женщина, она стояла в открытом окне первого этажа, на углу улицы Пушкина, резала хлеб, намазывала его повидлом из большой корчаги и всем раздавала, мне хотелось рассказывать об этом, да еще о неповторимом ощущении от его ладоней, их запаха, о том уникальном сочетании силы, пропорций, тепла и рельефа кожи, по которому мы безошибочно можем кого-то узнать, о мягкой и теплой темноте под ладонями, вдруг заставляющими забыть все исторические события и единым еле заметным движением

возвращающими нас из неведомого в знакомый мир, в мир, полный привычных прикосновений, запахов и переживаний, в котором нетрудно узнать знакомую руку.

И чтобы он понял хоть что-то в моей душе, я бы должен был рассказать Мельхиору о самом последнем счастливом мгновении в этой моей истории; рассказать, стоя перед театром на освещенной холодным светом берлинской площади, о том, как в накрывшей мои глаза темноте я узнал вдруг: да ведь это Кальман! или, может быть, Кристиан? нет, это Кальман, Кальман! я должен был рассказать об этой последней крупине своей детской радости; руки мои были заняты, в одной – портфель, в другой – чертежная доска, ведь я потеряю их только позднее, и поэтому мне пришлось вырвать голову из его рук, в восторге от того, что он здесь, что было столь неожиданным и невероятным, как если бы я искал в стог сена иголку и нашел бы ее.

Мельхиор немо взирал на мое молчание, и я полагаю, ему было на что смотреть.

В тот декабрьский вечер первым пошевелился не я, а Хеди, которая опустила голову.

Не выдержав этого общего отрицания, совместного «нет», она попросила меня проводить ее до калитки.

Но даже и там мы не смотрели друг другу в лицо, я вперил свой взгляд в темнеющую улицу, а она что-то искала в кармане.

Я думал, что она хочет подать мне руку, что было бы весьма странно, но нет, она вытащила из кармана маленького коричневого плюшевого медвежонка, довольно потертого, которого я видел и раньше, он был их общим талисманом; она помяла его в руках, а потом попросила передать его Ливии.

Когда я брал у нее медвежонка, рука ее случайно коснулась моей, и тогда я почувствовал, что все, что от нее здесь останется, она хотела бы поручить мне и Ливии.

Она ушла, и я вернулся в дом.

Моя бабушка как раз вышла из комнаты, пытаюсь, наверно, бежать ко мне от утешающей болтовни тети Клары; я был единственным, с кем она еще разговаривала.

Кто это был, спросила она.

Хеди, сказал я.

А, эта блондинка евреечка.

С головы до пят в черном, она неподвижно, с пустыми глазами стояла в тускло освещенной прихожей перед закрытой белой дверью.

У нее кто-то умер, спросила она.

Нет, они уезжают.

Куда, поинтересовалась она.

Я сказал, что не знаю.

Подождав, пока она скроется в кухне, притворяясь, будто ей что-то там нужно, я отправился в комнату деда.

Уже месяц, как в эту комнату никто не входил, воздух в ней был сухой, здесь давно уже никто не поднимал осевшую на мебели пыль.

541

Закрыв за собою дверь, я остановился, а потом положил плюшевого мишку на его стол, заваленный книгами, письменными принадлежностями и заметками – свидетельствами его лихорадочных последних дней.

Третьего ноября он начал работать над проектом реформы избирательной системы, который ему так и не удалось завершить до двадцать второго ноября.

Я вспомнил рассказанную им притчу о трех лягушках, упавших в кувшин с молоком: я не могу утонуть в этой жуткой и липкой дряни, сказала лягушка-оптимистка и, говоря это, поперхнулась и утонула; ну я уж тогда точно утону, проквакала пессимистка и тоже пошла ко дну; а третья, лягушка-реалистка, делала только то, что может делать лягушка: дрыгала лапками, взбивая молоко, пока не почувствовала под собой твердь, нечто плотное и голубоватое, от чего можно было оттолкнуться, но о том, что она сбила масло, лягушка, конечно, не знала, да и откуда об этом знать лягушке, но главное было в том, что она смогла выпрыгнуть из кувшина.

Потом я все же убрал плюшевого мишку со стола, поняв, что ему здесь не место.

Единственное, что я знал о Ливии, было то, что она пошла учиться на шлифовальщицу стеклоизделий; и однажды, наверное года два спустя, проходя по улице Пратер, я случайно заглянул в приоткрытое наружу окно подвального этажа; внизу, склоняясь над быстро, с визгливым шумом вращающимися шлифовальными кругами, сидели женщины, и среди них, в небрежно расстегнутом на груди белом халатике, сидела она, ловко шлифуя на круге какой-то фужер; она была на сносях.

Тем же летом я получил письмо от Яноша Хамара, письмо очень дружелюбное, отправленное из Монтевидео; он просил, чтобы в случае, если я буду когда-нибудь в чем-то нуждаться, я дал знать, написал ему, и более того, он с удовольствием пригласил бы меня

к себе, может, даже и навсегда, он сейчас на дипломатической службе, живет приятной необременительной жизнью и пробудет там еще около двух лет, после чего с удовольствием отправился бы со мной в долгое путешествие, и просил сразу ему ответить, прибавив, что он теперь тоже совершенно одинок, да и ни в ком уже не нуждается; увы, это письмо пришло слишком поздно.

542 Но я все же надеялся, что все, кто остался в живых, постепенно, тихо и осторожно вернутся, однако с тех пор так ни с кем и не встретился.

А когда, много лет спустя, плюшевый мишка случайно попался мне под руку, я долго смотрел на него, было больно, и я его выбросил.

В КОТОРОЙ ОН РАССКАЗЫВАЕТ ТЕЕ ОБ ИСПОВЕДИ МЕЛЬХИОРА

543

Во время наших вечерних или ночных прогулок, независимо от того, по какому из наших обычных маршрутов мы отправлялись, стук дружных шагов отдавался в темных пустынных улицах раздражающе чуждым эхом, и как бы ни углубились мы в разговор или молчание, от этих звуков, вторящих нашему ритму, невозможно было освободиться ни на секунду.

Казалось, уличные фасады, эти не слишком радующие глаз военные инвалиды, вели строгий учет наших мирных шагов, но возвращали нам только то, что было в самих нас бездушным и рационально холодным; и если наверху, под крышей, в четырех стенах на шестом этаже большей частью шли бурные и свободные разговоры, то на улице, где нужно было как-то преодолеть разрыв между мрачной унылостью окружения и интимностью наших чувств, беседы отличались стремлением к глубине и ответственным тоном, который можно назвать холодновато-искренним.

Наверху мы почти никогда не упоминали Тею, внизу же говорили о ней довольно часто.

Движимый преступными замыслами сентиментального свойства, я всегда устраивал так, чтобы первым ее имя произносил не я, подводил Мельхиора к теме издалека, блуждая вокруг да около, а потом, когда имя уже прозвучало, когда он начинал говорить о ней и вдруг умолкал, ужаснувшись каких-то неожиданных для себя ассоциаций или излишне горячих, поразивших его самого высказываний, я коварно расчетливыми вопросами, как бы случайными словами и беглыми замечаниями всего-навсего помогал ему оставаться на этом пути, увлекающем его во мрак прошлого, в те туманные сферы, от которых он с такой ловкостью и интеллектуальной находчивостью, рискуя даже душевным здоровьем, всеми силами пытался отгородиться.

Ну а во время прогулок с Теей, днем или ранним вечером, мне приходилось придерживаться противоположной тактики, ибо когда мы бродили с ней по открытым, продуваемым всеми ветрами загородным просторам, сидели на берегу какого-нибудь пруда

или убегающего вдаль канала и беззаботно следили за игрой воды или просто бездумно глядели куда-нибудь в пустоту, то сам по себе простор обеспечивал свободу интимных интонаций, четкое разделение ощущений и чувств и вместе с тем их тесную связь, ведь природа не декорация, и для взгляда, привыкшего мучиться ирреальностью окружающего, она даже слишком реальна и поэтому исключает то мелкое человеческое лицедейство, которое мыслимо лишь в декорациях города; Тею мне постоянно приходилось уводить в сторону, с тайным расчетом держать ее чувства в живом напряжении, отвлекать от мыслей о Мельхиоре и все время препятствовать ее порывам к так называемой искренности, то есть к тому, чтобы говорить о нем.

Мне казалось, что для достижения своей тайной цели я нашел довольно удачное, взвешенное решение.

И даже когда мы не говорили о нем, мы о нем думали, и поэтому я ощущал в себе то тревожное волнение, которое чувствует готовящийся к преступлению злоумышленник, осматриваясь и кружа на месте предполагаемого события в полной уверенности, что самому ему делать ничего не придется, не будет нужды вмешиваться в естественный ход вещей, он просто понял какую-то ситуацию, всю ее механику, и ситуация сама отдаст в его руки добычу; и действительно, я не делал ничего другого, кроме как постоянно и методично поддерживал эту молча принятую ими обоими линию поведения.

Капля за каплей я укреплял в Тее, казалось бы, призрачную надежду на то, что, несмотря на обратное впечатление, Мельхиор все же может достаться ей, а в Мельхиоре довольно искусными средствами пытался разрушить стены, которыми он окружил себя для защиты от чувственности, иногда прорывавшейся в мощных и агрессивных импульсах; как ни странно, хотя это и понятно, Тея не очень-то ревновала меня, потому что в ее глазах и чувствах только я был физически ощутимым залогом ее эфемерной надежды, от которой она по каким-то причинам не могла отказаться; что касается Мельхиора, то он испытывал чуть ли не интеллектуальное опьянение от возможности с моей помощью познать нечто такое, чего он не мог познать раньше, а с другой стороны, он понимал, что не сможет окончательно завладеть мною, пока не познает и это нечто.

Влюбленные, как известно, несут на себе, излучая в мир, отпечаток телесной общности, однако их общность никоим образом не является простой суммой двух тел, сумма эта больше слагаемых, точнее, она становится чем-то иным, чем-то трудно определимым,

выраженным и в качестве, и в количестве, ведь два тела, хотя и соединяются, не могут быть полностью сведены воедино; это постоянное, ощущаемое как количественное приращение и качественная особенность присутствие в плоти друг друга нельзя объяснить, скажем, смешением запахов двух тел, общий запах скорее лишь самый заметный, но и самый поверхностный признак той общности, которая охватывает все жизненные проявления двух отдельных тел; правда, запах впитывается в их одежду, волосы, кожу, и тот, кто вступает в контакт с влюбленным, невольно оказывается не только под чарами или, проще сказать, под влиянием одновременно двух лиц, не только получает от них частицу любви, но в этом магическом круге, ведомый своим обонянием, он может заметить также весьма существенные отражения, подражания, метаморфозы и изменения в жестах, выражении лиц, акцентах, что является следствием и физическим проявлением слияния душ двух влюбленных.

Место между Теей и Мельхиором, которое мне не удалось занять в наш первый совместный вечер, в парадной ложе Оперного театра, я занял позднее, стоило мне лишь чуть-чуть допустить Тею в этот магический круг, и с того момента посредником между ними стало мое тело, ведь на этих наших послеполуденных прогулках, без того чтобы я об этом догадывался, рядом со мной всегда был Мельхиор, и когда Тея что-то брала от меня, а не брать она не могла, если испытывала ко мне хотя бы поверхностные чувства, то одновременно она брала что-то и от Мельхиора, или, напротив, когда она что-то давала мне, результат, то есть возникшую от этого недостачу или прибавку, должен был чувствовать и Мельхиор, и он это чувствовал, как собака обнюхивал меня, устраивал сцены ревности, которые мне с трудом удавалось погасить шуткой или дурачеством, короче, когда я возвращался с этих прогулок, нам всякий раз приходилось заново устанавливать равновесие, возвращаться к исходным позициям, что, опять же, не обходилось без упоминания Теи.

Я так и не узнал, что между ними произошло, и позднее на мои вопросы оба отвечали уклончиво, из чего я мог только заключить, что случилось нечто такое, что оба считали позором или поражением, но я был уверен, что нет таких отступлений, которые не были бы прелюдией новой атаки, и поэтому я желал содействовать успешному завершению этой, как выразился бы химик, обменной реакции, и не просто желал, но ясно осознавал, что для нас с Мельхиором это единственная возможность обеспечить достойные условия для того, чтобы уцелеть; но прежде всего мне нужно было как можно точнее понять саму ситуацию.

Наверное, этого не объяснить, но я принял решение с достоинством отдалиться, и единственная причина такого решения, которую я могу назвать, была в том, что я совершенно потерял себя в этих отношениях, я со сладостным ужасом и умопомрачительным наслаждением переживал тот факт, что я, конкретное существо, человек, обладающий только одним неделимым набором ощущений и чувств, завязал все же отношения с человеком не противоположного, а одного со мной пола, и ежели это так, ежели, невзирая на все запреты, нам это дозволено, то должен быть в этом какой-то смысл, должен быть! я с таким душевным волнением переживал идею единой и неделимой любви, как будто трудился над формулой мироздания или заглядывал в какую-то сокровенную тайну, ибо ежели это так, то я нашел себя, думал я торжествуяще, я есть человеческое существо, обладающее неким далее не делимым целым, а мой пол, видимо, только одно из свойств этого целого? и наверное, это целое, вне зависимости от пола, может проявлять себя в виде целого только в любви? и, быть может, конечный смысл любовного чувства состоит в слиянии одного неделимого целого с другим неделимым целым? и я должен соединиться с ним сообразно своему я, независимо от того, выбрал ли я его сообразно своему или противоположному полу? но как бы ни захватывали меня все эти вопросы, вместе с тем я переживал и боль от того, что все тщетно, даже если я выбрал его сообразно своему я, он все равно не я, а другой, то есть по полу един со мной, но все же иной; и поэтому все попытки прямого отождествления доставляли не только радость и счастье, но и жестоко мстили тем болезненным опытом, что, хотя другой человек и един со мной, я все равно не могу овладеть его инакостью, и это горькое впечатление пробудило во мне столь нестерпимое ощущение полной бессмысленности всей моей жизни, моего прошлого и всех моих устремлений, что, подчиняясь своей натуре, привыкшей искать равновесия, а не конфронтации, я решил, что лучше как можно быстрее, не откладывая, бежать, вернуться на родину, и родина в этом случае означала что-то старое, наскучившее, привычное и надежное, то есть все то, что она может означать только на чужбине.

Я собрался домой, и он это знал, свое решение я никак не мотивировал, ничего не объяснял ему, а он ничего не спрашивал; он отпускал меня, с чувством собственного превосходства демонстрируя свою боль, заранее, еще до моего отъезда возвращаясь к тому, что едва покинул: к своему отчаянию; он тоже собирался бежать отсюда, я – на свою безопасную родину, он же – прочь, в чуждую неопределенность своих желаний, и получалось так,

будто мы, словно две параллельные, действительно не способные оторваться друг от друга, этой одновременной сменой дислокации хотели выместить друг на друге крах наших личных историй, молча свалить на другого то изрядное количество исторической грязи, которая в нас смешалась, только все это было уже не игрой, не безобидной ссорой влюбленных, ведь побег отсюда был связан с риском погибнуть, попасть в тюрьму и лишь в единичных случаях заканчивался в те годы случайным успехом; но об этом мы тоже не говорили, Мельхиор вел себя таинственно, был напряжен, раздражителен, он, кажется, ждал сигнала, какой-то вести с другой стороны, откуда побег, как я догадался по некоторым признакам, готовил не кто иной, как его французский друг, называвший себя коммунистом.

Словом, уверенный в их взаимном влечении, а главное, в подчас очень изощренной напористости Теи, я полагал, что если хочу поспособствовать имеющей шанс на успех обменной реакции и тем самым, возможно, отвлечь Мельхиора от безумного и, во всяком случае по отношению ко мне, морально сомнительного плана побега, то я должен оставаться нейтральным, словно катализатор, который, хотя и участвует в химическом процессе, никогда не входит в состав нового соединения и выделяется в неизменном виде.

Пожалуй, не стоит и говорить, что мой замысел стал в итоге банальным насилием над чужими чувствами и в этом смысле чем-то вроде эмоционального покушения, но поскольку предприятие не казалось мне безнадежным, ведь его контуры обозначились уже при первой нашей встрече, то, занимаясь своими махинациями, я успокаивал свою совесть тем, что в конце концов этого хочу не я, они сами хотят, а я только помогаю им, и возможный успех докажет, что я им желал добра; чем словно бы говорил себе: я хочу быть порядочным, но так, чтобы непременно стать победителем.

Однако в успехе я все-таки был не совсем уверен и поэтому часто, подозрительно часто возвращался к той нашей первой встрече, вспоминая все до мельчайших подробностей, и чем чаще я прокручивал эти навязчивые подробности в голове, тем отчетливей мне казалось, что источник того эмоционального помешательства, которое охватило нас в нашей ложе, находился в далекой и мрачной коробке сцены, в телах певцов, подчинявшихся музыке, которая изливалась из оркестровой ямы.

Разумеется, я тогда об этом не думал, но то, что я в ту минуту ощущал плечом, и то, что видел глазами и слышал ушами, раздваивая мое внимание, накладываясь, уподобляясь одно другому,

оказывало на меня воздействие, которое я назвал бы чувственным извержением, так что забыть это впечатление я не смог бы, даже если б оно не понадобилось мне позднее для определенной цели; сегодня я мог бы сказать, что под ногами у меня разверзлась плотно утоптанная за тридцать лет жизни эмоциональная твердь, подо мной всколыхнулась магма инстинктов, от разрывающей душу увертюры пошли трещинами вроде бы столь надежные постройки из кирпичей знания и необходимой для самозащиты морали, поползли улицы, казалось бы, всемогущего опыта, и словно бы в подтверждение того, что чувство тоже материально, в муках борьбы с разноречивыми, ошеломляющими, нахлынувшими из какой-то знакомой неизвестности чувствами я стал обливаться потом, как будто рубил дрова; между тем я сидел неподвижно и, как положено, делал вид, будто увлечен только музыкой, что, однако, не успокаивало, а, напротив, сильнее вгоняло в пот мое приученное к самодисциплине и сдержанности тело.

Казалось бы, к тридцати годам человек обретает, быть может, обманчивое чувство уверенности в себе, и вот эта уверенность затрещала в тот вечер под собственной тяжестью; но в момент перед тем как рухнуть, все мои строения еще сохраняли первоначальную форму, хотя и не на своих местах, потому что сместилось все, и формы как бы символизировали собственную пустоту, не ведая о тех тектонических силах, которые им угрожали; все чувства и мысли, с одной стороны, были хотя и потрескавшимися, но все-таки формами зажатых в привычные рамки чувств и блуждающих наскучившими путями мыслей, и в то же самое время – уже только голыми символами этих форм; и все-таки в этом тектоническом потрясении, в последний момент перед полным крушением и распадом на меня словно бы снизошла благодать, и мне на мгновение приоткрылись какие-то главные принципы бытия вообще и моей жизни в частности.

Нет, я вовсе не лишился рассудка ни тогда, ни теперь, пытаюсь с помощью ряда сравнений понять свое ощущение в тот момент, ведь уже и тогда я прекрасно осознавал, что то, что является для меня настоящей тюрьмой, тюрьмой моих чувств и идей, для француза, сидящего слева от меня, всего-навсего декорации, пахнущие столярным клеем; в конце концов, там, внизу, в фанерной тюрьме на сцене только и происходит всего, что неотесанный тюремщик Жакино преследует своей страстью очаровательную Марселину, но та не нуждается в грубой мужской страсти, ее волнует юный Фиделио, под именем которого скрывается переодетая в мужское

платье Леонора, проникшая в крепость, чтобы освободить Флорестана, невинно брошенного в подземелье возлюбленного, и ради того, чтобы достигнуть своей благородной и с личной, и с политической точки зрения цели, она без особых раздумий, хотя и с долей печального сожаления вводит в заблуждение влюбленную Марселину, совершая самый безнравственный, а может быть, самый веселый обман, какой может совершить человек против человека: будучи женщиной, она представляется юношей, что в конечном счете доказывает только то, что цель оправдывает средства; ведь все равно все любят всегда не того, кого они любят или хотят любить, но жизнь так устроена, что каждый каким-то образом должен найти любовь, и моральными принципами нам приходится иногда поступаться; а тем временем мое плечо ощущало и хотело и дальше ощущать плечо мужчины, сидящего от меня справа, чье непрошеное присутствие во мне ошеломяло, унижало, пугало и ужасало меня не меньше, чем то, что он неожиданно от меня отвернулся, оскорбив мое самолюбие, и хотя я знал, что он отвернулся временно, что это прозрачный трюк и что в данном случае он использует Тею таким же бессовестным образом, как на сцене переодетая Леонора использует не безупречно чистые, кстати сказать, чувства очаровательной Марселины, ведь не может же та не видеть, что в мужском платье перед ней не юноша! в то время как он – именно с помощью своей двуполости, чего же еще – использует в своих целях нечто, что при всей сомнительности является совершенно реальным; использует реальные чувства Теи, чтобы, лишив меня своего внимания, еще яснее дать мне почувствовать, какие возможности оно может открыть перед нами, но, естественно, сделать это он может, только действительно отвернувшись, только обратившись своими реальными или потенциально возможными чувствами к Тее, чувствами, отнятыми у меня, подобно тому как на сцене Фиделио сперва нужно стать настоящим мужчиной и заправским тюремщиком, чтобы затем, пленив душу Марселины, освободить своего истинного возлюбленного.

Словом, от меня не укрылось, что Мельхиор обнажил перед Теей некое скрытое и, возможно, поразившее его самого, но реальное чувство, я ощущал его эмоциональный переполох, его мальчишескую беспомощность, то есть то, что должна была ощущать и Тея, и она отвечала ему единственным возможным в такой ситуации способом: содроганием, быстрыми взглядами, учащенным дыханием, а следовательно, происходившее между ними, как мне было совершенно ясно, совершалось на основе полнейшей взаимности.

И в своей многократно запутанной ревности я уже не желал Мельхиора, я боялся его, считал его близость нахальным вторжением, точнее, желал не только его, но чувствовал, что желание, опосредованное его телом, все же влечет меня к Тее; все это можно было бы сформулировать и иначе: я был готов уступать приближению Мельхиора в той мере, в какой это позволяло мне быть ближе к Тее.

Примерно так продолжался этот обман, растянувшийся на два действия: чем больше приближалась Тея к Мельхиору, тем больше я приближался к Тее, хотя при этом все явственнее ощущал его физическое присутствие в своем теле; меня так и тянуло положить на его колено ладонь, и это тем более удивляло, что, насколько я себя помню, никогда еще мне не приходило в голову положить руку на колено другого мужчины иначе, как просто в знак дружбы, и все же рука моя испытывала неудержимое желание сделать это, причем сделать по двум причинам: с одной стороны, это был бы любовный знак, которым я мог ответить на полученный от него авансом жест, а с другой, и это в данный момент казалось мне более важным, я мог бы отвлечь Мельхиора от Теи, вернуть Тею себе.

И если бы там и тогда я о чем-либо думал, то мне стоило бы прежде всего вспомнить о времени, когда я был подростком, но как раз об этом, хотя, разумеется, мне приходили в голову разные мысли, я вовсе не думал; во всяком случае, если уж не о собственном отрочестве, то я мог бы подумать вообще о том опыте, который люди накапливают в подростковом возрасте, а затем, пережив жуткую пору созревания, под воздействием завоеванных, более того, в муках выстраданных наслаждений спешат поскорее забыть его.

Я должен был вспомнить о том, что в мучительном переходном возрасте единственным способом вырваться из парализующего нас бессилия перед чувственными побуждениями, чувственными исками и чувственным невежеством было принятие форм сексуального поведения, уже выработанных и санкционированных обществом, поставленных в рамки моральных ограничений, тех форм, которые, разумеется, не полностью совпадали с личными чувственными потребностями, ибо всякая форма подразумевает пределы и по определению лимитирует личную свободу, которую общество считает чем-то ненужным, неправильным, лишним, обременительным и с нравственности точки зрения предосудительным, однако в пределах этих ограничений мы все же могли найти некую сферу, некий модус любви, казавшийся нам оптимальным, когда, при соблюдении разумных условностей в распределении сексуальных ролей, мы могли проявить себя в другом, страдающем теми же

муками самоограничения человеческого существе; в обмен на потерю всей полноты наших личных потребностей и желаний мы предлагали друг другу почти обезличенное, почти только физическое переживание сексуальной жизни; но даже и в этом случае пустота, неожиданно открывающаяся почти сразу после физического удовлетворения, эта жуткая пустота обезличенности может быть компенсирована, ведь в результате любого, самого обезличенного физического контакта на свет может появиться нечто очень личное и естественное – ребенок, то есть самое личное, самое полное, самое органичное и самое совершенное, что только можно себе представить; это наше, говорим мы себе, наше кровное, беспомощное, подобное, но как бы и не совсем подобное, наше утешение за все прежние муки от неспособности органично соединиться, живой, настоящий предмет забот, печалей, радостей, страхов, нечто реальное, в отличие от пустых тревог осязаемое, дающее смысл.

Человек в таком возрасте напоминает потерпевшего кораблекрушение, чьи ноги отчаянно ищут опору над немислимыми глубинами, а руки невольно хватаются за первый твердый на вид предмет, за что угодно и за кого угодно, хоть за соломинку, и если этот предмет удерживает его на поверхности бушующих бездонных страстей, то он не задумываясь его присваивает, цепляется за него, плывет вместе с ним, и по прошествии какого-то времени, ибо другого у него нет! только это? да, только это, безжалостно отвечает ему предмет, у которого тоже нет ничего другого! он уже начинает верить, подчиняясь мистическим представлениям, которые неизменно рождает беспощадный инстинкт самосохранения, что случайно подплывший к нему предмет и в самом деле принадлежит ему, что предмет выбрал его, а он выбрал предмет, но к этому времени сила ритмично раскачивающихся волн выбрасывает его на песчаную отмель зрелости, он, благодарный и верный, превращает святую случайность в культ; хотя можно ли называть случайностью то, что спасло нас от гибели?

Мне казалось, что на пошатнувшейся эмоциональной почве все, представлявшиеся столь надежными построения, которые я с таким усердием сооружал в течение десяти лет своей любовной практики, вот-вот рухнут; казалось, будто до этого в любви я всегда уступал простому желанию выжить, маниакально и ненасытно умножал несомненно доступные моему телу физические наслаждения вместо какого-то реального жеста, который, быть может, был бы больше чем жестом; но ухватить разумом его смысл я не мог и поэтому вечно был вынужден что-то хватать руками

и болтаться с тем, что ухвачено, на большой воде, так и не найдя однажды выскользнувшей из-под ног почвы; вот почему меня никогда не могло утешить физическое наслаждение, отсюда и постоянные поиски, мучительное стремление к другим телам, столь же мучительно куда-то стремящимся! и поразило меня вовсе не то, что через тело сидящего рядом со мной мужчины я устремляюсь к Тее, что он, через Тею, проявляет свое влечение ко мне, что в Тее в конечном счете я возвращаюсь к нему, то есть оба мы, не в силах остановиться, кружим вокруг нее, стремимся к банальным парным отношениям, но нас трое, а могло бы быть и четверо или пятеро, отнюдь нет, эта перипетия поражала меня тем, что казалась очень знакомой, настолько знакомой, что чудилась едва ли не воспоминанием, однако восстановить в своей памяти точное место и время происходившего я не мог; зато показалось, что за этой перипетией я внезапно увидел сидящее внутри меня обнаженное тело инстинктивного чувственного желания, и вместо того чтобы наблюдать за событиями на сцене, я, естественно, наблюдал за ним! оно было маленькое, покрытое голубоватой кожей, влажное и пульсирующее, одинокое, отдельное и от них, и даже от меня самого; казалось, будто я видел телесный приют, телесную форму голой жизненной силы, которая, вопреки современным суевериям, не женского и не мужского пола, пола у нее нет, потому что нужна она только для того, чтобы люди посредством нее могли свободно общаться друг с другом.

В тот вечер ко мне вернулась частица былой свободы, казалось бы, навсегда потерянной, свободы души, ощущений; и сегодня я не без горечи говорю, что эту свободу я получил напрасно, потому что напрасны были все мои чуткие ощущения и проницательные наблюдения, если в их понимании и оценке я проявлял себя как глупое и наивное дитя своего времени; у меня было вроде бы обоснованное подозрение относительно состояния дел, но это смутное и неубедительное подозрение я принял за истину и этой принятой за истину догадкой решил тут же воспользоваться, занять, исходя из чувств, интеллектуальную позицию, более того, сразу добиться практических результатов, я жаждал успеха, хотел влиять, контролировать, управлять другими, ощущая себя неким главным распорядителем любовной мистерии, оперирующим предоставленной ему информацией, но весь мой десятилетний опыт усердных любовных манипуляций сыграл со мной злую шутку: я доверял только тому, что мог реально заполучить, пренебрегая всем тем, что является невещественным и чем, следовательно, нельзя физически

наслаждаться; исходя из примата разума, я выводил за пределы реальности всё недоступное уму и, таким образом, отдалял от себя то, что воспринимается и вообще существует только на уровне ощущений и является моей субъективной реальностью, или, может, наоборот, ради ощущения личной реальности я игнорировал реальность безличную, внешнюю; так или иначе, голос совести и присущее мне ощущение собственной ирреальности тщетно сигнализировали, что я роковым образом заблуждаюсь, в силу своей ментальности я не верил им.

Обо всем этом я счел необходимым сказать перед тем, как продолжить повествование и вернуться к нашей послеполуденной прогулке, чтобы обрисовать духовную обстановку, где действуют два человека, каждый из которых пытается использовать другого в своих интересах, в то время как их прогулка, конечно же, связывает их, то есть, образно говоря, они следуют по тропинке, которая уже вытоптана другими.

Ибо каким бы порядочным ни было в конечном счете мое намерение, как бы искренне я ни стремился, несмотря ни на что, соблюдать нейтральность, мы неуклонно, ступень за ступенью погружались в материю чувств, которую невозможно было потом отделить от живой материи тела; и тщетно мы ограничивались только завуалированными словами, никакого прямого вторжения, в крайнем случае только молчание! но даже и эти слова со временем обретали иное значение, понятное только нам двоим, и слова эти вели нас туда же, своим смыслом вытесняя ту цель, которой мы честно и с уверенностью в ее реальности собирались добиться.

Приблизительно так это выглядело тогда, приблизительно таковы были психические условия, в которых мы находились, гуляя с ней на природе; Тея шла впереди, легко шагая по утоптанной тропке в сторону дальнего леса, а я, удивленный и радостный, обдумывал про себя ее тихое, горькое, лаконичное, но многозначительное признание, цель которого, как мне показалось, была все же не в том, чтобы в излишне интимный момент, ставящий нас во все более сложное положение, напомнить об истинных наших намерениях и тем самым несколько отдалить меня, а, напротив, скорее в том, чтобы приблизить меня, вовлечь в самый сокровенный круг своей жизни.

Я с трудом себя сдерживал, мне хотелось, отбросив все сложности, дотянуться до нее и в порыве благодарности ответить ей нежной взаимностью, привлечь к себе, обнять ее тонкое, хрупкое с виду тело, которое, несмотря на то что она удалялась, тянулось ко мне, и я это чувствовал; минуту назад она сказала мне,

что вся ее жизнь несусветный бред, но что бы она в этом бреду ни делала, в ее жизни есть два человека, ее подруга и ее муж, к которым она всегда может вернуться, что на нашем с ней общем языке означало, что мы можем делать все что угодно! я не должен ее бояться, она чувствует себя в безопасности и даже если их бросит, и тогда не сожжет за собой все мосты.

У так называемых откровенных признаний, затрагивающих самые главные для нас в жизни чувства, есть, однако, такое свойство, что признания эти одновременно являются и предательством.

Например, когда кто-то говорит о том, почему он не любит родину, то этим признанием он невольно описывает любовь и стремление действовать, в то время как даже самое серьезное и самое пламенное признание в любви к родине или в верности ей свидетельствует скорее об отвращении, о том, сколько боли, печалей, глубочайших терзаний и парализующей беспомощности доставляет этому человеку родина, и паралич воли к действию он невольно скрывает за восторженными словами лояльности.

По ее сдержанным и скупым, вывернутым наизнанку и как бы намеренно неубедительным словам я понял, что не ошибся и фрау Кюнерт была неправа, за последние недели Тея действительно изменилась, она стоит у какой-то черты, и ее признание прозвучало, видимо, потому, что привязанность, дававшая ей уверенность в жизни, стала уже нестерпимым бременем, и она поделилась со мною в надежде, что я подтолкну ее, помогу ей переступить черту и расстаться с тем, что ее еще связывает и в чем она уже не нуждается.

Наиболее очевидный способ сделать это с помощью рук или, может быть, моего тела был исключен, это было бы слишком, на это я не имел права.

Как я почувствовал еще в тот памятный воскресный вечер по безумным рыданиям Мельхиора, просто тела для утешения уже недостаточно: он просил его вместе с будущим, просил нечто, чем я мог бы распорядиться, только отдав это молча и не раздумывая, но я, по всей видимости из трусости, так поступить не смог и по-этому не отдал.

И поскольку я чувствовал, что тела моего недостаточно, а с другой стороны, оно здесь ни при чем, и в то же время, прислушиваясь к самым глубоким и самым темным своим инстинктам, я не менее ясно чувствовал возможность соединить их тела при моем посредничестве, то хотел только одного: служить им.

Итак, ради достижения отдаленной цели я предложил им себя в качестве нейтрального посредника, и они, из разумного эго-

изма, этим пользовались, и никто из нас всерьез не задумывался о том, что никакие нравственные побуждения или, скажем, любовная жертвенность не способны нейтрализовать половую принадлежность тела, так что мне оставалось полагаться только на хладнокровие, что, напротив, будило во мне сладострастие взволнованного злодея, готовящегося к преступлению, и, следовательно, желанием совершить поступок руководила уже не любовь, а стремление убить в своем теле, вытравить из него любимое существо.

И поэтому мне казалось, что по тропинке шагаю совсем не я, а чьи-то чужие ноги, несущие на себе полую скорлупу служения, которая, лишая меня возможности радоваться мгновению, делается свинцовым грузом, и я должен тащить этот груз ради воображаемого будущего, ради спасения своей жизни и чести.

Темный шатер хвои покачивался над стройными, красновато поблескивающими стволами сплошной, волнистой по верху, пушистой лентой.

Под деревьями, где было почти темно, тропа исчезала в плотном ковре из сухих иголок.

Тея, словно почувствовав, что у меня нет желания углубляться в чащу, остановилась на опушке леса и, не вынимая рук из глубоких карманов красного полупальто, повернулась, как бы желая окинуть взором пройденный путь, привалилась спиной к стволу дерева и медленно сползла на корточки, но не села.

Друг на друга мы не смотрели.

Она оглядывала всхолмленную местами равнину, мирно темнеющую под бегущими рваными тучами, которые то напирали одна на другую, то разбегались, приоткрывая небо, я же всматривался в густой, дышащий прелым запахом лесной полумрак, который чуть колыхался в косо падающих между краснеющими стволами лучах.

Немного спустя, порывшись в кармане, она вытащила длинную сигарету, спички и довольно долго боролась с ветром, прикуривая.

И сказала при этом, что делает сейчас то, что запрещено.

Да, с нарочитой серьезностью подхватил я, мне тоже частенько хочется сделать что-нибудь запрещенное.

Он глянула на меня, прищурившись, словно пытаясь понять скрытый смысл моей плоской остроты, но я не ответил на ее взгляд, продолжая стоять без опоры среди деревьев.

У меня такой вид, чуть громче сказала она, как будто я постоянно нюхаю что-то вонючее, а затем, уже тихо и сдержанно, спросила, не обидела ли она меня чем-нибудь.

Я посмотрел поверх ее плеча, но все же заметил, как вызывающе и насмешливо качнула она головой, и подумал вдруг, сам потешаясь над своей мыслью, а что, если я сейчас опрокину этот красный ком и втопчу его прямо здесь, под деревьями, в землю; сжатыми челюстями я так и чувствовал, как я ее топчу.

Мысль о насилии вызвала у меня отвращение; в напряженном молчании я представил себе, как после убийства возвращаюсь в квартиру на Штеффельбауэрштрассе, швыряю пожитки в свой чемодан, сажусь в самолет и с высоты замечаю ужавшееся до крохотной точки место преступления и предательский красный цвет, мелькающий среди зелени крон.

Просто женщина борется с идиотскими муками надвигающейся старости, подумал я, но почему их всех так волнует молодость? однако досада и отвращение, которые я ощущал, были связаны не со старением, а, напротив, с тем странным влечением, которое я испытывал к разрушению естественных форм, потому что я любовался размытыми увяданием чертами ее лица, и ее борьбой с этим увяданием, и тем, что она беззастенчиво демонстрирует это мне, тем самым давая мне больше, чем если бы она была молодой и лощеной.

Собственно говоря, ей жаль, что она не влюблена в меня, сказала она.

Еще как влюблена, так и хотелось сказать мне.

Она даже представила как-то, окрыленно продолжала она после паузы, по-видимому, неверно истолковав мой дрогнувший от напряженных мыслей взгляд либо не успокоившись еще от вырвавшегося у нее невольного и предательского признания, словом, она представила себе, как я выгляжу обнаженным.

Судя по лицу и рукам, по всему, что видно из-под одежды, она полагает, что я дряблый и несколько ожиревший, сказала она, и если не буду следить за собой, то скоро стану таким же противным, как Лангерханс.

И весь я какой-то вкрадчивый, такой добрый, порядочный, незаметный, услужливый, ну просто сама любезность, что кажется, будто у меня нет ни мускулов, ни даже костей, и больше всего мне бы подошла совершенно гладкая, эстетичная голая кожа, и было бы совершенно естественно, если бы от меня абсолютно ничем не пахло.

Я подошел поближе и присел перед нею на корточки; в таком случае, сказал я, взяв из ее руки сигарету, может, она расскажет, в какой ситуации она все это представляла, мне было бы интересно.

Она следила за сигаретой, словно бы опасаясь, что я выкурю слишком много, и в то же время испытывая щекочущее наслаждение от того, что через сигарету ее губы все же коснулись моих, а затем быстро взяла ее у меня, при этом, как мы ни старались, наши руки все же столкнулись, и в момент столкновения мы оба так напряглись, словно в любую минуту могла разразиться какая-то катастрофа.

Но вообще-то, сказала она грудным хрипловатым голосом, внешность обманчива; и возможно, что все мое тело лишь кожа да кости, настолько в действительности я жесток.

Но почему она не ответила на вопрос, спросил я.

Она не хотела меня обидеть, сказала она, прежде чем затануться.

Ну это ей вряд ли удастся.

Жизнь, конечно, полна недоразумений, сказала она, потому что когда я с ней говорю, у нее возникает ощущение, будто она погружается в тесто, но это не обязательно плохо.

Не надо друг друга обманывать, она представляла себе не меня, сказал я, ибо я для нее не более чем некое необходимое дополнение, небольшой дополнительный тренинг, чтобы размять суставы.

Она беззастенчиво рассмеялась, мы сидели друг против друга на корточках, и нас отделяли каких-то две пяди; оттолкнувшись спиной от ствола, она, словно заигрывая с пространством, стала покачиваться на пятках, то приближая ко мне, то отдаляя свое лицо.

Да нет же, я ошибаюсь, сказала она, протягивая мне сигарету, меня она тоже себе представляла.

Тоже, спросил я.

Нельзя быть таким ненасытным, сказала она.

Мы буквально купались в радости, наслаждаясь грубой откровенностью, отсутствием сдержанности, обнаженностью друг перед другом; морщины вокруг ее глаз разгладились, и все-таки было во всем этом что-то отталкивающее, как будто мы с нею открыто обменивались сейчас самыми примитивными, самыми неглубокими своими свойствами.

Она даже представляла себе, сказала она, или по крайней мере пыталась представить, какой же фигней мы могли бы с ней заниматься.

Лицо ее просияло.

В сигарете, кочующей между нами, табака осталось на одну затяжку, я осторожно передал ее Тее, она осторожно взяла ее и затянулась так, будто за время этой последней затяжки, пока уголек

не начнет обжигать ей ногти, должно было все решиться; затягиваясь, она сощурилась всем лицом, спрятав в этом прищуре свой стыд.

Но почему то, что мы сейчас с Теей делаем, происходит не с ним, не без ехидства подумал я второй, худшей половиной своего я.

Однако вопрос этот показался мне скорее возможным ответом на более широкий вопрос: интересно, почему мы считаем прямой телесный контакт, физическое удовлетворение, обретаемое в теле другого, более полным и более роковым, чем духовное удовлетворение, почему вообще в отношениях между людьми физическое соприкосновение является единственным и неопровержимым доказательством подлинности их отношений, а далее, где-то совсем на периферии мышления возник даже вопрос, не является ли война точно таким же, одновременно необходимым и ложным удовлетворением в отношениях между человеческими сообществами, ибо мы слишком хорошо знаем, что в большинстве случаев физическое взаимоудовлетворение является не более чем манипуляцией биологическими потребностями, то есть не истинным утолением жажды, а быстрым, легко достижимым и ложным физическим утешением, компенсацией за недостижимость духовного удовлетворения.

Вообще-то у нее возражений нет, сказала она, и больше уже не откидывалась на ствол дерева.

Сияние радости на ее лице померкло, в задумчивости она глухо вдавила окурок в землю, разворошив толстый слой сухой сосновой хвои.

Ну разве лишь то, продолжала она, помолчав, что когда от женщины что-то берут, она должна ощущать, что это берут именно от нее, и когда это так, она одобряет это почти бессознательно, инстинктивно.

Как ни странно, она никогда нас не ревновала, за исключением, может быть, только первого момента, в опере, когда она поняла, что, собственно, происходит, да, тогда ревновала или, точнее, была просто не готова к такому повороту событий; и, кстати, мне никогда не приходило в голову, что на самом деле свела нас она?

Однако на следующий день, когда мы вместе появились в ее доме и она увидела, с каким трудом мы пытались скрыть, что между нами произошло, и как забавно мы силились быть серьезными, вот тогда ревность ее улетучилась, она даже радовалась за нас, точнее, нет, разумеется, назвать это радостью было бы чересчур.

И заметил ли я, спросила она, что женщины проявляют гораздо больше терпимости к гомосексуальности мужчин, чем сами мужчины.

Да, конечно, думает женщина, это ужасно, противостоит природе, отвратительно, но все-таки я его мать.

Она замолчала, опустил глаза, и все уминала, разравнивала землю, рассеянно и как бы издали наблюдая за противопожарной деятельностью своих пальцев.

У меня было чувство, что она еще что-то скажет, ей трудно, но она это обязательно скажет, и, видимо, потому я молчал, ибо речь теперь шла о нас двоих.

559

Я должен понять, что в этой крайне унижительной для нее ситуации она может сколько угодно мной издеваться, мучить меня, говорить пошлые, неприятные вещи, тем не менее она все равно благодарна мне за то, что самым своим существованием я удерживаю ее от чего-то, что действительно может стать трагедией – или фарсом.

Она снова умолкла, все еще не могла что-то выговорить.

Потом подняла на меня глаза.

Я старая женщина, сказала она.

В ее признании, взгляде, в слегка дрогнувшем голосе не было ни тени бравады или самосострадания, что было бы в ее положении вполне естественным, и ее прекрасные карие глаза, преодолевая чувство беспомощности, смотрели на меня так светло и открыто, что физический облик ее лица тут же перечеркнул значение ее фразы.

От той внутренней силы, которую она собрала, чтобы произнести ее, и которая ослепила мои глаза, она перестала быть женщиной, перестала быть старой, красивой или какой-то еще, а стала просто человеческим существом, которое в этой все-таки поразительной бесконечными своими возможностями вселенной терзается нечеловеческими муками поисков своего места, и это было красиво.

Разумеется, в комнате сделать такое признание она не смогла бы, там все кончилось бы бесконечным и нудным самокопанием или постелью; в четырех стенах это признание наверняка показалось бы мне комичным, слишком правдивым или слишком лживым, и в зависимости от этого я либо протестовал бы, либо едко иронизировал над ним, но здесь эти несущие смысл звуки было нечему отражать; покинув ее уста, они ударились о мое лицо, часть я принял в себя, а излишек куда-то пропал, растекся по всей округе или где-то обрел себе окончательное пристанище.

И в этот момент я почувствовал, что источником ее красоты всегда было невыдуманное страдание, я встретил в ней человека, который не хочет ни избавляться от собственного страдания, ни злоупотреблять им, а хочет просто сохранить способность испытывать боль, сохранить ее ради меня, и, наверное, именно это свойство я внутренне одобряю своим к ней влечением; она не стремится вызвать сочувствие, потому-то и протестует так бурно против метода сопереживания, она ничего не скрывает, и когда она что-то обнажает в себе, то я чувствую, что она обнажает это во мне, обнажает то, что скрываю я.

И в ответ на ее страдание я открываю свое, в чем-то схожее, но вечно покрытое завесой самообмана и жалости к самому себе.

Нет, стара она не годами, добавила она тут же, словно желая словами подавить и во мне, и в себе даже видимость жалости, нет, по возрасту она могла бы считать себя вполне молодой, дело не в возрасте, а в душе, хотя это тоже глупость, нет у нее никакой души, дело в чем-то другом, что происходит одновременно с ней и внутри нее.

Очень странно, продолжала она, что в последнее время, когда ей нужно играть пылких любовниц, всяких вампирш и прочих соблазнительных самок, что у нее всегда получалось неплохо, она замечает, что, падая в объятия разных чужих мужчин и целуя разные рты, сама она как бы при этом отсутствует, как будто вместо нее любовь играет кто-то другой.

Может быть, она скажет глупость и поэтому просит простить ее, но любовь и желание она ощущает теперь не к кому-то, не к живому и здравствующему человеку, а ко всем, хотя это глупо звучит, к любому, ко всему, что для человека недостижимо, да она и не хочет ничего достигать, однако от этого чувства ей делается очень тоскливо.

Но если она действительно ничего не хотела бы, то не могла бы играть, тихо сказал я, а поскольку играть она хочет, то все же должна достигнуть того, чего сама не желает.

Ресницы ее нерешительно дрогнули, она либо не поняла, либо не хотела понять мое замечание и пропустила его мимо ушей.

Было бы ложью сказать, что это первое в ее жизни фиаско, нет, сказала она, далеко не первое, она всегда была недостаточно красива, недостаточно обольстительна, и поэтому жила в состоянии вечного поражения, но к этому она привыкла.

А впрочем, не надо об этом, неожиданно осеклась она, уж слишком смешно и пошло обсуждать это именно со мной, хотя с кем же еще?

Я не хотел прерывать ее ни вопросами, ни ободрением, ни чутким дружеским утешением, зная, что всякое лишнее слово могло оттолкнуть ее; а я был уверен, что она продолжит, хотя принял бы с пониманием, если с этой минуты она не сказала бы больше ни слова.

По голосу, аромату дыхания, ударяющему мне в лицо, я чувствовал, что она говорит не со мной, слова ее, отражаясь от моего тела, становятся при моем посредничестве речью, обращенной к самой себе.

Она решила подняться, но поднялась так, будто все тело ее было наполнено гневным желанием, которое не давало ей до конца распрямить колени, желанием быть уродливой и сутулой.

Кожа на подбородке была натянута.

Нет, сказала она, это тоже неправда.

Сказала, словно перекусила и слово, и то, что за ним скрывалось.

И от этого мне стало больно, ведь она уже почти все сказала.

Но ее не волнует правда, ничья.

Иногда ей приходится делать вид, будто ей неизвестно, что значит испытывать унижение.

После того как они познакомились, было время, когда она думала, что готова ради него все бросить, но, к счастью, теперь она несколько отрезвела.

Даже готова была убить Арно, который ночами изводит ее своим храпом.

Да, кстати, должна признаться, что это она звонит по ночам.

А идиотская мысль насчет старости пришла ей в голову потому, что от этого месяцами длящегося унижения ее тело просто пошло вразнос, а мозги, сколько бы она ни клялась себе, что покончит с этим, все равно направлены на одно, как у свихнувшейся школьницы, которая думает только о том, что она уродина.

И из-за всей этой ахинеи, которой она занята постоянно и совершенно бессмысленно, у нее ничего не осталось; и при этом еще приходится наблюдать наши счастливые рожи.

Тут я хотел объяснить ей, что относительно счастья она права, только более тяжких страданий, чем это счастье, я еще никогда не испытывал; но сказать это ей было невозможно.

Ко мне она его не ревнует, сказала она, не ревнует? да, пожалуй, это не ревность, а скорей отвращение, что-то вроде того, что мужчины пишат на стенах клозетов: всех пидоров надо кастрировать, негромко и примирительно рассмеялась она; нет, конечно же,

это не ревность, она это знает и в действительности, несмотря на все гадости, которые она говорит мне, к нашей связи она относится даже с каким-то странным и снисходительным одобрением и не может его ревновать ко мне, как к какой-нибудь другой женщине, я скорее как бы замещаю ее, что, естественно, унизительно, и она, при всем нежелании вступать между нами, все же звонит по ночам, ну не может с собой ничего поделывать.

Но теперь, когда она все рассказала, наверное, перестанет звонить.

И если во всем этом бесконечном безумии у нее еще сохранилась хоть капелька здравого смысла, то она понимает так, что эта немислимая затея понадобилась ей потому, что на самом-то деле он ей совсем не нужен, но она почему-то всегда желает того, что не может произойти, а зачем, это ей и самой непонятно, но в данном случае у нее уж точно ничего не получится, стара она для таких невозможных вещей.

Она уже больше ничего не желает.

Даже умереть.

И почему так случилось, что вся ее жизнь вдруг рассыпалась и она ничего не может найти, точнее, все, что еще находит, оказывается ничем.

Даже сейчас, когда она это говорит, она чувствует, что и это ничто, что все слова ее ничего не значат, просто есть у людей привычка, вынуждающая их постоянно произносить ничего не значащие слова.

Так что на этом она закончит, пора идти.

И мне тоже придется встать.

Она говорила негромко, и я даже не сказал бы, что в ее голосе слышна была страсть или сдерживаемое волнение, но все же ей пришлось утереть выступившие над верхней губой невидимые капельки пота.

И в этом жесте действительно было что-то старческое или, во всяком случае, нечто такое, чего молодые остерегаются, находя это недостаточно эстетичным.

Я поднялся, и наши лица опять едва не столкнулись; она улыбнулась.

Ну вот, на спектакле под открытым небом я ее еще никогда не видел, сказала она и склонила голову набок.

Эта последняя, несколько неуклюжая попытка поставить точку, вновь отдалиться несколько отрезвила и меня – быть может, именно потому, что была неловкой, стеснительной, словно она укусила

сама себя, укусила больно, но для того, чтобы избежать еще большей боли; и я снова ощутил прохладу, почувствовал терпкий осенний сосновый дух и щемящую крохотность наших тел на фоне необъятно просторной округи.

Мне нестерпимо хотелось уйти отсюда, вернуться к ее машине, укрыться в ней, как будто замкнутое пространство могло предоставить какую-то безопасность; вместе с тем, несколько отдалившись от ее слов и жестов, я понял, как жестко она дала мне понять, на сколь опасный путь я осмеливаюсь ступить, создавая видимость, будто пытаюсь удержать ее от чего-то, к чему на самом деле подталкиваю просто своим присутствием, и, следовательно, недавно мелькнувшее у меня желание убить ее было вовсе не той невинной игрой воображения, какой я его представлял: сознательно подавляемое любовное вождение неизбежно рождает убийственные порывы, и если я даже добьюсь своей цели, сведя их друг с другом, то что мне останется делать с этим порывом – убить себя?

Или, может быть, все обстоит иначе, небрежно пожав плечами, подумал я, мысленно поменяв местами причину и следствие: я хочу их свести, потому что хочу бежать от них, ищу себе женщину, и в конце концов мне не важно какую, лишь бы она была женщиной, и чувствую, что мужская плоть меня не удовлетворит, потому что ее будет слишком много или слишком мало, словом, все это происходит со мной потому, что мне нужно убить в себе любовь к Мельхиору, ибо придать ей постоянство я не могу, боясь в глубине души того самого наказания, о котором другие, запутавшись в собственной сексуальности, пишут всякие гадости на стенах клозетов.

Но бежать я не мог, потому что на языке у нее повисло еще кое-что, что можно было сказать только после такого грубого, обольстительного и продуманного вступления, и поэтому, нарушив установленную ею самой дистанцию, ей нужно было вернуться в полный мелких холодных расчетов утилитарный мир.

Я ждал, и по моим глазам она могла видеть, как мучит меня это ожидание, так что успех был ей обеспечен, она могла спрашивать, говорить что угодно, она была уязвима, только пока раскрывала мне свою душу, теперь же, после того как она это сделала, уязвимым стал я.

Освободиться от этого чувства взаимной уязвимости было невозможно: сознательно контролируемое желание, моя беззащитность и скрываемое намерение добиться ее с помощью человека, которого она любит, беспомощность, смехотворность,

бессмысленность всей ситуации доводили меня до слез; она же сдержанно, пользуясь явным своим преимуществом, легко погладила меня по щеке, словно бы убеждая себя, что я расчувствовался от ее истории, и не замечая, не желая видеть, что мое волнение в не меньшей мере вызвано моей обреченной на бессилие страстью; но все же пальцы, коснувшиеся моего лица, предательски дрогнули, я это почувствовал, так же как и она, и с этим ощущением мы оба переступили порог еще недавно страшившей нас катастрофы, что вызвало еще большую панику, точнее сказать, отпугнуло нас друг от друга.

И чуть позже, по-прежнему трезво и по-прежнему ощущая свое превосходство, она взяла меня под руку.

Не окажись любовная этика сильнее любовной страсти, я не оставил бы ей времени на этот жест и ответил бы на дрожь ее пальцев ее губам, и если бы это случилось, она, несомненно, не только не возразила бы, но излила бы в меня через губы всю беспомощность, однако поскольку этого не случилось, ее губы дрожали – от стыда и обиды за неполученное.

Так что нам пришлось опять отступить, ибо любовная этика не терпит присутствия в страсти ни малейшего чуждого элемента, все должно быть направлено только и исключительно на партнера, и только через него может иметь отношение к чему-то третьему; это отступление снова превратило меня в инструмент, который она держала в руках так крепко, как этого требовала ее цель – заполучить третьего; но и я, однажды и, как видно, бесповоротно ступив на этот несомненно темный путь, уже не мог отказаться от своей цели – при помощи третьего заполучить ее.

Выходит, запинаясь сказал я, что она не любит меня; на ее языке я смог это выразить с помощью более прозаического, не столь однозначного слова, как если бы я сказал по-венгерски, что она не слишком симпатизирует мне.

Но ведь она меня любит, сказала она.

Последний слог был произнесен уже на моей шее, был выдохнут в мою кожу, превратившись в короткий и быстрый поцелуй.

И от этого все прежние чувства, конечно, пропали.

Переполненные ощущениями, дополнявшими и усиливавшими друг друга, немного ошеломленные их новизной, мы держали друг друга в объятиях, испытывая то, что человеческий мозг из опасения разрушить какие-то связи уже не может и не желает анализировать, называя по именам детали; но все же я чувствовал, что обнимались как бы два пальто, несколько театрально, несколько

холодно, то есть что-то так и не разрешилось, потому что в двух телах, как бы жарко они ни обнимались, сколь угодно жарко! все равно было недостаточно адресованной только друг другу страсти, или в страсти не было достаточно сопряженных друг с другом деталей, и потому, вопреки надеждам, ничто, никакая сила не могла развеять, размыть, нейтрализовать ощущение обнимающихся пальто.

В таких или аналогичных ситуациях на помощь нам, разумеется, может поспешить наш любовный опыт; воздушными, осторожными, легкими поцелуями в шею я, конечно, мог бы помочь ей разять стыдливо сомкнувшиеся на моей шее губы; трех-четырех маленьких поцелуев было бы достаточно, чтобы рот ее снова раскрылся, а тело ее нужно было бы в это же время несколько отдалить от себя, ослабить близость, и тогда она тоже могла бы целовать меня в шею так, чтобы быстрый обмен этими поцелуями вновь пробудил в нас желание близости, и желание это можно было бы утолить уже только сближением губ, и так далее, пока мы не достигли бы состояния, когда всякая близость кажется недостаточной.

И этого бы хватило, чтобы наши тела нашли путь к архаической инстинктивной страсти, и для этого не потребовалось бы ни обмана, ни фальши, ни какого-то грубо эгоистичного сладострастия, ничего пошлого, потому что ведь мы любили друг друга по-настоящему, вместе с пальто, несмотря на пальто, вместе с неловкостью, несмотря на неловкость, но тогда нам, увы, пришлось бы нарушить моральные нормы любовного чувства.

Ей приходилось немного приподниматься на цыпочки, что делало ее особенно обаятельной, губы еще какое-то время покоились на моей шее, она ждала, совершу ли я то, что диктует мне опыт, мой рот тоже приник к ее шее, ожидая такой взаимности, которая исключала бы третьего; тем временем тело мое ощущало слабые толчки ветра.

Но она все же, видимо, не хотела, чтобы мой рот делал что-то только из искушенности, она первой уступила навязчивому присутствию Мельхиора, и это было естественно, ибо я был ближе к нему, а позволить себе, так сказать, оступиться всегда может лишь тот, кто находится в своем праве; она слегка оттолкнула меня, не разрывая объятий, и посмотрела на меня всем лицом, так приблизив его к моему, что глазам моим, пытающимся найти нужный фокус, стало немного больно, хотя эта тупая, проникающая в мозг боль тоже может быть благодатной, потому что чужое лицо

воспринимается на таком расстоянии как свое и обессилевший от неопределенности взгляд впитывает в себя неопределенно близкое зрелище.

Ее чувства еще никогда не обманывали ее, сказала она хрипловатым взволнованным голосом, и запах ее слюны, хоть и смешанный с запахом табака, был все-таки сладким и женским, поразившим мое отвыкшее от женских запахов обоняние; и то, что она сказала, относилось одновременно и к нам, и к тому, кто стоял между нами.

Но притягательность этого аромата была все же не настолько сильной, чтобы я не почувствовал вместе с тем невероятное отторжение; от этого голоса, от ее лица нужно было бежать! оно было не просто ошеломленным, точно так же, как и мое, и не просто отвечало своей ошеломленностью на мою, оно было безумным, маниакальным, и я уже не впервые подумал, что она сумасшедшая.

И все, что она говорила, что делала, все ее силы, желания, любопытство исходило из крохотной, деформированной, болезненной и ищущей облегчения от этой боли точки, и там же, в этой маленькой точке, концентрировались все силы, желания, любознательность, проникающие из внешнего мира; и если бы я каким-то чудом мог освободить нас от всех одежд и каждой частичкой своего тела умолял бы ее тело о милости, целовал бы ее, ласкал и даже проник бы в ее увлажнившиеся половые губы, я все равно бы ее не достиг.

Я видел, что в тот момент она испытывала желание только отдалиться, но не испытывала необходимости во взаимности.

Собственно говоря, все это было смешно, но я испугался, я пришел в ужас, решив, что она сошла с ума, а значит, я тоже наверняка свихнулся.

И вопреки собственному убеждению мне пришлось признать, что кипевшая ревностью фрау Кюнерт, вероятно, была права; похоже, что Тея действительно использует всех людей и все чувства как некие инструменты, и поскольку в этот момент таким инструментом был я, полностью подчиненный власти ее чувствительной, почти невесомой руки, аромату и вкусу кожи, который я только что ощущал губами на ее шее, положение дел казалось мне уже не забавным, а скорее трагическим.

Как я дошел до этого?

Тот, кого выбирает она, хрипло прошептала она, выбирает ее, во всем остальном она может заблуждаться, может быть дурой, уродиной и старухой.

Нет, нет, она определенно сошла с ума, подумал я, ибо мысль эта словно бы защищала меня.

Она может быть отвратительной, глупой, но в этом не ошибается никогда! и я должен сказать ей, проговорила она, дыша мне в рот, от чего я мог бы избавиться только очень грубым движением, потому что ей кажется, она чувствует это впервые в жизни, что, возможно, она обманулась, и я должен сказать ей, любил ли когда-нибудь Мельхиор женщину.

Только безумие может заставить вложить столько невероятной физической и душевной энергии в столь примитивный вопрос.

567

Я мягко отстранил ее от себя, и жест этот, каким бы щадящим он ни был, все-таки оказался жестоким, но избавить ее от этой жестокости не входило в мои намерения.

Наши руки бессильно повисли, тела, отшатнувшись, нашли равновесие, и лицо ее, повернутое ко мне, показалось таким обнаженным, и точно таким же было наверняка и мое лицо, как будто мы видели не поверхность, не кожу друг друга, а мясо и кости, струящуюся по жилам кровь, разделяющиеся клетки, то есть все то, что в человеческом организме имеет самодовлеющий смысл и не связано с другим человеком; в этот момент я должен был бы сказать: конечно, бросим эту немыслимую игру, в которую мы играем друг с другом в ущерб третьему, хотя делаем вид, что играем ради него.

Так я хотел сказать, но все-таки не сказал.

Хуже того, похоже, беспощадность этого жеста нужна была мне только для того, чтобы скрыть за нею более отдаленный, подразумевающий и пощаду расчет: ситуацию, не имеющую решения в своих рамках, я выталкивал из тупика и переводил в другую, следующую ситуацию, тянул время и тем самым оставлял ей некоторую слабую надежду.

Для меня ее отчаяние было мучительней, ведь высказавшись, она снова ослабила давление безысходности, и действительно, на лице ее, только что обнаженном, тут же появился слабый свет радостного удовлетворения и беззастенчиво грустная усмешка, которая намекала не только на заданный вопрос относительно Мельхиора, но и на вопрос еще более циничный: а что, собственно, такого мы с Мельхиором делаем, что настолько уж отличалось бы от той формы любовных манипуляций, которыми с ним ли, со мной ли могла бы заниматься она? или, может быть, нет никаких отличий? но меня этот слишком уж пошлый и приземленный вопрос лишь сильнее заставлял ощутить то отчаяние, от которого я хотел спасти Мельхиора.

Я ошибся, думал я почти вслух, человек так или иначе всегда ищет связи с другим человеком только через его пол, и никогда не соединится с ним, если другой человек либо того же с ним пола, либо, может быть, не нуждается в этой связи; я ошибся или сошел с ума.

Конечно, я мог бы без затруднений все рассказать ей, ответить на любые ее вопросы теми простыми словами, которых она ждала, но в этом случае мне пришлось бы говорить о связи, существующей сообразно моему я, такими словами, которые все до единого совпадали бы со словами, сообразными моему полу, что было бы ложью, обманом, самообманом, предательством.

Надо идти, сказал я вслух.

Еще рано, она хочет еще прогуляться, сказала она.

Я не мог думать ни о чем, кроме того, что я был неправ, ведь в конце концов все это так просто, и скорее всего права она, потому что чувствует простоту вещей своим телом, чего, очевидно, не чувствую я; если она захочет сварить суп, то возьмет овощи, мясо, специи, понадобятся также вода и горшок, под которым она разведет огонь, только и всего, для всех это совершенно просто, и значит, я ошибаюсь – или сошел с ума.

Но поскольку ничего из этого я ей сказать не мог, я без слов повернулся и двинулся было назад.

Как человек, который только проснулся и не знает, где он находится, так и я хотел было двинуться, но не нашел под ногами тропинки, потому что дошел до конца пути, к которому привела меня идея или заблуждение; я как бы не мог понять, что это, почему, как мы здесь оказались, кто эта женщина, я оказался как бы в другом месте, не там, где мы были, потому что пространство вокруг меня изменилось, повернулось другой стороной, и я обнаружил себя в незнакомой точке незнакомого мира, точнее, не обнаружил, потому что меня не существовало, и, стало быть, я не проснулся, а провалился в еще более глубокий слой ощущения ирреальности.

Потерявшая цвет равнина выдыхала из себя серую мягкую непроглядную мглу; и лишь по краям сгрудившихся на небе туч виднелись терзаемые ветром красные блики заката, а внизу, на земле, не было ни границ, ни изгибов, ни линий, и, стало быть, кончилось время, которое жило во мне бесформенным содержанием, до бесконечности распадающимся на детали; мои глаза видели только бесформенность.

Я пребывал в хаосе, двигаясь ни вперед, ни назад и, конечно, не по тропе, потому что тропа тоже просто понятие, которое мы

придумали для того, чтобы с его помощью попытаться избавиться себя, отвязать от той неподъемной материи, из которой мы состоим; так что все хорошо, все в порядке, нет тропы, есть только земля, вытоптанная чужими ногами, и нет мглы, есть только вода, агрегатное состояние, и повсюду, везде и во всем, есть только недвижимая материя.

Ну разве что красный свет на краю водянистого облака, но ведь и он тоже только пыль, песок, дым, осадок земной материи; или, может быть, все же свет, невидимый в чистом виде?

569

Я молчал, потому что вокруг не было ничего, лишь материя, вес которой я ощущал; и мне захотелось воскликнуть: так значит, у меня отобрали и красоту, красоты больше нет, нет формы, ибо форма, опять же, всего лишь понятие, с помощью которого я пытался вырвать себя из бесформенности, из своей бесформенности, но все мои логические усилия были смешны – если есть лишь материя, во всяком случае, судя по весу и по хаосу, которые я ощущаю, то кто мог что-то у меня отобрать?

Когда она открыла мне дверь машины и я сел рядом с ней, по лицу ее было заметно, что она успокоилась, что все в ней притихло, и я видел, что, выглядывая из-за этой тишины, она очень осторожно за мной наблюдает, все внимание ее направлено исключительно на меня, как будто она присматривает за тяжелобольным или умалишенным, а перед тем как начать возню с зажиганием, она посмотрела на меня таким взглядом, как будто поняла что-то из того, что между нами произошло.

Куда, спросила она.

Она раньше этого никогда не спрашивала, сказал я; и спросил, почему она спрашивает сейчас.

Она отжала ручной тормоз и пустила автомобиль под уклон.

Хорошо, сказала она, тогда отвезет домой.

Нет, сказал я, мне нужно к Мельхиору.

Двигатель зачихал и, яростно сотрясая гремющую колымагу, завелся; мы доехали до шоссе, фары выхватывали из полумрака куски дороги, которые методично подминали под себя колеса.

Вот и мы знай подминаем под себя будущее и выпускаем позади себя прошлое, называя это движением вперед, хотя данное разделение чисто условное, субъективное, а к последовательности повторяющихся во времени элементов применимо только одно понятие, называемое скоростью, это и есть история, ничего иного, такова и моя история, я ошибся и обречен на вечное повторение своих ошибок.

И все же теперь своим молчанием, своим сдержанным спокойствием и вниманием она давала мне некую слабую надежду; это я тоже чувствовал.

Чуть позже я спросил, знает ли она, что Мельхиор готовился стать скрипачом.

Да, она это знает, сказала она, но лучше нам больше не говорить о нем.

О чем же тогда говорить, спросил я.

Ни о чем, сказала она.

А знает ли, почему он бросил, все же спросил я.

Нет, не знает, да и не хотела бы сейчас знать.

Пусть представит себе семнадцатилетнего юношу, сказал я, и то обстоятельство, что мне приходилось перекрывать своим голосом механический шум дрянного двухтактного двигателя, то есть достаточно громко, почти крича, говорить о вещах, которые могли быть реально осмыслены только в полном душевном покое, лишь помогало мне в этом новом моем лицедействе; я чувствовал, что должен предпринять еще одну попытку, теперь уж и правда последнюю, и необходимость повысить голос казалась мне в то же время мстью, я как бы говорил: вот, пожалуйста, ты хотела узнать, так слушай! а с другой стороны, так было легче касаться и осквернять запретное и легче переживать стыд предательства.

Пусть представит себе семнадцатилетнего юношу, которого в симпатичном старинном городке, не слишком пострадавшем во время войны от бомбежек, превозносят как вундеркинда, странным голосом, пересиливая шум мотора, прокричал я и спросил, бывала ли она там, потому что мне вдруг показалось очень важным, знакомы ли ей эти дома, эта улица, атмосфера, аромат зимних яблок, разложенных на шкафу, поросший кустами ров вокруг старого замка и пятно над кроватью на потолке.

И когда я все это вспомнил, то почувствовал, что уже с первого слова начал неправильно, потому что историю составляет материя, и без этой материи ее не расскажешь.

Нет, к сожалению, она никогда не бывала там, но теперь ей хотелось бы говорить не об этом, или лучше мне помолчать.

Я должен был бы рассказать ей о том вечере с липким слоистым туманом в безветренном воздухе, когда мы вышли из дома на Вёртерплац и остановились, не зная еще, куда двинемся, потому что решение о маршруте вечерней прогулки мы всегда принимали в зависимости от сиюминутных эмоциональных потребностей и наших более отдаленных планов.

И может ли она представить себе состояние, прокричал я, когда подросток еще не видит различия между физической красотой и мерой своих возможностей?

Подняв голову высоко, чтобы удерживать в равновесии свои жуткие очки, она неохотно слушала, при этом делая вид, что следит только за дорогой и я зря стараюсь: мой голос значит для нее не больше, чем грохот и гул мотора.

В тот вечер или, точнее, ночь, когда Мельхиор рассказал мне эту историю, нам, очевидно, нужно было место открытое и просторное, ибо, начав прогулку с короткого маршрута, мы свернули в конце концов на более длинный и вышли на берег Вайсензее, то есть Белого озера.

На террасе пивной мы взяли два опрокинутых друг на друга металлических стула, сиротливо поскрипывавших в темноте, и, не собираясь особо здесь задерживаться, расположились, чтобы только перекурить; было холодно.

Времени было, наверное, около полуночи, с озера иногда доносилось кряканье диких уток, но в окрестностях все было безмолвно, темно, неподвижно.

Я рассказывал ему о своей сестренке, о ее смерти, об интернате, куда ее отдал еще мой отец и где я посетил ее только однажды и больше не смел туда возвращаться; а о единственном том посещении я рассказал ему, как она, вспомнив нашу давнюю игру, встала между моими коленями, что означало, что я должен стиснуть ее.

И я сжимал ее, а она часа полтора беспрерывно смеялась, просто смеялась и ничего не делала, что на ее языке означало, что ей хотелось чем-то угодить мне, что вот такая она веселая, и если я заберу ее отсюда, то взамен она отдаст мне свою бесконечную радость, хотя может быть, продолжал я, все это мне говорила моей собственной безучастности.

Облокотившись о стол и подперев щеку ладонью, он смотрел на меня сверху вниз, потому что я, подтянув под себя еще два стула, улегся на них и положил голову ему на колени.

А два года спустя, сказал я, за которые я так и не удосужился ее навестить, я нашел у себя на столе записку: твоя сестра умерла, похороны тогда-то.

Свет не проникал сюда, и мы видели лица друг друга, только когда затягивались сигаретой.

Он слушал меня терпеливо, но с некоторой отчужденностью.

Мельхиор чуждался всего, что было связано с моим прошлым; всякий раз, когда я о нем говорил, он слушал с деланной вежливостью,

но весь напрягался при этом, словно не мог позволить впустить в себя еще и мое прошлое; словно настоящего, происходящего в данный момент, и моего присутствия ему было более чем достаточно.

Я мог бы сказать и так, что он смотрел на меня со сдержанностью зрелого, занятого своим настоящим активного человека, смотрел с некоторым изумлением и снисходительностью к моим слабостям, потому что любил меня, однако явно не одобрял моей склонности ковыряться в деталях прошлого, что у нормальных, взрослых мужчин, раз и навсегда оставивших все минувшее позади, просто не принято.

Но вместе с тем, пока он слушал меня, в нем происходил и прямо противоположный процесс, ведь он машинально, даже не замечая того, всегда исправлял мои грамматические ошибки, у нас это вошло в привычку, то есть он как бы сам выстраивал для себя мои фразы, дополнял их и вводил в сферу педантичного родного языка, я же, продираясь сквозь лингвистические дебри, опираясь на эти адаптированные им предложения, продолжал свой рассказ как бы его словами и даже не замечал, что отдельные, уже ставшие общими фразы иногда приходилось повторять два-три раза, чтобы они встали на место, обрели нужный смысл и достигли наконец своей цели.

Рассказами о своем прошлом я как бы пытался выманить из него историю его прошлого.

В то время я не задумывался об этом, но сегодня полагаю, что в этих вечерних и ночных прогулках мы нуждались не из-за простой потребности в бодрящем движении, а потому что могли таким образом поддерживать связь с этим по разным причинам, но одинаково неприятным и чуждым для нас обоим миром, причем делать это так, чтобы мир ничего не узнал об отношениях между нами.

Мне нравилось, как он курил.

Было в его движениях нечто торжественное, когда, щелкнув по пачке длинными пальцами, он вытягивал из нее сигарету, а потом неспешно прикуривал и затягивался; глубоко, с наслаждением затянувшись, он задерживал в легких дым и медленно, вытянув язык и пуская губами кольца, выдыхал его, любуясь зрелищем и иногда осторожно нанизывая кольца на палец, а между затяжками держал сигарету так, словно хотел сказать: вот она, сигарета, и все могут видеть, какой исключительной благодати мы удостоились, будучи в состоянии вот так мирно, спокойно курить! что означало, что курение было не простым выкуриванием простой сигареты, а неким осмысленным действием.

Это не было признаком скупости человека, отказывающего себе во всех, кроме самых маленьких, удовольствиях, или признаком ненасытности в погоне за наслаждениями, по всей вероятности, это было следствием того пуританского воспитания, которое приучает недоверчиво и тщательно взвешивать все понятия, цели и средства и никогда, ни при каких обстоятельствах не допускать, чтобы вещи просто происходили с нами, но, напротив, участвовать в них, понимать их смысл, то есть в каждый отдельный момент существовать осознанно, даже чуть возвышаясь над смыслом и фактом собственного бытия, и своими понятиями и суждениями как бы брать бытие за бока.

Когда я был с Теей, то случиться могло что угодно, что, с другой стороны, означало, что ничего не случилось, даже если что-то случилось; когда же я был с Мельхиором, у меня было чувство, что что бы ни произошло, иначе и не могло произойти, что всякое происшествие в порядке вещей и при этом, казалось, заранее предопределено.

Я не знаю, какая фраза или какой незначительный поворот в моей истории могли захватить его, но его отчужденное тело, напряженное от сдержанного внимания, еле заметно дрогнуло, словно ему неудобно стало держать мою голову на коленях; все осталось как было, он не обмяк, не прикоснулся ко мне, не ослабил своей зрелой невозмутимости, но за сдержанным его самообладанием ощутилось какое-то жгучее беспокойство.

В конечном счете, в том, что мы можем рассказать о своей жизни, обычно нет ничего такого, что в том или ином виде не происходило в жизни другого и что ему, молчаливому слушателю, кажется чем-то исключительным; мы потому и рассказываем, что знаем наверняка, что эта наша история дремлет и в его душе.

И каким бы зрелым, каким бы в настоящее время уравновешенным ни был наш слушатель, какой бы прочной, непроницаемой стеной ни отгородился он от своего прошлого, услышав незамысловатую, но поведанную как нечто необыкновенное историю, он не может сдержаться, в нем оживают и тут же требуют рассказа похожие случаи из его собственной жизни, и он с детской наивностью готов воскликнуть: да со мной тоже такое было! и от счастья обнаруженного сходства слова двух разговаривающих друг с другом людей неожиданно приходят в сцепление.

А с другой стороны, если эти истории рассматривать в более широкой перспективе, а рассказ о них считать необходимым условием поддержания психического здоровья, то мы можем сказать,

что возникающая взаимность и даже само рассказывание помогают определить вес и значимость нашего опыта, ну а сходство, которое выявляется в опыте, взаимно и сообща измеренном, позволяет нам разглядеть некую закономерность или даже закон, и таким образом рассказывание наших историй, обмен ими, как и любое предание, сплетня, публикация уголовной хроники, травля анекдотов в пьяной компании или пересуды соседок на лавочке, суть не что иное, как самый простейший способ морального регулирования человеческого поведения; чтобы ощутить родство и единство с другими, я должен раскрыть им в рассказе свою уникальность, и напротив, только в родстве и подобии я могу обнаружить особенности, которые отделяют меня от всех остальных.

Да, кстати, была одна девчонка, перебил он меня с такой интонацией, в которой невежливость вторжения в чужой рассказ уравновешивалась готовностью поддержать тему, я, наверное, помню дом, где жил его учитель музыки, он мне его показывал, так вот, эта девчонка жила как раз в доме напротив; он уж не помнит, как все это началось, но он обратил внимание, что девчонка точно знала, когда он придет на урок, потому что стоило ему появиться, как она вставала у окна и, пока шел урок, не отходила от него ни на шаг.

Она смотрела на него, застыв в странной позе, то есть это ему поза казалась странной; вывернутыми ладонями она опиралась о подоконник, прижимая к нему и низ живота, плечи ее были вздернуты, и все тело слегка покачивалось взад-вперед, он же всегда старался расположиться в комнате так, чтобы его учитель не замечал эту их игру.

У меня было чувство, что внутри его тела сдвигается с места какая-то тяжеленная глыба, и когда, чуть помолчав, он опять затянулся, то в свете вспыхнувшего уголька я заметил, что нарочито сдержанное выражение на его лице сменилось той безответственно легкой сентиментальностью, с какой человек предается воспоминаниям.

И пока он рассказывал, мне вспомнились его несколько чуждые для меня стихи, и не то чтобы в этих стихах не было смелого полета чувств и мягкого погружения в их глубины, но он, словно бы сам пугаясь широты и чуткости мироощущения, быстро переходил в другой, перегруженный абстракциями языковой регистр, в котором уже не могли проявиться в их непосредственной и предметной форме ни его прошлое, ни настоящее, и от разреженной атмосферы отвлеченного размышления его специфический, уникальный, пропитанный простыми чувственными впечатлениями язык выдыхался.

Она была очень красивая, продолжил он, преодолев заминку, или по крайней мере тогда казалась ему красивой, но с тех пор она располнела и родила двух детей-уродцев, она была одного с ним роста, то есть довольно высокой девчонкой, позднее он видел ее и вблизи, волосы у нее были, как пушинки, очень светлые, зачесанные от решительного и крутого лба назад и связанные на затылке в пучок, и когда, очень редко, он ее вспоминает, то прежде всего видит перед собой эти пушистые волосы; ее звали Марион.

Он докурил сигарету, бросил окурок на землю и, чтобы растоптать его, приподнял мою голову, но приподнял так, как будто это был какой-то чужой и смущавший его предмет; мне пришлось сесть.

Я не должен сердиться, сказал он, что он перебил меня, собственно, это все, что он собирался сказать, уже холодно, и лучше пойти домой, но я могу продолжать, то, о чем он тут говорил, вообще не имеет значения, он и сам не знает, почему он вдруг вспомнил, все это пустое.

Домой мы шли в полном молчании, вслушиваясь в отчужденный звук наших шагов.

Наверху, в квартире, горели все лампы, как мы их оставили.

Было поздно, и оба мы делали вид, будто какими-то рутинными действиями можно завершить этот день, приведший нас в никуда.

Он разделся в спальне, и когда я, собрав со стола остатки ужина, вышел на кухню, он стоял, уже голый, у раковины и чистил зубы.

В желтом свете лампы его тело выглядело бесцветно-бледным, пах напоминал какой-то странный пучок, лопатки резко выступали из спины, живот в отчетливых контурах таза был впалым, а длинные его бедра казались тонкими, во всяком случае тоньше, чем того требовал некий эстетический идеал пропорционально сложенного мужского тела; на фоне моей одетости он был какой-то убогий и незащитный, но таким же убогим и незащитным я ощутил бы его, будь я тоже раздет, ибо тело его было сейчас очень далеко, сам он словно отсутствовал в нем, и с нейтральной позиции какого-то братского чувства к человеческой слабости и беспомощности я теперь наблюдал за тем телом, от которого вообще-то был без ума.

Окно, как обычно, было открыто, и с лестничных клеток, светившихся в темноте среди беспорядочного нагромождения брандмауэров и крыш, в него мог заглянуть кто угодно, но это его никогда не смущало.

Вытащив изо рта щетку, он оглянулся и пенящимися от зубной пасты губами сказал, что постелет себе на диване.

Потом, лежа в мертвой тишине спальни, я никак не мог вынести этого оставленного без объяснений молчания, долго ворочался, не в силах заснуть, наконец подошел к нему и решил, что лягу рядом, если он уже спит.

В темноте я спросил его, спит ли он.

Нет, не спит.

Задернутые занавески не пропускали света.

576 В темноте не ощущалось ни зова, ни возражения; нащупав край дивана, я сел, но он не пошевелился.

Казалось, он даже не дышал.

Я ощущал его тело; он лежал на спине, удобно скрестив руки на груди.

Я положил на скрещенные руки свою ладонь, ничего более, только вес ладони.

Может быть, я действительно прав, сказал он в темноте.

Голос был низкий, спокойный, казалось, он доходил до меня, минуя его тело, чужое и отдаленное.

Я не осмеливался нарушить молчание и даже пошевелить рукой.

Да, сказал он, наверное, я действительно прав.

Я не понял его, точнее, не посмел понять, и совсем тихо, едва слышно спросил, в чем я прав.

Тут он резко пошевелился, вытащил руки из-под моей ладони, сел и включил бра.

Настенный светильник под шелковым колпачком осветил сверху его голову на фоне висевшего над диваном узорчатого, сочных тонов смирненского ковра.

Он откинулся спиной на ковер, одеяло сползло на бедра, он снова скрестил руки на груди и, опустив подбородок, уставился на меня как бы снизу вверх, хотя глаза наши находились на одном уровне.

Теплый свет лампы просвечивал и выбеливал непослушные кудри его волос, по лицу протянулись длинные тени, они спускались на его крепкую грудь и падали пятнами на руки и белую простыню.

Он был красив, как портрет по непонятным причинам обнажившегося по пояс молодого мужчины, сосредоточенного в своем созерцании скорей на себе, чем на мире.

Портрет, в котором все было предельно уравновешенно: свет и красивые пятна теней, белокурые локоны и черные волосы на груди, светлая кожа на темном фоне, сочные цвета ковра и яркие белки холодных голубых глаз, покатые плечи и крепкие мышцы

горизонтально сложенных рук; красота, которую можно вобрать в себя, но которой невозможно коснуться.

Мы оба смотрели друг на друга, как опытный врач смотрит на пациента, спокойным пристальным взглядом, изучая на наших лицах возможные признаки возможных симптомов, отыскивая возможные связи между симптомами, при этом не выдавая и даже сами не ощущая своих эмоций.

Я чувствовал, что наши странствия по душам друг друга привели нас к какой-то глубокой и очень мрачной точке, я неделями кружил вокруг самых чувствительных эпизодов его жизни, достиг цели и бросил вызов, и он вопреки собственному убеждению мой вызов принял, однако, заняв позицию в этой темной сфере своей души, он напряг все силы, собрал всю энергию, словно готовился к страшной мести, и поэтому меня не смущало, что я сижу на краю дивана голый, мне казалось, будто неловкое положение моего обнаженного тела, моя незащищенность могут спасти меня от возможной мести.

Этот учитель, сказал он после непродолжительного молчания, и его голос, только что обращавшийся ко мне с глубокой теплотой, сделался таким сухим и прохладным, таким отстраненным, как будто он собирался говорить вовсе не о себе, а о ком-то другом; на его лице не было и следа той углубленной в себя чувствительности, с которой он час назад начал рассказывать эту историю; он говорил не себе, не мне, казалось, что говорила сама история или некто, способный обращаться с собой, как ученый с навеки уснувшим в склянке со спиртом жуком, когда, нацепив его на кончик булавки, он собирается разместить насекомое в своей необъятной коллекции в соответствии с его генетическими и морфологическими признаками, и при этом булавка играет неизмеримо большую роль, чем само насекомое или место, которое ему надлежит занять в системе классификации.

Он был первой скрипкой в оркестре театра, как и его настоящий, французский отец, о котором тогда он еще ничего не знал; скрипачом он был слабым, педагогом и того хуже, но в маленьком городке все-таки наилучшим, и после добрейшей и рафинированной фрау Гудрун, его предыдущей учительницы, он испытал настоящее облегчение, ему показалось, что перед ним распахнули волшебную дверь и из музыкального логова старой девы он ступил в священный чертог искусства; учитель был культурным, образованным человеком, хорошо информированным, свободным, повидавшим мир, чуть ли не светским львом, он плавал и играл в теннис,

имел обширные связи и обладал талантом поддерживать эти связи без тени назойливости, так, словно это он делал людям одолжение, и хотя он был холост, все же в классическом смысле слова содержал большой дом, и всякий мало-мальски значительный в городке человек или гастролирующий артист считал приятной обязанностью побывать у него с визитом, окунуться в его бескорыстную доброту, в его, несмотря на перенесенные им страдания, блестящее остроумие, ибо прежде всего он был добр, ну примерно как если бы Ричард III в его мирный, как он называл его, век, допустим, решил бы сделаться не злодеем, а, напротив, человеком невероятно и бесконечно добрым, ведь это же все равно, злодейство или добро, какая разница, он и своей добротой мог бы извлечь из грубого марша трагедии прелестную музыку.

И все это – не сегодняшний комментарий, сказал Мельхиор, он пытается все рассказывать так, как он чувствовал это тогда.

Он впервые увидел в те дни эту пьесу, постановка наверняка была никудышная, но его поразила эта чудовищная по размаху, устрашающая сказка о злодействе; у Ричарда был на спине огромный и острый горб, точнее, даже целых два, один большой и один поменьше, как будто под одеждой он носил два горных пика, и он не просто хромотал, а выбрасывал ногу вперед, выворачивая бедро, и при каждом шаге стонал от боли, повизгивал, как собака, что, конечно, было некоторой режиссерской натяжкой, ведь боль вовсе не обязательно приводит к злодейству, но в любом случае это было эффектно, и когда он думал о своем учителе, то всегда вспоминал этого актера; от учителя невозможно было оторвать глаз, он виделся ему красивым и очень привлекательным человеком, правда, весьма пожилым, ему было уже около сорока пяти, он был стройный, довольно высокий, всегда чем-то благоухающий, со смуглой кожей, сияющими черными глазами и длинной артистической гривой волос, аккуратно зачесанных назад, и почти совершенно седой, каким в детских глазах и положено быть старику.

Когда он углублялся в теорию и впадал в азарт, то волосы падали ему на лицо, и он элегантно жестом отбрасывал их назад, потому что азарт азартом, но он постоянно следил за тем, чтобы создать впечатление, будто все идет в полном порядке, и оно так и было, потому что эти его подчас многочасовые экскурсии были захватывающе интересными, проницательными, страстными, то были критические суждения аналитического ума, всегда увлекательные, вдохновляющие, однако когда доходило до упражнений и нужно было передать что-то из своих навыков, попросту по-

казать, что это вот хорошо, а это плохо, то за великодушной мудростью недвусмысленно проступала зависть, какой-то необъяснимый, животный эгоизм, судорожное нежелание с чем-то расстаться, хуже того, на лице его появлялась издевка, злорадство, улыбка скупца, как будто он обладал каким-то мировым сокровищем, недоступным простому смертному, и он с ним не расставался, он наслаждался, блаженствовал, видя тщетные муки ученика, и даже, пытаясь объяснить свое поведение, заявил как-то, что техники как таковой нет! он сам ею не владеет! и вообще никто! точнее сказать, если кто-то владеет техникой, то он не артист, а техник, так что зря Мельхиор старается, каждый сам должен научиться себя своей уникальной технике, которая в этих страданиях самообучения делается уже не просто техникой, а заимствуемым у материи и ей возвращаемым ощущением бытия, самой сутью вещей и в конечном счете голым инстинктом самосохранения.

Дело в том, что, борясь с материей, артист касается таких потаенных слоев своего существа, о которых прежде не догадывался, и от этого ему делается стыдно, он готов скрыть это от других, но искусство и есть таинство посвящения в эту самую жгучую тайну, потому что иначе оно выеденного яйца не стоит, часто кричал он, выходя из себя, а они тут все топчутся на пороге искусства, как бы желая сказать этим, что пора уж куда-то войти.

Нет, он бы не сказал, что любил этого человека, но все же испытывал к нему влечение, одновременно питая к нему и какие-то подозрения; он постоянно и жарко упрекал себя за свою подозрительность, однако ему казалось, что он видит в нем, знает о нем нечто такое, чего не замечают другие, что человек этот до мозга костей испорчен и лжив, что он ни во что не верит, весь полон горечи, и тем не менее у него было чувство, что учитель желает ему добра, и это добро он не только не смел отвергнуть, но, напротив, всеми силами стремился дорасти до него, стать достойным его, в то время как уши его постоянно слышали, насколько лживо все, что тот говорит ему о преддверии и чертогах искусства, лживо уже потому, что сам он в эти чертоги так и не ступил, а только жаждал ступить, однако в этой его смешной жажде было так много безысходной горечи и правдивости, столько искреннего отчаяния и печали, что все, о чем он ему говорил, не могло показаться совершенной глупостью, хотя Мельхиор также чувствовал, что вожделение это относилось не к музыке как таковой и даже не к карьере, от нее тот давно уже отказался, но к чему оно относилось на самом деле, этого он не знал, может быть, учителя обуревала жажда быть

чарующим, бесовским, будоражащим и глубоким, но вместе с тем мудрым и добрым, порядочным и отзывчивым, и предметом этого вожделения, этой невыносимой и жалкой борьбы и стал в конце концов Мельхиор.

580 После каждого урока он бежал из дома учителя как побитый; за те четыре года, пока он был его учеником, в него и в самом деле вселился демон искусства, он исхудал, в чем только душа держалась, однако это никому не бросалось в глаза, потому что в те годы все были голодными, изможденными и затравленными.

Но в нем появилось смирение, он работал с маниакальным упорством и до многого дошел своим умом, за что опять-таки был благодарен учителю, потому что, как он был уверен, все хорошее исходило от него, словом, как говорится, талант его набирал силу, и учитель не скуп, то в бурных порывах радости приветствовал это, и этих эмоциональных всплесков Мельхиор боялся сильнее, чем уничтожающей критики; иногда учитель позволял ему выступать на публике или даже настаивал на выступлении, сам брался организовать концерт, представлял его музыкальным светилам, заставлял играть перед избранной публикой на званых вечерах, и всякий раз он имел огромный успех, его любили, он это чувствовал, обнимали, ласкали, ощупывали, у многих в глазах были слезы, хотя в те послевоенные десятилетия люди редко давали волю слезам.

Однако уже в те моменты, когда он весь еще горел от волнения, учитель прямо на месте давал понять, все хорошо, но это уже позади, об этом нужно забыть и не увлекаться, не останавливаться на достигнутом, а когда они оставались вдвоем, он так безжалостно разбирал по косточкам всю его игру, что всякий раз Мельхиор приходил к тому, что ничего-то у него не выходит, он не знает, каких высот он должен достичь, но то, что он их не достиг, было ясно, учитель почти всегда и во всем прав, и все его подозрения и неблагодарность, неспособность ответить на его бесконечную доброту являются попросту следствием его абсолютной бездарности.

Когда он оставался один на один с этим чувством, его охватывал настоящий ужас, он на целые дни забивался в какой-нибудь угол, не ходил в школу и все представлял себе, как в один прекрасный день его бездарность будет разоблачена, ведь дальше скрывать ее невозможно, он это чувствует, и все это увидят, и тогда учитель безжалостно вышвырнет его вон.

Иногда он ловил себя на том, что с упоением ждет этого дня, вот только для матери это будет смертельным разочарованием.

И если он остался в живых, если все же еще надеялся, что учитель его ошибается, то только по той причине, что в конечном счете человек не способен полностью уничтожить себя не только духовно, но и физически, даже если он принял цианистый калий, потому что и в этом случае его уничтожит яд, или веревка, или вода, или пуля, ах, как хотелось ему тогда прыгнуть в реку, как притягивала его вода, что кружилась вокруг опоры разрушенного моста! и чтобы покончить с собой, нужно просто принять обыденное решение, выбрать инструмент, который все сделает за тебя, духовное же самоуничтожение всегда оставляет тебе лазейку: небо все еще голубое, жизнь может продолжаться, и эта-то возможность ее продолжения и есть надежда.

А про цианистый калий он вспомнил сейчас потому, что несколько лет спустя, когда он уже учился в университете, бедняга учитель раздобыл где-то лошадиную дозу этого яда, было лето, театр на каникулах, по вечерам его не искали, а лето стояло на редкость жаркое, так что соседи вскоре почуяли, что от его квартиры несет какой-то ужасной тягучей вонью.

Словом, в таких обстоятельствах он впервые заметил эту девочку в окне напротив, они с учителем как раз готовились к музыкальному конкурсу, который мог стать в его судьбе решающим, стояла весна, и в квартире учителя окна тоже были распахнуты, а ставка была велика, потому что вошедшие в тройку финалистов могли без экзаменов поступить в консерваторию, и, оценивая шансы, его учитель говорил о том, что соперники будут очень сильными, рассуждал о коллегах и их весьма одаренных учениках, но талантливый человек, продолжал он, отличается от бездари как раз тем, что конкуренты его вдохновляют, и поскольку у Мельхиора соперники будут сильными, то, стало быть, шансы достаточно велики.

Пюпитр он расположил у окна таким образом, чтобы при каждом как бы случайном взгляде он мог видеть девочку.

Учитель расположился в просторном кресле в глубине комнаты и оттуда, из полумрака, время от времени давал ему указания.

И что самое интересное, напряжение ничуть не мешало ему играть; да, оно его тяготило, но это странное чувство, что он балансирует со своей скрипкой меж двумя независимыми и, может быть, даже неприязненными или враждебными друг другу взглядами, балансирует между изменой и тайной, сладкой тайной и мрачной изменой, помогло ему сконцентрироваться так, как еще никогда до этого.

Он не пытался произвести впечатление ни на девчонку, ни на учителя, ни на себя самого, а был сразу внутри всех троих и вместе с тем за пределами мира, одним словом, играл.

Всякий раз, когда шел дождь или было холодно и приходилось закрывать окно, девчонка прибегала к безумным трюкам: раскинув руки, перевешивалась через подоконник, того и гляди вывалится из окна, или тоже захлопывала окно, строила капризные мины, или нарочно уродовала себя, прижимая к стеклу нос, губы, язык, корчила идиотские рожи, передразнивала его, показывая, как он пиликает на своей скрипке, или, дыша на стекло, рисовала на нем буквы, пока не вышло слово «люблю», показывала ему ослиные уши или со слезами на глазах раздирала на груди блузку, что означало, что, если ее лишат этой сладкой музыки, она сойдет с ума, высовывала язык и посылала ему воздушные поцелуи, сдувая их с ладони, когда же они случайно сталкивались в школьном коридоре, то оба делали вид, будто ни о чем не знают и ничего подобного между ними не происходит.

Его учитель реагировал на внезапный качественный прорыв в его мастерстве с приятным самодовольством, он не хвалил его, но лицо его в полумраке комнаты любовно светилось, он направлял его игру сердитыми, восторженными и взволнованными восклицаниями, Мельхиор же был вне себя от радости, что после четырех лет напрасных страданий ему все-таки удалось обмануть этого с виду мудрого и всеведущего человека.

Игра эта продолжалась уже не менее двух недель, когда ее заметил учитель, который в своей жестокой манере притворился, будто ничего не видит, он хитрил, выжидал, пока история эта наберет обороты, чтобы в нужный момент нанести удар и размазать их, как соплю; и Мельхиор чувствовал это кровожадное ожидание, понимал, что катастрофы не избежать, а девчонка, естественно, даже не догадывалась о грозящих обоим опасностях и продолжала дурачиться, раскачивалась в окне, и иногда, глядя на нее, он не мог удержаться от смеха, хотя был начеку, старался вести себя осторожно, а с другой стороны, хотел поддразнить учителя, чем только сильнее, как он теперь знает, его искушал.

А тем временем ему приходилось выслушивать разные длинные поучительные истории, сдобренные красочными, сочащимися добротой волнующими примерами и интереснейшими контрпримерами, об аскетическом образе жизни, о духовных пружинах искусства, о пагубном гедонизме, о тормозах, шестеренках и поршнях души, а также о тех предохранительных клапанах, с помощью

которых, используя их умеренно и разумно, рекомендуется сбрасывать из котла избыточный пар, словом, рассказы эти изобиловали образами, намеками, аллегориями и словесными арабесками, но когда стало ясно, что примеры его не оказывают никакого действия, Мельхиору пришлось перебраться вместе с пюпитром вглубь комнаты, а учитель сел у окна.

Тем история могла бы и завершиться, ибо он не противился, а напротив, в глубине души горячо одобрял, понимал или думал, что понимает учителя, и находил подобный, сугубо физический способ укрощения человеческих слабостей делом совершенно естественным, считал его наилучшим решением, он был до идитизма невинным, таким невинным, каким не может быть даже олигофрен, он в то время еще не имел ни малейшего представления не только о том, откуда берутся дети, но и о том, чем отличается мальчик от девочки, точнее сказать, все, что тогда его занимало, было так далеко от обычных земных вещей, что до его сознания не доходило и то, что он действительно знал.

Но девочка, решив, что так просто она не сдастся, стала дожидаться его в подворотне, она больше не дурачилась и не кривлялась, и между ними троими завязалась безумная битва, битва, в которой он мог участвовать только на уровне ощущений, и даже не ощущений, а каких-то животных инстинктов, и потому даже не догадывался о том, что это борьба и что борется он на самом-то деле за свою жизнь.

Как не догадывался он и о том, какие муки испытывал этот человек, какую борьбу он вел сам с собой, хотя должен был знать, ведь учитель его шантажировал.

Он знал, поскольку и сам не раз бывал свидетелем стыдливых и приглушенных перешептываний о том, что его учитель вернулся из концентрационного лагеря, он точно не помнит, но, кажется, из Заксенхаузена, и даже знал, что он носил там не желтый, не красный, а розовый треугольник, но при этом, как правило, всплывала и другая версия, о том, что клеймо гомосексуалиста поставили на него за то, что он не скрывал своих либеральных воззрений, то есть это была убийственная клевета, за которую кто-то потом якобы поплатился тюремным сроком, но этому, казалось, противоречил другой слух, а именно что учитель на самом деле был ярым сторонником нацистской партии и активно участвовал в изгнании евреев из немецкой музыкальной жизни, но независимо от того, что из этого было правдой, для Мельхиора все это были пустые слова, которые хотя и откладывались в его голове, но не увязывались

ни с чем конкретным, в крайнем случае он мог заключить, что, мол, взрослым мало было войны, они и теперь грызутся, или же сделать вывод, что окружение всегда считает людей искусства носителями какой-то заразы, но здравомыслящему человеку не стоит обращать на это внимания.

Обо всем этом должна была знать его мать.

Мельхиор тихо, не прерываясь, говорил до рассвета, но тут бесстрастный ровный поток его речи наткнулся на какой-то непреодолимый эмоциональный барьер.

Его грудь поднялась, взгляд, не теряя контакта с моими глазами, ушел в себя, будто бы говоря: нет, дальше он не сможет, дальше нельзя.

Глаза его увлажнились, он судорожно сглотнул, казалось, что он того и гляди расплачется или разразится проклятиями.

Но он, смеясь сквозь икоту, прокричал, что не надо мне ничего принимать всерьез, ничего.

А потом, чуть спокойней, почти тем же бесстрастным тоном заметил, что у каждой шлюхи и каждого педика есть мать и есть какая-нибудь душещипательная история.

Это все сентиментальная ерунда, сказал он.

Через несколько дней, когда мы мчались по темному шоссе в сторону города, именно эту историю я пересказывал Тее.

Правда, я произвел в ней некоторые необходимые, на мой взгляд, изменения, рассказ о душевном состоянии вундеркинда вынес в начало, сделав его как бы обрамлением всей истории, и говорил таким безучастным голосом, как будто речь шла о человеке, незнакомом для нас обоих.

И от этого безличного тона повествования, от стремления педантично излагать события в их последовательности в этой истории тут же появился некий элемент абстрактности, который позволяет вплести нити индивидуальных причинно-следственных связей в более общую и широкую хронологию, обычно называемую, вследствие ее обезличенности и бесповоротности, то ходом истории, то неумолимой судьбой, а то и божественным предопределением; и теперь уже, оставаясь в этом безличном бесповоротном времени, что на самом деле было желанием не столько разума, сколько чувств, ибо этим своим отстраненным взглядом я пытался скрыть свой банальный стыд за то, что я выдаю, предаю Мельхиора, я мог рассказывать обо всем так, словно дело касалось незначительного самого по себе эпизода истории с ее вечными повторениями, самоубийственными крушениями и попытками снова начать все с начала.

Мне казалось, будто с высоты птичьего полета я вижу город, вижу в нем красивую молодую женщину, скрипку, вижу те трещины и пробоины, которые оставляет история, чтобы потом самой же и собственным материалом заделывать их и латать, вижу маленький симпатичный театр, оркестровую яму в театре и музыкантов оркестра в ней, но одновременно вижу и далекий окоп где-то под Сталинградом; в одной яме, оркестровой, я вижу пустующее место первого скрипача, а в другой, что под Сталинградом, замотанного в тряпье солдата, который через минуту замерзнет.

585

С высоты птичьего полета безучастной истории мне кажется совершенно неважным то обстоятельство, что несколько музыкантов покинули свои места, других забрали прямо из постели, кого в лагерь, кого на фронт, какое это имеет значение, ведь у судьбы, истории, провидения на этот счет есть короткий приказ: вакуум должен быть заполнен, в оркестровой яме должен кто-то играть, в окопе – стрелять, в других ямах – хоронить; кто-то должен занять место первого скрипача, оно пустовать не может, и играть ту же самую партию в том же самом «ласточкинском хвосте», пусть изменившееся кажется неизменным, и совсем несущественно и не стоит даже упоминания то обстоятельство, что пустующие места в оркестровой яме займут французские военнопленные, доставленные сюда из ближайшего лагеря, ну а в виде награды за торжество этой незабываемой преемственности конвоиры после концерта препроводят музыкантов к «Золотому рогу», но при этом судьба, провидение или история сделают это не случайно и не из милости или сострадания, а для того, чтобы первый скрипач, уверовав, что ради него судьба взяла передышку, на часок ускользнул в расположенную наверху квартиру трактирщика, который агонизировал в эти минуты в заснеженных сталинградских степях.

Однако история, или судьба, или божественное провидение и не думали брать передышку; они просто заполнили пустоту, которую оставил после себя на супружеском ложе трактирщик, и в этом смысле совершенно неважно, что молодой красивый мужчина и молодая красивая женщина ощутили здесь нечто такое, что с полным правом можно назвать роковой любовью, они готовы скорее умереть, чем лишиться друг друга, клянутся они, и говорят именно эти слова, потому что они точнее всего соответствуют намерению судьбы.

И тут даже неважен вопрос, обнаружат ли это вопиющее нарушение дисциплины пьянствующие конвоиры или не обнаружат, ведь истории ничего не стоит временно одурманить нескольких дубоватых охранников, подкупить их или, может быть, образумить

восхитительным зрелищем пламенной страсти, чтобы потом, когда на весь ужас содеянного прольется отрезвляющий свет, руками тех же охранников насмерть забить осквернившего расу француза, отчего в столь исторически важном оркестре снова возникнет пустое место, но о том, чтобы его заполнить, история позаботится несколько позже, вернув на него человека, который был изгнан ею до этого как извращенец.

Так что я не думаю, сказал я Тее, что с такой, более высокой точки зрения слепота матери заслуживает осуждения, ведь то, что, казалось бы, она потеряла вместе с мужем, ей в более полной и восхитительной форме вернул возлюбленный, а то, что она, казалось бы, потеряла вместе с возлюбленным, слава Господу, возместилось ей в виде плода во чреве, но то, что она таким образом получила, ей придется в один прекрасный день потерять.

Она поняла бы меня, тихо сказала Тея, даже если бы я хулил Господа не так обстоятельно и пространно.

И продолжала делать вид, будто слушает меня как бы между прочим.

Уже в тот день, когда учитель велел ему отойти от окна, продолжал свой рассказ Мельхиор, девчонка ждала его у ворот; некоторое время они смотрели друг на друга, он не знал, что делать, потому что, с одной стороны, был рад, что им все-таки удалось обмануть учителя, а с другой, ему почему-то было ужасно неловко перед девчонкой, может быть, он стыдился своих коротких брюк; не зная, что ей сказать, он двинулся было по тротуару со своей скрипкой, но девчонка крикнула ему вслед: дурак, и он повернул назад.

Они снова стояли с ней у ворот, и она вдруг сказала, что можно подняться к ним, потому что ей хочется, чтобы он хоть раз сыграл только для нее.

Он подумал, что это ужасно глупо, разве можно путать такие разные вещи, но сказал ей всего лишь, что она сама дура.

Девчонка пожалала плечами, сказав, хорошо, в конце концов он может поцеловать ее и здесь.

И с тех пор она ждала его каждый день, хотя каждый день они решали, что больше она не будет его дожидаться, потому что он, заимствуя аргументы и интонации учителя, пытался объяснить ей, что этот конкурс в его жизни может стать судьбоносным, и нельзя сейчас этого делать.

Точнее, не так, все было наоборот.

Он помнит, что в тот первый день, когда, возбужденные, оба уже не знали, что делать друг с другом, они, чтобы скрыть волне-

ние, начали разговаривать, стоя в крепостном рву, среди мусора, кустарников и груд всяких обломков, в жуткой вони, и как раз девчонка объясняла ему, как сильно она его любит и готова ждать его до конца своей жизни, и поскольку конкурс теперь был самым важным делом на свете, то им лучше расстаться, она все равно его будет ждать, и обоим это казалось невероятно красивым, тем не менее она каждый день встречала его у ворот.

И было еще кое-что, в чем он должен теперь признаться.

Хотя в данный момент он плохо себе представляет, как можно об этом осмысленно говорить.

587

Мы сидели не шевелясь, но взгляд его слепо вползал в меня и пробирался все дальше, а я отступал перед ним, спотыкался, невольно моргая, пытался уйти, отпрыгнуть от его слов в сторону, как будто мы отчаянно, но с завязанными глазами силились ухватить какой-то неуловимый предмет, который каждый раз ускользал, как только мы до него дотягивались.

Речь шла о том, что способна вынести наша стыдливость, и поскольку стыдливость души подчиняется более строгим законам, чем стыдливость тела, ибо ясно, что тело в конечном счете материал бранный, непрочный, то когда мы имеем дело с нематериальной, духовной его ипостасью, конечность его превращается вдруг в ужасающую нас бесконечность, и поэтому я в паническом страхе бежал от этой необозримости, не желая видеть того, что сам же и пробудил в нем.

Слова его были по-прежнему энергичными и решительными, что ни слово – толчок, удар, но в разумные фразы они больше не складывались, оставаясь яркими незаконченными намеками, возгласами, восклицаниями и одновременно их отрицанием, вопросам и сомнениями, что мог понять только я, если вообще человек способен понять в речи другого смысл стыдливо трепещущих от сдерживаемых эмоций обрывков слов.

При всей бессистемности намекающие друг на друга слова, умолчания и недоговорки были направлены на ту связь, которая как-то соединяла это почти забытое и, казалось бы, совершенно случайно всплывшее в памяти впечатление с другим, сознательно им не называемым впечатлением, а именно с впечатлением от его знакомства с Теей, чье имя он в тот момент не мог даже выговорить, поскольку между двумя впечатлениями реально зияла огромная пропасть длиной в десять лет.

Мне повезло, что о событиях, связанных с их знакомством, я смог узнать обе версии.

Никогда, сказал он, больше никогда в жизни.

Даже со мной, сказал он.

И добавил, что в сравнениях нет, конечно, никакого смысла.

И тем не менее, сказал он.

Ну а с ней, стыдливое умолчание его относилось к Тее, все кончилось жуткой катавасией.

Он не хотел быть бестактным или смешным с ней, но не мог быть иным.

Он не хотел обижать ее, но именно этим ее обидел.

Потому что, похоже, он больше не может это почувствовать.

Так продолжалось около недели, сказал он задумчиво, и, глядя на его лицо, я понял, что высказывание относилось сразу к двум периодам, к тому, десятилетней давности, и к событиям, что имели место несколько месяцев назад, вернее, эти последние разбередили в нем то, что происходило десять лет назад.

Без повторения чувств не бывает воспоминаний, или наоборот, каждое сиюминутное впечатление отсылает нас к впечатлениям более ранним, это и есть память.

Два впечатления сошлись на его лице, наслоились, распаясь одно от другого, и от этого я ощутил такое облегчение и удовлетворение, как будто нам наконец-то удалось ухватить искомый вслепую предмет нашего повествования.

Разумеется, что в разговоре с Теей об этом стыдливом отступлении я умолчал.

Но он хотел еще рассказать мне конец той истории, потому что однажды учитель открыл ему дверь с таким мрачным видом, с выражением такой отчаянной решимости на лице, что он сразу почувствовал: это конец, это то, чего он так опасался.

Он велел ему положить скрипку, она больше им не понадобится, и повел в другую комнату.

Учитель сел, оставив его стоять.

И спросил, чем он занят по вечерам.

Но он заупрямился и решил не отвечать на вопрос, и тогда учитель перечислил все дни недели и по дням, с точностью до минуты, рассказал, когда он возвращался домой.

О девочке он не упомянул ни словом и ни намеком; понедельник, сказал он, девять часов сорок две минуты, вторник, десять часов двадцать восемь минут, примерно так, и медленно, методично перечислил все дни.

Мельхиор, стоявший в своих коротких брюках посередине ковра, упал в обморок.

Сознание он потерял от мелькнувшей внезапно мысли, что, выходит, этот солидный, ужасный, обожаемый, седовласый, красивый, несчастный старик следил за ним, за ничтожеством, за бездарным мальчишкой, каждый божий день, на цыпочках, крадучись, словно тень, преследовал его и, стало быть, все, абсолютно все видел.

Скорее всего это было просто головокружение, а если и обморок, то длился он считанные секунды.

Очнулся он от того, что почувствовал совсем рядом знакомый запах учителя; он стоял над ним на коленях, и его лицо навсегда врезалось ему в память: лицо паука, в тенета которого наконец-то попалась вожаделенная зеленая муха.

Учитель целовал его, обнимал и был так напуган, что чуть ли не плакал; он шептал, умолял его, умолял доверять ему, потому что без его доверия ему конец, он и так уже мертвый, его убили, и среди этих безумных фраз шепотом прозвучала еще и такая: мол, ни одна живая душа не знает, кто его настоящий отец, и пусть он считает его своим отцом и доверяет ему, как родному отцу.

Мельхиор протестовал, плакал, дрожал, а когда, забившись в угол, несколько успокоился и учитель позволил ему выйти на улицу, то внизу у ворот он увидел девочку, она поджидала его, но он убежал, не сказав ей ни слова.

К счастью, мать в этот вечер вернулась домой очень поздно.

К тому времени он уже взял себя в руки и заявил ей, что они должны срочно уехать отсюда, все равно куда, и найти другого учителя, любого, потому что этот учитель плохой; он больше ничего не сказал ей, да и не думал ни о чем другом, кроме того, что это очень, очень плохой человек, однако сказать это вслух он не решился и поэтому на расспросы матери не переставал повторять, что он плохой учитель, как будто речь шла о его музыкальном образовании, а не о его жизни.

Простодушие ничего не подозревающей матери было последним ударом и окончательным доказательством того, что никто, в том числе и мать, ему не поможет, и, стало быть, все, что касается его жизни, должно храниться в тайне.

Он позволил себя утешать, не сопротивлялся, когда она его укрывала, баюкала, и, несмотря на дурные предчувствия, принимал все те жесты, которыми в таких ситуациях может выказать свою любовь недоумевающая мать.

Узнав все эти незначительные детали, я уже догадывался, что произойдет дальше.

Иногда девчонка появлялась в окне, но вела себя робко и осторожно, желая показать ему, что она все понимает, она готова ждать, однако эта ее готовность причиняла ему столько боли, что он всеми силами стремился лишь к одному: забыть.

Вечером накануне конкурса они вместе с учителем отправились в Дрезден, но о том, что произошло ночью в двухспальной кровати гостиничного номера, он рассказывать мне не будет; он может сказать только, что ни до этого, ни позднее он не видел мужчину, который бы так боролся с собой, он же сопротивлялся до того момента, пока не иссякли последние силы.

То была даже не гостиница, а тихий старый пансион где-то за городом, в глубокой долине, с мрачными башенками и решетчатыми балконами, довольно причудливое и милое гнездышко.

От вокзала они добрались до него на трамвае, в огромном номере стояла приятная прохлада, все было белым: белый фарфоровый таз, овальное зеркало, белый кувшин для воды на белом же мраморе, белое покрывало и белые шторы, а за окном всю ночь напролет шуршала густая листва.

Он говорил запинаясь и словно бы собирался в любой момент закончить, но не мог найти путь к тишине, потому что за каждым, последним, как он надеялся, словом следовало еще одно, тоже последнее.

Он попросил у меня сигарету.

И пока я искал сигареты, пока пристраивал пепельницу на его коленях и сам устраивался поудобней – нужно было найти опору спине, прикрыть смущавшую меня наготу и согреть затекшие члены, так что я привалился в конце дивана к стене, накинул на себя край его одеяла и просунул заledenевшие стопы под его ляжки, – он продолжал говорить, понуждаемый и одновременно сдерживаемый какой-то силой.

Теперь я уже хорошо понимаю, почему он спросил у матери, кто был его отцом: у него в голове коварно засела та странная фраза его учителя.

И еще странно, сказал он после очередной затяжки, что, когда он уже учился в университете, а с того времени прошло уже года три, и приехал домой на каникулы, его мать, словно бы до сих пор так ничего и не поняла, с тем же убийственным простодушием рассказывала ему, как покончил с собой его бывший учитель, говоря об этом как о каком-то совершенно заурядном событии.

Он ничего не ответил и довольно раскованным тоном объявил, что через несколько дней к ним прибудет гость, они вместе учатся,

и во избежание возможных недоразумений отчетливо произнес имя гостя: Марио, чтобы она не подумала, будто он имеет в виду Марион.

И мать, кажется, наконец-то все поняла, они так же стояли у мойки, и в руках у нее застыла тарелка.

Не беда, сынок, сказала она, по крайней мере ты останешься навсегда моим.

И немного спустя повторила: моим.

Паузы делались все длиннее, но он все же не мог закончить.

Вот ведь странный самообман: людям кажется, будто события в мире происходят только ради них, всё, сказал он, даже то, что происходит в другом человеке; мне, мое, для меня.

И наверное, продолжал он, иначе и быть не может, потому что человеческое существо первым делом берет в рот материнскую грудь, полную молока, и готово тянуть в рот уже все подряд, хоть отцовский, в красных прожилках, член, все живое, все, что льется в рот, хоть сладкое, хоть соленое, что питает его, поддерживая жизнь, что является предпосылкой и условием выживания, все надо присвоить, сделать своим.

Я прекрасно осознавал, почему он не может остановиться; чем больше понимания и снисхождения проявлял он к своей матери и учителю, тем решительнее его искушало тайное, маскируемое желание переложить моральное бремя своих впечатлений, с одной стороны, на историю, то есть на нечто неосязаемое, а с другой стороны, на тех двух более чем осязаемых людей, но именно нравственная щепетильность не позволяла ему вульгарно возненавидеть этих двоих, одному из которых грехи отпустила смерть, а другая была его матерью; он мог бы возненавидеть себя, но к этому он был не склонен, так что не оставалось иного выбора, как считать себя жертвой истории.

Но когда начинает говорить жертва, в этом есть что-то сентиментальное, обвинения звучат чуть ли не комично, ведь человек этот говорит, между тем как настоящие жертвы истории, как мы знаем, молчат.

Так вот почему, понял я, ему нужно ненавидеть дух места, вот почему, невзирая на риск, он готов бежать отсюда, отречься, порвать все связи со своим прошлым и ради своей мечты начать все сначала, даже умереть, позволив расстрелять себя как собаку при переходе границы.

Когда мы добрались до города, мы оба молчали, погрузившись каждый в свою тишину; два связанных, но отдельных молчания, одно рядом с другим.

Я чувствовал в желудке и кишечном тракте легкое волнение, как будто сейчас там трудилась совесть, и пытался как-то успокоить урчание в животе и позывы выпустить газы, что было тем труднее, что Тея оставалась загадочно неприступной и непредсказуемой, я даже не мог понять, как подействовал на нее мой ответ.

Ее странное замечание, что она поняла бы меня, даже если бы я хулил Господа не так обстоятельно и пространно, иными словами, поняла бы эту историю, и поняла бы ее даже лучше, если бы я избегал разного рода моральных суждений, немного задело меня.

Тем не менее таким простым способом она подтолкнула меня к осознанию, что случай Мельхиора, как и любой другой, невозможно так прямо вывести ни из истории, ни из биологии, а моральное бремя подобных историй невозможно переложить на кого-либо или на что-либо, думать так – это ограниченность, короткое замыкание разума, потому что в любой истории мы должны ощущать власть неделимого целого, которая распространяется на все, пронизывает все детали, что отнюдь не легко, когда человек постоянно мыслит деталями, и думает о деталях, и к тому же еще и неверующий.

Я должен был посмотреть на нее, как бы желая удостовериться в физическом присутствии человека, который задавал мне все эти вопросы.

Она, казалось, не слышала громкого урчания в моем животе, не ощущала моего взгляда.

Ее замечание показалось мне странным и потому, что ни до, ни после этого дня она никогда, ни в мольбах, ни в проклятиях, не брала на уста это имя.

На ее молчаливом лице можно было прочесть как безучастное равнодушие, так и сочувствие, и глубокую потрясенность историей Мельхиора.

Между тем чем ближе мы подъезжали к Вёртерплац, тем нестерпимей делалось чувство, что этот день подошел к концу и дальше начнется что-то совсем другое, невообразимо другое, и что сейчас мы должны расстаться до завтра, которое казалось бесконечно далеким.

Это чувство не было мне незнакомым, ведь быть рядом с каждым из них двоих означало присутствовать, и чем глубже становилось мое присутствие в этом межеумочном положении, тем больше мое присутствие приноравливалось к их вкусам и требованиям и тем болезненней было расставание и с одним, и с другим.

Например, когда вечером, выйдя из машины Теи, я поднимался на шестой этаж и несколько раздраженный от ожидания Мельхиор открывал мне дверь, да что открывал – распахивал! то мне казалась чужой не только его сдержанная и какая-то обезличенная улыбка, чужим было все, его красота, запах, кожа, щетина, сквозившая из улыбки прохладная голубизна глаз и даже, в чем я стыдился себе признаться, пол его личности, хотя и не сама личность.

Почему-то мне всегда было ближе то, с чем я как раз расставался, и расставаться нужно было ради того, чтобы ощутить эту близость, возможно, это и было причиной всех моих ошибок, думал я, но в то же время это все-таки нельзя называть ошибками, ведь мысли диктую себе не я, а мои впечатления, их подсказывает мне моя история, я живу, постоянно прощаясь с жизнью, потому что в конце каждого переживания маячит чья-нибудь смерть, из чего можно заключить, что прощание стало для меня более важным, чем собственно жизнь.

Примерно такие мысли роились в моей голове, когда мы остановились у дома; Тея вскинула голову, глянула на меня как бы сверху вниз и, сняв очки, улыбнулась.

Улыбка, раскрывшаяся внезапно, была отстраненной, она и до этого, видимо, где-то таилась в ее подвижном лице, но Тея из деликатности или намеренно не показывала, сдерживала ее, чтобы не смутить меня и выслушать всю историю целиком, в том виде, в каком я хотел рассказать ее.

И я, как бы желая коснуться внутри себя загадки собственной нации, задал себе вопрос: не потому ли все постоянно так отдаляется от моей жизни – и это при всех моих навыках приспособляться к другим, – что в конце каждого моего воспоминания маячит смерть? и может быть, дело тут не в божественной целостности судьбы, а все же в простом историческом опыте?

Она мягко положила руку мне на колено, обхватила пальцами коленную чашечку, но не сжала ее; я смотрел в темноте на ее глаза.

Возможно, она сейчас не просто держала мое колено, а соединяла этим жестом в одно наши тела, наше молчание, и я видел по ее глазам, что она хочет что-то сказать, точнее, не может чего-то сказать, только чувствует то, что хотела понять.

Да и вслух говорить о таких вещах совершенно излишне, бывают вещи, о которых нельзя говорить даже намеками, чтобы не мешать жизни; и все-таки если б в машине, куда проникал лишь рассеянный кронами свет фонарей, не было так темно, если бы мы могли ясно видеть лица друг друга и все, что мы чувствовали,

не оставалось бы где-то на грани между догадкой и ощущением, а вылилось бы в слова, то, скорее всего, между нами троими все сложилось бы по-другому.

Позднее она все же заговорила, когда этот напряженный момент был уже позади.

Да, сказала она, у каждого в жизни есть такая или подобная история, но заметил ли я, что все жизненные истории очень печальны! почему, интересно? но ей все же казалось, сказала она, будто я рассказывал ей свою историю, о которой ей почти ничего неизвестно, или, возможно, рассказывал о своей обиженности.

Обиженности, переспросил я, потому что меня удивило само это слово.

Но не успел я отреагировать, как улыбка на ее лице прорвалась легким смешком, и вместе с этим смешком она вытолкнула из себя вопрос: а знаю ли я, что она еврейка, спросила она.

А потом уже громко, по-настоящему рассмеялась, вероятно, из-за ошарашенного недоумения, написанного на моем лице.

Хорошо, крикнула она, смеясь, мне пора идти, пожала мое колено и убрала руку, об этом она расскажет как-нибудь в другой раз. Я сказал, что не понял ее.

Ну так надо подумать, раз уж я такой умный мальчик, и вообще, вовсе не обязательно все понимать, достаточно будет, если я это почувствую.

Но что я могу в этом чувствовать?

Должен чувствовать.

Нет, сказал я, так просто она не отделается, это свинство.

Почему не отделается, смеясь, прокричала она и, перегнувшись через меня, распахнула дверцу машины: прошу.

Но если я все равно не понял, о чем она говорит?

Однако ее больше не интересовали мои слова и вопросы, что я понял, чего не понял; упираясь руками в мой бок, она пыталась выпихнуть меня из машины, я же, после некоторых колебаний, схватил ее за запястье, а колебался я потому, что у меня возникло такое чувство, что я не могу отвечать насилием на ее насилие, потому что она еврейка, она только что об этом сказала, но именно это чувство и побудило меня к тому, чтобы, слегка вывернув ее запястья, оторвать от себя ее руки; при этом мы оба смеялись над глупостью ситуации, доставлявшей нам наслаждение, и оба хотели прервать это наслаждение.

Нет, нет, задыхаясь, с немного наигранной болью кричала она таким голосом, в котором одновременно можно было слышать

голос сдающей позиции зрелой женщины и трогательно неловкое верещание бывшей девчонки, ну перестань же, достаточно, отпусти.

Но, видимо, этого ей было все же недостаточно, потому что она нацелилась головой мне в грудь, то есть решила продолжить, на что я чуть сильнее вывернул ей запястья, она ойкнула, голова ее на мгновенье застыла у меня на груди, на уютном и мирном месте, которое она, может, давно искала, и эта встреча двух напряженных тел словно бы означала, что я – основательный и надежный мужчина, а она – всего лишь слабая женщина, которая пока что сопротивляется и отталкивает меня, но в конце концов все же сдастся.

Не пущу, громко сказал я, выразив, несомненно, лестное чувство, соответствующее общепринятым представлениям о ролях в сексуальной игре, и выразил это примитивное чувство с такой алчной радостью, как будто хотел заявить, что ни в коем случае не намерен упустить представившийся мне шанс.

Возможно, это было излишним, потому что она обиженно отдернула голову, при этом невольно ударив меня в подбородок, что было обоим немного больно.

Ее обиженный протест означал, что она не желает принимать к сведению эту вполне очевидную разницу между нами или, во всяком случае, не желает ею пользоваться, несмотря на то что причиненная ею боль была, несомненно, нашей общей болью.

В чем дело, спросил я.

Да ни в чем, нахально сказала она, какое такое дело?

Но при этом смотрела на меня таким нежным и умоляющим взглядом, так приблизившись, с такой по-девичьи хитрой, смиренной кокетливостью вернувшись в роль слабой женщины, исполняя ее так мастерски и профессионально и делая ее вместе с тем смешной, что эта насмешка над ситуацией, в которой мы невольно оказались, настолько понравилась мне, что я, не отпуская все же ее руки, постепенно ослабил давление.

Что она хотела этим сказать, спросил я, ощутив по своему голосу, как неприятно было мне возвращаться от многообещающих немых прикосновений к лживо громким словам.

На самом деле заговорил я лишь для того, чтобы разумом воспрепятствовать привычным действиям инстинктов или хотя бы следить за ними, понимать, чего они в конечном счете желают, чтобы они желали чего-то не вопреки и не вместо разума, и если желанное будет и в самом деле возможно, то пусть это будет не суррогатом, не замещением других желаний или банальной сексуальной гимнастикой; и, кажется, нечто подобное чувствовала и она.

Все, что происходило между нами до этого, могло бы сойти за дружескую забаву, хотя трудно было сказать, где проходила грань, что отделяло дружескую потасовку от любовного вожделения; граница эта вроде бы охранялась разумом, даже если сама ситуация, именно из-за наслаждения, которое доставляла игра жестами и возможностями, стала явно необратимой и нам казалось, что эту неопределенную грань мы уже перешли или просто не знали, где находимся.

Об этом она расскажет мне в другой раз, сухо сказала она, а теперь просит ее отпустить.

Нет, сказал я, не отпущу, пока она мне не объяснит, терпеть не могу таких глупостей.

Но разум был уже не в силах влиять на чувства, потому что теперь и слова жаждали финала; мы уже не имели понятия, о чем говорим, что опять-таки является недвусмысленным признаком любовной распри.

Зло и нетерпеливо она отдернула голову, возможно, надеясь, что смена позиции изменит и ситуацию.

И чуть ли не с ненавистью потребовала отпустить ее, добавив, что Арно понятия не имеет, где она может быть, он ждет ее, от ожидания, наверное, уж закис, ведь уже очень поздно.

Когда она отдернула голову в сторону, яркий свет уличного фонаря упал на ее лицо, и, видимо, этот свет заставил меня отступить.

Довольно забавно, сказал я со смехом, что об Арно она вспомнила именно сейчас.

Потому что в слепящем свете уличного фонаря, и я не могу различить это иначе, на ее лице появилось другое лицо.

В это мгновение ее лицо действительно напоминало вытянутое и сухое скорбное лицо Арно, но все же то были не физические черты чужого лица, а скорее чувство, или тень чувства, что-то от скорби того мужчины, с которым она была этим чувством связана и имя которого было названо ею не случайно, он встал теперь между нами, то есть он не просто старый муж, о котором она должна думать, даже когда изменяет ему, и к которому относится так, как если бы он был то ли ее отцом, то ли сыном, нет, верность она хранила этой его печали, на ней, этой непреходящей и всеохватной печали, основывалась вся их совместная жизнь, не потому ли она сказала мне об этом еврействе? и она ей верна, потому что это не только его печаль, но и ее? и есть ли между ними что-то действительно неразрывное? не то ли объединяет их, что она еврейка, а Арно немец?

Я должен был подавить, стереть с ее лица или хотя бы временно отогнать эту доселе неведомую и еще никогда не виденную печаль, однако с печалью Арно я не мог ничего поделать, это была печаль человека, который не был мне близок, я не мог до него дотянуться, и я не мог притворяться, будто не вижу, что печаль у них общая, неразрывная, и этой печалью он победил, они победили.

Теперь я уж точно не мог понять, где мое место в этой, ставшей, пожалуй, слишком серьезной ситуации, но обнаженная неприветливым светом уличных фонарей, проступающая сквозь все ее мыслимые лица и маски грусть все же подействовала на меня как внезапный разряд, в котором столкнулись самые противоречивые силы.

Хорошо, сказал я, я ее отпущу, но сперва поцелую.

И мне показалось, что от самого факта произнесения это стало заведомо невозможным, и поэтому мы вольны считать, что это как бы произошло.

Так стало быть, это пресловутое всеединство включает в себя и то, что в обыденном смысле не произошло, но является все же реальностью.

Она медленно и с таким изумлением повернулась ко мне, словно изумлялась и от имени того, чужого мне, человека; на меня с изумлением смотрели двое.

Когда она повернулась, свет исчез с ее лица, однако я знал, что чужое лицо никуда не делось, но ее слегка приоткрывшийся рот все же сказал или, скорее, даже простонал из-под чужого лица: нет, сейчас нет.

Я отпустил ее; прошло какое-то время.

Этот стон, прорвавшийся сквозь их общую скорбь, конечно же, означал не то, что он означал, он требовал перевода; на нашем общем с ней языке это означало прямо противоположное, означало, что она чувствовала нечто подобное, и если сейчас «нет», потому что нельзя, значит, потом будет «да».

Если бы это означало «на следующей неделе» или «на следующий день», то, разумеется, это значило бы «ни сейчас, ни позднее», — но значение было другое.

Наши лица заколебались между «да» и «нет», между «сейчас», «в следующий момент» и «когда угодно».

Своей неосторожной фразой я, казалось, пробудил наши рты, и теперь мы смотрели на них.

Черты наших лиц колебались, расслабляя и напрягая рты, кожа содрогалась, и следующий момент наступил без того, чтобы стать

«сейчас» или «когда угодно», оставив нам только неопределенное «когда-нибудь», но все-таки на ее губах трепетало «да», которое относилось непонятно к какому времени.

И это причиняло боль, потому что если не сейчас, то «да» все же означало «нет».

И по лицам обоих блуждала расплывчатая боль, отзывающаяся на неясный отказ, и такая же расплывчатая радость, отвечающая на неясное согласие; наши лица, я мог бы сказать, металась между готовностью к сдаче и к обороне, но металась они суматошно, так что когда на одном лице мелькала боль, другое освещалось радостью, и когда радость совершенно овладевала одним, на другом видна была только боль, поэтому в этот долгожданный, обещающий стать поворотным момент «да» все еще невозможно было отделить от «нет».

И чтобы не ждать следующего момента, я, разорвав наше общее время, пошевелился, и сделал это просто потому, что испытывал боль, одно направление было для меня закрыто, а дверца машины у меня за спиной распахнута, и поскольку боль была не в состоянии окунуться в радость, она любой ценой стремилась найти облегчение.

Но словно бы по закону маятника Тея готова была открыться как раз в тот момент, когда я готов был закрыться, в ней одержало верх «да», и она не позволила радости снова вернуться в боль и в ответ на мое движение движением рук превратила «когда-нибудь» в «прямо сейчас».

Когда мы бодрствуем и находимся в трезвом рассудке, наши челюсти в силу выработанного автоматизма держат рот закрытым, верхний ряд зубов покоится на нижнем, верхняя губа лежит на нижней губе, но в такие моменты челюсти расслабляются, возвращаются к первозданному, еще не знавшему автоматизма состоянию, забывают о бдительной самодисциплине, которая постоянно, за исключением часов сна, держит лицо в мышечном напряжении и, в зависимости от вида и степени напряжения, придает лицу тот или иной характер; язык же в такую минуту, поднимаясь подрагивающей дугой от кромки нижних зубов, висит в неопределенном положении, а скопившаяся у плотины зубов слюна, когда рот приоткрыт, стекает назад, в низину полости рта.

Головы наклоняются в сторону, если одна налево, то другая непременно направо, потому что когда два человеческих рта ищут встречи, выступающие из рельефа лица носы должны избежать столкновения.

А когда глаза уже прикинули расстояние и, в зависимости от особенностей рельефа, оценили необходимый угол наклона, когда по все возрастающей скорости сближения уже можно определить и момент встречи, веки мягко и медленно опускаются на глаза, зрение в такой близости становится невозможным, да и ненужным, из чего, разумеется, вовсе не следует, что все невозможное одновременно является и ненужным, глазные прорезы закрываются все же не до конца, остаются узкие щелочки, ровно такие, чтобы длинные верхние ресницы не смешивались с короткими нижними, отчего глаза оказываются в положении, полностью симметричном положению рта: в состоянии трезвом, но все-таки недостаточно бдительном, и чем больше теряется трезвости, тем слабее становится бдительность, и когда глаза открываются, но не полностью, то рот закрывается, но тоже не полностью.

Но если бы мы захотели поподробней рассказать о поцелуе, о встрече двух ртов, о моменте, когда ощущения органов чувств внезапно сменяются ощущениями плоти, то для этого нам, скорее всего, потребовалось бы проникнуть внутрь, за нежную, испещренную вертикальными микробороздками поверхность губ, двух пар губ, которые, приоткрывшись, сомкнулись друг с другом.

И если бы подобное было вообще возможно без помощи скальпеля, то сама система функционирования живого организма поставила бы нас перед невозможным выбором: либо следовать вдоль мышц, мягкими волнами спускающихся к уголкам рта, либо проникнуть внутрь через разветвленную нервную сеть или, может, сеть кровеносных сосудов; в первом случае мы, пробившись сквозь чашу губных и щечных слюнных желез и соединительную ткань, довольно быстро окажемся на слизистой оболочке, в то время как во втором случае, поднимаясь словно по капиллярным корням дерева, мы доберемся сперва до ствола, а потом и до нервной кроны – больших полушарий, ну а в третьем случае, в зависимости от того, двинемся ли мы по синим или по красным туристским тропам сосудов, мы попадем либо в предсердие, либо в желудочек.

К счастью, выбирать единственный спасительный путь среди трех приходится только в сказках, но так как мы не ищем спасения, а всего лишь уступаем простому и скорее всего поверхностному любопытству, то, выбрав четвертый путь, мы проскользнем между смыкающимися губами в полость рта, хотя скольжение это будет не гладким, ведь поверхность губ в этот момент почти совершенно суха; слюнные железы, конечно же, производят слюну в изобилии, но зависший в неопределенном положении язык не смачивает

поверхность, и, следовательно, чем дольше губы были приоткрыты перед тем, как соединиться, тем они суше, порой они могут напоминать потрескавшуюся от затянувшейся засухи землю, хотя под языком, в углублении за нижним рядом зубов, скопилось уже солидное озерцо слюны.

Но если, карабкаясь по скалистой гряде зубов, обогнуть это озерцо и от корня, по срединной бороздке взобраться на скользкую спинку неуверенно подрагивающего языка и оглянуться оттуда на пройденный путь, то нам откроется уникальное зрелище.

Предприятие это не лишено опасностей, ибо если не уцепиться как следует за вкусовые сосочки, то запросто можно скатиться в глотку, но оно того стоит: мы находимся в защищенном гроте, над головой простирается великолепный свод неба, а прямо перед глазами, в виде идеально правильного тупоугольного треугольника, видно отверстие рта, и окажись мы здесь не намеренно, не с целью увидеть именно это поразительное зрелище, то, возможно, вскрикнули бы от изумления: анатомический вид ротового отверстия с этой точки обзора совершенно таков, каким принято изображать Божье око.

И, глядя в этот просвет, мы вдруг замечаем, что он темнеет, потому что треугольное отверстие нашего грота, побуждаемый одновременно желанием и втянуть в себя, и проникнуть внутрь, не совсем симметрично, а чуть наискось накрывает другой треугольник, то есть мы наблюдаем момент поцелуя и испытываем такое чувство, словно во мраке обращенных друг к другу двух гротов одно Божье око заглядывает в другое.

Но даже в это волнующее мгновение радость открытия ничуть не мешает нам озадачиться сомнением, и мы вопрошаем себя, неужто соприкосновение двух пар губ, то есть поцелуй, и в самом деле является столь исключительным, важным и выдающимся происшествием, что одно Божье око заглядывает в другое?

Всякий раз, чтобы развеять или подтвердить какие-то мучительные сомнения, мы оглядываемся по сторонам в поисках знаний и опыта, так и в этом случае, дабы прояснить сомнения, нам придется углубиться в тело – в котором мы, между прочим, уже находимся! – и рассмотреть поближе те органы, которые играют определенную роль в любовной жизни людей.

А внимательно рассмотрев эти органы вкупе со всеми их свойствами, мы придем к любопытному и для некоторых, возможно, скандальному заключению, что любовное наслаждение, на котором основано действие инстинкта продолжение рода, всякая жен-

щина и всякий мужчина могут вызвать в любом из упомянутых органов и даже довести это наслаждение до вершины удовлетворения собственноручно, без участия в этом процессе другого индивида.

Это ощущение замкнутости в себе и одновременно возможности, оставаясь в себе, эту замкнутость разорвать, представив себе картины общения с другим телом и поместив свою руку на одинокую плоть, хорошо всем знакомо по личному опыту.

Людям слишком чувствительным, закомплексованным или застенчивым даже необязательно сразу и непосредственно прикасаться к своим половым органам, достаточно как бы случайно легко коснуться рукой кожи бедра, живота или таза, чтобы между рукой и телом возникло чувство взаимности, необходимое для чувственного возбуждения; в случае с женщинами это может быть область груди, соски или темные венчики вокруг них, а далее или, возможно, одновременно поглаживающее надавливание на лобок, которое совершенно произвольно делается ритмическим, увеличивая кровяное давление и учащая дыхание, что у мужчин соответствует осторожному массажированию паховой области, которое переходит затем на мошонку и кончик члена, женщины после этого могут коснуться миниатюрного тела клитора, избегая дотрагиваться пальцами до слишком чувствительной, иногда до болезненных ощущений, головки клитора, между тем как мужчины похаживают, но несколько более грубым движением обхватывают пальцами пещеристое тело члена, чтобы, подергивая его, то обнажать головку, то скрывать ее под крайней плотью, в результате чего возбуждение венца головки открывает маленькие клапаны, и артериальная кровь, устремляясь в пустые полости пениса, вызывает эрекцию.

И поскольку речь идет о сугубо индивидуальной активности, об индивидуальном удовлетворении индивидуальных потребностей, то приемы и формы этой активности могут быть самыми разными.

Несмотря на разнообразие способов возбуждения и удовлетворения сексуальных желаний, нельзя забывать, что с чисто соматической точки зрения в любом индивиде всегда происходит один и тот же процесс, отличающийся разве что своей глубиной, интенсивностью, действенностью и, не в последнюю очередь, результатом, ибо процесс этот в каждом индивиде и в каждом отдельном случае представляет собой настолько замкнутое и предопределенное телесными закономерностями единство, что, похоже, на него не влияет даже тот факт, происходит ли он между лицами разного или одного и того же пола, является ли следствием какого-то

искусственного воздействия, фантазии или, может быть, связанного с фантазированием самоудовлетворения.

А с другой стороны, каким бы замкнутым ни был процесс, вызывающий, длящий и удовлетворяющий телесное вожделение, даже в самых закрытых его формах, таких как самоудовлетворение или поллюция, проявляются элементы, которые размыкают эту, казалось бы, совершенно закрытую, во всяком случае с физиологической точки зрения абсолютно замкнутую систему.

602 Как будто сама природа не позволяет все же замкнуться кругу: в случае самоудовлетворения в действие вступает воображение, в случае непроизвольного удовлетворения – сновидения, и фантазия или сон непременно соединяют якобы замкнутый акт и участвующего в нем индивида с другим индивидом или по крайней мере предполагают наличие такового.

И это самое большее и вместе с тем самое меньшее, что мы можем сказать о зависимом положении индивида.

К этому надо еще добавить, что человек обладает инстинктом, который в каждом индивиде формирует одновременно два ощущения: замкнутости, предоставленности самому себе и вместе с тем – открытости и зависимости от других индивидов; и если закрытость препятствует, то открытость, напротив, способствует установлению связей с другими, и оба ощущения существуют в рамках одного инстинкта в противоречивом единстве.

Если два человека соединяют те свои органы, которые могут функционировать и в своей закрытости, но в любом случае направлены на другого, иными словами, если два индивида стремятся преодолеть собственную закрытость не в одиночестве, не полагаясь на собственное воображение или спонтанные сновидения, а хотят разомкнуть ее в надежде на открытость другого, то в этом случае друг с другом встречаются два в принципе замкнутых единства, каждое из которых объединяет в себе противоречивое сочетание открытости и закрытости.

В этом случае противоречивость находит свое разрешение в том, что открытость одного индивида размыкает собою потенциально готовую к этому закрытость другого.

И в результате встречи двух замкнутых в себе противоречивых единств возникает новая, не являющаяся их суммой общая открытость, которая одновременно представляет собой их общую замкнутость друг в друге, то есть их общность помогает им выйти из индивидуальной замкнутости, но вместе с тем также и замыкает в себе их индивидуальную открытость.

Если это действительно так, то два встретившихся друг с другом тела означают гораздо больше, чем совокупность двух тел, ибо каждое из них, присутствуя в другом, означает больше того, что оно означает само по себе.

Все мы рабы наши собственных тел и рабы чужих тел, и можем означать больше того, что мы означаем, лишь в той степени, в какой свобода означает больше, чем рабство, и в какой общность рабов означает меньше, чем добровольно взятое на себя рабство свободных людей.

И лучшим примером, доказывающим, что это именно так, может служить поцелуй.

Ведь рот является таким же, только физическим, окном тела, обеспечивающим его связь с мирозданием, каким в духовном отношении является воображение.

В замкнутой системе тела рот представляет собой самостоятельно не функционирующий, нейтральный эротический орган, не обладающий эротическими свойствами, обращенными на себя, и свою исключительную чувствительность, возбудимость и весьма интимную, тесную нервную связь со всеми иными, самостоятельно возбудимыми органами проявляет, только вступая в контакт с телом другого индивида, и тогда только он включается органически присущими ему свойствами в общий процесс деятельности инстинктов, а следовательно, о нем можно сказать, что это единственный используемый в любовной жизни орган, который в замкнутой системе заведомо открыт, открыт даже с соматической точки зрения, открыт мирозданию, поскольку в нем дремлет изначально заложенная открытость к другим, и в этом смысле он и является физической парой воображения.

Таким образом, рот есть такой орган тела, который отличается от иных органов, необходимых для деятельности инстинкта продолжения рода, отсутствием одного качества, воображение же является духовным свойством тела, которое может обеспечивать дееспособность других эротических органов даже и при отсутствии другого индивида.

И благодаря этому недостающему свойству рот настолько отличен от других эротических органов, что в определенном смысле даже не может быть отнесен к этим органам – хотя бы уже потому, что соединение ртов не является ни предпосылкой, ни условием любовного акта двух индивидов и может быть просто исключено из замкнутого процесса; и все-таки не случайно два человеческих индивида, допуская в воображении телесную открытость другого

и выказывая готовность соединить замкнутые системы своих двух тел, в знак доказательства этой готовности обычно сначала соединяют не обязательные для этой связи, но заведомо открытые органы: свои рты.

604

Разумеется – и к великому счастью, – обо всем этом я думал не тогда, когда Тея, обняв меня за шею, помешала мне выйти из своей машины, я думаю об этом сейчас, думаю на бумаге, что само по себе довольно естественная форма мышления, а тогда я ни о чем подобном не думал, ведь когда человеку около тридцати, ему нет особой нужды размышлять, чтобы иметь примерное представление, как работают его органы, он по опыту знает, что принципы действия механизма почти совпадают с его порывами, а с другой стороны, тот же опыт остерегает его от необдуманных и неконтролируемых поступков даже тогда, когда он с готовностью полагается на свои инстинкты, а не на разум; он исходит, следовательно, из опыта, пытается уловить в памяти какие-то связи и аналогии, что тоже в конечном счете мышление, так что я не могу утверждать, что в этот момент я не думал вообще.

Как бы то ни было, балансируя между инстинктивной расслабленностью и самоконтролем, я решил, что я этого хочу.

Вернее, я уступил той силе, тому странному тяготению, что в такие моменты влечет и подталкивает нашу голову к голове другого, и мы, как бы добровольно отказываясь от привычных, служащих нам опорой способностей видеть, дышать, трезво взвешивать вещи, хотим провалиться куда-то, чему-то отдаться, довериться, и прежде всего не спрашивать себя зачем, тогда как в большинстве случаев именно этот вопрос был бы самым резонным.

Перед нами полукруглый рот, словно вопрос, задаваемый нам другим телом, и наш рот так же приоткрыт для ответа другому телу, а когда оба рта встречаются, то наш собственный рот опять обретает дыхание, к нам возвращается зрение, мы вбираем в легкие воздух через губы другого и в этом дыхании ощущаем уже достигаемость обращенного к нам другого тела, почти различаем его внутреннее пространство и отвечаем ему тем же образом, создавая в себе некую пустоту, полость, которую можно и нужно заполнить, и больше уже не ощущаем падения, потому что, наткнувшись губами на край распахнутого навстречу пространства, мы осязаем жаркую и прохладную, мягкую и упругую сладостную материю, настолько многообразную и ощущаемую одновременно тысячей разных способов, что наш вечно жаждущий деятельности разум замирает в недоумении.

В этом самом стремлении к деятельности мы сблизились ртами так иссушенно и яростно, так жадно и горячо, как будто за долю секунды хотели как можно скорее возместить все лукаво растраченное время, заполнить зияющие за нами лакуны проведенных порознь часов и дней, одолеть кружные пути колебаний меж взаимным влечением и отталкиванием, забыть неожиданные заминки, предотвратить разлуку, и в то же время казалось, что этот сухой и поспешный жар придал смысл былым отступлениям, словно мы постоянно должны были уворачиваться друг от друга, чтобы теперь, когда обязательное притворство и фальшь оставлены позади, жар был настоящим жаром, а сухость – взаимной иссушенностью, пустыней, где жажду можно утолить только через уста другого, и чтобы, когда губы уже почувствовали друг друга, их встреча могла сделать новый поворот, к нежности, мягкости и неспешности, к тому, чтобы ощутить все, до самой мельчайшей трещинки иссушивших нас мук, растворить остроту ощущений в радости обретения и в радости этой излить друг в друга слюну вожделения.

Мы протолкнули ее языками и пили из уст друг друга необходимую губам влагу.

Что сопровождалось невольными жестами: ласками и объятьями.

Обеими руками обхватив мой затылок, она – и куда только подевалась ее насмешливость! – казалось, хотела вобрать в себя, проглотить целиком мою голову, а я, запустив руки под растянутое пальто, обхватил ее и притиснул к себе, и движение это было все еще рефлекторной уловкой ума; положением рук и силой судорожных объятий, этой чрезмерностью и упорством мы как бы хотели избежать неприятного ощущения замкнутости наших тел, и, как это бывает, затрачиваемые усилия лишь яснее давали понять, чего, собственно, мы должны избежать.

Однако губы этого неприятного, разделяющего ощущения телесной замкнутости не то что не избегали, они были слишком иссушены, чтобы ощущать еще что-либо, кроме желания утолить жажду, они истомленно слились, от радости встречи тут же смешав слюну лихорадочного ожидания, и теперь уже беспрепятственно, всей поверхностью потирались, скользили, впивались друг в друга, заставляя забыть о руках, судорожных жестах, объятиях! и буда предвкушение полного обоюдного удовлетворения, достижения той вершины, к которой устремлено всякое сотрясаемое внутренним напряжением тело.

На долю секунды кончики наших языков зацепили друг друга, и ощущение от их жесткости, многозначашее, выходящее за пределы радости, обещающее, разлилось по нашим телам волной жара, и горячая эта волна, одновременно расслабив мышцы и наполнив кровью подкожные капилляры, подавила эгоистическое упрямство тел, и оба мы, содрогнувшись и обессилев, прорвали наружную оболочку телесных поверхностей.

606 В этой внутренней сфере, открытой нам поцелуем, все отчетливо видно, и вместе с тем все, что видно, витает в постоянной изменчивости, не похожее на привычные глазу внешние образы.

Ты испытываешь космическое ощущение и в этом космосе невольно определяешь свое положение, по отношению к которому возникает верх, возникают низ, фон и задний план; фон преимущественно темный или, возможно, серый, мерцающий, и на нем никаких привычных объектов, знакомых форм, виденных во сне или наяву, а лишь некие похожие на фигуры пятна, вспыхивающие и гаснущие огни, которые, коль скоро ты ощущаешь космос, занимают определенное место в пространстве, но все же они скорее плоские, чем объемные, геометрические, резко очерченные и не выступающие на бесконечном, быть может, фоне мягкого ощущения бытия.

И кажется, будто каждому ощущению соответствует какая-то геометрическая фигура, и, ощущая эти фигуры и формы, точнее, читая чувствами образный их язык, я узнаю в них неповторимый мир ощущений другого, его свойства, чувственные способности и потребности, потому что в этой внутренней сфере границы меня и другого пересеклись, но все-таки остается чувство, что другой – это космос, а я – лишь единственное пятно, форма, вспышка в этом другом.

Она есть пространство, а я – неутомонно, но терпеливо движущаяся в нем фигура, приравливающаяся своей формой к пространству.

Я есть пространство, а она – неутомонно, но терпеливо движущаяся в нем фигура, приравливающаяся своей формой к пространству.

Ее обещание, мое обещание.

И обещание это, данное телу друг друга, мы несколько дней спустя пусть достаточно безрассудно, но все же исполнили.

НОЧИ ТАЙНЫХ УСЛАД

Нет, нет и еще раз нет, ответил бы я, если бы в тот момент мне напомнили знаменательные слова древнего мудреца, сравнившего жизнь с быстротечной рекой и настаивавшего на том, что ничто в мире не повторяется, вода всегда разная, нельзя дважды окунуть руку в одну и ту же реку, то, что было, того не вернешь, и на место старого постоянно приходит новое, которое тут же стареет и вновь обновляется.

Будь это так, чувствуя мы постоянно только неудержимый поток новизны, на который не падает тень минувшего, наша жизнь представлялась бы нам вечным чудом, и каждое мгновение между днем и ночью, между рождением и смертью так потрясало бы нас своей небывалостью, что мы не могли бы отличить боль от радости, холодное от горячего, сладкое от соленого; и не было бы никаких границ, никаких разделительных линий между крайностями наших чувств, потому что не было бы ничего промежуточного, мы не знали бы, что такое момент, не знали бы дня и ночи, и не орали бы благим матом, появляясь из теплых вод материнской утробы на сухой и холодный свет, а в час смерти разваливались бы на куски, точно скалы, источенные дождями, морозами и палящим солнцем, ибо не было бы и самой смерти, не было бы страха, как не было бы языка, ведь наречь словами можно только повторяющиеся явления, а за отсутствием таковых не было бы и так называемой осмысленной речи – только божественный дар восторженной и непреходящей радости от вечного постоянства изменчивости.

Но будь это даже так, в детстве все мы чувствуем искушение, сидя в полумраке комнаты, поймать время на слове и наконец-то понять, когда день действительно превращается в ночь, и ухватить в незаметно сгущающихся сумерках такой, казалось бы, простой смысл слов, и даже если бы это могло быть так, если и в самом деле не было бы границы или черты между днем и ночью, через какое-то время, да, какое-то время спустя, наткнувшись на жесткую стену постоянства божественной изменчивости и отойдя назад к более гибким понятиям человеческой мысли, мы все же вынуждены

будем сказать: да, это уже ночь, хотя мы не знаем, когда наступила темнота, но глаз видит разницу, хотя он и не заметил никакой разделительной линии, которой, может быть, вовсе нет, но это, вне всяких сомнений, ночь, потому что сейчас темно, потому что это не день, и точно так же было вчера и позавчера, так что можно уснуть в спокойном, хотя и горьком сознании, что скоро снова будет светло.

608 Несмотря на живущий в нас божественный дар постоянства и вечности, мне все-таки кажется, что дело обстоит как раз наоборот: наши человеческие ощущения, а следовательно, и чувства еще достаточно примитивны, чтобы ощущать во всем новом нечто подобное старому, чтобы чувствовать в настоящем будущее, а в каждом событии, связанном с нашим телом, ощущать тот телесный опыт, который мы получили в прошлом.

И время в подобных случаях пусть не божественным образом, но все-таки останавливается, и ноги отнюдь не ступают в тот самый несущийся дальше поток, а отчаянно месят на месте какую-то жуткую слякоть, увязают и месят ее, пытаясь остаться на поверхности жутко наскучивших повторений, что в конечном счете кажется нам единственным убедительным доказательством жизни, и так до тех пор, пока в этой борьбе наши ноги в буквальном смысле не втопчут нас в смерть.

Признаться, я очень далек от праздного философствования и всякого прочего мудрствования и обо все этом упоминаю лишь для того, чтобы дать хотя бы примерное представление о том неподвластном мне состоянии возбуждения, которое я ощущал, оказавшись в весьма щекотливом, одновременно казавшемся совершенно новым и смертельно мне опостылевшем положении; а оказался я в нем, когда на исходе второго месяца моего пребывания в Хайлигендамме, стоя у роскошного белого письменного стола в своей комнате, о да, это не ошибка, по своему утреннему обыкновению, не умывшись и не побрившись, лишь набросив на себя халат, я стоял у стола в ожидании жуткого приговора судьбы! на сей раз я стоял под влажно блестящим, любопытным и пристально строгим взором полицейского сыщика в офицерском чине, который вынудил меня вскрыть и начать читать письмо от моей невесты, и даже если бы ситуация была не столь разительно непривычной, даже если бы за мной не следил повелительный и весьма искушенный в криминальных деяниях взгляд, то уже само начало письма одурманило бы меня; тем более оно одурманило меня в данном случае, когда я и без того находился в состоянии, близком к обмороку.

Мой дорогой, мой милый, единственный, писала моя невеста, прибегая к словам, которых она никогда не использовала до сих пор, и от жгучих пощечин этого необычного обращения, а также от страшных воспоминаний, голова моя закружилась, и моего самообладания хватило только на то, чтобы не впасть в столбняк; когда же я пробежал глазами все письмо, то тело мое под халатом покрылось жарким потом, дрожащей рукой я сунул письмо обратно в конверт и, как человек, теряющий равновесие, ухватился за спинку кресла, хотя на самом-то деле мне просто хотелось бежать.

609

Бежать, как можно дальше отсюда, бежать от хаоса собственной жизни! но, увы, это было нереально уже из-за присутствия необычного посетителя, не говоря уж о том, что человек не способен удовлетворить животное желание спастись бегством, ибо от собственного душевного хаоса бежать ему попросту некуда.

Причина же, по которой этот солидный служитель закона стоял сейчас в раскрытой двери террасы и по которой я с совершенно излишней готовностью подчинился его нескромному пожеланию, чтобы только что полученное письмо было вскрыто при нем, заключалась в том, что утром сего же дня коридорный по имени Ганс Баадер единственным взмахом бритвы перерезал горло тому молодому шведскому господину, с которым наутро после приезда сюда я имел счастье познакомиться за общим столом в совершенно невероятных обстоятельствах, почти в тот момент, когда умер граф Штольберг; но теперь он лежал с перерезанным горлом в луже запекшейся крови на полу соседнего апартаменты, а прибывшие на место происшествия сыщики из Бад-Доберана, после того как извлекли из темного закутка угольного подвала явно помешавшегося от собственного поступка и истерически кричащего убийцу, за каких-нибудь полчаса пролили свет на интимную связь, которая сложились между Юлленборгом и мной с фрейлейн Штольберг, а также на особую привязанность нас обоих к этому самому коридорному; так что своей любезностью и не лишённой определенной надменности предупредительностью я намеревался развеять все подозрения в том, что к этой грязной, закончившейся убийством истории я имею какое-либо отношение.

Я благодарил судьбу и свою несговорчивость за то, что не фигурировал на тех поразительной красоты фотографиях, на которых несчастный Юлленборг запечатлел полураздетую молодую графиню и совершенно обнаженного коридорного, а фотографии эти, возможно, именно в данный момент оказались уже в руках полицейских, досматривающих вещи убитого; между тем мой несчастный

молодой друг горячо, иногда даже со слезами умолял меня, говоря, что ему нужны трое, что рядом с неотесанным крепким телом слуги не хватает моей готически стройной хрупкости, или, как он еще выражался, «между двумя крайними полюсами здоровья должна быть представлена изумительная красота болезни».

И поэтому я, естественно, категорически отрицал подозрения, облеченные в вежливые и юридически заковыристые формулировки, согласно которым с коридорным слугой и графиней Штольберг меня связывали предосудительно близкие отношения, и по этой причине я должен хоть что-то знать о мотивах убийства, но улики у них не было, больше того, в течение этих двух месяцев нашего трагического знакомства я, словно бы ожидая возможного разоблачения, всегда проникал в номер Юлленборга, превращенный им в студию, через дверь террасы, точно так же, как двадцать лет назад в поисках тайных ночных наслаждений проскальзывал в апартамент фрейлейн Вольгаст мой отец, и, следовательно, свидетелей моих вечерних или ночных визитов быть не могло; так что я не юлил и не осторожничал, а назвал упомянутое предположение смешной клеветой и бредом и, беспечно пожав плечами, заявил инспектору, что мне также ничего неизвестно о том, имел ли с названными персонами покойный господин Юлленборг какие-то связи, которые можно назвать интимными.

Правда, добавил я, я не был с ним в достаточно тесных дружеских отношениях, чтобы он посвящал меня в подобные вещи, но я знал его как человека добропорядочного и прекрасно воспитанного, для которого, независимо от его личных пристрастий, было просто немыслимо впутаться в какие-то сомнительные с нравственной точки зрения отношения с простым слугой; я разыгрывал перед инспектором доброжелательного и почти идиотски наивного человека, пытаюсь выскользнуть из ужасной ловушки, ведь если учесть, что коридорный был еще несовершеннолетним, то мне могли предъявить обвинения не только в противоестественном блуде, но и в растлении малолетних; и чтобы придать некоторую психологическую достоверность своему наивному высказыванию, я, еще раз пожав плечами и понизив голос до доверительного шепота, спросил инспектора, а имел ли он удовольствие лицезреть фрейлейн Штольберг без перчаток.

Немигающими глазами инспектор пристально уставился на меня; то была самая странная пара глаз, которую я когда-либо видел в жизни: они были светлые и прозрачные, холодные и почти бесцветные, с неким странным переходом между дымчато-голубым

и туманно-серым, при этом довольно большие глазные яблоки, видимо, из-за какого-то нарушения или болезни, постоянно были покрыты густой пленкой слез, отчего складывалось впечатление, будто каждый, выдаваемый им за безобидный, вопрос и каждый мой нарочито невинный ответ наполняли его чувством глубокой печали, словно все, и само преступление, и моя ложь, и скрывающаяся от него истина, вызывало в нем боль, но лицо его и глаза оставались при этом совершенно бесстрастными и холодными.

Только движением глаз инспектор дал мне понять, что не понял моего намека и был бы весьма признателен, если бы я пояснил, что я имел в виду, говоря о барышне.

Естественно, я предполагал, что фрейлейн Штольберг не выдаст меня, будет молчать или даже все отрицать, хотя оставшиеся фотографии Юлленборга свидетельствовали против нее.

Молчаливый вопрос инспектора побудил к безмолвию и меня, и я на себе показал ему, как срослись на руке фрейлейн Штольберг пальцы; вот почему ей постоянно приходится носить перчатки, добавил я вслух; они у нее как копытца.

Инспектор, мужчина дородный и добродушный, преисполненный спокойствия и профессионального достоинства, каковая внешность, наверное, служила ему добрую службу в его непростой работе, стоял, скрестив руки на груди, в дверях террасы, мы разговаривали с ним стоя, что означало, что это еще не допрос, но все же и не безответственная болтовня; но вот он расплылся в улыбке, которая из-за постоянно слезящихся глаз казалась болезненной, и, как бы отбросив в сторону все мои аргументы, заметил, что, по его опыту, на некоторых эмоционально неуравновешенных людей различные физические аномалии и уродства оказывают не отталкивающее, а, прямо наоборот, притягательное воздействие.

Я почувствовал, что краснею, и по его подернутым слезами глазам было видно, что предательская перемена в моем лице не осталась для него незамеченной, но волнение, которое он как бы ненароком вызвал во мне, возымело и обратное действие: от удовлетворения, что ему удалось на минуту разоблачить меня, слезы его стали такими обильными, что если бы он непривычно быстрым для столь флегматичного человека движением не выхватил из кармана своих мешковатых брюк носовой платок, то все его красновато-припухшее лицо было бы залито сейчас слезами.

Выходит, я тоже отношусь к числу таких эмоционально неуравновешенных людей, невольно подумал я, и вдруг вспомнил момент, когда в тишине купе, прерываемой стуком колес, в сеющемся

с потолка тусклом свете лампы барышня, глубоко заглянув мне в глаза, медленно и безжалостно стянула перчатки и открыла мне тайну своих рук.

612

Я замер, не в силах перевести дыхание, и уставился на это диковинное зрелище: природа соблюла полную симметрию! у нее было по четыре пальца, причем сросшиеся средние и безымянные пальцы на каждой руке заканчивались одним огромным плоским и необычно бледным ногтем, и я должен признаться, что эта своеобразная аномалия не только не изумила меня, да, прав был инспектор! не только не вызвала отвращения, а словно дала мне жестокое, но и притягательное объяснение ее хрупкой и беззащитно чувственной красоты, за которой по ходу совместной поездки я часами тайком зачарованно наблюдал, подглядывал и не мог разгадать, в чем же ее секрет.

Она как бы объяснила мне этим жестом, что все особенности нашего тела, все свойства, способности, все их пороки и страсти мы носим вписанными в черты лица, и застенчивость, стало быть, нужна только для того, чтобы своей благостной ширмой прикрывать очевидное, ведь лицо ее было столь совершенно и столь соразмерно, каждой линии, каждому изгибу и каждой очаровательной черточке соответствовала совершенно пропорциональная и столь же очаровательная черточка, изгиб, линия, и все-таки еще до того, как я увидел эти страшные руки, мне казалось, что все это совершенство словно повисло над пропастью собственной неопределенности и может в любое мгновенье рассыпаться, черты лица могут запросто исказиться; это кажется невероятным, но я как бы видел перед собой воплощенный закон природы, согласно которому красота может возвыситься до себя только через уродство, а совершенство есть лишь факт вырождения несовершенства, и поэтому всякая красота словно играет в прятки с аномалиями и уродством; губы ее были полны и сочно чувственны, но подрагивали от волн нежной мягкости, как будто ей нужно было все время сдерживать какую-то боль или грубую силу, глаза же были так широко распахнуты, смотрели так пронзительно и вместе с тем так неприятно заносчиво, как будто она каждым взглядом одновременно бросала вызов смерти и пыталась уйти от нее; страх смерти и готовность кого-то убить заметил я на ее лице, это безумие, облаченное в красоту, волновало меня, и поэтому ее жест, та неспешность и безжалостное достоинство, с которыми она раскрыла передо мной не только тайну своих рук, но в конечном счете и тайну всего ее тела, угнетаемого и подавляемого вожделем, побудили меня ответить ей самым

радикальным и необдуманным жестом: я схватил ее странную руку и, ощутив в этом, несомненно, отталкивающем зрелище некий корень своих влечений, поцеловал ее.

Она не просто снесла мой смиренный поцелуй, я чувствовал, что на краткое это мгновение она целиком отдала ему свою руку, а затем медленно, наслаждаясь горячим прикосновением моих губ, потянула ее к себе, но – и это я тоже почувствовал – не для того, чтобы отнять ее, нет, она хочет чего-то другого, жестокого, из ряда вон выходящего, перчатки упали с ее коленей на пол, и тогда она запихнула свои сросшиеся пальцы, свое отвратительное копытце прямо мне в рот, при этом мы оба молчали, молчали, как воры, ведь ее мать, подрагивая от тряски, дремала рядом, даже не до конца закрыв глаза, и острым краем широкого плоского ногтя она намеренно расцарапала мне губы, язык, чтобы тем самым мою смиренность превратить в унижение.

Но улыбка на ее лице осталась незабываемой, и именно эту улыбку поздней зафиксировал Юлленборг на одной из своих столь же незабываемых фотографий.

На фотографии господствующими были не два очень близко знакомых мне тела, а тяжело ниспадающая незнакомая мне драпировка, складки которой от верхнего угла фотографии пучком направлялись к оптическому центру изображения, и там драпировка, скрывая собой какой-то пригодный для сиденья предмет интерьера, возможно, что-то вроде высокого табурета, легко разворачивалась, освобождаясь от складок, и точно так же, диагонально, направлялась к нижним углам картины, покидая своими изящными линиями ее пределы, отчего возникало впечатление, что мы имеем дело не с целой картиной, а с произвольно вырванным из нее фрагментом, а потому и позы моделей на этом роскошном фоне тоже казались случайными: на непокорной шевелюре коридорного красовался лавровый венок, он сидел в центре фотографии с раздвинутыми ногами и напряженными мышцами на груди, положив свои огромные, как лопаты, натруженные руки на колени, но взгляд его был направлен не в объектив, как его тело, а, следуя за складками драпировки, куда-то за пределы кадра, куда он смотрел поверх головы фрейлейн Штольберг, которая, опустившись перед ним на одно колено, расположилась так, чтобы словно прикрыть своей склоненной на красивой обнаженной шее головой пах коридорного, чьи огромные раскинутые ляжки и голени служили естественным обрамлением ее улыбающегося снисходительно жесткой и сладострастной улыбкой лица.

Но при этом я еще ничего не сказал о самой фотографии, которая, естественно, говорила гораздо больше о ее создателе, чем об использованных им моделях; дело в том, что, руководствуясь весьма мудрыми правилами античной эстетики, Юлленбург обнажал лишь мужское тело, при этом все же стараясь скрывать гениталии, а женское тело он, оставляя открытой одну из грудей, укрывал переброшенной через плечо классической туникой, которую, как известно, предварительно смачивали водой или маслом, чтобы она, облепляя тело, еще ярче, чуть ли не с отвратительным неприличием подчеркивала то, что должна была скрыть.

Фотография эта, возможно, могла показаться отвратительным, до смешного претенциозным, едва ли достойным упоминания образчиком судорожно мечтательных дилетантских усилий, которые в стремлении к безупречно уравновешенным пропорциям пытаются уничтожить именно те, полагаемые несовершенными, неправильными и постыдными, человеческие особенности, каковые являются неотъемлемыми и естественными частями любого и всякого человеческого совершенства, но только на фотографии этой, что можно поставить в заслугу ее создателю, барышня, загнув внутрь здоровые пальцы, держала перед лицом свое ужасное сросшееся копытце, поднимала к глазам эту страшную аномалию и как будто даже не ощущала теплой близости раздвинутых чресел слуги, о небо, каким ароматным теплом веяло от его чресел! и своей беспощадной улыбкой она улыбалась только этой, завершающейся жутким ногтем части тела, да, да, беспощадной улыбкой! отчего вся картина в целом, с ее вычурными, хитроумно просчитанными пропорциями и коварно замаскированной чувственностью, превращалась в дьявольскую пародию, но высмеивающую своим мефистофелевским смехом вовсе не этих двух человек, а того, кто подглядывал за ними в замочную скважину, меня, тебя и любого, кто смотрел на снимок, или даже того, кто его изготовил! ведь речь шла о том, что можно с улыбкой принять собственное уродство, что непреложную беспощадность фактов следует принимать с улыбкой, это и есть невинность, а все остальное – лишь декорации, завитушки, орнамент, изыски вкуса и стиля эпохи, притворство, и от этой улыбки, адресованной аномалии, дьявольски пародийным казался лавровый венок на голове коридорного, пародийным казалось то напряженное безразличие, с которым выглядывал он из складок дурацкой драпировки, и пародийной казалась та грубая чувственность, которая, несмотря на всю их намеренную отчужденность, нежелание смотреть друг на друга и неизбежное

одинокость, все же связывала их, и в конечном счете, не оставляя нам никаких иллюзий, грубо поданная красота их тел производила довольно жалкое впечатление.

Я мог бы краснеть еще очень долго, если бы инспектор из лукавого сострадания, или, может, таков был профессиональный расчет, не вытирал слишком долго слезящиеся глаза; намотав носовой платок на кончик мизинца, он аккуратными отрывистыми движениями вычищал уголки глаз, зная, что при постоянном слезотечении там скапливаются желтоватые выделения, но в его копотливости было явно скрыто притворство, он, казалось, умышленно не пользоваться своим преимуществом, возникшим в результате моего замешательства, больше того, он как бы хотел дать мне возможность прийти в себя, словно бы говоря, только не надо спешить, времени у нас на все предостаточно, и если не теперь, так в другой раз, а может, и прямо сейчас я все равно расскажу ему то, что я должен ему рассказать, но его это не особо и волнует, и в этом смысле его тактичность на самом деле была достаточно беспощадным способом взвинтить мне нервы.

И расчет его оправдался, ибо в тот самый момент, когда я был вне себя от радости, что все-таки подавил в себе внешние признаки смятения, меня словно подменили, я перестал контролировать себя, потерял ориентиры и оказался у той черты, к которой он и хотел меня подвести; ну ладно, подумал я вдруг, я все расскажу ему, лишь бы только покончить с этим.

Мне казалось, что рассказать обо всем не так трудно, хотя история была далеко не простой: один из четверых участников эротических развлечений захотел выйти из игры, а другой стал его шантажировать теми скандальными фотографиями, где он был запечатлен вдвоем с девушкой, и нужно было только найти первое подходящее слово, сложить первую фразу, которая объясняла бы всю историю, и тогда бы я все ему рассказал.

К счастью, в этот момент в дверь постучали, и я вздрогнул, однако не оттого, что услышал три этих тихих стука, а оттого, что стук этот отрезвил меня.

Но отрезвление окончательно спутало все мои чувства, я порывался что-то сказать и в то же время скрыть, и от этих противоречивых импульсов я, почти теряя сознание, побледнел; сквозь лихорадочную пелену бессилия я увидел, как к нам приближается толстый и в связи со смертельным случаем особо подобострастный владелец отеля, инспектор в этот момент хотел уже было подхватить меня под руку, чтобы усадить, но я, собрав последние силы,

отстранил его и тем же движением взял с протянутого мне подноса письмо, ибо сразу заметил, кто его отправитель.

Должно быть, я выглядел очень жалким созданием, пытаясь каждым своим движением доказать, что владею собой, хотя в этой ситуации, в этой комнате не было уже ничего, что оправдывало бы эти мои отчаянные усилия.

Как ни странно, меня поражала не сама ситуация, а какие-то незначительные детали – так, резкая тень, которую отбрасывало на меня тело инспектора, казалась гораздо важнее, чем все прозвучавшие и утаенные слова, меня поражало, почему так сильно и близко шумит море, хотя окна в комнате были закрыты, а вливающийся через них зимний холодный свет падал словно бы прямо в мою безумно мятущуюся душу.

Я также не понимал, хотя знал, конечно же, о случившемся, но не понимал, почему письмо принес мне хозяин отеля, а не коридорный, да, почему не Ганс, которого я только что изгнал из своего сердца, и даже не из сердца, а глубже, из своих ощущений, я не понимал, почему его нет, когда мне так больно; а больно мне было от моего предательства.

И я не понимал, почему этот человек, который снова скрестил руки на груди, просит меня прочесть письмо и говорит это так, как будто в комнате был еще кто-то, кто мог бы его прочесть, не понимал, почему он высказывает вслух мое собственное намерение, а все потому, что мне было так больно от своей рабской трусости, от готовности тут же исполнить его замаскированный под учтивую просьбу приказ, что от боли возникло чувство, будто страх испытывает кто-то посторонний, посторонний, который только прикидывается мной.

И даже сейчас, когда, много лет спустя, я пишу эти строки, даже сейчас я не могу до конца понять, что со мною тогда происходило, серьезность опасности сама по себе ничего не объясняет, точнее сказать, может быть, я и понимаю, но глубоко стыжусь всех этих сцен полуобморока, безумия, фиглярства, предательства и трусливой покорности, в которых я искал спасения; этот стыд, словно тромб, закупоривший сосуд, застрял во мне, и растворить его невозможно ни лекарствами, ни поисками веских причин, ни обстоятельными разъяснениями, этот тромб не рассасывался, оставаясь свидетелем моего нравственного падения.

Письмо было совсем коротенькое, написанное в едином порыве счастья, каких-нибудь полстранички; мой дорогой, мой милый, единственный, начиналось оно с обращения, о которое тут

же споткнулся мой взгляд, я пробежал его еще и еще раз, не веря своим глазам, потому что словами этими ко мне из письма неожиданно обратилось привидение, призрак той женщины, о которой я мимоходом упоминал уже в этих воспоминаний выше, да, это была она, которая, будучи даже призраком, была для меня живее, чем любой из живущих людей, но говорить о ней я не буду, для этого просто нет слов, за обращением стоял ее образ, точнее, оно, это обращение, дохнуло на меня ее запахом, запахом ее губ, ее лона, подмышек, тем ароматом, который мне не догнать, сколько ни гонись за ним, только она так когда-то писала мне, только она любила меня, только она могла обращаться ко мне так ласково, хотя, несомненно, это письмо написала Елена.

Именно в эту долю секунды, от воспоминания о развеявшемся аромате, по-видимому, и созрело во мне решение все-таки бежать от Хелены.

Это нежное обращение заставило меня вспомнить те долгие и отвергнутые десять лет моей жизни, которые мне хотелось забыть; и хотя Елена похитила его у меня, это обращение не могло ей принадлежать, я не желал ей дарить его, однако все, что с ним было связано, все же пришло мне в голову, видимо, не случайно, ведь я знал, что о десятилетии, проведенном мною в тайных кружках анархистов, у полиции есть достаточно основательных и надежных сведений, и если мне не удастся сейчас проявить звериную изворотливость, то мне заодно припомнят и эти годы, и, стало быть, попытки спастись от этого нездорового, извращенного и крамольного опыта в объятиях Хелены были все-таки тщетными.

Из письма на меня дохнула смерть, единственная и столь многоликая, поджидающая за каждым углом, смерть, столь страстно желаемая и такая пугающая, смерть той единственной ароматной женщины и моего публично отвергнутого друга, лежащего в луже крови,дохнули все смерти и все убийства, непостижимая и печальная смерть моей матери, тихо угасшей на глазах отца, и его собственная позорная смерть под колесами поезда у седьмой железнодорожной будки между Гёрлицем и Лёбау, и изуродованное тело девочки, которую он изнасиловал, и вообще смерть любого тела, этого дырявого бурдюка, из которого вечно сочатся пот, моча, экскременты, слюна и сопли, хотя от строк Хелениного письма исходили блаженные волны счастья и обещание воображаемой ею прекрасной жизни: «с того бесподобного утра, которое было для нас тяжелым, но все же волшебным закончившимся прощанием, я ночью под сердцем дитя», писала она и просила меня, дабы приблизить

день свадьбы, вернуться, и вернуться незамедлительно, о чем просят меня и ее родители, за чем следовала в качестве подтверждения подпись, состоявшая из начальной буквы ее имени.

Но если судьба решила устроить так, чтобы это письмо я читал под влажным взглядом полицейского сыщика, расследующего убийство, значит, все, абсолютно все есть только видимость и обман, думала одна половина моего расколовшегося я, между тем как другая, конечно же, была вне себя от счастья и едва не теряла сознание от мысли о продолжении рода, более того, чем яснее она ощущала, что это тоже обман, иллюзия, фальшивая розовая мечта о спасительном убежище, тем больше она впадала в абсурдное ликование.

Она хотела, чтобы от этого гадкого расплзающегося существа, надеющегося наконец-то избавиться от себя с помощью блаженной и ужасающей его смерти, родился сын.

Что за кошмарные демоны вселяются порой в наши мысли.

Я громогласно расхохотался, так неистово, что вынужден был ухватиться за спинку кресла, чтобы не упасть.

Я не знаю, в какой момент мне удалось вложить письмо обратно в конверт, но до сих пор вижу, как пытаются это сделать мои дрожащие руки.

Нет, сначала была борьба дрожащих рук с конвертом и письмом, затем, после этой маленькой победы, я вынужден был ухватиться за спинку кресла, чтобы не сбежать из комнаты, и, кажется, только потом, не в силах совладать с дрожью, громко расхохотался.

Я смеялся безумно, мог бы сказать я, но голос мой говорил скорее о том, что этим хохотом я пытался свести себя с ума.

И с этой минуты мною руководил уже он, голос демона.

Почти десять лет спустя, в объемном труде барона Якоба Иоганна фон Иксюля я наткнулся на проницательное и очень понравившееся мне утверждение: «когда бежит собака, она двигает ногами, а когда бежит морской еж, ноги двигают животным».

Это тонкое различие помогло мне понять, что в моем хохоте проявился характерный для низших животных и не имеющий нравственного содержания инстинкт бегства, но это не я спасался бегством в свой хохот, а мой хохот помогал мне спастись в критической ситуации.

В момент взрыва этот хохот был еще разоблачительным, выдававшим смертельное отчаяние, но уже в следующий момент он, словно споткнувшись, изменил направление, русло и прежде всего свой смысл и стал звучать как смех неумейной радости, и даже

не радости, а штурмующего небеса нелепого ликования, правда, оно было не вполне безупречным, не совсем подходящая ситуация вносила в него нотки смущения, и странным образом свой собственный смех со всеми его оттенками, поворотами и надрывами я слышал как бы ушами инспектора, но потом я смеялся уже просто счастливым смехом чистой, отмытой радости, до тех пор пока от растроганности глаза мои не заволокло слезами, отчего смех стал захлебываться и булькать, а чувство умиления, окончательно охватившее меня, помогло снова овладеть собою, и я смог, пусть даже и заикаясь, что-то сказать.

619

«Прошу прощения», запинаясь и вытирая глаза, сказал я, и мой демон, который по-прежнему держал меня в своей власти и говорил моим голосом, в своей самонадеянности позволил себе даже роскошь быть, так сказать, откровенным, словно подсказывая мне, что ложь, обман и предательство можно запросто выдать за правду, и нечего тут стыдиться! и это будет куда убедительнее, чем все, что старается выглядеть невинно простым и непорочно чистым, и вообще, между нравственностью и безнравственностью в этом мире нет строгих границ, так что нечего привередничать и морализировать, вперед, в наступление! он, мой демон, казалось, нашел в щекотливой теме письма моей суженой, так счастливо оказавшегося в моих руках, победный и неопровержимый аргумент, способный развеять все подозрения касательно моей персоны: «еще раз прошу прощения», повторил я, «смех в подобного рода ситуациях действительно неуместен, мне, право же, стыдно, но ответственность за свой смех я все-таки не беру на себя, поскольку без вашего понуждения мне, естественно, и в голову не пришло бы в присутствии незнакомого человека читать письмо столь волнительного содержания, и на самом-то деле я должен просить прощения у того умершего человека, который сейчас все еще лежит в соседней комнате», сказал я голосом своего демона, ставшим совершенно серьезным, бесстрастным и почти холодным, но все-таки не отказываясь от видимости светской легкости: «но поверьте», продолжил я, «что вас я точно так же не желал обидеть, как и покойного, и могу вас заверить, что письмо это носит сугубо личный характер, а для того, чтобы окончательно развеять какие-либо предположения относительно его связи с сегодняшним печальным событием, я готов, отступив от приличий, поделиться с вами, а почему бы и нет, черт возьми! что может меня удержать? ведь речь идет о счастливом известии, о котором я, собственно, не задумываясь, трепеща всем сердцем, могу сообщить всему свету!»

Я сделал глубокий вдох и даже, помнится, опустил голову, и голос мой сделался совсем мрачным, каким-то неприятным или, может, стыдливым, когда я закончил свою тираду.

Он так долго молчал, что через какое-то время я вынужден был поднять голову.

И мне показалось, что в воздухе лопнул яркий, переливающийся всеми цветами радуги мыльный пузырь.

Его глаза смотрели на меня сквозь пелену обманчивых слез, и пока мы пристально вглядывались друг в друга, у меня все же возникло впечатление, что я впервые увидел на его лице нечто вроде потрясенности или изумления.

«Напротив», ответил он весьма тихо, и я с величайшим удовлетворением наблюдал, как помрачнело его склонное к апоплексическому удару лицо, хотя было очевидно, что покраснело оно вовсе не от стыда, а от злости, «напротив», повторил он почти елейно, «это я вынужден просить прощения, ибо нахожу ваше замечание вполне уместным, моя просьба была излишне навязчивой, и я, очевидно, переступил ею границы дозволенного, но я вынужден повторить вам еще раз, к чему меня побуждает лишь ваше излишне взволнованное, хотя и понятное недоверие, что в данном случае нет и речи о каких-то предположениях или подозрениях, ибо нам все ясно, преступника мы задержали, что вовсе не означает, конечно, что дело уже закрыто, но все же я еще раз прошу извинить меня за то, что возникла такая видимость, и прошу вас мою настойчивость считать практически неизбежной в подобного рода делах и, возможно, излишней предусмотрительностью или даже весьма неприятным проявлением профессионального любопытства, чем угодно, но все-таки я прошу вас не обижаться! и раз уж так получилось, то позвольте мне первому выразить вам самые горячие пожелания счастья, и не забудьте, что это делает человек, и делает от души, который вынужден постоянно заниматься печальными сторонами жизни, человек, которому крайне редко доводится слышать о прекрасных и, главное, о естественных поворотах жизни».

Краска исчезла с его лица, он ласково и с некоторой долей печали улыбался мне, вместо поклона мы просто кивнули друг другу, однако ни до, ни после этого он не сдвинулся с места, а, скрестив на груди руки, продолжал стоять в дверях террасы, освещенных косыми лучами света, и отбрасывал на меня тень.

«Могу я вас попросить еще об одном одолжении?» – сказал он после некоторых колебаний.

«Я к вашим услугам».

«Дело в том, что я заядлый курильщик и, к сожалению, оставил сигары в своем экипаже. Может быть, вы меня угостите?»

Это странное поведение, когда человек просит извинить его за неуместную, неподобающую и совершенно противоправную просьбу и в то же время еще раз умышленно, вроде бы без особой надобности намекает на свою власть над другим, напомнило мне кое-кого или кое-что, что в тот момент я не мог припомнить, но это было очень знакомое, почти физическое отвращение к человеку явно низшего по сравнению со мною происхождения.

«Пожалуйста, разумеется», любезно ответил я, однако не двинулся с места, чтобы, как то положено, собственноручно открыть коробку с сигарами, и даже не предложил ему сесть.

Был в моей жизни кто-то, перед кем я чувствовал себя таким же беспомощным и ненавидел его за это.

Однако инспектора это ничуть не смутило, он спокойно обошел меня, чтобы вынуть сигару из коробки, из той, которую несколько дней назад подарил мне Юлленбург; и этот факт настолько меня поразил, что у меня не осталось сил даже повернуться, я совершенно точно знал, зачем ему это понадобилось: на столе в комнате покойного лежала точно такая же коробка, то есть вещественное доказательство было найдено.

Наступила такая глубокая тишина, что было слышно, как он сорвал с сигары бумажное кольцо, после чего так же неспешно вернулся ко мне.

«Не могли бы вы дать мне нож?» – спросил он, дружески улыбаясь, и я указал ему на мой стол.

Он не спеша раскурил сигару, но мне показалось, что он делает это в первый раз в жизни; затянувшись, он похвалил аромат и молча выпустил изо рта дым, а я, так же молча, уставился на него.

И при этом я чувствовал, что не выдержу, пока он докурит сигару.

«Могу я еще чем-нибудь вам помочь?»

«О нет», любезно сказал он, склонив голову, «я и так отнял у вас слишком много времени, и, по всей вероятности, завтра я снова буду иметь честь вас видеть».

«Если вы полагаете, что такая встреча необходима, то вот моя визитная карточка», сказал я, «завтра вечером я наверняка буду уже в Берлине».

Он вынул изо рта сигару и с довольным видом кивнул.

«Буду весьма вам признателен», выдохнул он вместе с дымом.

Он аккуратно вложил мою карточку в бумажник, после чего нам осталось только раскланяться, и он, молча попыхивая сигарой, покинул меня.

622

Я остался в комнате, смертельно усталый, ощущая себя расколотой надвое льдиной в ледяном потоке, двумя явственно различимыми в ночи пятнами, стремительно отдаляющимися друг от друга, и пока одна из моих половин напевала какое-то скупое победное песнопение, другая шептала совсем о другом, о позорном моем поражении, и пока одна, ковыряясь в памяти, размышляла, почему мне знакома эта отвратительная фигура и кого она мне напоминает, и раздражалась, не находя ключ к разгадке, другая моя половина уже размышляла о шансах бегства, детально представляя себе, как, добравшись до Анхальтского вокзала Берлина, я скроюсь в людском потоке, даже если за мной следят, и тут же переседаю на поезд, отправляющийся в Италию, однако я должен сказать и о том, что при этом было еще и мое третье я, которое весьма странным образом соединяло два первых, отдаляющихся друг от друга, и глаз этого третьего я представлял мне картину, которая воспроизводила, опять же, невольно открывшиеся мне воспоминания, вроде бы не имевшие отношения ни к чему: картину сада из моего детства, жаркий день в конце лета, когда я, бродя среди деревьев, заметил в наполненной водой чаше фонтана зеленую ящерицу, захлебывающуюся в воде, из которой торчал лишь кончик ее головки с разинутой пастью, уши и открытые глазки ее были под водой, и она, беспрестанно дергая распростертыми лапками, никуда, ни вперед, ни назад, не могла продвинуться, и эта картина была, может быть, самым первым и самым ранним моим воспоминанием о мире; лето стояло сухое, я представлял себе, зачем она забралась туда, и, ошеломленный, не смея пошевелиться, глядел на нее, но глядел так, будто я был не просто свидетелем, а Господом Богом, способным решить, жить ей или не жить, и сама возможность такого решения привела меня такой в ужас, что я подумал уже, что лучше позволить ей утонуть, но потом, сложив ладони, я все-таки зачерпнул ее вместе с водой и с отвращением то ли от прикосновения к ней, то ли от бесповоротности совершенного действия швырнул ящерицу на траву; она лежала неподвижно, дышала, все ее красивое тело пульсировало от биения сердца, и эта картина, изумрудно-зеленая, искрящаяся от воды трава, неподвижная ящерица, не просто вспомнилась мне – я увидел ее, отчетливо, со всеми цветами, деталями, солнечным светом, так, будто я стоял сейчас в том давнем саду, а не в этой комнате.

Я и был той зеленой ящерицей, для которой подаренная ей жизнь, отсрочка от смерти, биение собственного сердца, воздух являются точно такой же, если не более глубокой, тайной, как то, что она ощущала, захлебываясь в воде.

И я не заметил, когда я сел, углубившись в созерцание этой картины; я уже не стоял, а на чем-то сидел, и сквозь мои прижатые к лицу пальцы капали слезы.

А за плачем моим словно бы наблюдал тот давний маленький мальчик, испуганными сухими глазами смотрел на все, что позднее произошло с ним, и нелепо повторял один и тот же вопрос: почему, кто этого хотел, кто так сделал, почему, почему.

Казалось, он уже и тогда вечно повторял этот глупый вопрос, но и сегодня он был не способен на большее.

Я оплакивал не любезного друга, не Юлленборга, этого веселого молодого красавца, которым я с завистью восторгался даже и в смерти, ведь он, как бы ни завершилась его жизнь, своей единственной постыдной и все-таки восхитительной фотографией успел рассказать нам больше, чем я, при всех своих муках, борениях и сомнениях, способен был рассказать неловко следующими друг за другом словами, да, я ему завидовал! и само собой разумеется, что за те два месяца, проведенных в безумной анархии ощущений, из задуманного мною повествования мне не удалось написать ни одной сколько-нибудь окончательной фразы, в то время как он, вечно мучимый загадочной сыпью и сгорающий от болезни легких, с веселой легкостью человека, уже приготовившегося к смерти, с какой-то неслыханно простой, порожденной близостью смерти элегантностью забавлялся теми тяжелыми вопросами, над которыми я с нарочито возбужденной горячностью дилетанта мог только терзаться; я восхищался им, я завидовал! ибо он с чудовищной последовательностью исполнил и завершил то, к чему пригодило его тело, предметы своих интересов и увлечений он никогда не подменял идеями, а как бы накладывал их, сливал, предмет и идею, и идея могла проступать сквозь предмет лишь невольно, в то время как я только и занимался тем, что думал и фантазировал, пытаюсь насильственно высечь из слов какие-то спасительные для себя идеи, и, наверное, здесь и проходит разумная грань между искусством и дилетантством: предмет созерцания нельзя путать со средствами его выражения! и он никогда их не путал, поэтому в нем и через него что-то всецело осуществилось, и в жалости он не нуждался; не оплакивал я и Ганса, этого невинного молодого колосса, теперь уже окончательно отданного в руки немилосердной

судьбы, хотя что за райское наслаждение было с нежнейшими чувствами любить его огненно-рыжие волосы, мягкую гладкость его молочно-белой кожи, его веснушки, местами переходившие в небольшие родинки, за которые цеплялся палец, буйную шелковистую растительность на лобке и выстреливающее из его теплого паха горячее млеко! я не оплакивал мои преданные, утраченные утечи, не оплакивал понятую до мельчайших пор интимность телесной формы, да она и не просто форма, эта плоть, которой теперь предстоит медленно гнить в холодных стенах сурового каземата! я не оплакивал свое отвратительное предательство, не оплакивал мать, которой мне не хватало сейчас настолько, что я даже не осмеливался думать о ней, в своей матери не оплакивал я Хелену, которую я сейчас вознамерился бросить, и в своем еще не родившемся ребенке, которого я никогда не увижу, я не оплакивал себя, в конечном счете ни в чем не повинного отца, и не оплакивал своего отца, не оплакивал девочку, с которой он так ужасно расправился и на чье тело в такое же, как сейчас, солнечное утро, в ходе деликатно безжалостной процедуры опознания, мы вынуждены были смотреть с нашей служанкой Хильдой, с той самой Хильдой, которая через несколько месяцев, как бы в отместку за свою судьбу, стала первой женщиной в моей жизни, но ее уже тоже нет в живых; нет, оплакивал я не их и даже не самого себя.

Пока в глазах моих стояла спасенная мною ящерица, мозг работал, как разогнанный непонятно зачем мотор; разгоряченный жаром эмоций, своими зубчатыми колесами, ременными передачами, поршнями и рычагами он поднимал из самых глубин души очень сходные вещи, все то, что так по-детски болело; нет, я плакал не от изнеможения и даже не из-за опасности, а от бессилия, вызываемого безмерностью человеческой скверны.

И в этот момент я, казалось, знал даже, кто вернулся ко мне под видом инспектора, чтобы кое о чем напомнить, и знал также, что своими громкими, сотрясающими все тело рыданиями я оплакиваю только одного, единственного своего покойника, единственную свою любовь, к которой ничто не пристало из этой мерзости, ее! икая и задыхаясь, оплакиваю ту женщину, которую я не могу назвать.

Я был весь в слезах, в жару, и вместе с тем мое отвратительное тело знобило, и все члены мои как бы расплзались, когда, не знаю сам почему, мне пришлось поднять взгляд.

Кто владеет божественными способностями различать незаметные, отстоящие друг от друга на доли секунды изменения времени,

хотя ясно, что эти тончайшие божественные различия протягивают и плетут свои паутинки именно в нашей душе?

Да, я увидел в дверях ее, именно эту женщину, стоящую молча и с укоризной в глазах, в черном платье и под вуалью, держащую одну руку на ручке двери, чтобы тихо затворить ее за собой; и я еще удивился, почему она в черном, ведь она уже умерла, как можно носить траур по самой себе! но в следующую долю секунды я уже знал, что передо мной не она, что на ее месте стоит фрейлейн Штольберг.

И странно было еще, что в этот момент саднящая боль уступила место приступу еще более острой боли, боли от уже окончательно, навсегда, отсутствия, и барышня успела заметить на моем лице эту внезапную судорогу, не имевшую к ней отношения.

Она подняла вуаль, сунула руки в перчатках обратно в муфту, замерла в нерешительности, не зная, что принято делать в подобных случаях; лицо ее было мраморно бледным, гладким и неприступным, совершенно чужим, каким делало его чуть ли не отвратительное выражение потрясенности, но все же я различил в нем и мою собственную боль, возможно, в ее робкой и неимоверно хрупкой улыбке, которая все же подрагивала в уголках ее рта, точно так же, как и на моих губах.

Последний раз я видел ее в той невообразимой сцене, когда несколько часов назад после душераздирающего вопля горничной все мы высыпали в коридор, и тогда она вместе с другими бежала к распахнутой настежь двери апартаментов нашего друга Юлленборга и, не зная, не понимая еще, что произошло, словно бы наслаждалась этим шумным переполохом.

А теперь этой слабой улыбкой ей хотелось немного облегчить боль, сделать положение не таким унижительным, и по лицу ее было заметно, что с ее маленькими жестокими играми покончено и последующее будет еще беспощадней; этой легкой улыбкой она словно уравнивала это последующее, отчего ей было еще больнее, больнее от стыда, от того же, отчего было больно мне, что я вынужден улыбаться, что я вообще могу еще улыбаться, что улыбка, возможно, сильнее самой смерти, которая, конечно, еще не моя смерть, все еще не моя.

С улыбкой, отягощенной тенью этой обиженной, гордой, смиренной, красивой жестокости, она поспешила ко мне, и я встретил ее такой же улыбкой, но улыбка моя была столь тяжела, что я не в силах был с нею подняться, она же, выхватив руки из муфты и уронив ее на пол, прикоснулась обеими затянутыми в перчатки руками к моему лицу, запустила их в мои волосы.

«Милый друг!»

Этот возглас, произнесенный шепотом, походил на сдавленное рыдание, и, как ни стыдно мне в этом признаться, прикосновение ее рук доставило мне болезненное удовольствие.

626 Внезапный порыв, обретенная в боли, в стыде кошмарная радость – видимо, это заставило меня вскочить со стула; мое лицо скользнуло наверх по ее кружевному платью, коснулось ее лица, ее жесткие прохладные губы коснулись моей мокрой от слез щеки; она что-то искала, неуверенно, но настойчиво, искала поспешно, и я тоже что-то искал на ее блаженном гладком лице, искал неуклюже и жадно, и в тот самый момент, когда губы ее коснулись моих, в ту самую долю секунды, когда я ощутил прохладные очертания ее рта, его нежный выступ, прохладу заманчиво изогнутых губ, мы оба почувствовали примерно одно и то же; не размыкая губ, она уронила голову мне на плечо, крепко обхватила меня руками, чтобы освободиться от этого ощущения: мы оба чувствовали его в себе, кромками губ чувствовали вкус губ покойного, он был с нами, и без него было уже невозможно прикоснуться друг к другу.

Мы стояли так довольно долго, обхватившись руками, мы вжимались друг в друга всем телом, грудью, бедрами, пахом; во всяком случае, мне показалось, что это длилось долго; и если до этого в наших легких прикосновениях и поцелуях чувственная энергия, вспыхивающая и тут же гаснущая, давала выход боли, то теперь в этих жарких и совершенно лишенных какой-либо чувственности объятиях боль слилась в общей вине и скорби, и из этой общности боли мы не могли, да и не хотели выталкивать зажатого между нашими двумя телами умершего.

Видимо, ей потребовалось какое-то время, чтобы согреться от моего разгоряченного плачем тела, после чего она неожиданно, не отрывая головы от моего плеча, каким-то совершенно иным, заговорщицки хитрым и не совсем уместным тоном прошептала:

«Я была очень умной девочкой», сказала она едва не со смехом. «Я соврала».

Я знал, что она имела в виду: то самое, о чем мне хотелось узнать, ибо знание этих неназванных, но весьма важных фактов означало, что у меня есть время, чтобы ускользнуть, но я не мог спросить у нее об этом, не выдав себя.

Но ведь она и сама собиралась бежать, поэтому, выдав меня, она выдала бы и себя, и все-таки она ожидала моей благодарности.

Мне же хотелось исчезнуть из этой моей жизни, так чтобы не оставить никаких следов даже в форме нетерпеливого изобли-

чающего меня вопроса, по которому остающиеся могли бы позднее судить о моих намерениях, я не хотел оставлять после себя ничего, только бесследную пустоту.

И она хорошо это понимала, хотя не могла точно знать, что именно понимала, и я вовсе не собирался лишать ее своей благодарности, но все же вынужден был несколько отстранить ее от себя, чтобы увидеть все это на ее лице.

И на ее лице все было именно так, ошибся я только относительно ее смеха, потому что в действительности она плакала.

Я слизывал языком ее градом текущие слезы и радовался тому, что таким простым способом могу выразить ей свою благодарность, и когда я снова привлек ее к себе, то почувствовал, что в наших телах растаяло странное, чуждое еще минуту назад ощущение, что мы не одни.

И от этого чувства я услышал вдруг, какая мертвая тишина царит в моей комнате, какая беззвучная тишина стоит во всем доме и в какой глухой тишине падает в окно немой свет.

Я подумал о том, что коридорного уже увезли.

Позднее она прошептала мне что-то вроде того, что зашла просто попрощаться, потому что они уезжают.

Я тоже еду домой, солгал я, но, пожалуй, мне все же не стоит ехать вместе с ними.

О, об этом мне нечего беспокоиться,дохнула она мне в шею так жарко, как будто мы говорили с ней о любви, они отправляются в Кюлунгсборн, где, по-видимому, проведут несколько дней, прежде чем возвратиться в свое имение в Саксонии.

Но по прошествии стольких лет, прожитых совершенно другой, лишенной всяких страстей и распутства, достойной, можно сказать, всяческого уважения жизни, что за стыд все же удерживает меня от того, чтобы рассказать об этом прощании?

А было она таким, как будто нам нужно было проститься не друг с другом, ведь мы скорее хотели бежать друг от друга, и чем скорее, чем дальше, тем лучше! а хотели бережно попрощаться с ним, с тем, который останется здесь.

Она не выдала меня, солгала ради меня, и я отнюдь не уверен, что смог бы на ее месте поступить точно так же, и поэтому даже в этой ситуации, в этом безумном прощании ей пришлось быть сильнее.

Она оттолкнула меня и отступила на несколько шагов назад; мы смотрели друг на друга, но правильнее было бы сказать, что когда мы смотрели с ней друг на друга, то каждый смотрел не на другого, а на него.

И к тому же мы, отдалившись, оставили ему слишком много места, и он стал расти и шириться.

Я в замешательстве, заикаясь, не понимая, как можем мы обойти кого-то, кто, все толстая и ширясь, стоит между нами, хотя его труп лежал рядом, за стенкой, пробормотал, что я должен бы в таком случае попрощаться с ее матерью, рассчитывая просто на то, что если мы вместе покинем комнату, то тем самым как-то все же освободимся от присутствия нашего мертвого друга, но в ответ в глазах ее сверкнуло что-то острое и болезненное, что, наверное, с полным правом можно было назвать упреком и ненавистью, упреком в том, что я под таким никчемным предлогом пытаюсь покинуть его, покойного, и ненавистью за то, что я вместе с тем отталкиваю от себя ее, живую; и потому мне пришлось остаться.

И когда я остался, то окончательно и бесповоротно смешалось все – живое и мертвое.

А она улыбнулась такой улыбкой, какой зрелая женщина улыбается, глядя на неуклюжего ребенка.

И немного погодя она сняла шляпку, не спеша стянула с рук перчатки, швырнула их вместе со шляпкой на стол, подошла ко мне и своими сросшимися пальцами коснулась моего лица.

«Глупый, какой же вы, право, глупый!»

Я ничего не ответил.

«Все это так естественно», сказала она, и я, невольно отвечая на ее жест, почувствовал собственными руками, что прикасаюсь не к лицу той женщины, которую я любил и буду сейчас любить, я обнимал своими ладонями лицо той женщины, которую любил он, покойный, точнее сказать, любит и до сих пор, и будет любить, вселившись в меня, в мои руки и тело, точно так же, как и она держала сейчас в руках совсем не мое лицо.

Больше между нами не прозвучало ни слова, и не было даже такого движения, которое не относилось бы через нас к нему.

Мы медленно и с достоинством провели друг в друге принадлежавшее ему время, и на этот долгий, ясный и в каждом своем мгновении трезвый час куда-то исчез даже убийца Ганс.

Зрачки наши, словно бы отражая какие-то внутренние толчки, сужались и расширялись, и через сладострастную пелену наших глаз мы наблюдали смерть.

После того как она оделась, натянула перчатки, привела перед зеркалом в порядок волосы, она еще раз оглянулась, словно бы говоря глазами, что, если у меня еще есть такое желание, я могу попрощаться и с ее матерью.

Но никакого смысла в соблюдении подобного рода приличий не было, после того, что произошло с нами в этот долгий час, все следовало оставить как было.

Возможно, я отрицательно покачал головой, или она это почувствовала и согласилась со мной.

Она опустила вуаль и ушла.

А следующей ночью, стоя у окна мчащегося на всех парах поезда, я смотрел, ибо все же хотел это видеть, как я навсегда покидаю земное пространство, которое другие, более счастливые или, может быть, менее счастливые по сравнению со мной люди называют родиной.

629

Но зимняя ночь была темна и туманна, и я, разумеется, ничего не видел.

КОНЕЦ ПУТИ

630

Я человек рационального, возможно, даже чрезмерно рационального склада. Да и особой склонности к подбострастию никогда за собою не замечал. Но все же мне хочется повторить на этом белом листе бумаги, своим почерком последнюю фразу моего друга. Пускай он поможет мне завершить ту работу, о которой меня никто не просил и которая будет, наверное, самым необычным свершением в моей жизни.

Но зимняя ночь была темна и туманна, и я, разумеется, ничего не видел.

Не думаю, что он собирался сделать эту фразу последней. Все признаки говорят о том, что на следующий день, как обычно, он продолжил бы свою жизнь следующей фразой, которую невозможно было предсказать заранее, как невозможно реконструировать ее на основе оставленных им записок. Ведь всякий роман о жизни, однажды начатый, всегда говорит нам: не бойтесь во мне заблудиться, я надеюсь, в конце концов мне удастся вывести вас из моих дебрей.

Мое дело – всего лишь быть репортером.

Срывающимся голосом я сообщаю вам, что все произошло около трех часов пополудни. Именно в это время он имел обыкновение прекращать работу. День был солнечный, по-летнему теплый, безоблачный, какие часто бывают в конце сентября. Он поднялся из-за стола. За окном мирно дремал поредевший в пору августовской жары старый сад. Сквозь просветы в неплотной зелени кустов и деревьев перед глазами его временами поблескивала темная вода. Высокие, узкие, словно бойницы, сводчатые окна дома обрамляли карабкающиеся по стене, уже пожелтевшие-покрасневшие и усеянные зреющими темными ягодами лозы дикого винограда. Среди лиан нашли себе обиталище ящерицы и всякого рода жуки, которые грелись на потрескавшейся штукатурке или спасались от жары в тени листьев. Нечто подобное он описывает в первой главе своих воспоминаний, и, видимо, нечто подобное он видел и ощущал вокруг и в тот день. Потом он перекусил, обменялся

в кухне несколькими ничего не значащими словами с моими тетусками и, прихватив под мышку утреннюю газету и свежую почту, с толстым полотенцем на плече отправился на берег Дуная.

Две раздробленные ноги, проломленная грудная клетка и развороченный череп – таким его принесли назад.

Вот почему этой фразой, которой я бы не придавал символического значения, заканчивается, точнее сказать, на ней обрывается его восьмисотстраничная рукопись. Она досталась в наследство мне, хотя с юридической точки зрения я не являюсь его наследником.

631

И здесь я со всей решительностью спешу заявить, что если этому рассказу о смерти моего несчастного друга я и предпосылаю несколько слов о себе и своих житейских обстоятельствах, то отнюдь не с целью возвеличить свою особу.

Я делаю это, скорее всего, потому, что если бы я стал говорить о нем непосредственно, то слишком часто запинался бы и закашливался от волнения.

Зовут меня Кристиан Шоми Тот; и если не по фамилии, то по имени уж во всяком случае я знаком тем, кто, изучая это жизнеописание, оставшееся, несмотря на объемность, незавершенным, добрался до его последней фразы. Ведь мой бедный друг, порой искажая реальность то в силу романтической идеализации, то пылая любовной ненавистью, все же запечатлел для потомства мальчишку по имени Кристиан, которым когда-то был я и с которым сегодня чувствую так мало общего.

Я мог бы даже сказать, что он сделал это вместо меня. Чем я немножко горжусь. Точнее, это не совсем гордость. Скорее по-детски наивное и смущенное изумление, как бывает, когда вам под нос суют сделанную скрытой камерой и поэтому разоблачительно достоверную фотографию. А с другой стороны, читая все это, я иногда краснею.

Ознакомившись с его рукописью, я понимаю, что чем отчаяннее мы цепляемся за жизнь, тем более головокружительные скачки вынуждена совершать память. Чем больше мы руководствуемся в своих, направленных на выживание, действиях голой, не выбирающей средств волей, тем больше будем позднее стыдиться, вспоминая о них. А поскольку стыдиться нам неприятно, то мы предпочитаем не вспоминать о временах нашего нравственного убожества. И от этого выигрываем ровно столько, сколько проигрываем. В этом смысле, мне кажется, мой покойный друг прав: я тоже человек раздвоенный, ну а ежели это так, то, по сути, я мало чем отличаюсь от всех других.

Чтобы было понятно, что я имею в виду, признаюсь, что, например, события того морозного мартовского дня, сыгравшего в его жизни столь роковую роль, моя память самым банальным образом из себя вышвырнула. Да, я был их участником, и несомненно, что все было именно так, как он описывает. Стихийная радость и панический страх, вызванные смертью тирана, наше давнее безотчетное влечение друг к другу со всеми его внутренними разладами и детские опасения, что я буду разоблачен, причудливо перемешивались и во мне, так что губы мои приоткрылись от изумления. Но я никогда об этом не вспоминал. Видимо, мне казалось, что тот поцелуй подвел под чем-то черту.

Мочась в туалете, я действительно заявил: наконец-то этот разбойник с большой дороги загнется. Или другую подобную глупость. Сказать это вслух доставляло невыразимое, прямо-таки физическое наслаждение. Но потом душа у меня ушла в пятки, я боялся, что он донесет на меня. В те годы мы жили под постоянной угрозой депортации. Из всех старожилов района, непосредственно примыкавшего к пресловутой закрытой зоне, не выселили только нас. Каждое письмо в казенном конверте поворачивало мою мать в ужас. Возможно, наш дом был слишком маленьким или слишком убогим – до сих пор не пойму причин этой странной к нам благосклонности.

Свою мать я любил той нежной и вместе с тем властной, снисходительной к капризным зигзагам ее настроения, терпеливой и строгой любовью, какой должен любить оставшийся без отца мальчишка свою мать, страдающую от одиночества и нужды и до смерти оплакивающую мужа. Ради нее я был готов на любые уступки, на любое, самое позорное унижение. Вот почему мне так хотелось избежать этого доноса. Или хотя бы знать, на что я могу рассчитывать, если это уже случилось. Я действительно не склонен к подобострастию, но в компромиссах даже сегодня способен дойти до последней черты.

Все это следует понимать так, что в жизни моей и позднее не было никаких событий, которые побудили бы меня считать тот поцелуй поцелуем, а не решением смертельно важной тогда для меня проблемы. Я просто не имел права попадать в какие-то внутренние опасные ситуации – мне хватало и внешних опасностей. И, наверно, поэтому, привыкнув к удобству таких психологических прятков, я и впоследствии избегал всяких ситуаций или суждений, которые в силу своей неоднозначности прямо не отвечали моим интересам или моим желаниям.

И теперь, когда я узнал, как он относился ко мне и какое неизгладимое, но мною не ощущаемое впечатление я на него производил, мне, конечно же, грустно. Как будто я упустил нечто такое, чего я, впрочем, ни в коем случае не мог желать. Все это, разумеется, лестно. Да, он мог позволить себе роскошь душевной гиперчувствительности. И во мне это вызывает зависть. Но грусть моя начисто лишена каких бы то ни было упреков, раскаяния, обвинений или угрызений совести. Вполне возможно, что в детстве я был более интересным и привлекательным, а быть может, и более интригующим, темным, коварным, чем тот взрослый, каким я стал. Да иначе и быть не могло. Ведь за все, даже самые элементарные условия бытия мне приходилось бороться, приходилось все время ловчить и работать локтями, и, по-видимому, эта неосознанная, приучающая к объективному взгляду на вещи холодная война делала меня более находчивым, более ярким и гибким по сравнению с тем человеком, которым я стал, когда, устав от борьбы за существование, я наконец-то нашел себе нишу, казавшуюся мне безопасной.

К тридцати годам он превратился в опасно открытого человека, я – в опасно закрытого, что сделало нас одинаково уязвимыми. Он обрел такую любовь, которой надеялся заполнить давно зиявшую в его душе брешь, и эта надежда вынудила его ступить на неведомую территорию. Я же, очнувшись от одуряющей усталости, вдруг обнаружил, что в безнадежном бегстве от своих мук я прибегал к таким пошлым средствам и так далеко зашел, что, в сущности, оказался на грани алкоголизма. Помню, позднее он как-то сказал мне, что мужчины, увязшие в своей сексуальной роли, склонны к физическому и духовному разложению.

Оглядываясь на собственный жизненный путь, я понимаю, что я не один такой в этой стране. Если мой друг был исключением, то я – заурядностью, и только вместе мы составляли правило. К этим различиям я прибегаю вовсе не потому, что хочу похвалиться собственной заурядностью, своим ограниченным в силу вечной нужды приспособливаться кругозором, своей нерадивой памятью и тем самым в каком-то смысле все же возвысить себя над тем, кого я назвал исключительным, вовсе нет, в данном случае этими характеристиками я не хочу заклеить никого из нас, больше того, не желаю, говоря об этих отличиях, снять с себя ответственность за то, что был слеп и глух; я просто хочу попытаться по-своему взглянуть на некоторые общие факты нашей жизни.

По профессии я экономист и последние несколько лет работаю в научно-исследовательском институте.

Моя работа заключается в основном в анализе событий, повторяющихся или, напротив, представляющихся уникальными в той или иной сфере народного хозяйства. Я пытаюсь установить специфические особенности определенного набора явлений. Собственно, то же самое я делаю и теперь. Вообще-то, писательство – не мое ремесло. Я никогда не писал стихов. Я гонял мяч, занимался греблей, тяжелой атлетикой. А с тех пор как перестал напиваться по вечерам, каждое утро совершаю довольно продолжительные пробежки. Единственное, что я пишу, – это статьи для научных журналов. Но подозреваю, что вследствие происхождения и воспитания моей жизнью, начиная с самого раннего детства, руководило мое желание самым скрупулезным и самым бесстрастным образом рассматривать свойства вещей. Ведь уже пацаном я должен был контролировать свои мысли, следить хотя бы за тем, чтобы то, что я думаю про себя, не совпадало с тем, что я говорю вслух. Причем этот напряженный ментальный самоконтроль не был следствием каких-то моих страстей, ибо я знаю, что внимательность и регистраторские наклонности сложились во мне под давлением обстоятельств, компромиссов и вынужденной самодисциплины.

Между тем все юные существа живут страстями, и именно в страстной надежде овладеть миром заключается их привлекательность. И то, как они отделяют прекрасное от дурного, называя все доброе красивым, а все злое уродливым, зависит от этой страстной надежды, от ее меры, характера, способа воплощения. Сегодня я уже не способен к эстетическому взгляду на вещи. Все, что я вижу или испытываю, даже самые интимные переживания, я не могу назвать прекрасным или уродливым, так как не воспринимаю это таковым. По отношению к вещам, для меня благоприятным, я в лучшем случае чувствую тихую благодарность, некую теплоту, но чувство это быстро остывает.

Возможно, когда-то во мне была страсть, была, но прошла. Возможно, что-то покинуло меня безвозвратно. И также возможно, что из-за этой нехватки – или избытка – какого-то качества я уже в детстве казался холодным. Я не могу утверждать, что меня многие любят, но все же обычно считают меня объективным. Хотя после того, как я ознакомился с изумительным анализом моего друга, именно стремление к объективности вынуждает меня спросить, не потому ли я выгляжу таковым, что всегда умудряюсь дистанцироваться от предметов, меня занимающих, или людей, которые меня все же любят, таким образом, чтобы не отождествляться с ними, но при этом все-таки сохранять над ними контроль.

Я не могу похвалиться тем, что идеальным образом воплотил хоть какой-либо жизненный принцип. Я мог бы стать беззастенчивым циником, и если не стал таковым, то потому лишь, что постоянная смена дефицита и избытка чувств доставляет мне массу страданий.

Однажды, за несколько дней до выпускных экзаменов, я чуть ли не до основания разобрал в своей комнате изразцовую печь. Рано утром, почти на рассвете, я вернулся домой от своей подружки. Всякий раз покидать ее приходилось крадучись, чтобы ее ничего не подозревающие родители не заметили, что я провел в их доме всю ночь. В то утро я был дома один, мать уехала к родственникам в Дебрецен. Изразцовая печь давно уже не давала мне покоя. Мне казалось, что она не на месте, и вообще я в ней не нуждался. По ночам она изливала свой жар прямо на меня, и к тому же из-за нее в моей комнате нельзя было полностью распахнуть дверь. Поэтому я взял большой молоток – стамеску я не нашел, но под руку подвернулась строительная скоба, которая тоже годилась для моих целей, – и начал разбирать печь. Выломанные изразцы я швырял через окно в сад. Но разборка внутренней кладки оказалась задачей более сложной, чем я себе представлял. И поскольку никаких приготовлений к этой работе я не сделал, вскоре вся комната – ковры и обивка стульев, книги, тетради и конспекты ответов на экзаменационные билеты на моем столе – покрылась пылью, кирпичной крошкой и сажей. Когда, очнувшись от своего деятельного забвения, я оглянулся по сторонам, все это показалось мне не естественным следствием трудового процесса, а омерзительной грязью. Унылой грязью беспредельного убожества. Это чувство обрушилось на меня так же внезапно, как идея разворотить печь. Я вперился в потерявшее всякий смысл, зияющее черным зевом, закопченное, смрадное, искалеченное творение рук человеческих. Когда я остановился, разборка была закончена наполовину. Мне казалось, что я устал и хочу спать. Затворив окно, я скинул с себя одежду и забрался в постель. Однако заснуть не мог. Какое-то время я ворочался, пытаюсь как можно сильнее съежиться, но сложиться, скукожиться до таких размеров, как мне бы хотелось, не получалось. Не помню, думал ли я о чем-то другом. Не знаю даже, можно ли назвать мыслью то ужасающее побуждение, которое я испытывал. Я встал, чувствуя, что не могу дальше бодрствовать, лежа рядом с этим зиянием. И, не дав себе времени на размышления, стал глотать, почти без разбора, таблетки, которые обнаружил в аптечке матери. Мне потребовалось довольно много снотворного и транквилизаторов. Я глотал их не запивая и вскоре почувствовал, что больше глотать не могу.

Сегодня я вспоминаю об этом так, как будто все это было не со мной. Я стал запивать таблетки сначала водой из вазы, затем пил из блюдца, стоявших под комнатными растениями. И до сих пор не могу понять, почему я не мог пойти в кухню. Меня стало тошнить. Началась сухая рвота. Как будто во рту у меня не осталось ни капли слюны. Возможно, я боялся облить любимую мебель матери. Я упал на колени и, обхватив голову руками, уткнулся лицом в край дивана. Всеми силами я пытался сдержать раздражавшие мой желудок бурные судороги. Что было дальше – не помню. Если бы мать, движимая каким-то недобрым предчувствием, не вернулась на день раньше, чем планировала, я сейчас не рассказывал бы об этом. Мне промыли желудок. А изразцовую печь потом привели в порядок.

Подобных безумств я никогда больше не совершал и не намерен делать что-нибудь в этом роде впредь. Но то особенное сочетание чувств, которое в обыденной речи принято называть маеютой, независимо от любых моих действий, причиняющих грусть или радость, приводящих к решению или неразрешимости, стало неизменной частью моего мироощущения. Хотя ничего даже близко подобного я до этого не испытывал. Однако подробно описывать все эти чувства мне не хотелось бы – и не только по той причине, что их источник мне до конца не ясен, но и потому, что люди в принципе воспринимают меня как человека уравновешенного и добродушного, и эта реальная видимость для меня гораздо важнее.

Когда человеку приходится задумываться о своем происхождении, он начинает сортировать своих предков. Если об этом спрашивают меня, я говорю, что происхожу из семьи военных. Как будто все мои предки были профессиональными воинами – кто солдатом, кто генералом, неважно. Само по себе высказывание, может быть, и внушительное, но, увы, не соответствующее действительности. Нечто подобное происходит, когда то или иное семейство мы называем старинным. Между тем как все семьи по возрасту одинаковы. Хотя правда, что дочери и сыновья разных наций спустились с дерева в разное время. Скажем, евреи и инки сделали это гораздо раньше, чем немцы, а венгры, видимо, несколько позже, чем французы и англичане. Но из этого ведь не следует, что семья крепостного не является столь же древней, как княжеская фамилия той же нации. И как народ различает этнически идентичные семьи на основе социального статуса, точно так же поступает и индивид, когда, исходя из собственных интересов, оценок, желаний и устремлений, пробует разобраться в паноптикуме своих разношерстных предков. Этот своеобразный метод индивидуальной селекции я обнаружил и в рукописи моего друга.

Единственный способ, которым он может удержать в равновесии свою раздираемую крайними противоречиями личность, это наблюдение за собой, стремление разобраться в источниках и причинах бушующих в нем бессознательных сил. Но для такого психологического самоанализа, жизненно важного для него, ему нужно невозмутимое мироощущение, которого, в силу духовной неуравновешенности, у него нет. Он оказывается в порочном круге. И вырваться из него может только в том случае, если в ходе самоанализа обопрется на человека или людей из своего окружения, у кого можно позаимствовать мирозозерцание, еще сохранившее столь нужное ему равновесие. Вот почему в его рассказе всех других затмевает фигура деда по материнской линии, этого либерального буржуа, способного даже в самых опасных жизненных ситуациях сохранять сдержанность и самообладание. По той же причине пусть с жестокой иронией, но все-таки трогательно он относится к бабушке, также олицетворявшей буржуазные добродетели – стойкость, достоинство и вызывающие скрежет зубовый нравственные приличия. Через них он пытается идентифицироваться с чем-то, что в силу реальной жизненной ситуации для него уже недоступно. И все же он выбирает себе именно этих предков. И отправляется в прошлое именно по этому единственному следу, хотя в принципе мог бы выбрать и много других. Читая рукопись, я обратил внимание, что он, скорее всего не случайно, умалчивает о бабушке и бабушке по отцовской линии. И, по-моему, вовсе не потому, что стыдится их. И не потому, что они были в его жизни не так важны, как дед и бабка по матери.

В выходные, а летом и в будние дни по утрам мы часто ездили к ним на трамвае за город, в Капосташмедьер.

Попав после окончания университета в систему внешней торговли, я в течение десяти лет достаточно много путешествовал по миру. Но все же когда я думаю о путешествии, мне приходит на ум этот желтый трамвай, трясущийся не спеша по бесконечно длинному старому проспекту Вац. И мы на открытой площадке. Иногда это давнее ощущение возникало даже во время многочасовых перелетов, когда я сидел в самолете, углубившись в чтение какой-нибудь научной статьи. Как будто я не летел, а путешествовал по земному шару в том старом желтом трамвае.

Его дед, инвалид первой мировой, несмотря на ограниченные физические возможности, был человеком недюжинного телосложения, с сизым от неустанного методичного питания, усеянным оспинами носом, шумливый, почти не поседевший даже к семи-

десяти годам, он служил ночным сторожем на водопроводной станции и жил там же, в полуподвале одного из производственных зданий, вместе со своей пышкой-женой. Эта его бабушка имела обыкновение посылать внуку телеграммы. Сегодня пеку блины. Завтра будет маковый штрудель. И я убежден, что несколько не преувеличу, сказав, что именно эти визиты и эта среда цементировали нашу дружбу. Когда слишком долгое время ничего не происходило, я спрашивал у него: ну что, вареники? На что он отвечал: оладьи с яблоками. Или он поворачивался ко мне, говоря: абрикосовые пампушки, а я должен был спросить: когда. Мы выработали свой язык, который никто, кроме нас, не понимал. Но дело было не только в этих восхитительных яствах.

Я в то время был без ума от всяческих механизмов, машин, от всего, что перемещалось, действовало, что-то производило, и именно там все это было представлено в самом концентрированном и наглядном виде. Его же приводила в восторг моя неутолимая любознательность. Он, кажется, понимал, что этими нашими путешествиями он мог удержать меня, мог даже шантажировать. Ему достаточно было сказать, например: лапша с маком, и я, забыв обо всех иных увлечениях и занятиях, мчался за ним, как собачонка. Терпение солидно одетых, при галстуках старших механиков и бегавших в майках учеников было столь же неисчерпаемым, как и моя любознательность. Они все показывали нам, все объясняли. На большую часть вопросов у них в конечном счете всегда находился ответ, и это, похоже, вполне удовлетворяло их самолюбие. Самым захватывающим было, когда водопроводная станция вставала на генеральный ремонт. В этих случаях в соседних деревнях набирали дополнительный контингент, и молодые девушки, женщины в подоткнутых юбках и резиновых сапогах драили, мыли, отскабливали кафельные стенки опорожненных отстойников, перемазанные до ушей машинным маслом мастера и прыщавые подмастерья разбирали и чистили механизмы. Хохотали, дурачились, подначивали и лапали друг друга, визжали. Казалось, все они были участниками какого-то древнего ритуала. Они подзадоривали самих себя и друг друга, мужчины мужчин, женщины женщин, мужчины женщин и женщины мужчин, как будто этот задор относился одновременно и к выполняемой ими работе, и к чему-то совсем другому, во что мы, двое мальчишек, еще не были посвящены. Это напоминало какую-то трудовую песню. Чтобы выполнить как положено свою дневную работу, им нужно было излить из себя ночные строфы. Но мы могли и вдвоем, без присмотра свободно

разгуливать по машинным залам, построенным еще на рубеже веков, по девственному парку, что окружал очистные сооружения, или в огромных, отзывавшихся эхом залах с резервуарами для воды, где царила настолько холодная и кристальная чистота, что мы осмеливались только стоять и молча взирать на водную гладь, которая, поднимаясь или опускаясь, всегда оставалась неизменной и неподвижной.

Этот ранний, я бы сказал, почти идиллический этап нашей дружбы в его рукописи напрочь отсутствует. И признаюсь, что этот бросающийся мне в глаза изъян оскорблял меня, и достаточно сильно, пока я ее читал. А ведь мы зачастую оставались там ночевать и спали вдвоем на довольно узкой кушетке в пропахшей луком кухне. Я однажды читал в какой-то этнографической книжке, что когда в сильные холода цыганские ребятишки спят вповалку на покрытом соломой полу, их родители строго следят за тем, чтобы мальчишки прижимались к мальчишкам, а девчонки к девчонкам. Но я все же не думаю, что об этом естественном братском тепле, которое он познал в детстве и так отчаянно искал потом всю свою жизнь, мой друг позабыл намеренно.

Помню также, как в жаркие летние дни его дед снимал свой протез и, похлопывая по торчавшему из сатиновых трусов жуткому обручку, расхваливал нам преимущества деревянной ноги. Во первых, она не воняет потом. И никаких вам мозолей. А если скрипит, так ее можно смазать. Чего с живой ногой сделать невозможно. А во-вторых, ей не грозит ревматизм, это как пить дать. В худшем случае – жучки-древоточцы. Об одном он жалеет. Когда выпьет, все тело, вплоть до дырки в заднице, охватывает истом. И только протез ничего не чувствует.

Что до меня, то я из всех своих многочисленных предков – а среди них кого только не было, и провинциальные мастеровые, и ковырявшие алфельдскую землю крестьяне, и упрямые сельские учителя-кальвинисты, и безземельные батраки, и фабриканты, выбившиеся из зажиточных мельников и лесопильщиков, – выбрал двух, умерших уже, военных. Своего отца и деда по материнской линии. Так мы стали семьей военных. А все дело в том, что они отличались от остальных. Других кадровых военных в роду у нас не было. И, кроме того, ни об одном из них у меня не было личных воспоминаний.

От отца сохранилось несколько фотографий, от деда – целый альбом. И одним из моих любимых занятий в детстве было разглядывание этих снимков.

В семейных историях, которыми обросла фигура моего дедушки, сегодня уже весьма трудно отделить всякого рода домыслы от реальных событий, которые их питали. Но я полагаю, что тем удивительным светом, который от него исходил и, стократно усиленный, к нему возвращался, он был обязан не только своим выдающимся способностям и внезапно прервавшейся и, по всей видимости, многообещающей карьере, но, весьма вероятно, и внешней своей привлекательности. Я помню, как старшие родственники, похлопывая меня по бедру или запечатлевая на моей щечке звучный поцелуй, неизменно приговаривали с удовлетворенным прищуром, что уж таким красавцем, как дедушка, я не буду. А мать же, наоборот, игриво-придирчивым тоном и не без гордости говорила, что внешне-то я уродился в дедушку, жаль только по уму не в него пошел. Но оба утверждения были достаточно соблазнительны, чтобы внушить мне сознание важности этого сопоставления, чувство, что я иду по чьим-то стопам, и странное желание кого-то догнать. Кого-то, кем в известном смысле был я сам, хотя оценить, хорошо это для меня или плохо, я был ни в коей мере не способен.

В доме была большая лупа для изучения географических карт. Она досталась нам от дедушки. С помощью этой лупы я и разглядывал сделанные в разное время его фотографии. Вполне возможно, что я от природы лишен чувства красоты, одно несомненно – почти никогда я не усматривал никакой красоты в том, что другие считали прекрасным. Так что неудивительно, что, в отличие от моего друга с его эстетическим мироощущением, я никогда не прихожу в волнение от пейзажей, предметов, людей, считающихся красивыми, – в лучшем случае задумываюсь о них. Вот и фотографии дедушки приковывали мое внимание именно потому, что многие его черты, казавшиеся другим привлекательными, вызывали во мне весьма неприятные мысли. Если две линии параллельны друг другу, они пересекаются в бесконечности. А если не параллельны – то прямо у нас под носом. С человеком, на которого я больше всего похож, я могу пересечься лишь в некоей гипотетической точке, а с теми, от кого я отличаюсь, я в принципе могу пересечься где угодно в любое время. Изучая его лицо, я как будто пытался вместо двух этих взаимодополняющих принципов открыть действие третьего. И черты лица, и весь его склад производили чуть ли не отталкивающее впечатление, хотя чувства подсказывали, что мы очень близки. Особенно пугали его глаза. Дедов взгляд вызывал во мне содрогание.

Фотографии деда я не брал в руки по крайней мере уже лет двадцать пять.

Неужто все дело в том, что страх, содрогание, отвращение вызвало во мне всякое самосозерцание, неизбежно ввергающее нас в опасные внутренние конфликты, разрешить которые в соответствии с нашими интересами уже не способна никакая воля? Неужто я в самом деле был на него похож и именно из-за этого сходства он вызывал во мне отвращение? Напоминал о том, что расстояние между живым и мертвым не так уж и велико и в принципе они еще могут встретиться? И не тот ли страх, который мешает мне заглянуть в себя, доставляет мне столько мучений и, с другой стороны, препятствует восприятию красоты? Я не думаю, что готов ответить на эти вопросы. Точнее, для этого мне пришлось бы думать и говорить о некоторых подробностях своей жизни, что, честно сказать, мне не по душе.

Опыт почти сорокалетней жизни убедил меня, что душевная скрытность имеет свои экзистенциальные преимущества. Вместе с тем после смерти моего друга во мне пробудилось довольно сильное любопытство, желание по его примеру попытаться понять себя, но не погибнуть при этом, как он, и ни в чем не слукавить.

Я готов потеоретизировать и даже готов, ради большей ясности поступившись, насколько возможно, стыдливостью, рассказать, например, о том, что многие девушки, которые склонны считать меня хорошим во всех отношениях любовником, во время любовных утех испытывают бешеное желание овладеть моим ртом. И поскольку я молча, но непреклонно отказываю им в этом, они часто требуют разъяснений. Почему ты не позволяешь? Не хочу. Так я обычно им отвечаю. Если вообще отвечаю. Я согласен, что мое поведение может показаться своевольным, но этот немой отказ ничуть не менее инстинктивен, чем для других желание прибегать вместо слов к безмолвным поцелуям. Я не чувствую ни малейшей потребности в том, чтобы смягчать грубость своих инстинктов, будь то инстинкт самосохранения или инстинкт продолжения рода, в ущерб независимости моей личности. Поцелуй лишил бы меня контроля над сами собой и моей партнершей. И мной стала бы управлять бессознательная сила, доверяться которой мне не хочется.

И если попытаться классифицировать реакцию женщин на это мое, скажем прямо, своеобразное качество, если задать вопрос, как реагируют самые разные на первый взгляд люди на отказ в удовлетворении их важнейшей эмоциональной потребности, которая лично мне представляется лишней, то, исходя из опыта, я бы выделил три типа поведения.

Первый характерен для нервных, ранимых, легковозбудимых, грустно-сентиментальных, обидчивых и вечно смертельно влюбленных юных особ; такая тут же с негодованием отворачивается от меня, начинает рыдать, бить меня кулаками, кричать, она знала, знала, что мне от нее нужно только это, обзывать меня лжецом и грозить сию же минуту выпрыгнуть из окна. Я должен любить ее. Но никто не может любить другого, насиловать самого себя. Однако успокоить женщину этого типа и бурно удовлетворить ее не представляет труда. Если мне удастся изнасиловать ее в апогее истерики, то есть правильно выбрать момент для начала акции, то все между нами приходит в полнейший порядок. Подобные женщины – мазохистки, ожидающие именно такого садиста, каким, впрочем, я отнюдь не являюсь. Удовлетворение у них наступает быстро, протекая бурно и судорожно, но, похоже, оно застигает их не на том пике, к которому они так стремились, а где-то гораздо ниже, на усеянной всякого рода препятствиями равнине. Эти женщины нравятся мне меньше всего. Второй тип отличается скорее безропотное смирение. И если они доверяют себя всевластию моего тела, то их склонный к задержке оргазм наступает не сразу, проходя через несколько потрясающих все их существо кульминаций, действие которых длится долго, чуть ли не до очередной вершины. И кажется, будто каждое взятое ими препятствие открывает им путь к новой радости, и пока радость длится, но препятствия тянут назад, наслаждение все-таки не становится доминирующим чувством. Это радость, напоминающая судорожный бег с препятствиями. Девушки эти застенчивы и скромны, старательно избегают внимания, мучаются своей невыигрышной внешностью и обладают некоторой коварностью, приобретенной в обворожительно беспощадном женском противоборстве. И даже если не доверяются моему всевластию, то делают вид, будто не заметили, что я в чем-то им отказал. И доходят до крайней степени самоотдачи и преданности; а когда им становится ясно, что и это не помогает, потому что, в отличие от них, преданность не вызывает во мне никакой благодарности, в лучшем случае только обостряет внимание и расчетливость, то они демонстрируют мне нежнейшее смирение. Их тайная мысль заключается в том, чтобы компенсировать практичной умелостью своих губ недостаток моей преданности и, может быть, побудить меня к чему-то подобному. Свой рот они словно бы делают нижайшим рабом моего тела. И на этом, собственно, и кончается наша непритязательная история. К таким женщинам я чувствую жалость, хотя на практике веду себя с ними самым безжалостным образом. Ближе всех мне женщины тре-

твого типа. Обычно полнотелые, как бы более плотные. Крупные, веселые, гордые, импульсивные, своенравные, легкомысленные. Приготовления проходят вяло. Так крупные звери, ходя по кругу, примериваются друг к другу. Мы сходимся без лишних сантиментов. Однако неистовая, бурно взрывающаяся кривая блаженства то и дело прерывается лобовым столкновением двух агрессивностей. В такие моменты шум сражения зловеще смолкает. Эти поражающие своим простором и залитые ослепительным светом плато остановленного времени очень дороги для меня. Они следуют одно за другим непредсказуемо и капризно и, подвергая тяжелому испытанию мой готовый контролировать все инстинктивное трезвый расчет, создают впечатление, будто мы стремимся покорить не единственный видимый пик, а необозримую череду горных хребтов. И действительно, кажется, вы на плато, почти начисто лишенном растительности. Но это не просто привал, место отдыха, где подкрепляются едой и питьем, собираются с силами. Это место, где женщины вдруг ощущают, что им чего-то не хватает. Чувствуют жажду, утолить которую я не в силах. И словно при свете молнии мгновенно осознавая свое положение, выходят из него таким образом, что в экстатической ярости, совершая насилие над собой, изгоняют меня оттуда, куда допускают затем мой рот. Потому что у них и в мыслях нет терпеть неудачу из-за каких-то моих причуд. Как будто, столкнувшись с моей неприступностью, они кричат мне: не хочешь? тогда получи! Они хотят того, что им причитается, и я понимаю их. В этой новой ситуации я могу позволять себе толику смирения, и не только потому, что игра доставляет и мне удовольствие, а также не потому, что мне все же не приходится касаться их губ, но и по той причине, что мне известно заранее: через несколько минут наслаждения этой затейной мне в отместку игрой они потеряют самообладание, и на волне взаимно умноженного наслаждения я вернусь на свое место. Так возникает взаимосвязь между нехваткой и излишеством. Они, как и я, реалисты. Ибо знают, что желательное жизненное равновесие создается не из идеальных данностей, а из тех, что имеются в нашем распоряжении. И в этой изобретательности мы с ними сообщники и товарищи. Мы вместе плюем на все идеалы мира, испытывая некоторую жалость к тем, кто мучается их поисками. Этим женщинам я благодарен. А они благодарны мне за то, что им не нужно скрывать от меня свой откровенный эгоизм. Конечно, я мог бы прожить и без них, ибо опыт подсказывает мне, что нет в мире пустоты, которую невозможно заполнить, и все же я говорю, что именно эти женщины поддерживают во мне интерес к жизни.

Именно о таких, а возможно, и более щекотливых подробностях я должен бы говорить сам с собой. Но, к сожалению, человек так устроен, что не способен с собой разговаривать. И все такого рода попытки – не более чем наивные опыты духовного детства.

Разумеется, я тоже больше любил другого дедушку моего умершего друга – деда по материнской линии. Точнее, то была не любовь, а некое чувство, лестное для моего самолюбия. Он общался и обращался со мной, как будто я вовсе не был неуклюжим, физически и ментально, подростком. Возможность для этих бесед давала его привычка к продолжительным послеобеденным прогулкам по окрестностям. Он гулял, степенно выбрасывая перед собой свою длинную, с костяной ручкой трость, и когда мы случайно встречались, он, опершись на трость и склонив поседевшую голову, слушал меня с тем вниманием и тем сочувственным снисхождением, с которыми привык относиться к ближним. Он прерывал меня своими замечаниями, одобрительно кивал, рассудительно хмыкал или предостерегающе качал головой, подталкивая меня на такую дорожку, на которую сам я мог бы ступить лишь под влиянием очень сильных внутренних побуждений. Его участливость порой так смущала меня, что, бывало, я даже избегал его или, пробормотав при встрече вежливое приветствие, старался поскорей улизнуть.

В юности в своих интеллектуальных побуждениях все мы испытываем то же стыдливое своеволие, что и в побуждениях сексуальных. Он никогда ничего не навязывал мне. Никогда ни на чем не настаивал и ни к чему не склонял. И именно эта возможность добровольного самораскрытия снова и снова притягивала меня к нему.

Мы прямо или в завуалированной форме разговаривали с ним о политике, и однажды он мне сказал, что, по мнению одного трезвомыслящего философа, которого я не смогу прочесть, ибо свои труды он писал по-английски, в человеческом обществе важно не то, что большинство имеет столько же прав, что и правящее меньшинство. Хотя это, несомненно, так. Но если бы развитие общества регулировалось только этим социальным принципом, жизнь состояла бы из сплошной борьбы и ни люди, ни страны никогда не имели бы шансов прийти к согласию. А мы знаем, что это не так. И не так потому, что существует в мире еще безграничная доброта, и каждый, будь то подданный или правитель, в равной мере хотел бы к ней приобщиться. Существует, сказал он, потому что стремление к равновесию, симметрии и согласию по меньшей мере столь же сильно в нас, как жажда власти, завоевываемой

в борьбе, и тотальной победы над противником. И мы должны понимать, что даже ощущение недостатка равновесия и согласия свидетельствует о существовании этой доброты.

Я, конечно, не мог запомнить эту непростую мысль, не говоря уж о том, чтобы понять ее, но позднее, когда я наткнулся на книгу этого выдающегося мыслителя, я, задохнувшись от неожиданности, обнаружил в ней это знакомое место.

И теперь, спустя много лет вновь достав и разложив перед собой старые фотографии, я, как раз в связи с этой сложной, казалось бы, мыслью, вроде бы начинаю догадываться, почему я чурался той симметрии в чертах моего деда, которую другие находили, наоборот, привлекательной.

Прямую, до одеревенелости, осанку – первое, что неприятно поражало в дедушке – вряд ли можно считать его врожденным качеством. Это скорее дань моде, да и профессии, которая прямо предписывала такую выправку, а кроме того, известно, что в те времена, когда съемки производили с долгой экспозицией, нужны были разного рода невидимые подпорки и полная неподвижность. Но есть среди фотографий и два моментальных снимка. Один сделан на итальянском фронте в каком-то импровизированном окопе. Для этой цели использовано было естественное ущелье – дно окопа и отвесные стенки состояли из наслаивающихся друг на друга белых плоских известняковых глыб. Сверху на глыбы нагромодили полузаполненные песком мешки. Песка, видимо, не хватало. Мой дед сидит на переднем плане в компании двух друзей офицеров. Его длинные ноги, изящные даже в сапогах, положены одна на другую, он подался вперед, опершись локтем на колено, и глядит в объектив расширенными глазами, слегка приоткрыв рот. У двух других, офицеров рангом пониже, лица усталые, изнуренные, униформа потрепанная, но во взглядах видна неестественная лихая отвага. В этом окружении мой дедушка выглядит бонвиваном, которому даже здесь все нипочем, потому что ему ни до кого и ни до чего нет дела. Второй снимок – одна из лучших фотографий, которые я когда-либо видел. Он был сделан явно на закате, на холме с одним-единственным чахлым деревом на вершине. Сквозь редкую листву солнце светит нам прямо в глаза, то есть в объектив когда-то запечатлевшего эту картину фотографа-любителя. Дедушка бежит взапуски за двумя девочками в длинных платьях и соломенных шляпках; это мои тети. Одна из девочек, моя тетя Илма, видимо, увернувшись от него, размахивая убранный лентами шляпкой, выбегает из кадра. Поэтому ее торжествующая

усмешка видится нам расплывчатой. Другую девочку, тетю Элли, которая в какой-то нелепой позе выглядывает из-за тонкого ствола дерева, мой дед поймал как раз в тот момент, когда фотограф нажал на спуск. На дедушке легкий светлый летний костюм, пиджак которого расстегнулся, либо он сам его расстегнул. Цепляясь за ствол, он по-змеиному выгнулся, напоминая ухоженного, но слегка растрепанного сатира. На этой карточке рот его тоже полуоткрыт, глаза распахнуты, но во взгляде не только не видно признаков радости или удовольствия, но кажется даже, будто он исполняет какую-то обременительную обязанность, хотя в движении, которым выброшенная вперед рука ухватила жертву, несомненно, угадывается хватка алчного хищника. На всех других фотографиях – скованное военной выправкой, снятое анфас неподвижно гармоничное лицо.

В старинном романе такое лицо назвали бы овальным. Пропорционально сложенное, полное, вытянутое, оно плавно переходило в крутой гладкий лоб, обрамленный непокорными завитками волос. Дедов нос с тонкими чувственными ноздрями был чуть изогнут, брови были кустистые, ресницы длинные, глаза, на фоне его смугловатой кожи, на удивление светлыми, почти горящими. Губы были чуть ли не до вульгарности пухлыми, а на волевом подбородке виднелась такая же, как у меня, трудно выбриваемая мягкая ямочка.

Лицо, как и мозг, да и все наше тело состоит из двух половин. И общим является то, что симметрия этих половин бывает лишь приблизительной. Некоторая несоразмерность, заметная в лице человека и теле, возникает от того, что вся совокупность ощущений, воспринимаемых нашими более или менее нейтральными рецепторами, распределяется между двумя, развитыми не в одинаковой степени полушариями мозга, и в зависимости от того, какое из полушарий более развито, выделяется та или иная половина лица или тела. Правым полушарием мозг обрабатывает эмоциональные свойства впечатления, в то время как в левом анализируется его смысл, и только потом, как бы на втором этапе, мозг устанавливает связи между рациональными и эмоциональными сторонами того же самого впечатления. С помощью зрения, слуха, обоняния и осязания воспринимая целостное явление на чувственном уровне, человек разделяет его на части и, установив существующие между ними связи, воссоздает для себя то, что однажды уже было воспринято чувствами, как нечто целое. Но из-за неравномерного развития двух полушарий мозга то целое, которое было воспринято, не идентично тому, что было воссоздано, а следовательно, не бывает ни абсолютного гармоничных чувств, ни совершенно гармоничного мышления.

Явление это мы можем пронаблюдать на себе, например когда с кем-нибудь разговариваем. При этом мы никогда не смотрим в глаза собеседнику, так делают только сумасшедшие, а рассматриваем его лицо, переводя совершающий круговые движение взгляд с одной его половины на другую. Взгляд курсирует между мыслью и чувством, а если подчас останавливается в какой-то точке, то непременно на левом полушарии лица, которое выражает эмоции. Наш нейтральный, воспринимающий целостное впечатление взгляд на этой левой, отражающей чувства половинке лица как бы проверяет, соответствуют ли слова, воспринятые нашим разумом, тем чувствам, которые вызывает в нас сказанное собеседником.

Эти своеобразные реакции организма отражаются даже в некоторых устойчивых оборотах речи. К примеру, если я говорю в связи с чем-то, что я не верю глазам своим, то тем самым я признаюсь, что полученное мной впечатление я не могу переработать ни умственно, ни эмоционально, точнее сказать, настолько уклонился в ту или иную сторону, что уже не способен отыскать связь между двумя полюсами. То есть я что-то видел, но не могу установить доступные для меня внутренние взаимосвязи этого нечто и потому не воспринимаю как целое то, что видел целым, а следовательно, и не могу постичь. Обратное явление имеет место, когда мы говорим: они смотрели друг на друга в упор. В этом случае совершающий круговые движения взгляд собеседника застывает в мертвой точке. И это возможно по двум причинам. Либо он ощущает гармонию, полное соответствие между эмоциональным и интеллектуальным полюсами, а гармония всегда поражает своей неожиданностью, поскольку является неким целым, которое в принципе неделимо на части. Либо противоречие между эмоциональной и интеллектуальной сторонами явления настолько разительно, что взгляд замирает в этой мертвой точке недостижимой гармонии, фиксируется на глазах, органе нейтрального по определению восприятия, и этой фиксацией человек пытается лишить себя любых дальнейших впечатлений и, таким образом, своей видимой флегматичностью побуждает другого решить, в каком направлении качнется стрелка весов.

Конечно, состояние не-верю-глазам-своим может длиться лишь считанные мгновения, точно так же невозможно продолжительное время смотреть друг на друга в упор. Видимость гармонии, как и полного ее отсутствия, не может быть длительной, и не только потому, что отношения между чувством и разумом даже в физиологическом плане дисгармоничны, но и потому, что внутренний

образ, который мы собираемся запечатлеть, не идентичен образу, который, без малейшей претензии на окончательную фиксацию, то есть в переработанной, а значит, нейтральной форме воспринимают наши органы чувств. Лицо в целом весьма выразительно отражает эту тройную взаимосвязь. В этом можно легко убедиться, взяв зеркальце и посмотрев сперва на правый и левый профили, а затем сравнить впечатления, посмотрев на себя анфас.

Два профиля окажутся совершенно различными. Один отражает эмоциональный, другой – интеллектуальный характер личности, и чем больше различий между ними, тем меньше вероятность, что они будут гармонично сочетаться, когда мы смотрим на лицо спереди. Но каким-либо образом сочетаться они все же должны, и эта естественная необходимость исключает возможность того, чтобы две части того же лица полностью отличались одна от другой либо полностью совпадали.

Если следовать логике, то лица, в которых чувства и интеллект складываются в разительно неуравновешенную картину, должны представляться нам по крайней мере столь же красивыми, как те, в которых они поразительно гармоничны. Однако это не так. Выбирая между двумя почти совершенными формами, мы всегда отдаем предпочтение почти совершенной пропорциональности перед почти совершенной непропорциональностью.

Если бы я разрезал ножницами любую, сделанную анфас фотографию моего деда на две части, вертикально, от ямочки на подбородке вдоль линии носа, и совместил бы полученные половинки лица, то геометрически одна половина практически в точности совпала бы с другой. Причина столь уникального случая состоит, наверное, в том, что у таких индивидов оба полушария мозга развиты равномерно. По их внешности можно заключить, что ни эмоции, ни интеллект не доминируют в них в том или ином направлении, и, глядя на них, мы невольно оказывается под магическим воздействием возможности совершенной симметрии.

Ведь если бы полушария мозга, отвечающие за эмоциональное и интеллектуальное восприятие явлений, которые наши органы чувств на первичном уровне уже восприняли как нейтральное целое, могли функционировать абсолютно гармонично, иными словами, если бы не было никаких различий между целым и частью, если бы внутренний образ формировался не в соответствии с уникальными, субъективными нейрофизиологическими особенностями индивида, как образ, специфический именно для него, а воспроизводился бы совершенно одинаково, как совершенное целое, постижимое

всеми, то тогда для нас была бы исключена даже сама возможность различать прекрасное и безобразное, добро и зло, ибо не было бы и различий между смыслом, которым мы наделяем вещи, и чувствами, которые к ним питаем. Это и было бы совершенной симметрией, к которой мы все стремимся и которую человек этический называет совершенным добром, а эстет – совершенной красотой.

Все это я счел необходимым изложить для того, чтобы дать почувствовать, какая неодолимая пропасть лежит между этическим мышлением, находящим определенные ориентиры даже и при отсутствии совершенной симметрии, эстетическим мышлением, которое пережить отсутствие таковой симметрии не способно, и тем образом мыслей, который я, наряду с другими, мог бы назвать своим собственным. В юности, из-за моей якобы привлекательной внешности, мне приписывали некую исключительность и соответственным образом обращались со мной. Удивление, восхищение, которые окружали меня, в какой-то мере компенсировали для меня тот ущерб, который наносило мое социальное происхождение. Однако – или, может быть, именно потому – по складу мышления я стал человеком самым что ни на есть заурядным. Я не стал верующим, как люди этического склада, и не стал скептиком, как эстеты, которых я знаю, потому что я никогда не стремился к чему-то заведомо невозможному, а старался умело использовать те свои качества, которыми обладаю. Разумеется, мои тайные муки позволяют мне понимать и мессианскую уверенность людей этических, и разочарованный скепсис эстетов, их счастье и их трагедии, однако мое мышление не направлено на поиски чего-то возможного, но недоступного или, наоборот, невозможного и потому открывающего пути к метафизическим озарениям; однако мысли мои направлены на вещи реальные, которые можно потрогать руками.

В своей деятельности я вполне обхожусь без какой-либо жизненной философии. И руководствуюсь бухгалтерским правилом: то, что слева отражается как приход, справа должно соответствовать расходу. Несмотря на свою склонность к теоретизированию, я занимаюсь только практической организацией моей жизни. Привожу в соответствие приход и расход, не забывая, что рождающаяся при этом симметрия является таковой лишь в момент своего рождения.

И если выше я сказал, что изучение тех вызывающих во мне неприятие фотографий, в которых ощущались намеки на совершенную симметрию, в детстве было моим любимым времяпрепровождением, то эти слова непременно нуждаются в дополнительных разъяснениях.

Как становится ясно и из признаний моего друга, я вовсе не был застенчивым нелюдимым ребенком. Я и сейчас остаюсь человеком деятельным, хотя эту склонность к активности, иногда даже бурной активности, считаю скорее отрицательной чертой своего характера. Даже при том, что другие эту неистощимую, как кажется им, энергию полагают, напротив, достойной зависти. Лично меня к деятельности побуждает не жажда триумфа или успехов, а скорее то безразличие людей из моего ближайшего и более широкого окружения, с которым они смиряются с состоянием вечно проигрывающих. А поскольку в жизни поражений бывает гораздо больше, нежели побед, то и возможностей для ухода в тихое созерцание у меня не так много. Я не люблю громких слов, но должен все же сказать, что наша история, состоящая из сплошных бедствий и поражений, во многом повинна в том, что, сталкиваясь с непосильной задачей или безвыходной, как нам кажется, ситуацией, мы даже не пытаемся взвесить возможность как-то перегруппировать имеющиеся силы, а с идиотским малодушием уклоняемся, тянем время, делаем вид, будто проблемы вовсе не существует, или, напротив, с мазохистским наслаждением перечисляем причины, из-за которых разумный выход из положения невозможен. И эта хитрованская тупость, как и сладострастно-фаталистические разглагольствования, выводит меня из себя. Тактику выжидания, отсиживания в кустах, на мой взгляд, можно оправдать в ситуации, предлагающей перспективы разнообразных решений; а когда таких перспектив нет, мне не хуже, чем всем остальным моим соотечественникам, известно, что можно и чего нельзя сделать, и если нельзя, то по каким причинам. Поэтому совершенно излишне тратить время на выжидание, равно как и на никому не нужную болтовню. Но мое раздражение чаще всего оказывается плохим советчиком. В своей лихорадочной деятельности я тоже совершаю ошибку за ошибкой, терплю поражение за поражением. Но при этом не без некоторого самодовольства приговариваю, что иногда и слепая курица находит зернышко – только для этого она должна хотя бы работать клювом.

Когда же в просвете между двумя ошибочными решениями, между двумя поражениями начинает брезжить какой-то выход и успех близок, меня это так поражает, что я спешу отступить. И начинаю раздумывать, является ли успех результатом правильного решения или это случайность и мне просто повезло. Я ухожу в себя, что-то взвешиваю, отвлекаю свое и чужое внимание, делаюсь грустным, беспомощным, ищу одиночества, какого-нибудь

необременительного чтения и ощущаю вдруг притягательность уютных, освещенных приглушенным светом мирных уголков квартиры.

В детстве, когда в этой моей партизанской борьбе, в моей персональной холодной войне наступало затишье, я изучал военные карты и рассматривал фотографии, рылся в энциклопедиях; в молодости, оробев от случайного успеха, какого-нибудь легкого приключения, я придумывал, что влюблен, и неделями прятался в теплых углах чьей-либо квартиры с самыми немислимими девицами; а позднее, когда я уже был женат, эти мои так называемые успехи неизменно заканчивались тихими, нескандальными, но весьма затяжными запоями.

В моем отвращении к пряткам и пустопорожнему мудрствованию, в склонности к опрометчивым действиям и неспособности распоряжаться успехами, очевидно, немалую роль сыграла природная склонность к такому уравниванию чувств и разума, что они почти нейтрализовали друг друга; и поскольку я много ездил по свету и подолгу жил за границей, то догадываюсь, что в другой среде я, видимо, был бы другим человеком, и потому считаю весьма рискованными любые попытки определить национальный характер как-то иначе, чем исходя из индивидуальных черт человека. Ведь каждый из нас – вариант. Вариант, определяемый полом, происхождением, религией и воспитанием. И если кто-то еще ребенком захочет найти свое место в сообществе, он постарается выбрать предков с характерами, которые ему представляются наиболее выдающимися, но поскольку любой, самый исключительный, характер все же является вариантом характера национально-го, то на самом деле он выбирает только среди вариантов.

Я выбрал для себя два варианта одного и того же деятельного типа личности – гедонистический и карьеристский характер моего деда и вариант аскетического героя в лице моего отца. На первый взгляд они отличались как день и ночь. Единственной общей чертой в их судьбе было то обстоятельство, что оба погибли в проигранных и катастрофических для их нации войнах. Дед погиб в тридцать семь, мой отец – в тридцать четыре года. Их ранняя смерть объединила их, и эта единственная связь между ними заставила меня усвоить жизненный принцип, что смерть, разумеется, стоит превыше всего, однако не означает конца жизни. Моя мать воспитывалась полусиротой, меня же воспитывала вдовой. Победа, видимо, вещь хорошая, но жить можно и с муками поражения. И в соответствии с этой традицией будут делать свой выбор мои дочь и сын.

Мне сейчас тридцать семь. Ровно столько, сколько было моему деду, когда он сложил голову в одном из самых кровавых сражений Первой мировой войны. Потерять жизнь без того, чтобы жизнь пропала. Как это возможно? Над этой головоломкой я и размышляю сейчас. После смерти моего друга прошло уже больше трех лет. Сейчас ночь. Я измеряю разные времена. За окном тихо накрапывает весенний дождь. Жемчужные капли, повисев на огромном оконном стекле в дружелюбном свете настольной лампы, срываются под собственной тяжестью. Я думаю о том, в каком возрасте должен оставить своих детей, и вроде бы удивляюсь, что вообще задержался здесь так надолго. Сажу в уставленной книгами комнате, в некотором, приятном мне, беспорядке, в ночной тиши. Несколько минут назад жена, разбуженная каким-то недобрым чувством или дурным сном, вышла, скорее всего пошатываясь, из спальни. Я прислушался: пройдя на ощупь по темной прихожей, она вошла в кухню, выпила воды, со звоном поставила стакан на стол, после чего заглянула в детскую и уже более уверенными и тихими шагами вернулась в спальню. Когда она открыла дверь в детскую, я почувствовал это не слухом, а обонянием. Мне показалось, я ощутил запахи спящих детей. Возможно даже, ощутил не носом, а всей своей плотью. У жены, без сомнения, чутье это развито во сто крат больше, чем у меня. Ко мне она не заглядывает. Хотя с тех пор, как я начал заниматься по ночам этой рукописью, о которой мы не обмолвились с ней ни словом, я знаю, что она пребывает в таком же беспокойстве, как в те времена, когда я здесь пил в одиночку. Она боится за наших детей.

Нам было лет по десять, не больше, когда вместе с моим одноклассником Премом мы решили, что станем военными. Мой умерший друг изображает Према так же предвзято, как и меня, и в наших отношениях усматривает какую-то эротическую загадку. Правда, его предвзятость к Прему продиктована не влечением, а раздраженной неприязнью. Не будучи столь же осведомлен в психологии, я, разумеется, не могу судить, насколько верны его заключения. Но я ни в коем случае не хотел бы создать впечатление, будто я тоже предвзят и начисто отмечаю возможность подобной интерпретации наших отношений. Однако если два человеческих существа принадлежат к одному полу, то их отношения будут определять тот факт, что они однополые. А если к разным полам – то решающим фактором будет их разнополость. Так я об этом думаю, возможно, и в данном вопросе не проявляя достаточной тонкости.

С Премом я до сих пор поддерживаю прекрасные отношения. Он стал не военным, а автомехаником. Солидным отцом семейства, точно так же, как я. И если он в чем-то не безупречен, то разве что в заполнении налоговых деклараций. Несколько лет назад, как раз в то время, когда мой друг вернулся из Хайлигендамма, а я отказался от своей достаточно выгодной должности во внешнеторге, он открыл частную мастерскую. И в то время как мы с моим другом духовно обанкротились, Прем сколотил себе состояние. Когда что-то случается с моей машиной, мы ремонтируем ее вместе по воскресеньям. Прем в этом деле царь и бог. И в том, как мы, сидя на корточках в грязной смотровой яме или толкаясь под днищем машины, вступаем в контакт друг с другом благодаря деталям безжизненного механизма, в том, как мы цапаемся, ругаемся, шипим друг на друга или, напротив, одобрительно хмыкаем, давая другому понять, что движение его было точным и своевременным, короче, так или иначе наслаждаемся физическим присутствием друг друга, несомненно, есть что-то ритуальное, что-то напоминающее о детской взаимности и элементарной потребности в этой взаимности.

Когда-то, не помню уже, что нас надоумило, мы заключили с ним кровный договор. Надрезав пальцы кончиком отцовского кинжала, мы смешали кровь на ладонях и слизнули ее. Ничего особо торжественного в этом акте не было. Возможно, потому, что кровь не хлестала ручьем. И мы чувствовали во всем этом какую-то постыдную неловкость. Но все же в нашем общем стремлении этот кровный союз объединил нас прочнее, чем что бы то ни было. То, что другие решали между собой словами, мы доверили языку тела. И я убежден, что в языке тела есть слова, не имеющие ни малейшего отношения к эротике. Мы превратили свои тела в физический инструмент, необходимый для достижения нашей цели. И тела наши были обручены не друг с другом, а именно с целью. Это мое убеждение подтверждается тем, что нам никогда не приходило в голову считать себя друзьями. Мы и сегодня называем друг друга корешами, что для меня, вследствие некоторой интеллигентской испорченности, звучит несколько иронично, для него же, именно в силу различий в происхождении и общественном положении, это слово несет очень даже серьезный, подчеркивающий эти различия смысл. Друзья у него из другого круга. Тем не менее в осуществлении своих мелких, но весьма рентабельных финансовых махинаций он может всегда рассчитывать на мое профессиональное руководство.

Мы знали, что для того, чтобы стать военными, нам нужно перехитрить существующий социальный порядок. Более нелепого выбора не мог сделать ни один из нас. Я был сыном капитана Генштаба венгерской армии, он – сыном рядового, но фанатичного члена фашистской партии. Мой отец погиб на Восточном фронте. Его отец – за присвоение имущества угнанных в Германию евреев – отсидел после войны пять лет, а полгода спустя после выхода на свободу, к величайшему облегчению семьи, был опять интернирован. Но господствующая в то время официальная идеология с ее беспримерным цинизмом великодушно объединила судьбы двух человек, столь разительно отличавшихся по своим устремлениям и моральным ценностям. Мы оба считались детьми военных преступников. И чтобы нас не сочли недоумками или безумцами, нам следовало держать наш план в тайне. Но мы это не обсуждали даже между собой; в конце концов, мы ведь хотели стать не солдатами Народной армии, а солдатами вообще.

Все это нуждается в некоторых пояснениях.

До середины пятидесятих годов в моем непосредственном окружении все еще были в ходу подкрепленные якобы прагматическими соображениями расчеты на то, что англичане и американцы вскоре избавят нашу страну от военного присутствия Советов. А тот факт, что в пятьдесят пятом советские войска покинули Австрию, продолжал питать эти ожидания вплоть до четвертого ноября тысяча девятьсот пятьдесят шестого года. Положение нашей семьи я считал несправедливым и возмутительным, но непредубежденным детским разумом все-таки понимал, что взрослые в моем окружении и сами не верят тому, о чем с такой убежденностью говорят друг другу. Когда мои тети и дяди дискутировали о таких вещах, то голоса их делались приглушенными от страха и нервно-тонкими от самообмана. У меня этот истерический тон всегда вызывал отторжение. Короче, я должен признаться, что за отсутствием реального выбора я все-таки собирался стать воином венгерской Народной армии. Однако свое стремление я должен был осуществить таким образом, чтобы не предать собственную семью. И в этом сомнительном в нравственном плане стремлении судьба моего деда пришла мне на помощь.

Для него, пятого ребенка в семье деревенского учителя, пятого из восьмерых, возможность реализовать рано открывшиеся исключительные способности могла дать либо военная, либо церковная карьера. Но о духовном поприще вопрос даже не вставал из-за его необузданно дикого нрава. А военной карьере мешали

неколебимые антиавстрийские настроения моего прадедушки. В своем упрямстве он дошел до того, что запретил дедушке поступить рядовым даже в венгерскую армию, хотя язык в этой отчасти самостоятельной армии был венгерским и, в соответствии с соглашением 1867 года о создании Австро-Венгрии, венгерская армия могла пересечь границы Венгрии только с согласия ее государственного собрания. Но все-таки армия общая, ворчал он, и никогда его сын не будет якшаться с этими австрийцами. Однако в пылу полемики мой дедушка заявил отцу: ну раз так, то сбегу из дома и пойду в танцоры. На что получил две огромные оплеухи, а на следующий день и отеческое благословение. Так он оказался в военном училище в Шопроне, которое и окончил с отличием.

Словом, мы с Премом готовились стать примерными воинами неважно какой, лишь бы венгерской армии. И для этого подвергали себя самым немыслимым испытаниям. Совершали по жару марш-броски с набитыми камнями вещмешками. Часами лежали на брюхе в заполненных ледяной водой канавах. Забирались на самые большие деревья и прыгали с высоты. Обнаженными продирались сквозь колючие заросли и не бежали домой переодеваться, даже если одежда на нас промокала до нитки или превращалась от холода в заледеневшее рубище. Мы не боимся ни жажды, ни голода, ни жары, ни мороза, нам неведомы страх, отвращение, боль, усталость. Таковы были наши принципы. Мы часто сбегали ночью из дома и, не договариваясь заранее о месте встречи, находили друг друга. В этом отношении инстинкты наши действовали просто поразительно. Мы спали в стогах или бодрствовали, особенно если было морозно и можно было испытать себя, не замерзнем ли мы во сне. А на следующий день как ни в чем не бывало шли в школу. Мы состязались, кто дольше продержится не дыша. Иногда делали это под водой. И берегли друг друга, но не с теплым вниманием двух влюбленных, а исходя из взаимных интересов. Мы научились бесшумно ползать по сухой листве. Подражать птичьим голосам. Строить из снега такие бункеры, что в них можно было разводить костер. Мы занимались гантелями, забирались на скалы, бегали по пересеченной местности и рыли окопы. Голодали, воздерживались от питья или, напротив, ели и пили самые невообразимые вещи. Пить из лужи, питаться травой или добытыми из птичьих гнезд яйцами – все это было не самыми сложными задачами. Однажды я живьем скормил ему слизня, а он мне – поджаренного на прутике дождевого червя, и это тоже было не садизмом, а испытанием. Естественно, тела наши были вечно покрыты синяками

и ссадинами, одежда превращалась в лохмотья, за что Према нередко лупили дома. А я, чтобы как-то утешить растревоженную мать, должен был изворачиваться и лгать.

Помню только один случай, когда я не мог ничего придумать в свое оправдание. Но даже это впечатление не сломило меня, хоть и потрясло. Ситуация разоблачала меня с ног до головы, но я все же не признался. С тех пор я почти привык лгать. Хитрю и недоговариваю как в малом, так и в большом. Ничего не могу с собой поделаться, но на людей, с лицемерным пафосом добывающихся однозначной правды, я смотрю с большим сожалением. Однако вернемся к упомянутому мной впечатлению.

Из книг по военной стратегии я знал, что для успешного проведения операции штабная работа по обеспечению снабжения армии имеет не меньшее значение, чем вооружение, боевой дух и выучка сражающихся на передовой частей. Разумеется, важно, чтобы солдаты имели современное оружие и были внутренне убеждены в необходимости воевать, но ничуть не менее важно, чтобы снабжение войск, поставка всего необходимого следовали за реальным и ожидаемым ходом операции с точностью часового механизма. Так что и в этой области мы должны были накопить некоторый опыт.

Немало незабываемых летних дней мы провели на вокзале Ференцвароша и на сортировочной станции Ракош. Подчас нас жестоко гоняли железнодорожники, но нам все было нипочем, мы просачивались назад. Железнодорожные пути различного направления и назначения, стрелки, поворотные круги, сигнальное оборудование – вся эта четко отлаженная система и сегодня живо стоит перед моими глазами. Почерпнутым в этой сфере познаниям я во многом обязан тому социальному напряжению, которое наблюдалось между железнодорожниками и путевыми рабочими. Если нам удавалось прибиться к бригаде путейцев, успешный день был для нас обеспечен. Мы пили их разбавленное водой вино, ели их хлеб и сало и наслаждались немного застенчивым отеческим покровительством, которым окружали нас эти оторванные от семьи, большей частью среднего возраста, со стороны кажущиеся чуть ли не глухонемыми мужчины. Иногда к ним наведывались прорабы или инженеры, которые походя ворчали, мол, детишек могли бы и не тащить за собой. Кроме нас, наверное, только бродяги и уголовники знали, как запросто можно было болтаться на товарной станции. Диспетчер, выглядывая из своей башни, видит только трудолюбивых, спящих по своим делам муравьев. Контролировать их количество, цвет, размеры им не под силу.

Вы можете совершенно спокойно отдалиться от муравейника, самое главное – не приближаться к будкам стрелочников, не навлечь на себя подозрение, что вы бесцельно слоняетесь по путям, и избегать станционных зрителей.

Случалось, мы с ним путешествовали. Из всех возможных приключений самым захватывающим и рискованным было забраться в один из вагонов формируемого состава. Для этого нужно было прежде всего учесть местоположение диспетчерской башни и размахивающих своими флажками сцепщиков. Незаметно подобраться к вагону можно было с противоположной стороны. А когда мы уже в вагоне, то о том, что с нами будет дальше, можно судить по командам, поступающим с башни. Сразу после того, как с башни доносится номер вагона и его направление, вокруг автосцепок и тормозных рукавов начинается долгая, сопровождаемая матюгами возня. Затем воцаряется тишина. Теперь нужно покрепче за что-нибудь уцепиться. Никто не знает когда, но толчок непременно последует. Толчок еле заметный. Настоящее наслаждение, как всегда, заставит себя ждать.

Два грузных тела сталкиваются друг с другом, что придает стоящему на свободном пути вагону некоторую скорость. Он медленно и со скрипом приходит в движение, которое иногда прерывается с яростью переставленной в последний момент стрелкой. Если вагон окончательно замирает на месте, значит, действительно приключилась беда. Недовольные вопли с диспетчерской башни, чертыхания сцепщиков означают, что весь состав нужно сдавать назад. И возникает жуткая кутерьма, дерганье, какая-то борьба. Но если поезд все же начинает катиться по рельсам, то кайф такой, что даже не понимаешь, что с тобой происходит. Равномерное ускорение, обеспечиваемое весом состава и уклоном пути, едва притормаживаемое силой сцепления, неудержимо и с головокружительной скоростью несет тебя навстречу следующему мгновению.

Больше всего нам нравился первый, умопомрачительный, грохот, за которым следовали постепенно слабеющие, успокаивающие толчки тяжелых инертных тел. И если по соображениям личной безопасности мы не выпрыгивали из уже составленного поезда, то путешествие наше продолжалось. Чаще всего состав просто передвигали на запасной путь, но бывало и так, что мы сразу отправлялись в рейс. В то утро поезд на довольно большой скорости сразу направился в сторону Цегледа. Выпрыгнуть из него мы уже не могли. Временами он сбавлял скорость, однако не останавливался на перегонах. Для нас это было не впервой, так что

мы не паниковали, но все же в тот день почему-то нервничали больше обычного. Когда поезд в очередной раз сбавил скорость, Прем объявил воздушную тревогу. Я выпрыгнул первым, Прем за мной. Он кубарем скатился по насыпи, в то время как я одной ногой тут же увяз по колено в щебенке, но мое тело по инерции рванулось дальше. Этот необычайный момент я отчетливо помню до сих пор. Помню, как ослепительно светило солнце, помню свободный полет Према и помню тот жуткий хруст в моей увязшей ноге. Из-за шума удаляющегося состава я не мог его слышать, но все-таки слышал. А также видел стремительно приближавшиеся булжники, о которые я грохнулся прямо лицом. Короче, мы были разоблачены. Все наши тайны раскрылись. Даже сквозь серую пелену страшной боли я чувствовал стыд за свою непростительную неловкость. Прем откопал меня и хотел тащить на спине. Но я заскулил, умоляя его не прикасаться ко мне. Как выяснилось позднее, левая рука и два левых ребра были сломаны, и болели они гораздо сильнее, чем правая нога с открытым переломом. Голова и лицо были залиты кровью. Вокруг ни души. Ни людей, ни машин, ни домов. Пустынное выгоревшее пастбище и безоблачное небо. Нужно было идти за помощью. Единственным моим утешением было то, что и в этой ситуации Прем не потерял голову.

Я попрощался с ним, когда меня на каталке, рядом с которой бежали с десяток людей в белых халатах, везли в операционную. Я слышал, как кто-то из врачей «скорой помощи» сказал: а ты, сынок, подожди, пока приедет милиция.

Очнувшись, я понял, что вся голова, за исключением одного глаза, окутана бинтами. Все тело было в повязках и гипсе. На краешке кровати сидела медсестра, лицо которой почему-то напоминало мне огромное пульсирующее белое сердце. Она беспрерывно что-то жужжала и напевала, поила меня, поглаживала и обтирала смоченной водой салфеткой. Упорно трудилась, пыхла, работала надо мной. Наверно, я выглядел очень жалко, беспомощно, потому что она нараспев повторяла: все в порядке, все будет замечательно, скоро все начнет заживать, затягиваться, рубцеваться. Только нужно стараться поменьше двигаться. Если будет тошнить или писать захочется, надо просто сказать ей, она будет рядом, не надо тревожиться, она не уйдет, пока не придет моя мать.

О матери я до этого даже не вспоминал. Но стоило ей произнести это слово, как меня повело, все куда-то поплыло, как в операционной, когда на лицо мне наложили наркозную маску. Мое тело отяжелело, и я погрузился во мрак.

Потом я очнулся, словно вынырнув из кошмарного сна, и почувствовал, что тело мое холодеет и я вот-вот умру. Я лежал обернутый мокрой простыней. Слышал мягкий голос медсестры. Все хорошо, хорошо, ничего страшного. Просто у меня подскочила температура, но она собьет ее. Однако как она ни старалась, меняя компрессы на моих обнаженных членах, лихорадка под бинтами и гипсом не унималась. Позднее мне несколько полегчало, и помню, как довольная медсестра накрывала меня сухой простыней, и мне стало жаль, что я больше не мог дарить ей свою наготу.

Судя по свету и звукам в больничной палате, уже приближался вечер. К счастью, матери все еще не было. Потом приступ лихорадки повторился, и к тому времени, как нам удалось его одолеть, стало совсем темно. Медсестра сказала, что ей пора уходить, ее смена закончилась и она передаст меня другой сестре. Я не знаю, что на нее подействовало, ведь лица моего она почти не видела. Возможно, я сделал какой-то жест. Или она даже сквозь толщу бинтов почувствовала, что я никогда еще не доверялся так другому человеку. Так или иначе, какое-то время спустя в палату все же вернулась она. Вы это правильно сделали, ляпнул я, увидев ее в дверях. Что-то случилось? Да нет, ничего, сказал я, чувствуя, как ко мне словно бы возвращаются силы и мой единственный глаз наконец обретает ясность зрения. Тогда почему, спросил она. Потому что вы мне нужны, сказал я. Наши ладони невольно потянулись друг к другу, и она покраснела. Мне было тогда двенадцать, ей лет на десять больше.

Нам никогда нет нужды представлять себе, как поведут себя в той или иной ситуации наши близкие. Потому что определенные ситуации влекут за собой определенные формы поведения. На протяжении всей своей жизни мы повторяем одни и те же жесты, и окружающие черпают в них уверенность. Исходя из этого опыта, я и готовился к встрече с матерью.

В палате лежали такие же, как и я, прикованные к постелям бледные мумии. Мне как-то хотелось выделиться среди них. Они хрипели, стонали, храпели, кряхтели и нестерпимо воняли. Над дверью мерцал синий ночной фонарь. Я попросил медсестру положить мне под спину подушки, включить лампу над моей головой, вынести утку и принести мне какую-нибудь газету. Она иногда исчезала куда-то, потом возвращалась. Превозмогая боль, я пытался читать одним глазом, но дожидаться приезда матери в этом положении не получилось. Меня сморил сон. А когда я открыл единственный глаз, к величайшему своему удивлению, увидел в дверном проеме не мать, а фурию, вселившуюся непонятным образом

в ее тело и одетую в ее платье. Ворвавшись в палату, она ринулась прямо ко мне. Такого я не ожидал. Вытянув руки, она подлетела ко мне, ударила сумочкой по лицу и вцепилась мне в плечи. Если бы медсестра не набросилась на нее, она, невзирая на мое состояние, излупила бы меня, порвала на части. Хотя до этого я не получал от нее даже подзатыльника. Никогда. Они боролись прямо на мне. Фурия при этом хрипло кричала: что ты сделал, что опять натворил, что, говори, а мой ангел-хранитель высоким фальцетом визжала, да вы что, не смейте к нему прикасаться, вы с ума сошли, помогите. Палату вдруг залил ослепительный свет, все тут же проснулись, заголосили, но вскоре все кончилось. Фурия исчезла, испарилась, а на моей постели разразилась рыданиями моя мать. Только тогда медсестра отпустила ее. Ощупала на мне гипс, все мои члены, целые и забинтованные, потом, странно посмеиваясь, уложила в постели больных, всех успокоила, погасила свет и, усмехнувшись мне напоследок, вышла из палаты.

В таких ситуациях самое разумное, что может сделать ребенок, – объяснить родителю, что он сделал и почему. Старательно заикаясь, он должен признать все свои прегрешения, выдать хотя бы треть своих сокровенных тайн, и своим раскаянием он заслужит прощение. Но мне даже в голову не пришло выдавать нас. Я был уверен, что и Прем сообщит милиции только то, что абсолютно необходимо. Возможно, я вел себя так потому, что впервые в жизни оказался между двумя женщинами. Эта бурная сцена заставила меня понять, что мать – не только мать, но и женщина. Прежде мне это и в голову не приходило. Одна женщина рыдала на моей кровати, другая ходила вокруг, посмеиваясь. Словно бы наслаждалась злорадно, что я оказался в руках такой сумасшедшей.

Все еще продолжая рыдать, мать повторяла свои вопросы, касавшиеся самой больной точки всей моей жизни. Речь шла о моей независимости. Подняв обе руки, здоровую и загипсованную, я повернул ее плачущее лицо к себе. Я был зол на нее, хотел увести ее от этой чувствительной темы, но так, чтобы не травмировать ее слишком сильно.

Могла бы приехать и побыстрее, сказал я.

Да я только домой вернулась, а там милиция! Милиция, представляешь?!

Я уже целый день здесь лежу и еще ничего не ел.

Она посмотрела на меня сквозь слезы.

Хочу вишневый компот, сказал я.

Компот, изумилась она, где я теперь достану тебе компот?

При этом заплаканные глаза вновь обрели знакомое, исполненное покорности и несколько испуганное вдовье выражение. Мне удалось снова превратить ее в свою мать.

Сегодня я знаю, что именно я убил в ней женщину.

Наверное, нет нужды специально подчеркивать, что жизнь, которой мы жили, разительно отличалась от жизни моего друга. Правда, был во всей этой истории короткий, но повлиявший на весь мой психический склад период, когда точно так же, как он и его подруга Майя, мы тоже заразились шпиономанией. Мы это называли разведывательной деятельностью. Задача заключалась в том, чтобы проникнуть на вражескую территорию и незамеченными покинуть ее. Мы всегда выбирали дома и квартиры, чьих обитателей мы не знали. Нам казалось это более честным, иначе потом мы не смогли бы смотреть знакомым в глаза. Мы присматривались к чужим садам, выбирали пустынную комнату, какое-нибудь оставленное открытым окно, хлипкие ставни, легко взламываемую дверь, решали, какую вещь нужно вынести из квартиры. Один из нас стоял на стреме, другой работал.

661

Мы никогда ничего не присваивали. Предметы, которые мы выносили в качестве доказательства, мы потом возвращали на место. В худшем случае подбрасывали, оставляли их на пороге или на подоконнике. Чего только не проходило через наши руки – документы, часы, пресс-папье, авторучки, склянки с лекарствами, портсигары, печати, забавные безделушки. Мне особо запомнилась лакированная китайская музыкальная шкатулка, а также порнографическая статуэтка с весьма подвижными членами. В истории моей сексуальной жизни едва ли отыщется ревностно охраняемая тайна, сравнимая по живости с этими впечатлениями. Мы совершали насилие над жизнями незащитных людей. Над их немymi, ничего не подозревающими жилищами. И это была та точка, где мы с Премом переступали границы дозволенного. От одного только решения об очередной такой акции у нас сводило желудки, глаза стекленели, руки-ноги охватывала дрожь, в кишечнике начиналось бессовестное брожение, и мы от волнения не единожды и не дважды вынуждены были справлять нужду на глазах друг у друга.

Я уверен, что нравственная ценность поступка может быть физически измерена посредством нашего тела. Такие замеры каждый из нас производит буквально ежеминутно. И способом измерения является не что иное, как своеобразное соотношение между побуждениями и запретами. Ведь поступки являются результатом не только наших побуждений, обусловленных инстинктами,

но и сформированных воспитанием запретов относительно этих побуждений. В любом совершаемом нами поступке ищут свои пропорции наши природные склонности, социальные установки, наследственность и происхождение. И тело, сталкиваясь с явной непропорциональностью, реагирует на нее страхом, потением, беспокойством, в более сложных случаях – потерей сознания, рвотой, поносом и даже, случается, органическими заболеваниями.

662 Так что в принципе общество должно считать идеальными тех людей, которые испытывают побуждения лишь к тому, что не запрещено, а самыми опасными – тех, кого мотивирует только то, что запрещено. Но этот, казалось бы, логичный принцип, точно так же как принцип асимметричности красоты и уродства, вовсе не подчиняется логике. Ибо мать-природа не создала еще человека, в чьих действиях не было бы напряжения между побуждениями и запретами, как нет человека, который бы совершал только то, что запрещено. Идеал социальной гармонии и равновесия поддерживает именно масса людей, умеющих сводить это напряжение к минимуму, хотя этих людей никому не приходит в голову называть самыми мудрыми, добрыми, совершенными. Подвижники и монахи, колумбы и революционеры, точно так же как сумасшедшие, пророки, преступники, выходят не из их рядов. В лучшем случае они полезны для поддержания социального мира. Но самая большая из возможных полезностей может измерить себя лишь применительно к самому большому из возможных вредов.

И если, рассуждая о прекрасном и безобразном, я утверждал выше, что, выбирая между двумя почти совершенными формами, мы всегда отдаем предпочтение почти совершенной пропорциональности перед почти совершенной непропорциональностью, то теперь, рассуждая о добре и зле, я должен сказать, что в качестве нравственного мерил наших поступков мы всегда выбираем не то, нужное нам для жизни, добро, не мирную и унылую посредственность, но непременно какое-то нас тревожащее, будоражащее, но столь же необходимое нам для жизни зло. Что, с другой стороны, означает, что чувства наши всегда ориентируются на самое совершенное, в то время как ориентир для сознания – всегда то, что дальше всего отстоит от совершенства.

На триста семьдесят седьмой странице своей рукописи мой покойный друг утверждает, будто я иногда просил Према раздеться. Я такого не помню. Но не хочу подвергать сомнению его утверждение. Возможно, что это было, но если и было, то совсем по другой причине, чем та, о которой он думал.

Да, конечно, мальчишек всегда занимает размер их пиписек и сравнение их с пиписками сверстников. И эта игра впоследствии продолжается и у взрослых. Физические реалии, изменить которые никто не в силах, постоянно напоминают им о пережитой в детстве душевной травме. В зависимости от того, оказался ли при сравнении член большим или маленьким, существуют два вида травмы. Если он оказался большим, то в нас поселяется чувство превосходства, хотя позднее мы понимаем, что никаких значимых преимуществ в любовной жизни нам это не дает. А если он оказался маленьким, то мы переживаем комплекс неполноценности, невзирая даже на то, что позднее никаких проблем в сексуальной жизни мы от этого не испытываем. В этом вопросе повседневный, а также научный опыт разительно противоречит культурной традиции. Не знаю, как поступают другие культуры с такими разрывами между чувственным и рациональным опытом, но наша варварская цивилизация, пребывающая в страхе перед творением, похоже, не уважает творение вообще. Я в этом абсолютно уверен. Причиной травм, превращающихся затем в психические расстройства, является не физиология, а противоречие, когда человек, призванный к самосозиданию, воспринимает свои индивидуальные особенности как единственно возможные, в то время как его непочтительная к творению культура не считается с теми границами, которые предложены и заложены природой и побуждает человека оценивать свои особенности не по тем же критериям, по которым он их воспринимает. Он либо из большого стремится выжать еще больше, либо мучается оттого, почему то немалое, что ему дано, не может быть несколько большим.

Всем понятно, что ценность любовной жизни состоит в хрупком ощущении счастья. Это правда, что любовное счастье не может быть отделено от половых органов, но было бы глупо связывать его с их размерами. Хотя бы уже потому, что женское влагалище по природе своей способно к расширению до размера, соответствующего величине члена. Расширение это управляется исключительно чувствами, точно так же, как и мужская эрекция. Но культурная традиция, ориентированная на измеримые результаты, накопление, использование и присвоение, на изобилие материальных благ и их справедливое распределение, этим обыденным, но поддающимся даже научной проверке чувственным опытом все же пренебрегает. И внушает как женщинам, так и мужчинам, что хорошо только то, чего много, что чем нечто больше, тем лучше. Если у тебя меньше, чем у него, значит, что-то с тобой не в порядке.

Непорядок с тобой и тогда, когда ты из большого неспособен выжать еще больше наслаждения. А если с тобой что-то не в порядке, то ты либо смиряешься с этим, либо должен изменить всю свою жизнь. Сеющий зависть пожимает жалость. Так культура, нацеленная на самосозидание, вынуждена смиряться с пределами, установленными творением. Все революционеры, стремящиеся изменить жизнь, на практике оказываются людьми столь же глупыми, насколько мудрыми оказываются примитивные верующие, принимающие жизнь такой, какова она есть. В этом щекошливом вопросе, затрагивающем повседневную жизнь любого из нас, мы поступаем точно таким же образом, как некоторые сохранившиеся до наших дней примитивные племена, которые не усматривают никакой связи между функционированием половых органов, сексуальным удовольствием и зачатием. Наша высокоразвитая, как принято считать, цивилизация устанавливает между половыми органами и любовным счастьем такие прямые связи, которые природой не подтверждаются. Ибо условием детородной деятельности является нормальное функционирование половых органов, а ее следствием – зачатие, но любовное счастье дано нам всегда только как возможность. Поэтому я и назвал его хрупким чувством.

После всех этих рассуждений я, конечно же, не рискну сказать, что сам я не являюсь ни травмированным, ни изуродованным. С самого раннего детства обстоятельства вынуждали меня не ориентироваться на собственные культурные запросы, а правильно пользоваться своими естественными склонностями. И по этой причине могу сказать, что в культурных стремлениях меня одинаково ужасают как мазохизм смирения перед жизнью, так и садизм, проявляющийся в желании ее переделать. В отличие от моего бедного друга, который всю жизнь блуждал в царстве человеческих желаний, превратив свое тело в объект своих эмоциональных экспериментов, я относился к своему телу как к инструменту, так что мои желания служили лишь строгими контролерами моих естественных склонностей. Поскольку с моим социальным происхождением были большие проблемы, я враждебно относился ко всем, кто пробовал убеждать меня, что со мною что-то не так, равно как и к тем, кто считал меня исключительным из-за моих физических данных. Я не мог принимать эти суждения. Я не хотел примиряться, не хотел ничего изменять, но стремился в своей единственной жизни отыскать те возможности, которые отвечали моим склонностям. И в поисках этих возможностей я был если не фанатичен, то определенно одержим.

Не так просто даются мне эти одинокие ночные часы – требуется насилие над натурой, не созданной для рефлексий и исповедей. Однако наличие желания указывает на способность, способность же вынуждает действовать даже в той области, к которой, казалось бы, я должен быть непригоден. И два взаимодополняющих качества неизбежно приводят в движение третье.

Я не испытываю ностальгии, и это заставляет меня задумываться и побуждает к воспоминаниям. Единственное, чего я хочу от себя, чтобы не было ничего, делающего меня пристрастным или стеснительным. Это правда, что память моя пристрастно стерла картину, которую зафиксировал мой друг. Но у меня нет причин жаловаться, потому что она сохранила другую красочную картину.

Картина вроде бы безобидная. Я не знаю, как часто я вспоминал ее за прошедшие годы. Случалось. Что-то вроде булавочного укола. Солнце. Зеленая трава. Прем в бушующем свете сидит на корточках. Между раздвинутых ляжек торчит елдак, а из жопы еще более толстой, более длинной тугой колбасиной лезет какашка. Есть и другие подобного рода картинки, но не столь яркие.

В ходе наших разведывательных акций нас частенько настигала потребность справиться нужду. Меня, его или обоих разом. В самых немыслимых ситуациях. Друг друга при этом мы не стыдились. У нас даже не было времени потеряться, ведь независимо от того, была ли у нас причина бояться быть застигнутыми врасплох или нет, нам постоянно нужно было спастись от другого, гораздо большего позора. И эта тяжелая травма, я полагаю, и защищала нас от более мелких травм.

Наше вынужденное бесстыдство занимало определенное место на некоей шкале важности. Что другим могло показаться щекочущим нервы, шокирующим чувства и утоляющим жгучее любопытство зрелищем, для нас было тривиальным событием, которое все же напоминало нам о бесстыдно взятом на себя неприличии. Поэтому если и было такое, что я попросил Према раздеться и показать себя, то сделал это вовсе не потому, что так страстно жаждал увидеть его эмблематично внушительный член, а как раз наоборот, потому что знал, что в других мальчишках эта неодолимая тяга, которую уже убил во мне наш совместный стыд, очень даже жива. И от этого ощущения мне хотелось избавиться, то есть вернуть себе чувство общности с остальными. Иное дело, что достичь этого было невозможно. И, наверное, потому я всегда так противлюсь, когда кто-то хочет поцеловать меня.

К чистоплотности я был приучен в детстве, причем посредством самых суровых запретов. Я знал, что одну из главнейших жизненных функций, а именно естественную нужду, надлежит отправлять в полной тайне, в одиночестве, а ни в коем случае не на глазах у других. И это табу настолько сильно, что безнаказанно нарушить его не может ни одна живая душа. По сравнению с этим запретом правила сексуального поведения кажутся просто детским лепетом. Насколько глубоким и неодолимым должно было быть то побуждение, из-за которого я готов был нарушить этот запрет. Точнее, мы оба. Для этого нужно было чрезвычайное положение или война, во время которых этот запрет не действует. Так что угрызений совести мы не испытывали, ведь в наши намерения не входило нарушение этических норм, связанных с чистоплотностью, – точно так же ведь и народы, воюющие друг с другом, воюют не из желания растратировать свои нравственные сокровища. Мы жили во время, которое только казалось мирным, и хотели подготовить себя к тому, чтобы в урочный час иметь достаточно опыта и решимости выполнить самую трудную разведывательную миссию. Окончательным доказательством нашей готовности мог бы стать сам поступок. То есть проникновение на охраняемую волкодавами, шлагбаумами, колючей проволокой и вооруженными людьми запретную территорию. Проникновение незаметное, легкое, без потерь, как это делают супершпионы. В отличие от моего друга и Майи Приходы мы не охотились за шпионами, а сами хотели стать таковыми. Хотели проникнуть в святая святых вражеской территории, само наличие и непостижимая сущность которой ставили под сомнение смысл нашего бытия. Но для осуществления этой партизанской акции, естественно, нам не хватало храбрости. Точно так же, как им не хватало решимости донести на заподозренных ими родителей. Для этого нам пришлось бы взломать все семь печатей тайны. Сделать нечто, на что не была способна даже вся страна, оцепеневшая в беспомощности мирной жизни. В этом и состоял наш величайший общий позор. И все-таки я не мог отказаться.

Когда я писал эту последнюю фразу, стояла осень. Иногда приходится писать фразы только затем, чтобы можно было потом их вычеркнуть. Вот и эта фраза – из тех, к которым не лежит душа. Но вычеркнуть ее из сердца я не могу. Проходят месяцы. Ничто другое не занимает меня. Кроме мыслей о том, почему я не мог отказаться. Если бы я это знал, то не нужно было бы эту фразу писать. Или я смог бы ее вычеркнуть. На самом же деле я размышляю о том, почему и по сей день не могу сдаться. Почему я готов идти на самые

постыдные компромиссы, лишь бы от этого не отказываться. Разве не достойней было бы покорно склонить голову перед свершающимися ежеминутно фактами, чем бесстыдно барахтаться в грязи упрямства? Почему я так боюсь своей собственной грязи, если знаю, что это не только моя грязь, и в то же время, почему я испытываю отвращение, глядя в зеркало, которое отражает не чье-то чужое, а мое лицо?

Если не ошибаюсь в счете, мы незаконно проникли в десять-двадцать квартир. Это немало. И всякий раз обсирались, за исключением одного-двух случаев. Этого тоже вполне достаточно, чтобы впечатление врезалось в память. Но нечего и говорить, что, как бы мы ни старались выдумывать для себя задания одно абсурдней другого, какие бы безумства ни вытворяли, оба мы хорошо знали, что стремимся к чему-то совсем другому. Об этом нам даже не нужно было говорить словами. Беспомощные и удрученные, мы кружили с ним вокруг запретной зоны. Пытались подружиться с охранниками. Оказывали им мелкие услуги, за которые они расплачивались пустыми патронными гильзами. Мы прикидывали, как можно обезвредить сторожевых собак. И даже спрашивали об этом охранников. Никак, говорили они. Но никакими ухищрениями мы не могли заставить себя дорасти до этой задачи, потому что нам требовались храбрость, сила, изобретательность и решимость, сопоставимые с тем насилием, которое символизировала эта закрытая и неприступная зона.

Я хорошо помню нашу последнюю вылазку. Я уже выбирался наружу через довольно узкое окно кладовой, когда под моим весом обрушился стеллаж, уставленный вареньями и соленьями. Дело было на проезде Дианы, на обнесенной высоким кирпичным забором вилле. К счастью, мне хватило сноровки не рухнуть на разлетавшиеся с диким звоном банки. Уцепившись за подоконник, я глянул вниз. До сих пор не могу забыть эту неописуемую картину. Зеленые огурцы, перемешавшиеся с вареньями и компотом, и маринованные желтые перцы, рассыпавшиеся по клетчатому кафельному полу. И на всю эту мягкую массу падают новые банки, разбиваясь уже одна о другую.

Моя жизнь вовсе не изобилует острыми поворотами. Но это давнее мгновение – пожалуй, именно таково. Я почувствовал, что нужно искать другие способы действия, но при этом никогда не отказываться от своих желаний. Никогда.

Я всегда был отличником. Да к тому же обладал усердием и упорством выскочки. Только гибкость и приятная внешность уберегли меня от того, чтобы стать предметом насмешек. Я – один из немногих, кто выучил русский язык еще в школе. Вместе с матерью мы часто встречались с вернувшимися из плена сослуживцами моего

отца, офицерами и солдатами. Под впечатлением от их рассказов у меня и созрело решение выучить русский язык основательно, а не абы как. В этом я шел по стопам моей матери, одержимой вдовьими комплексами. Если бы она могла узнать подлинную историю гибели мужа, она бы вернула его себе. Было у нее такое чувство, и это чувство пустило корни во мне. Я собирался стать военным и на месте расследовать обстоятельства смерти отца. Немецкий язык мне пришлось изучать дважды. Сперва я выучил тот немецкий, на котором сегодня никто уже не говорит. Среди книг, унаследованных мной от деда, было два, в кожаном переплете тома с вытесненным на корешках загадочно простым названием: «О войне». Поля были испещрены заметками моего дедушки, сделанными по-венгерски, его мелким, убористым, легко читаемым почерком; сама книга была напечатана готическим шрифтом. Я решил, что должен познакомиться с этим трудом, лелея надежду, что смогу узнать из нее все, что можно знать о войне.

В декабре тысяча девятьсот пятьдесят четвертого года, насколько я помню, в последний день перед началом каникул, в нашу школу нагрянула внушительная делегация из серьезного вида мужчин. Они прибыли на огромных черных автомобилях. Все были в темных шляпах. Из окна классной комнаты мы видели, как шляпы исчезли в дверях вестибюля. Урок тут же прервали. Мы должны были сидеть в полной тишине. Из коридора время от времени доносились шаги, явно не одного человека, и вновь все смолкало. Кого-то куда-то вели. Уроки смешались, потому что звонков не было. Тишина, полная тишина, шипел Клемент, самый ненавистный из всех наших учителей, когда кто-нибудь осмеливался шелохнуться, чтобы изменить позу. Дверь открылась. Швейцар вызвал кого-то, шепотом назвав фамилию. Шаги. Затем ожидание: вернется ли? Через какое-то время вызванный, еще более бледный, чем до того, пробирался на место, сопровождаемый нашими взглядами, и дверь затворялась. Дрожащие губы и пылающие уши говорили о том, что что-то все же произошло. Что-то там происходит. Поскольку моих одноклассников вызывали совершенно бессистемно, прийти к какому-то заключению я не мог.

Немного спустя я все же почувствовал, что кольцо вокруг меня сжимается.

У Клемента была огромная лысая голова с крошечными водянистыми голубыми глазками. Живот напоминал бочку. Чистого веса в нем было, наверное, центнера полтора. При нем всегда был маленький фибровый чемоданчик. Он сосал леденцы, причмокивая

и щелкая в тишине языком. Он глухо постанывал, со свистом переводил дыхание, непрерывно был занят собой. Подтягивал носки, скатавшиеся на распухших лодыжках. Открывал свой старенький чемоданчик, проверял в нем связку ключей, закрывал чемодан, причем по лицу его было видно, что он все еще думает о ключах. Потом долго скреб ноздрю, ущипывал что-то кончиками ногтей, пристально разглядывал, после чего вытирал руку о штаны. Хрустел пальцами, подергивал на них заплывшие жиром перстни. Или, сцепив руки на животе, крутил большими пальцами, причем так, чтобы они непременно соприкасались. Казалось, он был живым механизмом, целым заводом. Оторвав зад от стула, он вытягивал из кармана платок, разворачивал и, откашлявшись, смачно сплевывал в него мокроту, а затем, словно то было редкое сокровище, тщательно заворачивал ее в носовой платок. Его умышленная жестокость вызывала в нем не волнение, а самое что ни на есть чувственное наслаждение, поэтому единственное, что можно было предположить по его поведению, – что положение наше чревато большой, как еще никогда, бедой.

Мысли роились в моей голове, словно пчелы в улье. На все вопросы, которые могли задать мне они, я отвечал решительным «нет». Смело глядя им прямо в глаза, я отрицал все. Даже то, что, по их представлениям, было выгодно для меня. Я отрицал даже знакомство с Премом. Отрицал, что мы с ним травили собак, хотя мы их никогда не травили. Его все не вызывали, точно так же, как и меня. Единственная причина, по которой такое гробовое молчание можно было хранить так долго, состояла в том, что это было не в первый раз. Никто не осмеливался отпрашиваться в туалет. Около двух лет назад на стене туалета для мальчиков, на третьем этаже, нашли небольшой стишок, написанный в духе кого-то из наших классиков: «Не спрашивай, кто, Ленин или Сталин, то изрек, неважно. Коль по уши утоп в говне, за партию держись отважно. То мог сказать и светоч наш – великий кормчий Ракоши». Я намеренно цитирую его, не разбивая на строки, потому что им этот стишок тоже был интересен не с точки зрения стихосложения. Они вечно что-нибудь находили. Поэтому никто и не думал теперь отпрашиваться. Забыть то расследование, которое два года назад длилось целых два дня, с допросами, построениями, сличением почерков, фотографированием, со шмоном портфелей, карманов, пеналов, было невозможно.

Я не мог подавить волнения. Иногда мы мельком переглядывались с Премом, ему тоже было не до смеха. Отпирался я про себя напрасно. Мне казалось, что я совершенно прозрачен. Казалось,

что все мои мысли может читать кто угодно. Казалось, я не могу прикрыть себя даже самым собой. Я не хочу никого утомлять углубленным анализом этого состояния, но хотел бы сказать несколько слов о полезном опыте, который я приобрел в этой ситуации.

Когда человек вынужден бояться собственных мыслей, потому что боится мыслей других людей, он пытается заменить свои очевидно опасные мысли чужими мыслями. Однако никто не способен думать чужим умом, ведь возникающие таким образом мысли – не более чем рожденные в его голове догадки о том, что могут думать о тех же вещах другие. И поэтому получается, что в своем мышлении он должен не просто стирать предательские следы того, что он не только мыслит, но и пытается предположить, что думают о том же самом другие, подменяя полученные таким способом результаты; сверх того он должен еще и подавлять в себе неуверенность, возникающую оттого, что вся эта подмена мыслей основана всего лишь на предположениях. И если человек вынужден достаточно долго заставлять свой мозг играть в эту игру, то, возможно, он и узнает многое о механизмах мышления, но велика опасность того, что он больше не сможет отличать свои оценки и констатации от предположений.

Прошло примерно полтора часа. Когда прозвучала моя фамилия, меня это застигло врасплох. И все-таки я обрадовался, что можно наконец-то вскочить и куда-то отправиться. Клемент в это время забросил в рот очередной леденец. Швейцар стоял в открытых дверях. А Клемент, покатав леденец кончиком языка, с громким причмокиванием заявил, что «уж ты, Шоми Тот, их точно не заинтересуешь». Его замечание меня сразило. Оно как бы подразумевало, что к страшному преступлению, о котором ему, конечно, известно, я не могу иметь никакого отношения. Но тон сожаления, которым он это сказал, давал мне понять, что он меня не оправдывает. Не оправдывает даже при том, что было в нем, этом тоне, и некое заговорщицкое одобрение, подбадривание, адресованное круглому отличнику. Он в пух и прах разбил систему предположений, которую я выстраивал полтора часа. Я чувствовал себя примерно так же, как когда медсестра в больнице просто по доброте своей вспомнила о моей матери. На руинах этой оборонительной системы мне не за что было зацепиться, высказать новые догадки. Да и времени не осталось, чтобы просчитать новые варианты в свете того, что только что сообщил Клемент. Но ноги несли меня достаточно уверенно. Как спасающегося бегством зверя через единственный оставшийся свободным проход – прямо в западню.

Мы прошли через пустую учительскую, и когда швейцар запахнул передо мной дверь в просторный кабинет директора, я онемел от убийственного изумления. Заточенное, как бритва, лезвие гильотины отрубило мне голову. Я умер. Но глаза остались открытыми, и, выглянув из заполненной опилками корзины, я увидел, что, собственно, ничего ужасного здесь не происходит – все ярко и празднично, мирно и весело. Завтрак на пленере. Пикник на скло- не холма. Холостяцкая вечеринка с ароматом прекрасных сигар.

В тот момент, когда я вошел, ко мне обратились по-русски.

671

Дверь учительской за моей спиной закрылась, а двустворчатые, темного дерева и с изящной резьбой двери директорской кварти- ры, что примыкала к кабинету, были распахнуты настежь, откры- вая анфиладу из четырех обставленных богатой тяжелой мебелью и устланных толстыми коврами комнат. Много позже я имел воз- можность познакомиться с полотнами придворного венского жи- вописца Ханса Макарта – так вот, все его интерьеры, заполненные драпировками, статуями, комнатными растениями, перенасыщен- ные бордовыми и коричневыми красками, всегда напоминали мне об этом невероятном мгновении. От Ливии, дочери швейцара, мы знали, что прежний директор, уволенный, а затем депортиро- ванный из столицы, вынужден был оставить в квартире все свое имущество. В самой дальней комнате на ковре играли две девчуш- ки – дочери нынешнего директора. Комнаты были залиты ярким светом купающегося в снегу утреннего солнца, в лучах которого передо мной промелькнула стройная фигура жены директора. Где- то едва слышно звучало радио, передавая какую-то приятную му- зыку.

Из-под сени широколистных, внушительного вида филодендро- нов и пальм молодой и веселоглазый мужчина, сидевший за рез- ным письменным столом, спросил у меня, как дела. По его внешне- сти и интонации я сразу понял, что он обращается ко мне на своем родном языке. Прочие господа в самых комфортных позах распо- ложились на стульях и в креслах, сдвинутых с их привычных мест. Сам директор, как бы подчеркивая, что он не из этой компании, стоял с принужденной улыбочкой на лице, привалившись спиной к теплой изразцовой печи. Окутанные мягкими волнами дыма мужчины держали в руках бокалы, уписывали бутерброды, поме- шивали в чашечках кофе, курили. Во все этой сцене не было бы ничего официального, если бы на столе, на буфете и даже у ножек кресел не валялись подозрительные своей инородностью и этим опасные листы бумаги.

На вопрос я ответил всего одним русским словом, я даже помню, что впервые встретил его в каком-то рассказе Толстого. Короче, вместо того чтобы ответить «спасибо, хорошо», я сказал: «Превосходно». На что некоторые рассмеялись.

Вот это молодец, находчивый парень, сказал тот, что обратился ко мне с вопросом. Подойди-ка поближе, давай побеседуем.

У стола стоял стул с жесткой высокой спинкой, на который мне было предложено сесть. Таким образом, все другие оказались у меня за спиной.

Я не знал, что последует дальше. Не знал, что это был за экзамен. Но даже пребывая в полном неведении, я легко, без запинки отвечал на задаваемые мне вопросы и чувствовал, что я на верном пути. Даже не зная, куда этот путь меня приведет. Потом вдруг воцарилась напряженная тишина. Напряженной ее делало их удовлетворение.

Когда я уже сидел, веселоглазый русский спросил у меня, идет ли сегодня снег.

Я ответил, что сегодня погода ясная, а вот вчера действительно выпало много снега.

Потом он спросил, как я учусь, довольно кивнул, услышав ответ, и поинтересовался, кем я хочу стать.

Военным, без колебаний ответил я.

Замечательно, воскликнул русский, отшвырнул стул и, обойдя письменный стол, остановился напротив меня. Это наш человек, крикнул он, обращаясь к другим, потом обхватил мое лицо ладонями и велел мне смеяться. Мол, хочу посмотреть, умеешь ли ты веселиться.

Я попытался. Но, видимо, у меня получилось не очень, потому что он отпустил меня и спросил, говорит ли кто-то в моей семье по-русски, кто так хорошо научил меня их языку.

Я сказал, что русским владел мой отец, и тут же осекся, поняв, что не должен был этого говорить.

Твой отец? Он посмотрел на меня вопросительно.

Да, сказал я, только я его никогда не видел. Я учился по книгам.

Он подумал, что не так понял меня, и изумленно переспросил, что значит не видел.

Все моя решимость, все притворство и все надежды застряли в горле. Я все еще пробовал хотя бы улыбаться. Он умер, сказал я, с трудом сдерживая слезы.

За моей спиной в тишине послышалось какое-то движение, шелестела бумага; кто-то, видно, листал тетрадь или книгу; слы-

шались приближающиеся шаги, но обернуться я не посмел, хотя русский смотрел на того, кто стоял за моей спиной.

Рядом с нами остановился директор с раскрытым классным журналом в руках и пальцем указал на что-то, что он, видимо, только что уже показал другим. В черных прямоугольниках против фамилий учеников красными буквами было вписано социальное происхождение.

Русский, бегло взглянув на журнал, вернулся к столу, сел и отчаянным жестом разочарованного влюбленного закрыл руками лицо. Ну что ему теперь со мной делать, спросил он.

673

Я молчал.

Потом более громко и чуть ли не грубо он повторил свой вопрос по-венгерски.

Не знаю, тихо сказал я.

Ты думаешь, ты достоин того, чтобы говорить по-русски, спросил он опять на родном языке.

И от этого мне показалось, что еще не все потеряно, мне хотелось вернуть его благосклонность.

Да, по-русски пролепетал я.

Можешь идти, сказал он.

Не прошло и получаса после их отъезда, как по школе распространился слух, что выдержавшие экзамен этой зимой поедут на отдых в Сочи. Еще никогда не встречал я каникулы в столь подавленном настроении. Это жалкое «да», которое я выдавил из себя, почему-то запомнилось мне как сказанное довольно решительно и по-военному. Свой голос мне хотелось слышать их ушами, хотелось быть уверенным в своем успехе, только тогда я смог бы забыть о своем предательстве. Ни о каком зимнем отдыхе я не мечтал, да и вероятность такой поездки с течением дней становилась все призрачней. Но Према я избегал. И не хотел больше играть с ним ни в какие игры.

Утром тридцать первого декабря меня вызвали в школу. За нами послали отца Ливии. Перед учительской нас было шестеро, три смертельно бледных девчонки и трое храбрых мальчишек. Разговаривать друг с другом никто не осмеливался. Директор снова встретил нас в обществе незнакомого мужчины и обратился к нам с небольшой речью. Он старался придать голосу соответствующую случаю торжественность и растроганность. Нашей школе, сказал он, выпала неслыханная честь. По случаю Нового года от имени пионеров и всей венгерской учащейся молодежи мы сможем приветствовать в его резиденции вождя и мудрого учителя нашего

народа товарища Матяша Ракоши. О деталях нам рассказал незнакомец. Он объяснил, как все будет происходить, как нам вести себя и как отвечать на возможные вопросы. Главное правило, просветил он нас, заключается в том, чтобы не сказать ничего, что могло бы опечалить хозяина. Ведь нам хорошо известно учение Золтана Кодая. Во время пения следует улыбаться. Пусть это будет вторым главным правилом, которому мы должны следовать. После поздравления нас угостят какао со взбитыми сливками и сдобной булкой. А если супруга товарища Ракоши любезно спросит нас, не хотим ли еще, мы должны вежливо отказаться, ибо посещение должно продлиться не дольше двадцати минут. Майя Прихода должна была произнести поздравление по-венгерски, а я по-русски. Он передал нам текст, который к утру нам следовало выучить наизусть, так, чтобы от зубов отскакивал. До окончания нашей миссии о ней не должна знать ни одна душа, и показывать кому-либо этот текст он настоятельно не рекомендует. Букеты, а также дальнейшие инструкции мы получим утром у шлагбаума на улице Лорант.

Едва я распрощался с остальными, эта последняя фраза, словно полыхнувшая беззвучно молния, понесла меня к Прему. Так все же поднимется передо мной шлагбаум. Прем с братом играли на кухне в карты. Мы отошли с ним на несколько шагов от их дома. И я тут же все ему выложил. Мы наконец-то туда проникнем. Я сказал это так, будто речь шла о нас обоих. Он зябко переминался с ноги на ногу. Под его подошвами скрипел снег. Он недоверчиво шурился, как будто подозревая меня в каком-то розыгрыше. Я уже почти вытащил из кармана текст приветствия, собираясь предъявить его в качестве доказательства. Но он перебил меня, ему как раз привалила хорошая карта, и вообще, да пошел я в жопу.

Я не обиделся. На его месте я сказал бы примерно то же. Прем был слабым учеником, буквально на брюхе переползавшим из класса в класс. Конечно, мы тоже жили в нужде, тоже сидели на фасоли, горохе да мороженой картошке, но все-таки моя мать могла иногда продать ковер, старинную драгоценность или что-то из серебра. Мы дружили с ним, в точности сознавая, какая недолимая пропасть нас разделяет. В наших военных играх я был всегда офицером, а он рядовым. Он не был согласен даже на роль капрала, потому что такое, ни то ни се, положение оскорбляло бы его достоинство. Так что этот неприятный инцидент не помешал нам несколько дней спустя восстановить привычный порядок вещей. Он ничуть не стыдился своего любопытства, заставляя меня по несколько раз на дню рассказывать о визите. Уже в первый раз

я поведал ему достаточно красочную историю, которая с течением времени обрастала все новыми подробностями. Мне казалось нелепым признаться, что все, что казалось до этого глубочайшей тайной, которую мы и пытались разведать, на самом деле было бесконечно скучным, лишенным ярких подробностей, унылым и будничным. Казалось бы, тайна была у меня в руках, но я не верил своим глазам. Потому что не мог тогда знать, что нет на земле тайны более тоскливой, чем тайна деспотии.

Все проходило именно так, как заранее описал нам незнакомый мужчина. В этой тайне случайностям не было места. В девять утра, без шапок, шарфов и пальто, в пионерской форме, мы должны были быть у шлагбаума на улице Лорант. Там нам вручили два букета гвоздик. Один получила Майя, другой – я. Утро было солнечное, сверкал снег, мороз минус десять, не меньше. Наверное, мы выглядели очень жалко, поскольку понятным образом обеспокоенные родители, конечно, не отпустили нас из дому в одних пионерских рубашках, как то предписывала инструкция, а утеплили несколькими слоями белья. Все мы казались набитыми чучелами, и при движении из-под праздничной формы выбивались разного вида одежды. Прему, естественно, я об этом не рассказывал, зато сочинил, что по ту сторону шлагбаума есть прекрасно замаскированное спецпомещение, где нас обыскали, а чтоб было еще интересней, добавил, что даже девчонок раздели при этом донага. Букеты, продолжал я, мы получили уже там, чтобы нельзя было вложить в них какое-нибудь отравляющее вещество или взрывчатку. Их вынес нам один из охранников. Ну, ребята, спросил он у нас, кто из вас будет выступать? Основательный ужас приготовлений настолько не согласовывался во мне с поверхностной неряшливостью воплощения, что я невольно расцвечивал свои наблюдения, как того требовал пережитый мной ужас. Наш небольшой отряд прошагал по пересекавшей запретную территорию дорожке, так же заваленной снегом, как и все прочие улицы в городе. Сам того не желая, я вынужден был констатировать непостижимое: это место не отличалось ничем особенным от остальной части города. Но, по моим рассказам, дорожку обогревало снизу скрытое оборудование, так что на ней не только снега не было, но она была идеально суха. По левую руку, поодаль одна от другой, стояли среди деревьев две невзрачные виллы. Справа не было ничего. Только заснеженный лес. А дальше, в лесу, какая-то уродливая хибара. В моей же истории мы на черных лимузинах подъехали к белому дворцу. У входа стояли навьятяжку двое часовых. Нас якобы провели в фойе, отделанное красным мрамором.

В последние дни октября тысяча девятьсот пятьдесят шестого национальные гвардейцы убрали отсюда шлагбаумы. Наутро газеты сообщили о ликвидации запретной зоны. И все-таки Прем ни разу не упрекнул меня. Да, я врал ему, но он тоже не знал бы, что делать с реальными фактами. Я рассказывал ему то, что он хотел от меня услышать. Или, может быть, рассказывал то, что рисовалось нашему воображению для того, чтобы как-то постичь непостижимые факты.

Таким образом, если в дальнейшем я в некоторых пунктах осторожно поправлю или деликатно уточню какие-то утверждения моего умершего друга, то сделаю это вовсе не потому, что горю неутолимым желанием установить правду. А потому, что на некоторые общие факты нашей жизни хотел бы взглянуть, исходя из своих интересов, со своей точки зрения. Ведь к общему можно подойти не только со стороны подобного, но и со стороны несходства. По сути, я занимаю позицию самого крайнего морального релятивизма. Я не делаю качественного различия между ложью и истиной. Я утверждаю, что наша ложь обладает по меньшей мере такой же выразительной силой, что и правда. Но если я признаю, что о своей жизни он был вправе рассказывать так, как рассказывал, то взамен хотел бы, чтоб было признано и мое право по-своему привирать, фантазировать, искажать и умалчивать и даже, если угодно, говорить правду.

На шестьсот сорок четвертой странице его рукописи я читаю о том, что после продолжительной борьбы мне наконец удалось попасть в военную школу, и о том, что во время осенних учений в Калоче при известии о вспыхнувшем восстании нас распустили по домам. После того как я, пишет он, рассказал ему, с какими приключениями добирался домой, я, попрощавшись с ним, растворился в сумерках, и с тех пор мы никогда больше не встречались.

Понимаю, что из уважения к его памяти мне не следовало бы подвергать сомнению его утверждения. И все же я это сделаю. Я не могу признать за его историей право на исключительную правдивость, ведь наряду с его историей существует еще и моя. Жизненный материал обеих наших историй был идентичен, но двигались мы в этом материале в несовпадающих направлениях. А потому из трех его безобидных утверждений первое с точки зрения моей истории представляется мне излишне поверхностным, второе – совершенно ошибочным, а третье – таким эмоциональным искажением, которое просто не соответствует действительности.

С отцом моего друга, если он вообще был его отцом, я встречался очень редко. Обычно он даже не замечал меня. Отвечал на мои приветствия и не более. Это я хорошо помню. А его лицо и фигуру память не сохранила. Я боялся его. Почему, сказать затрудняюсь. Но страх мой был не беспочвенным, ведь он был из числа самых безжалостных людей той эпохи, правда, конкретные факты об этом дошли до меня уже после того, как он покончил с собой. В тот день в конце октября я действительно растворился в сумерках, потому что, когда заметил, как этот властный, внушающий страх мужчина перелезает через забор, я почувствовал, что не надо мне быть свидетелем его столь странного возвращения домой. Если бы я остался, то своим присутствием унизил бы и своего друга. Поэтому я попрощался с ним, но ровно через одиннадцать лет мы снова с ним встретились.

Одиннадцать лет спустя, в последние дни октября тысяча девятьсот шестьдесят седьмого, я должен был ехать в Москву. Я ехал туда не впервые. Годом раньше был дважды, а в этом году уже в третий раз сопровождал своего непосредственного начальника.

Всякий раз нас размещали в роскошных апартаментах гостиницы «Ленинград», что недалеко от Казанского вокзала. Просторная прихожая, гостиная, спальня с огромной кроватью под шелковым балдахинном. Размеры, которые не может заполнить собой ни один простой смертный. Мой шеф по-русски говорил неважно, я же просто наслаждался своими знаниями. И не упускал возможности поболтать с кем-нибудь, пополнить словарный запас. В свободное время я шатался по городу, катался в метро, завязывал знакомства и даже флиртовал. Мне уже был не внове пронизывающий весь город сладковатый запах бензина, который поднимается до тринадцатого этажа гостиницы, залетает в парки, проникает в тоннели метро, въедается в кожу, волосы, одежду, несколько дней – и приезжие уже пахнут как настоящие москвичи. В Москве у меня была знакомая девушка, говорливая блондинка, вернуться к которой в третий раз было истинной радостью. Она жила на «Первомайской» с матерью, старшей сестрой и переехавшей откуда-то из глубинки племянницей. От громовых голосов и безудержной сентиментальности четырех этих крупных женщин небольшая квартирка в панельном доме только что не разваливалась. Их жилище и стало моим тайным убежищем. Робко замечу, что ни до, ни после того я не видывал таких восхитительно мощных и тугих женских бедер. Летом они снимали дачу где-то под Тулой, и мы решили, что на следующий год я тоже поеду с ними. Будем ходить

по грибы, купаться и собирать клюкву, чтобы было с чем пить зимой чай. В то время я еще прочно держал в голове решение побывать однажды в Урыве и Алексеевке. Мы обсудили и этот мой план. Правда, он так и не осуществился.

Целью переговоров, в которых я принимал участие, была выработка условий долгосрочного сотрудничества в сфере химической промышленности. Соглашение, над деталями которого работали мы, представители нескольких внешнеторговых предприятий, должно было быть подписано соответствующими министрами уже в декабре. Начался последний раунд переговоров, времени оставалось в обрез. Все нервничали, цены зафиксированы не были. Хотя в этом не было ничего необычного. Собственно говоря, цены плавали и после того, как их фиксировали.

В экономических отношениях внутри соцлагеря механизм ценообразования функционирует довольно своеобразно. Во всяком случае, он отличается от того, что называют ценообразованием в обычной деловой практике. Это чем-то напоминает такую ловлю мышей, при которой в мышеловке в результате оказывается ваша кошка. Мы окрестили это принципом двойной западни, когда в наиболее сложных случаях трудно даже определить, кто у кого в западне оказался. Начинается все с того, что внешнеторговая фирма той или иной соцстраны запрашивает цену не у торгового предприятия другой соцстраны, а у западного торгового партнера – причем на товар, который она и не думает покупать, а, напротив, желает продать. Западное предприятие, точно оценивая обстоятельства и зная, что социалистический партнер не намерен ничего покупать, предлагает не реальную цену, а намеренно завышенную, чтобы в случае чего не потерять своих реальных торговых партнеров. Однако социалистическая торговая фирма принимает это за реальную мировую цену и на этой основе делает предложение торговому партнеру из другой социалистической страны. Однако ее партнер прекрасно понимает, что так называемая реальная цена на самом деле является нереальной, и так же произвольно предлагает цену в три раза меньшую. В результате они начинают оперировать на переговорах двумя ирреальными ценами, которые по ходу дела могут приобрести черты реальности. Ведь если два человека, не верящие в призраки, сидя в темной комнате, долго говорят о призраках, то рано или поздно призрак там реально появится, хотя поймать его будет невозможно.

Процесс продолжается таким образом: продавец, торгуясь, пытается сузить разрыв между двумя ирреальными ценами, понимая,

что огромную разницу можно покрыть только с помощью государственной субсидии. Но покупатель тоже понимает, что если сделка по коммерческим или политическим соображениям для продавца достаточно важна, то он может рассчитывать на эту государственную субсидию, и потому всячески противодействует сужению, иными словами, расширяет разрыв. Если же выясняется, что он ошибся и у продавца нет непреодолимых политических резонансов, то либо сделка не состоится, либо покупатель, сам находясь под давлением политических обстоятельств, согласится на какую-то компромиссную цену. Но независимо от того, сорвалась сделка или не сорвалась, ни одна из сторон не узнает, как соотносится обсуждаемая ими цена с реальной стоимостью товара на мировом рынке.

Мой шеф, который, блестяще сочетая педагогические методы античных перипатетиков с привычками французских монархов, вводил меня в премудрости этих переговоров за утранным туалетом, считал русских совершенно непредсказуемыми партнерами. Они могут проявить как неожиданную уступчивость, так, в другой ситуации, и неожиданные упрямство и несговорчивость. Когда договариваешься со шведом, итальянцем, американским армянином или китайцем, в любом случае действует чистая логика интересов. И разногласия возникают только из-за разной оценки ситуации. А когда ведешь дело с русскими, логика может отдыхать за ненадобностью.

Позднее, имея уже некоторый опыт, я пришел к выводу, что все эти его наблюдения не более чем симпатичный миф. Изложение моего мнения об этом распространенном заблуждении завело бы меня слишком далеко, но, говоря весьма упрощенно, русские, на мой взгляд, просто имеют иные представления о связи реального с ирреальным. То, что с нашей точки зрения является ирреальным, потому что, нарушая реальные отношения, делает нашу внутреннюю систему недееспособной, с их точки зрения есть просто случайность, которой можно пренебречь, потому что их внутренняя система способна функционировать независимо от внешнего мира.

В первый же день переговоров моему шефу за обедом сделалось плохо. Чтобы он не замечал мои запретные ночные отлучки и чтобы ежедневно в шесть утра, как того требовал шеф, я мог разбудить его, дабы затем, пока он плещется в остывающей мыльной воде, выслушивать его неизменно поучительные экскурсии в экономику, на «Первомайской», находившейся весьма далеко от центра,

мне приходилось вставать ни свет ни заря. Так что не удивительно, что в то утро я был не в том состоянии, чтобы придать значение его жалобам на недомогание. Он был человек большой и крепкий.

Утреннее заседание шло тяжело. Нам трудно было найти верный тон. Ведь если бы мы, отказавшись от чувства юмора, приняли то, что они полагали реальным, то стали бы ирреальными сами, а если не приняли бы, а, скажем, свели дело к шутке, в ирреальной плоскости оказались бы наши взаимоотношения. Именно в таких ситуациях по-настоящему понимаешь, сколько гибкости, эмпатии и неслыханного терпения требуется сыну маленького народа. Я тогда еще только учился, и мне часто хотелось поскорее закончить это обязательное стучание кулаками по столу и перейти к делу; меня раздражало, что мой шеф, имеющий за плечами опыт четырехлетнего плена, предпочитал в таких случаях выжидать, уклоняться, проявлять сдержанность, хотя эта тактика особых успехов не приносила.

После утреннего заседания вместе с двумя ответственными сотрудниками торгпредства мы обедали в ресторане гостиницы, больше напоминавшем колонный зал. Мой шеф, задумчиво положив на тарелку нож с вилкой, сказал: надо открыть окно. Замечание это, учитывая размеры помещения, мы сочли неуместным, поэтому пропустили его мимо ушей. Воздуха, сказал он. Никогда еще я не видел живого человека, сидящего так неподвижно. Через пару мгновений он снова обрел голос и попросил нас достать из его кармана лекарство. При этом он открыл рот и слегка высунул язык. На пепельно-сером лице блестели бусинки пота. Больше он не сказал ни слова, застыл, глаза закатились, а высунутый язык ясно давал понять, куда нужно заложить лекарство. Как только крошечная таблетка рассосалась, ему полегчало, он отложил нож и вилку, вытер лицо, щеки немного порозовели. Но он снова пожаловался на удушье, беспокойно поднялся и словно бы в поисках кислорода двинулся к выходу. Мы подхватили его под руки, но он шел так уверенно, что мы решили, что нам показалось и он в нашей помощи не нуждается. Так что мы отпустили его. Он же, дойдя до холла гостиницы, рухнул на пол. Пришлось срочно отправить его в больницу, где он, не приходя в сознание, прожил еще двое суток.

Переговоры прервались. Я позвонил нашему гендиректору и доложил о случившемся. Надежд на выздоровление было мало, больной был нетранспортабелен. Я попросил известить его семью. В беседах с шефом мы никогда не выходили за рамки профессиональных тем, и все же я представлял членов его семьи такими,

каким был он сам: подвижными, сильными, слегка потрепанными, но жизнерадостными. Позиция гендиректора состояла в том, чтобы переговоры продолжить без промедления. Он и до этого считал их формальностью, больше того – совершенно ненужными препирательствами. Предложение русских надо принять. И моему шефу он дал на этот счет однозначное указание. Но тот вечно волянил, даже когда это было ни к чему. Руководить переговорами теперь буду я, и поступать мне следует именно в этом духе. О своем решении он по телексу известит главу торгового представительства, который официально проинформирует русских об изменениях в делегации. Если бы все это не было чистой формальностью, то мне в помощь он командировал бы кого-нибудь. Так что я должен зарубить себе на носу, сказал он. Но все вышло немного иначе. Возглавить переговоры уполномочили одного из старших сотрудников торгпредства, который, сославшись на недостаточную информированность, переложил практическое ведение дел на меня.

В последующие два дня на меня свалилась масса забот. Лихорадочная деятельность всегда побуждает к деятельности еще более лихорадочной, и, возможно, именно потому я не мог оставаться в беспомощном ожидании под шелковым балдахином гостиничной спальни. Хотя я и знал, что мне должны позвонить. Мучимый угрызениями совести, я заснул в квартире на «Первомайской». В объятиях крепкого и спокойного женского тела я пережил смерть однажды и навсегда потерянного отца.

Засыпал я с большим трудом. Отогнать смерть, занимаясь любовью, не получилось. Паря между сном и явью, я мчался по заснеженному шоссе. Эта сцена, много раз представленная и стократ затем повторяемая, жила во мне уже много лет.

Через две с небольшим недели после прорыва под Урывом, двадцать седьмого января тысяча девятьсот сорок третьего года, мой отец на автомобиле отправился в штаб на доклад. Это был день начала их отступления. Они еще не были полностью окружены, но русские уже развернули охватывающий маневр. И в этой гонке всегда был один момент, когда я либо засыпал, либо все начиналось сначала. Единственное, что я точно знал, было то, что в 20.30 отступающий батальон столкнулся с русскими и в течение получаса потерял половину боевого состава. Однако им удалось прорваться. И примерно в шестистах метрах от места сражения был обнаружен автомобиль, на котором в утренние часы отправился мой отец. Автомобиль был расстрелян. Все дверцы настежь. Внутри никого.

Долгие годы мы ждали отца. Ведь автомобиль был пуст.

У меня есть фотография, присланная им с фронта. Бескрайнее поле подсолнечника под совершенно пустынным небом. И где-то посередине – маленькая фигурка по пояс в цветах.

682 Утром второго дня, когда я приехал на такси в гостиницу, уже в коридоре я услышал настойчивый телефонный звонок, доносившийся из моего номера. Такие звонки ни с чем не спутаешь. Собственно, мне даже не следовало снимать трубку. Но человек глуп. И потому снимает, чтобы выяснить, когда именно произошло то, что произошло. Уже через полтора часа прерванные переговоры были продолжены. Атмосфера была необычной. Русские трогательно выразили нам свои соболезнования, но все же сели за стол с таким видом, будто ничего особенного не случилось. Согласование повестки дня, деловитый обмен бумагами, их листание – все подтверждало именно это впечатление. Но когда очередь дошла до меня, я не удержался и произнес краткую прощальную речь. И все эти люди, намного старше меня, большей частью – фронтовики, в ошеломленном молчании слушали мой рассказ о наших утренних банных ритуалах.

В нас, венграх, смерть вызывает ужас. Для русских же это нечто вроде мягкого знака. Сам по себе он не слышен, произнести его невозможно, но именно он смягчает предшествующий ему звук. За последние две ночи, проведенные на «Первомайской», мои инстинкты постигли именно это. Моя русоволосая девушка была первой и долгое время последней женщиной, сумевшей своими губами оживить мой рот. Закончив свой краткий некролог, я, даже не переводя дыхания, сразу перешел к делу. Я вовсе не собираюсь оправдываться, но действительно, никаких недобрых намерений у меня не было. И все же я не последовал инструкциям моего директора. В душе моей не было ничего, кроме ужаса, и, наверное, это сделало меня непреклонным. Оставшуюся часть дня, отказавшись даже от обеда, мы провели за уточнением деталей. Человек из торгпредства, не смея меня упрекать, все же выказывал недовольство. Обе стороны стремились покончить с делом как можно быстрее. Хотя бы уже потому, что все это происходило шестого ноября, в канун их величайшего национального праздника, когда никто не работает.

В гостиницу я вернулся уже под вечер. Был напряжен, взбудоражен от недосыпания, а в таком состоянии человек обычно чувствует себя энергичным, как никогда. Мне хотелось освободиться от галстука, от идиотского черного костюма и как можно скорей отправиться на «Первомайскую». Моему несомненному успеху,

достигнутому на переговорах, радоваться не хотелось. Слишком дорого он нам встал. Успех и прорыв были не мои, я обязан был ими умершему, был обязан смерти. И догадывался, что даже генеральный директор не сможет меня упрекнуть, а если и попытается, то торгпредству придется меня защищать, но все же мое поведение явно вызовет его величайшее неудовольствие. Я на долгое время потеряю доверие, и на моей карьере можно будет поставить крест. Примерно в таком настроении я и вошел в лифт гостиницы.

Он был уже полон, и лифтерша ждала, пока войду я. Но я колебался. Предпоследний шаг получился замедленным. Мне не хотелось втискиваться в такую толпу. А кроме того, я заметил, что все пассажиры в лифте были венграми. Что скорее отталкивало, чем притягивало. Но была среди них одна брюнетка, девушка с вьющимися волосами, в длинном пальто с меховым воротником, которая и приковала мое внимание. На какой-то из их вопросов недовольная чем-то лифтерша ответила: нет, нет, туда нельзя, там банкет, на что те, словно услышав какую-то невероятную шутку, дружно расхохотались. Банкет, банкет, восторженно вопили они. Я вошел в эту инфантильную какофонию – не сказать чтобы к полному своему удовольствию. Мои соотечественники чувствуют себя за границей совершенно потерянными, только когда одни, зато в группе ведут себя совершенно разнузданно и по-идиотски. Я сразу смекнул, что они догадались о моей национальной принадлежности. И реакция их была точно такой же, как и моя: веселья у них поубавилось. Войдя в кабину, я встал так, чтобы видеть девушку прямо перед собой, глаза в глаза. Ее слегка старомодное пальто, суженное в талии, скрывало довольно стройную фигуру, приподнятый серебристый меховой воротник оттенял разрумянившееся на морозе лицо. На волосах, бровях и даже ресницах сверкали полурастаявшие снежинки. В тот день, с самого утра, в городе шел первый снег.

Возможно, что по своей бесчувственной простоте я решил, что она именно та, в ком я нуждаюсь. И заметил по ее взгляду, что она не только поймала, но и правильно поняла мой взгляд. Она не считает его нахальным, однако не хочет на него отвечать. Не чувствует того же, что чувствую я, однако не отвергает. Воспринимает, не отпускает меня, но не выражает никакого желания. Она почти безучастна, но все же не лишена любопытства. Было в ней даже некоторое нахальство, она как бы спрашивала, ну что, мой дружок, ты можешь, скажи-ка. Погрузившись в глаза друг друга, мы проехали три этажа.

Мы были полностью поглощены друг другом, но она поглядывала и на остальных, опасаясь, что они заметят это. Я между тем постоянно чувствовал, что кто-то со стороны, немигающим и напряженным взглядом постоянно следит за мной, в точности понимая, что со мной происходит. Мне это хотелось выяснить. Опасаясь, что девушка неверно поймет мой взгляд в сторону, подумает, будто я избегаю ее, я все же, не выдержав, обернулся.

Трудно было бы описать то чувство, которое я испытал, когда, повернувшись, я совсем близко увидел лицо этого навязчивого незнакомца. Будучи взрослыми, мы всегда смотрим в лицо другого взрослого незнакомца с определенного и нами самими определяемого расстояния, и меру и степень приближения к нему, само качество приближения или отдаления регулируя в соответствии с нашими целями и интересами. Однако лицо, запомнившееся нам в глубоко детстве, независимо от того, насколько оно изменилось, неконтролируемым нами образом приближается к нам невыносимо близко. Во мне пробудилась невероятная нежность. Казалось, будто я видел перед собой не кого-то, а промелькнувшее перед взглядом время собственной жизни. Все изменилось и все же не изменилось. Я ощутил прошедшее во мне время, а в чертах лица моего визави – то, что не изменилось. Вместе с тем я был так потрясен, увидев в незнакомом взрослом лице настолько близкую мне и знакомую физиономию ребенка, что во мне невольно всколыхнулось резкое чувство протеста. Нет, я этого не хочу. Наши взгляды скользнули по лицам друг друга. Он тоже еще не принял решения. И тем самым мы окончательно разоблачили себя. Отступить было некуда. На самом-то деле мы оба точно так же хотели бы избежать этой встречи, как хотели, чтобы она состоялась. Нет ничего более унижительного, чем случайность. Но еще более униательно – попытаться от нее ускользнуть.

Ничего хорошего от этой случайности я не ждал. Напротив. Это просто скандал. Я как можно скорее хотел попасть к себе в номер. Как можно скорее открыть холодильник, как следует прилечь к заиндевевшей бутылке водки, а затем как можно скорее слить отсюда. Всякий, кто ищет спасения в алкоголе, прекрасно знает, что означают такие моменты жажды. Он же напоминал мне о вещах, до которых мне не было никакого дела. Я был в состоянии, когда организм не может терпеть промедления. И все-таки я не мог воспрепятствовать этой случайности. Мне кажется, руки наши шевельнулись одновременно, и в этом жесте сошлись две слабости, различные по природе. Не для обычного рукопожатия,

для этого мы слишком близко стояли, мы просто схватили друг друга за руки, почти грубо. Пара рук в порыве нерешительности схватила другую, но тут же и отпустила, почти оттолкнула. Пальцы наши едва соприкоснулись, и этого было мало, но больше было бы много. И при этом неловкие, запинаящиеся вопросы, какими судьбами, и именно здесь. Словно бы это «здесь» имело какой-то особый, исключительный смысл. Я пробормотал что-то насчет собственной миссии и покраснел, что со мною бывает нечасто. Он, с циничной ухмылкой кивнув на других, тоже что-то пролепетал, мол, делегация деятелей искусства, так, для галочки здесь, сказал он. Тон его был чужим, незнакомым. Но все это было лишь на поверхности мгновения. Тон и краска – все это видимость, обеспечивающая необходимую нам защиту. А на самом деле момент говорил о том, насколько разные жизненные пути мы прошли, и при этом ни он, ни я, ни ранее, ни позднее никогда еще так не любили другого человека. Тогда, наверное, да. Он об этом ведь и писал. И даже теперь, когда по-прежнему, но теперь уж совсем другим образом, мы так отличаемся. Да и после все это было живым куском нашего не такого уж короткого бытия. Мы в этом не виноваты. У этой любви нет ни цели, ни смысла, ни средств, ни причины. С ней нечего делать. Я покраснел, потому что хотел забыть и забыл о ней. Он – и это ясно было по его фигурству – не забыл и, очевидно, не мог забыть.

Черты лица его были настолько нечеткими и расплывчатыми, как будто каждая линия, уголок, складка могли выражать не меньше трех разных эмоций одновременно. Я опасался, что он на глазах незнакомых людей самым сентиментальным образом обрушится в наше утраченное время. Однако в конце концов именно его редкостная самодисциплина помешала созревшей во мне готовности по-братски и, в сущности, ни к чему не обязывающе облапить его. Я заметил в его лице неуверенную холодность и животный страх в глазах, хотя циничный тон голоса нимало не изменился. Из ситуации выпадал все же я, а не он. Поскольку, если я не ощущаю диктата трезвого разума, если не чувствую смысла, направленности, цели, причины и значимости того или иного жеста, меня это просто парализует. Я не способен поддаться ни ситуации, ни человеку. Он же, совершенно спокойно распоряжаясь своими чувствами, рассмеялся. Мне хотелось закрыть глаза. Мы как раз тебя ждали, сказал он таким тоном, как будто мы с ним только вчера расстались, они прибыли с праздничного приема и собираются на торжественный концерт в Большой. Событие, несомненно,

выдающееся, сказал он, словно приглашал меня на вареники с вишнями, солировать будет Галина Вишневская. Они придержали один билет для меня. Отдельная ложа. Так что стоит пойти.

Бесившая меня деланность его тона помогла мне отклонить его предложение. К тому времени мы были на тринадцатом этаже у заваленного ключами столика дежурной по этажу. Остальные молча проследовали к своим номерам. Я сказал ему, что, увы, не смогу воспользоваться приглашением. И невольно, через плечо, проводил глазами брюнетку. Я сказал, что этот вечер у меня занят. Девушка неторопливо открыла дверь и, даже не удостоив меня взглядом, исчезла в номере. Тем временем мы посмеялись над тем, что, видно, тринадцатый этаж специально предназначен для венгров. Договорились наутро встретиться за завтраком. Только не позднее восьми. Им надо будет идти на парад. Но это не помешает открыть бутылку шампанского.

Надо сказать, что, стоило мне закрыть за собой дверь моего царственного номера, я тут же забыл об этой нечаянной встрече, как о некоем неприятном случайном событии. Завтрак с шампанским меня не прельщал. Свет я не зажигал. От отблесков снега номер пребывал в мягком свечении, а за окном монотонно гудел неспящий город. Собственно говоря, что могли означать для меня после всех событий прошедших дней эти несколько мимолетных мгновений? Ничего. Самое большее – смущение и раздражение. Пока я здесь бессмысленно упираюсь, пытаюсь решать дела, они безответственно развлекаются. Не снимая пальто, я повалился в кресло. Такой тяжелой тупой усталости я, пожалуй, еще никогда не чувствовал. Усталость была не в суставах, не в мышцах. Устало сердце. Я не чувствовал сердцебиения. Была какая-то пустота. Мне уже не хотелось водки. Точнее, может быть, и хотелось, но для этого нужны были силы подняться, которых не было – и даже это неточно сказано, чтобы собраться с силами, нужны были силы, но сил, чтобы их собрать, во мне как раз не было. И полностью отдался переживаемому впечатлению я не мог.

Нет, с этим кончено, говорил я себе. Я не знал, о чем я это говорю, и с чем, собственно, кончено. Я просто так говорил. Свесив голову в кресле, раскинув руки и вытянув ноги, я все же не мог до конца расслабиться. Чья-то строгая пара глаз усматривала в моем положении позерство. Я плохо играл роль в какой-то не повествующей ни о чем пьесе. Мне очень хотелось выйти из этой роли. Мне казалось, в огромной прохладной комнате у меня начинается лихорадка. И я глубоко заснул.

Проснулся от мысли, что меня здесь бросили. Кто-то прокричал: «Пожар!» Точнее, это была не мысль, и даже не вопль, а четко и ясно вернувшийся образ – как незнакомая девушка не спеша открывает ключом свою дверь и случается вовсе не то, чего я ожидал: она на меня не оглядывается. Я не знал, где я нахожусь. Подпрыгнув в кресле, я попытался сообразить, сколько прошло времени. Мне казалось, не так уж много. Эту женщину я не могу упустить. Если нужно, отправлюсь за ней. Или сяду у дверей ее номера и буду дожидаться ее возвращения. Хотя детские воспоминания, замеченные мною на лице друга, сейчас не приходили мне в голову, но все же это было определенно детское чувство. Как когда они уходили играть тайно от меня, не желая, чтобы я принимал участие в их играх. Если номер моей комнаты такой-то, прикидывал я в уме, то ее, по нарастанию, должен быть таким-то. При вызове вычисленного или, скорее угаданного номера я взглянул на часы. Была половина седьмого. То есть я спал минут двадцать.

Я вас слушаю.

Была в этом ответе какая-то едва уловимая неуверенность. Как будто она не знала, на каком языке ей ответить. Но от этих слов сердце мое вдруг опять забилося. Наполнилось радостью и непонятным страхом. Я впервые услышал ее голос. С тех пор как я вошел в лифт, она не сказала никому ни слова. Поэтому я не мог знать ее голос. Он был из тех, которые производят на меня особенно сильное впечатление. Он шел откуда-то из глубины тела, был сильным, решительным, полным. Однако поверхность его казалась мягкой и гладкой. Он отнюдь не был нежным – скорее самоуверенным. Когда я думаю о нем, я вижу темный твердый шар. Шар можно удобно зажать в ладони, можно поднять. Но в него почти невозможно проникнуть, а если удастся, то это будет уже не шар.

Я представился, принес извинения, был очень любезен. Долго и обстоятельно объяснял, что передумал и хотел бы пойти вместе с ними в театр. Я пытался разговорить ее. Она слушала меня терпеливо, оставаясь безмолвным островом, который я пробовал штурмовать словами. Я сказал, что не знаю номера моего друга и потому звоню ей. Хотя это не единственная причина. И не могла ли она быть столь любезной, чтобы назвать мне его номер. Она ответила лишь, что тогда мне придется поторопиться. Она говорила со мной на «вы». Я снова обратился к ней на «ты», но она опять этого не заметила. Ее паузы были так же сдержанны, как те взгляды в лифте: она позволяла смотреть на себя, но как бы стряхивала с себя мои взгляды.

Этой короткой беседе я не придавал бы особого значения, если бы после нее последовало одно из многих, в меру приятных мне приключений. Но после нее последовали четыре года ожесточенной борьбы. Я мог бы назвать это и иначе: мучениями и вечной грызней, низшей точкой обеих наших жизней, самым мрачным периодом моего собственного бытия. Мог бы назвать – если бы это самое бытие не было исполнено надежды на обретение величайшего счастья. Но все же радость, которую мы обретали друг в друге иногда совершенно случайно, непредсказуемо, иногда на недели, на дни, иногда только на часы или краткие мгновения, бывала всегда неожиданной. Мы стремились к ней, но она ускользала. И оставались мучения. Муки отсутствия или, напротив, радость мучения.

Хотя никаких иных желаний, кроме как закрепить навсегда серьезное и глубокое ощущение того, что мы встретились на всю жизнь, у нас не было. В муках разлуки мы диктовали друг другу условия, и сами не замечали, как этими условиями разрушали, губили самих себя. Она требовала от меня безусловной верности, я же пытался добиться, чтобы случаи измены она воспринимала в качестве доказательств моей истинной преданности. И тщетно я объяснял ей, что никогда еще никого не любил так, как люблю ее, и, чтобы как-то уравновесить это неведомое мне чувство, нуждаюсь в сохранении хотя бы видимости свободы. Жить без нее я уже не мог, но рядом с нею превращался в подобие неких дурных сообщающихся сосудов: если, выполняя ее условие, я невероятными внутренними усилиями отказывался от свободы и даже глазом не вел в сторону других женщин, то пропорционально увеличивалась моя потребность в спиртном; если же ввязывался в какие-то идиотские похождения, сокращая при этом потребление алкоголя, то, соответственно, напряженность между нами становилась невыносимой. Самые унижительные для обоих периоды наступали, когда она в принципе могла чувствовать себя в абсолютной безопасности – именно в такие моменты она, как ищейка, принималась следить за мной, подслушивать и подсматривать, из-за чего я дважды ее побил, и мне потребовалось недюжинное самообладание, чтобы этого больше не случилось. Но даже в такие периоды ее подозрительность была все же небезосновательной. Ведь настоящую ревность в ней вызывали не мои случайные похождения, а моя подневольная преданность. Точно так же как я дважды поднял на нее руку не из-за того, что она подбивала подружек шпионить за мной, а потому, что не мог постигнуть, почему она не в состоянии понять меня. Чутье у нее было безупречное. Всякий мой самый

незначительный жест она ощущала в его глубочайшем значении. И чувствовала, какую невероятную напряженность вызывала во мне моя подневольная преданность, что это делало мое поведение лживым и подчеркнуто неестественным, потому что я не привык ни в чем себе отказывать. А когда своей ревностью она изводила нас обоих настолько, что мне не оставалось ничего другого, как снова искать облегчения в каком-нибудь безобидном и ни к чему меня не обязывающем приключении, то она прерывала со мной все отношения. Могла, не считая утренних приветствий, неделями не разговаривать со мной, не отвечая ни на один мой вопрос, просьбу, угрозу, мольбу, мои обращения, сомнения или клятвенные заверения. Казалось, она карала меня просто за то, что я жив. Она победно играла на поражение, словно бы для того, чтобы побудить меня к игре на победу, но все-таки не давала мне победить. Словно реальная победа виделась ей в том, чтобы окончательно потерять меня, хотя при этом она понимала, что я потерять ее не могу.

Ошибочная система ценностей, усвоенная мной еще в юности, теперь мстила мне самым жестоким образом. Поскольку ценность и смысл моих действий определялись не этическими и не эстетическими нормами, а всегда лишь голой необходимостью, грань между свободой и вседозволенностью оказалась для меня размытой. Наконец, четыре года спустя, в одно из наших кратких перемирий мы быстро поженились. После чего прошло еще шесть безнадежно тяжелых лет.

Одно знаю наверняка: в тот ноябрьский вечер я довольно странным образом вступил в весьма мрачный период своей взрослой жизни. Встреча с ней превратила меня в такого восторженного и неуверенного в себе подростка, каким я никогда не был. И то, что я таким не был, наверняка зависело не только от моей натуры, моих наклонностей, но и от случайности. Полнота жизни, несомненно, включает в себя и потерянные или пропущенные периоды жизни, но то, что тобою не пережито, не может быть пережито задним числом, и никто не вправе упрекать в этом ни себя, ни других.

До шестнадцати лет девчонки меня, в общем-то, не интересовали. Их восхищение казалось мне столь же естественным, как то безмерное обожание, которое я испытывал со стороны матери. И если по каким-то причинам я утрачивал восхищение одной девчонки, ее место занимала другая, третья или четвертая. Агрессивные проявления своей биологической зрелости я также воспринимал спокойно, не собираясь ни сопротивляться им, ни церемониться с ними. Во всяком случае, мне и сегодня кажется странным, что зрелость

напоминала мне о себе не во сне и не в моих отношениях с девушками, а когда я ехал в каком-то трясущемся транспорте, в трамвае или автобусе, которые заносило на поворотах. Я не стыдился этого и даже не пытался обуздать эрекцию, в крайнем случае прикрывался портфелем, а если возбуждение становилось чрезмерно острым, то во избежание мелких неприятностей я просто выскакивал на первой же остановке. И этого было достаточно, потому что волнение плоти, физическое напряжение относились не к кому-то конкретному; казалось, они были связаны даже не со мной, а просто с трамвайно-автобусной тряской.

В тысяча девятьсот пятьдесят седьмом году лето нагрнуло неожиданно. Многие здания еще лежали в руинах. Жаркий летний заряд, выпущенный из весны, казалось, хотел оживить до сих пор не пришедший в себя город. Когда в школах возобновились занятия, мать закатаила мне несколько истерических сцен и в конце концов одержала верх, в военную школу я не вернулся – вместо этого она записала меня в гимназию, расположенную в будапештском районе Зугло. В один из дней, проводив своего нового школьного приятеля до дома на улице Дертян, я сел на трамвай. Был, кажется, конец мая. Когда я думаю об этом дне, перед глазами у меня встают огромные каштаны, возносящие к небу свои белые свечи.

Как всегда, я ехал на задней площадке. Двери были открыты, и жаркий воздух вольно и беспрепятственно гулял по почти пустому вагону.

В другом углу площадки стоял молодой мужчина. Небрежно засунув в карманы сжатые кулаки, он балансировал, широко расставив ноги. С другой стороны распахнутой двери – молодая блондинка в легком, почти прозрачном платье и белых сандалиях на голых изящных ногах. Обеими руками она держалась за поручень; при ней не было ничего, кроме трамвайного билета. От этого ли или отчего-то другого мне казалось, что она без одежды или одежда на ней почти ничего не значит. Сначала я наблюдал за женщиной, смотревшей на мужчину, но, обратив внимание на мой любопытный взгляд, она перевела свои озорные, нахальные голубые глаза на меня, я же повернулся к мужчине, точнее сказать, уклонился тем самым от ее бесцеремонного взгляда, а тот, в свою очередь, обратил взгляд на женщину, следя по ее глазам за развивающимися между нами событиями. На вид он был самый обыкновенный – молодой, худощавый, среднего роста. Заметна в нем была только гладкая смуглость лица и кожи. Очень гладкий блестящий лоб и чуть менее гладкая кожа на руках между закатанными по локоть

рукавами белой рубашки и засунутыми в карманы брюк кулаками. Эта гладкость, как мне почувствовалось, отличала не только его наружность. Следуя за взглядом женщины, он вынужден был наконец посмотреть на меня. И тогда, побуждаемый некоей непонятно глубокой застенчивостью, я отвернулся от него и обратил взгляд на женщину, желая понять, что говорят о происходящем ее глаза.

Она была крупная, пухлая, белокожая. На той грани полноты, когда упитанность тела находится в полной гармонии с энергичностью; сколько в него ни впихивай, ни вливай в погоне за наслаждениями, организм, можно не сомневаться, все сожжет, направив энергию на другие свои потребности. Ее складное плотное тело, казалось, не просто заполняло собою платье, но чуть ли не разрывало его. Теплый сквозняк, гуляющий по вагону, ерошил ей волосы и подхватывал подол платья. Нам видны были ее удивительно белые точеные колени. Наслаждаясь нашими взглядами, она временами покачивалась и подпрыгивала. Лет ей было не больше двадцати, но вся она была настолько зрелая, плотная, созданная на века, как отлитая в тяжелое изваяние модель. Чем я всего лишь хочу сказать, что она была одновременно абсолютно доступна и абсолютно недосыгаема.

И когда наши взгляды, передаваемые друг другу, прошли уже круга три, она, обнажив немного неровные зубы, усмехнулась мне, я же, невольно переняв эту усмешку, переслал ее мужчине. И тут же понял, что эту же усмешку, но в более гладкой и сдержанной форме, я только что получил от него. Молодой человек, приняв от меня усмешку, вернул ее девушке. После чего, не сговариваясь, мы отвернулись друг от друга.

За окнами, словно пытаюсь догнать трамвай, мелькали деревья, широкая улица, фасады зданий. Мы так же одновременно опять повернулись друг к другу. Сказать, куда направлены были наши взгляды, было бы затруднительно. Усмешки, которые не только не стерлись, пока мы смотрели в сторону, но стали еще откровеннее, снова пересеклись на грязном полу трамвая, как будто мы искали там что-то важное; мы смотрели не друг на друга, а усмешливо усталились в воображаемый геометрический центр треугольника, который мы составляли, а потом, так же одновременно, вскинули головы и расхохотались. Но смеялись мы каждый по-своему. Женщина хихикала, фыркала, прыскала, иногда повизгивала, умолкала и начинала снова. Молодой человек был почти нем, временами он булькал, бурчал, словно пытаюсь выразить смех словами, и этот ищущий словесного выражения смех заставил меня

обратить внимание на две глубочайше горькие морщины у рта на его совершенно гладком лице, которые, видно, и сдерживали его смех, сотрясавший его гораздо сильнее, чем девушку или меня; слышал я, разумеется, и собственное совершенно раскрепощенное ржание, в котором выражалась моя невинность, что меня ничуть не смущало. Трамвай трясся с нами по рельсам, мне же казалось, будто он мчался, летел. Наверное, по-настоящему свободным человек ощущает себя, когда он не думает о последствиях, а целиком доверяется ситуации; то есть делает то, что хочет.

Смех был неудержимым, пугающим себя, захлебывающимся от собственной смелости, и, казалось, мы не только подбадривали, раскрепощали друг друга для новых порывов, но каждый из нас троих словно бы располагал такими запасами смеха, которые, уже в силу их взаимодополняющей разнородности, нет смысла держать при себе; пусть вырывается, чего нам стыдиться, и он нарастал, нарастал до боли, до слез в глазах. Мне это было тем более приятно, что помогало забыть о постоянно ощущаемой робости, от которой, я чувствовал, руки и ноги мои заметно дрожали. Трамвай, доехав до пересечения проспектов Тёкёли и Дёрдя Дожи, сбавил скорость. Молодой человек отпрянул от меня, словно желая таким образом вырваться из смеха, выхватил из кармана кулак и предупредительно поднял палец. Всего один палец, поднятый над головой. Уставившись на этот повисший в воздухе палец, мы неожиданно перестали смеяться. Женщина отпустила поручни, застыв на месте с трамвайным билетом в руке; нахальство в ее глазах растаяло. Она медленно шагнула на площадку. Мне было совершенно ясно, что происходит, но дрожь была слишком сильна, чтобы я был в состоянии чему-либо воспрепятствовать. Мужчина ловко спрыгнул с тормозящего трамвая на тротуар и оглянулся не на девушку, неумело следовавшую за ним, а на меня, скользнув быстрым взглядом по моему портфелю, которым, маскируя свое состояние, я прикрывал свой пах. У меня еще было время, чтобы выйти из этой игры. Пара огромных оливково-карих глаз на гладком лице. Но думать о чем-либо мне не хотелось.

Эта мимолетная заминка, возможно, была нам необходима. От этого наш последующий бег превратился в безумную гонку. Рты нужны были нам только для хватания воздуха, а смеяться, стуча по асфальту, могли уже только наши подошвы. Пересекать тротуары, лавировать между прохожими, пытаюсь не сталкиваться с ними, согласуя при этом движения рук, ног и глаз; здесь бордюр, здесь спуск. Мужчина, лавируя телом, бежал впереди, и в каждом

его движении был некий сигнал, предназначенный только для нас. То, что он не смог выразить своим смехом, он выражал теперь своим бегом. Ныранием плеч, откинутой головой, всей осанкой он словно не просто управлял ситуацией, но и разыгрывал ее перед нами. Казалось, вот-вот он разорвет грудью ленточку, уверенный, что, обогнав соперников, вышел на финишную прямую. Так он играл с нами. Стремительно сменив направление, он неожиданно свернул в переулок, а когда мы, несколько ошарашенные, устремились за ним, не сбавляя стремительного бега, исчез в подворотне. Женщина бежала весьма забавно – не сказать чтобы неуклюже, но тяжело и лениво, как бы проваливаясь в проделываемый им коридор. На следующий день я посмотрел, как называлась эта улица.

В подъезде было прохладно, темно, пахло кошками. Мы привалились к осыпающейся штукатурке стены, разглядывая тела и глаза друг друга. Я все еще мог повернуть назад, но во время бега дрожь моя поутихла, и некий тихий, но трезвый голос нашептывал мне, что этого делать не надо. Ведь если не здесь и не так, то пройти через это придется в других обстоятельствах и в другое время, поэтому почему не сейчас? Все тяжело дышали. И смотрели друг на друга, как будто были уже в конце, а не в начале какого-то приключения. Кругом было тихо. Бояться, казалось, нам было нечего. Женщина, нарушив напряженную тишину, чихнула. Над чем стоило бы посмеяться. Но мужчина поднес палец к губам и, словно бы в продолжение этого жеста, двинулся вверх по лестнице.

Сквозь щели опущенных жалюзи абсолютно пустую квартиру заливал теплый вечерний свет. Окна и двери были распахнуты, гулял сквозняк. Ни в длинной прихожей, ни в трех смежных комнатах действительно не было никакой мебели. Только пара матрасов на полу самой большой комнаты с розовым, не совсем чистым бельем на них, откинутое одеяло, мятые простыни, все, как было оставлено утром. Кое-где на стенах, на гвоздях, оставшихся от картин, – несколько рубашек и брюк да груда обуви в одном из углов. Я знал, что никакие правила здесь недействительны. И представления не имел, какие здесь приняты ритуалы. И все-таки первый шаг сделал я. Бросился на матрас и закрыл глаза. Тем самым лишь подчеркнув полную свою неосведомленность в знакомых им ритуалах. За все время, пока я находился в этой квартире, здесь не прозвучало ни слова. Но объяснять, собственно, было нечего. Я знал, что находился в одной из квартир, обитатели которой раз и навсегда покинули страну в декабре или, самое позднее, в начале января этого года. И что мужчина поселился в ней незаконно. Он не был

ни родственником, ни знакомым прежних владельцев, иначе они оставили бы ему шкафы, кровать, стулья. Он просто взломал пустую квартиру. Ведь если бы он подкупил привратника и получил от него ключи, то мы могли бы смеяться на лестничной клетке сколько угодно.

Сказать, сколько времени я провел в той квартире, я не могу. Может, час, а может быть, два, не знаю. Все трое мы порознь долго лежали на матрасе, мы навзничь, женщина – на животе, пока я наконец не почувствовал, что становлюсь здесь лишним, и это было первым за все долгое время паническим чувством. Между тем никто из нас даже не шевельнулся. Возможно, они излучали какое-то совершенно иное спокойствие, отчего энергия, до того гармонично распределявшаяся между нами, изменила свое направление. Возможно, своим необыкновенным спокойствием они отделяли меня от себя. Они оба, казалось, хотели этого, и поэтому я, с моим до сих пор беспокойным спокойствием, больше не мог найти себе между ними места. Я осторожно коснулся пальцем ее подколенной выемки, полагая, что она спит. А если не спит, то должна согнуть ногу. Она шевельнулась. Повернулась к мужчине, а затем, чтобы освободиться от моего пальца, передвинула колено. Мужчина медленно открыл глаза и взглядом своим сообщил мне то, что хотела сказать ему женщина. Все было совершенно ясно. Экспериментировать далее мне не имело смысла. Я должен был бы почувствовать нестерпимую боль, если бы во взгляде мужчины не скрывалось нечто вроде отеческой поддержки. И каким бы беззащитным я ни лежал на матрасе, все же мой постоянно встопорщенный член ничуть меня не смущал, указывая на общность, которая была между нами до этого. Однако встать в этом состоянии было затруднительно. Я подождал немного, закрыв глаза. Но от этого стало еще понятнее, на что они только что намекнули мне: они хотели остаться вдвоем. И пока я собирал расшвырянную одежду, пока надевал рубашку, натягивал трусы и брюки и застегивал сандалии, они оба заснули, в чем, как мне показалось, не было никакой симуляции.

Ни единый их жест не был направлен лично против меня. И все же в последующие два дня я чувствовал, что был изгнан из рая за какой-то свой смертный грех. Пережить было трудно не изгнание как таковое. Я покинул их добровольно, понимая, что так лучше именно для меня. Но отказаться от обретенной радости я был не состоянием. И в полдень на следующий день вернулся к дому на улице Синьва. Жалюзи на окне третьего этажа были в том же положении, что и вчера. Я, конечно, надеялся, что дверь мне откроет

девушка и что я застаю ее одну. Небольшой медный диск глазка отодвинулся, и лицо мое, по всей видимости, узрел глаз мужчины. После чего медленно, аккуратно глазок закрылся.

По лестнице я спускался чуть не на цыпочках. И не мог понять, что мог означать его ободряющий взгляд, которым он одарил меня накануне. Чувствуя себя обманутым, два дня я бродил вокруг дома. И если бы до конца предался своей боли, то, возможно, многое в моей жизни сложилось бы по-иному. Боль дала бы мне повод как следует обдумать произошедшее. И если бы я это сделал, то через какое-то время наверняка пришел бы к пугающему заключению, что тело мое научилось любви у другого мужского тела, точнее, отчасти и у него, у другого мужского тела, несмотря на тот факт, что ни тогда, ни позднее, я никогда не касался тела другого мужчины. И, если отвлечься от некоторого робкого любопытства, не имею такого желания. Однако посредством женского тела мы все-таки общались друг с другом. Обращенное к женщине, другое мужское тело невольно искало то общее русло, в котором все наши тела пульсировали бы в общем ритме. Но они в этом ощущении мне отказали, как отказали себе и друг другу. Оно, это ощущение, было, но то, что они у меня отняли, они могли использовать только между собой. Точно так же как я использовал позже в отношениях с другими то, чему научился у них. Отеческое ободрение во взгляде мужчины относилось именно к этим будущим временам и не было приглашением вернуться.

Но я, разумеется, ничего не обдумывал, да тогда и не мог обдумать. Я уклонился от боли, направив неодолимое желание вернуться к ним в более привычное русло. Я сформулировал для себя одно правило. Запретил себе прикасаться к девушкам, лапать их, целовать, ухаживать, увиваться за ними, воздыхать, писать любовные письма. Будь умнее, подбадривал я себя тем отеческим взглядом, которому я научился у незнакомого мне мужчины. При этом я даже не осознавал, откуда он у меня, этот снисходительный умудренный взгляд, но я использовал его. И в какой-то мере использую до сих пор. А девушки, во всяком случае те, с которыми я искал контакта, всегда понимали его.

Я очутился в открытом мире, в котором не действуют законы исключительных привилегий и исключительного владения, в котором я нахожусь в отношениях взаимности не с отдельным, выбренным мной существом, а со всеми. Или, если хотите, ни с кем. Надо еще сказать, что моя мать, сколько я себя помню, чуть ли не запрещала мне отвечать на ее чувства, что было с ее стороны очень

даже разумным, продиктованным инстинктивной предосторожностью поведением. Во мне она любила мужчину, которого потеряла, и компенсировать эту утрату своими чувствами я мог бы только ценою трагического обмана. Она уберегла меня от мук любви, и потому я только гораздо позднее понял, что страдание – такая же часть взаимности, что и радость. Всем видам страдания я сопротивлялся как мог. К тому же мне и в голову не приходило, что кто-либо ожидает, что я буду отвечать ему столь же интенсивными чувствами, потому что мои подкупающие внешние данные ставили меня в исключительно привилегированное положение. Что, конечно, никак не могло компенсировать тех травм, которые мне доставляло мое социальное происхождение. Вместе с тем напряженность между моим положением и моей внешностью давала достаточно стимулов к тому, чтобы любой ценой укорениться в том мире, который, независимо от того, обожал ли он меня или отторгал, никогда не нуждался в моей жизни как целом.

Обожание, восхищение относились только к моему физическому существу, а отторжение – к социальному положению. В отличие от моего друга, чьи амбиции были всецело направлены на то, чтобы познать, покорить, ощутить, привязать к себе, овладеть другим человеческим существом, мою потребность в познании и овладении питала не жажда присвоить другого во всей его полноте, не иступленное стремление отождествиться с ним вплоть чуть ли не до самоуничтожения, – я ограничивался лишь желанием упорядочить свое положение. Каждому из нас не хватало второй половины. У меня был дом, но не было родины, у него была родина, но не было дома.

Но в самоограничении, которое требовалось мне для достижения своей цели, я был не менее безрассуден, чем мой друг. Это самоограничение дало мне свободу. Естественное влечение других я использовал как средство, и в то же время ограничивал те свои влечения, которые не вписывались в нужную мне картину и могли помешать в достижениях моих целей. Это все, что можно сказать в мое нравственное оправдание. Я никогда не требовал от другого больше того, что мог дать ему сам. Скорее удовлетворялся меньшим. Я приучил себя к такой беспощадной трезвости, которая исключает возможность любви. Мое первое приключение в сфере эротических наслаждений наверняка повлияло на все последующие, но оно было только частью процесса. Человек, вынужденный использовать себя в качестве инструмента, остается инструментом и для другого. По своему характеру мое первое приключение

полностью соответствовало характеру моих устремлений. Нет, я был не настолько глуп и бесчувствен, чтобы полностью истребить в себе потребность в любви. Просто я не имел в любви никакого опыта, она застала меня врасплох, потому что до этого мне важен был опыт взаимосвязей с людьми и миром. Так и выглядит дебет-кредит в бухгалтерской книге моей жизни.

В действительности именно посещение Ракоши побудило меня к тому, чтобы подать заявление о приеме в военную школу. Я не понимал, да и сегодня не понимаю, как могло случиться, что я был избран на эту роль, но раз был избран, значит, может случиться все, даже невозможное. Я не понимал, как такое могло случиться, потому что знал, что перед тем как вызвать меня в кабинет директора, они должны были выяснить мое социальное происхождение. А если по каким-то причинам не сделали этого, почему оставили без внимания недвусмысленное предостережение директора? Укоризненный жест его пальца, указывающего на черный прямоугольник в классном журнале, и то, как он показывает журнал всем присутствующим, запомнились мне навсегда. Так клеймят крупный рогатый скот – не из каких-то там убеждений, а просто чтобы можно было одно животное отличить от другого.

Даже ограниченным детским умом я понимал, что режим, при котором я жил, не способен регулировать жизнь с той безучастной строгостью, с какой утвердил строжайшие и не считающиеся с человеческим достоинством правила этой жизни. Я догадывался, что проявить заложенные во мне способности я смогу, лишь используя неизбежные сбои и естественные прорехи этого непостижимо и совершенно абсурдного в своей строгости порядка вещей. То ли они попались в мою западню, то ли я угодил в расставленную ими ловушку – этого я решить не мог, да и не хотел решать. Я хотел оказаться в запретной зоне. И пустить меня туда вынуждены были люди, которые эту зону создали. Условием допуска оказалось знание русского языка, который мне в голову не пришло бы учить, не погибни мой отец где-то в лагере для военнопленных или, может быть, еще в изрешеченном пулями автомобиле. Разумеется, для того чтобы проскользнуть в предложенную мне крохотную лазейку, я должен был коварным образом открыть им некоторые из моих реальных намерений. Должен был завоевать их доверие, чтобы иметь право в конечном счете быть с ними неискренним. Знание языка и приятная внешность стали моим пропуском, но еще потребовалась такая мелочь, как клятва в верности. В самом деле, почему я не должен был чувствовать себя достойным

того, чтобы разговаривать на любом иностранном языке? Правда, тем самым я в какой-то мере предал своего отца и предал своего друга. Зато система щедро заплатила мне за эту клятву. Она раскрыла мне самую слабую свою сторону. А именно то, что, как бы там ни было, свою похлебку она может варить лишь из тех овощей, которые растут в ее огороде.

Если бы все это случилось годом ранее или запретная зона действительно существенно отличалась бы от окружавшего ее остального мира, если бы нас и впрямь провели в мраморный зал вместо обставленной без особых изысков гостиной, если бы какао не было едва теплым и на поверхности его не плавали такие же отвратительные пенки, как в молоке, что нам давали в группе продленного дня, если бы сливки были как следует взбиты и не были кисло-ватодряблыми или если бы у меня не сложилось впечатления, что с трепетом почитаемая чета принимает нас в подавленном настроении не потому, что не выпалась, а скорее всего потому, что из-за нашего прибытия им пришлось прервать банальную супружескую свару, то мне никогда не пришла бы в голову мысль, что в эту естественную прореху может вститься все мое тело. Строгость системы, казалось бы, означала, что она не терпит случайностей в человеческой жизни. Так что неудивительно, что тогда, при виде такого нагромождения повседневных случайностей, я ощутил небывалую смелость. Открывшиеся возможности побудили меня уступить моим детским мечтам о том, чтобы однажды, когда-нибудь стать офицером какой-нибудь армии. Я оказался в лазейке, чувствовал ее размеры и должен был принимать решение в соответствии с тем, что она мне подсказывала. И все же мои расчеты оказались ошибочными. Я тут же получил щелчок по носу.

В тот же день, когда, со скандалом вынудив мать дать письменное согласие, я подал заявление о поступлении в военную школу, меня вызвали к директору. Все окна были распахнуты, но еще топили. Директор стоял, прижимаясь спиной к печи. Когда я вошел, он долго не начинал разговор, а только укоризненно качал головой.

Потом оттолкнулся от изразцовой печи и прошагал к столу. У него, видимо, была какая-то болезнь или травма позвоночника; он ходил странно, сгорбившись и слегка перекосив тело, как бы передвигаясь все время бочком, и мог распрямиться, только прижавшись спиной к теплой печи. Порывшись в ворохе бумаг, он достал мое заявление и, протянув его мне, спросил, известна ли мне поговорка: не все коту масленица.

Я с готовностью взял бумагу. Он был явно доволен собой. И знаком дал мне понять, что я могу идти. Но я заупрямился, что вызвало в нем раздражение.

Еще что-нибудь, спросил он.

Я запинаясь сказал, что не понял.

Он бы разочаровался во мне, сказал он, потому что я не только лучший ученик в его школе, но и юноша, отличающийся по меньшей мере таким же умом, что и хитростью. Так что не стоит пытаться перехитрить его. Если бы он переслал мое заявление по назначению, то нажил бы себе неприятности. Он не сказал бы, что с моей успеваемостью я должен идти в ПТУ, но техникум – это исключено. В церковную гимназию тоже не стоит пытаться; единственное, что остается и в чем они могут оказать мне содействие, это пробиться на реальное отделение общегражданской гимназии. А теперь я могу идти. С урока он меня отпускает. И велел написать новое заявление.

Глаза мои заволочило слезами. Я видел, что он это видит. И знал, что это его не растрогает, но все же произведет некоторый эффект. Я чувствовал, что он неправильно понял меня: он думал, что это слезы отчаяния и печали. Между тем я был готов плакать от злости. Между нами был длинный письменный стол. Я медленно опустил на него заявление. Если это была не наглость, то во всяком случае дерзость. Забрать заявление меня не могла заставить никакая сила. Что-то бормоча на прощание, я пятился к двери. По правилам я должен был попрощаться словами: «Пионерский салют, товарищ директор!» Однако назвать товарищем человека, который только что растоптал мое будущее, не поворачивался язык. Он указал на валившееся на столе заявление и велел забрать его. Но я вышел, сделав вид, что в своем замешательстве не расслышал последних слов.

Оказаться за порогом школы еще до полудня да еще без портфеля само по себе было ощущением полубезумным. Ты свободен. Но все же впопыхах запихнутый в парту портфель привязывает тебя к месту вечного рабства. Ты – игрушка капризной судьбы. Тебе кажется, будто эта пульсирующая в привычном предполуденном ритме жизнь принадлежит тебе на равных правах с остальными. Я был одурманен и в то же время кипел от злости. И все-таки ощущение свободы задышалось на коротком поводке. Только на улице Варошкути, у остановки зубчатой железной дороги, я, ковыряясь в кармане в поисках мелочи, осознал, к чему я готовлюсь. Да, домой идти не имело смысла. Мать, которая служила машинисткой во внешнеторговой фирме, где переписывала иностранные тексты,

пугать этим поворотом мне ничуть не хотелось. Не успела душа моя уйти в пятки от моей затеи, как я уже был в вагоне.

Я ехал к бывшему другу и боевому товарищу моего отца полковнику Элемеру Ямбору. Прямоком в Министерство обороны. На трамвай денег уже не осталось, так что дальше я ехал зайцем. На квартире у него мы были всего однажды, он у нас – никогда, и все же мать была убеждена, что отправителем регулярных, раз в месяц, денежных переводов мог быть только он. На Рождество, Пасху и день рождения в сопровождении коротенького письма я получал от него подарки, за которые всякий раз должен был столь же кратким письмом вежливо благодарить его. Темно-синий матросский бушлат с золочеными пуговицами, который так трогательно описывает мой друг, тоже достался мне от него. Мать даже не исключала, что именно благодаря его заступничеству нам удалось избежать депортации из столицы. Позднее, после жуткой трагедии, сложилось так, что мы смогли за эту заботу отблагодарить его семью. В конце ноября тысяча девятьсот пятьдесят шестого он был арестован и следующей весной казнен. Его вдова потеряла работу и должна была одна воспитывать двух дочерей примерно моего возраста.

Дежурный у входа сказал, что товарищ полковник в данный момент недоступен. Часа полтора я бродил вокруг здания. На улице Микши Фалка был зоомагазин с птичьими клетками и аквариумами в витрине. Я глазел на рыбок, постоянно возвращающихся к стеклянной стенке. Они разевают рты и ухватывают ими что-то невидимое. Чуть дальше, на этой же улице, я заметил, как из подворотни со слезами выбежала коротко стриженная девчонка. Она неслась как угорелая, словно от кого-то спасаясь, потом неожиданно замерла на месте и обернулась. Заметив мой любопытствующий взгляд, она разревелась, словно только и ожидала моего сочувствия. Я уже думал, что она вот-вот бросится в мои объятия, но она побежала обратно и скрылась в подворотне. Какое-то время я ждал, не появится ли она вновь. Потом двинулся к Парламенту. Площадь была пустынна. С подходящего расстояния я наблюдал за происходящим у ворот правого крыла. Время от времени к ним подкатывали черные лимузины, перед которыми ворота тут же открывались. Кто-то садился в автомобиль, и сверкающий хромом мираж величественно растворялся в полуденном свете. Никто не приезжал, все уезжали. Я решил, что прошло уже достаточно времени. Охранник встретил меня раздраженно, но все же куда-то позвонил. Прикрывая ладонью и рот, и трубку, он на сей раз не только

назвал мою фамилию, но и добавил с коротким смешком: настырный мальчишка. Он разговаривал с женщиной, я почувствовал это по его голосу. Мне разрешили пройти в фойе, усадили в кресло. Пока я ждал, меня беспокоила только одна мысль: что будет с моим портфелем, если мне не удастся вернуться до конца занятий.

Было, наверное, уже четыре часа, когда я наконец попал к другу моего отца. Служитель проводил меня на пятый этаж, и в ярко освещенном коридоре я увидел идущего навстречу мне полковника. Он положил тяжелые руки мне на плечи и внимательно посмотрел мне в лицо, словно желая удостовериться, что меня сюда привела не трагедия, потом провел в большой кабинет, где, наверное, только что завершилось какое-то оперативное совещание. Об этом свидетельствовали скатанные карты, повисший в воздухе густой дым, пустые кофейные чашки, стаканы и полные окурков пепельницы на длинном, покрытом стеклом столе. Он предложил мне сесть и, обогнув стол, удобно расположился напротив меня. Продолжая молчать, закурил сигарету. Я тоже не спешил с объяснениями. Он был лыс, коренаст, с седой порослью на крепких руках. Я видел, что не только табачный дым заставляет его улыбочиво щуриться – он был явно доволен тем впечатлением, которое я произвел на него своей внешностью. Как и многие взрослые, он заговорил со мной в благодушно шутилом тоне. Ну, рассказывай, чего натворил, сказал он.

После того как я все рассказал, он звякнул по столу черным камнем перстня. И сказал, что школа определенно направит мое заявление по инстанции. Это он обещает. Что, конечно, не означает, что меня обязательно примут. Да, мое решение он уважает, но что касается результатов, то он со своей стороны не может сказать ничего утешительного. И независимо от того, примут меня или нет, он считает, что с этого времени я должен полагаться исключительно на себя.

Он загасил сигарету и встал. Обогнул стол и, поскольку тем временем я тоже поднялся, опять положил мне руки на плечи, в чем на этот раз действительно не было ничего ободряющего. Я должен исходить из этого, и не только потому, что его возможности весьма ограничены, но и потому, что человек, не научившийся распоряжаться своими возможностями, не сможет правильно оценить свое положение. То же самое, уверен он, сказал бы и мой отец. Он говорил негромко. И лежавшими у меня на плечах руками направлял меня к выходу.

Месяц спустя безо всякой мотивировки в приеме мне было отказано.

По всей вероятности, на упорные расспросы моего друга я столь же упорно ограничивался лаконичными ответами. Возможно, потому он и пришел к заключению о какой-то борьбе вокруг моего поступления. Я знаю, что он боялся меня потерять. И надеялся, что мои надежды не сбудутся, и тогда не исключено, что мы попадем с ним в одну гимназию. Но меня это так же не волновало, как его не волновали мои желания. На самом деле никакой борьбы не было. Мать так вообще была счастлива. Прем смирился, он решил стать автомехаником. И я остался один на один со своим безумием и безмерно гневался на друга моего отца. Я не мог понять, почему он не помогает мне. Точно так же ребенок, вечно жаждущий шоколада, не понимает, почему взрослые не лопают его с утра до вечера, имея возможность купить его. Я сделал прямо противоположное тому, что он по-отечески мне посоветовал. Вернее сказать, в ярости своей сделал то, от чего он предостерегал меня.

Я написал, точнее, отстучал на машинке письмо президенту страны Иштвану Доби. Копию его я уничтожил не так давно, когда заметил, что жена роется в моих бумагах. Чувство стыда не позволяет мне дословно цитировать слова потерявшего человеческое достоинство ребенка. А писал я о том, как перевернула всю мою жизнь возможность лично познакомиться с товарищем Ракоши, а в лице его супруги – с советским человеком. В нашей семье, продолжал я, любовь к советскому человеку была в традиции, поэтому я и сам, последовав примеру отца, выучил русский язык. Так я перешел к более щекотливой теме. Я признался, что мой отец вынужден был принимать участие в несправедливой войне против советских людей, но просил принять во внимание его последовательную антигерманскую позицию. Наконец, я дал клятвенное обещание посвятить свою жизнь тому, чтобы исправить его ошибку. Своим словам я хотел придать документальную достоверность. И совершил самый подлый в своей жизни поступок. Приложил к письму четыре тетради с клетчатыми обложками – фронтовые дневники моего отца.

Я мало что понимаю в опере и еще меньше разбираюсь в балете. Вид поющих и танцующих на сцене людей изумляет меня и в то же время отталкивает. Они демонстрируют нечто такое, что нормальному взрослому человеку на людях показывать и в голову не придет. И я как ребенок всегда изумляюсь, что эти люди все же способны на такое бесстыдство. Голоса, тела, перезрелая пышность декораций и всей оперной архитектуры настолько отталкивают меня, что переступить порог театра для меня всегда тяжелое испы-

тание. Мне кажется, будто меня посадили в пудреницу и пичкают леденцами. Стоит только подняться занавесу, как у меня начинает сосать под ложечкой, мне хочется поскорей закрыть глаза, я даже не замечаю, как задремываю под рев музыки. В довершение всего в тот ноябрьский вечер нам достались места не где-нибудь, а в непосредственной близости от огромной царской ложи.

Я не знаю, как принято ставить эту оперу, но на том спектакле за поднявшимся при первых звуках увертюры занавесом обнаружился второй занавес. Серебристый шелк, тонкий, как золотистая дымка, муслин, графитно-серый тюль, грубая мешковина – и все это мягко наслоено друг на друга попеременно со схваченными огромными черными стежками грязными тряпками. Пока оркестранты прилежно исполняли вступление, эти слои, в размеренном, не стесняющемся с музыкой ритме, колыхались у нас на глазах, подергивались, смещались один за другим до тех пор, пока не проступили декорации Красной площади, где плясала толпа с дымящими факелами, полыхающими свечами и раскачивающимися фонариками; и тут до нас наконец дошло, что этот второй занавес должен был означать нечто вроде медленно рассеивающегося утреннего тумана.

Из гостиницы нас доставили на двух огромных черных автомобилях, и хотя мне удалось сесть в одну машину с девушкой, уже во время этой короткой поездки я пожалел, что отправился вместе с ними. Кроме тайной, никак не выражаемой радости от новой встречи, поделиться нам с моим другом было нечем. Я был изнурен, да и рассеян из-за присутствия девушки. К тому же нас разделяло то, что все они, предварительно выпив, громко галдели, я же о выпивке только мечтал. Усилия, с которыми мы пытались скрыть друг от друга радость встречи, порождали в нас обоих некую неприятную напряженность. Что касается девушки, то за ней я мог в лучшем случае только наблюдать, но не мог к ней приблизиться. Она явно хотела дать мне понять, что я могу рассчитывать только на отказ и любое неосторожное движение с моей стороны натолкнется на такое сопротивление, что мне придется раз и навсегда забыть о ней. Что означало, что ей тоже не хочется от меня отказываться. Она еще не решила. Мы избегали смотреть друг на друга, но не могли избежать желания обменяться взглядами. И постоянно держали друг друга в напряжении. Когда она снимала пальто с меховым воротничком, я вежливо взял его – это единственное, что я мог себе позволить. Она поблагодарила меня с такой же ни к чему не обязывающей вежливостью. Напряженность была взаимной, так как мы оба пытались скрыть от других свой интерес

друг к другу. Положение осложнялось тем, что всех четверых, а также сопровождавшую их переводчицу спланировало не только предшествовавшее веселое возлияние, но и характерные для путешествующих совместно людей особые интимные отношения, которыми они дорожили. Я был среди них инородным телом.

Один из членов компании, бородатый молодой человек, всячески стремившийся привлечь к себе внимание, был явно настроен против меня. Я не исключал, что девушка так холодно разговаривала со мной по телефону именно потому, что была в комнате не одна. Бородатый молодой человек наблюдал за мной, я – за ними. Как выяснилось позднее, подозрения мои были не безосновательны. Мой друг и третий мужчина из их компании с интересом ждали, чем все это кончится. Переводчица же по-матерински тепло и заботливо присматривала за всеми нами. Сославшись на то, что я гость, я вежливо пропустил их вперед и устроился в благодатном полумраке ложи рядом с переводчицей. Девушка сидела передо мной, навалившись на барьер ложи. Время от времени мне приходилось останавливать взгляд на ее обнаженной шее. Ее непокорные волосы на сей раз были собраны в узел. Она всякий раз ощущала мой взгляд и еле заметно подергивала головой. А может быть, этим она давала понять мне, когда я должен смотреть на сцену, а когда – на ее обнаженную шею.

Наконец последние шелково-дерюжные клочья утреннего тумана исчезли, и стал понятен их идеологический смысл. Дело в том, что шелка и тряпье реально присутствовали на сцене: на ней, смешавшись между собой и все же отчетливо различимые, танцевали богатые и беднота. Княжны, подобные раззолоченным куколкам, укутанные в меха хмельные бояре, купцы, похотливые попы, резвящиеся с раздетыми до шелкового белья куртизанками, калеки в гнойном тряпье, полуголые нищие и раненые ратники, корчащиеся в окровавленных повязках, кривляющиеся циркачи, коробейники, предлагающие свой захудалый товар, ряженные в народные костюмы сельчане, толпы слоняющихся зевак, скромные девы и brave молодцы. От этого изобилия на меня накатила знакомая тошнота. Мне захотелось сбежать. Захотелось на «Первомайскую». Где меня ждали, где я не чувствовал бы себя таким лишним. Где по утрам, пока я зевал и почесывался, вокруг меня бродили три женщины в больших розовых атласных лифчиках и еще больших размеров розовых панталонах. В поисках более основательной причины для незаметного исчезновения я даже подумал, что не пристало ученику сидеть в театре на следующий день после смерти своего учителя.

Пляски на сцене были в самом разгаре, когда бородатый накрыл своей лапой лежавшую на барьере руку девушки. Подавшись к ней, он что-то шепнул ей на ухо. Они начали перешептываться, что было, как я понимал, у них в привычке. Двое других тут же насторожились. Вытянув шеи, они пытались расслышать, о чем те шепчутся. Бородатый, не отпуская руки девушки, стал что-то ей объяснять. А мой друг, едва уловив первые слова, тут же, через плечо бородатого, склонился к ней и что-то шепнул. Оба рассмеялись. При этом девушка откинула голову так, чтобы и мне перепало от ее веселья, и в то же самое время рука ее выскользнула из-под руки бородача. Этот жест, опять же, предназначался мне. Следующий шаг был за мной, и теперь я не мог уйти. Хотя чувствовал себя от всей этой возни, смешков и гомона отвратительно, как никогда. Я был вместе с ними, но все же не имел к ним никакого отношения. Понимал их игру, но участвовать в ней желания не испытывал. С этой минуты, что бы ни происходило на сцене, все вызывало у них только смех. Я не мог полностью игнорировать благоговейную атмосферу, окутывающую театр, но теперь все же вынужден был смотреть на сцену их глазами.

Разумеется, построить хореографию мизансцены на противоречиях и непримиримой борьбе социальных классов было не слишком удачной художественной идеей. Кроме того, надо признать, что и увертюра оперы не очень-то подходила для танцевального номера. И все же их отношение вызывало во мне протест. А еще было опасение, что не удастся избежать скандала. И в этом я оказался прав. Через какое-то время, очнувшись от патриотических грез, испуганная переводчица попыталась привести их в чувство осторожными касаниями пальца. Но это было как масло в огонь. Она вела себя подобно добрейшей учительнице, не знающей, как унять детей при виде директора, которого она и сама смертельно боится. Друг на друга они не смотрели, да, видимо, и на сцену лишь мельком. Переводчица, ничего не понимая, с мягким акцентом пыталась их образумить. Спины и плечи их содрогались от сдерживаемого хохота. Они то и дело взрывались, прыскали, подавляли смех, что только усиливало следующий приступ.

Я не знаю, сколько танцоров было на сцене. Много. Такого количества одновременно танцующих людей мне видеть не доводилось. Когда же после увертюры вслед за торжествующими солистами, потрясая боевыми стягами и хоругвями, на сцену вывалилась очередная толпа в виде восторженно поющего хора и на сцене воцарилась настоящая вакханалия убожества, а в довершение

под колокольный звон из-за зубчатой кремлевской стены на проволоке поднялось багровеющее рассветное солнце, в нашей ложе разразилось нечто невообразимое. Мои соседи хлопали друг друга по плечам, хрипели и фыркали. Переводчица, пытаясь их успокоить, испуганно тыкала их в бок. Всеобщее неудовольствие поднялось и в соседних ложах, что выражалось в недоумевающих возгласах, возмущенном шиканье и сдавленных призывах к спокойствию. Потеряв самообладание, я вскочил и в панике бросился вон из ложи.

Двери лож выходили не в прямо в фойе, а в обитый красным блестящим шелком салон. Я был вне себя, я был в ярости и в то же время спокоен: в какой-то мере все, что случилось, больше меня не касалось. Я взял пальто. Но не успел одеться, как обитая шелком дверь распахнулась и в сопровождении громозвучной арии баса из ложи буквально выпали задыхающиеся от смеха и цепляющиеся друг за друга четверо венгров. На мгновение во мраке ложи высветилась фигура застывшей в отчаянии переводчицы, но кто-то из них тут же закрыл дверь. Похлопывая, подталкивая друг друга, крича, они ржали как лошади. Ржали гортанно, повизгивая, со слезами, ржали, как школьники, выгнанные из класса. Мне хотелось как можно скорее положить конец этой сцене. Девушка и цепляющийся за нее бородач привалились к стене, бородастый стал сползать на пол. Я, конечно, сбежал бы, если бы мой друг, отпустив напарника, умышленно или нечаянно не начал валиться прямо на меня. Я подхватил его на лету. Мы заглянули друг другу в глаза. Я не мог сдерживать ненависти и презрения, которые точно так же были связаны с нашим туманным детством, как и радость встречи, испытанная всего час назад. Я ощутил свои руки, точнее, почувствовал, что хватаю его за плечи. И трясу. Клоуны, скоморохи, ты слышишь? Жалкие клоуны! – говорил я или, скорее, орал ему. Лицо его тут же разгладилось, и он ответил мне взглядом, полным такой же непримиримой ненависти. А ты – карьерист поганый, ответил он. Вшивый Жюльен Сорель – каким был, таким и остался. Презренный плеейбой. И добавил что-то еще. Ненависть в его глазах не исчезла, но в голосе появился какой-то фальшивый привкус цинизма, которого раньше за ним я не замечал. Этот цинизм так и пер из него. И в наступившей вдруг тишине это слышали все. Я не мог бы выбрать лучшего времени, прошипел он этим незнакомым мне голосом, чтобы сказать, что я был смертельно влюблен в тебя, ты, дерьмо трусливое.

Девушка наблюдала за моим унижением с презрительнойнисходительностью. Ах вот как, сказала она, направляясь к выходу,

и с жалостью коснулась моей руки. Чем явно хотела добить меня. И даже губки поджала. Из-за прикрытой двери доносилась музыка. Мы, все четверо, стояли в разных углах салона. Она же, вытащив из волос две заколки, распустила волосы и, тряхнув головой, вышла за дверь.

Все последовавшее за этим было похоже на сказочное видение. Медленными шагами девушка спускалась по красной ковровой дорожке. Обтянутые чулками великолепные ноги считали ступеньки лестницы. Мы молча, подавленно следовали за нею. Последние звуки музыки остались позади. На втором этаже стеклянные двери бывшего императорского зала приемов были распахнуты. И в искрящемся свете хрустальных люстр гостей праздничного спектакля ожидали накрытые с немыслимой роскошью столы. Повторяя план зала, столы были выставлены в форме буквы «П». Кроме нас, вокруг не было ни души. Без малейшего изумления или смущения она вошла в зал. Остальные робко вошли за ней следом. Она обошла ломящиеся от закусок, фруктов, спиртных напитков и всяческой снеди, декорированные гирляндами живой зелени и цветами, сверкающие хрусталем, серебром и фарфором столы. Взяла тарелку, салфетку, выбрала вилку. Остальные весело рассмеялись и смущенно последовали ее примеру. Не прошло и минуты, как они продолжили то же безобразие, что было в ложе. Только на этот раз молча. Пили, жрали. Я взял бутылку водки, налил и выпил. Потом подошел к ней и спросил, не уйти ли нам вместе. Из всей компании она вела себя беспардонней всего. Она не жрала, как другие, а методично, перемещаясь от блюда к блюду, все пробовала, ворошила, тыкала вилкой, все разрушала. Лицо ее при этом оставалось совершенно бесстрастным. На мой вопрос она подняла глаза. Нет, холодно взглянула она на меня. Ее и здесь все вполне устраивает.

Снег валил не переставая. Улицы были полны радостными, оживленными звуками, и по замедленному, приглушенному снегопадом движению все же можно было почувствовать, что у русских начался праздник. Многие были навеселе. Я вернулся в гостиницу пешком. Достал водку из холодильника и поставил рядом с телефоном. Время от времени прикладываясь к бутылке, я ждал. Позднее, все чаще и чаще, настойчиво набирал ее номер. Она сняла трубку уже где-то после полуночи, когда осталась одна.

Вот, пожалуй, и все, что я мог и что считал нужным сообщить читателю о себе.

С моим другом после случайной встречи в Москве я долго не виделся. Иногда встречал его имя в прессе. И, читая его очерки

о молодых, чем-то бесплодно терзающихся, ищущих и не находящих себе места в жизни людей, испытывал ощущение, что жуя опилки. Прошло лет пять или чуть больше, когда мне, за несколько дней до Рождества, пришлось слетать в Цюрих. Уезжал я всего на два дня и потому оставил автомобиль на стоянке аэропорта. По возвращении, выйдя из здания аэропорта, я, как всегда, долго не мог найти ключи от машины. Их не было ни в пальто, ни в карманах брюк. Похлопав себя по карманам, я решил, что ключи должны быть в сумке. Или я потерял их, что со мной случалось. Мои вещи не отличались особой ко мне привязанностью. При мне были только сумка с рубашками и деловыми бумагами и огромный пакет, набитый всяческими подарками. Положив все это на багажную тележку, я стал искать ключи.

Роясь в вещах, я, конечно, не мог не заметить, что совсем рядом, на бетонном парапете лестницы, кто-то сидит, но рассмотрел я его, только когда наконец нашел ключи в одном из носков. Он сидел так близко, что мне не пришлось даже повышать голоса.

Ты приехал или уезжаешь? – спросил я так, как будто это была самая естественная вещь на свете; хотя видно было, что с ним что-то произошло. Ни время года, ни место, ни час никак не подходили для того, чтобы здесь расслабляться. Смеркалось, стоял туман, уже горели уличные фонари. Было холодно, неприятно, липко. Он посмотрел на меня, но я не был уверен, что он узнал меня. Он даже покачал головой, так что у меня возникло впечатление, что я с кем-то его перепутал.

Ты кого-нибудь ждешь? – спросил я.

Нет, сказал он, он никого не ждет.

Тогда что ты здесь делаешь? – спросил я несколько раздраженно.

Он снова молча потряс головой.

За прошедшие пять лет он изменился наверняка не больше, чем я; и все же меня изумило его истончившееся сухое лицо, обозначившиеся залысины и седеющие волосы. Он выглядел так, словно из него выжали все соки. Был сухой и помятый.

Я подошел к нему и, показывая ключи, сказал, что с удовольствием подвезу его в город.

Он покачал головой. Не надо.

Тогда какого дьявола он собирается здесь делать, спросил я.

Никакого, сказал он.

Он сидел между двух больших плотно набитых чемоданов. На ручках обоих висели бирки берлинского рейса компании «Интерфлюг». Что означало, что он не уезжает, а, напротив,

только что прибыл. Я сунул ему в руки свою поклажу, подхватил его чемоданы и, ни слова не говоря, двинулся на стоянку. Шагов за собой я не слышал, но когда я нашел машину и загрузил его чемоданы в багажник, он, с моей ручной кладью, был уже рядом. С ужасающим своей апатичностью видом он протянул мне сумку.

Но при этом, что странно, лицо его выражало такую решимость, какой я не видел еще никогда. При всей его мягкости в нем было что-то энергичное. Исчезла и та странная двусмысленность, которая поразила меня при нашей последней встрече. Чистое, без теней, лицо. И все же казалось, будто сам он за этим лицом отсутствует. Он как бы освободил себя от собственного присутствия. Высох. Лучшего слова я подобрать не мог.

В моей машине, как обычно, царил беспорядок. Мне нужно было освободить место, пошвыряв вещи на заднее сиденье. Я действовал быстро и решительно, так как чувствовал, что он может в любой момент сбежать, бросив свои чемоданы. Точнее сказать, опасение это возникло у меня потому, что он оставался совершенно безучастным. Стоял рядом, но его здесь не было.

Мы были уже на скоростном шоссе, когда я предложил ему сигарету. Он отказался, я закурил.

Я предложил отвезти его домой.

Нет, не надо.

А куда? – спросил я.

Он не ответил.

Не знаю почему, но я почувствовал, что должен взглянуть на него. Ответа от него я не ждал. Я знал, что он не ответит, потому что сказать ему нечего. У него нет места. А когда у человека нет места, то говорить об этом невозможно. Через равные промежутки времени машина проскальзывала под светом дуговых ламп, и чуть позже я снова вынужден был повернуться, чтобы удостовериться в том, что глаза меня не обманывают. Он плакал. Еще никогда я не видел, чтобы люди так плакали. Его лицо оставалось таким же бесстрастным и равнодушным. Как минуту назад. Однако из глаз текли капли влаги, стекая вдоль носа.

Я сказал, что раз так, я отвезу его к нам. Тем более что завтра Рождество. Пусть проведет его с нами.

Нет, не надо.

Мне хотелось сказать что-то простое и утешительное. Наверное, даже снег выпадет. Это прозвучало довольно глупо, и я надолго умолк, не зная, что можно еще сказать.

Никогда у меня не бывало такого чувства, что кто-то, кроме моих детей, всецело зависит от меня. Если бы его нужно было спасать из воды или вынимать из петли, мне наверное было бы легче. Однако никаких признаков того, что он собирается свести счеты с жизнью, он не подавал. Его пустая физическая оболочка еще жила. Я не мог знать, что с ним стряслось, да меня это и не интересовало. Мне не нужно было спасать его. Человек, кстати, всегда точно знает, когда можно задавать вопросы и когда нельзя. Он, мой друг, просто был поручен моим заботам, что не казалось мне таким уж неприятным бременем. Страсти в нем выгорели, и эта опустошенность позволила активизироваться моим простым и весьма прагматичным способностям.

Мы добрались до города. Проезжая мимо громадного здания военной академии «Людовика», с которой так тесно была связана жизнь моего отца, я всегда бросаю на него хотя бы взгляд. Дальше следовала хирургическая клиника на проспекте Юллей, где два года назад в одной из палат третьего этажа умерла моя мать. И именно здесь, между этими двумя зданиями, я почувствовал срочную необходимость решить, куда все же нам ехать. Я не смотрел на него.

У меня есть другая идея, сказал я. Но для этого мне нужно знать, настаивает ли он на том, чтобы остаться в городе.

Нет, он не настаивает ни на чем. Но решительно просит меня не делать себе из-за него проблем. Его можно высадить. Неважно где. У Бульварного кольца, например. Там можно сесть на трамвай.

Я сказал, что об этом и речи не может быть. Идея насчет трамвая звучала слишком неискренне. Но если он не возражает против моего общества, то лучше нам прокатиться еще немного.

Он не ответил.

Позднее, однако, я ощутил, что в пустую оболочку его тела вернулось нечто, отдаленно напоминающее чувство. Машина основательно прогрелась. Возможно, меня ввело в заблуждение это физически выделяемое тепло; и все же мое решение показалось мне просто замечательным – хотя бы уже потому, что ничего проще нельзя было и придумать.

Мой дед по отцовской линии был человеком весьма зажиточным. Он владел мельницей, занимался торговлей зерном и даже земельными спекуляциями. Сегодня трудно даже представить себе тот краткий, беспрецедентный по размаху предпринимательства период венгерской истории, когда чуть ли не в один день люди делали крупные состояния. Это тем более невероятно, что начи-

ная с позднего средневековья вся история венгерской экономики была историей разных по своим причинам стагнаций и затяжных кризисов. И все же такой период был, о чем мы знаем потому, что большинство школ, где мы учимся, общественных зданий, где решаются наши судьбы, больниц, где мы лечимся, и даже канализация, куда мы сливаем сточные воды, – все построено в ту эпоху. Возможно, не всем нравится напыщенный стиль этих зданий, но преимуществами их надежности, сработанности на века пользуются все. В этот период, в самом начале двадцатого века, мой дед построил себе два дома: зимнюю дачу на Швабском холме в Буде, где мы жили до смерти моей матери, и просторный двухэтажный охотничий домик в романтическом стиле. Он любил охотиться на мелкую дичь и выбрал место для домика в соответствии с этим своим пристрастием – недалеко от столицы, на плоском берегу Дуная, где в поросших ивняком плавнях можно было стрелять лысух и уток, а на суше, исчерченной невысокими песчаными грядами, охотиться на фазанов и зайцев.

Как называется эта деревня, я сказать не могу. Почему – это выяснится из дальнейшего. Собственно говоря, мне следовало бы поступить как изобретательные авторы классических русских романов, обозначавшие населенный пункт литерой «N». Названное таким образом место человеческого обитания всегда имело свое лицо, которое не перепутаешь ни с каким другим, а следовательно, имело точную географическую прописку, но при этом могло находиться и в любой другой точке необъятной страны. Я же вынужден не указывать название населенного пункта, дабы избежать неприятных последствий возможного узнавания. Единственное, что я могу раскрыть, это то, что если вы отправитесь от нулевого километра и будете следовать в хорошем темпе, то минут через шестьдесят доедете до деревни, куда мы держали путь в тот вечер.

Должен еще добавить, что в январе 1945-го квартиру старших сестер моей матери, тети Эллы и тети Илмы, разбомбили. Неубранные руины их дома на улице Дамьянича я видел даже в пятидесятых годах. Как только закончился штурм Будапешта, мои тетушки переселились в загородный дом. И сделали это как нельзя вовремя. Дом был взломан, но странным образом почти ничего из вещей не пропало. Из сарая исчезли садовые инструменты. А из охотничьей гостиной на первом этаже пропали два огромных трансильванских ковра, фрагменты которых, используемые как подстилки, мои тетушки годы спустя видели по соседству в собачьих конурах. Ни немцы, ни русские в деревне не квартировали,

проходили мимо. Так что грабителями явно были местные, и если им не хватило времени для более основательной работы, то скорее всего потому, что во время приезда моих тетушек деревня переживала ужасные времена.

За несколько дней до этого через реку, на которой еще не закончился ледоход, сюда приплыли на веслах трое русских солдат, отбившихся от своей части. Они реквизировали вино, палинку, уток, цыплят, пока не обнаружили дом, в котором жила вдова с тремя дочерьми на выданье. Против пирушки, устроенной из собранной добычи, не возражали ни девушки, ни их мать. И пошло-поехало: они жарили-парили, ели, пили, плясали и палили на радостях в воздух. Дом стоял на околице, в сырой ложбине у подножия кладбищенского холма. По сей день об этих событиях сельчане предпочитают высказываться весьма осторожно. Говорят, что гулянка продолжалась два дня и две ночи, причем женщины даже не задерживали занавески на окнах. Деревня на все это время погрузилась как бы в летаргический сон, никто якобы и носу показывать не осмеливался. Однако вечером второго дня в окно полетели пули. Стреляли из пистолетов и охотничьих ружей с вершины кладбищенского холма. Первыми выстрелами ранили одну из девушек и попали в живот одному из русских, который тут же скончался от потери крови. Следы от пуль русских до сих пор сохранились на старых могильных камнях. Но перестрелка была неравной, поскольку из-за предыдущей пальбы магазины их автоматов были почти пусты. Боеприпасов у них хватило только на то, чтобы, прикрывая друг друга, отойти к берегу. Вдова, сообразив, о чем ей дают понять, повесилась на чердаке. На следующий день под солидным прикрытием в деревню прибыли советские особы. Раненую девушку увезли. А вечером до деревни добрались пешком мои тетушки. Все допросы, угрозы поставить к стенке, обыски и аресты никаких результатов не дали. Следов этой акции практически не осталось, оружия не нашли. В таких маленьких деревнях, как эта, так или иначе все друг другу родня. Чтобы похоронить вдову, русские вынуждены были выгнать из домов нескольких мужчин. А о том, кто стрелял, деревня не желает знать и по сей день. Так или иначе, если бы дом моего деда остался пустым, ничто не спасло бы его от полного разрушения. Я уж не говорю о том, что только благодаря хитрости и предусмотрительности моих тетушек он так и остался в собственности нашей семьи.

Две списанные в расход боевые лошади – именно так поминали моих тетушек наиболее острые на язык члены нашей семьи. Что,

конечно, не очень-то лестно. И все же они удивительные существа. Всякий раз, когда я читаю воспаленные рассуждения о гибели нации, то прежде всего вспоминаю о них. Дело в том, что в их случае очень трудно понять, что проявляется в них сильнее: энергия приспособленчества или гибкость, просто необходимая для выживания. Они мало едят, много говорят, руки и ноги их находятся в постоянном движении. В последние годы, явно старея, они утверждают, что от непрерывной деятельности организм изнашивается, а ежели организм изношен, то легче будет и умереть. Полтора года разницы между ними не очень заметны. Они похожи на близнецов. Обе высокие и костистые. Волосы стригут друг другу накоротко. Возможно, в молодости они были привлекательными – насколько может быть привлекательной, скажем, и ломовая лошадь. Обувь носят не меньше сорокового размера, ходят тяжелой поступью, все вокруг них ухает и грохочет. И если бы не постоянная готовность прослезиться от сострадания и какая-то невероятная эмпатия по отношению к самым различным, вплоть до весьма специфических, проявлениям бытия, то можно было бы даже сказать, что в них нет ничего женственного. Но их чуткость настолько чиста, ненавязчива и полна заботы, что они вполне отвечают всем требованиям самого традиционного женского идеала.

В возрасте восемнадцати лет моя тетя Илма забеременела, не будучи в браке. Для семьи это было не меньшим абсурдом, чем угроза бабушки пойти в танцоры, если ему не дадут стать военным. Элла самым решительным образом пресекла назревающий семейный скандал, забрав младшую сестру из дома. Младенец умер через несколько дней после рождения. И с тех пор они живут вместе. Они, должно быть, о чем-то договорились между собой. Никогда ни один мужчина больше не появлялся в их жизни. По крайней мере так это выглядело. И похоже, именно тогда время для них словно остановилось. Они не выписывают газет, не слушают радио, а телевизор купили впервые всего несколько недель назад. Обе верующие, но в церкви почти не бывают и даже не молятся. О Боге они говорят тем же тоном, каким говорят об ожидаемой урожайности их изобильного огорода. Дьявол тоже вызывает у них не больше эмоций, чем картофельная тля или колорадский жук. С первым они борются, рассыпая вокруг золу, а вторых, ползая на коленях среди цветущих кустов картофеля, растирают меж пальцев.

День они начинают с работы в саду. С конца мая до середины сентября ежедневно купаются в Дунае. Будь то дождь, ветер или наводнение – им это нипочем. Они надевают забавные, в груди

тесные, в бедрах широкие, сделанные из прорезиненного хлопка купальники в мелких, давно уже полинявших цветочках, белые купальные шапочки и белые же резиновые тапочки. В таком виде, по чавкающему илу и скрипучей гальке они идут берегом вверх по течению. Впереди шествует Элла, за ней – Илма. Затем следует девчоночье интермеццо. Они заходят по пояс в воду, с дрожью и наслаждением ждут, пока кожа привыкнет к холоду, с визгом брызгаются водой. Потом плюхаются в реку, отдаваясь ее течению. Купальники на их задницах вздуваются, будто спасательные круги.

Окружающий охотничий домик парк в полтора гектара, в котором высаженные некогда благородные растения и всякий чертополох произрастают и гибнут, как их душе угодно, отделен от деревни высокой кирпичной стеной, а со стороны берега, на случай наводнений, он защищен трехметровой красной бутовой кладкой. Спускаясь вниз по течению, они доплывают до парка, поднимаются по крутой, узкой, поросшей мхом каменной лестнице, надевают халаты и возвращаются в дом. На этом участке берега, прямо под каменной кладкой, был убит мой друг. Лето в тот год было засушливое, и к осени буро темнеющая река отступила до самой глубокой части своего русла.

По вечерам, пока одна из них что-то шьет, штопает, или вяжет мне свитер, или плетет бесконечные кружева, другая читает вслух. Их друг, реформатский пастор Винце Фитош, снабжает их духовной литературой. Обе при этом принимают серьезно-торжественный вид, что совсем не мешает им злорадно смеяться над особенно глупыми пассажирами.

Я не знаю, на чем основывают они свои суждения, но в самых различных вопросах они разбираются с такой легкостью, словно являются самыми информированными людьми в мире. Они регулярно расспрашивают меня о котировках валютного рынка, а у деревенских мальчишек интересуются результатами футбольных матчей. Личные их запросы весьма скромны. Когда я приношу им подарок, они испуганно оглядываются по сторонам, не зная, куда его деть, – он им явно не нужен. А если они чего-то хотят или не хотят, то в своих действиях руководствуются не корыстными личными интересами, а интересом семьи либо каким-то моральным соображением. Именно так они поступили, когда мой отец был признан умершим. Все мы ждали, конечно, что он вернется, но тетуски настояли на том, чтобы мать отнеслась к той бумажке серьезно и переоформила дом на них. Нам не надо иметь два дома. В других семьях такое сомнительное предложение могло

бы разбередить какие-то старые раны, посеять вражду и раздоры. Но мать была из того же теста, что и ее сестры, и с радостью приняла предложение. Тетушки, получив дом в собственность, формально сдали его в аренду сельскому совету. Элла по образованию – воспитательница детского сада, Илма – учительница. Между тем в деревне не было ни подходящего здания, ни соответствующих специалистов, чтобы открыть свой детсад, а нужда в нем становилась все острее. Вот они и открыли детсад в своем собственном доме. Все помещения первого этажа, в том числе и роскошную, облицованную панелями красного дерева охотничью гостиную, они потеряли, зато имели постоянный доход, крохотную зарплату, сохранили четыре комнаты во втором этаже, да и периодическим ремонтом здания тоже занимались деревенские власти. В начале 1960-х, когда угроза национализации уже миновала, они занялись подрывной деятельностью. Казалось бы, стали рубить под собою сук. В конце концов служба здравоохранения объявила, что старый дом непригоден для детского сада, и когда через несколько лет новое здание для него было построено, мои тетушки подали документы на пенсию. Враг сдался безоговорочно и покинул поле битвы с приятным чувством победы.

После этого, пожалуй, нечего и говорить о том, какие чувства мои жизнестойкие тетушки испытывают ко мне. Я для них – воплощение совершенства. Они всегда дотошно расспрашивали меня об учебе, о работе и продвижении по службе. Всегда восхищались мной и слепо были уверены в правильности всего, что я делаю. При этом они никогда не высказывают свое одобрение или критику вслух, а слушают меня с таким выражением, которое говорит мне: да, в подобной ситуации они поступили бы точно так же. Разумеется, я обычно потчую их историями, которые могут прийтись им по вкусу. С тех пор как умерла моя мать, они так стали меня баловать, что порой это уже тяготило. Я никогда не сообщал им заранее о своем визите, потому что в моей безрассудной юности, когда я не знал, где буду ночевать, и поэтому блуждал по миру с зубной щеткой в кармане, они привыкли к тому, что я мог появиться у них не один и в самое неожиданное время. Позднее, когда я уже был женат, они мирились и с тем, что я приезжал в их дом не всегда с женой и детьми. Единственным чувствительным пунктом в наших безоблачных во всем остальном отношениях является то, что они могут дать мне понять, что вынуждены морально дистанцироваться от моих представлений о личной жизни. Например, они всегда находят старых моих подруг более очаровательными,

чем теперешняя. Или берутся инвентаризовать внешние и внутренние данные моих случайных спутниц, и когда опись готова, с самым невинным видом тычут меня носом в ее удручающий итог. Чем хотят мне сказать, что хотя и гордятся в каком-то смысле моими многочисленными победами, но все же нехорошо это, потому что больше – не обязательно лучше.

Они по-прежнему занимают только комнаты наверху. Нижний этаж, за исключением кухни, пустует и зимой не отапливается. Я могу прибыть сюда почти незаметно, не беспокоя их. И если я захочу, они даже не заметят, что я нахожусь в доме. Ключ мы держим на заднем крыльце, на балке под крышей. На первом этаже есть комната, где, чиркнув спичкой, можно разжечь уютный огонь в изразцовой печи.

В течение трех лет он жил с ними в этом доме. В этой комнате. И если в своих воспоминаниях я называю его другом, то вовсе не из-за общего детства, а потому, что за эти три года мы стали очень близки. Хотя говорили мы в основном намеками. Шла ли речь о прошлом или о настоящем, мы оба старательно избегали полной откровенности. О его жизни я не узнал ничего, чего не знал или не наблюдал до этого. Сам я тоже не раскрывал ничего нового для него. И все-таки по прошествии двадцати лет мы вернулись к взаимному, преодолевающему все наше несходство влечению, с которым не знали что делать в детстве. Этот возврат, возможно, был связан с тем, что все мои успехи медленно, но верно обращались неудачами и что он, похоже, больше никоим образом, никогда и ни с кем не желал самоотожествляться. В том числе и со мной. Он чуток, чувствителен и все же закрыт. Холоден. Не зная я болезненной изнанки этой холодности, то мог бы сказать, что он стал походить на точно чувствующую, точно мыслящую, включенную на полные обороты машину.

Осведомленность в человеческих связях и отношениях побуждает меня на все в этом мире смотреть как на временное и изменчивое. То чувство, которое я считаю сегодня любовью и дружбой, может оказаться завтра не чем иным, как обычной потребностью в разрядке физического напряжения или циничным сообщничеством в интересах преодоления тех или иных обстоятельств. Я отношусь к этому с абсолютно спокойной совестью. И никогда не лгал себе, ибо я знаю о неизбежно волнообразном характере действия, преследующего определенную цель. На предыдущих страницах я уже выставил себе все оценки. Мне неведомы ни любовь, ни дружба. И все-таки в худшие свои часы я чувствую, что

мир есть сплошное нагромождение разочарований. Будь я разочарован в себе или в ком-то другом, я мог бы наверняка предаться этому разочарованию. Я никаких таких чувств не питаю, однако их отсутствие в себе переживаю столь остро, что кажется, будто испытываю сами эти недостающие чувства. Что попросту означает, что я еще не вконец отупел. И наверное, именно потому в течение этих трех лет жизненной необходимостью для меня стало внимание и чувствительность человека, прикасаться к которому мне не нужно, больше того – нельзя, да и в нем уже не осталось такой потребности; и все же он ближе мне, чем любой человек, чьим телом я мог бы обладать.

Мои тетушки и виду не показали, что удивились. Об их недоумении можно было судить разве что по некоторой заторможенности движений. Они были более разговорчивы, чем обычно. Довольно долго суетились вокруг нас – так, как будто моего друга не было. А на его чемоданы даже не обращали внимания. Они были возбуждены. И говорили одновременно. Но не перебивая друг друга, а выплескивая на меня, каждая своими словами, детали одной и той же истории. За день до этого в деревне повесились двое парней. Я их знал. Но чтобы помочь мне их вспомнить, они принялись подробно их описывать. По счастью, их вовремя обнаружили и перерезали веревку. Оба выжили, теперь в больнице. Они повесились на одной веревке. Связав на обоих концах по петле, перебросили ее через балку сарая. Встали на ящики для яблок и одновременно выбили их из-под ног. Говорят, что они были влюблены в одну и ту же девушку. И неизвестно, что было бы, если бы куры соседки не неслись где попало. Если бы она не направилась именно в тот момент разыскивать яйца. Девушка якобы сказала каждому из них, что влюблена в другого. Но соседке все-таки удалось впихнуть ящики им под ноги. Остановить тетушек было непросто. Мы голодны, сказал я без перехода. И они быстро соорудили нам ужин.

Власть в доме принадлежит Элле, Илма более сентиментальна. Поэтому я последовал за Илмой, когда та отправилась в кладовку за соленьями, и пока она вылавливала огурцы из пятилитровой банки, шепотом в двух словах обрисовал ситуацию. Какое-то время, я не знаю, как долго, они должны поддержать его здесь. Этот мягкий, громко сказала она и бросила один огурец обратно. И ухаживать за ним они должны так, как если бы болен был я. Она испуганно кивнула. И чего они в этом году такие квелые, опять громко сказала она.

У сестер, должно быть, имелись какие-то тайные средства связи. Потому что с этого момента они ни на секунду не оставались одни, не обменялись друг с другом ни словом, и все-таки через какое-то время Элла вышла, чтобы затопить изразцовую печь. Когда мы сели за стол, мои тетушки уже справились с возбуждением, как и с вызванным нашим приездом смущением. Они были милы и внимательны. Старались вовлечь моего друга в наш разговор и больше не возвращались к теме о юношах-самоубийцах. В конце концов они сами все видели. Хотя мой друг все время улыбался. Еда, разговор, улыбки стоили ему таких усилий, что сразу после ужина мне в буквальном смысле пришлось уложить его в постель. Стащить с него одежду, натянуть пижаму. Он слабо протестовал. Он не может здесь оставаться. Какой позор. Свалиться на голову незнакомым людям. Я должен отвезти его обратно. Я хорошенько укрыл его, потому что в комнате был еще ледяной холод. И сказал, что вернусь, чтобы закрыть задвижку, когда прогорят дрова.

Подробности о его выздоровлении я знаю от моих тетушек. В комнате есть диван; перед узкими, как бойницы, сводчатыми окнами стоит ореховый, мраморно гладкий от времени стол и старое кресло. Напротив входа – большой комод. Над комодом – простое зеркало. Стены белые, голые. На потолке грузно темнеют балки. Он проспал два дня. Потом встал, оделся, но и в последующие дни покидал комнату только на время еды. Я приезжал к нему на второй день Рождества и вскоре после Нового года. И в обоих случаях делал вид, будто навещаю к тетушкам. С ним мы обменялись лишь несколькими словами. Он лежал на диване. Сидел за пустым столом. Смотрел в окно. И так целыми днями.

Было тихо. Я сидел на кровати, он глядел в окно. И молчал так долго, что мысли мои унеслись, и поэтому меня поразило, когда он все же заговорил. Он с удовольствием бы завесил зеркало. Я ответил, что в доме покойников нет. Казалось, нам не понять друг друга. На столе был латунный подсвечник. Сосредоточив на нем все внимание, он передвигал его с места на место. Когда в каком-то пространстве есть много предметов, наше внимание занимают отношения между ними. И мы теряем из виду само пространство. А если в пространстве предметов мало, то внимание ищет связи между предметами и пространством. Но в этом случае очень трудно найти единственное и постоянное место предмета. Захотел – передвинул сюда, захотел – туда. По отношению ко всему пространству любое возможное место будет случайным. Примерно так он говорил о себе. Казалось, что это говорит находящаяся в нем

мыслящая машина. Он говорил так о своей ситуации. И я не мог удержаться и рассмеялся. Это было не слишком великодушно с моей стороны – смеяться над ним, но разве не смешна была эта лживая абстракция, в которую он упрятал свою исповедь? Мы наблюдали друг за другом, пытаюсь понять, что будет с этим взаимным антагонизмом. Глаза наши улыбались. Я веселился по поводу своего безудержного смеха, он – по поводу своих трогательных абстракций.

По утрам он сидел за столом. Днем лежал на кровати. На завтра снова был за столом, глядел в окно. Из этих маниакально повторяющихся перемещений в последующие три года складывался ритм его жизни. Само по себе выздоровление его длилось недолго. В конце второй недели он уже осмеливался по ночам выходить в охотничий зал, куда тетушки вернули почти полностью уцелевшую библиотеку моего деда, насчитывающую около тысячи томов. Хотя назвать это библиотекой будет некоторым преувеличением. Мой друг обнаружил здесь литературный мусор рубежа веков, собранный с безошибочно дурным вкусом. Он начал работать. На голом столе появились листы бумаги, что определило наконец место подсвечника.

Через несколько недель мне стало ясно, что моя идея была удачной. Причем настолько, что тетушки даже забрали из моих рук бразды правления. Уже в следующий мой приезд Элла, отведя меня в сторону, сказала, что надеется, я не буду возражать, если мой друг побудет у них подольше. Ему так спокойно здесь. Да и им тоже. Потому что, надо сказать, бывают дни, когда им здесь страшно. Чего конкретно они боятся, она сказать затрудняется, но в такие периоды им страшно не только ночью, но даже днем. Прежде они об этом не говорили, потому что не хотели никого беспокоить. Они знают все шумы и шорохи в доме. Проверяют, закрыты ли двери, выключен ли газ. У них чувство, что им угрожает опасность, пожар или кто-то за ними следит, бродит вокруг их дома, причем это не животное. Она рассмеялась. Да, конечно, мой друг не такой силач, чтобы их защитить. Нет, он слабенький, но с тех пор как он здесь, страх все-таки улетучился. Ну а если мне захочется развлечься или с семьей отдохнуть, то к моим услугам все остальные комнаты хоть наверху, хоть внизу. Ведь я знаю, что здесь все мое. Потому они и просят моего согласия.

Упомянула она и о неких материальных выгодах. Что было забавно. Ведь я был в курсе, что финансовое положение моего друга трудно назвать даже аховым. Плату за комнату можно было считать

скорей символической. О питании они и вовсе помалкивали. И вообще, они ведь питались тем, что росло в саду. В худшем случае с этого времени они давали моей семье чуть меньше от своих излишков. Одним словом, они его полюбили и нашли для этой своей любви материальные рамки и финансовые гарантии. Безусловное восхищение, которым они окружали меня, они перенесли на него. Да и он соответствовал их идеалам гораздо лучше, чем когда-либо мог соответствовать я. За все три года у него было не более пяти совершенно безбидных гостей. Пока тетушки были заняты по дому или в огороде, он в полном безмолвии работал в своем кабинете. С восьми утра и до трех часов дня оттуда не доносилось ни звука. Ел он мало, ложился рано. Но он умел радоваться всякой мелочи, будь то какой-нибудь новый вкус, зимний закат или росток припозднившегося растения, проклюнувшийся наконец из земли. Самую трудную работу по дому он брал на себя. Пилил и колол дрова, таскал навоз, ремонтировал инвентарь. И что, пожалуй, самое главное, слушал их, причем не просто терпеливо, а с неподдельным интересом к тому, что они рассказывали.

В деревне его появление, конечно же, вызывало смешанное с подозрительностью любопытство. Как рассказывали мне тетушки, некоторые из местных даже просили разрешить заглянуть в окно его комнаты, когда его не было дома. В действительности им, наверное, хотелось узнать, чем может заниматься человек один в четырех стенах. Он об этом не знал, но все-таки чувствовал некоторую проблематичность своего положения. Он опасается, как-то сказал он мне, что мои тетушки заглянут однажды в его рукопись, и тогда он наверняка потеряет их доверие. Он также боится, сказал он в другой раз, что когда в три часа он встает из-за стола, то все понимают, о чем он писал, потому что ему всегда кажется, что он выходит к людям нагой. Он боится, сказал он, смеясь, что однажды его пришибут, как бешеную собаку. Правдой было и то, что местные не могли понять его продолжительные одинокие прогулки. Несколько раз полевой сторож пытался издали проследить за ним, что он, конечно же, замечал. Первым человеком в деревне, с которым он подружился, был пастор. Улыбчивый человек – так называли моего друга деревенские старухи.

Милицейские следователи пришли к выводу, что мотоциклистов было трое. Учитывая условия видимости и недвусмысленные следы, вероятность случайной смерти они считали крайне малой. Тело лежало на песчаном берегу чуть ближе к воде, чем к подпорной стене. Когда река отступает так, как обычно в эту пору, можно

увидеть грунт ее русла. Вдоль самой воды тянется широкая полоса песка, затем – более узкая полоса ила попеременно с камнями, а еще дальше от воды – мелкая галька. Он лежал навзничь на полотенце. Голова достигала полосы ила. Он, наверное, заснул. До этого он, видимо, плавал или по крайней мере окунулся в воду. Плавки были еще мокрые. Трое мотоциклистов, следуя рядом друг с другом на скорости около сорока километров в час, приближались по слегка наклонному каменистому, высохшему от жары берегу. В принципе ехать быстрее по такой почве и невозможно. Они ехали вверх по реке. Одновременно в противоположном направлении, приближаясь к пристани, плыл буксир с несколькими баржами. Берег был, по всей видимости, пуст. Отдыхающих в это время уже не бывает. А местные жители спускаются к реке разве что вслед за гусями или чтобы помыть лошадей. На пристани тоже никого не было. Примерно в шестидесяти метрах от моего друга двое мотоциклистов прибавили скорость. Насколько – об этом эксперты к единому мнению не пришли. Третий последовал их примеру, лишь когда находился от него в сорока метрах. Возможно, он колебался, а может быть, был последним, кто заметил тело. Как бы то ни было, он проехал по его ногам. Средний переехал его по груди, после чего упал и, скользя вместе с мотоциклом, уткнулся в закаменевшую полосу ила. А третий, подскочив на лежащем поблизости плоском камне, приземлился ему на голову. Упавший мотоциклист, сев в седло, сделал большую петлю вокруг тела, по-видимому, чтобы посмотреть на жертву, и только после этого последовал за приятелями. Минут через десять смерть завершила начатую ими работу. Дождаясь, пока их нагонит третий, двое других, по-видимому, несколько раз оглядывались: на протяжении примерно тридцати метров два следа от шин вихляли, то сближаясь, то отдаляясь. Затем следы снова выровнялись и дальше шли параллельно до самой пристани. Там, перестроившись в вереницу, они въехали на асфальтированное шоссе. Буксир в это время подошел к пристани. С палубы трех мотоциклистов видел моторист. Хотя он не мог даже приблизительно описать их приметы, он все-таки полагал, что это были молодые люди, возможно несовершеннолетние. Позднее он также увидел тело на берегу. Но это не вызвало у него подозрений.

Когда, поднятый по тревоге тетушками, я добрался до места происшествия, криминалисты уже завершили фотографирование и исследование следов. Смеркалось. От берега тело несли на импровизированных носилках. Я шел рядом с ним, сопровождая носильщиков. На то, что от него осталось, я взглянул только

один-единственный раз. Одна рука свесилась и болталась. Растопыренные пальцы то и дело касались земли. Мне хотелось ее подхватить, уложить на место. Но я не решился.

Когда уровень воды снижается, местные пацаны часто устраивают вдоль берега настоящие мотокроссы. Каждый мотоцикл в округе был тщательно обследован. Но ничего, что дало бы повод для основательных подозрений, не выявили. К тому же все мужчины в деревне, имеющие мотоциклы или хотя бы права на вождение, в данное время были еще на работе. Лишь один человек, пожилой пекарь, отправился на работу через два часа после убийства, однако он, по другим обстоятельствам, оказался вне подозрений. Кемпинг, что на окраине деревни, в эту пору уже не функционирует, хотя всегда находятся неорганизованные любители гребли, которые разбивают в нем свои палатки. Но и они в эти дни не видели молодых мотоциклистов. Официально следствие закрыто не было, но теперь, три года спустя, надеяться уже не на что. С самого начала у офицера милиции, которому поручили расследование, была уверенность, что искать нужно пьяных хулиганов, причем достаточно молодых. Я не думаю, что кто-нибудь лучше него знал питейные заведения в этих местах. Он искал трех молодых людей, которые в этот день покинули корчму пьяными. Он искал оставленные перед корчмой три мотоцикла. До дня похорон я тоже склонялся к этой мысли.

На местном кладбище моего друга в последний путь провожал реформатский пастор Винце Фитош. Пока он говорил, с деревьев, кружась в чистом воздухе, тихо падала сухая листва. Стоял теплый осенний день с пропитанным запахом дыма ветерком. Людей было неожиданно много. Старушки пели у могилы псалмы. Я смотрел на лица. Смотрел на убитого горем, борющегося со слезами пастора. И на печально известный дом у подножья кладбищенского холма, в котором по причине растущего потока туристов была открыта корчма. Но память о бывших его обитательницах сохранится навеки, поскольку остроумный местный народ называет корчму не иначе, как «Три пизды». Из корчмы доносился перезвон посуды и жирный запах еды.

И тогда в голову мне пришла мысль, точнее сказать, догадка, за которую я с жадностью ухватился. Ведь если бы это сделали пьяные, то это было бы просто унизительной случайностью. И тогда этому не было бы объяснения.

Назвать это подозрением было бы слишком. Слишком слабая мысль, чтобы стать ниточкой, которая наведет на след. Да и не

было у меня желания брать на себя роль сыщика. Просто при виде смерти человек ищет объяснения.

По другую сторону могилы, в темном, уже маловатом ему костюме, со смертельно бледным лицом стоял молодой человек. Я хорошо его знаю, поскольку тетушки уже многие годы покупают у них молоко. Время от времени он содрогался всем телом, словно пытаюсь сдержать рыдания. И всякий раз при этом начинал петь громче. Это был один из юношей, пытавшихся покончить с собой. Другой несостоявшийся самоубийца, которого не было на похоронах, из-за повреждения гортани навсегда онемел. Его я знал только в лицо, он был своего рода местной знаменитостью. Мать, карлица ростом меньше полутора метров, родила его вне брака. От кого – никому неизвестно. Карлица, сколько я помню, всегда работала в старой корчме. Стоя на табурете, она мыла за стойкой посуду. Ходили слухи, что в свое время она баловалась с пьяными мужиками в сарае, что позади корчмы, пока не забеременела. Все было против нее, и все же беременность, роды не навлекли на нее гнев деревни. По сей день о ее проделках вспоминают весело и по-доброму, при этом пересыпая рассказы пикантными подробностями. Она родила здорового мальчика и с тех пор вела себя как образцовая мать. А мальчишка вырос таким большим, крепким и привлекательным, что, несмотря на обстоятельства его зачатия, им восхищаются как чудом природы, живым воплощением ее сбалансированных сил. А потому никто не нашел ничего дурного, когда он подружился с сыном одного из самых зажиточных в деревне крестьян. Они были неразлучны. Были среди местных подростков жожаками и заводилами. Не разлучило их даже то, что сын карлицы пошел в ученики к мяснику, а приятель его поступил в гимназию. Да и на совместное самоубийство, наверно, они пошли потому, что не хотели бороться друг с другом за любовь одной девушки. Двое диких самцов, у которых дарованное природой чувство любви оказалось слабее потребности в дружбе.

В те годы об общественных переменах, происходящих в деревне, я мог судить по менявшемуся поведению своих тетушек. Если прежде все их усилия были направлены на то, чтобы спасти все, что можно спасти, и они лучше голодать бы стали, чем расстались с чем-то из семейного имущества, то теперь с легкостью почти девической они отдались волнам нового экономического течения. Возможно, они устали. Возможно, боялись старости и хотели идти в ногу со временем.

Население оторванной от мира деревни стало стремительно таять. И в окрестностях пропорционально стала расти площадь заброшенных земель. Часть трудоспособного населения уехала, другие, как бы готовясь к такому шагу, стали мигрировать между городом и деревней. Приусадебные виноградники, фруктовые сады и пашни начали продавать горожанам, подыскивающим место под дачу. А для последних такие приобретения были единственным способом изъять из дающего жалкий процент госбанка свои скромные, заработанные обманом и воровством или, может быть, унаследованные капиталы и вложить их в недвижимость. На неиспользуемые деньги горожане скупали у сельчан неиспользуемые угодья. Тут активизировались и мои тетушки, хотя я пытался убедить их, что когда распыленный капитал в избытке и единственной целью вложения является только недвижимость, то нужно покупать, а не продавать. Сначала за бесценок они избавились от виноградника, а потом, когда мой друг уже жил вместе с ними, продали, несмотря на мои протесты, солидную часть парка. Деньги они передали мне, чтобы я купил на них новый автомобиль. Так они пытались объяснить свой необъяснимый поступок. На самом же деле они как бы пытались сказать: пусть пропадает, что еще может пропасть. Не сильно отличались от них и новые собственники. Они безжалостно все выкорчевали. Благородные кустарники, перголы, плодовые деревья, вековые липы, каштаны. Им нужен был чистый лист. Нужно было что-то свое; как бы ни было это нелепо, они находили удовольствие в том, что после стольких лет каждый наконец может творить в своем огороде все, что заблагорассудится. Длительный отказ от частной собственности мстит не только собственности государственной, но и вновь обретенной личной. Как грибы после дождя росли вокруг жалкого вида дачные домики, сляпанные из бог весть каких материалов и бог весть какими мастерами. Появился кемпинг. Временный бум побуждал и местных работать одновременно на трех работах, забросив все формы традиционной деятельности. Среди мужчин среднего возраста резко возросло число инфарктов. А пастор вдруг обнаружил, что церковь его пустует даже по праздникам.

Оправившись от попытки двойного самоубийства, друзья превратились в заклятых врагов. Молодой человек в темном костюме, боровшийся со слезами во время пения псалмов у могилы, зачастил к священнику. Сначала они просто разговаривали, потом юноша стал ходить на уроки закона Божьего, где он встретился с моим другом, а через какое-то время каждое воскресенье стал

бывать и на утренней службе. Часть деревенской молодежи последовала его примеру. Так сложился небольшой кружок, который упорно, непримиримо противостоял другой группировке, возглавляемой онемевшим товарищем юноши по самоубийству. Эта группа состояла только из байкеров и только мальчишек. Не самая смиренная, надо сказать, компания. Они пили, дрались, приставали к девушкам в кемпинге, врубали на полную мощность свои транзисторы, терроризировали отдыхающих и устраивали попойки на взломанных дачах. Мой друг, впервые в своей жизни, принял от пастора святое причастие.

Об обстоятельствах его обращения к Богу мне почти ничего неизвестно. Но примерно в это же время он подружился с покушавшимся на свою жизнь юношей, который, окончив гимназию, учился на механика. Они встречались под вечер и отправлялись на продолжительную прогулку. Если уединенные прогулки моего друга казались деревенским странными, то эти гуляния на пару, и в снег и в дождь, казались им просто необъяснимыми. На следующий год молодой человек подал документы на факультет теологии.

После похорон я около двух недель оставался в деревне. Об этом меня попросили тетюшки. Специально расследованием я не занимался, но говорил со многими местными жителями. Это было нетрудно, ведь они знали меня с детства. Конечно, о самых сокровенных тайнах я их расспрашивать не мог. Но все же мои подозрения не были лишены оснований. Я говорю это потому, что молодой человек, весьма скромный, застенчивый, точно взвешивающий слова, заверил меня, что в отношении него мой друг никогда не совершал ничего такого, что сделало бы его нечистым пред Богом. Но я узнал и том, о чем молодой человек не сказал мне. Во время одной из их зимних прогулок по берегу за спиной у них вдруг появились байкеры. Все их объехали, а немой вожак, проезжая мимо моего друга, схватил его за рукав, а потом так же неожиданно отпустил. Тот упал на камни и расшиб лицо. И, сдастся мне, именно после этого он сказал, что боится, что однажды его пришибут как бешеную собаку.

Полгода после его смерти я собирался с силами, чтобы сесть наконец за его стол. Все главы истории его жизни были разложены по отдельным папкам. Большую часть времени я провел за изучением его рабочих записей. Последовательность глав можно было определить совершенно четко, исходя из планов, касающихся рукописи в целом, тем не менее даже после самого тщательного анализа его заметок мне так и не удалось понять, к какому финалу он собирался

направить действие. Однако была и еще одна, фрагментарная, что-то вроде конспекта, глава, место которой установить мне не удалось. Ее нет ни в одном варианте многократно переработанного оглавления. И все же мне кажется, что он хотел сделать ее краеугольным камнем всего повествования.

Свою работу я завершил. И единственное, что мне осталось, – присовокупить к тексту этот последний фрагмент.

И вот наконец наступил день премьеры.

После полудня начинает валиться снег, мягко, густо и медленно, рыхлыми влажными хлопьями, которые временами шарахаются и вихрятся от порывов ветра.

Он оседает на крышах, покрывает газоны в парках, дороги и тротуары.

Но торопливые ноги и шуршащие шины колес тут же изгаживают его слякотными черными полосами, следами, тропинками и ходами.

Слишком ранним был этот белый снег; правда, наш тополь уже обронил с кружевной верхушки последние сухие листочки, но смыкающиеся кроны платанов на Вёртерплац стояли еще зелеными.

Пока за окном идилически кружится ранний снег, один из них валяется на диване в холле, а другой методично прореживает свою богатую коллекцию грампластинок; сидя на корточках, он одну за другой достает из конвертов пластинки и, исходя из каких-то своих критериев, ломает некоторые через колено.

Ни на один из моих вопросов он не отвечал. Как и я на его вопросы.

Да и позднее не было никаких воплей, ни проклятий, ни слез, которые можно было бы растворить в стремительных сентиментальных объятиях, а была лишь сварливость, раздраженная и временами взрывная, постоянное недовольство друг другом, то и дело дававшее поводы для бескровных царапин, для коварных, но несерьезных ран, которые мы, видимо, наносили друг другу во избежание более тяжелых увечий.

Было множество оправданий и экивоков, но ни слова о том, что действительно раздражало и беспокоило нас обоих, что нам казалось чрезмерным, более чем достаточным, переступающим все границы.

А несколько часов спустя, когда они наконец все же отправились в театр, снег взял свое, начисто выбелив город, облепив

голые ветви, постепенно запорошив следы, засыпав дорожки, осев белыми тающими шапками на освещенных прожекторами кронах платанов и приглушая своей белой мягкостью все уличные шумы.

Так кровь, тихо пульсирующая в барабанных перепонках, сообщает добрые вести.

Я думал, что это я лгу ему, ибо в то время я даже не подозревал, что он тоже меня обманывает.

Точнее, то была вовсе не преднамеренная ложь, а скорее систематическое и взаимное умалчивание о некоторых вещах, которое, незаметно распространяясь, постепенно лишает смысла весь разговор.

Он занят, говорил он мне, он ждет звонка, он придет, он посмотрит позже, я должен идти к себе, он хочет побыть наконец один.

Телефонный звонок был правдой, он действительно ждал чего-то, но чего он ждал, что скрывал от меня, я понять не мог.

Наверное, всем знакомы те странные примирения, которые на самом деле только продляют раздор; и тогда, подняв воротники своих теплых пальто, они шагали рядом друг с другом под снегопадом, шагали, на посторонний взгляд, вальяжно, сунув руки в карманы, молча, не переглядываясь, мягко ступая в чавкающий под ногами мокрый снег.

Эту видимость улыбчивого спокойствия им придает чувство собственного достоинства, но в действительности все не так: внутренне оба напряжены страхом за себя и стремлением сохранить самообладание, и эта их напряженность как раз и есть та единственная общность, та связь, которую невозможно порвать именно потому, что никто из них не способен по-человечески объяснить причины собственного беспокойства.

Они ждут поезда на станции метро «Зенефельдерплац», и тут происходит нечто весьма необычное.

До моего отъезда на родину оставалось полторы недели, и мы никогда больше не упоминали о моих планах вернуться сюда.

Станция была пустынна, а надо сказать, что эти голые, гулкие, продуваемые сквозняками мрачные станции, построенные еще в начале века и потому играющие роль и в моей воображаемой истории, освещаются очень скудно, так что было почти темно.

Чуть поодаль, на противоположной стороне платформы, одиноко маячила дрожащая как осиновый лист фигура.

Неряшливого вида погруженный в себя юнец привлекал внимание только тем, что вся поза его напоминающего тень,

но при этом все же четко очерченного тела выдавала, как сильно он мерзнет; плечи вздернуты, голова втянута, руки прижаты к туловищу, он пытался согреть ладони, держа их на бедрах, и в то же время казалось, будто он привстает на цыпочки, чтобы оторваться от холодного пола; изо рта юнца свисала горящая сигарета, которая временами освещала мрачную станцию утешительным огоньком.

Теряющийся в темной глубине тоннель подземки долгое время оставался пуст и нем, поезд не появлялся и даже не намекал на свое приближение гулом мотора, между тем каждая минута была у меня на счету; если я хотел описать историю этого спектакля, включая все мелочи, о которых мне стало известно в процессе его подготовки, то я не мог упустить именно те минуты, в которые многомесячный труд завершился триумфом.

И тут этот юноша с сигаретой во рту вдруг направился к нам.

Точнее, направился явно к нему.

Сперва я подумал, что они, наверно, знакомы, хотя, судя по внешнему виду юнца, это было не очень-то вероятно.

Меня охватило смутное недоброе чувство.

Он шел беззвучно, слегка раскачиваясь, на каждом шагу как-то вскидывая свое тощее тело, словно ему нужно было не только идти вперед, но и двигаться вверх, а еще неприятное впечатление производило то, что при ходьбе он старался не опускаться на пятки, обут он был в какие-то смахивающие на тапочки, расплзающиеся по швам чужаки – на босу ногу, отчего при каждом подпрыгивающем шаге из-под брюк выглядывали голые лодыжки.

Сострадания к нему я не испытывал – это социальное чувство обычно защищено у людей добротным теплым пальто.

На нем были узкие и довольно короткие штаны, потрепанные и зияющие на коленях дырами, и какая-то куцая, по пояс, красная клеенчатая куртелька, издававшая на ходу ледяное шуршание.

Мельхиор, стоявший к нему спиной, обратил внимание только на этот холодный, отдававшийся эхом в пустынном зале шорох.

И с элегантною небрежностью дернув плечом, развернулся к нему, но юнец, как только он повернулся, застыл на месте и уставился на него бешеным, полным необъяснимой враждебности взглядом.

Здесь можно было бы рассказать кое-что о ночных парках, где под кронами темнота черней черного и где незнакомцы, в предвкушении сладких прикосновений, призывно сигналият друг другу вспыхивающими огоньками своих сигарет.

Это предел глубины, на которую мы способны погрузиться в себя, возвращаясь в животное состояние.

Трудно было решить, куда он смотрел, мне казалось, что на его шею.

Он был не пьян.

730

На подбородке чернело что-то вроде козлиной бородки, но, приглядевшись, я понял, что это были не волосы, а сам его остренький подбородок, обезображенный то ли каким-то изъязном, то ли жуткой кожной болезнью, то ли черно-лиловым кровоподтеком – результатом прицельного удара в челюсть или неожиданного падения.

Лицо Мельхиора не побледнело.

Но черты его, отражавшие полное безразличие к внешнему миру, все же как-то переменялись, передавая резкую смену душевного состояния, и от этой неожиданной перемены мне показалось, будто он побледнел.

А еще по его изменившемуся лицу видно было, что, хотя этого пацана он не знает, он все же открыл в нем что-то очень важное для себя, что-то необычайно важное, что ужасает его и вместе с тем наполняет давно ожидаемой радостью, словно ему вдруг открылась спасительная идея или возникло неодолимое побуждение, но он старался, чтобы я этого не заметил, то есть владел собой.

Может ли человек в своей памяти достигнуть таких глубин, что бы отпала сама надобность вспоминать?

И все-таки он себя выдал, потому что, метнув на меня быстрый и неприязненный, злой, бесконечно холодный взгляд, говоривший, что я здесь лишний, он, так, будто я совершил какое-то тяжкое преступление против него, тихим и низким голосом, едва шевеля губами, словно желая скрыть за ними смысл своих слов от вперившегося в него юнца, велел мне лиять отсюда.

Что на его языке звучит еще более грубо.

Я подумал, что он мне мстит.

В чем дело, спросил я беспомощно.

Вали, говорю, утробно, на разжимая зубов, рыкнул он, а потом, сунув руку в карман, выудил сигарету и, ткнув ее в рот, двинулся к парню.

Тот стоял неподвижно, набычившись, приподнявшись на цыпочки, чуть подавшись вперед.

Я не мог ничего понять, и хотя этот новый поворот событий уже не был столь неожиданным, я почему-то был убежден, что дело кончится потасовкой; по станции, все еще безлюдной, гулял затхлый сквозняк.

Он подошел к нему совсем близко, почти уткнувшись в торчащую изо рта юнца тлеющую сигарету, и что-то сказал ему, отчего тот не только опустился на пятки, но, попятившись, сделал несколько неуклюжих шагов назад.

Мельхиор же не отстает от него, нависает над ним всем телом, и мне уже кажется, что теперь нужно защищать не его, а скрывшегося за его спиной мальчишку.

Они стоят, как два сумасшедших, один безумней другого, Мельхиор, побудительно, опять что-то говорит ему, на что тот, нерешительно отклонившись в сторону, с поспешной услужливостью выхватывает изо рта сигарету и дрожащей рукой дает ему прикурить.

Уголек, видимо, расшатавшись от судорожных касаний их сигарет, срывается и падает на бетон платформы.

Не обращая на это внимания, мальчишка начинает лихорадочно что-то тараторить, говорит он вполголоса, и единственное, что мне удастся понять, это то, что он говорит о холоде, одубел, одубел, вновь и вновь раздается в гулком мраке станции.

Тут в тоннеле послышался рокот приближающегося состава.

И если до этого в поведении Мельхиора было что-то непостижимо маниакальное, то теперь неожиданно накотившая на него маниакальность вдруг куда-то девается.

Все кончено, была – и нет.

Он шарит в кармане, сыпает в протянутую ладонь юнца несколько монет, поворачивается и с разочарованным видом устало бредет ко мне.

На ходу он швыряет под ноги свою сигарету и со злостью размазывает ее по перрону подошвой.

За считанные секунды, вместившие в себя все эти перипетии, он действительно побледнел и вернулся ко мне взбудораженным, униженным и убитым.

Я тем временем разглядывал мальчишку, разглядывал так, будто вид его мог что-то мне объяснить, а он, в свою очередь, опять приподнявшись на цыпочки, в одном кулаке сжимая доставшуюся ему мелочь, а в другом растирая погасшую сигарету, смотрел на меня так осуждающе, безутешно и укоризненно, как будто причиной всего происшедшего был именно я, и поэтому он вот-вот бросится на меня, сойдет с ног и прикончит.

И в следующую долю секунды это едва не произошло.

Ну смотри же, смотри на меня своими гляделками, пытаясь перекричать грохот вкатывающегося на станцию поезда, во всю глотку орал он.

Ты думаешь, вы думаете, от меня можно откупиться.

Откупиться, орал он, у всех на глазах.

И словно стартующий спринтер, подавшись всем своим тощим телом вперед, рванулся к нам.

Времени на размышления не было.

В паузе между его воплями Мельхиор рванул на себя дверь ближайшего к нам вагона, толкнул меня внутрь, прыгнул следом за мной, и оба мы, продолжая как замороженные смотреть на бегущегося юнца, попятились от него.

Вы думаете так заслужить прощение?

Мы пятились вглубь вагона; тем временем острый как бритва голос безумия метался над головами спокойно сидевших тут и там пассажиров.

Прощение за гроши не купишь!

Лицо, все в красных воспаленных прыщах, влажные, липкие и тонюсенькие, как у ребенка, светлые волосы и спокойные, насколько не выражающие его безумную ярость голубые глаза.

Его устами кричал какой-то неведомый бог, которого он вынужден был повсюду таскать в себе.

И пока мы так отступали, ища убежища среди вскинувших головы пассажиров, из другого вагона со скучающим видом, держа руки на висевшей на шее кожаной сумке, вышла кондукторша и не спеша двинулась вдоль состава, при этом лицо ее оставалось совершенно невозмутимым, не реагирующим на эти жуткие вопли, заканчиваем посадку, говорила она нараспев апатичным голосом, хотя, кроме юного крикуна, на перроне не было ни души, заканчиваем посадку, и непонятно было, откуда берется в мире этот столь безупречный и столь постыдный порядок вещей.

Крикуна, преграждавшего ей дорогу, она попросту оттолкнула в сторону.

Потеряв равновесие, он шатнулся и, чтобы оставить на своем счету хоть маленькую победу, хоть что-то, какую-то сатисфакцию, которая на мгновение могла бы утешить его за все причиненные ему унижения, с размаху швырнул в уже закрывающиеся двери, швырнул нам в лицо – нет, не деньги, а размятую в кулаке, потерявшую свой уголек сигарету, но не попал в нас, и мусорные останки этой позорной сцены приземлились у наших ног.

Когда в мчащемся поезде люди наконец успокоились и перестали глазеть на нас любопытными, жадными до скандала, укоряющими глазами, желающими понять, что же мы сотворили с этим несчастным юношей, я спросил его, что все-таки это было.

Мельхиор не ответил.

Он стоял неподвижно, разгоряченный, бледный, скрывая свой взгляд за вцепившейся в поручень рукой, не желая даже смотреть на меня.

Но, наверное, нет людей настолько нормальных, чтобы их не могли затронуть слова сумасшедшего.

И трясаясь в этом индустриальном грохоте, держась рядом с ним за поручень, я почувствовал, что и сам подступаю к границе безумия.

Колеса, рельсы.

Что на следующей остановке я молча выйду и покончу, покончу со всем, оставив все это на рельсах.

Но, как выяснилось позднее, у меня не хватило смелости даже проглотить таблетки.

Нет, то было не безумие и даже не грань безумия.

В те годы мне явно не хватало ощущения дали; каждое мое слово и каждый жест, все мои тайные вожеления, цели, стремления и намерения направлены были только к тому, чтобы найти удовлетворение, полное воплощение и, более того, искупление всех зол внутри или на поверхности других человеческих тел.

Да, да, мне не хватало именно ощущения дали, даже если это великолепная даль чуждого мне божества безумия, ибо то, что я ощущал в себе как безумие или греховность, говорило не о хаосе природы, а только лишь о смешных нелепостях моего воспитания и чувственных неурядицах моей юности.

Или, напротив, — даль милостивого, карающего, единственного, благодатного божества, ибо то, что мне мыслилось благодатью, было вовсе не великолепным божественным миропорядком, но плодом моих мелочных ухищрений, злобы и надувательства.

Я полагал, что могу исключить из своей жизни ощущение сверхъестественности, я был трусом, пасынком нашей эпохи, карьеристом собственной жизни и верил, что все тревоги и страхи, чувство отверженности могут быть смягчены или обойдены за счет некоторых качеств плоти.

Но можно ли разобраться в человеческих ближних делах, не понимая божественных дальних дел?

Дерьму до небес никогда не подняться, оно может только копиться и оседать.

Склонившись к нему, я шептал ему прямо в ухо, повторяя: что это было, ожидал ли он этого, спрашивал я упрямо, хотя лучше мне было бы помолчать и набраться терпения.

Наконец ему надоел мой шепот, и он достаточно громко ответил: ты же видел, я попросил у него прикурить, всего-навсего прикурить, и понятия не имел, что напоролся на идиота.

И я ощутил в себе мою сестренку, которую я с тех пор никогда не видел, ощутил в себе ее грузное тело.

Я казался себе таким домом, где все двери и окна открыты настежь, куда может войти, заглянуть любой человек, откуда бы он ни явился.

Ну хватит с меня твоей лжи.

На это он не ответил.

Ну раз ты не отвечаешь, сказал я ему, то на следующей остановке я выйду, и больше ты меня никогда не увидишь.

На что он качнул рукой, висевшей на поручне, и с размаху ударил меня локтем в лицо.

Весной, в Венгрии, глядя в окно, я любовался послеполуденным видом окрестностей.

А потом наступил день премьеры, когда после полудня вдруг повалил снег, мягко, густо и медленно, рыхлыми влажными хлопьями, которые временами шарахались и вихрились от порывов ветра.

Снег оседал на крышах, покрывал газоны в парках, дороги и тротуары, но торопливые ноги и шуршащие шины колес тут же изгаживали его слякотными черными полосами, следами, тропинками и ходами.

Мы шли с ним в театр.

Слишком ранним был этот белый снег; правда, наш тополь уже обронил с кружевной верхушки последние сухие листочки, но смыкающиеся кроны платанов на Вёртерплац стояли еще зелеными; а несколько часов спустя снег все же победил: весь город стал белым, снег облепил голые ветви, запорошил следы и тропинки и украсил белыми шапками просвечиваемые вечерней иллюминацией кроны платанов.

Поскольку она была единственной, кто остался в живых, в Будапеште я отправился к Марии Штейн, желая узнать, о ком из этих двоих мужчин я должен вспоминать как о своем отце, хотя на самом деле это было не так уж важно.

Прошлогодний бурьян достигал мне до пояса, а на ступеньках набережной, на жарком послеполуденном солнце прохлаждались раздетые по пояс люди.

Под ногами у них, кое-где заворачиваясь воронками, лениво текла вода, в которой, как в зеркале, дрейфовали уже зеленеющие на острове с судоверфью ивы.

То было не воскресенье, потому что с острова доносился скрежет, все шипело и лязгало, и огромные краны медленно поворачивали свои шеи.

Сперва, следуя по плотно утоптанной тропинке вдоль пригородной железной дороги, я отправился к станции Филаторигат; я знал, что тело моего отца сначала притащили сюда, где оно и лежало на скамье в зале ожидания до прибытия труповозки.

В зале станции было пусто, прохладно и пахло опилками, с помощью которых в помещении, видимо, производили уборку; когда я входил, у меня под ногами прошмыгнула наружу кошка; длинная скамья стояла у стены.

В окошечке кассы отодвинулась занавеска, и из него выглянула кассирша.

Спасибо, билет мне не нужен, сказал я.

Тогда чего я здесь делаю?

Я был уверен, что она тоже видела труп, а если не видела, то во всяком случае знала об этой истории.

Это не казино, а зал ожидания для пассажиров, и если я не собираюсь никуда ехать, то лучше мне подобру-поздорову убраться отсюда.

В конце концов я так и не осмелился спросить у Марии Штейн, кого же из этих двоих мужчин я должен считать отцом, и позднее я совершенно напрасно пытался разглядывать в зеркале свое лицо и изучать особенности своего тела.

Тем же самым, установлением физического происхождения и своей духовной идентичности, я занимался и в Хайлигендамме, стоя у зеркала в гостиничном номере, и моя нагота казалась мне чем-то вроде плохо сидящего на мне костюма; но полицейские барабанили в дверь вовсе не потому, что хотели что-то узнать об обстоятельствах исчезновения Мельхиора, а потому, что гостиничному швейцару, открывшему мне дверь в неурочный час, я со своей разбитой о камни физиономией показался подозрительным, и он позвонил в полицию.

К рассвету ветер утих.

Я же думал тогда лишь о том, что я должен навеки забыть Мельхиора.

Они попросили меня предъявить документы, я потребовал разъяснить причину их появления, но мне велено было собрать вещи, и меня отвезли в полицейский участок близлежащего Бад-Доберана.

Хотя снаружи был полный штиль, мне слышалось яростное беснование моря.

Сидя в промозглой камере, я решил, что, не считаясь с последствиями, я должен убить моего друга с помощью коридорного.

Когда же мне принесли извинения и вернули паспорт, рекомендуя при этом как можно быстрее покинуть страну, я стал заигрывать с мыслью: а что, если я сейчас расскажу им о том, как бежал Мельхиор, и к их вящей радости скажу еще, что коридорного казнили несправедливо, потому что убийцей был я.

Море тем временем успокоилось и мягко плескалось у берега, пока я ожидал поезда.

На сиротливой скамейке, вообще-то, мне делать было нечего, так что я вышел из прохладного станционного здания на жаркий весенний солнцепек.

Я знал, что застану Марию Штейн дома, потому что она все еще не смела покидать квартиру и еду для нее покупали соседи.

Она открыла мне дверь с сигаретой в руке, в тренировочном, вытянутом на локтях и коленях темно-синем костюме.

И не узнала меня.

В последний раз она видела меня на похоронах моей матери.

До этих похорон я не видел ее пять лет, с тех пор как ее посадили; ее выпустили из тюрьмы чуть раньше, но она к нам не приходила.

А может, она притворилась, что не узнала меня, чтобы не нужно было со мной разговаривать.

Она провела меня в комнату, где они мучили друг друга всю ночь напролет; кровать была не застелена, и из окна была видна станция.

Мой отец, или человек, чье имя я ношу, говорил ей: ну хорошо, Мария, я все понимаю, ты права, я согласен, и единственное, о чем я прошу тебя, – выглянуть в это окно.

И прошу тебя не ради себя, просто я хочу, чтобы ты убедилась, что я действительно ухожу.

Ты сделаешь это, спросил мужчина.

Она кивнула, хотя не совсем понимала, что он имеет в виду.

Мужчина оделся, она надела в ванной халат, он без слов вышел из квартиры, а она подошла к окну.

Но перед этим она посмотрелась в зеркало, прикоснулась рукой к волосам и лицу – волосы были седыми и казались чужими, но кожа лица выглядела совсем гладкой, отчего она поняла, что нужно найти очки.

Она нащупала их под кроватью и теперь могла видеть мужчину вполне отчетливо.

По дорожке из мерзлого щебня, среди достигавших до пояса гнилых городских сорняков, в свете уличных фонарей на стылом рассвете, казалось, двигалось пустое пальто.

Первый снег в том году выпал лишь в январе.

И зрелище это наполнило ее радостью, ведь всю эту ночь, на смятой постели она повторяла, что все напрасно, что ничего не нужно, каждым вздохом, вскриком и прерывающимся дыханием заглушая в себе жуткий внутренний протест: нет, нет, она не может стать женой убийцы, не может и не желает.

Я останусь твоей любовницей, как и прежде, в этом я не могу отказать себе, но не более.

Мне нужно воспитывать двоих детей, но я сумасшедший, сказал он.

Нет, ничего более, мы можем наслаждаться друг другом просто, как животные.

Но он хочет не этого, сказал мужчина, входя в нее, уже не впервые за эту ночь.

И всю ночь на губах у нее было это слово, но она так и не произнесла его, сказав вместо этого: да какое мне дело до твоих детей.

Сынок, я могу сказать это только тебе, ему я сказать не посмела, что не могу стать женой убийцы.

И она повернулась так, чтобы мужчине не оставалось иного, как войти в нее еще глубже.

И знай, что всегда, я всегда была влюблена не в тебя, а в него, в него, и люблю его по сей день, его и никого больше.

Янош Хамар, в которого была так страстно влюблена Мария Штейн, через несколько месяцев уехал в Монтевидео, заняв пост временного поверенного посольства; а его светлый полотняный костюм так и остался у нас.

Была влюблена, влюблена в него, со стоном отвечала она на каждое его движение, всю жизнь любила только его, никого другого, и даже в тюрьме продолжала любить, потому и выжила, о тебе же даже не вспоминала, тобою я просто пользовалась.

Ну и пользуйся.

Да, да, просто пользовалась.

Возможно, что все происходило не совсем так.

Но достоверно одно: на рассвете перед Рождеством одна тысяча девятьсот пятьдесят шестого года мужчина, пройдя по темной тропинке, остановился у хорошо освещенной железнодорожной насыпи, в том месте, где пригородные поезда, заложив вираж, подкатывают к станции Филаторигат.

Стоявшая у окна женщина хотела было отвести взгляд, потому что смотреть уже было не на что, когда вдруг заметила, что мужчина развернулся и, наверное, отыскав глазами окно, что-то вытащил из кармана.

Это было его последнее желание: чтобы она увидела.

Он выстрелил себе в рот.

Она называла меня сынком, но говорила со мной как со взрослым и при этом не придавая значения тому, чей я сын.

По каким-то случайным ее словам я понял, что между ними произошло, и хотя точный смысл этих слов я распознал много позже, кое-какие детские впечатления уже тогда давали мне некоторое представление о той безнадежной любви.

Сынок, ты единственный, кому я могу сказать, ему я этого не сказала, что не могу стать женой убийцы.

Не могу стать вам мачехой.

И если есть все же какой-то бог, то он простит меня, потому что наверняка понимает, что такое честь.

Между прочим, он знал обо всем за два дня и мог бы предупредить меня.

Я конечно бы не сбежала, я сдалась бы сама, если б они попросили меня, я много чего для них делала; но не так, не такой ценой.

Моя мать зарабатывала на жизнь своим телом, сынок, была красавицей и при этом шлюхой, несчастной чахоточной пролетарской шлюхой, иногда продававшей себя за гроши, но все же она объяснила мне, что такое честь.

И если тебе этого не объяснили, сынок, то я тебе объясню.

Они ворвались, взломав мою дверь, вытащили меня из постели, вспарывали ножами обивку стульев, хотя кому, как не им, было знать, что у меня, которая отдала их конторе всю жизнь, они ничего не найдут, а ежели и найдут, то найдут такое, что свидетельствует против них; я отдала им всю свою жалкую жизнь.

Могла бы отдать, если бы был на свете какой-то бог, но его, увы, нет.

И за все, что случилось, кроме себя, мне винить некого.

Они надели на меня наручники, при этом нарочно разбудив своим шумом весь дом, чтобы знали, что даже гебешнице есть чего опасаться, завязали глаза и, пиная под зад, спустили меня с пятого этажа так, что на каждой площадке я считала лбом стены.

Забрали ее пасхальным утром, в тысяча девятьсот сорок девятом году.

А за день до этого твоя мать сообщила мне, что у вас в саду расцвели кусты «золотого дождя», и мы с ней веселились, наконец-то весна, щебетали по телефону, хотя она тоже знала.

Она знала, что ждет меня в ближайшие три дня, да я и сама догадывалась, только представить себе этого не могла.

Я об этом еще никому не рассказывала, да и не могла рассказать, потому что они меня до сих пор держат на крючке, но тебе, сынок, я все-таки расскажу.

Я была для них мелкой рыбешкой.

В управлении контрразведки она отвечала за техническое обслуживание конспиративных квартир – за отопление, мебель, уборку, за питание персонала, когда там кто-то жил.

Мое звание было гораздо выше, чем должность, которую я занимала, и я им понадобилась только для полноты картины, чтобы среди обвиняемых был хоть кто-нибудь, связанный с конкретными практическими задачами.

До сих пор жалеет она только об одном – что не устроила им кровавую баню, не перестреляла как бешеных псов.

Чтобы схватить пистолет, время у меня было, но я думала, что это какая-то ошибка, недоразумение, которое можно легко прояснить.

Но сейчас они меня уже не обманут.

Они следят за каждым моим шагом, я у них во всех списках.

К себе они меня не пускают, но и выйти куда-нибудь не дают.

И куда я могла бы пойти?

Соседи по дому знают только одно: что я сидела.

Но в любой момент они могут распустить слухи, что я из органов.

Она приложила палец к губам и, поднявшись, знаком велела мне следовать за ней.

Мы вошли в ванную, где она спустила воду и открыла все краны; все углы были завалены грязным бельем.

Хихикая, она прошептала мне на ухо, что они хотят ее отравить, но она не дура.

Ее губы щекотали мне ухо, и холодное стекло очков касалось моего виска.

Но, к счастью, ее соседка тоже кое-что понимает, и каждый день приносит ей молоко из другого магазина.

Молоком это сделать проще всего.

Когда ее выпустили, они дали ей эту квартиру, потому что жучки здесь были уже установлены.

Она закрыла краны, и мы вернулись в комнату.

Ну и пусть, пускай слушают, что они со мной сотворили.

Этому парню я все расскажу.

Я была, словно муха, которую накрыли огромной горячей ладонью.

Но теперь вы услышите, что вы со мной сотворили.

И с этого момента она говорила уже не мне, и я тоже чувствовал, что в комнате нас не двое.

Они посадили ее в машину и долго куда-то везли.

Потом, судя по звуку, открыли решетку канализации или какой-то люк и стали спускать ее вниз по отвесной железной лестнице.

Ни в одном из знакомых домов ничего подобного не было, то есть с ней обошлись особо, чтобы знала, где раки зимуют.

Дальше они пробирались по колено в воде, а потом, когда поднялись по каким-то ступенькам, за спиной у нее захлопнулась железная дверь.

В помещении было тихо, скованными наручниками руками она сорвала с глаз повязку, надеясь, что глаза со временем привыкнут к темноте.

Прошло несколько часов, руки нащупывали везде влажный бетон, помещение было огромным, ибо каждое ее движение отдавалось в нем гулким эхом.

Железная дверь распахнулась, и кто-то вошел, но в помещении оставалось так же темно, она попятилась, пытаясь увернуться от них, их было двое, посвистывая резиновыми дубинками, они шли за ней следом, однако довольно долго ей удавалось избегать ударов.

Очнувшись она на обтянутой шелком banquetке.

И не могла понять, где она; казалось, во сне она перенеслась в какой-то барочный замок.

Чутье подсказывало ей, что нужно притвориться спящей, и тогда она вспомнит, что с ней произошло.

Наручников на руках не было, что ввело ее в заблуждение, и она села.

Но за нею, по-видимому, откуда-то наблюдали, потому что как только она села, дверь открылась и в зал вошла женщина с чашкой в руках.

Показалось, что был уже вечер.

Чай был чуть теплым.

Она была благодарна женщине за этот чай, но, сделав глоток другой, заметила, что та как-то странно смотрит на нее, да и чай на вкус был тоже странный.

Женщина улыбнулась, но взгляд ее оставался холодным, точнее, казалось, она напряженно следит за ней, словно бы ожидая какой-то реакции.

Мария Штейн знала, что они экспериментируют с разными средствами, и пыталась определить в тепловатом чае чужеродный вкус, и это было последнее, что ей запомнилось.

Когда же она очнулась, все тело ее разламывалось от боли; все казалось невероятно огромным, все расплывалось, любой предмет, на котором она останавливалась глазами, тут же начинал увеличиваться в размерах, из чего она заключила, что, видимо, у нее сильный жар.

А в голове звучали громкие фразы.

Ей казалось, будто она кричала, и каждое слово отзывалось такой жуткой болью, что ей пришлось открыть глаза.

Она увидела трех мужчин.

Один из них держал фотокамеру, и едва она повернулась к ним, щелкнул затвором, и дальше снимал уже непрерывно.

Она орала на них, требуя объяснить, кто они такие и чего от нее хотят, где она и почему ей так плохо, требовала пригласить врача, попыталась спрыгнуть с постели – с какого-то дивана, стоявшего у стены залитого солнечным светом зала со множеством зеркал, но трое мужчин лишь молча уворачивались от нее, а тот, что с камерой, все продолжал снимать, пока она бесновалась.

Но ноги не слушались ее, она, упав на колени, вцепилась в стул и хотела выбить из рук фотографа его аппарат, но тот и это заснял.

А двое других, набросившись на нее, стали ее избивать и пинать, что, опять же, снимал фотограф.

Все это происходило на второй день.

А на третий, снова завязав ей тряпкой глаза, они на веревке потащили ее наверх по той же отвесной лестнице; она то и дело ударялась о перекладины лестницы и все же радовалась, что по крайней мере знает, где она, потому что слышала, как с лязгом захлопнулась металлическая дверь.

Потом ее долго куда-то везли, не давая ни пить, ни есть, ни сходить по малой нужде, и она, совсем обессилев, справила ее под себя.

Сперва под колесами зашуршал гравий, машина остановилась, заскрежетали железные ворота, и они въехали в крытое помещение, по-видимому в гараж, потому что в автомобиле запахло бензином и выхлопными газами, после чего ворота с грохотом затворились.

Ее охватила радость.

Если сейчас ее поведут вниз по узкой винтовой лестнице, а потом – по длинному коридору, где каменный пол выстлан линолеумом, чтобы заглушать шаги, а потом запихнут в клетушку, что-то вроде дровяника, то она наконец поймет, где находится.

Так значит, ее привезли назад, в Буду.

На конспиративную виллу на улице Этвеша, этот дом она выбирала сама, под ее же началом он перестраивался, и значит, не все потеряно, и скоро она будет в окружении знакомых лиц.

Винтовая лестница в доме была, но не было линолеума; была клетушка, откуда-то рядом тянуло запахом свеженаколотых дров и сернистой вонью кокса, но стена, которой она коснулась связанными руками, была сырая, кирпичная.

Она лежала на чем-то мягком, впадая время от времени в забытие.

От жажды губы ее так распухли, что она не могла их сомкнуть, во рту пересохло, язык прилипал к воспаленным кровотокающим садидам.

Она попыталась приглушить жгучую пульсирующую боль, прижимаясь лицом к отсыревшей стене, но влаги на ней было недостаточно, чтобы смочить язык.

Через какое-то время ей удалось стащить с глаз повязку.

Нет, это был не тот дом, наверняка не тот, и значит, надеяться не на что.

Над головой, совсем высоко, было что-то вроде окошка; оно было прикрыто куском картона, вдоль неровных краев которого просачивалось немного света и воздуха – то есть стекла в окне не было.

В стене она обнаружила ржавый крепежный хомутик с довольно острым краем и стала перетирать им веревку, пока наконец ей не удалось освободить руки.

Теперь у нее был кусок веревки, однако слишком короткий, чтобы сделать петлю и завязать узел, да и закрепить ее было не на чем.

Во сне ей пригрезилась нежная музыка, настолько прекрасная, успокаивающая, что ей было жаль, что она проснулась, но музыка продолжала звучать, правда теперь уже не столь завораживающе – мелодия была довольно обыкновенная, танцевальная.

Она решила, что это галлюцинация, она знала, что жажда может свести человека с ума, вот она и сошла, но еще не настолько, чтобы не осознавать этого.

Хорошо, значит, сошла с ума, только было непонятно, когда же это случилось.

Она знала даже, что вот сейчас на нее снова накатит приступ ярости, она его уже чувствовала; в полном сознании она бросилась на стену и стала об нее биться, и билась, невзирая на то что силы ее почти иссякли.

Музыка доносилась снаружи; в подвале стало прохладней, и сквозь щели почти не проникал свет.

Наверное, был уже вечер.

743

Но теперь она уже не могла решить, когда видит сон, а когда – галлюцинации, которые не поймешь, то ли есть, то ли нет; под действием музыки сквозь стену пробился маленький ручеек и заструился, потом превратился в поток, прорвало трубу, подумала она, а вода, пузырьясь и пенясь, уже падала со стены грохочущим водопадом, в котором она чуть не захлебнулась.

В следующую минуту, а может быть, через полчаса или через два дня, она в этом была уже не уверена, она трезво подумала, да ведь все в порядке – раз она пытается выковыривать из щелей между кирпичами размягченные влагой кусочки раствора.

Ей даже удалось на руках подтянуться к окну, но тут снова заиграла музыка, и она сорвалась назад.

Но не сдалась и с новой попытки все-таки дотянулась кончиками пальцев, ногтями до края картонки.

Вися на стене, она теребила ее до тех пор, пока та не сдвинулась с места и не выпала из оконца.

И она увидела через него освещенную разноцветными фонариками террасу, на которой под эту музыку танцевали одетые по-вечернему люди, а на ступеньках, что вели в темный сад, стояли двое мужчин и на каком-то незнакомом ей языке разговаривали с весьма красивой молодой женщиной.

На женщине было платье из затканного цветами муслина, лицо выглядело серьезным.

И если бы чуть спустя за ней не пришли, не провели как раз по тем самым ступенькам, если бы двое мужчин и молодая женщина вполне вежливо не уступили бы им дорогу, если бы они не прошли по террасе среди танцующих, чтобы войти в дом, то она до сих пор бы думала, что вечеринка в саду с фонариками была одним из ее видений.

По запахам, по обрывкам неродной речи, по виду и форме предметов она предположила, что, возможно, ее переправили через границу и она находится сейчас где-то под Братиславой.

Сперва они показали мне подпись твоего отца и предложили прочесть его свидетельские признания, а потом – протокол допроса Яноша Хамара, где он подтверждал достоверность и истинность этих показаний.

Напротив меня, удобно устроившись в креслах, сидели двое мужчин.

Я сказала, что это неправда.

Они удивились, что значит неправда, с чего я это взяла, и с хохотом, перебивая друг друга, стали клеймить самыми похабными выражениями мою с ними связь.

Либо они лгут, либо их, как меня, тоже пытали, а может, оба сошли с ума, других вариантов нет – это все, что я вам могу сказать.

На столе стоял стакан с водой.

Протокол твоего допроса мы уже подготовили, сказал один из них, подпишешь – тогда сможешь выпить.

Я сказала, что никакого допроса не было, поэтому и подписывать нечего.

После чего другой подал знак, и меня вытащили в боковую дверь.

Как только дверь закрылась, меня начали избивать, швырнули в какую-то ванну и пустили горячую как кипяток воду, били по голове насадкой для душа и при этом орали: шпионка, изменница, потаскуха, пей теперь сколько влезет.

Я очнулась в подвале, и вскоре меня опять потащили наверх.

Прошло не так много времени, потому что одежда моя была все еще насквозь мокрой и все так же звучала музыка.

Однако на этот раз меня повели не через террасу, а вверх по винтовой лестнице, в гараж, и в дом, пройдя по садовой дорожке, мы попали, видимо, через главный вход.

Меня ввели в небольшую комнату, где стоял только огромный письменный стол и стул перед ним.

За столом, в мягком свете настольной лампы, сидел светловолосый молодой человек; музыка была слышна и здесь.

Когда я вошла, он вскочил и с величайшей радостью, какую только можно представить в таких обстоятельствах, с видом, будто ему давно не терпелось увидеть меня, приветствовал меня по-французски, предложил сесть и, опять-таки по-французски, выразил свое возмущение тем, как со мной, несмотря на его строгие указания, до сих пор обращались.

Но теперь все будет иначе, он это обещает.

Я спросила его, почему мы должны говорить по-французски.

Было странно, что в его поведении не было ничего неискреннего, и во мне зародилась крохотная надежда, что я наконец оказалась в хороших руках.

Он виновато пожал плечами и сказал, что это единственный язык, на котором они могут понять друг друга, а между тем полное взаимопонимание сейчас крайне необходимо.

Но откуда ему известно, не сдавалась я, что я говорю по-французски.

Ну что вы, товарищ Штейн, мы знаем о вас все.

Ведь когда в мае тридцать пятого ваш друг вышел из тюрьмы, он признался вам, что был завербован тайной полицией как осведомитель, не так ли, но тогда вы забыли доложить об этом немаловажном факте и вскоре убили с ним в Париж, вернувшись с фальшивыми паспортами только после начала немецкой оккупации, по указанию партии, или я ошибаюсь?

Все почти верно, ответила я, только моего друга тайная полиция не вербовала, он ничего об этом не говорил, и, следовательно, мне не о чем было докладывать, а в Париж мы отправились, потому что здесь не было работы и нам нечего было есть.

Давайте не будем тратить время на эти бессмысленные препирательства, сказал он, и перейдем к делу.

На него возложена почетная миссия передать просьбу, и он это подчеркивает, именно просьбу, с которой товарищ Сталин обращается лично к товарищу Штейн.

Она состоит всего из пяти слов:

Пожалуйста, не упрячьтесь, товарищ Штейн.

Она надолго задумалась, ибо на этот третий день с ней уже не могло случиться ничего такого, что показалось бы невероятным, и, вглядываясь в лицо этого светловолосого молодого человека, она вдруг почувствовала, что ждала этой просьбы всю свою жизнь.

Если это действительно так, сказала она, то Мария Штейн хотела бы передать товарищу Сталину, что в данных обстоятельствах она не может выполнить его просьбу.

Светловолосый молодой человек несколько не удивился ее ответу.

Он навалился на стол, кивнул головой и долго смотрел на нее, а потом приглушенным и угрожающим голосом спросил, может ли Мария Штейн представить себе безумца, который взялся бы передать столь дерзкий ответ.

В весеннем небе ярко сияли звезды, потянуло прохладой.

Я знал, что должен наконец встать, она тоже встала, продолжая говорить; немного спустя я пересек ее комнату, она шла за мной, все так же не умолкая.

Я вышел в прихожую, она говорила, я открыл дверь, оглянулся, а она говорила и говорила, даже не понижая голоса.

Тогда я захлопнул дверь и бросился по длинной галерее к лестничной площадке, казалось, все еще слыша ее рассказ, сбежал по ступенькам и, вынырнув из подворотни, бросился по тропинке к железнодорожной насыпи, по которой, заложив вираж, с визгом промчался ярко освещенный пустой состав.

Было уже поздно.

Желтоватый свет уличных фонарей бросал мягкий радостный свет на всю эту белизну.

Отражая его, снег несколько высветлял небосвод, придавал ему желтоватый оттенок и ширь; звуки в этом мягком свечении делались глуше, а там, наверху, из-за тонких краев мрачно и тяжело бегущих снеговых туч то и дело показывала свой холодный лик луна.

В нашу квартиру на Вёртерплац я вернулся, должно быть, около полуночи.

Потопав ногами в гулкой подворотне, я сбил с обуви снег и поднялся наверх, не включая в парадном свет.

Как будто в любой, даже столь поздний час кто угодно мог потребовать у меня объяснения, а что, собственно, я здесь делаю.

Ощупав пальцами бородку ключа, я осторожно вставил его в замок.

Чтобы не разбудить его, если он уже спит.

Дверь с тихим щелчком закрылась за мной – вот и весь шум, который я произвел в темноте.

Осторожно, чтобы не скрипнул пол, почти беззвучно я прокрался до вешалки, когда он сказал мне из спальни, что еще не спит.

Мне показалось, что дверь спальни он оставил открытой не потому, что хотел меня видеть.

Но раз так случилось, то он не хотел прикидываться спящим, потому что такое притворство было бы оскорбительным для него самого.

Я повесил пальто и вошел.

Чувство, что я принес с собой свежесть снега и запах зимы, доставляло мне удовольствие.

Кровать неприятно скрипнула; я, ничего не видя в темноте, все же понял, что он подвинулся, чтобы освободить мне место.

И присел на краешек кровати.

Мы молчали, тем недобрым молчанием, вместо которого лучше было бы говорить – что угодно, о чем угодно.

Наконец, он нарушил это молчание и сказал хриплым голосом, что самым серьезным образом просит простить его за то, что ударил меня, что ему очень стыдно за это и он хотел бы мне все объяснить.

Я не хотел его объяснений, точнее, чувствовал, что не готов к ним, и потому спросил, как понравился ему спектакль.

Сказать, что понравился, он не может, как не может сказать и того, что совсем не понравился, скорее, он был никакой, ответил он.

А Тея?

Она играла неплохо, может быть, лучше всех, без энтузиазма откликнулся он, но даже она не вызвала в нем ни сочувствия, ни восторга, ни отвращения, короче сказать, ничего.

Я спросил, почему он сбежал.

Он не сбежал, он просто хотел домой.

Но почему он бросил меня, почему не дождался, спросил я его.

Потому что видел, что мы с ней нужны друг другу, и не хотел смущать нас своим присутствием.

Я просто не мог ее бросить, потому что они окончательно разошлись с Арно, объяснял я, сегодня утром он съехал с квартиры со всеми своими пожитками вплоть до последнего карандашика и носового платка, но я к этому отношения не имею.

Он молча лежал на кровати, и я тоже молчал, сидя рядом с ним в темноте.

И тогда, как будто он ничего не слышал из того, о чем я говорил, или не находил ничего нового в том немногом, что от меня услышал, как будто это была чужая жизнь, которая больше его не касалась, он продолжил с того, на чем я прервал его: он хотел бы мне кое-что рассказать, вещь, в общем, простую, но все-таки очень сложную, о которой он мне не может рассказывать здесь и поэтому предлагает мне прогуляться.

Прогуляться сейчас, сказал я, желая оттянуть разговор, в эту стужу?

Да, сейчас, сказал он.

Ночь была вовсе не холодной.

Мы неспешным, спокойным прогулочным шагом дошли с ним до Зенефельдерплац и там, где улица Фербеллинер выходит к Ционкирхсплац, пересекли безмолвную Шёнхаузер-аллее, потом свернули на Анкламерштрассе и продолжили нашу прогулку до Акерштрассе, где она и закончилась.

Во время наших ночных прогулок мы никогда не выбирали этот маршрут, поскольку он заканчивается у стены.

И пока мы шли, я разглядывал улицы, площади и дома отстраненным взглядом, словно все они были местом действия придуманной мной истории, а не собственной моей жизни.

Я похитил их у своей эпохи и вполне был доволен тем, что перенес награбленные сокровища в воображаемое мною прошлое, которое позволяло мне хоть чуть-чуть отдалиться от настоящего.

748

На этом отрезке улицы стена совпадает с кирпичной оградой старого кладбища, и за этой оградой, на заминированной и постоянно освещаемой прожекторами нейтральной полосе, высится остов выгоревшей во время войны Ферзёунгскирхе – то есть церкви Примиения.

Это было необычайно красиво: луна просвечивала сквозь голые ребра башни, заглядывала в дуплистое чрево нефа и вяло поблескивала в кое-где уцелевших осколках цветного стекла круглых окон-розеток.

Это было красиво, необычайно красиво.

Два друга стояли рядом и смотрели на церковь и на луну.

Чуть поодаль от них шлепал по мокрому снегу пограничник.

Они видели, как он вышагивал – четыре шага вперед и четыре обратно; и он тоже их видел.

И все это было настолько странным, что я даже забыл, что Мельхиор собирался рассказать мне о чем-то, что не предвещало ничего хорошего.

Он мягко опустил руку мне на плечо, лицо его было освещено лунной, желтыми уличными фонарями и яркими прожекторами, но они не отбрасывали теней, потому что снег отражал весь свет; вокруг нас был не свет, а скорее пронизанная многоцветным свечением темнота.

Короче, я решил бежать, тихо сказал он, все обговорено, и две трети цены, двенадцать тысяч марок, уже выплачены; и добавил, что последние полторы недели он ждет подтверждения.

Он ждет звонка, после которого он должен отправиться на прогулку, за ним будут следить, он должен увидеть курящего мужчину и, когда тот направится в его сторону, попросить у него прикурить, на что незнакомец ответит, что, к сожалению, не взял с собой зажигалку, но все же готов его выкурить.

И какое же это везение, что, бросив нас, он помчался из театра домой, потому что именно в это время ему позвонили.

Вот почему он попросил у этого сумасшедшего пацана огня, но тогда же почувствовал что-то неладное, ведь никакого звон-

ка перед этим не было, однако волнение сделало свое дело, и я должен понять, что в такой ситуации сдерживаться очень трудно, так все и случилось, и я не должен сердиться, что он ударил меня.

Я не помню, когда он убрал руку с моего плеча.

Но зачем говорить об этом именно здесь, прошептал я, пошли отсюда, почему здесь.

Часовой к нам не приближался, но после каждого четырех шагов он останавливался и смотрел на нас.

Пока что я у себя дома, сказал он в своей обычной знакомой манере.

Да, дома, повторил я за ним.

И все это он рассказал мне без малейшего страха, решив отступить от того, что он первоначально задумал.

Он не хотел бы оставить меня без каких-либо объяснений.

Кроме меня, он ни с кем не будет прощаться, ничего не возьмет из своей квартиры, завещание он написал, но, поскольку его имущество все равно будет конфисковано, да и бог с ним, завещание это останется скорее духовным, и он хочет, чтобы я ознакомился с ним только после его отъезда.

Может быть, он еще навестит свою мать, но и ей ничего не расскажет, и было бы хорошо, чтобы я, если это не слишком обременительно, поехал к ней вместе с ним, потому что тогда ему легче будет не проболтаться.

О дальнейших шагах его известят через три дня, и тогда уже не останется времени ни на что.

Так что лучше об этом рассказать сейчас.

Я точно не помню, когда, отвернувшись друг от друга, мы стали смотреть на луну, и я сказал, что меня он ни в каком отношении может не опасаться.

В последующие три дня я буду все делать так, как надо и как лучше ему.

И сказал зря, потому что это звучало как тихий упрек.

Мы замолчали.

Потом я сказал, что, конечно, не помню точной цитаты, но, если не ошибаюсь, Тацит писал о германцах, что у них есть поверье, что самыми счастливыми для рискованного начинания являются дни полнолуния.

Так то варвары, сказал он, и мы громко расхохотались.

И тогда, по обоюдному прерванному нашему движению, я вдруг понял, почему он хотел рассказать мне об этом именно у стены,

на свету, на глазах и слуху бдительного часового и почему нам больше нельзя прикасаться друг к другу.

Я сказал, что лучше всего мне будет вернуться сейчас в Шёневайде.

Да, он тоже так думает, он позвонит мне, сказал он.

Снег на следующий день растаял, и погода установилась сухая и ясная, слегка ветреная, хотя по ночам столбик термометра опускался ниже нуля.

750 Я сидел в квартире Кюнертов, на втором этаже их дома на Штеффельбауэрштрассе и, оставив все двери открытыми, обдумывал самые безрассудные планы.

Последние часы третьей ночи мы провели с ним вместе, сидя в его квартире, как в каком-нибудь зале ожидания.

Ни ламп, ни свечей мы не зажигали; иногда он что-то говорил мне из своего кресла, иногда, из другого кресла, что-то говорил я.

На рассвете, в половине четвертого, телефон издал три звонка, а перед четвертым он должен был поднять трубку, но не говорить ничего, на что, как это было условлено, первым должен был повесить трубку человек на другом конце провода.

Ровно через пять минут телефон издал лишь один звонок, что означало, что все в порядке.

Мы встали, надели пальто, и он запер квартиру.

Внизу, в подворотне он приподнял двумя пальцами крышку мусорного бака и небрежно швырнул в него ключи.

Он заигрывал с нашим общим страхом.

В стеклянном павильоне вокзала Александерплац мы сели в электропоезд, направлявшийся в сторону Кёнигс-Вустерхаузена.

На станции Шёневайде я, тронув его за локоть, вышел и даже не оглянувшись вслед удаляющемуся составу.

Он должен был ехать до Айхенвальде.

Его ждали на кладбище, что на улице Либермана, откуда по транзитной трассе Е8, в запаянном гробу его доставили на КПП Мариенборн-Хельмштедт, и по документам, подтверждающим, что в гробу эксгумированные останки, переправили через границу.

Зарядили дожди.

По вечерам я ходил в театр; от опавшей, чавкающей под ногами листвы платанов подошвы моих лакированных туфель слегка промокали.

В покинутой квартире тихо жужжал пустой холодильник, и когда я открывал его дверцу, в нем, как будто ничего не случилось, услужливо загорелась лампочка.

В телеграмме было всего три слова, которые на моем языке можно передать одним.

Добрался.

На следующий день я уехал в Хайлигендамм.

Не придавая особого значения предупреждению полицейских, я ждал, пока истечет срок моего пребывания, ждал до последнего дня.

А два года спустя я получил от него открытку с видом, исписанную бисерным почерком; он сообщал, что женился, что его бабушки и дедушки, к сожалению, уже нет в живых и что недавно, полтора месяца назад, у них родилась малышка.

На открытке был виден Атлантический океан и ничего больше, только бушующие волны до самого горизонта, но, судя по надписи на открытке, снимок был сделан в Аркашоне.

Стихи он давно не пишет и меньше предается размышлениям, а занимается поставкой вин, исключительно красных; и счастлив, хотя улыбается не так часто, как прежде.

А другой, все еще стоя в чужом доме с этим посланием в руках, смотрел то на морской пейзаж, то на исписанную сторону открытки.

Как же все просто.

Он думал, как просто все.

Да, все просто, все было невероятно просто.

НЕТ НИЧЕГО В РАЗУМЕ, ЧЕГО ПРЕЖДЕ НЕ БЫЛО БЫ В ЧУВСТВАХ

О прозе Петера Надаша

752

«Симфоническая музыка, с присущей ей сложностью и авторитаризмом дирижера, может восприниматься как метафора европейской культуры, – вещал в машине молодой американский архитектор. – Традиционная четырехчастная структура, в рамки которой...»

Мы только что прослушали Пятую Малера в рижской Большой Гильдии и теперь ехали в Юрмалу, в ресторан, где молодой архитектор, предчувствовала я, с той же безапелляционностью обнаружит метафору европейской культуры в чарующей простоте лососевого карпаччо с перепелиным яйцом. От гнетущей непонятности Малера и готовых истолкований всего на свете могло спасти только море.

Оно шумело и едва заметно светилось, создавая таким образом свою собственную тьму и тишину. По правилам этой тьмы ярко освещенная дорога, находившаяся в сотне метров отсюда, просто не существовала. Ресторана, стоящего в тридцати метрах от берега, тоже не было и быть не могло. Запах моря останавливал время. Устройство автомобильных развязок и тонкости кулинарии представлялись из этой точки лишь отдаленными возможностями – рядом с бесчисленными другими.

Не успела я, вернувшись к людям, отдать должное рыбе, как ко мне подошел К.: «Я должен познакомить тебя с Д. Он второй, кроме тебя, человек на свете, который знает о существовании Надаша». Я пересела к их столу, шум и блеск ресторана куда-то отступили, вдали замерцали огоньки Хайлигендамма из «Книги воспоминаний» и зашумело Северное море, встречей с которым закончилась Вторая мировая война для венгерского военнослужащего Иштвана Бижока из «Параллельных историй». Никто, кроме нас с Д., даже не подозревал о существовании стихии, внутри которой мы провели весь оставшийся вечер.

Венгерский писатель Петер Надаш – идеальный предмет для тайного культа. Его книги доступны, но мало кому (за пределами Венгрии и отчасти Германии) известны. Объем его романов более чем достаточен, чтобы отпугнуть случайных читателей, а темп повествования – сложного, хитросплетенного, но в конечном итоге

кристально ясного – настолько неспешен, что ни один любитель готовых интерпретаций об устройстве европейской культуры до конца никогда не дочитает. Думаю, я буду недалеко от истины, если предположу, что время от времени в разных точках мира случайно встречаются такие, как мы с Д. Со стороны эти двое наверняка выглядят счастливейшими из смертных. С выходом этой книги на русском счастливчиков станет чуть больше. Все, о чем пойдет речь дальше, – не более чем затравка для разговоров, которые они еще долго будут вести между собой.

753

«Я родился в будапештской еврейской больнице в тот день, когда всех евреев, жителей только что захваченного немцами волинского городка Мизоч, согнали в ближайшую каменоломню. А наутро, в среду, приказав раздеться донага, уничтожили несколько тысяч человек. Всех. Это случилось 14 октября 1942 года. Сколько я ни ломал себе голову, никак не мог осознать умом одновременность того и другого. Мама почувствовала первые схватки, собралась, села в трамвай, одна отправилась в больницу. Солдаты расстрельного отряда немецкой полиции, уничтожив всех, стояли с пистолетами в руке и разглядывали дело рук своих. Я не могу орать, и слез у меня сызмалу действительно нет, нет и Бога, к которому я бы мог воззвать. Которого мог бы расспросить обо всем. День клонился к концу. Тех, кто еле шевелился, пристреливали в упор. Эту картину, как и предшествующие, один солдат счел поистине достойной, чтобы запечатлеть их на фото пленке. В то же самое время меня положили на руки моей усталой, но счастливой мамы, и сей миг увековечил мой примчавшийся в больницу отец»¹.

В этом абзаце – сразу весь Надаш. Есть факт («я родился 14 октября 1942 года»), но этот факт никогда не бывает один, одновременно с ним в мире (и поэтому обязательно и в тексте) случилось множество других фактов. Из одновременности этих фактов вроде бы ничего не следует, но в то же время над этой одновременностью нельзя не думать. Ничего не следует, потому что мир очевидно лишен единства, которым некогда наделял его бог, но нельзя не думать, потому что единство сознания, которое думает, с исчезновением бога никуда не делось. Сознание работает с достоверностями, наидостовернейшими из которых являются фотографии – в силу того, что они суть отпечатки света, а свет – «наиболее достоверное

1 Надаш П. Поучительные берлинские истории. Пер. с венг. Е. Малыхиной // Надаш П. Тренинги свободы. Избранные эссе. Сост. В. Середа. М.: Три квадрата, 2004. С. 73.

из уподоблений бога». Свое рождение Надаш описывает посредством фотографий. Собственную смерть – тоже: «Познавая его (т.е. открывшийся после клинической смерти свет), я имел то забавное незначительное преимущество, что в предшествующей жизни был не только писателем, занимавшимся взвешиванием и оценкой слов, но еще и фотографом, то есть занимался светом»¹.

Надаш родился в еврейской больнице, однако родители, коммунисты-подпольщики и убежденные атеисты, крестили его и его младшего брата в кальвинистской церкви – вероятно, чтобы лишить ближайших родственников возможности дать мальчикам еврейское воспитание. Семья пережила отсроченный до 1944 года венгерский холокост благодаря поддельным документам. Жизнь, которая должна была, по исторической логике тех лет, закончиться уничтожением, пошла параллельным курсом. Эта неувловимая двойственность станет главным мотивом романов Надаша.

Мать писателя умерла от рака, когда ему было 13 лет. Отец, во времена Ракоши возглавлявший отдел в одном из министерств, покончил с собой через три года. «В свое время я изучал химию, но бросил учебу, увлекшись фотоискусством. В семнадцать стал на ноги и с тех пор независим во всех отношениях. Работал фото-репортером, был журналистом», – пишет Надаш в краткой биографической справке для русского издания его первой повести, «Библия»².

Крайне любопытны обстоятельства прощания Надаша с первой профессией и перехода к репортерству: «По наивности своей я полагал, что, будучи журналистом, смогу преодолеть проблемы цензуры, на что как фотограф не был способен»³. Типичная в условиях цензуры карьера развивается как раз в противоположном направлении: пишущий журналист, мнения и оценки которого искажают и режут, уходит в фотографию, уповая на ее безмолвие и лишнюю всякого суждения «объективность». Фотография, мол, неопределенна, каждый читает ее по-своему. Смысл порождают исключительно слова, отсылающие к идеям. У Надаша все наоборот. Своей первой повести он предпосылает эпиграф из Локка:

1 Надаш П. Собственная смерть. Пер. с венг. В. Середы // Иностранная литература, 2010, № 3. С. 177.

2 Надаш П. Библия. Пер. с венг. В. Середы // Посвящение: Из новой венгерской прозы. М.: Радуга, 1990. С. 5.

3 Надаш П. Жить наперекор времени, творить наперекор течению. Беседа Петера Надаша с Кристиной Кёнен. Пер. с венг. Е. Шакировой // Надаш П. Тренинги свободы. С. 286-87.

«No innate principles» – «Никаких врожденных идей нет». Все, что мы знаем, мы знаем из чувств, фотография – самое достоверное из доступных нам свидетельств, ею нельзя обмануть цензуру, потому что она и есть истина. Слова же, напротив, никогда не отсылают к тому, к чему они вроде бы отсылают; в сфере слова для Надаша возможно все. Сенсуализм в его прозе станет глубоко отрефлексированной позицией.

«Библия» (1967), если читать ее из сегодняшнего дня, зная большие романы Надаша, кажется безделицей. Подросток, сын партийных боссов, беспрерывно врёт и глумится над слабыми: до смерти забил тяпкой собственную собаку, запугал прислугу, нагрубил соседке. Однако необходимость скрывать свои бесчинства сделала его чрезвычайно наблюдательным, в силу чего он вдруг обнаружил, что врёт не только он – врут вообще все. В том числе и верующая прислуга.

Ей он и предъявляет свой парадокс: если ты веруешь, почему ты лжешь, покрывая мои мелкие пакости? Причем парадокс предъявляется ей в виде Библии, завалившей в доме со времен войны, когда отец печатал в тайной типографии коммунистические прокламации, а мать выносила их в корзине, прикрыв Книгой книг кипы бумаги. Демонстрируя деревенской девушке ее моральную несостоятельность, мальчишка начинает рвать Святое Писание, а та испуганно хватает книгу и уносит к себе в комнату. В финале повести именно этот изуродованный том станет единственным вещдоком, подтверждающим (ложно), что девушка нечиста на руку. А мать, произнеся прочувствованную речь о том, что эта книга страшно дорога ей как воспоминание, в конце концов забудет забрать ее с собой.

Петер Надаш здесь отнюдь не религиозен – скорее, он демонстрирует, что действия никогда не исходят из принципов, что исправить ситуацию не может даже бог, что требование не лгать неприменимо к жизни и что это особенно верно, если речь идет о жизни тоталитарного общества. Другого в 1962 году, когда повесть была написана, он и не знал.

Многие годы Надаш занимался изучением циркуляции слов в таком обществе. Этой проблеме посвящено одно из самых блестящих его эссе «Сказка об огне и знании» (1986)¹. Как-то в знойную летнюю ночь Венгрия загорелась сразу со всех сторон. Утром в радиохронике седьмой новостью сообщили, что в западной, восточной,

¹ Там же. С. 58 – 69.

северной и южной областях страны пожарные начали масштабные учения, из чего «венграм», то есть обществу в целом, стало ясно, что происходит нечто значительное. Но договориться об этом они не могли: «А все потому, что в описываемый период «значительный» на языке венгров значило «незначительный», «незначительный» же, напротив – «значительный», вдобавок слова эти еще не утратили окончательно своего изначального смысла, и по этой причине не могло быть и общего мнения о том, что все-таки они означают».

Этот образчик словесной эквилибристики ничем не отличался бы от рутинного диссидентского ерничества, если бы Надаш не пошел дальше – к анализу мышления, повязанного таким языком: «Людам, думающим по-венгерски, выпала историческая задача, казалось бы, неразрешимая: ничто не должно было приходить им на ум не только когда они ни о чем не думали, но даже когда они что-то думали, им в голову не должно было приходить ничего такого, что могло бы их на что-то надоумить». Неопределенная в своей бессодержательности речь, коррелирующая с пустым мышлением, ведет к абсолютной невозможности действия – как минимум, общего действия: «На свет они появлялись взрослыми, и поскольку вырастать им уже было незачем, то всю жизнь они оставались детьми. Необходимости в школах поэтому у них не было. Каждый, будучи взрослым, считал своим долгом учить уму-разуму остальных, ведь все венгры оставались детьми; в то же время, поскольку никто из них не мог повзрослеть, всем всю жизнь приходилось учиться».

Это эссе – сказка, сколь бы аналитической она ни была, поэтому оно и приходит к сказочному разрешению: ведущая вечерних новостей допускает роковую оговорку. Зачитывая официальное объяснение происходящего, согласно которому во всех четырех концах Венгрии сжигались давно аннулированные карты страны, она произносит вместо этого «карты давно аннулированный страны». И ужас национального краха переводит всю ее аудиторию (примерно равнявшуюся населению страны) в паузу немоты и разрыва всех автоматизмов. Благодаря чему каждый из говорящих на запутанном языке недумаящих и бездействующих людей получает доступ к реальности, то есть начинает слышать то, что доносят до него заблокированные ранее чувства: полыхание общенационального пожара.

То, что Надашу удалось уместить на несколько страничек анализ деформаций, которые претерпели после войны общества к востоку от Одера, можно считать своего рода философским подвигом. Однако он не стремился быть философом – в приведенном выше описании

его не устраивало отсутствие конкретных историй, чувственного «мяса», множественности пережитого и реальных противоречий, составляющих в итоге человеческий опыт. За десять с лишним лет до написания «Сказки» он предпринял попытку увязать разное-лосие жизни в тексте, само название которого, «Конец семейного романа» (1977)¹, отменяло все дальнейшие попытки подобного рода.

В этой книге Надаш смешивает несколько основных и множество побочных партий или монологов. Основная принадлежит деду главного героя – еврейскому старцу, сознательно принявшему христианство. Его голосом говорит история, личная и национальная, венгерская и еврейская, австрийская и общемировая. Второй партией идет голос его сына, сотрудника венгерской разведки народно-демократического образца. Третью линию ведет бабка, жена еврейского старца и мать, выражаясь по-русски, гэбиста. Объединить все это в слаженное многоголосье позволяет детское сознание главного героя, Петера Шимона. Именно он транслирует все партии, справляясь с задачей только благодаря тому, что сознание ребенка не ищет единства, оно устроено по принципу «что вижу, то пою». Этим обстоятельством гарантируется достоверность рассказа, но по этой же причине он лишается внутреннего смысла. От распада монолога маленького Петера спасает лишь название, данное с точки зрения внешнего, взрослого сознания, и решительное гибельное «нет», которым обрывается внутренний монолог мальчика.

Роман, который в чисто литературном смысле можно считать шедевром, завершающим к тому же весьма почтенный в истории европейской литературы жанр, явно не решил задачи, стоявшей перед Надашем. Достоверность детского опыта радикально отлична от достоверности опыта в том виде, в котором он дан взрослым. Именно поэтому данности детского сознания и удается втиснуть в старые литературные рамки, хоть и вывернутые в процессе наизнанку. Опыт «нас с вами», то есть опыт реальных читателей «детского романа» Надаша, свидетельствует: объективное отсутствие единства в мире никак не отменяет единства сознания. На сколько бы частей «мы» ни расщеплялись по ходу жизни, в каждой отдельной точке присутствовало работающее сознание, регистрировавшее чувственные данные, фиксировавшее «наши» реакции и объяснявшее «наши» слова и действия. Даже если финальным результатом этой большой работы будет то же «нет», что и в монологе маленького

¹ Надаш П. Конец семейного романа. Пер. с венг. Е. Малыхиной. М.: Три квадрата, 2004.

Петера Шимона, истина требует, чтобы это «нет» прозвучало в рамках иначе устроенного рассказа. Сконструировать такой рассказ Надашу удалось дважды: в «Книге воспоминаний» (1986) и в «Параллельных историях» (2005).

В «Книге воспоминаний» основой повествования становится память, причем память особого рода, память телесная. Замысел опять дан в эпиграфе: «А Он говорил о храме тела Своего». Этими словами Иоанн поясняет обещание Христа иудеям за три дня воздвигнуть разрушенный храм, в них – залог новой веры. Новая церковь есть тело Христово. В мире Надаша тоже только одна твердыня – тело, мое собственное. Только оно дает доступ к истине. Память – это развернутая во времени чувственность.

Над «Книгой воспоминаний» Надаш работал 10 лет. Начало этой работе положила история вполне библейская. Полностью отказавшись к 1968 году от надежды продолжить журналистскую карьеру (что было отчасти связано с крахом Пражской весны), Надаш впал в панику: «Я страшно боялся, что со мной будет. Однажды мы гуляли в будапештском парке Варошмайор с Ален Польц, женой писателя Миклоша Месёя, и я спросил ее: как мне быть, что она посоветует? Она сказала: «Звери полевые и птицы небесные тоже не спрашивают, на что им жить. Господь промышляет обо всех»¹. Надаш уехал из Будапешта в деревню, поместив себя в ту же точку, из которой разворачивает свои воспоминания главный герой его книги.

Он находится в чистом пространстве созерцания, свободном от обстоятельств, прагматики, рутины, целеполагания и пр. Его можно было бы назвать божественным, если бы созерцание былого совпадало здесь со знанием о нем, но нет: вглядываясь в прошедшее, вспоминающий герой только начинает его понимать, узнавать в его взаимосвязях – причинных и прочих. А узнав, вспоминающий еще должен стать автором, чтобы выразить определившееся в рефлексии какими-то словами. «Я думаю, мы ощущаем гораздо больше, чем знаем, и знаем гораздо больше, чем можем выразить», – так формулирует Надаш свою писательскую задачу в другой связи². И все же, несмотря на очевидное движение – на течение времени, работу

1 Надаш П. Жить наперекор времени, творить наперекор течению. Беседа Петера Надаша с Кристиной Кёнен. Пер. с венг. Е. Шакировой // Надаш П. Тренинги свободы. С. 287-88.

2 Надаш П. Хелен. Пер. с венг. Ю. Гусева // Надаш П. Тренинги свободы. С. 148-49.

мышления и разворачивание повествования – Надашу удастся создать в романе подобие божественной вечности, в рамках которой выраженное совпадает с продуманным и увиденным.

Временность повествования, возникающего в результате рефлексии над сохраненным памятью и порожденным воображением, – это временность языкового разворачивания. Его сознательное содержание одномоментно, длятся исключительно слова – стук в дверь гостиничного номера, раздавшийся на стр. 109, прекратится лишь на стр. 735. Предложение, начавшись на одной странице, закончится лишь на третьей, сохранив при этом совершенно правильную грамматическую структуру. Прогулка вдоль моря, начинающаяся в первой главе зимой 1974 года, совпадет во внутреннем времени рефлексии с прогулкой, совершавшейся там же «пятьдесят, семьдесят или сто лет назад» (с. 22). Страницы переворачиваются и время идет, но книга в каждой точке остается тождественной самой себе – и в интенсивности переживания, и в достоверности знания, и в сухой прозрачности изложения. Чтобы достичь этого эффекта, требовалась вечность или, если воспользоваться словами Ален Польц, годы божественного попечения. Или – сказала бы я – годы позднесоциалистического безвременья.

Итак, отправной точкой является данное мне тело. Рассказ неизбежно ведется от первого лица, потому что только я имею к этому телу доступ. Оно переживает осеннюю простуду, «насморк обостряет все чувства» (с. 9), и стоит только этим воспользоваться, как тело тут же приходит во взаимодействие с другими телами: квартира, воспоминанием о которой начинается текст, была ведь кем-то найдена, и с этим кем-то имелись сложные отношения, но прежде нужно описать и тело этого кого-то, его морщинки и его реакции; тело берлинской актрисы Теи, о которой идет здесь речь, понятным образом связано с телом ее мужа, писателя Арно Зандштуля, с которым у «меня», то есть исходного тела, тела номер один, не вышло никакого контакта, потому что во время беседы на «нас» смотрели глаза еще одного человека, Мельхиора, с которым «я» был связан настолько, что и сам смотрел на себя его глазами. Так, цепляясь одно за другое, в роман втягиваются новые и новые тела – красивые и некрасивые, стареющие, ущербные, больные, изувеченные пытками, попавшие под колеса поезда, запаянные в металлический гроб – каждое со своими запахами, привычками, идиосинкразиями, со своей памятью и общей для всех невозможностью вырваться из самого себя – тела, наблюдая за которыми, можно выстроить весьма сложную картину мира.

В то же время тело номер один, наблюдая, тоже претерпевает метаморфозы, сквозь него прорастают другие времена и другие местности: «Дом по-прежнему не был мне столь же близок, как мог бы быть любой жилой дом в Будапеште, мне не хватало его прошлого, хотя это прошлое подавало мне кое-какие знаки, и эти напоминания я даже пытался переживать <...>; поднимаясь по вечерам по лестнице, я пытался вообразить себе другого молодого человека, который, когда-то давно, прибыл в один прекрасный день в Берлин, то был дедушка Мельхиора, это он стал героем моей разворачивающейся с каждым днем вымышленной истории, это он мог увидеть эти витражи с цветами, еще целыми, новыми, искрящимися на сеющем с заднего двора свете, если бы побывал в этом доме, причем, поднимаясь по деревянной лестнице, воспринимал бы воображаемое мной прошлое как собственное настоящее» (с. 15). Или, еще определеннее: «И хотя то был я, все привычные рефлексy мои были в полном порядке, было что-то неправильное, какая-то трещина, и не одна даже, а разрывы, трещины, через которые можно было увидеть какое-то чужое существо, кого-то другого» (с. 22).

Тело, дающее доступ к реальности, живет, таким образом, сразу в нескольких хронологических точках и сразу в нескольких странах. Реальность венгерской революции 1956 года всплывает вдруг в берлинском разговоре 1974-го. Это тело живет сразу в нескольких возрастах и вступает в отношения сразу нескольких типов. Оно влюблено в мальчика и обнимается с девочкой, оно боится овчарок, охраняющих будайскую резиденцию Ракоши, и специально выставляет себя напоказ пограничнику, обходящему под ярким светом фонаря свой участок берлинской стены. Это тело помнит о разных родителях, оно не знает правды о своем отце и выдумывает совершенно невозможного дедушку для своего берлинского любовника, оно пытается понять себя в разных системах культурных категорий и в разных ситуациях говорит на разных языках. Тело это хочет только одного: стать одним с другим телом, достичь подлинного слияния, где единение было бы не только физическим, но и сознательным. Тело хочет полностью понять другого и быть этим другим до конца понятым. Оно знает, что это невозможно, что стремление к единству влечет лишь страдания, но в то же время не готово отказать страданию в реальности.

Если не отказывать миру в непонятности, если не замыкать его на одном себе, если попытаться рассказать о реальности страдания, то на горизонте может забрезжить и некоторое единство меня и мира, некоторая реальность действительного, а не предписанного

культурными правилами и социальными нормами общения. Стремление к такому единству Надаш характеризует как «тоску по братству» или взаимной эмпатии, и он отказывает великим модернистам начала XX века, Прусту и Манну, в умении о ней рассказать.

В «Книге воспоминаний» есть скрытый герой, с которым автор ведет подспудную полемику. Он выдает себя ближе к концу текста, в начале предпоследней главы, написанной от лица Кристиана: «И здесь я со всей решительностью спешу заявить, что если этому рассказу о смерти моего несчастного друга я и предпосылаю несколько слов о себе и своих житейских обстоятельствах, то отнюдь не с целью возвеличить свою особу» (с. 631). Это, как нетрудно догадаться, слегка видоизмененный зачин манновского «Доктора Фаустуса»: «Со всей решительностью спешу заявить, что если этому рассказу о жизни Адриана Леверкюна, этой первой и, так сказать, предварительной биографии дорогого мне человека и гениального музыканта, с которым столь беспощадно обошлась судьба, высоко его вознесшая и затем низринувшая в бездну, я и предпосылаю несколько слов о себе и своих житейских обстоятельствах, то отнюдь не с целью возвеличить свою особу»¹.

Кристиан, излагающий свою точку зрения на жизнь главного героя, оказывается, таким образом, Серенусом Цейтбломом, милым гуманистом, «человеком уравновешенным и по натуре здоровым», то есть предельно нормальным – в том виде, в каком нормальность понималась в венгерской реальности семидесятых годов. Именно Кристиан рассказывает о самом подломе из возможных поступков – о том, как он ради того, чтобы выхлопотать себе место в военном училище, отправляет фронтовые дневники погибшего отца президенту страны Иштвану Доби. Именно Кристиан вносит в книгу «грязь истории»: черные лимузины, министерских охранников, шум ноябрьской Москвы, гостиничный неуют, жуть окраинной хрущевки, населенной четырьмя толстыми женщинами, уродство праздничных приемов и торжественных концертов по случаю очередной годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Именно он не без иронии описывает любые переговоры внутри соцлагеря как «ловлю мышей, при которой в мышеловке в результате оказывается ваша кошка» (с. 678). Автор главы Кристиана – это и есть Томас Манн, каким бы он стал в месте и времени, доставшимся по рождению Петеру Надашу.

¹ Пер. с нем. С. Апта и Наталии Ман.

Претензия Надаша к немецкому романисту состоит в том, что тот «стилист». Стилист – это писатель, которому надо красиво рассказать о мире, не выдавая тайн, скрываясь от самого себя. Торжество стилистики, при котором от трехступенчатой структуры «чувствование-выражение» остается лишь последнее звено, обусловлено, по Надашу, солипсизмом героя: «В литературных произведениях сегодня существует лишь один-единственный человек. И это, разумеется, «человек без свойств». Потому что если нет других людей, в которых могли бы проявляться его свойства, то нет и его самого, то и у него нет видимых свойств. Или есть, но всего одно, два или три. И эти два-три свойства можно продемонстрировать, лишь прибегая к необычным оборотам речи. Однако подобные стилистические решения будут характеризовать уже не столько героя, сколько самого автора»¹. Немецкая публика, говорит Надаш в другом месте, любила читать Манна потому, что ему удавалось искусно скрывать в своих романах все то, что ей – в рамках буржуазных общественных норм – приходилось скрывать от самой себя. Угадывая присутствие постыдной (в терминах самой этой публики) тайны, она радовалась тексту, которому удалось представить дело так, будто ничего и не было. Отсюда – ирония, присущая Манну и начисто отсутствующая у Надаша. Единственная шутка в «Книге воспоминаний» принадлежит Кристиану. И именно в его, Кристиана, мире гибнет главный герой. В мире, созданном им самим, он остается стоять с исписанной бисерным почерком открыткой в руках в вечном удивлении от простоты жизни, явленной ему в судьбе Мельхиора.

Эта судьба особенно любопытна, потому что именно благодаря ей предпринятая Надашем попытка понять себя и мир переходит из области личных взаимодействий в область общественно-исторического, не увязая при этом в «мерзости истории». Мельхиор, как и главный герой, в какой-то момент обнаруживает, что он – не сын своего отца, что на фотографии, которую он привык считать семейной, изображен мужчина, не имеющий к нему никакого отношения. Единственное, что связывало человека на фотографии с его реальным отцом, было конкретное место в оркестре социальных взаимоотношений. Человек на фотографии был владельцем трактира, куда

¹ Надаш П. Жить наперекор времени, творить наперекор течению. Беседа Петера Надаша с Кристиной Кёнен. Пер. с венг. Е. Шакировой // Надаш П. Тренинги свободы. С. 291.

традиционно отправлялись после концерта уставшие музыканты. История пришла в движение, трактирщика забрали в армию, чтобы послать на восточный фронт, а первую скрипку схватили и отправили в лагерь как извращенца. Место первой скрипки занял – в силу исторической необходимости (оркестр должен играть) – доставленный из лагеря французский военнопленный, который вместе с позицией в оркестровой яме получил и позицию в постели жены трактирщика: «В виде награды за торжество этой незыблемой преемственности конвоиры после концерта препроводят музыкантов к «Золотому рогу», но при этом судьба, провидение или история сделают это не случайно и не из милости или сострадания, а для того, чтобы первый скрипач, уверовав, что ради него судьба взяла передышку, на часок ускользнул в расположенную наверху квартиру трактирщика, который агонизировал в эти минуты в заснеженных сталинградских степях» (с. 585). Так возник Мельхиор и погиб его отец. Отца расстреляли за порчу немецкой расы, а место первой скрипки в оркестре занял выпущенный из лагеря – в силу исторической необходимости (оркестр должен играть) – извращенец. Который будет впоследствии учить Мельхиора играть на скрипке и откроет ему тайну о настоящем отце. Отчего в душе Мельхиора поселится отвращение ко всему немецкому, и единственным его устремлением станет бегство во Францию – на родину отца, где он мог бы вырваться, наконец, из морока немецкой оркестровой ямы.

В таком изложении история предстает механическим перемещением случайных людей по намертво зафиксированным позициям. Доктрину хорошо оркестрованного детерминизма герой формулирует в разговоре с третьим лицом, Теей, пытаясь «объективно изложить» признания Мельхиора – весьма хаотичные и очень чувственные. Тея, соотносящая себя лично с обоими персонажами, отказывается принять этот «объективный взгляд на мир», и герой с горечью признает: «Случай Мельхиора, как и любой другой, невозможно так прямо вывести ни из истории, ни из биологии, а моральное бремя подобных историй невозможно переложить на кого-либо или на что-либо, думать так – это ограниченность, короткое замыкание разума, потому что в любой истории мы должны ощущать власть неделимого целого, которая распространяется на все, пронизывает все детали, что отнюдь не легко, когда человек постоянно мыслит деталями, и думает о деталях, и к тому же еще и неверующий» (с. 592).

Через два года после этого разговора главный герой, признавший свое поражение в деле социально-исторических интерпретаций,

получает открытку от бежавшего во Францию Мельхиора: «Он общал, что женился, что его бабушки и дедушки, к сожалению, уже нет в живых и что недавно, полтора месяца назад, у них родилась малышка. <...> Стихи он давно не пишет и меньше предается размышлениям, а занимается поставкой вин, исключительно красных; и счастлив, хотя улыбается не так часто, как прежде» (с. 751).

«Как же все просто», – думает главный герой, так и застыв на последней странице с этой открыткой в руках. Неужели надеждам Мельхиора, казавшимся в его берлинской квартире не более чем истерическими вывертами, суждено было сбыться? Возможно ли, что он действительно освободился от исторического морока? И если возможно, то как? Думаю, надежда на реализацию свободы, которую с такой убедительностью подает концовка «Книги воспоминаний», и заставила Сьюзен Зонтаг назвать ее «величайшим романом нашего времени».

Прошло еще два десятилетия, и на опубликованный в 2005 году следующий огромный роман Петера Надаша, «Параллельные истории», поступили не только восторженные рецензии. Британский писатель венгерского происхождения Тибор Фишер, к примеру, назвал вторую большую книгу Надаша «самовлюбленным перемешиванием исторической крошки», добавив, что зря Надаш переводит бумагу: сколько бы страниц ни исписал венгерский автор, у него все равно не получится история о том, как англичанин, ирландец и француз решили зайти в бар. То есть обвиняет автора «Параллельных историй» в полной неспособности рассказать историю. И в каком-то смысле он прав: какую, в конце концов, историю (так, чтобы с началом, кульминацией и ясной концовкой) изложил Надаш в «Книге воспоминаний»? О чем она, эта история? Нельзя сказать?

И вот на это обвинение следует ответить исторически. Тибору Фишеру проще других критиковать Надаша – у него есть своего рода историческая индульгенция на отсутствие рефлексии. Какие бы суждения о венгерской прозе, истории или политике он ни высказывал, какую бы осведомленность в венгерских делах ни проявлял, у него нет нужды задавать вопрос о самом себе как о субъекте высказывания. Ответ на вопрос «кто говорит?» в его случае предельно ясен: говорит англичанин. Который «по известной прищизке, стриг и поливал, стриг и поливал – четьреста лет подряд»¹.

¹ Эстерхази П. Исправленное издание. М.: НЛО, 2008. Пер. с венг. В. Середы. С. 154.

Он настолько ясен сам себе, что его и в самом деле интересуют «истории», и он настолько уверен в своих силах, что и в самом деле может их рассказывать. Они, правда, тяготеют к анекдоту, но что может быть занимательнее анекдота в мире здравого смысла и относительного порядка, которые еще и воспринимаются при этом как универсальные?

Венгерские писатели, в отличие от Тибора Фишера, обнаруживают себя в совершенно ином умственном локусе. Его можно назвать восточноевропейским, и основная его черта состоит как раз в абсолютной невозможности «историй». Взять хотя бы такую: «В конце войны деревня неоднократно переходила из рук в руки, и однажды, когда русские в очередной раз выбили из нее немцев, шестеро немецких солдат, дезертировав из своей части, укрылись на чердаке винодельни на одном из ближайших холмов. Сдаваться в плен им не хотелось, но и воевать, видимо, надоело. Деревня отнеслась к их решению с уважением и укрывала их на протяжении шести лет. Что вовсе не значит, будто шесть лет они так и сидели на чердаке – напротив, они жили, работали на полях точно так же, как все остальные. Первой весной один из солдат на пашне располосил себе плугом ногу, получил заражение крови и, несколько дней провалявшись в жару, скончался. Деревня, иными словами «все», знала, что немец при смерти, но врача к нему все-таки не позвала. Окружной врач, живший в дальнем селении, в число «всех» не входил. Точно так же, как и священник. Так без попа и похоронили. Обособленное и непроницаемое мирознание, не позволившее спасти жизнь одному из немцев, сделало вполне безопасной и вольной жизнь остальных пятерых – настолько, что позднее они не только батрачили на местных хозяев, но ходили на заработки даже в соседние деревни. Ничто этому не препятствовало, поскольку жители ближних селений относятся к числу «всех», а то, о чем знают «все», обсуждать не имеет смысла, то есть никто посторонний об этом и знать не может. <...> Есть ощущение, будто жизнь здесь складывается не из индивидуальных впечатлений, не из осмысленной исторической памяти, не из воспоминаний и забвения, а из глухого молчания»¹.

Пробить стену глухого молчания не так просто: молчание здесь универсально, тогда как рационально рассказанное всегда оказывается сугубо частным. История, чтобы быть захватывающей,

1 Надаш П. Прогулки вокруг дикой груши. Пер. с венг. В. Середы // «Звезда», 2011, № 3. С. 197

должна отсылать к универсальной истине. Когда истина рассыпается на тысячи мелких кусочков, достоверность каждого из которых оспаривается достоверностью другого, истории становятся неубедительными. Человек мыслит деталями, думает о деталях, и к тому же еще и неверующий.

Мышление деталями обусловлено для восточноевропейского автора неверием в универсальные принципы, а само это неверие является не результатом сознательного выбора в пользу сенсуализма, а продуктом жесткого исторического принуждения. В истории этого региона смена универсальных истин происходила в XX веке столь часто, что продолжать верить в какую-то одну из них ближе к концу столетия можно было, лишь отключив рассудок. Достоверность частных перебивала здесь любую общую идею, и даже традиционно последняя истина, истина бога, дискредитированная, впрочем, еще у Ницше, в этих краях была запрещена официально.

Рассказ в этих условиях всегда приходится начинать заново, начинать с подробностей и чувственных данных, пытаясь вытянуть их к смыслу событий, который всегда, таким образом, останется частным: «Я не могу признать за его историей право на исключительную правдивость, – пишет у Надаша Кристиан, – ведь наряду с его историей существует еще и моя. Жизненный материал обеих наших историй был идентичен, но двигались мы в этом материале в несовпадающих направлениях. А потому из трех его безобидных утверждений первое с точки зрения моей истории представляется мне излишне поверхностным, второе – совершенно ошибочным, а третье – таким эмоциональным искажением, которое просто не соответствует действительности» (с. 676).

Именно через это невозможное многоголосье пытается сложиться понимание свершившегося в Восточной Европе на протяжении XX века. Факты как будто общеизвестны, но смысл из них образуется только тогда, когда их неустанная личная проработка («стриг и поливал, стриг и поливал») приведет поле национальной и региональной исторической памяти к состоянию английского газона, которое принято характеризовать словом agreeable. Тогда и можно будет снова рассказывать истории – про любовь, выпивку и превратности судьбы.

Чтобы это стало возможно, требуется отнюдь не страсть к легковесным обобщениям о сущности европейской культуры, которой страдал мой рижский собеседник в начале этого текста, а высокий уровень рефлексивности, некоторая привычка к обдумыванию и обсуждению вещей и их взаимосвязей. «Способность к рефлекс-

тивности, проявляясь на культурном уровне, приводит к формированию такого коллективного самосознания, которое каждый индивид усваивает даже в том случае, если не имеет ни малейшего понятия об источниках усвоенного рефлексивного знания. <...> В великих культурах, обладающих собственной философией, <...> выработаны устойчивые структуры, которыми каждый пользуется, как ножом и вилкой»¹. Чем, собственно, и занимается не отличающийся особой личной рефлексивностью Тибор Фишер. «Надежная традиция немецкого любомудрия в таких случаях просто незаменима»² – вторит Надашу другой венгерский писатель, Петер Эстерхази.

Пройдет почти тридцать лет после публикации «Книги воспоминаний», и именно Эстерхази придется преподать дилемму одиноких героев Надаша в национальном масштабе. Рассказав правдивую историю своей эмблематической для венгерской истории семьи в романе «*Harmonia caelestis*» – историю точную в том, что она «не приукрашивает, не ретуширует семью, не делает из отца жертву», он сразу же по завершении работы обнаружит, что рассказал не всю правду. «Но история – это история не только твоей семьи, но и моей. А где же история моей семьи?» – этот резонный вопрос воображаемого читателя, воспроизводящий в укороченном виде слова Кристиана, получает документальное подкрепление. Эстерхази обнаруживает, что его отец – любимый, страдающий, преисполненный достоинства и униженный народно-демократической жизнью граф – это в то же время не его отец, потому что его реальный отец был осведомителем органов венгерской госбезопасности. А тот, о котором он написал свой семейный роман, конечно же, не был.

Эстерхази напишет тогда вторую книгу, «Исправленное издание» – историю вербовки и оперативной работы своего отца, составленную по архивам госбезопасности, и одним из героев этой истории станет Петер Надаш: «Ну почему стукачом оказался не отец Месёя или Надаша, уж они описали бы все это гораздо точнее?!»³ Или: «Я представляю себе, как взялся бы за это Надаш, взял бы в руки, как некий предмет, разглядел бы его со всех

1 Надаш П. О величии рефлексивности. Пер. с венг. Е. Шакировой // Надаш П. Тренинги свободы. С. 264.

2 Эстерхази П. Исправленное издание. М.: НЛО, 2008. Пер. с венг. В. Середы. С. 228.

3 Там же. С. 25.

сторон, описал бы и, главное, сделал бы должные выводы. Это был бы очень личный и достоверный отчет, но при этом самого автора мы бы не видели»¹.

768 Эстерхази прав: автор в «Книге воспоминаний» – при всей интимности изложенного в ней – почти невидим. Потому что в этой задумчивой эротической прозе говорят как раз голоса того национального диалога, об отсутствии которого в своей стране, в своем регионе и едва ли не в целом мире так сожалеют венгерские интеллектуалы. Говорят о себе, о совершенных ими ошибках и предательствах, о своих отцах, их путаных жизнях и страшном конце. Говорят только то, что остро чувствуют, точно знают и что умеют связно рассказать.

Ольга Серебряная

¹ Там же. С. 110.

СОДЕРЖАНИЕ

Красота моей аномальности	8
Прогулка давно минувшим днем	27
Беззлобно светило солнце	45
Телеграмма	60
На ладони у Господа	75
Боль постепенно возвращается	90
Потеря и обретение сознания	105
Продолжение давней прогулки	121
Девчонки	140
Мансарда Мельхиора	204
Об античной фреске	246
Пожарище, поросшее травой	272
Описание одного спектакля	405
Табльдот	478
Год похорон	505
В которой он рассказывает Тее об исповеди Мельхиора	543
Ночи тайных усад	607
Конец пути	630
Побег	727
Ольга Серебряная. Нет ничего в разуме, чего прежде не было бы в чувствах (О прозе Петера Надаша)	752

**ИЗДАТЕЛЬСТВО «KOLONNA PUBLICATIONS
и МИТИН ЖУРНАЛ» ПРЕДСТАВЛЯЮТ**

**ЭРКЮЛИН БАРБЕН
ВОСПОМИНАНИЯ ГЕРМАФРОДИТА**

Судьба Эркюлин Барбен (1838–1868), мужчины, которого двадцать лет считали женщиной, – загадочна и драматична. Автобиографические заметки Барбен являются не только уникальным историческим свидетельством, но и в высшей степени захватывающим чтением. Во Франции они были подготовлены к печати знаменитым философом Мишелем Фуко для первой части задуманной им серии «Параллельные жизни».

**КАТРИН КОЛОМ
ДУХИ ЗЕМЛИ**

Древние волны потихоньку разрушают стены замков, деревья плетут заговор, лесные существа, боящиеся света, обступают деревню плотным кольцом, ядовитые пауки бегут с берегов озера на террасы, черви заползают в желудки, и дети-призраки, играющие на зеленых трубах, вот-вот найдут звук, точный, вражеский, от которого дома и церкви рассыпятся до основания.

**ФРАНСУА ЖИБО
НЕ ВСЁ ТАК БЕЗОБЛАЧНО**

«Уже в детстве мне было легче общаться с Богом и мертвецами, чем с живыми», – признается Франсуа Жибо, французский писатель, известнейший адвокат, автор фундаментальной биографии Луи-Фердинанда Селина, коллекционер, меценат и, наконец, просто представитель парижского света.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «KOLONNA PUBLICATIONS И МИТИН ЖУРНАЛ» ПРЕДСТАВЛЯЮТ

ГЕРТРУДА СТАЙН АВТОБИОГРАФИЯ КАЖДОГО

Окрыленная успехом «Автобиографии Элис Б. Токлас», Гертруда Стайн решила написать сиквел: «И вот приходит время, когда я могу рассказать историю моей жизни». Стайн подробно рассказывает о своей юности, об отношениях с братом. Но особенно ее волнует трансформация собственной личности, случившаяся после выхода «Автобиографии Элис Б. Токлас». Детально описана поездка в США, перемены, происшедшие с Америкой за тридцатилетнее отсутствие Стайн.

«Автобиографию каждого» Стайн заключает словами: «Быть может, я – это не я, даже если меня не укусит собака моя, но, так или иначе, мне нравится то, что у меня есть, а сейчас – сегодня».

ГЕРАРД РЕВЕ ПО ДОРОГЕ К КОНЦУ

Романы в письмах Герарда Реве (1923–2006) стали настоящей сенсацией. Никто еще из голландских писателей не решался так откровенно говорить о себе, своих страстях и тайнах. Перед выходом первой книги, «По дороге к концу» (1963) Реве публично признался в своей гомосексуальности. Второй роман в письмах, «Ближе к Тебе», сделал Реве знаменитым. За пассаж, в котором он описывает пришествие Иисуса Христа в виде серого Осла, с которым автор хотел бы совокупиться, Реве был обвинен в богохульстве, а сенатор Алгра подал на него в суд. На так называемом «Ослином процессе» Реве защищался сам, написав блестящую речь, и все обвинения с него были сняты. Две книги, впервые публикующиеся в русском переводе, сыграли в жизни Герарда Реве решающую роль и стали подлинным событием литературы XX столетия.

**ИЗДАТЕЛЬСТВО «KOLONNA PUBLICATIONS
и МИТИН ЖУРНАЛ» ПРЕДСТАВЛЯЮТ**

**ЙОЗЕФ ВАХАЛ
КРОВАВЫЙ РОМАН**

Созданный прямо в типографском наборе без рукописи «Кровавый роман» – литературный памятник, которому нет аналогов. Его можно воспринимать, как образчик автоматического письма, которое проповедовали сюрреалисты, как постмодернистский коллаж, пародию, произведение книгопечатного искусства, а можно просто читать как приключенческий роман.

**КЭТИ АКЕР
ЭВРИДИКА В ПОДЗЕМНОМ ЦАРСТВЕ**

Главными темами текстов, собранных в этой книге, – от исповеди «Политика» (1972), написанной, когда Кэти Акер работала в секс-шоу на 42-ой улице в Нью-Йорке, до драмы «Эвридика в подземном царстве» (1997), завершенной незадолго до смерти писательницы от неизлечимой болезни, – остаются чувственность, язык, насилие, принуждение, власть. Письмо, безумие, власть, насилие, тело. Чувственность, язык, тело, власть, безумие.

**ДЖОРДЖ СИЛЬВЕСТР ВИРЕК
ДОМ ВАМПИРА**

Первый американский декадент Джордж Сильвестр Вирек (1884–1962) впервые приходит к русскому читателю с романом «Дом вампира» (1907). В книгу включены записи разговоров Вирека с Адольфом Гитлером, Зигмундом Фрейдом, Магнусом Хиршфельдом, материалы о его отношениях с лордом Альфредом Дугласом и Алистером Кроули.

**ИЗДАТЕЛЬСТВО «KOLONNA PUBLICATIONS
И МИТИН ЖУРНАЛ» ПРЕДСТАВЛЯЮТ**

**АЛЕКСАНДР ИЛЬЯНЕН
БУТИК VANITY**

Светящееся здание «Бутика Vanity» теперь открыто для посещения. Пустующие этажи романа-с-ключом и романа-без-вранья, нового романа и петербургской повести Александр Ильенен заполняет прозой высокой концентрации, прекрасной ясности, хирургической точности – и давно забытого образца. Чтобы оценить возможности этой эфирной скорописи, не нужны навыки дешифровщика: так мог бы писать какой-нибудь пушкин-007 – обезьяна, тигр и француз в одном прозрачном флаконе. Книга удостоена премии Андрея Белого за 2007 год.

**МАРСЕЛЬ ЖУАНДО
ХРОНИКА СТРАСТИ**

В 1938 году Марсель Жуандо, не раз выступавший в печати с антисемитскими статьями, страстно влюбился в еврея Жака Штеттинера. Элиза Жуандо пыталась зарезать любовника своего мужа. Эту историю Жуандо рассказал в книге «Хроника страсти», вышедшей в 1944 году приватным тиражом.

**МАРСЕЛЬ ЖУАНДО
ТАЙНЫЕ ПИСЬМЕНА**

Великие вещи, которые происходят во мне, – очень маленькие. Если бы о них узнали, меня задушили бы между двумя матрасами, как тех, кого покусала бешеная собака. Но до тех пор, пока только я один знаю о своем душевном смятении, я еще не полностью потерянный человек.

**ИЗДАТЕЛЬСТВО «KOLONNA PUBLICATIONS
и МИТИН ЖУРНАЛ» ПРЕДСТАВЛЯЮТ**

**ЖИЛЬ СЕБАН
ДОМОДОССОЛА. САМОУБИЙСТВО ЖАНА ЖЕНЕ**

Жизнь Жене напоминает комическую сценку, душераздирающую и наводящую ужас, – что-то вроде циркового номера, по окончании которого клоуны выходят за ограду шапито, влезают в автофургон и с фатальным лязгом захлопывают двери, а затем, даже не сняв грим, нажимают на курок и вышибают себе мозги.

**ЛАДИСЛАВ КЛИМА
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ТРАГИКОМЕДИЯ**

Пятеро гимназистов, сдав экзамены на аттестат зрелости, встречаются в пивной, и каждый провозглашает свой жизненный идеал. Один клянется посвятить жизнь науке, другой – женщинам, третий видит смысл жизни в деньгах, четвертый наблюдает в себе ростки поэтической гениальности. А пятый – по имени Нездешний – утверждает, что эти мечты и идеалы не стоят и ломаного гроша – как и весь земной мир с его «добродетелями» и «ценностями». И именно его пророчества сбываются спустя 30 лет...

**ГЕРАРД РЕВЕ
ПИСЬМА СИМОНУ К.**

Единственное – это Искусство. Я имею в виду, это единственное, что дает удовлетворение. Телесная любовь, вино, – они подавляют всё. Искусство дает опору ввиду своей полнейшей никчемности. И Церковь, конечно, покуда она не имеет смысла и не ввязывается в общественные перебранки, в которых до сих пор с безошибочной уверенностью отдавала предпочтение убийцам, гангстерам и черни.

**ИЗДАТЕЛЬСТВО «KOLONNA PUBLICATIONS
И МИТИН ЖУРНАЛ» ПРЕДСТАВЛЯЮТ**

**ГАБРИЭЛЬ ВИТТКОП
ХЕМЛОК, ИЛИ ЯДЫ**

Даже в детстве Хемлок считала людей марионетками, способными внезапно рухнуть посреди представления с механическим грохотом. Она не раз видела, как эти куклы резко падали: вот что называлось «смертью». В Древнем Египте человек готовился к смерти с самого рождения и очень скоро узнавал, что если произнести имя усопшего, тот на пару секунд воскреснет.

**ЭДВАРД МОРГАН ФОРСТЕР
ФАРОС И ФАРИЛЛОН**

Британский писатель Эдвард Морган Форстер (1879–1970) был одним из создателей «александрийского мифа» XX века. Его усилиями египетский город, живущий торговлей «хлопком, луком и яйцами», в котором, казалось бы, не осталось ничего от города Александра, Клеопатры и Антиноя, превратился в одну из важных тем европейской литературы. Форстер разглядел в скучной улице Розетт, безуспешно пытающейся подражать парижским бульварам, Канопскую дорогу города Александра Великого, а в обитателях городского дна – персонажей александрийской поэзии.

**ИЗДАТЕЛЬСТВО «KOLONNA PUBLICATIONS
и МИТИН ЖУРНАЛ» ПРЕДСТАВЛЯЮТ**

**ХУАН ГОЙТИСОЛО
ПЕРЕД ЗАНАВЕСОМ**

Образ репья, растоптанного сапогами российских солдат, сначала отправленных воевать в Чечню царем, потом Ельциным, потом Путиным – часто возникает в моей повести, я пишу об абсурдности и нескончаемости варварства. Зверства побеждают прогресс, в этом смысле в обществе немного меняется, а жестокости гражданской войны в Испании повторяются во всех войнах. Возможно, нас следует назвать бесчеловечной расой?

**ДЖЕЙМС ПАРДИ
Я – ИЛАЙДЖА ТРАШ**

Престарелая, но прекрасная наследница нефтяного состояния уговаривает истекающего кровью чернокожего юношу следить за объектом ее желаний – девяностолетним Илайджей Трашем, актером ослепительной красоты. Однако ветреный Илайджа любит только одно существо – своего немого правнука. Впервые на русском языке – сюрреалистический роман великого американского прозаика.

Книги издательств «Митин Журнал»
и «Kolonna Publications»
можно приобрести в Москве:

«Фаланстер», Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27
«Москва», ул. Тверская, д. 8
«Московский Дом Книги», ул. Новый Арбат, д. 8
«Библиоглобус», Мясницкая ул., д. 6/3, стр. 5
«Индиго», ул. Петровка, д. 17, стр. 2
«Циолковский», Большая Молчановка, д. 18
«Dodo», Таганская ул., д. 31/22

в Санкт-Петербурге:

«Порядок слов», Наб. Фонтанки, д. 15
«Все свободны», Наб. Мойки, д. 28, второй двор
«Буквоед», Невский пр., д. 46

через Интернет:

«Ozon» ozon.ru
«Книга» kniga.ru
«Esterum» esterum.ru
«Petropol» petropol.com
«Болеро» bolero.ru
«Чакона» chaconne.ru
«Лавка Я + Я» shop.gay.ru/books

на Украине:

«Либра» librabook.com.ua

По вопросу оптовых продаж обращаться
в ООО «Берроунз», тел. (495) 971-47-92

Национальный книжный дистрибьютор
«Книжный Клуб 36.6», тел. (495) 926-45-44

Все книги нашего издательства можно заказать
наложенным платежом в редакции на сайте mitin.com

Петер Надаш **КНИГА ВОСПОМИНАНИЙ**

Kolonna Publications
Россия, г. Тверь, улица Брагина, д. 6, офис 301
Подписано в печать 22.11.2014.

Тираж 700 экз., печать офсетная, объем рекордный: 48 п.л., формат 84х90/16
Отпечатано в краю родных осин, где молодежь не смотрит на старших, наука
в упадке, землю перевернули с ног на голову (слепцы ведут слепцов, толкая
их в пропасть, птицы падают не взлетев, осел играет на лире, буйволы пляшут)
и все сбились с пути истинного.
заказ № 2109